



12



история
ЛЮБВИ

Коллектив авторов

12 историй о любви

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Коллектив авторов

12 историй о любви / Коллектив авторов — «Мультимедийное издательство Стрельбицкого»,

«12 историй о любви» — это уникальная книга, на страницах которой читатель найдет шедевры мировой литературной классики, каждый из которых посвящен неувядающей теме любви. Каждый из представленных в книге авторов пишет о любви по-разному. Одни делают акцент на разрушительных страстях и муках неразделенного влечения, приводящих к трагедиям, другие — на романтическом восприятии любви, настоящей взаимной нежности и чистоте переживаний. Ну а третьи (и их, вероятно, большинство) — умеют совместить в своих повествованиях как светлые, так и темные стороны любви, показать глубину этого самого необъятного и многогранного чувства.

© Коллектив авторов
© Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

Содержание

Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери	9
Предисловие	9
Предисловие ко второму изданию (1832 г.)	10
Часть I	13
Книга первая	13
I. Большой зал	13
II. Пьер Гренгуар	21
III. Господин кардинал	26
IV. Жак Коппеноль	30
V. Квазимодо	35
VI. Эсмеральда	38
Книга вторая	40
I. Из Харибды в Сциллу	40
II. Гревская площадь	41
III. За удары поцелуи	43
IV. О неудобствах следовать по вечерам по улице за хорошенькой женщиной	48
V. Продолжение неудобств	50
VI. Разбитый кувшин	52
VII. Брачная ночь	63
Книга третья	68
I. Собор Парижской Богоматери	68
II. Париж с высоты птичьего полета	73
Книга четвертая	86
I. Добрые люди	86
II. Клод Фролло	88
III. Лют пастырь скота, еще лютее пасомые	91
IV. Собака и ее хозяин	95
V. Продолжение главы о Клоде Фролло	95
VI. Непопулярность	99
Книга пятая	99
I. Аббатство Сен-Мартен	99
II. Это убьет то	105
Книга шестая	113
I. Беспристрастный взгляд на старинное судебное сословие	113
II. Крысиная нора	119
III. История одной лепешки из пшеничного теста	122
IV. Слеза за каплю воды	134
V. Окончание истории о пшеничной лепешке	139
Часть II	141
Книга седьмая	141
I. О том, как опасно поверять тайну козе	141
II. Иное дело священник, иное – философ	149
III. Колокола	155
IV. АΝΑΓΚΗ	156

V. Снова оба человека, одетые в черном	164
VI. О том впечатлении, которое могут произвести семь крепких слов на чистом воздухе	167
VII. Бука	170
VIII. О пользе окон, выходящих на реку	174
Книга восьмая	180
I. Серебряная монета, превратившаяся в сухой лист	180
II. Продолжение главы о серебряной монете и сухом листе	186
III. Окончание главы о серебряной монете и о сухом листе	189
IV. Оставь всякую надежду	190
V. Мать	199
VI. Три человеческих сердца, различным образом созданных	201
Книга девятая	211
I. Горячка	211
II. Горбатый, кривой, хромой	217
III. Глухой	219
IV. Песчаный камень и хрусталь	221
V. Ключ от Красной двери	228
VI. Продолжение главы о ключе к Красным дверям	229
Книга десятая	231
I. У Гренгуара на улице Бернардинов является несколько счастливых мыслей сряду	231
II. Делайся бродягой	238
III. Да здравствует веселье!	239
IV. Неловкий друг	243
V. Молельня короля Людовика XI	254
VI. Огонек под спудом	272
VII. Шатопер является на выручку	272
Книга одиннадцатая	274
I. Башмачок	274
II. Прекрасное создание, одетое в белое (Данте)	292
III. Женитьба Феба	297
V. Женитьба Квазимодо	297
Примечания	299
Примечание I	299
Примечание II	299
Лев Толстой. Анна Каренина	300
Часть первая	300
I	300
II	301
III	303
IV	305
V	308
VI	313
VII	314
VIII	315

IX	317
X	320
XI	324
XII	327
XIII	329
XIV	330
XV	334
XVI	335
XVII	336
XVIII	338
XIX	341
XX	344
XXI	346
XXII	348
XXIII	350
XXIV	352
XXV	355
XXVI	357
XXVII	359
XXVIII	360
XXIX	362
XXX	363
XXXI	365
XXXII	367
XXXIII	368
XXXIV	370
Часть вторая	373
I	373
II	375
III	377
IV	379
V	380
VI	382
VII	385
VIII	389
IX	391
X	393
XI	393
XII	394
XIII	396
XIV	399
XV	401
XVI	403
XVII	406
XVIII	408
XIX	409
XX	411
XXI	413
XXII	415

XXIII	418
XXIV	420
XXV	423
XXVI	425
XXVII	428
XXVIII	429
XXIX	432
XXX	434
XXXI	435
XXXII	437
XXXIII	440
XXXIV	442
XXXV	446
Часть третья	449
I	449
II	450
III	452
IV	455
V	457
VI	460
VII	462
VIII	463
IX	466
X	467
XI	470
XII	471
XIII	473
XIV	476
XV	479
XVI	482
XVII	483
XVIII	486
XIX	488
XX	490
XXI	491
XXII	495
XXIII	498
XXIV	500
XXV	501
XXVI	503
XXVII	505
XXVIII	509
XXIX	511
XXX	514
XXXI	515
XXXII	518
Часть четвертая	520
I	520
II	521

III	522
IV	525
V	527
VI	530
VII	532
VIII	535
IX	537
X	540
XI	543
XII	544
Конец ознакомительного фрагмента.	546

12 историй о любви

Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери

Предисловие

Несколько лет тому назад, посещая собор Парижской Богоматери, или, вернее сказать, шаря в нем, автор этой книги наткнулся в одном из самых темных углов одной из его башен на вырезанное на стене слово:

Αναγκη.¹

Эти греческие буквы, почерневшие от времени и довольно глубоко высеченные в стене, готический характер, приданный их форме, как бы для того, чтобы обозначить, что написала их рука из средних веков, а в особенности мрачный и роковой смысл, заключавшийся в них, — сильно поразили автора. Он спрашивал сам себя, он старался отгадать, какая скорбящая душа не пожелала покинуть этот мир, не оставив этого клейма несчастья или преступления на стене старинной церкви.

С тех пор стена эта выскоблена или выбелена (наверное, не знаю), и надпись эта исчезла; ибо в течение двух последних столетий вошло в обычай непочтительно относиться к памятникам старины; желая подновить их, их портят и снаружи, и изнутри. Священник замазывает их, архитектор стирает их, а затем является чернь, которая совсем их разрушает.

Итак, кроме мимолетного воспоминания, которое посвящает этому таинственному слову, высеченному в мрачной башне собора Парижской Богоматери, автор этой книги, от этого слова ничего не осталось, не осталось никаких следов того неизвестного предопределения, которое так меланхолически резюмировалось в нем. Человек, начертавший это слово на этой стене, уже исчез несколько столетий тому назад из среды людей; слово это, в свою очередь, исчезло с церковной стены, быть может, и самая церковь вскоре исчезнет с лица земли.

Это-то слово и подало автору мысль написать эту книгу.

Февраль 1831

¹ Греческое слово «αναγκη» означает: «судьба», «неизбежность», «фатум». // Прим. перев.

Предисловие ко второму изданию (1832 г.)

Ошибочно сообщено было, будто это издание будет дополнено несколькими новыми главами, вернее было бы сказать – «неизданными». Если под словом «новое» понимать «впоследствии написанное», то главы, включенные в это издание, не могут считаться «новыми». Они написаны одновременно с остальным сочинением, они относятся к тому же времени и являются результатом той же мысли; они всегда составляли одну из составных частей рукописи «Собора Парижской Богоматери». Автор даже не в состоянии представить себе, каким образом можно бы делать позднейшие приставки к подобного рода сочинению. Тут произвол автора не может играть никакой роли. По его мнению, роман рождается как будто сам собою, со всеми своими главами, драма – со всеми своими сценами. Ошибочно было бы предполагать, будто в частях, из которых слагается целое, тот таинственный микрокосм, который вы называете романом или драмой, – найдется место произволу. Прививка или припайка немыслима в такого рода сочинениях, которые сразу должны вылиться в определенную форму и оставаться навсегда в этой форме. Раз вы сделали дело, – не думайте подправлять его. Раз книга выпущена в свет, раз ребенок испустит первый свой крик, раз определено, мужского ли он пола, или женского, – он должен оставаться таким, каким он есть, и ни отец, ни мать уже не в состоянии изменить его, он уже принадлежит воздуху и солнцу, и его следует оставить жить или умереть таким, каков он есть. Ваша книга не удалась вам – тем хуже; от того, что вы прибавите к ней несколько глав, она не станет лучше. Она не полна – следовало пополнить ее раньше, в то время, когда вы еще обдумывали ее. Дерево у вас выросло корявым – уж вам не выпрямить его. Роман ваш оказался худосочным, неспособным к жизни – вы не вдохнете в него жизнь, прибавив к нему ту или другую главу.

Автор придает особенное значение тому, чтобы публика знала, что прибавленные главы не написаны вновь для нового издания. Если же они не были напечатаны в первом издании, то это произошло по весьма простой причине. В то время, когда «Собор Парижской Богоматери» печатался в первый раз, прибавляемые теперь три главы просто куда-то затерялись. Приходилось или написать их вновь, или обойтись без них. Автор в то время полагал, что две из этих глав, которые могли иметь какое-нибудь значение по своему объему, касались преимущественно вопросов исторических и художественных, ни мало не отзываясь на сущности романа, что публика даже вовсе не заметит их отсутствия и что только он, автор, будет посвящен в тайну этого пробела. Поэтому он решился обойтись без них. И, наконец, чтобы быть вполне откровенным, он должен сознаться, что его просто одолела лень, и что он не захотел вновь написать трех потерянных глав; ему, кажется, легче было бы написать новый роман.

Ныне эти главы отыскивались, и он пользуется случаем, чтобы вставить их на их место. Таким образом, ныне труд его появляется цельным, таким, как он задумал и написал его; хорошим или плохим, прочным или скоропреходящим – это другой вопрос, но, словом, таким, каким он хотел создать его.

Правда, эти отыскавшиеся главы, по всей вероятности, будут иметь мало цены в глазах тех, очень здравомыслящих, впрочем, людей, которые искали в «Соборе Парижской Богоматери» только романа, только драмы. Но, быть может, нашлись и такие читатели, которые обратили внимание на философские и эстетические мысли, скрывающиеся в этой книге, которым, читая «Собор Парижской Богоматери», желательно было видеть в этой книге, под формой романа, нечто большее, чем роман, и проследить – да простят мне эти несколько самонадеянные выражения – систему историка и цель художника в творении поэта. Вот для этих-то людей прибавленные к настоящему изданию главы пополняют «Собор Парижской Богоматери», если только допустить, что книга стоит того, чтобы быть пополненной.

Автор высказывает в одной из этих глав глубоко вкоренившееся в нем, к сожалению, и зрело обдуманное мнение о современном упадке архитектуры и о почти неизбежной, по его мнению, близкой кончине этой царицы искусств. Но, вместе с тем, он считает нужным заявить здесь, что он от души желал бы, чтобы будущее не оправдало его взглядов. Ему известно, что искусство во всех его видах может ожидать всего от новых поколений, зародыши гения которых начинают уже пробиваться. Зерно лежит уже в борозде, жатва, без сомнения, будет обильная. Он только опасается, – и читатель увидит из второго тома этого издания почему, – как бы жизненные соки не исчезли уже из старой почвы архитектуры, которая в течение стольких веков была наилучшей почвой искусства.

Однако, в настоящее время молодые художники выказывают столько жизни, силы и, так сказать, предопределения, что из наших архитектурных школ, несмотря на недостатки профессоров их, помимо желания последних и даже вопреки им, выходят даровитые ученики; совершенно обратное явление тому, которое представлял собою тот гончар, о котором говорит Гораций, который, желая сформовать амфору, делал кухонные горшки. Колесо катится и оставляет после себя колею.

Но, во всяком случае, какова бы ни была будущность зодчества, каким бы образом наши молодые архитекторы ни разрешили со временем вопроса об их искусстве, в ожидании новых зданий сохраним старые. Постараемся, по возможности, внушить народу любовь к зодчеству. Автор прямо объявляет, что это – одна из целей его книги, даже более – одна из главных целей его жизни. Настоящий труд его, быть может, содействовал отчасти истинному пониманию средневекового искусства, этого чудного искусства, до сих пор незнакомаго многим, и, что еще хуже, отрицаемого многими. Но автор очень далек от мысли – считать довершенной ту задачу, которую он добровольно поставил себе. Он уже не раз имел случай поднимать голос в пользу нашей старинной архитектуры; он уже указывал на многие разрушения, профанации, искажения. Он поставил себе целью как можно чаще возвращаться к этому предмету, и он будет возвращаться к нему. Он выкажет столько же неутомимости в защите наших исторических зданий, сколько выказывают наши школьные и академические иконоборцы в посягательствах на них. Ему больно видеть, в какие руки попала средневековая архитектура, и каким образом современные пачкуны обращаются с остатками этого великого искусства. Мы все, люди образованные, остающиеся безмолвными зрителями этой профанации, просто должны краснеть от стыда. И при этом автор понимает не только то, что творится в провинции, но и то, что делается в Париже, у наших дверей, под нашими окнами, в большом образованном городе, в средоточии мысли, печати, слова. Он не может удержаться от того, чтобы, в заключение этой заметки, не указать на некоторые из тех проявлений вандализма, которые ежедневно проектируются, обсуждаются, начинаются, продолжаются и завершаются на наших глазах, на глазах парижских художников, на глазах критики, которую этот избыток смелости просто приводит в недоумение. Недавно снесено старинное здание архиепископского дворца, – здание довольно безвкусное, и поэтому большой беды в этом нет; но вместе с этим зданием снесен и епископский дворец, редкий остаток зодчества XIV-го века, чего, впрочем, архитектор, заведовавший сломкой, и не разобрал. Вместе с плевелами он вырвал и колос – что ему до этого за дело! Теперь толкуют о предстоящем срытии чудной Венсенской часовни, с тем, чтобы употребить добытый этим путем камень на возведение какого-то укрепления, в котором Домениль², однако, вовсе не нуждался. Между тем как с большими издержками реставрируют и восстанавливают Бурбонский дворец, эту лачугу, равноденственным ветрам позволяют беспрепятственно разбивать одно за другим великолепные стекла св. часовни. Уже несколько дней, как старинная башня св. Якова, что в Мясниках, окружена лесами, и не подлежит сомнению, что в скором времени за

² Генерал Домениль – комендант Венсенского форта, близ Парижа, в начале тридцатых годов нынешнего столетия. // Примеч. перев.

нее примется лом. Нашелся какой-то архитектор, не задумавшийся построить жалкий, белый домишко между почтенными башнями здания судебных установлений. Другой не постыдился испортить почтенное здание, с тремя колокольнями, Сен-Жерменского аббатства. Я ни мало не сомневаюсь в том, что найдется третий, который вызовется снести колокольню исторической Оксеррской церкви. Все эти господа считают себя архитекторами, получают деньги от префектуры или от частных лиц, носят зеленые фраки и причиняют истинному искусству все то зло, которое только может причинить ему ложное искусство. В то время, когда мы пишем эти строки, один из них примостился к Тюильрийскому дворцу, беспощадно проводит рубцы строителю его, Филиберу Делорму, поперек лица. Просто позорно видеть, с каким нахальством тяжелая архитектура этого господина обращается с одним из самых изящных фасадов эпохи возрождения.

Париж, 20 октября, 1832

Часть I

Книга первая

I. Большой зал

Ровно триста сорок восемь лет, шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижане проснулись под звуки колоколов, трезвонивших во всю как в Старом городе, так и в Новом и в Университетском кварталах.

В истории, однако, не сохранилось никаких особенных воспоминаний относительно дня 6 января 1482 г. Не было ничего выдающегося в том событии, которое в это утро так рано привело в движение языки колоколов и парижских граждан. Ни пикардцы, ни бургундцы не шли на приступ к городу, по улицам не проходила процессия с чудотворной ракой, школьники не взбунтовались в своем училище, «наш грозный король»³ не возвращался в город, даже не предстояло интересной казни воров или воровок перед зданием суда. Равным образом не ожидалось прибытия, столь чистого в пятнадцатом веке, какого-нибудь посольства в красивых одеждах и с перьями на шляпах. Не далее, как за два дня перед тем, последняя подобного рода кавалькада, фландрские послы, которым поручено было вести переговоры о предполагаемом браке Маргариты Фландрской с дофином Франции, торжественно прибыла в Париж, к великой досаде кардинала Бурбонского, которому, в угоду королю, пришлось оказать любезный прием этой неотесанной ораве фламандских бургомистров и угощать их в своем Бурбонском дворце разными высоконравственными и шуточными театральными пьесами, между тем, как проливной дождь портил великолепные ковры, которыми по этому торжественному случаю был расцвечен его дворец.

То, что взволновало 6 января 1482 года всю парижскую чернь, было, по словам летописца Жана из Труа, двойное торжество, с незапамятных времен соединенное вместе – праздник волхвов и шутов. В этот день должны были произойти посадка майского дерева в Бракской часовне и сожжение смоляных бочек на Гревской площади, а также представлены мистерии в здании суда. Наконец, глашатаи парижского городского головы, одетые в фиолетовые камлотовые кафтаны, с большими белыми крестами на груди, оповестили об этом, при трубных звуках, по всем парижским площадям и перекресткам.

Итак, толпы парижских граждан и гражданок, заперев свои дома и лавки, с раннего утра направлялись к одному из трех указанных пунктов; всякий сделал свой выбор – кто в пользу майского дерева, кто в пользу иллюминации, кто в пользу мистерии. Нужно заметить, в похвалу здравому смыслу парижских зевак даже того времени, что наиболее значительная часть этой толпы направлялась или к месту иллюминации, что было совершенно по сезону, или на представление мистерии, которое должно было произойти в закрытом и вытопленном помещении, между тем, как бедное майское дерево мерзло под январским небом почти в одиночестве на кладбище Бракской часовни. Особенно значителен был прилив публики в коридорах суда, так как известно было, что прибывшие за два дня перед тем фландрские послы собирались присутствовать при представлении мистерии и при выборе папы шутов, который также должен был произойти в большом зале суда.

Нелегко было проникнуть в тот день в этот большой зал, считавшийся, однако, в то время самым обширным из всех существовавших на свете крытых помещений. (Правда, что тогда

³ Людовик XI, не любивший Парижа и проживавший большей частью в своем замке, Плесси-Ле-Тур. // Прим. перев.

Соваль еще не измерил большого зала Монтаржисского замка). Площадь перед зданием суда, запруженная народом, казалась тем, которые смотрели на нее из окон, морем, в которое пять или шесть улиц, выходявших на нее, вливали ежеминутно все новые и новые волны народа. Эти волны, постоянно увеличивавшиеся, ударялись о выдающиеся углы зданий, как о мысы, выдвигающиеся в море. В середине высокого, готического⁴ фасада здания суда, большая лестница, по которой непрерывно подвигались вверх и вниз толпы народа, разделявшиеся на главной площадке на два рукава, – большая лестница, говорю я, струилась беспрерывно на площадь, как фонтан в бассейн. Крики, смех, топот тысяч ног производили странный шум, который так и стоял в воздухе. От времени до времени шум и крики усиливались, толпа отливала от большой лестницы, сталкивалась с новыми народными волнами, бурлила: происходило это тогда, когда ружейный приклад стрелка или лошадь жандарма префектуры сдерживали слишком сильный натиск толпы. Как видит читатель, предания доброго старого времени сохранились и до наших дней, переходя только от ведомства превота к ведомству коннетабля, от ведомства коннетабля к ведомству городского маршала, а от последнего – к современной парижской жандармерии.

Во всех дверях, окнах, слуховых окнах, на крышах – виднелись тысячи добрых, спокойных и честных мещанских лиц, глазевших на большое здание, на толпу, и совершенно довольных этим, ибо в Париже никогда не было недостатка в людях, довольствующихся ролью зрителей и способных в течение целых часов глазеть на стену, за которою что-то происходит.

Если бы нам, людям XIX века, можно было вполне перенестись мысленно в среду парижан XV века, войти вместе с ними, среди всевозможных толчков, пинков и давки, в огромную залу суда, в которой была такая теснота 6 января 1482 года, то нам представилось бы интересное и красивое зрелище, и мы увидели бы вокруг себя такие старые вещи, что они показались бы нам совершенно новыми. Если читатель ничего против того не имеет, то мы постараемся представить ему приблизительно то впечатление, которое он испытал бы вместе с нами, переступая порог этого большого зала вместе с этой толпой, одетой во всевозможные средневековые костюмы, мужские и женские.

Сначала мы не испытали бы ничего, кроме шума в ушах и пестроты в глазах. Затем мы различили бы над нашими головами стрельчатый свод, украшенный вырезанными из дерева фигурами, выкрашенный синей краской и усеянный золотыми лилиями, а под ногами нашими – пол, выложенный плитами черного и белого мрамора. В нескольких шагах от нас – большая колонна, затем другая, третья; всего, во всю длину залы, семь колонн, поддерживавших в середине ее пяты двойного свода. Вокруг первых четырех колонн примостились лавочки торговцев, наполненные разными побрякушками; вокруг последних трех – дубовые скамейки, вытертые нижним платьем истцов и мантиями прокуроров. Вокруг всего зала, вдоль стен, в простенках, между колоннами, бесконечная вереница всех королей Франции, начиная с Фарамонда: и короли-лентяи, с опущенными в землю глазами и свесившимися руками, и храбрые, воинственные короли, со смело поднятыми вверх головами и руками. Затем в высоких, стрельчатых окнах разноцветные стекла, у выходов из залы широкие двери, с богатой и искусной резьбой; и, наконец, все это – своды, колонны, стены, наличники, обшивки, двери, статуи – великолепно расписанное синим цветом и золотом, хотя и поблекшее в то время, о котором мы говорим, а 65 лет спустя, в 1549 году, когда дю-Брейль видел собор, уже совершенно исчезавшее под толстым слоем пыли и паутины.

Пусть же читатель представит себе эту громадную, продолговатую залу, освещенную белесоватым светом январского солнца, наполненную пестрой и шумной толпой, дефилирующей вдоль стен и кружащейся вокруг семи колонн, – и он составит себе некоторое, хотя и смут-

⁴ Слово *готическое*, в том смысле, как его, вообще, употребляют, хотя и общепринято, но совершенно неверно. Но мы принимаем и употребляем его подобно всем, для обозначения архитектуры второй половины средних веков, основанной на стрельчатых сводах, подобно тому, как полукруглые своды, составляют отличительный признак архитектуры первой половины тех же веков.

ное, понятие о целом картины, которой мы постараемся набросать здесь некоторые подробности.

Несомненно, что если бы Равальяк не убил Генриха IV, то документы, относящиеся к этому процессу, не попали бы в здание суда, не оказалось бы сообщников, для которых важно было истребить эти документы, – значит, не нашлось бы и поджигателей, которым, за неимением других средств, пришлось для уничтожения документов сжечь канцелярию суда, а для того, чтобы сжечь канцелярию, – сжечь все здание суда, – словом, не было бы пожара 1618 года; старое здание стояло бы еще со своей старинной большой залой, я имел бы право сказать читателю: «ступайте, посмотрите на нее», и мы оба были бы избавлены от необходимости: я – подробно описывать ее, а он – читать это описание; а это еще раз доказывает справедливость старой, но, тем не менее, вечно-новой истины, что великие причины ведут иногда к малым последствиям.

Весьма возможно, впрочем, и то, что, во-первых, у Равальяка вовсе не было сообщников, и что, во-вторых, если они и были, то все же они были ни при чем в пожаре 1618 года, тем более что для объяснения последнего существуют еще два другие, весьма правдоподобные предположения: во-первых, большая яркая звезда, в один фут ширины, в один локоть вышины, которая, как уверяют, упала на здание суда в ночь на 7 марта; во-вторых, следующее четырехстишие Теофиля:

Не на шутку вышло дело:
Правосудие в Париже,
Пряностей наевшись много,
Обожгло себе все нёбо.⁵

Словом, на котором ни остановиться из этих трех толкований – уголовном, метеорологическом или поэтическом – причин сожжения в 1648 году здания парижского суда, все же остается тот печальный факт, что здание это сгорело. Ныне, благодаря этой катастрофе, благодаря, в особенности, разновременным реставрациям, окончательно истребившим то, что пощадило пламя, – ныне почти ничего не осталось от этого древнего обиталища французских королей, от этого старшего брата Лувра, считавшегося уже столь старым во времена Филиппа Красивого, что и тогда в нем хотели видеть остаток великолепных зданий, сооруженных королем Робертом и описанных Гельгальдом. Почти все исчезло. Что случилось с комнатой канцелярии, в которой когда-то Людовик Святой отпраздновал свое бракосочетание? – с садом, в котором он творил суд, облеченный в камлотовый камзол, в сермяжный, безрукавный балахон и в черный суконный плащ, лежа на ковре, вместе с Жуанвилем, последующим своим историком? Что случилось с покоем императора Сигизмунда, или с покоями Карла IV, или Иоанна Безземельного? Где та лестница, с которой Карл VI провозгласил свой эдикт о помиловании, или та плита, на которой Марсель, в присутствии дофина, удушил Роберта Клермонского и маршала Шампаня? Где двери, в которых были разорваны буллы папы Бенедикта и из которых те, которые принесли их, были выведены на посмешище всему Парижу в шутовских мантиях и митрах? Где большой зал, с его позолотой, лазурью, стрелами свода, статуями, колоннами, наконец, с его громадным сводом, покрытым скульптурой? Где золотая комната, где стоявший на коленях у входа каменный лев, с опущенною вниз головою и с поджатым хвостом, – эмблема, как и у трона Соломонова, преклонения силы перед законом? Где прекрасные двери, красивые оконные стекла? Где искусной работы дверные ручки, доставившие столько труда Бискорнетту, и изящная столлярная работа дю-Ганси? Что сделало время, что сделали люди из всех этих произведений

⁵ Здесь мы имеем дело с трудно передаваемой на другой язык игрой слов; по-французски «Palais» значит «дворец», «большое здание», а также и «нёбо». // Прим. перев.

искусства? Что нам дали вместо всего этого, вместо всей этой галльской истории, всего этого готического искусства? По части искусства – тяжелые, низкие своды г. Броссе, этого неумелого строителя главного входа церкви св. Жервезы, а по части истории – нелепые и нескладные рассказы каких-то гг. Патрю⁶.

Впрочем, мимо! Возвратимся в большой зал прежнего, старого судебного здания.

Оба конца этого громадного параллелограмма были заняты: один – знаменитым мраморным столом, столь длинным, широким и толстым, что, как выражаются старинные инвентари, в стиле, способном возбудить аппетит любого Гаргантюа, «никогда не было другого подобного ломтя мрамора в мире»; а другой – часовня, в которой Людовик XI велел поместить скульптурное изображение свое, на коленях перед Богородицей, и куда он велел также перенести, ни мало не заботясь о том, что останутся две пустых ниши в длинном ряду королей Франции, статуи Карла Великого и Людовика Святого, предполагая, очевидно, что эти два святые, как бывшие короли Франции, пользуются особым кредитом на небе. Эта часовня, еще совершенно новая в ту эпоху, к которой относится наш рассказ, сооруженная не более как за шесть лет перед тем, отличалась той изящной и нежной архитектурой, чудесной скульптурной работой и тонкой резьбой, которые свойственны концу готической эры и являются в несколько видоизмененном виде в XVI столетии, в волшебных и фантастических произведениях эпохи возрождения. Небольшая ажурная розетка над главным входом отличалась особенною изящностью и грациозностью; она походила на кружевную звездочку.

В середине залы, против главного входа, была воздвигнута эстрада, обитая золотой парчой, в которую вел особый, незаметный с первого взгляда для глаза, вход; она предназначалась для фландрских послов и для других знатных лиц, приглашенных на представление мистерии.

Представление это, согласно обычаю, должно было произойти на вышеупомянутом громадном столе, который и был приурочен для этого с самого утра. На роскошной мраморной доске, исцарапанной каблуками судебных писцов, была поставлена довольно большая деревянная будка, с плоской крышей, которая, будучи видна со всех сторон, собственно и должна была служить сценой, между тем, как внутренность будки, прикрытая занавесами, служила гардеробной для действующих лиц. Лестница, весьма наивно приставленная снаружи, поддерживала сообщение между сценой и гардеробной, и по ее крупным ступенькам должны были и подниматься, и спускаться действующие лица. Таким образом, всякое, самым неожиданным образом, появляющееся на сцене, действующее лицо должно было сперва подняться на глазах всей публики по этой лестнице, что, разумеется, уничтожало всякую иллюзию неожиданности. Невинный ребяческий возраст театрального искусства!

Четыре пристава суда, неизбежные охранители порядка, как в праздничные дни, так и при казнях, стояли по четырем углам мраморного стола.

Представление должно было начаться ровно в полдень, – час несколько поздний по тогдашнему времени, но нельзя было иначе: фландрские посланники не могли прибыть раньше. А между тем, толпа ждала уже с раннего утра. Немалое число любопытных с самого рассвета стояло на морозе перед большой лестницей, пока двери еще не отпирались; иные утверждали даже, будто прождали всю ночь, чтоб иметь возможность попасть первым. Толпа росла с каждой минутой и, подобно реке, выходящей из русла своего, начинала подниматься вдоль стен, скопляться вокруг колонн, пробираться на карнизы, на выступы стен, на подоконники, на малейшие приступочки, на цоколи статуй. Немудрено, что усталость, нетерпение, неудобство занятого положения, некоторая распушенность, дозволенная, по мнению многих, в этот день всяческих дурачеств, ссоры, возникавшие здесь и там по поводу пинка или толчка, придали, еще гораздо ранее чем прибыли посланники, резкий и бранчивый оттенок восклицаниям, раздававшимся из среды этой сдавленной, запертой в относительно узкое пространство,

⁶ Адвоката, жившего в XVII столетии и написавшего биографию своих знакомых. // Прим. перев.

толпы. Слышалось немало жалоб и проклятий по адресу невежливых фламандцев, городского головы, кардинала Бурбонского, главного судьи, Маргариты Австрийской, полицейских с их палками, парижского епископа, наконец, против мороза, жары, колонн, статуй, затворенных дверей, открытых окон. Все это доставляло немалое удовольствие ватагам школьников и уличных мальчишек, которые еще более подзадоривали и поддразнивали недовольных и, так сказать, доводили их до остервенения своими булавочными уколами.

Несколько этих сорванцов, продавив оконную раму, храбро уселись на подоконник и кидали оттуда свои взоры и свои насмешки то внутрь залы, то на улицу, дразня и толпившуюся в зале, и толпившуюся на площади народную массу. Их зубоскальство, их веселая жестикуляция, их громкий смех, замечания, которыми они обменивались с одного конца залы до другого, ясно показывали, что на этих молодых писцов не распространялись нетерпение и усталость, овладевшие остальными присутствующими, и что они умели, для собственного своего удовольствия, сделать себе из того, что происходило на глазах их, особого рода зрелище, дававшее им возможность терпеливо дожидаться настоящего зрелища.

– Ах, Боже мой! Это вы, Иоанн Фролло де-Молендино! – закричал один из них какому-то белокурому чертенку, с хорошеньким, но злым личиком, уцепившемуся за арабески капители. – Недаром вас называют Жан дю-Муленом, ибо ноги и руки ваши очень похожи на крылья ветряной мельницы. – Давно ли вы здесь?

Черт их побери! – ответил Жан Фролло, – вот уже добрых четыре часа, и я надеюсь, что они зачтутся мне в чистилище. Словом сказать, я еще застал здесь, в часовне, раннюю обедню и слышал, как певчие короля сицилийского пели «достойную».

– А ведь хорошие певчие! – заметил первый, – и голоса их тоньше девичьего волоса. Но, по моему, следовало бы, прежде чем заказывать обедню св. Иоанну, предварительно справиться, приятно ли будет св. Иоанну слушать латинские псалмы, распеваемые провансальским акцентом.

– Так ради этих сицилийских певчих и была отслужена здесь ранняя обедня? – вмешалась в разговор, какая-то старуха, стоявшая внизу, возле окна. – Ну, на что это похоже! Тысяча парижских ливров за одну обедню! А ради этого отдают на откуп продажу морской рыбы на парижском рынке и разоряют бедных людей!

– Молчать, старуха! – вставил свое слово какой-то толстый и важный человек, стоявший подле торговки и затыкавший себе нос, – нельзя было не заказать обедни. Неужели, по вашему, королю опять было заболеть!

– Молодец, господин Жиль Лекорню, главный поставщик мехов для двора его величества! – воскликнул школяр, уцепившийся за капитель.

Ватага школьников расхохоталась и стала дразнить несчастного придворного меховщика:

– Лекорню! Жиль Лекорню! Козел рогатый!⁷

– Ну, что там такое! – продолжал школяр. – Чего они гогочут! Ну да, это достопочтенный Жиль Лекорню, брат Жана Лекорню, пристава королевского дворца, сын Матье Лекорню, главного привратника Венсенского парка! Все они – добрые парижские граждане, все они – примерные отцы семейств.

Хохот возобновился пуще прежнего. Толстый меховщик, не отвечая ни слова, старался укрыться от направленных на него со всех сторон взоров; но тщетно он пытался и отдувался: всякое усилие его высвободиться из толпы только крепче всаживало в нее, точно клин, его апоплексическую фигуру, его раскрасневшееся от досады и злобы лицо. Наконец, к нему на выручку подоспел один из его соседей, такой же приземистый и толстый, как и он.

– Что за подлость! Школьники осмеливаются так насмехаться над почтенным гражданином! В мое время их здорово отстегали бы за это прутьями!

⁷ Лекорню, в буквальном переводе, означает «рогатый». // Прим. перев.

– Эге! Ого! Кто это там запел эту песню? – завопила орава мальчишек. – Кто эта каркающая ворона?

– А! я знаю его! – сказал один из них. – Это Андре Мюнье, один из четырех присяжных книгопродавцев университета.

– Всех хороших вещей бывает по четыре в университете, – воскликнул третий: – четыре корпорации, четыре факультета, четыре праздника, четыре прокуратора, четыре декана, четыре книгопродавца!

– Ну, так им нужно показать и четырех чертей! – закричал Жан Фролло.

– Мюнье, мы сожжем твои книги!

– Мюнье, мы прибудем твоего лакея!

– Мюнье, мы станем щипать твою жену, толстуху Удард!

– Которая так весела и так свежа, что ее можно бы принять за вдову.

– Ах, черт побери! – бормотал себе под нос Андре Мюнье.

– Замолчи, Андре Мюнье, – воскликнул Жан, все еще цепляясь за свою капитель: – или я свалюсь тебе на голову!

Толстяк Андре поднял глаза кверху, как бы измерил высоту колонны и прикинул тяжесть мальчугана, помножил эту тяжесть на квадрат скорости, – и замолчал.

Жан, за которым осталось поле сражения, продолжал торжествующим голосом:

– Ей-Богу я это сделаю, хотя я и брат архидиакона!

– Хороши наши университетские, нечего сказать! – продолжала приставать молодежь. – Ничего не сделали для такого дня! В городе – посадка майского дерева и иллюминация; здесь – мистерия и фландрские послы; а в университете – ничего!

– Однако, на площади Мобер хватило бы места... – заметил один из писцов, усевшихся на столе возле окошка.

– Долой ректора, деканов и прокураторов! – воскликнул Жан.

– Нужно будет устроить сегодня вечером иллюминацию из книг г. Мюнье... – заметил другой.

– И из конторок канцеляристов!

– И из жезлов педелей!

– И из плевалниц профессоров!

– И из конторок попечителей!

– И из баллотировочных ящиков!

– И из ректорских кресел!

– Долой! – закричал Жан, стараясь басить, – долой г. Андре, канцеляристов, швейцаров! Долой богословов, медиков и юристов! долой ректора, деканов и профессоров!

– Это черт знает что такое! – ворчал Мюнье, затыкая себе уши.

– А вот, кстати, и ректор проходит по площади! – воскликнул один из сидевших на окне. Все мигом повернулись в ту сторону.

– Неужели это взаправду наш уважаемый ректор Тибо? – спросил Жан Фролло де-Мулен, который, уцепившись за одну из внутренних колонн, не мог видеть того, что происходило на улице.

– Да, да, это он, это ректор, г. Тибо! – ответили все другие.

И действительно, это были ректор и все прочие должностные лица университета, отправлявшиеся процессией навстречу посольству и переходившие в это все время через площадь. Школьники, столпившись у окна, приветствовали их насмешками и ироническими рукоплесканиями. Больше всего насмешек досталось на долю ректора, шедшего во главе процессии.

– Здравствуйте, г. ректор! Эй, слышите, вам говорят – здравствуйте!

– Каким образом он попал сюда, старый игрок! Как это он расстался со своими костями!

– Каким он молодцом сидит на своем муле! А ведь у мула уши не так длинные, как у него!

– Эй, здравствуйте же, г. ректор Тибо! Тибо-кормилец! Старый дурак! Старый игрок!
– Да благословит вас Господь! Часто ли вам приходилось сделать двенадцать очков в эту ночь?
– Что за жалкая рожа! На ней ничего не написано, кроме любви к игре в кости.
– Куда это вы едете, Тибальдус, повернувшись спиной к университету и лицом к городу?
– Он, без сомнения, едет отыскивать себе квартиру в улице Тиботоде! – воскликнул Жан. И вся орава повторила этот каламбур, громко смеясь и неистово хлопая в ладоши.⁸
– Вы отправляетесь искать квартиру в улице Тиботоде, не так ли, г. ректор, чертов игрок? Затем настала очередь прочих должностных лиц университета.
– Долой педелей! Долой жезлоносцев!
– Скажи-ка, Робен Пусспен, а кто такой вон этот?
– Это Жильбер де-Сюили, Gilbertus de Seliaco, канцлер Отенской коллегии.
– На тебе мой башмак, брось его ему в лицо! Тебе удобнее это сделать, чем мне.
– Посылаем вам эти сатурнальские орешки!
– Долой шестерых богословов с их белыми стихарями!
– Так это богословы! А я думал, что это шесть гусей, подаренных св. Женевьевой городу.
– Долой медиков! Долой диссертации! Долой хрии!
– Вот тебе картуз мой, канцлер коллегии св. Женевьевы! Ты обошел меня, – Ей-Богу! Он отдал мое место в Нормандском землячестве маленькому Аксанию Фальзаспада, принадлежащему к Буржскому землячеству, только потому, что тот итальянец.
– Что за подлость! – воскликнули школяры. – Долой канцлера коллегии св. Женевьевы!
– Эй, вы! Иоаким Ладебор! Люи Дагюйль! Ламбер Гоктемон!
– Черт бы побрал попечителя германских студентов.
– И каноников св. часовни с их серыми, меховыми облачениями!
– Эй, вы! Магистры изящных искусств! Сколько прелестных красных и черных шапок!
– А недурной-таки хвост подобрал себе ректоре!
– Точно венецианский дож, отправляющийся обручаться с морем!
– Послушай, Жан, ведь это каноники церкви св. Женевьевы?
– Долой каноников!
– Г. аббат Шоар! Г. доктор Клод Шоар! Кого вы ищете? Не Марию ли Жиффард?
– Вы можете найти ее в улице Гламиньи!
– Хорошими делами она там занимается! Не желаете ли получить от нее щелчок по носу?
– Ребята, вон Симон Сангвен, депутат от Пикардии! А позади него жена его.
– Молодец, Симон! Здравствуйтесь, г. депутат! Покойной ночи, г-жа депутатка!
– Экие счастливы! Им все это видно! – проговорил со вздохом Жан дю-Мулен, все еще цепляясь за арабески своей капители.

Тем временем присяжный книгопродавец университета, Андре Мюнье, говорил, наклонившись к уху придворного поставщика, Жилия Лекорню:

– Просто последние времена настали, сударь! Можно ли было так распустить школьников! Это все последствия проклятых изобретений нашего столетия. Вся эта артиллерия, бомбарды, серпентоны, а в особенности это книгопечатание – эта новая, занесенная к нам из Германии моровая язва! Извольте-ка теперь торговать, рукописями! Просто, говорю вам, настал конец свету!

– Да, да... – подтвердил меховщик. – Возьмите хотя бы и то, что бархат совершенно вытесняет меха.

⁸ Здесь мы опять имеем дело с непереводаемым на русский язык каламбуром. В старом Париже была улица Тиботоде (Thibautode); а между тем, точно так же слова «Thibaut aux des» означают «Тибо с игральными костями». // Прим. перев.

В эту минуту пробило двенадцать часов, и отовсюду раздалось: – Ааа!!! – Школьники замолчали. Поднялась суета, все задвигались и засуетились, стали сморкаться и откашливаться. Всякий старался встать поудобнее, выпрямиться, подняться на носки. Затем водворилась всеобщая тишина; все шеи вытянулись, все рты разинулись, все взоры обратились к большому мраморному столу. Но на нем ничего не появлялось, и по углам его по-прежнему торчали только четыре приставы неподвижные, как мраморные статуи. Тогда все взоры обратились к эстраде, предназначенной для фландрских послов; но ведущая к ней дверь оставалась закрытой, а эстрада – пустой. Вся эта толпа с раннего утра дожидалась трех вещей: полудня, фландрских послов и мистерии, и только полдень явился вовремя.

Терпение толпы начинало истощаться. Однако, она прождала еще минуту, две, три, пять минут, четверть часа: эстрада все еще пустовала, представление все еще не начиналось. Нетерпение стало сменяться злобой. Здесь и там стали раздаваться сердитые слова, правда, пока произносимые еще вполголоса. Начинайте, начинайте! – слышалось кое-где. Волнение росло, буря, хотя еще и не разразилась, но слышалась в воздухе, над головами этой тысячной толпы. Жан дю-Мулен первый бросил искру в бочку пороха.

– Начинайте мистерию и к черту фламандцев! – закричал он во всю глотку, обвиняясь змеей вокруг своей капители.

– Начинайте мистерию! – повторила толпа, захлопав в ладоши: – и ко всем чертям фламандцев!

– Подавайте нам сейчас же мистерию! – продолжал школяр: – или мы повесим главного судью, в видах развлечения и назидания!

– Дельно сказано! – повторила ему толпа: – и начнем дело вешания с приставов!

Громкие крики были ответом на это предложение. Бедняги-пристава побледнели и беспомощно глядели вокруг себя. Зрители ринулись к ним, и жидкая перегородка, отделявшая их от зрителей, начала уже трещать и поддаваться под напором толпы.

– Налегай, налегай! – раздавалось со всех сторон.

Наступила критическая минута. Но в это самое мгновение занавес, закрывавший гардеробную, которую мы описали выше, приподнялся и из-за него показалась какая-то фигура, один вид которой остановил толпу и, точно по мановению волшебного жезла, превратил ярость ее в любопытство.

– Тише! тише! – раздалось со всех сторон.

Появившаяся столь неожиданно фигура, дрожа всем телом и, очевидно, сильно взволнованная, подошла, отвешивая низкие поклоны, похожие скорей на приседания, к краю мраморного стола. Тем временем водворилась некоторая тишина, и слышен был только неопределенный гул – неизбежный спутник всякой многочисленной толпы.

– Господа-граждане и госпожи-гражданки! – заговорило выползшее из-за занавеса лицо, – нам предстоит честь продекламировать и представить, в присутствии его высокопреосвященства, г. кардинала, прекрасную, нравоучительную пьесу, озаглавленную: «Премудрый суд Пресвятой Девы Марии». Я имею честь изображать в этой пьесе Юпитера. Его высокопреосвященство сопровождает в настоящее время distinguished посольство г. австрийского герцога, которое задержала немного приветственная речь, произносимая г. ректором университета у ворот Боде. Как только явится высокопреосвященный, мы тотчас же начнем.

Вмешательство в дело Юпитера оказалось как нельзя более кстати, иначе четверем приставам пришлось бы плохо. Не мы имели счастье выдумать эту совершенно правдивую историю, и поэтому мы не обязаны отвечать за нее перед критикой; против нас нельзя обратить классического изречения: «нечего впутывать, в дело богов». Впрочем, костюм бога Юпитера был очень красив, что также не, мало способствовало успокоению публики, привлекая ее внимание в эту сторону. Юпитер был одет в кольчугу, обтянутую черным бархатом, с позолоченными гвоздями, а на голове у него была корона из сусального золота; и если бы не румяна и

небольшая борода, закрывавшая более половины его лица, если бы не палка, обтянутая золоченой бумагой, усыпанной блестками и мишурой, которую он держал в руке и в которой опытный глаз легко узнал бы молнию, если бы не его ноги телесного цвета, обвитые лентами на греческий манер, – то он мог по отношению к экипировке и к внешнему виду своему, выдержать сравнение с бретонцем из отряда герцога Беррийского.

II. Пьер Гренгуар

Однако пока он говорил, благоприятное впечатление, произведенное на толпу первым его появлением и его костюмом, стало мало-помалу рассеиваться; а когда он закончил свою речь следующими неудачными словами: «Как только прибудет его высокопреосвященство, мы тотчас же начнем», – крики и вопли толпы заглушили его голос.

– Начинайте сейчас! Мистерию! Сейчас подавайте нам мистерию! – вопил народ, и из этого шума и гвалта выделялся особенно отчетливо, точно маленькая флейта в большом военном оркестре, пронзительный голос Жана дю-Мулена:

– Начинайте сейчас! – орал школяр.

– Прочь Юпитера! Прочь кардинала Бурбона! – вопили Робен Пусспен и другие писцы, взобравшиеся на подоконник.

– Начинайте тотчас же представление, немедленно, без проволоочки! – вторила толпа. – К черту и комедианта, и кардинала!

Бедный Юпитер, растерянный, побледневший под густым слоем румян, выронил из рук свою молнию, снял свою корону и принялся кланяться, дрожа всем телом и бормоча:

– Его высокопреосвященство... послы... принцесса Маргарита...

Он не знал, что и говорить; он просто боялся, чтобы его не повесили. И действительно, положение его было незавидное: станешь ждать – его повесит толпа, не станешь ждать – его велит повесить кардинал. Словом, куда ни повернись – все виселица!

К счастью для него, к нему на выручку явился благодетель, снявший с него всякую ответственность.

Какой-то человек, стоявший по эту сторону загородки, между последней и большим мраморным столом, которого до сих пор никто не заметил, так как вся его долговязая и худощавая фигура была скрыта от взоров зрителей колонной, к которой он прислонился, – какой-то человек, высокого роста, худой, бледный, белокурый, еще молодой, хотя лоб и щеки его были покрыты морщинами, с сверкающими глазами и улыбающимся ртом, одетый в черный, саржевый, потертый камзол, подошел к столу и сделал знак рукой комедианту; но тот, совершенно растерянный, не заметил его. Новоприбывший сделал шаг вперед и окликнул его:

– Юпитер, а любезный Юпитер!

Но тот ничего не слышал.

Наконец, выйдя из терпения, высокий блондин крикнул ему в самое ухо:

– Мишель Жиборн!

– Кто меня кличет? – спросил Юпитер, как бы очнувшись от глубокого сна.

– Я! – ответил субъект, облеченный в черный камзол.

– Ну, что там такое? – спросил Юпитер.

– Начинайте сейчас же! – продолжал тот. – Исполните желание публики. Я беру на себя умиловить г. судью, который, в свою очередь, умиловит г. кардинала.

Юпитер вздохнул свободнее.

– Гг. граждане! – закричал он во всю глотку, стараясь перекричать все еще бурлившую толпу; – мы сейчас начинаем!

– Браво, Юпитер! Рукоплещите, граждане! – закричали школяры, и толпа вторила им.

Раздались оглушительные рукоплескания, и Юпитер давно уже убрался за занавеску, между тем как зал дрожал еще от рукоплесканий.

Тем временем неизвестная личность, которая, точно по волшебству, превратила «бурю в мертвый штиль», как говорит наш дорогой старик, Корнель скромно удалился опять за колонну и, по всей вероятности, остался бы там стоять неподвижным, немым и всех невидимым, если бы его не извлекли оттуда молодые женщины, которые, находясь в первом ряду зрителей, заметили его беседу с Мишелем Жиборном – Юпитером.

– Батюшка! – окликнула его одна из них, показывая ему знаком, чтоб он приблизился.

– Да замолчи же, Лиенарда! – обратилась к ней ее соседка, хорошенькая, свеженькая и расфранченная по-праздничному женщина. – Разве ты не видишь, что это не духовное лицо, а светское? Значит, его следует называть не «батюшка», а «господин».

– Господин! – окликнула его Лиенарда.

– Что вам угодно, барышни? – спросил незнакомец, поспешно подходя к загородке.

– Ничего... – ответила Лиенарда, сконфузившись.

– Вон она, соседка моя, Жискетта Ла-Женсьен, хотела что-то сказать вам.

– Что ты выдумываешь? – произнесла та, покраснев в свою очередь. – Лиенарда назвала вас батюшкой, а я только сказала ей, что к вам следует обращаться со словом «господин».

И обе молодые девушки потупили глаза. Собеседник их, который, очевидно, был непрочь вступить с ними в разговор, глядел на них и улыбался.

– Итак, вы, барышни, ничего не имеете сказать мне.

– Нет, нет, ничего... – ответила Жискетта.

– Ничего! – повторила Лиенарда.

Высокий, белокурый молодой человек уже повернулся было, чтоб уйти, но тут обеим молодым девушкам стало жаль отпустить его, не вступив с ним в разговор.

– Господин, – затараторила Жискетта, со стремительностью прорвавшейся плотины или решившейся на отчаянный крик женщины, – вам, значит, знаком тот солдат, который будет играть роль Богородицы в мистерии?

– Вы желаете сказать – роль Юпитера? – переспросил неизвестный.

– Ну, да, да, – Юпитера! – сказала Лиенарда, – она сболтнула зря... Так вам знаком Юпитер?

– Мишель Жиборн? – ответил неизвестный. – Как же, сударыня, знаком.

– А славная у него борода! – продолжала Лиенарда.

– А красиво будет то, что они станут представлять? – робко спросила Жискетта.

– Очень красиво, сударыня! – ответил неизвестный без малейшего колебания.

– А что же именно они представят? – снова вставила свое слово Лиенарда.

– Они представят нравоучительную пьесу: «Премудрый суд Пресвятой Девы Марии», сударыня.

– А! вот как! – сказала Лиенарда.

Снова наступило молчание. Неизвестный прервал его:

– Это совершенно новая пьеса, которая еще ни разу не была представлена.

– Значит, это не та же самая, – заметила Жискетта, – которую представляли два года тому назад, в день прибытия г. легата, и в которой три красивые девушки изображали...

– Сирен, – подсказала ей Лиенарда.

И притом совершенно голых... – добавил молодой человек.

Лиенарда стыдливо опустила глаза; Жискетта, взглянув на нее, последовала ее примеру.

– Да, то было занятное представление! – продолжал молодой человек, улыбувшись. – Нынешняя же пьеса сочинена нарочно для принцессы Фландрской.

– А будут петь пастушеские песни? – спросила Жискетта.

– Что вы, что вы! – сказал незнакомец, – это в мистерии-то! Не нужно смешивать различного вида театральных представлений. Вот если б это был фарс – ну, другое дело.

– А жаль... – заметила Жискетта. – В тот раз представляли возле фонтана каких-то диких мужчин и женщин, которые боролись между собою и образовывали различные группы, распевая при этом пастушеские и любовные песни.

– То, что прилично для легата, – довольно сухо ответил незнакомец, – неприлично для принцессы.

– А возле них, продолжала Лиенарда, – музыканты играли на разных инструментах.

– А для публики, – перебила ее Жискетта, – были устроены три фонтана, из которых били вино, мед и молоко, и всякий мог пить, что хотел.

– А недалеко оттуда, возле церкви Троицы, – продолжала Лиенарда, – представлялись страсти Христовы в лицах, но без речей.

– Да, да, помню! – воскликнула Жискетта. – Христос на кресте посредине, а два разбойника по бокам.

Тут девушки, воодушевившись при воспоминании о прибытии легата, стали говорить обе вместе.

– А еще дальше, у ворот Маляров, было несколько лиц в богатых костюмах.

– А у фонтана св. Иннокентия охотник преследовал лань, и собаки лаяли, трубили в трубы!

– А около боен показывались эшафоты, которые были возведены в Диеппской Бастилии.

– Да, и как только легат проехал, – помнишь, Жискетта? – у всех англичан поотрезали головы!

– А около ворот Шатлэ тоже было много очень нарядных особ!

– И на Меняльном мосту также, к тому же все перила его были обиты сукном!

– А когда легат проехал, на мосту выпустили из клеток более двух сот дюжин разного рода птиц. Как это было красиво, Лиенарда!

– Ну, а сегодня будет еще покрасивее! – перебил расхваливавшихся женщин собеседник их, которому, по-видимому, наконец, надоела их болтовня.

– Так вы обещаете нам, что эта мистерия будет хороша? – спросила Жискетта.

– Без сомнения! – ответил он, и затем прибавил с некоторою напыщенностью: – Сударыня, я – автор ее.

– Неужели? – воскликнули девушки в один голос, даже разинули рты от удивления.

– Верно, верно! – ответил поэт с некоторой чванливостью, – мы поставили мистерию вдвоем: Жан Маршань поставил будку и, словом, сделал всю плотническую работу, а я сочинил пьесу. Мое имя – Пьер Гренгуар.

Автор «Сиды» не мог бы произнести с большей гордостью: «Я — Пьер Корнель».

Читатели наши могли заметить, что должно было пройти уже не мало времени с той минуты, когда злосчастный Юпитер убрался за свой занавес, и до тех пор, когда автор новой мистерии таким неожиданным разоблачением поразил наивных Жискетту и Лиенарду. Странное дело, – вся эта толпа, еще за несколько минут столь бурливая, спокойно и терпеливо ждала исполнения данного ей комедиантом обещания. Это еще раз доказывает справедливость той старой, но вечно новой истины, что лучшее средство для того, чтобы заставить публику терпеливо ждать, – это уверить ее, что сейчас начнется.

Однако школяр Жан не дремал.

– Эй, вы! – вдруг закричал он среди всеобщего спокойного ожидания, сменившего прежнее проявления нетерпения: – Юпитер, и как вас там всех, чертovsky фигляры! Что вы насмехаетесь над нами, что ли? Начинайте же, или мы снова начнем!

Этот возглас, по-видимому, подействовал. Из-под помоста раздались звуки музыки; занавес приподнялся, и из-за него вышли четыре особы, с размалеванными и наруганными

лицами, влезли по крутой, приставленной к помосту, лестнице и, взобравшись на него, выстроились в ряд перед публикой и отвесили ей по низкому поклону. Затем музыка смолкла, и началось представление мистерии.

Четыре действующих лица, удостоившись, в благодарность за свои поклоны, громких рукоплесканий, начали разыгрывать, среди благоговейного молчания, пролог, от которого мы с удовольствием избавим читателей наших. К тому же, – как оно, впрочем, случается и в наши дни, – публику пока занимали более костюмы актеров, чем то, что они говорили, и она была права. Они все четверо были одеты в мантии, наполовину розовые, наполовину белые, отличавшиеся между собою только достоинством материи: одна была бархатная, другая – шелковая, третья – шерстяная, четвертая – полотняная. Один из актеров держал в правой руке шпагу, другой – два золотых ключа, третий – весы, четвертый – заступ; а для того, чтобы помочь тугому воображению, которое по этим атрибутам не сумело бы угадать, что они обозначают, на подоле бархатной мантии было вышито большими черными буквами: я – дворянство; на шелковой мантии: я – церковь, на шерстяной: я – торговля, а на полотняной: я – труд. Мантии духовенства и рабочего были короче остальных двух, и изображавшие их лица имели на головах береты, а мантии дворянства и купечества были длиннее и на головах актеров были шапки.

Не трудно было понять из виршей пролога, что торговля состоит в браке с трудом, а церковь – с дворянством, и что обе пары сообща владели великолепным золотым дельфином, который они решили присудить самой красивой женщине в мире. И вот они бродят по миру, разыскивая эту красавицу, и, отвергнув уже царицу Голконды, царевну Трапезунтскую, дочь татарского хана, и пр. и пр., они прибыли для отдыха в Париж, где они и принялись угощать почтенную публику различными сентенциями, правилами, софизмами, определениями, притчами, побасенками, при чем они в карман за словом не лезли. Все это, по-видимому, очень нравилось публике.

Однако, во всей этой толпе, на которую, как из рога изобилия сыпались аллегии и метафоры, не было человека, который прислушивался и присматривался бы к словам и движениям актеров с большим вниманием, с большим замиранием сердца, с более вытянутой шеей и более пристальным взором, чем автор, поэт, тот самый Пьер Гренгуар, который за минуту перед тем не мог удержаться от удовольствия назвать свое имя обеим молодым девушкам. Он возвратился от них на прежнее свое место, за колонну, и оттуда смотрел, наслаждался, захлебывался. Одобрительные рукоплескания, которыми встречено было начало его пролога, звучали еще в его ушах, и он с каким-то восторгом слушал, как мысли его, одна за другою, выходя из уст актера, разливались по обширной аудитории. Почтенный Пьер Гренгуар!

Как нам ни прискорбно это высказать, но Гренгуар вскоре был выведен из своего восторженного состояния. Едва поднес он к губам своим эту опьяняющую чашу радости и торжества, как в нее не замедлила упасть капля горечи.

Какой-то оборванный нищий, который, будучи затерт толпой, не мог собирать подаяний, и который, по всей вероятности, не нашел также достаточного для себя за то вознаграждения в карманах своих соседей, вздумал забраться на какой-нибудь видный пункт, с которого он мог бы привлечь к себе и взоры, и милостыню. Поэтому он ухитрился вскарабкаться во время произнесения пролога, по столбам назначенной для почетных гостей, эстрады, до карниза, возвышавшегося над нею балдахина, и уселся там, стараясь тронуть сердобольных зрителей своим жалобным видом и отвратительной язвой, которую он им показывал, не произнося, впрочем, ни единого слова. Покуда он молчал, представление пролога шло своим чередом и, по всей вероятности, не случилось бы никакого крупного беспорядка, если бы, по несчастью, школяр Жан с своей вышки не усмотрел нищего и его кривляний. Молодой повеса расхохотался, как сумасшедший, и, ни мало не беспокоясь о том, что он прерывает представление и отвлекает от него всеобщее внимание, громко закричал:

– Посмотрите-ка, этот калека просит милостыню!

Если кому приходилось когда-либо бросить камень в лягушечье болото или выпалить из ружья в стаю ворон, то он может представить себе, какое впечатление произвели эти слова на жадно следившую за представлением публику. Актеры остановились, и все головы разом обратились к нищему, который не только ни мало не смутился этим, но, напротив, счел это обстоятельство весьма удобным случаем, чтобы обратить на себя внимание. Он прищурил глаза и стал повторять жалобным голосом:

– Подайте милостыню, ради Христа!

– Ах, черт возьми! – воскликнул Жан, – да ведь это Клопен Трульефу! Эй, приятель, – закричал он ему, – значит, язва твоя мешала тебе на ноге, что ты перенес ее на руку!

И с этими словами он, с ловкостью обезьяны, бросил небольшую белую булку прямо в засаленную войлочную шляпу, которую нищий держал в своей больной руке. Тот, не моргнув глазами, принял и милостыню, и насмешку, и продолжал тем же жалобным голосом:

– Подайте милостыню, Христа ради!

Этот эпизодик отвлек внимание значительной части публики от сцены, и многие из зрителей, с Робеном Пусспенем и другими писцами во главе, принялись весело рукоплескать этому оригинальному, импровизированному, среди пролога, дуэту, исполненному школяром своим крикливым и нищим, своим гнусавым голосом.

Гренгуар выходил из себя. Оправившись несколько от первого своего изумления, он принялся кричать актерам:

– Да продолжайте же, черт возьми, продолжайте же! – неудостаивая даже презрительного взгляда виновников перерыва.

В это самое время он почувствовал, что кто-то дергает его за полу его сюртука; он обернулся с недовольным видом, и ему пришлось сделать над собою некоторое усилие, чтоб улыбнуться. Это оказалось, однако, необходимым, ибо он увидел перед собою Жискетту, которая, протянув свою хорошенькую ручку сквозь решетку загородки, обращала этим способом на себя его внимание.

– Господин, – спросила она, – что, они будут еще продолжать?

– Без сомнения... – ответил Гренгуар, которого несколько покоробил этот вопрос.

– В таком случае, господин, – продолжала она: не будете ли вы столь добры объяснить мне...

– Что они будут говорить? – прервал ее Гренгуар.

А вот сами услышите.

– Нет, не то, – промолвила Жискетта, – а то, что они до сих пор говорили.

Гренгуар привскочил, точно кто-нибудь дотронулся пальцем до его раны.

– Глупая и тупая девчонка!.. – пробормотал он сквозь зубы.

И, начиная с этой минуты, Жискетта окончательно упала в его глазах.

Между тем, актеры послушались настояний автора, а публика, заметив, что они снова заговорили, опять принялась слушать их, при чем, однако, вследствие этого неожиданного разрыва пьесы на две части, она утратила не мало своих достоинств. Гренгуар не мог скрыть этого от себя и огорчился в глубине души. Однако спокойствие мало-помалу водворилось, школьник замолчал, нищий пересчитывал монеты, очутившиеся в его шляпе, и представление пошло своим чередом.

В сущности, это было, действительно, очень недурное произведение, из которого, как нам кажется, можно бы кое-что сделать, конечно, несколько изменив его, и для нынешнего времени. Экспозиция, хотя несколько длинная и многоглагольная, что, впрочем, тогда было в моде, была, однако, достаточно проста и Гренгуар в глубине души даже восхищался ее ясностью. Как легко себе представить, четыре аллегорические личности несколько утомились рысканьем по всем трем, известным в то время, частям света, при чем им, однако, не удалось при-

строить приличным образом своего золотого дельфина⁹. Затем следовало похвальное слово этой Чудесной крылатой рыбе, заключавшее в себе разные тонкие намеки на молодого жениха Маргариты Фландрской, в то время весьма скучно проводившего время в Амбуазском замке и даже и не подозревавшего, что и труд, и церковь, и дворянство, и купечество ради него объездили весь свет. Итак, означенный дельфин был молод, красив, силен, и (что было особенно важно) – он был сын французского льва. По моему мнению, эта метафора восхитительна, и даже естественная история, в виду необычайности и торжественности случая, должна взглянуть снисходительно на то, что у льва родился сын дельфин. Эти поэтические вольности именно и свидетельствуют об истинном вдохновении. Единственное критическое замечание, которое можно было сделать автору, это то, что эту прекрасную мысль можно бы было выразить покороче, не употребляя на то целых двести строк; хотя, с другой стороны, нужно принять в соображение и то, что, по распоряжению г. городского головы мистерия должна была продолжаться от полудня до четырех часов, и что в течение этих четырех часов актерам нужно же было говорить что-нибудь. К тому же публика не роптала и внимательно слушала.

Вдруг, посреди горячего спора между гг. Дворянством и Купечеством, в то самое время, когда г-н Труд произносил следующий удивительный стих:

И трудно было найти в лесу более торжествующего зверя!

дверь ведущая на почетную эстраду, до сих пор остававшуюся незанятою, отворилась весьма некстати, и привратник возвестил громким голосом:

– Его высокопреосвященство, г. кардинал Бурбонский.

III. Господин кардинал

Бедный поэт! Бедный Гренгуар! Грохот пушек на башне Сен-Жан, залп из двадцати пищалей, выстрел из знаменитой серпентины на башне Бильи, – один выстрел из которой во время осады Парижа бургундцами убил 29 сентября 1465 года семь бургундцев, – даже взрыв всего пороха, хранившегося в Тампльской башне, не так сильно поразили бы его слух в этот торжественный и драматический момент, как следующие немногие слова, вылетевшие из уст привратника:

– Его высокопреосвященство, г. кардинал Бурбонский.

Не то, чтобы Пьер Гренгуар боялся господина кардинала или презирал его. Он не был ни настолько слаб, ни настолько самонадеян; он был настоящим эклектиком, как мы выразились бы теперь, он принадлежал к числу тех возвышенных и твердых, умеренных и спокойных людей, которые всегда умеют всюду найтись, попасть в точку, к числу здраво- и свободно-мыслящих философов, воздававших, однако же, должное философам, к тому драгоценному и никогда не переводящемуся племени философов, которым их мудрость как бы дала в руки Ариаднину нить, с помощью которой они безбоязненно могут пройти по лабиринту жизни. Они встречаются во всякое время, все те же, т. е. постоянно приноравливающиеся ко времени. Не говоря уже о нашем Пьере Гренгуаре, который мог бы считаться представителем их в XV столетии, если бы нам удалось оттенить его так, как он того заслуживает, – не подлежит сомнению, что ничем иным, как их духом вдохновлялся дю-Брёль в то время, когда он, в шестнадцатом столетии, писал следующие наивные слова достойные перейти из века в век: «Я парижанин по рождению и парижанин по манере говорить, ибо «*parrhisia*» по-гречески означает свободу слова; а я этой свободой пользовался даже в сношениях моих с гг. кардиналами, дядей

⁹ Еще игра слов: Dauphin по-французски означает и дофин, т. е. наследник престола, и дельфин. // Примеч. перев.

и братом г. принца Конти, относясь, понятно, с должным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, которая была немалочисленная».

Итак в неприятном впечатлении, произведенном на Пьера Гренгуара появлением кардинала, ни малейшей роли не играла ни ненависть, ни презрение к нему. Напротив, у нашего поэта было слишком много здравого смысла и слишком потертый балахон, чтобы не придавать особенного значения тому, чтобы до уха высокопреосвященного дошел тот или другой намек его пролога, а в особенности прославление дельфина, сына французского льва. Но дело в том, что у поэтических натур личный интерес обыкновенно отступает на задний план. Если представить себе, что целое поэта изображается цифрой 10, то химик, подвергнув его тщательному анализу и разложив его на части, нашел бы 9/10 самолюбия и только одну десятую соображения со своими интересами. Ну, так вот именно в то самое время, когда привратник распахнул двери перед кардиналом эти девять десятых самолюбия Гренгуара, еще раздувшиеся и увеличившиеся в объеме вследствие лестного для него одобрения публики, окончательно поглотили в себе ту ничтожную частицу интереса, которую мы только что отметили в натуре поэта, – эту, впрочем, драгоценную составную часть его существа, этот реальный и человеческий балласт, не будь которого, он бы никогда не прикасался к земле, а все парил бы в воздухе. Гренгуар наслаждался тем, что чувствовал, видел, так сказать, ощупывал целое собрание, – ротозеев, правда, но что ему было за дело до этого, – пораженное, окаменевшее и как бы задыхавшееся от нескончаемых тирад сыпавшихся, как из рога изобилия, из всех частей его свадебной поэмы. Я смело утверждаю, что он сам разделял всеобщий восторг, и что совершенно наоборот тому, как поступил Лафонтен, который при представлении его комедии «Флорентин» спрашивал: «какой это болван написал такую чушь?» – он готов был спросить своего соседа: «Чье это прекрасное произведение?» Можно представить себе поэтому, какое впечатление произвело на него шумное и столь неуместное появление кардинала.

К сожалению, опасения его вполне оправдались. Прибытие его преосвященства переположило всю аудиторию, все головы повернулись к предназначенной для кардинала эстраде, и из всех уст раздались восклицания:

– Кардинал! Кардинал!

Несчастный пролог был прерван вторично.

Кардинал остановился на минуту у входа на эстраду и обвел аудиторию довольно равнодушным взглядом. Шум усилился; всякий хотел видеть кардинала, вставал, поднимался на носки.

И, действительно, кардинал был достоин того, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Карл, кардинал Бурбон, архиепископ и граф Лионский, примас Галлии, находился одновременно в родственных отношениях и с Людовиком XI, через брата своего Пьера, герцога Боже, женатого на старшей дочери короля, и с Карлом Смелым, герцогом Бургундским, по матери своей, Анне Бургундской. А между тем, преобладающим и выдающимся отличительным качеством характера примаса Галлии были раболепие перед властью и низкопоклонство. Можно представить себе многочисленные затруднения, возникавшие для него из его двойного родства. Сколько подводных камней ему приходилось обходить, чтобы не разбить свое духовное судно ни об Людовика, ни об Карла, чтобы миновать и Харибду и Сциллу, эту Сциллу, пожравшую уже герцога Немурского и коннетабля Сен-Поля. Однако, ему, благодаря Бога, удалось совершить довольно счастливо свое путешествие и достигнуть кардинальской мантии, не потерпев серьезного крушения. Но хотя он добрался уже до гавани, и именно потому, что он добрался до гавани, он не мог спокойно вспоминать различных перипетий своей тревожной и бурной политической жизни. Он имел обыкновение говорить, что 1476 год был для него и черен, и бел, разумея под этим, что он лишился в этот год и матери своей, герцогини Бурбонской, и двоюродного брата своего, герцога Бургундского, и что последняя потеря утешила его за первую.

Впрочем, это был человек добрый. Несмотря на свой духовный сан, он вел веселую жизнь, охотно попивал вино Шальо из королевских виноградников, ухаживал за Гишардой Ла-Гармуаз и Томазой Ла-Сальярд, любил благотворить более красивым девушкам, чем старухам, и за все это пользовался большою популярностью среди парижского населения. Он окружил себя особым маленьким двором, составленным из епископов и аббатов, принадлежавших к хорошим семействам, веселых, любезных и любивших пожуировать; и не раз набожные женщины прихода Сен- Жермен-Л'Оксерруа, проходя по вечерам под освещенными окнами Бурбонского дворца, были не мало скандализированы, слыша, как те же голоса, которые еще недавно распевали духовные песни во время вечере, распевали, при чокании стаканов, застольную песенку папы Бенедикта XII: «Будем пить по-папски».

Эта-то, вполне заслуженная им популярность, избавила его, по всей вероятности, при появлении его в зале от всякого враждебного приема со стороны собравшейся здесь толпы, еще за минуту перед тем столь недовольной и нерасположенной относиться с особенным уважением к папе в тот самый день, когда она собиралась избрать папу. Но парижане – народ, вообще, не злопамятный; и к тому же, настояв на том, чтобы представление началось ранее прибытия кардинала, они чувствовали, что одержали победу над последним, с ним было достаточно этого торжества. Наконец, кардинал Бурбонский был красавец собою, пурпурная мантия шла к нему как нельзя лучше, а из этого следует, что на его стороне были все женщины, т. е. добрая половина аудитории; а в глазах их было несправедливо и бестактно освистать такого красивого и нарядного кардинала только за то, что он заставил несколько подождать себя.

Итак, он вошел, поклонился присутствующим с шаблонной в таких случаях улыбкой, с которою сильные мира сего обыкновенно кланяются народу, и медленно направился к приготовленному для него креслу алого бархата, думая, однако, очевидно, о чем-то совершенно ином. Свита его, или то, что мы назвали бы ныне его штаб, состоявший из епископов и аббатов, последовала за ним на эстраду, тоже привлекая на себя внимание и возбуждая любопытство присутствующих. Всякий старался указать на того или другого из них своему соседу, назвать по имени, обнаружить, что и он знает этих важных особ: тот называл монсеньора Алоде, если память не изменяет мне, епископа марсельского; другой – Робера де-Леспинасса, аббата Сен-Жерменской церкви, этого развратного брата одной из фавориток Людовика XI; и все это сопровождалось разными шуточками и насмешками. Особенно шумели школьники: это был их праздник, день всяческих дурачеств, их сатурналии, ежегодная оргия школяров и писцов. В этот день все дозволялось, всякая пошлость. К тому же в толпе были и известные всему городу женщины лёгкого поведения: Симона Катрливр, Агнесса Ла-Гадин, Робона Пьедебу. Неужели же не посквернословить и не побогохульствовать в такой день, в такой честной компании? Они и не упускали делать это, и в воздухе так и носились разные крепкие словца, срывавшиеся с уст школяров, которые в другое время не решались бы и разинуть рта, из опасения различных, довольно неприятного свойства дисциплинарных наказаний. Бедный Людовик Святой, во что превратился в этот день бывший его дворец! Каждый из этих сорванцов избрал предметом своих насмешек какую-либо из появившихся на эстраде черных или белых, или серых, или фиолетовых ряс. Что касается Жанна Фролло-де-Молендино, то он, в качестве брата протоиерея, избрал предметом своих насмешек пурпурную мантию и распевал во всю глотку, нагло уставив глаза свои на кардинала:

– Голова, набитая соломой!

Но все эти частности, о которых мы повествуем читателям, до того покрывались общим шумом и гамом, что едва ли достигали почетной эстрады в определенных членораздельных звуках. А, впрочем, даже и в противном случае кардинал вряд ли обратил бы на них особое внимание, так как в праздник шутов принято было смотреть на многое сквозь пальцы. К тому же у него была другая забота, и это читалось даже на его лице, – а именно фландрское посольство, вошедшее почти одновременно с ним на эстраду. Не то, чтобы он был глубокомысленный

политик и чтобы его особенно занимали возможные последствия брака кузины его, Маргариты Бургундской, с кузеном его Карлом, наследным принцем австрийским; его мало беспокоило и то, как долго продержится этот искусственным образом созданный союз между королем Франции и австрийским герцогом, и как отнесется король Англии к этому пренебрежению его дочери. Он каждый вечер попивал свое доброе вино Шальо, ни мало не подозревая, что несколько бутылок этого самого вина (правда, несколько подправленного доктором Коктье), радушно предложенных Людовиком XI Эдуарду IV, в одно прекрасное утро избавят первого от последнего. Многоуважаемое посольство господина герцога Австрийского не причиняло кардиналу никаких подобного рода забот, но оно было неприятно ему в другом отношении. Ему было досадно, как мы говорили уже выше, что ему, Карлу Бурбонскому, приходилось чувствовать каких-то мещан, ему, кардиналу, любезничать с какими-то мещанами, ему, веселому жуиру-французу, возиться с какими-то потребителями пива, – и притом еще публично. Во всяком случае, это было одно из самых неприятных для него одолжений, которые ему когда-либо приходилось делать королю.

Однако когда привратник возвестил звучным голосом: – Господа посланники герцога австрийского! – он, как истый царедворец, с самой любезной улыбкой повернулся к входной двери; нечего и говорить, что туда же обернулись и взоры всех прочих присутствующих.

Затем стали входить попарно, с важным видом, составляющим резкий контраст с веселой духовной свитой самого кардинала, сорок восемь послов Максимилиана Австрийского, с преподобным Иоанном, сен-бертенским аббатом, канцлером ордена Золотого Руна, и с Яковом де-Гуа-Доби, старшим бургомистром Гента, во главе. В зале водворилось молчание, лишь изредка прерываемое сдержанным смехом, когда привратник провозглашал неудобопроизносимые фламандские имена и странные титулы гг. послов, безбожно коверкая первые. Тут были и Лоис Ролов, бургомистр города Лёвена, и Клас фан-Этульде, бургомистр Брюсселя, и Павел фан-Бейст-Вормозель, президент Фландрской провинции, и Ян Колегенс, бургомистр Антверпена, и Георгий де-ла-Мур, старший ратман города Гента, и Гельдольф-ван-дер-Хаге, младший ратман того же города, и какие-то господа Бирбек, Пиннок, Демарзель и пр., и пр., – и все бургомистры, ратманы, старшины, старшины, ратманы, бургомистры. И все они держались прямо, точно аршин проглотили, все они были одеты по-праздничному в бархат и парчу, с черными бархатными шапками на голове, украшенными золотыми кисточками. Вообще, это были добрые фламандские лица, почтенные и строгие, в роде тех, которые Рембрандт так мастерски вывел на темном фоне своего «Ночного патруля». На всех этих лицах как будто так и написано было, что Максимилиан Австрийский имел полное право, как сказано было в его манифесте, «вполне положиться на их здравый смысл, бдительность, честность, осторожность и рассудительность».

Впрочем, один из послов составлял некоторое исключение. У него было умное и хитрое лицо, представлявшее собою как бы смесь морды обезьяны и лица дипломата. Кардинал сделал ему навстречу несколько шагов и отвесил ему низкий поклон. Это был Вильгельм Рим, советник и пенсионер города Гента.

В то время мало кто знал, кто таков был Вильгельм Рим. А между тем, это был человек недюжинный, который в другие, более беспокойные времена не преминул бы всплыть на поверхность и играть видную роль, но который по тогдашним обстоятельствам, в XV веке, должен был ограничиваться мелочными интригами и заниматься подпольной работой, как выражается герцог Сен-Симон. Впрочем, его оценил по достоинству первый сапер тогдашней Европы: он находился в постоянных сношениях с Людовиком XI и часто помогал этому королю в его темных делишках. Но все это было неизвестно собравшейся в зале толпе, которая поэтому немало удивлялась предупредительности кардинала по отношению к этой невзрачной фигуре фламандского бургомистра.

IV. Жак Коппеноль

Между тем, как гентский пенсионер и кардинал обменивались низкими поклонами и несколькими, сказанными шепотом, словами, – к Вильгельму Риму подошла высокая, широкоплечая, широколицая особа, производившая рядом с последним впечатление бульдога, поместившегося рядом с лисицей. Его простая войлочная шляпа и его кожаный плащ составляли резкий контраст с окружавшими его бархатом и шелком. Предполагая, что это какой-нибудь затесавшийся не в свое место конюх, привратник остановил его словами:

– Эй, приятель, сюда нельзя!

Человек в кожаном плаще оттолкнул привратника плечом и произнес громким голосом, обратившим на него внимание всех присутствующих:

– Чего этому шуту нужно от меня? Разве ты не видишь, кто я?

– Ваше имя? – спросил привратник.

– Жак Коппеноль.

– Ваше звание?

– Чулочник, под вывеской «Трех цепочек», в Генте.

Привратник отступил. Докладывать о бургомистрах и ратманах – еще куда ни шло; но докладывать о чулочнике, – это уже ни на что не было похоже. Кардинал стоял точно на иголках. Вся публика смотрела в его сторону и слушала. Вот уже два дня, иго его преосвященство старался как-нибудь оболванить этих фламандских медведей и сделать их сколько-нибудь способными явиться в публичном месте, – и вдруг такой казус! Однако, Вильгельм Рим, ехидно улыбаясь, приблизился к привратнику и сказал ему шепотом:

– Доложите: Жак Коппеноль, секретарь совета старшин города Гента.

– Привратник, – повторил кардинал вслух: – доложите – Жак Коппеноль, секретарь совета старшин славного города Гента.

Это, с его стороны, было ошибкой. Вильгельму Риму, быть может, и удалось бы одному устранить затруднение. Но, услышав слова кардинала, Жак Коппеноль воскликнул громовым голосом:

– Нет, черт возьми! Доложи: Жак Коппеноль, чулочник. Слышишь ли, привратник? Не более и не менее. Разве чулочник не человек? Г. эрцгерцог не раз забирал у меня чулки для себя!

Раздались рукоплесканий и смех. Парижане всегда любили подобные выходки и поэтому отнеслись к оригиналу весьма благосклонно. Нужно еще заметить, что Коппеноль был человек из народа, и что его окружало преимущественно простонародье. Поэтому он сразу расположил к себе толпу, увидевшую в нем своего брата. Высокомерная выходка фламандского чулочника, шокировавшая людей высокопоставленных, пришлась как нельзя более по душе простому народу, у которого уже в XV веке бродила в головах мысль о равенстве. «Молодец чулочник, являющийся к кардиналу, как равный к равному!» – вот что невольно думал каждый, которому, быть может, не раз приходилось низко кланяться лакею кого-либо из сильных мира сего.

Коппеноль не без сознания собственного своего достоинства поклонился его высокопреосвященству, который вежливо ответил на этот поклон нового союзника Людовика XI. Затем, между тем как Вильгельм Рим, этот хитрый и пронырливый человек, следовал за ними с насмешливой улыбкой на устах, они добрались до своих мест, кардинал с недовольным и мрачным видом, а Коппеноль – спокойный и гордый, сознававший, по всей вероятности, в душе своей, что его титул чулочника ничем не хуже любого иного титула, и что Мария Бургундская, мать той самой Маргариты, которую приехал сватать Коппеноль, боялась бы его менее, если бы он был кардиналом, а не чулочником: ведь кардинал не взбунтовал бы жителей Гента против

любовников дочери Карла Смелого; кардинал не убедил бы своих сограждан не поддаваться на просьбы и слезы герцогини, когда та явилась даже у подножия эшафота просить за своих любовников. А между тем, чулочнику достаточно было только поднять свою облеченную в кожаный рукав руку, чтобы заставить покатиться по плахе головы знатных вельмож – канцлера Вильгельма Гюгонета и Гюи д'Эмберкура.

Однако испытаниям многострадального кардинала еще не наступил конец, и он должен был испытать до дна чашу в такой неприятной компании.

Читатель, быть может, не забыл того наглого нищего, который с самого начала представления взобрался на балдахин, возвышавшийся над кардинальской эстрадой. Прибытие знатных гостей не заставило его покинуть своего места, и между тем, как прелаты и послы усаживались, точно голландские сельди, на местах, устроенных на эстраде, он, поджав под себя ноги, весьма удобно расположился на перекладине. Однако, в первое время никто не обратил внимания на эту дерзкую выходку, так как всеобщее внимание было отвлечено в другую сторону. Он тоже, казалось, не обращал никакого внимания на то, что происходило в зале: он покачивал головой с беззаботностью неаполитанского лаццарони, повторяя по временам машинально, среди всеобщего шума: – «Подайте милостыню, Христа ради!» И из всех присутствующих он один, вероятно, не удостоил повернуть голову в ту сторону, где происходил крупный разговор между Коппенолем и привратником. Но случилось так, что гентский чулочник, к которому толпа внезапно почувствовала такую симпатию и на которого устремлены были все взоры, уселся на эстраде в первом ряду, как раз под тем местом, где восседал нищий; и не мало было всеобщее удивление, когда фламандский посол, глянув на молодца, так комфортабельно расположившегося около него, фамильярно потрепал его по плечу, покрытому лохмотьями. Нищий обернулся; сначала они оба посмотрели друг на друга с удивлением, затем, по-видимому, узнали друг друга, и лица их просияли; наконец, чулочник и калека, не обращая ни малейшего внимания на многочисленных зрителей, принялись потихоньку беседовать, взявшись за руки, при чем лохмотья Клопена Трульефу, оттеняясь на яркой позолоте эстрады, производили впечатление червяка на апельсине.

Странность этой сцены до того поразила и развеселила толпу, что даже кардинал, наконец, обратил на это внимание. Он наклонился, но так как с того места, где он сидел, он мог разглядеть только более чем неблестящий костюм Трульефу, то он, весьма понятным образом, вообразил себе, что нищий просит милостыни у одного из послов, и, возмущившись этой наглостью, он воскликнул:

– Г. пристав, вышвырните-ка в реку этого негодяя!

– Что вы, что вы, г. кардинал! – сказал Коппеноль, не выпуская руки нищего, – это приятель мой!

– Браво, браво! – заорала толпа, и начиная с этой минуты Жак Коппеноль сделался не менее популярным у парижской черни, чем у гентской: ей понравились его простота и бесцеремонность.

Кардинал закусил себе губы, нагнулся к своему соседу, аббату церкви св. Женевьевы, и сказал ему вполголоса:

– Однако, забавных же послов прислал нам, в качестве сватов, г. эрцгерцог.

– Ваше преосвященство, – ответил аббат: – напрасно относитесь с такою предупредительностью к этим фламандским боровам. Не мечите бисера перед свиньями!

– Вернее будет сказать – свиней перед бисером... – заметил кардинал, улыбнувшись.

Весь маленький двор кардинала пришел в восторг от этой игры слов. Кардинал почувствовал некоторое облегчение: он расквитался с Коппенолем и, кстати, сказал удачный каламбур.

Теперь пусть те из наших читателей, которые имеют способность обобщить какую-нибудь картину или идею, как нынче принято говорить, позволят нам предложить им вопрос – могут

ли они составить себе ясное понятие о том зрелище, которое в настоящую минуту представлял обширный параллелограмм большой залы судебного здания? Посреди залы прислоненная к западной стене, возвышалась просторная и роскошная эстрада, на которую всходили один за другим, в небольшую стрельчатую дверь, разные высокопоставленные лица, имена которых выкрикивал привратник. На первых скамейках сидели более почетные лица, укутанные в горностаевый мех, пурпур и бархат. Вокруг эстрады, на которой царило величественное молчание, под нею, насупротив, словом, всюду шум и толкотня. Тысячи взоров обращены были на эстраду, тысячи уст шепотом повторяли имена занимавших её лиц. Во всяком случае, любопытное зрелище, достойное обратить на себя внимание толпы. Но что это там, в углублении, за подмостки, с четырьмя полосатыми фиглярами на них и четырьмя другими под ними? Что это за человек стоит возле подмостков, в черном сюртуке и с бледным лицом? Увы! любезный читатель, это Пьер Гренгуар со своим прологом. А ведь мы совсем было забыли о них.

Случилось именно то, чего он опасался. С тех пор, как вошел кардинал, Гренгуар не переставал суетиться, стараясь спасти свой пролог. Сначала он убеждал актеров, остановившихся играть, продолжать и говорить погромче. Затем, убедившись в том, что никто их не слушает, он сам же остановил их, и в течение четвертьчасового перерыва не переставал топтать ногою, судорожно потирать руки, обращаться к Жискетте и Лиенарде, убеждать своих соседей в том, что пролог сейчас возобновится. Но все было тщетно: никто не сводил глаз с кардинала, с послов, с эстрады, сделавшихся фокусом, на котором сосредоточились все взоры. Нужно полагать также, — и мы высказываем это с сожалением, — что пролог начал уже порядком-таки надоедать аудитории в то время, как прибытие кардинала произвело такую неприятную для автора диверсию. В конце концов, на эстраде, как и на мраморном столе, разыгрывалось, в сущности, одно и то же представление — столкновение дворянства, духовенства, торговли и труда; а многие предпочитали даже видеть представителей этих четырех классов общества живыми, дышащими, разговаривающими, кланяющимися друг другу, олицетворенными в лице фламандских послов, кардинала и его свиты, Коппенюля и его нового собеседника, чем нарумяненными, наряженными, говорящими какими-то стихами, изображающими из себя каких-то чучел, облеченных, по воле Гренгуара, в белые и желтые хламиды.

Однако поэт наш, заметив, что тишина более или менее водворилась, вздумал пуститься на такой фортель, который, по его Мнению, мог все спасти.

— А что, сударь, — сказал он, обращаясь к одному из своих соседей, добродушному на вид толстяку с лоснящейся физиономией, — что если бы начать сызнава?

— Что начать? — спросил сосед.

— Как что? Понятно, мистерию, — ответил Гренгуар.

— Ну что ж! Как вам будет угодно... — произнес сосед.

Этого полуодобрения было достаточно для Гренгуара. Замешавшись в толпу, он стал кричать, изображая собою голос из публики:

— Начните сызнава мистерию, начните сызнава!

— Ах, черт возьми! — сказал Жан дю-Мулен, — что они там горланят, на том конце? (ибо Гренгуар кричал за четверых.) — Послушайте-ка, ребята, неужели мистерия еще не окончена? А они хотят начать ее сызнава: это не порядок.

— Ненужно, ненужно! — закричали школьники. — Прочь мистерию, прочь!

Но Гренгуар не хотел сдаваться и кричал пуще прежнего:

— Начните сызнава! Начните сызнава!

Эти крики обратили на себя внимание кардинала. —

— Г. судья, — сказал он высокому, черному человеку, одетому в черное и стоявшему в нескольких шагах от него, — что эти шуты гороховые подняли за возню, точно бес перед заутреней?

Судья, которому в этот день выпало исполнять полицейские обязанности, так как представление происходило в подведомственном ему здании суда, приблизился к кардиналу и, опасаясь возбудить его неудовольствие, принялся, заикаясь, объяснять ему причину неудовольствия толпы, доложив ему, что так как в 12 часов его преосвященство еще не изволил пожаловать, то актеры и вынуждены были начать представление, не дождавшись его преосвященства.

Кардинал расхохотался и сказал:

– А жаль, что г. ректор университета не поступил таким же образом! Что вы на это скажете, г. Вильгельм Рим?

– Я полагаю, монсеньор, – ответил Рим: – что мы должны радоваться тому, что избавились от целой половины представления. Ведь это чего-нибудь да стоит!

– Могут ли эти шуты гороховые продолжать свое представление? – спросил судья.

– Пусть, пусть продолжают... – ответил кардинал: – мне все равно, – я тем временем буду читать свой требник.

Судья приблизился к эстраде и закричал, водворив молчание жестом руки:

– Граждане, обыватели и иногородние! Для того, чтобы примирить тех, которые желают, чтобы представление кончилось, и тех, которые желают, чтобы оно началось сызнова, его преосвященство изволил приказать, чтобы оно продолжалось.

И той, и другой стороне пришлось подчиниться желанию кардинала; однако, и публика, и автор остались одинаково недовольны таким его распоряжением.

Действующие лица мистерии принялись читать стихи, и Гренгуар надеялся было, что, по крайней мере, остальная часть его произведения будет выслушана публикой. Но и этой надежде его так же мало суждено было сбыться, как и остальным. Среди слушателей, действительно, водворилась некоторая тишина; но Гренгуар не заметил, что в то время, когда кардинал отдал приказание продолжать, эстрада была еще далеко не вся наполнена публикой, и что после фландрских послов явилось еще много других знатных лиц, имена и звания которых громогласно возвещались привратником среди диалогов актеров и совершенно уничтожали впечатление этих диалогов. Действительно, пусть только читатель представит себе театральную залу, в которой на сцене декламируются стихи, между тем, как привратник, между двумя стихами, или даже между двумя полустихиями, кидает восклицания в роде следующих:

– Господин Жак Шармолю, королевский прокурор при духовном судилище!

– Жак де-Гарлей, начальник ночных караулов города Парижа!

– Г. Галио-де-Женольяк, барон Брюссак, кавалер и фельдцейхмейстер короля.

– Г. Дрё-Рагье, инспектор королевских лесов во Франции, Шампани и Бри!

– Г. Луи де-Гравиль, кавалер, камергер, адмирал, хранитель Венсенского леса!

– Г. Дени Лемерсье, директор убежищ слепых в Париже!

И т. д., и т. д. – Просто становилось невыносимо!

Этот странный аккомпанемент, при котором почти невозможно было следить за ходом пьесы, тем более бесил Гренгуара, что он не мог скрыть от себя, что интерес зрителей к его произведению все более и более увеличивался и что этот интерес еще усилился бы, если б они могли спокойно выслушать его. Действительно, трудно было придумать более остроумные и драматические сочетания. Четыре аллегорических лица, выступивших в прологе, продолжали ныть и жаловаться, когда перед ними предстала Венера, одетая в красивый тюник, на материи которого были вышиты гербы города Парижа. Она явилась для того, чтобы требовать дофина, обещанного самой красивой женщине на свете.

Юпитер, гремя своим громом в гардеробной, тоже явился, чтобы поддерживать ее требование, и богиня уже готова была восторжествовать, т. е., говоря попросту, выйти замуж за г. дофина, когда ребенок, одетый весь в белое и державший в руке, маргаритку (очень прозрачное олицетворение принцессы Фландрской), явился оспаривать дофина у Венеры. Это был куль-

минационный пункт мистерии. После некоторых пререканий Венера, Маргарита и все четыре аллегорических лица порешили отдать дело на суд Пресвятой Богородицы. Тут же каким-то образом затесался и какой-то дон-Педро, царь Месопотамский; но среди бесконечных перерывов трудно было разобрать, какую, собственно, роль он здесь играл. Словом, все было поставлено на очень высокую ногу.

Но, увы! все эти красоты прошли непонятыми и непрочувствованными. По прибытии кардинала, точно какая-то невидимая волшебная нитка внезапно протянула все взоры от мраморного стола к эстраде, от южного конца зала к западному, и ничто не в состоянии было разрушить волшебства, под влиянием которого находилась аудитория. Все взоры продолжали обращаться к эстраде, и новоприбывшие, и проклятые имена их, и лица, и костюмы их не переставали отвлекать внимание публики. Гренгуар приходил в отчаяние. За исключением Жискетты и Лиенарды, которые по временам оборачивались к сцене, да и то тогда, когда Гренгуар дергал их за рукав, за исключением толстого, терпеливого соседа Гренгуара, никто не слушал, никто не смотрел на злополучное детище его музыки. Все обратились к сцене профилем.

С какою горечью смотрел он, как отваливался один камень за другим от сооруженного им с таким трудом пьедестала поэтической славы! И подумать при этом, что эта же самая публика еще так недавно чуть-чуть не взбунтовалась против распорядителей, до такой степени доходило нетерпеливое желание ее поскорее услышать его пьесу! А теперь, когда она могла наслаждаться ею, никто и не думал о ней! А как хорошо, какими единодушными знаками одобрения началось представление! Таков уж вечный закон прилива и отлива народного расположения! И подумать, что эта самая публика чуть не повесила четырех приставов за то, что недостаточно скоро начиналось представление. Как сладок был для Гренгуара этот час торжества, но как он был и краток!

Однако, несносным монологам привратника настал-таки конец, все уже были на местах, и Гренгуар вздохнул свободнее. Актеры снова бойко принялись за свои роли. Но нужно же было случиться так, что вдруг поднимается с своего места чулочник Коппеноль и, к ужасу Гренгуара, обращается к публике, среди всеобщего внимания, с следующей ужасной речью:

– Господа парижские граждане и дворяне! Я, клянусь Богом, не знаю, что мы здесь делаем. Я, правда, вижу там, в углу, на помосте, каких-то людей, которые точно собираются подраться между собою. Не знаю, это ли вы называете «мистерией», но, во всяком случае, это очень скучно. Вот уже четверть часа, что я жду, когда начнется свалка, а они все ни с места. Это какие-то трусы, умеющие только ругаться, а не драться. Следовало бы лучше выписать кулачных бойцов из Лондона или из Роттердама. Вот тогда-то вы увидали бы, как следует драться на кулачках. А эти люди поистине жалости достойны! Добро бы еще они проплясали перед нами мавританский танец или выкинули какое-нибудь другое колено. Нам обещали совсем не то; нам говорили, что будет устроен праздник шутов, с избранием шутовского папы. И у нас, в Генте, избирают шутовского папу, но у нас, ей-Богу, это бывает гораздо забавнее. Вот как это делается у нас: собирается такая же орава, как и здесь. Затем каждый просовывает свою голову в большую дыру и строит другим гримасу. Тот, кто, по общему признанию, состроит самую безобразную гримасу, провозглашается папой. Уверяю вас, что это очень забавно. Не хотите ли, чтобы мы дали вам такое представление, какое в этот день принято давать в нашей стране? Это будет много повеселее, чем слушать этих болтунов. Если они желают тоже просовывать свои физиономии в отверстие и строить гримасы, – милости просим. Как вы находите мое предложение, господа граждане? Здесь найдется достаточно забавных физиономий обо-его пола, чтобы нам можно было вдосталь нахохотаться на фламандский манер, да и мы сами надеемся не ударить в грязь лицом и состроить уморительные гримасы.

Гренгуар хотел было отвечать; но удивление, гнев, негодование совершенно лишили его способности говорить. Да к тому же предложение чулочника было встречено с таким восторгом гражданами, польщенными тем, что их называли дворянами, что всякое сопротивление с его

стороны было бы бесполезно. Ему ничего более не оставалось, как отдаться течению и закрыть лицо свое обеими руками, так как у него не было плаща, которым он мог бы укутать свою голову, подобно Цезарю под ударами убийц.

V. Квазимодо

Мигом все было готово для приведения в исполнение мысли Коппенполя. Граждане, школяры и писцы живо принялись за дело. Местом для изображения гримас была избрана небольшая будка, стоявшая насупротив большого мраморного стола. В круглом окошечке, проделанном как раз над дверью, оказалось разбитым стекло, и решено было, что все конкуренты будут просовывать свою голову в это круглое отверстие. Для того, чтобы достать до него, достаточно было взлезть на два бочонка, явившиеся неизвестно откуда и кое-как прилаженные один на другой. Решено было, что всякий, – чтобы не портить преждевременно впечатления своей гримасы, закроет себе чем-нибудь лицо, и в таком виде будет стоять в часовеньке, покуда до него не дойдет очередь. Часовня моментально наполнилась конкурентами, после чего за ними была заперта дверь.

Коппеноль, не покидая своего места, всем распоряжался, устраивал, приказывал. Во время этих приготовлений, кардинал, не менее скандализированный тем, что творилось, чем Гренгуар, поспешил удалиться, под предлогом неотложных дел и вечерни, причем вся эта толпа, которую так сильно волновало его прибытие, не обратила ни малейшего внимания на отбытие его; один только Вильгельм Рим заметил бегство кардинала. Внимание толпы, подобно солнцу, совершало свое круговращательное движение: начавшись в одном конце залы, остановившись на мгновение в середине ее, оно дошло теперь до другого ее конца. Очередь мраморного стола и покрытой парчой эстрады миновала: наступила очередь и для часовни Людовика XI. Теперь открылось обширное поле для всяких дурачеств: в зале оставались только фламандцы и парижская чернь.

Началось изображение гримас. Первая рожа, появившаяся в окошечке, с вывороченными веками, с разинутым, в роде пасти, ртом, и с лбом, сморщенным, точно ботфорты, вызвала такой взрыв хохота, что старик Гомер непременно принял бы всех присутствующих за богов; а тем не менее, зал менее всего был похож на Олимп, и бедному Юпитеру Гренгуара это было известно лучше, чем кому-либо другому. Первую рожу сменила вторая, третья, затем еще, и еще, и каждую из них встречали взрывы хохота и топанье ногами. В этом представлении было что-то одуряющее, опьяняющее, привлекательное, о чем трудно составить себе понятие современному, вращающемуся в наших салонах, читателю. Пусть он только вообразит себе целую серию рож, последовательно изображавших собою всевозможные геометрические фигуры, начиная от треугольника и до трапеции, от конуса до многогранника, принимавших всевозможные выражения, начиная от гнева до сластолюбия, представлявших всевозможные возрасты, начиная от морщин только что родившегося ребенка и до морщин умирающей старухи, всевозможные мифологические существа, от Фавна до Вельзевула, всевозможные звериные профили – от клюва до пасти, от свиного рыла до куньей мордочки. Пусть он представит себе уморительные фигурки с Нового моста, – этих уродов, окаменевших было под рукою Жермена Пилона, а затем вдруг в внезапно оживших и уставляющих на вас свои пылающие глаза, все маски венецианского карнавала, проходящие перед вашей зрительной трубкой, пусть он, словом, представит себе настоящий человеческий калейдоскоп.

Оргия принимала все более и более фламандский характер. Теньер мог бы дать лишь весьма слабое понятие о ней, – пусть читатель представит себе лучше какую-нибудь батальную картину Сальватора Розы в виде вакханалии. В публике уже не было более ни послов, ни школяров, ни горожан, ни мужчин, ни женщин; ни Клопена Трульефу, ни Жиля Лекорню, ни Мари Катрливр, ни Робена Пусспена: все смешалось и слилось вместе в одном общем, необузданном

веселье. Большая зала превратилась в какой-то обширный очаг всяческих дурачеств и зубо-скальства, причем каждый рот был гоготанием, каждое лицо – гримасой, человек – паяцем. Все это кричало и ревели. Странные рожи, появлявшиеся поочередно в круглом окошечке, были столько же горящих головней, брошенных в склад горючего материала. И над всей этой бурлящей толпой стоял, как пар над плитой, какой-то шипящий и свистящий гул, точно в воздухе жужжали тысячи шмелей.

– Ах, чтоб им пусто было!

– Глянь-ка на эту рожу!

– Ну, эта-то рожа не важна! Гляди-ка, вон, на эту!

– Гильеметт Монрепюи, посмотри-ка на эту бычачью морду! У нее только нет рогов, а то это был бы вылитый муж твой.

– Убирайся ты к черту!

– А это что еще за гримаса?

– Эй, вы, любезные! не плутовать! Высовывать только лицо!

– Экая шустрая эта Пьеретта Кальбот! Ведь только от нее этого станется!

– Ой, батюшки, задавили!

– А вон этот не может пролезть с ушами своими! – И т. д., и т. д., и т. д.

Нужно, однако, отдать справедливость нашему приятелю Жану: среди этого шабаша он не покидал своего столба, продолжая восседать на нем, точно юнга на салинге, и возился там, как бесноватый. Рот его был разинут во всю ширь, и из него раздавался какой-то крик, которого, однако, не было слышно, не потому, что он был заглушаем общим гамом, как бы громок ни был последний, но потому, вероятно, что он достиг крайнего предела различаемой высоты звуков, двенадцати тысяч вибраций Совера или восьми тысяч Био.

Что касается Гренгуара, то овладевший им припадок слабости миновал, и он снова попробовал было бодриться и бороться против препятствий.

– Продолжайте! – сказал он в третий раз своим говорящим машинам-актерам. Затем, шагая перед мраморным столом, он вдруг почувствовал желание подойти самому к окошечку часовни и соорудить гримасу этой неблагодарной толпе. – Но нет, нет, это было бы недостойно меня! Не нужно мщения! Будем бороться до конца! – говорил он сам себе. – Поэзия производит обаятельное действие на толпу. Я заставлю их образумиться. Посмотрим, что окажется сильнее – гримасы или поэзия.

Но, увы! Он остался единственным зрителем пьесы. Он не видел перед собою ничего, кроме людских спин!

Впрочем, нет, я ошибаюсь: терпеливый толстяк, мнения которого он уже спрашивал в критический момент, спокойно продолжал ждать возобновления представления; но за то легкомысленные Жискетта и Лиенарда давно уже показали тыл.

Гренгуар был тронут до глубины души верностью своего единственного зрителя. Он подошел к нему и, слегка потрясая его за руку, – ибо ценитель его произведения, прислонившись к балюстраде, слегка задремал, – обратился к нему со словами:

– Благодарю вас, милостивый государь.

– За что это, сударь? – спросил толстяк, зевнув.

– Я понимаю, что вы досаждаете на весь этот шум, мешающий вам хорошенько слушать пьесу, – сказал наш поэт. – Но будьте покойны: ваше имя перейдет к потомству. Позвольте узнать ваше имя?

– Рено Шато, секретарь суда, к вашим услугам.

– Вы, милостивый государь, являетесь здесь единственным представителем муз! – сказал Гренгуар.

– Вы слишком любезны, сударь! – ответил секретарь суда.

- Вы одни, – продолжал Гренгуар: – внимательно слушали пьесу. Как вы ее находите?
- Да как вам сказать, недурна... – ответил толстяк как бы спросонья.

Гренгуару пришлось удовольствоваться этой похвалой, ибо разговор их был прерван взрывом рукоплесканий и оглушительными кликами: только что был выбран папа шутов.

- Браво! браво! браво! – ревел народ.

Действительно, в эту минуту из окошечка выглядывала поразительная рожа. После всех пятиугольных, шестиугольных и иных геометрических комбинаций физиономий, высывавшихся в окошечко, из которых, однако, ни одна не удовлетворяла идеалу смешного, созданного воображением расходившейся толпы, только такая, действительно, необыкновенная рожа, как та, которая теперь появилась в окошечке, могла поразить толпу и получить пальму первенства. Даже менгир Коппеноль принялся аплодировать; даже Клопен Трульефу, который сам участвовал в конкурсе и которому удалось соорудить достаточно безобразную рожу, должен был признать себя побежденным. И мы последуем его примеру. Мы не будем стараться описать читателю тот четырехгранный нос, тот подковообразный рот, тот крохотный левый глаз, почти совсем закрытый густою рыжею бровью, между тем, как правый глаз совершенно исчезал под громадной бородавкой, те поломанные, кривые зубы, напоминавшие собою зубцы крепостной стены, те потрескавшиеся губы, на которые выступала пара зубов, точно кабаньи клыки, тот раздвоенный подбородок, и в особенности разлитую по всей этой поражающей физиономии смесь злости, удивления и печали. Пусть читатель, если может, попытается создать все это в своем воображении.

Все присутствующие завопили, как один человек; все ринулись к часовне и с торжеством вынесли из нее на руках счастливого папу шутов. Но тут-то удивление толпы достигло крайних пределов; оказалось, что гримаса эта была обыкновенным выражением его лица; или, вернее, вся его фигура была не что иное, как гримаса. Над двумя большими горбами, спереди и сзади, сидела огромная голова, покрытая всклокоченными рыжими волосами; ноги у него были так странно устроены, что соприкасались только коленями, а если на них смотреть спереди, то они представляли собою подобие двух выгнутых наружу серпов, сходящихся у рукояток; широкие ступни, чудовищные руки, и рядом с этим безобразием – что-то мощное, сильное и ловкое во всей фигуре, какое-то странное исключение из общего правила, по которому как сила, так и красота, немыслимы без гармонии. Точно разбитый и неудачно спаянный великан!

Когда это подобие циклопа появилось на пороге часовни, неподвижное, приземистое, почти одинаковых размеров в высоту и в ширину, тумбообразное, в каком-то наполовину красном, наполовину фиолетовом кафтане, усеянном серебряными колокольчиками, в своем неподражаемом безобразии, – толпа тотчас же узнала его и закричала в один голос:

- Это звонарь Квазимодо! Это горбун Квазимодо! Это кривой, косолапый Квазимодо!
- Браво! браво!

Как оказывается, у этого молодца был немалый выбор прозвищ.

- Берегитесь, беременные женщины! – кричали школяры.
- Нет, берегитесь, чтобы не забеременеть! – воскликнул Жан.

Действительно, женщины поспешили закрыть себе лица руками и платками.

- Фу, какая гадкая обезьяна! – воскликнула одна из них.
- Он так же зол, как и безобразен! – вставила свое слово другая.
- Это олицетворенный черт! – прибавила третья.

- Я живу как раз около собора, и каждую ночь слышу, как он бродит по кровле.
- Вместе с кошками!

- Он бродит и по нашим крышам и бросает нам порчу через дымовые трубы!

– Намедни вечером он подошел к моему слуховому окну и соорудил гримасу. Я страшно перепугалась.

- Я уверена, что он ездит на шабаш ведьм. Раз как-то он забыл свою метлу на моей крыше.

– У-у! горбатый урод! – У-у! гадина! – Бррр...

Мужчины, напротив, были в восхищении и рукоплескали.

Квазимодо, виновник всего этого гвалта, все стоял в дверях часовни, серьезный и мрачный, позволяя толпе любоваться собою.

Кто-то из школяров, кажется Робен Пусспен, подошел к нему совсем близко и фыркнул ему в самое лицо. Квазимодо только схватил его за пояс и отшвырнул его на десять шагов в толпу, не произнеся ни единого слова.

Пораженный видом его, Коппеноль подошел к нему и сказал:

– Клянусь Богом, я в жизни моей не видел подобного уродства! Ты заслуживал бы быть папою не только в Париже, но и в Риме, – и с этими словами он положил ему руку на плечо. Квазимодо не пошевелился.

– Ты нравишься мне, – продолжал Коппеноль, – и меня подмывает кутнуть с тобою, хотя бы мне это и обошлось в 12 турских ливров. Что ты на это скажешь, приятель?

Квазимодо продолжал молчать.

– Да что ты, глух, что ли, черт побери! – воскликнул чулочник.

Квазимодо, действительно, был глух. Однако, приставание Коппеноля начинало надоедать ему, и он вдруг повернулся к нему с таким страшным зубовым скрежетом, что фламандский великан отскочил подобно тому, как бульдог отскакивает от рассерженной кошки. После того вокруг этой странной личности образовался круг, по крайней мере, пятнадцати шагов в радиусе, который стал смотреть на него с ужасом и почтением. Какая-то женщина объяснила Коппенолу, что Квазимодо глух.

– Глух! – загоготал фламандский чулочник. – Тем лучше! Значит, настоящий папа!

– Аа! Я узнаю его! – воскликнул Жан, слезший, наконец со своей капители, чтобы поближе рассмотреть Квазимодо. – Это звонарь моего брата, архидиакона. Здравствуй, Квазимодо.

– Экий черт! – сказал Робен Пусспен, почесывая ушибленные при падении места. – Горбатый, косолапый, кривой, глухой! Что же, уж и не немой ли он, этот Полифем?

– Нет, он говорит, когда захочет... – ответила старуха. – Он оглох только от того, что всю свою жизнь звонил в большие колокола, но он не нем.

– Этого только недоставало ему! – заметил Жан.

– И, кроме того, у него один лишний глаз... – прибавил Робен Пусспен.

– Нет, нисколько! – серьезно заметил Жан. – Кривой – большой калека, чем слепой, потому что он, по крайней мере, может сам видеть, чего ему недостает.

Тем временем нищие, лакеи, карманники, вместе с школярами, отправились процессией к шкафу писцов, чтобы вынуть оттуда картонную тиару и шутовскую мантию папы шута. Квазимодо позволил облечь себя в них, не моргнув бровью, с какою-то горделивой покорностью. Затем его усадили на расписанные носилки, двенадцать членов братства шутов подняли его на свои плечи. Нечто вроде горькой и презрительной улыбки появилось на безобразном лице циклопа, когда он увидел под своими безобразными ногами массу голов, принадлежавших людям красивым, стройным, хорошо сложенным. Затем процессия, шумя и галдя, покрытая лохмотьями, двинулась с тем, чтобы, согласно обычаю, обойти сначала по внутренним коридорам здания суда, прежде чем пройти по улицам и переулкам Парижа.

VI. Эсмеральда

Мы с особым удовольствием можем сообщить читателям нашим, что во время всей этой сцены Гренгуар и его пьеса не переставали удерживать за собою поле сражения. Актеры, припориваемые автором, продолжали декламировать свои роли, а он продолжал слушать их. Он благоразумно решился примириться с гамом и идти до конца, не теряя надежды на то, что

какая-нибудь счастливая случайность, нет-нет, да и заставит публику вновь обратить внимание на его пьесу. Этот луч надежды заблестел еще ярче, когда он увидел, что Квазимодо, Коппеноль и шумный кортеж шутовского папы с криком и гамом покинули зал. Толпа хлынула за ними. – «Ну, и отлично», – сказал он про себя. – «Вот уходят все те, которые производили шум и мешали смотреть пьесу». – Но, увы! оказалось, что шум производила вся публика: в несколько минут весь зал опустел.

То есть, по правде сказать, осталось еще несколько зрителей, одни бродившие в одиночку по зале, другие сгруппировавшиеся вокруг колонн, но эти были почти исключительно, старики, старухи и дети, которым надоели шум и гам; да еще несколько школяров остались сидеть на подоконниках и оттуда глядели на площадь.

– Ну что ж! – утешал сам себя Гренгуар: – здесь все же осталось еще достаточно публики, чтобы дослушать конец моей мистерии. Ее, правда, немного, но зато это образованная, избранная публика.

Но уже в следующую минуту оказалось, что некому было разыграть симфонию, сопровождавшую появление Богородицы и от которой Гренгуар ждал величайшего эффекта, потому что все музыканты ушли вслед за процессией папы-шута.

– Валяйте дальше! – стоически крикнул он актерам. В это время он заметил какую-то группу горожан, о чем-то рассуждавших. В полной уверенности, что они толкуют о его пьесе, он приблизился к ним и услышал следующий обрывок разговора:

– Вы ведь знаете, господин Шенето, Наваррскую гостиницу, принадлежавшую г. Немуру?

– Да, как же! Это та, что против Бракской часовни?

– Она самая. Ну, так вот казна только что сдала ее в аренду позументщику Гренгуару Александру за шесть парижских ливров и восемь су в год.

– Как квартиры дорожают!

– Ну, эти заняты своими делами... – вздохнул Гренгуар. – Но другие, вероятно, слушают пьесу.

– Братцы! – воскликнул вдруг один из сидевших на окошке школяров! – Эсмеральда! Вот на площади Эсмеральда!

Слова эти произвели магическое действие. Все, что оставалось в зале, бросилось к окнам, стараясь взобраться на них, и повторяя:

– Эсмеральда! Эсмеральда!

В то же время с площади раздались громкие рукоплескания.

– Что это там еще за Эсмеральда! – произнес Гренгуар, с отчаянием всплеснув руками. – Ах ты, Боже мой! То эта эстрада, то часовня, а теперь очередь дошла и до окон!

Он обернулся к мраморному столу и увидел, что представление приостановилось: как раз в этот момент должен был появиться Юпитер с своими перунами, а между тем Юпитер стоял неподвижно внизу и не думал выходить на сцену.

– Мишель Жиборн! – закричал раздраженный поэт. – Что ты там делаешь? А твоя роль? Выходи же!

– Да как же я выйду? – ответил Юпитер, – какой-то школяр только что унес лестницу.

Гренгуар взглянул в том направлении, где прежде стояла лестница, и обомлел; Юпитер был совершенно прав: всякое сообщение со сценой было прервано.

– Экий дурак! – пробормотал он. – Да зачем же он унес лестницу?

– Да чтобы взлезть на окно и взглянуть на Эсмеральду... – жалобным голосом ответил Юпитер. – Он сказал: «Аа! вот лестница, которая ни на что не нужна», – и унес ее.

Многострадальный Гренгуар с покорностью встретил и этот последний удар.

– Ну, черт с вами! – крикнул он комедиантам. – Если мне заплатят, я рассчитаюсь с вами.

И затем он, опустив голову, начал отступление, но последний, подобно генералу, проигравшему сражение, но храбро сражавшемуся до конца.

Спускаясь по извилистым лестницам здания суда, он бормотал сквозь зубы:

Эти парижане – это просто стадо ослов и дураков! Собираются для того, чтобы слушать мистерию, и не хотят ее слушать! Все их занимало – и Клопен Трульефу, и кардинал, и Коппеноль, и Квазимодо, и чуть ли не сам черт, а на Богородицу они и смотреть не хотели. Если бы я это знал, я бы иначе отнесся к вам, ротозеи! А я-то! Пришел в полной уверенности, что увижу перед собою лица, и увидел только спины! Быть поэтом и иметь меньше успеха, чем какой-нибудь аптекарь! Правда и то, что Гомер собирал милостыню по городам Греции и что Овидий умер в изгнании среди скифов. Но черт меня побери, если я хоть капельку понимаю, что это за Эсмеральда, из-за которой они точно взбеленились. И что это за имя? Цыганское, что ли?

Книга вторая

I. Из Харибды в Сциллу

В январе месяце рано темнеет, и на улицах было уже темно, когда Гренгуар вышел из залы суда. Это, впрочем, не было ему неприятно: ему хотелось поскорее добраться до какого-нибудь пустынного переулочка, чтобы пораздумать там на досуге и чтобы дать философу возможность наложить первую перевязку на рану поэта. Впрочем, и без того философия была теперь единственным для него прибежищем, ибо ему некуда было больше деться. После блестящего провала первого его театрального произведения, он не решался возвратиться в занимаемую им квартиру, в улице Грень-сюр-Ло, насупротив Сенной биржи, так как он рассчитывал получить за свое произведение несколько денег, что дало бы ему возможность расплатиться за постой с Гильомом Дусирам, старостой парижского мясного рынка, которому он задолжал постоянную плату за шесть месяцев, а именно 12 парижских су, т. е. в 12 раз более того, насколько у него было движимости, состоявшей всего из старого сюртука, сорочки и шапки. Укрывшись на минуту в будку при святой часовне и поразмыслив там немного о том, где ему найти ночлег на эту ночь, так как в его распоряжении была только парижская мостовая, он вспомнил, что приметил на улице Советри, около двери одного советника парламента, каменную скамейку и что он тогда же сказал себе, что эта скамейка при случае могла бы послужить прекрасным ложем для нищего или для бедного поэта. Он поблагодарил всеблагое Провидение за то, что оно ниспослало ему эту мысль; но, собираясь перейти через площадь перед зданием суда, чтобы попасть в извилистый лабиринт Старого города, в котором извиваются змеями бесчисленные улицы и переулочки, он увидел процессию шутовского папы, выходившую из здания суда и пересекавшую ему дорогу, с криками, музыкой и зажженными факелами. Это зрелище снова разбредило рану его оскорбленного самолюбия, и он поспешил удалиться. Его авторская неудача преисполнила душу его такой горечи, что все, напоминавшее минувший день, раздражало его и раскрывало его рану.

Он собирался было перейти через мост Сен-Мишель, но не мог пробраться через него, потому что мост весь был занят толпой ребятишек, забавлявшихся зажженными факелами и шутками.

– Черт их побери с их иллюминацией! пробормотал Гренгуар и направился к мосту Менял. На ближайших к мосту домах были выставлены три больших хоругви с изображением на них короля, дофина и Маргариты Фландрской, и шесть хоругвей меньших размеров с изображением герцога Австрийского, кардинала Бурбонского, герцога Боже, принцессы Иоанны, дочери Людовика XI, коннетабля Бурбона и еще какого-то лица. Все это было освещено факелами. Толпа стояла и глазела.

– Экий счастливцев этот живописец Жан Фурбо! – сказал Гренгуар, тяжело вздохнув и отвернувшись от знамен.

Он очутился у входа в какую-то улицу, которая показалась ему до того темной и пустынной, что он был твердо убежден в том, что там он уже не встретит никаких отзвуков и отблесков праздника. Он пошел по этой улице, но через несколько мгновений запнулся обо что-то и упал. Оказалось, что это было чучело мая, которое судейские писцы утром положили возле дверей одного из председателей суда по случаю этого торжественного дня. Гренгуар героически отнесся к этой новой неприятности: он встал на ноги и подошел к реке. Оставив позади себя помещения гражданского и уголовного отделений суда и пройдя вдоль длинного забора королевских садов по не вымощенной площади, на которой грязь доходила ему до щиколотки, он дошел до западной оконечности острова, на котором выстроен был Старый город, и некоторое время смотрел на островок Коровьего брода, исчезнувший с тех пор под быками Нового моста. Этот островок представлялся ему в потемках темной массой, довольно резко выделявшейся из окружавшей его белесоватой поверхности воды; на нем скорее можно было угадать, чем разглядеть, при свете едва мерцавшего огонька, ульеобразный шалаш, в который забирался на ночь паромщик.

– Счастливый паромщик! – подумал Гренгуар: – ты не мечтаешь о славе и не пишешь свадебных стихов! Какое тебе дело до вступающих в брак дофинов и до принцесс Бургундских! Ты не знаешь иных маргариток, кроме тех, которые цветут весною на зеленом лугу! А я, злосчастный поэт, я дрожу от холода, я ошикан, я задолжал двенадцать су, и подошва моя до того истопталась, что она могла бы послужить стенкой для твоего фонаря. Спасибо, спасибо тебе! Взор мой отдыхает на твоём шалаше и заставляет меня забыть Париж.

Его вывел из его почти лирического настроения взрыв большой шутихи, внезапно раздавшийся из скромного шалаша: оказалось, что паромщик тоже пожелал принять участие в праздновании высокоторжественного дня. Этот взрыв заставил волосы на голове Гренгуара подняться дыбом.

– Проклятый праздник! – воскликнул он, – неужели ты всюду будешь меня преследовать! Боже мой! даже и паромщик!

Затем он взглянул на катившиеся у ног его волны Сены, и им овладело страшное искушение.

– О! – воскликнул он: – как бы охотно я утопился, если бы вода не была так холодна!

Тогда в душе его вдруг явилась отчаянная решимость. Так как он не мог избавиться ни от шутовского папы, ни от флагов Жана Фурбо, ни от майских костров, ни от фейерверочных ракет и петард, – он надумал направиться в самый центр праздника и идти на Гревскую площадь.

«По крайней мере, – думал он, – я, быть может, найду там не вполне догоревший праздничный костер, около которого мне можно будет погреться, и мне удастся поужинать несколькими крохами от тех больших пирогов с королевским гербом, которые должны были быть выставлены для народа на счет городских сумм».

II. Гревская площадь

В настоящее время остаются лишь почти незаметные следы Гревской площади в том виде, в каком она существовала в те времена, – а именно: красивая башенка, занимающая северный угол площади, которая, почти уже обезображенная безобразной мазней, покрывающей ее изящные скульптурные линии, быть может, вскоре совсем исчезнет среди этого прилива новых построек, который с такою быстротой разрушает все старинные фасады Парижа.

Люди, которые, подобно нам, никогда не проходят по Гревской площади, не бросив сочувственного взгляда сожаления на эту бедную башню, сдавленную двумя домами архитектуры эпохи Людовика XV, легко могут создать мысленно общий характер тех зданий, состав-

ную часть которых составляла эта башня и общий вид этой старой, готической площади XV-го столетия.

Она имела в ту эпоху, как и теперь, вид неправильной трапеции, стороны которой составляли с одной стороны – набережная, а с трех остальных – ряд высоких, узких и мрачных домов. При дневном свете можно было любоваться разнообразием этих зданий, изобиловавших резными деревянными и каменными украшениями, и уже в ту эпоху представлявших собою полные образчики архитектуры средних веков, начиная с пятнадцатого столетия и кончая одиннадцатым, начиная с квадратных окон, заменивших прежние стрельчатые, и кончая романскими полукруглыми окнами, замененными стрельчатыми, и которые сохранились еще в нижнем этаже старого дома Ла-Тур-Ролан, на углу площади, выходившей на Сену и Сыромятную улицу. Ночью из всей этой массы зданий можно было различить только черную, кружевную линию крыш, окружавших площадь цепью своих остроконечных зубцов; ибо одно из резких отличий тогдашних домов от настоящих заключалось в том, что ныне на улицы и площади выходят передние фасады домов, а в те времена на них выходили задние фасады. Словом, в последние два века дома как будто перевернулись вокруг своей оси.

Посредине восточного фасада площади возвышалось тяжелое и массивное здание, состоявшее из трех ярусов различного характера постройки. Здание это называлось тремя именами, которые объясняют его историю, его назначение и его архитектуру: – «Дворец Дофина», потому что в нем жил, будучи дофином, Карл V; «Торговым домом», потому что он когда-то был рынком, и, наконец, «Домом на Столбах», потому что все три яруса его поддерживались тремя рядами тяжелых каменных столбов. Здесь можно было найти все, что нужно было для такого города, как Париж: часовню, чтобы молиться Богу, судебный зал, чтобы творить суд и расправу и, в случае надобности, отправлять в кутузку добрых парижан, и, наконец, в верхнем этаже, целый артиллерийский арсенал, ибо парижские граждане очень хорошо знали, что бывают такие случаи, когда молитва и суд недостаточны для ограждения прав города, и потому они всегда держали про запас на одном из чердаков Ратуши несколько, хотя и заржавленных, пищалей.

Гревская площадь уже в те времена имела тот мрачный вид, который вполне соответствовал печальной репутации, сохраненной ею до наших дней, несмотря на то, что средневековый «Дом на Столбах» заменен с тех пор зданием Ратуши, построенным Домиником Бокадором. Нужно заметить, что виселица и позорный столб, эти атрибуты тогдашнего правосудия, поставленные рядом посреди площади, немало способствовали тому, чтобы заставлять избегать этой проклятой площади, на которой мучились и испустили дух свой столько существ, полных здоровья и жизни, на которой зародилась пятьдесят лет спустя эта «лихорадка Сен-Валье», эта эпидемия страха перед эшафотом, эта самая ужасная из болезней, потому что она ниспосылается не Богом, а человеком.

Утешительно подумать, заметим мимоходом, что смертная казнь, загромождавшая еще триста лет тому назад своими колесами, своими каменными виселицами, всеми своими орудиями пыток, не убравшимися с мостовой площади; что Гревская площадь, главный рынок, площадь Дофина, перекресток Трагуара, свиной рынок; что этот ужасный Монфофонский холм, Застава Сержантов, Кошачья площадь, ворота Сен-Дени, Шампо, Бодэ и Сен-Жак, – не считая многочисленных судилищ профосов, епископов, капитулов, аббатов, приоров, пользовавшихся правом юрисдикции, не считая «судебных потоплений» в волнах Сены, – утешительно подумать, говорим мы, что эта старинная юрисдикция феодальных времен, утратив последовательно почти все принадлежности своего вооружения, свое разнообразие пыток, свои изысканные и вычурные способы казни, свои колеса и дыбы, возобновлявшиеся через каждые пять лет в тюрьме Шатлэ, почти изгнанная из наших уголовных кодексов и из наших городов, гонимая и преследуемая, как красный зверь, – что она сохранила в настоящее время только один, всеми презираемый уголок в Париже, сохранила только жалкую гильотину, которая стыдливо

и беспокойно прячется от людских взоров, которая как бы опасается, чтобы ее не застали на месте преступления, – до такой степени она постоянно спешит ступешаться по совершении своего дела.

III. За удары поцелуи

Пьер Гренгуар добрался до Гревской площади весь продрогший. Он пошел на Мельничный мост, чтобы избежать толкотни на мосту Менял и Хоругвей Жана Фурбо; но при этом с ним случилась другая беда: его забрызгали колеса приречных мельниц, принадлежавших епископу, и его балахон промок насквозь. К тому же казалось, что неудача его пьесы сделала его еще более чувствительным к холоду. Поэтому он поспешил приблизиться к разведенному посреди площади костру; но ему нельзя было пробраться к нему, так как кругом стояла густая толпа народа.

– Проклятые парижане! – проговорил про себя Гренгуар, ибо, как драматический поэт, он был склонен к монологам: – вот они загораживают мне даже огонь! А между тем мне очень не мешало бы погреться. Я промочил себе ноги еще с утра, а тут еще эти проклятые мельницы окатили меня водой! И на кой черт епископу мельницы! Если только для того, чтобы я послал ему проклятие, то я готов бы был послать ему его и без того. А эти-то ротозеи! И не думают посторониться! И чего они здесь торчат! Греются, что ли? Экое удовольствие! Или они никогда не видели, как горит связка прутьев? Есть на что смотреть!

Всмотревшись поближе, он заметил, что образовавшийся вокруг костра круг был гораздо больше, чем какой нужен был для того, чтобы погреться около казенных дров, и что вся эта толпа была привлечена не одним только желанием поглазеть на горящий костер.

Оказалось, что на свободном пространстве между костром и толпой плясала какая-то молодая девушка. В первую минуту Гренгуар, хотя он был и философ-скептик и поэт-сатирик, не мог сразу решить, была ли эта молодая девушка человеческое существо, или фея, или ангел, – до такой степени поразил его ее ослепительный образ.

Она была невысокого роста, но казалась высокой, благодаря стройности своей талии. Лицо ее было смугло, но не трудно было заметить, что при дневном свете эта смуглость должна была получать тот золотистый оттенок, который свойствен римлянкам или андалузьянкам; ее маленькая ножка была обута в изящный башмачок. Она плясала, вертелась, кружилась на старом персидском ковре, небрежно разостланном под ногами ее, и каждый раз, когда во время пляски перед вами мелькало ее сияющее лицо, большие, черные глаза ее пронзали вас, точно стрелами.

Все взоры были устремлены на нее, все рты разинулись. И действительно, в то время, как она плясала при звуке тамбурина, который она держала пухлыми и красивыми руками над изящной, небольшой головкой своей, она казалась неземным созданием, в своем золотистом, плотно облегавшем ее талию, корсаже, в раздувавшейся от пляски пестрой юбке своей, с своими обнаженными плечами, с своими тонкими и красивыми ногами, видневшимися из-под юбки, с своими черными волосами и блестящими глазами.

«Черт возьми – подумал Гренгуар, – да это какая-то саламандра, нимфа, богиня, вакханка с горы Менальской».

В это мгновение одна из кос «саламандры» распустилась, и какое-то вдетое в волосы украшение из желтой меди покатилося по земле.

– Ах нет, – проговорил он, – это просто цыганка! – Всякая иллюзия исчезла.

Она снова принялась плясать. Она подняла с земли две шпаги и поставила их острием на свой лоб, заставляя их вертеться в одну сторону, между тем, как сама она вертелась в другую. И действительно, это была простая цыганка. Но как ни сильно было разочарование Гренгуара, однако, это зрелище не было лишено прелести и очарования. Оно освещалось красным,

неровным светом костра, дрожавшим на лицах толпы и на смуглом лбу молодой девушки, а в некотором отдалении падавшим отблеском на старинном, потрескавшемся фасаде «Дома на Столбах» и на безобразной, стоявшей по соседству, виселице.

Среди тысячи лиц, освещаемых красноватым блеском костра, одно казалось более других поглощенным зрелищем пляшущей цыганки. Это лицо принадлежало человеку серьезному, спокойному и даже мрачному. Человеку этому, костюма которого нельзя было разглядеть из-за теснившейся вокруг него толпы, казалось, было не более 35 лет от роду; однако, он был лыс и только на висках его были заметны пряди поседевших уже волос. Его высокий и широкий лоб был уже изборожден морщинами, но впалые глаза его блестели юношеским блеском, жизнью, страстью. Он не сводил их с цыганки, и между тем, как бойкая шестнадцатилетняя девушка плясала и кружилась для удовольствия всех, его мысли, по-видимому, принимали все более и более мрачный оттенок. По временам он сдыхал, и в то же время улыбка появлялась на устах ее, но эта улыбка была еще более печальна, чем вздох.

Наконец, молодая девушка, запыхавшись, остановилась, и народ стал неистово рукоплескать ей.

– Джали! – кликнула цыганка.

И затем Гренгуар увидел хорошенькую, белую, с шелковистой шерстью, с позолоченными ногами и копытами и с красным ошейником на шее козочку, которую он до сих пор не замечал, так как она лежала, свернувшись клубочком, в углу ковра, откуда она смотрела, как плясала ее госпожа.

– Джали, – сказала плясунья, – теперь твоя очередь!

Она села и грациозно протянула к козочке свой тамбурин.

– Джали, – произнесла она, – какой у нас теперь месяц?

Козочка подняла одну из своих передних ног и стукнула ею один раз по тамбурину. И действительно, был первый месяц в году. Толпа заплодировала.

– Джали, – продолжала молодая девушка, поворачивая свой тамбурин в другую сторону, – какое у нас сегодня число?

Джали подняла свое позолоченное копытце и стукнула им шесть раз по тамбурину.

– Джали, – сказала цыганка, снова повернув тамбурин, – который теперь час?

Козочка стукнула семь раз по тамбурину. В то же мгновение на башенных часах пробило семь часов.

Все разинули рты от удивления.

– Тут не без колдовства, – раздался какой-то голос из толпы. Это был голос лысого человека, не спускавшего глаз с цыганки. – Та вздрогнула и обернулась; но в это время раздался взрыв рукоплесканий, покрывших это угрожающее восклицание. Рукоплескания эти даже до такой степени изгладили его в ее уме, что она снова принялась задавать вопросы своей козочке.

– Джали, как ходит во время процессий Гишар Гран-Реми, капитан городской стражи?

Козочка встала на задние ноги и принялась блять, выступая с такой забавной важностью, что все присутствующие покатались от смеха при виде этой пародии на капитана-ханжу.

– Джали, – продолжала молодая девушка, ободренная этим постоянно увеличивающимся успехом: – как говорит Жак Шармолу, королевский прокурор, в духовном суде?

Коза уселась на задние ноги и принялась блять, таким забавным образом помахивая передними ногами, что толпа увидела перед собою живого Жака Шармолу, в его обычной позе, с его жестами и выражением голоса, и только без отвратительных французского и латинского акцентов.

Толпа заплодировала еще сильнее.

– Кошунство! Святотатство! – снова раздался голос лысого господина.

– Ах, опять этот несносный человек! – произнесла она, еще раз обернувшись в его сторону.

Затем, выпалив немного нижнюю губу, она состроила презабавную гримасу, повернулась на каблуке и стала обходить толпу с своим тамбурином. В него посыпались крупные и мелкие серебряные и медные монеты. В это время она поравнялась с Гренгуаром.

Тот машинально опустил руку в карман, и она, заметив это его движение, остановилась.

Ах, черт возьми! – пробормотал сквозь зубы наш бедный поэт, найдя в кармане то, что он и должен был найти в нем, т. е. безусловную пустоту.

А между тем молодая девушка стояла перед ним, уставив на него свои большие, черные глаза и протянув к нему тамбурин в ожидании подачки. Крупные капли пота выступили на лбу Гренгуара. Если бы в его кармане были все сокровища Перу, то он, ни на секунду не задумываясь, отдал бы их плясунье; но их, к сожалению, там не было, да к тому же и самый Перу еще не был открыт в то время.

К счастью, неожиданное происшествие вывело его из затруднения.

– Уберешься ли ты, египетская саранча! – закричал сердитый голос из самого темного угла площади.

Молодая девушка в испуге обернулась. Это уже не был голос лысого господина, а какой-то сердитый старушечий голос.

Впрочем, крик этот, напугавший цыганку, очень развеселил толкавшихся тут же мальчишек.

– Это затворница из Роландовой башни! – закричали они, громко смеясь, – это она ворчит! Она, должно быть, еще не поужинала! Отнесите-ка ей какие-нибудь остатки из городского буфета!

И вся гурьба кинулась к старому дому.

Между тем, Гренгуар, воспользовавшись замешательством плясуньи, поспешил ступать. Крики детей напоминали ему, что и он ничего не ел за весь день, и он тоже направился торопливыми шагами к буфету. Но маленькие шалуны имели более проворные ноги, чем он, и когда он подошел к буфету, он не нашел в нем даже ни одного фунта колбасы по пяти грошей фунт, и мог только полюбоваться нарисованными на стенах еще в 1434 г. Матьё Бишерном лилиями и розанами. Это было, пожалуй, и красиво, но далеко не сытно.

Неприятно ложиться спать, не поужинавши; но еще неприятнее не поужинать и не знать, где провести ночь; а Гренгуар находился именно в таком положении. Ни хлеба, ни крова, кругом безысходная, тяжелая нужда. Он уже давно сделал открытие, что Юпитер создал людей в припадке меланхолии, и что во всю жизнь мудреца судьба его держит в осадном положении его философию. Что касается его, то он никогда не видел такой полной блокады; он чувствовал, как в желудке его ударили бой к сдаче, и он находил очень неуместным, что его философию хотели заставить сдать посредством голода.

Он все более и более погружался в эти меланхолические мысли, как вдруг до его слуха долетело странное, хотя и мелодичное пение. То пела молодая цыганка.

Голос ее вполне соответствовал ее красоте и ее пляске: он был необычаен и, вместе с тем, очень красив; в нем было что-то чистое, воздушное, звучное, так сказать, окрыленное. Это были бесконечные переливы, мелодии, неожиданные каденцы, затем простые, сказанные как бы говорком, фразы, выражающиеся высокими, даже немного свистящими нотами; они сменялись такими прыжками гамм, которым мог бы позавидовать любой соловей, но всегда гармоничными, затем мягкими, переливающимися октавами, поднимавшимися и опускавшимися так же, как грудь молодой певицы. Красивое лицо ее изменялось с поразительной подвижностью, сообразно оборотам песни, выражая то почти вакхический восторг, то девическую стыдливость; то оно напоминало собою лицо королевы, то лицо безумной.

Она пела на языке, незнакомом Гренгуару, да, по-видимому, незнакомом и ей самой, так как выражение, придаваемое ею своему пению, ни мало не соответствовало смыслу слов. Так, напр., она придавала выражение безумной веселости следующему куплету:

Открыли на дне водоема
Ларь, полный богатств дорогих;
В нем новые были знамена,
Ряд диких страшилищ нагих.

А минуту спустя, выражение, которое она придала другому куплету:
Верхом, на конях, недвижимы,

Арабы видны: – держат меч
В руках, и висят самострелы.
У них перекинуты с плеч —

заставило слезы навернуться на глазах Гренгуара. Но, между тем, пение ее дышало весельем, и она, казалось, пела, как птичка, беззаботно и от полноты сердца.

Пение цыганки нарушило мечтания Гренгуара, но нарушило так, как плавание лебедя нарушает водную гладь. Он слушал его с каким-то восторгом и забывая в эту минуту все на свете. В течение нескольких часов это было единственное мгновение, которое он провел без страданий.

Но мгновение это было непродолжительно. Тот же самый женский голос, который прервал пляску цыганки, прервал и ее пение.

– Замолчишь ли ты, чертова стрекоза? – раздался этот голос из того же темного угла площади.

Бедная «стрекоза» оборвала свою песню. Гренгуар, заткнув себе уши, воскликнул:

– О, проклятая сломанная пила! Зачем ты разбиваешь лиру?

Однако и другие слушатели начали роптать.

– К черту старую колотовку! – раздалось с разных сторон, и невидимке-каркунье, быть может, пришлось бы раскатыться в своих выходках против цыганки, если бы внимание толпы в эту самую минуту не было отвлечено в другую сторону процессией шутовского папы, которая, пройдясь по многим улицам и переулкам, с шумом, гамом и с зажженными факелами выходила на Гревскую площадь.

Эта процессия, которая, как читатели наши вероятно помнят, вышла из здания суда, значительно возросла во время своего шествия; к ней пристало все, что было в Париже карманников, мазуриков и бродяг, и она, по числу участвовавших в ней лиц, представлялась довольно импозантной во время прибытия ее на Гревскую площадь.

Впереди всех ехал верхом так называемый «цыганский царь»; по бокам его шли его оруженосцы, державшие уздцы лошади и стремяна; сзади его толпа цыган и цыганок, с плачущими ребятишками на спине; и все это – царь, оруженосцы, простой народ – в лохмотьях, убранных мишурой. Далее следовала процессия мазуриков и бродяг, другими словами – представители карманников всей Франции, строго расположенных, однако, по рангу, младшие впереди. Таким образом, продефилировали, по четыре в ряд, с различными значками, обозначающими их ранг в этой оригинальной корпорации, хромые, колченогие, безрукие, одержимые тиком, криворотые, сухорукие, юродивые и пр., и пр., и пр.; словом, – перечисление их утомило бы самого Гомера. Толпа эта была так густа, что лишь с трудом можно было различить в среде ее набольшего мазуриков, сидевшего в небольшой тележке, везомой двумя собаками. За корпорацией мазуриков следовала корпорация пьяниц. Староста ее важно выступал в красной мантии, закапанной вином, предшествуемый приплясывающими и угощающими друг друга тумачами гаерами и окруженный жезлоносцами, прислужниками и подносчиками. Наконец, шли писцы, в черных мантиях, неся убранные цветами майские деревца и большие свечи из жел-

того воска, с какою-то ушераздирающей музыкой впереди. Посредине всей этой толпы старшины корпорации шутов несли на плечах своих носилки, вокруг которых была утыкана масса восковых свечей; и на этих носилках восседал, в шутовской рясе и митре с жезлом в руках, новый шутовской папа, звонарь собора Парижской Богоматери, Квазимодо Горбун.

У каждого из отделов этой потешной процессии была своя особая музыка. Цыгане били в свои бубны, мазурики – народ, вообще, мало музыкальный трубили в трубы самой первобытной конструкции и ударяли в лютни XII века. Корпорация пьяных оглашала воздух раздирающими уши звуками какого-то совершенно примитивного гудка. Вокруг носилок папы какофония достигла крайних своих пределов: звуки альтов, гудков, флейт и медных инструментов сливались в какой-то невообразимый, заставлявший мороз пробегать по коже, хаос звуков. Увы! Читатели наши, быть может, вспомнят, что это был оркестр Гренгуара.

Трудно представить себе то гордое и вместе с тем печальное выражение, которое приняло лицо Квазимодо во время перехода из здания суда на Гревскую площадь; в первый раз в жизни ему приходилось наслаждаться чувством удовлетворенного самолюбия. До сих пор ему были известны только чувства унижения, презрения к своему званию, стыда по поводу своего безобразия. И он, несмотря на свою глухоту, наслаждался возгласами этой толпы, которую он ненавидел, ибо сознавал, что и она ненавидит его. Что ему за дело было до того, что минутные его подданные были сбродом калек, нищих, воров, – все же это были подданные его, а он – их властитель. И он принимал в серьез все эти иронические рукоплескания, все эти воздаваемые ему в насмешку почести, к которым, однако, в толпе присоединилась доля очень реального страха: ибо горбун был силен, косолапый был ловок, глухой был сердит – т. е. обладал тремя качествами, которые парализовали впечатление смешного.

Впрочем, мы очень далеки от мысли о том, что новый шутовской папа сам отдавал себе ясный отчет в том, что он чувствовал, и в тех чувствах, которые он внушал другим; весьма естественно, что ум, заключенный в такую несовершенную и уродливую оболочку, также должен был находиться в самом первобытном состоянии. И действительно, то, что он чувствовал в эту минуту, было крайне неопределенно, смутно и сбивчиво, хотя преобладало чувство радости и гордости: это мрачное и несчастное лицо как-то сияло.

Поэтому зрители не без удивления и не без испуга увидели, как вдруг, в то время, когда Квазимодо, в его полу-опьянении, с торжеством проносили мимо дома с колоннами, из толпы выделился какой-то человек, который, подбежав к носилкам, с выражением гнева на лице, вырвал из рук Квазимодо его деревянный, позолоченный посох, атрибут его шутовского папства.

Этот дерзкий человек был тот самый лысый господин, который, за несколько минут перед тем, стоя в группе, окружавшей цыганку, так напугал бедную молодую девушку своими злобными угрозами. Одет он был в духовное платье. В ту минуту, когда он отделился от толпы, Гренгуар, до сих пор не замечавший его, узнал его.

– А! – воскликнул он с выражением удивления: это архидиакон Клод Фролло, мой учитель! Но чего он пристаёт к этому кривому уроду! Ему еще достанется от толпы!

И действительно, на площади раздался крик ужаса. Страшилище Квазимодо соскочил с носилок, и женщины в ужасе отворачивались, чтобы не видеть, как он растерзает архидиакона; но тот подскочил к духовному лицу, взглянул на него и упал на колена. Патер сорвал с его головы митру, переломил его посох, разорвал его мишурную мантию. Квазимодо все время стоял на коленях, наклонив голову и скрестив руки. Затем между обоими завязался странный диалог жестами: ни тот, ни другой не произносили ни слова; патер стоял с сердитым, угрожающим, властным взглядом; Квазимодо ползал на коленях в униженной и умоляющей позе; а между тем для всех было ясно, что Квазимодо, если бы пожелал, мог бы раздавить патера, как блоху.

Наконец, архидиакон, сильно встряхнувши звонаря за плечо, жестом велел ему встать и следовать за собой. Квазимодо встал. Тогда участвующие в процессии, по миновании первого впечатления удивления, захотели было заступиться за своего папу, так неожиданно свергнутого с престола. Цыгане, мазурики и все остальные ротозеи сгруппировались вокруг патера и начали довольно громко и внушительно роптать. Но Квазимодо стал впереди него, поднял вверх свои внушительные кулаки и стал щелкать зубами, точно голодный тигр.

Лицо патера снова приняло мрачное и сердитое выражение; он сделал Квазимодо жест рукою и молча удалился. Квазимодо шел перед ним, расталкивая толпу.

Когда они пробрались через толпу и перешли через площадь, ватага любопытных и ротозеев хотела было последовать за ними. Тогда Квазимодо стал в арьергарде и задом следовал за архидиаконом, коренастый, угрюмый, безобразный, взъерошенный, съезжившийся, облизывая свои клыки, рыча подобно дикому зверю и заставляя толпу отшатываться и отступать одним только жестом или взглядом.

Толпа не решилась задержать их, когда они оба повернули в узкий и темный переулок, и никто даже и не подумал последовать за ними туда, потому что всякому так и мерещилась ужас наводящая рожа Квазимодо, щелкающего зубами.

– Вот так чудеса! – воскликнул Гренгуар. – Но где же я, черт возьми, достану поужинать?

IV. О неудобствах следовать по вечерам по улице за хорошенькой женщиной

Гренгуар наудачу пошел за цыганкой. Она направилась с своей козочкой в улицу Кутелери, и он свернул в ту же улицу.

– Все равно, куда ни идти! – сказал он сам себе.

Гренгуар, научившийся практической философии на парижских улицах, заметил, что ничто не содействует так мечтательности, как следование за хорошенькой женщиной, идущей неизвестно куда. В этом добровольном отречении от свободы рассуждения, в этой воле, подчиняющейся чужой воле, даже и не подозревающей об этом самоотречении, заключается какая-то смесь независимости и послушания, соединения рабства со свободой, которые чрезвычайно нравились Гренгуару, отличавшемуся каким-то нерешительным, составленным из противоречий характером, способному на всякие крайности, постоянно колебавшемуся между всевозможными направлениями и нейтрализовавшему их одно другим. Он сам любил сравнивать себя с гробницей Магомета, висящей на воздухе между двумя магнитами с противоположными полюсами, между верхом и низом, между сводом и полом, между поднятием наверх и опущением книзу, между зенитом и надиром. Если бы Гренгуар жил в наши дни, он непременно занял бы срединную точку между классицизмом и романтизмом. Но ему не дано было прожить триста лет, и это очень жаль. Отсутствие его в наши дни оставляет по себе весьма ощутительный пробел.

Впрочем, была еще другая, и притом весьма законная причина, заставлявшая Гренгуара следовать наугад за прохожими, и в особенности за прохожими женщинами, а именно то, что он не знал, где ему преклонить голову на ночь.

Итак, он в задумчивости следовал за молодой девушкой, ускорившей шаг и подгонявшей свою козочку при виде горожан, возвращавшихся домой, и закрывавшихся харчевен, – единственных торговых заведений, которые были открыты в этот день.

– Должна же она, – рассуждал он про себя, – где-нибудь да обитать; а цыганки отличаются добрым сердцем. Кто знает?!

И под этими вопросительным и восклицательным знаками, которые он делал в уме своем, крылись довольно заманчивые, в сущности, мысли.

По временам, проходя мимо горожан, закрывавших свои лавки, он ловил тот или иной обрывок разговора их, нарушавшего на минуту его радужные предположения.

– А знаете ли, г. Тибо Ферникль, – обращался один старик к другому: – что сегодня дьявольски холодно!

(Гренгуару это было известно уже с самого начала зимы).

– Да, да, г. Бонифас Дизом! Неужели же у нас будет опять такая зима, как три года тому назад, в 1480 году, когда дрова стоили по три су вязанка!

– Ну, это еще что, г. Тибо, в сравнении с зимой 1470 г., когда морозы не прекращались с Мартынова дня до Сретения Господня! И ведь какие морозы! Доходило до того, что чернила на перьях у парламентских писцов замерзали прежде, чем они успевали написать каких-нибудь три слова, так что едва не пришлось прекратить все письмоводство в суде.

Немного дальше, высунувшись из окон, переговаривались две соседки, пламя свечей которых трещало на сыром и влажном воздухе.

– Рассказывал ли вам ваш супруг о том несчастий, которое случилось, г-жа Ла-Будрак?

– Нет, а что же такое случилось, г-жа Тюркан?

– Конь г. Жилля Годена, судебного нотариуса, испугавшись фламандцев и их процессии, кинулся в сторону и смял под ногами целестинского монаха Филиппа Аврильо. Ей-Богу!

– Что вы говорите! Простая мещанская лошадь! Добро бы еще кавалерийская лошадь, – ну, другое дело!

И окна снова затворились; но, тем не менее, нить рассуждений Гренгуара была порвана. Впрочем, он снова довольно быстро схватил концы ее и опять связал их, благодаря шедшим впереди него цыганке и Джали, – этим двум изящным и прелестным созданиям, маленькими ножками, красивыми формами, грациозными манерами которых он любовался, при чем оба эти существа почти что сливались в одно целое в его воображении, представляясь ему оба то молодыми девушками, по своему уму и, очевидно, существовавшему между ними взаимному пониманию, то похожими на коз вследствие легкости, проворности и ловкости их движений.

Однако, на улицах с каждой минутой становилось все темнее и пустынное. Уже давно с городских колоколен подан был сигнал к тушению огней, и уже редко можно было заметить прохожего на улицах, огонек в каком-нибудь окне. Гренгуар последовал за молодой цыганкой в тот путанный лабиринт переулков и тупиков, который окружал старинное кладбище Невинных Мучеников и который очень напоминал собою клубок ниток, перепутанный кошкой.

– Вот так расположение улиц, в котором нет ни малейшей логики! – проговорил Гренгуар, затерянный в этих извилинах переулков, приводивших как будто бы все на одно и то же место; но между тем молодая девушка шла, по-видимому, к определенной цели, ни на секунду не задумываясь, а, напротив, все более и более ускоряя шаг. Что касается его, то он совершенно не знал бы, где он находится, если бы при повороте в один переулок он не заметил восьмигранную массу стоявшего перед центральным рынком столба, ажурная вершина которого выделялась на фоне одного освещенного еще окна улицы Верделе.

Несколько минут тому назад молодая девушка обратила, наконец, внимание на следовавшего за нею человека. Она уже не раз оглядывалась на него с некоторым беспокойством; однажды она даже остановилась и, воспользовавшись снопом света, вырвавшимся из полуотворенных дверей какой-то булочной, пристально оглядела его с головы до ног; затем, снова сделав ту гримасу, которую Гренгуар уже заметил на лице ее еще на Гревской площади, она продолжала свой путь.

Гримаса эта заставила задуматься Гренгуара. В ней не трудно было прочесть презрение и насмешку. Он опустил голову и стал следовать за молодой девушкой более издалека; но вдруг, на повороте одной улицы, заставившем его на минуту потерять ее из виду, он услышал пронзительный крик и поспешил ускорить шаг.

Улица была совершенно темна. Однако, кусок пакли, пропитанный деревянным маслом и горевший в чугунной решетке у подножия стоявшей на углу улицы статуи Богоматери, позволил Гренгуару различить молодую цыганку, силившуюся вырваться из рук каких-то двух людей, старавшихся зажать ей рот. Бедная козочка, вся перепуганная, блеяла, наклонив голову к земле.

Стойте, разбойники! – закричал Гренгуар и смело приблизился к группе.

Один из тех, кто держал молодую девушку, повернулся к нему лицом, и он узнал страшное лицо Квазимодо. Гренгуар не обратился в бегство, но остановился, как вкопанный, на месте.

Квазимодо приблизился к нему, одним движением руки отшвырнул его на четыре шага, и затем быстро исчез в темноте, унося с собою молодую девушку, которую он ухватил, точно узелок, под мышку. За ним последовал его товарищ, а бедная козочка, с жалобным блеянием, поскакала за ними.

– Караул! Убийцы! – кричала бедная цыганка.

– Стойте, разбойники, и сейчас же отпустите эту женщину! – раздался вдруг громовой голос какого-то всадника, показавшегося из соседнего переулка. Оказалось, что это был капитан королевской стражи, вооруженный с головы до ног, с палашом в руке.

Он вырвал цыганку из рук изумленного Квазимодо, перекинул ее поперек своего седла, и в то время, когда страшный горбун, оправившись несколько от своего изумления, кинулся на него, чтобы выхватить у него свою добычу, появились 15 или 16 стрельцов, следовавших за своим офицером, с бердышами в руках. То был дозор королевской стражи, отправленный для охранения тишины и порядка в городе, по распоряжению Робера д'Эстутвилля, парижского профоса.

Квазимодо окружили, схватили, связали. Он ревел, пена выступала у него на губах, и если бы не было так темно, то не подлежит сомнению, что одно его лицо, еще более обезображенное злобой, заставило бы обратить в бегство весь патруль. Но ночная темнота лишила его самого сильного его оружия – его безобразия. Спутник же его успел скрыться во время суматохи.

Молодая цыганка, красиво усевшись на седле офицера, положила обе руки на плечи молодого человека и пристально смотрела ему в лицо в течение нескольких секунд, как бы восхищенная и красотой его, и только что оказанной им ей услугой. Затем, первая прервав молчание, она сказала ему, стараясь придать еще более нежное выражение своему и без того нежному голосу:

– Как ваше имя, г. жандарм?

– Феб де-Шатопер... К вашим услугам, красавица моя! – ответил офицер, выпрямившись.

– Благодарю вас! – сказала она.

И между тем, как капитан Феб закручивал кверху свои усы, она соскользнула с лошади, подобно упавшей на землю стреле, и убежала. Все это случилось с быстротой молнии.

– Ах, черт побери! – проговорил капитан, распорядившись о том, чтобы покрепче были скручены веревки, связывавшие Квазимодо: – я предпочел бы удержать плутовку.

Что делать, капитан, – философски заметил один жандармов: – малиновка упорхнула, но за то остался нетопырь!

V. Продолжение неудобств

Гренгуар, ошеломленный падением, остался лежать перед статуей Богоматери на углу улицы. Мало-помалу он пришел в себя. Несколько минут он находился в состоянии какого-то полубытья, не лишенном приятности, и в котором воздушные образы цыганки и козочки перемешивались с увесистым кулаком Квазимодо. Но это продолжалось недолго. Довольно

сильное ощущение холода в тех частях его тела, которые соприкасались с мостовой, заставило его очнуться и возвратиться к печальной действительности.

– Отчего это мне так холодно? – задал он себе вопрос, и тут только заметил, что половина тела его лежала в луже.

– Проклятый кривой горбун! – пробормотал он сквозь зубы, и попробовал было приподняться; но голова его кружилась, а в разных местах тела он ощущал тупую боль, и ему пришлось отказаться от своего намерения. Заметив, что он может свободно владеть одной из своих рук, он зажал ею себе нос и покорился своей участи.

«Однако, парижская грязь, – подумал он, в полной уверенности, что луже, в которой он лежал, суждено было послужить ему на этот раз ночлегом, (а что же и делать на ложе, как не мечтать), – парижская грязь особенно неблагоприятна. В ней, должно быть, заключается много летучих азотистых солей. Таково, впрочем, и мнение Николая Фламелья и других алхимиков...»

Слово «алхимик» вдруг заставило его вспомнить об архидиаконе Клоде Фролло. Он вспомнил о только что разыгравшейся на его глазах сцене насилия, о том, что на цыганку напали два каких-то человека, что у Квазимодо был сообщник, и его воображению смутно предстало сердитое и надменное лицо архидиакона.

– «Это, однако, странно!» – подумал он, и принялся возводить, на основании этих данных и на этом фундаменте, фантастическое здание гипотез, этот картонный домик всех философов. Но затем, внезапно возвращаясь к действительности, он воскликнул:

– Однако, черт побери, этак можно будет и замерзнуть!

Действительно, избранная им для ночлега лужа с каждой минутой становилась все более и более неудобным ложем. Каждая капля ее отнимала частицу теплорода из тела Гренгуара, и равновесие между температурой его тела и температурой лужи начинало устанавливаться весьма неприятным для него образом. К этому не замедлило присоединиться еще и другое, весьма чувствительное неудобство.

Ватага ребятишек, этих босоногих маленьких дикарей, испокон века топтавших парижскую мостовую, под вечным именем «гаменов», и которые, когда мы были детьми, бросали в нас каждый вечер, при выходе нашем из школы, камнями, только за то, что штаны наши не были изорваны, – итак, ватага этих несносных маленьких существ прибежала в тот переулок, в котором лежал Гренгуар, со смехом и визгом, ни мало не заботясь о том, что последние нарушают ночной покой обывателей. Они волокли за собою какой-то безобразный мешок, а топот их деревянных башмаков, кажется, был бы в состоянии разбудить мертвого. Гренгуар, который, к счастью, для него, был не мертв, а только полужив, приподнялся наполовину.

– Эй, Геннекен Дандеш! Эй, Жан Пенсбурд! – кричали они во всю глотку: – старик Евстахий Мубон, торговец старым железом на углу переуллка, только что умер. Вот его чучело, мы сейчас сожжем его! Ведь сегодня праздник!

И они кинули чучело как раз на Гренгуара, которого они в темноте не заметили; в то же время один из них выхватил из чучела связку соломы и побежал зажигать ее у лампадки перед статуей Богородицы.

– Час от часу не легче! – пробормотал Гренгуар, – то было холодно, а теперь сейчас, пожалуй, станет и слишком жарко!

Положение его было критическое: – ему угрожало прямо попасть из воды да в полымя. Он сделал сверхчеловеческое усилие, на которое способен только человек, которого собираются сварить живым и который старается выскочить из котла, вскочив на ноги, он отшвырнул чучело на мальчишек и пустился бежать.

– Пресвятая Дева! – воскликнули мальчишки, – старый железняк воскрес! – И они, в свою очередь, пустились бежать в противоположную сторону. Поле сражения осталось за соломенным чучелом. Летописцы Бельфорэ, патер Ле-Жюж и Коррозе уверяют, что на следующее утро оно было подобрано с большим торжеством местным духовенством и отнесено в ризницу

ближайшей церкви, и что ризничий церкви, вплоть до 1789 года, сделал себе весьма прибыльную статью дохода, рассказывая богомольцам и богомолкам о чуде, совершенном стоявшей на углу улицы Моконсейль статуей Богородицы, которая, в памятную ночь с 6 на 7 января 1482 года, изгнала дьявола из тела только что скончавшегося Евстахия Мубона, перед смертью спрятавшего свою душу в тех видах, чтоб обмануть дьявола, в связке соломы.

VI. Разбитый кувшин

Пробежав несколько времени без оглядки, сам не зная куда, стукнувшись головой о несколько выступов стены, перепрыгнув через изрядное количество луж, пробежав по нескольким улицам, переулкам и тупикам, проплутав в лабиринте старого рынка, натерпевшись вдоволь страха и ужаса, – наш поэт вдруг остановился, во-первых, потому, что страшно устал, а во-вторых, потому, что его уму внезапно предстала следующая дилемма:

– Мне кажется, сударь Пьер Гренгуар, – сказал он сам себе, приставив палец ко лбу, – что вы бежите, как угорелый. Маленькие шалуны не меньше испугались вас, чем вы их. Мне кажется, говорю я вам, что вы же сами слышали стук их деревянных подошв, когда они побежали к югу, между тем, вы пустились бежать на север. Одно из двух: или они убежали, и в таком случае та связка соломы, которую они, без сомнения, бросили в своем испуге, как раз могла бы послужить для вас тем гостеприимным ложем, которого вы тщетно отыскиваете с самого утра и которое вам столь чудесным образом послала Пресвятая Дева для того, чтобы наградить вас за то, что вы сочинили в честь ее такую прекрасную мистерию; или же мальчишки не убежали, – в таком случае они, без сомнения, подожгли солому, и вы могли бы отлично погреться и посушиться около этого огня. Во всяком случае, в качестве ли костра или в качестве ложа, солома эта являлась даром, ниспосланным вам небом. Быть может, даже Пречистая Дева, статуя которой стоит на углу улицы Моконсейль, только ради этого и заставила умереть Евстахия Мубона. А вы убегаете со всех ног, точно англичанин перед французом, оставляя позади именно то, что вам нужно. Вы просто дурак!

Затем он пошел назад и старался разыскать благодатную связку соломы, – но, увы! тщетно. Он опять попал в такой лабиринт переулков и закоулков, что чуть не ежеминутно останавливался в нерешимости, и, наконец, окончательно запутался и сбился с толку. Наконец, он вышел из терпения и в сердцах воскликнул:

– Проклятые закоулки! Это сам черт их так запутал, наподобие своейвиллы!

Это восклицание облегчило его сердце, а красноватый отблеск, который он заметил в это время в конце длинного и узкого переулка, окончательно придал ему бодрости.

– Слава Богу! – сказал он: – наконец-таки нашел: это горит моя связка соломы! И, сравнивая себя с кормчим, который готов потерпеть крушение в темную ночь, он воскликнул с каким-то благоговением;.

Привет тебе, путеводная звезда!

Но к кому относились эти слова – к Богоматери или к связке соломы, – автору совершенно неизвестно.

Но, пройдя лишь немного шагов по переулку, который шел под гору и был не вымощен и грязен, он заметил нечто весьма странное. Оказалось, что переулок не был пустынен: там и сям по нему ползали какие-то неопределенные, бесформенные массы, направляясь, по-видимому, к огню, горевшему в конце переулка, подобно тем неуклюжим жукам, которые по ночам таскают соломинку за соломинкой к разведенному пастухом костру.

Ничто не придает человеку столько смелости, как сознание, что с него взятки гладки. Поэтому Гренгуар продолжал храбро подвигаться вперед и вскоре нагнал заднего из тех загадочных существ, которые ползли по направлению к костру. Приблизившись к нему, он увидел, что это был не кто иной, как жалкий, безногий калека, подпрыгивавший на руках, подобно

кузнечiku, у которого вырваны задние ноги. В то время, когда он проходил мимо этого паука в человеческом образе, раздался жалобный голос, произнесший по-испански:

– Подайте, Христа ради, господин!

– Черт тебя побери, – проговорил Гренгуар: – и меня вместе с тобой, если я знаю, что ты там бормочешь!

Он нагнал другую из этих ползучих масс и стал разглядывать ее. Это тоже был калека, хромой и в то же время безрукий, и при том до того хромой и безрукий, что сложная система костылей и деревяшек, на которых он держался, придавала ему вид ходячих стропил. Гренгуар, охотник до возвышенных и классических сравнений, мысленно сравнил его с живым треножником Вулкана.

Этот живой треножник снял перед ним шапку, когда он проходил мимо него, и, подставив ее под самый нос Гренгуара, точно блюдце цирюльника, закричал громким голосом, тоже по-испански:

– Господин кавалер, дайте бедному на кусок хлеба!

– По-видимому, – сказал про себя Гренгуар: – и этот что-то такое лопочет; но только черт его знает, на каком языке, и он счастливее меня, если сам понимает его.

Затем мысль его внезапно сделала скачек в другую сторону, и он проговорил, ударив себя рукою по лбу:

– Кстати, чего это они сегодня утром галдели: «Эсмеральда, Эсмеральда!»

Он хотел было прибавить шагу, но в третий раз что-то загрозило ему дорогу. Это что-то, или, вернее, этот кто-то, был слепой, небольшого роста, бородатый человек с еврейским типом, который, размахивая вокруг себя палкой, точно веслом, и держа на привязи большую собаку, служившую ему вожакom, прогнусавил по-латыни с мадьярским акцентом:

– Сотворите милостыню!

– Ну, слава Богу, вот хотя один, который говорит на человеческом языке, – сказал Пьер Гренгуар. – Должно быть, у меня очень сострадательное выражение лица, что все они, точно сговорившись, просят у меня милостыню, несмотря на то, что у меня у самого сухотка в кармане. Друг мой, – продолжал он, обращаясь к слепому, – я продал на прошлой неделе последнюю мою сорочку, или, так как вы, по-видимому, понимаете только язык Цицерона: – *Vendidi hebdomade nuper transita meam ultimam chemisam*.

Произнеся эту фразу, он повернулся спиной к слепому и продолжал свой путь. Но слепой тоже прибавил шагу; и вот и безрукий, и кривобокий, и все остальные калеки окружили его со всех сторон, стуча своими костылями и деревяшками, и точно хором затагнули, поспешая за бедным Гренгуаром:

– Подайте милостыню! подайте на кусок хлеба! Особенно тщательно выводил свою ноту слепой, повторяя нараспев!

– Ку-у-со-к хле-е-ба!

– Это настоящее вавилонское столпотворение! – воскликнул Гренгуар, затыкая себе уши и пустившись бежать; но и слепой, и безногий, и безрукий – все тоже пустились бежать.

По мере того, как Гренгуар подвигался вперед, увеличивалось число кишмя-кишевших вокруг него слепых, хромых, безруких, кривых, одержимых язвами; одни из них выходили из домов, другие из соседних переулков, третьи из подвалов, и все это ревело, мычало, бляло, толкалось, сморкалось, барахталось в грязи, точно слизняки после дождя, стремилось на огонь.

Гренгуар, все еще преследуемый привязавшимися к нему калеками, й сам не понимал хорошенько, что из всего этого выйдет, шел растерянный в этой оригинальной толпе, обходя хромых, шагая через кривобоких, путаясь в этом муравейнике уродов, напоминая собою того английского моряка, который попал в кучу морских раков. Он уже хотел было повернуть назад, но было уже поздно: вся эта орава образовала позади него сплошную стену, сквозь которую невозможно было пробраться. Итак, он решился идти вперед, подталкиваемый одновременно и

этой неудержимой волной, и страхом, и каким-то внезапно овладевшим им головокружением, в котором все это представлялось ему каким-то ужасным сном.

Наконец, он добрался до конца улицы. Она выходила на обширную площадь, на которой тысячи огней светились сквозь густой сумрак ночи. Гренгуар ринулся на нее в надежде убежать, благодаря быстроте своих ног, от трех привязавшихся к нему призраков-калек.

– Куда бежишь, человеке! – крикнул хромой, бросив в сторону свои костыли и пустившись бежать за ним с такой быстротой, которой позавидовал бы любой парижский гамен. Тем временем кривобокий, выпрямившись во весь рост, надел на голову Гренгуара свой колпак, а слепой смотрел ему в глаза своими блестящими глазами.

– Куда я попал? – воскликнул бедный, перепуганный поэт.

– Во Двор Чудес, – ответил четвертый призрак, присоединившийся к первым трем.

– Да, действительно, творятся какие-то чудеса, – проговорил Гренгуар: – слепые становятся зрячими, а хромые пускаются бежать. Но где же Спаситель?

Спутники его зловеще захохотали. Бедный поэт оглянулся кругом. Он действительно очутился в этом так называемом Дворе Чудес, в который еще отроду не заглядывал ни один честный человек в этот поздний час, в этом заколдованном круге, в котором бесследно исчезали полицейские и судейские лица, рисковавшие заглянуть сюда, в этом притоне воров, в этом безобразном верее на лице Парижа, в этой помойной яме, в которую стекались каждую ночь и откуда разливались каждое утро по всему городу все нищие, бродяги и мошенники со всего Парижа, в этом чудовищном улье, куда возвращались по вечерам со своей добычей все праздные трутни парижского населения, в этой больнице притворщиков, в которой цыган, поп-расстрига, выгнанный школьник, мошенники немцы, всевозможных национальностей, испанцы, итальянцы, всевозможных исповеданий, христиане, магометане, жида, язычники, покрытые нарочно разбереженными язвами, просили милостыню днем и грабили по ночам, – словом, в этой громадной гардеробной, в которой в то время одевались и раздевались все действующие лица той непрерывной комедии, которую грабеж, проституция и убийство разыгрывают на парижской мостовой.

Это была обширная, дурно вымощенная площадь, как, впрочем, и все площади тогдашнего времени. На ней, в разных местах, разведены были костры, вокруг которых копошились странные группы. Все это двигалось, кричало, шумело; слышны были взрывы хохота, брань женщин, плач детей. Руки и головы оттенялись на светлом фоне костров, производили тысячи самых странных жестов. По временам на земле, освещенной блеском костра, мелькала какая-нибудь тень, принадлежавшая неизвестно кому – человеку или собаке. Всякие отличия мужчины от женщины, человека от животного сглаживались в этом шабаше ведьм и чертей, все сливалось в какую-то общую безобразную кучу, составляло одно безобразное целое.

При скудном, трепещущем свете костров Гренгуар, несмотря на свое смущение, успел различить вокруг этой громадной площади темные силуэты безобразных, старых домов, которых покоробленные, выветрившиеся заплесневелые фасады с одним или двумя освещенными оконцами, представлялись ему в темноте громадными старушечьими головами, выстроившимися в ряд, хмурыми и безобразными, смотревшими на шабаш моргающими глазами.

Это был совершенно новый для него мир – неизвестный, неслыханный, безобразный, пресмыкающийся, кишачий, чудовищный.

Гренгуар, окончательно растерявшийся, в которого трое нищих вцепились, точно клещами, оглушенный толпою других нищих, блеявших и лаявших вокруг него – несчастный Гренгуар старался собрать все свои мысли, чтобы припомнить, не был ли это субботний вечер. Но все усилия его были тщетны: нить его памяти и его мыслей была прервана; и, сомневаясь во всем, колеблясь между всем, что он видел и ощущал, он ставил себе следующие неразрешимые вопросы:

– Если я существую, то действительно ли все это происходит? Если это происходит, то существую ли я?

В это время среди окружавшей его гудевшей толпы отчетливо выделился крик:

Отведем его к нашему королю! Отведем его к нашему королю!

– Пресвятая Дева, – пробормотал Гренгуар, – здешний король! Да это, должно быть, козел!

– К королю, к королю! – повторили многочисленные голоса.

Его куда-то потащили. Всякий старался уцепиться за него. Но первые три приставшие к нему нищие не выпускали его и вырывали его от других, крича:

– Он наш, он наш!

Плащ бедного поэта, и без того уже хворый, окончательно погиб в этой борьбе.

Но в то время, когда он проходил по этой ужасной площади, сознание стало возвращаться к нему; не успел он сделать нескольких шагов, как им снова овладело понимание действительности; он начал привыкать к окружавшей его атмосфере. В первую минуту из его поэтической головы, или, быть может, совершенно просто и прозаически – из его пустого желудка поднялся какой-то чад, какой-то туман, застлавший перед ним окружавшие его предметы, и помешал ему видеть иначе, как сквозь какой-то кошмар, стиравший или преувеличивавший всякие определенные очертания, придававший предметам безобразные формы, собиравший их в какие-то чудовищные группы, расширявший вещи до размеров миражей, людей – до размеров призраков. Теперь вокруг него начинала пробиваться действительность: она бросалась ему в глаза, он чуть не наступал на нее ногою, и она мало-помалу разрушала перед ним ту страшную поэзию, которую он в первую минуту окружил ее. Он не замедлил убедиться в том, что шлепал не по волнам Стикса, а по грязи, что его обступали не черти, а мошенники, что тут дело шло не о его душе, а просто о его жизни (ибо при нем не было того драгоценного примирителя, который в подобных случаях с таким успехом становится между разбойником и честным человеком, – кошелька). Наконец, всмотревшись в окружавшую его оргию поближе и с большим хладнокровием, он очутился, вместо шабаша ведьм, – просто в кабаке.

И действительно, так называемый Двор Чудес был не что иное, как кабак, но кабак мошенников и разбойников.

Зрелище, представившееся его взорам, когда его конвой, облеченный в лохмотья, доставил его, наконец, к цели их шествия, отнюдь не в состоянии было возвратить его в область поэзии, хотя бы даже поэзии ада: – оно оказалось, более чем что-либо другое, прозаичной и грубой действительностью кабака. Если бы дело не происходило в XV столетии, мы готовы были бы сказать, что Гренгуар спустился от Микель-Анджело до Калло.

Вокруг большого костра, разведенного на огромной, круглой, каменной плите и лизавшего своим огненным языком раскалившиеся докрасна прутья пустого в эту минуту треножника, несколько старых столов расставлены были в таком беспорядке, что с первого же взгляда становилось очевидным, что никакой геометрический глаз не наблюдал за тем, чтобы они стояли параллельно или, по крайней мере, под сколько-нибудь правильными углами. На столах этих стояли кувшины с вином или брагой, а вокруг них можно было различить немало вакхических лиц, раскрасневшихся от вина и от огня. Какой-то толстопузый человек, с веселым лицом, шумно и бесперемонно обнимал и целовал дебелую женщину, очевидно, не особенно строгих нравов. Это было что-то вроде беглого солдата, балагур, развязывавший с присвистом перевязку своей мнимой язвы и расправлявший свою здоровую и сильную ногу, забинтованную с утра сотней бинтов. На поверку он оказывался плутом, каждое утро устраивавшим себе больную ногу с помощью бычачьей крови и бородавника. Через два стола от него сидел какой-то плут в костюме паломника, очевидно повторявший, чтобы не забыть, заученную им жалобную песню. Тут молодой парень брал уроки в притворстве падучки у старого драгуна, учившего его, как вызвать выступление пены изо рта очень простым способом – жеванием куска

мыла. А рядом с ним одержимый водянкой уничтожал свою опухлость таким способом, что он заставил четырех или пятерых воров, споривших у соседнего стола из-за украденного в тот же вечер ребенка, заткнуть себе носы. Заметим, что все это безобразие два века спустя «показалось до того смешным королевскому двору, – как говорит Соваль, – что это послужило забавой для двора и вступлением к балету «Ночь», разделенному на четыре части и исполненному на малом Бурбонском театре». «Никогда еще, – прибавляет другой очевидец 1653 года, – внезапные метаморфозы «Двора Чудес» не были представляемы так удачно, а Бенсерад написал к этому очень милые стишки».

Всюду раздавались громкий хохот и непристойные песни. Всякий тянул свою песню, не слушая соседей и перемешивая ее ругательствами и сквернословием. Иные чокались кружками с вином, и при этом чоканье возникали ссоры и кружки разбивались, и вино лилось на лохмотья. Какая-то большая собака глядела в огонь; дети присутствовали при этой оргии, а только что украденный ребенок ревел благим матом. Какой-то мальчуган лет четырех, болтая ногами по воздуху и упираясь подбородком в стол, сосредоточенно молчал.

Третий с преважным видом размазывал по столу сало, стекавшее в изобилии с оплившей сальной свечи. Наконец, четвертый малый, сидя на карачках в грязи, стучал изо всей мочи черепицей в котел и извлекал этим способом звуки, способные довести до обморока какого-нибудь Страдивариуса.

Возле костра поставлена была вверх дном бочка, а на бочке сидел какой-то нищий. Бочка эта изображала собою трон, а нищий – царя этого оригинального царства.

Трое лиц, задержавших Гренгуара, подвели его к этой бочке, и вся эта вакханалия на минуту замолкла; только ребенок продолжал стучать по своему котлу. Гренгуар не решался ни поднять глаза, ни перевести дух.

– Эй, человеке, сними же свою шляпу, – сказал по-испански один из приведших его людей, и прежде, чем Гренгуар успел сообразить, что могли означать эти слова, другой сорвал с него шляпу. Она была, правда, довольно потерта, но все же могла представлять еще некоторую защиту от солнца и от дождя. Гренгуар только вздохнул.

Тем временем царь, с высоты своего седалища, спросил:

– Это что за гусь?

Гренгуар вздрогнул. Этот голос, несмотря на то, что в нем звучала нотка угрозы, напомнил ему другой голос, который, не далее, как в это самое утро, нанес первый удар его мистерии, выкрикивая в нос на всю залу: – «Подайте милостыню, Христа ради!» Он решился поднять голову: перед ним, действительно, был Клопен Трульефу.

Клопен Трульефу, хотя и сидевший на троне, сохранил все свои лохмотья, но только безобразная язва на руке его исчезла. В руках он держал плетку сыромятных ремней, в роде тех, которые употребляли в то время городские стражники для того, чтобы разгонять толпу; на голове его было что-то круглое, закрытое наверху; но трудно было различить, была ли то детская шапочка или корона, – до того оно походило и на то, и на другое.

Узнав в короле Двора чудес нищего из большой залы Дворца, Гренгуар, сам не зная почему, приободрился.

– Мэтр... – пробормотал он. – Монсеньор... Сир... Как вас прикажете величать? – вымолвил он, наконец, достигнув постепенно высших титулов и не зная, вознести его еще выше или же спустить с этих высот.

– Величай меня, как угодно, – монсеньор, ваше величество или приятель. Только не мямли. Что ты можешь сказать в свое оправдание?

«В свое оправдание? – подумал Гренгуар. – Плохо дело».

– Я тот самый, который нынче утром... – запинаясь, начал он.

– Клянусь когтями дьявола, – перебил его Клопен, – назови свое имя, прощелыга, и все! Слушай. Ты находишься в присутствии трех могущественных властелинов: меня, Клопена

Труйльфу, короля Алтынного, преемника великого кесаря, верховного властителя королевства Арго; Матиаса Гуниади Спикали, герцога египетского и цыганского, – вон того желтолицого старика, у которого голова обвязана тряпкой, – и Гильома Руссо, императора Галилеи, – того толстяка, который нас не слушает и обнимает потаскуху. Мы твои судьи. Ты проник в царство Арго, не будучи его подданным, ты преступил законы нашего города. Если ты не деловой парень, не христарадник или погорелец, что на наречии порядочных людей значит вор, нищий или бродяга, то должен понести за это наказание. Кто ты такой? Оправдывайся! Скажи свое звание.

– Увы! – ответил Гренгуар. – Я не имею чести состоять в их рядах. Я автор...

– Довольно! – не дав ему договорить, отрезал Труйльфу. – Ты будешь повешен. Это очень несложно, достопочтенные граждане! Как вы обращаетесь с нами, когда мы попадаем в ваши руки, так и мы обращаемся с вами здесь у себя. Закон, применяемый вами к бродягам, бродяги применяют к вам. Если он жесток, то это ваша вина. Ведь нужно же, чтобы по временам из-за пенькового ошейника выглядывала рожа честного человека: это делает означенный ошейник более почетным. Ну, приятель, так раздай поскорее твои лохмотья вон тем барышням. Я велю вздернуть тебя для того, чтобы доставить удовольствие нашим ребятам, а ты пока дай им свой кошелек: по крайней мере, им будет на что выпить. Если ты желаешь совершить то, что у вас там называется помолиться Богу, то ступай вон в ту будочку; там ты как раз найдешь аналой, недавно украденный нами вместе с другими вещами из какой-то церкви. Тебе дается четыре минуты срока.

Речь эта была весьма неуспокоительного свойства.

– Молодец, Клопен Трульефу, ей-Богу молодец! Такой проповеди не сумел бы произнести и сам святой отец-папа! – воскликнул царь Галилеи, от восторга разбив свою кружку об стол.

Господа короли и владыки! – спокойно начал Гренгуар (ибо, неизвестно каким образом, к нему вернулось его хладнокровие, и он говорил совершенно твердым голосом), – вы, по-видимому, жестоко ошибаетесь. Мое имя Пьер Гренгуар. Я поэт, автор той самой мистерии, которую представляли сегодня утром в Большой Зале суда.

– А, так это ты! – произнес Клопен, – Как же! Как же. Я сам был там сегодня. Но вот что, товарищ! Неужели ж из-за того, что ты таки порядком надоел нам сегодня утром, нам не повесить тебя сегодня вечером? А, как ты думаешь?!

«Дело дрянь», – подумал Гренгуар, однако, решился сделать еще одно усилие.

– Я не понимаю, – продолжал он, – почему поэтов не зачисляют в вашу почтенную корпорацию. Ведь был же Эзоп бродягой, Гомер – нищим, Меркурий – богом воровства...

– Ну, что ты нам еще мелешь! – перебил его Клопен. – Ступай-ка на виселицу, да и дело с концом!

Однако, позвольте, ваша светлость, – возразил Гренгуар, решившись отстаивать свою жизнь шаг за шагом. – Дело стоит того, чтобы поговорить... Подождите... одну минуточку. Ведь не захотите же вы повесить меня, не выслушав.

Голос несчастного действительно покрывался происходившим вокруг него шумом. Малыш стучал в свой котел с большим остервенением, чем когда либо; а в довершение всего какая-то старуха только что поставила на треножник какой-то горшок, наполненный салом, шипевшим, трещающим и чадившим немилосердно.

Клопен Трульефу счел, однако, нужным посоветоваться с герцогом египетским и властителем Галилеи, из которых последний был мертвецки пьян. Затем он закричал: «тише!» – а так как пустой котел и горшок с салом не слушались его и продолжали свой дуэт, то он соскочил с бочки, пихнул ногой котел, откатившийся шагов на десять вместе с ребенком, другой ногой ткнул горшок с салом, которое полилось в огонь, и преважно снова уселся на своем троне, ни

мало не заботясь ни о плаче ребенка, ни о сдержанном ворчании старухи, столь неожиданным образом лишившейся своего ужина.

По знаку, поданному Клопеном, все должностные лица этого оригинального государства стали вокруг него в форме подковы, центр которой занимал Гренгуар, собиравшийся отстаивать свою шкуру. Это было какое-то полукружие, составленное из лохмотьев, отрепья, мишуры, вил, топоров, спотыкающихся ног, толстых оголенных рук, бессмысленных, потухших, идиотских физиономий. И посреди всего этого сборища Клопен Трульефу, точно председатель этого синклита, точно царь этих подданных, выдавался, во-первых, с высоты своей бочки, а, во-вторых, каким-то надменным, свирепым и страшным видом, диким блеском глаз, служившим как бы противовесом его зверской физиономии: точно кабанья голова среди свинных рыл.

– Послушай, – обратился он к Гренгуару, поглаживая свой безобразный подбородок мозолистой рукой своей: – я не вижу причины, почему бы тебе не быть вздернутым. Правда, что тебе это, по-видимому, не особенно нравится, но оно и понятно: ведь вы, честные люди, не привыкли к этому. Вы составляете себе об этой операции какое-то преувеличенное понятие. Но, в конце концов, ведь мы не желаем тебе зла. И если ты желаешь избавиться от этой неприятности, то я предложу тебе очень простое средство: приставай к нам.

Можно представить себе впечатление, которое это предложение произвело на Гренгуара; он уже считал себя человеком отпетым, и вдруг ему блеснул луч надежды. Он с жадностью ухватился за эту надежду.

– Отчего же, с удовольствием, – ответил он.

– Ты соглашаешься – продолжал Клопен: – поступить в ряды мелких мазуриков?

– Мелких мазуриков, именно, – ответил Гренгуар.

– Ты признаешь себя членом общины вольных художников?

– Да, общины вольных художников.

– Подданным нашего царства?

– Да, вашего царства.

– Бродягой?

– Бродягой.

– От всей души?

– От всей души.

– Но я должен тебе заметить, что, тем не менее, тебя все-таки повесят, – заметил король.

– Вот тебе на! – мог только произнести поэт.

– С тою только разницей, – невозмутимо продолжал Клопен, – что ты будешь повешен позднее, с большими церемониями, на счет доброго города Парижа, на красивой каменной виселице и честными людьми. Все же утешение!

– Совершенно правильно изволили заметить, – ответил Гренгуар.

– Тут тебе представляются еще и другие выгоды. В качестве «свободного гражданина», тебе не придется платить ни за очистку и освещение улиц, ни в пользу бедных, что обязаны делать прочие парижские граждане.

– Пусть будет по-вашему, – проговорил поэт, – я согласен. Я готов сделаться бродягой, карманником, «свободным гражданином», – всем, чем вам угодно. Я вам скажу даже, что я уже был всем этим и раньше, ибо я философ; а, как вам известно, все и вся заключается в философии.

– За кого ты меня принимаешь, приятель? – проговорил Трульефу, наморщив брови. – Что ты там мелешь тарабарщину! Я не понимаю по-еврейски, да это и совершенно излишне в нашем ремесле. Я даже уже не ворую, – поднимай выше, – я убиваю. Я убийца, а не карманник! Понял?

Гренгуар пытался вставить несколько извинений среди этих фраз, произнесенных сердитым, отрывистым голосом.

– Извините, ваша светлость, – пробормотал он, – это не по-еврейски, а по-латыни.

– Говорю тебе, – воскликнул Клопен, все более и более горячась, – что я не жид, и что я велю тебя повесить, чертов еврей, вместе с тем жалким жиденком-торгашем, который стоит вон там возле тебя, и которого я надеюсь когда-нибудь видеть болтающимся на виселице, с повешенными ему же на шею фальшивыми монетами, которые он сам фабрикует.

И с этими словами он ткнул пальцем по направлению к маленькому, бородавчатому венгерскому еврею, который незадолго перед тем обращался к Гренгуару по-латыни со словами: «сотворите милостыню», и который, не понимая французского языка, с недоумением относился к обращенному на него гневу сердитого владыки.

Впрочем, мало-помалу Клопен успокоился и обратился к нашему поэту со словами:

– Так ты говоришь, бездельник, что желаешь пристать к нам?

– Без сомнения! – ответил поэт.

– Но ведь недостаточно хотеть, – проговорил сердитый Клопен. – Из доброго желания шубы себе не сошьешь, и оно годится разве на то, чтобы попасть в рай; а рай и воровство – это две вещи совершенно различные. Для того, чтоб иметь честь быть принятым в нашу среду, ты должен, прежде всего, доказать, что ты на что-нибудь годен. Вот общарь-ка это чучело.

Я общарю все, что вам будет угодно... – ответил Гренгуар.

По сделанному Клопеном знаку, несколько мазуриков отделились от толпы и возвратились минутой спустя, таща за собою два столба, на нижнем конце которых были приделаны две лопаточки, при помощи которых они получали устойчивость, будучи поставлены на землю. На верхние концы они положили поперечный брус и таким образом соорудили премиленькую переносную виселицу, которая, к удовольствию Гренгуара, оказалась готовой в одно мгновение. В ней ничего не доставало, и даже веревка грациозно болталась под верхней перекладиной.

– К чему они все это мастерят! – спрашивал сам себя Гренгуар не без некоторого беспокойства. Но звук каких-то бубенчиков тотчас же отвлек его внимание в другую сторону. Оказалось, что к веревке подвешивали за шею чучело, что-то вроде птичьего пугала, одетое в красное и до того увешанное бубенцами и колокольчиками, что ими можно было бы убрать не менее тридцати испанских мулов. Все эти бубенцы и колокольчики звенели до тех пор, пока не прекратились колебания веревки.

Затем Клопен, указав Гренгуару на старую, не особенно устойчивую скамейку, поставленную под чучелом, сказал ему:

– Взлезай сюда!

– Однако, – осмелился заметить Гренгуар: – я ведь могу свернуть себе шею. Ваша скамейка хромает, как двести Марциала. У нее одна ножка – гекзаметрическая, а другая – пентаметрическая.

– Полезай! – прикрикнул на него Клопен.

Гренгуар встал на скамейку, нему, наконец, удалось, конечно, не без больших усилий, установить на ней равновесие свое.

– Теперь, – продолжал Трульефу, – закинь свою правую ногу за левую и встань на носок левой ноги.

– Сударь, – сказал Гренгуар, – так вам непременно желательно, чтобы я сломал себе шею?

– Послушай, приятель, – сказал Клопен, пожав плечами, – ты положительно слишком много болтаешь. Я тебе объясню в двух словах, в чем дело. Ты, как я уже говорил тебе, встанешь на носок левой ноги и таким образом ты в состоянии будешь достать до кармана чучела; ты его обшаришь и вытащишь из него кошелек, который ты найдешь в нем; и если ты исполнишь это

так, что не зазвучит ни один колокольчик, – то, значит, ты достоин сделаться карманником, и затем нам остается только хорошенько поколачивать тебя в течение всего одной недели.

– Постараюсь, черт побери! – сказал Гренгуар. – Ну, а если забренчат колокольчики?

– Тогда ты будешь повешен, понимаешь?

– Ничего не понимаю! – ответил Гренгуар.

– Слушай же еще раз. Ты обшаришь чучело и вынешь из кармана его кошелек; если во время этой операции забренчит хоть один колокольчик, ты будешь повешен. Теперь понял?

– Ну, понял, – сказал Гренгуар. – А дальше?

– А дальше, если тебе удастся вытащить кошелек, без того, чтобы задребезжал хоть один колокольчик, то ты сделаешься карманником и будешь бит в течение недели. Кажется, ясно?

– Нет, ваша светлость, еще не совсем ясно. Какой же мне в том расчет: быть повешенным в одном случае и битым в другом?

– А быть принятым в корпорацию мазуриков! – воскликнул Клопен. – Разве ты этого ни во что не ставишь? Ведь мы будем бить тебя для твоей же пользы, чтобы приучить тебя к побоям.

– Премного вам благодарен! – ответил поэт.

– Ну, живо! – проговорил Клопен, топнув ногою по своей бочке так сильно, что гул пронесся по всей площади. – Обшаривай чучело, кончай! Но предупреждаю тебя, что если звякнет хоть один колокольчик, ты заступишь место чучела.

Орава мазуриков принялась рукоплескать этим словам своего наибольшего и окружила виселицу с таким безжалостным хохотом, что Гренгуар ясно увидел, что все это служит им только забавой и что ему нечего ждать от них пощады. Поэтому ему не оставалось никакой надежды, кроме слабого чаяния, что ему, быть может, удастся совершить ту трудную манипуляцию, которая ему предстояла. Поэтому он решился рискнуть на нее, предварительно обратившись с горячей молитвой к тому чучелу, карманы которого ему предстояло выпотрошить, вполне основательно рассчитывая, что легче умиловить это чучело, чем окружавших его мазуриков: при этом бесчисленные колокольчики, с их маленькими язычками, казались ему столькими же змеиными жалами, готовыми зашипеть и ужалить его.

– Неужели же, – говорил он сам себе: – жизнь моя зависит от малейшего колебания этих бубенцов! Умоляю вас, – продолжал он, сложив руки как бы для молитвы, – колокольчики, не звоните! бубенчики, не бренчите! Спасите мне жизнь!

Он решился еще в последний раз обратиться к Трульефу и спросил его:

– А если тем временем случится порыв ветра?

– Ты будешь повешен! – ответил тот, не поведя и бровью.

Убедившись в том, что ни просьбы, ни виляния ни к чему не поведут, он вооружился всем своим мужеством, закинул правую ногу за левую, поднялся на носок левой ноги и протянул руку. Но в то самое мгновение, как он прикоснулся ею к чучелу, туловище его, упиравшееся только на одну ногу, покачнулось на скамейке, стоявшей всего на трех ножках; он совершенно машинально пожелал ухватиться за чучело, потерял равновесие и тяжело грохнулся на землю, весь оглушенный злосчастным трезвоноты тысячи колокольчиков и бубенцов, между тем, как чучело от полученного им толчка, сначала повернулось вокруг своей оси, а затем закачалось на виселице.

– Проклятие! – воскликнул он и, упав ничком на землю, остался лежать, как мертвец.

А между тем, он ясно слышал, как над головой его продолжался проклятый трезвон колокольчиков, к которому примешивался адский хохот мазуриков. Наконец, раздался голос Трульефу:

– Эй, приподнимите-ка с земли этого дурака и вздерните его живее!

Он встал. Чучело было уже снято с виселицы для того, чтобы очистить место для него. Его заставили взойти на скамейку. Клопен подошел к нему, самолично накинул ему петлю на шею и сказал, потрепав его по плечу.

– Ну, прощай, приятель! Теперь уже не отвертишься, хотя бы ты был и семи пядей во лбу.

Слово «пощадите!» замерло на устах Гренгуара. Он повел вокруг себя глазами; не было ни малейшей надежды: все смеялись.

– Бельвинь-де-л'Этуаль, – сказал Трульефу, обращаясь к громадного роста детине, отделившемуся от толпы: – полезай-ка на перекладину.

Бельвинь-де-л'Этуаль проворно взлез на поперечное бревно, и минуту спустя Гренгуар, подняв глаза, увидел его над своей головой скорчившимся, точно тигр, готовый ринуться на добычу.

– Теперь, – продолжал Клопен: – как только я захлопаю в ладоши, ты, Андрей Рыжий, вышибешь у него из-под ног скамейку, ты, Франсуа Шант-Прюн, потянешь молодца за ноги, а ты, Бельвинь, вскочишь к нему на плечи. Да все трое разом, понимаете ли?

Гренгуар вздрогнул.

– Ну, живо, все разом! – произнес Трульефу, обращаясь к мазурикам, готовым накинуться на свою жертву, как пауки на муху. Бедному поэту пришлось пережить страшное мгновение, ожидая, пока Клопен спокойно отпихивал ногою в костер несколько прутьев виноградной лозы, не охваченных пламенем. – Готовы? – спросил он, разведя ладонями и собираясь хлопнуть ими. Еще одна секунда – и все было бы кончено.

Но вдруг он остановился, как будто о чем-то вспомнив.

– Стой, стой! – воскликнул он: – чуть было не забыл! У нас принято не вешать человека, не осведомившись предварительно, не желает ли его взять себе какая-нибудь женщина. Приятель, вот тебе последнее средство спасения; или женись на которой-нибудь из наших, или болтайся на виселице.

Этот старинный цыганский закон, как ни странным он может показаться читателю, существует, однако, и доныне в старинном английском законодательстве, как можно убедиться из «Наблюдений Бюрингтона».

Гренгуар вздохнул свободнее: во второй раз в течение получаса перед ним появился проблеск жизни, но теперь он уже не смел слишком сильно надеяться.

Эй! – крикнул Клопен, снова взобравшись на свою бочку, – эй, бабы, девки, найдется ли между вами какая-нибудь ободранная кошка, которая пожелала бы иметь этого болвана? Эй, Коллета ла-Шаронн! Лиза Трувен! Симона Жодуин! Мария Пьедебу! Тоня Длинная! Берарда Фануэль! Микаэла Женайл! Клавдия Ронжорейль Матюрина Жирору! Эй, Изабелла Ла-Тьерри! Кто из вас желает получить даром мужчину?

Гренгуар, в своем тогдашнем жалком виде казался, конечно, очень мало лакомым куском, и поэтому все женщины выказывали очень мало охоты отозваться на предложение Трульефу. Бедняга слышал, как они восклицали наперерыв: «Нет, нет! Повесьте его! Будет, по крайней мере, удовольствие всем!»

Однако трое из женщин отделились от толпы и подошли, чтобы рассмотреть его поближе. Первая из них была толстая и дебелая женщина, с почти четырехугольным лицом. Она внимательно оглядела разорванный плащ бедного поэта и сюртук его, более дырявый, чем решето, и, скорчив гримасу, проговорила: – «Экая рвань!» Затем она продолжала, обращаясь к Гренгуару:

– Ну, покажи-ка свой капюшон!

– Я потерял его... – ответил Гренгуар.

– А свою шляпу?

– Ее отняли у меня.

– А свои башмаки?

– Увы! – в них стала уже отваливаться подошва.

– А свой кошелек?

У меня нет ни полушки.

Ну, так ступай на виселицу, да еще и поблагодари! сказала она, поворачиваясь к нему спиной.

Вторая, старуха, смуглая, сморщенная, безобразная до того, что обращала на себя внимание своим безобразием даже среди этого, далеко не изящного, общества, походила некоторое время вокруг Гренгуара, и он начинал уже опасаться, как бы она не изъясилась на него претензии; но, наконец, она пробормотала сквозь зубы:

«Он слишком худ» – и пошла прочь.

Третья была молодая девушка, довольно свежая и небезобразная.

– Спасите меня! – шепнул ей бедняга.

Она взглянула на него с выражением сожаления, тем опустила глаза, стала мять свою юбку и несколько мгновений как будто колебалась. Он следил глазами за всеми ее движениями, это был для него последний луч надежды.

– Нет! – произнесла, наконец, молодая девушка. – Нет! Гильом Лонгжу станет бить меня. – И она снова юркнула в толпу.

– Ну, не везет же тебе, товарищ! – проговорил Клопен. Затем, встав ногами на свою бочку, он воскликнул громким голосом, подражая интонации аукциониста, что возбудило всеобщий хохот:

– Итак, никто его не желает? Никто? Раз, два, три! И затем, повернувшись к виселице и кивнув в ее сторону головой, он прибавил: – За вами осталось.

Бельвинь-де-л'Этуаль, Андрей Рыжий, Франсуа Шант-Прюн снова приблизились к Гренгуару.

В эту минуту среди сборища раздались возгласы.

– Эсмеральда! Эсмеральда!

Гренгуар вздрогнул и обернулся в ту сторону, откуда раздавались возгласы. Толпа расступилась и дала пройти молодой, поразительно красивой девушке. Это была цыганка.

– Эсмеральда! – проговорил Гренгуар, пораженный, несмотря на трагичность момента, тем странным совпадением обстоятельств, при которых он во второй раз слышал это имя.

Влияние красоты и обаяние ее сказывались, казалось, даже в этом ужасном вертепе. Все, как мужчины, так и женщины, расступались перед нею, и их грубые лица как бы расцветали при одном виде ее.

Она легкою поступью приблизилась к бедняге; хорошенькая козочка ее следовала за нею по пятам. Гренгуар был более мертв, чем жив. Она несколько мгновений молча смотрела на него.

Вы хотите сейчас же повесить этого человека? – серьезно спросила она у Клопена.

– Да, сестрица – ответил ей тот: – если только ты не желаешь взять его себе в мужа.

– Хорошо, я беру его... – сказала она, сделав хорошенькую гримасу нижней губой.

Тут Гренгуар окончательно пришел к убеждению, что все, происшедшее с ним с самого утра было не что иное, как сон, и что это было продолжением его.

Но нет, это не был сон. Он не замедлил убедиться в том, что с шеи его сняли петлю и что его спихнули со скамейки. Он вынужден был сесть до того сильно было его волнение.

Цыганский царь, не произнеся ни слова, принес глиняную кружку. Цыганка поднесла ее Гренгуару со словами «Киньте ее на землю». Кружка разбилась вдребезги.

Брат, – произнес тогда цыганский царь, положив свои руки на их головы, – она – твоя жена; сестра – он твой муж. На четыре года. Ступайте!

VII. Брачная ночь

По прошествии нескольких минут поэт наш очутился в небольшой комнатке со стрельчатым сводом, хорошо вытопленной, запертой, сидя за столом который, казалось, просил, чтобы на него поскорее поставили что-нибудь из стоявшего вблизи шкафа с съестными припасами, видя в некотором от себя отдалении хорошенькую кровать, вдвоем с красивой девушкой. Все это приключение его отзывалось каким-то волшебством; он серьезно начинал принимать самого себя за какое-то действующее лицо из волшебной сказки по временам он бросал вокруг себя взоры, как бы ожидая увидеть огненную колесницу, запряженную двумя летучими рыбами, которая одна в состоянии была перенести его так быстро из преисподней в рай. По временам он пристально всматривался в дыры своего плата, как бы для того, чтобы возвратиться к действительности и чтобы не совершенно потерять почву под ногами. Его рассудок, под влиянием только что испытанных разнообразных ощущений, держался только на этой ниточке.

Молодая девушка, казалось, не обращала на него никакого внимания: она ходила взад и вперед по комнате, приводила в порядок незатейливую мебель ее, болтала с своей козочкой, строила разные гримасы. Наконец, она уселась возле стола, и Гренгуар мог внимательно рассмотреть ее.

Вы были когда-то ребенком, читатель, а, может быть, вы настолько счастливы, что остались им и до сих пор. Не может быть, чтобы вы не раз (я, со своей стороны, провел в этом целые дни, и притом наилучшим образом проведенные дни моей жизни) следили, от кустика к кустику, на берегу ручейка, в ясный солнечный день, за какою-нибудь зеленой или синей стрекозой, летавшей зигзагами, и мысль ваша и ваши взоры останавливались на этом маленьком, жужжавшем вихре, в котором между парюю лазоревых и блестящих крыльев носилось какое-то маленькое тельце, которое даже трудно было рассмотреть при быстроте его движений. Воздушное существо, которое смутно обрисовывалось перед вами сквозь это трепетание крыльев, казалось вам чем-то химерическим, призрачным, неосознанным, еле уловимым для глаза. Но когда стрекоза, наконец, цеплялась за конец ветки и вы, задерживая дыхание, могли рассмотреть ее длинные, как бы сотканые из газа, крылья, ее длинную эмалевую одежду, пару ее блестящих, как алмаз, глаз, с каким вы смотрели на нее удивлением и как вы боялись, что вот-вот она снова вспорхнет и химера ваша разлетится! – Припомните себе эти впечатления, и вы без труда отдадите себе отчет в том, что испытывал Гренгуар, рассматривая вблизи ту самую Эсмеральду, которая до сих пор только мелькала перед ним в вихре пляски, пения и шума.

– Так вот, – говорил он про себя, все более и более погружаясь в мечтания и машинально следя за нею глазами, – что такое Эсмеральда и Небесное создание! Уличная плясунья! Так много, и в то же время так мало! Она была главной виновницей того фиаско, которое потерпела моя мистерия сегодня утром, она же спасает мне жизнь сегодня вечером. Мой злой и мой добрый гений в одно и то же время. А красивая женщина, ей-Богу! И, должно быть, она безумно влюблена в меня, если она взяла меня таким образом. – А кстати, – вдруг сказал он, поднимаясь с места, в таком сознании истины, которое составляло основную черту его характера и его философии: – не знаю уж, как случилось, но ведь я – ее муж.

И под влиянием такой мысли, он подошел к молодой девушке с таким предприимчивым и решительным видом, что она попятилась назад и спросила его:

– Чего вам от меня нужно?

– Можете ли вы спрашивать меня об этом, очаровательная Эсмеральда? – ответил Гренгуар с таким страстным выражением голоса, которое удивило его самого.

– Я не понимаю, что вы этим хотите сказать... – продолжала цыганка, широко раскрыв глаза.

– Да что же такое, наконец! – воскликнул Гренгуар, все более и более разгораясь и вспомнив, что, в конце концов, он имеет дело с добродетелью «Двора Чудес, – разве я не твой муж, моя милая, и разве ты не жена моя?

И, без дальнейших церемоний, он обхватил ее талию. Но та выскользнула из-под его руки, как уж, отскочила одним прыжком в противоположный угол комнаты, нагнулась и затем снова выпрямилась, держа в руке кинжал. Гренгуар не успел даже заметить, откуда взялся этот кинжал. Она стояла раздраженная и гордая, с приподнятой кверху верхней губой, с раздувшимися ноздрями, с раскрасневшимися щеками, с широко раскрывшимися зрачками глаз. В то же время беленькая козочка ее встала перед нею и, нагнув голову, устала на Гренгуара свои хорошенькие, позолоченные рожки, между тем, как шерсть на ней поднялась дыбом. Все это совершилось в одно мгновение. Девушка превратилась в осу и готова была ужалить.

Наш философ обомлел и переводил глаза поочередно с козы на девушку и с девушки на козу.

– Пресвятая Дева! – проговорил он, наконец, когда миновало первое впечатление удивления, – что с ними такое?

– Однако же ты очень дерзкий малый! – проговорила цыганка, первая прервав молчание.

– Извините, сударыня, – сказал Гренгуар, улыбаясь, – но для чего же вы взяли меня себе в мужа?

– Так что же, ты предпочел бы болтаться на виселице?

– Значит, – проговорил наш поэт, несколько разочаровавшись в своих любовных надеждах, – вы, выходя за меня замуж, руководствовались только желанием спасти меня от виселицы?

– А чем же я могла еще руководствоваться?

– Видно, – проговорил про себя Гренгуар, закусив губу, – мне еще не так близко до торжествующей любви, как я то думал. Но в таком случае для чего же они разбили этот бедный кувшин?

Тем временем кинжал Эсмеральды и рога козы все еще оставались в оборонительном положении.

– Сударыня, – громко сказал поэт, – пойдемте на соглашение. Я не судейский крючок, и не стану придирается к вам за то, что вы носите при себе в Париже оружие, вопреки строгому запрещению властей, хотя, быть может, вам и известно, что не далее, как не делю тому назад, Ноэль Лекривен был приговорен к значительной денежной пене за то, что носил при себе кортик. Но это до меня не касается, и я возвращаюсь к делу. Клянусь вам своею долею рая, что я не приближусь к вам без вашего разрешения и приглашения; но только дайте мне поужинать.

В сущности Гренгуар не принадлежал к числу сладострастных натур; он не был из категории тех людей, которые берут женщин приступом. В любовных делах, как и во всех других, он склонялся скорее на сторону выжидательных мер; а хороший ужин, в особенности с глазу на глаз с красивой женщиной, казался ему, в особенности при мучившем его голоде, отличным антрактом между прологом и развязкой этого неожиданного любовного приключения.

Цыганка ничего не ответила. Она состроила презрительную гримасу, повернула головку, точно птица, затем громко расхохоталась; кинжал исчез столь же незаметным образом, как он появился, и Гренгуар опять-таки не успел разглядеть, где пчела прячет свое жало. Минуту спустя на столе перед ним появился ломоть ржаного хлеба, кусок сала, несколько яблок и кружка браги. Гренгуар принялся пожирать все это с жадностью. Судя по бешеному стуку его ножа о тарелку, можно было подумать, что вся его любовь ушла в аппетит. Молодая девушка, усевшись перед ним, молча смотрела на него, занятая, очевидно, совершенно другою мыслью, заставлявшею ее по временам улыбаться, между тем, как маленькая ручка ее гладила умную головку козы, положенную на ее колени. Свеча из желтого воска освещала эту сцену обжорства и мечтательности.

Немного заморив червячка, Гренгуар с некоторым чувством стыда заметил, что осталось только одно яблоко.

А вы разве не хотите кушать? – спросил он.

Она только мотнула головою и уставила глаза в потолок комнаты.

– О чем это она задумалась? – сказал про себя Гренгуар, и, устремив свой взор по тому направлению, куда были обращены ее глаза, подумал: «Не может же до такой степени привлекать ее внимание этот маленький, каменный карлик, которым заканчивается свод. Ведь, черт возьми, я же, кажется, покрасивее его!»

И, возвысив голос, он опять окликнул ее:

Сударыня! – Она, по-видимому, не слышала его. Он повторил еще громче: – Госпожа Эсмеральда!

Тщетный труд. Мысли молодой девушки, очевидно, были где-то далеко, и голос Гренгуара не в состоянии был призвать их обратно. К счастью для него, в дело вмешалась коза: она принялась потихоньку теревить свою хозяйку за рукав.

Чего тебе, Джали? – проговорила цыганка, как бы проснувшись от глубокого сна.

– Она голодна, – проговорил Гренгуар, обрадовавшись случаю завязать разговор.

Эсмеральда накрошила на своей ладони хлеба, который Джали грациозно стала есть. Гренгуар решился воспользоваться этим случаем, чтобы не дать ей снова впасть в свою задумчивость, и предложил ей несколько нескромный вопрос:

– Так вы не желаете иметь меня своим мужем?

Молодая девушка пристально взглянула на него и ответила:

– Нет!

– А любовником? – продолжал Гренгуар.

Она состроила гримасу и опять проговорила:

– Нет!

– А другом? – настаивал Гренгуар.

Она опять пристально взглянула на него и, подумав немного, ответила:

– Быть может!

Это «быть может», столь дорогое философам, придало смелости Гренгуару.

– А знаете ли вы, что такое дружба? – спросил он.

– Да, знаю, – ответила цыганка. – Это значит жить, как брат с сестрою, душа в душу, как два пальца, которые соприкасаются, но не сливаются в одно.

– Ну, а любовь? – продолжал Гренгуар.

– О, любовь! – воскликнула она, и голос ее задрожал, а глаза заблестели. – Любовь – это значит быть двумя существами, слитыми воедино; это – женщина и мужчина, превратившиеся в одного ангела. Это – небо!

И, произнося эти слова, уличная плясунья озарилась такою красотою, которая просто поразила Гренгуара и которая показалась ему вполне гармонирующей с почти восточной восторженностью ее слов. Ее розовые, нежные губки полу-улыбались; ее ясный лоб по временам подергивался легким туманом мысли, подобно тому, как зеркало на минуту тускнеет от дыхания, а из-под длинных, черных, шелковистых ресниц ее по временам вырывались снопы света, придававшие лицу ее тот идеальный оттенок, который встречается иногда у женщин Рафаэля.

– Так что же, однако, нужно для того, чтобы понравиться вам? – продолжал допрашивать Гренгуар.

– Нужно быть мужчиной.

– А я – разве не мужчина?

– У мужчины – шлем на голове, меч у бедра и золотые шпоры на каблуках.

Хорошо, – сказал Гренгуар, – значит, мужчина должен быть всадником, – А любите ли вы кого-нибудь?

Она на минуту задумалась и затем сказала с каким-то особенным выражением:

– Я это вскоре узнаю.

А отчего же не сегодня вечером? – спросил поэт нежным голосом. – Отчего не меня?

Оттого, что я в состоянии буду полюбить только человека, который сумеет защищать меня, – ответила она серьезным тоном.

Гренгуар покраснел и замолчал: очевидно было, что молодая девушка намекала на то, что он не сумел как следует защитить ее в том критическом положении, в котором она очутилась часа за два перед тем. Это воспоминание, несколько сглаженное другими событиями минувшего вечера, пришло ему на ум, и он хлопнул себя ладонью по лбу.

Кстати, сударыня, – сказал он, – мне бы следовало и начать с этого вопроса; извините мою рассеянность. Каким образом вам удалось освободиться от когтей Квазимодо?

О, проклятый горбун! – воскликнула молодая девушка, вздрогнув и закрыв руками лицо свое. Она дрожала, точно ее била лихорадка.

Действительно, ужасный, – подтвердил Гренгуар, не терявший надежды добиться своего. – Но каким же образом вы избавились от него?

Эсмеральда вздохнула, улыбнулась и промолчала.

А известно ли вам, почему он преследовал вас? – спросил Гренгуар, пытаясь вернуться к своему вопросу обходным путем.

– Нет, не знаю, – ответила она, и затем прибавила с живостью, – да ведь и вы следовали за мною! С какою целью вы это делали?

– Сказать вам по совести, – ответил Гренгуар, – я этого и сам хорошенько не знаю.

Оба они замолчали. Гренгуар водил по столу ножом; молодая девушка улыбалась и как будто старалась разглядеть что-то сквозь стену. Затем вдруг она вполголоса запела по-испански:

Когда замолкают разноцветные птицы,
а земля...

Но тут же она оборвала свою песню и принялась ласкать Джали.

– Какая хорошенькая у вас козочка, – снова заговорил Гренгуар.

– Это сестра моя, – ответила она.

– А почему вас зовут Эсмеральда?¹⁰ – снова спросил поэт.

– Не знаю, – ответила она и с этими словами вынула из-за своего корсажа небольшую, продолговатую ладанку, висевшую у ней на шее на цепочке из каких-то нанизанных зерен. От этой ладанки сильно пахло камфарой. Она была сшита из зеленого шелка, и в ней было довольно большое зеленое стеклышко, наподобие изумруда.

– Может быть, вследствие этого, – проговорила она.

Гренгуар протянул было руку к ладанке, но она отдернула свою.

– Не трогай! – сказала она. – Это амулет! Ты мог бы причинить вред ему или он тебе.

– Кто же дал тебе его? – спросил поэт, любопытство которого все более и более разгоралось.

Она приложила палец к губам и снова спрятала ладанку за свой корсаж. Он попробовал предложить ей еще несколько вопросов, но она не отвечала.

– А что значит слово: «Эсмеральда»?

– Не знаю, – ответила она.

– Да какому языку принадлежит оно?

– Не знаю, наверное. Кажется, это слово египетское.

¹⁰ Эсмеральда по-испански значит «изумруд». // Примеч. перев.

– Я так и думал, – сказал Гренгуар. – Значит, вы родом не из Франции?

– Не знаю.

– Но кто же ваши родители?

Она запела на весьма старинный мотив: «Отец мой – птица, мать моя – пташка. Я переправляюсь через реку без лодки и без челна. Отец мой – птица, мать моя – пташка».

– Ну, прекрасно, – продолжал Гренгуар. – А скольких же лет вы попали во Францию?

– Еще совершенно маленькой.

– А в Париж?

– В прошлом году. В то время, когда мы входили в заставу, я увидела улетающую камышовую малиновку, – это было в конце августа, – и сказала сама себе: «У нас будет нынче суровая зима».

– Так оно действительно и случилось, – сказал Гренгуар, восхищенный тем, что разговор, наконец, завязался, – мне в течение этой зимы порядочно-таки пришлось дуть себе в кулак. Вы, значит, обладаете даром пророчества?

– Нет, – ответила она, снова впадая в свой лаконический тон.

– А тот человек, которого вы называете цыганским царем, это значит, начальник вашего племени?

– Да.

– Однако ему мы обязаны тем, что мы женаты, – робко заметил поэт.

– Я не знаю даже твоего имени, – сказала она, состроив свою хорошенькую гримасу.

– Мое имя? Вот оно, если вам того угодно: Пьер Гренгуар.

– А я знаю более красивое имя.

– Вы желаете дразнить меня, – сказал поэт, – но это вам все равно не удастся. Послушайте, быть может, вы полюбите меня, узнав меня поближе. А так как вы сообщили мне кое-какие сведения о себе, то и я считаю нужным рассказать вам вкратце мою биографию. Так знайте же, что меня зовут Пьером Гренгуаром и что я сын сельского нотариуса в Гонессе. Отца моего повесили пикардцы, а моей матери распорол живот бургундцы во время осады Парижа, двадцать лет тому назад. Итак, с шести лет я остался круглым сиротой, не имея иного пристанища, кроме парижской мостовой. Я сам хорошенько не знаю, каким образом я прожил от шестилетнего возраста до шестнадцатилетнего. Кое- когда продавщица фруктов давала мне сливу, булочник бросал мне корку хлеба; по вечерам меня подбирал на улицах ночной дозор, который отводил меня в тюрьму, где я находил, по крайней мере, связку соломы. Все это не помешало мне вырасти и похудеть, как вы видите. Зимой я грелся на солнце, под Сен-Санской аркой, находя очень странным, что ивановский костер разводится в июне месяце, среди летних жаров. В шестнадцать лет я задумал приняться за какое-нибудь занятие и поочередно перепробовал разные. Я поступил в военную службу, но у меня не достало храбрости; затем я поступил в монахи, но тут у меня не хватило благочестия, да к тому же я не умею пить. С отчаяния я поступил в обучение в плотничью артель, но для того, чтобы быть плотником, у меня не хватило силы. Тогда я задумал сделаться школьным учителем; правда, я не умел читать, но это не могло послужить мне препятствием. Словом, по прошествии некоторого времени я убедился в том, что у меня во всем чего-то недостает; и, увидев, что я ни на что не гоюсь, я по собственной моей охоте сделался поэтом и рифмоплетом. Это такое занятие, к которому всегда можно перейти от бродяжничества, и во всяком случае это лучше, чем воровать, как советовали мне делать некоторые знакомые мне молодые люди. К счастью для меня, я встретил в один прекрасный день Клода Фролло, достопочтенного архидиакона собора Парижской Богоматери. Он принял во мне участие, и ему я обязан тем, что теперь я не только человек грамотный, но даже знакомый с латинской словесностью, начиная с Цицерона и кончая «Житиями Святых», и что я не невежда ни в схоластике, ни в пиитике, ни в ритмике, ни даже в герменевтике, этой премудрости премудростей. Я – автор той мистерии, которую представляли сегодня утром,

с таким торжеством и при таком многочисленном стечении народа, в большой зале суда. Я написал также сочинение в шестьсот страниц о чудовищной комете 1456 года, которая довела одного человека до сумасшествия. Кроме того, я одержал и некоторые другие успехи. Будучи несколько знаком с артиллерийским делом, я работал над сооружением той огромной пушки Жана Мога, которую, как вам, вероятно, известно, разорвало на Шарантонском мосту в тот день, когда ее испытывали, причем было убито 24 человека. Из этого вы видите, что я представляю собою довольно приличную партию. Я могу также научить вашу козу разным очень забавным штукам, как, например, изображать парижского епископа, этого проклятого фарисея, мельницы которого забрызгивают водою всякого, проходящего мимо Мельничного моста. Наконец, мистерия моя доставит мне немало денег, если только мне заплатят за нее. Словом, я весь к вашим услугам – и я, и мой ум, и мое образование, и моя наука. Я готов жить с вами, сударыня, как вам будет угодно, целомудренно или среди наслаждений, как муж и жена, если вы того пожелаете, как брат и сестра, если вы предпочтете это.

Гренгуар замолчал, выжидая, какое впечатление произведет его длинный монолог на молодую девушку.

Она продолжала сидеть, потупив взоры в землю.

– Феб... – произнесла она вполголоса, и затем, порывисто повернувшись к Гренгуару, спросила его: – А что такое значит Феб?

Гренгуар, хотя и не понимал хорошенько, какая может быть связь между его монологом и этим вопросом, обрадовался, однако, случаю блеснуть своею ученостью. Он ответил докторальным тоном:

– Это латинское слово, оно означает «солнце».

– Солнце? – переспросила девушка.

– Да, это имя прекрасного стрелка, который был богом, – присовокупил Гренгуар.

– Богом? – повторила девушка, и в звуке ее голоса было что-то мечтательное и страстное.

В эту минуту с руки ее скатился на пол один из ее браслетов. Гренгуар нагнулся, чтобы поискать его. Когда он снова поднял голову, молодая девушка и коза успели уже исчезнуть. Он услышал стук задвигаемого засова: оказалось, что запиралась небольшая дверь, которая, без сомнения, вела в соседнюю комнату, запиравшуюся снаружи.

– Но оставила ли она, по крайней мере, кровать? – подумал философ.

Он обошел комнату. Кровати, собственно, не оказалось, но ее с удобством мог заменить довольно большой деревянный сундук, с резной крышкой; Гренгуар, растянувшись на нем, испытал, вероятно, такое же ощущение, какое ощутил бы какой-нибудь чудовищный великан, растянувшись во всю длину вдоль гребня Альп.

– Делать нечего, – проговорил он, стараясь как-нибудь приладиться, – приходится уже подчиниться этому неудобству. Однако, довольно странная брачная ночь, нечего сказать! А жаль! В этой свадьбе, с разбиванием кружек, было что-то наивное и допотопное, что мне очень нравилось.

Книга третья

I. Собор Парижской Богоматери

Без сомнения, собор Парижской Богоматери представляет собою еще и в наше время очень величественное и прекрасное здание. Но как оно хорошо ни сохранилось, постарев, трудно удержаться от вздоха, трудно не чувствовать негодования при виде порчи и искажений, которым одновременно подвергли это почтенное здание и время, и люди, забывшие всякое уважение и к Карлу Великому, положившему первый камень его, и к Филиппу-Августу,

положившему последний камень. На лице этой старой царицы наших церквей рядом с морщиной можно заметить и шрамы. Время прозорливо, но человек еще прозорливее; время слепо, человек бессмыслен. Если бы у нас с читателем хватило досуга проследить один за другим все следы разрушения, которые отпечатались на древнем храме, мы бы заметили, что доля времени ничтожна, что наибольший вред нанесли люди, и главным образом люди искусства. Я вынужден упомянуть о «людях искусства», ибо в течение двух последних столетий к их числу принадлежали личности, присвоившие себе звание архитекторов.

Прежде всего – чтобы ограничиться наиболее яркими примерами – следует указать, что вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какою является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала; над ними – зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восемью королевскими нишами, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам, подобно священнику, стоящему между дяконом и иподьяконом; высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, поддерживающая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые одни над другими и образующие пять гигантских ярусов, спокойно разворачивают перед нашими глазами бесконечное разнообразие своих бесчисленных скульптурных, резных и чеканных деталей, в едином мощном порыве сливающихся с безмятежным величием целого. Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека и народа, единое и сложное, подобно Илиаде и Романсеро, которым оно родственно; чудесный итог соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника; словом, это творение рук человеческих могуче и преизобильно, подобно творению бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер: разнообразие и вечность.

То, что мы говорим здесь о фасаде, следует отнести и ко всему собору в целом, а то, что мы говорим о кафедральном соборе Парижа, следует сказать и обо всех христианских церквях средневековья. Все в этом искусстве, возникшем само собою, последовательно и соразмерно. Смерить один палец ноги гиганта – значит определить размеры всего его тела.

Но возвратимся к этому фасаду в том его виде, в каком он нам представляется, когда мы благоговейно созерцаем суровый и мощный собор, который, по словам его летописцев, наводит страх – *quae mole sua terrorem incutit spectantibus*.¹¹

Ныне в его фасаде недостает трех важных частей: прежде всего крыльца с одиннадцатью ступенями, приподнимавшего его над землей; затем нижнего ряда статуй, занимавших ниши трех порталов; и, наконец, верхнего ряда изваяний, некогда украшавших галерею первого яруса и изображавших двадцать восемь древних королей Франции, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом-Августом, с державою в руке.

Время, медленно и неуклонно поднимая уровень почвы Сите, заставило исчезнуть лестницу. Но, дав поглотить все растущему приливу парижской мостовой одну за другой эти одиннадцать ступеней, усиливавших впечатление величавой высоты здания, оно вернуло собору, быть может, больше, нежели отняло: оно придало его фасаду темный колорит веков, который претворяет преклонный возраст памятника в эпоху наивысшего расцвета его красоты.

Но кто низвергнул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто вырубил посреди центрального портала новую незаконную стрельчатую арку? Кто отважился поместить туда безвкусную, тяжелую резную дверь в стиле Людовика XV рядом с арабесками Бискорнета?.. Люди, архитекторы, художники наших дней.

¹¹ 37 – Который своею громадой повергает в ужас зрителей (лат.)

А внутри храма кто низверг исполинскую статую святого Христофора, столь же прославленную среди статуй, как большая зала Дворца правосудия среди других зал, как шпиг Страсбургского собора среди колоколен? Кто грубо изгнал из храма множество статуй, которые населяли промежутки между колоннами нефа и хоров, – статуи коленопреклоненные, стоявшие во весь рост, конные, статуи мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, каменные, мраморные, золотые, серебряные, медные, даже восковые?.. Уж никак не время.

А кто заменил старинный готический алтарь, в изобилии окруженный раками и ковчежцами для мощей, этим тяжелым мраморным саркофагом, украшенным головками ангелов и облаками, представляющим собою как бы разрозненный образчик Валь-де-Граса или Дома Инвалидов? Кто так глупо вклеил этот неуклюжий, каменный анахронизм в создание Карловингской архитектуры? Людовик XIV, исполнявший тем желание отца своего, Людовика XIII.

А кто заменил этими холодными, белыми стеклами те разноцветные стекла, которые когда-то заставляли разбегаться глаза наших предков и переносили взоры их от круглого окошка над главным входом к стрелкам свода? Что сказал бы последний певчий 16-го столетия при виде той ординарной, заурядной желтой краски, которою наши вандалы-епископы вымазали свой величественный собор? Он наверное вспомнил бы о том, что именно этим цветом палачи в средние века вымазывали дома нечестивцев; он вспомнил бы также, что желтой краской был вымазан Малый Бурбонский дворец в наказание за измену коннетабля Бурбонского, – «такой прекрасной и хорошо приготовленной желтой краской, – говорит Соваль, – что еще столетие спустя она как нельзя лучше сохранила свой цвет». Он подумал бы, что собор осквернен, и поспешно убежал бы.

А если поднять взоры свои выше, то, не останавливаясь на тысяче более мелких вандализмов разного рода, нельзя не спросить, что случилось с той хорошенькой башенкой, которая опиралась на точку пересечения оконных линий, и которая, столь же легкая и смелая, как и ее сосед, колокольный шпиг св. часовни (также снесенный), уходила в небо выше башен, стройная, острая, воздушная, ажурная? В 1787 году какой-то архитектор, обладавший, по-видимому, замечательным вкусом, счел нужным снести ее, причем он нашел достаточным залепить раны каким-то большим свинцовым пластырем, напоминающим собою крышку жестяной кастрюли.

И таким-то образом с чудесным искусством средних веков обращались почти всюду, и преимущественно во Франции. На нем легко различить следы трояких, впрочем, неодинаково глубоких, повреждений: во-первых, те, которые произвело время, заставившее кое-где облупиться и заржаветь поверхность его; во-вторых, те, которые произведены политическими и религиозными переворотами, слепыми и неразборчивыми, набрасывавшимися на него в дикой ярости, срывавшими с него его богатую скульптурную и резную одежду, разбившими его разноцветные окна, поломавшими его ожерелье из арабесков и из разных фигурок, свалившими его статуи, то за то, что они были в митрах, то за то, что они были в коронах; и, наконец, в-третьих, те, которые произвела мода, все более и более смешная и глупая, которая, начиная с беспорядочных, но блестящих отступлений эпохи Возрождения, опускалась все ниже и ниже в архитектурном смысле. И нужно заметить, что моды причинили собору даже более вреда, чем время и перевороты, потому что они коснулись, так сказать, живого мяса, они наложили свою руку, так сказать, на самый скелет искусства, они обкорнали, обезобразили, убили здание, как в форме его, так и в идее, как в логичности его, так и в красоте. Но этого мало: не довольствуясь разрушением, они вздумали переделывать то, чего не коснулись ни время, ни перевороты. Они нахально привесили, ради «хорошего вкуса», на причиненные ими готической архитектуре раны свои жалкие погребушки, свои мраморные ленты, свои металлические бляхи, свои завитки, мотки, драпировки, гирлянды, бахромы, свои бронзовые облака, своих пухлых амуров, своих толстощеких херувимов, словом – все продукты той язвы, которая начала разъедать

организм искусства, начиная с Екатерины Медичи, и которая окончательно свела его в могилу два столетия спустя, среди страшных корч и гримас, в будуаре Дюбарри.

Итак, резюмируя то, что мы говорили выше, мы повторяем, что тройкого рода искажения обезображивают ныне готическую архитектуру. Накожные морщины и вередя – как результат времени; ушибы и переломы – как результат революций, начиная с Лютера и кончая Мирабо; наконец, увечья, ампутации членов, вывихи, приделка искусственных членов – как результат усилий псевдоклассических профессоров архитектуры, в роде Витрувия и Виньола. Академики убили ту великолепную готическую архитектуру, которую создали вандалы. К векам и революциям, разрушающим, по крайней мере, не без величия и беспристрастия, сочла нужным присоединиться орава патентованных присяжных архитекторов, разрушающих с разбором и с обилием безвкусыя, заменяющих какими-то цикорными кустами готическое кружево. Это удар ослиным копытом, нанесенный умирающему льву. Это старый, раскидистый дуб, сердцевину которого гложут и разъедают черви.

Какая разница между этой эпохой и тою, когда Робер Сеналис, сравнивая собор Парижской Богоматери со знаменитым храмом Дианы в Эфесе, гордостью язычников древности, обессмертившим Герострата, находил, что «галльский собор превосходил эллинский храм величиною, шириною, высотой и характером постройки». ¹²

Впрочем, собор Парижской Богоматери нельзя назвать цельным, оконченным, определенным памятником. Это не романский, но и не готический храм. Это здание не представляет собою типа. У него нет, как у Турнюсского аббатства, ни величественной, массивной ширины, ни правильной круглоты свода, ни ледяной наготы, ни торжественной простоты зданий, в которых преобладают полукруглые линии. Он не представляется также, подобно Буржскому собору, великолепным, легким, многообразным, махровым цветом стрельчатой архитектуры. Его невозможно также причислить к старинному роду мрачных, низких, таинственных и как бы придавленных сводами церквей, почти египетского стиля, за исключением потолка, иероглифических, символических, жреческих, с украшениями преимущественно из косоугольников и из зигзагов, редко из цветов и фигур животных, и никогда из фигур человеческих; к этим созданиям скорее епископов, чем архитекторов, к этим первобытным произведениям искусства, пропитанным теократическим и военным духом, коренящимся в Византийской империи и останавливающимся на Вильгельме-Завоевателе. Невозможно также отнести наш собор к другой категории храмов – храмов высоких, воздушных, богатых разноцветными стеклами и скульптурными произведениями, остроконечных, смело возносящихся кверху, более свободных от старых традиций, отлично выражающих собою более свободный дух времени, в смысле политическом, более капризных и своевольных в смысле художественном, представляющих собою новые архитектурные формы, уже не иероглифические, неподвижные и жреческие, а артистические, прогрессивные и народные, начинающиеся с эпохи крестовых походов и оканчивающиеся Людовиком XI. Собор Парижской Богоматери не принадлежит всецело ни к романскому стилю, ни к арабскому.

Это, так сказать, переходное здание. Саксонский архитектор только что окончил возведение колонн среднего пространства церкви, как стрельчатые своды, принесенные с собою крестоносцами, водрузились, в качестве победителей, на этих широких романских капителях, предназначавшихся по первоначальной мысли строителей для поддержания полукруглых сводов; и затем стрельчатая форма, оставшись победительницею, уже dokonчила по-своему постройку храма. Однако, будучи в начале робка и неопытна, она расплывается, расширяется, сдерживается и не решается еще смело подняться кверху в форме стрел и копий, как она сделала это впоследствии в стольких великолепных постройках. Можно было бы подумать, что ее стесняет близкое соседство тяжелых романских колонн.

¹² «История галлов», кн. II, период III, т. 130, стр. 1.

Нужно, однако, заметить, что здания, представляющие собою переход от романского стиля к готическому, представляют собою предмет не менее любопытный для изучения, чем чистые типы: они выражают собою один из оттенков искусства, который без них пропал бы; это прививка стрелчатой формы к полукруглой.

Собор Парижской Богоматери представляет собою особенно любопытный образчик этой разновидности. Каждый фасад, даже каждый камень этого почтенного здания представляют собою страницу не только истории страны, но и истории науки и искусства. Так, останавливаясь здесь лишь на самых выдающихся частностях, укажем на то, что, между тем, как небольшая боковая дверь доходит почти до крайних пределов грациозности готической архитектуры XV века, колонны средней части церкви объемом и тяжестью своею напоминают собою построенное еще при Карловингах Сен-Жерменское аббатство. Словом, можно было бы подумать, что целых шесть веков отделяют эту дверь от этих колонн. Даже алхимики могли бы найти в символических фигурах, изображенных над главным входом, сокращенное изложение их науки, которой церковь св. Якова в Мясниках представляла такой полный иероглиф. Таким образом, римское аббатство, средневековая церковь, готическая и саксонская архитектура, тяжелая, круглая колонна, напоминающая собою век Григория VII, символические учения предшественников Лютера, папское единство и ереси, церкви Сен-Жермен и Сен-Жак – все слилось, смешалось и соединилось в соборе Парижской Богоматери. Эта центральная церковь, родоначальница всех парижских церквей, представляет собою среди них нечто совершенно особенное: у нее голова одной, туловище другой, конечности третьей, – словом, она заимствовала что-нибудь у каждой.

Повторяем, эти разнообразные постройки представляют не последний интерес для художника, для антиквария, для историка. Они доказывают, подобно циклопическим постройкам, египетским пирамидам и гигантским пагодам индусов, что самые крупные произведения архитектуры – не только индивидуальные, сколько коллективные создания, создания скорее целых, пришедших в состояние брожения, народов, чем отдельных гениальных людей, что они представляют собою завещания целых наций, агломерацию веков, осадок последовательных испарений целых человеческих обществ, что они, словом, представляют собою целые формации. Каждая волна времени оставляет после себя известный нанос, каждое поколение оставляет на здании известный слой, каждая единичная личность приносит свой камень. Так работают бобры, так работают пчелы, так же работают и люди. С этой точки зрения, и на Вавилонскую башню следует смотреть, как на громадный улей.

Большие здания, как и большие горы, являются созданием веков. Часто искусство успело уже преобразиться, а они еще не dokonчены, и тогда они спокойно продолжают развиваться в том новом направлении, которое приняло искусство. Новое искусство принимает здание в свое ведение в том самом виде, в каком оно застало его, вращается в него, усваивает себе его, продолжает его по-своему и, если можно, доканчивает его. Дело это совершается спокойно, без всякой ломки, без малейшей реакции, согласно естественным законам. Является новый прививок, в него начинают проникать соки растения, и рост растения продолжается. Эти последовательные спайки различных искусств, на различной высоте одного и того же здания, могли бы представить любопытный материал для многих объемистых сочинений и часто, так сказать, к естественной истории человечества. Человек, артист, отдельная личность исчезают в этих больших массах, не оставляя после себя имени автора; человеческий ум резюмируется в них и сливается в одно целое. Здесь время является архитектором, а народ – каменщиком.

Если остановиться только на архитектуре христианской Европы, этой младшей сестре зодчества Востока, то не трудно различить в ней три, лежащих один на другом, пласта: романский пласт¹³, готический пласт и пласт эпохи Возрождения, который можно было бы, пожа-

¹³ Этот самый пласт, смотря по различию местностей, климатов и разновидностей, называется также ломбардским, сак-

луй, назвать греко-римским пластом. Романский пласт, самый древний и самый толстый, отличается формой полукружия, которая снова появляется, но уже поддерживаемая греческими колоннами, в более позднем и самом верхнем пласте – в стиле Возрождения. Между ними лежит стрельчатый стиль. Здания, принадлежащие исключительно одному из этих трех наслоений, совершенно отличны, цельны и едины, как, напр., Жюмьежское аббатство, Реймский собор, церковь Св. Креста в Орлеане. Но эти три пласта на краях своих смешиваются и сливаются, как цвета в солнечном спектре. Отсюда являются здания смешанного стиля, переходные, с оттенками. Одни, напр., представляют собою романский стиль в основании, готический в середине, греко-римский на верхушке. Дело в том, что они строились в течение шестисот лет. Образчиком этой, впрочем, очень редкой, разновидности является башня Этампского замка. Чаше встречаются здания двух формаций. Здесь на первом плане стоит собор Парижской Богоматери, островерхое здание, нижние столбы которого, однако, углубляются в тот романский слой, к которому относятся ворота Сен-Дени и средняя часть Сен-Жерменской церкви. Далее, сюда же относится красивая зала Бомервильского капитула, в которой романский слой доходит до середины стены. Наконец, к этой же категории принадлежит и Руанский собор, который был бы совершенно готическим, если бы верхушка его главного шпица не принадлежала к стилю Возрождения¹⁴.

Впрочем, все эти оттенки, все эти различия касаются только наружности здания, но самый характер его мало изменился вследствие того. Внутренность осталась все тою же, части расположены столь же логическим образом. Какова бы ни была изваянная, узорчатая оболочка храма, под нею все же можно будет всегда найти, по крайней мере, в зародышном, начальном состоянии, римскую базилику. Она вечно развивается на основании тех 5-ке законов. Это все та же крестообразная форма, причем одна из оконечностей этого креста, закруглившись в нишу, образует хоры; это все те же боковые галереи для процессий внутри церкви и для часовен, нечто в роде боковых гульбищных мест, в которые можно попасть из средней части церкви через пролеты между колоннами. А затем число часовен, дверей, колоколен, шпицев варьирует до бесконечности, смотря по фантазии века, народа, художника. Раз сделано то, что необходимо для богослужения, архитектор уже дает волю своей фантазии. Он размещает и сочетает статуи, круглые окошечки, цветные стекла, арабески, резьбу, капители, барельефы, сообразно с внушениями своего воображения. Отсюда проистекает то кажущееся поразительное разнообразие всех подобного рода построек, в основе которых лежит столько порядка и единства. Ствол дерева неподвижен, но растительность на нем весьма разнообразна и капризна.

II. Париж с высоты птичьего полета

Мы только попытались представить читателю общую картину этого чудесного собора Парижской Богоматери. Мы указали вкратце на все те красоты, которыми он обладал в пятнадцатом столетии и которых ему недостает теперь. Но при этом опустили главную из этих красот, а именно вид, который открывался в то время на Париж с высоты его башен.

Действительно, когда, вскарабкавшись ощупью по темной спирали, пробитой перпендикулярно в толщине ее стен, человек выходил, наконец, вдруг на одну из двух высоких террас, залитых светом и воздухом, со всех сторон взорам его представлялось великолепное зрелище, зрелище своего рода, о котором легко могут составить себе понятие те из наших читателей, которые имели счастье видеть целый выстроенный в готическом стиле город, каковых осталось еще и сколько и до наших дней, как, напр., Нюрнберг в Баварии и Витория в Испании, или

сонским или византийским. Эти четыре параллельных вида архитектуры – как бы четыре сестры, имеющие каждая свой особый характер, но родившиеся все от полукруглой формы. «Все не на одно лицо, однако, очень схожи».

¹⁴ Эта часть шпица, построенная из дерева, сгорела в 1823 году вследствие ударившей в нее молнии.

даже хотя бы малейшие образчики их, лишь бы они хорошо сохранились, как, напр., Витре в Бретани или Нордгаузен в Пруссии.

Париж за 350 лет перед этим, Париж XV столетия был уже городом-гигантом. Мы, современные парижане, совсем неосновательно кичимся тем, что город наш с тех пор так неимоверно разросся. Со времен Людовика XI Париж вырос не многим более, чем на одну треть, и во всяком случае несомненно то, что он гораздо более потерял в красоте, чем выиграл в размерах.

Париж, как известно, родился на старом Сенском острове, имеющем форму колыбели. Набережная этого острова была первой оградой его, Сена – его первым рвом. И в течение нескольких веков Париж не выходил за пределы этого острова, будучи соединен с материком двумя мостами, одним – перекинутым через северный рукав реки, другим – через южный, и имея два мостовых укрепления, которые служили ему в то же время и воротами, – Большой Шатле на правом берегу и Малый Шатле – на левом берегу реки. Затем, начиная с первых королей из династии Капетингов, Париж, стесненный на своем острове и не находя уже возможным повернуться на нем, стал перебираться через реку, – и на правый берег ее, и на левый. Тогда дома и всякого рода иные постройки стали врезываться в поля по обоим берегам Сены – и за Большим Шатле, и за Малым, и Париж окружил себя новою цепью стен и башен. Еще в последнем столетии оставались некоторые следы этой древней ограды; но ныне от нее осталось одно только воспоминание, одно только предание, сохранившееся в названии ворот Бодэ или Бодойе, *porta Bgauda* эпохи Карловингов. Мало-помалу волна домов, все более и более выпираемая из центра города к периферии, подмыла и, наконец, окончательно снесла эту ограду. Наконец, Филипп-Август решил окружить город новой плотиной и замкнуть Париж цепью высоких, толстых и прочных башен. Вследствие этого, в течение целого столетия дома жались друг к другу, поднимались скорее вверх, чем в ширь, точно вода, собранная в резервуаре. Они тянутся вглубь, тянутся кверху, из одноэтажных делаются двухэтажными и трехэтажными, и всякий из них старается высунуть голову из-за плеч своих соседей, чтобы втянуть в себя побольше воздуха. Они все более и более захватывают улицы, которые становятся все уже и уже; всякие промежутки наполняются и исчезают. Наконец, дома перескакивают и за ограду, возведенную Филиппом-Августом, и весело раскидываются в равнине, без всякого порядка, кое-как, точно вырвавшиеся на волю школьники. В равнине они подбочениваются, окружают себя садами, устраиваются по возможности удобнее. Начиная с 1367 года, город до того разлился по предместьям, что для него потребовалась новая ограда, в особенности на правом берегу Сены. Эту ограду и возвел Карл V. Но рост такого города, как Париж, никогда не прекращается; только такие города и превращаются в столицы. Это какие-то воронки, в которые сходятся все географические, политические, моральные и умственные стоки целой страны, все естественные наклоны целого народа; это, так сказать, колодцы цивилизации, а равно и резервуары, в которые просачиваются капля за каплей и в которых скопляются из века в век торговля, промышленность, образование, словом – все жизненные соки населения, все, что составляет его душу. Поэтому неудивительно, что ограду Карла V со временем постигла судьба ограды Филиппа-Августа: начиная с конца XV столетия, город перелез и через нее, разлился далее, и предместья раскинулись на более широком пространстве. В шестнадцатом столетии, казалось, будто самая эта ограда заметным образом подалась назад и будто она все более и более углубляется в старый город, до того за пределами ее уже сгустился целый новый город.

Таким образом, чтобы пока не идти далее, уже к XV столетию Париж стер три концентрические линии стен, которая, со времен Юлиана Отступника, находилась, так сказать, в зародышном состоянии в Большом и в Малом Шатле. Могучий город, расправляя свои члены, последовательно порвал четыре пояса своих стен, подобно тому, как у ребенка, который растет, расплзается по швам прошлогоднее его платье. Уже при Людовике XI можно было видеть в этом море домов кое-где торчавшие развалины башен, составлявших часть старинных оград,

подобно тому, как среди затопленной равнины виднеются только верхушки наиболее высоких холмов. Эти развалины были архипелагом старого Парижа, затопленного новым.

С тех пор Париж еще более преобразился, но на этот раз уже в ущерб красоте своей. Но он перешел только за одну новую ограду, возведенную при Людовике XV, за эту жалкую стену, сложенную из грязи и мусора, достойную того короля, который ее построил, достойную воспевшего ее поэта.

*Le mur murant Paris rend Paris murmurant*¹⁵.

В пятнадцатом столетии Париж разделялся еще на три совершенно различных и отдельных города, каждый из которых имел свою особую физиономию, свою специальность, свои обычаи, свои нравы, свои привилегии, свою историю: собственно город, университетский квартал, предместья. Собственно город, построенный на острове, был самой старою и самой меньшей из этих трех городских частей; эта часть была матерью двух других, сжатою последними, и напоминала собою, если можно так выразиться, маленькую старушку, сидящую между двумя высокими молодыми девушками. Университетский квартал расположился на левом берегу Сены, от мостовой башенки до Нельской башни, каковые пункты соответствуют в нынешнем Париже Винному городку и Монетному двору. Ограда его вдавалась довольно глубоко в тот лужок, на котором Юлиан построил свои купальни; холм св. Женеьевы был по эту сторону ограды. Крайней точкой этой линии стен были Папские ворота, находившиеся приблизительно на том месте, где нынче находится Пантеон. Собственно город, самая большая из трех частей Парижа, занимал правый берег. Набережная, в нескольких местах прерывавшаяся и застроенная домами, тянулась от башни Бильи до Лесной башни, т. е. от того места, где нынче находятся хлебные магазины, до Тюильери. Эти четыре точки, в которых Сена прорезывала ограду города, – Мостовая башенка и Нельзья башня на левом берегу и Лесная башня и башня Бильи на правом берегу, – и известны были в средние века под именем «четырех парижских башен». Часть города, находившаяся на правом берегу Сены, еще дальше вдавалась в поля, чем университетский квартал. Здесь самыми выдающимися пунктами городской ограды (построенной Карлом VI) были у ворот Сен-Дени и Сен-Мартен, остатки которых сохранились и до сих пор.

Как мы уже сказали, каждая из этих трех частей Парижа представляла собою особый город, но город слишком специального характера, чтобы быть полным, – город, который не мог обойтись без двух остальных. И внешний вид этих трех городов был совершенно различен: в городе на острове преобладали церкви, в городе на правом берегу – дворцы, в университетском квартале – училища. Не касаясь здесь второстепенных особенностей старого Парижа, как, напр., предоставленного дорожному ведомству права взимать особую плату за проезд по улицам, мы отметим здесь только вообще, что остров принадлежал епископу, правый берег – городскому голове, а левый – ректору университета. Но главным хозяином города все-таки считался парижский городской голова, в то время коронное, а не муниципальное должностное лицо. Из замечательных зданий на острове был собор Парижской Богоматери, на правом берегу – Лувр и городская ратуша, на левом – Сорбонна; кроме того, на острове – больница и богадельня, на правом берегу – рынок, на левом – так называемой «Pre-au-Cler»¹⁶. Проступки, совершаемые студентами на левом берегу, рассматривались судом, помещавшимся на острове, а наказание виновные отбывали на правом берегу, в Монфоконской тюрьме, если только в дело не вмешивался ректор университета и не оспаривал у королевской власти привилегии наказывать студентов. (Заметим мимоходом, что большая часть этих привилегий – среди них встречались и более важные – была отторгнута у королевской власти путем бунтов и мятежей. Таков, впрочем, стародавний обычай: король тогда лишь уступает, когда народ вырывает. Есть

¹⁵. Не передаваемая по-русски игра слов. В буквальном переводе: «Стена, ограждающая Париж, заставляет Париж роптать».

старинная грамота, где очень наивно сказано по поводу верности подданных: *Cluibui iidelitas in reges, quae lamen aliquoties seditiombus inierrupta, multa peperit privilegia*¹⁶).

В XV столетии Сена омывала пять островов, расположенных внутри парижской ограды: Волчий остров, где в те времена росли деревья, а ныне продают дрова; остров Коровий и остров Богоматери – оба пустынные, если не считать двух-трех лачуг, и оба представлявшие собой ленные владения парижского епископа (в XVII столетии оба эти острова соединили, застроили и назвали островом святого Людовика); затем следовали Сите и примыкавший к нему островок Коровий перевоз, впоследствии исчезнувший под насыпью Нового моста. В Сите в то время было пять мостов: три с правой стороны – каменные мосты Богоматери и Менял и деревянный Мельничный мост; два с левой стороны – каменный Малый мост и деревянный Сен-Мишель; все они были застроены домами. Университет имел шесть ворот, построенных Филиппом-Августом; это были, начиная с башни Турнель, ворота Сен-Виктор, ворота Борделль, Папские, ворота СенЖак, Сен-Мишель и Сен-Жермен. Город имел также шесть ворот, построенных Карлом V; это были, начиная от башни Бильи, ворота Сент-Антуан, ворота Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дени, ворота Монмартр, ворота Сент-Оноре. Все эти ворота были крепки и, что нисколько не мешало их прочности, красивы. Воды, поступающие из Сены в широкий и глубокий ров, где во время зимнего половодья образовывалось сильное течение, омывали подножие городских стен вокруг всего Парижа. На ночь ворота запирались, реку на обоих концах города заграждали толстыми железными цепями, и Париж спал спокойно.

С высоты птичьего полета эти три части – Сите, Университет и Город представляли собою, каждая в отдельности, густую сеть причудливо перепутанных улиц. Тем не менее с первого взгляда становилось ясно, что эти три отдельные части города составляют одно целое. Можно было сразу разглядеть две длинные параллельные улицы, тянувшиеся непрерывно, без поворотов, почти по прямой линии; спускаясь перпендикулярно к Сене и пересекая все три города из конца в конец, с юга на север, они соединяли, связывали, смешивали их и, неустанно переливая людские волны из ограды одного города в ограду другого, превращали три города в один. Первая из этих улиц вела от ворот Сен-Жак к воротам Сен-Мартен; в Университете она называлась улицей Сен-Жак, в Сите – Еврейским кварталом, а в Городе улицей Сен-Мартен; она дважды перебрасывалась через реку мостами Богоматери и Малым. Вторая называлась улицей Подъемного моста – на левом берегу, Бочарной улицей – на острове, улицей Сен-Дени – на правом берегу, мостом Сен-Мишель – на одном рукаве Сены, мостом Менял – на другом, и тянулась от ворот Сен-Мишель в Университете до ворот Сен-Дени в Городе. Словом, под всеми этими различными названиями скрывались все те же две улицы, улицы-матери, улицы-прародительницы, две артерии Парижа. Все остальные вены этого тройного города либо питались от них, либо в них вливались.

Независимо от этих двух главных поперечных улиц, прорезавших Париж из края в край, во всю его ширину, и общих для всей столицы, Город и Университет, каждый в отдельности, имели свою собственную главную улицу, которая тянулась параллельно Сене и пересекала под прямым углом обе «артериальные» улицы. Таким образом, в Городе от ворот Сент-Антуан можно было по прямой линии спуститься к воротам Сент-Оноре, а в Университете от ворот СенВиктор к воротам Сен-Жермен. Эти две большие дороги, скрещиваясь с двумя упомянутыми выше, представляли собою ту основу, на которой покоилась всюду одинаково узловатая и густая, подобно лабиринту, сеть парижских улиц. В запутанном узоре этого рисунка, если в него внимательно всматриваться, можно было различить, кроме того, как бы два расширенные кверху снопа, один на правом берегу, другой на левом, причем несколько улиц радиусообразно

¹⁶ 43 – Верность граждан правителям, прерываемая, однако изредка восстаниями, породила увеличение их привилегии (лат.).

расходились от мостов к воротам. Нечто похожее на эту геометрическую фигуру существует, впрочем, и до сих пор.

Теперь постараемся дать читателю понятие о том, в каком виде в 1482 году представлялся город в его совокупности, если взглянуть на него с башен собора Парижской Богоматери.

У зрителя, который, весь запыхавшись, добирался, наконец, до верхней площадки башни, прежде всего, рябило в глазах от массы крыш, труб, улиц, мостов, площадей, шпигцев, колоколен. Все вам сразу бросалось в глаза – и зубцы стен, и остроконечные крыши, и башенки по углам ограды, и каменная пирамида XI века, и шиферный обелиск XV века, и круглая, гладкая башня замка, и четырехугольная, узорчатая колокольня церкви, и большое, и малое, и приземистое, и воздушное. Взор долго терялся в извилинах этого лабиринта, где все было оригинально, умно, гениально, красиво, где не было ничего антихудожественного, начиная с небольшого домика с раскрашенным и резным фасадом, с низкими дверьми и с мезонинами, и кончая величественным Лувром, окруженным башнями, точно колоннами. Наконец, когда глаз начинал несколько осваиваться с этим хаосом зданий, он различал уже и детали этой пестрой картины.

Прежде всего, выделялся Старый город. «Остров, на котором построен Старый город, – говорит Соваль, у которого, среди несносного пустословия, встречаются порою и удачные выражения, – остров этот имеет форму большого судна, корма которого глубоко сидит в воде, а нос выступает над поверхностью горы». Мы объяснили несколько выше, что в XV столетии судно это было причалено к обоим берегам реки пятью мостами. Эта напоминающая судно форма острова поразила уже и древних геральдиков, ибо отсюда, а не вследствие осады прибывших на судах нормандцев, как объясняет Фавен-де-Панье, в старинном гербе Парижа явилось судно. Вообще, всякий герб для умеющего разбирать его является целой алгеброй, целым языком. Вся история второй половины средних веков написана в гербах, подобно тому, как история первой половины их написана в построенных в романском стиле церквях. Иероглифы феодализма заменили собою иероглифы теократии.

Итак, остров Старого Парижа представлял зрителю корму, обращенную на восток, и нос, обращенный к западу. Если стать лицом к носу, то можно было видеть как бы целое стадо старых крыш, над которыми широко раскинулся свинцовый купол св. часовни, что напоминало спину слона, на которую поставлена башенка для вожака. Но только здесь башенка представляла собою самый смелый, самый выточенный, самый ажурный шпиг, сквозь кружево которого зритель мог видеть лазурное небо. Недалеко от собора три улицы выходили со стороны паперти на красивую площадку, обстроенную старинными домами. На южной стороне этой площадки возвышались морщинистый и хмурый фасад больницы и крыша ее, как бы покрытая прыщами и вередями. Далее, направо, налево, к востоку, к западу, в этом, однако, столь тесном пространстве, занимаемом Старым городом, возвышались колокольни двадцати одной церкви различных эпох, различных стилей, различной величины, начиная от низкой, как бы источенной червями колокольни в романском стиле церкви Сен-Дени до тонких игл колоколен Сен-Пьер и Сен-Ландри. Позади собора, к северу, тянулись здания монастыря, с его готическими галереями, а к югу – выстроенный в полуроманском стиле дворец епископа; на восток был довольно обширный пустырь. В этой гряде домов глаз мог еще различить, по его высоким ажурным куполам, возведенным над высокими окошками, здание, подаренное городом, при Карле VI, Жювеналю Дезюрсену; немного далее – вымазанные дегтем бараки рынка Палюс; еще дальше – новый свод старой Сен-Жерменской церкви, расширенной в 1458 году, для чего пришлось снести несколько домов на улице Фев; и, наконец, здесь и там, какой-нибудь переулок, запруженный народом, позорный столб, поставленный на перекрестке двух улиц, остаток прекрасной мостовой Филиппа-Августа, сложенной из великолепных известковых плит с бороздками во всю ширину улицы, для того, чтобы не скользили лошади, мостовой, столь неудачно замененной в XVI столетии жалкой булыжной мостовой, прозванной народом «мостовою Лиги»,

пустынный задний двор, с небольшою резною башенкой для лестниц, какие нередко встречались в XV столетии и подобие которым можно и теперь еще видеть в улице Ла-Бурдоннэ. Наконец, вправо от св. часовни, дальше к западу, возвышалось здание суда, башенки которого отражались в реке. Высокие деревья королевского сада, разбитого на западной оконечности острова, скрывали от взоров зрителя пастуший островок. Что касается воды, то ее почти вовсе не было видно ни с той, ни с другой стороны острова: Сена исчезала под мостами, а мосты — под домами.

Когда взор переносился дальше этих крытых мостов, крыши которых покрыты были зеленью, до того они заплесневели раньше времени вследствие поднимавшихся из воды испарений, — и обращался влево, к университетскому кварталу, то его прежде всего поражал толстый и низкий сноп, составленный из башен и башенок: это был Малый Шатле, широкая паперть которого захватывала часть Малого моста. Затем, следя взором вдоль берега, с востока на запад, от Малой башни к Нельской башне, вы видели длинный ряд зданий из резных бревен, с цветными стеклами, возвышавшихся несколькими ярусами над мостовою; нескончаемую ломаную линию мещанских домов, часто перерываемую выходившими на нее улицами, а порою также фасадом или углом большого каменного дома, раскинувшегося на свободе, с своими дворами и садами, с своими флигелями и главными корпусами, походившего, среди этой кучи узеньких и теснившихся друг к другу домов, на важного барина, попавшего в толпу простолюдинов. Таких больших домов на набережной было пять или шесть, начиная от дворца герцога Лотарингского и зданий Бернардинского монастыря возле Малой башни, до Нельского дворца, главная башня которого замыкала собою с этой стороны тогдашний Париж и которого остроконечная крыша имела возможность обрисовывать в течение трех месяцев в году свои черные треугольники на пунцовом диске заходящего солнца.

Этот берег Сены не отличался, впрочем, особенно бойким торговым движением. Здесь школьники производили гораздо больше шума, чем ремесленники, и собственно говоря, набережная существовала здесь только от моста Сен-Мишель и до Нельской башни. Остальная часть берега Сены представляла собою или не вымощенное пространство, как, например, по ту сторону Бернардинского монастыря, или же груды домов, фундаменты которых опускались в самую воду, как, например, между двумя мостами. Здесь толпились прачки, которые кричали, распевали с утра до вечера вдоль всего берега, колотя белье вальками, как и в наши дни. Это одно из немалых развлечений Парижа.

Особенно бросалась в глаза куча зданий, составлявших университет; но вся эта куча, от одного конца и до другого, составляла нечто цельное и однородное. Ее многочисленные и частые остроконечные крыши, теснившиеся одна на другой, представлявшие почти все одну и ту же геометрическую форму, казались, когда на них смотреть сверху, как бы сложным кристаллом. Капризные извилины улиц прорезали эту кучу домов в разных направлениях, рассекая ее на ломти разной величины. Сорок две коллегии, из которых состоял в то время университет, были рассеяны по различным кварталам, которые образовывали перекрещивавшиеся улицы. Разнообразные и пестрые коньки крыш всех этих зданий были сделаны, однако, из того же материала, как и простые крыши, над которыми они возвышались, и представляли собою, в сущности, не что иное, как помноженные в квадрате или в кубе геометрические фигуры, бывшие во всеобщем употреблении в тогдашнем зодчестве. Они усложняли целое, не нарушая единства, дополняли его, не прицепляя к нему ничего ненужного. Геометрия, вообще, в высшей степени гармонична.

Несколько красивых частных зданий изящно возвышались и на левом берегу над кучей небольших мещанских домиков, как, например, Неверское, Римское, Реймское подворья, которые в настоящее время уже исчезли, отель Клюни, который, к счастью, еще существует на радость художнику и башню которого несколько лет тому назад так бессмысленно среза-ли. Возле отеля Клюни возвышался стройный римский дворец, с красивыми полукруглыми

арками – Юлиановы купальни. Здесь было также немало аббатств, более строгой и серьезной архитектуры, чем дворец, но столь же красивые и величественные. Прежде всего, бросалось в глаза Бернардинское аббатство, со своими тремя колокольнями; далее аббатство св. Жене-вьевы, сохранившаяся еще четырехугольная башня которого заставляет так сильно сожалеть об остальном; Сорбонна, наполовину училище, наполовину монастырь, от которой осталась еще поразительная средняя часть; красивый четырехсторонний монастырь св. Матурина; сосед его, монастырь св. Венедикта, в стенах которого, между 7 и 8 изданиями этой книги, успели на скорую руку выстроить театр; Францисканский монастырь, с его тремя громадными, стоящими рядом шпицами; наконец, Августинский монастырь, стройный шпигц которого, вместе с Нельской башней, красиво вырезался на горизонте, если смотреть в эту сторону с колокольни собора Парижской Богоматери. Школы, составляющие и в действительности среднее звено между монастырем и миром, и здесь составляли середину между монастырями и дворцами: архитектура их была в одно и то же время строго изящна, скульптура их была менее воздушна, чем на дворцах, но за то и стиль их был менее строг, чем стиль монастырей. К сожалению, теперь уже почти ничего не осталось от этих памятников зодчества, в которых готическое искусство так умело соединило богатство с экономией. Церкви (а их было немало в университетском квартале и они и здесь распределялись между различными архитектурными периодами, начиная с Юлиановской полукруглой формы до стрельчатых форм св. Людовика) – церкви господствовали над всем, и, являясь лишней гармонией в этой массе гармоний, они чуть не на каждом шагу прорезали зубчатую стену остроконечными шпицами, ажурными колокольнями, отдельными шпилями, линии которых представляли собою как бы продолжение остроконечной линии крыш.

Почва в университетском квартале была холмистая. Особенно высок был холм св. Жене-вьевы, в юго-восточной части квартала. Интересное зрелище представляло, с высоты соборной колокольни, это множество узких и извилистых улиц, эти кучки домов, которые, расплываясь с вершины этого холма по всем направлениям, в беспорядке и почти отвесно бежали по склонам холма к реке, причем с высоты казалось, будто одни падают, другие поднимаются, цепляясь друг за друга. В то же время в глазах так и рябило от непрерывного движения тысячи черных точек на улицах и на площадях: то был народ, казавшийся с такой высоты незначительными точками.

Наконец, в промежутках между крышами, между шпицами, между крышами бесчисленных, перепутавшихся между собою домов можно было разглядеть кое-где кусок стены, покрывавшейся мхом, большую круглую башню, зубчатые, как в крепости, ворога: это были остатки ограды Филиппа-Августа. Дальше зеленели луга, извивались лентой большие дороги, вдоль которых в начале еще лепились кое-какие дома предместий, но все более и более редевшие, по мере удаления от города. Некоторые из этих предместий имели довольно важное значение, как, например, со стороны Малой башни, слобода Сен-Виктор, с ее мостом, перекинутым арками через Биевру, с ее аббатством, в котором похоронен Людовик Толстый, и с его церковью с осьмигранной верхушкой, окруженной четырьмя колоколенками XI века; далее, слобода Сен-Марсо, имевшая в то время уже три церкви и один монастырь; еще далее, оставляя влево гобеленовскую мельницу и ее четыре белые стены, виднелась слобода Сен-Жак, с красивым резным крестом на перекрестке и с церковью во имя св. Иакова, которая в то время была остроконечна, в готическом вкусе, и чрезвычайно красива; церковь св. Маглуары, красивое здание XIV века, которое Наполеон впоследствии превратил в сенной склад, и церковь Богородицы в Полях, с византийскими мозаиками. Наконец, миновав монастырь картезианцев, красивое здание, принадлежащее ныне судебному ведомству, с его множеством маленьких садилов, и пользовавшиеся не особенно хорошей репутацией развалины Вовера, глаз встречал на западе три романских шпица церкви Сен-Жермен-ан-Пре, а позади нее Сен-Жерменская слобода, в то время уже довольно значительная, образовала от пятнадцати до двадцати улиц

и переулков. Остроконечная колокольня церкви св. Сульпиция возвышалась в одном из углов этой слободы. Рядом можно было разглядеть четырехугольную ограду, внутри которой происходила сен-жерменская ярмарка и где нынче устроен рынок, а несколько дальше хорошенькую, круглую башенку аббатства, с свинцовой, конусообразной крышей. Еще дальше были черепичный завод, на месте которого впоследствии выстроен был Тюильерийский дворец, и улица Пекарни, которая вела к общественной хлебопекарне, и мельница на пригорке, и больница для прокаженных – стоявшее отдельно здание, не пользовавшееся особенно лестной репутацией. Но что особенно привлекало в эту сторону взор и надолго приковывало его к себе – это было само аббатство. И действительно, этот монастырь, наполовину церковь, наполовину дворец, в котором парижские епископы считали за честь провести хотя бы одну ночь, эта трапезная, которой архитектор сумел придать вид и красоту собора, эта изящная часовня Богоматери, этот дортуар, эти обширные сады, эти опускные решетки и этот подъемный мост, эта линия амбразур, сквозь которые просвечивала бледная и отдаленная зелень, эти дворы, переполненные воинами и монахами, – все это собранное и сгруппированное вокруг трех полукруглых башен, прочно уставленных над готическими нишами, представляло поразительно-красивое зрелище на отдаленном горизонте.

Когда, наконец, вдоволь насмотревшись на университетский квартал, вы поворачивали голову к правому берегу, вам представлялось зрелище совершенно иного рода. Эта часть города, гораздо более обширная, чем левобережная, не представляла в то же время такого единства, как последняя. С первого же взгляда не трудно было заметить, что она распадается на несколько весьма несхожих между собою частей. К востоку, в той части города, которая и теперь еще называется «Marais» (болото) в воспоминание о том болоте, в которое галльский вождь Камулоген завлек Цезаря, теснились большие дома, доходившие до самой реки. Четыре смежных дома, – Жуи, Санс, Барбо и Королевин двор, – отражали в волнах Сены свои шиферные крыши, украшенные небольшими башенками. Четыре дома эти наполняли все пространство от улицы Нонендьер до аббатства Целестинских монахов, шпиг которого красиво выделял линию зубцов. Несколько как бы заплесневевших лачуг, отделявших эти роскошные здания от реки, несколько не мешали разглядеть красивые линии их фасадов, их большие, четырехугольные окна с каменными рамами, их стрельчатые ворота, уставленные статуями, изящный профиль их стен и все те прелестные случайности архитектуры, благодаря которым кажется, будто готическое зодчество при каждой новой постройке изобретает все новые и новые комбинации. Позади этих красивых зданий тянулась по разным направлениям, то уставленная частоколом и зубцами, наподобие цитадели, то закрытая раскидистыми деревьями, наподобие скита, громадная ограда того самого Сен-Польского дворца, в котором французский король мог отвести роскошные помещения 22 принцам, не менее знатным, чем герцог Бургундский, их свите и их слугам, не считая разных придворных чинов, и в котором останавливался также римский император, когда он приезжал в Париж, со всеми находившимися в его свите щеголями. Заметим здесь кстати, что в то время помещение для владетельной особы не могло состоять меньше чем из 11 парадных комнат, начиная с приемной и кончая молельней, не считая спален, ванн, гардеробных и т. под. комнат, необходимых в каждой квартире, не считая кухонь, людских комнат, чуланов, сеней и разных служб, число которых доходило до 22, начиная от хлебопекарни и до комнат кравчего, не считая отдельных садов, которые отводились каждому королевскому гостю, не считая помещений для разных игр, как-то в шары, в мяч, в кольца, не считая зверинцев, птичников, рыбных садков, конюшен, манежей, библиотек, оружейных комнат и плавилен. Вот что такое был в то время царский дворец, какой-нибудь Лувр или дворец Сен-Поль. Это был целый город в городе.

С той башни, на которой мы стоим, дворец Сен-Поль, хотя и наполовину закрытый четырьмя большими зданиями, о которых мы говорили выше, все же представлялся красивым и величественным. В нем можно было очень хорошо отличить, хотя и довольно искусно при-

паянные к главному зданию длинными стеклянными, с колоннами, галереями, три флигеля, которые Карл V пристроил к своему дворцу, а именно: флигель Пти-Мюс, с резными перилами, красиво окружавшими его крышу; флигель аббата Сен-Мор, построенный в виде укрепленного замка, с большой башней бойницами, амбразурами и малыми бастиянами и с гербом аббата над широкими, саксонскими воротами, между двух выемок для подъемного моста; и, наконец, флигель графа Этампа, башня которого, с полуразрушившейся верхушкой, издали похожа была на петуший гребень. Там и сям три-четыре дуба, растущих группами, напоминали своим видом громадный кочан цветной капусты; лебеди плескались в воде сажалки, на которой сменялись переливы света и тени; множество внутренних дворов.

Продолжая следить взором за этим, постепенно возвышающимся амфитеатром зданий, раскинувшихся на горизонте, зритель, перейдя через глубокий овраг, который образовал среди крыш домов улицы Сен-Антуань, останавливался на Ангулемском дворце обширной постройке разных эпох, старые и новые части которого напоминали собою заплатанный кафтан. Однако остроконечная и высокая крыша нового здания, усеянная резными желобами, покрытая свинцовыми, с инкрустацией, пластинками, на которых выделялись самые причудливые арабески из золоченой меди, эта крыша, так оригинально вороненая, изящно возвышалась над бурыми развалинами старого здания, большие башни которого, выпучившиеся от времени, точно бочки, как бы сгорбившиеся от старости и потрескавшиеся во всю высоту напоминали собою пузатого человека с расстегнутыми брюками. Позади этого здания возвышался лес шпилей Турнельского дворца. Ничто в мире, ни Альгамбра, ни Шамборский замок, не могло представить более волшебного, более воздушного, более очаровательного зрелища, чем этот лес шпилей, колоколен, труб, флюгеров, спиралей, фонарей, павильонов, башенок, – все разной формы и разной высоты. Все это походило на громадную каменную шахматную доску.

Как мы только что сказали, этот квартал, о тогдашнем виде которого мы пытались дать некоторое понятие читателю, указывая, впрочем, лишь на самые выдающиеся черты, занимал угол, который образовали на восточной стороне города ограда Карла V и Сена. Центр правобережного города был занят преимущественно небольшими merchantскими домиками. Дело в том, что в эту часть города выходили все три моста, соединявшие правый берег с островом и с левым берегом, а мосты имеют свойство создавать сначала простые дома, а затем уже дворцы. Эта куча merchantских домов, сжатых, как ячейки в улье, имела своего рода прелесть. Крыши больших городов, если на них смотреть сверху, напоминают собою волнуемое море. Улицы, пересекаясь и перепутываясь, образовали сотни самых причудливых геометрических фигур. От рынка, точно от звезды, расходились в разные стороны лучи в виде многочисленных улиц и переулков. Улицы Сен-Дени и Сен-Мартен, с бесчисленными разветвлениями своими, поднимались в гору одна возле другой, как два громадных дерева, ветви которых переплелись. И тут не было недостатка в красивых зданиях. Во-первых, около моста Меньял, позади которого Сена ленилась под колесами мельниц, Шатле, но уже не в виде римской башни, как во времена Юлиана Отступника, но в виде феодальной башни столетия, построенной из такого толстого камня, по самый крепкий лом в течение трех часов не мог отколоть от него слой толщиной более вершка. Далее красивая колокольня церкви св. Якова в Мясниках, покрытая по всем углам статуями и уже великолепная, хотя в то время еще не вполне законченная; на ней в то время не было еще четырех чудовищ, которые впоследствии, будучи поставлены по четырем углам крыши, казались как бы четырьмя сфинксами, заставляющими новый Париж разгадать загадку старого Парижа; скульптор Рауль поставил их только в 1526 году, и за его труд ему было заплачено 20 франков. Далее виднелся на Гревской площади так называемый «Дом с колоннами», о котором мы уже дали понятие нашим читателям; затем церковь Сен-Жерве, испорченная с тех пор новомодными входными дверями; церковь св. Марии, старинные стрелки которой еще очень напоминали собою предшествовавшую им форму полукружия; церковь св. Иоанна, великолепный шпиль которой вошел в поговорку; все это были столько же великолепно-

ные памятники зодчества, которые не пренебрегали зарывать свою красоту в этом лабиринте темных, узких и порою грязных улиц. Прибавьте к этому еще кресты из резного дерева, встречавшиеся на улицах еще чаще, чем виселицы; кладбище «Невинно избитых младенцев», красивая ограда которого виднелась издали, из-за крыш; стоявший перед рынком столб, верхушка которого высоко возвышалась над дымовыми трубами; лестницу в переулке Креста, вечно кишашую народом; круглые здания хлебного рынка; остатки древней ограды Филиппа-Августа, которую можно было разглядеть там и сям – затонувшую в домах, всю покрытую вьющимися растениями, со своими провалившимися воротами и обрывками стен; набережную, с ее тысячами лавок и живодерен; Сену, покрытую лодками, начиная от Сенной пристани до пристани епископа, – и вы составите себе хотя бы приблизительное понятие о том, что такое представлял собою Париж в 1482 году.

Кроме этих двух своих кварталов, одного, состоявшего из дворцов, другого – из простых домов, правобережная часть города изобиловала еще многочисленными аббатствами, которые опоясывали ее почти вдоль всей ее окружности с востока на запад и как бы составляли, по эту сторону линии укреплений, другую, почти непрерывную, линию монастырей и часовен. Так, почти рядом с Турнельским парком, между улицей Сент-Антуан и старой Тампльской улицей, расположено было аббатство св. Екатерины, обширные огороды которого доходили до самой городской ограды. Между Старой и Новой Тампльскими улицами возвышалось Тампльское аббатство, мрачная груда башен, стоявшая особняком посреди обширного, огороженного зубчатой стеной, пустыря. Между Новой Тампльской и Сен-Мартенской улицами было Сен-Мартенское аббатство, великолепная, укрепленная, расположенная среди садов церковь, башни и колокольни которой уступали в красоте разве только церкви Сен-Жермен-ан-Пре. Между улицами Сен-Мартен и Сен-Дени раскинулось Троицкое аббатство, и, наконец, между улицами Сен-Дени и Монторгейль – женский монастырь, а рядом с ним виднелись заплесневевшие крыши и обвалившаяся ограда «Двора Чудес». Это было единственное мирское здание в этой длинной цепи монастырей.

Наконец, четвертая группа, выделявшаяся среди кучи крыш и занимавшая западный угол, образуемый городской оградой и нижним течением Сены, была опять-таки клубок дворов и барских домов, намотавшийся вокруг Лувра. Старый Лувр Филиппа-Августа, это непропорциональное здание, большая башня которого была окружена двадцатью тремя башнями меньших размеров, не считая многочисленных маленьких башенок, издали казался как бы обремененным готическими кровлями дворцов Алансонского и Малого Бурбонского. Эта многобашенная гидра, этот исполинский страж Парижа, двадцать четыре головы которого постоянно были подняты вверх, а чудовищные туловища блестели шифером и свинцом, точно чешуей, переливаясь на солнце всеми цветами радуги, заканчивала собою весьма оригинальным образом очертания города со стороны запада.

За чертой городской ограды несколько слобод теснились у городских ворот, но менее многочисленные и более разбросанные, чем на левом берегу. Так, позади Бастилии двадцать лачуг, сгруппировавшихся вокруг Сент-Антуанского аббатства, послужили ядром Сент-Антуанскому предместью позднейшего Парижа; далее виднелась слобода Попенкур, как бы затонувшая среди ржаных полей; еще дальше – Куртиль, веселенькая деревенька, почти вся состоявшая из кабаков; предместье Сен-Лоран, с своей церковью, колокольня которой, если смотреть на нее издали, как бы смешивалась с остроконечными башнями Сен-Мартенских ворот; предместье Сен-Дени, как бы слившееся с соседним селением Сен-Ладр; позади Монмартрских ворот – селение Грант-Бательер, окруженное белыми стенами, а еще дальше – Монмартрский холм, со своими меловыми склонами, на котором в то время было почти столько же церквей, сколько и мельниц, но к началу настоящего столетия сохранивший только мельницы, ибо современное общество предпочитает телесную пищу духовной. Наконец, позади Лувра, в долине, было предместье Сент-Оноре, уже в то время весьма значительное, позади кото-

рого раскинулся свиной рынок, посреди которого виднелся ужасный котел, в котором варили когда-то живьем фальшивых монетчиков. Между селениями Куртиль и Сен-Лоран ваш глаз уже заметил на вершине холма, возвышающегося среди пустынной равнины, какое-то здание, издали походившее на полуразрушившуюся колоннаду, опиравшуюся на обнаженный фундамент. Это не был ни Парфенон, ни храм Юпитера Олимпийского, – это была Монфоконская тюрьма.

Теперь, если перечисление стольких зданий, как мы ни старались быть при этом краткими, не стерло в памяти читателя представления об общем виде тогдашнего Парижа, мы постараемся резюмировать в немногих словах все, нами сказанное. В центре – остров, на котором построен старый город, похожий на громадную черепаху, высунувшую, в форме шести мостов, свои чешуйчатые лапы. Налево, в форме трапеции, – университетский квартал; направо – обширный полукруг, собственно города, не столь сплошной, испещренный садами и различными памятниками. Все эти три части города перерезаны по всем направлениям многочисленными улицами и переулками. И вся эта масса домов перерезывалась почти пополам Сеной, «кормилицей-Сеной», как называет ее дю-Брель, покрытой многочисленными островами, мостами и лодками. Вокруг всего этого – обширная равнина, покрытая роскошными нивами, усеянная многочисленными красивыми селениями; налево – Исси, Вожирар, Ванвр, Монруж, Жантильи, со своей круглой и со своей четырехугольной башнями; направо – двадцать других селений, начиная с Конфлана и до Вилль-д'Эвека. На дальнем горизонте – красивая кайма холмов, расположенных кругом, как бассейн фонтана. Наконец, на самом крайнем восточном горизонте – Венсенн, с его семью четырехгранными башнями; на южном – Бисетр, с своими остроконечными башнями; на севере – Сен-Дени, с своим шпиком; на западе – Сен-Клу, со своим замком. Вот Париж, каким его в 1482 году видели с верхушки собора Парижской Богоматери вороны, свившие себе здесь гнезда.

И, однако, об этом самом городе Вольтер нашел возможным сказать, что «до Людовика XIV в нем было только четыре красивых здания: Сорбоннский собор, Валь-де-Грас, новый Лувр и не помню хорошенько четвертого – кажется, Люксембургский дворец. К счастью, это не помешало Вольтеру написать «Кандида» и остаться в длинном ряду людских поколений человеком, более чем кто либо другой, обладавшим способностью дьявольского смеха. Это доказывает, впрочем, только то, что можно быть гениальным человеком и не иметь ни малейшего понятия о той или другой отрасли искусства. Ведь вообразил же себе Мольтер, что он сделал много чести Рафаэлю и Микель-Анджело, назвав их «милашками своего века»!

Однако возвратимся к Парижу XV столетия. Он в то время был не только красивым городом, но и городом однородным, архитектурным и историческим продуктом средних веков, написанной камнями летописью. Это был город, состоявший только из двух слоев – слоя романского и слоя готического, ибо римский слой давно уже исчез, за исключением Юлиановых купален, где он просвечивал еще сквозь толстое наслоение средних веков. Что касается кельтского слоя, то на образчик его нельзя было наткнуться даже при рытии колодцев.

Пятьдесят лет спустя, когда так называемая «эпоха Возрождения» вздумала внести в это столь строгое и в то же время столь разнообразное единство ослепляющую роскошь своих причудливых сочетаний линий и форм, свое злоупотребление римскою полукруглой формой, греческими колоннами и готическими фундаментами, свою нежную и идеальную скульптуру, свое пристрастие к арабескам и к акантовым листьям, свое, современное Лютеру, архитектурное язычество, – тогда Париж сделался, быть может, еще красивее, но он представляется менее гармоничным для глаза и для мысли. Но и этот блестящий момент недолго продолжался. «Возрождение», к сожалению, оказалось недостаточно беспристрастным: оно не удовольствовалось сооружением, а вздумало заняться ниспровержением. Правда и то, что ему понадобилось место. И таким образом случилось то, что готический Париж существовал лишь самое

короткое время: едва оканчивалась постройка церкви св. Якова в Мясниках, как принялись за снесение старого Лувра.

С тех пор этот великий город обезображивался с каждым днем. Готический Париж, стерший Париж романский, был стерт в свою очередь. Но можно ли сказать, какой Париж занял его место?

Нет, нельзя. Существует Париж Екатерины Медичи в Тюильри¹⁷, Париж Генриха II в Ратуше, – двух, выстроенных еще с большим вкусом зданий. Париж Генриха IV в Пале-Рояле, зданиях, сложенных из кирпичей, с угольниками из кирпичей и с шиферными крышами, словом, в зданиях трехцветных; Париж Людовика XIII в Валь-де-Грасе; какое-то приземистое и предательское зодчество, какие-то своды в роде кучек бельевых корзин, что-то пузатое в колоннах и горбатое в куполе; Париж Людовика XIV в Доме Инвалидов; что-то обширное, богатое, позолоченное и холодное; Париж Людовика XV в церкви св. Сюльпиция: завитушки, узлы лент, облака, кусты цикорий, вермишель – и все это в камне; Париж Людовика XVI в Пантеоне; плохая копия с римского собора св. Петра (здание как-то съезжилось, линии его неправильны); Париж республики – в Медицинской школе; жалкий, полугреческий, полуримский стиль, столько же похожий на Парфенон и на Колизей, сколько конституция III года похожа на законы Миноса (архитекторы в шутку называют его «стилем Мессидора»); Париж Наполеона – на Вандомской площади; этот стиль, по крайней мере, не лишен своего рода величия: он выражается в бронзовой колонне, отлитой из пушек; Париж Реставрации – в здании Биржи – очень белая колоннада, поддерживающая очень гладкий фриз; – и все это представляет какой-то, неприятно поражающий глаз своею правильностью, четырехугольник, и все это стоило 20 миллионов.

К каждому из этих характеристичных памятников прилепляется, в силу известного закона ассимиляции вкусов, форм и характеров, известное количество домов, находящихся по соседству и которых глаз знатока сразу же отметит. Нужно только уметь смотреть, и не трудно будет распознать дух целого века и характер такого-то царствования даже в ручке дверного молотка.

Итак, повторяем, современный Париж не имеет никакой общей физиономии. Это собрание каких-то образчиков из разных столетий, да и то самые красивые из них успели исчезнуть. Столица Франции растет только домами, – но какими домами! Если так будет продолжаться, то Париж будет изменять общую физиономию свою через каждые 50 лет. Потому весьма естественно, что историческое значение его архитектуры стирается чуть ли не с каждым днем. Исторические памятники становятся в нем все более и более редкими, и они как бы на глазах у всех поглощаются волной домов. Отцы наши видели еще каменный Париж; дети наши увидят только штукатурный Париж.

Что касается новых зданий нового Парижа, то мы с большим удовольствием умолчим о них. Не то, чтобы мы не отдавали им должную дань удивления. Церковь св. Женевьевы, здание г. Сиффло, без всякого сомнения, представляет собою самый лучший дутый пирог, сделанный из камня, который когда-либо существовал. Здание Почетного Легиона тоже очень недурной кондитерский пирог. Купол хлебного рынка поразительно похож на фуражку английского жокея, воткнутую на приставную лестницу. Башни церкви св. Сюльпиция напоминают собою два кларнета: – ну, что ж, и это недурная архитектурная форма; а тут же, кстати, на крыше ее,

¹⁷ Мы увидели с прискорбием и с негодованием попытки к расширению, к реставрированию и к переделке, т. е. к полному разрушению этого великолепного дворца. У современных архитекторов слишком тяжелая рука для того, чтобы прикасаться к этим изящным созданиям эпохи Возрождения, и мы позволяем себе надеяться, что они не осмелятся сделать этого. Разрушение Тюильрийского дворца было бы не только проявлением вандализма, – оно было бы изменой. Дворец этот не только замечательное художественное произведение XVI века, это страница истории XIX века. Он принадлежит теперь уже не королям, а народу. Оставим его таким, каким он есть. Наши революции уже дважды заклеили его: 10 августа 1792 года и 29 июля 1830 года. Теперь он свят. // Париж, 7 апр. 1831 г. // (Примеч. к 5 изд.)

для довершения благополучия, устроили и телеграф. Главные входные двери церкви св. Рока великолепием своим могут сравниться только с собором св. Фомы Аквитанского: и тут, и там мы находим выпуклый холм в пещере и солнце из позолоченного дерева. Все это очень остроумно. Фонарь в лабиринте ботанического сада тоже весьма достопримечателен. Что касается здания Биржи, колоннадой своей напоминающей Грецию, полукружием своих окон и дверей – Рим, большими своими пониженными сводами – эпоху Возрождения, – то оно, без сомнения, представляет собою очень правильный и очень чистый архитектурный памятник; доказательством тому может служить то, что оно увенчано таким верхним ярусом, которого, конечно, никогда нельзя было встретить и в Афинах, – т. е. прекрасней, прямой линией, с большим вкусом перерезанной там и сям печными трубами. Заметим здесь, кстати, что если архитектура известного здания должна быть приноровлена к назначению его в такой мере, чтобы назначение это само собою становилось ясным при первом же взгляде на здание, то нельзя достаточно надивиться на здание, из которого одинаково легко можно было бы сделать и королевский дворец, и парламентское здание, и городскую ратушу, и школу, и манеж, и академию, и склад товаров, и здание суда, и музей, и казармы, и погребальницу, и храм, и театр. Но пока из него сделали только биржу. Далее: каждое здание должно быть приноровлено к известному климату. Это здание, без всякого сомнения, построено специально для нашего холодного и дождливого климата. Крыша его почти плоская, как на Востоке, вследствие чего зимою с нее приходится сметать снег; а кто же может усомниться в том, что крыша и создана для того, чтобы с нее сметали снег? Что касается того назначения, о котором мы только что говорили, то это здание вполне отвечает ему: в Греции оно было бы храмом, во Франции оно сделалось Биржей.

Итак, все это, без всякого сомнения, прекрасные архитектурные памятники. Если к этому присоединить еще несколько очень красивых и бойких улиц, как напр., улица Риволи, то я нимало не сомневаюсь в том, что Париж, если когда-нибудь взглянуть на него с высоты воздушного шара, представит взорам зрителя и богатство линий, и роскошь деталей, и разнообразие видов, и то величественное в простоте и неожиданное в красоте, которые замечаются в шахматной доске.

А все-таки, как ни красив в ваших глазах теперешний Париж, восстановите в вашей памяти, возобновите Париж XV столетия; взгляните на свет Божий сквозь эту удивительную изгородь шпицев, башен и колоколен; выделите на чистом горизонте готический профиль этого старого Парижа; бросьте на него луч луны, который придаст бы красиво-фантастические формы его зданиям, – и затем сравните его с современным Парижем.

А если вы желаете получить от старого города такое впечатление, которого новый город не в состоянии будет дать вам, то взойдите в утро великого праздника Пасхи или Троицына дня на какой-нибудь возвышенный пункт, с которого вы в состоянии будете окинуть взором весь город, и прислушайтесь к трезвону церковных колоколов. По сигналу, данному небом, – ибо этот сигнал полагает солнце, – тысячи церквей разом вострепнулись. Сначала вы слышите перезвон от одной церкви к другой, точно музыканты в оркестре настраивают свои инструменты в ожидании сигнала «tutti». Затем вы слышите ясно, отчетливо звон с такой-то колокольни; но это продолжается недолго: звон становится все громче и громче, сливается в один общий гул, образуя восхитительный концерт. Ваш слух поражает общая вибрация звуков, переливающаяся, прорезывающаяся, носящаяся над городом и разносящаяся далеко за его пределы. А между тем это море звуков далеко не хаос. При всей своей оглушительности, оно не утратило гармонии: вы различаете отдельные ноты, издаваемые колоколами; вы можете проследить за гаммами больших и малых колоколов, вы различаете глухой, монотонный гул большого колокола церкви св. Евстафия и резкие, быстрые, теряющиеся неизвестно где нотки колокола какой-то неизвестной церкви на далекой окраине. И весь этот своеобразный концерт аккомпанирует глухим басом, подобно контрабасу в хорошо-составленном и хорошо дирижируемом оркестре, большой колокол собора Парижской Богоматери. И вдруг среди этого трезвона до

вашего слуха доносится церковное пение, вырывающееся из отворяющихся по временам дверей храмов.

Да, эта музыка стоит любой оперы. Днем Париж обыкновенно говорит; ночью Париж обыкновенно дышит; но здесь – здесь Париж поет. Так прислушайтесь же к этому хору колоколов; прислушайтесь к этому шепоту полумиллиона людей, к бесконечному плеску речных волн, к веянию ветров, к квартету четырех рощ, окружающих Париж. Пусть эти звуки смягчат в вашем слухе то, что могло бы показаться вам слишком резким и шумным в трезвоне церквей, – и затем скажите, знаете ли вы на свете что-нибудь более блистательное, более возвышающее душу, чем этот концерт колоколов, чем это горнило звуков, чем эти десять тысяч медных голосов, поющих разом в каменных флейтах в триста футов вышины каждая, чем этот город, превратившийся в громадный оркестр, чем эта симфония, похожая на бурю?

Книга четвертая

I. Добрые люди

За шестнадцать лет до того времени, к которому относятся вышеописанные события, в одно прекрасное утро Фомина воскресенья, после обедни, оказалось подкинутым в здании собора Парижской Богоматери живое существо, на нарах, устроенных в преддверии церкви, против большой иконы св. Христофора, перед которой до 1413 года стояло на коленях скульптурное изображение кавалера Антония дез-Эссара (после этого года найдено было необходимым устранить и святого, и его поклонника). На эту-то кровать принято было класть подкидышей, в ожидании того, не сжалится ли над ними какая-нибудь добрая душа, и перед нею стоял медный таз для милостыни.

То подобие живого существа, которое лежало на этой кровати в Фомино воскресенье 1467 года, возбуждало, казалось, в высшей степени любопытство довольно многочисленной группы людей, собравшейся перед кроватью и состоявшей преимущественно из особ прекрасного пола, т. е. из старух.

Впереди всех, немного склонившись над кроватью, стояли четыре женщины, в которых, по их серым балахонам, похожим на подрысники, сейчас можно было узнать монахинь, принадлежащих к какому-нибудь духовному ордену. Я не вижу причин, почему бы истории не передать потомству имен этих четырех скромных и почтенных особ. То были: Агнеса *Ла-Герм*, Иоанна де-ла-Тарм, Генриетта Ла-Готьер и Гошера Ла-Виолетт, – все четыре вдовы, все четыре приставленные к часовне Этьенн-Годри, вышедшие из своего дома с разрешения своей игуменьи и согласно уставу Пьера д'Эльи, чтобы послушать проповедь.

Впрочем, если эти почтенные особы и соблюдали в настоящее время устав Пьера д'Эльи, то они без малейшей церемонии нарушали уставы Михаила де-Брама и кардинала Пизского, так бесчеловечно обязывавшие их хранить молчание.

– Что это такое, сестра моя? – спрашивала Агнеса у Гошеры, рассматривая маленькое существо, ежившееся и кричавшее благим матом на деревянной кровати, испуганное столькими взорами.

– Что с нами станется, – говорила Иоанна, – если они теперь станут таким образом подкидывать детей?

– Я не знаю толка в детях, – продолжала Агнеса: – но мне кажется, что грешно смотреть на этого ребенка.

– Да это вовсе не ребенок, Агнеса, это какая-то неудавшаяся обезьянка, – заметила Гошера.

– Это чудо, – вставила свое слово Генриетта Ла-Готьер.

– Значит, это, – сказала Агнеса, – уже третье чудо, начиная с крестопоклонной недели. Ведь нет еще и недели, как случилось чудо с тем человеком, который вздумал насмехаться над паломниками и который был таким чудесным образом наказан Обервильской Богородицей; а то чудо было вторым в месяц.

– Да ведь это просто какой-то уродец, этот подкидыш, – заметила Иоанна.

– И он орет так, что может оглушить певчего, – продолжала Гошера. – Да замолчишь ли ты, ревун!

– Должно быть, монсеньор архиепископ реймский прислал этого уroda г. парижскому архиепископу, – сказала Ла-Готьер, складывая на груди руки.

– Я уверена, – проговорила Агнеса Ла-Герм, – что это какой-то зверек, происшедший от скрещения жида со свиньей, что, словом, это не христианский ребенок и что его нужно бросить в воду или в огонь.

– Надеюсь, – прибавила Ла-Готьер, – что никто не пожелает взять его на воспитание.

– О, Боже мой! – воскликнула Агнеса: – как я сожалею об этих бедных кормилицах, которые состоят при воспитательном доме, там, на конце улицы, рядом с дворцом архиепископа! Каково-то им будет кормить грудью этого уroda! Я бы уже предпочла дать грудь нетопырю!

– Какая же она, однако, наивная, эта бедняжка Ла-Герм! – заметила Иоанна. – Да разве ты не видишь, что этому уродцу, по крайней мере, четыре года, и что он, без сомнения, предпочтет твоей груди вертел.

Действительно, «этот уродец» не был уже новорожденным младенцем (мы сами бы очень затруднились назвать это существо иначе, как «уродцем»). Это было что-то очень угловатое, очень подвижное, засунутое в полотняный мешок, на котором был вытеснен вензель Гильома Шартье, состоявшего в то время парижским епископом, и из которого высывалась какая-то голова. Голова эта представляла собою верх безобразия. Она состояла из целого леса рыжих волос, из одного плачущего глаза, из разинутого от громкого крика рта и из зубов, которые, казалось, так и желали укусить все, что только приблизится к ним; и это странное существо билось в своем мешке к немалому изумлению толпы, которая, постоянно возобновляясь, становилась все гуще и гуще.

Алоиза Гонделорье, женщина богатая и знатная, державшая за руку хорошенькую девочку лет шести, и у которой с головы ниспадало на спину длинное покрывало, остановилась, проходя мимо кровати, и взглянула на несчастное лежавшее на ней создание, между тем, как ее дочка, Лилия Гонделорье, разодетая вся в шелк и бархат, разбирала по складам, водя пальчиком, прибитую над кроватью надпись: «Подкидыши».

– Фи! – сказала дама, отвернувшись с отвращением, – а я-то думала, что здесь действительно выставляют только подкидышей! – И она направилась к выходной двери, бросив в поставленный перед кроватью медный газ серебряный экю, который звонко забренчал среди медных монет и вызвал немалое удивление среди окружавших кровать женщин из простонародья.

Минуту спустя тут же проходил важный и ученый Робер Мистриколь, королевский протонотарий, держа в одной руке большой служебник и ведя другую свою жену, Гильеметту Ла-Мэресс, имея, таким образом, по обеим сторонам по регулятору – духовному и светскому.

– Подкидыш! – сказал он, взглянув на кровать. – Найден, вероятно, на берегу реки Флегетона.

– У него только один глаз, – заметила жена его, – а на месте другого у него какая-то бородавка.

– Это не бородавка, – возразил Робер Мистриколь, – а яйцо, в котором кроется зародыш другого, подобного же чертенка, у которого на месте глаза будет такое же яйцо, и так далее.

– А почему вам это известно? – спросила Гильеметта Ла-Мэресс.

– Уж почему бы ни знал, а знаю, – уклончиво ответил протонотарий.

– Какую будущность вы предскажете этому ребенку, г. протонотарий? – спросила Гошера.

– Ничего хорошего, – ответил Мистриколь.

– О, Боже мой! – проговорила стоявшая тут же старуха, – да как еще вспомнишь, что в прошлом году свирепствовала чума и что, по слухам, англичане собираются высадиться в Гонфлере.

– Это, быть может, – вставила свое слово другая, – помешает двору переехать в Париж в сентябре месяце; а торговля и без того уже идет так плохо.

– По моему мнению, – воскликнула Иоанна де-ла-Шарм, – для парижских обывателей было бы лучше, если бы этого маленького колдуна положить не на кровать, а на связку дров!

– Да и поджечь связку, – прибавила какая-то старуха.

– Это было бы благоразумнее всего, – сказал Мистриколь.

Какой-то молодой патер уже в течение нескольких минут прислушивался к болтовне кумушек и к рассуждениям протонотария. Это был человек с строгим лицом, с высоким лбом, с глубоким взглядом. Он молча протискался сквозь толпу, взглянул на «маленького колдуна» и простер над ним руку: – да и была пора, ибо все богомолки уж облизывались при мысли о хорошеньком пылающем костре.

– Я беру к себе этого ребенка, – сказал он. – И с этими словами он обернул его в свою рясу и унес его. Все присутствующие смотрели ему вслед удивленными взорами. Минуту спустя он скрылся за Красными Воротами, которые в то время вели из церкви в монастырь.

Когда первое удивление миновало, Иоанна де-ла-Шарм наклонилась к уху своей соседки де-ла-Готьер и сказала:

– Ведь говорила же я вам, сестрица, что этот молодой патер, Клод Фролло – колдун.

II. Клод Фролло

Действительно, Клод Фролло не был обыкновенной личностью.

Он принадлежал к одному из тех средних семейств, которых называли в прошлом столетии мелким дворянством или разночинцами. Семейство это наследовало от братьев Паклэ поместье Тиршап, составлявшее когда-то собственность парижского епископа, и 20 домов которого составляли в XIII столетии предмет нескончаемых споров и процессов в консисторском суде. В качестве обладателя этого поместья, Клод Фролло считался одним из семи «парижских помещиков», и в таком звании он долгое время и значился в парижских городских книгах, в которых его имя было занесено между именами Франсуа Реца и Турской коллегии.

Клод Фролло еще в детстве был предназначен родителями своими для духовного звания. Поэтому его научили латинскому языку, и он с отроческих лет привык опускать глаза и говорить тихим голосом. Затем отец отдал его в закрытую коллегию Торки, в Университетском квартале, где он и вырос над латынью и над требником.

Впрочем, он и по природе был мальчиком грустным, серьезным, прилежным; ученье давалось ему легко. Он не шумел во время рекреаций, не участвовал в шалостях своих товарищей и в кутежах их, и держался в стороне от беспорядков 1463 г., которым летописцы придали громкое название: «Шестой бунт в университете». Он не любил дразнить школьников других, менее аристократических училищ и подсмеиваться над их часто, действительно, весьма смешными костюмами. Но за то он, с другой стороны, усердно посещал все уроки. Аббат Сен-Пьер-де-Валь, читавший каноническое право, всегда видел Фролло сидящим на первой скамейке, против самой кафедры, усердно записывавшим на коленях, на роговой доске, лекцию профессора и дувшим зимою в окоченевшие пальцы свои. Равным образом, первым слушателем, которого видел по понедельникам на своих лекциях Миль-д'Илье, профессор декреталий, торопящимся, запыхавшимся, протискивавшимся в дверь аудитории, неизменно был Клод Фролло.

За то последний и достиг того, что уже в 16 лет мог бы помериться в богословских познаниях с любым отцом церкви, а в схоластике – с доктором Сорбонны.

Покончив с богословием, он приналег на декреталии, и последовательно проглотил, в своей научной алчности, одни декреталии за другими – и Федора, епископа Испальского, и Бушара, епископа Вормсского, и Ива, епископа Шартрского, и Грациана, пополнившего декреталии Карла Великого, и сборник Григория IX, и послание «О зеркале души» папы Гонория III. Он сумел ориентироваться и разобраться в этой путанице средневекового гражданского и канонического права, в этом периоде, начинавшемся в 618 году с епископа Федора и оканчивавшемся в 1227 году папой Григорием IX.

Переважив декреталии, он набросился на медицину и на свободные искусства. Он изучил науку трав и мазей, приобрел основательные сведения относительно лихорадок и ушибов, относительно язв и нарывов, так что Жак д'Эспар охотно выдал бы ему диплом врача, а Ришар Геллэн – диплом хирурга. Словом, он прошел все известные в ту эпоху науки; он основательно знал латинский, греческий и еврейский языки, составлявшие в ту эпоху квинтэссенцию научной премудрости. У него проявилась настоящая страсть приобретать и накапливать научные богатства. В 18 лет он прошел уже все четыре факультета. Молодой человек знал только одну цель в жизни: учиться.

Как раз в это время необычайно жаркое лето 1466 года вызвало великую моровую язву, от которой умерло более 40,000 человек в одном парижском графстве, и в том числе, как говорит летописец Жан-де-Труа, «королевский астролог Арнуль, человек весьма мудрый, хороший и приятный. В городе распространился слух, что особенно сильные опустошения болезнь произвела в улице Тиршап, т. е. именно в той улице, в которой жили, в небольшом своем поместье, родители Клода. Молодой школьник в тревоге поспешил в родительский дом, и, действительно, войдя в него, увидел отца и мать, одновременно умерших накануне; от всего семейства Клода остался только маленький брат, находившийся еще в пеленках, который, оставшись один во всем доме, кричал благим матом в своей люльке. Молодой человек взял ребенка на руки и в задумчивости вышел из дому. До сих пор он знал только науку, теперь ему пришлось познакомиться с жизнью.

Случай этот составил кризис в существовании Клода. Оказавшись в 19 лет не только сиротой, но и старшим в семействе, главою его, он разом был перенесен из школьной мечтательности к будничной прозе. Почувствовав вначале только сострадание к младенцу-брату, он не замедлил полюбить его со всей страстностью и преданностью, на которые только и мог быть способен человек, не любивший до сих пор ничего, кроме науки и книг.

Привязанность эта вскоре достигла невероятных размеров; в этой не ведавшей до сих пор ни малейшей любви душе она сделалась чем-то вроде первой страсти. Разлученный с самого раннего детства с родителями, которых он едва помнил, как бы замуравленный среди книг, не знавший иных вожелений, кроме желания учиться, обращая до сих пор внимание исключительно на свой ум, весь поглощенный наукой, и на свое воображение, крепшее в изучении классической литературы, – бедный школьник до сих пор не имел еще случая прислушаться к голосу своего сердца. Теперь этот братишка, свалившийся к нему точно с неба, этот ребенок, лишившийся в один день и отца, и матери, сделал из него совершенно нового человека. Он заметил, что на свете есть еще и другие вещи, кроме лекций Сорбонны и стихов Гомера, что человек не может обойтись без привязанностей, что человек незнакомый с чувством нежности и любви, не что иное, как непомазанное, скрипучее, раздирающее слух колесо. Только он вообразил себе, по своей наивности и малому знакомству с жизнью, что семейные привязанности, привязанности крови – единственно законные и необходимые, и что любви его к маленькому его брату достаточно для того, чтобы наполнить все его существование.

Поэтому он полюбил маленького Жана со всею страстностью глубокой, горячей, сосредоточенной натуры. Это жалкое, маленькое, слабенькое, белокурое, розовое существо, эта

сирота, не имевшая иной опоры, кроме сироты же, трогала его до глубины души; и, привыкши к серьезному мышлению, он стал размышлять о Жане с бесконечным милосердием. Он стал заботиться и пектись о нем, как о чем-то очень хрупком, требующем величайшей осторожности. Он сделался для ребенка более чем братом, – он сделался для него матерью.

Ребенок лишился матери еще раньше, чем его отняли от груди: Клод отдал его кормилице. Кроме поместья Тиршап, он наследовал после отца своего еще мельницу, близ четырехугольной башни Жантильи, в окрестностях Бисетра. Жена мельника как раз в это время кормила здорового и сильного ребенка своего. Так как мельница была не особенно далеко от университета, то Клод решился отнести к мельничихе своего братишку.

С этих пор, сознавая, что жизнь его нужна не для него одного, он стал относиться к ней особенно серьезно. Мысль о маленьком брате не только развлекала его во время отдыха, но и подстрекала во время учения. Он решился всецело отдаться будущности, за которую он должен был отвечать перед Богом, никогда не обзаводиться семейством и стремиться только к доставлению благоденствия и благополучия своему брату. Это еще более укрепило его в его прежнем намерении посвятить себя духовной карьере. Его ученость, его кроткий характер, наконец, самое его звание вассала парижского епископа широко раскрывали перед ним двери церкви. В 20 лет, с особого разрешения папского престола, он был уже священником, и, в качестве самого младшего священника собора Парижской Богоматери, служил в том приделе храма, который называли, вследствие позднего времени, в которое служилась там литургия, «приделом лентяев.

Будучи погружен в свои книги, от которых он отрывался только для того, чтобы пройтись на мельницу проведать своего братишку, он не замедлил, благодаря уму своему и строгому образу жизни, столь редкому в его года, приобрести всеобщее уважение и удивление. Из церкви слава его, как человека глубоко ученого, не замедлила распространиться и в народе, хотя, как то часто случалось в те времена, она вскоре перешла в репутацию колдуна.

Так вот в Фомино воскресенье, только что отслужив «обедню лентяев» в своем приделе и возвращаясь в свою келью, он обратил внимание на группу старух, стрекотавших вокруг кровати для подкидышей, и приблизился к несчастному маленькому существу, на которое сыпалось столько угроз и столько ненависти. Несчастное положение ребенка, его уродство, его беспомощность, воспоминание о своем маленьком брате, наконец, внезапно представившаяся его уму мысль, что в случае его смерти, и его дорогому, маленькому Жану, быть может, тоже предстоит участь быть брошенным на эту кровать подкидышей, – все это преисполнило его сердце жалостью, и он решился взять ребенка с собою.

Вынув мальчика из мешка, в который тот был засунут, он нашел, что ребенок, действительно, крайне уродлив. На левом глазу его была бородавка, голова его совсем ушла в плечи, спинной хребет был выгнут, грудная клетка тоже, ноги кривые; но, тем не менее, дитя, казалось, было полно жизни, и, хотя Клод не мог разобрать, на каком языке оно лепетало, однако, крик его свидетельствовал о здоровых и крепких легких. Уродство ребенка усилило в Клоде чувство сострадания к нему, и тут же он дал себе обет воспитать этого ребенка из любви к своему брату, с тем, чтобы, каковы бы ни были впоследствии преступления маленького Жана, это, оказанное ради него милосердие, засчиталось в его пользу. Он, так сказать, клал благотворительный капитал на имя своего маленького брата; он как бы заранее собирал в его пользу запас добрых дел, на случай, если бы в один прекрасный день последние вышли у самого Жана, и у него не осталось ничего из этой монеты, которая одна открывает двери в рай.

Он окрестил ребенка и назвал его «Квасимодо», неизвестно – потому ли, что он хотел этим обозначить тот день, в который он нашел его, или потому, что он хотел выразить тем, насколько это маленькое существо было несовершенно и топорно сделано¹⁸. Действительно,

¹⁸ «Quasimodo» – называется у католиков первое воскресенье после Пасхи, Фомино воскресенье. «Quasimodo»-же означает

Квазимодо – кривой, горбатый, косолапый был в полном смысле слова не что иное, как «якобы человек».

III. Лют пастырь скота, еще лютее пасомые

К 1484 году Квазимодо подросток. Он уже несколько лет тому назад назначен был звонарем при соборе Парижской Богоматери, благодаря ходатайству своего приемного отца Клода Фролло, назначенного в 1472 году архидиаконом собора, на место Люи де-Бомона, в свою очередь назначенного парижским епископом, после Гильома Шартье, благодаря ходатайству брадобрея Людовика XI, Оливье Ле-Ден.

Итак, Квазимодо был звонарем. С течением времени между храмом и звонарем установились какие-то странные, но весьма тесные узы. Навсегда отдаленный от мира своим безобразием и своим темным происхождением, замкнутый с самого детства в этот двойной заколдованный круг, бедняга привык ничего не видеть в окружающем его мире, кроме того, что находилось внутри стен того здания, которое приютило его под своей сенью. Собор Парижской Богоматери последовательно был для него, по мере того как он рос, яйцом, гнездышком, домом, отечеством, миром. И несомненно то, что между этим живым существом и этим зданием существовала какая-то таинственная, предсуществовавшая гармония. Когда, будучи еще совершенно маленьким, он ползал по темным коридорам и сеням его, то его можно было бы принять, с его человеческим обликом и звериными телосложением, за домового этого здания, появлявшегося здесь лишь тогда, когда тут не было никаких других живых существ. Позднее, когда он в первый раз машинально уцепился за веревку, которою приводился в движение колокол, повис на ней и раскачал колокол, приемному отцу его Клоду показалось, как будто язык ребенка, наконец, развязался и он заговорил.

Таким образом, мало-помалу развиваясь под сенью собора, в котором он жил, спал, из которого почти никогда не выходил, непрерывное, таинственное давление которого он постоянно ощущал, он, наконец, дошел до того, что, так сказать, почти сросся с ним, сделался одною из его составных частей. Его выступающие углы вкладывались, так сказать, в, входящие углы здания, и он сделался не только обитателем, но как бы принадлежностью последнего; можно бы даже сказать, что он принял в конце концов его форму, подобно тому, как улитка принимает форму своей раковины. Церковь была его обиталищем, его норой, его обложкой. Между ним и старинною церковью существовала какая-то таинственная, глубокая симпатия, столько магнетического и, можно сказать, химического сродства, что он был прикреплен к ней, как черепаха к своему черепу. Морщинистый собор был его черепом.

Бесполезно было бы предупреждать читателей, чтобы они не принимали буквально тех метафор, к которым мы вынуждены прибегать здесь для того, чтобы дать понятие об этом странном, непосредственном симметричном, почти единосущном слиянии человека и здания. Бесполезно также распространяться о том, до какой степени он сроднился, вследствие такого продолжительного и близкого сожительства, со всеми мельчайшими частями и подробностями собора. Он был здесь совершенно как дома. Здесь не было ни одного уголка подвала, в который он не спустился бы, ни одного местечка на колокольне, куда бы он не пробрался. Ему не раз случалось взбираться по наружной стене на несколько ярусов, цепляясь только за выступы и за скульптурные украшения башни, на которых его часто видели ползущим, подобно ящерице, взбирающейся по отвесу скалы. Эти две сестры-великанши, столь высокие, угрожающие, страшные, не внушали ему ни малейшего ужаса, не производили у него головокружения; при виде того, как он легко взбирался на них, какими безопасными они являлись у него под ногами и под руками, можно было бы подумать, что он приручил их. Вследствие постоянного пры-

ганья, ползанья и лазанья среди пропастей гигантского собора, он превратился как бы в обезьяну и в дикую козу, подобно тому, как калабрийский ребенок научается прежде плавать, чем ходить, и, еще ползая, привыкает играть с морем.

Впрочем, казалось, что не только тело его приноровлено к собору, но и ум. Каково было состояние этой души, какую форму приняла она под этой угловатой оболочкой, при этом первобытном образе жизни, это трудно было бы определить. Квазимодо родился кривым, горбатым, хромым. Лишь с великим трудом и при необыкновенном терпении Клоду удалось выучить его говорить. Но природа как будто пожалела о том, что не снабдила это бедное существо решительно всеми возможными недостатками, и судьба помогла ей довершить свое дело. Сделавшись звонарем с 4-летнего возраста, Квазимодо вскоре получил возможность присоединить ко всем своим телесным недостаткам еще один: гул колоколов прорвал его барабанную перепонку, и он совершенно оглох; единственное средство сообщения с внешним миром, которое от рождения оставила ему природа, внезапно заградилось навсегда, и вместе с тем преградился доступ к единственному лучу радости и жизни, который находил еще доступ в душу Квазимодо. Душа эта погрузилась в глубокий мрак. Меланхолия несчастного уродо сделалась полной, и неизлечимой. Прибавим к этому еще то, что глухота сделала его почти немым; ибо для того чтобы не возбуждать смеха окружающих, он, убедившись в своей глухоте, твердо решил хранить безусловное молчание и стал говорить только сам с собой, будучи наедине. Он добровольно связал этот язык, который Клоду Фролло стоило столько труда развязать. Вскоре это повело к тому, что, когда нужда заставляла его говорить, язык его оказывался точно окоченевшим и двигался, точно дверь на ржавых петлях.

Если бы мы теперь попытались проникнуть в душу Квазимодо сквозь эту твердыню и толстую оболочку, если бы нам дано было измерить глубину этого неудавшегося организма, разглядеть содержимое в этом темном существе, бросить луч света на самые темные углы его, на внутренние закоулки, и вдруг озарить ярким светом душу, которая должна же была обитать где-нибудь внутри этой мрачной пещеры, то мы, без сомнения, нашли бы эту бедную душу в каком-нибудь жалком, скорченном, атрофированном виде, нечто подобное телам тех несчастных, которых заключали в венецианские тюрьмы, слишком низкие для того, чтобы в них можно было стоять, и слишком короткие для того, чтобы можно было лежать.

Не подлежит сомнению, что в уродливом теле и ум атрофируется. Квазимодо едва чувствовал присутствие в своем уродливом теле души, созданной по образцу и подобию этого тела. Внешние впечатления подвергались значительной рефракции, прежде чем достигнуть души его. Мозг его представлял собою какой-то особый мир: все, проходившие через него мысли, выходили какими-то изломанными и погнутыми. Понятно поэтому, что рассуждение его не могло быть правильным. Отсюда неизбежно проистекали тысячи оптических обманов, тысячи извращенных суждений, тысячи то безумных, то идиотических скачков его мысли.

Первым последствием этой несчастной организации ума его было то, что он не мог здраво и прямо смотреть на вещи. Они не производили на него почти никакого непосредственного впечатления. Внешний мир казался ему гораздо более отдаленным, чем нам, обыкновенным смертным.

Вторым последствием уродства его было то, что оно делало его злым. И действительно, он был зол, потому что был дик, а был дик, потому что был безобразен. И природа может быть не менее логична, чем мы. Сила его, столь непомерно развившаяся, также являлась одною из причин его злости. «Сильный мальчик не может быть добрым», – говорит Гоббс. Нужно, впрочем, быть справедливым и заметить, что эта злость, быть может, не была в нем врожденная. С первых же шагов своих на жизненном поприще он сначала инстинктивно чувствовал, а затем и ясно сознавал, что все его презирают, отталкивают, гнушаются им. Когда он подрос, он даже не видал вокруг себя ничего, кроме презрения и ненависти. И он решил отвечать людям тем же; он поднял оружие, которым его ранили; он сделался злым.

Он легко мог обходиться без людского общества; для него достаточно было его собора. Последний был переполнен разными мраморными людьми, королями, святыми, епископами, которые, по крайней мере, не фыркали ему в лицо и смотрели на него спокойным и благосклонным взглядом. Да и другие статуи разных демонов и чудовищ относились к Квазимодо без ненависти, быть может, потому, что слишком походили на него. Скорее они смотрели насмешливым взглядом на прочих людей. Святые были его друзьями и благословляли его; чудовища также были его друзьями и охраняли его. Поэтому-то он и любил их общество; часто, сидя на корточках перед какой-нибудь статуей, он по целым часам беседовал с нею. Если в это время кто-нибудь входил в церковь, он убегал, точно любовник, застигнутый за серенадой. Церковь заменяла ему не только общество, но и весь мир, всю природу. Он не мог представить себе иных изгородей, кроме расцвеченных стекол окон, никакой другой сени, кроме сени от каменных листьев, на которых сидели каменные же птицы в саксонских капителях, других гор, кроме громадных башен церкви, другого океана, кроме Парижа, шумевшего у ног его. Но более всего любил он в материнском здании – колокола. Они будили его душу и заставляли ее порой расправлять свои бедные крылья, жалко сложенные природой в их пещере, и по временам делали его счастливым. Он любил их, ласкал их, говорил с ними, понимал их. Он любил их всех одинаково, начиная с самого маленького до самого большого. Средняя колокольная и две боковые башни были для него ничем иным, как тремя большими клетками, сидевшие в которых вскормленные им птицы распевали только для него. Правда, эти самые колокола сделали его глухим; но известно, что часто матери любят больше всего тех детей, которые причинили им наиболее страданий.

Нужно принять в соображение, впрочем, и то, что звук этих колоколов был единственным звуком, доходившим еще до его слуха. Вследствие этого он относился с особенною нежностью к самому большому колоколу; это был любимец его из всей этой семьи, гудевшей вокруг него по праздничным дням. Он назвал его Марией. Кроме Марии, в южной башне был только еще один колокол, несколько меньших размеров, прозванный им Жаклиной. Название свое этот последний колокол получил в честь Жаклины Монтагю, жены Жана Монтагю, пожертвовавшего его церкви, что не помешало ему несколько времени спустя сложить свою голову на плахе в Монфоконе. В другой башне было шесть колоколов, и, наконец, шесть самых маленьких висели в башне над большим окошком, вместе с деревянным колоколом, в который звонили только с Великого Четверга до заутрени Светлого Христова Воскресенья. Итак, в распоряжении Квазимодо было всего 15 колоколов, но более всех он все-таки любил Марию.

Трудно представить себе радость его в дни большого трезвона. Как только архидиакон говорил ему: «начинай», он взбирался по крутой, винтовой лестнице скорее, чем другой успел бы спуститься с нее. Весь запыхавшись, он входил в пролет, в котором висел большой колокол, в течение нескольких секунд глядел на последний с любовью и благоговением, затем ласково заговаривал с ним, гладил его рукою, подобно тому, как всадник гладит лошадь, которой предстоит продолжительная скачка; он как бы жалел его, в виду предстоявшего ему тяжелого труда. После этих ласк он кричал помощникам своим, стоявшим в нижнем ярусе, что пора начинать. Те схватывались за канаты, ворот начинал скрипеть, и огромная металлическая масса медленно приходила в движение. Квазимодо, притаив дыхание, следил за ее раскачиванием. От первого удара языка о стенки колокола вздрагивал деревянный помост, на котором стоял Квазимодо. «Валяй!» – кричал он с каким-то безумным смехом, вздрагивая при каждом ударе на своем помосте. Между тем, размахи колокола все ускорялись, и, по мере того, как он описывал все большую и большую дугу, единственный глаз Квазимодо раскрывался все шире и шире и все ярче блестел фосфорическим блеском. Наконец, начинался большой трезвон; вся колокольная дрожала; каменные, цинковые и деревянные части ее как бы плясали, – содрогалось все, начиная от свай фундамента до креста на верхушке колокольни. Квазимодо кипел, точно в котле; он ходил взад и вперед, дрожал всем телом вместе с башней. Колокол, как будто тоже

приходя в азарт, раскрывал поочередно перед обеими стенами колокольни свою медную пасть, из которой разносились звуки, слышные на четыре мили в окружности. Квазимодо становился перед этой раскрытой пастью, приседал и снова поднимался, как бы вдыхал в себя шумное дыхание колокола, кидал взор то на площадь, кишевшую под ним на глубине двухсот футов, то на огромный медный язык колокола, который через каждую секунду ревел ему на ухо. Это было единственное слово, которое он мог слышать, единственный звук, нарушавший парившее вокруг него гробовое молчание. Он купался в этих звуках, как птичка купается в солнечных лучах. Вдруг на него находило какое-то неистовство; единственный глаз его загорался каким-то адским блеском; он подкарауливал приближавшийся к нему колокол, как паук подкарауливает муху, и стремглав кидался на него. Уцепившись за него, он вместе с ним качался над бездной, крепко держась за ушко бронзового чудовища, сжимая его своими коленями, прищипывая его каблуками и усиливая тяжестью своего тела размах его. Башня дрожала, Квазимодо вскрикивал и скрежетал зубами, рыжие волосы его становились дыбом, грудь его вздымалась, точно кузнечные мехи, глаз его сверкал, чудовищный колокол, точно запыхавшись, как будто ржал под неистовым седоком. Это был уже не колокол и не звонарь, – это был какой-то вихрь, буря, головокружение, бред; это был дух, уцепившийся за воздушную лошадь; это был какой-то странный центавр, наполовину человек, наполовину колокол, это было нечто в роде какого-то летучего голландца, носимого по воздуху чудовищным, медным, крылатым конем.

Присутствие этого необычайного существа придавало жизнь всему храму. По мнению суеверной толпы, из него истекла какая-то таинственная сила, одушевлявшая все камни собора и заставлявшая трепетать все внутренности старинной церкви. Достаточно было присутствия этого существа для того, чтобы тысячи статуй, украшавших храм, казались живыми существами. И действительно, весь собор делался как будто послушным орудием в руках этого необыкновенного звонаря; он ждал его сигнала для того, чтобы поднять свой голос; Квазимодо был настоящий домовый этого здания. Он как будто заставлял дышать целое здание; он был в нем вездесущ, он как будто обладал способностью разом появляться во всех его уголках. То толпившийся на площади народ с ужасом замечал какого-то уродливого карлика, лазившего, извивавшегося, ползавшего на четвереньках, свешивавшегося над бездной, перескакивавшего с выступа на выступ для того, чтобы порыться во внутренностях какой-нибудь гипсовой медузы: оказывалось, что то был Квазимодо, разорявший вороны гнезда. То, бродя по храму, кто-нибудь натыкался в каком-нибудь темном углу ее на какую-то сидящую на корточках хмурую фигуру: то был погруженный в думы Квазимодо. То можно было разглядеть сквозь пролет колокольни громадную голову и какое-то невозможное туловище, неистово качавшееся на конце веревки: то был Квазимодо, звонивший к вечерне или к достойной. Часто по ночам можно было видеть какую-то безобразную фигуру, бродящую по хрупкой, резной балюстраде, венчавшей башню и окаймлявшей галерею соборной крыши: это опять-таки был наш горбун. В эти минуты, по словам соседок, вся церковь получала какой-то фантастический, сверхъестественный, страшный вид; казалось, будто у нее есть глаза и рот; казалось, будто лают каменные псы и шипят каменные змеи, стерегущие денно и нощно, с разинутыми пастьми и с вытянутыми шеями, чудовищный собор; и в ночь на Рождество, когда богомольцы входили в громадные, раскрытые настежь двери церкви, казалось, что это чудовище проглатывает всю эту толпу и что последняя никогда уже не возвратится из недр его на свет Божий. И все это впечатление производил Квазимодо. В Египте его сочли бы божеством этого здания; в средние века его сочли Злым духом; в сущности же, он был душою его. И он был душою его до такой степени, что для всех тех, которым известно, что Квазимодо, действительно, существовал, собор Парижской Богоматери представляется в настоящее время чем-то пустынным, бездушным, мертвым; они чувствуют, что здесь что-то исчезло. Это – громадное тело, лишенное жизни, это – скелет, из которого вылетела душа; видно только то место, где прежде была эта душа, – вот и все. Это череп, в котором видны еще отверстия для глаз, но самых глаз уже нет.

IV. Собака и ее хозяин

Было, однако, на свете одно человеческое существо, на которое Квазимодо не распространял свою ненависть ко всему роду людскому, которое он любил столько же и, быть может, даже более, чем свой собор: это был Клод Фролло.

И это объяснялось весьма просто. Клод Фролло взял его на свое попечение, выкормил, воспитал его. Еще будучи ребенком, он привык искать убежища между ног Фролло, когда другие дети его дразнили, а собаки лаяли на него. Клод Фролло научил его говорить, читать, писать; наконец, Клод же Фролло сделал его звонарем; а соединить Квазимодо с большим колоколом – это было то же, что соединить Ромео и Джульетту. Поэтому благодарность Квазимодо была глубокая, страстная, беспредельная; и хотя лицо его приемного отца было по временам строго и пасмурно, хотя тон его голоса был обыкновенно сух, повелителен и даже суров, однако, это чувство благодарности ни разу не слабело ни на минуту. Архидиакон нашел в лице Квазимодо самого послушного раба, самого преданного слугу, самую бдительную собаку. Когда бедный звонарь оглох, между ним и Клодом Фролло установился какой-то таинственный язык жестов, понятный только для них одних. Таким образом, архидиакон был единственным человеческим существом, с которым Квазимодо сохранил некоторые сношения. Он общался в этом мире только с двумя существами с собором и с Клодом Фролло.

Ничто не может сравниться с тою властью, которою пользовался архидиакон над звонарем, и с привязанностью звонаря к архидиакону. Достаточно было одного знака Клода, одной мысли о том, что это могло бы доставить ему удовольствие, для того, чтобы Квазимодо бросился вниз головою с колокольни собора. Нечто странное представляла вся эта физическая сила, достигнувшая у Квазимодо такого необычайного развития и слепо отданная им в распоряжение другого. В этом сказывалось, конечно, и сыновнее чувство, и домашняя привязанность, но сказывалось также и обаяние одного ума над другим: здесь неуклюжий, неудачный, неловкий организм стоял с понуренной головой и с умоляющими взорами перед высоким и глубоким, властным и преобладающим умом. Наконец, и, быть может, более всего, здесь играло видную роль чувство благодарности, – благодарности до того беспредельной, что мы даже и не знаем, с чем бы можно сравнить ее. А эта добродетель не принадлежит к числу самых обыденных среди людей. Итак, мы скажем, что Квазимодо любил архидиакона так, как никогда ни одна собака, ни один конь, ни один слон не любили своего хозяина.

V. Продолжение главы о Клоде Фролло

В 1482 году Квазимодо было около 20 лет от роду, а Клоду Фролло – 36; первый вырос, второй состарился.

Клод Фролло не был уже скромным учеником школы Торки, нежным покровителем ребенка, молодым и мечтательным философом, приобретшим много научных познаний, но мало знакомым с жизнью. Это был серьезный, строгий, даже угрюмый священник, духовный отец многочисленной паствы; он назывался теперь уже г-м архидиакonom Иосией, он был вторым викарием епископа, заведовал двумя благочиниями – Монлерийским и Шатофорским, и 174-мя сельскими приходами. Это был человек внушительной и строгой наружности, перед которым дрожали не только маленькие певчие в курточках и в стихарях, но и взрослые певчие и причетники, когда он медленно проходил под стрельчатыми сводами хора, величественный, задумчивый, со скрещенными на груди руками и с так низко опущенной на грудь головой, что из всего лица его был виден только его высокий лысый лоб.

Впрочем, Клод Фролло, повышаясь в духовной иерархии, не отказался ни от науки, ни от воспитания своего младшего брата, – от этих двух серьезных целей его жизни. Но с течением времени к этим, прежде столь приятным для него занятиям, примешалось некоторое чувство

горечи: от времени, – говорит Петр Дьякон, – горкнет и самое лучшее сало. Маленький Жан Фролло, прозванный Дю-Мулен, вследствие мельницы, на которой он получил воспитание, вырос далеко не в том направлении, которое было бы желательно Клоду. Старший брат рассчитывал на то, что из него выйдет мальчик послушный, прилежный, благочестивый, степенный; а между тем младший брат, подобно тем деревьям, которые, несмотря на все усилия садовника, поворачиваются всегда к солнцу, рос и пускал роскошные ветви только в смысле лени, шалостей и разврата. Это был настоящий чертенок, крайне беспорядочный, что заставляло Клода морщить брови, но в то же время очень забавный и веселый, что заставляло улыбаться старшего брата. Клод отдал его в ту самую школу Торки, в которой он сам начал учиться и сосредоточиваться, и для него составляло немалое огорчение, что то самое святилище, которое когда-то гордилось именем Фролло, было теперь опозорено им. Он часто делал по этому поводу Жану очень пространные и очень строгие внушения, которые тот терпеливо выслушивал, так как этот маленький негодяй, в сущности, имел очень доброе сердце, – что часто встречается и в комедиях, и в жизни; но, выслушав нотацию своего брата, он тотчас же снова принимался за свои шалости и бесчинства. То он занимался травлей только что поступившего в школу новичка, драгоценное предание, сохранившееся и до наших дней; то он стоял во главе толпы таких же сорванцов, разнесших кабачок, избивших кабатчика и выпустивших все вино из бочек; и на другой день субинспектор школы приносил Клоду написанное по-латыни свидетельство, в котором против фамилии Жана значилось: «драка; первоначальная причина – излишне выпитое вино». Наконец, об этом, только еще 16-ти летнем малом ходили слухи, что бесчинства его не ограничивались кабаками, а часто производились и в других, еще более неприличных местах.

Огорченный всем этим и обманувшийся в самой чистой привязанности своей, Клод еще усерднее принялся за науку, отдался любви к этой сестре, которая, по крайней мере, не смеется в нос и всегда платит вам, хотя, правда, порой и чересчур мелкой монетой, за вашу заботливость о ней. Таким образом, он становился все более и более учен и в то же время, – весьма естественное последствие учености, – все более и более строг, как священник, и печален, как человек. Для каждого из нас существуют известные параллели в уме нашем, характере и нравах, которые развиваются без перерыва и прерываются только во время крупных жизненных переворотов.

Клод Фролло, пройдя с самых юных лет весь цикл всех положительных, доступных человеку знаний, по необходимости, должен был, если не желал остановиться там, где останавливаются умы ленивые, идти далее и искать иной пищи для ненасытной деятельности своего ума. Древнее изображение змеи, самой себе кусающей хвост, как нельзя более применимо к науке, и Клод Фролло, по-видимому, познал это по собственному опыту. Иные серьезные люди уверяли, что, истощив все возможное человеческого знания, он осмелился проникнуть в область невозможного. Он последовательно отведал, – говорили о нем, – от всех яблок дерева познания и кончил тем, что, от голода ли, или от пресыщения, откусил и запрещенного плода. Он поочередно принимал участие, как видели наши читатели, и в конференциях сорбонских богословов, и в диспутах докторов канонического права в школе св. Мартына, и в сходках докторов возле кропильницы собора Парижской Богоматери; он проглотил все дозволенные и одобренные яства, которые изготовлялись в то время всеми четырьмя факультетами парижского университета, и они успели надоесть ему еще прежде, чем был удовлетворен его голод. Тогда он стал рыться глубже этой законченной, материальной, ограниченной науки; он не побоялся даже рискнуть спасением души своей и уселся за один стол с алхимиками, астрологами и герметиками, за которым в средние века почетное место занимали Аверроэс, Гильом Парижский и Николай Фламель, и за которым в глубокой древности, при свете подсвечника о семи рожках,

сидели Соломон, Зороастр, Пифагор. Так, по крайней мере, предполагали; основательно или нет – это другой вопрос.

Верно то, что архидиакон часто посещал кладбище «младенцев, избитых Иродом»; правда, здесь были похоронены отец и мать его, вместе с другими жертвами моровой язвы 1466 года; но он, по-видимому, менее усердно молился у их могильного креста, чем возле находившихся тут же, по соседству, могил Николая Фламеля и Клода Пернеля. Его также не раз видели проходившим по улице Ломбардцев и как бы украдкой проскальзывавшим в небольшой домик, стоявший на углу улиц Писцов и Мариво. Этот дом выстроил Николай Фламель, который и умер в нем около 1417 года; с тех пор дом стоял заброшенный, начинал уже разрушаться, до того алхимики и герметики всех стран испортили его стены, выцарапывая на них свои имена. Некоторые соседи уверяли даже, будто раз подглядели в замочную скважину, как диакон Клод взрывал и переворачивал землю в двух подвалах, стены которых сам Николай Фламель исчертил разными иероглифами и стихами. Полагали, что Фламель зарыл в этих погребках добытый им философский камень, и в течение целых двух столетий алхимики, начиная с Магистрии и кончая патером Пачифико, не переставали рыться и копать в этом доме до тех пор, пока он весь не превратился в мусор и щебень.

Верно также и то, что архидиакон почувствовал какую-то странную страсть к символическим дверям собора Парижской Богоматери, к этой чернокнижнической странице, исписанной камнями парижским епископом Гильомом, который, надо полагать, обречен на все муки ада за то, что сочинил такую недостойную заглавную страницу к священной поэме, которую беспрерывно распекает остальная часть здания. Об архидиакоме Клоде ходила также молва, что он досконально изучил колоссальную статую св. Христофора и ту другую, громадную, загадочную статую, которая стояла в то время у входа на паперть, и которую народ в насмешку называл «господином Серко». Но особенно часто всякий желающий мог его видеть сидящим по целым часам перед папертью и рассматривавшим резьбу главных входных дверей, то как будто изучавшим фигуры глупых дев, с их опрокинутыми книзу светильниками, то фигуры мудрых дев, которые держали свои светильники прямо перед собою; в другой раз он как будто следил взглядом за направлением взоров изображенного над левою створкой дверей ворона, устремленных, казалось, на какую-то таинственную точку в церкви, без сомнения, именно на то место, где скрывался философский камень, если только он не был зарыт в подвале Николая Фламеля. Заметим здесь, кстати, что, по какому-то странному капризу случая, в здание собора Парижской Богоматери, так сказать, влюбились одновременно, хотя и весьма различною любовью, два существа, столь мало похожие друг на друга, как Клод и Квазимодо: один, какой-то получеловек, дикарь, существо почти совсем лишенное разума, за его красоту, его стройность, за гармоничность всех его частей; другой, человек ученый и страстный, за его внутренний смысл, за его мифы, за его символизм, словом, за загадку, которую оно вечно представляет уму.

Архидиакон устроил себе в той из двух башен собора, которая выходит на Гревскую площадь, рядом с помещением для колоколов, небольшую келийку, в которую, как уверяли, без его позволения не мог войти никто, даже сам епископ. Эта келийка была когда-то построена на самой вышке колокольни, рядом с вороньими гнездами, епископом Гуго Безансонским (1326–1332), считавшимся в свое время великим колдуном. Никому не было известно, что заключалось в этой келье; но часто видели, с ближайшей площади, как по ночам в маленьком оконце, проделанном в башне, появлялся, исчезал и снова появлялся, с небольшими промежутками, какой-то странный, красноватый, точно мигающий свет, производимый как будто раздуванием мехов и происходивший, очевидно, от очага, а не от свечки. Этот мерцавший сверху свет производил на находившихся внизу довольно странное впечатление, и соседние кумушки шептались друг другу: «Вон, архидиакон снова пошел раздувать свой огонь; это какая-то дьявольская жаровня».

В конце концов, во всем этом, по всей вероятности, не было ни малейшего колдовства; но все же было настолько дыма, чтобы заставить предполагать огонь, а ученый архидиакон и без того уже пользовался не особенно лестной репутацией; между тем, всякое чернокнижие, всякая магия, даже самого невинного свойства, не имели более беспощадного доносчика, чем Клод Фролло. Но, тем не менее, ученые мужи соборного капитула, следовавшие, быть может, в этом отношении примеру того вора, который первый пускается кричать: «караул, лови, держи вора!» – считали архидиакона человеком, знакомым со всеми ходами ада, погружившимся в дебри кабалистики и занимающимся тайком чародейством. Точно также смотрел на это дело и простой народ, в глазах которого Квазимодо был воплощенным дьяволом, а Клод Фролло – колдуном; для всех было очевидно, что звонарь должен был служить архидиакону в течение определённого времени, по истечении которого он возьмет себе в уплату его душу. И поэтому, вообще, архидиакон, несмотря на свой строгий образ жизни, не пользовался хорошей репутацией у людей благочестивых, и любая старуха-ханжа верхним чутьем чувствовала в нем колдуна.

С течением времени душа Клода Фролло все более и более черствела и сохла; так, по крайней мере, мог заключить всякий, который только видел это лицо, на котором душа никогда не отражалась иначе, как сквозь густой туман. Отчего лоб его полысел раньше времени, голова его постоянно свешена была на грудь, грудь его беспрерывно испускала глубокие стоны? Какая затаенная мысль вызывала улыбку на устах его, между тем, как обе наморщившиеся брови его сближались, точно два быка, собирающиеся ринуться друг на друга? Почему оставшиеся еще на голове его волосы уже успели поседеть? Какой внутренний огонь заставлял по временам вспыхивать его взор таким ярким блеском, что глаз его становился похожим на дыру, пробурленную в доменной печи?

Все эти признаки сильной внутренней озабоченности особенно усилились как раз к той эпохе, к которой относится наш рассказ. Не раз случалось какому-нибудь маленькому певчему в испуге убежать от него, заставши его одного в церкви, до того взгляд его был страшен и страшен. Не раз во время обедни сосед его по скамейке слышал, как он примешивал к общему хоровому пению какие-то непонятные слова. Не раз полумойка, нанятая для мытья полов в церкви, не без страха замечала высунувшиеся из-под рясы судорожно сжатые пальцы и кулаки архидиакона. Но вместе с тем он становился все более и более строгим и никогда еще не вел более примерного образа жизни. По самому сану своему, как и по характеру, он всегда держался вдали от женщин; теперь, казалось, он ненавидел их более, чем когда-либо. При одном только шелесте шелковой юбки он поспешно накидывал на голову капюшон своей рясы. Он до того был строг и сдержан по отношению к женщинам, что когда как-то в декабре 1481 года принцесса де-Божё, дочь короля, пожелала посетить состоявший при соборе монастырь, он решительно воспротивился тому, напомнив епископу устав 1334 года, возбраняющий доступ в монастырь «всем женщинам, без различия сословий и возраста», и епископ нашелся вынужденным привести ему на память послание легата Одо, сделавшего исключение «ради некоторых женщин знатного рода, недопущение которых могло бы произвести скандал». Но архидиакон продолжал протестовать, утверждая, что послание легата, изданное в 1207 году, было на 127 лет старше устава 1334 года и что последующими распоряжениями отменяются предыдущие. Он лично так-таки и отказался представиться принцессе.

Кроме того, с некоторых пор в нем стало замечаться еще какое-то особое, так сказать, специальное нерасположение к цыганкам. Он исходатайствовал у епископа специальное распоряжение, которым цыганкам воспрещалось плясать и ударять в бубны на площади перед церковной папертью, и в то же время он стал рыться в заплесневевших консисторских актах, собирая данные относительно всех случаев сожжения или повешения колдунов и колдуний по обвинению их в порче людей с помощью козлов, коз и свиней.

VI. Непопулярность

И архидиакона, и звонаря, как мы уже сказали, недолюбливали как знатные, так и незнатные жители местностей, прилегавших к собору. Когда Клод и Квазимодо выходили вместе, что случалось нередко, и их видели проходящими вдвоем, слуга позади своего господина, по узким, темным и сырым закоулкам, прилегавшим к собору, раздавались не одно оскорбительное слово, не одна насмешка, не одно зубоскальство, если только Клод Фролло, – что, впрочем, случалось очень редко, – не шел с высоко поднятой головой, окидывая смущенных насмешников смелым и почти величественным взором. Оба они представляли в своем квартале нечто вроде тех поэтов, о которых говорит Ренье:

И всякий сброд преследует поэта,
Как с криком ласточки преследуют сову.

То какой-нибудь шалун мальчишка рисковал своей шкурой и своими костями для того, чтобы доставить себе неописанное наслаждение воткнуть булавку в горб Квазимодо; то какая-нибудь разбитная и наглая бабенка старалась задеть локтем Клода, напевая ему на самое ухо: – «А, попался-таки, черт!» То опять оборванная толпа нищих старух, рассевшись на ступеньках под колоннадой, принималась гудеть при проходе звонаря и архидиакона и посылала им следующее любезное приветствие: – «Гм! Гм! Один точно так же красив телом, как другой душою!» Или же толпа уличных мальчишек и школяров, забавлявшихся прыганием на одной ноге, выстраивалась в ряд и насмешливо приветствовала по-латыни: «Eia! Eia! Claudius cum claudio!» (Слава! слава! Клод с хромым!)

Но чаще всего и патер, и звонарь даже вовсе не замечали этих насмешек: первый был слишком погружен в свои мысли, второй – слишком глух.

Книга пятая

I. Аббатство Сен-Мартен

Весть об учености и строгости жизни Клода разнеслась далеко и этой-то известности он был обязан, приблизительно около того времени, когда он отказался допустить в собор принцессу Боже, одним посещением, воспоминание о котором в нем сохранилось надолго.

Дело было вечером. Он только что возвратился после всенощной службы в свою келью. Обстановка последней, за исключением, быть может, нескольких стоявших в углу банок, наполненных каким-то черным порошком, очень похожим на порох, не представляла собою ничего ни странного, ни таинственного. Правда, кое-где на стенах виднелись разные надписи, но то были по большей части разные благочестивые изречения, заимствованные из сочинений отцов церкви. Архидакон уселся, при свете медного подсвечника о трех рожках, перед большим сундуком, покрытым рукописями, оперся локтем на раскрытую перед ним рукописную книгу Гонория Отёнского «О предопределении и о свободной воле», и задумчиво перелистывал только что принесенную им с собою печатную книгу, – единственное печатное произведение, бывшее в его келье. Его вывел из его задумчивости стук в дверь.

– Кто там? – крикнул ученый приблизительно таким же любезным голосом, каким, например, зарычал бы голодный пес, у которого вырвали бы его кость.

– Ваш друг, Жан Коактье! – послышался голос из-за двери.

Клод встал, чтоб отпереть последнюю.

Действительно, это был королевский лейб-медик, человек лет пятидесяти, с жестким, неприятным лицом и с хитрыми глазами. Но он был не один: вместе с ним вошел еще какой-то, незнакомый Клоду, человек. Оба они были одеты в длинные темно-серые, подбитые беличьим мехом, мантии, подпоясанные кожаными ремнями, и с шапками из той же материи и того же цвета. Рук их не было видно из-под широких рукавов, ноги их исчезали под складками длинных мантий, а на глаза были нахлобучены шапки.

– Добро пожаловать, господа, – сказал архидиакон, вводя их в свою келью: – а я и не ждал столь почетных гостей в такой поздний час. – И, произнося эти любезные слова, он в то же время переводил беспокойный и испытующий взгляд с врача на его спутника.

– Никогда не бывает слишком поздно для того, чтобы посетить такого учёного мужа, как Клод Фролло-де-Тиршап, – ответил доктор Коактье своим тягучим и несколько певучим акцентом, свойственным всем уроженцам Франш-Конте.

И затем между врачом и архидиаконом начался один из тех поздравительных диалогов, который, согласно обычаям того времени, предшествовал всякой беседе между учеными, что, однако, нисколько не мешало им ненавидеть друг друга от всей души. Впрочем, так водится и доньше: уста всякого ученого, рассыпающегося в похвалах другому ученому, представляют собою сосуд, наполненный подслащенным ядом.

Поздравления, которые Клод Фролло расточал Жаку Коактье, касались преимущественно тех земных благ, которые почтенный врач успел извлечь во время своей столь успешной карьеры из каждой болезни короля и которые, конечно, были более значительны и надежнее тех, какие могло бы дать открытие философского камня.

– Ах, г. доктор, – говорил он: – я чрезвычайно обрадовался, узнав о получении вашим племянником, Пьером Версэ, сана епископа. Ведь он назначен епископом Амьенским, не так ли?

– Да, г. архидиакон, благодарение милосердному Господу Богу.

– А знаете ли, что в первый день Рождества, когда мы выступали во главе всех служащих в счетной палате, вы имели очень торжественный вид, г. президент?

– Вице-президент, г. Клод, вице-президент, не более того.

– А как подвигается постройка вашего нового великолепного дома в улице Сент-Андре? Ведь это настоящий Лувр. Мне особенно нравится изваянное над дверьми абрикосовое дерево, с этой премилой игрой слов: «Прибрежное убежище»¹⁹.

– Увы! г. Клод, вся эта постройка станет мне в копейку. По мере того, как она подвигается вперед, я все более и более разоряюсь.

– Ну, однако же, и доходы ваши изрядны. Во всяком случае, разориться вам трудно.

– Мое Пуатьеское кастелянство не принесло мне в прошлом году никакого дохода.

– А за то получаемые вами заставные пошрины в Триеле, Сент-Джемсе, Сен-Жермен-ан-Лэ чего-нибудь да стоят.

– Ну, что же, всего 26 ливров, даже не парижских.

– Кроме того, вы получаете жалованье от короля. Это доход, по крайней мере, постоянный.

– Да, собрат Клод, но это проклятое поместье Полиньи, о котором столько говорили и говорят, не доставляет мне больше шестидесяти золотых экю даже в самые лучшие годы.

Поздравления, с которыми Клод обращался к Жаку Коактье, были высказаны каким-то кислым, слегка насмешливым тоном, и они сопровождались тою жестокою и язвительной улыбкой, с которою сознающий свое моральное превосходство, но не одаренный благами зем-

¹⁹ Тут опять трудно передаваемая по-русски игра слов: «Abricotier» значит по-французски «абрикосовое дерево», а «Abri-cotier» прибрежное убежище. // Прим. перев.

ными человек относится к сытому довольству заурадного смертного. Тот, однако, ничего этого не замечал.

– Клянусь Богом, – сказал, наконец, Клод, пожимая ему руку, – я рад видеть вас в таком добром здоровье.

– Благодарю вас, г. Клод.

– А кстати, – воскликнул Клод: – как поживает ваш августейший больной?

– Ничего себе, только он плохо платит своему доктору, – ответил доктор, взглянув искоса в сторону своего спутника.

– Вы находите это, кум Коактье? – спросил последний.

Слова эти, произнесенные с выражением удивления и упрека, обратили на незнакомца внимание архидиакона, которое, впрочем, по правде сказать, и без того было возбуждено с тех пор, как незнакомец переступил через порог комнаты; ему даже пришлось сделать над собой некоторое усилие, чтобы с самого начала разговора, игнорируя немало интриговавшего его незнакомца, рассыпаться в любезностях перед всемогущим лейб-медиком короля Людовика XI. Он, впрочем, и не повел бровью, когда Жак Коактье обратился к нему со словами:

– Кстати, господин Клод, я привел к вам одного из ваших собратьев, который, много наслышавшись о вас, пожелал с вами познакомиться.

– Вы также изволите заниматься науками? – спросил архидиакон, устремив на спутника Коактье свой пронизательный взор и встретившись с таким же пронизательным и подозрительным взором незнакомца.

Это был, насколько можно было разглядеть при слабом свете лампы, старик лет шестидесяти, среднего роста, по-видимому, довольно хилый и болезненный. Профиль его лица, хотя его нельзя было назвать аристократическим, был, однако, правилен и строг; его глаза блестели из своих глубоких впадин каким-то странным блеском, а из-под картуза виднелся высокий, умный, морщинистый лоб.

Он поспешил сам ответить на вопрос архидиакона.

– Достопочтенный господин, – сказал он, – ваша слава достигла и до моего слуха, и я пожелал познакомиться с вами. Я не что иное, как бедный провинциальный дворянин, снимающий свою обувь прежде, чем войти к ученому. А имя мое, если вы желаете его знать, – кум Туранжо.

«Странное, совсем не дворянское имя!» – подумал архидиакон, но, тем не менее, он смутно ощущал, что перед ним сидит человек недюжинный. Как человек недюжинного ума, он угадал такой же недюжинный ум под меховой шапкой кума Туранжо; и по мере того, как он всматривался в это серьезное лицо, насмешливая улыбка, которую вызвали на его хмуром лице слова Жака Коактье, мало-помалу исчезла с его уст, подобно тому, как сумерки исчезают с наступлением ночи. Он снова уселся, серьезный и молчаливый, на свое большое кресло, локоть его снова принял обычное свое место на столе, а голова его – в руке его. Помолчав несколько минут, он знаком пригласил обоих посетителей своих сесть и обратился к Туранжо со следующими словами:

– Вы пришли, чтобы посоветоваться со мною, сударь? Но относительно какой же науки?

– Достопочтеннейший, – ответил Туранжо, – я болен, очень болен. Вы пользуетесь репутацией великого эскулапа, и я пришел к вам, чтобы посоветоваться с вами, как с врачом.

– Как с врачом! – воскликнул Клод, пожав плечами. Он в течение нескольких минут как будто старался собраться с мыслями, и затем продолжал: – Г. Туранжо, – если таково ваше имя, – поверните вашу голову вот сюда. Ответ на ваш вопрос вы найдете начертанным на этой стене.

Туранжо исполнил то, что ему говорили, и прочел над своей головой следующую надпись, выцарапанную в стене: – «Врачебная наука – дочь сновидений. – Ямбликус».

Однако доктор Жак Коактье выслушал вопрос своего товарища с досадой, которая еще более усилилась вследствие ответа Клода. Он наклонился к уху кума Туранжо и сказал ему настолько тихо, что архидиакон не мог расслышать его:

– Я предупреждал вас о том, что это сумасшедший. Вы сами пожелали убедиться в этом.

– Однако, этот сумасшедший, быть может, и прав, доктор Жак, – ответил кум так же тихо и с ядовитой улыбкой.

– Как вам будет угодно, – сухо произнес Коактье и затем обратился к архидиакону со словами:

– Вы человек ученый, г. Клод, но о Гиппократе вы, по-видимому, заботитесь не более чем о прошлогоднем снеге. Врачебная наука – сон! Не думаю, чтоб аптекаря и дрогисты удержались от того, чтобы побить вас камнями, если-б они услышали ваши слова. Вы, значит, отрицаете действие микстур на кровь и мазей на кожу? Вы отрицаете ту вечную аптеку растений и металлов, которая называется миром, существующую специально для того вечного больного, которого зовут человеком?

– Я не отрицаю, – холодно возразил Клод, – ни аптеки, ни больного; я отрицаю только врача.

– Значит, по-вашему, неверно, – с азартом продолжал Коактье, – что подагра не что иное, как вошедший внутрь лишай, что огнестрельную рану можно исцелить, приложив к ней зажаренную мышь, что если умеючи влить в вены старика кровь молодого человека, – первый помолодеет, что дважды два – четыре, что сведение тела назад следует за сведением тела вперед?

– О некоторых вещах я имею свое собственное мнение, – ответил архидиакон, нимало не смутившись.

Коактье даже побагровел от злости.

– Ну, ну, любезный Коактье, нечего сердиться, – сказал кум Туранжо. – Ведь г. архидиакон наш друг.

Коактье успокоился, однако, пробормотал сквозь зубы:

– Это просто сумасшедший.

– Однако, г. Клод, – продолжал кум Туранжо после некоторого молчания, – я чувствую себя несколько стесненным в вашем присутствии. А между тем мне хотелось бы посоветоваться с вами как относительно моего здоровья, так и относительно моей судьбы.

– Милостивый государь, – ответил архидиакон, – если вы с этим пришли, то вы могли бы и не трудиться взбираться на мою лестницу. Я одинаково мало верую как в медицину, так и в астрологию.

– Неужели? – спросил Туранжо с удивлением. Коактье засмеялся принужденным смехом и сказал вполголоса, обращаясь к Туранжо:

– Ну, что я вам говорил? Вы видите, что это сумасшедший. Он не верит в астрологию:

– И что за нелепость воображать, – продолжал Клод, – что каждый звездный луч есть какая-то нить, проведенная к голове человека!

– Но во что же вы в таком случае веруете? – воскликнул Туранжо.

Архидиакон помолчал с минуту и затем процедил с какою-то странной улыбкой, как будто опровергавшею его слова:

– Я верую в Бога.

– Господа нашего, – присовокупил кум Туранжо, створяя крестное знамение.

– Аминь! – проговорил Коактье.

– Достопочтенный г. архидиакон, – продолжал Туранжо, – я душевно рад, встречая в вас такого религиозного человека. Но неужели же вы, великий ученый, сами не верите в науку?

– Нет, – воскликнул архидиакон, схватив Туранжо за руку, между тем, как зрачки его глаз вспыхнули ярким блеском, – нет, я не отрицаю науки! Я недаром так долго рылся в дебрях и недрах науки; я все-таки дошел до того, что увидел перед собою, в самом конце длинного

подземного хода, свет, пламя, словом, без сомнения, отблеск той ослепительной, центральной лаборатории, в которой люди мудрые и трудолюбивые добились-таки божественной искры.

– Но что же, наконец, вы считаете несомненным и истинным? – прервал его Туранжо.

– Алхимию.

– Однако же, г. Клод, – заметил Коактье, – в алхимии, без сомнения, есть доля истины, но к чему же отрицать медицину и астрологию?

– И наука ваша о человеческом теле, и наука ваша о небесном своде – все это суета сует, – с жаром произнес архидиакон.

– Однако, не особенно же почтительно вы относитесь к Эпидавр и к Халдее, – заметил доктор, хихикая.

– Слушайте, г. Коактье. Я откровенно говорю то, что думаю. Я не лейб-медик короля и его величество не предоставил в мое распоряжение обсерватории для производства астрологических наблюдений. Не сердитесь и выслушайте меня. Какую истину извлекли вы, не говорю уже из медицины, которая уже совсем пустое дело, но и из астрологии? Укажите мне хотя бы на одну несомненную истину, доказанную с помощью астрологии.

– Но неужели же вы станете отрицать симпатические, важные для кабалистики, свойства ключицы?

– Все это одни только заблуждения, г. Коактье. Ни одна из ваших формул не соответствует действительности, между тем, как алхимии удалось сделать немаловажные открытия. Неужели вы, например, станете отрицать нижеследующие результаты: зарытый в землю лед, по прошествии тысячи лет, превращается в горный хрусталь. Свинец – родоначальник всех металлов (ибо золото – не металл, золото – свет). Свинец в четыре последовательных периода, по двести лет каждый, превращается сначала в киноварь, затем в олово, и, наконец, в серебро. Разве все это – не факты? Но верить в таинственную силу ключицы, каких-то линий на ладони и звезд – это столь же смешно, как, напр., верить, как это делают иные дикари, в то, что иволга превращается в крота, а хлебные зерна – в рыбу чебак.

– Я тоже занимался алхимией, – воскликнул Коактье, – и я утверждаю...

Но пылкий архидиакон не дал договорить ему.

– А я изучал и алхимию, и астрологию, и медицину! Вот только в этом и кроется истина (и с этими словами он взял с сундука банку, наполненную тем порошком, о котором мы говорили выше), только в этом и есть свет! Гиппократ – это мечта, Урания – это мечта, Гермес – это мечта! Золото – это солнце; уметь создавать золото – это значит уподобиться Богу. Вот единственная наука! Я основательно изучил медицину и астрологию, повторяю вам, и утверждаю, что это – суета сует. Тело человеческое – потемки; светила небесные – тоже потемки.

И он откинулся назад на своем кресле с вызывающим и вдохновенным выражением лица. Туранжо глядел на него молча. Коактье принужденно улыбался, незаметно пожимал плечами и повторял вполголоса:

– Безумец, безумец!

– Ну, и что ж, – вдруг спросил его Туранжо: – достигли ли вы чудесной цели, удалось ли вам сделать золото?

– Если бы мне это удалось, – ответил архидиакон с расстановкой, как человек, погруженный в свои мысли: – то король Франции назывался бы Клодом, а не Людовиком.

Туранжо нахмурился.

– Впрочем, что я говорю! – продолжал Клод с презрительной улыбкой. – Для чего бы мне нужен был французский престол, если бы я тогда мог восстановить Римскую империю?

– Вот как! – воскликнул Туранжо.

– Ах, несчастный безумец! – пробормотал Коактье. Архидиакон продолжал, обращаясь, по-видимому, более к самому себе, чем к своим собеседникам:

– А между тем я еще продолжаю ползать, я царапаю себе лицо и колена о камни подземного хода. Я лишь подсматриваю, а не гляжу прямо; я читаю только по складам.

– А когда вы научитесь читать, как следует, вы тогда сумеете делать золото? – спросил Туранжо.

– Какое же в том может быть сомнение! – воскликнул архидиакон.

– Видит Бог, я очень нуждаюсь в деньгах, и я очень желал бы научиться читать в ваших книгах.

А скажите, пожалуйста, мой досточтимый, ваша наука неугодна Богу?

На этот вопрос Клод ответил с величественным спокойствием:

– А чей же я слуга?

– Ваша правда, сударь. Ну, так не согласитесь ли вы научить меня? Познакомьте меня хоть с азбукой.

Клод принял величественный и жреческий вид какого-нибудь патриарха.

– Старик, для того, чтобы предпринять это путешествие по области неведомого, потребуются многие годы, и вашего века, пожалуй, не хватит на это. Ведь вы уже седы. А между тем в пещеру нельзя войти иначе, как с черными волосами, для того, чтобы выйти из нее седым. Наука и одна, сама по себе, избородит лицо человека, высушит его и заставит, его завянуть; она не нуждается в том, чтобы старость приводила к ней уже морщинистые лица. Если, однако, вас разбирает охота приниматься в ваши годы за указку и начинать учиться с трудной азбуки мудрецов, то, пожалуй, приходите ко мне, я попытаюсь. Я не заставляю вас, старика, отправляться осматривать ни пирамиды, усыпальницы египетских царей, о которых говорит Геродот, ни Вавилонскую башню, ни громадный алтарь из белого мрамора индийского храма Эклинга. Я, подобно вам, не видел халдейских построек, сооруженных на основании предписаний священных книг Сихра, ни Соломонова храма, который, впрочем, давно уже разрушен, ни каменных дверей от гробниц Израильских царей, которые давно уже разбиты. Мы ограничимся отрывками из книги Меркурия, которая лежит вон там. Я дам вам объяснения относительно статуи св. Христофора, символа сеятеля, и относительно двух ангелов у св. часовни, из коих один поднял руку в облака, а другой опустил свою руку в сосуд...

Здесь Жак Коактье, которого прежние резкие ответы архидиакона отчасти смутили, несколько оправившись, решил перебить его торжествующим тоном ученого, изловившего на неточности своего собрата, и сказал: – вы ошибаетесь, любезный Клод: символ и число не одно и то же; вы смешали Орфея с Меркурием.

– Нет, это вы ошибаетесь, – серьезно ответил архидиакон. – Дедал – это фундамент; Орфей – это стена; Меркурий – это целое здание, это все. – Вы можете приходить, когда вы того пожелаете, – продолжал он, обращаясь к Туранжо. – Я покажу вам частицы золота, оставшиеся на дне плавильника Николая Фламеля, и вы можете сравнить их с настоящим золотом. Я познакомлю вас с таинственной силой греческого слова *περίοτερος*. Но прежде всего я заставляю вас прочесть, одну за другою, мраморные буквы алфавита, гранитные страницы книги; мы направимся от дверей епископа Гильома и св. Иоанна Круглого к священной часовне, затем к дому Николая Фламеля в улице Мариво, к гробнице его на кладбище избивенных младенцев, к двум больницам в улице Монморанси. Я научу вас разбирать иероглифы, которыми покрыты четыре большие, чугунные тагана, стоящие у главного входа в госпиталь Сен-Жерве и на улице Ферронери. Мы затем изучим вместе фасады св. Косьмы, св. Женевьевы, св. Мартина, св. Якова...

Туранжо, казавшийся, однако, человеком далеко не глупым, как заметно было по выражению лица его, давно уже перестал понимать Клода. Наконец, он перебил его восклицанием:

– Однако, что же это за книги такие, о которых вы мне говорите? Я что-то ничего не слышал о них!

– А вот одна из этих книг, – ответил архидиакон, раскрыв окно своей кельи и указывая пальцем на огромный собор Парижской Богоматери, который, обрисовываясь на звездном небе

черными силуэтами обеих башен, своих стен и своего купола, казался огромным, двуглавым сфинксом, усевшимся среди города.

Архидиакон в течение некоторого времени молча глядел на гигантское здание, затем, протянув со вздохом правую руку к лежавшей на его столе развернутой печатной книге, а левую руку к собору, и переводя печальный взор от книги к собору, проговорил:

– Увы! Это убьет то!

Коактье, поспешно заглянувший в книгу, не мог удержаться от того, чтобы не воскликнуть:

– Ну, что же в этом особенно страшного? «Примечания к посланиям апостола Павла. Нюрнберг, Антоний Кобургер, 1474». Это далеко не новость. Это сочинение Петра Ломбардца, толкователя притч. Разве вот то, что это напечатано?

– Именно это, – ответил Клод, погруженный, по-видимому, в глубокую задумчивость и уставив указательный палец на фолиант, вышедший из знаменитой в то время Нюрнбергской печатни. Затем он произнес следующие таинственные слова: – Увы! увy! Мелочные вещи торжествуют над крупными; зуб раздирает массу. Фараонова мышь убивает крокодила, меч-рыба убивает кита, книга убьет здание.

В это время на колокольне собора раздался звон о тушении огня, между тем, как доктор Коактье потихоньку повторял своему спутнику вечный припев свой: – «он помешан»; на что его товарищ на этот раз ответил: – «и мне так кажется».

После этого часа никто из посторонних не мог оставаться в монастыре, и оба посетителя удалились.

– Г. архидиакон, – сказал Туранжо, прощаясь с Клодом, – я люблю людей ученых и умных, и поэтому я питаю к вам особое уважение. Приходите завтра в Турнельское аббатство и спросите аббата Сен-Мартена из Тура.

Архидиакон, проводив своих гостей, возвратился в свою комнату как бы ошеломленный, ибо он, наконец, понял, кто такой был кум Туранжо; он вспомнил следующее место из монастырской грамоты, хранившейся в Турском аббатстве: «Аббат Сен-Мартен, то есть король Франции, считается каноником аббатства, и пользуется частью доходов с нее, как преемник св. Венанция, и он должен сидеть на казначейском кресле».

Уверяли, что, начиная с этого времени, архидиакон часто беседовал с королем Людовиком XI, когда последний приезжал в Париж, и что доверие, которым пользовался у короля Клод, возбуждало зависть давнишних любимцев Людовика XI, Олливе Ле-Дэна и Жака Коактье; последний будто бы даже не раз попрекал за это короля.

II. Это убьет то

Просим у читательниц наших извинения в том, что мы остановимся на минуту для исследования того, какая мысль могла скрываться в загадочных словах архидиакона: «Это убьет то. Книга убьет здание».

По нашему мнению, эта мысль имела две стороны. Во-первых, это была мысль священника; в ней сказывался испуг церковнослужителя в виду появления новой силы – печати. Это было страх и ослепление служителя алтаря при виде рассеивающего мрак станка Гуттенберга. Это были церковная кафедра и рукопись, слово устное и слово письменное, испугавшиеся слова печатного; это было нечто подобное испугу птицы, вдруг увидевшей, как ангел Легион взмахнул своими шестью миллионами крыльев. Это был крик пророка, уже чующего и предвидящего эмансипацию человечества, уже видящего умственным взором то время, когда рас судок окончательно подкопается под веру, разум свергнет с престола набожность, мир потрясет Рим. Это было предвидение философа, который видит человеческую мысль, получившую летучесть благодаря печатному станку, испаряющуюся из теократического приемника. Это был

ужас воина, смотрящего на железный таран и говорящего сам себе: «Башне не устоять». Это означало, что одна сила идет на смену другой. Это означало: «Печать убьет церковь».

Но за этой мыслью, самой простой и прежде всего приходящей на ум, скрывалась, по нашему мнению, и другая, составлявшая как бы заключение первой, но менее очевидная и более спорная, мысль более философская, принадлежавшая не столько священнику, сколько философу и артисту, а именно та мысль, или, вернее сказать, предчувствие, что человеческая мысль, изменяя форму, изменит и способ выражения, что руководящая мысль каждого поколения уже не будет писаться тем же способом и с помощью тех же средств, что каменная книга, столь прочная и твердая, уступит место другой книге, еще более прочной и твердой. В этом отношении неопределенная формула архидиакона имела еще и другой смысл: она означала, что одно искусство вытеснит другое; она сводилась к тому, что книгопечатание убьет архитектуру.

Действительно, начиная с первого появления гражданственности и кончая XV-м столетием христианской эры включительно, архитектура представляла собою великую книгу человечества, выражала собою различные фазисы развития человечества, в смысле как материальном, так и интеллектуальном. Когда память первых времен почувствовала себя чересчур обремененной, когда количество воспоминаний рода человеческого сделалось настолько значительным, что летучему слову предстояла опасность растерять часть их по пути, тогда их стали изображать самым очевидным, самым прочным и в то же время самым естественным образом: каждое из этих воспоминаний запечатлели под видом памятников.

Первые из этих памятников были простые обрубки скал, «до которых не прикасалось железо», – говорит Моисей. Архитектура, как и письмо, началась с азбуки: ставили стоймя камень, и это была буква, и каждая буква была иероглифом, и в каждом иероглифе изображена была известная группа мыслей, как на капители здания. Так поступали первобытные племена одновременно, везде, на пространстве всего земного шара. Стоячие камни кельтов можно найти как в Сибири, так и в южно-американских пампасах.

Впоследствии из букв стали образовываться слова: стали класть камень на камень, складывать гранитные слоги, а из известной комбинации слогов образовывать слова. Кельтские дольмены и кромлехи, этрусские курганы, еврейские известковые кладки, – все это те же слова. Некоторые из этих сооружений, в особенности курганы, – имена собственные. Иногда, когда в распоряжении писавшего было много камней и много места, он писал целые фразы. Большая груда друидических камней в Карнаке представляет собою уже целую длинную фразу.

Наконец, дело дошло и до книг. Предания вызвали символы, под которыми они исчезали, как исчезает под листвою древесный ствол. Все эти символы, в которые верило человечество, все более и более росли, умножались, усложнялись. Первых памятников оказалось недостаточно для изображения всех этих символов: их хватало только на то, чтобы изображать первобытные предания, столь же голые, простые и близкие к почве, как и самые эти памятники. Символу пришлось искать выражения в здании. Результатом этого явилось то, что архитектура стала развиваться вместе с человеческой мыслью, что она превратилась в тысячеголового и тысячерукого великана, и что она придала видимую, вечную, осязательную форму этому, так сказать, летучему символу. Между тем, как Дедал, олицетворение силы, измерял, между тем, как Орфей, олицетворение ума, пел, – столб, олицетворение буквы, свод, олицетворение слога, пирамида, олицетворение слова, двинутые разом по законам геометрии и поэзии, группировались, комбинировались, сливались, возвышались, опускались, выстраивались рядом по земле, громоздились к небу до тех пор, пока им не удавалось написать, под диктовку общей идеи известной эпохи, эти чудные книги, представлявшие собою также и чудные здания: пагода Эклинга, капище Рамзеса, храм Соломона.

Идея-мать, слово, были выражены не только в сущности этих зданий, но и в форме их. Так, например, Соломонов храм был не только простым переплетом священной книги, – это была сама священная книга. На каждой из его концентрических оград священники могли

прочсть переведенное, изображенное графически слово, и им представлялась возможность следить за преобразованием этого слова от одной святыни до другой, до тех пор, пока они добирались до конечного смысла его в последней его скинии, в самой конкретной, опять-таки архитектурной форме – ковчеге. Таким образом, слово было заключено в здании, но образ его был изображен на этой оболочке, подобно тому, как человеческое лицо изображено на гробнице мумии.

И не только форма зданий, но и избираемое для них место свидетельствовало о той идее, которую они изображали собой. Смотри по тому, требовалось ли представить веселый или мрачный символ, Греция воздвигала приятные для глаза храмы на горах, а Индия врывалась в недра своих гор для того, чтобы высечь в них безобразные подземные пагоды, поддерживаемые гигантскими рядами гранитных столбов.

Таким образом, в течение шести тысячелетнего существования мира, начиная с воздвигнутой в самые незапамятные времена пагоды Индостана и кончая Кельнским собором, архитектура всегда являлась гигантскими письменами рода людского, и это до такой степени верно, что не только всякий религиозный символ, но и всякая человеческая мысль имеют свой памятник и свою страницу в этой громадной книге.

Всякая цивилизация начинается с теократии и кончается демократией. Этот закон свободы, следующей после единовластия, сказывается и в архитектуре; ибо зодчество, – мы особенно назираем на это, – отнюдь не ограничивается одним только возведением здания, одним только выражением мифа и жреческого символизма, переписыванием разными иероглифами на свои каменные страницы таинственных скрижалей завета. Если бы было так, то в виду того, что во всяком человеческом обществе наступает момент, когда священный символ стирается и изглаживается под влиянием свободной мысли, когда человек выходит из-под ферулы жреца, когда наросты философских систем разъедают религию, – архитектура не в состоянии была бы воспроизвести это новое состояние человеческого ума, были бы исписаны только первые страницы ее, между тем, как последние оставались бы пустыми; ее дело было бы недоконченным, ее книга неполна. А между тем мы на деле видим совершенно иное.

Возьмем для примера средние века, в которых мы скорее можем разобраться, потому что они ближе к нам. В течение первого периода, в то время, когда теократия организует Европу, когда Ватикан собирает и группирует вокруг себя элементы перестроенного Рима, создавшегося на валяющихся вокруг Капитолия развалинах рухнувшего Рима, когда христианство старается разыскать в развалинах языческой цивилизации материал, пригодный для переустройства общества на новых началах и строит из этих обломков новое иерархическое здание, в котором духовенство является замочным камнем свода, – сначала смутно чуется среди всеобщего хаоса, а затем и ясно сознается, как под влиянием христианства, под рукою варваров, из обломков древней греко-римской архитектуры, возникает романская архитектура, – эта сестра египетского и индийского зодчества, эта неизменная эмблема чистого католицизма, эти нестираемые иероглифы папского единства. Действительно, все мышление той эпохи вылилось в одном мрачном романском стиле. В нем всюду чувствуется власть, единство, абсолютизм, непреклонность Григория VII; в нем везде виден священник, а нигде не виден человек; в нем нашла себе выражение каста, а не народ.

Но вот наступает эпоха крестовых походов. Это, во всяком случае, сильное народное движение, а каждое народное движение, каковы бы ни были причины и цели его, всегда оставляет после себя, в конце концов, в виде осадка, дух свободы. На свет Божий выступает нечто новое. Затем следует бурный период народных движений, известных в истории под названием «Jacqueries», «Pragueries» и лиги. Власть колеблется, единовластие раздвоилось. Феодализм требует у теократии доли власти, в ожидании того, пока, в свою очередь, на сцену выступит народ, который и потребует себе львиной доли ее: на то он и лев! Итак, сквозь духовенство пробивается уже дворянство, а сквозь дворянство – община. Европа изменилась, а вместе с

нею изменилась и архитектура. Она вместе с цивилизацией перевернула страницу, и новый дух времени застаёт её готовой писать под её диктовку: она принесла с собою из крестовых походов стрельчатые своды, подобно тому, как народы принесли с собою свободу, и мало-помалу, вместе с властью римского первосвященника, умирает и романская архитектура. Иероглифы исчезают из церкви и находят себе убежище в феодальных замках, так как дворянство рассчитывает придать себе этим более блеска. Самый храм, это в былое время столь догматическое здание, делается достоянием буржуазии, общины, свободы, освобождается из-под власти священника и делается достоянием художника. Последний перестраивает его по-своему. Все таинственное, мифическое, традиционное исчезает из него, уступая место фантазии и капризу. Достоянием священника остаются только царские врата и алтарь, – стены же принадлежат художнику. Архитектурная книга переходит из рук религии, Рима, священника в область воображения, поэзии, в руки народа. Этим объясняются быстрые и бесчисленные изменения этой архитектуры, век которой не превышает трех столетий, после неподвижного, стоячего существования романской архитектуры, господствовавшей в течение шести или семи столетий. Тем временем искусство продолжает идти вперед исполинскими шагами. Народный гений и народная оригинальность принимаются за то дело, которое всецело принадлежало епископам. Всякое племя записывает что-нибудь в этой книге. Оно выскабливает старые римские иероглифы на передних фасадах соборов, и старинные догматы еле-еле просвечивают там и сям под новыми символами, которые теперь стали находить себе здесь место. Под национальной оболочкой уже становится трудным отличить религиозный остов. В эту эпоху для мысли, выраженной в камне, являются такие привилегии, которые можно было бы сравнить с современной нашей свободой печати, и которые можно было бы назвать «свободой архитектуры».

Эта свобода заходит, однако ж, слишком далеко. Случается, что не только главные двери, но даже и целый фасад, даже целый храм изображают собою символический смысл, не только не соответствующий, но даже и прямо враждебный идее церкви. Гильом Парижский в XIII веке, Николай Фламель в XV-м нередко позволяли себе такие вольности. Олицетворением их является церковь св. Якова в Мясниках.

В то время свобода мысли существовала только в этой области, и поэтому она и могла проявиться только в тех книгах, которые называют зданиями. Если бы те же мысли, которые были проявлены в зданиях, были высказаны в книгах, то последние были бы сожжены рукою палача на торговой площади, предположив, конечно, что они были бы настолько неосторожны, чтобы проявиться в этой форме; и мысль, выраженная в фасаде церкви, присутствовала бы при публичной казни мысли, выраженной в книге. Потому свободная мысль, не находя иного способа проявиться на свет Божий, кроме архитектуры, ринулась в эту область. Этим только и объясняется то громадное количество церквей и соборов, которые воздвиглись по всей Европе, количество до того поразительное, что с трудом в него веришь, даже проверив его. Все материальные, все интеллектуальные силы тогдашнего общества сходились к одному общему центру – к архитектуре. Таким образом, под предлогом сооружения храмов Божиих, искусство распространялось все шире и шире.

В те времена всякий человек, одаренный поэтической натурой, делался архитектором. Народный гений, рассеявшись в массе, стесняемый отовсюду как феодализмом, так и военной, не находя иного выхода, кроме архитектуры, выливался именно в формы этого искусства, и его Илиады облекались в форму церквей. Все остальные искусства в ту эпоху беспрекословно подчинялись архитектуре; они шли в учение к великому мастеру. Архитектор-поэт указывал скульптору, как изваять нужные для воспроизведения его идеи скульптурные произведения на фасаде здания, живописцу – как разрисовать разноцветные стекла здания, звонарю – как развесить колокола и каким образом добывать из них наиболее полные и гармоничные звуки. Даже самая жалкая в то время, в тесном смысле слова, поэзия, влачившая жалкое существование в рукописях, нашла нужным, для того, чтобы сделаться чем-либо, пристроиться к зданию,

под видом ли гимна или прозаического прославления, – все равно; другими словами, разыграть ту же роль, которую разыгрывали трагедии Эсхила в элевзинских играх Греции, или книга Бытия в Соломоновом храме.

Итак, вряд ли может быть сомнение в том, что до Гуттенбрга зодчество являлось главным всемирным письмом. Эта гранитная книга, начатая Востоком, продолженная Грецией и Римом, была дописана средними веками.

Отличительной чертой всякой теократической архитектуры являются неподвижность, отвращение от прогресса, сохранение традиционных линий, сохранение первоначальных типов, подчинение человека и всей природы непонятым требованиям символизма. Это такие непонятные книги, которые могут читать только люди, посвященные в эту тайну. Впрочем, и здесь каждый образ, даже каждое безобразие имеют свой смысл, делающий их неприкосновенными. Странно было бы с вашей стороны требовать от индусских, египетских, римских построек, чтобы они переделали свой рисунок или ввели большее разнообразие в своей скульптуре. Всякое улучшение было бы с их стороны святотатством. Архитектура недаром имеет дело с камнями: и она, в конце концов, окаменеваает.

Новейшие, неклассические, так сказать, популярные постройки, напротив, доступны прогрессу: здесь может иметь место оригинальность, фантазия, стремление к красоте. Они уже настолько сделались чужды религии, что им можно подумать и о красоте, и о том, чтобы делать более красивыми древние статуи, старинные арабески. Они идут вместе с веком. В них есть нечто человеческое, что они неукоснительно стараются привить к тому божественному, которым они окружены. Между старинной архитектурой и этой, якобы, новейшей существует та же разница, которая существует между классическим языком и языком вульгарным, между иероглифами и искусством, между Соломоном и Фидиасом.

Если резюмировать то, что мы обозначили здесь вкратце, допустив тысячи доказательств и тысячи частных, то неизбежно приходишь к следующему выводу: что зодчество до пятнадцатого столетия было главным руководителем человечества; что в этот период не появлялось на свете ни одной сколько-нибудь выдающейся мысли, которая не выразилась бы в здании; что всякое народное стремление, как и всякая религиозная мысль, выразились в той или другой архитектурной форме; что, наконец, не было ни одной сколько-нибудь серьезной человеческой мысли, которая не выразилась бы в камне. А почему? – Потому, что всякая мысль, как религиозная, так и философская, старается увековечиться, потому что идея, взволновавшая одно поколение, стремится взволновать и другое, и, в конце концов, оставить по себе след. А какие же ручательства бессмертия представляет собою рукопись? Здание, несомненно, представляет собою книгу гораздо более прочную, гораздо менее подверженную изменениям времени. Для того, чтобы уничтожить писанное слово, достаточно губки и книжного червя. Для того чтобы уничтожить каменное слово, необходимы или землетрясение, или общая революция. Однако и варвары не разрушили Колизея, и потоп не смыл пирамид.

В пятнадцатом столетии все изменяется.

Человеческая мысль находит средство увековечиться не только более прочным и более нетленным способом, чем путем архитектуры, но даже более простым и легким.

Зодчество свергнуто с престола: каменные буквы Орфея заменены свинцовыми буквами «Гуттенберга, книга убьет здание».

Изобретение книгопечатания – это величайшее из всех исторических событий, это – мать всех революций. Способ выражения мыслей человечества радикально изменился; человеческая мысль скинула с себя одну форму и облеклась в другую; тот символический змий, который со времен Адама представляет собою знание, окончательно переменил кожу.

Под видом печати человеческая мысль более нетленна, чем когда-либо; она сделалась летучей, неуловимой, неразрушимой. Она стала носиться в воздухе. Во времена господства

зодчества она делалась горою и мощно овладевала целым веком. Теперь же она мелкими пташками носится по воздуху, витает к поднебесью, спускается на землю.

Еще раз повторяем, что в этом виде человеческая мысль является гораздо более неразборчивой. Прежде она представляла собою нечто устойчивое, теперь она сделалась веществом летучим. Прежде она была прочна, теперь она – бессмертная. Массу разрушить еще можно, но как истребить вездесущность? Если последует наводнение, гора скроется под волнами, между тем как птицы все еще будут носиться в воздухе, и если только один ковчег уцелеет от потопа, они сядут на него для отдыха, удержатся вместе с ним на поверхности, будут присутствовать вместе с ним при спаде вод, и новый мир, который возникнет из этого хаоса, увидит при рождении своем носящуюся над ним, крылатую и живую мысль поглощенного водою мира.

Нужно заметить еще и то, что этот способ выражения человеческой мысли представляется не только самым прочным, но и самым простым, самым удобным, самым сподручным всякому, что он не тащит за собою тяжелого обоза и громоздкого багажа, что между тем, как мысль, будучи вынуждена найти себе выражение в здании, должна прибегнуть еще к четырем или пяти другим искусствам и требует бочек золота; целых гор камней, целого леса стропил, целых тысяч рабочих, – для мысли, выраженной в форме книги, достаточно клочка бумаги, нескольких капель чернил и одного гусиного пера, – то нечего удивляться тому, что человеческий ум променял зодчество на печатный станок. Проведите от первоначального русла реки канал, горизонт которого будет ниже этого русла, и река немедленно покинет старое русло свое.

Поэтому нечего удивляться тому, что, начиная с открытия книгопечатания, зодчество мало-помалу высыхает, атрофируется, оголяется. Сейчас же чувствуется, что уровень вод понижается, соки исчезают, мысль веков и народов улетучивается из созданий зодчества. В пятнадцатом столетии это охлаждение еще еле заметно, так как печать еще слишком слаба и в крайнем случае может оттянуть от могучего зодчества лишь излишек соков. Но уже начиная с XVI-го столетия зодчество начинает заметно хиреть. Оно уже перестает являться самым существенным выражением общественной мысли; оно усваивает себе жалкую классическую форму; из европейского, туземного, галльского оно делается греческим и романским, из истинного и современного – псевдоантичным. И этот-то упадок называют возрождением. Впрочем, и этот упадок не лишен своего рода величия, ибо старый, готический гений, это солнце, заходящее за гигантским майнцским печатным станком, освещает еще некоторое время последними лучами своими эту разнородную кучу римских аркад и коринфских колоннад. А мы-то принимаем лучи заходящего солнца за утреннюю зарю.

Однако, начиная с того момента, когда зодчество становится лишь одним из видов искусства в числе многих других, с тех пор, как оно перестает олицетворять собою все искусство, искусство властителя, искусство тирана, оно уже не в состоянии удерживать натиск остальных искусств. Все они освобождаются, разрывают цепи, наложенные на них зодчим, и разлетаются в разные стороны. И все они только выигрывают от этого, так как все, предоставленное своим собственным силам, неизбежно крепнет. Скульптура превращается в ваяние, иконопись – в живопись, канон – в музыку; точно бывшая империя Александра Великого, расчленившаяся после его смерти, и все части которой превратились в отдельные царства. Отсюда сделалось возможным появление Рафаэлей, Микель-Анджело, Жанов Гужонов, Палестрин, – этих светил, озаривших своим блеском шестнадцатый век.

Одновременно с художествами и человеческая мысль всесторонне эмансипируется. Средневековые ересиархи уже сделали разрезы на теле католицизма, а XVI-й век нанес окончательный удар религиозному единству. Не будь книгопечатания, реформация была бы только ересью; книгопечатание придало ей характер переворота. Без печати свобода вероучения немыслима. Простая ли это случайность, или предопределение Провидения, но, во всяком случае, Гуттенберг является прямым предшественником Лютера.

Как бы то ни было, но когда средневековое солнце совершенно зашло, когда готический гений навсегда скрылся с горизонта искусства, зодчество все более и более тускнеет, обесцвечивается, сглаживается. Печатная книга, этот червь, подтачивающий здание, высасывает и пожирает его. Оно заметно для глаза теряет листья, тощает, хиреет, мельчает, беднеет, превращается в ничтожество. Оно уже ничего более не выражает, даже воспоминания о былом искусстве. Будучи вынуждено питаться собственными своими соками, покинутое другими видами искусства, потому что оно не в состоянии идти в уровень с развитием человеческой мысли, оно, за неимением художников, прибегает к ремесленникам. Простые стекла заменяют расписные, камнетес занимает место скульптора; вся сила, вся оригинальность, вся жизнь, весь разум архитектуры исчезают, и она начинает нищенски пробавляться жалкими копиями. Микель-Анджело, который уже в XVI-м веке предвидел ее неизбежную и притом близкую смерть, вздумал было прибегнуть к отчаянному решению. Этот титан искусства нагромоздил Пантеон на Парфенон и создал собор св. Петра в Риме. Это великое создание зодчества заслуживало того, чтобы оставаться единственным в своем роде, как последний проблеск оригинальной архитектуры, как подпись артиста-гиганта под длинным каменным реестром, которому уже настало время подвести итоги. А что делает, по смерти Микель-Анджело, эта жалкая архитектура, пережившая сама себя в образе призрака и тени? Она берет себе за образец собор св. Петра, – и добро бы она копировала его: нет, она его пародирует. Просто досада берет. Каждый последующий век имеет свой собор св. Петра: XVII-й век – церковь Валь-де-Грас, XVIII-й – церковь св. Женевьевы. Мало того: каждая страна имеет свой собор св. Петра: и Лондон, и С-Петербург²⁰; в Париже их даже целых два или три. Все это не что иное, как жалкая болтовня слабеющего искусства, впадающего в детство, прежде чем умереть.

Если от этих капитальных зданий, о которых мы упомянули выше, мы перейдем к сравнению искусства XVI и XVIII веков вообще, то мы заметим те же признаки упадка и худосочия. Начиная с Франциска II, архитектурные формы здания все более и более сглаживаются и из-за них выглядывают геометрические формы, подобно тому, как у похудевшего от болезни человека выступают наружу кости. Прекрасные линии художника уступают место холодным и бездушным линиям чертежника; здание перестает быть зданием и превращается в многогранник. А между тем архитектура выбивается из сил, чтобы скрыть эту наготу: то она перемешивает греческий фронтон с римским, то наоборот, – и все-таки мы не видим ничего иного, как жалкие копии, часто даже не выдержанные в одном стиле, Пантеона, Парфенона и римского собора св. Петра. Вот кирпичные дома Генриха IV, с выложенными из тесанного камня углами, на Королевской площади, на площади Дофина. Вот церкви эпохи Людовика XIII – тяжелые, низкие, неуклюжие, приземистые, на которых купол сидит, точно горб. Вот Мазариниевская архитектура, жалкая итальянщина самого дурного тона. Вот дворец Людовика XIV, – длинные, построенные для царедворцев казармы, холодные, натянутые, скучные. Вот, наконец, и стиль Людовика XV с его цикорными листьями, с его вермишелью, со всеми этими бородавками и наростами, которые еще более обезображивают эту и без того уже беззубую и морщинистую старческую архитектуру. Начиная с Франциска II и до Людовика XV зло увеличивалось в геометрической прогрессии; от прежнего искусства остались только кожа и кости; оно, видимо, находится в состоянии агонии.

Что делается тем временем с печатью? А то, что все жизненные соки, покидающие зодчество, притекают к ней. По мере того, как зодчество худеет, печать растет и полнеет. Всю ту силу, которую человечество расходовало прежде на здания, оно стало расходовать теперь на книги. Уже начиная с XVI-го столетия печать, вырастая до уровня слабеющей архитектуры, вступает с нею в борьбу и, наконец, убивает ее. В XVII-м столетии она уже настолько сильна,

²⁰ Здесь автор, очевидно, понимает наш Казанский собор, действительно напоминающий своей архитектурой римский собор св. Петра. // *Прим. перев.*

настолько уверена в своем могуществе и своей победе, что уже чувствует себя в состоянии представить миру зрелище великой литературной эры. В XVIII-м столетии, достаточно отдохнув на эпохе Людовика XIV, она схватывает старинный меч Лютера, вооружает им Вольтера и с шумом и гамом кидается на приступ той самой старой Европы, которой она уже нанесла такой чувствительный удар по отношению к зодчеству. К концу XVIII-го столетия она успела ниспровергнуть все. В XIX столетии ей предстоит приняться за зиждительство.

А теперь мы позволим себе поставить вопрос: которое из двух искусств является в течение последних трех веков действительным выражением человеческой мысли, которое из них передает не только литературную и схоластическую сторону ее, но и ее обширное, глубокое и всестороннее движение? Которое из них постоянно, без пробелов и перерывов, доминирует над людской, которое из них постоянно идет вперед, подобно тысяченогому чудовищу? Зодчество или печать?

Печать. Не может быть сомнения в том, что зодчество умерло, умерло окончательно, что его убила печатная книга, и убила потому, что создания зодчества, будучи менее долговечными, стоят дороже. Каждый собор представляет собою капитал в целый миллиард. Пусть же представит себе теперь читатель, каких капиталов потребовалось бы для того, чтобы переписать эту архитектурную книгу, чтобы возвести снова тысячи громадных и великолепных зданий, чтобы снова возвратиться к той эпохе, когда число зданий было до того значительно, что, по словам свидетеля-очевидца, «можно было бы подумать, будто мир, встряхнувшись, сбросил с себя свою старую одежду, чтобы покрыться новой, белой одеждой церковей»²¹.

Книгу так недолго создать, она стоит так дешево и может распространиться так далеко! Ничего нет удивительного в том, что вся человеческая мысль потекла по этому стоку. Из этого, конечно, еще не следует, чтобы зодчество еще не создало здесь и там великолепного памятника, отдельного образцового произведения. И при господстве печати от времени до времени можно будет создать, например, колонну, вылитую из пушек, захваченных целой армией, подобно тому, как при господстве зодчества создавались Илиады и Романсеросы, Магабараты и Песни Нибелунгов, сложенные целым народом из собранных в кучу и слитых в одно целое отдельных рапсодий. Гениальный архитектор может родиться случайно и в XX-м столетии, подобно тому, как в XIII-м столетии, при полном господстве архитектуры, случайно родился великий поэт Данте. Но отныне зодчество не может уже быть преобладающим, коллективным, господствующим искусством. Великая поэма, великое здание, великое творение человечества уже не будут строиться – они будут печататься.

И вообще, на будущее время, если зодчество и поднимется случайно, то оно не будет уже властелином; оно будет вынуждено подчиняться законам словесности, которой оно в прежние времена предписывало законы. Оба эти вида искусства поменяются ролями. Не подлежит сомнению, что в архитектурную эпоху поэмы, правда, малочисленные, походят на монументы. В Индии, например, поэма Виаса странна, ветвиста, непонятна, как пагода; на египетском Востоке поэзия, подобно зданиям, отличается величественностью и спокойствием линий; в древней Греции она отличается красотой и ясностью; в христианской Европе – католическою величественностью, народной наивностью, богатой и роскошной растительностью эпохи Возрождения. Библия напоминает собою пирамиды, Илиада – Парфенон, Гомер – Фидиаса. Данте в XIII-м столетии – это последняя романская церковь; Шекспир в XVI-м столетии – это последний готический храм.

Резюмируя то, что мы до сих пор говорили, по необходимости в форме несовершенной и отрывочной, мы скажем, что у рода человеческого есть два рода книг, два рода рукописей, два способа передавать свою мысль – зодчество и печать, каменная и бумажная книги. При сравнении этих двух книг, позволяющих нам заглянуть так далеко в глубь веков, нельзя не пожа-

²¹ *Erat enim ut si mundus, ipse excutiendo semet, rejecta vetustate, candidam ecclesiarum vestem indueret. (Glaber Radulphus).*

леть об исчезающем величии гранитных письмен, об этих гигантских алфавитах, вылившихся в виде колоннад, порталов, обелисков, об этих созданных руками человеческими горах, которые покрывают собою весь мир и все прошлое, начиная от пирамиды и кончая колокольной, начиная Хеопсом и кончая Страсбургом. На этих каменных страницах можно перечитать все прошлое. Не мешает почаще перелистывать и перечитывать книгу, написанную зодчеством; но из этого еще не вытекает, чтобы следовало отрицать величие здания, воздвигнутого, в свою очередь, печатью.

Здание это громадно. Какой-то досужий статистик вычислил, что если бы положить один на другой все тома, вышедшие из под печатного станка, начиная с Гуттенберга, то наполнилось бы все пространство, отделяющее землю от луны. Но мы говорим здесь не о такого рода величии. Если мы пожелаем представить воображению нашему цельную картину, которая представляет собою совокупность всех произведений печати до наших дней, то не явится ли нам эта совокупность в виде громадного сооружения, опирающегося на весь мир, над которым безустанно трудится все человечество и высокая вершина которого теряется в непроницаемом тумане будущего? Это настоящий муравейник ума. Это тот улей, к которому слетаются все пылкие воображения, это – золотистые пчелы, приносящие сюда свой мед. Здание это имеет тысячи этажей. Там и сям по краям его виднеются отверстия темных пещер науки, взаимно пересекающихся во внутренности здания. По всей наружности здания искусство ослепляет глаз всевозможными арабесками, круглыми оконцами, резьбой. Здесь всякий единичный труд, как бы он ни казался своеобразным и обособленным, находится на своем месте и на виду. Здесь все гармонично. Начиная с Шекспировского собора и кончая Байроновскою мечетью, тысячи башенок пестрят это монументальное здание всемирной мысли. На самом фундаменте его написаны некоторые права человечества, не занесенные зодчеством в свои книги. Налево от входа мы видим старый барельеф из белого мрамора, Гомера; направо – многоязычная Библия поднимает семь голов своих. Далее щетинится гидра Романцери, рядом с некоторыми другими, несколько помесными видами, как-то: Ведами и Нибелунгами. Впрочем, это громадное здание никогда не будет вполне закончено. Печать, этот громадный насос, беспрестанно выкачивающий все умственные соки общества, непрерывно продолжает выбрасывать из своих недр новый материал для новых работ. Весь род людской стоит на лесах; всякий делается каменщиком; самый скромный из деятелей кладет свой камень или заделывает свое отверстие, или тащит свой куль штукатурки, и с каждым днем здание возвышается на новую кладку камней. Независимо от единоличных взносов каждого отдельного писателя, появляются и взносы коллективные; так, XVIII-й век дал свою «Энциклопедию», эпоха революции – своего «Монитера». Правда, все это представляет собою здание, которое громоздится и растет в бесконечных спиралях; мы встречаем и здесь смешение языков, неутомимую деятельность, непрерывный труд, усиленное содействие всего человечества, убежище, обещанное человечеству на случай нового потопа, на случай наводнения варварами. Это – вторая Вавилонская башня рода людского.

Книга шестая

I. Беспристрастный взгляд на старинное судебное сословие

В 1482 году существовал на свете очень счастливый человек, а именно кавалер Роберт д'Эстувиль, владетель Бейна, барон Иври и Сент-Андри в Марках, советник и камергер короля и член парижского муниципального совета. Лет 17 перед тем, а именно 7-го ноября

1465 года, т. е. в самый год появления кометы²², он получил от короля прибыльную должность парижского старшины, считавшуюся скорее почетною, чем служебною, «должность, которая, – как говорит Иоанн Леменис, – соединяет с немалою властью, по отношению к политике, немалые политические прерогативы и права». В 1482 году нечто диковинное представлял собою дворянин, грамоты которого относились к эпохе свадьбы дочери короля Людовика IX с кавалером Бурбонским и который получал должность из рук короля. В тот самый день, когда Робер д'Эстутевилль заменил Жака де-Вилье в парижском городском совете, Жан Дове заменил Эли де-Торрети в звании старшего председателя суда, Жан Жувенель-дез-Юрсен сменил Пьера де-Морвиллье в должности канцлера Франции, а Реньо де Дорман занял, вместо Пьера Пюи, место управляющего королевским двором. А между тем, сколько лиц уже перебивали в звании президента, канцлера и управляющего двором, между тем, как Робер д'Эстутевилль все еще оставался председателем парижского муниципального совета. Эта должность была отдана ему «на хранение», как говорилось в грамотах, и, надо отдать ему справедливость, он охранял ее хорошо. Он уцепился за нее, он сжился с нею, он до того отождествился с нею, что ему удалось устоять даже против той мании к переменам, которая овладела Людовиком XI во вторую половину его царствования. Король этот отличался подозрительным, хлопотливым и беспокойным характером, и он надеялся частыми переменами и смещениями поддержать неприкосновенность своей власти. Мало того, кавалеру д'Эстутевиллю удалось добиться того, что преемником его в должности уже заранее был назначен сын его, и уже целых два года имя шталмейстера Жака д'Эстутевилля значилось рядом с его именем в списке членов парижского муниципального совета. Без сомнения, редкая и великая милость! Правда и то, что Робер д'Эстутевилль был храбрый воин, что он честно сражался за короля против «лиги добра» и что он преподнес королеве, в день ее въезда в Париж в 14.. году, великолепного, сделанного из сахара, оленя. Кроме того, он пользовался расположением Тристана Пустынника, начальника королевской стражи и любимца короля. Из всего этого не трудно понять, что сир Робер вел очень приятную и веселую жизнь. Во-первых, он получал очень хорошее жалованье, к которому присоединялись еще, свешиваясь, точно крупные гроздья на виноградной лозе, доходы от гражданских и уголовных дел, подлежавших его разбирательству, не считая также доходов от пошлинных застав у Мантского и Корбейльского мостов, от соляных магазинов и от дровяных дворов. Прибавьте ко всему этому еще удовольствие – фигурировать в городских процессах впереди всех советников, одетых в красно-каштановые мантии, в своем великолепном воинском одеянии, которое вы и поныне можете видеть изваянным на его гробнице, в Вальмонтском аббатстве, в Нормандии, и его чеканенный шишак, хранящийся в Монтлери. А чего стоило удовольствие иметь под своим начальством всю городскую и тюремную стражу города, всех служащих при тюрьмах, обоих секретарей Шатле, 16 комиссаров шестнадцати городских кварталов, главного смотрителя тюрем, четырех присяжных сержантов, 120 конных городских стражников, 120 пеших стражников, начальника ночного дозора с его помощниками и его командой? А разве пустяки – право судить и казнить, право колесовать, вешать и четвертовать, не считая менее строгих наказаний («наказаний, налагаемых первой инстанцией», как говорилось в грамотах), предоставленного ему во всем Парижском графстве, состоявшем из семи округов? Можно ли представить себе что-либо более приятное произнесения приговоров, как то делал ежедневно Робер д'Эстутевилль под широкими и низкими аркадами Шатле Филиппа-Августа, с тем, чтобы затем вечером отправляться отдыхать от трудов праведных в красивый дом в улице Галилея, в ограде Пале-Рояля, полученный им в приданое за своей женой, Амбруаз де-Лоре, между тем, как осужденный им в это же утро бедняга проводил ночь в тюремной камерке, имевшей 11 футов в длину, 7 футов в ширину и 11 футов вышины?

²² Эта комета, по поводу которой папа Калликст, дядя Борджии, предписал служить молебствия, появилась вновь в 1835 г.

Но Робер д'Эстутевилль исправлял должность не только парижского судьи, но заседал и в главном королевском суде. Не было ни одной столько-нибудь высокопоставленной головы, которая не прошла бы через его руки, прежде чем попасть в руки палача. Не кто иной, как он, отправился в Сент-Антуанскую Бастилию, чтобы отвести оттуда на рыночную площадь графа Немурского, или на Гревскую площадь коннетабля Сен-Поля, который протестовал и барахтался, к великой радости г. д'Эстутевилля, питавшего к коннетаблю глубокую ненависть. Всего этого, конечно, более чем достаточно для того, чтобы обеспечить человеку счастливую и спокойную жизнь и чтобы заслужить почетной страницы в той самой истории парижских бургомистров, из которой мы узнаем, что у Удара-де-Вильнева был свой дом в улице Мясников, что Гильом-де-Хангаст купил целых два дома, один побольше, другой поменьше, что Гильом Тибу завещал монахиням св. Женеьевы дома свои в улице Клопен, что Гюг Обрио жил в доме под вывеской Дикобраза, и разные другие тому подобные подробности.

И, однако, несмотря на столько обстоятельств, способных обеспечить веселую и счастливую жизнь, Робер д'Эстутевилль проснулся 7-го января в самом скверном и мрачном расположении духа. Отчего это происходило – он сам не был бы в состоянии объяснить. Небо ли было слишком пасмурно? Жала ли его довольно объемистый живот пряжка его старого монтерийского пояса? Прошли ли по улице мимо его окон бесстыдники, не отнесшиеся к нему с должным почтением и горланившие, несмотря на то, что он сидел у окна, свои неприличные песни? Было ли это смутное предчувствие того, что в будущем году новый король Карл VIII сократит доходы его на целых 370 франков 16 с половиною су? Читатель волен выбрать любое из этих предположений. Что касается нас, то мы склонны думать, что он был не в духе просто потому, что был не в духе.

К тому же дело происходило на другой день после праздника, т. е. наступил день весьма скучный для всех, а в особенности для городских властей, которым приходилось выметать, в прямом смысле, весь сор, который, обыкновенно, покрывал парижские улицы на следующий день после праздника. К тому же в этот день у него было заседание в суде. А в то время, – как, впрочем, и теперь, – не трудно было заметить, что дни заседаний совпадают обыкновенно у судей с днем дурного расположения духа, что мудрая природа устроила, по-видимому, в тех видах, чтобы им было на ком излить свою досаду именем короля, закона и справедливости.

Заседание открылось, однако, без него. Помощники его по уголовным и гражданским делам и по частным жалобам, по обыкновению, уже приступили к делу, и, начиная с восьми часов утра, несколько десятков горожан и горожанок, скученные и спертые в одной из зал Шатлэ между толстой, дубовой загородкой и стеною, благоговейно следили за умирительным и разнообразным зрелищем того, как Флориан Барбедьенн, член королевского суда, товарищ главного судьи, творил суд и расправу, правда, кое-как и наугад.

Комната была небольшая, низкая, со сводами. В глубине ее стоял стол, с вырезанными на нем лилиями; перед ним стояло большое кресло из резного дуба, предназначенное для г. д'Эстутевилля и оказавшееся в настоящее время незанятым, а влево от него – стул для помощника судьи, Флориана Барбедьенна. Несколько ниже сидел секретарь, что-то царапавший на бумаге. В глубине комнаты, против самого стола, сидела публика; а возле двери и возле стола немало городских стражей, в своих камзолах из фиолетового камлота, с белыми крестами. Два сержанта гражданской милиции, одетые в полосатые, красные с синим куртки, стояли на часах перед низкой, запертой дверью, которая виднелась позади судейского стола. Одно единственное узкое, стрельчатое окно, пробитое в толстой стене, освещало слабым январским светом две забавные фигуры – какого-то высеченного из камня чертика, служившего подставкой лампе, и судью, сидевшего в глубине залы за столом с лилиями.

Действительно, представьте себе сидящим за судейским столом, между двумя связками бумаг, опершись на локти, с ногами, запутавшимися в шлейф длинной, темно-коричневой мантии, с головой, ушедшей в воротник из белого барашка, из-за которого выглядывали только

пара густых бровей, пара красных, толстых, отвислых щек, пара моргающих глаз человека, – и вы будете иметь довольно ясное понятие о Флориане Барбедьенне, члене суда Шатлэ.

Прибавьте ко всему этому еще, что Флориан Барбедьенн был глух, что, конечно, является легким недостатком со стороны члена суда. Это, однако же, нисколько не мешало Флориану творить суд очень развязно и безапелляционно. Да, действительно, для судьи важно только то, чтобы он делал вид, будто слушает; а почтенный член суда тем лучше удовлетворял этому существенному во всяком хорошем делопроизводстве условию, что внимание его не развлекалось никаким посторонним шумом.

Впрочем, в числе присутствующих он нашел себе неумолимого контролера всех своих жестов и действий в лице нашего друга Жанна Фролло-дю-Мулен, вчерашнего шалуна-школьника, этого шалуна, которого, наверное, можно было встретить где угодно, только не на школьной скамье.

– Посмотри-ка, – говорил он потихоньку своему товарищу Робену Пусспену, хихикавшему подле него, между тем, как Жан делал различные замечания по поводу разыгравшихся перед глазами их сцен, – посмотри-ка, вон, Жанна дю-Бюиссон, красивая дочка лентяя с Нового моста! – А этот старый дурак осуждает ее! Что ж, у него нет ни глаз, ни ушей, что ли? Пятнадцать су и четыре полушки за то, что она два раза пропела на улице «Отче наш!» Строгонько! Суров закон для певца! А это кто же такой? А, Робен Шьеф-де-Вилль, кольчужных дел мастер! А ведь он только что принят в цех! Ну, что ж, пусть он хоть в тюрьме вспрыснет свое принятие в цех! Гляди, гляди! Два дворянина среди этих мазуриков! Эгле-де-Суэн, Гютен-де-Майльи! Два рыцаря, ей Богу! А-а! они играли в кости! А отчего же нет здесь нашего ректора, этого отъявленного игрока? Сто парижских ливров штрафа в королевскую казну! Черт его побери, этого Барбедьенна, как он лупит! Да, впрочем, ведь он глух и сам не слышит ударов! Однако пусть я буду моим братом архидиаконом, если это помешает мне играть, – играть и днем, и ночью, и жить, и умереть за игрою, проиграть сначала мою рубашку, а потом и мою душу! – Пресвятая Дева, сколько барышень! Ну-ка, ну-ка, выступайте, голубушки! Амбруаза Лекюйер, Изабелла Ла-Пайнетт, Герарда Жиронен! Все мои знакомые, ей Богу! Штраф, штраф! Поделом! Будет вам носить позолоченные кушаки! Десять парижских су! Ну, что взяли, кокетки? – У-у! старая судейская рожа! У-у! олух Флориан! У-у! болван Барбедьенн! Как он расселся у стола! Он жрет и истца, он жрет и ответчика, он жрет все, что попадется ему под руку! Он жует, давится, переполняет свое брюхо! Штрафы, пошлины, судебные издержки, пени, колодки, тюрьма, – все это для него точно рождественские пряники или ивановский марципан! Ну, вот! Еще женщина! Тибо ла-Тибод, ни более, ни менее! И ее привлекли в суд за то, что она осмелилась выйти из улицы Глатиньи! А это что за парень? Э! да ведь это Жифруа Мабонн, стрелок из лука! А-а! Он богохульствовал! К штрафу Тибода! К штрафу Жифруа! К штрафу их обоих! Старый глухарь! Он, должно быть, перепутал оба эти дела. Держу пари десять против одного, что он приговорит к наказанию девушку за богохульство и жандарма за ночную прогулку. Гляди-ка, гляди-ка, Робен! Кого это они собираются ввести! Эк, сколько нагнали сержантов! Клянусь Юпитером, тут вся стая гончих. Должно быть, поймали красного зверя! Кабана! А и то, кабан, Робен, да еще какой матерый! Ах, черт возьми! да ведь это наш вчерашний герой, наш шутовской папа, наш звонарь, наш горбун, наш кривой, наш гримасник! Это Квазимодо!

И действительно, это был он. Это был Квазимодо, связанный, скрученный, под сильной охраной. Вместе с окружавшими его стражниками вошел в залу суда сам начальник ночного дозора, с вышитым на груди мундира гербом Франции, а на спине – гербом города Парижа. Впрочем, во всей личности Квазимодо, за исключением разве уродства его, не было ничего такого, что могло бы объяснить употребление по отношению к нему таких чрезвычайных мер охраны. Он был мрачен, молчалив и спокоен, и только по временам единственный глаз его бросал сердитый и угрюмый взгляд на связывавшие его оковы. Тем же взглядом он взглянул

и вокруг себя, но, вместе с тем, взгляд этот имел такое угрюмое и сонное выражение, что женщины показывали друг другу пальцами на Квазимодо только для того, чтобы посмеяться над его уродством.

Тем временем судья Флориан внимательно пересмотрел поданное ему секретарем дело о Квазимодо и затем на минуту как будто задумался. Благодаря этой предосторожности, к которой он всегда прибегал прежде, чем приступить к допросу, ему всегда были известны заранее имена и звания подсудимых и то, в чем они обвиняются, что давало ему возможность давать заранее приготовленные реплики на ответы обвиняемых и выпутываться из всех трудностей допроса, не обнаруживая слишком ясно глухоты своей. Лежавшее перед ним дело было для него то же, чем бывает собака-вожак для слепца. Если порой и случалось, что глухота его обнаруживалась каким-нибудь несообразным вопросом или неуместным замечанием, то одни видели в этом доказательство его глубокомыслия, а другие – его глупости; но ни в том, ни в другом случае чести суда не наносился ни малейший ущерб, ибо понятно, что для судьи лучше быть глупым или глубокомысленным, чем глухим. Итак, он тщательно заботился о том, чтобы скрывать свою глухоту от всех, и это ему обыкновенно так хорошо удавалось, что он, наконец, стал себя обманывать на этот счет, что, впрочем, даже вовсе и не так трудно, как обыкновенно полагают, известно, что все горбатые

имеют привычку ходить с высоко поднятой кверху головою, все косноязычные любят ораторствовать, все глухие говорят очень тихо. Что касается его, то он считал себя разве только немного тугим на ухо. Это была единственная уступка, которую он делал по этому пункту общественному мнению в минуты откровенности и чистосердечности.

Итак, усвоив себе, как следует, дело Квазимодо, он откинул голову назад, прищурил глаза, для большей величественности и беспристрастия, так что он сделался одновременно не только глухим, но и слепым, т. е. представлял своей персоной два самых существенных условия для образцового судьи.

Приняв эту величественную позу, он приступил к допросу:

– Ваше имя?

Но тут случилось нечто непредвиденное законодателем, именно, что глухой станет допрашивать глухого.

Квазимодо, которого ничто не предупредило, что к нему обращаются с вопросом, продолжал пристально смотреть на судью и ничего не ответил. Глухой судья, которому ничто не указывало на глухоту обвиняемого, полагая, что тот уже ответил, как обыкновенно делают все подсудимые, продолжал с своим механическим и глупым апломбом:

– Хорошо. Сколько вам лет?

Квазимодо, понятно, не ответил и на этот вопрос. Судья, уверенный в том, что ответ последовал, продолжал:

– Ваше звание?

Все то же молчание. Слушатели начали переглядываться и перешептываться.

– Довольно, – сказал невозмутимый судья, предположив, что обвиняемый ответил и на третий вопрос. – Вы обвиняетесь в следующем: во 1-х, в нарушении общественной тишины ночью; во 2-х, в соединенных с соблазном поступках относительно находящейся не в здравом уме женщины, *in praejudicium meretricis*; в 3-х, в оказании открытого сопротивления страже его королевского величества. Объяснитесь по всем этим обвинениям. Г. секретарь, записали ли вы то, что показал до сих пор подсудимый?

При этом злосчастном вопросе секретарь не мог удержаться от смеха, а вслед за ним и публика разразилась таким громким, всеобщим, заразительным смехом, что и глухой судья, и глухой подсудимый не могли не заметить его. Квазимодо оглянулся, презрительно пожав горбатыми своими плечами, между тем, как судья Флориан, не менее удивленный, предполагая, что этот взрыв хохота со стороны аудитории был вызван каким-нибудь непочтительным отве-

том подсудимого, и, находя подтверждение этому своему предположению в замеченном им пожатии плечами, счел уместным рассердиться и сделать подсудимому строгое замечание.

– Ты, негодяй, ответил на мой вопрос так, что тебя бы следовало за это высечь! Знаешь ли, с кем ты говоришь?

Это новая выходка судьи, понятно, еще более рассмешила всех присутствующих. Она показалась всем до того странной и рогатой, что даже полицейские стражи покатались от смеха как бы по команде. Один только Квазимодо сохранил серьезный вид по той простой причине, что он не понимал ничего из того, что происходило вокруг него. Судья, сердясь все более и более, счел нужным продолжать тем же тоном, в надежде напугать подсудимого и этим способом косвенным образом подействовать и на аудиторию и заставить ее держать себя приличнее.

– Ах ты, негодяй, разбойник! Так ты осмеливаешься обращаться к суду, установленному его величеством королем для пресечения всяческих проступков и преступлений и для охранения всеобщей безопасности! Да знаешь ли ты, что меня зовут Флориан Барбедиенн, что я помощник г. судьи и, кроме того, комиссар, следователь, контролер, и что власть моя распространяется не только на Париж, но и на весь околотовок его?

Понятно, что глухой может говорить с глухим без конца. Бог весть, где и когда остановился бы судья Флориан, пустившись в перечисление своих титулов и должностей, если бы в это время не отворилась дверь позади судейского стола, и в залу не вошел парижский старшина самолично. Однако приход его не мог остановить потока красноречия расхолившегося судьи. Повернувшись к новоприбывшему в пол-оборота и несколько понизив тон, которым он только что громил Квазимодо, он обратился к нему со словами:

– Г. старшина, я прошу вас наложить на этого подсудимого то наказание, которое вы признаете нужным, за возмутительное неуважение к суду.

И он снова уселся на свое место, весь запыхавшись, вытирая пот, крупными каплями выступивший на лбу его и падавший, на подобие слез, на разложенные перед ним бумаги.

Между тем Робер, д'Эстутевилль нахмурил брови и сделал по направлению к Квазимодо жест до того повелительный и внушительный, что глухой отчасти его понял. Затем он спросил его строгим голосом:

– Почему тебя привели сюда, бездельник?

Бедняга, полагая, что его спрашивают, как его зовут, решился, наконец, нарушить молчание, которое он хранил обыкновенно, и ответил своим хриплым, горловым голосом:

– Квазимодо.

Ответ этот до того мало соответствовал вопросу, что снова раздался всеобщий хохот, а г. д'Эстутевилль воскликнул, покраснев от злости:

– Что же, ты и надо мной смеешься, негодяй!

– Звонарь в соборе Богоматери, – ответил Квазимодо, полагая, что его спрашивают о его звании.

– Звонарь! – перебил его старшина, который, как мы уже объясняли выше, «встал в это утро в достаточно дурном расположении духа, для того, чтобы нужно было еще увеличивать его раздражение подобными ответами. – А, Звонарь! Вот я велю отзвонить на твоей спине прутьями трезвон на каждом из парижских перекрестков! Слышишь ли, негодяй?

– Если вы желаете знать мой возраст, то я скажу вам, что около Мартынова дня мне минет, кажется, двадцать лет.

На этот раз терпение вопрошающего окончательно лопнуло.

– А-а! Ты смеешься над судом, мерзавец! Сержант, отведите этого бездельника на Гревскую площадь и в течение часа допрашивайте его под розгами. Я ему задам, бездельнику! И когда вы будете вести его на площадь, то пусть герольд, в сопровождении четырех трубачей, выкрикивает на площадях всех семи парижских кварталов, что этого негодяя ведут наказывать за явное неуважение к суду.

Секретарь тотчас же принялся заносить в свой реестр этот строгий, но справедливый приговор.

– Вот так праведный суд, черт возьми! – крикнул из своего угла Жан Фролло-дю-Мулен. Старшина снова повернулся к Квазимодо и сверкнул на него глазами.

– Мне кажется, – произнес он, – что этот бездельник позволил себе воскликнуть: «Черт возьми!» Г. секретарь, прибавьте еще двенадцать су штрафа за произнесение в суде неприличных слов, с тем, что половина этого штрафа пойдет в пользу церкви св. Евстафия. Я особенно забочусь об интересах этой церкви.

В несколько минут приговор был написан. Содержание его было коротко и ясно. Существовавшая в те времена в Париже и в его округе практика не подверглась еще реформе, произведенной в ней впоследствии президентом Тибо Балье и королевским прокурором Рожером Бармом. Она не была загромождена в то время бесчисленными параграфами и статьями судопроизводства, которые ввели в нее оба эти юриста в начале XVI столетия. Все было в ней ясно, просто, несложно. Юриспруденция шла в то время прямо к цели и в конце каждой тропинки, не вившейся извилинами и не покрытой кустарником, виднелись виселица, колесо и позорный столб. Тогда люди знали, по крайней мере, на что они идут.

Секретарь подал председателю написанный им приговор. Тот приложил к нему свою печать и вышел из залы, чтобы председательствовать в других отделениях суда, в таком расположении духа, при котором не мудрено было переполнить в один день все парижские тюрьмы. Жан Фролло и Робен Пусспен посмеивались себе в кулак. Квазимодо смотрел на все, происходившее вокруг него, равнодушным и удивленным взором.

Однако, секретарь, в то время, когда Флориан Барбедьенн, в свою очередь, прочитывал приговор, прежде чем подписать его, почувствовал некоторое сострадание к несчастному осужденному, и, в надежде добиться смягчения произнесенного над ним приговора, нагнулся как можно ближе к уху Флориана и сказал ему, указывая на Квазимодо:

– Человек этот глух.

Он надеялся, что этот общий и осужденному, и судье органический недостаток возбудит участие со стороны первого к последнему. Но, во-первых, как мы уже говорили, Флориан более всего стремился к тому, чтобы никто не замечал его глухоты, во вторых, он был до того туг на ухо, что не расслышал ни слова из того, что сказал ему секретарь. Однако, желая сделать вид, будто он расслышал, он ответил:

– А-а! Это другое дело. Я этого не знал. Так пусть он за это простоят лишний час у позорного столба. – И затем он подписал измененное в таком смысле решение.

– Молодец! – воскликнул Робен Пусспен, питавший злобу против Квазимодо, – в другой раз он не будет поступать так грубо с публикой.

II. Крысиная нора

Да позволит нам читатель снова привести его на Гревскую площадь, которую мы покинули вчера вечером вместе с Гренгуаром, чтобы следовать за Эсмеральдой.

Десять часов утра. Все здесь напоминает вчерашний праздник. Мостовая усеяна обломками, лентами, лоскутками, перьями от шляп, каплями воска от свеч, остатками народного угощения. Значительное число граждан «фланируют», как говорят в наше время, туда и сюда, вороша ногами головни погасших костров, останавливаясь перед «Домом со столбами» в воспоминании о вчерашней великолепной драпировке его и доставляя себе сегодня последнее удовольствие – посмотреть на торчащие в стене его гвозди. Продавцы сидра и пива пробираются со своими тележками сквозь толпу. Несколько поглощенных своими делами и делишками прохожих снуют взад и вперед. Торговцы переговариваются и перекидываются словами, стоя

у дверей своих лавок. Вчерашний праздник, фландрские послы, Коппеноль, шутовской папа – вот предметы всеобщих разговоров. Все судачат напропалую, все громко хохочут.

А между тем четыре конных полицейских сержанта, ставших вокруг позорного столба, успели уже собрать вокруг себя немалое количество зевак, рассеянных на площади, которые добровольно осуждают себя на продолжительную неподвижность и скуку в ожидании предстоящей экзекуции.

Если теперь читатель, бросив взгляд на эту оживленную и шумную сцену, разыгравшуюся на Гревской площади, обратит свой взор к этому старинному, полуготическому, полуроманскому дому Тур-Ролан, образующему на западной стороне площади угол с набережной, то он увидит на углу фасада довольно большой общественный требник, раскрашенный яркими красками, защищенный от дождя небольшим навесом, а от воров – решеткой, позволяющей, однако, перелистывать его. Возле этого требника – небольшое, стрельчатой формы окошечко, с двумя крестообразно прикрепленными полосами, выходящее на площадь. Это единственное отверстие, сквозь которое может проникнуть немного света и воздуха в небольшую каморку, не имеющую дверей, образовавшуюся из углубления, пробитого в нижнем этаже старого дома. Царствующие здесь спокойствие и тишина тем более поразительны, что вокруг шумит и гудит толпа, наполняющая самую людную и самую шумную площадь Парижа.

Часовня эта пользовалась известностью в Париже уже в течение целых трех столетий, с тех пор, как госпожа Роланда де-ла-Тур-Ролан, горя об отце своем, погибшем в одном из крестовых походов, велела вырыть ее в стене собственного своего дома, для того, чтобы уединиться здесь на-веки, оставив себе из всего обширного дворца своего только эту келийку, дверь которой была замурована и оставалось открытым, летом и зимою, одно только окошечко, и раздав все остальное свое имущество Богу и бедным. И в этой-то могиле, в которой она похоронила себя заживо, госпожа Роланда целых двадцать лет ждала смерти, молясь днем и ночью о спасении души отца своего, лежа на куче пепла, не имея даже камня для изголовья, одетая в какой-то черный мешок и питаясь только тем скудным количеством хлеба и воды, которые сострадательные прохожие клали и ставили на окошко, и пользуясь таким образом милостыней после того, как она сама оказывала ее в таких широких размерах. Перед смертью, прежде чем перейти в настоящую могилу, она завещала келью на веки вечные огорченным женщинам, матерям, вдовам или дочерям, которые будут чувствовать потребность особенно много молиться за себя или за других, и которые пожелали бы похоронить заживо свое великое горе или свои великие прегрешения. В свое время бедняки устроили ей великолепные похороны, блиставшие не внешним блеском, а богатые слезами и благословениями; но, к великому их огорчению, благочестивая отшельница не могла быть причислена к лику святых за недостатком протекции. Те из них, которые были более свободномыслящие, утешились тем, что это делается в раю легче, чем в Риме, и просто обращались с своими молитвами за покойницу к Господу Богу, не имея доступа к папе. Большая же часть ограничилась просто тем, что отныне стала считать память Роланды священной и хранила кусочки ее лохмотьев, как святыню. Город, со своей стороны, заказал, в память покойницы, общественный требник, который и был прикреплен возле окошечка кельи, с тем, чтобы прохожие, останавливаясь здесь порою для молитвы, во время молитвы вспоминали о необходимости творить милостыню, и чтобы бедные отшельницы, наследницы склепа госпожи Роланды, не были окончательно забыты и не умерли в своем склепе от голода.

Впрочем, в средневековых городах подобного рода могилы для заживо-погребенных не составляли особенной редкости. В то время часто можно было встретить, даже на самых людных улицах, на самой шумной и толкучей площади, так сказать, под копытами лошадей и под колесами повозок, какой-нибудь подвал, колодец, какую-нибудь замурованную и закрытую решетками конурку, в которой днем и ночью молилось какое-нибудь человеческое существо, добровольно осудившее себя на какое-нибудь вечное печалование, на какое-нибудь великое

искупление. И все те размышления, которые вызвало бы в нашем уме это странное зрелище, эта ужасная келья, представляющая собою промежуточное звено между домом и могилой, между кладбищем и поселком, это живое существо, добровольно отлучившееся от человеческого общества и считающееся отныне в числе мертвых, этот светильник, пожирающий в полутьме свою последнюю каплю масла, этот остаток жизни, мерцающий в подземелье, это дыхание, этот голос, эта вечная молитва в ящике, это лицо, навсегда обращенное к другому миру, этот глаз, в котором отражается другое солнце, это ухо, прильнувшее к могильному своду, эта душа – пленница тела, это тело – узник темницы, и под этой двойной оболочкой плоти и гранита – вечное жужжание тоскующей души – ничего из всего этого не проникало до толпы. Мало размышлявшее и не мудрствовавшее лукаво благочестие той эпохи не усматривало столько граней в поступке, внушенном глубокою религиозностью. Оно смотрело на вещи проще, оно чтит подобную жертву, благоговело перед нею, пожалуй, видело в ней нечто священное, но не вдумывалось в причиняемые ею страдания и она не внушала ему жалости. Оно по временам приносило бедному затворнику кое-какую пищу, оно заглядывало в скважину, чтобы удостовериться, жив ли он еще, но оно не интересовалось узнать его имя, оно не знало, наверное, как давно тот собирался умирать, и если кто-либо принимался расспрашивать относительно этого живого скелета, гниющего в своем подземелье, вопрошаемый просто отвечал, если то был мужчина: – «это затворник», а если то была женщина – «это затворница».

В те времена на все смотрели, таким образом, просто, без всякой метафизики, без преувеличений, без увеличительных стекол, невооруженным глазом. В те времена еще не был изобретен микроскоп ни для материальной, ни для духовной природы. К тому же, хотя на них никто и не обращал внимания, но примеры подобного рода затворничества были в то время в действительности весьма часты, как мы только что говорили. В то время в Париже было немало таких келий, посвященных исключительно покаянию и молитве. Впрочем, нужно заметить, что и духовенство заботилось о том, чтобы они не пустели, в видах поддержания рвения к религии у своей паствы, и когда не было кающихся, то в них заключали прокаженных. Кроме Гревской клетки, в то время существовали такие же в Монфоконе, на кладбище невинно-избиенных младенцев, и еще где-то, кажется, в Клишонском квартале. От этих подземных келий сохранились следы; предания же передают о многих, им подобных. В университетском квартале тоже были подобные подземные скиты. На горе Св. Женевьевы какой-то средневековый Иов распевал в течение целых тридцати лет семь покаянных псалмов на куче навоза, в глубине колодца, начиная сызнова по окончании последнего псалма, возвышая голос по ночам, и еще поныне любителю древностей, при входе в улицу «Говорящего колодца», кажется, будто он слышит его голос.

Возвращаясь к келье при доме Тур-Роланд, заметим, что в ней никогда не было недостатка в затворниках. После смерти г-жи Роланды она редко пустовала в течение года или двух. Немалое число женщин запирались здесь, чтобы до самой смерти своей оплакивать своих родителей, своих возлюбленных, свои прегрешения. Злоязычные парижане, любящие вмешиваться во все, даже в то, что их менее всего касается, утверждают, что здесь перебивалось только мало вдов.

Согласно тогдашнему обычаю, латинская надпись на стене объясняла грамотному прохожему благочестивое назначение этой кельи. До самой половины XVI столетия сохранялся обычай объяснять назначение известного здания кратким девизом, выведенным над входной дверью. Так, и до сих пор еще во Франции можно прочесть над калиткой бывшей феодальной тюрьмы в Турвиле слова: «Sileto et spera» (Молчи и надейся); в Ирландии под гербом над главными воротами дворца Фортезкью: «Forte scutum, salus ducum» (Крепкий щит – спасение вождей); в Англии, над главным входом в гостеприимный замок графов Коуперов: «Tuum est» (Твое есть). Дело в том, что в те времена целое здание являлось олицетворением одной мысли.

Так как замурованная келья при доме Тур-Роланд не имела дверей, то над окном ее была изображена крупными латинскими буквами следующая надпись:

Tu, ora (Ты, молись).

Читая эту надпись, простой народ, который, при всем своем здравом смысле, не в состоянии бывает проникнуть в глубь вещей, который склонен переводить надпись на воротах «Людовика Великому» словами «Ворота Сен-Дени», прозвал эту черную, темную и сырую келью «Крысиной норой» (Trou aux Rats), прибегнув к несколько вольному переводу латинской надписи «Tu, ora». Характеристика, быть может, менее возвышенная, но за то более образная.

III. История одной лепешки из пшеничного теста

В эту эпоху, к которой относится настоящий рассказ, келья при доме Тур-Роланд была занята. Если читатель пожелает узнать, кем именно, то ему придется только прислушаться к болтовне трех кумушек, которые, в ту минуту, как мы остановили внимание его на «Крысиной норе», направлялись как раз в ту же сторону, идя вдоль набережной реки от Шатлэ к Гревской площади.

Две из этих женщин были одеты настоящими парижскими мещанками. Их белые, полотняные косынки, их юбки из полосатой, сине-красной сермяги, их белые, вязанные чулки, вышитые по краям цветными нитками, плотно обхватывавшие ноги, их топорной работы башмаки из желтой кожи с черной подошвой, и в особенности головной убор их, напоминавший собою сделанный из мишуры рог, увешанный лентами и мишурой, в роде тех, который и до сих пор еще носят крестьянки в некоторых провинциях, и весьма похожий на головной убор одного из полков русской гвардии,²³ свидетельствовали о том, что они принадлежали к классу зажиточного купечества. Они не носили ни серег, ни колец, ни каких-либо других драгоценностей; но не трудно было догадаться, что они делали это не из бедности, а просто из нежелания платить штраф. Третья женщина была разряжена почти так же, как и первые две, но во всей ее фигуре и ее манерах было что-то такое, что напоминало жену провинциального нотариуса; даже по одному тому, как повязан был ее пояс, не трудно было догадаться, что она лишь очень недавно прибыла в Париж. Прибавьте к этому косынку в складках, бантики из лент на башмаках, полосы юбки, идущие в ширину последней, а не в длину ее, и тысячи других мелких отступлений от хорошего вкуса.

Первые две шли тем особым шагом, который свойствен парижанкам, показывающим Париж провинциалкам. Провинциалка вела за руку толстого мальчугана, который в другой руке держал огромную лепешку. К великой нашей досаде, мы должны прибавить, что, по случаю холодной погоды, он пользовался языком своим вместо носового платка.

Мальчугана приходилось тащить за собою; он шел неверными шагами и поминутно спотыкался, за что его мать каждый раз бранила его. Правда и то, что он смотрел больше на лепешку, чем себе под ноги. Вероятно, какая-нибудь серьезная причина мешала ему атаковать лепешку зубами, ибо он довольствовался тем, что с нежностью поглядывал на нее. Нужно было иметь немало жестокости, чтобы подвергать этого маленького пузана таким Танталовым мукам.

Все три osoby («барынями» называли в то время только женщин благородного происхождения) говорили разом.

– Пойдемте поскорее, госпожа Магьетта, – говорила младшая из трех женщин, которая была в то же время и самою толстою, провинциалке: – я очень боюсь, как бы нам не опоздать. В Шатлэ нам сказали, что его сейчас, поведут к позорному столбу.

²³ Автор разумеет здесь головной убор солдат и офицеров л. – гв. Павловского полка. // Примеч. перев.

– Ну, вот еще! Что вы там толкуете, госпожа Удард Мюнье! – перебила ее другая парижанка. – Ведь он останется привязанным к позорному столбу в течение целых двух часов. Еще успеем. А что, вам доводилось когда-нибудь видеть, как выставляют к позорному столбу, милая г-жа Магьетта?

– Как же, – ответила провинциалка: – в Реймсе.

– Ну, что такое ваш Реймский позорный столб в сравнении с парижским! Ведь там, небось, выставляют одних только мужиков. Экая невидаль!

– Одних мужиков!.. в Реймсе?.. на Суконной площади? – воскликнула г-жа Магьетта, – как бы не так! Нам приходилось видеть там прекрасных преступников, даже таких, которые убили и отца, и мать. Мужиков! За кого вы нас принимаете, Жервеза?

Провинциалка готова была не на шутку рассердиться, отстаивая честь позорного столба своего родного города. К счастью, г-жа Удард Мюнье успела во время дать разговору другой оборот.

– А кстати, г-жа Магьетта, – спросила она: – что вы скажете о наших фландрских послых? Неужели вы тоже видели у себя в Реймсе таких замечательных чучел?

– Нет, – ответила Магьетта, – я сознаюсь откровенно, что таких фламандцев можно увидеть только в Париже.

– Заметили ли вы в числе послов того длинновязого, – чулочника, что ли?

– Да, – ответила Магьетта, – он похож на какого-то Сатурна.

– А того толстяка, лицо которого похоже, ни дать, ни взять, на голый живот? А того маленького, с красными глазками, лохматого и всклокоченного, точно головка репейника?

– Но что красиво, так это их лошади, – вмешалась третья, – убранные по существующей в их стране моде.

– Ах, моя милая, – перебила ее провинциалка Магьетта, принимая, в свою очередь, вид превосходства: – что бы вы сказали, если бы видели в 1461 году в Реймсе, во время коронации, коней принцев и королевской свиты? Какие чепраки и попоны! Одни из великолепнейшей золотой парчи, опушенные соболем; другие из бархата, опушенные горностаем; третьи все унизанные драгоценными камнями и увешанные золотыми и серебряными кистями. Вот то, должно быть, стоило денег! И на каждой из этих лошадей сидело по красавцу-пажу.

– Все это, однако, нисколько не мешает тому, – сухо ответила г-жа Удард, – чтоб и у фламандцев были великолепные лошади. А вчера вечером купеческий староста устроил в их честь великолепнейший ужин в здании Ратуши, и их угощали конфетами, пряниками, глинтвейном и разными другими хорошими вещами.

– Что вы там рассказываете, Соседка! – воскликнула Жервеза. – Фламандцы ужинали вчера у г. кардинала в Малом Бурбонском дворце.

– Неправда, в Ратуше!

– Нет, в Бурбонском дворце!

– А я, наверное, знаю, что в Ратуше, – продолжала Ударда раздраженным гоном. – И я знаю даже, что доктор Скурабль обратился к ним с речью на латинском языке, которою они остались очень довольны. Мне это сказал муж мой, присяжный книгопродавец университета.

– А я наверное знаю, что в Бурбонском дворце, – ответила Жервеза с не меньшим раздражением, – и я даже могу перечислить вам все, чем угощал их дворецкий кардинала: двенадцать двойных кварт пунша и глинтвейна; двадцать четыре золоченых ящичка лионского марципана, столько же сладких пирогов, по два фунта штука, и шесть полубочонков боннского вина, белого и красного, самого лучшего, какого только можно достать. Надеюсь, что для вас этих фактов достаточно. Я знаю это, от моего мужа, который состоит пятидесятником при капитуле, и который не далее, как сегодня утром, сравнивал фламандских послов с послами папы Иоанна и Трапезунтского царя, приезжавшими в Париж в прошлое царствование и у которых еще были серьги в ушах.

– А все же настолько верно, что они ужинали в Ратуше, – ответила Ударда, несколько смущенная этим хвастовством, – и что даже никто не запомнит такого количества яств и конфет.

– А я вам говорю, я, что им прислуживал в Малом Бурбонском дворце городской сержант Лесек, и что это-то и вводит вас в заблуждение.

– В Ратуше, говорю я вам.

– В Бурбонском дворце, моя милая! И я вам скажу еще, что по этому случаю над воротами дворца был поставлен щит, на котором разноцветными шкаликами изображено было слово: «Надежда».

– В Ратуше, в Ратуше! И еще Гюссон-Левуар играл на флейте.

– А я вам говорю, что нет!

– А я вам говорю, что да!

– А я вам говорю, что нет!

Толстая Ударда собиралась было отвечать, и спор, без сомнения, не замедлил бы перейти в потасовку, если бы Магьетта вдруг не воскликнула:

– Посмотрите-ка, сколько народу собралось там возле моста. Должно быть, они на что то смотрят.

– Действительно, – произнесла Жервеза: – и я слышу барабанный бой. Должно быть, опять эта цыганка Эсмеральда выделяет штуки с своей козой. Ну, Магьетта, пойдёмте скорее и тащите за собою вашего мальчугана. Вы приехали сюда, чтоб посмотреть на диковинки Парижа. Вчера вы видели фламандцев, сегодня нужно посмотреть на цыганку.

– На цыганку! – воскликнула Магьетта, шарахнувшись назад и крепко сжав ручонку своего сына. – Боже меня избави! Она еще украдет у меня моего мальчика. Пойдем, Эсташ!

И она пустилась бежать по набережной к Гревской площади, до тех пор, пока мост не остался далеко позади нее. Наконец, ребенок, которого она тащила за собою, упал, и она сама остановилась, вся запыхавшись. В это время Жервеза и Ударда нагнали ее.

– Что вам за странная мысль пришла в голову, – спросила Жервеза, – что эта цыганка украдет у вас вашего ребенка?

Магьетта покачала головой с задумчивым видом.

– Странно, – заметила Ударда: – что сестра Гудула совершенно такого же мнения о цыганах.

– А кто это такая – сестра Гудула? – спросила Магьетта.

– Сейчас видно, что вы из Реймса, если вы этого не знаете, – ответила Ударда. – Да vedi, это затворница из Крысиной норы.

– Как, – спросила Магьетта: – та бедная женщина, которой мы несем лепешку?

Ударда утвердительно кивнула головой.

– Она самая. Вы ее сейчас увидите у оконца на Гревской площади. Она совершенно такого же мнения, как и вы, относительно этих странствующих цыган, которые пляшут и гадают на городских площадях. Неизвестно, откуда у нее взялось это отвращение к цыганам. Но вы, Магьетта, – почему же вы убежали при одном только упоминании о них?

– О! – воскликнула Магьетта, обхватив обеими руками круглую головку своего ребенка, – я не желаю, чтобы со мною случилось то же, что случилось с Пахитой Шанфлери!

– Ах, расскажите-ка нам это, милая Магьетта!.. – сказала Жервеза, схватив ее за руку.

– Извините, – ответила Магьетта, – но только странно, что вы, парижанки, этого не знаете. Итак, я вам скажу, – но нам нечего останавливаться для того, чтобы передать вам это происшествие, – что Пахита Шанфлери была красивой, 18-летней девушкой, в то самое время, когда и я была такою же, и что она сама виновата в том, если она в настоящее время не такая же полная, свежая, тридцатилетняя женщина, имеющая мужа и сына, как и я. Впрочем, она свихнулась уже в 14 лет; она была дочь Гюйберта, реймского странствующего музыканта, того

самого, который играл перед Карлом VII во время коронации этого короля, когда он спускался по нашей реке Вель, от Силлери до Мюизона, в одной лодке с орлеанской девственницей. Пахита была еще ребенком, когда умер ее отец; у нее осталась только мать, сестра г. Прадона, латунных и котельных дел мастера в Париже, имевшего свою мастерскую в улице Парен-Гарлен и умершего в прошлом году. Вы видите, что она, значит, происходила из хорошего семейства. К несчастью, мать ее была добрая, но недалекая женщина, которая ничему не научила свою дочь, умевшую только немного вышивать золотом и нежиться, что, однако, не помешало последней очень вытянуться и остаться очень бедной. Они обе жили в Реймсе, недалеко от реки, на улице Фольпэн. В 1461 году, в год венчания на царство короля нашего Людовика XI – да хранит его Господь! – Пахита была так красива и так весела, что ее иначе не называли, как «певуньей-пташкой». У нее были красивые зубы, и она охотно смеялась, чтобы показывать их. А известно, что чему посмеешься, тому и поплачешься, и что красивые зубы портят красивые глаза. Так вот какова была Шанфлери. Она и мать ее влачили лишь скудное существование; дела их шли очень плохо после смерти странствующего музыканта. Занимаясь золотошвейным ремеслом, они вдвоем зарабатывали едва до шести су. Прошли те времена, когда муж и отец их зарабатывал во время коронации в один вечер в десять раз более, чем они зарабатывали в целую неделю. В одну зиму, – дело происходило в том же 1461 г., – когда у обеих женщин не было в доме ни единого полена, и когда мороз раскрасил щеки Пахиты, что делало ее еще более красивой, мужчины стали приставать к ней с разными соблазнительными предложениями – и она не устояла. – Эташ! Не смей кусать лепешку! – Мы тотчас же поняли, что она – погибшая девушка, когда она явилась однажды, в воскресенье, в церковь с золотым крестом на шее. И в четырнадцать то лет, подумайте! – Первым ее любовником был молодой виконт Кормонтрейль, владетель замка, в трех четвертях мили от Реймса; затем Анри де-Трианкур, офицер королевского конного конвоя; далее она стала уже опускаться и переходить постепенно к Шиору де-Бальону, сержанту, Гери Обержону, камер-лакею, Маса де-Френю, цирюльнику дофина, Тевенену Лемуану, королевскому повару; наконец, спускаясь все ниже и ниже, она сделалась любовницей уличного музыканта Гильома Расина и фонарщика Тьерри Демера, и, наконец, бедная Шанфлери сделалась всеобщим достоянием, и ей платили уже не золотом, а медью. Словом сказать, не прошло еще и года, как она сделалась наложницей атамана воров. Как вам это покажется! Это в течение одного то года!

Магьетта вздохнула и вытерла слезы, навернувшиеся на глазах ее.

– Ну, во всей этой истории нет еще ничего необыкновенного, – сказала Жервеза, – и я во всем этом не вижу ни цыган, ни детей.

– Потерпите немного, – ответила Магьетта, – вы сейчас увидите ребенка. – В 1466 году, т. е. ровно 16 лет тому назад. Пахита родила девочку. Бедняжка! Как Она была рада! Она давно уже желала иметь ребенка. Ее мать, добрая женщина, которая не умела смотреть иначе, как сквозь пальцы, на ее поведение, в это время давно уже умерла. У Пахиты не оставалось на свете ни одного существа, которое любило бы ее и которое она любила бы. В течение последних пяти лет, с тех пор, как она впервые согрешила, эта бедная Шанфлери была несчастнейшим созданием. Она была совершенно одинока, все на нее указывали пальцами, городские сержанты били ее, уличные мальчишки в лохмотьях дразнили ее, когда она проходила по улице. К тому же ей стукнуло 20 лет, а 20 лет – это старость для женщин, ведущих подобный образ жизни. Торговля своей красотой приносила ей теперь едва ли более чем золотошвейное ремесло в былые годы. Каждая морщина, появлявшаяся на лице ее, уносила с собою целое эку; зима снова становилась для нее тягостной, дрова снова стали редкими в ее зольнике, а мука – в ее ларе. Она не могла работать потому, что, пустившись в разврат, она разучилась работать, а еще более страдала она от того, что, разучившись работать, она привыкла к разврату. По крайней мере, таким образом, патер Сен-Реми объясняет то, что подобного рода женщины сильнее чувствуют голод и холод, чем другие женщины.

– Да, – перебила ее Жервеза, – но причем же тут цыгане?

– Да подождите же, Жервеза, – сказала Ударда, слушавшая хотя и со вниманием, но с меньшим нетерпением. – Что оставалось бы к концу, если бы все было уже высказано с самого начала? Продолжайте, Магьетта!

– Итак, она была очень огорчена, очень несчастна, – продолжала Магьетта: – и плакала по целым дням. Но при всем ее позоре и при ее отчуждении от всех, ей казалось, что она будет менее несчастна и одинока, если б у нее был на свете кто-нибудь или что-нибудь, что она могла бы полюбить и что могло бы полюбить ее. Но необходимо было, чтоб это был ребенок, ибо только ребенок мог быть достаточно невинен для этого. Она пришла к этому убеждению после того, как попыталась было полюбить какого-то вора, единственного человека, который еще не отвернулся от нее сразу; но прошло много времени, – и она заметила, что даже вор этот презирает ее. Для любящих женщин нужен или любовник, или ребенок, который наполнял бы их сердце; иначе они очень несчастны. Будучи уже лишена возможности иметь любовника, она всецело предалась желанию иметь ребенка, и так как она, при всей беспорядочности своей жизни, оставалась благочестивой, то она и не переставала молить о том Бога. Господь Бог сжалился над нею и послал ей ребенка. Нечего и говорить о том, как она обрадовалась ему; она не переставала плакать, ласкать и целовать его. Она сама принялась кормить своего ребенка, сделала для него пеленки из единственной своей простыни и с этих пор не чувствовала уже ни голода, ни холода. Она даже снова похорошела; старая дева легко превращается в молодую мать. У нее снова стали появляться поклонники, и она не отвергала их, так как ей нужны были деньги для содержания своего ребенка. На добытые этим путем деньги она делала пеленки и нагрудники, кружевные чепчики и шелковые кофточки, не думая даже о том, чтобы выкупить свое одеяло. – Эсташ, я уже говорила тебе, чтобы ты не смел есть лепешку! Уже, без всякого сомнения, маленькая Агнеса, – так называли ребенка при крещении, так как Шанфлери сама хорошенько не знала, как фамилия отца ее ребенка, – эта девочка была разряжена в шелк и кружева не хуже какой-нибудь маленькой принцессы. У нее была, между прочим, пара башмачков, подобных которым уже, конечно, не носили дети нашего короля Людовика XI. ее мать сама сшила и вышила их для нее, употребив на это все свое искусство в золотошвейном деле и столько мишуры, что ее хватило бы, пожалуй, на целую ризу. Едва ли кому-либо удавалось видеть более красивые розовые башмачки. Они были величиной не больше моего большого пальца, и тот, кто сам не видел их надетыми на ножки ребенка, никогда не поверил бы, чтобы какая-нибудь ножка могла влезть в такой крохотный башмачок. Да и то сказать, ножки у ребенка были такие маленькие, такие хорошенькие, такие розовенькие! Еще розовее ее башмачков! Когда у вас будут дети, Ударда, вы узнаете по опыту, что ничего не может быть красивее таких маленьких детских ножек и ручек.

– Я бы сама очень желала иметь детей, – ответила Ударда со вздохом, – но что же мне делать с этим несносным Анри Мюнье!

– Впрочем, – продолжала Магьетта, – ребенок Пахиты отличался не одними только красивыми ручками и ножками. Я видела его, когда ему было всего четыре месяца от роду. Это был настоящий херувимчик. У него были великолепные, черные глаза, маленький ротик и шелковистые, черные волосы, которые уже тогда начинали виться. В шестнадцать лет это была бы замечательная брюнетка! Мать с каждым днем все более и более привязывалась к ребенку. Она не переставала ласкать, целовать, щекотать, обмывать, наряжать его. Она просто с ума по нему сходила и ежеминутно благодарила Господа за то, что он послал его ей. Особенно восхищалась она его маленькими, розовыми ножками и приходила в восторг от них. Она не отрывала от них своих губ и не могла налюбоваться ими. То она всовывала их в маленькие башмачки, то опять вынимала их оттуда, рассматривала их сквозь свет, заставляла ребенка переступать ими по своей кровати и готова была бы провести всю свою жизнь на коленях перед этими ножками, обувая и разувая их, точно ноги Младенца-Иисуса.

– Все это очень хорошо, – сказала вполголоса Жервеза, – но причем же во всем этом цыгане?

– Сейчас, сейчас, – ответила Магьетта. – В один прекрасный день в Реймс прибыли какие-то странные люди. Это были бродяги и нищие, слонявшиеся по всей провинции, под предводительством своих атаманов и старост. Все они были смуглые, курчавые, у всех в ушах были серебряные серьги. Женщины были еще менее красивы, чем мужчины. Лица их были еще более смуглы, головы их ничем не были покрыты и волосы всклокочены; одеты они были в рваные, пестрые юбки, на плечи их были накинuty сплетенные из бечевок плащи, и волосы их ниспадали с головы, точно конский хвост. Дети, копошившиеся у наших, могли бы напугать даже обезьян. Вся эта ватага прибыла в Реймс прямо из Нижнего Египта, через Польшу. Уверяли, что папа исповедал их и наложил на них епитимию, в силу которой они должны были в течение семи лет кряду странствовать по белу свету, не ложась в постель. В Реймс они прибыли для того, чтобы гадать гражданам и гражданкам, которые пожелали бы узнать свою будущность. Понятно, что их не впустили в город. Тогда весь этот табору расположился в поле, за Брэнскими воротами, на том пригорке, где стоит мельница, возле заброшенных известковых ломов. Все жители Реймса стали посещать их табор. Они смотрели вам на руку и делали самые удивительные предсказания; они готовы были бы предсказать Иуде, что он сделается папой. Однако, вскоре относительно их стали ходить разные недобрые слухи, говорили, будто они таскают из карманов кошельки, воруют детей и даже едят человеческое мясо. Люди, желавшие казаться благоразумными, говорили более неосторожным: «не ходите к ним», – а сами отправлялись к ним втихомолку. Словом, все точно с ума сошли. Дело в том, что они предсказывали будущее не хуже любого пророка. Матери не могли достаточно нагордиться дочерьми своими, с тех пор, как цыганки вычитали у последних на ладони разные чудеса, написанные по-тарабарски или по-турецки, что ли, – хорошенько не знаю. Одна должна была выйти замуж за короля, другая – за папу, третья – за капитана. Бедную Пахиту тоже разобрало любопытство. Ей захотелось узнать, не сделается ли и ее Агнеса в один прекрасный день царицей Армении или чем-нибудь в этом роде. И вот она отправилась с нею однажды к цыганам. Цыганки стали любоваться ребенком, ласкать его, удивляться его маленькой ручке, целовать его своими смуглыми губами, – а бедная-то мать радовалась. Особенно восторгались они ножками, и башмачками Агнесы. Ребенку в то время не было еще и одного года отроду; но он уже начинал лепетать, звонко смеялся, глядя на свою мать, был пухленький и толстенький, словом, походил, ни дать, ни взять, на райского херувимчика. При виде цыганок, он очень испугался и заплакал. Но мать стала еще крепче целовать его и ушла в восхищении от предсказаний гадалок ее милой Агнесе. Судя по этим предсказаниям, ей суждено было быть красавицей, добродетельной, королевой. Она возвратилась на свой чердак в улице Фолль-Пен, гордая тем, что несет на руках своих будущую королеву. На следующее утро она воспользовалась тем, что ребенок спокойно спал на ее кровати – она всегда клала его спать возле себя, и, не заперев двери, побежала рассказать одной своей соседке, жившей на улице Сешессри, что когда-нибудь наступит день, в который ее дочери будут прислуживать за столом король английский и герцог эфиопский, и сотни других подобных глупостей. Возвращаясь и не слыша на лестнице детского плача, она проговорила про себя: – «Отлично! Ребенок еще спит». Дверь оказалась отворенною настежь, а между тем она отлично помнила, что притворила ее. Стремительно войдя в комнату, бедная мать кинулась к постели, она оказалась пустою, ребенка не было на ней! Она выбежала из комнаты, сбежала с лестницы и стала биться головою об стену, крича: – «Дитя мое! Где мое дитя? Кто взял мое дитя?» – Улица была довольно пустынная, дом стоял особняком – никто ничего не мог сообщить ей. Она обошла весь город, обшарила все улицы, пробежала целый день в каком-то исступлении, нюхая у дверей и у окон, точно дикий зверь, у которого украли его детенышей. Она еле дышала, волосы ее растрепались, на нее страшно было взглянуть, глаза ее горели, но плакать она не могла. Она останавливала прохожих, восклицая: – «Моя дочь! Моя

дочь! Моя миленькая дочка! Если кто возвратит дочь мою, я сделаюсь его рабой, его собакой, пусть он съест мое сердце!» – Она встретила священника церкви Сен-Реми и сказала ему: – «Г. священник, я готова пахать землю ногтями моими, но возвратите мне моего ребенка!» – Уверю вас, Ударда, что сердце обливалось кровью при виде ее, и я видела даже человека с весьма черствым сердцем, прокурора Понса-Лакабра, который при этом не мог удержаться от слез. – Бедная мать! – Вечером она возвратилась домой. Во время ее отсутствия одна из ее соседок видела, как две цыганки пробрались в ее комнату с каким-то узлом под мышкой, и затем, немного погодя, поспешно удалились, заперев за собою дверь. После ухода их в комнате Пахиты стало раздаваться что-то вроде детского плача. Бедная мать весело рассмеялась, скорее взлетела, чем взошла по лестнице, изо всех сил толкнула дверь, вошла... И представьте себе, Ударда, ее ужас! Вместо хорошенькой, свеженькой, розовенькой Агнесы, вместо этого Божьего благословения, на кровати валялся, ревя изо всей мочи, какой-то маленький уродец, безобразный, хромой, кривой, горбатый! – «Неужели?.. – воскликнула она в ужасе, зажмуривая глаза, – эти ведьмы превратили мою дочь в этого ужасного уродца! – Соседки поспешили унести этого колченожку, опасаясь, что она сойдет с ума при виде его. Это маленькое чудовище родила, конечно, какая-нибудь цыганка, связавшаяся с самим дьяволом. Ему на вид было года четыре, и он лепетал на каком-то языке, который не был похож на человеческий язык; он произносил какие-то совершенно невозможные слова. – Что касается Пахиты, то она, увидев валявшийся на полу башмачок Агнесы, – все, что ей осталось от ее дочери, – припала к нему губами, и в таком положении так долго оставалась неподвижная, немая, не переводя дыхания, что со стороны ее можно было бы принять за мертвую. Вдруг она вздрогнула всем телом, стала покрывать башмачок какими-то неистовыми поцелуями и разразилась, такими сильными рыданиями, что можно было бы подумать, будто сердце ее разорвалось на части. Уверю вас, что и мы все рыдали. Она кричала:

– О, моя дочка, моя милая дочка, где ты?..

И этот крик переворачивал нам всю внутренность. Я и теперь не могу вспомнить об этом без слез. Ведь наши дети – плоть от плоти нашей, не так ли? – Милый мой Эсташ! Какой он красавчик! Если бы вы знали, какой он милый! Не далее, как вчера, он говорит мне:

– Я хочу быть жандармом!.. О, Эсташ, что было бы, если бы я лишилась тебя!

И вдруг Пахита вскочила и стала бегать по всему городу, крича во все горло:

– В цыганский табор! В цыганский табор! Нужно сжечь ведьм!

Но оказалось, что цыгане уже ушли, а ночь была так темна, что нечего было и думать о том, чтобы преследовать их. На следующее утро, в двух милях от Реймса, на полянке, поросшей вереском, между Тиллуа и Ге, найдено было несколько лент, принадлежащих ребенку Пахиты, и замечены остатки большого костра, несколько капель крови и козлиный помет. В виду этого, для городских жителей не оставалось сомнения в том, что на этой самой полянке цыгане справляли свой шабаш и что они сожрали ребенка в сообществе с Вельзевулом. Когда бедная Пахита узнала эту ужасную весть, она не заплакала, а только пошевелила губами, как бы желая говорить, но не могла произнести ни слова. На следующее утро она совершенно посела, а через день она куда-то исчезла.

– Действительно, ужасное приключение, – заметила Ударда, – способное заставить расплакаться головореза.

– Теперь я уже не удивляюсь тому, – присовокупила Жервеза, – что вас разбирает такой страх перед цыганами.

– И тем более благоразумно было с вашей стороны, – продолжала Ударда, – что вы, намереваясь уйти отсюда с вашим Эташем, что и эти – польские цыгане.

– Нет, – сказала Жервеза: – говорят, что они прибыли сюда из Каталонии, в Испании.

– Из Каталонии?.. Может быть, – согласилась Ударда. – Я всегда смешиваю Каталонию, Польшу и Валонь. Но верно только то, что это – цыгане.

– Да еще и такие, которые не побрезгают жрать маленьких детей, – присовокупила Жервеза. – Я нисколько не удивлюсь тому, если узнаю, что и эта их Эсмеральда своим маленьким ротиком тоже кушает детское мясо. Ее белая козочка проделывает слишком мудреные штуки для того, чтобы все это могло обходиться без колдовства.

Магьетта шла молча, погруженная в задумчивость, являющуюся как бы продолжением грустного рассказа и прекращающуюся только тогда, когда поднятые этим рассказом волны достигли самых отдаленных уголков сердца. Но обращенный к ней вопрос Жервезы: «И что же, так и не узнали, что случилось с Нахитой Шан-флери»? Магьетта ничего не ответила. Жервеза повторила свой вопрос, окликнув ее по имени и потрясая ее за руку. Магьетта как будто проснулась от глубокого сна. – Что случилось с Пахитой Шанфлери? – машинально повторила она слова, прозвучавшие в ее ушах; затем, сделав над собою некоторое усилие, чтобы вдуматься в смысл этих слов, она с живостью ответила:

– Нет, это так и осталось неизвестным. – И, помолчав немного, она продолжала: – Одни уверяли, будто видели, как она в сумерки вышла из Реймса в ворота Флешамбо; по другим – она вышла на рассвете в старые ворота Базэ. Какой-то нищий нашел золотой крестик ее повешенным на каменный крест, водруженный на лужайке, на которой происходит ярмарка. Этот самый крестик и погубил ее в 1461 году: это был подарок виконта Кормонтрейля, первого ее любовника. Пахита никогда не соглашалась раз стать с ним, в какой бы нужде она ни находилась; она, казалось, дорожила им столько же, сколько и жизнью. Поэтому мы все, увидев этот крестик, сразу подумали, что она умерла. Однако, прислуга кабачка Ле-Ванта утверждала, будто видела ее проходившею босиком по большой парижской дороге. Но в таком случае она должна была выйти в Вельские ворота, а это не совпадает с остальными показаниями.

Что касается меня, то я полагаю, что она, действительно вышла из Вельских ворот, но не для того, чтоб отправиться в Париж, а для того, чтоб отправиться на тот свет.

– Я вас не понимаю, – сказала Жервеза.

– Вельские ворота, – ответила Магьетта с печальной улыбкой, – ведут ведь к реке.

– Бедная Пахита! – воскликнула Ударда, содрогаясь. – Значит, она утопилась!

– Да, утопилась... – произнесла Магьетта. – И могли думать отец ее, добряк Гюиберто, когда он проезжал в лодке под мостом, распевая песни, что в один несчастный день и его дорогая Пахита пройдет под мостом, но только не в лодке и не распевая песен.

– А башмачок? – спросила Жервеза.

– Он пропал вместе с матерью, – ответила Магьетта.

– Бедный башмачок! – произнесла Ударда.

Ударда, толстая и чувствительная женщина, готова была удовольствоваться тем, что вздохнула вслед за Магьеттой. Но Жервеза, как женщина любопытная, не удовлетворилась этим.

– Ну, а что же уродец? – вдруг обратилась она к Магiette.

– Какой уродец? – спросила та.

– Да тот маленький цыганский уродец, которого эти ведьмы оставили Пахите взамен ее дочери?.. Что с ним сделали? Надеюсь, что и его утопили?

– Ничуть, – ответила Магьетта.

– Как же так – ничуть! Ну, значит, сожгли? Оно, впрочем, так и следовало поступить с отродьем ведьмы.

– Ни того, ни другого, Жервеза. Г. архиепископ принял участие в цыганском ребенке, выгнал из его тела злых духов и дьявола, окрестил и благословил его и отправил в Париж для того, чтобы он был положен там на деревянную кровать в соборе Парижской Богоматери, предназначенную для подкидышей.

– Уж эти мне епископы! – с неудовольствием пробормотала Жервеза. – Они думают, что потому, что они люди ученые, им следует поступать иначе, чем поступают другие люди. Ну, на

что это похоже, Ударда? Подкидывать дьявольское отродье в Божьем храме! Ибо не подлежит сомнению, что этот уродец был отродье дьявола... – Ну, и что же, Магьетта, с ним случилось в Париже? Я уверена, что его не пожелал принять к себе ни один добрый христианин.

– Не знаю, – ответила Магьетта. – Как раз около того времени муж мой получил должность сельского нотариуса в Берю, в двух милях от города, и мы совсем было позабыли об этой истории, тем более, что между Берю и Реймсом возвышаются два пригорка, из-за которых не видать даже реймских колоколен.

Среди этих разговоров три почтенные женщины дошли до Гревской площади. Заболтавшись, они прошли, не останавливаясь, мимо часовенки возле дома Тур-Ролан, и машинально направились к позорному столбу, вокруг которого толпа становилась все гуще и гуще. По всей вероятности, зрелище, привлекавшее в это время все взоры, заставило бы их совершенно забыть о Крысиной норе и о том, что они собирались сделать возле нее привал, если бы шестилетний толстяк Эташ, которого Магьетта все тащила за руку, не напомнил им вдруг ближайшей цели их странствования.

– Мама, – сказал он, как будто какой-то инстинкт подсказал ему, что Крысиная нора осталась позади него, – могу теперь съесть лепешку?

Если б Эташ был похитрее и менее обжорлив, то он подождал бы еще, и только по возвращении к себе домой, в университетский квартал, в улицу Баланс, на квартиру Анри Мюнье, когда его лепешку отделяли бы от Крысиной норы целых два рукава Сены и пять мостов, он рискнул бы сделать этот робкий вопрос:

– Мама, могу я теперь съесть лепешку?

Теперь же этот вопрос оказался как нельзя более неосторожен, ибо он напомнил его матери то, о чем она совсем было забыла.

– Ах, кстати! – воскликнула она, – а мы совсем и забыли про затворницу. Покажите-ка мне вашу Крысиную нору, чтобы я могла отдать затворнице эту лепешку.

– Сейчас, сейчас, – сказала Ударда. – Этим вы сделаете доброе дело.

Но это вовсе не входило в виды Эташа.

– А-а а! Моя лепешка! – захныкал он, подергивая плечами, что, как известно, обозначает у детей высшую степень недовольства.

Все три женщины вернулись назад, и когда они подошли к часовенке, Ударда сказала остальным двум:

– Нам не следует глядеть в окошечко всем троим разом, иначе мы испугаем затворницу. Вы обе сделаете вид, будто вы молитесь, пока я загляну в оконце. Затворница меня немножко знает. Я сделаю вам знак, когда можно будет подойти.

И она одна приблизилась к оконцу. Как только она заглянула в него, на лице ее разлилось выражение глубокого сострадания, и ее веселая и открытая физиономия так же быстро изменилась в цвете, как будто она разом вошла из полосы, освещенной солнцем, в полосу, освещенную лунным светом. Глаза ее покрылись влагою, а губы ее скривились, как будто она готова была разрыдаться. Минуту спустя она, приложив палец к губам, сделала Магiette знак рукой. Магьетта тотчас же приблизилась на цыпочках, молча и взволнованная, точно она подходила к постели умирающего.

Действительно, невеселое зрелище представилось взорам обеих женщин, которые, не смея ни пошевелинуться, ни вздохнуть, глядели в заделанное решеткой оконце.

Каморка была тесная, более широкая, чем глубокая, со сводом, и несколько напоминала своей формой верхнее отверстие в митре католического епископа. На голых плитах, служивших ей полом, в углу сидела, или, вернее сказать, скорчилась женщина. Она упиралась подбородком на колена свои, которые она, обхватив обеими руками, крепко прижимала к груди. В такой позе, облеченная в какой-то коричневого цвета мешок, ниспадавший с тела ее широкими складками, с длинными, седыми волосами, ниспадавшими вдоль ее туловища и ног до самого

пола и закрывавшими ей лицо, она, при первом взгляде на нее, представляла собою какую-то странную массу, еле выделявшуюся на темном фоне кельи, какой-то черноватый треугольник, который луч света, пробившийся сквозь оконце, резко разделял на две половины, – одну темную, другую освещенную. Она походила на одно из тех привидений, наполовину озаренных светом, наполовину темных, которые встречаются на картинах Гойи, бледных, неподвижных, мрачных, сидящих на какой-нибудь могиле или прислонившихся к решетке темницы. Это не была ни женщина, ни мужчина, ни живое существо, ни определенная форма: это была просто какая-то фигура, какое-то видение, в котором действительное сливалось с призрачным, подобно тому, как в сумерках свет сливается с тьмою. Под ее свесившимися до полу волосами с трудом можно было разглядеть исхудалый и строгий профиль; из-под ее платья едва выглядывал носок босой ноги, упирившийся в холодный и сырой пол. То небольшое, что глаз зрителя мог разглядеть из-за этой траурной оболочки, заставляло его содрогаться.

Можно было бы подумать, что фигура эта наглухо прикреплена к плитам, – до того она была неподвижна; даже незаметно было, чтоб она дышала. Пребывая дни и ночи в одном только дырявом мешке своем, босоногая, в январе месяце, на гранитных плитах, без огня, в сырой дыре, сквозь маленькое оконце которой проникал только ветер, но не проникал ни один солнечный луч, – она, однако, казалось, не только не страдала, но даже ничего не чувствовала. Она как будто окаменела вместе с камнем, на котором сидела, обледенела вместе с врывавшимся к ней ледяным ветром. Глаза ее были неподвижно устремлены в одну точку, руки ее были сложены, как бы для молитвы. При первом взгляде на нее ее можно было бы принять за привидение, при втором – за истукана. Только от времени до времени ее посинелые губы слегка приоткрывались, чтоб испустить вздох, и дрожали, но оставались и при этом столь же безжизненными и машинальными, как осенние листья, уносимые ветром. По временам же ее потускневшие глаза бросали взгляд, но взгляд какой-то мрачный, упорный, глубокий, устремлявшийся всегда в одну и ту же точку, в угол конуры, которого нельзя было разглядеть снаружи, – взгляд, который, казалось, связывал все мрачные мысли, роившиеся в этой опечаленной душе, с каким-то таинственным предметом.

Таково было существо, которое народ прозвал, в виду ее обиталища, «затворницей», а в виду ее одеяния – «мешочницей».

Все три женщины, – Жервеза успела присоединиться к Магiette и Ударде, – глядели в оконце. Их головы мешали проникнуть в конуру и тем слабым лучам света, которые пробивались в него сквозь оконце; но несчастная, которую они таким образом лишили его, казалось, не обращала на них ни малейшего внимания.

– Не будемте ей мешать, – потихоньку сказала Ударда, – она в забытии, она молится.

Магiette смотрела все с более и более возрастающим волнением на это истощенное, увядшее лицо, на эту косматую голову, и на глазах ее выступили слезы.

– Вот то было бы странно! – пробормотала она.

Ей удалось просунуть голову сквозь решетку оконца и заглянуть в тот угол, от которого несчастная не отрывала своих взоров. Когда она вынула свою голову из-за решетки, лицо ее было все мокро от слез.

– Как вы называете эту женщину? – спросила она у Ударды.

– Мы называем ее сестрой Гудулой, – ответила та.

– А я называю ее Пахитой Шанфлери, – сказала Магiette. И затем, приложив палец к губам, она знаком пригласила Ударду просунуть свою голову сквозь решетку и заглянуть в угол. Ударда заглянула и увидела в том углу конуры, от которого затворница не отрывала глаз своих, маленький розовый башмачок, искусно вышитый золотом и серебром. После Ударды туда же заглянула Жервеза, и затем все три женщины, глядя на несчастную мать, принялись плакать.

Однако, ни взоры их, ни слезы не обратили на себя внимания затворницы. Руки ее по прежнему оставались сложенными, уста ее безмолвными, глаза устремленными в одну точку, а у тех, кому известна была история ее жизни, сердце разрывалось на части при виде этого башмачка.

Все три женщины долго хранили молчание; они не решались говорить, даже шепотом. Это великое горе, это забвение всего, кроме одной, незначительной вещицы; это безмолвие производили на них такое же впечатление, как вид гроба. Они молчали, они были тронуты, они готовы были стать на колени. Им казалось, будто они только что вошли в церковь во время службы на Страстной неделе.

Наконец, Жервеза, самая любопытная и поэтому наименее чувствительная из всех, попробовала окликнуть затворницу.

– Сестра Гудула, а сестра Гудула! – проговорила она.

Она трижды повторила этот оклик, каждый раз возвышая голос. Но затворница оставалась неподвижной: ни взгляда, ни вдоха, ни слова, ни малейшего признака жизни.

Ударда окликнула ее в свою очередь более мягким и ласковым голосом:

– Сестра! А сестра Гудула!

То же молчание, та же неподвижность.

– Странная женщина! – воскликнула Жервеза. – Ее, кажется, и пушками не прошибешь!

– Быть может, она глуха! – заметила Ударда.

– Быть может, слепа, – присовокупила Жервеза.

– А, может быть, она умерла! – воскликнула Магьетта.

Несомненно, во всяком случае, то, что если душа не покинула еще этого неподвижного, заснувшего как бы летаргическим сном тела, то, во всяком случае, она удалилась и спряталась в какие-то закоулки, до которых не достигали ощущения, воспринимаемые органами.

– Придется, значит, – сказала Ударда, – оставить лепешку в оконце. Но тогда какой-нибудь шалун, пожалуй, утащит ее. Как бы заставить ее очнуться?

Эташ, внимание которого до сих пор было отвлечено только что проехавшей мимо них небольшой тележкой, которую везла большая собака, вдруг заметил, что все три женщины смотрят на что-то в оконце; его разобрало детское любопытство, и он, взлезши на тумбу, встал на носки и, приблизив свое пухлое, розовое личико к оконцу, воскликнул:

– Мама, дай и мне посмотреть!

Услышав этот звонкий, свежий, чистый детский голосок, затворница вздрогнула. Она быстро повернула голову, точно она была у нее на пружинах, откинула назад своими исхудалыми руками ниспадавшие ей на лицо волосы и устремила на ребенка свои удивленные, полные горечи и отчаяния глаза. Взор ее сверкнул, точно молния.

– О, великий Боже, не приводи мне, по крайней мере, на глаза чужих детей! – вдруг воскликнула она, уткнувшись лицом в колена, и, казалось, будто хриплый голос ее разрывал ей грудь.

– Здравствуйте, сударыня, – произнес ребенок с важностью.

Это потрясение, казнь, пробудило затворницу. Дрожь пробежала по всему ее телу, с ног до головы; она застучала зубами, немного приподняла голову и сказала, прижав локти к бедрам и схватив обе свои ноги руками, как бы для того, чтобы угреть их:

– У-у! как холодно!

– Бедная женщина! – сказала растроганная Ударда. – Не развести ли вам огня?

Затворница покачала головою в знак отрицания.

– Ну, так вот вам немного глинтвейну, – продолжала Ударда, протягивая к ней какую-то склянку. – Выпейте! Это согреет вас.

Та снова покачала головой в знак отказа, пристально посмотрела на Ударду и проговорила:

– Воды!

Но Ударда стояла на своем.

– Нет, сестра моя, какой же это напиток для января месяца, – вода? Вам нужно выпить немного глинтвейну и съесть вот эту маисовую лепешку, которую мы испекли для вас.

Она оттолкнула лепешку, которую протягивала ей Магьетта, и произнесла:

– Черного хлеба!

– Нате вам, – сказала Жервеза, которую, в свою очередь, охватило чувство сострадания, снимая с себя свою суконную накидку, – этот плащ будет потеплее вашего. Накиньте-ка его себе на плечи.

Но та отказалась и от накидки, подобно тому, как прежде отказалась от глинтвейна и от лепешки, и ответила:

– Мешок.

– Да ведь должны же и вы чем-нибудь помянуть вчерашний праздник, – сказала добрая Ударда.

– Я и без того замечаю, что был праздник, – сказала затворница, – вот уже два дня, что в моей кружке нет ни капли воды. – И, помолчав немного, она прибавила, – По праздникам меня забывают – и хорошо делают. Зачем же людям помнить обо мне, когда я совершенно забыла их? Если уголья погасли, зола делается холодной.

И, как бы уставши от такой длинной речи, она снова опустила голову на колена. Просто-ватою и сердобольной Ударде послышалась в этих последних словах жалоба на холод, и она опять самым наивным голосом спросила ее:

– Так не хотите ли, мы вам разведем огонь?

– Огонь?.. – спросила затворница с каким-то странным выражением голоса. – А хватит ли его у вас для той бедной малютки, которая уже пятнадцать лет как лежит под землей?

Она вся затряслась, голос ее дрожал, глаза ее сверкали, и она приподнялась на колена. Вдруг она протянула свою белую и худую руку по направлению к смотревшему на нее ребенку и воскликнула:

– Унесите скорей ребенка! Сейчас придет цыганка!

И с этими словами она повалилась на землю, причем лоб ее, ударившись о плиту, издал такой же звук, какой издает камень, стукнувшись о камень. Все три женщины подумали, что она умерла. Однако, несколько мгновений спустя, она зашевелилась, и они увидели, как она на коленях и на локтях поползла в тот угол, где лежал детский башмачок. Они не решились заглянуть в оконце, но им ясно слышны были бесчисленные вздохи и поцелуи, перемежавшиеся с раздражающими душу криками и с глухим стуком, происходившим как будто от ударов головою об стену. Наконец, после одного из таких стуков, столь сильного, что они все трое зашатались, они ничего более не слышали.

– Неужели она убилась? – сказала Жервеза, рискнув, наконец, просунуть голову в оконце. – Сестрица! Сестра! Гудула!

– Сестра Гудула! – повторила Ударда.

– Ах, Боже мой! Она не шевелится! – продолжала Жервеза. – Неужели она умерла? Гудула, Гудула!..

Магьетта задыхалась и долго не могла произнести ни слова. Наконец, она сделала над собой усилие и сказала:

– Подождите! – Затем, нагнувшись к оконцу, она окликнула лежавшую в ней женщину словами:

– Пахита! Пахита Шанфлери!

Ребенок, который, шая, вздумал бы дуть на подложенный к бомбе тлеющий фитиль, вследствие чего бомба разорвалась бы под самым его носом, не был бы так испуган, как

была испугана Магьетта при виде того впечатления, которое произвели эти слова ее на сестру Гудулу.

Затворница задрожала всем телом, вскочила на свои босые ноги и подбежала к оконцу с такими сверкающими глазами, что Магьетта, Ударда, Жервеза и ребенок попяtilись до самой набережной. Тем временем у решетки окна появилось мрачное лицо затворницы.

– Ого-го! – кричала она с диким хохотом, – кто зовет меня? Цыганка?

В это время блуждающий взор ее остановился на сцене, разыгрывавшейся у позорного столба. На лице ее изобразился ужас. Она высунула из оконца обе свои скелетообразные руки и воскликнула голосом, походившим скорее на хрипение:

– Опять ты здесь, дочь Египта! Это ты звала меня, воровка детей! Так будь же ты проклята, проклята, проклята!..

IV. Слеза за каплю воды

Слова эти были как бы соединительной чертой между двумя сценами, которые до сих пор разыгрывались, так сказать, параллельно, на одной и той же площади – одна близ Крысиной норы, другая, которую мы сейчас опишем, на лестнице, ведущей к позорному столбу Свидетельницей первой были только три женщины, с которыми читатели только что познакомились, зрительницей второй была вся толпа, которая, как мы видели выше, собралась на Гревской площади вокруг позорного столба и виселицы.

Эта толпа, ожидавшая, при виде четырех полицейских сержантов, ставших с девяти часов утра у четырех углов лобного места, какой бы то ни было казни, если и не повешения, то, по меньшей мере, наказания плетью, обрезания ушей, словом, чего-нибудь в этом роде, в непродолжительном времени до того возросла, что четыре сержанта, на которых ротозеи напирали со всех сторон, не раз нашли нужным осаживать ее при помощи кулаков и лошадиных круп. Впрочем, толпа эта, привыкшая ко всем приготовлениям, предшествовавшим подобного рода зрелищам, не выказывала слишком большого нетерпения. Она забавлялась разглядыванием лобного места, очень простого, в сущности, сооружения, состоявшего из каменного куба футов десяти в высоту и пустого внутри. Очень крутая лестница, сложенная из необтесанных камней, вела на верхнюю площадку этого куба, на которой можно было различить прикрепленное в горизонтальном положении колесо, сделанное из цельного дуба. Подвергаемого наказанию привязывали к этому колесу, предварительно поставив его на колени и скрутив ему руки назад. Деревянный стержень, приводившийся в движение воротом, устроенным внутри этой небольшой постройки, придавал колесу вращательное движение, причем оно оставалось, однако, в горизонтальном положении, и таким образом лицо наказуемого поочередно было видно со всех пунктов площади. Это-то и называлось «поворачивать преступника».

Как видно, Гревское лобное место представлялось гораздо менее интересным, чем лобное место возле Ратуши. Тут не было ни крыши из железных стропил, ни восьмигранного фонаря, ни изящных колонн, оканчивавшихся под самой крышей акантовыми листьями и цветами, ни причудливых и безобразных желобов, ни плотничной резьбы, ни искусно высеченных камней. Здесь приходилось ограничиваться четырьмя голыми стенами, сложенными из песка-ника, двумя аспидными досками и стоявшею рядом с ними жалкою, тощею и голою каменной виселицей. Словом, для любителей готической архитектуры здесь была бы скучная пожизня. Нужно, впрочем, заметить, что нетребовательные средневековые ротозеи мало смыслили в архитектуре и еще менее заботились о красоте лобного места.

Наконец, привезли осужденного, привязанного к заду телеги. Когда его ввели на помост, когда его можно было разглядеть со всех пунктов площади, привязанным веревками и ремнями к колесу, по всей площади раздавались крики, смех и свистки. Все узнали Квазимодо.

И действительно, это был он. Странное коловращение судьбы! Сегодня ему пришлось быть выставленным у позорного столба на той самой площади, на которой его не далее как вчера приветствовала восторженными криками толпа, на которой он фигурировал в виде шутовского папы, имея в своей свите Египетского герцога, Тунского короля и императора Галлилеи. Во всяком случае, верно только то, что во всей этой толпе не было ни одного человека, не исключая и его самого, вчерашнего триумфатора и сегодняшнего наказуемого, который мог бы составить себе ясное понятие о том, как и почему все это так случилось. Дело в том, что при этом зрелище не было философа Гренгуара.

Наконец, Мишель Нуаре, герольд его величества короля, заставил толпу замолчать и громким голосом прочел состоявшийся в это утро приговор. Затем он встал позади телеги, вместе с своей, одетой в полицейские мундиры, свитой.

Квазимодо оставался совершенно безучастен ко всему, происходившему вокруг него, и не шевелил бровью. Всякое сопротивление с его стороны сделалось невозможным, в виду «крепости и прочности уз», как говорилось в то время на канцелярском языке, другими словами, – потому, что он так крепко был скручен веревками и ремнями, что они врезывались в его тело. Эта традиция сохранилась, впрочем, еще и до наших дней, и колодники сохранили полнейшее право гражданства среди нас, цивилизованного, гуманного, кроткого народа (не говоря уже о галерах и о гильотине).

Он беспрекословно давал вести, толкать, нести, усаживать, связывать и перевязывать себя. На его лице ничего нельзя было прочесть, кроме удивления дикаря или идиота. Все знали, что он глух, но теперь можно было подумать, что он и слеп. Его поставили на колена на круглую доску, – он не сопротивлялся. С него сняли его камзол и рубашку и обнажили его до пояса, он не сопротивлялся. Его привязали к колесу с помощью целой сложной системы ремней и пряжек, он все-таки не сопротивлялся; он только тяжело дышал, точно теленок, голова которого свесилась с телеги мясника и болтается.

– Экий болван! – сказал Жан Фролло-де-Мулен другу своему Робену Пусспену (ибо, само собой разумеется, что оба школяра сочли своим неперменным долгом присутствовать и при этой экзекуции), – он ничего не понимает, точно майский жук, посаженный в коробку.

Толпа разразилась громким смехом, увидев обнаженный горб Квазимодо, его верблюжью грудь, его волосатые и грубые плечи. Еще не успел улечься смех, как какой-то человек, одетый в мундир муниципальных чиновников, небольшого роста, но крепкого сложения, взошел на плаху и стал возле осужденного. Имя его тотчас же стало переходить из уст в уста; это был Пьерро Тортерю, присяжный палач при парижском суде.

Он начал с того, что поставил в один из углов выкрашенные черной краской песочные часы, верхний сосуд которых был наполнен красноватым песком, сыпавшимся отдельными песчинками в нижний сосуд. Затем он снял свой камзол и взял в правую руку тонкое кнутовище, к которому были прибиты гвоздями несколько длинных ремней, белых, блестящих, узловатых, заплетенных, с железными наконечниками. Левой рукой он небрежно засучил правый рукав своей рубашки выше локтя.

Тем временем Жан Фролло кричал, поднимая свою белокурую, курчавую голову над головами толпы (для того, чтобы лучше видеть, он вскарабкался на плечи своего друга Пусспена):

– Приходите, господа и госпожи! Сейчас будут наказывать плетью господина Квазимодо, звонаря моего брата, г. архидиакона, замечательный образец восточной архитектуры, у которого спина представляет купол, а ноги – кривые колонны!

И толпа разразилась хохотом, в особенности дети и молодые девушки.

Наконец, палач топнул ногою, и колесо завертелось; Квазимодо закачался под своими ремнями. Тупое удивление, выразившееся вдруг на его безобразном лице, еще более усилило хохот толпы.

Вдруг, в то самое время, когда колесо в своем вращательном движении подставило палачу горбатую спину Квазимодо, г. Пьерро поднял правую руку, тонкие ремни зашипели в воздухе, как змеи, и затем опустились на спину несчастного. Квазимодо весь вздрогнул, как бы внезапно пробужденный. Теперь он начинал понимать. Он съежился под стягивавшими его ремнями; безобразные черты лица его сделались еще более безобразными от выражения удивления и боли, но он не испустил ни единого крика. Он только стал мотать головою, точно бык, которого ужалил слепень.

За первым ударом последовал второй, затем третий, и еще, и еще, без конца. Колесо продолжало вертеться, удары продолжали сыпаться. Вскоре на спине несчастного выступила кровь, которая стекала ручьями на смуглые плечи горбуна, а тонкие ремни, свистя по воздуху, разносили брызги ее в толпу.

Квазимодо снова сделался, по крайней мере, с виду, совершенно безучастным ко всему, что с ним творилось. Он сначала пытался было потихоньку, не делая особенно резких движений, разорвать скручивавшие его ремни. По крайней мере, многие могли заметить, как единственный его глаз заблестел, мускулы его сжались, члены его съежились, а веревки и ремни вытянулись. Это было отчаянное усилие; однако, ремни оказались достаточно крепкими; они только затрещали, но не порвались. Тогда на лице обессиленного Квазимодо выражение удивления уступило место выражению глубокого и горького отчаяния. Он закрыл единственный свой глаз, опустил голову на грудь и притворился мертвым.

С этих пор он уже не шевелился, и ничто не могло вызвать с его стороны ни малейшего движения, ни его кровь, не перестававшая литься, ни удары, становившиеся все более и более сильными, ни гнев истязателя, который приходил в азарт и как бы пьянел от вида крови, ни страшный свист ремней, более пронзительный и более резкий, чем свист насекомого.

Наконец, судебный пристав, присутствовавший с самого начала экзекуции верхом на черной лошади возле самой лестницы, ведущей на плаху, протянул свою палочку из черного дерева по направлению к песочным часам. Палач опустил свою руку; колесо остановилось; глаз Квазимодо медленно раскрылся.

Наказание плетью было окончено. Два помощника палача обмыли окровавленные плечи наказанного, смазали их какою-то мазью, которая тотчас же стянула все рубцы, и накинули ему на спину какой-то кусок желтой материи, выкроенный в виде ризы. Тем временем Пьерро Тортерю давал стекать на мостовую каплям крови с ремней плети.

Но этим еще не все окончилось для Квазимодо. Ему оставалось еще простоять целый час у позорного столба согласно мудрой приписке, сделанной Флорианом Барбедиенном к резолюции Робера д'Эстутевилля – вероятно, в подтверждение старинной физиологически-психической игры слов Иоанна Куменского: «Surdus absurdus» (глух – глуп). Поэтому палач перевернул песочные часы и оставил горбуна привязанным к колесу для того, чтобы правосудие совершилось до конца.

Простой народ, особенно в средние века, является в обществе тем же, чем ребенок является в семействе. До тех пор, пока он остается в первобытном состоянии нравственного и умственного несовершенноголетия, о нем можно сказать то же, что сказал поэт о ребенке: «Этот возраст не знает сострадания».

Мы упоминали уже выше о том, что Квазимодо пользовался всеобщей ненавистью, правда, не совсем неосновательною. Во всей этой толпе едва ли был хотя один человек, который не относился бы со злобой и презрением к гадкому звонарю-горбуну. Поэтому Велика была всеобщая радость, когда его увидели выставленным к позорному столбу; жестокое наказание, которому он только что подвергся, и жалкое положение, в котором он оставался после него, не только не возбудили в массе жалости, но сделали ее ненависть еще более злобною и придали ей комический оттенок.

В виду этого нет ничего удивительного в том, что, по совершении «публичной кары», как и ныне еще говорят на своем жаргоне присяжные юристы, наступила очередь проявления в тысячи видах частной мести. И здесь, как и во всяких подобного рода случаях, преобладали женщины: почти все они не любили его, одни за его злость, другие за его безобразие. Особенно неистовствовали последние.

– У-у! антихристова рожа! – говорила одна.

– Ему бы только и делать, что ездить верхом на метле – кричала другая.

– Вот теперь-то он еще красивее, чем вчера, – хихикала третья. – Жаль, что вчерашний день не был сегодняшним. Вот то вышел бы настоящий шутовской папа!

– Да что, – с сожалением замечала какая-то старуха, – ведь это только позорный столб. То ли дело добрая виселица!

– Когда тебя заруют с твоим большим колоколом на сто футов под землю, проклятый звонарь?

– И подумаешь, что этакий-то дьявол благовестил к «Достойной!»

– У-у, проклятый глухарь, горбун, кривой, чучело!

– Если какая-нибудь женщина пожелает выкинуть, то ей достаточно посмотреть на него: это будет подействительнее всяких лекарств и снадобий.

А оба школяра, Жан Фролло и Робен Пусспен, распевали во всю глотку старую простонародную песенку:

«Для висельника петля, для чучела – соломы связка».

И со всех сторон на беднягу сыпались насмешки, брань, ругательства, а порою и камни.

Хотя Квазимодо был глух, но за то он хорошо видел единственным своим глазом, а народная ярость выражалась на лицах не менее ясно, чем на словах. К тому же сыпавшиеся на него камни служили достаточно ясной иллюстрацией к раздававшимся отовсюду взрывам хохота.

Он сначала крепился. Но мало-помалу это терпение, устоявшее против плети палача, лопнуло и не выдержало тысячи уколов мелких мошек. Так Астурийский бык остается равнодушным к уколам копья пикадора, но приходит в ярость от лая собак и от махания флагами.

Сначала он медленно обвел толпу угрожающим взглядом. Но так как он был крепко накрепко привязан к колесу, то взгляд его был бессильен для того, чтобы прогнать надоедавших ему мух, бередивших его рану. Тогда он начал корчиться и ворочаться с такою силою, что доски старого колеса трещали и скрипели. Все это еще более усиливало смех и крики толпы. Тогда несчастный, убедившись в том, что ему все равно не разорвать свои оковы, снова успокоился; только по временам из глубины его груди вырывался вздох ярости. Лицо его не было красно и на нем нельзя было прочесть выражения стыда: он был слишком далек от цивилизации и слишком близок к первобытному состоянию, чтобы понимать, что такое стыд. К тому же, разве мыслимо чувство стыда при таком уродстве? Но за то гнев, ненависть, отчаяние медленно опускали на это безобразное лицо тучу все более и более мрачную, все более и более насыщенную электричеством, которое сверкало тысячею искр из глаза этого циклопа.

Эта туча, впрочем, рассеялась на минуту, когда он увидел пробиравшегося сквозь толпу верхом на муле священника. Как только бедняга еще издали заметил этого священника и этого мула, лицо его прояснилось: вместо прежнего выражения бессильной ярости, на нем появилась какая-то странная улыбка, кроткая, приветливая, даже нежная. По мере того, как священник приближался, улыбка эта становилась все более и более счастливою, радостною, блаженною. Несчастный как бы приветствовал прибытие спасителя. Однако, когда мул настолько приблизился к лобному месту, что всадник мог узнать наказуемого, священник опустил глаза, быстро повернул мула назад и погнал его, как бы желая избавиться от умоляющих взоров привязанного к колесу человека, очевидно, опасаясь, как бы бедняга, находившийся в таком унижительном положении, не вздумал узнать его и поклониться ему.

Это духовное лицо был архидиакон Клод Фролло.

Черная туча снова надвинулась на лицо Квазимодо. На устах его некоторое время продолжала еще играть улыбка, но теперь это была уже улыбка горькая, печальная, полная глубокого отчаяния.

А время все шло да шло. Уже, по крайней мере, целых полтора часа его мучили, терзали, осмеивали, чуть не забрасывали камнями.

Вдруг он снова заворочался на своем колесе с такою силою отчаяния, что задрожал весь помост, и, прервав, наконец, молчание, которое он упорно хранил до сих пор, он закричал хриплым и сердитым голосом, который походил скорее на лай собаки, чем на человеческий голос, и который покрыл собою стоявший вокруг него гул:

– Пить!

Этот отчаянный возглас не только не возбудил сострадания толпы, но послужил, напротив новым источником смеха для добрых парижан, окружавших эшафот, которые, нужно в том сознаться, в массе, в табуне, так сказать, были в то время не менее жестоки и не менее грубы, чем та ужасная шайка разбойников и мазуриков, с которою мы уже имели случай познакомить читателя, и которая принадлежала к подонкам общества. Вокруг несчастного не раздалось ни одного голоса, кроме голосов тех, которые глумились над его жаждой. Правда, что в эту минуту он был столько же смешон и отвратителен, сколько и достоин сожаления, с его красным, обливающимся потом, лицом, с его дико-сверкающим глазом, с его ртом, вокруг которого выступила пена ярости, с его наполовину высунувшимся языком. К этому нужно прибавить еще и то, что если бы в этой толпе и нашлась какая-нибудь сострадательная душа, которая попыталась бы дать напиться этому жалкому, мучимому жаждой существу, то предрассудков и позора, окружавших лобное место, было бы достаточно для того, чтобы заставить милосердного самарянина отказаться от своего намерения.

По прошествии нескольких минут Квазимодо снова обвел толпу отчаянным взглядом и повторил еще более раздирающим голосом:

– Пить!

Новый взрыв хохота.

– Пей вот это! – крикнул Робен Пусспен, бросив ему в самое лицо губку, поднятую им в грязной уличной луже. – На тебе, проклятый глухарь! Я еще твой должник!

Какая-то женщина швырнула ему камнем в самую голову, проговорив:

– А вот тебе за то, что ты будишь нас по ночам своим проклятым трезвоном!

– Ну, что, брат, – ревел какой-то калека, стараясь достать его своей клюкой, – будешь ты еще ниспосылать нам порчу с вышки твоей колокольни?

– На вот тебе черепок, напейся, – крикнул один из толпы, бросив ему в самую голову разбитый кувшин. – Это ты, проклятый урод, виноват в том, что жена моя, увидав твою богомерзкую рожу, разрешилась от бремени ребенком о двух головах.

– А кошка моя окотилась котенком о шести лапах, – визжала старуха, бросая в него черепицей.

– Пить! – в третий раз повторил Квазимодо, задыхаясь.

В это самое время он увидел, что толпа расступилась и что от нее отделилась молодая девушка в каком-то странном костюме, с тамбурином в руке; за нею бежала белая козочка с позолоченными рогами.

Глаз Квазимодо засверкал. Это была та самая цыганка, которую он пытался похитить прошлой ночью; он смутно сознавал, что за эту самую выходку его теперь наказывают, – предположение, впрочем, совершенно неосновательное, так как его наказывали только за то, что он имел несчастье быть глухим и попасться в руки глухому судье. Он поэтому нимало не сомневался в том, что и она направляется к нему, чтобы сорвать на нем злобу и также нанести ему удар и со своей стороны.

Действительно, она быстрым и легким шагом поднялась по лестнице. Он задыхался от злости и досады. Он в эту минуту желал бы проломить помост и если бы глаз его обладал блеском молнии, то цыганка, без сомнения, была бы испепелена прежде, чем она успела бы возвратиться на помост.

Она приблизилась, не произнеся ни слова, к Квазимодо, тщетно старавшемуся отвернуться от нее, и, отвязав от своего пояса фляжку с водой, поднесла ее к запекшимся губам несчастного.

Тогда на этом глазу, до сих пор сухом и воспаленном, выступила крупная слеза, которая медленно скатилась по этому безобразному, а теперь еще искаженному злобой и отчаянием лицу. Это, быть может, была первая слеза, которую пролило это жалкое существо. Он даже совсем забыл о своей жажде. Цыганка сделала гримасу, выражавшую нетерпение, и приложила к его зубастому, как у щуки, рту горлышко фляжки.

Квазимодо стал жадно тянуть в себя воду и выпил почти всю фляжку, – до того сильна была его жажда.

Напившись, он вытянул свои безобразные губы, без сомнения, для того, чтобы поцеловать красивую ручку, которая только что утолила его жажду. Но молодая девушка, быть может, помня ночное покушение его и, относясь к нему с недоверием, отдернула свою руку с испуганным жестом ребенка, который боится, как бы его не укусила зверь, которого он гладит. Тогда бедняга устремил на нее взор, полный упрека и невыразимой горести.

Эта красивая, свежая, чистая, прелестная и в то же время столь слабая молодая девушка, так сострадательно поспешившая на помощь к этому уродливому и злому, но несчастному существу, представила бы всюду прелестное зрелище. У позорного же столба это зрелище становилось величественным. Даже вся эта толпа стала рукоплескать и испускать одобрительные возгласы.

В это самое время затворница увидела сквозь оконце своей норы стоявшую на помосте цыганку и закричала ей диким голосом:

– Будь проклята, дочь Египта, будь проклята, проклята, проклята!..

V. Окончание истории о пшеничной лепешке

Эсмеральда побледнела и, шатаясь, спустилась с плахи, преследуемая голосом затворницы:

– Сходи, сходи, цыганская воровка! Еще придется тебе побывать там!

– Затворница блажит, – заметил кое-то из народа, и этим все дело кончилось, ибо в те времена подобного рода женщин боялись, и это обеспечивало за ними полнейшую безнаказанность. К тому же народ чувствовал невольное уважение к особам, проводившим в молитве дни и ночи.

Наступило время везти Квазимодо назад. Его отвязали от колеса, и толпа разошлась.

Подойдя к большому мосту, Магистта, возвращавшаяся домой с обеими своими спутниками, вдруг остановилась и спросила своего сына:

– А, кстати, что ты сделал со своей лепешкой, Эсташ?

– Мама, – ответил ребенок, – пока вы говорили с той женщиной, что сидит в норе, какая-то большая собака откусила кусок моей лепешки. Тогда и я стал ее есть.

– Как, негодный мальчишка, – воскликнула она, – ты съел всю лепешку?

– Нет, мама, ее съела собака. Я говорил ей, что нельзя есть, а она меня не послушалась. Тогда и я стал есть... Вот и все.

– Что за несносный ребенок! – сказала мать ворчливым голосом, но в то же время улыбаясь. – Поверите ли, госпожа Ударда, он уже теперь в состоянии съесть все вишни в нашем

Шарлеранжском саду. За то дедушка его и предсказывает ему, что он будет великий воин. – Ну, попробуй только еще раз сделать это, господин Эсташ. – У-у!.. пузан!

Часть II

Книга седьмая

I. О том, как опасно поверять тайну козе

Со времени этих событий прошло несколько недель.

Наступил март месяц. Солнце, которое Дюбартас, этот классический родоначальник перифразы, не успел еще назвать «царем свечей», тем не менее, светило ярко и весело. Стоял один из тех весенних дней, столь теплых и столь прекрасных, что весь Париж, высыпав на площади и на улицы, празднует их, точно великий праздник. В эти ясные, теплые и светлые дни бывает минута, когда главный вход в собор Парижской Богоматери представляется особенно красивым. Это именно то время, когда солнце, уже склонившись к закату, освещает своими лучами весь западный фасад собора. Лучи его, становясь все более и более горизонтальными, медленно уходят с мостовой площади, для того, чтобы сосредоточиться на остроконечном фасаде, рельефно оттеняя его выпуклости, между тем как большое, находящееся посередине его, полукруглое окно светится, как глаз циклопа-гиганта, отражающий яркий кузнечный огонь.

В этот-то час против самого собора, залитого красноватыми лучами заходящего солнца, на каменном балконе, устроенном над воротами красивого, готического дома, образовавшего угол площади и Папертной улицы, весело болтали и смеялись несколько красивых молодых девушек. Судя по длинным покрывалам, спускавшимся с вершины остроконечных, униженных жемчугом, головных их уборов до самых пяток, по тонким, вышитым сорочкам, покрывавшим их плечи, причем, однако, сообразно тогдашней моде, сквозь узорчатое шитье слегка просвечивала грудь, судя по широким нижним юбкам, более дорогим (тоже странность тогдашней моды), чем верхние, судя по тому, что все это было сделано из тонкой кисеи, шелка и бархата, и, в особенности, судя по белизне их рук, доказывавшей, что они проводили все свое время в ничегонеделании, не трудно было догадаться, что все это были богатые и знатные наследницы. Действительно, барышни эти были Флер-де-Лис де-Гондолерье и ее подруги – Диана де-Кристейль, Амелотта де-Монмишель, Коломба де-Гальфондэн и маленькая де-Шаншевриэ, – все дочери благородных родителей, собравшиеся в это время у вдовы Гонделорье, ввиду предстоявшего в апреле месяце приезда в Париж двоюродного брата короля, графа Божё, и его супруги, которые должны были выбрать здесь фрейлин для будущей супруги дофина, фландрской принцессы Маргариты, с тем, чтобы отправить их затем во Фландрию, навстречу принцессы. Все дворяне, на тридцать миль в окружности, добивались этой чести для своих дочерей, и не малое число девиц по этому случаю уже были привезены или присланы в Париж. Вышепереименованные девицы были поручены родителями и родственниками их надежной охране госпожи Алоизы де-Гонделорье, вдовы бывшего королевского стрелка, поселившейся вместе с единственной своей дочерью в своем доме, напротив паперти собора Парижской Богоматери.

Балкон, на котором сидели молодые девушки, выходил в комнату, обитую обоями из фламандской кожи, желтого цвета, с выведенными на ней золотом ветвями и листьями. Балки, поддерживавшие потолок, были украшены позолоченными и расписанными красками фигурками. На резных сундуках там и сям блестели разноцветные камни; фаянсовая кабанья голова украшала великолепный поставец, вырезанный на котором герб показывал, что хозяйка дома была жена или вдова природного дворянина. В глубине комнаты, рядом с высоким камином, равным образом украшенным сверху донизу гербами и щитами, сидела в большом кресле,

обитом красным бархатом, вдова Гонделорье, по лицу и по одежде которой сразу можно было заметить, что ей стукнуло уже 55 лет.

Возле нее стоял молодой человек, с гордым, хотя и несколько фатоватым и хвастливым выражением лица, – один из тех красавцев, от которых с ума сходят женщины, хотя серьезные, несколько знакомые с физиономистикой люди и пожимают плечами при виде их. Молодой человек этот был одет в блестящий мундир стрелков королевской гвардии, который слишком сильно напоминал собою костюм Юпитера, уже описанный нами в первой части нашего рассказа, для того, чтобы нам нужно было вторично описывать его читателю.

Молодые девушки сидели частью на балконе, частью в прилегающей к ней комнате, – одни на подушках из утрехтского бархата с золотыми кистями, другие на табуретах из резного дуба. Каждая из них держала на колунах своих полотнище какой-то вышивки, над которою они работали все сообща, и один конец, который валялся на половике, разостланном на полу.

Они болтали тем полупшепотом и с тем сдержанным смехом, которые свойственны молодым девушкам, когда среди них находится молодой человек. Но этот молодой человек, одного присутствия которого было достаточно для того, чтобы дать толчки всем этим маленьким женским самолюбиям, со своей стороны, казалось, не обращал на девушек ни малейшего внимания; и в то самое время, когда девицы наперерыв друг перед другом старались обратить на себя его внимание, он, по-видимому, весь поглощен был тем, чтобы отполировать своей замшевой перчаткой пряжку своего пояса.

По временам хозяйка потихоньку что-то говорила ему, и он отвечал ей с какой-то принужденною и несколько неловкою вежливостью. По улыбкам, по взглядам, которые госпожа Алоиза бросала на свою дочь, Флер-де-Лис, в то время, когда она потихоньку говорила с капитаном, не трудно было догадаться, что тут дело идет о каком-то сватовстве, вероятно, о решенном уже между ними предстоящем бракосочетании молодого человека с Флер-де-Лис; а натянутая холодность офицера ясно показывала, что тут, по крайней мере, с его стороны, любовь была не причем. Лицо его выражало скуку и досаду, и наши теперешние гарнизонные поручики без особого труда перевели бы это выражение словами:

– Что за собачья барщина!

Госпожа Гонделорье, не чаявшая души в своей дочери, как и многие другие матери, не обращала, однако, ни малейшего внимания на холодность офицера и продолжала шепотом обращать его внимание на то, с каким искусством Флер-де-Лис делала стежки своей иглой или разматывала свой клубок.

– Посмотрите, посмотрите, – говорила она, дергая его за рукав, чтобы заставить его нагнуть к ней свое ухо, – посмотрите-ка на нее. Вон она нагибается.

– Да, действительно, – отвечал молодой человек, и снова впадал в свое рассеянное и ледяное молчание.

Но минуто спустя ему снова приходилось нагибаться, и госпожа Алоиза говорила ему:

– Видели ли вы когда-либо более приятное и веселое лицо, чем лицо вашей суженой? Посмотрите, какие у нее великолепные белокурые волосы, какой нежный цвет лица! А ручки то ее? А шея то? Точно лебединая! Как я вам завидую иногда! И как вы счастливы, что природа создала вас мужчиной, гадкий распутник! Не правда ли, что Флер-де-Лис обворожительно хороша и что вы без ума от нее?

– Без сомнения, – отвечал он, очевидно, думая в это самое время о чем-то другом.

– Ну, так поговорите же с нею, – вдруг обратилась к нему госпожа Алоиза, легонько толкая его в плечо. – Вы сделали что-то очень робки!

Но мы, со своей стороны, можем уверить читателя в том, что робость не была ни добродетелью, ни пороком капитана. Он, однако, попытался сделать то, чего от него требовали.

– Милая кузина, – сказал он, приближаясь к Флер-де-Лис: – скажите мне, пожалуйста, что обозначает собою тот узор, который вы вышиваете?

– Милый кузен, – ответила Флер-де-Лис с выражением досады в голосе, – я уже три раза говорила вам. Это – грот Нептуна.

Очевидно было, что Флер-де-Лис гораздо лучше замечала холодность и рассеянность капитана, чем ее мать. Он счел необходимым продолжать этот разговор.

– А для кого же вы вышиваете этот Нептунов грот? – спросил он.

– Для аббатства св. Антония, – ответила Флер-де-Лис, не поднимая глаз от работы.

Капитан взял в руки один угол вышиваемого ковра и спросил:

– А что это за толстый жандарм, милая кузина, который так усердно дует в какую-то трубу?

– Это Тритон, – ответила она.

Сквозь отрывистые ответы Флер-де-Лис звучала досада. Молодой человек понял, что нужно было сказать ей что-нибудь на ухо, какую-нибудь любезность, пошлость – все равно. Поэтому он наклонился к ней, но не мог придумать никакого более нежного и конфиденциального вопроса, кроме следующего: – Почему матушка ваша носит постоянно вышитую гербами юбку, в роде тех, что носили наши бабушки при Карле VII? Скажите же ей, милая кузина, что это теперь не в моде, и что ее крюк и ее лавровое дерево²⁴, вышитые в виде герба, придают ей вид ходячего очажного колпака. Право, уверяю вас, теперь уже не принято садиться на свой герб.

Флер-де-Лис с упреком взглянула на него своими прекрасными глазами и потихоньку сказала:

– И это все, что вы имели сказать мне?

А в то же время добрая госпожа Алоиза, восхищенная тем, что они наклонились друг к другу и о чем-то шепчутся, говорила про себя, играя застежками своего молитвенника:

Какая трогательная любовная картина!

Капитан, чувствуя все большую и большую неловкость, снова возвратился к вышивке.

– А, право, премиленькая работа, – сказал он.

При этом Коломба-де-Гайльфонтен, тоже красивая блондинка, с нежным цветом лица, одетая в плотно облегавшее ее талию синее шелковое платье, решила обратиться к Флер-де-Лис с вопросом, в надежде, что за нее ответит красавец капитан.

– Милая моя Гонделорье, – спросила она: – видели ли вы обои во дворце Рош-Гюйон?

Ах, это тот дворец, при котором еще разбит такой великолепный сад? – спросила, смеясь, Диана-де-Кристейль, у которой были великолепные зубы и которая поэтому постоянно смеялась и кстати, и не кстати.

И возле которой находится еще та большая старая башня прежней парижской ограды? – присовокупила Амелотта де-Монмишель, хорошенькая, свеженькая брюнетка с вьющимися волосами, имевшая привычку вздыхать, сама не зная, о чем, подобно тому, как Диана имела привычку хохотать.

Вы, милая Коломба, – вмешалась госпожа Алоиза, – говорите, вероятно, о доме, принадлежавшем при Карле VI г-ну Баквиллю. Там, действительно, великолепные обои с вертикальной основой.

При Карле VI, при Карле VI... – пробормотал молодой человек, покручивая усы. – О, Боже мой, какую старину вспомнила эта почтенная дама!

Действительно, великолепные обои, – продолжала г-жа Гонделорье. – Это такая ценная работа, что она может считаться единственной в своем роде.

В это время Беранжера де-Шаншеврие, худенькая девочка, лет семи, смотревшая на площадь сквозь проделанные в ограде балкона отверстия в виде трилистника, воскликнула:

²⁴ Здесь трудно переводимая игра слов: Фамилия Гонделорье составлена из слов «gond», крюк и «laurier» – лавровое дерево. // Прим. перев.

– Ах, посмотри, крестная мама Флер-де-Лис, какая красивая плясунья пляшет на площади с бубном в руке! И сколько вокруг нее собралось народу!

Действительно, в комнату стали долетать звуки тамбурина.

– Какая-нибудь цыганка, – произнесла Флер-де-Лис, небрежно обернувшись к площади.

– Посмотрим, посмотрим! – воскликнули менее апатичные подружки ее, и все они подбежали к балюстраде балкона, между тем, как Флер-де-Лис, которую холодность жениха заставила задуматься, медленными шагами последовала за ними, а капитан, обрадовавшись этому эпизоду, положившему конец столь тягостному для него разговору, возвращался к камину с довольным видом солдата, которого только что сменили с караула. А между тем, стояние на часах возле красавицы Флер-де-Лис вовсе не было особенно тяжелой службой, и оно в прежнее время даже очень нравилось ему, но эта близость с красивой девушкой успела уже несколько надоесть ему, а перспектива близкого бракосочетания делала его с каждым днем все более и более холодным. К тому же постоянство не принадлежало к числу его добродетелей, и, наконец, нужно сказать правду, вкусы его были несколько вульгарны. Хотя он по рождению своему принадлежал к очень хорошему семейству, однако, он во время пребывания своего в военной службе приобрел несколько грубоватые манеры. Он любил харчевни и тому подобные места; он чувствовал себя совершенно свободным лишь среди непринужденного товарищеского разговора и среди тех женщин, с которыми не приходится особенно церемониться. Хотя он и получил некоторое образование и имел случай научиться в своем семействе хорошим манерам, но он в слишком молодых годах покинул домашний очаг и поступил в военную службу, и с каждым днем дворянский лоск все более и более стирался с него от трения солдатской лямки. В особенности стесняло его общество Флер-де-Лис, которую он продолжал еще посещать от времени до времени, во-первых потому, что, разбрасывая понемногу повсюду свою любовь, он сохранил лишь самую небольшую долю для нее; во-вторых, потому, что среди стольких чопорных, приличных, благовоспитанных особ ему постоянно приходилось опасаться, как бы язык его, привыкший к крепким словам, не проболтался, и как бы из уст его не вырвалось какое-нибудь кабацкое выражение. Вот то разодолжил бы всех!

Впрочем, все это не исключало с его стороны претензий на изящество в туалете и в манере держать себя. Пусть читатель согласует все это, как сумеет. Я не что иное, как историк.

Итак, он стоял в течение нескольких минут, о чем-то думая, или ни о чем не думая, облокотившись о резной наличник камина, как вдруг Флер-де-Лис, повернувшись к нему, обратилась с вопросом (бедная девушка делала только вид, будто сердится на него):

– Милый кузен, – спросила она его, – не говорили ли вы нам о какой-то цыганочке, которую вы месяца два тому назад, делая ночной обход, спасли от шайки негодяев?

– Да, кажется, кузина, – ответил капитан.

– Так не та ли это самая цыганочка пляшет вон там, перед папертью? Придите-ка сюда, посмотрите. Быть может, вы ее узнаете, кузен Феб.

В этом приглашении ее ему подоить к ней сквозило желание примирения, равно как и в том, что она сочла нужным назвать его по имени. Капитан Феб-де-Шатопер (ибо читатель с самого начала этой главы имеет дело именно с ним) медленными шагами приблизился к балкону.

– Посмотрите, – нежно сказала Флер-де-Лис, кладя свою руку на его плечо, – на эту девушку, которая пляшет вон там, на площади... Не ваша ли это цыганочка?

Феб взглянул на площадь и ответил:

– Да, это она. Я узнаю ее по ее козочке.

– Ах, в самом деле, какая хорошенькая козочка! – воскликнула Амелотта, всплеснув руками от восторга.

– А что это у нее взаправду золотые рога? – спросила маленькая Беранжера. Не поднимаясь со своего кресла, госпожа Алоиза спросила:

– Не одна ли это из тех цыганок, которые прибыли в конце прошлого года в Париж через Жибарские ворота?

– Мамаша, – потихоньку заметила ей Флер-де-Лис, – эти ворота называются ныне Адскими.

Ей хорошо было известно, до какой степени капитана шокировали устарелые выражения, которые нередко употребляла ее мать. И действительно, он начал уже посмеиваться, говоря сквозь зубы:

– Жибарские ворота! Жибарские ворота! Это, должно быть, те самые, в которые въезжал король Карл VII.

– Крестная мама! – воскликнула Беранжера, глазки которой, перебегая постоянно от одного предмета к другому, вдруг остановились на одной из башен собора, – что это там, наверху, за черный человек?

Все молодые девушки подняли глаза. Действительно, на вышке северной башни, выходявшей на Гревскую площадь, облокотившись о перила, стоял какой-то человек. По костюму его было видно, что это лицо духовное; снизу можно было ясно отличать его костюм и то, что он поддерживал свою голову обеими руками. Он стоял неподвижно, как статуя, пристально вперив взор свой на площадь. Он в эту минуту напоминал собою коршуна, который с высоты приметил гнездо воробья и, паря по воздуху, пристально всматривается в него.

– Это г. архидиакон Иосия, – сказала Флер-де-Лис.

– Хорошее же у вас зрение, если вы можете узнать его отсюда, – заметила Коломба де-Гайльфонтэн.

– Как он смотрит на маленькую танцовщицу! – воскликнула Диана де-Кристейль.

– Как бы ей не пришлось плохо! – произнесла Флер-де-Лис. – Он терпеть не может цыганок.

– А жаль, что этот человек так на нее смотрит, – присовокупила Амелотта де-Монмишель. – Она так мило пляшет...

– Милый кузен Феб, – вдруг воскликнула Флер-де-Лис, – так как вы знаете эту цыганочку, то сделайте ей знак, чтобы она вошла к нам. По крайней мере, позабавимся.

– Ах, да, да, пожалуйста! – воскликнули все молодые девушки, захлопав в ладоши.

– Ну, что за глупости! – ответил Феб. – Она, без сомнения, давно уже забыла обо мне; я даже и не знаю, как ее зовут. Впрочем, так как вы желаете, барышни; то я попробую. – И, перегнувшись через перила балкона, он громко крикнул:

– Эй, голубушка!

Плясунья как раз в это время перестала бить в бубен. Она повернула голову в ту сторону, откуда раздался оклик; ее блестящий взор устремился на Феба, и она вдруг остановилась, как вкопанная.

– Голубушка! – повторил капитан и поманил ее пальцем.

Молодая девушка еще раз взглянула на него, затем вся вспыхнула и, взяв бубен свой под мышку, направилась, пробираясь сквозь толпу удивленных зрителей, к двери того дома, в который позвал ее Феб; она шла медленными шагами, пошатываясь, напоминая собою птичку, летящую, под влиянием направленного на нее взора змеи, прямо в пасть к последней.

Минуту спустя портьера гостиной приподнялась; на пороге появилась молодая цыганка, вся раскрасневшаяся, смущенная, запыхавшаяся, опустив в землю свои большие глаза, и остановилась в дверях. Маленькая Беранжера захлопала в ладоши.

Плясунья продолжала стоять неподвижно. Появление ее произвело на молодых девушек странное впечатление. Не подлежит сомнению, что всех их одновременно одушевляло смутное и неопределенное желание понравиться красивому офицеру, что блестящий мундир его был мишенью, в которую направлялись все стрелы их кокетства, и что с тех пор, как он был среди них, между ними существовало какое-то тайное глухое соперничество, в котором они

сами себе не сознавались, но которое, тем не менее, ежеминутно сказывалось в их словах и даже в их движениях. Тем не менее, так как все они были приблизительно одинаково красивы, то они, значит, сражались равным оружием, и каждая из них могла рассчитывать на победу. Но приход цыганки разом нарушил это равновесие. Она отличалась такою поразительной красотой, что в ту минуту, когда она появилась на пороге двери, вся комната как бы озарилась сверхъестественным блеском. В этой тесной комнате, в этой оправе дуба и обоев она была еще несравненно красивее и очаровательнее, чем на большой площади. Благородные барышни невольно были ослеплены этой красотой, и каждая из них почувствовала в душе, что ей далеко до красоты цыганки. Поэтому они немедленно, если можно так выразиться, переменили фронт. Хотя они не обменялись ни единым словом, однако, они отлично поняли друг друга, женщины своим инстинктом гораздо скорее понимают друг друга и отвечают друг другу, чем мужчины, со своею рассудительностью. В среде их появился враг: они все разом это почувствовали и поспешили сомкнуть свои ряды. Достаточно одной капли вина для того, чтобы окрасить целый стакан воды; для того, чтобы окрасить известным настроением целое собрание красивых женщин, достаточно появления женщины еще более красивой, в особенности, если среди них находится только один мужчина.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что со стороны женской части общества цыганке был оказан ледяной прием. Они оглядели ее с ног до головы, потом взглянули друг на друга, – и все было кончено: они понимали друг друга. Тем временем молодая девушка ждала, чтобы с нею заговорили, до того смущенная, что она не смела поднять век.

Первым нарушил молчание капитан.

– Честное слово, – проговорил он смелым и фатоватым голосом, – вот так прелестное создание! Каково ваше мнение, милая кузина?

Это замечание, которое деликатный обожатель сделал бы, по крайней мере, вполголоса, отнюдь не было в состоянии рассеять женскую ревность, возбужденную появлением цыганки.

– Недурна! – ответила Флер-де-Лис капитану с каким-то слащаво-презрительным выражением голоса.

Остальные девушки перешептывались.

Наконец, госпожа Алоиза, которая была ревнива не менее других, потому что она была ревнива за дочь свою, обратилась к плюсунье со словами:

– Подойди-ка сюда, моя милая!

– Пойдите, моя милая, – повторила с комической важностью маленькая Беранжера, едва доходившая молодой цыганке до пояса.

Цыганка приблизилась к знатной барыне.

– Мое милое дитя, – торжественно произнес Феб в свою очередь, делая несколько шагов по направлению к ней, – я не знаю, настолько ли я счастлив, что вы узнали меня...

Она перебила его, бросив на него кроткий взор, и, улыбнувшись, проговорила:

– О, конечно!

– У нее хорошая память, – заметила Флер-де-Лис.

– А кстати, – продолжал Феб, – вы в этот вечер очень поспешно скрылись. Что же, вы боялись меня?

– Ах, нет, – ответила цыганка.

В том выражении, с которым произнесены были эти «о, конечно» и «ах, нет», было что-то особенное, что очень не понравилось Флер-де-Лис.

Вы оставили у. меня на руках, вместо себя, красавица моя, – продолжал Феб, язык которого тотчас же развязался, как только ему приходилось говорить с девушкой из простого сословия: – какого-то угрюмого, кривого и горбатого уроды, кажется, Звонаря при соборе Богоматери. Меня уверяли, что он незаконнорожденный сын какого-то архидиакона, а другие утверждают – самого черта. У него еще какое-то потешное имя вроде Великого поста, Верб-

ного Воскресенья, Сыропуста, или что-то подобное... Словом, его имя напоминает какой-то праздник. И этот негодяй позволил себе похитить вас, точно вы созданы для церковных сторожей! Этаким негодяй! Чего же ему нужно было от вас, этому нетопырю? А, расскажите-ка!

– Я сама не знаю, – ответила она.

– Какова дерзость! Какой-то звонарь похищает девушек, точно как будто бы он был граф! Какой-то мужлан охотится за дворянской дичью! Это неслыханно! Ну, впрочем, ему и досталось же за это! Пьерро Тортерю шутить не любит, и я могу сообщить вам, если, это будет вам приятно, что он таки порядком постегал его.

– Бедняжка! произнесла цыганка, которой слова эти напомнили сцену на Гревской площади.

– Черт побери! – воскликнул капитан, расхохотавшись, – вот так неуместное сострадание! Пусть я буду брюхат, как папа, если...

Но тут он вдруг спохватился.

– Прошу извинения, сударыни, – проговорил он. – Я чуть не сболтнул глупости...

– Фи, сударь! – сказала Коломба Гайльфонтэн.

– Что ж делать! – вполголоса заметила Флер-де-Лись, – он говорит языком этой твари. – Досада ее увеличивалась с каждой минутой. Ослаблению этой досады, конечно, не могло содействовать то, что капитан, все более и более восторгаясь цыганкой, принялся вертеться на каблуке, приговаривая с наивной солдатской откровенностью:

– А славная девка, ей-Богу!

– Она одета, точно дикарка, – заметила Диана де-Кристейль, снова улыбнувшись во весь рот.

Это замечание явилось для остальных лучом света, так как оно обнаружило им слабую сторону цыганки. Не видя возможности отрицать красоту ее, они накинулись на ее костюм.

– А в самом деле, моя милая, – обратилась к ней Амелотга де-Монмишель, – с чего это ты выдумала бегать таким образом по улицам без чепчика и без косынки?

– А можно ли носить такие короткие юбки? – прибавила г-жа Гайльфонтэн.

– Моя милая, – продолжала насмешливым тоном Флер-де-Лис, – вас еще заберут на улице полицейские сержанты за ваш золотой пояс.

– А знаешь ли, голубушка, – присовокупила г-жа Кристейль с неумолимой улыбкой, – если бы ты надела, как все порядочные женщины, рукавчики на руки, то они не загорели бы так на солнце.

Эти благовоспитанные барышни, старавшиеся всячески уязвить и уколоть своими ядовитыми и раздраженными змеиными язычками бедную уличную плясунью, представляли собою зрелище, достойное более наблюдательного зрителя, чем каким был Феб. Они были в одно и то же время и жестоки, и грациозны; они злобно обшаривали и чуть не обнюхивали составленный из пестрых лоскутков костюм бедной цыганки. Смешкам, издевкам, уколам не было конца; злобные взгляды и дешевые остроты градом сыпались на молодую цыганку; можно было подумать, что видишь перед собою знатных римских матрон, забавлявшихся втыканием золотых булавок в грудь красивой невольницы, или стройных, борзых собак, обнюхивающих, с блестящими глазами и раздутыми ноздрями, бедную, затравленную ими лань, до которой строгий взгляд охотника запрещает им прикоснуться.

И что такое, в сущности, представляла собою рядом со всеми этими знатными барышнями жалкая уличная плясунья? Они, по-видимому, не обращали ни малейшего внимания на ее присутствие и громко говорили о ней, перед ней, ей самой, как о чем-то довольно неопрятном, довольно противном, хотя и красивом.

Цыганка не оставалась равнодушной к этим булавочным уколам. По временам щеки ее покрывались краской стыда, а глаза ер блестели злобой; презрительное слово готово было сорваться с уст ее, и на лице ее появлялась гримаса, известная уже читателю. Но она молчала

и оставалась неподвижной, устремив на Феба взгляд, полный кротости, печали и покорности; кроме того, в этом взгляде можно было прочесть и счастье, и нежность. Можно было подумать, что она сдерживала себя из боязни, что ее прогонят.

Что касается Феба, то он смеялся и принимал сторону цыганки со смесью наглости и сострадания.

– Пускай они болтают себе, моя милая, – повторял он, щелкая своими шпорами. – Оно, конечно, ваш костюм несколько странен и необычен. Но вы так прекрасны, что все это ничего не значит.

– Ах, Боже мой! – воскликнула белокурая Коломба Гайльфонтэн, с ядовитой улыбкой откидывая назад свою голову и выставляя свою лебединую шею, – я замечаю, что сердце господ королевских стрелков легко загорается о цыганские глазки.

– А почему ж бы и не так? – сказал Феб.

При этом ответе, брошенном наудачу, точно камень, за полетом которого даже не следит бросивший его, и Коломба, и Диана, и Амелотта, и Флер-де-Лис расхохотались, причем, однако, у последней в то же время выступили на глазах слезы.

Цыганка, опутивши глаза в землю при словах Коломбы, теперь снова вскинула ими, с выражением радости и гордости, и устремила их на Феба. В эту минуту она была поразительно красива.

Госпожа Гонделорье, до сих пор молча смотревшая на эту сцену, не понимая хорошенько, что происходит вокруг нее, почувствовала себя оскорбленной последним восклицанием Феба.

– Ах, Боже мой! – вдруг воскликнула она: – что это там шевелится у меня под ногами! Фу! Противное животное!

Это была козочка, которая последовала в комнату за своей госпожой и которая, проходя мимо знатной барыни, запуталась рогами в ворохе ее юбок. Это обстоятельство дало другой оборот разговору. Цыганка, не говоря ни слова, выпутала рога козочки из вороха платьев.

– Ах, вот и козочка с золотыми копытцами! – воскликнула Беранжера, прыгая от радости.

Цыганка встала на колена и припала щекой к головке козы, как бы прося у нее прощения, что так надолго покинула ее.

В это время Диана нагнулась к уху Коломбы и сказала ей:

– Ах, Боже мой, как это я не подумала о том раньше! Ведь это цыганка с козочкой! Говорят, что она колдунья и что коза ее проделывает самые диковинные штуки.

– Ну, так пусть же козочка, в свою очередь, позабавит нас, – сказала Коломба, – и что-нибудь проделает перед нами.

– Милая, заставьте вашу козочку что-нибудь проделать, – в один голос обратились Диана и Коломба к цыганке.

Я не понимаю, что вы этим хотите сказать, – ответила плясунья.

– Ну, какой-нибудь фокус, какое-нибудь колдовство, что ли!

– Хорошо, я попробую, – сказала она, и принялась ласкать хорошенькую головку козочки, приговаривая, – Джали, Джали!

В эту минуту Флер-де-Лис заметила привешенный на шее козы небольшой мешочек из расшитой узорами кожи и спросила у цыганки:

– А это у нее что такое?

– Это моя тайна, – серьезно ответила цыганка, вскинув на нее своими большими глазами. «Очень бы мне хотелось узнать твою тайну», – подумала Флер-де-Лис.

Однако хозяйка поднялась со своего места с недовольным видом и сказала:

– Ну, цыганка, если ни ты, ни твоя коза не хотите проплясать перед нами, то я не понимаю, чего вам здесь нужно!

Цыганка, не ответив ни слова, медленно направилась к двери. Но по мере того, как она приближалась к ней, шаг ее замедлялся; ее точно удерживал какой-то магнит. Вдруг она устала на Феба свои влажные от слез глаза и остановилась.

– И в самом деле, – воскликнул капитан, – так нельзя уходить! Возвратитесь и пропляшите что-нибудь пред нами. А кстати, красотка моя, как вас звать?

– Эсмеральда, – ответила плясунья, не спуская с него глаз.

Услышав это необычное имя, молодые девушки расхохотались, как сумасшедшие.

– Вот так ужасное имя для барышни! – воскликнула Диана.

– Вы видите, – прибавила Амелотта, – что это чародейка!

– Моя милая, – торжественно произнесла госпожа Алоиза, – такого имени нет в святцах.

Во время этой сцены Беранжера, воспользовавшись тем, что никто не обращал на нее внимания, заманила с помощью пряника козочку в отдаленный угол комнаты, и через минуту они были уже величайшими друзьями. Любопытный ребенок отвязал ладанку, повешенную на шее у козочки, открыл ее и высыпал на ковер то, что в ней содержалось. Оказалось, что это была азбука, каждая буква которой была написана отдельно на маленькой буковой дощечке. Как только дощечки эти были высыпаны на ковер, как ребенок с удивлением увидел, что козочка принялась за один из своих фокусов: она стала вытаскивать своим позолоченным копытцем одну букву за другою и располагать их в известном порядке, слегка подталкивая их. Через минуту составилось слово, и Беранжера вдруг воскликнула, всплеснув от удивления руками:

– Крестная мама Флер-де-Лис! Посмотри-ка, что сделала козочка!

Флер-де-Лис подбежала и вся затряслась. Из букв, расположенных козою на полу, образовалось слово:

Феб.

– Это коза написала? – спросила она дрогнувшим голосом.

– Да, да, крестная мама, – наивно ответила Беранжера. В этом, впрочем, и невозможно было сомневаться, так как ребенок еще не умел писать.

«Так вот ее тайна», – подумала Флер-де-Лис.

Однако на возглас ребенка сбежались все, – и мать, и молодые девушки, и цыганка, и офицер. Цыганка, увидев, что натворила ее козочка, сначала вся вспыхнула, затем побледнела, и, словно преступница, задрожала, стоя перед капитаном, который смотрел на нее с улыбкой удовольствия и удивления на устах.

Феб! – шептали пораженные молодые девушки, – ведь это имя капитана!

У вас отличная память! – сказала Флер-де-Лис цыганке, стоявшей, точно окаменелая. Затем, разразившись рыданиями и закрывая себе лицо своими красивыми руками, она проговорила печальным голосом: – О, это чародейка! В то же время она слышала, как какой-то голос шептал в глубине ее сердца: – Это соперница! – И затем она лишилась чувств.

– Дочь моя! Дочь моя! – закричала испуганная мать. – Убирайся, проклятая цыганка! Эсмеральда мигом подобрала злосчастные буквы, сделала Джали какой-то знак рукою и вышла в одну дверь, между тем, как Флер-де-Лис выносили в другую.

Капитан Феб, оставшись один, колебался одно мгновение, в какую дверь ему направиться. Наконец, он последовал за цыганкой.

II. Иное дело священник, иное – философ

Священник, которого молодые девушки заметили на северной башне опиравшимся на перила и внимательно следившим за плясавшею на площади цыганкой, был, действительно, не кто иной, как Клорд Фролло.

Читатели наши, вероятно, не забыли той таинственной кельи, которую устроил себе Клоде на вышке башни. (Сказать мимоходом, я не вполне уверен в том, не та ли это самая

келийка, во внутрь которой и до сих пор можно заглянуть через небольшое четырехугольное оконце, сделанное с восточной стороны колокольни в высоту роста человеческого и выходящее на площадку, с которой начинаются колокольни. Теперь это – пустая, с обвалившейся штукатуркой, каморка, стены которой украшены в настоящее время безобразными, пожелтевшими картинами, изображающими фасад собора. Я предполагаю, что в настоящее время в этой каморке обитают совместно летучие мыши и пауки, и что, следовательно, попадающие туда мухи вдвойне подвергаются истребительной войне).

Каждый день, за час до захода солнца, архидиакон поднимался на колокольню и запирался в этой келье, где он иногда проводил целые ночи. В этот день, в то самое время, как он, дойдя до низкой двери этой каморки, вкладывал в замочную скважину ключ, который он постоянно носил с собою в сумке, висевшей у него на поясе, до его слуха долетели с площади звуки бубна и кастаньет. В самой каморке, как мы уже сказали, было одно только оконце, выходящее на крышу церкви. Клод Фролло поспешно вынул ключ из замочной скважины и минуту спустя он стоял на самой вышке башни в том задумчивом и мрачном положении, в котором, как мы имели случай видеть, заметили его молодые девушки.

Он стоял здесь серьезный, неподвижный, поглощенный одною мыслью, устремив взор в одну точку. Весь Париж расстился у ног его, с тысячами стрел своих зданий и с своим горизонтом зеленеющих лугов, со своей рекой, змейкой извивающейся под мостами, с своим населением, волною перекатывающимся по улицам и площадям, с своими облаками дыма и с кряжеподобною цепью крыш своих, теснившихся чешуей своей к собору Богоматери. Но во всем этом городе архидиакон видел одно только небольшое пространство – площадку перед папертью, во всей этой толпе – один только образ, – образ цыганки.

Трудно было бы определить, какого рода был этот взгляд и каков был источник того пламени, который горел в его глазах. Это был взгляд неподвижный и в то же время полный смущения и беспокойства. И при взгляде на безусловную неподвижность его тела, по которому лишь изредка пробегала невольная дрожь, точно по веткам деревьев, задетых дуновением ветра, на окоченелость его локтей, казавшихся еще более неподвижными, чем мрамор, на который они опирались, на улыбку, точно окаменевшую на лице его, всякий сказал бы, что во всей фигуре Клода Фролло живыми только и остались, что его глаза.

Цыганка танцевала. Она заставляла вертеться бубен на кончике пальца и подбрасывала его в воздух, выплясывая провансальскую сарабанду, ловкая, веселая, легкая, вовсе не чувствуя тяжести свинцового взгляда, падавшего сверху на ее голову. Вокруг нее толпился народ. От времени до времени какой-то человек, одет в желтую с красным куртку, раздвигал образовавшийся вокруг нее круг, а затем снова усаживался на стул, стоявший невдалеке от плясуньи, и клал на свои колена голову козы. Человек этот, по-видимому, был спутник цыганки. Клод Фролло со своей вышки не мог разглядеть черты его лица.

С тех пор, как архидиакон заметил этого незнакомца, внимание его, казалось, раздвоилось между ним и танцовщицей, и взор его становился все более и более мрачным. Вдруг он выпрямился, и дрожь пробежала по всему его телу.

– Что это за человек? – проговорил он сквозь зубы, – до сих пор я ее всегда видел одну!

И затем он исчез под извилистым сводом витой лестницы и спустился вниз. Проходя мимо приотворенной двери сторожки при колокольне, он увидел нечто такое, что поразило его: он увидел Квазимодо, высунувшегося из-за аспидной кровельки, выступавшей над оконцем, и тоже смотревшего на площадь. Он до того был поглощен происходившим на площади, что даже не обратил внимания на проходившего мимо приемного отца своего. Его единственный глаз имел какое-то странное выражение, кроткое и умиленное.

– Вот так странно! – пробормотал про себя Клод. – Неужели он смотрит так на цыганку?

Он продолжал спускаться и, по прошествии нескольких минут, серьезный архидиакон вышел на площадь через дверь в нижнем этаже колокольни.

– А куда же делась цыганка? – спросил он, приблизившись к кучке зрителей, собравшихся на площади при звуке бубна.

– Не знаю, – ответил один из стоявших здесь, – она только что ушла куда-то. Кажется, ее позвали плясать вон в тот дом, напротив.

На том самом месте, где еще так недавно плясала цыганка, на том самом ковре, причудливые узоры которого еще за минуту перед тем исчезали под быстрыми и легкими ногами плясуньи, архиидиакон увидел только одетого в желтый и красный плащ человека, который, для того, чтобы, в свою очередь, заработать несколько денег, прогуливался по образовавшемуся вокруг него кругу, упершись руками в бока, с опрокинутой назад головой, с покрасневшим от натуги лицом, с вытянутой шеей, держа в зубах стул, на котором он только что сидел; к этому стулу он привязал кошку, взятую им у одной из соседок и мяукавшую самым жалобным голосом.

– Что я вижу! – воскликнул архиидиакон в то время, когда скоморох проходил мимо него с своим стулом и кошкой, обливаясь потом, – Пьер Гренгуар! Как он сюда попал?

Строгий голос архиидиакона до того испугал бедного паяца, что он потерял равновесие, и стул его, вместе с кошкой, упал на голову присутствующих, среди которых поднялись крики, не предвещавшие бедняге ничего хорошего. Весьма вероятно, что Пьеру Гренгуару (ибо это, действительно, был он) пришлось бы сильно посчитаться с соседкой, у которой он взял кошку, и со всеми окружающими, у которых оказались ушибленные и исцарапанные физиономии, если б он не поспешил воспользоваться происшедшей суматохой и скрыться в церкви, после того, как Клод Фролло сделал ему знак, чтоб он последовал туда за ним.

Пройдя по церкви несколько шагов, Клод приблизился к одной из колонн и пристально посмотрел на Гренгуара. Однако Гренгуар ожидал совершенно иного взгляда, стгорая от стыда при мысли о том, что такой ученый и серьезный человек застал его в таком шутовском костюме. Однако во взгляде священника не было ничего насмешливого и иронического; напротив, взгляд этот был спокоен и проницателен. Первым заговорил архиидиакон.

– Подойдите-ка ближе, Пьер, – сказал он. – Вы должны объяснить мне кое-что. Во-первых, что это вас уже не видно в течение целых двух месяцев и вдруг вы появляетесь на площади в таком, нечего сказать, приличном для вас костюме, красном с желтым, точно райское яблочко?

– Ваше преподобие, – проговорил Гренгуар жалобным голосом, – это, действительно, ужасный наряд, и я чувствую себя в нем, точно кошка, посаженная в выдолбленную тыкву. Я сознаю, что поступаю очень дурно, подвергая полицейских сержантов искушению вздуть палками под этим костюмом философа-пифагорейца. Но что прикажете делать, достопочтенный отец? Винават в этом мой старый сюртук, который самым подлым образом изменил мне в начале зимы, под тем предлогом, что ему нужно распастся в лохмотья и что ему пора идти отдохнуть в корзине тряпичника. Что мне оставалось делать? Цивилизация в наше время, к сожалению, не дошла еще до того, чтобы можно было ходить нагишом, как того желал древний философ Диоген. Прибавьте к этому, что дело происходило в январе, что было очень холодно и ветряно, и что это время года не особенно удобно для того, чтобы делать опыт – подвинуть человечество на шаг вперед по пути к прогрессу. Тут-то мне и попался под руку этот наряд. Я взял его и скинул мой старый, черный сюртук, который покрывал далеко не герметически такого герметика, как я. И вот я, на подобие св. Женэ, хожу в костюме паяца. Что делать? Ведь приходилось же Аполлону пасти поросят у царя Адмета!

– Нечего сказать, хорошее вы себе придумали занятие! – заметил архиидиакон.

– Я согласен с тем, ваше преподобие, что лучше заниматься философией и писать стихи, раздувать огонь в горниле или получать его с неба, чем носить по улицам кошек, привязанных к стулу. Поэтому-то, когда вы окликнули меня, я и был глупее осла перед вертелом. Но что делать, сударь! ведь пить-есть нужно, а самые лучшие александрийские стихи ничто в срав-

нении с куском сыра, когда желудок пуст. К тому я, как вам, вероятно, известно, сочинил для Маргариты Фландрской прекрасное свадебное стихотворение, а город мне за него ничего не заплатил, под предлогом, что оно недостаточно хорошо, как будто за четыре экю можно было написать трагедию Софокла. Итак, мне приходилось просто умирать с голоду. К счастью, природа снабдила меня здоровой челюстью, и я сказал ей, этой челюсти: – «Делай фокусы, показывай свою силу, и сама себя прокармливай; *ale te ipsam*». Целая орава проходимцев, следовавших добрыми приятелями моими, научила меня разным штукам и фокусам, и теперь я каждый день даю зубам моим кусок хлеба, который они сами добыли в поте лица моего. В конце концов, я согласен с тем, что все это – печальное применение моих умственных способностей, и что человек создан вовсе не для того, чтобы проводить жизнь в держании на зубах стульев и в махании бубнами. Но, достопочтенный г. архидиакон, дело не только в том, чтобы прожигать жизнь, а и в том, чтобы поддерживать ее.

Клод слушал его молча. Вдруг его впалые глаза приняли такое пронизательное и серьезное выражение, что Гренгуару показалось, будто кто-то роется в самой глубине души его.

– Все это очень хорошо, Пьер, – сказал Клод. – Но скажите-ка мне, каким образом вы в настоящее время очутились в обществе этой плясуньи-цыганки?

– А очень просто, – ответил Гренгуар, – она – жена моя, а я – ее муж.

Черные глаза священника вспыхнули ярким пламенем.

– Неужели ты это сделал, негодяй? – вскричал он, яростно схватив Гренгуара за руку. – Неужели ты настолько забыл своего Бога, чтобы связаться с этой женщиной?

– Клянусь моей долей рая, ваше преподобие, – ответил Гренгуар, дрожа всеми членами, – клянусь вам, что я никогда не прикасался к ней, если только это вас беспокоит.

– Так что же тут болтать о муже и о жене? – спросил священник.

Гренгуар поспешил рассказать ему по возможности кратко все то, что читателю уже известно о ночном происшествии во «Дворе Чудес» и о свадьбе его при разбитом кувшине. По-видимому, до сих пор это бракосочетание не повело, однако, ни к какому результату, и каждый раз цыганка уклонялась от брачной ночи, точно так же, как и в первый день.

– Это очень досадно, – так заключил он свой рассказ, – но это происходит от того, что я имел несчастье жениться на девственнице.

– Что вы этим хотите сказать? – спросил архидиакон, успевший постепенно успокоиться во время рассказа Гренгуара.

– Это довольно трудно вам объяснить, – ответил поэт. – Тут, видите ли, дело в каком-то предрассудке. Жена моя, как объяснил мне один старый шут, которого у нас называют цыганским герцогом, – подкидыш или найденыш, что, в сущности, выходит на одно и то же. Она носит на шее талисман, который, как уверяют, даст ей возможность в один прекрасный день отыскать своих родителей, но который утратит свою силу, как только девушка лишится своей добродетели. А из этого, само собою вытекает, что мы оба ведем самый целомудренный образ жизни.

– Значит, вы полагаете, Пьер, – спросил Клод, лицо которого все более и более прояснялось, – что к этой девушке не прикасался еще ни один мужчина?

– Да что вы поделаете, господин Клод, когда человеку втемяшится в голову какой-нибудь предрассудок? А у нее эта мысль гвоздем засела в голове. Я согласен с тем, что это большая редкость – такое монашеское целомудрие среди развратного цыганского табора. Но у нее в этом отношении есть три союзника: цыганский герцог, взявший ее под особое свое покровительство и рассчитывающий, быть может, со временем выгодно продать ее какому-нибудь сластолюбивому аббату, весь ее табор, который уважает ее, как какую-то святыню, и, наконец, небольшой кинжальчик, который эта разбойница, несмотря на запрещение городских властей, постоянно носит при себе, неизвестно где спрятанным, и который Бог весть как очутится в ее руках, как только обхватишь ее талью. Настоящая оса, говорю вам.

Не довольствуясь этим объяснением, архидиакон стал закидывать Гренгуара вопросами. Из ответов его он узнал, что Эсмеральда была, по мнению Гренгуара, прелестнейшее и безобиднейшее создание, замечательно красивое, но только портившее свое личико известной, свойственной ей, гримасой; это была девушка наивная и в то же время страстная, ничего не знавшая и вместе с тем всем восторгавшаяся, до сих пор не имевшая понятия о различии между мужчиной и женщиной, любившая только шум, пляску и чистый воздух, нечто в роде пчелы, к ногам которой прикреплены невидимые крылья, и жившая точно в каком-то вихре. Она обязана была всем этим тому бродячему образу жизни, который она постоянно вела. Гренгуару удалось узнать, что, еще будучи ребенком, она побывала в Каталонии, во всей Испании, в Сицилии; кажется даже, что цыганский табор, к которому она принадлежала, возил ее в Алжирское царство, лежащее в Ахайской земле, каковая Ахайская земля с одной стороны граничит Малой Албанией и Грецией, а с другой – Сицилийским морем, по которому лежит путь в Константинополь. Цыгане, пояснял Гренгуар, признают над собою власть Алжирского царя, верховного повелителя всех белых арапов. Верно только то, что Эсмеральда, еще будучи ребенком, прибыла во Францию через Венгрию. Из всех этих стран молодая девушка принесла с собою обрывки весьма странных наречий, а также весьма странные выражения и песни, которые придавали языку ее такую же пестроту, какую отличался и наряд ее, наполовину парижский, наполовину африканский. Впрочем, население тех кварталов, которые она посещала, любило ее за ее веселость, живость, миловидность, за ее песни и пляску. Во всем городе, по ее глубокому убеждению, ее ненавидели только два человека, о которых она нередко говорила со страхом: затворница на Гревской площади, противная женщина, неизвестно почему ненавидевшая всех цыганок и проклинаявшая бедную плясунью каждый раз, когда той доводилось проходить мимо ее оконца, и какой-то священник, который, встречая ее, каждый раз бросал на нее взгляды и произносил слова, которые ужасно пугали ее.

Эта последняя подробность очень смутила архидиакона; но Гренгуар не обратил ни малейшего внимания на это смущение, так как двухмесячного промежутка времени было вполне достаточно, чтобы заставить беззаботного поэта совершенно забыть странные подробности того вечера, в который он впервые встретил цыганку, и ту роль, которую при этом играл архидиакон.

– Итак, – продолжал рассказывать Гренгуар, – маленькая плясунья ничего не боялась, тем более что она не занималась гаданием, что избавляло ее от опасности подвергнуться обвинению в чародействе, так часто возводившемуся против цыганок. Гренгуар же был ей скорее братом, чем мужем. В конце концов, философ примирился со своею участью и стал очень терпеливо выносить роль платонического супруга. Все же он находил кров и кусок хлеба. Каждое утро он выходил из притона бродяг, чаще всего с молодой цыганкой, помогал ей собирать по улицам и площадям бросаемые ей из толпы и из окон мелкие монеты; каждый вечер он возвращался с нею под общий кров, причем она запирала на задвижку дверь своей каморки, а он засыпал рядом с нею сном праведника. В сущности, – пояснил он: – очень приятное существование, весьма сильно содействующее игре воображения. И к тому же, говоря по совести, философ наш не был вполне уверен в том, действительно ли он влюблен в цыганку. Он почти столько же любил и козу ее. Это было премиленькое животное, кроткое, умное, понятливое, словом – ученая коза. В средние века, впрочем, не редкость было встретить таких ученых животных, которые нередко вели своих учителей на костер. А между тем, так называемые колдовства козочки с позолоченными копытцами, были, в сущности, весьма невинного свойства, и Гренгуар обязательно объяснил их архидиакону, которого эти подробности, кажется, сильно интересовали. В большинстве случаев достаточно было подставить козе бубен в том или ином положении, для того, чтобы та проделала именно ту штуку, которая в данную минуту от нее требовалась. Ее выдрессировала к этому сама цыганка, обладавшая в этом отношении таким

искусством, что ей достаточно было двух месяцев, чтобы заставить козу составить из подвижных букв слово Феб.

– Феб! – воскликнул священник. – Почему же Феб?

– Этого я сам не знаю, ответил Гренгуар. – Быть может, она придает этому слову какое-то таинственное и секретное значение. Она часто повторяет его вполголоса, когда одна.

– Уверены ли вы в том, – продолжал Клод, не спуская с него своего пронизательного взгляда: – что это только простое слово, а не какое либо имя?

– Чье имя? – спросил поэт.

– А я почему знаю! – ответил священник.

– Вот что я думаю, ваше преподобие, ведь эти цыгане отчасти огнепоклонники и поклоняются солнцу. Это и объясняет достаточно ясно слово Феб.

– Ну, нет! для меня это далеко не так ясно, как для вас, Пьер.

– А впрочем, это для меня все равно! Пусть она бормочет про себя, сколько угодно, своего Феба. Верно только то, что Джали уже и теперь любит меня почти столько же, сколько и ее.

– А что такое Джали?

– Да козочка ее.

Архидиакон подпер подбородок рукой и, казалось, погрузился в задумчивость. Вдруг, минуто спустя, он, быстро повернувшись к Гренгуару, спросил его:

– И ты клянешься мне в том, что не прикасался к ней?

– К кому?.. К козе?

– Да нет же! К этой женщине!

– К моей жене? Клянусь вам, что не прикасался.

– И ты часто бываешь с нею наедине?

Каждый вечер, по крайней мере, с час.

– Ого! – воскликнул Клод, наморщившись, – не занимаетесь же вы все это время чтением «Отче наш»!

– Могу вас уверить, что я мог бы прочесть не только «Отче наш», но и «Богородицу», и «Верую», а она обратила бы на меня столько же внимания, сколько курица на церковь.

– Поклянись мне утробой своей матери, – повторил архидиакон взволнованным голосом, – что ты и пальцем не прикасался к этому созданию.

– Я готов поклясться в этом не только утробой моей матери, но и головой моего отца. А теперь, ваше преподобие, позвольте и мне предложить вам, в свою очередь, один вопрос.

– Говорите!

– Какое вам дело до всего этого?

Бледное лицо архидиакона зарделось, как щеки молодой девушки. Он помолчал с минуту и затем ответил, видимо конфузясь:

Слушайте, Пьер Гренгуар. Вы, сколько мне известно, еще не подвергались отлучению от церкви. Я принимаю в вас участие и желаю вам добра; а между тем малейшее сношение с этой цыганкой сделало бы вас слугою сатаны. Вы знаете, что душа всегда погибает из-за тела. Горе вам, если вы прикоснетесь к этой женщине! Вот и все.

– Я было попробовал раз... – сказал Гренгуар, почесывая у себя за ухом. – Это было в день нашей свадьбы... Но я здорово обжегся.

– Как, вы осмелились сделать это, Пьер? – сказал священник, и чело его омрачилось.

– В другой раз, – продолжал поэт, улыбаясь, – я подсмотрел, прежде чем лечь спать, в замочную скважину, и я увидел в одной сорочке самую красивую женщину, которая когда-либо заставляла скрипеть кровать под своей голой ножкой.

– Убирайся ты к черту! – закричал Клод, бросив на него свирепый взгляд. И, вытолкнув в шею удивленного Гренгуара, он большими шагами скрылся под мрачными сводами собора.

III. Колокола

После того утра, которое бедному Квазимодо пришлось провести на лобном месте, лица, жившие по соседству с собором Парижской Богоматери, заметили, что он стал звонить в колокола уже не с прежним жаром. Прежде он звонил с увлечением, стараясь по возможности продлить трезвон, задавал целые длинные серенады, длившиеся от первых часов и до повечерия, изо всей мочи раскачивал большой колокол во время чтения «Достойной», выводил целые гаммы на маленьких колоколах во время венчания или крестин, и гаммы эти носились по воздуху точно узор из самых разнообразных звуков. Над старинною церковью без умолку гудел гул колоколов; в ней постоянно слышалось присутствие какого-то оживотворяющего ее духа, который без устали пел этими медными устами. Но теперь этот дух точно куда-то скрылся; собор казался мрачным и большею частью хранил молчание. По праздникам и при похоронах производился простой благовест, сухой и холодный, как то требовалось по церковному уставу, – и ничего более. Из двойного шума, сопровождающего богослужение, – звуков органа внутри церкви и звуков колоколов снаружи, – остались только звуки органа. Можно было подумать, что колокольня лишилась своего музыканта. Однако Квазимодо все еще оставался звонарем. Что же такое случилось с ним? Позор ли плахи все еще грыз его сердце? Удары ли плети палача все еще отдавались в его душе? Заглушило ли это наказание единственную привязанность, нашедшую еще место в его сердце, – любовь его к колоколам? Или же у большого колокола, у его возлюбленной Марии, явилась соперница, и эта самая Мария, вместе со своими четырнадцатью меньшими сестрами, была забыта для чего-то более красивого и более любезного сердцу звонаря?

Случилось так, что в 1482 году 25-е марта, день Благовещения, пришелся во вторник. В этот день воздух был так чист и ясен, что на сердце Квазимодо снова зашевелилась прежняя его любовь к колоколам. И вот он поднялся в скверную колокольню, между тем, как церковный служитель широко распахивал церковные двери, состоявшие в то время из громадных деревянных створ, обитых кожей, с железными позолоченными гвоздями, и украшенных резьбой очень искусной работы.

Взобравшись в верхний пролет колокольни, Квазимодо некоторое время смотрел, печально покачивая головой, на находившиеся здесь шесть колоколов, как бы скорбя о том, что что-то постороннее встало между ним и этими колоколами. Но когда он раскачал их, когда он почувствовал, что вся стая колоколов снова сделалась послушным орудием в его руке, когда он увидел – ибо слышать он не мог – эту животрепещущую октаву, поднимающуюся и опускающуюся по скале звуков, подобно птичке, прыгающей вверх и вниз по веткам, когда демон музыки стал вытряхивать, как бы из рога изобилия, целый рой трелей, арпеджий и стретт, – тогда и Квазимодо, несмотря на свою глухоту, снова почувствовал себя счастливым, забыл все свое горе, и радость, наполнившая его сердце, вылилась и на лице его. Он ходил взад и вперед, хлопал руками, перебегал от одной веревки к другой, подбодрял шестерых певцов своих голосом и жестами, подобно капельмейстеру, управляющему хором понимающих каждый его жест музыкантов.

– Ну, ну, Габриэля, – говорил он, – погромче! Оглуши-ка площадь! Тибальда, не ленись! Не отставай! Ну, живей! Что это, ты разве заржавела, лентяйка? Теперь хорошо! Живо, живо! Так, чтобы не видать было языка! Оглуши их так же, как и меня. Хорошо, Тибальда, хорошо! – А тебе как не стыдно, Гильом? Ты самый большой, а Панье самый маленький, а между тем, Панье работает гораздо лучше тебя. Ведь он гораздо слышнее тебя. Ай, ай, ай, какой срам! Хорошо, хорошо, Габриэля! Сильнее! Сильнее!.. Э! А что же вы там оба замолкли наверху, Воробы? Вы совершенно замолчали! Вы только разеваете рот, делая вид, будто поете, а между

тем, сами молчите! Ну, живее же! Ведь нынче Благовещение, да и солнышко так ярко светит. Нужно поднять настоящий трезвон. Бедный Гильом! Ты, толстяк мой, совершенно запыхался.

И таким-то образом он подгонял свои колокола, которые раскачивались все шестеро вперегонку, сверкая своими блестящими спинами, точно увешанная побрякушками запряжка испанских мулов, понукаемая по временам возгласами погонщика.

Вдруг, бросив взгляд на площадь поверх аспидных черепиц, покрывавших крышу колокольни, он увидел на площади молодую девушку в странном одеянии, которая остановилась посреди площади, разостлала на мостовой ковер и поставила на нее небольшую козочку; вокруг девушки и козы стал собираться народ. Это зрелище сразу дало иное направление его мыслям и остудило его музыкальный энтузиазм, подобно тому, как холодная струя воздуха остужает расплавленную смолу. Он перестал звонить, повернулся к колоколам спиной и спрятавшись за шиферной кровелькой, устремив на молодую девушку тот мечтательный, нежный и кроткий взор, который однажды уже поразил архидиакона. Тем временем, забытые им колокола разом замолкли к великому разочарованию любителей колокольного звона, которые от души наслаждались поднятым Квазимодо трезвонном, стоя на мосту Менял, и которое теперь удалялись удивленные и недовольные, точно собака, которой показали кость и дают вместо того камень.

IV. ANAGKH

В одно прекрасное утро того же марта месяца, – это было в субботу, 29-го числа, в день св. Евстафия, – наш молодой друг Жан Фролло-дю-Мулен, одеваясь, заметил, что штаны его, в кармане которых лежал его кошелек, не издавали никакого металлического звука.

Бедный кошелек! – сказал он, вынимая его из кармана. – Как! Неужели ни копеечки? Как тебя, однако, выпотрошили кости, кружки пива и Венера! Какой ты пустой, плоский, сморщенный! Точно горло старой женщины! Я спрашиваю вас, господин Цицерон и господин Сенека, сочинения которых валяются там, с погнутыми углами, на окошке, к чему мне служит то, но я знаю, не хуже чиновника монетного двора или жида на мосту Менял, что золотой экю, с вычеканенным на нем крестом, стоит 35 унций, по 25 су и 8 копеек каждая, а что золотой с вычеканенным на нем полулунием стоит 36 унций, по 26 су и 6 копеек каждая, если у меня нет даже ни малейшей медной монетки, которую я мог бы рискнуть на двойную шестерку! О, великий консул Цицерон, это такое бедствие, из которого не вывернешься разными «Quousque, tandem!»

Он оделся в самом печальном настроении духа, в то время, как он застегивал свои ботинки, ему шла было на ум одна мысль, которую он поспел отогнать от себя, но она снова забралась в его голову, и он надел жилет свой наизнанку – явное доказательство сильной внутренней борьбы. Наконец, он швырнул свою фуражку об пол и воскликнул:

– Тем хуже! Будь, что будет! Пойду к брату! Выдержу головомойку, но за то заполучу деньжонок!

И затем он быстро надел на себя свой сюртук с оторочкой из меха, поднял с полу фуражку и вышел из комнаты с отчаянным видом.

Он направился по улице Лагарп к Старому городу. Когда он проходил по улице Гюшетт, запах вкусного мяса, жарившегося на вертеле, защекотал его обонятельный аппарат, и он бросил любовный взор на громадную общественную кухню, которая однажды вызвала со стороны францисканского монаха Каламаджироне следующее патетическое восклицание: «А нужно сказать правду, эти кухни, в которых жарится такое вкусное мясо, – преглупая вещь!» Но у Жана не на что было позавтракать, и потому он, вздохнув, вошел в ворота Шатле, громадную двойную башню, охранявшую с этой стороны вход в Старый город. Он не дал себе даже

труда бросить мимоходом, как это было принято, камнем в выставленную здесь на смех статую Перине Леклерка, выдавшего при Карле VI Париж англичанам, за что его облик и был выставлен на всеобщий позор, точно к позорному столбу, на углу улиц Лагарп и Бюси, где его в течение трех столетий не переставали забрасывать камнями и грязью.

Перейдя через Малый мост и пройдя улицу св. Женеьевы, Жан де-Молендино очутился перед собором Богоматери. Тут его снова взяло раздумье, и он стал прохаживаться мимо статуи Легри, повторяя себе с беспокойством:

– Головойойки не избежать, а на счет денег бабушка еще надвое сказала.

Он остановил одного из церковных сторожей, вышедшего из собора, и спросил его, где в настоящее время архидиакон.

– Он, кажется, отправился в каморку свою на колокольню, ответил сторож: – и я вам не советую мешать ему там, если только вы не пришли к нему от имени короля, папы или чего-нибудь в этом роде.

– Ах, черт возьми, – воскликнул Жан, захлопав в ладоши: – вот великолепный случай увидеть эту каморку, в которой братец мой занимается своим чародейством!

И, под влиянием этой мысли, он решительно вошел в небольшую, выкрашенную черной краской дверь, и стал подниматься по лестнице св. Жилия, которая вела в верхние ярусы колокольни.

Наконец-то я увижу ее! – заговорил он сам себе по дороге. – Клянусь ризой Пресвятой Богородицы, должно быть прелюбопытная штука эта келья, которую братец мой так тщательно от всех скрывает! А впрочем, я забочусь о философском камне столько же, сколько и о любом булыжнике, и я предпочел бы найти в его печи, вместо самого большого философского камня в свете, добрую яичницу с салом.

Взобравшись на галерею с колонками, он перевел дух и стал призывать всех чертей преисподней на эту бесконечную лестницу; затем он вышел в узенькую дверцу северной башни и продолжал подниматься вверх. Пройдя мимо площадки, на которой висели колокола, он увидел сбоку, под низким сводом, низенькую стрельчатую дверь, обитую толстыми железными полосами и снабженную массивным замком. Те, которые захотели бы в настоящее время отыскать эту дверь, легко узнают ее по следующей надписи, выцарапанной белыми буквами по черному фону двери. «Я обожаю Корали. Подписано Эжен». Слово «подписано» значит в самом тексте.

Уф! – сказал Жан, – должно быть здесь!

Ключ не был вынут из замка, и дверь оказалась незапертой изнутри. Жан потихоньку отворил ее и просунул в нее голову.

Читатель, без сомнения, знаком несколько с чудесными произведениями Рембрандта, этого Шекспира живописи. В числе многих великолепных гравюр его особенно примечательна одна, выгравированная крепкой водкой и изображающая, как полагают, доктора Фауста, на которую положительно невозможно смотреть, не будучи ослепленным. На ней изображена мрачная келья, посреди которой стоит стол, покрытый разными необычайными предметами – головами скелетов, глобусами, перегонными кубами, компасами, покрытыми иероглифами пергаментами. Перед столом этим сидит ученый, облеченный в длинный плащ и с меховой шапкой, надвинутой на самые брови. Тело его видно только до пояса. Он несколько привстал со своего большого кресла, сжатые кулаки его опираются в стол, и он с любопытством и ужасом смотрит на светящийся круг, составленный из каких-то кабалистических букв, который блесит на стене в глубине комнаты, точно солнечный спектр в темном пространстве. Это кабалистическое солнце точно сверкает и наполняет полусветлую комнату своим таинственным блеском. Все это и прекрасно, и страшно, в одно и то же время.

Нечто подобное этой келье Фауста представилось взору Жана, когда он рискнул просунуть свою голову в полуотворенную дверь. Он тоже увидел перед собою мрачную, еле-еле освещенную

ценную комнату. И здесь был большой стол и большое кресло, компасы, перегонные кубы, подвешенные к потолку скелеты животных; небесный глобус валялся на полу, склянки с какими-то головастиками и невиданными травами, головы мертвецов, стоявшие на листьях с разными пестрыми фигурами и иероглифами, толстые рукописи, наваленные раскрытыми одни на другие, при чем углы их безжалостно мялись и ломались, – словом, весь аппарат тогдашней науки, и все это покрытое пылью и паутиной; только здесь не было круга светящихся букв, не было ученого, в восторге взирающего на огненное видение, подобно тому, как орел смотрит на солнце.

А между тем, келья не была пуста. В большом кресле сидел какой-то человек, нагнувшийся над столом. Жан, к которому человек этот обращен был спиной, мог разглядеть только плечи и затылок его; но ему не трудно было узнать эту лысую голову, остриженную самой природой, как будто она сама пожелала положить на голову архидиакона печать вечного посвящения.

Итак, Жан узнал своего брата. Но дверь отворилась так тихо, что ничто не предупредило Клода о присутствии здесь его брата. Любопытный школяр воспользовался этим обстоятельством, чтобы в течение нескольких минут на досуге разглядеть комнату. Большая печь, которую он с первого взгляда не заметил, была сложена влево от кресла, под самым оконцем. Луч света, проникавший в это отверстие, проходил через круглую паутину, красиво выделявшуюся, точно кружевной занавес, на светлом фоне, образуемом в темной комнате окошечком, а посередине ее насекомое строитель оставалось неподвижным, точно ступица этого кружевного колеса. На очаге стояли в беспорядке всякого рода сосуды, фантастические склянки, стеклянные реторты, глиняные колбы, Но Жан со вздохом заметил, что здесь не было печурки. «Однако же, свеженька кухонька моего брата», – подумал он.

Впрочем, в очаге не было огня и даже казалось, что уже давно не разводили его. Стекло-вая маска, которую Жан заметил среди других алхимических приспособлений, и которая предназначалась, по всей вероятности, для предохранения лица архидиакона от ожогов, когда он изготовлял какой-нибудь опасный состав, лежала в углу, вся покрытая пылью и как бы забытая. Рядом лежал раздувательный мех, не менее запыленный, и на верхней стенке которого можно было прочесть сделанную латинскими буквами надпись: «Spira, Sprea» – «Дуй, надейся».

Многочисленные другие надписи, согласно моде алхимиков, покрывали стены; одни из них были выведены чернилами, другие выцарапаны металлическим острием. Тут можно было видеть вперемежку и готические, и еврейские, и греческие, и латинские письма, перетасованные в беспорядке, одни над другими, и даже одни на других, перепутанные точно ветви кустарника, точно копыя во время свалки. Здесь можно было найти весьма странную смесь всевозможных философий, всяческой человеческой мудрости, всяческого бреда. Кое-где одна из этих надписей выделялась особенно рельефно, точно знамя на фоне железных наконечников пик. Это были, по большей части, краткие греческие или латинские девизы из тех, которые так хорошо умели формулировать средние века: – «Unde? Inde?» – «Homo homini monstrum». – «Astra, castra, nomen, numen», – «Μεγα βιβλιον μεγα, χαρον». – «Sapere aude». – «Flat ubi vult», и т. д.²⁵ Иногда встречалось отдельное слово, лишенное, по-видимому, всякого смысла, как, например, слово: «Αναυχοφαυια» (пожирание судьбы), заключавшее в себе, быть может, горький намек на монастырские порядки. В другом опять встречалось простое правило из духовных правил, выраженное в форме правильного гекзаметра, в роде, например, следующего: «Coelestum dominum, terrestrem dicito dominum». Местами встречалась также какая-то еврейская тарабарщина, в которой Жан, не особенно сильный и в греческом языке, уже решительно ничего не понимал. И все это было испещрено звездами, фигурами людей и зверей и треуголь-

²⁵ Откуда? Откуда? – Человек человеку зверь. – Звезды, лагерь, имя, божество. – Большая книга, великий закон. – Дерзай знать. – Плывет, где хочет.

никами, что придавало стене кельи вид листа бумаги, по которому обезьяна водила бы пером, обмакнутым в чернила.

Вся комната, в общем, носила на себе печать какого-то запустения и беспорядка; а то жалкое состояние, в котором находились снаряды, заставляло предполагать, что хозяина этой комнаты, в течение уже довольно продолжительного времени, отвлекали от его занятий другие заботы.

Хозяин этот, наклонившись над большою рукописью, украшенною разными странными рисунками, казался весь поглощен был одною мыслью, которая беспрерывно приходила ему на ум. Так, по крайней мере, заключил Жан, услышав, как он проговорил, с задумчивыми перерывами человека, говорящего сам с собою во сне:

– Да, так утверждает Ману и так учил Зороастр: солнце происходит от огня, а луна – от солнца. Огонь – это душа вселенной. Его первобытные атомы постоянно изливаются на весь мир беспрерывными течениями. В тех местах небосклона, где эти течения пересекаются, они производят свет; в точках пересечения их на земле они производят золото. Свет и золото – одно и то же; и то, и другое – это конкретные формы огня. Между ними только та разница, которая существует между видимым и осязаемым, между жидким и твердым телом, состоящими, однако же, из тех же составных частей, между водяными парами и льдом. Ничего более! И это не праздные мечтания, – это общий закон природы. Но каким образом вывести у природы тайну этого общего закона? Ведь этот свет, заливающий мою руку, – это то же золото! Эти самые атомы, рассеянные на основании известного закона, их следует только сгустить на основании другого закона! Но каким образом этого достигнуть? Одни придумали зарывать солнечный луч. Аверроэс, да, да, Аверроэс, зарыл один из этих лучей под первой левой колонной святилища корана, в большой Кордовской мечети; но дело в том, что только чрез восемь тысяч лет можно будет раскопать это место, чтоб убедиться в том, удался ли этот опыт?

– Ах, черт побери! – проговорил про себя Жан, – долгонько-таки придется ждать этого золота!

– Другие полагали, – продолжал задумчиво говорить про себя архидиакон: – что лучше сделать этот опыт с лучом Сириуса. Но дело в том, что очень трудно добыть чистый луч этой планеты, так как она светит одновременно с другими звездами и лучи их сливаются, прежде чем достигнуть земли. – Наконец, Фламель полагает, что проще всего производить этот опыт с земным огнем. – Фламель! В самом этом имени заключается какое-то предопределение! Flamma! – Да, да, вся сила в огне! – В угле заключается алмаз, в огне – золото! Но каким образом извлечь его оттуда? Магистры уверяет, что существуют такие таинственные и обладающие чародейственной силой женские имена, что достаточно произнести и во время опыта, для того, чтобы он удался. – Посмотрим, что говорить об этом Ману: – «Там, где женщины пользуются почетом, боги радуются; там, где их презирают, бесполезно обращаться с молениями к богам! Уста женщины всегда чисты; это – текущая вода, это – луч солнца. – Имя женщины должно быть звучно, ласкать слух, говорить воображению, оно должно оканчиваться на долгие гласные и походить на слова благословения». Да, мудрец прав. Действительно, Мария, София, Эсмераль... – О, проклятие! Опять эта мысль!..

И он с сердцем захлопнул книгу и провел рукою по лбу, как бы желая прогнать неотвязчивую мысль. Затем он взял со стола гвоздь и небольшой молоточек, рукоятка которого была покрыта какими-то странными кабалистическими знаками.

– С некоторых пор, – сказал он, горько улыбаясь, – мне не удастся ни один опыт. Какая-то неотвязчивая мысль засела мне в голову и буравит мой мозг. Я не могу даже доискаться тайны Кассиодора, светильник которого горел без фитиля и без масла. А между тем очень простая вещь!

– Вот как! Даже очень простая! – проговорил Жан сквозь зубы.

– Итак, достаточно какой-нибудь жалкой мысли, – продолжал говорить про себя архиидиакон: – чтобы превратить человека в ничтожного безумца. О, как бы посмеялась надо мною Клавдия Пернель, которой не удалось ни на одну минуту отвлечь Николая Фламелья от великой цели! Как! Я держу в руке своей чудный молоток Захиеля! При каждом ударе, который делал в своей келье этот знаменитый раввин по гвоздю, тот из врагов его, которого он осудил на погибель, уходил, хотя бы он даже находился на расстоянии двух миль, на один локоть в землю, которая, наконец, поглощала его. Однажды даже сам король Франции, за то, что он в один вечер опрометчиво постучался в дверь этого чародея, ушел до колен в парижскую мостовую. Это произошло три столетия тому назад. – И что же! У меня находятся в настоящее время этот молоток и этот гвоздь, а между тем, в руках моих они являются орудием не более страшным, чем бурав в руках слесаря. Все дело заключается только в том, чтобы отыскать то магическое слово, которое произносил Захиель, ударяя по гвоздю своему.

«Сущие пустяки!» – подумал про себя Жан.

– Ну, давай-ка я еще раз попробую! – воскликнул архиидиакон, – если опыт удастся, то из головки гвоздя сверкнет синеватая искра. – Эмен-хетон! – Нет, не то. Сигеани, Сигеани! Пусть этот гвоздь выроет могилу для всякого, кто носит имя Феб! – О, проклятие! Опять, еще, без конца одна и та же мысль!

И он с сердцем отшвырнул в сторону молоток. Затем он припал головою к столу, так что Жану совсем не было видно его из-за высокой спинки кресла. В течение нескольких минут он мог различить только кулак его, судорожно сжатый на какой-то книге. Вдруг Клод приподнялся с места, схватил компас и молча выцарапал на стене прописными буквами греческое слово: *Ανάγκη* (Судьба).

– Братец мой с ума сошел, – проговорил про себя Жан: – было бы гораздо проще написать просто по латыни «*Fatum*», ведь не всякий же обязан уметь читать по-гречески.

Архиидиакон снова уселся на своем кресле и подпер голову обеими руками, как то часто делают больные, когда голова их горит и тяжела. Жан с удивлением смотрел на своего брата. Он, беззаботный как птичка, дитя природы, безотчетно отдававшееся влечению своих страстей, не имевший понятия о том, что такое сильные страсти, так как голова его только и была занята, что разными проказами, конечно, не мог и представить себе, с какою силою бушует и волнуется море человеческих страстей, когда у него нет никакого истока, как оно вздымается, выходит из берегов, размывает сердце, разражается внутренними рыданиями и безмолвными судорогами, до тех пор, пока ему не удастся прорвать плотину и проложить новое русло для своих волн. Строгая, ледяная оболочка Клода Фролло, эта холодная поверхность недостижимой и неприступной добродетели, всегда вводила в заблуждение Жана. Веселому школяру никогда и в голову не приходило, что под ледяною оболочкою Этны скрывается масса кипучей и разрушительной лавы.

Нам неизвестно, отдал ли он себе внезапно, по какому-то наитию, отчет в этом, но только, несмотря на все свое легкомыслие, он понял, что подсмотрел то, чего ему не следовало бы видеть, что он украдкой заглянул в глубочайший тайник души своего старшего брата, и что необходимо скрыть это от Клода. Заметив, что архиидиакон снова впал в прежнюю свою неподвижность, он на цыпочках отошел на несколько шагов от двери и стал стучать ногами, как будто он только что поднялся по лестнице.

– Войдите! – крикнул архиидиакон из глубины своей кельи, – я давно уже ожидаю вас. Я нарочно не запер дверей. Да войдите же, Жак.

Жан смело вошел в комнату. Архиидиакон, которому такое посещение в таком месте, было очень неприятно, даже привскочил на своем кресле и воскликнул:

– Как, – это ты, Жан?..

– Ну, не Жак, так Жан, все-таки Ж... – ответил школяр с какою-то развязною смелостью.

– Чего тебе здесь нужно? – спросил Клод, лицо которого снова приняло свойственное ему строгое выражение.

– Братец, – ответил Жан, стараясь скорчить скромную, жалобную и приличную рожу и вертя в руках свой картуз самым невинным образом, – я пришел просить у вас...

– Чего еще?

– Некоторых советов, в которых я очень нуждаюсь.

Жан не решился тут же прибавить:

– И несколько денег, в чем я еще больше нуждаюсь. – Эта последняя часть фразы осталась неизданной.

– Жан, – сказал архидиакон строгим голосом, – я очень недоволен тобою.

– За что же это? – робко спросил школяр, глубоко вздохнув.

Клод несколько повернул в его сторону свое кресло и продолжал, устремив на Жана пристальный взор:

– Я очень рад тому, что вижу тебя.

Это вступление не предвещало ничего хорошего. Жан приготовился к здоровой голово-мойке.

– Жан, до моего слуха чуть не ежедневно доходят жалобы на тебя. Что это было за побоище, во время которого вы избили палками молодого виконта де-Рамоншана?

– О, это пустяки! – ответил Жан. – Все дело в том, что этот негодный пажик вздумал забавляться тем, что забрызгивал нас грязью, пуская свою лошадь вскачь по лужам.

– А что это за Магьетт Фаржель, – продолжал архидиакон: – у которого вы изорвали платье?

– Ну, стоило ли об этом толковать! Какая-то жалкая хламида! Сущий вздор!

– В жалобе, однако, значится «платье», а не «хламида». Ведь тебе же знаком латинский язык?

Жан ничего не ответил.

– Да, – продолжал Клод, покачивая головою: – вот как теперь учатся! Еле-еле знают полатыни, о сирийском языке и понятия не имеют, греческий язык до того находится в пренебрежении, что даже самые ученые люди не стыдятся перескакивать через греческое слово, говоря: «Это по-гречески, не стоит читать».

– Братец, – проговорил школяр, смело вскинув на Клода глазами, – угодно вам, чтобы я объяснил вам по-французски значение того греческого слова, которое написано вон там на стене.

– Какого слова?

– Αναυχη.

Легкая краска выступила на щеках архидиакона точно небольшие клубы дыма, которые свидетельствуют о внутренней работе вулкана. Жан успел, однако, подметить ее.

– Ну, так что же означает это слово, Жан? – с трудом проговорил старший брат.

– Судьба.

Клод снова побледнел, а школяр продолжал с величайшей беззаботностью:

– А то слово, которое выцарапано тем же почерком под этим, «Αναυχηα», означает «порок». Вы, значит, видите, что я хорошо знаю по-гречески.

Архидиакон молчал. Этот урок в греческом языке заставил его задуматься.

Жан, отличавшийся хитростью балованного ребенка, нашел этот момент довольно удобным для того, чтобы выступить со своей просьбой. Поэтому он заговорил самым вкрадчивым голосом:

– Милый братец, неужели вы меня так мало любите, что станете сердиться на меня из-за нескольких тумачков и оплеух, отпущенных каким-то шалопаем и мальчишкой?

Но слова эти не произвели желаемого действия на строгого старшего брата. Цербер не кинулся на сладкий пирог, и лоб архидиакона оставался сморщенным.

– К чему это ты клонишь? – сухо спросил он.

– А вот к чему, – храбро ответил Жан, – мне нужны деньги.

При этом смелом заявлении, лицо архидиакона приняло спокойное и отеческое выражение.

– Ты знаешь, Жан, – сказал он, – что наша Тиршаппская ферма приносит всего на всего, считая и все побочные доходы, 39 ливров и 11 1/2, су. Это, правда, наполовину больше, чем при братьях Палле, но все же это немного.

– А что же мне делать, если мне нужны деньги? – стоически возразил Жан.

– Ты знаешь, кроме того, что поместье это заложено и что для того, чтобы выкупить его, нужно внести г. епископу две марки серебра. А мне до сих пор еще не удалось собрать этой суммы. Ведь тебе это известно же?

– Мне известно только то, – в третий раз объявил Жан, – что мне нужны деньги.

– А для чего же они тебе нужны?

При этом вопросе луч надежды блеснул в глазах Жана, и он снова заговорил вкрадчивым голосом:

– Видите ли, братец, я бы не стал тревожить вас из-за пустяков. Дело вовсе не в том, чтобы кутить в харчевнях на ваши деньги или чтобы кататься верхом по парижским улицам на лошади, покрытой дорогим вальтрапом, в сопровождении лакея. Нет, братец, деньги мне нужны на доброе дело.

– На какое это доброе дело? – спросил Клод, слегка удивленный.

– Двое из моих товарищей собираются купить в складчину белье и платице для ребенка одной бедной вдовы тряпичницы. Это будет стоить три флорина. Они дают на то каждый по одному флорину, и мне...

– А как зовут этих двух товарищей твоих?

– Пьер Мясник и Баптист Птицеед.

– Гм! – проговорил архидиакон, – вот так два имечка, которые так же пристали к доброму делу, как пушка к церковному алтарю.

Тут Жан сообразил, но несколько поздно, что он придумал очень неудачные имена для своих друзей.

– И к тому же, – продолжал рассудительный Клод, – к чему это простой тряпичнице детского белья на целых три флорина? Давно ли тряпичницы стали так наряжать своих детей?

– Ну, если так, – воскликнул Жан, у которого лопнуло терпение, – то я вам прямо скажу, что деньги эти мне нужны для того, чтобы пойти сегодня вечером с Изабеллой Ла-Тьерри на гулянье.

– Порочный юноша! – воскликнул архидиакон.

– По-гречески порок – «αναυκεία»... – спокойно ответил Жан.

Эта цитата, которую молодой сорванец, быть может, нарочно заимствовал со стены братниной комнаты, произвела на Клода странное впечатление. Он закусил губы, покраснел и притих.

– Уходи... – наконец, сказал он Жану. – Я ожидаю гостя.

– Братец, – проговорил Жан, делая одно последнее усилие, – дайте мне хоть немного мелочи. Я сегодня еще ничего не ел.

– Ты бы лучше позанялся декреталиями Грациана, – сказал Клод.

– Я потерял свои тетради.

– Ну, так латинскою словесностью.

– У меня украли моего Горация.

– Ну, так Аристотелем.

– Братец, а ведь кто-то из отцов церкви говорит, что заблуждения еретиков проистекали во все времена из дебрей Аристотелевой метафизики. Долой Аристотеля! Я не желаю, чтобы его лжеучения колебали мою веру.

– Молодой человек, – заметил архидиакон, – во время последнего въезда короля в числе его свиты был дворянин Филипп де-Комин, у которого на чепраке, покрывавшем его лошадь, был вышит следующий девиз: – «Кто не работает, недостоин есть.» – Советую вам зарубить себе это на носу.

Жан стоял молча, приложив палец к щеке, устремив глаза в землю, и с сердитым видом. Вдруг он обернулся к Клоду с проворством трясогузки.

– Итак, братец, вы отказываете мне даже в нескольких жалких су, чтобы купить себе хлеба у булочника?

– Кто не работает, недостоин есть.

При этом ответе неумолимого архидиакона, Жан закрыл лицо обеими руками, как рыдающая женщина, и воскликнул с выражением отчаяния:

– Ототототото!

– Это что такое означает? – спросил Клод, удивленный этой выходкой.

– А разве вы этого не знаете? – ответил Жан, поднимая на Клода дерзкие глаза свои, которые он только что постарался нацарапать своими ногтями, чтобы придать им красноты и заставить думать, что он плакал. – Ведь это по-гречески! Это анапест Эсхила, выражающий сильнейшую степень горя.

И при этих словах он разразился таким раскатистым смехом, что даже серьезный архидиакон не мог не улыбнуться. Действительно, он сам был виноват. К чему он так избаловал этого мальчика?

– Ах, милый братец, – продолжал Жан, ободренный этой улыбкой, – посмотрите на мои сапоги: они совсем расползаются. Что может быть трагичнее сапог, которые просят есть!

Но архидиакон снова сделался серьезен по-прежнему.

– Я пришлю тебе новые сапоги, – сказал он, – но денег на руки не дам.

– Ну, хоть сколько-нибудь, братец! – продолжал умолять его Жан. – Я обещаю вам вызубрить наизусть всего Грациана, я стану усердно молиться Богу, я сделаюсь настоящим Пифагором по части учености и добродетели! Но только, ради Бога, дайте мне немного денег. Неужели вы не видите, что голод уже разинул свою ужасную пасть, более черную и более глубокою, чем преисподняя, и более вонючую, чем нос монаха?

Клод только покачал головой и снова заговорил:

– Кто не работает...

Но Жан не дал ему закончить.

– Ну так черт побери! – воскликнул он. – Да здравствует веселие! Я пойду шляться по харчевням, буду драться, бить посуду, отправлюсь к девушкам!

И с этими словами он подбросил шапку до потолка и прищелкнул пальцами, точно кастаньетами.

– Жан, – проговорил архидиакон, сердито смотря на него, – у тебя нет души!

– В таком случае, – заметил Жан, – у меня, если верить Эпикуру, недостает чего то, сделанного неизвестно из чего и не имеющего имени.

– Жан, тебе нужно серьезно подумать о том, чтобы исправиться.

– Что же это такое! – воскликнул школяр, переводя взоры свои от Клода к перегонным кубам, – здесь, значит, все рогато, – и посуда, и мысли!

– Жан, ты стоишь на очень наклонной плоскости. Знаешь ли, куда ты идешь?

– В кабак, – ответил Жан.

– А кабак ведет к позорному столбу, – заметили Клод.

– Ну, что же! И позорный столб – такой же столб, как и всякий другой, и, быть может, с его помощью Диогену и удалось бы, наконец, найти человека.

– А позорный столб ведет к виселице.

– Виселица – это рычаг, на одном конце которого висит человек, а на другом – весь мир.

Роль человека в этом случае вовсе не так достойна сожаления.

– А виселица ведет в ад!

– Ну, что ж! Там, по крайней мере, достаточно тепло.

– Жан, Жан, говорю тебе, ты дурно кончишь.

– А за то я хорошо начал!

В это время на лестнице раздался стук шагов.

– Тссс! проговорил Клод, прикладывая палец к губам, – это идет Жак. Послушай, Жан, прибавил он вполголоса, – не смей никогда и никому говорить о том, что ты здесь увидишь и услышишь. Спрячься поскорее в эту печку и не шевелись.

Школяр забился в печку. Туг ему пришла на ум блестящая мысль.

– А вот что, братец: я буду молчать, но только вы должны дать мне за это один флорин.

– Хорошо, хорошо! Я обещаю тебе это, только молчи!

– Но, чур, деньги вперед!

– Ну, на, бери! – гневно воскликнул архидиакон, бросая ему весь свой кошелек.

Жан только что успел забраться в печку, как распахнулась дверь.

V. Снова оба человека, одетые в черном

В комнату вошел человек, одетый в черное платье, с мрачным выражением лица. На первый взгляд более всего поразили нашего приятеля Жана (который, как читатель легко может представить себе, устроился в своей печурке таким образом, чтобы ему можно было удобно видеть и слышать все, что будет происходить в комнате) печальное выражение лица и простота одежды новоприбывшего. В выражении лица его было, правда, нечто слащавое, но это была слащавость, свойственная лицам судей или кошек. Он был совершенно сед; судя по морщинистому лицу его ему можно было дать лет шестьдесят; он моргал веками и густыми седыми бровями, губы его отвисли, руки его были необыкновенно крупны. Жак сразу решил, что это, должно быть, или врач, или судья, и, заметив к тому же, что у него нос составлял совершенно прямую линию со лбом, – несомненный признак глупости, по его мнению, – он забился в угол своей печурки, очень недовольный тем, что ему придется провести Бог весть сколько времени в таком неудобном положении, и притом в таком неприятном обществе.

Архидиакон даже не потрудился привстать для того чтобы приветствовать новоприбывшего. Он только пригласил его знаком сесть на табурет, стоящий недалеко от двери, и после некоторого молчания, во время которого он, по-видимому, продолжал прежние свои размышления, он сказал ему несколько покровительственным тоном!

– Здравствуйте, господин Яков.

– Здравствуйте, г. архидиакон, – ответил гость.

В том выражении, которым произнесены были эти слова: «господин Яков» и «г. архидиакон», не трудно было подметить обращение учителя к ученику, и обратно.

– Ну, что, – продолжал Клод после некоторого молчания, которое гость остерегался нарушить, – успешно ли подвигается дело?

– Увы! – ответил тот с печальной улыбкой, – я все дую и дую; пепла сколько угодно, но ни крупинки золота.

– Я говорю вовсе не об этом, г. Жак Шармолу, – сказал Клод, сделав нетерпеливый жест, – а о том процессе, возбужденном вами против чародея. Ведь вы, кажется, называли этого чело-

века Марком Сенэмом, и он состоит ключником в счетной камере, не так ли? Создается ли он в чародействе? Повел ли к чему-нибудь допрос под пристрастием?

– К сожалению, нет, – ответил Жак, с прежней грустной улыбкой. – Мы не дождались этого утешения. Человек этот – настоящий кремень. Его хоть в кипятке вари, а он все-таки ничего не скажет. У него уже выворочены все члены. Уж чего только мы не проделывали с ним – ничего не берет. Это просто какой-то ужасный человек. Я просто из сил выбился с ним.

– И вы не нашли в его доме ничего новенького?

– Как же! – ответил Жак, роясь в своей сумке, – как же! мы нашли там вот этот пергамент. Он исписан какими-то словами, которых мы не понимаем. А между тем г. следственный судья, Филипп Лелиё, знаком несколько с еврейским языком, которому он научился во время производства дела о евреях улицы Кантерстен, в Брюсселе.

И с этими словами Жак развернул какой-то пергамент.

– Покажите-ка! – проговорил архидиакон, и, бросив взгляд на рукопись, он воскликнул:

– Да это настоящее чернокнижие, господин Жак! «Emen-hetan» – это крик нетопырей, летящих на шабаш ведьм. «Per ipsum, et cum ipso, et in ipso», – это формула для запираания дьявола в аду, – «Нах, рах, тах» – это медицинские термины, это заговор против укушения бешеными собаками. Господин Жак, говорю вам, как королевскому прокурору по церковным делам, – это превредная рукопись.

Значит, мы снова подвергнем этого человека пытке. А вот что мы еще нашли у Марка Сенэна, – прибавил Жак, снова порывшись в своей сумке.

Это оказался сосуд в роде тех, которые стояли на печке Клода.

– А! – проговорил архидиакон? – алхимический тигель!

– Я сознаюсь вам, – продолжал Жак, принужденно и робко улыбаясь? – что я делал уже с ним опыт, но он удался не лучше, чем с моими сосудами.

Архидиакон принялся рассматривать сосуд. – Что это такое он выгравировал на своем тигеле? «Ох, ох». Да это просто формула, которую прогоняют блох! Этот Марк Сенэн просто круглый невежда! Надеюсь, что с помощью таких слов вам не удастся добыть золото. Положите его просто под ваше изголовье, когда ляжете спать, – вот и все!

Кстати, по поводу ошибок! – сказал королевский прокурор. – Я только что рассматривал внизу большие церковные двери, прежде чем подняться наверх. Действительно ли вы уверены в том, чтобы та из семи нагих коленопреклоненных у ног Богоматери фигур, у которой к пяткам прикреплены крылья, изображала собою Меркурия?

– Да, – ответил Клод. – Так, по крайней мере, пишет итальянский ученый Августин Нифо, тот самый, который пользовался услугами бородатого демона, начавшего его всевозможным вещам. Впрочем, когда мы сойдем вниз, я объясню вам все это, имея самый текст перед глазами.

– Благодарю вас, – сказал Шармолу, низко кланяясь. – Кстати, я совсем было забыл спросит вас: когда вам угодно, чтобы я велел взять под стражу эту маленькую колдунью?

– Какую колдунью?

– Да, знаете, ту молодую цыганку, которая ежедневно приходит плясать перед церковною папертью, несмотря на запрещение консисторского судьи. У нее еще есть какая-то коза с золотыми рогами, в которую, очевидно, поселился нечистый дух, которая умеет читать, писать, считать, не хуже Пикатрикса, и одного существования которого было бы достаточно для того, чтобы перевешать всех цыганок. Дело уже на мази, и мы бы живехонько порешили. А хорошенькая девчонка эта плясунья, нечего сказать!» Что за великолепные черные глаза! Точно два египетских карбункула! Так когда же мы примемся за нее?

– Я вам скажу это в свое время, – проговорил архидиакон еле слышным голосом, побледнев как полотно; и затем он, сделав над собой усилие, прибавил: – а пока займитесь Марком Сенэном.

– Насчет этого не беспокойтесь! – произнес Шармолу, улыбаясь. – Вернувшись домой, я сейчас же велю приготовить дыбу. Но только, скажу вам, это черт, а не человек. Он в состоянии довести до изнеможения самого Пьера Тортерю, который, однако, не из слабого десятка. Нужно будет допросить его под горизонтальным воротом. Против этого уж никто не устоит. Попробуем это.

Клод казался погруженным в какие-то мрачные мысли. Наконец, он обратился к Шармолу:

– Пьера... то есть, я хотел сказать, господин Жак... займитесь-ка Марком Сенэном.

– Да, да, господин Клод. Бедняга! Не мало-таки ему придется вынести! Ну, что делать! Сам виноват! Вольно же ему было посещать шабаш ведьм! Ключнику счетной камеры следовало бы знать известное изречение Карла Великого! «Нетопырь к добру не поведет». Что касается этой девчонки – Смелярда, что ли, они ее называют, – то я буду ожидать ваших приказаний. Кстати! Проходя в большие двери, вы мне, пожалуйста, объясните также, кстати, что означает сделанный барельефом садовник, который изображен у самого входа в церковь. Не Сеятель ли это? Г. Клод, о чем это вы задумались?

Действительно, Клод, погруженный в свои мысли, не слушал его. Шармолу, проследив направления его взора, увидел, что он машинально устал глаза на большую паутину, протянутую возле оконца. В это время легкомысленная муха, желая вылететь на мартовское солнце, ринулась в самую паутину и запуталась в ней. Почувствовав сотрясение своей сети, громадный паук быстро выскочил из самого отдаленного угла ее, стремительно набросился на муху, которую он перегнул пополам своими передними лапами, и вонзил ей в голову свой безобразный хобот.

– Бедная муха, – проговорил королевский прокурор при консисторском суде и протянул было руку, чтобы спасти ее.

Но архиидиакон, как бы внезапно пробужденный от сна, судорожным движением схватил его за руку и воскликнул:

– Господин Жак, пусть свершится веление судьбы!

Прокурор обернулся с испуганным видом; ему показалось, будто кто-то железными клещами впился в его руку. Взор священника был неподвижен, пристален, блестящ, и он не отводил глаз от маленькой, но ужасной группы, состоявшей из мухи и паука.

– Да, да... – проговорил Клод глухим голосом, – это символ всего! Вот она только что родилась, она летает, она весела, она ищет весны, воздуха, свободы! Да, и стоит ей только попасть к этому проклятому оконцу, и невеста откуда выскакивает паук, этот безобразный паук! Бедная плясунья! Бедная муха! – такова твоя судьба! Оставьте ее, Жак, это – судьба! – Увы, Клод, и ты паук! Но в то же время, Клод, ты и муха! Ты летел к науке, к свету, к солнцу, ты только и думал о том, как бы выбраться на вольный воздух, к свету вечной истины; но, бросившись стремглав к тому светящемуся окну, которое выходит на другой мир, на мир света, знания и науки, ты, слепая муха, безумный ученый, не заметил этой тонкой паутины, протянутой судьбой между тобою и светом, ты бросился в нее, очертя голову, жалкий безумец, и теперь ты бьешься в ней с пробитой головою и с оборванными крыльями, стараясь вырваться из железных лап судьбы. – Оставьте паука докончить свое дело, господин Жак!

– Уверяю вас, – сказал Шармолу, который глядел на него, ничего не понимая; – что я не дотронусь до него; только, ради Бога, отпустите мою руку. Вы впились в нее, точно клещами.

Но архиидиакон не слушал его.

– О, безумец! – продолжал он, не спуская глаз с окошка. – И если бы даже ты успел прорвать ее, эту ужасную паутину, твоими мушиными крыльями, то неужели же ты думаешь, что успел бы выбраться к свету? Увы! Дальше ты натолкнулся бы на стекло, на это прозрачное препятствие, на эту хрустальную стену, более твердую, чем медь, отделяющую все философские системы от истины. Каким образом ты успел бы пробиться сквозь нее? О, суeta науки!

Сколько ученых мужей прилетают издалека, чтобы разбить себе об нее лоб! И сколько различных научных систем беспорядочно жужжат и бьются об это вечное стекло!

Он замолчал. Эти последние сравнения, которые незаметно привели его от мысли о самом себе к мысли о науке, по-видимому, успокоили его; а Жак Шармолю заставил его окончательно возвратиться в область действительности, обратившись к нему с следующим вопросом:

– Ну, что же, г. Клод, когда же вы, наконец, поможете мне добывать золото? Мне ужасно хотелось бы добиться каких-нибудь результатов.

Архидиакон, с горькой усмешкой, пожал плечами.

– Господин Жак, – сказал он, – прочтите сочинение Михаила Пселла «Диалог о силах и о деятельности дьяволов», и вы увидите, что то, что мы делаем, – вещь далеко не невинная.

– Говорите, пожалуйста, потише, г. Клод, – проговорил Шармолю. – Мне самому так казалось. Но приходится же заниматься немножко алхимией, когда занимаешь скромную должность королевского прокурора по церковным делам и получаешь жалованья всего 30 турских экю в год. Но только, ради Бога, будемте говорить потише.

В это время до слуха Шармолю дошли из-под печки звуки, сильно напоминавшие собою шелканье зубами и жевание.

– Это что такое? – с беспокойством спросил он.

Дело в том, что Жан, которому очень надоело сидеть в самой неловкой позе в своем убежище, успел отыскать там старую корку хлеба и кусок заплесневевшего сыра, а так как у него с самого утра не было во рту ни маковой росинки, то он и принялся, долго не думая, закусывать тем, что Бог ему послал; а так как он был очень голоден, то он ел с жадностью, не стараясь заглушить шум, производимый зубами его при разгрызании сухой корки хлеба, что и не замедлило обратить на себя внимание и встревожить прокурора.

– А это, должно быть, кот мой, – с живостью проговорил Клод, – который лакомится мышью.

Объяснение это вполне удовлетворило господина Шармолю.

– Действительно, – ответил он, почтительно улыбаясь: – у всех великих мыслителей бывали свои домашние животные. Вы знаете, что говорит Сервий, – «Всякое место должно иметь своего домового».

Однако, Клод, опасавшийся какой-нибудь новой выходки со стороны Жана, напомнил достойному ученику своему, что они собирались было еще вместе изучить некоторые изображения на главных дверях храма, и оба они вышли из комнаты, к великой радости Жана, который серьезно начинал опасаться, как бы на колене его не отпечатлелся его подбородок.

VI. О том впечатлении, которое могут произвести семь крепких слов на чистом воздухе

– Слава Тебе, Господи! – воскликнул Жан, вылезая из-под печки. – Убрались, наконец, оба эти филина! Ну их совсем! Хакс, пакс, макс! Блохи! Бешеные собаки! Черти!.. О чем только они тут не наболтали! У меня звенит в ушах, точно от трезвона. И ко всему этому еще заплесневевший сыр! Бррр! Ну, посмотрим, что заключает в себе кошель нашего братца, и превратим все эти монеты в бутылки!

Он с нежностью и с восторгом заглянул в столь кстати попавшую в его руки сумку, поправил свой туалет, смахнул пыль со своих ботинок, вытер свои рукавички, выпачканные сажей, засвистал, повернулся на каблуках, оглянулся, нельзя ли еще чем воспользоваться в кабинете его брата, подобрал на печурке кое-какие разноцветные стеклышки, весьма основательно сообразив, что их можно будет подарить, за неимением драгоценных камней, Изабелле Ла-Тьерри, наконец, отворил дверь, которую брат его не запер за собою в виде одолжения и которую он,

в свою очередь, не запер, чтобы сделать своему братцу что-нибудь неприятное, и спустился с винтообразной лестницы, припрыгивая, точно птичка. На темной лестнице он толкнул что-то, и это что-то зарычало и посторонилось. Он предположил, что это непременно был Квазимодо, и эта мысль показалась ему до того забавною, что он громко расхохотался и спустился с остальных ступенек, держась за бока от смеха. Он продолжал смеяться даже и тогда, когда вышел уже на площадь.

Ступив на мостовую, он топнул в нее ногою и воскликнул:

– А, вот и ты, хорошая и милая парижская мостовая! Эта проклятая лестница могла бы заставить запыхаться даже ангелов Иакова! И стоило мне забираться в этот каменный бурав, продырявливающий небо, для того только, чтобы съесть заплесневевшего сыра и посмотреть сквозь окошечко на парижские колокольни!

Пройдя несколько шагов, он заметил обоих нетопырей, т. е. старшего братца своего и Жака Шармолю, внимательно рассматривавшего резьбу на главной двери. Он приблизился к ним на цыпочках и услышал, как архидиакон потихоньку говорил Жаку: «Этого Иова велел выгравировать на синем камне, позолоченном по краям, парижский епископ Гильом. Иов изображает собою философский камень, который должен быть испытан и высечен, чтобы принять более совершенную форму, как говорит Раймонд Люлли: «При сохранении специфической формы спасается душа».

– А для меня это все равно, – проговорил про себя Жан, – кошелек то ведь у меня.

В это самое время он услышал громкий и звучный голос, который воскликнул позади него:

– Ах, сто тысяч чертей! Ах, исчадие Вельзевула! Ах, чтоб им пусто было! и т. д., и т. д.

– Ну, это не может быть не кто иной, как мой друг, капитан Феб, – громко проговорил Жан.

Имя Феба достигло до слуха архидиакона в то самое время, когда он объяснял королевскому прокурору значение дракона, прячущего хвост свой в ванне, из которой выходит дым и высовывается голова короля. Клод вздрогнул, внезапно замолчал к великому удивлению Шармолю, обернулся и увидел своего брата Жана, разговаривавшего с каким-то высоким офицером у дверей дома госпожи Гонделорье.

Действительно, это был капитан Феб де-Шатопер. Прислонившись к углу дома своей невесты, он продолжал сыпать крепкими словами:

– А взаправду, капитан Феб, – проговорил Жан, беря его за руку, – вы замечательно хорошо ругаетесь.

– Еще бы, черт побери! – воскликнул капитан.

– Именно, черт побери! – поддакнул школяр. – Но скажите мне, пожалуйста, любезный капитан, что вызвало с вашей стороны такой наплыв милых словечек?

– Извините, любезный товарищ мой, Жан, – ответил капитан, пожимая его руку, – но дело в том, что лошадь, пущенную в карьер, не так-то легко остановить; а я только что пустил язык свой галопом. Я только что от этих дур, – продолжал он, мотнув головою кверху, – и каждый раз, когда я выхожу от них, у меня в горле накапливается столько крепких слов, что мне нужно поскорее выплюнуть их, чтобы не задохнуться.

– Не пойти ли нам выпить чего-нибудь? – спросил Жан.

– Я бы сделал это с большим удовольствием, – ответил капитан, которого это предложение окончательно успокоило, – но у меня нет денег.

– Это ничего: у меня есть деньги.

– Неужели? Покажите-ка!

Жан с величавой простотой раскрыл перед капитаном свой кошелек. Тем временем архидиакон, покинув удивленного Шармолю, приблизился к ним и остановился в нескольких шагах

от них, наблюдая за ними; они же не обратили на него ни малейшего внимания, — до того они оба были поглощены рассматриванием кошелька.

— Что это означает, Жан! — воскликнул Феб. — Кошелек, полный денег, в вашем кармане? Это все равно, что луна в ведре с водой: ее видишь в нем, но ее там нет, это только отражение ее. Держу пари, что в вашем кошельке не монеты, а только камешки!

— Да, вы правы, холодно ответил Жан: — вот такие камешки я ношу в своем кармане! — И, не прибавляя ни слова, он высыпал все содержимое кошелька на ближайшую тумбу с гордым видом римлянина, спасающего отечество.

— Действительно, — пробормотал Феб, — деньги, настоящие деньги, и мелкие, и крупные! Это просто поразительно!

Жан продолжал хранить величественное спокойствие. Несколько монет покатались с тумбы в грязь; капитан, в своем восторге, нагнулся было, чтобы поднять их, но Жан удержал его словами:

— Как вам не стыдно, капитан Феб де-Шетопер? Феб сосчитал деньги и, торжественно обратившись к Жану, сказал:

— А знаете ли, Жан, что здесь целых 23 парижских су! Кого это вы обобрали нынче ночью в улице Головорезов?

Жан откинул назад свою белокурую голову и произнес, презрительно прищулив глаза:

— А для чего ж судьба дает человеку брата-архидиакона, и к тому же глупого?

— Ах, черт побери! — воскликнул Феб, — какой достойный человек!

— Ну, так идемте же выпить, — сказал Жан.

— Куда же мы пойдем? — спросил Феб. — К «Яблоку Евы»?

— Нет, капитан. Пойдемте к «Древней Науке». Я предпочитаю этот кабак.

— Ну его к черту, Жан! В «Яблоке Евы» вино лучше. И к тому же там возле самой двери растет на солнце виноградная лоза, которая веселит мне взор, когда я пью.

— Хорошо, пойдем к «Еве» и к ее яблоку, — согласился Жан и, взяв Феба под руку, продолжал:

— А кстати, любезный капитан, вы только что упомянули об улице Головорезов. Это вы неудачно выразились. Теперь уже так не выражаются: теперь говорят просто улица Разбойников.

— И оба приятеля направились к «Яблоку Евы». Излишне прибавлять, что предварительно они потрудились подобрать деньги и что архидиакон издал последовал за ними.

— Он шел мрачный и беспокойный. Не тот ли самый это Феб, проклятое имя которого, после недавнего свидания его с Гренгуаром, не выходило у него из головы? Он не знал этого наверное, но во всяком случае он знал, что это был Феб, и этого магического слова достаточно было для того, чтобы заставить архидиакона красться неслышными шагами за обоими беззаботными приятелями, прислушиваться к их словам и с тревожным вниманием следить за всеми их жестами. Впрочем, подслушать их разговор не составляло особого труда, так как они говорили очень громко, нисколько не стесняясь и нисколько не заботясь о том, что их разговор могут услышать все прохожие. Они говорили о женщинах, о дуэлях, о вине и о разных других глупостях.

На одном перекрестке улиц до слуха их долетели из соседнего переулочка звуки тамбурина, и Клод услышал, как офицер сказал своему товарищу:

— Ах, черт побери! Пойдем скорее!

— Зачем же это, капитан Феб?

— Я боюсь, как бы меня не увидела цыганка.

— Какая цыганка?

— Да та молоденькая цыганка с козой.

— Эсмеральда?

– Она самая, Жан. Я все позабываю ее мудреное имя. Идем скорей, а то она узнает меня, а я вовсе не желаю, чтоб она заговорила со мною на улице.

– А разве вы знакомы с нею, капитан Феб?

Тут архидиакон увидел, что Феб захихикал, нагнулся к уху Жана и сказал ему шепотом несколько слов. Затем он расхохотался и с торжествующим видом мотнул головой.

– Неужели? – спросил Жан.

– Клянусь честью! – отвечал Феб.

– Сегодня вечером?

– Да, да, сегодня вечером.

– Но уверены ли вы в том, что она придет?

– Да что вы, с ума сошли, что ли, Жан? Разве можно сомневаться в подобных вещах?

– Ну, так я вам скажу, капитан Феб, что вы счастливчик!

Архидиакон слышал весь этот диалог. Зубы его стучали, дрожь, заметная для глаза, пробежала по всему его телу. Он остановился на минуту, прислонился к фонарному столбу, точно человек, у которого закружилась голова, и затем снова пошел вслед за обоими приятелями.

Но в ту минуту, когда он нагнал их, они уже переменили тему разговора, и он услышал, как они распевали во всю глотку какую-то веселую, но не особенно приличную песенку.

VII. Бука

Известный в то время кабачок «Яблоко Евы» находился в университетском квартале, на углу улиц Рондель и Батонье. Он занимал залу в нижнем этаже, довольно обширную, но очень низкую, со сводом, средняя пята которого опиралась на высокий, деревянный, выкрашенный желтой краской, свод. Она была вся уставлена столами и стены были увешаны блестящими, оловянными жбанами; большое окно выходило на улицу, а возле дверей росла виноградная лоза. Комната была переполнена посетителями, в числе которых можно было заметить немало и женщин легкого поведения. Над входной дверью красовалась, скрипевшая на крюках, вывеска, на которой изображены были какая-то женщина и яблоко. Вывеска эта вся заржавела и ходуном ходила при малейшем дуновении ветра, как бы заманивая к себе посетителей.

Уже вечерело, а переулок не был освещен. Поэтому кабачок со своими огнями светился издали, точно кузница во тьме ночной. Слышен был звон стаканов, гул попойки; сквозь разбитые окна до слуха прохожего долетали брань и крупные слова. Из-за запотелых стекол видны были сотни самых разнообразных лиц, и от времени до времени раздавался раскатистый смех. Прохожие, спешившие по своим делам, проходили мимо этого шумного окна, не заглядывая в него. Лишь по временам какой-нибудь мальчишка в лохмотьях вскарабкивался на фундамент дома и выкрикивал звонким голосом:

– Эй вы, пьяницы-бражники!

Какой-то человек прохаживался взад и вперед мимо шумной харчевни, постоянно заглядывая и не удаляясь от нее дальше, чем часовой от своей будки. Он был окутан в плащ, в который он прятал лицо свое; он только что купил этот плащ у старьевщика, открывшего свою лавочку возле самого кабачка, быть может, для того, чтобы защитить себя от холода, а, быть может, и для того, чтобы скрыть свой костюм. По временам он останавливался перед окном со свинцовой рамой, прислушивался, всматривался, топал ногами.

Наконец, дверь кабака отворилась. По-видимому, он этого то и ждал. В ней показались два бражника; сноп света, вырвавшийся из полуотворенной двери, осветил их красные и веселые физиономии. Человек, укутанный в плащ, перешел на другую сторону улицы и стал наблюдать оттуда.

– Сто тысяч чертей! – воскликнул один из бражников, – сейчас пробьет семь часов! Пора отправляться на свидание!

– Уверяю вас, – проговорил его товарищ заплетающимся языком: – что я не живу в улице сквернословия. Я живу в улице Мягкого Хлеба, по соседству с Иоанновской церковью, и вы более рогаты, чем единорог, если станете утверждать противное. Всякому известно, что тот, кто раз ездил верхом на медведе, ничего не боится. А вы... вы большой лакомка!

– Друг мой, Жан, – проговорил первый, – вы совершенно пьяны!

– Говорите, что вам угодно, Феб, – ответил второй бражник, покачнувшись, – а, тем не менее, доказано, что у Платона был профиль лица, напоминающий профиль охотничьей собаки.

Читатель, без сомнения, узнал уже обоих наших приятелей, – капитана и школяра. Повидимому, человек, следивший за ними с другой стороны улицы, также узнал их, ибо он медленными шагами следовал за обоими приятелями, из которых один выписывал ногами разные «мысле́те», между тем, как капитан, более привыкший к попойкам, шел довольно твердым и верным шагом. Внимательно прислушиваясь к их разговору, укутанный в плащ человек успел подслушать следующий интересный диалог:

– Черт возьми! Да постарайтесь же идти по прямой линии, г. студент! Ведь вы знаете, что мне скоро придется покинуть вас. Уже семь часов, а у меня назначено рандеву к этому времени.

– Оставьте меня в покое! Я вижу звезды и огненные языки! А вы... вы похожи на замок Дампмартен, который покатывается от смеха.

– Клянусь прыщами моей бабушки, Жан, вы городите такую чушь, что уши вянут слушать вас. Кстати, Жан, что у вас осталось еще сколько-нибудь денег?

– Г. ректор, здесь нет ошибки: «parva boucheria» означает: «маленькая мясная лавка».

– Жан, друг мой Жан, вы знаете, что я назначил свидание этой девочке на мосту Сен-Мишель, что я могу отправиться с нею только к Фалурдель, этой торговке на мосту, и что мне придется заплатить за комнату. Неужели же, друг мой Жан, мы пропили все, что было в кошельке вашего брата? Неужели у вас ничего не осталось денег? Ведь эта старая карга не поверит мне в долг...

– Сознание, что с пользой употребил свое время, стоит дороже всяких денег.

– Черт вас побери! Перестаньте городить вздор! Скажите же, наконец, осталось ли у вас сколько-нибудь денег, или нет? Если осталось, то давайте их сюда, или я вас обыщу, хотя бы вы были такой же прокаженный, как Иов, и такой же шелудивый, как Цезарь!

– Милостивый государь, улица Галиам выходит одним концом на улицу Стеколыщиков, а другим концом на улицу Ткачей.

– Да, да, мой друг Жан, мой бедный товарищ, это вы совершенно верно сказали относительно улицы Галиам. Но только, ради Бога, придите в себя. Мне нужно немного денег, а теперь уже семь часов.

– Молчать и слушать! – пробормотал Жан и затянул заплетающимся языком какую-то песню.

– Чтоб ты подавился первым же куском, который попадет тебе в глотку, проклятый школяр! – с сердцем воскликнул капитан, терпение которого окончательно лопнуло, и он сильно толкнул Жана, который, стукнувшись сначала о забор, повалился затем на мостовую. Руководимый тем чувством братского сострадания, которое никогда не покидает бражников, Феб положил голову Жана на одну из тех подушек, которые всеблагое Провидение приуготовило для бедных на всех парижских перекрестках и которые богачи презрительно клеймят названием «куча мусора». Капитан заботливо уложил голову Жана на наклонную плоскость, составленную из кочерыжек капусты, и в то же мгновение школяр захрапел густым басом. Однако, в сердце капитана все еще оставалась некоторая злоба против Жана.

– Тем хуже для тебя, – проговорил он, обращаясь к крепко спавшему школяру, – если тебя мимоездом подберет чертова повозка! – и затем он удалился.

Давно уже следивший за ними человек, укутанный в плащ, остановился было на минуту перед лежавшим на улице Жаном, как бы не зная, на что решиться; затем, испустив глубокий вздох, он последовал за капитаном.

И мы также, следуя их примеру, оставим Жана спать под открытым небом и последуем за ними, если читатель ничего не имеет против этого.

Войдя в улицу Сент-Андре, капитан Феб заметил, что кто-то следит за ним. Случайно обернувшись, он увидел нечто вроде длинной тени, кравшейся по его следам вдоль стен. Он остановился – и тень остановилась; он снова зашагал – и тень зашагала. Это, впрочем, мало его тревожило.

Пускай его, – сказал он про себя, – ведь у меня нет ни гроша!

Перед Отенским училищем он остановился. Здесь он когда-то учился, и, вследствие оставшейся у него с отроческих лет школьной привычки, он никогда не проходил мимо здания училища без того, чтобы не нанести поставленной против дверей училища статуе кардинала Пьера Бертрана то оскорбление, на которое так горько жалуется Приап в одной из сатир Горация, и он делал это с таким озлоблением, что надпись на подножии статуи «Епископ Эдуи» почти уже совершенно стерлась. Итак, он, по усвоенной им себе привычке, остановился перед статуей. Улица была совершенно пуста. Но в эту самую минуту, когда он небрежно застегивал пуговицы своего мундира, подняв голову кверху, он увидел приближавшуюся к нему медленными шагами тень; она приближалась столь медленными шагами, что он успел разглядеть на этой тени шляпу и плащ. Подойдя к нему, тень остановилась и стояла более неподвижная, чем статуя кардинала Бертрана, устремив на Феба два глаза, блестящие так же, как кошачьи глаза ночью.

Капитан был нетрусливого десятка, и он не испугался бы разбойника с дубиной в руке; но, тем не менее, при виде этой ходячей статуи, этого окаменелого человека, мурашки забегали у него по спине. В то время по городу ходили разные рассказы о каком-то буке, о каком-то привидении, расхаживающем ночью по парижским улицам, и эти рассказы смутно пришли ему теперь на ум. Он несколько минут молча глядел на привидение и, наконец, проговорил с притворным смехом:

Милостивый государь, если вы, как я надеюсь, вор, то позвольте вам заметить, что вы представляетесь мне цаплей, ловящей орешью скорлупу. Я разорился в пух и прах, мой милый. Вот куда вам следует обратиться. В этой часовне хранится кусок дерева от настоящего креста, в оправе из чистого серебра.

Рука тени высунулась из под плаща и опустилась на плечо капитана, не менее тяжелая, чем медвежья лапа. В то же самое время тень проговорила:

– Капитан Феб де-Шатопер!

– Каким это образом, черт побери, вам известно мое имя? – воскликнул Феб.

– Я знаю не только ваше имя, но и то, что у вас па сегодняшний вечер назначено свидание! – продолжал громовым голосом человек, укутанный в плащ.

– Совершенно верно! – ответил удивленный Феб.

– В семь часов.

– Да, через четверть часа.

– У вдовы Фалурдэль.

– Именно.

– У торговки на мосту Сен-Мишель.

– Св. архангела Михаила, как говорится в молитвах.

– Безбожник! – пробормотало привидение. – Свидание с женщиной?

– Ну, конечно же, не с мужчиной!

– И эта женщина называется...

– Смеральда! – весело воскликнул Феб, к которому мало-помалу возвратилась вся его беззаботность.

При этом имени тень яростно потрясла Феба за плечо и воскликнула:

– Ты лжешь, капитан Феб де-Шатопер!

Всякий, кто увидел бы в эту минуту гневное лицо капитана, отскочившего назад с такой силой, что ему удалось вырваться из железных клещей, обхвативших его руку, гордый вид, с которым он схватился за эфес своей шпаги, и в виду этого гнева – мрачную неподвижность человека, укутанного в плащ, – невольно испугался бы. Картина эта напоминала собою свидание Дон-Жуана со статуей командора.

– Сто тысяч чертей! – воскликнул капитан, – вот слово, которое редко долетает до слуха одного из Шатоперов! Ты, конечно, не осмелишься повторить его!

– Ты лжешь! – спокойно повторила тень.

Капитан заскрежетал зубами. В эту минуту он забыл все – и буку, и привидения, и всяческие предрассудки. Он видел перед собою только человека, нанесшего ему оскорбление.

– А! коли так, хорошо же!.. – проговорил он голосом, сдвленным от злости. Он выхватил шпагу и проговорил, заикаясь, ибо и гнев заставляет человека дрожать так же, как и страх. – Сюда! Немедленно! Ну же! Обнажайте же шпагу! Пусть эта самая мостовая обAGRится чьей-нибудь кровью!

Однако противник его не шевелился. Увидев капитана, вставшего в позытуру и готового ринуться на него, он проговорил голосом, дрожавшим от горечи:

– Капитан Феб, вы забываете о вашем свидании.

Вспыльчивые люди, вроде Феба, похожи на молочный суп, в который достаточно впустить каплю холодной воды, чтобы прекратить кипение его. Этого простого слова оказалось достаточным, чтобы заставить капитана опустить шпагу, сверкавшую в его руке.

– Капитан, – продолжал человек в плаще, – завтра, послезавтра, через месяц, через десять лет, вы найдете меня готовым перерезать вам горло; но прежде отправляйтесь на ваше свидание.

– Действительно, – проговорил Феб, как бы обрадовавшись сам этому предложению, – и поединок, и свидание имеют своего рода прелесть; но только я не понимаю, почему бы нам не покончить разом.

– Отправляйтесь на ваше свидание... – повторил незнакомец.

– Очень вам благодарен за вашу любезность, милостивый государь, – проговорил Феб, несколько смутившись, вкладывая свою шпагу в ножны. – Действительно, я успею еще и завтра проколоть вашу шкуру; а пока я вам бесконечно обязан за то, что вы не лишаете меня возможности провести приятный часок. Правда, я еще успел бы уложить вас спать в канаву улицы и все-таки попасть вовремя к красотке, тем более, что в подобных случаях даже полезно заставить женщину несколько ждать. Но в вас, как мне сдается, я встречу достойного себя соперника, и потому вернее будет отложить дело до завтра. Итак, я отправляюсь на свидание! Ведь вы знаете, что оно назначено в семь часов. – Тут Феб почесал у себя за ухом и воскликнул: – Ах, черт возьми, совсем было позабыл! Ведь у меня нет ни копейки для того, чтобы заплатить за комнату, а старая сводня потребует, чтобы ей заплатили вперед. К тому же, она имеет основание не особенно доверять мне.

– Вот вам чем заплатить... – проговорил незнакомец, и Феб почувствовал, как холодная рука незнакомца всунула в его руку какую-то крупную монету. Он не мог удержаться от искушения принять эту монету и пожать эту руку.

– Клянусь Богом, – воскликнул он, – вы славный малый!

– Только с одним условием, – проговорил незнакомец, – докажите мне, что вы были правы, а я неправ. Спрячьте меня в каком-нибудь углу, откуда я мог бы видеть, действительно ли эта женщина та самая, которую вы назвали.

О, это для меня совершенно безразлично! – ответил Феб. – Я возьму комнату Марты, и вам отлично можно будет разглядеть, что в ней происходит, поместившись в соседней собачьей конуре.

– Ну, так пойдемте же! – проговорил незнакомец.

– К вашим услугам! – ответил капитан. – Я не знаю, быть может, вы и сам олицетворенный дьявол; но, во всяком случае, будемте друзьями сегодня вечером. Завтра я заплачу вам все мои долги и деньгами, и шпагой.

И они быстрыми шагами двинулись в путь. По прошествии нескольких минут плеск воды возвестил им, что они достигли моста Сен-Мишель, в те времена застроенного домами.

– Я сначала проведу вас, куда следует, – сказал Феб своему спутнику, – а затем я отправлюсь за красоткой, которая должна была ожидать меня возле Малого Шатлэ.

Товарищ его ничего не ответил, и, вообще, с тех пор, как они шли вместе, он не проговорил ни слова. Наконец, Феб остановился перед какою-то низенькою дверью и сильно постучал. Сквозь щели двери показался огонь и какой-то беззубый голос спросил:

– Кто там?

Капитан ответил каким-то ругательством, служившим, очевидно, условным знаком, так как дверь немедленно отворилась, и глазам обоих гостей предстала старая женщина, державшая в руках старый светильник; и тот, и другая дрожали. Старуха вся сгорбилась, одета была в лохмотья, голова ее была повязана какою-то тряпицей, подслеповатые глаза ее смотрели тупо, лицо, руки, шея ее были в морщинах; губы ее впали, и по обеим сторонам верхней губы торчали седые волоски, придававшие ей вид кота.

Внутренность квартиры была не привлекательнее хозяйки ее. Столы были выбелены известью, почерневшие от времени балки поддерживали потолок, печь на половину развалилась, во всех углах была протянута паутина; посреди комнаты стояло несколько столов и скамеек с поломанными ножками; в золе копался какой-то грязный ребенок, а в глубине комнаты какая-то лестница упиралась в потолок.

Войдя в этот вертеп, таинственный спутник Феба поднял воротник своего плаща до самых глаз, а капитан, ругаясь и бранясь, показал старухе блестящий новенький эжю, и проговорил:

– Комнату Марты...

Старуха низко поклонилась, взяла монету и положила ее в ящик стола. Это была та самая монета, которую дал капитану человек, укутанный в черный плащ. Когда она отвернулась от стола, взъерошенный и лохматый мальчик, копавшийся в золе, подкрался к ящику, проворно вытащил из него монету и положил на место ее сухой лист, сорванный им из связки прутьев.

Старуха жестом пригласила гостей своих последовать за нею и повела их вверх по лестнице. Взобравшись в верхний этаж, она поставила светильник свой на сундук, а Феб, как человек, хорошо знакомый с квартирой, отворил дверь, которая вела в темный чулан.

– Спрячьтесь вот здесь, мой милый... – сказал он своему спутнику.

Человек, укутанный в плащ, послушался его не произнося ни слова, а капитан затворил за ним дверь, заперев на задвижку, и минуту спустя шаги его и старухи раздались на лестнице. В комнате сделалось совершенно темно.

VIII. О пользе окон, выходящих на реку

Клод Фролло (ибо мы предполагаем, что читатель, конечно, более проницательный, чем Феб, давно уже узнал в закутанном в плащ человеке архидиакона) в течение нескольких минут

старался ощупью ориентироваться в том темном чулане, в котором запер его капитан. Это был чердак в форме треугольника, образуемый крышей и потолком комнаты. В нем не было ни обыкновенного, ни даже слухового окна, а крутой наклон крыши не позволял вытянуться Клоду во весь рост; поэтому он уселся на корточки на куче сора и мусора, на которую он случайно набрел. Голова его горела. Пошарив руками вокруг себя, он ощупал кусок разбитого стекла, который он приложил ко лбу, что несколько умерило его жар.

Что происходило в это время в глубине души Клода? – Это было известно только ему самому, да Богу. Каким образом вязались в его мыслях Феб, Эсмеральда, Жак Шармолу, его столь нежно любимый младший брат, покинутый им на парижской мостовой, его священническая ряса, его доброе имя, которое он принес с собою в этот вертеп, – все эти образы, все эти приключения? Это трудно объяснить. Но несомненно то, что все эти мысли складывались в уме его в какую-то ужасную группу.

Ему пришлось ждать всего с четверть часа, но ему показалось, что он постарел за это время на целых сто лет. Вдруг он услышал, что ступеньки деревянной лестницы заскрипели. Кто-то поднимался наверх. Трап отворился, и показался свет. В источенной червями двери его чулана была довольно широкая щель, и он стал смотреть в нее: оказалось, что сквозь эту щель можно разглядеть все, что происходило в соседней комнате. Прежде всего, из-под трапа показалась старуха с кошачьим лицом, державшая в руке светильник, затем Феб, покручивавший свои усы, и, наконец, еще третье лицо – красивое и грациозное личико Эсмеральды. Когда она показалась из-под трапа, взорам Клода точно предстало ослепительное видение. Он задрожал, у него потемнело в глазах, кровь бросилась ему в голову, в ушах его зашумело, и все вокруг него завертелось и закружилось. На несколько минут он лишился чувств, ничего не видел и не слышал.

Когда он снова пришел в себя, старухи уже не было в соседней комнате. В ней оставались только Феб и Эсмеральда, сидевшие рядом на деревянном сундуке возле светильника, освещавшего молодые их лица и жалкую кровать в глубине каморки. Возле кровати было окно, стекла которого были побиты во многих местах, напоминая собою паутину, продырявленную каплями дождя, и сквозь образовавшиеся таким образом отверстия можно было разглядеть клочок неба и луну, как бы покоившуюся в отдалении на перине из мягких облаков.

Молодая девушка была смущена, щеки ее горели, она вся дрожала. Ее длинные, опущенные ресницы бросали тень на ее раскрасневшиеся щеки. А офицер, на которого она не осмеливалась поднять глаз, весь сиял. Машинально, с очаровательной неловкостью, она выводила концом пальца на скамейке разные причудливые узоры и смотрела на свой палец. Ног ее не было видно, так как на них улеглась ее козочка. Капитан, видимо, принарядился для этого свидания. На воротнике и на обшлагах его сюртука болтались золотые кисточки, что тогда считалось очень шикарным.

Клоду не без труда удалось расслышать то, что они говорили, – до того сильно кровь стучала ему в виски и шумела в ушах. (Впрочем, болтовня двух влюбленных, в сущности, со стороны представляется очень неинтересной. Это бесконечная вариация на тему: «я люблю тебя», т. е. на музыкальную фразу, очень ничтожную и даже очень нелепую, для посторонних слушателей, если только она не бывает разукрашена какими-нибудь фиоритурами. Но дело в том, что Клод прислушивался к их разговору далеко не в качестве равнодушного зрителя).

– Ах, господин Феб, – говорила молодая девушка, не поднимая глаз, – не презирайте меня! Я знаю, что я поступаю очень дурно.

– Презирать тебя, красавица моя, – ответил офицер любезным, но фатоватым тоном, – презирать тебя! Но за что же, ради самого Господа Бога?

– А за то, что я пришла с вами сюда.

– На этот счет мы, кажется, не понимаем друг друга. Мне бы следовало не презирать, а ненавидеть тебя.

– Ненавидеть! – воскликнула молодая девушка, взглянув на него с испугом. – Что же я такое сделала?

– Ты заставила так долго упрашивать себя.

– Что делать?.. – проговорила она со вздохом. – Я не хотела нарушить обета. Талисман утратит свою силу и мне никогда не удастся отыскать моих родителей. – Но все равно! – Пусть будет, что будет! – На что мне теперь отец, на что мне мать.

И с этими словами она взглянула на капитана глазами, влажными от радости и нежности.

– Черт меня побери, если я в этом хоть что-нибудь понимаю! – воскликнул Феб.

Эсмеральда помолчала с минуту, затем на глазах ее выступили слезы, из груди ее вырвался вздох, и она проговорила:

– Ах, если бы вы знали, как я люблю вас!

Во всем существе молодой девушки было столько целомудрия и непорочности, что Фебу стало несколько неловко возле нее. Однако последние слова ее придали ему бодрости.

– Ты любишь меня! – воскликнул он восторженным голосом и обхватил рукой талию цыганки. Он, по-видимому, давно уже ждал случая сделать это.

А Клод видел все это из своего чулана и ощупал пальцем острое кинжала, который был у него за пазухой.

– Феб, – продолжала цыганка, тихонько отстраняя от своей талии цепкие руки капитана, – вы добры, вы великодушны, вы прекрасны! Вы меня спасли, меня, бедную бродягу-цыганку. Я давно уже только и думаю, что о спасшем меня офицере. Я мечтала о вас еще раньше, чем узнала вас, Феб. Я давно уже мечтала о человеке в таком красивом мундире, как ваш, со шпагой на боку, с таким прекрасным лицом. И к тому же у вас такое красивое имя – Феб. Я все люблю в вас – и ваше имя, и вашу шпагу. Выньте-ка вашу шпагу, Феб, дайте мне посмотреть на нее.

– Ребенок! – сказал Феб, улыбнувшись, и вынул свою шпагу.

Цыганка осмотрела рукоятку, клинок, с премилой внимательностью разглядела шифр на рукоятке, и в заключение поцеловала ее и сказала:

– Ты принадлежишь храбрецу. Я люблю моего капитана!..

Феб счел нужным воспользоваться этим удобным случаем, чтобы запечатлеть поцелуй на красивой, согнутой шейке молодой девушки. Та выпрямилась, покраснев, как маков цвет, а Клод заскрежетал зубами в своей темной конуре.

– Феб, – заговорила цыганка, – дайте мне высказать вам то, что я имею сказать вам. Но походите немного по комнате, чтобы я могла видеть вас во весь рост и слышать бряцание ваших шпор. Какой вы красавец!

Капитан поднялся со своего места, чтобы сделать ей удовольствие, и журил ее с самодовольным видом:

– Какой ты, однако же, ребенок! – А кстати, красавица моя, видела ты меня в парадном мундире?

– К сожалению, нет... – ответила она.

– Вот он красив, так красив! – сказал Феб, снова усаживаясь подле нее, но на этот раз уже гораздо ближе, чем прежде.

– Послушай, моя милая... – начал он.

Цыганочка хлопнула его несколько раз по губам своей маленькой ручкой с детской, грациозной и веселой шаловливостью.

– Нет, нет, я и слушать вас не стану! – воскликнула она. – Любите ли вы меня? Я желаю, чтобы вы мне сказали, любите ли вы меня?

– Еще бы не любить тебя, ангел души моей! – воскликнул капитан, становясь на одно колено. – Мое тело, моя кровь, моя душа, – все твое, все принадлежит тебе! Я люблю тебя и никогда никого не любил, кроме тебя!

Капитану так часто доводилось повторять эту фразу при подобных же обстоятельствах, что он проговорил ее, не переводя духа, ни разу не сбившись. При этом страстном признании цыганка подняла к грязному потолку, заменявшему в данном случае небо, взор, полный какого-то неземного счастья, и проговорила:

– О! теперь я готова была бы умереть!

Феб нашел этот момент как нельзя более удобным для того, чтобы еще раз поцеловать ее, и поцелуй этот снова заставил несчастного архидиакона испытать в своей конуре самые адские муки.

Умереть! – воскликнул влюбленный капитан. – Что там такое говоришь, ангел мой! Напротив, тут-то и нужно жить, клянусь Юпитером! Умереть при самом начале такой приятной вещи! Что за странные шутки, черт побери! Дело совсем не в том. Слушай, милая моя Симиляр... Эсмеральда... Извини меня, пожалуйста, но у тебя такое басурманское имя, что я вечно перепутываю его. Это имя для меня точно какие-то дебри.

– Ах, Боже мой, – сказала бедная девушка, – а мне до сих пор имя мое нравилось именно вследствие своей странности. Но так как оно вам не нравится, то называйте меня просто хоть Марго.

– Ну, не плачь же из-за таких пустяков, милочка! Это просто имя, к которому нужно привыкнуть, вот и все. Раз я его выучу наизусть, дело пойдет уже само собою. – Так слушай же, милая моя Симиляр, я люблю тебя страстно, я люблю тебя так, что просто уму непостижимо. Одна барышня из себя выходит из-за этого...

– Кто это? – перебила его молодая девушка, в душе которой зашевелилось чувство ревности.

– К чему тебе знать имя ее? – ответил Феб, – Так любишь ли ты меня?

– Еще бы! – проговорила цыганка.

– Ну, и отлично! Я докажу тебе, насколько и я тебя люблю. Пусть меня поднимет на свои вилы этот языческий бог Нептун, если я не сделаю тебя самым счастливым созданием в мире! Мы найдем где-нибудь прехорошенькую комнату. Я проведу моих стрелков церемониальным маршем мимо твоих окон. Все они конные и хоть сейчас за пояс заткнут стрелков капитана Миньона. Одни из них выступают в строй с рогатинами, другие с луками, третьи с ручными самострелами. Я поведу тебя на большой смотр парижскому гарнизону, близ хлебных магазинов Рюльи. Это великолепное зрелище. Восемьдесят тысяч человек в строю! Тридцать тысяч человек в стальных латах, кольчугах и камзолах шестьдесят семь цеховых значков, знамена парламента, счетной камеры, казначейства, монетного двора, – словом, настоящая свита сатаны! Я поведу тебя смотреть на львов в королевском зверинце; это очень дикие звери, а все женщины это любят.

В течение нескольких последних минут молодая девушка замечталась, погруженная в самые радужные размышления, при звуках дорогого голоса, не вникая в смысл произносимых слов.

– О, как ты будешь счастлива! – продолжал капитан, тихонько расстегивая в то же время кушак цыганки.

– Что это вы делаете? – с живостью воскликнула она, пробужденная этим посягательством.

– Ничего... – ответил Феб. – Я говорил только, что тебе придется сбросить с себя этот уличный, балаганный наряд, когда ты будешь у меня.

– Когда я буду у тебя, Феб! – нежно проговорила молодая девушка и снова задумалась и замечталась.

Ободренный ее кротостью, капитан обнял ее талию. Она не оказывала ни малейшего сопротивления. Затем он стал потихоньку распускать шнурки ее корсажа и при этом до того сдвинул покрывавшую ее шею косынку, что чуть не задыхавшийся от волнения в своей конуре

священник увидел вскоре показавшееся из-под косынки красивое плечико цыганки, круглое и розовое, как луна, поднимающаяся на горизонте из-за туч.

Молодая девушка все еще не оказывала Фебу ни малейшего сопротивления; она даже как будто ничего не замечала. Глаза предприимчивого капитана блестели.

– Феб, – сказала она, вдруг повернувшись к нему и взглянув на него с беспредельной любовью, – ознакомь меня с твоей религией.

С моей религией! – воскликнул капитан, расхохотавшись. – Ознакомить тебя с моей религией! Да на что она тебе, моя религия, скажи на милость!

– А на то, чтобы я могла выйти за тебя замуж, – наивно ответила она.

Лицо капитана приняло выражение, в котором сказывались одновременно и удивление, и презрение, и беззаботность, и плотские вожделения.

– Вот еще что ты выдумала! – проговорил он, – да с какой стати нам жениться!

Цыганка побледнела и печально опустила голову на грудь.

– Моя милая, – нежно продолжал Феб: – что это за ости! И что за невидаль – свадьба? Разве люди не могут любить друг друга, не будучи повенчаны попом?

Произнося слова эти самым нежным и вкрадчивым голосом, он все ближе и ближе двигался к цыганке. Руки его снова обхватили ее гибкую и тонкую талию, глаза его разгорались все более и более ярким блеском, и все предвещало, что капитан Феб, действительно, приближался к одному из тех моментов, в которые сам Юпитер наделал столько глупостей, что добряк Гомер нашелся вынужденным призвать к нему на помощь облако.

Однако Клод все это видел. Дверь была сколочена из досок из-под бочек, совершенно перегнивших, между которыми были такие широкие щели, что его взор хищной птицы без труда мог проникать в соседнюю комнату. Этот смуглый, широкоплечий священник, осужденный до сих пор на строгое, монастырское безбрачие, дрожал и кипел в виду этой ночной, страстной, любовной сцены. Молодая и красивая девушка, туалет которой был приведен в беспорядок предприимчивым молодым человеком, и которая вот-вот была готова отдаться ему, заставляла кровь кипеть в его жилах, точно расплавленный свинец. С ним происходило что-то необычайное. Взор его следил с какою-то похотливой ревностью за каждой вынутой булавкой, за каждым расстегнутым крючком. Если бы кто-либо мог увидеть в эту минуту лицо несчастного Клода, припавшее к щелям изъеденной червями двери, ему невольно пришел бы на ум тигр, смотрящий сквозь решетку клетки на шакала, пожирающего газель. Глаза его блестели, точно зажженные свечи, сквозь щели двери.

Вдруг Феб быстрым движением руки, сорвал косынку с плеч цыганки. Бедная девушка, сидевшая бледная и задумчивая, как будто проснулась. Она быстрым движением отодвинулась от чересчур предприимчивого офицера, и, бросив взгляд на свои обнаженные плечи и грудь, покраснела, сконфузилась, онемев от стыда, старалась закрыть свою грудь красивыми руками своими. Если бы не яркий румянец, покрывавший ее щеки, то всякий, кто увидел бы ее в этом положении, немую и неподвижную, принял бы ее за статую стыдливости. Она продолжала держать глаза опущенными в землю.

Бесцеремонное движение капитана обнаружило таинственный талисман, висевший у нее на шее.

– Что это такое? – спросил он, воспользовавшись этим предлогом, чтобы снова приблизиться к красивому созданию, которое он только что всполошил.

– Не трогайте этого! – воскликнула она с живостью, – это мой талисман! Он поможет мне найти родителей моих, если я останусь достойна их. Ах, оставьте меня, г. капитан! Мать моя! Бедная моя мать! Мать моя! где ты? Приди ко мне на помощь! Ради Бога, господин Феб, возвратите мне мою косынку!

Феб отступил на несколько шагов и сказал холодным голосом:

– О, сударыня, теперь я отлично понимаю, что вы меня не любите!

– Я не люблю тебя?.. – воскликнула бедняжка, повиснув на шее капитана и усаживая его подле себя. – Я не люблю тебя, мой Феб! Ты это нарочно говоришь, злой человек, чтобы мучить меня! Ну, бери же меня всю! Делай со мною все, что хочешь! Я – твоя! Что мне за дело до талисмана моего! Что мне за дело до моей матери! Ты – моя мать, так как я люблю тебя! Феб, милый мой Феб, видишь ли ты меня? Это я, – гляди на меня. Я та самая девочка, которую ты не захотел оттолкнуть от себя, которая сама всюду бегала за тобой. Душа моя, моя жизнь, мое тело, я вся – все это принадлежит тебе, мой милый! Ну, хорошо, не нужно жениться, если это тебе не нравится. И что же я, в сущности? Жалкая уличная плясунья, между тем, как ты, Феб, – ты дворянин. И какая чушь пришла мне в голову! Плясунье – выйти замуж за офицера! Я, кажется, с ума сошла! Нет, Феб, нет, я буду твоей любовницей, твоей игрушкой, твоей забавой, если ты этого желаешь, девушкой, которая будет принадлежать тебе, только тебе! Я на то и создана! Пускай я буду обесчещенная, презренная, – мне все равно, лишь бы ты любил меня! Этого одного достаточно, чтобы сделать меня самую веселую и самую счастливую из женщин. А когда я постарею и подурнею, Феб, когда я буду уже недостойна любви вашей, господин мой, то вы, вероятно, не откажете мне в позволении прислуживать вам. Другие женщины будут вышивать вам шарфы, а я, служанка ваша, буду смотреть за ними. Вы позволите мне полировать ваши шпоры, чистить ваш мундир, смазывать ваши сапоги. Не правда ли, Феб, ты позволишь мне это? А покуда бери меня, Феб, я вся принадлежу тебе, только люби меня! Нам, цыганкам, только и нужны две вещи: вольный воздух и любовь!

И говоря таким образом, она обняла руками своими шею молодого офицера, она смотрела ему в глаза снизу вверх умоляющим взором своих прекрасных заплаканных глаз, и в то же время радостно улыбаясь, и ее нежная грудь терлась о сукно и о шитье его шитого мундира. Ее красивое полунагое тело извивалось на коленях его. Капитан, совершенно опьяненный, прильнул губами к ее красивому, смуглому плечу. Молодая девушка, устремив глаза в потолок и откинувшись назад, содрогалась под этими поцелуями.

Вдруг она увидела над головою Феба другую голову, бледное, позеленевшее от злости, судорожно искаженное лицо, с злобно-сверкавшими глазами, а возле этого лица она увидела руку, державшую кинжал. И лицо, и рука эта принадлежали Клоду. Он выломал дверь и очутился около влюбленной парочки. Молодая девушка, объятая ужасом, осталась неподвижною и немой при виде этого ужасного явления, точно голубка, поднявшая свою голову как раз в то время, когда коршун-ягнятник заглядывает в ее гнездо своими большими, круглыми глазами.

Она не имела даже сил вскрикнуть. Она увидела только, как кинжал опустился над Фебом и снова поднялся, дымясь.

– Проклятие! – вскрикнул капитан, падая на пол.

Она лишилась чувств. В ту минуту, когда глаза ее смежались, когда от нее отлетало сознание, ей показалось, будто что-то горячее прикоснулось к ее губам, и этот поцелуй обжег ее, точно клеймо палача.

Когда она пришла в себя, она увидела себя окруженной солдатами ночного дозора, из комнаты уносили капитана, обливавшегося кровью, священник исчез, окно в глубине комнаты, выходившее на реку, было открыто настежь, кто-то поднимал с полу плащ, предполагая, что он принадлежит офицеру, и она слышала, как вокруг нее говорили:

– Эта колдунья заколола кинжалом капитана!

Книга восьмая

I. Серебряная монета, превратившаяся в сухой лист

Гренгуар и весь цыганский табор находились в состоянии смертельного беспокойства. В течение целого месяца ничего неизвестно было ни о том, что случилось с Эсмеральдой, – и это обстоятельство очень огорчало цыганского старшину и его подчиненных – бродяг, ни о том, что случилось с козочкой, и это удваивало печаль Гренгуара. В один прекрасный вечер цыганка исчезла, и с тех пор она как в воду канула. Все поиски оставались тщетными. Некоторые, любившие дразнить народ, уличные мальчишки уверяли Гренгуара, что видели ее в тот вечер возле моста Сен-Мишель, в обществе какого-то офицера; но этот муж по цыганской моде был неверующий философ, и к тому же он знал лучше, чем кто-либо, до какой степени жена его была неприступна. Он собственным опытом успел убедиться в том, какую сильную твердыню составляли две соединенные добродетели – добродетель невинной девушки, подкрепленная еще чудесной силой талисмана, и он математически рассчитал комбинированную силу этих двух факторов. Следовательно, с этой стороны он был совершенно покоен.

Но за то тем труднее было для него объяснить себе исчезновение ее. Он был глубоко опечален; он даже в состоянии был бы похудеть от огорчения, если бы только для него была возможность еще более похудеть. Это огорчение заставило его забыть все на свете, даже свои литературные влечения, даже обширный труд свой: «О правильных и неправильных фигурах», который он рассчитывал напечатать при первых свободных деньгах (он просто бредил о книгопечатании с тех пор, как он видел «Дидакалии» Гюго де-Сен-Виктора, напечатанные знаменитыми буквами Винделина Шпейерского).

Однажды, когда он проходил, погруженный в глубокую грусть, мимо здания уголовного суда, он увидел довольно значительную толпу, собравшуюся возле здания суда.

– Что тут такое происходит? – спросил он какого-то молодого человека, вышедшего из суда.

– Не могу вам сказать, наверное, сударь, – ответил молодой человек. – Говорят, что судят какую-то женщину, убившую жандарма. Так как тут дело, по-видимому, не обошлось без чародейства, то к участию в рассмотрении его приглашены также епископ и консисторские судьи, и брат мой, состоящий архидиаконом при соборе Богоматери, проводит в суде «целые дни. Мне нужно было переговорить с ним, но я не мог добраться до него сквозь густую толпу, наполняющую залу, что для меня крайне досадно, ибо мне дозарезу нужны деньги.

– Я с удовольствием ссудил бы вам деньги, сударь, – сказал Гренгуар, – но, к сожалению, если карманы мои дырявы, то они продырявились отнюдь не от денег.

Он не решился сказать молодому человеку, что он знаком с его братом-архидиаконом, к которому он не приходил после известной уже читателям сцены в церкви, и это обстоятельство очень смущало его.

Молодой человек пошел своей дорогой, а Гренгуар последовал вслед за толпой, которая поднималась по лестнице, ведущей в большой зал суда. Он находил, что для того, чтобы рассеять печаль, нет ничего лучшего, как слушание какого-нибудь уголовного дела, так как судьи бывают обыкновенно замечательно глупы и смешны. Толпа, к которой он присоединился, подвигалась вперед молча, слегка проталкиваясь. После долгого и скучного топтания в темном коридоре, извивавшемся, точно змея, по всему старому зданию, он добрался, наконец, до низкой двери, выходившей в большую залу. Так как дверь была открыта, то он, благодаря своему высокому росту, мог рассмотреть через головы волновавшейся впереди него толпы то, что происходило в зале.

Это была обширная и темная комната и, вследствие этой темноты, казалась еще более обширной. День клонился уже к вечеру; сквозь узкие, стрельчатые окна в нее проникали лишь слабые лучи света, да и те терялись, прежде чем достигнуть свода, т. е. громадной решетки из резного дерева, разнообразные фигуры которого, казалось, шевелились во тьме. На столах кое-где зажжены были свечи, освещавшие головы секретарей, нагнувшихся над связками бумаг. Ближайшая к двери часть комнаты занята была публикой; вдоль правой и левой стены сидели какие-то люди, облеченные в длинные мантии; в глубине, на возвышении, сидели судьи в несколько рядов, последние из которых терялись в потемках; лица судей были строги и неподвижны. Стены были усеяны бесчисленными цветами лилий. Над головами судей с трудом можно было различить большое распятие, и по всей комнате блистали здесь и там алебарды и копья, на железных наконечниках которых отражались горевшие в зале свечи.

– Милостивый государь, – спросил Гренгуар у одного из своих соседей, – скажите мне, пожалуйста, что это за люди сидят там рядком, точно епископы в церковном соборе?

– А это, сударь, – ответил тот, – направо – члены суда, а налево – следователи; первые – в красных мантиях, а последние – в черных.

– А это что за толстяк в красной мантии, обливающийся потом? – продолжал допрашивать Гренгуар.

– Это сам господин председатель.

– А эти бараны, что сидят позади него? – спросил Гренгуар, который, как мы уже говорили, недолюбливал судейских, что происходило, быть может, вследствие того, что он до сих пор никак еще не мог забыть неудачи, постигшей его драматическое произведение в этой самой зале суда.

– Это господа докладчики королевской канцелярии.

– А тот боров, что сидит впереди всех?

– Это господин секретарь парламентского суда.

– А тот толстый, черный кот, налево?

– Это Жак Шармолу, королевский, прокурор при консисторском суде, вместе с членами этого суда.

– А скажите, пожалуйста, сударь, – сказал Гренгуар, – что же они все здесь делают?

– Они судят.

– Судят?.. Кого? Я не вижу никакого подсудимого.

– Не подсудимого, а подсудимую. Вы не можете ее разглядеть отсюда, потому что она сидит, обратившись к нам спиной, и к тому же ее не видать из-за толпы. Она вон там, посреди этой группы бердышей.

– А кто же эта женщина? – продолжал Гренгуар. – Как ее имя?

– Не могу вам сказать, сударь, – я сам только что пришел. Но я предполагаю, что здесь дело идет о чародействе, потому что в процессе участвуют и члены духовного суда.

– Хорошо, – проговорил наш философ, – посмотрим, как все эти великомудрые люди будут жрать человеческое мясо. И это зрелище, не лишнее интереса...

– Милостивый государь, – обратился к нему его сосед, – не находите ли вы, что у господина Жака Шармолу очень кроткий вид?

– Гм, гм! – ответил Гренгуар, – я вообще не особенно полагаюсь на кротость тех людей, у которых такие тонкие губы и такие ущемлённые ноздри, как у господина Шармолу.

Но тут соседи шиканьем пригласили обоих болтунов замолчать; в суде давалось важное показание.

Господа судьи, – говорила стоявшая посреди зала старуха, лицо которой до того было закрыто ее одеждой, что ее легко можно было бы принять за ходячий порох лоскутьев, – это настолько верно, насколько верно то, что я вдова Фалурдель, живущая уже целых сорок лет на мосту Сен-Мишель и аккуратно выплачивающая налоги, подати и пошлыны. Квартира моя

находится как раз против дома красильщика Тассен Кальяра, стоящего немного повыше моста. Тейерья, господи судьи, бедная старуха, но когда-то я была красивой девушкой. Итак, соседки мои говорили мне в течение нескольких дней: «Смотрите, бабушка Фалурдель, не вертите слишком много вашей прялкой по вечерам; ведь черт любит расчесывать рогами своими пряжу старух. Достоверно известно, что бука, бродивший в прошлом году в Тампльском предместье, теперь перебрался к старому городу. Берегитесь, бабушка Фалурдель, как бы он не постучался в вашу дверь!» Вот, однажды вечером, я сижу за прялкой, как вдруг кто-то постучался в дверь. Я спросила: «кто там?» – мне ответили ругательствами. Я отворяю дверь; входят каких-то два человека. Один – красивый офицер, другой – весь укутанный в черное, так что видны были только его черные глаза, сверкавшие, как горячие уголья; все остальное было у него прикрыто шляпой и плащом. Вот они и говорят мне: «Пусти нас в комнату Марты». – Под этим именем, господи судьи, среди моих знакомых известна была комната в верхнем этаже моей квартиры, самая чистая моя комната, господи судьи. – И с этими словами они дают мне экую. Я спрятала монету в ящик стола, сказав сама себе: – «Хорошо, это пригодится мне на то, чтобы завтра купить требухи на Глориетской бойне». – Мы поднялись вверх. Как только мы пришли в верхнюю комнату, не успела я повернуться, как черный человек вдруг куда-то исчез. Это меня несколько удивило. Офицер, красавчик и, по всем видимостям, знатный барин, спускается вместе со мною вниз и уходит из моей квартиры. Не успела я смотреть четверть тальки, как он снова вернулся с красивой молодой девушкой, настоящей куколкой, которая была бы краше солнца, если бы только волосы ее не были так растрепаны. За нею шел козел, громадный козел, черный или белый, теперь уже не помню хорошенько. Этот козел заставил меня задуматься. Девушка – это не мое дело, но причем тут козел? Нужно вам сказать, гг. судьи, что я не люблю этих бородатых и рогатых животных; бороною своею они напоминают мужчин, а рогами – чертей. Однако я ничего не сказала: ведь мне же заплатили целый экую. Ведь правильно я рассудила не так ли, гг. судьи? Офицер и молодая девушка поднялись наверх и остались там одни, т. е. не считая козла, который полез за ними. Проводив их в верхнюю светелку, я снова спустилась вниз и принялась прясть. – Нужно вам сказать, что квартира моя состоит из двух этажей и что задний фасад ее выходит на реку, как и в других, построенных на мосту, домах; и в верхнем, и в нижнем этажах окна открываются не на мост, а на реку. – Итак, я продолжала себе спокойно прясть. Но сама не знаю почему, у меня из головы не выходил бука, о котором я вспомнила при виде козла, да и к тому же та молодая девушка была одета как-то необычайным образом. Вдруг я услышала наверху крик, и что-то тяжелое грохнулось на пол, и окно распахнулось. Я подбежала к моему окну, приходящемуся как раз под верхним, и вижу, как перед глазами моими промелькнуло что-то черное, бултыхнувшееся в воду. Это было какое-то привидение, одетое в костюм священника. В ту ночь светила луна, и потому я отлично могла разглядеть это. Привидение это, достигнув реки, поплыло по направлению к Старому городу. Тогда, вся дрожа от страха, я принялась звать ночной дозор. Дозорные, действительно, входят в мою квартиру, и прежде всего, не разобрав, в чем дело, – к тому же они были подвыпивши, – принялись колотить меня. Я стала объяснять им, что случилось, мы поднимаемся наверх, – и что же мы видим? Весь пол комнаты залит кровью, капитан лежит враспашку с кинжалом в горле, девушка притворилась мертвой, а козел мечется из угла в угол. – Вот тебе раз! – подумала я. – теперь мне целых две недели придется мыть и скрести пол! – Нечего сказать, приятный сюрприз! Офицера унесли – бедный молодой человек! – а девку, обнаженную чуть не до пояса, стража увела с собою. – Но подождите! Это еще не все, самое худшее еще впереди! На следующее утро, когда я открыла ящик стола, чтобы взять оттуда монету, я вместо нее нашла лишь – сухой лист!

Старуха замолчала; ропот ужаса пробежал среди публики.

– Этот призрак, этот козел, – все это отзывается чертовщиной! – проговорил сосед Гренгуара.

– А этот сухой лист! – прибавил стоявший подле них человек.

– Не подлежит ни малейшему сомнению, – вставил свое слово третий, – что это ведьма, связавшаяся с самим дьяволом, в тех видах, чтоб обирать молодых офицеров!

Сам Гренгуар недалек был от того, чтобы находить все это весьма правдоподобным и весьма странным.

– Свидетельница Фалурдель, – проговорил председатель с важным видом, – вы ничего более не имеете сообщить суду?

– Нет, г. судья, – ответила старуха, – кроме разве того, что в составленном по поводу этого случая протоколе квартира моя названа безобразной и вонючей берлогой. Это слишком сильно сказано. Оно, правда, – дома на мосту не особенно нарядны и они кишат народом; однако же, в них живут мясники, народ богатый, а жены их не уступят любой городской барыне.

Судья, напомнивший Гренгуару своею наружностью крокодила, встал и проговорил:

– Прошу внимания! Приглашаю господ судей не упускать из виду, что у подсудимой найден был кинжал. Свидетельница Фалурдель, принесли ли вы с собою тот сухой лист, в который превратилась монета, данная вам тем дьяволом?

– Да, г. прокурор, – ответила старуха, – я отыскала ее. Вот она!

Один из приставов передал сухой лист крокодилу, который, нахмурившись и покачав головой, передал его председателю, а тот препроводил его королевскому прокурору по церковным делам, и таким образом лист этот обошел всю залу.

– Это березовый лист, – сказал Жак Шармолу. – Новое доказательство чародейства...

– Свидетельница! – заговорил один из судей, – вы говорите, что к вам одновременно вошли два человека: тот черный, который сначала куда-то исчез и которого вы затем видели плывшим по Сене, в священнической рясе, и офицер. Который из них дал вам монету?

Старуха с минуту подумала и затем ответила:

– Офицер!

В публике пробежал ропот.

– Ну, это начинает несколько колебать мое убеждение, – подумал Гренгуар.

Но тут снова заговорил Филипп Бёлье, королевский прокурор:

– Я позволяю себе **напомнить** господам **судьям, что** в показании своем, данном на смертном одре и буквально записанном с его слов, смертельно раненый и с тех пор умерший офицер объявил, что когда с ним заговорил одетый в черное человек, ему смутно представилось, что, быть может, это дьявол, и прибавил, что призрак этот очень настаивал на том, чтоб он привел подсудимую к вдове Фалурдель, и что когда капитан заметил ему, что у него нет денег, человек этот дал ему серебряный экю, которым офицер и заплатил за комнату. Из всего этого очевидно, что монета эта была адского происхождения.

Этот логический вывод, по-видимому, рассеял все сомнения Гренгуара и других скептиков среди публики.

– Впрочем, у гг. судей находятся под руками все документы, относящиеся к делу, – прибавил королевский прокурор, – и они могут сами справиться в них относительно заявления Феба де-Шатопера.

При этом имени подсудимая встала. Лицо ее стало видно из-за толпы. Гренгуар обомлел от ужаса, узнав в ней Эсмеральду.

Лицо ее было покрыто смертельной бледностью. Волоса ее, когда-то столь тщательно сплетенные в косы и украшенные золотыми монетами, в беспорядке падали на плечи; губы ее посинели; впалые глаза ее дико блуждали.

– Феб! – воскликнула она, озираясь кругом. – О, господа судьи, прежде чем убить меня, скажите мне, ради самого Господа Бога, жив ли он?

– Замолчите, подсудимая! – ответил председатель. – Это не ваше дело!

– О, сжальтесь надо мною, скажите мне, жив ли он! – повторила она, складывая на груди свои красивые, исхудалые руки, причем раздалось бряцание цепей.

– Ну, так, я скажу вам, – сухо ответил королевский прокурор, – он умирает. Довольны ли вы?

Несчастная снова опустилась на свою скамейку, не произнеся ни звука; глаза ее были сухи, но лицо ее сделалось бледнее воска.

Председатель наклонился к какому-то человеку, сидевшему на низеньком табурете возле его кресла, в черной мантии, с шапкой из мишуры на голове, с цепью на шее и с пучком прутьев в руке, и сказал:

– Г. судебный пристав, введите другую подсудимую.

Взоры всех присутствующих обратились к небольшой двери, которая не замедлила распахнуться, и, к великому изумлению Гренгуара, в залу вошла козочка с позолоченными рогами и копытцами. Красивое животное остановилось на мгновение на пороге, вытянув шею, как будто, стоя на вершине высокой скалы, она видела перед собою обширный горизонт. Вдруг она заметила цыганку и, перескочив через стол и через голову секретаря, в два прыжка очутилась на коленях подсудимой. Затем она грациозно свернулась клубком у ног ее, как бы умоляя ее о ласковом слове или хотя бы взгляде; но подсудимая оставалась неподвижной, и бедная Джали не удостоилась даже взгляда ее.

– Э-э! да ведь это то самое противное животное! – проговорила старуха Фалурдель, – я отлично знаю их обеих!

– Если угодно будет гг. судьям, – сказал Жак Шармолу, – приступим к допросу козы.

Действительно, вторую подсудимой» была никто иная, как Джали. В те времена не было редкостью, что животные привлекались к суду по обвинению в чародействе. Между прочим, в денежной отчетности парижского суда за 1466 год можно встретить любопытные подробности относительно судебных издержек по процессу некоего Жилле-Сулара и его свиньи, казненных в Корбейле за их проступки. Тут перечислено все: и плата за вырытые ямы для свиньи, и пятьсот пучков прутьев, привезенных из Морсанского порта, и три кружки вина, и столько же караваев хлеба, составлявших последнее угощение казненной свиньи, из которого, впрочем, большая часть досталась палачу, и, наконец, плата за хранение и за прокорм свиньи в течение одиннадцати дней, по две трети су за день. Иногда, впрочем, суд не останавливался на животных: законами Карла великого и Людовика Доброго устанавливались строгие наказания для светящихся небесных явлений, позволявших себе нарушать спокойствие добрых граждан.

Королевский прокурор по церковным делам воскликнул:

– Если демон, поселившийся в этой козе и не послушавшийся никаких заклинаний, будет продолжать упорствовать и пугать суд, то мы предупреждаем его, что найдемся вынужденными потребовать для него виселицы или костра!

Холодный пот выступил на лбу у Гренгуара. Шармолу взял в руки лежавший перед ним на столе бубен цыганки и, показав его в известном положении козе, спросил:

– Который теперь час?

Коза взглянула на него своими умными глазами, и затем подняла свое позолоченное копытце и семь раз стукнула им об пол. Действительно, было семь часов ы. Ропот негодования и ужаса пробежал среди толпы.

– Она губит себя! – воскликнул Гренгуар, не будучи в силах удержаться. – Неужели они не видят, что животное само не понимает, что делает!

– Тише там, в глубине залы! – крикнул пристав недовольным голосом.

Жак Шармолу, при промоции того же бубна, заставил козу проделать еще разные другие известные уже читателю штуки, как, например, определить, какой теперь месяц в году, которое число месяца, и т. д. И, вследствие какого-то странного оптического обмана, свойственного судебным прениям, эти самые зрители, которые, быть может, не раз восхищались невинными

штуками, проделываемыми Джали на парижских улицах, были крайне смущены, когда Она повторила их в судебной зале, и решили, что коза, без всякого сомнения, одержима бесом.

Не довольствуясь этим, королевский прокурор высыпал на пол из кожаного мешочка, висевшего на шее Джали, подвижные буквы, и козочка вытащила своей лапкой из вороха букв те, из которых составилось имя «Феб». Это обстоятельство послужило в глазах всех явным доказательством того, что несчастный капитан погиб жертвою чародейства, и отныне все смотрели на цыганку, на эту очаровательную танцовщицу, столько раз восхищавшую своею грациозностью прохожих, как на ужасного, кровожадного вампира.

Сама танцовщица, впрочем, не подавала тем временем ни малейшего признака жизни. Ни потешные выходки Джали, ни угрозы судей, ни глухой ропот слушателей не производили на нее ни малейшего действия. Она вышла из своего забытья только тогда, когда один из конвойных немилосердно потряс ее за руку и председатель, возвысив голос, торжественно проговорил:

– Подсудимая, вы принадлежите к цыганскому племени, занимающемуся чародейством. Вы обвиняетесь в том, что, в сообществе с привлеченной к этому же делу околдованной козой, закололи кинжалом, в ночь на 29 марта, при содействии сил преисподней, с помощью чар и колдовства, капитана королевских стрелков, Феба де-Шатопера. Продолжаете ли вы отрицать это?

– О, ужас! – воскликнула молодая девушка, закрывая лицо руками: – моего Феба! О, что за адские муки!

– Продолжаете ли вы отрицать это? – холодно повторил председатель.

– Да, я отрицаю это, – проговорила она со странным выражением голоса, вскочив со своего места. Глаза ее сверкали.

– В таком случае, как же вы опровергнете собранные против вас улики? – сухо спросил председатель.

– Я уже объяснила, – ответила она прерывающимся от волнения голосом, – что я сама не знаю, как все это случилось. Я знаю только, что его убил священник, какой-то неизвестный мне священник, тот самый священник, который давно уже преследует меня.

– Так, так, – поддакнул судья. – Должно быть, бука!

– Ах, господа, сжальтесь надо мною! Ведь я бедная девушка!..

– Цыганка, – поправил ее судья.

Тут Жак Шармолю заговорил мягким голосом:

– В виду упорного запирательства подсудимой, я имею честь предложить суду распорядиться о допросе ее под пристрастием.

– Суд изъявляет на то согласие, – объявил председатель.

Несчастливая задрожала всем телом. Тем не менее, она встала по приказанию конвойных и направилась довольно твердым шагом, предшествуемая Жаком Шармолю и членами консистерского суда, между двух рядов алебардчиков, к потайной двери, которая вдруг раскрылась перед нею и тотчас же за нею захлопнулась, что очень напомнило бедному Гренгуару ужасную пасть, поглотившую несчастную молодую девушку.

Когда она скрылась за дверью, раздалось жалобное блеяние: это козочка плакала о своей госпоже.

Заседание было на время приостановлено. Один из членов суда заметил было, что судьи уже устали и что, пожалуй, долго придется ждать окончания пытки, но председатель строго ответил, что судья прежде всего должен уметь исполнять свой долг.

– Экая дура! – пробормотал сквозь зубы какой-то старый судья, – люди еще не ужинали, а она вздумала заставлять подвергать себя пытке!

II. Продолжение главы о серебряной монете и сухом листе

Спустившись и снова поднявшись по нескольким ступенькам в таких темных коридорах, что их приходилось освещать лампами среди белого дня, Эсмеральда, все еще окруженная своим зловещим конвоем, почувствовала, что ее втокнули в какую-то мрачную комнату. Эта комната, круглая по очертанию своему, занимала нижний этаж одной из тех больших башен, которые сохранились еще и до наших дней среди зданий нового Парижа. В этом подвале совсем не было окон, и свет проникал в него лишь через входную дверь, низкую и обитую железом. Впрочем, в ней не было темно, так как в толстой стене была вделана громадная печь, в которой был разведен огонь, освещавший подвал своим красноватым блеском, перед которым бледнел свет тощей сальной свечи, стоявшей в углу подвала. Железная заслонка, которою закрывалась печь, была в это время приподнята, и поэтому легко было разглядеть вокруг отверстия печи, освещаемого горевшим в ней пламенем, концы железных прутьев, торчавших, точно ряд черных, острых и редких зубов, что придавало печи вид одного из тех легендарных драконов, у которых из пасти вырывается пламя. При свете разведенного в печи огня бедная девушка увидела развешанными вокруг стен комнаты разные страшные инструменты, употребление которых было ей неизвестно. Посреди комнаты лежал на полу кожаный матрац, от которого шел к кольцу, ввинченному в потолок, ремень с пряжкой; вышеозначенное кольцо было продето в ноздри вырезанного из дерева чудовища, прикрепленного к замочному камню свода. В топившейся печке лежали щипцы, клещи, широкие полосы железа, успевшие уже накалиться докрасна. Словом, зловещий, красноватый свет, выходивший из печи, освещал во всей этой комнате одни только страшные предметы.

Этот ад, на тогдашнем языке, назывался просто «допросной комнатой».

На кровати сидел в небрежной позе Пьерра Тортерю, присяжный палач. Помощники его, два уроды с какими-то четырехугольными физиономиями, в полотняных штанах и с кожаными фартуками, поворачивали железо, накаливавшееся в печке.

Как ни крепилась бедная молодая девушка, но, войдя в эту комнату, она содрогнулась от ужаса.

Вдоль одной из стен комнаты выстроились в ряд конвойные солдаты, вдоль другой – священники, члены консисторского суда. В одном из углов комнаты стоял стол, на котором стояла чернильница; за столом этим уселся секретарь суда.

Жак Шармолю приблизился к цыганке с ласковой улыбкой.

– Ну, что же, любезное дитя мое, – спросил он, – вы все еще продолжаете упорствовать?

– Мне нечего говорить... – произнесла она еле слышным голосом.

– В таком случае, – продолжал Шармолю, – как это нам ни неприятно, но нам придется допросить вас поостроже, чем нам самим это бы желательно. Потрудитесь сесть на эту кровать. – Господин Пьерра, очистите место для барышни и закройте дверь.

– Если я закрою дверь, – проговорил Пьерра, ворча и поднимаясь с места, – то огонь мой потухнет.

– Ну, в таком-случае, мой милый, – согласился Шармолю, – оставьте ее отворенною.

Эсмеральда продолжала стоять. Эта кожаная постель, на которой корчилось в муках столько несчастных, пугала ее, и по спине ее пробегали мурашки. Она стояла растерянная, бессмысленно глядя перед собой. По данному Жаком Шармолю знаку, оба помощника палача схватили ее за руки и усадили на кровать. Они не причинили ей никакой боли, но когда они прикоснулись к ней, когда кожаные их фартуки прикоснулись к ее плечу, она почувствовала, что вся ее кровь прилила ей к сердцу. Она окинула всю комнату растерянным взглядом. Ей показалось, что все орудия пытки, развешанные до сих пор по стенам, сами собою сорвались со

своих крюков, и направлялись к ней, и ползали по ее телу, но что это уже не инструменты, а какие-то нетопыри, тысяченожки, пауки, чудовищные птицы.

– Доктор здесь? – спросил Шармолу.

– Здесь, – ответил какой-то человек в черной мантии, которого она до сих пор не заметила.

Она вздрогнула.

Сударыня, – снова раздался вкрадчивый голос прокурора консисторского суда, – в третий раз спрашиваю вас, продолжаете ли вы отрицать преступления, в которых вы обвиняетесь?

На этот раз она не имела сил произнести ни единого звука и только отрицательно мотнула головою.

– Значит, вы продолжаете упорствовать? – произнес Жак Шармолу. – В таком случае, как это ни прискорбно для меня, но я должен исполнить обязанности, возлагаемые на меня законом.

– Г. прокурор! – обратился к нему Пьерра, – с чего мы начнем?

Шармолу помолчал с минуту, с задумчивым видом поэта, подыскивающего рифму, и, наконец, ответил:

– С испанского сапога.

Несчастливая почувствовала себя до того покинутой Богом и людьми, что она беспомощно опустила голову на грудь, как бы не имея силы держать ее прямо.

Палач и медик одновременно приблизились к ней. В то же время оба помощника палача принялись отыскивать что-то в своем ужасном арсенале.

Услышав, как забренчали эти ужасные орудия, несчастная девушка вздрогнула, как мертвая лягушка, к которой прикоснулся гальванический ток.

– О, мой Феб! – пробормотала она так тихо, что никто не мог расслышать этих слов. – И затем она снова погрузилась в неподвижность мраморной статуи и в молчание.

Зрелище это могло бы тронуть сердце всякого другого человека, только не сердце судьи. Точно сам сатана допрашивал бедную, грешную душу на раскаленных плитах ада. И это бедное тело, в которое через несколько мгновений должен был впиться этот ужасный муравейник пил, колес и дыб, это жалкое существо, которое сейчас должно было сделаться достоянием палачей и клещей, – это была кроткая, нежная и беленькая Эсмеральда! Человеческое правосудие не нашло ничего лучшего, как бросить это бедное зерно проса для размолы его ужасными жерновами пытки!

Тем временем грубые руки помощников Пьерра Тортерю грубо разули хорошенькую ножку молодой девушки, – эту ножку, которая своей красотой и своею миловидностью так часто восхищала прохожих на улицах, переулках и площадях Парижа.

– А право жаль! – пробормотал сквозь зубы сам палач, глядя на эту нежную и белую ножку.

Если бы в это время здесь был архидиакон, он, без сомнения, вспомнил бы о сцене с пауком и мухой в его рабочем кабинете.

Вскоре несчастная увидела сквозь туман, застилавший ей зрение, как к ноге ее приближался так называемый «испанский сапог»; вскоре она почувствовала, что нога ее обхвачена этой ужасной обувью, нажимаемой винтами. В это время ужас придал ей силы.

– Скиньте с меня это! – воскликнула она отчаянным голосом, и затем, вскочив с растрепанными волосами, закричала раздирающим душу голосом:

– Пощадите!

Она вскочила с матраца, чтобы кинуться к ногам королевского прокурора, но нога ее была обхвачена тяжелым, железным сапогом, и она повалилась на пол, точно пчела, опалившая себе крылья. По поданному Жаком Шармолу знаку, ее снова положили на матрац и две дюжие руки обмотали вокруг ее тонкой талии ремень свешивавшийся с потолка.

– Спрашиваю вас в последний раз, – проговорил Жак Шармолю с невозмутимым хладнокровием и кротостью, – сознаетесь ли вы в том, в чем вы обвиняетесь?

– Я ни в чем не виновна.

– В таком случае, каким же образом вы объясните тяготеющие на вас улики?

– Увы! г. судья, я никак не сумею объяснить этого.

– Значит, вы продолжаете отрицать?

– Да, я отрицаю.

– Продолжайте ваше дело, – сказал Шармолю, обращаясь к Пьерра.

Пьерра повернул ручку снаряда, сапог сузился, ^{1и} несчастная испустила один из тех ужасных криков, которых нельзя изобразить никакой орфографией в мире.

Остановитесь, – сказал Шармолю палачу. – Сознаетесь ли? – обратился он к цыганке.

– Сознаюсь! – воскликнула молодая девушка, – признаюсь во всем! только пощадите!

Она плохо рассчитала свои силы, понадеявшись выдержать пытку. Первая сильная боль сломила бедную девушку, жизнь которой была до сих пор так весела, приятна, беззаботна.

– Человеколюбие заставляет меня предупредить вас, – заметил королевский прокурор, – что, сознаваясь в том, в чем вы обвиняетесь, вы подлежите смертной казни.

– Мне все равно! – воскликнула она, и опустилась на кожаный матрац в изнеможении, совершенно перегнувшись, повисши на ремне, который был обмотан вокруг ее пояса.

– Встаньте, красавица, постарайтесь держаться прямо, – сказал Пьерра, приподнимая ее, – а то вы так похожи, ни дать, ни взять, на золотое руно, висящее на шее у г. герцога Бургундского.

– Г. секретарь, потрудитесь записывать! – проговорил Жак Шармолю, возвысив голос. – Итак, молодая девушка, вы признаетесь в том, что участвовали в шабашах, пиршествах и колдовствах ведьм, вместе с разными рожами, харями и нетопырями? Отвечайте!

– Да, – ответила она так тихо, что ответ походил скорее на дыхание, чем на слово.

– Вы признаетесь в том, что видели овна, которого Вельзевул заставляет появляться в облаках для того, чтобы сзывать ведьм на шабашь, и которого могут видеть одни только колдуны?

– Да!

– Вы признаетесь в том, что поклонялись головам Бофомета, этим мерзким идолам язычников?

– Да!

– Вы признаетесь в том, что водились постоянно с дьяволом, принявшим вид козы, также привлеченной к делу?

– Да!

– Наконец, вы признаетесь в том, что с помощью дьявола и привидения, называемого в простонародье букой, убили в ночь на 29-е прошлого марта капитана.

Она устремила на судью свои неподвижные глаза и ответила как бы машинально, по видимому, без всякого волнения и смущения:

– Да.

Очевидно было, что она была совершенно надломана.

– Г. секретарь, запишите все это, – проговорил Шармолю и затем прибавил, обращаясь к палачам, – отвяжите подсудимую! Отвести ее в залу суда!

Когда с несчастной сняли ее обувь, прокурор консисторского суда осмотрел ее ногу, еще всю околоченную от боли, и сказал:

– Ну, повреждение еще не особенно значительно. Вы закричали вовремя. При таком состоянии вашей ноги вы еще в состоянии были бы проплясать, красавица моя.

И затем он прибавил, обращаясь к членам консисторского суда:

– Ну, вот, суд и добрался до истины! – Это всегда бывает очень приятно, господа! – А эта барышня, конечно, отдаст нам справедливость в том, что мы поступили с нею как нельзя более деликатно.

III. Окончание главы о серебряной монете и о сухом листе

Когда бедная девушка вернулась в здание суда, бледная и прихрамывая, ее встретил всеобщий ропот удовольствия. Это было со стороны публики проявление того чувства удовлетворенного нетерпения, которое приходится испытывать в театре, когда окончился последний антракт комедии и когда занавес начинает подниматься перед последним действием, заключающим в себе развязку комедии. Судьи обрадовались вдвойне при мысли, что им скоро удастся поужинать. Козочка также заблела от радости. Она рванулась к своей госпоже, но оказалось, что ее привязали к скамейке.

Уже совершенно стемнело, и свечи, число которых не было увеличено, так слабо освещали комнату, что нельзя было даже разглядеть стен залы. В сумерках все предметы казались точно подернутыми туманом; среди общего серого фона еле-еле выделялись апатичные физиономии судей. Против них, на другом конце залы, на темном фоне выделялось какое-то белое пятно. Это была подсудимая.

Она едва доплелась до своего места. Шармолю сначала важно уселся на своем кресле, а затем, когда в зале водворилось молчание, снова приподнялся и произнес, стараясь не слишком много проявить гордости в интонации своего голоса:

– Подсудимая во всем созналась.

– Цыганка, – заговорил председатель, – вы сознались в чародействе, в проституции и в убийстве, совершенном над личностью капитана Феба де-Шатопера?

Сердце ее сжалось, и слышно было, как она судорожно рыдала в своем темном углу.

– Во всем, что вам угодно будет, – ответила она слабым голосом, – но только убейте меня скорее!

– Господин королевский прокурор по церковным делам, – сказал председатель, – суд готов выслушать ваши заключения.

Жак Шармолю вынул из своего пюпитра объемистую тетрадь, и принялся отчитывать по ней, с разными жестами и подчеркиваниями, латинскую речь, в которой все обстоятельства дела излагались цитероновскими перифразами, перемешанными цитатами из Плавта, его любимого комика. Мы очень сожалеем о том, что не можем представить читателям целиком этого замечательного произведения ораторского искусства. Оратор декламировал его не хуже любого драматического актера. Он не успел еще кончить вступления, как уже пот крупными каплями выступил на лбу его и глаза его готовы были выскочить из своих орбит.

Вдруг, на самой середине какого-то великолепного периода, он сам себя оборвал, и взгляд его, в обыкновенное время довольно добрый и даже несколько глупый, засверкал.

– Господа судьи! – воскликнул он (на этот раз по-французски, ибо этого не было в его тетради), – во всем этом деле столько чертовщины, что сам сатана присутствует даже в нашем заседании и насмехается над нами! Не угодно ли вам посмотреть?

И с этими словами он указал рукою на козочку, которая, увидев жестикуляцию Шармолю, нашла уместным подражать ему, и сев на задние ноги, старалась копировать своими передними ногами и своей бородатой головкой патетические жесты г. королевского прокурора. Это умение козочки копировать чужие жесты, как, быть может, помнит читатель, приводило всегда в восторг парижских зевак. Это случайное обстоятельство, это «доказательство», произвело величайший эффект. Козочке связали ноги, и королевский прокурор снова вдался в свое красноречие. Речь его тянулась без конца, но зато была замечательно хороша. Приводим

только заключение ее, прося читателя помнить, что она была произнесена хриплым голосом и сопровождалась отчаянными жестами:

– Итак, господа, теперь эта ведьма изобличена, преступление ее доказано, преступные намерения очевидны, и поэтому, от имени священнослужителей собора Парижской Богоматери, которым принадлежит высшая юрисдикция на острове, составляющем Старый город, мы сим заявляем, что требуем от вас: во-первых, присуждения ее к денежному штрафу по вашему усмотрению; во-вторых, присуждения ее к публичному покаянию перед главным входом в кафедральный собор Богоматери; в-третьих, приговора, в силу которого эта ведьма, вместе с ее козой, были бы казнены смертью или на площади, называемой в простонародье Гревской, или на острове, на реке Сене, близ королевского сада.

И, проговорив это, он надел на голову свою шапочку и сел.

– Ай, ай, ай! – пробормотал про себя огорченный Гренгуар, – что за варварская латынь!

Тогда встал другой человек в черной мантии, сидевший подле подсудимой. Это был защитник ее.

Судьи, окончательно проголодавшиеся, начали что-то ворчать себе под нос.

– Г. защитник! – проговорил председатель, – прошу вас быть по возможности кратким.

– Господин председатель, – сказал защитник, – так как клиентка моя созналась в взводимых на нее преступлениях, то я ограничусь лишь весьма немногими словами. В салическом законе сказано: «Если ведьма высосет у человека кровь и будет в том изобличена, она должна заплатить пеню в восемь тысяч денье, что составит двести су золотом». Я прошу суд приговорить клиентку мою к пене.

– Закон этот уже отменен... – заметил королевский прокурор.

– Я отрицаю это! – возразил защитник.

– На голоса! – сказал один из членов суда, – преступление доказано и уже очень поздний час.

Суд приступил к голосованию, не выходя из залы заседаний; так как судьи очень торопились, то они подавали голоса посредством снятия своих колпаков. Можно было рассмотреть в потемках, как покрытые колпаками головы их обнажились одна за другою при вопросе, с которым председатель обращался шепотом к каждому из судей. Бедная подсудимая как будто смотрела на них, но помутившийся взор ее ничего не видел.

Затем секретарь стал что-то писать и передал председателю длинный свиток пергамента. Наконец, несчастная услышала, как публика зашевелилась, копы стражников застучали, ударились об пол, и какой-то ледяной голос произнес:

– Подсудимая цыганка, в тот день, который угодно будет назначить всемилостивейшему королю нашему, вы будете отправлены в позорной колеснице, босиком, в одной сорочке, с веревкой на шее к большим дверям собора Богоматери; там вы покаетесь, держа в руке восковую свечу в два фунта весом, а оттуда вас отведут на Гревскую площадь, где вы будете повешены и задушены на городской виселице вместе с находящейся тут же козой вашей. И кроме того, вы обязаны заплатить в пользу консисторского суда три лионских экю золотом, в возмездие за совершенные и признанные вами преступления, как-то: колдовство, чародейство, распутную жизнь и убийство, совершенное над особой капитана Феба де-Шатопера. Да смилуется над вами Господь Бог!

– О, это сон! – пробормотала она. В ту же минуту она почувствовала, как ее увлекли какие-то дюжие руки.

IV. Оставь всякую надежду

В средние века здания строились так, что почти такая же часть их находилась под поверхностью земли, как и над поверхностью. Если только они не были построены на сваях, как,

например, собор Парижской Богоматери, всякий дворец, всякая крепость, всякая церковь имели, так сказать, двойное дно. При каждом соборе был некоторым образом другой собор, подземный, низкий, темный, таинственный, слепой и немой, под верхним собором, залитым светом и день и ночь оглашаемым органами и колоколами; иногда эти подземные здания служили для погребения. Во дворцах и в крепостях они иногда служили темницами, иногда тоже местом погребения, иногда и тем, и другим вместе. Эти громадные здания, происхождение и рост которых мы объяснили в другом месте, имели не только фундаменты, но, так сказать, корни, которые тянулись под землею, разветвляясь в такие же комнаты, лестницы, галереи, как и верхнее сооружение. Таким образом, церкви, дворцы, крепости, можно сказать, были врыты в землю до половины тела. Подземелья какого-нибудь здания представляли собою другое здание, в которое приходилось опускаться, вместо того, чтобы подниматься, и подземные этажи которого, вырытые под этажами надземными, напоминали собою те горы и те леса, которые отражаются в зеркальной поверхности озера под прибрежными горами и лесами.

В Сент-Антуанской Бастилии, в здании суда, в Лувре эти подземные здания служили темницами. Ярусы этих темниц, опускаясь в землю, все более и более суживались и становились темными. Они представляли собою различные пояса, по которым в известной симметрии расположены были разные виды ужасов. Данте не мог бы найти ничего лучшего для изображения своего ада. Эти воронкообразные темницы оканчивались обыкновенно узким и тесным помещением, в которое Данте поместил бы своего сатану, и в которое общество помещало людей, приговоренных к смерти. Раз сюда попало какое-нибудь жалкое человеческое существо, – прощай свет, воздух, жизнь, прощай всякая надежда! Оно выходило отсюда только для того, чтобы идти к виселице или к костру. Иногда оно просто сгнивало здесь: человеческое правосудие называло это забыть человека. Осужденный сознавал, что между ним и остальным миром лежит целая груда камней и стоит целая орава тюремщиков, и вся темница, все это массивное здание представлялось ему лишь в виде громадного, сложного замка, запиравшего для него мир живых существ.

В глубине такого-то подвала, в подземной темнице, вырытой Людовиком Святым под одною из башен Шатле, заперли, вероятно, из спасения, как бы она не скрылась, Эсмеральду, приговоренную к виселице. Эту бедную мушку, которая едва в состоянии была пошевелиться, придавили всею тяжестью громадного здания суда. Провидение и человеческое правосудие оказались в данном случае одинаково несправедливыми: такой избыток несчастья и пыток был совершенно не нужен для того, чтобы сломить такое слабое создание.

Итак, она сидела зарытою, похороненною, замурованною в этом темном подземелье. Всякий, кто увидел бы ее в таком положении, виде ее прежде смеющейся и пляшущей на залитой солнцем площади, невольно содрогнулся бы. Мрачная, как ночь, холодная, как смерть, не чувствуя ни малейшего дуновения ветерка на своем лице, не слыша человеческого голоса, не видя ни единого луча света, сломанная, придавленная цепями, съжившись на связке соломы, под которой образовалась лужа вследствие потоков воды, стекавших с серых стен, имея подле себя лишь кусок черствого хлеба и кружку воды, неподвижная, почти бездыханная, – она не в состоянии была даже страдать. Феб, солнце, полдень, воздух, парижские улицы, пляска, рукоплескания толпы, сладостный любовный лепет, а вслед за этим – священник, сводница, кинжал, кровь, пытка, виселица, – все это, правда, носилось еще в ее воображении, то как радужное, чарующее видение, то как ужасный кошмар; но все это представлялось ей лишь в виде смутного или страшного видения, терявшегося где-то в потемках, или же в виде отдаленной музыки, разыгрываемой там, вдали, высоко над нею, на земле, и звуки которой едва долетали до той глубокой бездны, в которую была повергнута несчастная.

С тех пор, как ее заперли в это подземелье, несчастная находилась в таком состоянии, которого нельзя было назвать ни бодрствованием, ни сном; она так же мало в состоянии была отличить действительность от сновидения, как день от ночи. Все это сбилось в одну кучу, пере-

путалось, беспорядочно носилось в ее мыслях. Она ничего не чувствовала, ничего не знала, ни о чем не думала; она разве только мечтала. Трудно представить себе живое существо, до того погруженное в небытие.

Таким образом, сидя в подобном окаменелом, застывшем, онемелом состоянии, она едва расслышала шум опускной двери, стукнувшей где-то раза два или три над ее головой, при чем, однако, в подземелье ее не проник ни единый луч света, и не заметила, как какая-то рука бросила ей корку черствого хлеба. Это повторявшееся от времени до времени сообщение тюремщика было, однако, единственным средством сообщения ее с внешним миром.

Слух ее машинально прислушивался только к одному звуку. Над ее головой, вследствие сырости подвала, от времени до времени образовывались капли воды, которые затем, отделяясь от свода, падали на пол через известные, правильные промежутки времени. Она бессмысленно прислушивалась к шуму, который производили эти капли, падая на образовавшуюся возле нее лужу. Эта капля воды, падавшая в лужу, была единственным признаком движения вокруг нее, единственными часами, обозначающими для нее время, единственным, долетавшим до ее слуха, звуком из всех многочисленных и разнообразных звуков, раздававшихся на поверхности земли.

Время от времени в этой клоаке мглы и грязи она ощущала, как что-то холодное, то там, то тут, пробегало у нее по руке или ноге; тогда она вздрагивала.

Сколько времени пробыла она в узилище? Она не знала. Она помнила лишь произнесенный где-то над кем-то смертный приговор, помнила, что ее потом унесли и что она проснулась во мраке и безмолвии, заочневшая от холода. Она поползла было на руках, но железное кольцо впилося ей в щиколотку, и забряцали цепи. Вокруг нее были стены, под ней – залитая водой каменная плита и охапка соломы. Ни фонаря, ни отдушины. Тогда она села на солому. И только время от времени, чтобы переменить положение, она переходила на нижнюю ступеньку каменной лестницы, спускавшейся в склеп.

Она попробовала считать мрачные минуты, которые ей отмеривали капли, но вскоре это жалкое усилие больного мозга оборвалось само собой, и она погрузилась в полное оцепенение.

И вот однажды, то ли днем, то ли ночью (полдень и полночь были одинаково черны в этой гробнице) она услышала над головой более сильный шум, чем обычно производил тюремщик, когда приносил ей хлеб и воду. Она подняла голову и увидела красноватый свет, проникавший сквозь щели дверцы или крышки люка, который был проделан в своде каменного мешка.

В ту же минуту тяжелый засов загремел, крышка люка, заскрипев на ржавых петлях, откинулась, и она увидела фонарь, руку и ноги двух человек. Свод, в который была вделана дверца, нависал слишком низко, чтобы можно было разглядеть их головы. Свет причинил ей такую острую боль, что она закрыла глаза.

Когда она их открыла, дверь была заперта, фонарь стоял на ступеньках лестницы, а перед ней оказался только один человек. Черная монашеская ряса ниспадала до самых пят, такого же цвета капюшон спускался на лицо. Нельзя было разглядеть ни лица, ни рук. Это был длинный черный саван, под которым чувствовалось что-то живое. Несколько мгновений она пристально смотрела на это подобие призрака. Оба молчали. Их можно было принять за две столкнувшиеся друг с другом статуи. В этом склепе казались живыми только фитиль в фонаре, потрескивавший от сырости, да капли воды, которые, падая со свода, прерывали это неравномерное потрескивание однообразным тонким звоном и заставляли дрожать луч фонаря концентрическими кругами, разбегавшимися по маслянистой поверхности лужи.

Наконец узница прервала молчание:

– Кто вы?

– Священник.

Это слово, интонация, звук голоса заставили ее вздрогнуть.

Священник продолжал медленно и глухо:

- Вы готовы?
- К чему?
- К смерти.
- Скоро ли это будет? – спросила она.
- Завтра.

Она уже радостно подняла голову, но тут голова ее тяжело упала на грудь.

- О, как долго ждать! – пробормотала она.
- Что им стоило сделать это сегодня?
- Значит, вам очень плохо? – помолчав, спросил священник.
- Мне так холодно! – молвила она.

Она обхватила руками ступни своих ног, – привычное движение бедняков, страдающих от холода, его мы заметили и у затворницы Роландовой башни, зубы у нее стучали.

Священник из-под своего капюшона, казалось, разглядывал склеп.

– Без света! Без огня! В воде! Это ужасно!

– Да, – ответила она с тем удивленным видом, который не покидал ее с тех пор, как на нее стали обрушиваться одно за другим несчастья, – ведь свет существует для всех! Отчего же мне в удел досталась только тьма?

– А знаете ли вы, – продолжал священник после нового молчания, – зачем вы здесь?

Мне кажется, что я знала это, – ответила она, проводя своими исхудавшими пальцами по бровям своим, как бы стараясь собрать свои воспоминания, – но теперь я уже забыла.

Вдруг она разразилась жалобным, детским плачем и воскликнула:

– Я хочу уйти отсюда! Мне холодно! мне страшно! Какие-то звери ползают по моему телу!

– Ну, так пойдемте за мною!

И с этими словами священник взял ее за руку. Несмотря на то, что несчастная продрогла до костей, однако, от прикосновения этой руки она почувствовала еще больший холод.

О! – прошептала она, – это ледяная рука смерти! Да кто же вы такой?

Тут священник откинул свой капюшон. Она взглянула на него – перед нею было то же зловещее лицо, которое уже так давно преследовало ее, та самая голова демона, которая промелькнула перед нею у вдовы Фалурдель над головой ее обожаемого Феба, тот самый взор, который она, в последний раз увидела сверкнувшим рядом со сверкнувшим кинжалом.

Эго явление, постоянно оказывавшееся для нее столь злосчастливым и доведшее ее мало-помалу от одного несчастья к другому, до самой виселицы, вывело ее из ее оцепенения. Ей показалось, будто завеса, сгустившаяся над ее памятью, стала редеть. Все подробности того, что случилось с нею за последнее время, начиная с ночной сцены у вдовы Фалурдель и до произнесения над нею смертного приговора в здании суда, разом воскресли в ее уме уже не смутно и не неотчетливо, как доселе, а во всей своей определенной, резкой, осязательной, страшной форме. Воспоминания эти, на половину стертые и почти изглаженные избытком страданий, мрачный образ, который она видела перед собою, снова оживили их, подобно тому, как достаточно приблизить к листу бумаги, испisanному симпатическими чернилами, огонь, для того, чтобы невидимые доселе буквы обозначились совершенно ясно и отчетливо. Ей показалось, будто все раны ее сердца разом раскрылись, и из них стала сочиться кровь.

– А-а! – воскликнула она, судорожно задрожав и закрыв лицо руками, – опять этот поп! – И затем она в бессилии опустила руки и осталась сидеть с опущенной книзу головой, устремив глаза в землю, безмолвная, продолжая дрожать.

Священник смотрел на нее взором коршуна, который давно уже кружился в поднебесье над бедным жаворонком, забившимся в рожь, который давно уже все суживал и суживал постоянно описываемые им на лету круги, и который затем вдруг, с быстротой молнии, опустился на свою трепещущую жертву и схватил ее когтями своими.

– Кончайте, кончайте!.. – прошептала она, – наносите последний удар! – И она в ужасе вытянула голову, точно овца, ожидающая удара обухом мясника.

– Значит, я на вас навожу ужас? – спросил он.

Она ничего не ответила.

Так вы, следовательно, боитесь меня? – повторил он свой вопрос в другой форме, и губы его судорожно сжались, как бы для улыбки;

– Да! – воскликнула она, – палач насмехается над осужденным!.. Вот уже целые месяцы, что он преследует, пугает меня, угрожает мне! Боже мой, как я была счастлива до тех пор, пока не встретила его! Это он низверг меня в эту бездну! О, Боже! Это он убил... это он убил его, моего Феба!

И, разразившись рыданиями и подняв глаза на священника, она продолжала:

– О, злодей, кто ты такой? Что я тебе сделала? За что ты меня так ненавидишь? Скажи мне, ради самого Бога, что ты имеешь против меня?

– Я люблю тебя!.. – воскликнул священник.

Слезы ее сразу перестали течь из глаз, и она уставилась на него бессмысленным взором, а он бросился перед нею на колени и пожирал ее жадным взором.

– Слышишь ли ты? Я люблю тебя! – еще раз воскликнул он.

– О какой это любви ты говоришь? – спросила несчастная, дрожа всем телом.

– О проклятой любви! – ответил он.

Оба они хранили в течение нескольких минут молчание, подавленные своими ощущениями, он – в каком-то иступлении, она – совершенно растерянная.

– Послушай! – наконец, заговорил священник, к которому странным образом вдруг вернулось все его спокойствие, – ты должна все знать! Я сообщу тебе сейчас то, в чем я до сих пор едва смел сознаваться самому себе, когда я тайком допытывал мою совесть в те глухие ночи, когда так темно, что человеку кажется, будто даже сам Господь Бог уже не может видеть его. – Так слушай! Прежде, чем я встретил тебя, я был счастлив.

– Ия также! – прошептала она со слабым вздохом.

– Не прерывай меня! – Да, я был счастлив, по крайней мере, я воображал, будто я счастлив. Я был чист, на душе у меня было светло. Никто не имел права поднимать голову свою с большим спокойствием и гордостью, чем я. Духовные лица обращались ко мне за советами относительно целомудрия, ученые – по вопросам научным. Да, наука была для меня – все! Она была мне сестрою, – и этого было для меня достаточно. Я не скажу, чтобы по мере того, как я становился старше, мне не приходили в голову иные мысли. Не раз плоть моя волновалась, когда мимо меня проходил красивый женский образ. Не раз эти плотские вожделения, которые я, в самонадеянности молодости, думал было заглушить строгостью жизни и научными занятиями, судорожно сотрясали железные цепи обета, которые приковывают меня, несчастного, к холодным камням алтаря. Но пост, молитва, научные занятия, строгая монастырская жизнь снова возвращали душе господство над плотью. И к тому же, я избегал женщин; к тому же, мне достаточно было раскрыть книгу для того, чтобы все нечестивые помыслы, возникавшие в моем мозгу, развевались, как дым, перед сокровищами науки. По прошествии нескольких минут я уже чувствовал, что все земное испаряется из моей души, и я снова делался спокоен, ум мой снова приобретал свою ясность и чистоту при спокойном блеске вечной истины. До тех пор, пока демон-искуситель посылал ко мне только смутные образы женщин, мелькавшие перед моими взорами в церкви, на улицах, на площадях, и которых я тотчас же позабывал, как только они скрывались из глаз моих, я без труда с ними справлялся. Увы! Если я не остался победителем до конца, то в этом виноват не я, а Господь Бог, который не дал одинаковую силу и человеку, и дьяволу! – Так слушай же! Однажды...

Тут священник остановился, и узница услышала вырывающиеся из его груди какие-то хрипящие, подавленные вздохи. Затем он продолжал:

– Однажды я сидел у окна моей кельи. Я читал какую-то книгу, – какую? – не припомню хорошенько! С тех пор у меня в голове не переставал бушевать какой-то вихрь! Итак, я читал. Окно мое выходило на площадь. Вдруг я услышал звуки тамбурина и возгласы толпы. Раздосадованный тем, что мне мешают заниматься, я выплянул из окна на площадь. То, что я увидел, видели и другие, не я один, а между тем, это было зрелище, созданное не для человеческих глаз. Посреди площади, – был полдень, и солнце ярко светило, – плясало какое-то создание, не женщина, нет, а какое-то неземное создание, божественной красоты. Глаза ее были черны и блестящи, а в ее черных волосах виднелось несколько волосков, которые яркое солнце окрашивало в золотистый цвет. Ноги ее, при быстроте ее движений, мелькали в глазах, как спицы быстро катящегося колеса. В черных волосах ее были вплетены маленькие металлические бляхи, которые блестели на солнце, образуя над ее головой точно диадему из звезд. Ее полосатое, белое с голубым, платье было усеяно блестками, точно небо звездами в ясную летнюю ночь. Ее красивые, смуглые руки свивались и развились вокруг ее талии, точно змеи. Все ее тело было поразительно красиво. Лицо же ее казалось светлым пятном даже при лучезарном сиянии солнца. Увы! эта молодая девушка – это была ты! – Удивленный, очарованный, опьяненный, я не мог оторвать от тебя глаз. Я так долго и пристально смотрел на тебя, что, наконец, я содрогнулся от ужаса, почувствовав, что судьба моя свершилась.

При этих словах священник остановился, вздохнул, и затем продолжал:

– Чувствуя себя на половину очарованным, я попробовал было уцепиться за что-нибудь, чтобы удержаться от падения. Я припомнил все козни, которые уже прежде строил мне Сатана. Создание, которое я видел перед собою, обладало тою нечеловеческой красотой, источником которой могут быть только небо или ад. Это не была простая женщина, созданная из глыбы земли и слабо освещенная изнутри мерцающими лучами женской души. Это был ангел, но ангел тьмы, ангел пламени, а не ангел света. Размышляя об этом, я увидел возле тебя козу, эту принадлежность ведьм, которая глядела на меня, оскалив зубы; полуденное солнце, освещающая ее позолоченные рога, придавала им огненный отлив. Тогда я убедился в том, что все это – не что иное, как козни Сатаны, и для меня не оставалось ни малейшего сомнения в том, что ты явилась прямо из ада, для того, чтобы погубить меня, и это убеждение засело в моей голове.

При этих словах священник прямо взглянул в лицо узницы и холодно прибавил:

– Да, я до сих пор в этом убежден... Однако, чары твои производили свое действие; от твоей пляски у меня закружилась голова, я чувствовал, как порча проникает в мое тело; все лучшие побуждения стали мало-помалу глхнуть в моей душе и, подобно людям замерзающим, я, засыпая, испытывал какое-то приятное ощущение. Вдруг ты запела. Что мне, несчастному, оставалось делать? Пение твое еще очаровательнее, чем пляска. Я хотел бежать, но это оказалось невозможным. Я был пригвожден, я точно врос в землю; мне казалось, будто я по колено вошел в мраморные плиты пола. Приходилось оставаться до конца. Ноги мои были точно льдины, а голова моя горела. Наконец, ты, быть может, сжалилась надо мною, ты перестала петь и ушла. Отблеск очаровательного видения, звуки волшебной музыки мало-помалу исчезли из моих глаз и из моего слуха, и я опустился на подоконник более слабый и более неподвижный, чем статуя, поваленная со своего пьедестала. Меня пробудил звон к вечерне. Я встал, я убежал от окна, но, увы! во мне что-то упало, что уже не могло приподняться, во мне засело что-то такое, от чего я не мог убежать.

Он опять замолчал и, немного погодя, продолжал:

– Да, начиная с этого дня, я перестал сам себя узнавать. Я хотел было пустить в ход всевозможные средства, и усиленные научные занятия, и молитву, и труд, и книги. Все было тщетно! Я убедился, до чего наука бессильна, когда к ней приступаешь с головой, отуманенной страстью! Знаешь ли ты, что я с тех пор постоянно видел перед собою, между глазами моими и книгой? Тебя, твою тень, твой светлый образ, который в один злосчастный день мелькнул перед моими взорами! Но только этот образ был уже иначе освещен: он был темен, мрачен

и туманен, подобно тем черным кругам, которые надолго остаются в глазах неосторожного человека, осмелившегося некоторое время пристально смотреть на солнце.

Не имея сил освободиться от него, слыша постоянно твою песнь, отдававшуюся у меня в ушах, видя постоянно твои ножки пляшущими на моем молитвеннике, чувствуя тебя постоянно подле себя, даже во сне, я пожелал во что бы то ни стало, снова увидеть тебя, прикоснуться к тебе, узнать, кто ты такая, убедиться в том, что ты действительно похожа на тот идеальный образ, который запечатлелся в душе моей, а то, пожалуй, и разбить мечту мою при виде действительности. Во всяком случае, я надеялся на то, что новое впечатление изгладит первое, тем более, что это первое впечатление сделалось для меня невыносимым. Итак, я стал повсюду искать тебя и, наконец, снова тебя увидел. Но, к несчастью моему, увидев тебя во второй раз, я пожелал видеть тебя тысячу раз, видеть тебя без конца. С тех пор, – да и как остановиться на этой адской наклонной плоскости, – с тех пор я уже не принадлежал сам себе. Демон привязал один конец нитки к моим крыльям, другой – к твоим ногам. Я сделался таким же бродягой, как и ты. Я поджидал тебя под воротами, я подстерегал тебя на перекрестках, я следил за тобою с высоты моей башни. И каждый вечер я возвращался в свою келью более очарованный, более околдованный, более отчаянный, более погибший, чем накануне.

– К тому же я узнал, что ты – цыганка, значит, нельзя было и сомневаться в том, что тут дело не обошлось без чародейства. Наконец, – слушай, – я подумал, что в состоянии буду отделаться от овладевшей мною нечистой силы при помощи процесса. Я кстати вспомнил, что какая-то чародейка околдовала Бруно д'Аста, но он велел сжечь ее и тем излечился. Я решился прибегнуть к тому же средству. Сначала я попробовал заставить запретить тебе доступ на площадку перед собором, в надежде, что я забуду тебя, если не буду тебя больше видеть. Но ты не обратила внимания на это запрещение и продолжала появляться на этом месте. Затем, мне пришлось на ум похитить тебя, и я однажды ночью попробовал сделать это. Нас было двое, мы уже успели схватить тебя, как вдруг в дело вмешался этот проклятый офицер, который освободил тебя. Этим он положил первый камень своему несчастью, твоему и моему. Наконец, не зная более, что делать и что предпринять, я донес на тебя церковному суду.

– Я надеялся, что это средство исцелит меня, как исцелило Бруно д'Аста. Мне также смутно представлялось и то, что судебный процесс предоставит тебя в мои руки, что в тюрьме ты будешь в моей власти, что там не в состоянии будешь уйти от меня, что ты уже настолько давно овладела моим существом, что и мне пора, в свою очередь, обладать тобою. Уж коли делать зло, то делать его целиком! Глупо останавливаться на полпути к дурному поступку. Довести преступление доставляет своего рода наслаждение. Что может помешать священнику и колдунье предаваться восторгам на связке соломы, в темнице!

– Итак, я донес на тебя. В то именно время я и пугал тебя моими взорами при встречах с тобою. Заговор, который я затеял против тебя, гроза, которую я собирал над твоей головой, невольно сказывались в моих взорах и в моих угрозах. Однако я еще колебался. План мой был до того ужасен, что я сам по временам пугался его и отступал. Быть может, я и совсем бы отказался от него, быть может, эта ужасная мысль совсем высохла бы в моем мозгу, не принеся никакого плода. По крайней мере, я вначале думал, что всегда будет в моей власти дать дальнейший ход процессу или прекратить его. Но всякий злой помысел бывает неумолим и стремится превратиться в факт; там, где я считал себя всесильным, рок оказался сильнее меня. Увы! Это он схватил тебя и бросил в эту адскую машину, которую я втихомолку соорудил. – Слушай же! Я кончаю!

– Однажды, – был тоже ясный, солнечный день, – мимо меня проходил какой-то человек, смеясь и произнося твое имя со сладострастным выражением. О, проклятие! Я последовал за ним. Конец тебе известен!

Он замолчал; молодая девушка могла только произнести:

– О, мой Феб!

– Не смей произносить этого имени! – воскликнул священник, схватив ее за руку. – О, мы несчастные! Нас обоих погубило это имя! Или, вернее сказать, нас обоих погубила необъяснимая игра рока! Ты страдаешь, не так ли? Ты сидишь в мрачной темнице, в вечной темнице, тебе холодно; но, быть может, в глубине твоей души еще теплится огонь, который обогревает тебя и светит тебе, хотя бы то была только твоя детская любовь к тому пустому человеку, который играл твоим сердцем! А я – я ношу внутри себя и мрак темницы, и зимний холод; душа моя полна холода, тьмы и отчаяния! Известно ли тебе, сколько я выстрадал? Я присутствовал при твоём процессе. Я сидел на скамье консисторских судей. Да, под одним из этих монашеских капюшонов страдал и изнывал бедный, жалкий человек! Я был там, когда тебя привели, когда тебя допрашивали. Тебя обвинили в совершенном мною преступлении, тебя приговорили к виселице, которую я заслужил. Я выслушал все свидетельские показания, все улики, все обвинения; я мог следить за каждым шагом твоим по этому тернистому пути! Я присутствовал при том, как этот дикий зверь... О! я не мог предвидеть того, что прибегнут к пытке! Слушай! Я последовал за тобою в комнату пыток; я видел, как подлые руки палача обнажили и терзали тебя. Я видел твою ножку, ту самую ножку, за право поцеловать которую я готов был отдать полцарства, даже больше, всю мою жизнь, которой я с наслаждением позволил бы раздавить себя, я видел, как ее сжимали этим ужасным испанским сапогом, превращающим члены человеческого тела в какую-то окровавленную массу. О, я несчастный! Глядя на это ужасное зрелище, я держал под моей рясой кинжал, которым я царапал себе грудь. При первом крике, который ты испустила, я вонзил его в мое тело; и если бы ты испустила второй крик, я вонзил бы его себе в грудь. На, смотри! Кажется, рана еще сочится.

Он распахнул свою рясу. Действительно, вся грудь его была исцарапана, точно когтями тигра, а в левом боку его зияла рана, довольно глубокая и еще не закрывшаяся. Молодая девушка в ужасе отступила назад.

О, сжался надо мною! – воскликнул священник. – Ты себя считаешь несчастною, но ты, значит, не знаешь, что такое несчастье. О! любить женщину, быть священником, чувствовать, что тебя ненавидят! Любить ее всеми силами души своей, чувствовать, что готов был пролить за одну ее улыбку всю свою кровь, пожертвовать своим добрым именем, спасением души своей, бессмертием, вечностью, землею и загробною жизнью! Сожалеть о том, что ты не царь, не бесплотный дух, не архангел, не Бог, чтобы повергнуться, как раб, у ног ее! Мысленно обнимать ее и днем и ночью, и видеть ее влюбленною в солдатскую ливрею, и иметь возможность предложить ей только жалкую, монашескую рясу, внушающую ей ужас и отвращение! Присутствовать в бессильной злобе и бешенстве при том, как она расточает перед бессмысленным фатом сокровища своей любви и красоты! Видеть это тело, одно воспоминание о котором жжет тебя, как огнем, эту прелестную грудь содрогающимися под поцелуями другого! О Боже! Любить ее ножку, ее ручку, ее плечико, вспоминать о синих жилках и смуглой коже ее, валяться по целым ночам на полу своей кельи, и видеть, что это прекрасное тело сделалось достоянием не ласк твоих, а ужасных орудий пытки! Добиться только того, чтобы довести ее до застенка! О, это хуже всяких раскаленных клещей! Как счастлив, сравнительно с этими мучениями, тот, тело которого перепиливают пополам или которого разрывают на части, привязав к хвостам четырех лошадей. – Имеешь ли ты понятие о тех муках, которые заставляют тебя испытывать, в течение долгих ночей, кипение крови в твоих жилах, твое сердце, готовое ежеминутно разорваться на части, твоя голова, которая трещит, твои зубы, кусающие руки, эти неумолимые палачи, которые неустанно переворачивают тебя, точно на горячей жаровне, на одной и той же мысли – любви, ревности, отчаяния? Пощади меня, ради Бога, уменьши мои мучения! Посыпь пеплом эти раскаленные уголья! Вытри, умоляю тебя, пот, капающий крупными каплями с моего лба! Мучь меня одной рукой, поласкай другою! Сжался, о, ради Бога, сжался надо мною!

И священник бросился на колена в лужу, образовавшуюся на полу, и бился головою о каменные ступени. Молодая девушка все время смотрела на него и слушала его молча. Но когда он, выбившись из сил и еле переводя дух, замолчал, она проговорила вполголоса:

– О, мой Феб!

– Умоляю тебя, – воскликнул священник, подползая к ней на коленях, – если в тебе есть хоть подобие человеческого чувства, не отталкивай меня! Я люблю тебя, я несчастен! Когда ты, несчастная, произносишь это имя, ты как будто перегрызаешь зубами все фибры моего сердца! Пощади меня! Если ты – исчадие ада, я готов отправиться туда вслед за тобою. Я уже сделал все возможное, чтобы достигнуть этого. Ад, в котором ты будешь, для меня слаще рая; вид твой заменяет для меня лицезрение Бога! О, скажи мне, неужели ты отвергаешь меня? Мне кажется, что скорее гора может сдвинуться с места, чем женщина отвергнуть такую любовь. Ах, если бы только ты пожелала! Как бы мы были счастливы! Мы бы бежали, – я дал бы тебе возможность бежать, – мы скрылись бы где-нибудь, мы отыскили бы какой-нибудь уголок, где побольше солнца, побольше деревьев, где вечно голубое небо. Мы бы любили друг друга, мы бы перелили наши души одну в другую, и мы бы ощущали неугасимую жажду друг друга, которую мы утоляли бы сообща и непрерывно с помощью этой неиссякаемой чаши любви.

– Посмотрите-ка, отец мой, – прервала она его с громким и диким хохотом, – у вас под ногтями кровь!

Священник стоял несколько мгновений, как окаменелый, устремив глаза на свою руку.

– Ну, хорошо, – продолжал он затем с какою-то странною кротостью, – оскорбляй меня, смейся надо мною, брани меня, но только пойдем, пойдем! Нам нужно торопиться. Ведь на завтра, я тебе говорю... ты уже знаешь что... Гревская площадь, виселица! Она уже готова. Ведь это ужасно! – видеть тебя идущею на это ужасное место! О, пощади и себя, и меня! Я никогда не чувствовал так, как в настоящую минуту, до какой степени я тебя люблю. О, пойдем за мною! Дай мне сначала спасти тебя, а затем ты уже успеешь полюбить меня; а до тех пор ненавижу тебя, сколько времени захочешь! Пойдем! Ведь завтра! завтра! Виселица, казнь! Спаси себя, пощади меня!..

Он в каком-то исступлении схватил ее за руку и хотел увлечь ее за собою.

– Что случилось с моим Фебом? – спросила она, устремив на него свой неподвижный взор.

– Ах, – проговорил священник, опуская ее руку, – ты безжалостна!

– Что стало с Фебом? – холодно повторила она.

– Он умер! – закричал священник.

– Умер! – повторила она, холодная и неподвижная. – Так что же вы мне толкуете о жизни?

– Да, да, – говорил он как бы про себя и не слыша ее слов, – он, должно быть, уже умер. Сталь глубоко вонзилась в его грудь, и мне кажется, что я острием кинжала задел его сердце. О! На этот раз я постарался...

Молодая девушка кинулась на него, как разъяренная тигрица, и с неестественной силой оттолкнула его на ступеньки лестницы и воскликнула:

– Прочь, чудовище! Прочь, убийца! Дай мне умереть! Пусть его кровь и моя ляжет вечным пятном на челе твоём! Принадлежать тебе, поп! Никогда, никогда! Ничто не соединит нас, даже ад! Никогда, повторяю тебе! Прочь, проклятый!

Священник споткнулся на лестнице, когда она оттолкнула его. Он, не произнося ни слова, выпутал ноги свои из складок своей мантии, взял в руки свой фонарь и медленно стал подниматься по ступенькам, которые вели к двери; затем он отворил дверь и вышел.

Вдруг молодая девушка снова увидела его голову, высунувшуюся из-за трапа; лицо его имело страшное выражение, и он крикнул ей, с выражением ярости и отчаяния:

– Говорю тебе, он умер!

Она упала ничком на пол, и в темном подземелье нельзя было расслышать никакого иного звука, кроме лёгкого шума, производимого каплей воды, падавшей с потолка в лужу.

V. Мать

Я не думаю, чтобы на свете могло быть что-нибудь более радостного, чем мысли, пробуждающиеся в сердце матери при взгляде на башмачок своего ребенка, в особенности, если это башмачок праздничный, воскресный, башмачок, сшитый для крестин, вышитый до самой подошвы, которым ребенок не ступил еще ни шагу. Башмачок этот так мил, так миниатюрен, что матери, при виде его, кажется, как будто она видит перед собою своего ребенка. Он улыбается ей, а она покрывает его поцелуями, болтает с ним. Она спрашивает себя: неужели, в самом деле, может существовать на свете такая маленькая ножка; и если бы даже самого ребенка и не было здесь, то достаточно одного хорошенького башмачка, чтобы восстановить в уме ее весь образ этого нежного и хрупкого создания. Ей кажется, будто она видит его, и, действительно, она его видит, как живого, веселого, розового, с его маленькими ручками, круглой головкой, с его розовым ротиком и ясными глазками, белки которых имеют синеватый отлив. Если дело происходит зимою, то она видит его ползающим по ковру, с трудом взбирающимся на табуретку, и мать дрожит при мысли о том, как бы он не подошел слишком близко к камину. Если же на дворе стоит лето, то он ползает по двору, по саду, выщипывает травку, растущую между камнями, наивно смотрит на больших собак, на еще больших лошадей, не ощущая ни малейшего страха, играет камешками, цветами и заставляет ворчать садовника, находящего при возвращении своем песок в клумбах цветов и землю на дорожках сада. Все смеется, все блистает, все играет вокруг него и вместе с ним, не исключая и ветерка, и солнечного луча, шаловливо играющих с его кудрями. Башмачок все это приводит на ум матери, и сердце ее таит, наподобие восковой свечи.

Но раз бедная мать лишится ребенка, все эти образы, полные радости, прелести, нежности, теснившиеся вокруг маленького башмачка, делаются столькими же ужасными вещами. Вышитый башмачок превращается в орудие пытки, без малейшего перерыва терзающее сердце матери. Он заставляет звенеть в сердце все одну и ту же струну, – струну самую глубокую и чувствительную; но только вместо ласкающего ангела теперь струну эту затрагивает мучитель-демон.

В одно прекрасное утро, когда майское солнце только что показалось на том темно-синем горизонте, на котором Гарофало так любит помещать свои «Сошествия с креста», затворница Гревской площади услышала на площади стук колес, лошадиный топот, бряцание цепей. Но это не произвело на нее почти никакого действия; она только покрепче обмотала свои волосы вокруг ушей, чтобы шум этот не оглушал ее, и снова принялась, стоя на коленях, рассматривать тот самый неодушевленный предмет, с которого она не спускала глаз уже в течение пятнадцати лет. Этот маленький башмачок, как мы уже говорили, заменял для нее весь мир; в нем заключены были все ее мысли, которые должны были выйти из него только с последним ее дуновением. Одним только стенам ее мрачной кельи было известно, сколько трогательных жалоб, сколько горьких упреков, сколько молитв и сколько рыданий вырвалось из груди ее по поводу этой маленькой безделушки из розового атласа. Вряд ли когда-нибудь столько отчаяния вылилось на такую хорошенькую и маленькую вещицу.

В это утро, казалось, горе ее было сильнее обыкновенного, и можно было даже с площади расслышать, как она причитывала громким и монотонным голосом, раздиравшим душу:

– О, моя дочь, моя дочь, моя бедная малютка! Значит, все кончено! А мне все кажется, будто все это случилось не далее, как вчера! Боже мой, Боже мой, уж лучше было бы совсем не давать мне ее, чем так скоро отнимать! Ты, значит, не знаешь, что для нас дети наши – часть нас самих, и что мать, лишившаяся своего ребенка, не верит более в Бога! – Ах, я несчастная! И нужно же было выходить из дому в это утро! – О, Господи, Господи! Ты, значит, никогда не видел меня вместе с нею, если Ты мог так скоро отнять ее у меня. Ты не видел, как я, полная

радости, грела ее у окна, как она улыбалась мне, когда я кормила ее грудью или когда я заставляла ее переступать ноженками по моему телу, до тех пор, пока они не доходили до моих губ! О, если бы Ты видел все это, Господи, Ты бы сжалился надо мною, Ты бы не отнял у меня единственной радости в моей жизни! Неужели же я была такое презренное создание, о, Господи, что Ты не удостоил взглянуть на меня, прежде чем осудить меня? Увы! вот башмачок! Но где же ножка, где все остальное, где дитя мое? О, дочь моя, дочь моя, что они сделали с тобою? О, Господи, Господи, возврати мне дочь мою! Я уже в течение пятнадцати лет стираю себе колена, умоляя Тебя, о, Господи! Неужели ж этого недостаточно? Возврати мне ее, на один день, на один час, на одну минуту, одну минуту, о, Боже, и затем отдай мою душу на веки вечные дьяволу! О, если бы мне только знать, где Ты, я могла поймать полу Твоего одеяния, я бы уцепилась за нее обеими руками и не выпустила бы ее, пока Ты не возвратил бы мне моего ребенка! А ее хорошенький башмачок, неужели Ты не сжалишься и над ним, о, Господи! Можешь ли Ты осудить бедную мать на эту пятнадцатилетнюю муку! О, Пресвятая Богородице, обращаюсь к Тебе! У меня отняли, у меня украли моего младенца, его съели в лесу, выпили его кровь, разгрызли его кости! О, Пресвятая Дева, сжался надо мною! Дочь моя! возвратите мне дочь мою! Что мне от того, что она в раю? Мне не нужно вашего ангела, мне нужен мой ребенок! Я львица, – мне нужно моего львенка! – О, я буду валяться на земле, и буду проклинать и себя, и Тебя, о, Господи, если Ты не возвратишь мне моего ребенка! Смотри, руки мои все искусаны! О, Всемилостивейший Боже, неужели Ты не сжалишься надо мною! Я готова весь остаток жизни моей питаться только черным хлебом с солью, лишь бы возле меня была моя дочь, которая согревала бы меня, точно солнце! Увы, о, Господи Боже мой, я ничто иное, как старая грешница, но дочь моя делала меня благочестивой. Я сделалась религиозною из любви к ней, и я видела Тебя, о, Господи, сквозь улыбку ее, как бы сквозь отверстие в небе. – О, если бы мне довелось хоть разок, хоть один разок обуть ее хорошенькую ножку в этот розовый башмачок, – и я, Пресвятая Богородица, готова буду умереть, благословляя Тебя! – Да, с тех пор прошло уже пятнадцать лет; теперь она была бы уже большая! – Несчастное дитя мое! Как, неужели я ее больше не увижу, даже на небе, ибо мне туда не попасть?.. О, проклятие! Видеть этот башмачок и сознавать, что это все, что от нее осталось!

И с этими словами несчастная кинулась к башмачку, предмету своего утешения и своего отчаяния в течение стольких лет, и рыдания душили ее так же, как и в первый день, ибо для матери, лишившейся своего ребенка, всякий день разлуки с ним – первый день; это горе не стареет. Траурная одежда изнашивается и стирается, но сердце остается облеченным в траур.

В это время под окошечком ее убежища раздались веселые и звонкие детские голоса. Каждый раз, когда до слуха ее долетали эти голоса или она видела в свое оконце детей, бедная мать забивалась в самый темный угол своей гробницы и как будто старалась зарыться головою в камень, чтобы ничего не видеть и не слышать. Но на этот раз она, напротив, вскочила на ноги и стала жадно прислушиваться. Дело в том, что до слуха ее долетели слова, произнесенные каким-то маленьким мальчиком:

– Сегодня будут вешать цыганку.

С тем быстрым движением, которое мы подметили у паука, кинувшегося на муху при сотрясении паутины, она подбежала к оконцу, выходившему, как известно, на Гревскую площадь. Действительно, она увидела, что к виселице была приставлена лестница, и что палач занят был смазыванием петель, заржавевших от дождя. Вокруг виселицы стояло несколько ротозеев. Кучка детей, смеясь, успела уже отбежать довольно далеко. Тогда затворница стала искать глазами какого-нибудь прохожего, которого она могла бы порасспросить. При этом взор ее упал на какого-то священника, стоявшего возле самой ее кельи и делавшего вид, будто он читает выставленный тут же общественный молитвенник, но, в сущности, гораздо менее занятого молитвенником, чем виселицей, на которую он по временам бросал мрачный и суровый взгляд. Она узнала в нем благочестивого архидиакона Клода.

– Отец мой, – обратилась она к нему с вопросом, – кого это собираются вешать?

Священник взглянул на нее, ничего не ответив. Она повторила вопрос свой, и он ответил:

– Не знаю.

– Тут какие-то дети говорили сейчас, что повесят Цыганку, – продолжала затворница.

– Кажется, что так, – ответил священник.

При этих словах Пахита Шанфлери разразилась смехом гиены.

– Сестра моя, – спросил ее архидиакон, – вы, значит, очень ненавидите цыганок?

– Еще бы мне их не ненавидеть! – воскликнула она, – это какие-то вампиры, воровки детей! они похитили у меня мою девочку, мою дочь, единственного моего ребенка! Лучше бы они съели сердце мое!

В эту минуту она была просто страшна. Священник холодно смотрел на нее.

– Особенно ненавижу я одну из них, которую я и прокляла, – продолжала она. – Это молодая девушка, которая была бы ровесницей моей дочери, если бы ее мать не сожрала мою дочь. Каждый раз, когда эта ехидна проходит мимо окна моего, я чувствую, что вся кровь моя кипит.

– Ну, так радуйтесь, сестра моя, – проговорил священник, холодный, как надгробная статуя, – ее то именно и собираются сейчас казнить.

С этими словами он опустил голову на грудь и медленно удалился.

– А ведь я предсказывала ей, что быть ей на виселице! – воскликнула она, радостно всплеснув руками. – Благодарю вас, отец мой!

И она стала расхаживать большими шагами перед железной решеткой своего оконца, с распущенными волосами, со сверкающими глазами, с жадным взором заключенной в клетку волчицы, которая давно уже проголодалась и которая чувствует, что приближается время еды.

VI. Три человеческих сердца, различным образом созданных

Феб, однако, не умер. Такие пустые люди, как он, вообще, бывают живучи. Когда королевский прокурор Филипп Лелье сказал бедной Эсмеральде: – «он умирает», – то он сказал это по ошибке или в шутку.

Когда архидиакон сказал осужденной: «он умер», то он сказал это не потому, чтобы знал то наверное, а потому, что он верил тому, не сомневался в том, рассчитывал и надеялся на то; для него было бы слишком тяжело сообщить женщине, которую он любил, хорошие вести о своем сопернике. Всякий человек на его месте сделал бы то же самое.

Не то, чтобы рана, нанесенная Фебу, не была опасна, но она была менее опасна, чем надеялся архидиакон. Лекарь, к которому отнесли его тотчас после нанесения ему раны солдаты дозора, в течение целой недели боялся за его жизнь и даже высказал ему это по-латыни. Но, в конце концов, молодость взяла верх; и, как нередко случается и в наше время, природа, назло врачам и их диагнозам и прогнозам, сыграла с ними шутку и спасла больного под самым носом их. Лежа еще на кровати в квартире лекаря, он вынужден был выслушать первые допросы Филиппа Лелье и консисторских следователей, что ему очень надоедало. Поэтому, в одно прекрасное утро, почувствовав себя несколько лучше, он оставил врачу золотые шпоры свои, в виде платы за лечение, и куда-то скрылся. Исчезновение его, впрочем, ни мало не помешало дальнейшему ходу следствия. В то время правосудие очень мало заботилось о полноте и ясности судебного следствия, лишь бы можно было повесить обвиняемого, – вот все, что ему было нужно. Судьям показалось, что собрано уже достаточно улик против Эсмеральды. Феба же они сочли умершим – и дело с концом.

Между тем, Феб и не думал бежать особенно далеко. Он, просто, отправился в место стоянки своей роты, в Кё-он-Бри, в провинции Иль-де-Франс, через несколько станций от Парижа. Дело в том, что ему вовсе не хотелось лично фигурировать в этом процессе, так как он смутно

чувствовал, что ему придется разыграть в нем довольно смешную роль. Впрочем, он сам не отдавал себе ясного отчета во всем этом деле. Будучи суеверным, как все малообразованные люди, он, раздумывая обо всем этом деле, находил немало странного и в козе, и в той необычайной обстановке, при которой он познакомился с Эсмеральдой, и в той не менее необычайной обстановке, при которой она созналась ему в своей любви, и в том, что она все же цыганка, и, наконец, в буке. Он видел во всем этом гораздо более чародейства, чем любви, сквозь все это для него проглядывала колдунья, а быть может и сама нечистая сила. Словом, все это представлялось ему очень неприятной комедией, или, употребляя тогдашнюю терминологию, мистерией, в которой ему на долю выпала очень смешная и далеко не почетная роль. Наш капитан испытывал тот стыд, который, по словам Лафонтена, испытывала «лиса, попавшая в лапы курицы».

К тому же он надеялся, что в отсутствие его дело заглохнет, что имя его едва будет прозвучано во время процесса и что, во всяком случае, оно не выйдет из-за стен суда. В этом отношении он, пожалуй, и не ошибался, так как в то время не существовало еще никаких «Судебных Газет»; а так как тогда не проходило почти ни одной недели, чтобы не был сварен в котле фальшивый монетчик, или повешена колдунья, или сожжен еретик на той или иной из парижских площадей, то современники до того привыкли видеть старую, феодальную Фемиду, совершавшую с засученными рукавами и обнаженными руками свою работу близ всевозможных виселиц, колес и позорных столбов, что на это, вообще очень мало обращали внимания. Высшим классам едва ли даже известны были имена всех тех несчастных, которых проводили мимо них на лобное место, а чернь с удовольствием лакомилась этим грубым блюдом. Публичная казнь в те времена была таким же обыденным, заурядным явлением, как сковорода пирожника или бойня живодера. Палач был чем-то вроде мясника, ни более, ни менее.

Итак, Феб довольно скоро забыл и чародейку Эсмеральду, или Симиляр, – он все еще никак не мог припомнить ее имя, – и удар кинжалом, нанесенный ему цыганкой или букой (он опять-таки не знал наверное, кем из них), и ни мало не беспокоился об исходе процесса. Но как только сердце его сделалось вакантным с этой стороны, его снова наполнил образ Флер-де-Лис. Вообще, сердце Феба, как и природа, по учению тогдашних физиков, не любило пустоты. К тому же Ке-он-Бри, деревушка, населенная кузнецами и коровницами с потрескавшимися руками, представляла собою крайне непривлекательное местопребывание; это был длинный, двойной ряд лачуг и хижин по обеим сторонам большой дороги – и больше ничего.

Флер-де-Лис была предпоследней его страстью. Это была премиленькая девушка, с порядочным приданым. Итак, в одно прекрасное утро, совершенно поправившись и предполагая, что в течение двух месяцев все это дело с цыганкой должно быть кончено и забыто, влюбленный офицер прибыл верхом к двери дома вдовы Гонделорье.

Он не обратил никакого внимания на довольно многочисленную толпу, собравшуюся на площади перед главным входом в собор. Он припомнил, что был май месяц, быть может, Духов день; он предполагал, что это, быть может, какая-нибудь процессия, какое-нибудь шествие, привязал своего коня к кольцу двери и весело поднялся к своей красавице-невесте.

У Флер-де-Лис все еще не выходили из головы сцена с ворожеей, ее коза, ее проклятая азбука и продолжительное отсутствие Феба. Однако, когда капитан вошел, ей показалось, что у него такой бодрый вид, такой новый мундир, такая блестящая перевязь и такой страстный взор, что она покраснела от удовольствия. Молодая девушка в этот день сама была красивее, чем когда-либо. Ее великолепные, белокурые волосы были сплетены в красивые косы, она была одета вся в небесно-голубой цвет, который так идет к блондинкам, – этому искусству научила ее Коломба, – а в глазах ее сказывалась истома любви, которая так идет к некоторым молодым девушкам.

Феб, давно уже не видевший никаких других женщин, кроме коровниц Ке-он-Бри, был просто очарован при виде Флер-де-Лис, и он приветствовал ее с такою грациозностью и любез-

ностью, что мир между ними был тотчас же заключен. Даже сама госпожа Гонделорье, сидевшая, по обыкновению, в своем кресле, не решилась пожуричь его. Что касается до упреков Флер-де-Лис, то они скорее похожи были на нежное воркование.

Молодая девушка сидела возле окошка, продолжая вышивать свой Нептунов грот. Капитан облокотился о высокую спинку ее стула, и она вполголоса обращала к нему свои упреки.

– Что это вы пропадали в течение целых двух месяцев, злой человек?

– Клянусь вам, – ответил Феб, несколько смущенный этим вопросом, – вы так красивы сегодня, что в состоянии с ума свести архиепископа.

– Хорошо, хорошо, – продолжала она, улыбнувшись, – оставьте в покое мою красоту: дело теперь идет не о ней. Отвечайте-ка мне лучше на мой вопрос.

– Ну, так я скажу вам, милая кузина, что мне пришлось содержать караулы.

– Где же это? И почему же в таком случае вы раньше того не пришли проститься со мною?

– В Ке-он-Бри! – ответил Феб, обрадовавшись тому, что первый вопрос давал ему удобный случай увильнуть от второго.

– Да ведь это близехонько от Парижа! Неужели же, вы не могли оттуда ни разу навестить меня?

– Видите ли... служба... И к тому же, милая кузина, я был болен.

– Больны! – воскликнула она с испуганным видом.

– Да... т. е. ранен.

– Ранены? – переспросила молодая девушка, и на лице ее выразился ужас.

– О, не пугайтесь, – небрежно проговорил Феб, – это пустяки! Просто, маленькая ссора, царапина шпагой! Что же вам в этом?

– Как, что мне в этом? – воскликнула Флер-де-Лис, поднимая на него свои красивые глаза, полные слез. – О, вы скрываете от меня что-то! Что это за царапина шпагой? Я желаю все знать!

– Ну, так видите ли, милая кузина, мы повздорили с Маге-Феди, – вы знаете, тем поручиком из Сен- Жермен-ан-Лэ, и мы распоролли друг другу кожу на несколько дюймов. Вот и все!

Лгавши таким образом, капитан очень хорошо знал, что подобные столкновения по вопросам чести всегда возвышают человека в глазах женщины. И действительно, Флер-де-Лис взглянула ему в лицо вся взволнованная от страха, удовольствия и удивления. Однако она еще не совсем успокоилась.

– Но совершенно ли вы излечились, мой милый Феб? – спросила она. – Я совершенно не знаю вашего Маге-Феди, но это, должно быть, прегадкий человек. – И из-за чего же вы поссорились?

При этом вопросе Феб, не отличавшийся особенною силою и творчеством воображения, смутился и не знал, как ему выпутаться из сплетенной им лжи.

– Да так... я сам хорошенько не знаю... Вопрос зашел о лошадях... Он что-то такое сказал... А кстати, кузина, – воскликнул он, желая переменить разговор, – что это за Шум на площади? – И, приблизившись к окну, он продолжал: – ах, кузина, посмотрите-ка, сколько народа на площади!

– Я сама хорошенько не знаю, – ответила Флер-де-Лис, – кажется, какая-то колдунья должна будет покаяться сегодня утром перед церковью, чтобы быть затем повешенной.

Капитан до того был уверен в том, что дело Эсмеральды давно уже кончено, что он не обратил особого внимания на слова Флер-де-Лис. Однако, он обратился к ней еще с несколькими вопросами.

– А как зовут эту колдунью?

– Не знаю, – ответила она.

– А что же такое она сделала?

– Да не знаю же! – опять ответила она, пожав своими белыми плечиками.

– О, Господи Боже мой! – вмешалась в разговор ее мать, – теперь развелось столько ведьм, что их жгут, не справляясь, кажется, даже об их имени, Это все равно, что добиваться того, как зовут такое-то облако на небе. Да и, в сущности, на что нам знать их имена? Это дело Господа Бога.

С этими словами почтенная дама встала и подошла к окну.

– Да, вы правы, капитан Феб, – сказала она. – Действительно, собралась масса народу. Иные, слава Богу, взобрались даже на крыши... А, знаете ли, Феб, это напоминает мне мою молодость. При въезде короля Карла VII было так же много народу. – В котором, бишь, это было году? – Не правда ли, когда я говорю вам об этих вещах, это производит на вас впечатление чего-то очень старого? Ну, а мне это напоминает мою молодость. – О, тогда народу собралось даже больше, чем теперь! Тогда даже бойницы Сент-Антуанских ворот были усеяны зрителями. Королева сидела позади короля, на его же коне, и таким образом все придворные дамы были посажены на коней позади кавалеров. Я еще очень хорошо помню, как все хохотали, увидев коротышку Аманион де-Гарланд, сидевшую позади кавалера де-Матфелона, который был гигантского роста и побивал англичан чуть не сотнями. Вообще, эго было очень красивое зрелище! Представьте себе шествие всего знатного французского дворянства, с блестящими на солнце бесчисленными хоругвями! Тут были и баронские, и просто дворянские хоругви. Самыми красивыми были хоругви де-Калона, Жана де-Шатоморана, де-Куси, не говоря уже о хоругви герцога Бургундского. Увы! Как грустно вспомнить, что все это было, да прошло!

Влюбленная парочка не слушала рассказней болтливой старушки. Феб снова оперся о спинку стула своей невесты, находя эту позицию как нельзя более удобною, так как его нескромный взор мог проникать оттуда сквозь отверстия, образуемые не плотно прилежавшей к груди Флер-де-Лис косынкой ее. Зрелище это привело Феба в такой восторг, что он сам про себя говорил: – И как это можно любить смуглых больше, чем женщин с белоснежной кожей?

Оба они молчали. Молодая девушка по временам кидала на него нежные и радостные взоры, и один и тот же луч весеннего солнца играл волосами их обоих.

* * *

– Феб, – вдруг проговорила Флер-де-Лис шепотом, – через три месяца наша свадьба. Поклянитесь мне, что вы никогда не любили другой женщины, кроме меня!

– Клянусь вам в том, ангел мой! – ответил Феб, и страстный взор его явился на подмогу для того, чтобы убедить Флер-де-Лис в истине его слов. Быть может, в эту минуту он и сам себе верил.

Добрая мамаша, восхищенная видом обоих, так нежно воркующих голубков, вышла из комнаты, чтобы сделать некоторые распоряжения по хозяйству. Феб заметил это, и одиночество, в котором они очутились, придало столько смелости предприимчивому капитану, что ему в голову пришли довольно странные мысли. Флер-де-Лис любила его, он был ее жених, она была одна с ним, она ему нравилась, он питал к ней не то, чтобы любовь, а известное вождение и к тому же что за беда в том, если съесть свой же хлеб на корню! Не могу сказать наверное, действительно ли все эти мысли приходили Фебу в голову, но верно то, что выражение его взора вдруг испугало Флер-де-Лис. Она оглянулась и увидела, что мать ее ушла из комнаты.

– О, Боже мой! – воскликнула она, покраснев и встревоженным голосом, – как мне жарко!

– Действительно, – ответил Феб, – уж скоро полдень. Солнце ужасно печет. Нужно опустить шторы.

– Нет, нет! – воскликнула бедняжка, – мне, напротив, нужен воздух!

И подобно лани, за которой гонится свора собак, она встала, подбежала к окну, распахнула его и вскочила на балкон. Феб последовал за нею с недовольным видом.

Площадка перед соборной папертью, на которую, как уже известно, выходил балкон, представляла в эту минуту странное и мрачное зрелище, которое совершенно изменило свойство испуга робкой Флер-де-Лис.

Громадная толпа наполняла всю площадь и даже соседние улицы. Невысокая ограда, в половину человеческого роста, не в состоянии была бы сдержать толпу, если бы вокруг нее не стоял еще ряд городских сержантов и алебардчиков. Благодаря этой живой изгороди, небольшая площадка перед папертью церкви была свободна. Вход в это пространство охраняли солдаты стражи епископа. Большие церковные двери были заперты, составляя яркий контраст с бесчисленными окнами, выходившими на площадь, которые, напротив, были открыты все, начиная с подвальных этажей и до чердаков, и в которых виднелись тысячи человеческих голов.

Вся эта толпа имела вид очень непривлекательный. Зрелище, которого она дожидалась, принадлежало, очевидно, к числу тех, которые привлекают к себе подонки общества. Противно было прислушаться к восклицаниям, раздававшимся из среды этой оборванной и растрепанной толпы. Здесь слышалось больше смеха, чем слов, видно было больше женщин, чем мужчин.

– Эй! Магие Балифр! Что, ее здесь же и повесят?

– Дурак! Здесь она только должна покаяться, одетая в одну рубашку, просить прощения у Господа Бога. Это всегда делается в полдень. А если ты хочешь видеть виселицу, ступай на Гревскую площадь.

– Я и пойду немного погодя.

– ...А скажите-ка, госпожа Буканбри, правда ли, что она отказалась от духовника?

– Так, по крайней мере, говорят, госпожа Бешэнь.

– Ишь, ведь какая языческая рожа!

– ...Это, видите ли, сударь, так водится. Судья должен выдать осужденного преступника для совершения казни, если это мирянин, парижскому бургомистру, а если это духовное лицо – уполномоченному епископа.

– Очень вам благодарен, милостивый государь.

– О, Боже мой, – говорила Флер-де-Лис: – бедное создание!

И, произнеся эти слова, она печальным взором окинула толпу. Капитан, гораздо более занятый в эту минуту ею, чем этим сбродом зевак, воспользовался этим случаем, чтобы обнять ее за талию. Она обернулась, взглянула на него с улыбкой и сказала умоляющим голосом:

– Ради Бога, оставьте меня, Феб! Матушка может каждую минуту войти и увидеть вашу руку.

В это время часы на соборной колокольне медленно пробили двенадцать ударов. Ропот удовольствия пробежал по толпе. Едва затих гул последнего, двенадцатого, удара, как все головы заволновались, как морская поверхность, на которую набежал шквал, и с площади, из окон, с крыш раздались громкие, как бы радостные восклицания:

– «Вот она!»

Флер-де-Лис закрыла лицо свое руками, чтобы не видеть того, что происходит на площади.

– Не желаете ли вы вернуться в комнату, красавица моя? – спросил ее Феб.

– Нет, нет! – ответила она, и любопытство заставило ее снова открыть глаза, которые она зажмурила от страха.

В это самое время из улицы Сен-Пьерр выезжала на площадь телега, запряженная сильною нормандскою ломовою лошадейю и окруженная всадниками в фиолетовых камзолах, с нашитыми на них белыми крестами. Сержанты очищали ей путь сквозь толпу, отвешивая направо и налево удары своими булавами. Рядом с телегой ехало верхом несколько судебных приставов и полицейских чиновников, которых не трудно было узнать по их черным одеждам и по той неловкой манере, с которою они сидели на конях. Впереди их ехал Жак Шармолу.

На позорной колеснице сидела молодая девушка со связанными назад руками; подле нее не видно было священника. Одета она была в одну только рубашку; ее длинные, черные волосы (тогда существовал обычай остригать у осужденных на смерть волосы только на эшафоте) падали в беспорядке на ее обнаженные наполовину грудь и плечи.

Сквозь густые, роскошные волосы ее, более блестящие, чем вороново крыло, можно было разглядеть обмотанную вокруг ее шеи веревку, которая натирала ее хрупкие ключицы и обвивалась вокруг шеи бедной девушки, как земляной червь вокруг розы. Под этой веревкой можно было разглядеть блестевшую на солнце, маленькую ладанку, вышитую бисером, которую, вероятно, оставили при ней в виду обычая – не отказывать осужденным на смерть в их последней просьбе. Зрители, смотревшие в окно, могли разглядеть на дне телеги голые ноги ее, которые она старалась скрыть под сиденьем, так как невинная женщина остается целомудренной до последней минуты. У ног ее лежала маленькая козочка с связанными ногами. Осужденная поддерживала зубами сорочку свою, спускавшуюся с плеч. Ясно было видно, что даже в эту страшную минуту она страдала при мысли о том, что ее выставляли в таком виде, полунагою, на всеобщий позор. И к чему ей было теперь это ее целомудрие!

– О, Господи Иисусе! – воскликнула Флер-де-Лис, обращаясь к капитану, – посмотрите-ка, милый кузен! Это та противная цыганка с козю!

И с этими словами она обернулась к Фебу. Он был чрезвычайно бледен и не спускал глаз с телеги.

– Какая цыганка? Какая коза? – пробормотал он.

– Как! разве вы не помните? – продолжала Флер-де-Лис.

– Я не понимаю, что вы этим хотите сказать, – перебил ее Феб.

И он сделал было шаг назад, чтобы вернуться в комнату. Но Флер-де-Лис, в которой эта самая цыганка когда-то возбудила такую сильную ревность, взглянула на него проницательным и подозрительным взором. Ревность ее снова проснулась. Она в эту минуту смутно припомнила, что слышала о каком-то офицере, замешанном в процессе этой колдуньи.

– Что с вами? – спросила она Феба. – Можно было бы подумать, что вид этой женщины смутил вас.

– Меня? Нисколько! С чего вы это взяли? – ответил Феб, стараясь улыбнуться.

– В таком случае останьтесь, – сказала она повелительным голосом, – и досмотрим до конца.

Несчастному капитану приходилось повиноваться. Его, впрочем, несколько успокаивало то, что осужденная не сводила глаз со дна своей телеги. Это была Эсмеральда, в том не оставалось ни малейшего сомнения. Спустившись даже до этой последней ступени позора и несчастья, она все еще была поразительно хороша; ее большие, черные глаза казались еще большими вследствие того, что щеки ее похудели, ее бледное лицо было чисто и прекрасно. Она походила на прежнюю Эсмеральду так же, как мадонна Мачазио походит на мадонну Рафаэля: она была более слабая, более худая, более деликатная.

Впрочем, помимо чувства стыдливости, в ней, казалось, притуплены были все другие чувства, и она была совершенно разбита горем и отчаянием. Тело ее при каждом толчке мостовой качалось в разные стороны, как какой-то неодушевленный предмет. Взор ее был тускл и бессмыслен. На глазах ее еще можно было разглядеть слезы, но слезы неподвижные, как бы замерзшие.

Тем временем печальная процессия проехала через толпу, среди радостных кликов и любопытных взоров зевак. Впрочем, в качестве правдивого историка, автор должен заметить, что, видя ее столь красивою и несчастною, многие, и при том не из самых мягкосердых, были тронуты.

Наконец, телега въехала на площадку и остановилась перед главным входом. Конвой выстроился по обеим сторонам, и, среди водворившегося торжественного молчания, обе

створы главной двери как бы сами собой распахнулись, заскрипев на своих петлях. Взорам зрителей представилась во всю длину темная, обитая черным сукном, церковь, едва освещаемая несколькими восковыми свечами, мерцавшими в отдалении на главном алтаре, и точно разевавшая свою темную пасть на залитую солнечным светом площадь. В самой глубине, в тени, бросаемой хорами, виднелся громадный, серебряный крест, ярко выделявшийся на черном сукне, спускавшемся во всю высоту церкви от свода до полу. Вся середина церкви была пуста, и только на хорах виднелось несколько голов церковнослужителей и певчих. В ту минуту, когда двери церкви распахнулись, из нее донеслись на площадь до слуха осужденной монотонные звуки скорбных псалмов.

«Не утрашусь мириад окружающего меня народа.
Встань, о Господи! Спаси мя, о Господи!
Спаси меня, о Господи, хотя бы воды угрожали залить и самую
душу мою!
Я создан из земли, и в землю же превратиться
я должен».

В это время другой голос, уже не на хорах, а перед главным алтарем, возгласил:

«Кто услышит слово Мое и уверует в посланного Мяс, удостоится вечной жизни и судим не будет, а перейдет от смерти к жизни».

Народ благоговейно слушал. Несчастливая осужденная, вся растерянная, казалось, и глазами, и мыслями ушла в темную внутренность церкви. ее бледные губы шевелились, как бы творя молитву; но когда помощник палача подошел к ней, чтобы помочь ей сойти с телеги, он услышал, что она шепотом повторяла одно только слово: «Феб».

Ей развязали руки и ноги и заставили ее сойти с телеги вместе с козой ее, которой также развязали ноги, и которая заблеяла от радости, почувствовав себя на свободе; затем ее заставили пройти босиком по булыжной мостовой до нижней ступеньки главной паперти. Вербка, обмотанная вокруг ее шеи, волочилась за нею, точно змея, ползшая по ее пятам.

В это время пение в церкви замолкло, и видно было, как в глубине ее, в потемках, зашевелились большой, позолоченный крест и многочисленные восковые свечи. Затем раздался стук об пол алебард привратников, и несколько мгновений спустя взорам осужденной и толпы предстала длинная процессия священников в ризах и диаконов в стихарях, которая, распевая псалмы, медленными шагами приближалась к ней. Но взор осужденной остановился только на той духовной особе, которая шла впереди всех, непосредственно за причетником, несшим крест.

– О! – пробормотала она про себя, содрогаясь: – опять он! Опять этот поп!

Действительно, это был Клод Фролло. По правую и по левую руку от него шли: регент певчих с своей палочкой и его помощник. Архидиакон шел, откинув голову назад и напевая громким голосом:

«Я воззвал к Тебе из глубины ада, и Ты услышал голос мой;
И Ты поверг меня в пучину морскую, и поток кружил меня!»

В ту минуту, когда он появился в высоких стрельчатых дверях, облаченный в длинную ризу из серебряного глазета, с вышитым на груди большим черным крестом, он был так бледен, что его легко можно было принять за одну из тех высеченных из мрамора статуй епископов, изображенных коленопреклоненными на саркофагах хора, поднявшуюся с своего места для того, чтобы встретить у порога гроба то несчастное создание, которое должно было сейчас умереть.

Она, не менее бледная и не менее напоминавшая собою статую, едва заметила, как ей всунули в руку зажженную свечу из желтого воска. Она совсем не слышала крикливого голоса секретаря, читавшего формулу покаяния; когда ей сказали, чтобы она ответила: «Аминь», она машинально произнесла: «Аминь». Она почувствовала некоторое возвращение жизни и сил только тогда, когда увидела, что священник знаком велел страже отойти от нее и один приблизился к ней. Кровь кинулась ей в голову, и в этой душе, уже окоченелой и холодной, еще раз вспыхнул огонь негодования.

Архидиакон приблизился к ней медленными шагами. Даже и в эту торжественную минуту она могла подметить, как он бросил на ее полуобнаженное тело взор, полный страсти, ревности и похотливости. Затем он спросил ее громким голосом:

– Несчастная, просила ли ты Господа Бога простить тебе твои прегрешения вольные и невольные? – И затем он, нагнувшись к уху ее, прибавил (зрители думали, что он выслушает последнюю исповедь ее): – Хочешь ли ты быть моею? Я еще могу спасти тебя!

– Прочь от меня, дьявол, или я разоблачу тебя! – воскликнула она, пристально взглянув на него.

– Тебе все равно не поверят, – ответил он, злобно улыбаясь. – Ты добьешься только того, что к преступлению присоединишь еще скандал. Отвечай скорей, хочешь ли ты быть моею?

– Что ты сделал с моим Фебом?

– Он умер.

В эту самую минуту архидиакон машинально поднял голову и увидел на противоположном конце площади, на балконе дома госпожи Гонделорье, капитана Феба, стоявшего рядом с Флер-де-Лис. Он зашатался, провел по глазам рукою, еще раз взглянул, пробормотал какое-то проклятие, и все черты лица его злобно исказились.

– Ну, так умри же! – проговорил он сквозь зубы, – по крайней мере, ты никому не будешь принадлежать!

И затем, подняв руки над головой цыганки, он воскликнул погребальным голосом:

– И ныне отпускаешь, Господи, душу ее! Да смилуется над тобою Господь!

Этою ужасною формулою в те времена обыкновенно заключали подобные церемонии. Это был условленный сигнал между служителем церкви и палачом.

– Господи, помилуй! – возгласили остальные священники, остановившиеся в дверях, между тем, как народ преклонил колена.

– Господи, помилуй! – повторила толпа с неопределенным гулом, напоминавшим собою прибой морских волн.

– Аминь! – возгласил архидиакон – И он повернулся к осужденной спиною, голова его снова опустилась на грудь, он сложил руки на груди, возвратился к ожидавшим его в дверях остальным священникам; а минуту спустя он исчез вместе с крестом, свечами и хоругвями под темными сводами церкви, и звонкий голос его мало-по-малу замирал, напевая следующий, полный отчаяния, стих: – «Надо мною разверзлись все хляби небесные и на меня полились потоки». – И в то же время прерывистый стук булав привратников о каменный пол церкви, раздаваясь среди колоннады церкви и отражаясь в сводах ее, напоминал собою бой часового молотка, возвещающего о том, что настал последний час для бедной осужденной.

Двери собора оставались раскрытыми, позволяя толпе разглядывать внутренность пустой, обитой черным сукном, церкви, в которой не горело более ни одной свечи, не раздавалось ни единого звука.

Осужденная оставалась неподвижно на своем месте, ожидая, что с нею теперь станут делать. Один из приставов известил об этом Жака Шармолю, Занимавшегося во время всей этой сцены рассматриванием барельефов большой двери, изображавших, по уверению одних, – жертвоприношение Авраамова, а – по словам других – добывание философского камня, причем ангел представлял собою солнце, костер – огонь, а Авраам – философа.

Стоило некоторого труда оторвать его от этого занятия. Наконец, он обернулся и сделал какой-то знак, после которого два человека, одетые в желтые куртки, приблизились к цыганке, чтобы снова связать ей руки.

Несчастною овладело, быть может, какое-то раздирающее душу сожаление о жизни в ту минуту, когда она снова должна была взойти на зловещую колесницу, чтобы доехать па ней до последней станции своей жизни. Она подняла к небу свои раскрасневшиеся от слез, но в настоящую минуту сухие глаза, она взглянула на солнце, на серебристые облака, перерезанные кое-где синеватыми треугольниками и трапециями, затем она опустила их, взглянула вокруг себя – на площадь, на дома, на толпу. Вдруг, между тем, как один из одетых в желтую куртку людей скручивал ей локти, она испустила ужасный крик, крик радости. На том балконе, вон там, на углу площади, она только что увидела его, своего возлюбленного, своего Феба, это самое радостное видение ее жизни!

Значит, суд! я солгал! Значит, поп солгал! Это был, действительно, он, в том не было никакого сомнения! Он стоял там, здоров и невредим, красивее, чем когда либо, одетый в блестящий мундир свой, с пером на шляпе, со шпагой на левом бедре.

– Феб! – воскликнула она, – Феб мой! – Иона хотела было протянуть к нему свои руки, дрожавшие от любви и от восторга, но они оказались связанными.

Тогда она увидела, что капитан нахмурил брови, что стоявшая подле него и опиравшаяся о его плечо красивая молодая девушка взглянула на него гневными глазами и с презрительной улыбкой; она видела, что Феб произнес несколько слов, не достигнувших до ее слуха, и оба они поспешно скрылись в стеклянной двери балкона, которая тотчас же затворилась за ними.

– Феб! – воскликнула она в отчаянии, – неужели и ты этому веришь?

В это время в голове ее мелькнула ужасная мысль: она припомнила, что была осуждена между прочим и за убийство капитана Феба-де-Шатопера. До сих пор она все выносила. Но этот последний удар был слишком жесток, и она без чувств упала на мостовую.

– Ну, живее! – сказал Шармолу, – пора кончить! Отнесите ее в телегу!

Во время всей этой сцены никто не заметил в галерее, в которой были выстроены в ряд статуи 4 королей, как раз над стрелкой дверей, какого-то странного зрителя, который до сих пор смотрел на всю эту сцену с такою неподвижностью, с такой вытянутой шеей, с таким безобразным лицом, что, не будь он одет в какой-то шутовской наряд наполовину красный, наполовину фиолетовый, его можно было бы принять за одну из тех уродливых рож, через открытую пасть которых в течение шести сот лет вытекает вода из водосточных труб, идущих вдоль стен собора. Этот зритель видел все, что происходило, начиная с полудня, перед соборною дверью. С самого начала, пользуясь тем, что никто не обращает на него внимания, он крепко обмотал вокруг одной из колонок верхней галереи конец толстой, узловатой веревки, другой конец которой спускался до земли. Сделав это, он стал спокойно смотреть вокруг себя и посвистывать, когда мимо него пролетал дрозд.

Вдруг, в то самое время, когда помощники палача собирались исполнить приказание флегматика-Шармолу, он перескочил через перила галереи, обхватил веревку ногами, коленями и руками, спустился вдоль фасада здания, подобно тому, как капля дождя спускается по стеклу, подбежал к помощникам палача с проворством кошки, спрыгнувшей с крыши, оттолкнул их двумя увесистыми кулаками своими, схватил цыганку одной рукою, как ребенок схватывает куклу, и одним прыжком очутился под сводами церкви, поднимая молодую девушку над головою своею и крича страшным голосом:

– «Убежище!»

Все это произошло с быстротой молнии.

– Убежище! убежище! – повторила толпа, и раздались рукоплескания десятка тысяч рук; единственный глаз Квазимодо заблестел от радости и гордости.

Это сотрясение заставило осужденную прийти в себя. Она приподняла веки, взглянула на Квазимодо и затем немедленно же снова опустила их, как бы испугавшись своего спасителя.

И Шармолу, и палачи, и конвой стояли, как вкопанные. Действительно, в ограде собора личность осужденного была неприкосновенна; церковь считалась верным убежищем; закон человеческий утрачивал свою силу у порога ее.

Квазимодо остановился под главным входом. Его огромные ноги, опираясь на плиты каменного пола, напоминали собою скорее романские колонны, чем человеческие ноги. Его громадная косматая голова уходила в плечи, как головы львов, у которых длинная грива и очень короткая шея. Он держал дрожавшую молодую девушку на своих мозолистых руках, точно белую драпировку, но держал ее так осторожно, точно боялся сломать ее. Он как будто чувствовал, что это – нежная и хрупкая вещь, созданная не для таких грубых и топорных рук, как его руки. По временам казалось, что он боится не только грубо прикоснуться к ней, но даже дунуть на нее. И затем вдруг он опять крепко сжимал ее руками, прижимал ее к своей выпуклой груди, как свое добро, как свое сокровище, точно мать, прижимающая к груди своего ребенка. Его глаз циклопа, опущенный на нее, смотрел на нее с невыразимой нежностью, состраданием и скорбью, а затем вдруг поднимался, сверкая молнией. Женщины в толпе и смеялись, и плакали, мужчины топали ногами и рукоплескали от восторга. И действительно, в эту минуту Квазимодо был, действительно, красив, этот урод, этот подкидыш, этот предмет ужаса и отвращения! И он чувствовал себя не только сильным, но и красивым; он смело глядел в лицо этому обществу, которое оттолкнуло его и у которого он только что вырвал его жертву, этому правосудию, у которого он отнял его добычу, всем этим тиграм, тщетно скалившим зубы, всем этим судьям, стражам, палачам, всем этим королевским слугам, всей этой силе, которую он, презренный, только что сломил с помощью Божией!

И к тому же было нечто особенно трогательное в таком покровительстве, свалившемся, точно с неба, этого столь безобразного человека столь красивому, но несчастному существу, в этой осужденной на смерть, спасенной уродом Квазимодо. Здесь встретились и взаимно помогали друг другу крайности несчастья, – ниспосылаемого природой и причиняемого человеком.

Насладившись в течение нескольких минут своим торжеством, Квазимодо быстро углубился, вместе со своей ношей, в церковь. Толпа, подкупаемая всяким смелым поступком, искала его глазами в темном храме, сожалея о том, что он так поспешно скрылся от ее взоров. Вдруг его увидели, словно вынырнувшим, в галерее французских королей. Он пробежал по ней, как угорелый, высоко поднимая над своей головою девушку, вырванную им из рук смерти, и повторяя громким голосом: – «Убежище!» Толпа снова разразилась рукоплесканиями. Пробежав галерею, он снова скрылся внутри церкви. Минуту спустя он появился на верхней площадке; он бежал с той же быстротой, по-прежнему держал цыганку в руках, и продолжал кричать: – «Убежище!» Новый взрыв рукоплесканий толпы. Наконец, он появился в третий раз на той площадке башни, на которой висел большой колокол. Казалось, он оттуда с гордостью показывал всему городу ту, которую он спас, и громкий голос, голос этот, которого сам он никогда не слышал, и который другие слышали так редко, трижды прокричал с увлечением, как бы желая долететь до облаков поднебесных:

– «Убежище, убежище, убежище!»

– Bravo! Bravo! – кричал народ со своей стороны, и перебаты этого громкого возгласа донесли на противоположный берег, до самой Гревской площади, и немало удивили собравшуюся там толпу и затворницу, не спускавшую глаз с виселицы и нетерпеливо поджидавшую прибытия осужденной.

Книга девятая

I. Горячка

Клода Фролло уже не было в церкви в то время, когда его приемный сын так решительно рассекал ту зловещую петлю, которою несчастный архидиакон опутал цыганку и в которой он сам запутался. Вернувшись в алтарь, он сорвал с себя стихарь, митру и епитрахиль, швырнул все это удивленному пономарю, вышел в потайную дверь церкви, приказал первому встречному лодочнику перевезти себя на левый берег Сены и углубился в извилистые улицы Университетского квартала, сам не зная, куда он идет, наталкиваясь на каждом шагу на группы мужчин и женщин, спешивших по направлению к мосту Сен-Мишель, в надежде поспеть еще вовремя к повешению цыганки. Он был бледен, растерян, смущен, точно ночная птица, преследуемая среди бела дня ватагой детей. Он не отдавал себе отчета в том, где он, о чем он думал, о чем он мечтал. Он шел, он бежал, наугад поворачивая то в ту, то в другую улицу, не разбирая, куда он направляется, и стараясь только уйти подальше от Гревской площади, которую, как он смутно сознавал, он оставил позади себя. Он прошел мимо холма св. Женеьевы и вышел, наконец, из города в ворота Сен-Виктор. Он продолжал бежать до тех пор, пока, оборачиваясь, мог видеть ограду и башни Университетского квартала и крайние дома предместий; но когда, наконец, неровность почвы скрыла от него весь этот ненавистный Париж, когда ему могло показаться, будто он удалился от него на целую сотню миль, когда он очутился в безлюдном месте, среди полей, – он остановился, и из его груди вырвался глубокий вздох.

Но, тем не менее, страшные мысли продолжали тесниться в его уме. Он заглянул в свою душу – и содрогнулся. Он вспомнил об этой несчастной молодой девушке, которая погубила его и которую он погубил. Он оглянулся назад на тот двойной извилистый путь, по которому судьба провела их до той точки, где пути эти встретились, и где судьба немилосердно разбила их жизнь одну и другую. Ему пришли на ум суета вечных обетов, тщетность целомудрия, науки, религии, добродетели; он усомнился даже в самом существовании Бога. Ему доставляли особое удовольствие эти дурные мысли, приходившие ему на ум, и по мере того, как он углублялся в них, он точно слышал внутри себя какой-то сатанинский хохот.

Роясь таким образом в душе своей и убеждаясь в том, какое широкое место природа отвела в ней для страстей, он внутренне засмеялся с еще большей злобою. Он поднял с глубины души всю свою ненависть, всю свою злость, и убедился, с хладнокровием врача, делающего диагноз болезни, что эта злость, эта ненависть были не что иное, как обратившаяся в дурную сторону любовь, что любовь, этот источник добродетели у других людей, может принять самый ужасный оборот в сердце человека, и что человек его склада, становясь священником, делается демоном. При этой мысли он дико расхохотался, а затем вдруг снова побледнел при мысли о самой мрачной стороне его злосчастной страсти, этой едкой, ядовитой, злобной, неумолимой любви, которая привела одну – к виселице, другого – в ад, которая, погубив одну, погубила и другого.

Он расхохотался еще сильнее при мысли о том, что Феб не умер, что после, всего, что случилось, капитан жив, весел и доволен, щеголяет больше, чем когда-либо, и что у него уже завелась новая любовница, которой он показывает, как ведут на виселицу прежнюю. И еще смешнее ему стало, когда ему пришло на ум, что из всех живых существ, смерти которых он желал, цыганка, т. е. единственное существо, которое он не ненавидел, была в то же время единственным существом, которое ему удалось довести до эшафота.

От капитана мысль его перенеслась к толпе зевак, и им овладело какое-то странное чувство ревности. Он вспомнил о том, что и эта толпа, и что все парижские ротозеи видели жен-

щину, которую он любил, в одной сорочке, полуобнаженную. Он ломал себе руки при мысли о том, что эта женщина, которая могла бы доставить ему высшее блаженство, если бы ему только удалось видеть одному в полумраке ее чудные формы, была выставлена на всеобщее позорище, среди бела дня, в полдень, полунагая, раздетая как бы для ночи, полной сладострастия. Он плакал от ярости при мысли обо всех этих прелестях любви, загрязненных, обнаженных, навеки профанированных. Он плакал от ярости при мысли о том, сколько грязных, нечестивых взоров были устремлены на эту полуобнаженную грудь, и что эта прекрасная девушка, эта целомудренная лилия, эта чаша, полная стыдливости и наслаждений, к которой он не посмел бы прикоснуться губами иначе, как с благоговейным восторгом, была превращена в какую-то общественную лоханку, из которой вся парижская чернь, все воры, нищие и холуи собрались пить сообща, с каким-то наглым, бесстыдным удовольствием.

И когда он пытался представить себе все то счастье, которое он мог бы обрести на земле, если б она не была цыганкой, а он бы не был духовным лицом, если бы не существовало на свете Феба и если б она полюбила его, – когда он представлял себе, что и для него была бы возможна жизнь, полная счастья и любви, что и теперь на различных пунктах земли встречаются счастливые парочки, коротающие часы в сладких беседах под померанцевыми деревьями, на берегу ручья, под звездным небом или освещаемые лучами заходящего солнца, и что если бы на то Божья воля, и он мог бы составить вместе с нею такую счастливую парочку, – тогда сердце его переполнилось чувствами нежности и отчаяния.

Да, он только и думал что о ней! Мысль о ней не покидала его, не переставала его мучить, сосала его сердце и раздирала ему внутренности. Он не чувствовал ни сожаления, ни раскаяния. Он готов был еще Раз сделать то, что он сделал. Он предпочитал видеть ее в руках палача, чем в объятиях капитана, – но он страдал, он страдал так сильно, что по временам вырывал у себя клоки волос для того, чтобы посмотреть, не поседел ли он.

То ему представлялось, что, быть может, в эту самую минуту безобразная веревка, которую он видел на ней в это самое утро, стягивалась вокруг ее нежной и красивой шеи ужасной петлей, – и при этой мысли из всех пор его тела выступал холодный пот. То опять, демонически смеясь сам над собою, он представлял себе одновременно ту Эсмеральду, которую он увидел впервые, живую, беззаботную, веселую, нарядную, пляшущую, воздушную, поющую, – и ту Эсмеральду, которую он видел только что перед этим, медленно поднимающуюся своими босыми ногами, с петлей на шее, по лестнице, ведущей к виселице. Эта двойная картина так живо представилась воображению его, что он испустил ужасный, нечеловеческий крик.

И в то самое время, когда этот ураган отчаяния бушевал в его душе, все переворачивая и вырывая все с корнем, он смотрел на природу вокруг себя. У самых его ног несколько кур рылись в кустарнике и клевали червей, изумрудно зеленые жуки летали по воздуху, купаясь в солнечных лучах, над его головою неслись по синему небу группы перистых, светло-серых облаков, на дальнем горизонте шпиц аббатства Сен-Виктор выглядывал из-за вершины холма своим шиферным обелиском, а мельник на холме Каппо, посвистывая, смотрел, как вертелись крылья его ветряной мельницы. Ему стало больно при виде всей этой кишевшей вокруг него в тысячи самых разнообразных форм деятельной, спокойной, правильно организованной жизни, и он снова пустился бежать.

Он таким образом пробродил по полям до позднего вечера. Это бегство от природы, от жизни, от самого себя, от человека, от Бога, от всего продолжалось целый день. Иногда он кидался ничком на землю и ногтями вырывал из земли молодые хлебные всходы. По временам он останавливался среди пустынной улицы какой-нибудь деревни, и мучившие его мысли становились до того невыносимыми, что он схватывался обеими руками за голову, как бы желая сорвать ее с шеи и разможить ее о мостовую.

Когда солнце уже стало клониться к закату, он снова с особенною живостью представил себе положение свое, и ему показалось, что он сошел с ума. Буря, свирепствовавшая внутри

его с тех пор, как он утратил желание и надежду спасти цыганку, не оставила в его уме ни единой здоровой мысли, ни единого цельного ощущения. Он был весь разбит морально. В его воображении отчетливо обрисовывались только два предмета – Эсмеральда и виселица; все остальное сливалось в каком-то тумане. Оба эти предмета, сопоставленные вместе, образовали какую-то страшную группу, и чем более он сосредоточивал на них весь остаток своего внимания и своих мыслей, тем более они росли в его глазах в какой-то фантастической прогрессии, – один в светлой очаровательной прелести своей, другой – в своем безобразии. В конце концов, Эсмеральда стала представляться ему в виде звезды, а виселица в виде громадной руки скелета.

Замечательно то, что во время всей этой пытки ему ни разу не пришла серьезно на ум мысль о смерти. Таково уже свойство всех низких натур. Он дорожил жизнью; быть может, также его пугала мысль об ожидавшем его аде.

Однако вечерело, и то живое существо, которое продолжало еще прозябать в этом теле, смутно стало помышлять о возвращении в город. Ему казалось было, будто он невесть как далеко отошел от Парижа; но, оглянувшись кругом, он убедился в том, что, в сущности, обошел только вокруг ограды Университетского квартала. Направо от него виднелись на горизонте колокольня церкви св. Сюльпиция и три высоких шпица церкви Сен-Жермен-ан-Прэ. Он направился в эту сторону. Услышав оклик стражи, расставленной на зубчатой ограде Сен-Жерменского аббатства, он повернул в сторону, пошел по тропинке, протоптанной между мельницей аббатства и больницей для прокаженных и по прошествии нескольких минут очутился близ лужка, известного в то время под именем «Pre-aux-Clercs». Лужок этот известен был как одно из самых шумных мест в окрестностях Парижа; здесь и днем, и ночью толкались студенты и более молодые из причетников парижских церквей. Архидиакон испугался при мысли, что он может встретить здесь кого-нибудь. Он боялся вида человеческого лица. Он нарочно обходил целый день все сколько-нибудь многолюдные кварталы и старался вернуться в город как можно позже. Поэтому он старался прокрасться по самой окраине лужайки, и, наконец, благополучно добрался до реки. Здесь Клод отыскал лодочника, который довез его, вверх по реке, до стрелки острова, на котором построен старый город, и высадил его на том самом пустынном мыску, на котором читатель уже видел мечтающим Гренгуара, и который тянулся параллельно Коровьему островку.

Монотонное качание лодки и плеск воды как бы усыпили несчастного Клода. Когда лодочник, высадив его, отъехал от берега, он бессмысленно остался стоять на песчаном берегу, неподвижно уставив глаза перед собою, причем ему казалось, что все предметы качались и прыгали перед ним. Нередко утомление ума, вызванное великою скорбью, производит такое действие на человеческий ум.

Солнце скрылось за высокую Нельской башней. Наступали сумерки. Белела вода в реке, белело и небо. И среди этих двух белых полос левый берег Сены, на который он устремил взор свой, выделялся темною массою и, все более и более суживаясь на горизонте, уходил в темь его своими остроконечными, черными шпицами. На нем обрисовывались темные силуэты домов, особенно ярко выделявшиеся на светлом фоне неба и воды. Там и сям начинали светиться освещенные окна, точно горячие уголья сквозь заслонку печи. Этот громадный, черный обелиск, стоявший в таком изолированном виде между двумя светлыми поверхностями – неба и реки, очень широкой в этом месте, производил на Клода очень странное впечатление, которое можно сравнить разве с впечатлением, которое испытывал бы человек, лежащий навзничь у основания Страсбургской колокольни и видящий огромный шпиц ее, углубляющийся над его головою в полумрак сумерек, с тою только разницей, что здесь Клод стоял, а обелиск лежал. Но так как река, в которой отражалось небо, продолжала бездну у ног его, то громадный мыс казался так же удаляющимся в пустое пространство, как и шпиц собора; получалось совершенно одинаковое впечатление. Впечатление это было тем более странное, что тут, действительно, был Страсбургский собор, но собор высотой в целых две мили, нечто неслыхан-

ное, гигантское, неизмеримое здание, невиданное никаким человеческим глазом, настоящая Вавилонская башня. Трубы домов, зубцы стен, остроконечные шпицы крыш, стрелки колокольни Августинского монастыря, Нельская башня, все эти выдающиеся линии, прерывавшие профиль громадного обелиска, увеличивали иллюзию, представляя взору странные очертания ветвистой и фантастической скульптуры.

Клоду, при том галлюцинационном состоянии, в котором он находился, показалось, будто он видит, видит собственными глазами своими башни над воротами ада. Тысячи огней, светившихся с высоты этой страшной башни, показались ему столькими же отверстиями громадного внутреннего пекла, раздававшиеся оттуда голоса и шум, – столькими же криками, хрипением. Ему стало страшно; он заткнул себе уши, чтобы ничего не слышать, обернулся к этому зрелищу спиной, чтобы не видеть, и торопливыми шагами старался уйти от страшного видения.

Но видение это было в нем самом.

Когда он снова вступил на городские улицы, прохожие, освещаемые светом, падавшим из окон магазинов, казались ему длинной вереницей видений, дефилировавших мимо него. Ему слышались какие-то странные шумы. Странные представления смущали ум его. Он не видел ни домов, ни мостовой, ни повозок, ни мужчин, ни женщин, а только какой-то странный хаос неопределенных предметов, сливавшихся друг с другом. На углу Бочарной улицы была мелочная лавка, окно которой, по издавна существовавшему обычаю, было убрано жестяными кругами, на которых болтались сделанные из дерева свечи, производившие при всяком порыве ветра шум, напоминавший собою стук кастаньет; ему же показалось, что это в потемках стучат кости скелетов на Монфоконском кладбище.

– О! – проговорил он про себя, – это вчерашний ветер нагоняет их друг на друга, соединяя вместе шум от бряцания их цепей с шумом от стука костей их. Быть может, и она там, среди них.

Погруженный в задумчивость, он сам не знал, куда шел. По прошествии нескольких минут он очутился на мосту Сен-Мишель. В одном из окон нижнего этажа одного из построенных на мосту домов он увидел свет. Он приблизился к окну, и сквозь разбитые стекла он увидел довольно невзрачного вида комнату, которая ему смутно о чем-то напомнила. В этой комнате, еле освещаемой небольшой лампочкой, сидел какой-то розовый, белокурый, молодой человек с веселым выражением лица, который, громко хохоча, целовал молодую девушку, одетую довольно эксцентрично; а подле лампочки сидела старуха, напевавшая дребезжащим голосом какую-то песню. В промежутках между взрывами хохота молодого человека песня старухи отрывками долетала до слуха Клода. Это было что-то непонятное и страшное. В этой песне говорилось о том, что Гревская площадь волнуется и шумит, и что прялка должна свить веревку, которая пригодится палачу, – хорошую веревку из конопли, посеянной между Исси и Ванвром, и которую еще не успел украсть вор; а предназначается эта веревка для того, чтобы повесить на ней красивую молодую девушку, к великой радости зевак и ротозеев.

Когда окончилось пение старухи, раздался новый взрыв хохота молодого человека, принимавшегося снова ласкать молодую девушку. Старуха эта была вдова Фалурдель; молодая девушка – публичная женщина, а молодой человек – Жан Фролло.

Клод продолжал смотреть. Для него в это время было все равно, что ни видеть перед собою.

Жан направился к окну, находившемуся в глубине залы, открыл его, взглянул на набережную, блестящую вдали тысячью освещенных окон, и проговорил, снова захлопывая окно:

– Ах, черт побери, уже совсем стемнело! Добрые граждане зажигают свечи свои, а Господь Бог – свои звезды.

Затем он возвратился к девушке, сильно стукнул об стол стоявшую на нем бутылку и воскликнул:

– Неужели уже пуста! А у меня нет больше ни копейки денег! Ах, милая моя Изабелла, отчего это Юпитер не превратит твоих белых грудей в бутылки, из которых я день и ночь мог бы тянуть боннское вино.

Эта милая шутка заставила девушку громко расхохотаться. Жан вышел из комнаты.

Клод прилег к земле, не желая, чтобы его встретил и узнал его младший брат. К счастью для него, было совершенно темно, а брат его был изрядно-таки пьян. Однако Жан заметил лежавшего на земле человека и проговорил:

– Ого! этот малый, как видно, порядочно-таки подкатил сегодня.

И он толкнул ногою Клода, старавшегося сдерживать дыхание.

– Мертвецки пьян, – проговорил Жан, – точно пиявка, оторванная от бочки с вином. Ну, с этим ничего не поделаешь. Он плешив, – прибавил он, нагнувшись. – Старик! Счастливый старик!

И затем Клод слышал, как он говорил, удаляясь:

А что ни говори, благоразумие – прекрасная вещь, и мой брат, архидиакон, должно быть, счастливейший человек: он благоразумен, и у него водятся деньги.

Когда он удалился, Клод вскочил на ноги и чуть не пустился бежать к собору, высокие башни которого возвышались в темноте над крышами домов. Но, прибежав на площадку перед папертью, он остановился, не смея поднять глаз на ужасное здание.

О! – проговорил он вполголоса, – неужели действительно сегодня, сегодня утром, здесь случилось нечто подобное!

Наконец, он решился взглянуть на здание. Небо над ним блестело мириадами звезд. Рог луны стоял в эту минуту как раз над правой башней, и, казалось, уселся, точно светящаяся птица, на край перил, в которых виднелись черные крестообразные отверстия.

Дверь в собор была уже заперта. Но архидиакон постоянно носил при себе ключ от той башни, в которой он устроил свою лабораторию. Он воспользовался ею, чтобы проникнуть в церковь.

Последняя была темна и безмолвна, как могила. По длинным теням, черневшим на всех стенах, он догадался, что траурная драпировка, устроенная для утренней церемонии, еще не была снята. Большой серебряный крест блестел в потемках, усеянный кое-где светящимися точками, точно млечный путь этой гробовой ночи. Высокие окна хора возвышались над черной драпировкой верхними оконечностями своих стрелок, разноцветные окна которых, сквозь которые проникали лунные лучи, утратили ту яркость красок, которую они отличались при солнечном свете, и приняли сине-фиолетово-беловатый оттенок, встречающийся только на лицах мертвецов. Архидиакону, при виде этих, окружавших хоры, бледных стрелок, показалось, будто он видит перед собою митры проклятых епископов. Он зажмурил глаза и, когда он снова открыл их, ему показалось, будто он видит перед собою целую массу смотрящих на него бледных лиц.

Он пустился бежать по церкви. Тогда ему показалось, что и церковь сдвинулась с места, шевелится, дышит, живет, что каждая из толстых колонн превратилась в громадную лапу, гребущую землю своей широкой каменной лопатой, и будто гигантский собор превратился в чудовищного слона, ступавшего своими колоннами, вместо лап, причем башни представляли собою хобот его, а черная драпировка – попону.

Таким образом, лихорадочное состояние или безумие его дошло до такой степени, что внешний мир был для несчастного не что иное, как какой-то видимый, осязательный, страшный апокалипсис.

Одну минуту он почувствовал было облегчение. Войдя в боковую галерею, он заметил позади ряда колонн красноватый свет и торопливо направился к нему, как к путеводной звезде. Это была небольшая лампадка, горевшая днем и ночью перед общественным требником, выставленным в соборе за железной решеткой. Он с жадностью кинулся к священной

книге, в надежде найти в ней какое-нибудь утешение или ободрение. Книга оказалась открытой на книге Иова, и он прочел в ней следующие строки:

«И дух пролетел перед лицом моим, и я почувствовал легкое дуновение, и волосы мои встали дыбом».

При чтении этих слов он почувствовал то, что должен чувствовать слепец, уколовшийся о поднятую им палку. Ноги его подкосились, и он опустился на пол, причем ему опять невольно пришла на ум та, которая умерла сегодня по его вине. Он чувствовал, как в мозгу его возникают столько страшных образов, что ему показалось, будто голова его превратилась в пекло ада.

Он, по-видимому, довольно долго оставался в этом положении, ни о чем не думая, бесчувственный и подавленный властью демона. Наконец, он пришел в себя, и ему пришлось на ум отправиться на колокольню и искать убежища возле верного своего Квазимодо. Он поднялся с полу, но так как ему было страшно в потемках, то он взял освещавшую молитвенник лампочку, для того, чтобы с ее помощью освещать путь свой. Это было святотатство; но он был не в таком состоянии, чтобы обращать внимание на подобные пустяки.

Он медленно поднялся по лестнице, ведущей на колокольню, причем его, однако, не покидал смутный страх, который, без сомнения, разделяли немногочисленные прохожие на папертной площадке при виде таинственного света его лампадки, показывавшегося в такой поздний час то в том, то в другом пролете высокой колокольни.

Вдруг он почувствовал на лице некоторую прохладу и очутился перед дверью самой верхней галереи. Ночь была довольно холодная; по небу неслись тучи, белевшие края которых насакивали друг на друга, напоминая собою столкновение льдин, несущихся весною по вскрывшейся ото льда реке. Полукруг месяца, окруженный со всех сторон облаками, походил на воздушный корабль, затертый воздушными же льдинами. Он остановился на минуту, взглянул вниз и стал рассматривать вдали, сквозь решетку, образуемую колонками и соединявшую обе башни, молчаливую толпу парижских крыш, бесчисленных, остроконечных, скученных и точно колеблемых легкою зыбью, точно спокойное море в тихую, летнюю ночь. Слабые лучи месяца, пробивавшиеся сквозь тучи, окрашивали и небо, и землю в какой-то пепельный цвет.

В это время раздался резкий и медленный бой башенных часов. Пробило полночь. Клоду вспомнился полдень: – и тогда, и теперь часы проббили двенадцать ударов...

– О! – сказал он про себя: – теперь она, должно быть, холодна, как лед!

Вдруг сильный порыв сквозного ветра потушил его лампадку, и почти в то же мгновение он увидел, в противоположном углу башни, какую-то белую тень, какой-то образ, какую-то женскую фигуру. Рядом с этой женщиной стояла небольшая козочка, блеяние которой сливалось с последними звуками башенных часов.

У него, однако, хватило духу взглянуть на нее: это была она.

Она была очень бледна, волосы ее падали на плечи, как и утром. Но вокруг шеи ее уже не была обмотана веревка и руки ее не были уже связаны. Она была свободна, – она была мертва! Одета она была вся в белое, и с головы ее спускалось белое покрывало.

Она приближалась к нему медленно, устремив взоры в небо. Коза следовала за нею. Клод хотел было бежать, но ноги его точно приросли к полу, и он не мог бежать; только при каждом шаге ее вперед он машинально делал шаг назад – вот и все. Таким образом, он достиг площадки лестницы. Его леденила мысль о том, что она, быть может, последует за ним и туда. Если бы она сделала это, он умер бы от ужаса.

Действительно, она подошла к самой двери, ведущей на лестницу, остановилась в ней на несколько мгновений, пристально заглянула в открывавшееся перед нею темное пространство, не замечая, однако, по-видимому, священника, и прошла мимо него. Она показалась ему выше ростом, чем при жизни ее; сквозь ее белое одеяние он мог разглядеть луну; он даже почувствовал на себе ее дыхание.

Когда она прошла мимо него, он тоже стал спускаться с лестницы теми же медленными шагами, как и привидение, при чем ему казалось, будто он сам превратился в привидение. Взор его блуждал, волосы становились дыбом, и он продолжал держать в руке погаснувшую лампадку.

И, спускаясь по винтообразной лестнице, он ясно слышал, как над его ухом кто-то смеялся и повторял слова:

– И дух пролетел перед лицом моим, и я почувствовал легкое дуновение, и волосы мои стали дыбом.

II. Горбатый, кривой, хромой

В средние века, до самой эпохи Людовика XII, всякий город во Франции имел свое место, считавшееся неприкосновенным убежищем. Эти убежища являлись среди потопа тогдашних варварских законов и наказаний как бы островами, возвышавшимися над уровнем человеческого правосудия. Всякий преступник, успевавший пристать к этому острову, был спасен. Вообще, в то время в каждом французском городе было почти столько же мест, считавшихся убежищами, как и лобных мест. Это было, пожалуй, злоупотребление безнаказанностью, являвшееся, однако, прямым последствием злоупотребления карами, словом, – два вида зла, уравновешивавшие один другой. Дворцы королей и принцев, а в особенности храмы пользовались правом убежища. Иногда право это предоставлялось целому городу, который нужно было вновь заселить. Так, напр., в 1467 году король Людовик XI предоставил это право Парижу.

Раз преступнику удалось ступить ногою в место, считавшееся убежищем, он считался неприкосновенным; но только он должен был остерегаться уходить отсюда: как только он выходил хоть на один шаг из убежища, он снова делался добычей палача. Колесо, виселица, дыба зорко стерегли этого рода убежища и не переставали поджидать своих жертв, точно плавающая вокруг корабля акула. Бывали примеры, что осужденные сидели в каком-нибудь монастыре, на лестнице какого-нибудь дворца, в саду аббатства, в преддверии храма; убежище превращалось для них в своего рода темницу.

Иногда, правда, случалось, что торжественным постановлением парламента нарушалось право убежища, и осужденный отдавался в руки палача; но это случалось очень редко. Дело в том, что члены парламента боялись епископов, и когда между магистратурой и клиром происходило столкновение, первая редко выходила из него победительницей. Бывали случаи, как, напр., в деле об убийцах парижского палача Пти-Жана, или в деле Эмерика Руссо, убийцы Жана Валлере, что правосудие вытаскивало осужденного из церкви и приводило в исполнение свой приговор; но все же горе было тому, кто осмелился бы, помимо парламентского решения, нарушить с оружием в руках право убежища. Из французской истории известна трагическая судьба Робера де-Клермона, маршала Франции, и Жана де-Шалона, маршала Бургундии; а между тем здесь все дело шло лишь о некоем Марке Перрене, слуге менялы, убившем своего хозяина; но оба маршала осмелились выломать двери церкви Сен-Мери, и народ не простил им этого.

Места, служившие убежищем, пользовались таким уважением, что, как гласит предание, оно распространялось даже и на животных. По крайней мере, летописец Эймуан рассказывает о том, что когда во время одной охоты короля Дагобера какой-то олень, спасаясь от собак, скрылся в гробнице св. Дионисия, вся свора вдруг остановилась перед гробницей, ограничиваясь одним лаем. В церквях бывали обыкновенно особые чуланчики, предназначавшиеся для искавших убежища. В 1407 году Никола Фламель велел даже выстроить для них под сводами церкви св. Якова в Мясниках особую комнату, которая обошлась ему в четыре ливра и 6 ³/₄ парижских су.

В соборе Парижской Богоматери тоже было устроено подобное помещение, сбоку, под кружалами, на том самом месте, где жена теперешнего колокольного сторожа устроила себе нечто в роде висячего сада, настолько напоминающего, однако, висячие сады Семирамиды, насколько латук напоминает пальму или насколько жена привратника напоминает Семирамиду.

Сюда-то, после своей бешеной и триумфальной скачки по галереям и башням, Квазимодо принес Эсмеральду. Во время всей этой скачки молодая девушка не приходила вполне в себя. Она все это время находилась в каком-то полусознании, причем ей смутно представлялось, будто она поднимается на воздух, будто она носится в облаках, летает, будто что-то уносит ее с поверхности земли. По временам над самым ухом ее раздавались громкий голос или оглушительный смех Квазимодо. Тогда она открывала глаза и смутно видела под собою Париж, блестящий на солнце тысячами своих шиферных или черепичных крыш, точно синекрасною мозаикой, а прямо над собою – страшное и в то же время радостное лицо Квазимодо. И она снова закрывала глаза, полагая, что все кончено, что ее казнили во время ее обморока, и что тот самый безобразный демон, который не раз являлся перед нею при жизни ее, схватил ее после смерти ее и уносит с собою. Она не осмеливалась взглянуть на него и покорялась своей участи.

Но когда звонарь, весь запыхавшись и растрепанный, положил ее в каморке, служившей убежищем, когда она почувствовала, как он грубыми руками своими стал потихоньку развязывать веревки, натиравшие ей руки, она почувствовала нечто вроде того толчка, который пробуждает среди глубокой ночи пассажиров корабля, ударившегося о подводный камень. Она увидела, что находится в соборе; она припомнила, что ее вырвали из рук палача, что Феб жив, но что он уже больше не любит ее. И так как последняя из этих мыслей, обливавшая такую горечью другую, первую предстала уму бедной осужденной, то она обратилась к стоявшему перед нею и наводившему на нее страх Квазимодо со словами:

– Зачем вы спасли меня?

Он взглянул на нее беспокойным взором, как бы желая угадать, что такое она ему сказала. Она повторила «свой вопрос. Тогда он взглянул на нее глубоко опечаленным взором и убежал. Она с удивлением посмотрела ему вслед.

Несколько минут спустя он снова вернулся к ней и бросил к ногам ее какой-то узел. Это были, как оказалось, различные принадлежности туалета, положенные для нее несколькими сострадательными женщинами на пороге церкви. Тут она окинула сама себя взором и, увидев себя почти обнаженною, покраснела. Жизнь снова вступала в свои права.

Квазимодо, казалось, инстинктивно понял это ее чувство стыда. Он закрыл единственный глаз своей своею громадной рукою и еще раз удалился, но на этот раз медленными шагами. А она поспешила одеться. Оказалось, что он принес ей белое платье и белое покрывало, нечто вроде костюма монастырской послушницы.

Едва она успела одеться, как Квазимодо снова появился, неся в одной руке какую-то корзинку, а в другой – тюфяк. Корзинка содержала в себе бутылку вина, хлеб и еще кое-какие припасы. Он поставил корзину перед нею и сказал:

– Кушайте!

Затем он разостлал тюфяк на каменном полу и проговорил:

– Усните!

Звонарь принес ей свой собственный обед и свою собственную постель.

Цыганка вскинула на него глазами, и хотела было поблагодарить его, но не могла произнести ни слова. Бедный Квазимодо, действительно, был ужасен. Она опустила глаза и содрогнулась.

– Я пугаю вас, – сказал он ей, – я очень безобразен, не правда ли? Ну, так не глядите на меня, а слушайте только то, что я буду говорить вам. Днем вы должны оставаться здесь; по

ночам вы можете гулять в церкви. Но ни днем, ^Гни ночью не выходите из церкви, иначе вы погибнете: вас убьют, а я умру от огорчения.

Тронутая этими словами, она встала, чтобы поблагодарить его, но он уже исчез. Она осталась одна, раздумывая о странных словах этого почти чудовищного существа и пораженная звуком его голоса, столь грубым и в то же время столь приятным.

Затем она принялась осматривать свое помещение. Это была комнатка футов шести в квадрате, с небольшим оконцем и дверью, выходившей на слегка покатую крышу, сложенную из черепиц.

Несколько водосточных труб с разными звериными мордами как бы протягивали шею к ее оконцу и заглядывали в него, желая ее рассмотреть. Из-за крыши она могла разглядеть верхушки тысячи труб, из которых валили более или менее густые клубы дыма. И этим-то печальным пейзажем должна была на долгое, долгое время довольствоваться бедная цыганка, этот подкидыш, приговоренный к смерти, это несчастное создание, лишенное отечества, семейства, домашнего очага!

В то самое время, когда мысль об этом своем одиночестве предстала перед нею во всей своей безотрадности, она почувствовала, что какая-то волосатая и бородатая голова трется об ее колена, об ее руки. Она вздрогнула, – так как теперь все ее пугало, – и взглянула вниз. Это была бедная козочка, проворная Джали, которой тоже удалось вырваться из рук державших ее людей в ту минуту, когда Квазимодо разметал конвой Жака Шармолю, и которая уже с час времени ласкалась к ней, свернувшись клубком у ног ее, не добившись, однако, с ее стороны ни единого взгляда. Тут цыганка стала осыпая ее поцелуями:

– Ах, Джали! бедная моя Джали! – воскликнула она: – и я-то совсем было забыла про тебя, а ты постоянно помнишь обо мне. О, ты существо не благодарное!

И в ту же минуту точно какая-то невидимая рука приподняла тяжелый камень, так долго лежавший на сердце ее и придавливавший ее слезы, она залилась слезами; и по мере того, как текли ее слезы, она чувствовала, что вместе с ними уходило то, что было наиболее острого и горького в ее печали.

Когда наступил вечер, ей показалось, что луна светит так ярко, что ночь так прекрасна, и ею овладело неодолимое желание пройтись по верхней галерее, окружающей церковь. Это несколько облегчило ее: до такой степени земля, которую она видела с этой высоты, показалась ей прекрасною.

III. Глухой

На следующее утро, проснувшись, она заметила, что спала. Это показалось ей очень странным и удивило ее: она уже так давно успела отвыкнуть от сна. Веселый луч восходящего солнца, пробившись в ее оконце, ударил ей прямо в лицо. Но одновременно с солнцем она увидела в оконце нечто, что испугало ее. То было ужасное лицо Квазимодо. Она невольно зажмурила глаза, но все было тщетно: ей все казалось, будто и сквозь закрытые, розовые веки свои она видит эту ужасную, кривую, с поломанными зубами, рожу. Затем, все еще не решаясь открыть глаз, она услышала грубый голос, старавшийся говорить ей как можно мягче:

– Не пугайтесь... Я друг ваш. Я только пришел посмотреть, хорошо ли вы спите. Ведь вы ничего не имеете против того, не правда ли, если я буду приходить смотреть, как вы спите? Ведь для вас все равно, здесь ли я, или нет, когда глаза ваши зажмурены. А теперь я уйду. Глядите, я скрылся за угол; теперь вы можете открыть глаза.

Еще жалобнее, нежели самое содержание этих слов, был голос, которым они были произнесены. Тронутая этими словами и этим выражением голоса, цыганка открыла глаза, и, действительно, она уже не увидела в оконце его ужасной рожи. Она подошла к окошечку и увидела

бедного горбуна, спрятавшегося за выступом стены в покорной и печальной позе. Она сделала над собою усилие, чтобы преодолеть то отвращение, которое он внушал ей.

– Подойдите сюда, – сказала она ему потихоньку.

Будучи глух, он, понятно, не мог расслышать ее слов, но из движения ее губ он заключил, что цыганка его прогоняет; он встал, и, хромая, медленно стал удаляться, понутив голову, не смея даже поднять на молодую девушку взора, полного отчаяния.

– Да идите же сюда! – крикнула она ему еще раз.

Но он продолжал удаляться. Тогда она выскочила из своей каморки, побежала за ним и схватила его за руку. Почувствовав прикосновение ее к своему телу, Квазимодо задрожал. Он взглянул на нее умоляющим взором и, убедившись в том, что она ведет его назад в свою комнату, он весь просиял от радости. Она хотела было заставить его войти в свою каморку, но он уперся и остался стоять на пороге.

– Нет, нет, – говорил он, – сове не место в гнезде жаворонка.

Тогда она грациозно уселась на своем ложе; козочка спала у ног ее. Оба они оставались несколько минут неподвижными: он – глядя на такую красоту, она – на такое безобразие. По мере того, как она смотрела на него, она замечала в нем все новые и новые телесные недостатки. Взор ее переходил от кривых ног его к горбам на спине и на груди, от горбов – к его единственному глазу с бородавкой. Она не могла понять, как это природа ухитрилась создать такое безобразие. Однако на всем лице его было столько кротости и скорби, что она чувствовала к нему скорее сострадание, чем отвращение.

– Итак, вы велели мне возвратиться? – спросил он, первый нарушив молчание.

Она утвердительно кивнула головою и ответила:

– Да.

Он понял значение этого кивка и прибавил с некоторою нерешительностью:

– Дело, видите ли, в том, что я, к сожалению, глух.

– Бедняжка! – воскликнула цыганка с выражением искреннего сожаления в голосе.

– Вы находите, что только этого недоставало? – продолжал он, печально улыбнувшись и, очевидно, поняв смысл ее восклицания. – Да, я глух. Вот каким меня создала природа! Ведь это ужасно, не правда ли? А вы то – такая красавица!..

В том выражении, которым несчастный произнес эти слова, слышалось такое глубокое сознание своего несчастья, что она не имела силы произнести ни единого слова. Да к тому же теперь она уже знала, что он все равно не услышал бы ее. Он продолжал:

– Никогда еще я не сознавал так сильно моего несчастья, как именно в эту минуту. Когда я сравниваю себя с вами, мне самому становится страшно: до того я сознаю себя бедным, несчастным уродом. Ведь я, должно быть, произвожу на вас такое же впечатление, как какой-нибудь зверь, не так ли? А вы – вы луч солнца, вы – росинка с лепестка розы, вы – птичка певчая. Я же – нечто ужасное: ни человек, ни зверь; я – нечто твердое, более безобразное и более истоптанное ногами, чем булыжный камень.

И, сказав это, он засмеялся, но засмеялся душу раздирающим смехом. Затем он продолжал:

– Да, я глух. Но вы можете разговаривать со мною жестами, знаками. Мой господин говорит со мною таким образом. И к тому же я очень скоро научусь угадывать ваши желания по движению ваших губ, по вашему взгляду.

– Ну, хорошо! – сказала она, улыбнувшись, – скажите мне, для чего вы меня спасли?

Он пристально посмотрел на нее, пока она говорила.

– Я понял, – ответил он. – Вы спросили меня, для чего я вас спас? Вы, значит, забыли того негодяя, который пытался было похитить вас однажды ночью и которого вы на другое же утро напоили, когда он изнывал от жажды, будучи привязан к их ужасному позорному столбу. Для того чтобы отплатить вам за это сострадание и за этот глоток воды, было бы мало целой

жизни моей. Вы, конечно, давно уже забыли об этом негодяе и об этом несчастном; но он не забыл о вас.

Она, слушая его, была тронута до глубины души. Слеза выступила на единственном глазу звонаря, но не скатилась с него: очевидно было, что он в этих видах сделал над собою усилие.

– Послушайте, – снова заговорил он, успев справиться с этой слезою, – вы видите, что башни наши очень высоки, и что человек, свалившийся с них, умер бы раньше, чем он долетел бы до мостовой. Ну, так тля того, чтобы я бросился с них, вам не нужно даже произносить ни единого слова: достаточно будет одного вашего взгляда.

И с этими словами он встал. Это странное существо, как ни несчастна была цыганка, внушало ей, однако, известное чувство сострадания. Она знаком пригласила его остаться.

– Нет, нет! – проговорил он. – Мне не следует оставаться здесь слишком долго. Мне не по себе, когда вы смотрите на меня. Вы только из чувства сострадания не отворачиваете от меня глаз. Лучше я пойду куда-нибудь, откуда мне можно будет видеть вас, причем вы меня не будете видеть. Вот, – продолжал он, вынимая из кармана маленький металлический свисток, – когда я вам понадобится, когда вы пожелаете, чтобы я предстал перед вами, когда вам не будет слишком противно видеть меня, вам стоит только свистнуть в этот свисток. Этот звук я хорошо слышу.

И, положив на землю свисток, он поспешно убежал.

IV. Песчаный камень и хрусталь

Дни следовали за днями. Спокойствие мало-помалу возвращалось в душу Эсмеральды. Избыток горя, как и избыток радости, как и всякое чересчур сильное ощущение, не может быть продолжительным. Сердце человека не может оставаться долго в напряженном в одну сторону состоянии. Цыганка до того настрадалась за последнее время, что теперь ей оставалось только удивляться.

Раз почувствовав себя в безопасности, она стала надеяться. Правда, в настоящее время она была исключена из общества, почти даже из жизни, но она смутно чувствовала, что у нее отнята всякая возможность возвратиться и к тому, и к другому. Она, так сказать, была мертвец, который, однако, держит в руках своих ключ от своей могилы. Она чувствовала, как мало-помалу от нее отлетают ужасные образы, так долго преследовавшие ее. Все эти ужасные призраки – Пьерре Тортерю, Жак Шармолу, даже этот ужасный священник, – стали изглаживаться из ее воображения.

И, наконец, Феб был жив, она в том была уверена, она сама видела его. А жизнь Феба была для нее важнее всего. После целого ряда обрушившихся на нее страшных потрясений, в ее душе осталось неприкосновенным одно только чувство – любовь ее к капитану. Дело в том, что любовь похожа на дерево: она растет сама собою, глубоко пускает корни свои во все наше существо, и часто продолжает зеленеть даже в разбитом, обратившемся в развалины сердце. И особенно странно то, что чем более эта страсть слепа, тем более она живуча. Она никогда не бывает сильнее, как в тех случаях, когда она ни на чем не основана.

Конечно, Эсмеральда не могла вспомнить о капитане, не испытывая чувства горечи. Конечно, для нее ужасна была мысль о том, что и он вдался в обман, что и он поверил невозможному, что и он считал возможным нанесение ему смертельного удара тою, которая готова была отдать за него тысячу жизней. Но, в конце концов, его и нельзя особенно винить. Разве она не создалась сама в своем преступлении? Разве она, слабое существо, устояла против пытки? Значит, виновата она одна.

Ей бы скорее следовало позволить вырвать у себя все ногти, чем подобное признание. Наконец, если бы ей удалось вновь увидеться с Фебом, хотя бы один раз, хотя бы одну минуту, достаточно было бы одного слова, одного взгляда, чтобы разубедить, разуверить его. Она в

том ни на одну минуту не сомневалась. Вообще, она сама себя обманывала относительно многих странностей, как, напр., относительно случайности присутствия Феба при принесении ею покаяния, относительно молодой девушки, рядом с которой она тогда его видела. Это была, без сомнения, сестра его. Это вполне произвольное толкование вполне удовлетворяло ее, потому что ей во что бы то ни стало хотелось верить в то, что Феб любит ее и любит только ее. Разве он не клялся ей в этом? Чего же еще большего нужно было этой наивной и доверчивой молодой девушке? И, наконец, разве во всем этом деле вероятность не была скорее против нее, чем против него? Итак, она продолжала ждать и надеяться.

Заметим еще, что храм, этот обширный храм, который отовсюду окружал ее, который охранял и спасал ее, тоже действовал успокаивающим образом на ее душу. Торжественные линии этой архитектуры, религиозный отпечаток, лежавший на всех предметах, окружавших молодую девушку, благочестивые и светлые мысли, выходившие, так сказать, из всех пор этого здания, производили на нее, помимо ее воли, сильное впечатление. К тому же и все раздававшиеся в этом здании звуки были так величественны и торжественны, что они благотворным образом действовали на эту больную душу. Монотонное пение священнослужителей, ответ молящихся на вопросы священника, порою еле слышные, порою громогласные, гармоничное дребезжание стекол, орган, звучавший сотнями труб своих, три колокольни, жужжавшие, точно столько же ульев, переполненных пчелами, весь этот своеобразный оркестр, по которому постоянно перебежала восходящая и нисходящая гигантская гамма, переходившая от толпы на колокольню и обратно, – все это заглушало ее память, ее воображение, ее скорбь. Особенно ее убаюкивали колокола; точно эти могучие снаряды проливали на нее целые ванны сильнеешего магнетизма.

И с каждым утром восходящее солнце находило ее все более и более успокоенною, свободнее дышащую, менее бледною. По мере того, как закрывались внутренние ее раны, к ней возвращались прежние ее красота и грациозность, лицо ее становилось столь же миловидным, как и прежде, но только несколько более сосредоточенным и серьезным. В ней стали снова проявляться и прежние черты ее характера, к ней даже отчасти возвратились ее веселость, ее хорошенькая гримаса, привязанность к своей козочке, ее любовь к пению, ее стыдливость. Она каждое утро стала по возможности тщательнее одеваться в углу своей каморки, из опасения, чтобы ее не увидел в полуодетом состоянии в оконце кто-нибудь из обитателей соседних мансард.

По временам, когда мысли ее не были заняты Фебом, цыганка думала о Квазимодо. Он представлял собою единственную связь, единственное средство сообщения, единственное звено, соединявшее ее с остальными людьми, с остальным миром, с остальными живыми существами. Несчастная! Она была еще более отчуждена от мира, чем Квазимодо. Она никак не могла понять того странного друга и покровителя, которого послала ей судьба. По временам она упрекала себя в том, что чувство благодарности не в состоянии заставить ее ничего не видеть, но все же она решительно не в состоянии была привыкнуть к бедному звонарю. Он был уже чересчур безобразен.

Она ни разу не воспользовалась свистком, который он дал ей. Это, однако же, не мешало Квазимодо являться к ней от времени до времени в первые дни пребывания ее в башне. Она делала над собою всевозможные усилия, чтобы не отворачиваться от него с слишком явным выражением отвращения, когда он приносил ей корзинку со съестными припасами или кружку воды, но, тем не менее, от него не ускользало малейшее подобного рода движение ее, и он каждый раз уходил от нее опечаленный.

Однажды он пришел к ней в ту минуту, когда она ласкала Джали. Он несколько времени простоял в задумчивости перед этой красивой группой цыганки с козочкой. Наконец, он сказал, покачивая своей громадной, уродливой головой:

– Все несчастье мое заключается в том, что я еще слишком похож на человека. Я бы желал быть совершенно животным, как вот эта коза.

Она взглянула на него удивленным взором.

– Да, да, я уже знаю почему, – произнес он как бы в ответ на этот взор и удалился.

В другой раз он появился в дверях каморки/ (он никогда не осмеливался входить в нее) в то время, когда цыганка распевала старинную испанскую балладу, слов которой она не понимала, но мотив которой она запомнила, потому что цыганки убаюкивали ее ею, когда она была еще ребенком. При появлении этого уродливого лица, вдруг появившегося перед нею во время ее пения, голос молодой девушки вдруг оборвался, и она совершенно невольно сделала жест ужаса. Несчастный звонарь упал на колена на пороге двери и произнес жалобным голосом, скрестив на уродливой груди своей безобразные свои руки:

– О, умоляю вас, продолжайте и не гоните меня!

Она, не желая огорчить его, но вся дрожа, принялась снова за свой романс. Но по мере того, как она пела, испуг ее исчезал, и она вся отдалась впечатлению той меланхолической и заунывной арии, которую она напевала. А он тем временем, оставшись стоять на коленях, со сложенными на груди как бы для молитвы руками, слушал ее внимательно, еле переводя дух, не сводя глаз с блестящих зрачков цыганки. Можно было бы подумать, будто он слушал пение ее взорами.

В другой раз он приблизился к ней с робким и смущенным видом.

– Послушайте, – сказал он, видимо делая над собою усилие: – я имею кое-что сообщить вам.

Она знаком дала ему понять, что слушает его. Тогда он стал вздыхать, полуоткрыл губы, как бы собираясь заговорить, затем взглянул на нее, отрицательно мотнул головою и медленно удалился, закрыв руками лицо свое и оставив цыганку крайне изумленной.

В числе забавных рож, вылепленных на стене, была одна, которую он особенно любил и с которою он, казалось, часто обменивался братскими взорами.

Однажды цыганка услышала как он говорил, глядя на эту рожу:

– Ах, отчего я не такой же каменный, как и ты?

Однажды утром Эсмеральда подошла к краю крыши и смотрела на площадь поверх ост-роконечных шпигелей небольших башенок, украшавших карниз собора. Квазимодо стоял позади нее. Он сам придумал для себя такое положение, для того, чтобы по возможности избавить молодую девушку от неудовольствия видеть его. Вдруг цыганка вздрогнула, слеза и луч радости одновременно блеснули в глазах ее, она встала на колена и воскликнула, с горестным выражением лица, протягивая свои руки по направлению к площади:

– Феб, приди, приди ко мне! Одно слово, одно только слово, ради самого неба! Феб, Феб!..

Ея голос, ее лицо, ее поза, словом все в ней носило на себе то отчаянное выражение, с которым потерпевший крушение мореплаватель взывает о помощи к весело пробегающему на далеком горизонте по морским волнам, среди ярких солнечных лучей, кораблю.

Квазимодо нагнулся, посмотрел на площадь и увидел, что предмет этой нежной, горячей мольбы был молодой человек в расшитом позументом капитанском мундире, гарцевавший верхом на лошади и отдававший саблей своей честь красивой, улыбавшейся ему с одного из балконов даме. Офицер этот, впрочем, не мог слышать несчастной, взывавшей к нему с высоты башни, так как он был слишком далеко.

Но за то это восклицание долетело до слуха бедного глухого. Из груди его вырвался глубокий вздох. Он отвернулся; сердце его готово было разорваться от накопившихся в нем слез. Он стал бить себя в голову судорожно сжатыми кулаками, и когда он снова отнял их от головы – в каждом из них оказалось по клоку рыжих волос.

Цыганка, однако, не обращала на него ни малейшего внимания. Он говорил про себя вполголоса, скрежеща зубами:

– Проклятие! Так вот каким нужно быть! Вся штука в том, чтоб быть красивым!

Эсмеральда тем временем продолжала стоять на коленях и восклицала громким голосом:

– О, вот он сходит с лошади! Он сейчас войдет в этот дом! Феб!.. Нет, он не слышит меня! Какая это злая женщина! И зачем эталона говорит одновременно со мною! – Феб! Феб!

Глухой не сводил с нее глаз. Пантомима эта была вполне понятна для него. Глаз бедного звонаря наполнялся слезами, но он сдерживал их. Вдруг он потихоньку потянул ее за рукав. Она обернулась. Лицо его уже успело принять совершенно спокойное выражение, и он спросил ее:

– Не желаете ли вы, чтоб я позвал его?

– Ах, да! – воскликнула она, и лицо ее просияло от радости, – ступай, ступайте, бегите! Поскорее! Вон, видите этого капитана, этого капитана? Приведите мне его, и я полюблю тебя!

И она обняла его колена и стала целовать их. Он не мог удержаться от того, чтобы не покачать головою с печальным выражением лица, и проговорил слабым голосом:

– Я вам сейчас приведу его!

Затем он отвернулся и пустился бежать по лестнице, сдерживая рыдания.

Но когда он вышел на площадь, он увидел только красивую лошадь, привязанную к кольцу двери возле дома госпожи Гонделорье; сам же капитан только что вошел в этот дом. Он поднял глаза к крыше собора и увидел Эсмеральду, стоявшую все на том же месте, в том же положении. Он пожал плечами, взглянув на нее, и затем прислонился к одному из столбов ворот дома Гонделорье, решившись дожидаться, пока капитан выйдет оттуда.

В этот день в квартире госпожи Гонделорье происходил один из тех торжественных приемов, которые предшествуют обыкновенно всякой свадьбе. Квазимодо видел, что туда входит много народу, но никто не выходит. По временам он посматривал на крышу собора: цыганка продолжала стоять столь же неподвижная, как и он. Из-под ворот вышел конюх, отвязал лошадь и увел ее в конюшню.

Таким образом, прошел целый день: Квазимодо все время простоял под воротами, Эсмеральда – на крыше, а Феб, без сомнения, провел его у ног Флер-де-Лис. Наконец, наступила ночь, ночь безлунная, темная. Квазимодо тщетно старался разглядеть Эсмеральду: сначала он видел в полумраке какое-то неопределенное, белое пятно, а затем и его не стало видно. Все стерлось, все почернело и исчезло.

Тогда Квазимодо увидел, как все окна дома госпожи Гонделорье, сверху донизу, осветились огнями. Он увидел, как осветились одно за другим и все другие окна, выходившие на площадь; но он же увидел и то, как они все, до последнего, потухли, потому что он в течение всего вечера не двинулся со своего места. Офицер, однако, все еще не выходил из дому. Когда последние из прохожих вернулись домой, когда огни во всех других окнах давно уже потухли, Квазимодо остался на площади один, в глубокой тьме. В те времена соборная площадь еще не освещалась по ночам.

Однако окна в квартире госпожи Гонделорье оставались освещенными и после полуночи. Квазимодо, продолжавший стоять на своем месте и внимательно присматривавшийся ко всему, происходившему в доме, видел мелькавшие в разноцветных стеклах окон тени танцующих. Если б он не был глух, то, по мере того, как затихал шум засыпавшего Парижа, он мог бы слышать все явственнее и явственнее в квартире Гонделорье музыку, смех и веселые разговоры.

Около часу пополудни гости начали расходиться. Квазимодо, стоя в потемках, видел их всех выходящими из ярко освещенного свечами подъезда. Но в числе их не было капитана. Печальные мысли не выходили у него из головы. По временам он глядел вверх, как то имеют обыкновение делать люди скучающие. Большие, тяжелые тучи висели черные, разорванные,

потрескавшиеся, точно лохмотья крепа, под звездным куполом неба, напоминая собою громадную, порванную паутину.

Наконец, он увидел, как дверь, выходящая на балкон, потихоньку отворилась, и из-за стеклянной двери показались две фигуры, после чего дверь снова так же бесшумно затворилась. На балкон вышли какой-то мужчина и какая-то женщина. Не без труда Квазимодо удалось узнать в мужчине – красивого капитана, а в женщине – ту самую молодую особу, которую он видел в это же утро ласково улыбавшуюся офицеру с этого самого балкона. На площади было совершенно темно, а двойной пунцовый занавес, опустившийся за дверь в тот самый момент, когда она захлопнулась, не пропускал на балкон ни единого луча света из комнаты.

Молодой человек и молодая девушка, насколько мог понять наш глухой, не слышавший ни единого слова из их разговора, по-видимому, нежно ворковали. Молодая девушка, казалось, позволила молодому человеку обнять ее талию, но продолжала ласково отказывать ему в поцелуе.

Квазимодо, стоя внизу, смотрел на эту сцену, тем более приятную для вида, что она вовсе не предназначалась для посторонних свидетелей. Он с горечью смотрел на это счастье, на этот обмен нежностей. Дело в том, что и он, несмотря на все свое безобразие, все же был молод, все же был мужчина, и сквозь его спинной хребет, как он ни был искалечен, все же проходили нервы, как и у других людей. Он думал о горькой доле, приуготовленной для него Провидением, о том, что женщины, любовь, наслаждения созданы не для него, что все это только будет проходить постоянно мимо его глаз, и что ему на роду написано только видеть чужое счастье. Но особенно огорчала его и наполняла его сердце негодованием и досадой мысль о том, что должна была бы чувствовать цыганка, если бы она могла все это видеть. Правда, что ночь была совершенно темна, и что Эсмеральда, если бы даже она осталась на своем месте (а он в том не сомневался), ничего не могла бы разглядеть, так как даже он, стоя под самым балконом, едва мог разглядеть на нем любовную парочку, – и эта мысль утешала его.

Однако разговор их становился все более и более оживленным. Молодая девушка, казалось, умоляла офицера не требовать ничего от нее большего. Так, по крайней мере, заключил Квазимодо при виде сложенных как бы для моления красивых рук, улыбок сквозь слезы, поднятых к небу глаз молодой девушки и жадно устремленных на нее взоров капитана.

К счастью для молодой девушки, – ибо сопротивление ее с каждой минутой все более и более слабело, – дверь, ведущая на балкон, вдруг распахнулась, на пороге ее показалась пожилая женщина; молодая девушка сконфузилась, на лице офицера выразилась досада, и все трое вошли обратно в комнаты.

Минуту спустя под воротами раздалось фыркание лошади, и изящный офицер, закутанный в свой плащ, быстро проехал мимо Квазимодо. Звонарь дал ему повернуть за угол улицы, и затем пустился бежать за ним с быстротой обезьяны, крича ему вслед:

– Эй, г. капитан, послушайте!

Чего нужно от меня этому уроду? – проговорил капитан, останавливаясь и вглядываясь, насколько позволяла темнота, в эту бежавшую по направлению к нему хромающую и нескладную фигуру.

Тем времен Квазимодо нагнал его, схватил его лошадь под уздцы и сказал ему:

Следуйте за мною, капитан! Одна особа желает видеть вас!

– Черт побери! – пробормотал сквозь зубы Феб, – мне кажется, будто я где-то видел эту растрепанную птицу! – Эй, любезный! – крикнул он громко: – оставь уздцы моей лошади!

– Что же капитан, – продолжал глухой, – вы не спрашиваете меня, кто желает видеть вас?

– Я говорю тебе, чтобы ты оставил уздцы моей лошади! – повторил капитан с выражением нетерпения. – Что это тебе вздумалось повиснуть на уздечке моей лошади? Ты, может быть, принимаешь коня моего за виселицу!

Но Квазимодо и не думал отпускать уздечку лошади, а, напротив, старался повернуть коня назад. Не будучи в состоянии объяснить себе сопротивление капитана, он поспешил сказать ему:

– Пойдемте, капитан! Вас ждет женщина. – И, сделав над собою некоторое усилие, он прибавил: – женщина, которая вас любит.

– Шут ты гороховый, – воскликнул капитан, – стану я ходить ко всем женщинам, которые любят меня или которые, по крайней мере, уверяют, будто меня любят! – Еще недостает того, чтоб она походила на тебя, свиная морда! – Скажи той, которая послала тебя ко мне, что я собираюсь жениться и чтоб она убиралась к черту!

Послушайте! – проговорил Квазимодо, в надежде сломить одним словом сопротивление капитана: – пойдемте со мною, сударь! Ведь это та цыганка, вы знаете.

Слово это, действительно, произвело на Феба сильное впечатление, но только вовсе не то, на которое рассчитывал Квазимодо. Читатель, вероятно, помнит, что наш капитан удалился со своей невестой с балкона в комнаты за несколько минут перед тем, как Квазимодо спас осужденную из рук Шармолу. С тех пор, посещая квартиру госпожи Гонделорье, он тщательно остерегался заговаривать об этой женщине, воспоминание о которой, в конце концов, было для него тягостно; а Флер-де-Лис, по своим особым соображениям, тоже не сочла нужным сообщить ему, что цыганка была спасена от смерти. Итак, Феб был вполне уверен в том, что бедная «Симиляр» умерла уже месяц или даже два тому назад. Прибавим к этому еще то, что в эту минуту капитану пришли также на ум темнота ночи, неестественное безобразие, гробовой голос этого странного вестника, что было уже за полночь, что улица была так же пустынна, как и та, в которой пристал к нему бука, и что конь его фыркал при виде Квазимодо.

– Цыганка! – воскликнул он почти с испугом. – Да что ты вестник с того света, что ли, черт побери! – И с этими словами он схватился за рукоятку кинжала.

– Скорее, скорее! – проговорил глухой, стараясь повернуть его лошадь. – Сюда, сюда!

Феб сильно хватил его носком своего сапога прямо в грудь. Глаз Квазимодо засверкал, и он сделал движение, как бы желая ринуться на капитана. Но он сдержался и проговорил:

– Ах! какое счастье для вас, что кто-то вас любит!

Он сделал особое ударение на слове «кто-то» и затем сказал, опуская уздцы коня:

– Уезжайте!

Феб пробормотал какое-то ругательство и пришпорил лошадь. Квазимодо посмотрел ему вслед и проговорил полупшепотом:

– О, отказать даже в такой безделице!

Он возвратился в собор, зажег свою лампочку и поднялся на башню. Цыганка, как он и предполагал, стояла все на том же месте. Завидев его еще издали, она кинулась к нему:

– Один! – горестно ответила она, печально опустив красивые руки свои.

– Я не мог дожидаться его, – холодно произнес Квазимодо.

– Следовало прождать целую ночь! – воскликнула Эсмеральда, всплыв.

Он видел ее гневный жест и понял, что она осталась недовольна им.

– Я постараюсь лучше подкараулить его в другой раз, – сказал он, понутив голову.

– Убирайся прочь! – прикрикнула она на него.

Он ушел. Она осталась недовольна им; но он предпочел вызвать ее неудовольствие против себя, чем огорчить ее. Все огорчение он оставил себе.

Начиная с этого дня, цыганка уже не видела его: он перестал посещать ее комнатку. Только изредка она видела издали, на вышке башни, печальное лицо звонаря, не спускавшего с нее глаз. Но как только он замечал, что она смотрит на него, он исчезал.

Мы должны сказать, что это добровольное отсутствие бедного горбуна мало огорчало ее; в глубине души она даже была ему благодарна за него. Впрочем, Квазимодо и не предавался на этот счет никаким иллюзиям.

Однако, хотя она и перестала его видеть, она продолжала ощущать вокруг себя присутствие доброго гения. Ежедневно, во время ее сна, невидимая рука приносила ей еду и питье. Однажды утром она нашла на окошке своем клетку с птицами. Над дверью ее комнаты была вырезанная из дерева безобразная рожа, которая пугала ее, и она не раз выказывала этот страх в присутствии Квазимодо. Однажды утром (ибо все это творилось по ночам) она не увидела этой рожи на обычном ее месте: какая-то невидимая рука сломала ее, причем тот, кто решился вскарабкаться до этой рожи, должен был рисковать жизнью.

Иногда, по вечерам, она слышала голос, выходивший из-под навеса колокольни, напевавший, как бы для убаюкивания ее, нечто, долженствовавшее изображать собою стихи, но без размера и рифмы, словом – такие стихи, которые может сложить только глухой. Вот эти якобы стихи.

Не гляди, девица, на лицо, гляди в сердце.
Сердце молодого красавца часто бывает безобразно;
Бывают такие сердца, в которых любовь недолговечна.
Девица, сосна некрасива,
Ей далеко до красоты тополя,
Но за то она зеленеет и зимою.
Увы! к чему все это говорить!
То, что некрасиво, не должно существовать.
Красивое любит только красивое.
Апрель поворачивается спиною к январю.
Красота совершенна, красота всесильна,
Красота – единственная вещь, не существующая наполовину.
Ворон летает только днем,
Филин летает только ночью,
Лебедь летает и днем, и ночью.

Однажды утром, проснувшись, она увидела на окне своем два сосуда, наполненные цветами. Один из них был очень красивая и изящная хрустальная ваза, давшая, однако, трещину; вследствие этого вода, которая была в него налита, вытекла из него и цветы завяли. Другой был простой, грубой работы глиняный горшок, в котором, однако, сохранилась вода, вследствие чего стоявшие в нем цветы были свежи и красивы.

Неизвестно, сделано ли это было нарочно, только Эсмеральда взяла завядший букет и носила его целый день приколотым на своей груди. В этот день она не слыхала голоса, распевавшего на башне.

Она, впрочем, и не обратила на это никакого внимания. Она в течение целых дней ласкала свою Джали, смотрела на дверь квартиры госпожи Гонделорье, про себя разговаривала с Фебом и кормила крошками от своего хлеба ласточек.

Вообще, в последнее время она и не видела, и не слышала Квазимодо. Бедный звонарь как будто совершенно исчез из церкви. Однако же, однажды ночью, когда ей не спалось, и она думала о своем красавце-капитане, она услышала какой-то вздох возле своей каморки. Она в испуге вскочила с своего ложа и увидела, при лунном свете, какую-то безобразную массу, лежавшую на площадке, поперек ее двери. Это был Квазимодо, улегшийся на каменном полу и стороживший ее.

V. Ключ от Красной двери

Со временем архидиакон не замедлил узнать из городских толков о том, каким необычайным образом была спасена цыганка. Когда он узнал об этом, он сам не мог отдать себе хорошенько отчета в том, что он почувствовал. Он успел уже привыкнуть к мысли о смерти Эсмеральды, и с этой стороны был спокоен, полагая, что он испил горькую чашу до дна. Человеческое сердце (как решил Клод после долгих размышлений об этом предмете) может заключать в себе лишь известную долю отчаяния. Когда губка пропиталась водою, через нее может перекачивать свои волны целый океан и ни одна лишняя капля влаги уже не проникает более в губку.

Мысль о смерти Эсмеральды была тою последнею каплей, которую еще могло всосать в себя сердце Клода; этим для него было сказано все здесь, на земле. Но раз он узнал, что и она, и Феб еще живы, для него снова начинались сотрясения, страдания, пытки, снова началась, одним словом, жизнь; а все это успело уже крайне утомить Клода.

Когда он узнал эту новость, он заперся в своей келье и не стал появляться ни в собраниях капитула, ни при богослужении. Он не допускал к себе никого, даже епископа. В таком уединении он провел несколько недель. Все считали его больным, и, действительно, он был болен.

Что же он делал в своем уединении? Какие мысли терзали несчастного? Вел ли он последнюю, отчаянную борьбу с своею злосчастной страстью? Обдумывал ли он какой-нибудь новый план, который должен был повести к ее гибели, к его собственной гибели?

Однажды Жан, его нежно-любимый брат, его баловень, долго стучался у его двери, десять раз называл свое имя, бранился, умолял, – но все было тщетно: Клод не отпер дверей. Он проводил целые дни, припав к стеклу единственного окна своей кельи. Отсюда он мог видеть каморку Эсмеральды, мог видеть ее и ее козочку, иногда также и Квазимодо. Он замечал, как глухой урод ухаживал за цыганкой, как он слушался ее, с какою деликатностью и покорностью он относился к ней. При этом ему вспомнился, – он, вообще, обладал хорошей памятью, а чувство ревности еще более обостряет память, – ему вспомнился тот странный взор, которым, как ему довелось подметить однажды вечером, звонарь смотрел на цыганку. Он спрашивал себя, какие побудительные причины могли заставить Квазимодо спасти Эсмеральду? Он был свидетелем разных небольших сцен между звонарем и цыганкой, и пантомима этих сцен издали казалась ему особенно нежною. Он, вообще, с юных лет привык относиться к женщинам крайне недоверчиво; а теперь он смутно чувствовал, как в душе его пробуждается чувство ревности, к которому он никогда не считал бы себя способным, и заставлявшее его краснеть от стыда и негодования. – «Ну, капитан – еще куда ни шло! – думал он. – А то вдруг этот урод!» – И эта мысль переворачивала всю его душу.

Ночи его были просто ужасны. С тех пор, как он узнал, что цыганка жива, мрачные мысли о привидениях и о могиле, мучившие его в течение целого дня, исчезли, и его снова стали волновать плотские вожделения. Он корчился на своем ложе при мысли о том, что эта смуглая молодая девушка так близка от него.

Каждую ночь в возбужденном воображении его рисовалась Эсмеральда в тех положениях, которые наиболее волновали его кровь. То она представлялась ему распростертою над телом пораженного кинжалом капитана, с закрытыми от ужаса глазами, с ее белой, забрызганной кровью Феба, обнаженной грудью, в тот самый момент, когда архидиакон запечатлел на ее бледных губах тот страстный поцелуй, который просто ожег несчастную, несмотря на то, что она в ту минуту была полужива от страха. То она опять представлялась ему в ту минуту, когда грубые руки палача срывали с нее ее одежды и, обнаживши ее хорошенькую ножку, заключали ее в этот ужасный испанский сапог с железными винтами, причем перед его взорами открывалась

вся ее нога вплоть до белого круглого колена: ему казалось, что он еще видит перед собою это, словно выточенное из слоновой кости, колено, к счастью не обхваченное ужасным снаряжением Пьерра Тортерю. Затем опять он видел перед собою молодую девушку в одной сорочке, с веревкой вокруг шеи, с голыми плечами, с голыми ногами, почти всю голую, каковою он видел ее в самый день казни. Все эти сладострастные картины заставляли его судорожно сжимать кулаки, причем по спине его пробегали мурашки.

Однажды ночью все эти сладострастные образы до того заволновали кровь целомудренного доселе священника, что он сначала впился зубами в свою подушку, затем соскочил с кровати, накинул на себя подрясник и вышел из своей комнаты, с фонарем в руке, полуодетый, растерянный, с пылающими глазами. Он знал, где найти ключ от Красных дверей, которые вели из монастыря в церковь, а ключ от двери, ведущей на лестницу к башням, как уже известно читателю, всегда был при нем.

VI. Продолжение главы о ключе к Красным дверям

В эту ночь Эсмеральда заснула в своей каморке спокойная, полная надежд и самых сладких мечтаний.

Она уже довольно давно спала, видя, по обыкновению во сне Феба, как вдруг ей показалось, будто она слышит возле себя шорох. Она, вообще, всегда спала, как птица, чутким сном, и имела способность просыпаться при малейшем шуме. Она открыла глаза. Было совершенно темно, однако, она, при тусклом свете неизвестно откуда светившего фонаря, могла разглядеть в окошко двери какое-то лицо, глаза которого были уставлены на нее. В то самое мгновение, когда лицо это увидело устремленные на себя глаза Эсмеральды, оно задуло фонарь. Тем не менее, молодая девушка успела узнать это лицо:

– О! – воскликнула она слабым голосом, – опять этот поп!

И все испытанные ею бедствия промелькнули в уме ее, точно молния. Она повалилась на кровать свою, вся похолодев от страха. Минуту спустя, она почувствовала какое-то прикосновение к своему телу, которое заставило ее окончательно проснуться и вскочить на своем ложе.

Подле нее был священник, обхвативший ее своими руками. Она хотела было крикнуть, но не могла.

– Прочь, чудовище! Прочь, убийца! – проговорила она дрожащим и сдавленным от гнева и испуга голосом.

– Пожалей меня! – прошептал священник, прикасаясь губами к ее обнаженному плечу.

Она ухватила обеими руками за то, что оставалось волос на его лысой голове, и старалась оттолкнуть его от себя, точно поцелуй его были столько же укушения.

– Пожалей меня! – повторял несчастный. – Если бы ты знала, что такое любовь моя к тебе! Это огонь, это расплавленный свинец, это тысячи лезвий ножей, вонзенных в мое сердце.

И он крепко обхватил ее руки.

– Оставь меня! – воскликнула она нечеловеческим голосом, – или я плюну тебе в лицо!

– Плюй на меня, бей меня! – произнес он, выпуская ее из рук своих, – делай со мною, что хочешь, но только, ради самого неба, полюби меня!

Она стала бить его с какою-то детской яростью. Она сжимала свои маленькие кулачки, изо всех сил колотила ими по лицу его, повторяя:

– Уходи прочь, демон!

– Полюби меня! Полюби меня! Сжался надо мною! – восклицал бедный Клод, валяясь у ног ее и отвечая ласками на ее побои.

Но вдруг она почувствовала, что он стал одолевать ее.

– Пора кончить! – проговорил он, скрежеща зубами.

Она была бессильна, она сознавала себя совершенно беспомощною в его могучих объятиях. Она чувствовала, как похотливая рука его прикасалась к ее телу. Она сделала последнее усилие и принялась кричать:

– Караул! Помогите! Вампир, вампир!

Но никто не слышал ее отчаянных возгласов. Только Джали проснулась и жалобно блеяла.

– Замолчи! – прикрикнул на нее Клод, задышавшись.

Вдруг, отбиваясь от него и ползая по полу, цыганка ощупала рукою что-то холодное, металлическое. Это был свисток, который когда-то дал ей Квазимодо. В душе ее блеснул луч надежды; она поднесла свисток к губам и свистнула в него, насколько хватило у нее сил. Раздался резкий, пронзительный звук.

– Что это такое? – воскликнул изумленный Клод. Но почти в ту же минуту он почувствовал, как его обхватила какая-то мощная рука. В каморке было совершенно темно, и он не мог сразу разобрать, кто это его схватил; но он ясно слышал, как у самого уха его яростно щелкали чьи-то зубы, и, несмотря на господствовавшую вокруг него темноту, он мог различить сверкнувшее над головою его блестящее лезвие широкого ножа.

По ошупи Клоду показалось, что схватившее его существо мог быть только Квазимодо. Тут же ему, кстати, припомнилось, что, прокрадываясь в комнату Эсмеральды, он зацепил за дверь ногою за что-то, лежавшее поперек двери. Однако, так как эта, столь неожиданно явившаяся на месте действия личность не произносила ни слова, то он и не знал, насколько основательно его предположение. Он схватил руку, державшую нож, и воскликнул «Квазимодо!» – совершенно забыв в эту минуту опасности о том, что Квазимодо глух.

В одно мгновение ока Клод был повален на землю, и он почувствовал, как чье-то, точно налитое свинцом, колено уперлось в грудь его. Нажим этого угловатого колена еще более убедил его в том, что это не мог быть не кто иной, как Квазимодо. Но что ему было делать? Каким образом дать понять звонарю, кто он такой? Было так темно, что глухой становился и слепым.

Он считал себя погибшим. Безжалостная молодая девушка, разъяренная, как тигрица, и не думала вступить за него. Нож приблизился уже к его горлу. Момент был в высшей степени критический. Но вдруг противником его овладело точно какое-то сомнение.

– Нет, на ее душе не должно быть крови! – проговорил он глухим голосом.

Теперь уже не подлежало ни малейшему сомнению: это был голос Квазимодо.

Затем Клод почувствовал, как какая-то сильная рука потащила его за ногу вон из комнаты Эсмеральды. Значит, ему суждено было умереть там, за дверью этой комнаты. Но, к счастью для него, за несколько минут перед тем взошла луна.

Когда Квазимодо вытащил его за дверь, бледный луч луны осветил лицо архидиакона. Квазимодо заглянул ему в лицо, задрожал, отпустил ногу Клода и отступил на несколько шагов.

Цыганка, следовавшая за ними до порога двери, с удивлением увидела, как роли вдруг переменялись: теперь уже священник угрожал, а Квазимодо умолял. Священник, после целого ряда угрожающих и укоризненных жестов, знаком приказал звонарю удалиться. Тот, склонив голову, стал на колена перед дверью цыганки и сказал покорным, но твердым голосом:

– Ваше преподобие, делайте затем, что вам будет угодно, но сначала убейте меня!

И с этими словами он протянул Клоду свой нож. Не помнивший себя от ярости архиидиакон кинулся было к нему, но молодая девушка предупредила его. Она выхватила нож у Квазимодо и воскликнула, гневно захохотав и обращаясь к Клоду:

– Ну, теперь попробуй-ка приблизиться!

Она держала нож высоко над своей головою. Священник остановился в недоумении. Для него не подлежало ни малейшему сомнению, что она ни на минуту не задумается вонзить в него нож, если только он сделает хотя бы один только шаг по направлению к ней.

– Ага, трус! – крикнула она ему, – я знала, что ты не осмелишься приблизиться! – И затем она прибавила с самым безжалостным выражением, отлично понимая, что она словами своими пронзит сердце Клода, точно раскаленным железом, – Ведь я же знаю, что Феб не умер!

Священник одним пинком повалил Квазимодо на пол и скрылся, дрожа от злости, под темным сводом лестницы.

Когда он ушел, Квазимодо поднял с пола свисток, который только что спас цыганку, и сказал, отдавая его ей:

– Он чуть было не заржавел. – Затем он оставил ее одну.

Молодая девушка, потрясенная этой сценой, упала в изнеможении на свою кровать и разразилась рыданиями. Небо над нею снова заволокло тучами.

Священник, в свою очередь, ощупью добрал до своей комнаты. Теперь было ясно: Клод ревновал Квазимодо к Эсмеральде.

– Так не будет же она принадлежат никому! – повторял он задумчиво злое свое слово.

Книга десятая

І. У Гренгуара на улице Бернардинов является несколько счастливых мыслей сряду

С тех пор, как Гренгуар увидел, какой оборот принимает все это дело, и что тут положительно не обойдется без веревки, повешения и других подобного рода неприятностей для главных действующих лиц этой драмы, он счел наиболее благоразумным держаться, по возможности, в стороне от всего этого дела. Бродяги, – среди которых он остался жить, находя, что, в конце концов, это все же самое приличное общество в Париже, – продолжали, однако, интересоваться судьбой Эсмеральды. Он находил это, впрочем, вполне естественным со стороны людей, которые, подобно ей, не имели перед собой иной перспективы, кроме господ Шармолу и Тортерю, и которые не носились, подобно ему, в заоблачном пространстве на крыльях Пегаса. Он узнал из их разговоров, что его супруга, с которой он был обвенчан при помощи разбитого горшка, нашла себе убежище в соборе Парижской Богоматери, и он этому очень обрадовался. Но у него не явилось даже ни малейшего желания пойти проводить ее там. По временам он вспоминал лишь о козочке, – и только. Время его проходило в том, что он днем проделывал разные штуки и фокусы, чтобы заработать себе несколько грошей, а по ночам работал над памфлетом, направленным против парижского епископа, ибо он не мог забыть того, что его однажды забрызгали колеса епископской мельницы, и он сторал желанием отомстить ему за то. Он занимался также составлением комментариев к сочинениям Бодри Леружа, епископа Нойонского и Тунесского: «Об обтесывании камней», что очень развило в нем архитектурные вкусы и совершенно вытеснило из его сердца страсть к алхимии; это, впрочем, вполне естественно, так как зодчество и алхимия тесно связаны между собою. Гренгуар просто перешел от любви к идее к любви к форме, в которой выражается эта идея.

Однажды он остановился недалеко от церкви Сен-Жермен-Л'Оксеруа, на углу дома, называвшегося «Архиерейским судилищем» и находившегося насупротив другого дома, называвшегося «Королевским судилищем». К «Архиерейскому судилищу» примыкала красивая часовня XVI века, небольшая паперть которой выходила на улицу. Гренгуар с любовью разглядывал наружные ее архитектурные формы. Он находился в одном из тех моментов эгоистического, исключительного, забывающего все окружающее наслаждения, в котором художник видит в мире одно только искусство, а в искусстве – целый мир. Вдруг он почувствовал,

что чья-то тяжелая рука опустилась на плечи его. Он обернулся: перед ним стоял бывший его учитель, бывший его друг – архидиакон.

Он обомлел. Он давно уже не видел архидиакона, а Клод был один из тех импонирующих своею личностью людей, встреча с которыми всегда нарушает внутреннее равновесие философа-скептика.

Архидиакон в течение нескольких мгновений хранил молчание, и в это время Гренгуар успел разглядеть его. Он нашел Клода сильно изменившимся, бледным, как зимнее утро, с впалыми глазами, с почти побелевшими волосами. Первым нарушил молчание священник, спросивший Гренгуара спокойным, но холодным голосом:

– Как вы поживаете, Пьер?

– Как я поживаю? – переспросил Гренгуар. – Да так себе, ни шатко, ни валко; вообще же недурно. Я умерен во всем. Вы знаете, дорогой учитель, что, если верить Гиппократу, весь секрет здоровья заключается в том, чтобы быть умеренным во всем – ч еде, в питье, в любви, во сне.

– Значит, у вас нет никаких забот, Пьер? – продолжал Клод, пристально глядя на Гренгуара.

– Нет, никаких, – ответил тот.

– А чем же вы теперь занимаетесь?

– Да вот вы сами видите, дорогой учитель. Я рассматриваю, как обтесаны эти камни и каким образом выведен этот барельеф.

Священник улыбнулся, но той горькой улыбкой, при которой приподнимается только один угол губ.

– И это доставляет вам удовольствие? – спросил он.

– Да это настоящий рай! – воскликнул Гренгуар. И наклонившись над резьбой с выражением лица, свойственным показателям редкостей, он продолжал: – Разве вы, например, не находите, что вон этот барельеф, сюжет которого взят из Овидиевых метаморфоз, исполнен чрезвычайно искусно, изящно и грациозно? Взгляните-ка на эту колонку! Видели ли вы когда-нибудь капитель, окруженную более нежными и более изящно-выточенными листьями? А вот три кругло-выпуклые фигурки работы Жана Мальевена. Это еще не самые лучшие произведения этого великого гения. Однако, наивность и кротость лиц, веселость групп и драпировок и эта нежность, сквозящая даже сквозь все их недостатки, придают фигуркам этим грациозный и деликатный, быть может, даже слишком деликатный вид. Неужели вы не находите это восхитительным?

– Да, конечно, – ответил священник.

– А если бы вы взглянули еще на внутренность часовни! – продолжал поэт в своем болтливом восторге. – Всюду резьба! Настоящий кочан капусты! А ниша выдержана в самом строгом стиле и так оригинальна, что я нигде не видел ничего подобного!

– Значит, вы вполне счастливы? – прервал его Клод.

– Да, могу сказать по совести! – ответил Гренгуар с жаром. – Сначала я любил женщин, затем животных. Но теперь я люблю только камни. Они доставляют не менее удовольствия, чем женщины и животные, но они не так вероломны.

– Вы это находите? – спросил Клод, приложив руку ко лбу. Это был обычный его жест.

– Взгляните! – продолжал Гренгуар, – как здесь хорошо! – И он взял за руку священника, который дал ему увлечь его за собою, и повел его по лестнице «Архиерейского судилища». – Вот, например, эта лестница. Каждый раз, когда я вижу ее, я бываю счастлив. Эти ступеньки – все, что есть в Париже самого простого и в то же время самого редкого. Все скошены снизу. Красота и простота этой лестницы заключается в ступеньках ее, имеющих приблизительно один фут ширины каждая и переплетающихся, входящих одна в другую, цепляющихся одна за

другую, точно губами. Все это придает лестнице прочность и в то же время как нельзя более красиво.

– И с вас этого достаточно? Вы ничего более не желаете?

– Нет.

И вы ни о чем не сожалеете?

– Я не чувствую ни сожалений, ни желаний. Я отлично устроил свою жизнь.

– Человек устраивает, а судьба расстраивает, – заметил Клод.

– Я философ-скептик, – ответил Гренгуар, – и у меня все устраивается.

А чем же вы существуете?

– Я по временам сочиняю трагедии и эпопеи. Но главные мои доходы я извлекаю из искусства, которое вы уже имели случай заметить во мне, дорогой учитель. Я ношу на зубах пирамиды из стульев.

– Ну, это несколько неподходящее занятие для философа, заметил Клод.

– Что ж, и это ведь применение одного из законов равновесия, – ответил Гренгуар. – Когда человек задался известной идеей, он всюду найдет ей применение.

– Да, это, пожалуй, верно, – заметил архидиакон; и, помолчав немного, он продолжал: – однако, вы влачите довольно жалкое существование.

– Жалкое, пожалуй, но не несчастное.

В это время до слуха обоих собеседников долетел конский топот, и они увидели скакавший по улице взвод королевских стрелков, с пиками наперевес. Впереди их несли красивый офицер. Кавалькада эта была блестящая, и конский топот гулко отдавался по улице.

– Что это вы так уставились на этого офицера? – спросил Гренгуар у архидиакона.

– Да он мне кажется знакомым.

– А как его имя?

– Кажется, его зовут Феб де-Шатопер, – ответил Клод.

– Феб! Довольно странное имя! Впрочем, в истории известен также некто Феб, граф Фуасский. Кстати, мне пришла на ум одна молодая девушка, у которой Феб не сходит с уст.

– Пойдемте-ка со мною, – проговорил священник, – мне нужно кое-что сообщить вам.

С тех пор, как мимо них пронеслась эта кавалькада, некоторое волнение сказывалось под холодною с первого взгляда оболочкою Клода. Он пошел вперед, а Гренгуар, привыкший повиноваться ему, – как и все, что раз пришлось в соприкосновение с этим человеком, производившим на всех такое обаяние, – последовал за ним. Они молча дошли до Бернардинской улицы, которая была довольно пустынна. Здесь Клод остановился.

– Что вы желали сообщить мне, дорогой учитель? – спросил Гренгуар.

– Не находите ли вы, – проговорил архидиакон задумчивым голосом, – что одежда тех всадников, которых мы только что видели, красивее, чем ваша и моя?

Не знаю, как для того, – ответил Гренгуар, пожав плечами, – но я предпочитаю мою красно-желтую куртку всей этой железной и стальной чешуе. Что за удовольствие издавать при каждом шаге шум и грохот, точно воз, нагруженный полосовым железом и едущий по тряской мостовой?

– Значит вы, Гренгуар, никогда не относились с чувством зависти к этим молодчикам в красивых мундирах?

– Зависти? Но с какой же стати, г. архидиакон? Чему мне завидовать? Их мундирам, их вооружению, их дисциплине? Нет, я предпочитаю философию и независимость, хотя бы и облеченные в лохмотья. Я предпочитаю быть мушиной головой, чем львиным хвостом.

– Это, однако, странно, – задумчиво проговорил священник. – Ведь блестящий мундир, однако, недурная вещь!

Гренгуар, заметив, что он снова впал в задумчивость, отстал от него и стал любоваться воротами одного из соседних домов. Затем он снова подошел к нему, потирая себе руки.

– Если бы вы были менее заняты блестящими мундирами господ военных, г. архидиакон, – сказал он, – то я предложил бы вам пойти и хорошенько разглядеть эти ворота. Я всегда утверждал, что ворота г. Обри – одни из самых красивых ворот в мире.

– Пьер Гренгуар, – перебил его Клод, – что вы сделали с той молоденькой плясуньей-цыганкой?

– С Эсмеральдой? Однако, какие скачки вы делаете в вашем разговоре.

– Ведь она, кажется, была женою вашей?

– Да, пожалуй, если считать действительным венчание при помощи разбитого кувшина. Мы были обвенчаны с нею на целых четыре года. – А кстати, – продолжал Гренгуар, взглянув на архидиакона довольно насмешливо: – вы, значит, все еще не забыли о ней?

– А вы, – разве вы о ней уже успели забыть?

– Да, отчасти... Мне приходится думать о стольких вещах!.. Ах, как мила была ее козочка!

– Кажется, ведь эта цыганка спасла вам жизнь?

– Пожалуй, что и так!

– Ну, так что же с нею случилось? Что вы с нею сделали?

– Не могу сказать вам, наверное. Кажется, они ее повесили.

– Вы так полагаете?

– Я в этом не уверен. Когда я увидел, что дело доходит до виселицы, я поспешил ступать.

– И вы больше ничего о ней не знаете?

– Нет, постойте-ка, я как-то слышал, что она успела укрыться в соборе и что она находится там в безопасности. Я этому очень рад. Только я не мог добиться, спаслась ли и козочка вместе с нею. Вот и все, что мне известно о ней.

– Ну, так я вам сообщу еще кое-что, – воскликнул Клод, и его голос, до сих пор тихий, медленный и почти глухой, сделался громогласен. – Она, действительно, укрылась в соборе Богородицы, но через три дня правосудие извлечет ее оттуда и она будет повешена на Гревской площади. На этот счет уже состоялось постановление суда.

– Это, однако, досадно, – проговорил Гренгуар. Священник, после минутной своей вспышки, снова сделался холоден и спокоен.

– Но кому же, черт побери, – продолжал наш поэт, – понадобилось хлопотать об издании такого постановления суда? Неужели ж эту бедняжку не могли оставить в покое? И кому какое дело до того, что эта девушка поселилась под кружалами собора, рядом с ласточкиными гнездами?

– Видно, бывают же такие злые люди на свете, – ответил архидиакон.

– Однако, все же это очень некрасиво, – заметил Гренгуар.

– Так она, значит, спасла вам жизнь? – продолжал архидиакон, немного помолчав.

– Да, когда я попал к теперешним моим друзьям, бродягам. Еще чуть-чуть – и меня повесили бы. В настоящее время они бы сами очень сожалели об этом.

– Неужели же вы ничего не хотите сделать для нее?

– Нет, отчего же, с удовольствием, г. Клод. Но только я боюсь, как-бы не ввязаться в неприятное дело.

– Ну, так что же?

– Как что же? Но вы, значит, забываете, дорогой учитель, что я начал два больших труда.

Клод ударил себе рукою по лбу. Несмотря на то, что он старался казаться спокойным, какое-нибудь резкое движение обнаруживало по временам его внутреннее беспокойство.

– Как бы ее спасти! – воскликнул он.

– Дорогой учитель, – обратился к нему Гренгуар: – я вам скажу на это только: «Il pudent», что по-арабски означает: – «Бог – наша надежда».

– Как бы ее спасти! – задумчиво повторил Клод.

– Послушайте-ка, г. архидиакон, – воскликнул Гренгуар, в свою очередь, хватив себя рукою по лбу. – У меня немало воображения. Я что-нибудь да придумаю. Что если бы испросить для нее королевской милости?

– Милости! У короля Людовика XII!

– А отчего бы и нет?

– Да легче вырвать у тигра его кость, чем добиться помилования от Людовика XI!

Гренгуар принялся придумывать новые комбинации.

– Ну, так вот что, – сказал он. – Хотите, я напишу дамам-патронессам прошение, в котором я объявлю, что девушка эта беременна?

– Беременна! А вам это почему известно? – спросил Клод, сверкнув глазами.

Взгляд его испугал Сренгуара, и он поспешил прибавить:

– О, мне, конечно, об этом неизвестно. Ведь наш брак с нею был, в полном смысле слова, брак фиктивный. Я тут не причем. Но все же этим путем можно бы добиться отсрочки.

– Все это глупости, вздор! Об этом нечего и толковать!

– Напрасно вы сердитесь, – пробормотал Гренгуар. – Ведь отсрочка никому вреда не принесет.

– Однако, ей во что бы то ни стало необходимо скрыться оттуда, – проговорил Клод, не слушая его. – Постановление парламента должно быть приведено в исполнение в течение трех дней. Да и не было бы вовсе этого постановления, если бы не Квазимодо... Что за странные вкусы бывают у этих женщин! – И затем он продолжал, возвысив голос: – сколько я ни раздумываю, Пьер, я вижу для нее только одно средство спасения.

– Какое же это средство? Я, со своей стороны, не вижу никакого.

– Послушайте, Пьер, и не забывайте при этом, что вы обязаны ей жизнью. Я вам откровенно выскажу мою мысль. Церковь стерегут днем и ночью, и из нее выпускают только тех, которые на глазах у страж вошли в нее. Значит, вы войдете в нее, я провожу вас к ней, вы обменяетесь с нею платьями, она наденет ваш сюртук, а вы – ее юбку.

– Покуда все это не дурно, – заметил философ. – А дальше?

– А дальше? – Дальше она выйдет из церкви в вашем платье, а вы останетесь гам в ее платье. Быть может, вас за это повесят, но, по крайней мере, она будет спасена.

Гренгуар с очень серьезным видом почесал у себя за ухом и проговорил:

– Да, да, признаться сказать, подобная мысль никогда не пришла бы мне в голову.

При этом неожиданном предложении Клода, открытое и добродушное лицо бедного поэта вдруг омрачилось, точно веселый итальянский пейзаж, когда ясное небо вдруг омрачится темною, грозною тучею.

– Ну, Гренгуар, что же вы скажете об этом средстве?

– Я скажу только, что меня повесят – не «может быть», а повесят «непременно».

– Ну, так что же? В чем же тут помеха?

– Как в чем помеха! – воскликнул Гренгуар.

– Ведь она же спасла вам жизнь. Вы, значит, просто уплатите ей старый долг свой.

– Но я, вообще, не имею дурной привычки платить долги мои.

– Пьер, вы во что бы то ни стало должны это сделать! – сказал Клод повелительным голосом.

– Послушайте, г. архидиакон, – ответил перепуганный поэт. – Вы настаиваете на этой идее, но вы в этом отношении не правы. Я никак не возьму в толк, почему бы мне идти на виселицу вместо другого?

– Но что же может так привязывать вас к жизни?

– Ах, на то есть очень много причин.

– Ну, так объясните их мне, по крайней мере. Какие это причины?

– Какие? Извольте! Воздух, небо, утро, вечер, лунный свет, друзья мои бродяги, каляканье с нашими женщинами и девушками, прекрасные парижские здания, архитектуру которых я изучаю, три больших задуманных мною сочинения, из которых одно будет направлено против епископа и против его мельниц, – да и, вообще, мало ли что еще! Анаксагор говорил, что он создан для того, чтобы любоваться солнцем. И, наконец, я имею счастье проводить целые дни, с раннего утра до позднего вечера, с очень гениальным человеком, т. е. с самим собою, а это вещь очень приятная.

Экая пустая башка! – пробормотал сквозь зубы Клод, и затем прибавил громко. – Ну, а эту жизнь, которая, по вашим словам, так прекрасна, кто вам сохранил ее? Кому вы обязаны тем, что дышите этим воздухом, видите это небо и можете забавлять ваш воробыный ум разными пустяками и вздором? Где бы вы были теперь, если бы не было Эсмеральды? Вы, значит, желаете, чтоб она, спасшая вам жизнь, умерла!

Чтоб умерло это красивое, кроткое, очаровательное, светлое, божественное создание, между тем, как какой-нибудь полумудрец, полубезумец, какое-то жалкое подобие чего-то, какое-то прозябающее существо, воображающее себе, будто оно движется и мыслит, будет продолжать жить украденной у нее жизнью, столь же бесполезною, как свечка при ярком солнечном свете! Ну, Гренгуар, нужно же быть сострадательным! Будьте и в свою очередь великодушны! Ведь она же подала тому пример!

Клод говорил горячо и страстно. Гренгуар выслушал эту тираду сначала с нерешительным видом, затем он расчувствовался и состроил такую рожу, которая, ни дать, ни взять, напоминала собою рожицу новорожденного, у которого сделалась резь в животе.

– Вы так красно говорите, – сказал он, наконец, вытирая наворачнувшиеся на глазах его слезы. – Хорошо, я об этом подумаю. Однако странная же пришла вам в голову мысль! – И, в конце концов, – продолжал он, помолчав немного, – кто знает! быть может, они и не повесят меня! Ведь не всегда же ведут к венцу того, кто сватается! Быть может, найдя меня в этой каморке, в таком потешном одеянии, в юбке и в чепчике, они расхохочутся. – Да и то сказать! Если бы даже они и повесили меня, то ведь и смерть от веревки – это такая же смерть, как и всякая другая! Или, впрочем, нет, – это вовсе не такая смерть, как другие виды смерти. Это смерть – достойная мудреца, болтавшегося на свете всю свою жизнь, это смерть – ни рыба, ни мясо, как две капли воды, похожая на ум настоящего скептика, смерть, проникнутая в одно и то же время духом стоицизма и нерешительности, захватывающая человека между небом и землей и заставляющая его долго болтаться в таком положении. Словом, это смерть, достойная философа, и, быть может, именно такая смерть и была предопределена мне. А ведь, что ни говори, приятно умирать так же, как прожил.

– Ну, так значит решено? – перебил Клод его разглагольствования.

– Да и что такое смерть, если хорошенько раскинуть умом? – восторженно продолжал Гренгуар. – Один неприятный момент, один скачек, переход от жалкого бытия к небытию. Когда кто-то спросил у философа Серсида, охотно ли он умирает, последний ответил: – А отчего бы и нет? Ведь я после смерти моей увижу всех великих людей: Пифагора в числе философов, Гекатея в числе историков, Гомера в числе поэтов, Олимпа в числе музыкантов».

– Ну, так решено! – проговорил архидиакон, протягивая ему руку. – Вы, значит, завтра придете?

Этот жест возвратил зафилософствовавшегося Гренгуара к сознанию действительности.

– Ах, нет! – воскликнул он голосом человека, только что пробудившегося от глубокого сна. – Быть повешенным – это уже слишком глупо! Это вовсе не входит в мои виды.

– Ну, так прощай же, – проговорил архидиакон сквозь зубы: – мы еще повидаемся с тобою.

– Нет, черт возьми! – сказал про себя Гренгуар, расслышавший эти сказанные вполголоса слова, – я вовсе не желаю ведаться с этим дьяволом. – И, догнав Клода, он обратился к

нему со словами: – Послушайте, г. архидиакон, зачем же ссориться старым друзьям? Вы принимаете участие в судьбе этой девушки, т. е. жены моей, хотел я сказать. И прекрасно! Вы придумали способ благополучно удалить ее из собора, но этот способ крайне неприятен для меня, Гренгуара. Поэтому я желал бы придумать другой, менее неприятный для меня способ, с помощью которого можно бы достигнуть той же цели. И вот у меня сейчас блеснула в голове очень счастливая мысль. – Что бы вы сказали на то, если бы я предложил вам гениальную мысль, с помощью которой ее можно было бы извлечь из этой западни, не просовывая моей собственной головы в петлю? Разве это не удовлетворило бы вас вполне? Неужели же для того, чтобы доставить вам удовольствие, я должен непременно дать повесить себя?

Клод от нетерпения обрывал пуговицы с своего подрясника. Наконец, он воскликнул:

– Что за ненужный поток слов! Какое же вы придумали средство?

– Да, да, – говорил Гренгуар про себя, прикасаясь указательным пальцем правой руки к кончику своего носа в знак глубокомыслия: – это так! Бродяги – славные ребята, и к тому же они любят Эсмеральду. Они все готовы будут принять в этом участие! – Нет ничего легче! – Стоит только произвести какой-нибудь беспорядок и в суматохе похитить ее! – Завтра же вечером! – Они будут очень рады!

– Да говори же, какое это средство! – воскликнул Клод, выйдя из терпения и тряся его за руку.

– Оставьте меня в покое! – сказал Гренгуар, принимая величественную позу. – Ведь вы видите, что на меня находит вдохновение! – И, подумав еще с минуту, он вдруг захлопал в ладоши и воскликнул: – Превосходно! Успех несомненен!

– Да какое же это средство? – крикнул священник, окончательно рассердившись.

– Постойте, я вам скажу это на ухо, – ответил Гренгуар с сияющим от радости лицом. – Я придумал отличную контрмину, которая нас всех выведет из затруднения. Однако нужно отдать мне справедливость в том, что я не дурак!

Тут он сам себя прервал и спросил:

– А что, козочка ее при ней?

– Да, черт ее побери!

– Дело в том, что они готовы были бы повесить и козочку вместе с Эсмеральдой.

– А мне то какое дело до этого?

– Да, да, они готовы повесить и ее. Ведь повесили же они свинью в прошлом месяце. Палачу это даже очень выгодно, ибо он потом съедает животное. Повесить мою Джали, мою миленькую козочку....

– Будь ты проклят! – воскликнул взбешенный Клод. – Ты сам палач! Какое же средство спасения ты придумал, шут гороховый? Что ж, из тебя клещами вытаскивать твою мысль, что ли?

– Потихе, г. архидиакон, потихе, не горячитесь! Вот в чем дело.

И Гренгуар, нагнувшись к уху Клода, стал ему что-то нашептывать, с беспокойством оглядываясь по временам направо и налево, хотя на улице не было ни души. Когда он кончил, Клод взял его за руку и холодно сказал ему:

– Хорошо! Значит, завтра?..

Завтра! поддакнул Гренгуар; и между тем, как архидиакон удалялся по одному направлению, он пошел по другому, говоря про себя вполголоса: – однако, хорошую же вы штуку придумали, г. Пьер Гренгуар! Ну что ж! Отчего же маленькому человеку и не рискнуть крупного предприятия? Ведь таскал же Битон на своих плечах целого большого быка! Ведь перелетают же ласточки, малиновки и другие мелкие птички через океан!

II. Делайся бродягой

Архидиакон, возвратившись в монастырь, застал возле дверей своей кельи своего брата Жана де-Мулена, который ждал его и который в ожидании его прибытия коротал время, вырисовывая углем на стене портрет своего старшего брата, который он снабдил чудовищным носом.

Клод едва взглянул на своего брата, так как голова его была полна совершенно иных мыслей. Веселое лицо этого молодого негодяя, которое заставляло так часто улыбаться серьезного и угрюмого священника, на этот раз не в состоянии было рассеять туман, который ложился на лице Клода, поднимаясь из его испорченной, полной миазмов, души.

– Братец, – робко начал Жан, – мне нужно было повидаться с вами.

– В другой раз, – сухо ответил Клод, не поднимая даже глаз на него.

– Братец, – продолжал молодой лицемер, – вы так добры ко мне и вы мне даете всегда такие хорошие советы, что я постоянно чувствую потребность побеседовать с вами.

– Ну, и что же дальше? – спросил его архидиакон.

– Увы! братец, вы были совершенно правы, неоднократно повторяя мне: – «Жан, Жан! Настает конец учености ученых, послушанию учеников. Будь умен, Жан, учись хорошенько, Жан, не ночуй вне здания училища, Жан, без законной причины и без разрешения наставников! Не бей, Жан, баклуш, не лежи, подобно ослу бессмысленному, на училищной соломе! Терпеливо выноси, Жан, наказания, налагаемые на тебя воспитателями, ходи каждый вечер в церковь и пой там антифон и читай акафист Богородице. Ах, все это были такие прекрасные советы!..

– Дальше, дальше!

– Братец, вы видите перед собою преступника, негодяя, развратника, чудовище! Дорогой братец, Жан не обращал ни малейшего внимания на ваши советы и топтал их ногами. Но за то он и наказан за это! Господь Бог справедлив! Покуда у меня были деньги, я кутил, делал глупости, прожигал жизнь. Ах, что за ужасная вещь – разврат, столь привлекательный с первого взгляда, если взглянуть в него попристальнее! Теперь у меня нет уже ни гроша, я продал свою сорочку, свою простыню, свой утиральник. У меня нет уже ни одной восковой свечи, и я вынужден сидеть при отвратительном сальном огарке, чадающем мне в самый нос. Знакомые девушки смеются надо мною, я вынужден пить простую воду, меня мучат и совесть моя, и кредиторы мои...

– К делу, к делу! – нетерпеливо перебил его архидиакон.

– Вот, видите ли, любезный братец, мне бы очень хотелось остепениться. Я пришел к вам с раскаянием в сердце. Я каюсь вам в грехах моих, исповедуюсь перед вами, ударяю себя кулаками в грудь. Вы совершенно правы, выражая желание, чтобы я когда-нибудь сделался бакалавром и помощником преподавателя в училище Торки. И вот как раз теперь я сам почувствовал к тому неодолимое влечение. Но у меня нет ни чернил, ни перьев, ни бумаги, ни книг; мне необходимо обзавестись всем этим, а для того мне нужно несколько денег. И вот, братец, я пришел к вам с сердцем, полным сокрушения...

– И это все, что ты имел сказать мне?

– Да, – ответил Жан, – другими словами, мне нужно несколько денег.

– У меня нет денег для тебя!

– Ну, братец, – сказал Жан с серьезным и в то же время решительным видом, – в таком случае я, к великому моему сожалению, должен объявить вам, что мне, с другой стороны, делают очень выгодные и заманчивые предложения. Так вы, значит, не желаете дать мне денег? – Нет? – Хорошо, так, значит, я делаюсь бродягой.

И, произнеся эти ужасные слова, он встал в позу Аякса, ожидающего, что его поразит стрела Юпитера.

– Ну, что ж, делайся бродягой, – холодно ответил архидиакон.

Жан отвесил ему низкий поклон и, посвистывая, спустился с лестницы. В ту минуту, когда он проходил по двору, как раз под окном кельи своего брата, он услышал, что над ним распахнулось окно. Он поднял голову вверх и увидел высунувшееся из окна сердитое лицо архидиакона.

– Убирайся ты к черту! – крикнул Клод, – вот последние деньги, которые ты получишь от меня!

И в то же время Клод швырнул своему брату довольно туго набитый кошелек, попавший ему прямо в лоб и набивший ему довольно изрядную шишку. Жан поднял его и пошел своей дорогой и довольный, и сердитый в одно и то же время, точно собака, которую забросали бы костями.

III. Да здравствует веселье!

Читатель, быть может, не забыл, что часть так называемого «Двора Чудес» была окружена старинной городской оградой, часть башен которой начинала уже в это время разрушаться. Одну из этих башен бродяги превратили в место для веселого проведения времени. В нижнем этаже ее был устроен кабак, а в верхних – разные другие злачные места. Башня эта представляла собою самый оживленный, а, следовательно, и самый отвратительный пункт всего квартала бродяг. Она напоминала собою какой-то чудовищный улей, жужжавший и днем, и ночью. По ночам, когда кругом все спало, когда не светилось ни одно окно ни в одной из лачуг, окружавших площадь, когда не доносилось ни единого звука из этих многочисленных домишек, из этих притонов воров, распутных женщин и уворованных или незаконнорожденных детей, – та веселая башня выдавалась среди всеобщей темноты и безмолвия своим шумом и красноватым светом, вырывавшимися одновременно из ее окон, дверей, из щелей потрескавшихся стен, словом, так сказать, из всех ее пор.

Подземелье, как мы уже сказали, представляло собою кабак. В него спускались через низкую дверь и по лестнице, столь же крутой, как классический александрийский стих. Над дверьми была какая-то мазня, долженствовавшая изображать собою каких-то рыб и цыплят, со следующей остроумною надписью: – «Поминки по скончавшимся».

Однажды вечером, в то время, когда со всех колоколен раздавался сигнал для тушения огней, городские стражники, если бы только они отважились спуститься в этот страшный «Двор Чудес», могли бы заметить в кабаке большее оживление, чем когда-либо, большее пьянство и большую ругань. Да и перед входом в кабак стояли многочисленные группы, о чем-то переговаривавшиеся вполголоса, как будто замышлялось какое-то важное предприятие, а там и сям какой-нибудь бродяга сидел на корточках на мостовой, оттачивая нож.

Однако, в самом кабаке вино и игра в кости представляли собою такие могучие средства, отвлекавшие умы от волновавших в этот вечер табор бродяг вопросов, что из разговоров, которые велись в нем, было бы довольно трудно составить себе понятие о том, что замышлялось. У них только был более веселый вид, чем обыкновенно, и у каждого из них можно было заметить какое-нибудь оружие – серп, топор, палаш или приклад старой пицали.

Комната, имевшая круглую форму, была довольно обширна, но столы были так скучены, а посетители кабака так многочисленны, что все, находившееся в кабаке, – мужчины, женщины, скамейки, кружки пива, пившие, спавшие, игравшие, здоровые, калеки, – казались нагроможденными здесь кое-как, с такою же правильностью и в таком же порядке, как какая-нибудь куча устричных раковин. На столах стояло несколько зажженных сальных свечей; но главным освещением кабака был горевший в очаге огонь, исполнявший в этом кабаке роль

люстры в театральной зале. Подвал этот был до того сыр, что в очаге постоянно поддерживали огонь, даже среди лета. В громадной печи, сложенной из изразцов, увешанной тяжелыми железными цепями, установленной кухонными принадлежностями и наполненной дровами и торфом, горел яркий огонь, подобно тому, который среди темной ночи вырывается из кузниц. Большая собака, преважно сидевшая на задних лапах в золе, поворачивала над огнем вертел с насаженными на него кусками мяса.

При всем хаосе, бросавшемся в глаза с первого взгляда, можно было различить в этой толпе три главные группы, теснившиеся вокруг известных уже читателям трех личностей. Одна из них, облеченная в какой-то пестрый, восточный костюм, – был Матвей Гуниади-Спикали, герцог Египетской и Цыганской земли. Он сидел на столе, поджав под себя ноги и подняв руку кверху, показывая окружающим его ротозеям разные штуки из области белой и черной магии.

Другая группа теснилась вокруг нашего старого знакомого, Тунского короля Клопена Трульефу, вооруженного с ног до головы. Трульефу распоряжался вполголоса, и с самым серьезным видом, распределением оружия из стоявшего перед ним громадного раскрытого ящика, из которого выглядывали топоры, мечи, пищали, кольчуги, наконечники копий, стрелы, – точно яблоки и виноград из рога изобилия. Всякий брал себе из этой кучи, – кто шпагу, кто шишак, кто лук. Даже дети – и те вооружались, и иной калека, облекшись в латы и кольчуги, вертелся под ногами посетителей кабака, точно крупный жук.

Наконец, третья группа, и притом самая многочисленная, самая шумная и самая веселая, занимала столы и стулья, посреди которых раздавался какой-то тоненький голосок из-под полного воинского одеяния. Человек, которому принадлежал этот голосок, весь ушел в воинские доспехи, из-за которых можно было разглядеть только красный, вздернутый нос, прядь белокурых волос, розовые губы и дерзко глядевшие глаза. За поясом у него было воткнуто несколько кинжалов и шпаг, на левом боку у него висел громадный палаш, в руке он держал заржавленный самострел; перед ним стояла большая кружка вина, а подле него сидела толстая, весьма неприлично одетая, девушка. Все вокруг него смеялось, ругалось и пило.

Если читатель представит себе еще, вдобавок ко всему этому, около двадцати меньших групп, прислуживавших в кабаке девушек и мальчиков, бегавших взад и вперед с высоко поднятыми над головами кружками вина, игроков, наклонившихся над шарами, над картами и над костями, перебранку в одном углу, поцелуи в другом, – то он будет иметь некоторое понятие о целой картине, освещенной ярким пламенем топившейся печи, отражавшим на стенах кабака тысячи громадных и смешных теней. Что касается до стоявшего в зале шума, то его можно сравнить только с гулом раскаченного изо всех сил колокола. Противень, на котором шумно шипело сало, наполнял этим шипением промежутки между шумными восклицаниями, раздававшимися то в одном, то в другом конце залы.

И среди всего этого шума и гама, в углублении комнаты, на скамейке возле очага, сидел философ, погруженный в глубокую задумчивость, опустив ноги в золу и устремив глаза в огонь. Это был Пьер Гренгуар.

– Однако нечего мешкать! Скорей! вооружайтесь! Через час нужно выступать, – говорил Клопен Трульефу своей команде,

А какая-то девушка напевала: – «Прощай, батюшка, прощай, матушка! Уж потушены огни!»

А несколько дальше спорили два игрока в карты.

– Я ж тебе говорю, что валет! – кричал один из них, весь раскрасневшись от гнева и показывая другому кулак. – Я научу тебя плутовать, бездельник!

– Уф! – воскликнул какой-то нормандец, которого можно было легко узнать по его гнусавому выговору: – здесь набилось народу, точно сельдей в бочонке!

– Дети мои, – поучал цыганский староста своих слушателей, говоря высоким фальцетом, – французские ведьмы отправляются на шабаш без метел, без ухватов, а просто с помо-

щью некоторых чародейственных слов. У итальянских всегда бывает козел, ожидающий их у дверей. Но все они обязаны непременно вылетать в трубу.

Голос молодого парня, вооруженного с головы до ног, покрывал весь этот гам.

– Ура, ура! – кричал он. – Сегодня мне в первый раз предстоит отличиться! Я вам товарищ, черт побери! Эй, налейте-ка мне вина! Друзья мои, меня зовут Жан Фролло-де-Мулен, и я дворянин. Но это не мешает мне предпочитать ваше общество всякому другому. Братцы, нам предстоит славное дело! Ведь мы храбрецы, не так ли! Мы осадим церковь, выломаем двери, унесем оттуда эту бедную девушку, спасем ее от судей, спасем от попов, разнесем монастырь, сожжем епископа в его дворце, – о, на все это нам потребуется меньше времени, чем какому-нибудь толстому бургомистру на то, чтобы съесть ложку супа! Наше дело правое, мы разнесем церковь – и баста! Мы захватим также с собою Квазимодо. Знаете ли вы Квазимодо, сударыни? Видели ли вы когда-нибудь, с каким азартом он звонит в большой колокол в Троицын день? Черт побери! Это очень красиво: точно дьявол, сидящий верхом на драконе! Друзья мои, слушайте меня! Я товарищ вам по призванию, я родился бродягой. Я был очень богат, но прокутил все мое состояние. Моя мать желала, чтобы я сделался офицером, мой отец хотел сделать из меня аббата, моя тетка настаивала, чтобы я шел служить в счетную камеру, моя бабушка пророчила меня в королевские прокуроры, а мой дед находил, что мне следует служить в канцелярии. Ну, а я вот сделался бродягой. Когда я объявил о намерении своему отцу, он плюнул мне в лицо, а моя мать принялась реветь белугой. Да здравствует веселье! Эй, служанка, дай-ка мне, моя милая, еще вина, но только другого, а не сюренского; оно просто дерет мне глотку, точно я глотаю какие-то щепки.

Толпа хохотала и рукоплескала ему. Ободренный своим успехом, Жан продолжал:

– Какие приятные звуки. – И затем он запел какую-то тарабарщину, подражая напеву каноников во время вечерней службы. Но вдруг, оборвав свою песню, он воскликнул: – Эй, чертова кабатчица, давай мне ужинать!

Наступило некоторое молчание, во время которого ясно можно было расслушать слова цыганского старосты, продолжавшего поучать своих слушателей:

– Ласочка называется Адуиной, лисица – Синеножкой или Лесным беглецом, волк – Сероногим или Золотоногим, медведь – Стариком или Дедушкой, – Шапка гнома делает человека невидимкой и дает ему возможность видеть невидимые вещи. – Всякая – жаба, подвергаемая крещению, должна быть одета в красный или черный бархат, с погремушкой на шее и с погремушкой на лапах. Кум держит ее за голову, кума – за задние лапы. – Демон Сидрагуз обладает способностью заставлять девушек плясать голыми.

– Черт побери! – прервал его Жан, – я бы желал быть демоном Сидрагузом!

Тем временем бродяги продолжали вооружаться, о чем-то шепчась в другом углу кабака.

– Бедняжка Эсмеральда! – говорил один цыган, – ведь она из наших. Нужно спасти ее оттуда!

– А разве она все еще в соборе Богоматери? – спросил какой-то человек с еврейской физиономией.

– Да, конечно же!

– Ну, товарищи! – воскликнул еврей-торгаш, – значит марш к собору! Это тем более кстати, что я там давно высмотрел в одной из часовен две статуэтки, – одну св. Иоанна Крестителя, другую св. Антония, обе из чистого золота, весом обе в 7 марок 15 унций, с подставкой из позолоченного серебра, весом в 17 марок 5 унций. Я в этом знаю толк: ведь я золотых дел мастер.

В это время Жану подали ужин. Он воскликнул, обняв свою соседку.

– Клянусь всеми святыми – я вполне счастлив! Вон там я вижу перед собою какого-то лысого черта, бессмысленно вытаращившего на меня глаза. А вон слева от меня другой, у которого такие огромные передние зубы, что они совершенно скрывают его подбородок. И к тому

же я похож теперь на маршала Жиэ при осаде Понтуаза: я опираюсь правой рукой на бугор. Черт тебя побери, товарищ! Ты похож на какого-то продавца мячей, а между тем уселся рядом со мною! Ведь я дворянин, приятель, а торгашу далеко до дворянина. Убирайся-ка подальше! Эй, вы там! Полно вам драться! Как тебе не жаль, Баптист Птицеед, подставлять свой красивый нос под здоровые кулаки этого мужлана! Болван! Ведь не всякому же дано иметь такой нос! А ты, право, очень мила, Жаклина Ухогрызка! Жаль только, что у тебя нет волос! Слушайте! Меня зовут Жан Фролло, и брат мой – архидиакон, черт его побери! Ей Богу правда! Сделавшись вашим товарищем, я добровольно отказался от права своего на половину дома, расположенного в раю, которую обещал мне брат мой. У меня есть арендная статья в улице Тиршапп, и все женщины влюблены в меня; это настолько же верно, насколько верно то, что св. Элигий был золотых дел мастер и что в славном городе Париже существует пять цехов – дубильщиков, сыромятников, кошелей, ремесленников и шерстобитов, и что св. Лаврентия изжарили на яичных скорлупах. Пусть я целый год не выпью ни одного глотка вина, если я вру! Посмотри ка, моя милая, в окошко; видишь, как вон там, при лунном свете, ветер мнет облака; точно так же я поступлю с твоей косынкой! Эй вы, девушки! Снимите-ка нагар со свечей! Черт возьми! Что это ты подала за блюдо, моя милая! Волосы, которых давно уже нет ни следа на твоей голове, должно быть, перекочевали все в мою яичницу! Но я предпочитаю безволосые яичницы, чтобы дьявол сделал тебя курносой! Нечего сказать, настоящий чертов кабак, в котором стряпухи чешут себе волосы вилками, назначенными для употребления посетителей!

И с этими словами он швырнул свою тарелку об пол и загорланил какую-то песню.

Тем временем Клопен Трульефу кончил раздачу оружия и приблизился к Гренгуару, который, положив ноги на таган, казался погруженным в глубокую задумчивость.

– Эй, приятель! – окликнул его Трульефу, – о чем это ты задумался?

– Дело в том, что я очень люблю смотреть в огонь, ваше цыганское величество, – ответил Гренгуар, оборачиваясь к нему с печальной улыбкой, – и не потому, чтобы мы могли греть возле него наши ноги или варить себе суп, а потому, что он дает искры. Иногда я провожу целые часы, глядя на искры. Я открываю тысячи самых разнообразных вещей в этих звездах, которыми усеян черный фон очага, и все эти звезды – столько же миров!

– Ни бельмеса не понимаю из того, что ты там городишь! Скажи-ка мне лучше, который час?

– Этого я не знаю, – ответил Гренгуар.

– А что, товарищ Матвей, – сказал Клопен, обращаясь к цыганскому старшине: – мы, кажется, выбрали неудобное время. Говорят, что король Людовик XI в Париже.

– Тем более причин спасти сестру нашу из когтей его, – ответил старый цыган.

– Дельно сказано, Матвей! – воскликнул Трульефу. – Впрочем, мы живо обделаем это дело. Нам нечего опасаться сопротивления в церкви. Каноники трусливы, как зайцы, да к тому же и численный перевес на нашей стороне. Вот то останутся с носом судейские крысы, когда завтра придут за нею! Нет, не удастся им повесить этой хорошенькой девушки!

И с этими словами Клопен вышел из кабака, а Жан продолжал орать пьяным голосом:

– Я пью, я ем, я пьян, я Юпитер! – Эй ты, Пьер Скотобой! Если ты будешь продолжать так смотреть на меня, я тебе почищу нос щелчками.

Со своей стороны Гренгуар, оторванный от своих размышлений, стал всматриваться в шумные и беспорядочные сцены, разыгравшиеся на глазах его, и бормотал сквозь зубы:

– Вино к добру не ведет, и пьянство всегда бывает очень шумно. Да, да, хорошо я делаю, что воздерживаюсь от вина. Прав св. Бенедикт, когда он говорит, что вино заставляет даже мудреца делать глупости.

В это время Клопен снова вошел в комнату и крикнул громким голосом:

– Полночь!

Это слово действовало на всех, точно сигнал. Все, – и мужчины, и женщины, и дети, – разом ринулись вон из кабака, стуча оружием и звеня кольчугами.

Месяц скрылся за тучу, и площадь была совершенно темна; нигде не видно было огня. Однако она кишела народом, и сквозь темноту можно было разглядеть группы мужчин и женщин, о чем-то шептавшихся между собою. Слышался какой-то гул и сквозь потемки прорывался по временам блеск оружия. Клопен встал на большой камень и воскликнул:

– По местам! По местам, цыгане! По местам, молодцы!

Все закопошилось, и громадная толпа, казалось, начала строиться в колонну. По прошествии нескольких минут предводитель их снова возвысил голос:

– Слушать! Не шуметь, пока мы будем проходить по Парижу! Пароль: «Болотный касатик в чечевице». Зажигать факелы только перед самым собором! Марш!

Десять минут спустя всадники дозора бежали в испуге перед длинной процессией каких-то черных и молчаливых теней, спускавшихся к мосту. Менял по извилистым улицам, перерезывающим по всем направлениям квартал рынка.

IV. Неловкий друг

В эту ночь Квазимодо не спал. Он только что обошел вокруг церкви. Запирая двери ее, он не заметил, как мимо него прошел архидиакон, выразивший некоторое неудовольствие при виде того, с какою заботливостью Квазимодо запирал на задвижки и на засов громадные железные двери, не менее крепкие и толстые, чем стена. Вид Клода был еще более озабочен, чем обыкновенно. Впрочем, после известной уже читателям ночной сцены в каморке Эсмеральды он постоянно относился к Квазимодо чрезвычайно сурово. Но как он ни бранил, как даже порою ни бил его, ничто не в состоянии было поколебать преданности и покорности верного звонаря. Со стороны архидиакона он переносил все – брань, угрозы, побои, не высказывая ни упреков, ни жалоб. Он только беспокойно следил за ним глазами, когда Клод поднимался на башню. Но архидиакон с тех пор сам воздерживался от посещения цыганки.

Итак, в эту ночь Квазимодо, взглянув сперва на свои, находившиеся в последнее время в некотором пренебрежении, колокола – на Жаклину, Марию, Тибальду, взобрался на самую вышку северной башни и, поставив на цинковый выступ крыши ее свой глухой фонарь, принялся смотреть оттуда на Париж. Ночь, как мы уже сказали, была чрезвычайно темна. Париж, не имевший в те времена почти никакого уличного освещения, представлялся глазу в виде беспорядочной кучи каких-то темных масс, перерезываемой там и сям беловатой дугой Сены. Квазимодо увидел свет только в одном из окон отдаленного здания, темный профиль которого смутно вырисовывался над крышами со стороны Сент-Антуанских ворот. И там кто-то не спал.

Блуждая своим единственным глазом по этому туманному и темному горизонту, звонарь ощущал внутри себя какое-то странное беспокойство. Он уже в течение нескольких дней держал ухо настороже, так как он не раз видел, как вокруг церкви бродили какие-то люди со злобными физиономиями, не спускавшие глаз с убежища молодой девушки. Он сообразил, что, вероятно, затевается какой-нибудь заговор против несчастной осужденной. При этом он додумался до того, что, должно быть, и против нее существует в народе такая же ненависть, как и против него, и что эта ненависть может вызвать какое-нибудь покушение против ее личности. Поэтому он почти не покидал своей колокольни, зорко всматриваясь во все, что происходит, переводя свой единственный глаз с окошечка каморки и обратно, добросовестно исполняя добровольно принятую им на себя роль верной сторожевой собаки.

Вдруг, осматривая большой город своим глазом, которому природа, как бы в виде вознаграждения, придала такую зоркость, что, он мог как бы служить некоторого рода компенсацией за недостающие у него другие органы, он заметил, что небрежная Скорняков имеет какой-то странный вид, что там происходило какое-то движение, что мостовая на ней не белела в

потемках, как другие улицы и набережные, а как бы почернела, что к тому же она не была неподвижна, а как бы волновалась, точно покрытая рябью река илидвигающаяся толпа.

Это показалось ему странным, и он удвоил внимание. Темная масса эта направлялась, по-видимому, к Старому городу, но нигде не было видно ни малейшей светлой точки. Сначала эта смутная, черная масса двигалась по набережной, а затем точно стала просачиваться на остров. Наконец, она совсем исчезла, и линия набережной снова сделалась прямой и неподвижной. Но в то самое время, когда Квазимодо терялся в догадках, ему показалось, как будто что-то зашевелилось по Папертной улице, пересекающей остров Старого города параллельно фасаду собора Богоматери. Наконец, несмотря на тьму кромешную, он увидел, как голова этой колонны вышла через эту улицу на площадь, а минуту спустя вся площадка покрылась какой-то толпой, в которой только и можно было разглядеть, что это была толпа.

Все это представляло собою довольно жуткое зрелище. По-видимому, эта странная процессия, которая, казалось, так тщательно скрывалась среди глубокой тьмы, старалась также хранить не менее глубокое молчание. Правда, какой-нибудь звук да должен был исходить из рядов этой толпы, хотя бы только звук, производимый топотом многочисленной толпы. Но этот звук, понятно, не мог долетать до слуха глухого Квазимодо, и эта громадная толпа, которую он еле-еле мог разглядеть и производимого ею шума он совсем не слышал, хотя она и двигалась так близко от него, производила на него впечатление толпы мертвецов, немой, неосознанной, точно подернутой туманом. Ему казалось, будто к нему приближаются не люди, а призраки, какие-то тени, двигавшиеся во тьме.

При виде всего этого им снова овладел страх, и его воображению снова предстала мысль о покушении против цыганки. Он смутно предчувствовал, что наступает решительный момент. В эту критическую минуту он быстро сообразил, что ему следует делать, так быстро, как того даже нельзя было ожидать со стороны такого уродливого мозга. Не разбудить ли ему цыганку и не дать ли ей возможность бежать? Но куда? Все прилегающие с трех сторон к церкви площади и улицы были запружены народом, а четвертым фасадом своим церковь выходила на реку, и с этой стороны не было ни брода, ни моста, ни даже лодки. Он решил, что ему остается только одно, – стать на пороге собора, сопротивляться, пока хватит сил, дать им даже убить себя, в надежде, что тем временем, авось, подоспеет помощь, и не нарушать покоя Эсмеральды: ведь несчастная всегда успеет проснуться достаточно вовремя для того, чтоб умереть. Раз остановившись на этом решении, он принялся наблюдать за врагом с большим вниманием.

Толпа на площадке перед собором росла, казалось, с каждой минутой. Он сообразил, что она, должно быть, не производит, однако, никакого шума, ибо окна домов, выходящих на улицу и на площадь, оставались закрытыми. Но вдруг блеснул какой-то огонек, и минуту спустя над головами толпы появились семь или восемь зажженных факелов, блестя в темноте своим мигающим пламенем. При свете этих факелов Квазимодо мог ясно отличить топтавшуюся по площади громадную толпу людей, состоявшую из одетых в лохмотья мужчин и женщин, вооруженных косами, копьями, серпами и протазанами, искрившихся при свете факелов. Там и сям над головами торчали острия вил, точно рога безобразного зверя. Он смутно припомнил, что где-то уже видел эту толпу, и ему показалось, будто он узнает в ней некоторые лица, приветствовавшие его несколько месяцев тому назад, как шутовского папу. Какой-то человек, державший в одной руке факел, а в другой булаву, взобрался на тумбу и стал, по-видимому, держать речь к толпе. В то же время эта дикий армия сделала несколько построений, как бы оцепляя церковь. Квазимодо взял свой глухой фонарь и спустился на площадку между башнями, чтобы посмотреть поближе, что такое происходит, и подумать о средствах обороны.

Действительно, Клопен Трульеф, дойдя до главных дверей собора, построил свой отряд в боевой порядок. Хотя он и не ожидал никакого сопротивления, но, будучи осторожен от природы, он желал устроить все так, чтобы, в случае надобности, встретить как следует внезапную атаку ночных стражей или патрулей. Поэтому он расставил свой отряд в таком порядке, что,

если бы на него взглянуть издали или с выси, можно было бы принять его за римский треугольник, за фалангу Александра или за (правда, позднейший) острый клин Густава-Адольфа. Основание этого треугольника тянулось в глубине площади, запирая выход из Папертной улицы; одна сторона его была обращена к богадельне, другая – к улице Сен-Пьер. Сам Клопен Трульефу стал в вершине его, вместе с цыганским старостой, нашим другом Жаном и наиболее смелыми из своей команды.

В средневековых городах подобного рода предприятия, как то, которое парижские бродяги затеяли в эту ночь против собора Парижской Богоматери, не составляли особенной редкости. В те времена вовсе не существовало того, что мы называем теперь полицией.

В ту эпоху даже в наиболее многолюдных городах, даже в столицах не было единой, центральной, дающей всему направление, власти. Города были в те времена агломератом различных владений и распадалась на множество как бы отдельных городов, различной величины и различных форм. Каждый из них имел свою полицию, независимые между собою и часто враждебные друг другу, и в результате выходило, что не было, в сущности, никакой полиции. В Париже, например, независимо от 141 владетеля оброчных статей, было еще 25 владельцев, которые, кроме оброчных статей, пользовались еще правом юрисдикции, начиная с парижского епископа, которому принадлежали 105 улиц, и кончая настоятелем церкви Божией Матери в Полях, которому принадлежали всего 4 улицы. Все эти феодальные владетели лишь по имени признавали королевскую власть. Все они были почти совершенно независимы, все они делали, что им заблагорассудится. Людовик XI, этот неутомимый работник, который положил начало разрушению здания феодализма, продолженному Ришелье и Людовиком XIV в пользу королевской власти и оконченному Мирабо в пользу народа, – Людовик XI, правда, попытался было прорвать эту цепь почти независимым вассальным владениям, покрывавшую Париж, издав два или три обязательных для всех полицейские постановления. Так, например, в 1465 году парижским жителям предписано было, с наступлением темноты, освещать свои окна свечами и держать на привязи собак, под страхом повешения; в том же году предписано было протягивать на ночь поперек улиц железные цепи, и запрещено было носить по ночам, выходя на улицу, кинжал или иное оружие. Но с самого начала все эти попытки ввести правильное коммунальное законодательство потерпели полное фиаско. Граждане спокойно давали ветру тушить выставленные в окнах их свечи, а собакам своим бродить на свободе; железные цепи стали протягиваться поперек улиц только при осадном положении; запрещение носить кинжалы повело только к тому, что улица «Перерезанной Глотки» была переименована в улицу «Перерезанного Горла», что уже само собою представляет, во всяком случае, значительный прогресс. Старая же постройка феодальной юрисдикции осталась неприкосновенной. Она продолжала изображать собою какую-то беспорядочную громаду перепутанных и взаимно мешающих друг другу прав и привилегий, какую-то диковинную сеть разных городских, ночных и иного наименования стражей, сквозь петли которой беспрепятственно проходили воры, грабители, разбойники, убийцы. Поэтому нечего удивляться тому, что, при таком беспорядке, могли удаваться как нельзя лучше, например, вооруженные нападения какой-нибудь шайки на какой-нибудь дворец, барский дом или лавку в самых многолюдных кварталах. В большей части подобных случаев соседи вмешивались в дело лишь тогда, когда грабители добивались до их skóry. Они затыкали себе уши, слышав ружейные выстрелы, закрывали свои ставни, покрепче запирали свои двери и ждали, чем все это кончится, при содействии или без содействия дозора; а на другой день знакомые сообщали друг другу в виде новости: – «Прошлую ночью у Этьена Барбетта произведен был взлом», – «Маршала Клермона ограбили», и т. д., и т. д. – Поэтому не только королевские резиденции – Лувр, Дворец, Бастилия, – но и большие барские дома – Бурбонский, Санский, Ангулемский дворцы и т. д. – имели амбразуры и окружавших их каменных заборов и бойницы над воротами. Церкви охраняла их святость; впрочем, некоторые из них, – но к этому числу не принадлежал собор Парижской Богоматери, – были укреплены.

Так, например, Сен-Жерменское аббатство было обведено зубчатыми стенами, точно любой баронский замок, и оно израсходовало, вероятно, больше меди на пушки, чем на колокола. Следы этих укреплений видны были еще в 1610 году. В настоящее время еле-еле сохранилась только церковь его.

Но возвратимся к нашему рассказу.

Когда отряд был поставлен в боевой порядок, и мы должны отдать честь дисциплине этой армии бродяг, приказание Клопена были исполнены среди глубочайшего молчания и с величайшей точностью, достойный предводитель этой шайки взошел на ступени и паперти и заговорил грубым и хриплым голосом, обернувшись спиной к собору и размахивая факелом, который он держал в руке и свет которого, задуваемый ветром и застилаемый постоянно его собственным дымом, то освещал фасад церкви красноватым светом, то опять оставлял его в темноте.

– Мы, Клопен Трульефу, король Тунский, князь цыганский, епископ шутов, и пр., и пр., и пр., – объявляем тебе, Луи де-Бомону, епископу парижскому, члену королевского совета, следующее: – Сестра наша, несправедливо осужденная по обвинению в чародействе, укрылась в твоей церкви. Ты обязан оказывать ей покровительство и защиту; а между тем королевский суд желает извлечь ее отсюда, и ты на то изъявил согласие, так что она завтра была бы повешена на Гревской площади, если бы не существовало на свете Бога и нашей славной корпорации. Итак, мы пришли к тебе, епископ! Если церковь твоя неприкосновенна, то неприкосновенна и личность нашей сестры; если же вы не считаете неприкосновенной личность нашей сестры, то и мы, в свою очередь, не считаем неприкосновенной твою церковь. Поэтому мы приглашаем тебя выдать сестру нашу, если ты желаешь спасти свою церковь, иначе мы возьмем девушку силой и разграбим церковь. Это верно. В подтверждение того воздвигаю здесь мой стяг, и да хранит тебя Господь, парижский епископ!

К сожалению, Квазимодо не мог расслышать этих слов, произнесенных с какою-то мрачною и дикою торжественностью. Один из бродяг подал Клопену стяг, и тот торжественно водрузил его в землю. Стяг этот был просто большая вила, на которую был воткнут кусок падали.

После того Трульефу обернулся и обвел глазами свою армию, причем с удовольствием удостоверился, что глаза его воинов блестели почти так же, как и острия их копий.

– Вперед, ребята! – воскликнул он после минутного молчания. – За работу, молодцы!

При этих словах тридцать здоровенных, широкоплечих мужчин, по-видимому, бывших слесарей, выступили из рядов, неся на плечах своих молотки, клещи и железные ломы. Они направились к главной входной двери храма, взошли на ступеньки крыльца, и через минуту стали ломать двери ломами, а замки – клещами. За ними последовала значительная толпа бродяг, частью для того, чтобы поглазеть, частью, чтобы помогать им. Она вскоре заняла все одиннадцать ступенек крыльца. Однако, дверь не подавалась.

– Черт ее побери! Упряма же она! – говорил один.

– Она уже стара и хрящи ее окостенели! – замечал другой.

– Не робей, ребята! – подбодрял их Клопен. – Я готов прозакладывать мою голову против старой туфли, что вам удастся выломать дверь, похитить девушку и разграбить главный алтарь, прежде чем проснется хоть бы один из сторожей. Глядите-ка, кажется, замок уже подается!

В это время речь Клопена была прервана страшным треском, раздавшимся позади него. Он обернулся. Громадная балка свалилась точно с неба, придавив собою около дюжины бродяг на ступенях храма и отскочив оттуда на мостовую, причем она поломала ноги еще нескольким лицам из толпы, рассеявшейся в разные стороны с криками ужаса. В одно мгновение ока вся паперть опустела. Слесаря, хотя и находившиеся под защитой глубокой выемки в стене, тоже поспешили убежать от двери, и сам Клопен нашел более благоразумным отретироваться от нее на значительное расстояние.

– Знатно же я отделался! – кричал Жан. – Я носом почуял что-то недоброе. А Петру Скотобою попало-таки!

Трудно описать, какое удивление и какой ужас свалились на разбойников вместе с этой балкой. Они стояли несколько минут, как вкопанные, бессмысленно глядя вверх, и более напуганные этой неизвестно откуда взявшейся балкой, чем двадцатью тысячами королевских стрелков.

– Черт побери! – бормотал цыганский старшина, – тут замешалась нечистая сила.

– С луны, что ли, свалилось это дурацкое бревно? – проговорил Анри Рыжий.

– А еще говорят, – глубокомысленно заметил Франсуа Шантепрюн, – что луна – подруга Девы!

– Вы все дураки! – прикрикнул Клопен, не будучи, впрочем, сам в состоянии объяснить это явление.

Однако, вдоль высокого фасада церкви, до вершины которой не достигал свет факелов, нельзя было заметить ничего особенного. Тяжелое бревно лежало перед папертью, и слышны были стоны тех несчастных, которым оно переломало члены.

Наконец, Трульефу, по миновании первого удивления, нашел таки объяснение, которое показалось товарищам его довольно правдоподобным.

– Черт побери! – воскликнул он, – неужели каноники вздумали защищаться! В таком случае разнести церковь!

– Разнести, разнести! – вторила толпа с дикими воплями и сделала по дверям залп из пищалей и самострелов.

При этом залпе мирные обитатели ближайших к площади домов проснулись; видно было, как несколько окон растворились и в них показались головы в ночных колпаках и руки, державшие свечи.

– Стреляйте по окнам! – скомандовал Клопен.

Все окна тотчас же захлопнулись, и перепуганные обитатели их, едва успевшие бросить беглый взгляд на эту шумную и бурную сцену, дрожа всем телом, возвратились к своим супругам, удивляясь тому, что ведьмам вдруг вздумалось избрать местом для своего шабаша площадку перед собором Богоматери; другие же спрашивали себя, не повторяется ли опять приступ Бургундцев, подобный тому, который был в 1464 году. И при этом мужья дрожали за свои кошельки, жены – за свое целомудрие, и те, и другие в ужасе зарывали головы свои в подушки.

– Разнести, разнести церковь! – повторяли нападающие, не решаясь, однако, приблизиться к ней, поглядывая то на собор, то на свалившееся сверху бревно. Бревно не шевелилось, церковь сохраняла свой спокойный и величественный вид, но разбойникам все-таки было жутко.

– Так за работу же, слесаря! – воскликнул Клопен. – Выломать двери!

Но никто не пошевелился.

– Сто тысяч чертей! – продолжал Трульефу: – эти бабы испугались, кажется, какой-то дубины!

Капитан! – обратился к нему один старый слесарь. Дело не в дубине этой, а в том, что вся дверь обшита железными полосами, против которых клещи наши бессильны.

– Как что же вам нужно для того, чтобы выломать ее?

Для этого нам необходим таран.

При этих словах предводитель шайки подбежал к свалившемуся сверху бревну и воскликнул, наступив на него ногою:

Ну, так вот вам таран! Его послали вам сами господа каноники! – И, поклонившись в сторону церкви, он прибавил: – Спасибо, каноники!

Эта выходка произвела желаемое действие, и бревно уже перестало быть страшным. Вся шайка приободрилась, и вскоре тяжелая балка, поднятая, как перышко, двумястами здоровых

рук, стала со всего маху ударять в массивную дверь. При тусклом свете немногих факелов, это громадное бревно, раскачиваемое двумястами рук и затем изо всех сил ударявшееся в двери церкви, походило на громадного зверя с двумя сотнями ног, нагнувшего голову к земле и нападающего на каменного гиганта.

При каждом ударе бревна обитая металлом дверь издавала звук, похожий на звук гигантского барабана; однако, она не подалась, хотя весь собор трясся и глухой и гул раздавался в самых отдаленных углах церкви. В то же время сверху на нападающих посыпался Целый град огромных камней.

– Черт поberi! – воскликнул Жан, – неужели башни желают сбросить на нас свои балюстрады!

Но атакующие начинали свирепеть. Трульефу подавал всем пример, в полной уверенности, что это вздумал защищаться епископ, и в дверь раздавался один сильный удар за другим, несмотря на камни, валившиеся на нападающих справа и слева. Камни эти валились поодиночке, но с небольшими промежутками, один за другим. Редкий из них не попадал в

цель, и у многих из бродяг были уже прошиблены головы и перебиты ноги. Немалое количество убитых и раненых валялось уже, обливаясь кровью, под ногами нападающих, которые, все более и более выходя из себя, удваивали свои удары. Громадное бревно продолжало ударять в дверь, как язык колокола, камни сыпаться сверху, а дверь – скрипеть.

Читатель, по всей вероятности, уже догадался, что это неожиданное сопротивление, так выводившее из себя осаждающих, было делом рук Квазимодо. К сожалению, случай помог нашему, столь не во время храброму, звонарю.

Спустившись на площадку между обеими башнями, он несколько времени бегал по ней точно растерянный, точно сумасшедший, видя издали сплоченную массу разбойников, готовую ринуться на церковь, и умоляя Бога или черта спасти цыганку. Ему пришлось было на ум взобраться на южную башню и ударить в набат. Но прежде чем он успел бы раскачать колокол, прежде чем его возлюбленная «Мария» успела бы издать хотя бы один звук, разбойники десять раз успели бы выломать двери церкви. Как раз в это время слесаря приближались к ней со своими орудиями. Что ему оставалось делать?

В это время он вдруг вспомнил, что как раз в этот день каменщики работали над разными починками в южной башне. В не особенно богато одаренной от природы голове его блеснула счастливая мысль. Стена была каменная, крыша – цинковая, стропила бревенчатые, и стропила эти были так часты, что их называли «рощей».

Квазимодо кинулся к этой башне. Действительно, нижние комнаты ее были полны строительных материалов. Здесь были груды песчаника, свинцовых полос, пучков дранок, напиленных уже бревен, кучи щебня, – словом, целый арсенал.

Нечего было терять времени, так как клещи и молотки делали свое дело у входной двери. С напряжением всех сил, удесятеренных сознанием опасности, он поднял одну из балок, самую длинную и самую тяжелую, просунул один конец ее в отверстие башни, раскачал другой ее конец и затем спустил ее. Громадное бревно, падая с высоты 160 футов, сорвало при падении своим несколько статуй, рикошетировало о балюстраду, перевернулось несколько раз по воздуху, точно мельничное колесо, оторванное ураганом от мельницы и продолжающее одно вертеться на воздухе. Наконец, оно достигло мостовой. Раздался страшный крик, и черная балка скатилась на мостовую, напоминая собою громадного, черного змея.

Квазимодо мог разглядеть со своего обсервационного пункта, как разбойники, при падении балки, рассыпались во все стороны, точно зола от дуновения ребенка. Он поспешил воспользоваться их испугом, и в то время, когда они смотрели с суеверным страхом на эту громадную массу, точно свалившуюся с неба, и поражали стоявшие над дверью статуи святых стрелами и крупной дробью, Квазимодо молча собирал камни, глыбы, даже мешки с орудиями, оставленные на башне каменщиками, складывая их на краю той же балюстрады, откуда поле-

тело бревно. И действительно, как только они снова принялись ломать дверь, на них посыпался дождь камней, так что им показалось, будто церковь сама собой рушится над их головами.

Тот, кто мог бы взглянуть в эту минуту на Квазимодо, испугался бы. Не ограничиваясь тем, что он сложил на балюстраде, он собрал еще немало метательных снарядов на самой площадке, и по мере того, как истощался запас камней на перилах, он пополнял его из сложенной им груды. Он нагибался и снова выпрямлялся с изумительным проворством. Его громадная голова показывалась из-за балюстрады, и затем сверху падал один камень, другой, третий. По временам он следил своим единственным глазом за падением какого-нибудь крупного камня, и когда он метко попадал в цель, он рычал от восторга.

Нападающие, однако, не теряли бодрости. Уже не менее двадцати раз массивная дверь, которую они выламывали, скрипела и подавалась под ударами громадного бревна, раскачиваемого сотней рук. Доски трескали, скульптурные украшения ее разлетались вдребезги, крюки при каждом ударе прыгали в своих скобках, винты выскакивали, дерево разлеталось щепами, измочаленное в железной обшивке своей. Но, к счастью для Квазимодо, в двери было более железа, чем дерева.

Однако, он чувствовал, что большие двери начали расшатываться. Хотя он и не мог слышать ударов тараном, но все же они отчетливо отдавались как в стенах церкви, так и в его членах. Он сверху мог разглядеть, как разбойники, разъяренные сопротивлением, но, тем не менее, уверенные в успехе, угрожали кулаками темному фасаду церкви, и он завидовал тому, что ни у цыганки, ни у него нет крыльев, как у тех сов, которые, испуганные необычным шумом, стаями улетали над его головой.

Очевидно было, что его дождя камней было недостаточно для того, чтобы отразить нападающих. Тогда он заметил, немного ниже той балюстрады, с которой он забрасывал камнями атакующих, две большие, каменные, водосточные трубы, нижние отверстия которых выходили как раз над большою дверью; верхние же отверстия их выходили на ту площадку, на которой он стоял. При этом в голове его блеснула новая мысль. Он побежал в свой чулан, принес оттуда вязанку хвороста, привязал к нему несколько пучков дранок и несколько черепиц, и, приставив эти самодельные снаряды к верхнему отверстию водосточной трубы, поджег их своим фонарем.

Так как во время всех этих приготовлений каменный дождь прекратился, то нападающие перестали смотреть вверх. Запыхавшись, точно стоя гончих, атакующая кабана в его берлоге, они толпились перед главною дверью, уже сильно поврежденною тараном, но все еще державшеюся. Они с дрожью нетерпения ждали последнего, решительного удара, который должен был окончательно выломать ее. Все протискивались вперед, желая первыми ворваться, как только дверь рухнет, в этот богатый собор, в это хранилище, в которое в течение трех столетий не переставали стекаться многочисленные сокровища. Они напоминали друг другу, с радостным и жадным рычанием, о массивных серебряных крестах, о богатых парчовых церковных ризах, об украшениях на могилах, о сокровищах, скопленных на хорах, о подсвечниках, паникадилах, раках, драгоценных чашах, блиставших золотом и алмазами. Не подлежит ни малейшему сомнению, что в эту минуту все эти храбрецы гораздо менее думали об освобождении цыганки, чем о разграблении собора. Мы готовы даже думать, что для многих из них Эсмеральда была лишь предлогом, если только, вообще, грабители нуждаются в предлогах.

Вдруг, в то самое время, когда они обступили таран, с намерением сделать последнее усилие, сдерживая дыхание свое и напрягая мускулы, из среды их раздался вопль, еще более ужасный, чем тот, который раздался, когда на них свалилось бревно. Те, которые остались еще в живых и не кричали от боли, взглянули наверх: два потока растопленного свинца лились сверху в густую толпу. Среди последней образовались два темноватых отверстия, в роде тех, которые образуются на снегу, когда в него льют кипяток, и видны были умирающие, наполовину обуглившиеся и вопившие от боли. Но и помимо этих двух главных фонтанов этот ужасный дождь рассыпался брызгами на нападающих и пробуравливался в черепа, точно железные

винты. Это был какой-то ужасный, если можно так выразиться, огненный град, сыпавшийся на несчастных крупными градинками.

Снова поднялся страшный вопль, и атакующие разбежались в разные стороны, бросив свое тяжелое бревно на умерших и умирающих. Побежали и наиболее робкие, и самые смелые, и площадка во второй раз опустела.

Все взоры обратились к верхушке колокольни. Тут они увидели необычайное зрелище. На самой верхней галерее, над центральным круглым окошком, между обеими башнями громадное пламя поднималось к небу, рассыпаясь мириадами искр, какое-то бешеное, иступленное пламя, огненные языки которого разлетались вместе с ветром по воздуху. Пониже этого пламени, пониже темной галерее, сквозь крестовидные отверстия которой просвечивался красноватый сват, две водосточные трубы, в форме пастей каких-то чудовищ, испускали из себя этот огненный дождь, серебристый блеск которого ясно выделялся на темном фоне. По мере приближения своего к земле, оба эти потока растопленного свинца принимали снопообразную форму, точно вода, вытекающая из тысячи дырочек лейки. А над этим огненным потоком две громадные башни, из которых одна выделялась своим красным, а другая – черным профилем, казались еще более высокими, благодаря высокой тени, которую они бросали на небо. Многочисленные, изваянные на них, скульптурные изображения бесов и драконов придавали им еще более мрачный вид, а при колеблющемся свете пламени казалось, будто фигуры эти двигаются. Тут были змеиные пасти, казалось, смеявшиеся, собачьи морды, как будто лаявшие, саламандры, как будто дувшие в огонь, драконы, как будто чихавшие в дым. И среди этих уродов, как будто пробужденных из своего глубокого сна всем этим шумом и пламенем, но все же стоявших неподвижно, замечен был один, который двигался, и тень которого порою мелькала на светлом фоне огня, точно тень вампира перед свечей.

Этот странный маяк не замедлил, вероятно, пробудить угольщиков бисетрских холмов, которые, без сомнения, в ужасе смотрели на яркий свет, разливавшийся с темной профили башен Собора Богоматери.

Среди разбойников водворилось молчание ужаса, прерываемое только такими же криками каноников, запертых в своем монастыре и, без сомнения, более перепуганных, чем лошади в охваченной пожаром конюшне, стуком распахиваемых и вновь затворяемых окон, возней, поднявшейся в здании богадельни, треском пламени, стонами умирающих и капанием свинцового дождя о мостовую.

Тем временем предводители банды укрылись под воротами дома госпожи Гонделорье и держали военный совет. Цыганский староста, сидя на тумбе, с ужасом смотрел на этот фантастический костер, ярко пылавший на высоте 200 футов над уровнем почвы; Клопен Трульефу в бешенстве кусал себе кулаки.

– Нет никакой возможности проникнуть в церковь! – бормотал он сквозь зубы.

– Какая-то заколдованная церковь! – ворчал старый цыган Матвей Гуниади-Спикали.

– Клянусь усами папы, – заметил пожилой человек, служивший когда-то в военной службе: – эти церковные водосточные трубы выбрасывают тебе на голову расплавленный свинец не хуже бойниц Лектура.

– А видите ли вы вон того дьявола, который то и дело мелькает перед огнем? – воскликнул цыганский староста.

– Да это, черт побери, проклятый звонарь, это Квазимодо! – сказал Клопен.

– А я вам говорю, – настаивал старый цыган, пожимая плечами: – что это нечистый дух, демон фортификаций. У него львиная голова, а телом своим он напоминает солдата во всеоружии. Иногда он ездит верхом на безобразной лошади. Он превращает людей в камни и строит из них башни. Он имеет у себя под начальством пятьдесят легионов духов. Не подлежит ни малейшему сомнению, – это он. Я узнаю его. Иногда он бывает одет в красивое платье из золотой парчи, с турецкими узорами.

– А где же Бельвинь-де-Л'Этуаль? – спросил Клопен.

– Его убили, ответила одна из цыганок.

– Значит, собор Богоматери взялся исполнять дело больницы, – заметил Андрей Рыжий, глупо рассмеявшись.

– Неужели же нет никакой возможности выломать эту глупую дверь! – воскликнул Тунский король, топнув ногою. Но цыганский староста с печальным взором указал ему глазами на два потока расплавленного свинца, не перестававшие течь вниз по черному фасаду, оставляя на нем след, напоминавший собою, своею формой, два длинных фосфорических веретена.

– Да, бывали примеры тому, – произнес он, вздохнув, – что церкви таким образом защищались сами собою. Так, собор св. Софии в Константинополе, сорок лет тому назад, три раза кряду сбрасывал с себя полулуние Магомета, потрясая своими куполами, которые заменяют ему головы. А Гильом, епископ парижский, построивший этот собор, был великий чародей.

– Но неужто ж нам так и уходить, точно несолено хлебавши! – воскликнул Клопен, – и оставить там сестру нашу, которую эти волки в митрах непременно повесят завтра?

– Да в придачу к ней еще все это золото и серебро! – прибавил один почтенный разбойник, имя которого, к сожалению, осталось нам неизвестно.

– Черти бы их побрали! – воскликнул Трульефу.

– Попытаемся еще раз, – предложил разбойник.

– Нет, все равно нам в двери не попасть! заметил Матвей Гуниади, качая головою. – Нужно поискать какой-нибудь другой лазейки, какого-нибудь стыка, подземного хода, отверстия...

– Ну, это пускай делает, кто хочет, – ответил Клопен, – а с меня довольно. А кстати, где же этот маленький школяр Жан, который так основательно вооружился?

– Должно быть, он убит, – ответил кто-то, по крайней мере, уже неслышно его смеха.

– Жаль, – заметил Тунский король, наморщив брови: – он был, кажется, не из трусливых. А Пьер Гренгуар?

– Тот удрал еще в то время, как мы только что дошли до моста Менял, капитан Клопен, – ответил Андрей Рыжий.

– Экий подлец! – воскликнул Клопен, топнув ногой, – он же подбил нас на это дело и он бежал от нас еще до начала дела! Негодный болтун! Старый бабий башмак!

– Посмотрите-ка, капитан, – продолжал Андрей, глядя по направлению Папертной улицы, вон он, школяр наш.

– Слава Плутону! – сказал Клопен, – но что это такое он тащит за собою?..

Действительно, это был Жан, бежавший так скоро, как только позволяло ему его тяжелое рыцарское вооружение и длинная лестница, которую он волочил за собою по мостовой, и которая придавала ему большое сходство с муравьем, тащащим соломинку в двадцать раз более длинную, чем он сам.

– Победа! Слава Богу! – кричал экс-школяр. – Я притащил лестницу разгрузчиков с моста Сен-Ландри! – На что тебе эта лестница, малыш? – спросил Клопен, приближаясь к нему.

– Вот она! – повторял Жан, весь запыхавшись. Я знал, где ее найти: под навесом дома полицейского поручика. Там еще живет знакомая мне девушка, находящая меня красивым, как купидон. Я обратился к ней по старому знакомству, и вот с ее помощью добыл эту лестницу. Бедняжка! Она вышла отворять мне дверь в одной сорочке.

– Все это хорошо, – сказал Клопен, – но объясни мне ради Бога, на что тебе эта лестница?

Жан взглянул на него с видом умственного превосходства и прищелкнул пальцами, точно кастаньетами. Он был просто величествен в эту минуту. На голове его был надет один из тех чудовищных шлемов XV-го века, которые пугали неприятеля своими несообразными нашлемниками. Шлем Жана был украшен десятью железными клювами, так что Жан с успехом мог бы оспаривать страшный эпитет «десятиклювный» у гомерического судна Нестора.

– На что она мне, вельможный король Тунский? А видите ли вы этот ряд статуй, с такими дурацкими рожами, вон там, над тремя дверьми?

– Да, вижу. Но что ж из этого?

– Это галерея французских королей.

– Ну, так мне то что до этого за дело? – спросил Клопен.

– Да, постойте же. В конце этой галереи есть дверь, которая всегда бывает заперта только на задвижку. Так вот, с помощью этой лестницы, я взлезу на галерею и проберусь в церковь.

– Дельно, малыш. Только дай мне взобраться первому.

– Не-ет, товарищ! Ведь мысль эта принадлежит мне. Вы можете влезать вторым.

– С ума ты сошел! – воскликнул недовольным голосом Клопен. – Я не желаю быть вторым!

– В таком случае, Клопен, сам поищи лестницу. И Жан пустился бежать по площади со своей лестницей, крича:

– За мною, друзья!..

В одну минуту лестница была поднята и прислонена к перилам нижней галереи, над одною из боковых дверей. Толпа разбойников, с громкими кликами, толпилась внизу, желая подняться по ней. Но Жан энергически отстаивал свои права и первым стал взбираться на нее. Восхождение это продолжалось довольно долго. Галерея французских королей находится в настоящее время футов на шестьдесят над главным крыльцом, а одиннадцать ступенек крыльца еще более возвышали ее. Жан поднимался довольно медленно, так как ему мешало тяжелое вооружение его, одной рукой придерживаясь за перекладины лестницы, а в другой держа свой самострел. Поднявшись приблизительно до половины лестницы, он окинул меланхолическим взором несчастных убитых, трупы которых лежали распростертыми на ступеньках подъезда.

– Увы! – проговорил он про себя: – вот груда трупов, достойная пятой песни «Илиады». – И затем он продолжал подниматься, а несколько других разбойников следовали за ним. На каждой из ступенек было их по одному. При виде снизу, в потемках, этой волнообразной линии покрытых кольчугами спин, можно было бы подумать, что видишь змею со стальной чешуей, ползущую на церковь, а иллюзию эту довершал Жан, поднимавшийся, посвистывая, впереди всех.

Наконец, школяр наш добрался до балюстрады галереи и без особого труда перелез через нее при Громких рукоплесканиях всей толпы. Овладев таким образом неприступной цитаделью, он испустил было радостный крик, но тотчас же остановился, как окаменелый: он только что заметил, позади статуи одного из королей, Квазимодо, спрятавшегося в потемках, и глаз которого сверкал. Прежде, чем следующий штурмующий мог ступить на галерею, страшный горбун подскочил к лестнице, не произнося ни единого слова, схватил верхний конец ее своими мощными руками, оттолкнул его от стены, раскачал ее, при криках ужаса занимавших лестницу разбойников, и затем, с сверхъестественной силой, швырнул длинную, усеянную людьми лестницу на середину площади. Наступил такой момент, когда даже наиболее решительные вздрогнули. Оттолкнутая назад лестница стояла одну секунду прямо, как-бы колеблясь, затем зашаталась на месте, й, наконец, описав страшную дугу, радиус которой составлял не менее 80 футов, грохнулась на мостовую с своим грузом разбойников, и все это совершилось с большей быстротой, чем с какою опускается подъемный мост, цепи которого лопнули. Раздался страшный вопль, затем все факелы разом погасли, и несколько несчастных искалеченных стали выползать из-под груды мертвецов.

Крики отчаяния и боли сменили в рядах осаждающих первые возгласы торжества, а тем временем Квазимодо, невозмутимый, опершись обоими локтями на решетку, смотрел на то, что происходило у ног его, напоминая собою старого, косматого владельца замка, смотрящего с высоты своей башни на отраженный неприятельский приступ.

Жан Фролло оказался в очень критическом положении: он очутился на галерее один, отделенный от своих товарищей совершенно вертикальной стеной в 80 футов вышины, с глазу-на-глаз с страшным звонарем. Однако, он не растерялся и, пока Квазимодо занят был лестницей, кинулся было к двери, ведущей на лестницу колокольни, в надежде найти ее открытой. Но он ошибся: звонарь, взойдя на галерею, запер ее за собою. Тогда Жан спрятался за каменную статую одного из королей, не смея перевести дыхание, устремив на чудовищного горбуна растерянный взор и напоминая собою того человека, который, ухаживая за женою одного сторожа при зверинце, однажды вечером отправился на любовное свидание, но перелез не через тот забор и вдруг очутился лицом к лицу с белым медведем.

В первые минуты глухой не обратил на него внимания; но, наконец, он обернулся и выпрямился, заметив забравшегося за статую школяра. Жан ожидал, что звонарь сейчас же ринется на него, но тот оставался неподвижен, уставив свой единственный глаз на молодого сорванца.

– Ну, чего ты так уставил на меня свой кривой глаз? – спросил Жан и вместе с тем стал направлять на Квазимодо свой самострел. – А вот, Квазимодо, – воскликнул он, – я сейчас изменю твое прозвище: теперь тебя уже не будут называть кривым, а слепым.

Он выстрелил. Крылатая стрела, просвистев на воздухе, вонзилась в левую руку горбуна. Но Квазимодо не обратил на нее большого внимания, чем на простую царапину. Он вытащил правой рукой стрелу из своей левой руки и спокойно переломил ее о колено. Затем он скорее уронил, чем бросил на каменный пол обломки ее. Жан не успел выстрелить во второй раз: разломав стрелу, Квазимодо засопел, подпрыгнул, точно сверчок, и ринулся на школяра, кольчуга которого сразу расплуснулась об стену. И затем среди царившего на галерее полумрака, при тусклом свете факелов, разыгралась страшная сцена.

Квазимодо левой рукою схватил Жана за обе руки; последний даже не старался отбиться: до того он сознавал себя погибшим. Правой же рукой он стал снимать одну за другою, молча, с страшной методичностью, все принадлежности его вооружения – меч, кинжал, шлем, латы, наручники, очень напоминая собою обезьяну, очищающую орех. Квазимодо бросил на пол, один за другим, куски железной скорлупы школяра.

Когда Жан увидел себя обезоруженным, раздетым, слабым, полунагим в этих страшных руках, он даже и не пытался говорить с этим глухарем, а начал смеяться ему в лицо и принялся напевать, с беззаботной смелостью 16-ти летнего мальчика, довольно популярную в то время песенку, начинавшуюся словами: «Порядком таки ошипан город Камбрэ. Его ограбил Марафен».

Но Квазимодо не дал ему докончить песни. Секунду спустя снизу можно было видеть, как звонарь, стоя на галерее, держал одною рукою школяра за обе ноги и размахивал им над пропастью, точно пращою. Затем раздался какой-то глухой звук, точно от ящика с костями, ударившегося об стену, и сверху полетело что-то остановившееся приблизительно на одной трети высоты колокольни, зацепившись за один из выступов ее: на стене остался висеть бездыханный труп, с разможенным черепом, с переломанными членами, перегнувшийся как-то пополам.

Крик ужаса раздался среди разбойников.

– Мщение! – вопил Клопен.

– Разнести церковь! – вторила ему толпа. – На приступ, на приступ!

И затем раздался невообразимый гам, в котором слились всевозможные наречия, жаргоны, произношения.

Смерть бедного школяра озлобила эту толпу. К тому же ей стало стыдно за то, что ее так долго задерживает перед церковью какой-то горбун. Она разыскала новые лестницы, зажгла факелы, и по прошествии нескольких минут растерянный Квазимодо увидел этот ужасный муравейник ползущим по всем стенам собора. Те, которым не хватило лестниц, взлезали по веревкам с узлами, те у которых не было веревок, с узлами карабкались, цепляясь за статуи и

за полы лиц, бывших впереди. Не было никакой возможности противостоять этому все выше и выше поднимавшемуся приливу страшных физиономий. Ярость заставляла сверкать глаза этих свирепых лиц, на загорелых лицах выступил пот, и все это ползло прямо на Квазимодо. Точно какой-то другой мир чудовищ выслал против стоявших на галерее собора чудовищ свою безобразную рать, и последняя затопляла первые.

Тем временем папертная площадка осветилась огнями тысяч факелов. Эта беспорядочная сцена, до сих пор окутанная глубоким мраком, вдруг озарилась ярким пламенем. Вся площадка горела огнями, отражавшимися красным заревом на небе. Костер, разведенный на верхней площадке, также продолжал гореть и освещал город на далекое расстояние, причем громадные силуэты обеих колоколен, возвышавшихся над парижскими стенами, выделялись на этом ярком фоне двумя громадными тенями. Теперь, казалось, и город обратил внимание на то, что происходило возле собора, – по крайней мере, издали доносился гул набата. Разбойники, запыхавшись и ругаясь, продолжали лезть кверху, и Квазимодо, сознавая свое бессилие против такого превосходства сил, дрожал за цыганку при виде этих разъяренных физиономий, все ближе и ближе приближающихся к галерее, просил у неба какого-либо чуда и в отчаянии ломал себе руки.

V. Молельня короля Людовика XI

Читатель, быть может, не забыл, что за минуту перед тем, как он увидел банду разбойников, Квазимодо, оглядывая Париж с высоты своей колокольни, заметил во всем городе только один огонек, блестевший в одном из окон самого верхнего этажа высокого и темного здания, возвышавшегося рядом с Сент-Антуанскими воротами. Здание это – была Бастилия; огонек этот – была свеча Людовика XI.

Действительно, король Людовик XI уже в течение двух дней был в Париже, и через два дня он снова собирался уезжать в свой укрепленный замок Монтиль-Летур. Он, вообще, появлялся в своем добром городе Париже лишь изредка и притом на короткое время, не чувствуя здесь вокруг себя достаточного количества опускных дверей, виселиц и шотландских стрелков.

Эту ночь он решил переночевать в Бастилии. Большая комната в тридцать квадратных футов, которая служила ему спальней в Луврском дворце, со своим большим камином, уставленным двенадцатью фигурами зверей и тридцатью статуями пророков, и его большая кровать в 11 футов длины – были не по нему. Он терялся во всем этом великолепии. Этот король-мещанин предпочитал Бастилию, с ее небольшой рабочей комнатой и небольшой кушеткой. И к тому же Бастилия была лучше укреплена, чем Лувр.

Эта «комнатка», которую выбрал себе король в знаменитой темнице, была, впрочем, довольно обширна и занимала самый верхний этаж в башне замка. Она имела круглую форму, стены ее были увешаны чем-то вроде половиков из блестящей соломы, балки на потолке были украшены оловянными, позолоченными лилиями, пролеты между балками были выкрашены яркой краской и обшиты деревянными, усеянными розетками из белой жести, панелями, украшенными ярко-зеленой краской, составленной из аурипигмента и индиго.

Комната эта имела только одно стрельчатой формы высокое и узкое окно, переплетенное проволокой и снабженное железными полосками. Но сквозь него проходило мало света, так как цветные стекла были затемнены гербами короля и королевы, по 22 су каждое. Она имела один только вход, в виде невысокой, полукруглой двери, обитой внутри материей, а снаружи ирландским деревом, и представлявшей собою одну из тех нежных и искусно сделанных столярных работ, которые можно было еще встретить в старинных домах лет полтора-два тому назад. «Хотя они обезображивают и загромождают строение, – говорит об них Соваль с некоторым отчаянием, – однако, старики наши не желают расстаться с ними и сохраняют их ко всеобщей досаде».

В этой комнате нельзя было найти никаких принадлежностей мебелировки обыкновенной комнаты, – ни скамеек, ни табуреток, ни столов, круглых или четырехугольных, ни красивых налоев для молитвы, поддерживаемых точеными колонками. В ней обращало на себя внимание только складное кресло с ручками, чрезвычайно изящной работы. По деревянной спинке его были выведены розы на красном фоне, сиденье было обтянуто алой, кордовской кожей, обито длинной шелковой бахромой, прикрепленной множеством позолоченных гвоздиков. В комнате этой не было иного кресла, кроме этого, из чего можно было заключить, что одна только особа имела право сидеть в этой комнате. Между креслом и окном стоял стол, покрытый ковром, на фоне которого изображены были птицы. На этом столе лежали: кожаный бювар, забрызганный чернильными пятнами, несколько пергаментов, несколько перьев и серебряная с чернью стопа. Несколько подальше – небольшая чугунная печка, очень простой налож для молитвы и, наконец, в глубине комнаты – простая кровать, покрытая желто-красным парчовым одеялом, без позументов и бахромы, с круглыми изголовьями. Эту самую историческую кровать, навевавшую на Людовика XI сон или бессонницу, можно было видеть не более двухсот лет тому назад у одного члена государственного совета, у которого ее видела старуха госпожа Пилу, известная в «Кире» под именем «Живой морали».

Такова была комната, называвшаяся «молельной короля Людовика XI».

В ту минуту, когда мы ввели читателя в это помещение, оно было совершенно темно. Уже с час, как подан был сигнал о тушении огней, и в большой комнате стояла только одна восковая свеча, колеблющийся свет которой освещал пять человек, находившихся здесь в это время.

Первый, который стоял ближе всего к свече, был, очевидно, весьма важный господин; на нем были надеты полосатые, красные с серебром, верхнее и исподнее платья и черный, с золотыми разводами, дорожный плащ. Этот блестящий костюм, на котором играли лучи света, блистал по всем швам. На груди верхнего платья был вышит яркими красками герб, – две широкие полосы, составлявшие угол, справа от них – масличная ветвь, а слева – олень. На поясе у него висела богатая шпага, рукоятка которой была вычеканена в форме двух переплетенных страусовых перьев, с графской короной наверху. Он держал голову высоко и имел гордый и недовольный вид. При первом взгляде на него в глаза бросалась надменность, при втором – хитрость.

Он стоял с непокрытой головой, держа в руке какой-то длинный пергамент, за высоким креслом, на котором сидел, как то некрасиво перегнувшись пополам, заложив ногу на ногу и опершись локтями о стол, человек, довольно небрежно одетый. Действительно, пусть читатель представит себе на богатом кресле из испанской кожи две угловатые коленные чашки, два худощавых бедра, облеченные в довольно грубое, черное трико, туловище, которое облекала какая-то бумазейная блуза, обшитая по краям потертым мехом, и, наконец, старая, засаленная, черная суконная шапка, обшитая шнурком со свинцовыми бляхами. Если к этому прибавить еще ермолку, из-под которой не торчало ни единого волоску, то читатель составит себе довольно верное понятие о наружности, сидевшей на кресле личности. Голова его до того низко была опущена на грудь, что изо всего лица его виден был только кончик носа, на который падал луч света и который, по-видимому, был очень длинен. По его худощавой, морщинистой руке можно было догадаться, что это был старик. Человек этот был Людовик XI.

На некотором расстоянии позади них разговаривали вполголоса два человека, одетые в костюмы фламандского покроя, на которых падало как раз столько света, что тот, кто присутствовал при представлении мистерии Гренгуара, не мог бы не узнать в них двух главных фламандских послов: Вильгельма Рима, рассудительного Гентского бургомистра, и Якова Коппенюла, популярного чулочника. Читатель, быть может, помнит, что оба эти лица были посвящены в тайны политики Людовика XI.

Наконец, в глубине комнаты, возле самой двери, стоял в полутьме, неподвижный, как статуя, небольшого роста, но коренастый человек, в военном костюме, с гербом на плаще, плос-

кое лицо которого, с глазами навывкате, с огромным ртом, с ушами, почти совершенно закрытыми двумя длинными наушниками, и с узким лбом, напоминало собою одновременно лицо и собаки, и тигра.

Все эти четыре лица, за исключением короля, стояли. Важное лицо, стоявшее ближе всего к королю, читало ему что-то вроде длинной записки и его величество, казалось, внимательно следил за чтением. Оба фламандца переговаривались между собою вполголоса.

– Однако, – ворчал Коппеноль, – я таки устал стоять. Неужели здесь нет ни одного стула?

Рим ответил отрицательным жестом и полуулыбкой.

– Ей-Богу, – продолжал Коппеноль, очень недовольный тем, что ему приходится так понижать свой зычный от природы голос: – меня разбирает охота присесть на пол, с подобранными под себя ногами, как я делаю это в своей мастерской, подобно всем чулочникам.

– Что это вы вздумали, Господь с вами, господин Коппеноль!

– Так неужели же, господин Рим, в этой стране полагается только стоять на ногах?

– Да, на ногах, или, пожалуй, и на коленях, – ответил Рим.

В это самое время король возвысил голос, и они оба поспешили замолчать.

– Итак, пятьдесят су за ливреи для наших лакеев и двенадцать ливров для плащей чиновников нашего двора! Так, так! Бросайте золото пригоршнями! Да вы с ума сошли, что ли, Олливые?

И с этими словами старик приподнял голову, причем на шее его блеснула золотая цепь ордена св. Михаила, а свет восковой свечи ярко озарил его худое и недовольное лицо.

– Вы разоряете нас! – продолжал он, вырывая бумаги из рук своего собеседника и водя по ним своими впалыми глазами. – К чему все это? На что нам такая роскошь? Два придворных каплана, с окладом по десяти ливров в месяц каждому, и один причетник, с окладом в сто су! Камер-лакей, с окладом в девяносто ливров в год! Четыре мундкоха, с жалованьем по 26 ливров! Один дворецкий, один огородник, один повар, один помощник повара, один ключник, два лакея – по десяти ливров в месяц каждому! Два кухонных мальчика по восьми ливров! Один конюх и два его помощника по 24 ливра! Носильщик, пирожник, булочник, два кучера – по 60 ливров в год каждому! И кузнец – 26 ливров, и казначей – 120 ливров, и контролер – 500 ливров! И Бог знает что еще! Да это просто безумие! Да платить такие оклады, значит, разорить всю Францию! Да все собранные в Лувре слитки расплавятся на таком сильном огне! Да их и не хватит, и нам придется еще продать нашу посуду, и в будущем году, если Господь Бог и Пресвятая Богородица дадут нам века (при этих словах он приподнял свою шляпу), нам придется пить из оловянных кружек!

Произнося эти слова, он бросил взор на серебряную стопу, стоявшую на столе, откашлялся и продолжал:

– Да, господин Олливые, крупные владетельные особы, как, например, короли и императоры, не должны допускать роскоши при своих дворах, ибо отсюда она распространится и по всей стране. Заруби себе это на носу, Олливые! Расходы наши растут с каждым днем, и это нам очень не нравится. На что же это, в самом деле, похоже? До 1479 года они не превышали 36,000 ливров. В 1480 году они достигли цифры 43,619 ливров, – я хорошо запомнил эту цифру, – в 1481 году – 66,680 ливров, а в нынешнем году цифра эта, пожалуй, дойдет до 80,000 ливров. Значит, она в какие-нибудь четыре года удвоилась! Это просто ужасно!

Он остановился, отдуваясь, и затем с жаром продолжал:

– Я вижу вокруг себя только людей, жиреющих на счет моей худобы. Вы высасываете у меня деньги через все поры моего тела!

Все молчали, сознавая, что нужно дать этому гневу свободно излиться. Затем король продолжал:

– А тут еще штаты Иль-де-Франса обращаются к нам с просьбой на латинском языке, требуя, чтобы мы восстановили то, что они называют расходами, принимаемыми на себя каз-

ной. Милое требование, нечего сказать! Да ведь эти расходы могут истощить нашу казну! А-а, господа бароны! Вы уверяете, что мы – не король! Мы покажем вам, король ли мы, или нет!

При этих словах он улыбнулся, в сознании своего могущества; при этом ему на душе стало легче, и он обернулся к фламандцам со следующими словами:

– Вот что я вам скажу, господин Рим: – все эти главные хлебодаеры, главные кравчие, оберкамергеры и сенешалы не стоят самого последнего моего лакея. Запомните это хорошенько, господин Коппеноль: они ровно ничего не стоят. Эти четыре высших придворных чина, без всякого смысла и толка торчащих вокруг короля, напоминают мне те четыре фигуры, которые стоят по сторонам больших часов в здании суда и которые Филипп Бриль только что обновил. Хотя они и позолочены, но они ни при чем в часовом механизме, и последний мог бы отлично обойтись и без них.

Он на минуту задумался и прибавил, покачивая своею старою головою:

– Нет, слуга покорный, я не последую примеру Филиппа Бриля, я не позолочу старых вассалов. Продолжай, Олливе!

Лицо, к которому он обратился, взяло тетрадь из его рук, и снова принялся читать вслух:

«Адаму Тенону, состоящему при хранителе печатей, за выгравирование печатей города Парижа и за употребленный на это материал, в виду полной негодности старых, уже совершенно стершихся, – двенадцать парижских ливров.

Гильому Фреру – четыре ливра четыре парижских су за присмотр и за прокормление голубей в двух голубятнях Турнельских башен в течение января, февраля и марта нынешнего года, на что им израсходовано семь мер ячменя.

Францисканскому монаху за исповедь одного преступника – четыре парижских су».

Король слушал молча, по временам покашливая, поднося к губам стопу, отпивая из нее глоток и делая при этом гримасу.

«В истекшем году, по распоряжению суда, на улицах Парижа прочитано было при звуке труб пятьдесят шесть объявлений. По счетам этим еще предстоит уплатить.

За рытие земли, как в Париже, так и в других местах, для отыскания якобы зарытых кладов, причем, однако, ничего не найдено, – сорок пять парижских ливров».

– Это значит зарыть экую для того, чтобы найти су, – заметил король.

«За вставку в Турнельской башне шести белых стекол в железной клетке – 13 су. За изготовление, по повелению короля, ко дню тезоименитства его величества, четырех щитов с королевскими гербами, обвитых розами, – шесть ливров. За два новых рукава к старому камзолу короля – 20 су. За коробку жира для смазывания сапог короля – 15 сантимов. За постройку нового хлева для черных поросят короля – 30 парижских ливров. За постройку сарая для помещения королевских львов – 22 ливра».

– Дорогонько-таки! – заметил Людовик XI. – Впрочем, что ж делать? Нельзя же королю обойтись без львов! К тому же в числе их есть большой, рыжий лев, штуки которого мне очень нравятся. Видели ли вы его, господин Гильом? У вашего брата, короля, львы заменяют собак, а тигры – кошек. Большому кораблю – большое и плавание. В языческие времена, когда народ приносил Юпитеру гекатомбы, состоявшие из ста быков и ста баранов, цари приносили ему в жертву сто орлов. Это было очень дико, но все же красиво. Короли Франции всегда любили слышать рев этих зверей вокруг своего трона. Надеюсь, что мне отдадут, по крайней мере, справедливость в том, что я все же расходую меньше денег, чем они, и что у меня не особенно много львов и медведей, слонов и барсов. Продолжайте, Олливе! Я только желал обратить на это внимание наших друзей-фламандцев.

Вильгельм Рим низко поклонился, между тем, как Коппеноль своим насупившимся видом очень напоминал собою одного из тех медведей, о которых говорил король. Но король этого не заметил, ибо он только что снова приложился губами к стопе и проговорил, отплеываясь:

– Фу! Какое отвратительное пойло!

Чтец продолжал:

– «За прокорм одного бездельника, содержащегося в тюрьме в течение шести месяцев в ожидании решения своей участи, – 6 ливров 4 су».

– Это еще что такое! – воскликнул король. – Кормить того, кого следует повесить! Черт побери! Я не дам больше ни единого су на прокорм его! Переговорите об этом, Олливые, с господином д'Эстетувиллем, и не угодно ли будет последнему сегодня же приступить к приготовлениям для обвенчания этого молодца с виселицей. Продолжайте!

Олливые сделал ногтем отметку против статьи «за прокорм бездельника» и продолжал:

«Анри Кузену, главному парижскому палачу, шестьдесят парижских су, по распоряжению г. парижского судьи, за купленный им, вследствие приказания означенного судьи, широкий меч для обезглавливания лиц, присужденных к смерти за свои злодеяния, а также за ножны к нему, и за починку старого меча, зазубрившегося во время исполнения казни над графом Людовиком Ньюсенбургским»...

– Довольно! – перебил его король. – С величайшей охотой утверждаю эту статью. За такого рода расходами я не стою. Употребленных па этот предмет денег мне никогда не жаль. Дальше!

«За сделанную новую большую клетку»...

– Ага! – воскликнул король, оживившись и хватаясь руками за ручки кресла, – я знал, что приехал в Бастилию даром. Погодите немного, Олливые! Я желаю взглянуть на эту клетку, а вы, во время осмотра, сообщите мне, сколько она стоит. – Господа фламандцы, не угодно ли посмотреть? Это очень любопытно!

И затем он встал, оперся на руку своего собеседника, знаком приказал стоявшему у дверей в полнейшем безмолвии человеку идти впереди него, а обоим фламандцам – следовать за ним, и вышел из комнаты. Кorteж этот увеличился еще при выходе из двери вооруженными людьми, закованными в железо, и несколькими пажами, освещавшими им путь. Они шли некоторое время по разным лестницам и коридорам, среди высоких и толстых стен, причем комендант Бастилии, шедший впереди всех, велел открыть двери перед старым и больным королем, который все время сильно кашлял. Перед всякою низкою дверью все принуждены были нагибать головы, за исключением короля, согбенного от старости.

– Гм, гм, – шамкал он своим беззубым ртом, – таким образом, мне, кажется, не трудно будет пройти и в могильную дверь.

Наконец, войдя в последнюю дверь, до того загроможденную замками, что понадобилось целых пятнадцать минут для того, чтобы отпереть ее, они вошли в обширную, высокую залу с стрельчатыми окнами, в середине которой, при свете факелов, можно было различить какой-то громадный куб, сделанный из камня, из железа и из дерева, и внутренность которого была пуста. Это была одна из предназначавшихся для государственных узников клеток, которые прозвали «дочурками короля». В стенках ее были проделаны два или три окошечка, до такой степени переплетенных толстыми железными полосами, что из-за них совсем не видно было стекла. Дверь заменяла большая каменная плита, в роде тех, что кладутся на могилы. В эти двери можно было только входить, но не выходить из них; только здесь место мертвеца занимал живой человек.

Людовик XI стал медленно расхаживать вокруг этого сооружения, внимательно разглядывая его, между тем, как Олливые читал ему вслух:

«За сделанную вновь большую клетку из толстых бревен, решетин и лежней, девяти футов длины, восьми ширины и семи вышины, обитую толстым листовым железом, в каковой клетке, находящейся в одной из башен Сент-Антуанской Бастилии, заключен и содержится, по повелению все милостивейшего короля нашего, узник, обитавший прежде старую и полуразвалившуюся клетку. На означенную новую клетку пошли: 96 лежащих бревен и 52 стоячих

бревна и десять лежней, по 18 футов длины каждый, а для обтески, обстругания и приложения всех означенных бревен на дворе Бастилии, в течение двадцати дней...»

– Недурной дуб, – заметил король, стучая кулаком по бревнам.

«...На означенную клетку далее пошло, – продолжал чтец: – 220 железных полос, по девяти и по восьми футов длины, не считая полос менее длинных, не считая обручей, решеток и креплений, – всего же пошло железа три тысячи семьсот тридцать пять футов; кроме того, употреблено восемь больших железных колец на прикрепление означенной клетки, да железных скоб и гвоздей, весом всего 218 фунтов чистого железа, да еще железных полос для обшивки дверей и окон той комнаты, в которой помещена клетка, да других железных поделок...»

– Вот сколько понадобилось железа, – заметил король, – для того, чтобы сдержать один легкомысленный ум!

– «...А всего израсходовано триста семнадцать ливров пять с половиною су...»

– Ах, черт побери! – воскликнул король.

При этом восклицании кто-то как будто проснулся внутри клетки, послышался лязг цепей о каменный пол, и раздался слабый голос, выходивший точно из могилы.

– Поощадите! поощадите, ваше величество! – глухо простонал этот голос.

– Триста семнадцать ливров пять с половиною су! – повторил король.

Жалобный голос, раздавшийся из клетки, заставил вздрогнуть всех присутствующих, не исключая и Оливье; один только король как будто даже и не слышал его. Он велел Оливье продолжать чтение, а сам снова принялся за рассматривание клетки.

«Кроме того, – раздался монотонный голос чтеца, – заплачено каменщику, просверлившему отверстие для железных стропил комнаты, в которой помещена клетка, – ибо иначе пол не выдержал бы тяжести клетки, – двадцать семь ливров четырнадцать су...»

– Поощадите, ваше величество! – снова послышался голос из клетки, – клянусь вам, что измену совершил господин анжерский кардинал, а не я!

– Однако, порядочный плут этот каменщик! – воскликнул король. – Продолжайте, Оливье!

– «...Плотнику за оконные рамы, нары, судно и за другие мелочи двадцать ливров два су...»

– Ах, ваше величество, – продолжал в свою очередь голос из клетки, – неужели вы меня не выслушаете? Уверяю вас, что не я написал об этом герцогу Гиэннскому, а господин кардинал Балю!

– И плотник взял не дешево, – заметил король. – Ну, что же, конец?

– Никак нет, ваше величество. – «Стекольщику за вставку окон в означенной комнате сорок восемь с половиною парижских су...»

– Поощадите, ваше величество! Неужто ж недостаточно того, что все мои имения отданы моим судьям, моя посуда – господину Торси, мои книги – Пьеру Дориолу, мои ковры – губернатору Руссильона? Я ни в чем не виноват! Вот уже четырнадцать лет я гнию в железной клетке. Поощадите меня, ваше величество, и небо воздаст вам за то сторицей!

– И каков же общий итог, Оливье?

– Триста шестьдесят семь ливров восемь с четвертью су.

– Сто тысяч чертей! – воскликнул король, – вот так дорогая клетка!

И с этими словами он выхватил тетрадку из рук Оливье и стал сам пересчитывать по пальцам, глядя то на бумагу, то на клетку. А тем временем из последней явственно доносились рыдания узника. Все это производило потрясающее впечатление, и спутники короля побледили.

– Уже четырнадцать лет, ваше величество! Целых четырнадцать лет! С апреля 1469 года! Выслушайте меня, ради Пресвятой Богородицы! Вы все это время пользовались солнечным

светом, – а я, несчастный, увижу ли я его когда-нибудь! Пощадите, ваше величество! Будьте милостивы! Милосердие украшает монархов. Неужели вы полагаете, ваше величество, что в смертный час человеку доставляет великое облегчение сознание, что он не оставил безнаказанным ни одного оскорбления? Да к тому же клянусь вам, государь, не я изменил вам, а епископ анжерский. И, наконец, у меня на ногах кандалы и железное ядро гораздо более тяжелы, чем следует. Сжальтесь надо мною, ваше величество!

– Олливые, – произнес король, покачивая головою, – я вижу, что мне сосчитали бочку известки по двадцати су, когда она стоит всего двенадцать. Нужно исправить счет.

И затем он повернулся спиной к клетке и стал направляться к двери. Несчастный узник, заключив из удалявшегося от него света и шума, что король уходит, закричал отчаянным голосом:

– Ваше величество! Ваше величество!

Но дверь захлопнулась. Вокруг него водворилась глубокая тьма, и до слуха его долетал лишь хриплый голос тюремщика, напевавшего какую-то песенку.

Король молча поднимался в свой рабочий кабинет, а свита его следовала за ним под тяжелым впечатлением стонов несчастного узника. Вдруг Людовик XI обратился к коменданту Бастилии с вопросом:

– А кстати, ведь, кажется, кто-то сидел в этой клетке?

– Как же, ваше величество, – ответил комендант, пораженный этим вопросом.

– Да кто же это такой?

– Господин верденский епископ.

Королю это было известно лучше, чем кому-либо. Но это было одно из его чудачеств.

– Ах, да, – проговорил он самым наивным тоном, как будто впервые об этом вспомнив, – друг кардинала Балю! А ведь добрый малый, этот епископ!

По прошествии нескольких минут дверь в рабочий кабинет короля снова распахнулась перед пятью лицами, которых читатель застал в нем в начале настоящей главы, и затем закрылась за ними; все эти лица снова заняли свои прежние места и позы и продолжали вполголоса свою беседу.

В отсутствие короля на его стол было положено несколько запечатанных пакетов, которые он сам вскрыл. Затем он стал пробегать бумаги, одну за другою, знаком указав Олливые, состоявшему при нем, по-видимому, в качестве секретаря, на лежавшее тут же перо и, не сообщая ему содержания депеш, стал диктовать ему вполголоса ответы на них, которые тот, не смея сесть, записывал, пристроившись к столу в довольно неловкой позе на коленях.

Вильгельм Рим внимательно наблюдал за ними. Но король диктовал так тихо, что до слуха фламандцев долетали только отдельные, малопонятные им обрывки, как, например:

«Удержать плодородные местности для торговли, а бесплодные – для мануфактурной промышленности... Показать господам англичанам наши четыре большие пушки – Лондон, Брабант, Бург-ан-Бресс и Сент-Омер... Благодаря введению артиллерии, войны ведутся теперь более осматрительно... Другу нашему, господину Брессюиру... Армий нельзя содержать без контрибуций...» и т. д., и т. д.

Впрочем, однажды он возвысил голос и воскликнул:

– Однако господин сицилийский король запечатывает свои грамоты желтым сургучом, точно король Франции! Этого не следовало бы позволять ему. Нужно охранять права свои даже и в мелочах. Отметь-ка это, Олливые!

– О, о, – громко произнес он, проработав еще некоторое время молча: – о чем это пишет нам брат наш, император? – И он стал пробегать послание, сам себя прерывая восклицаниями:

Это верно! Немки эти рослы и толсты просто до невероятия. Но не следует забывать старинной поговорки: «Самое лучшее графство – Фландрия; самое лучшее герцогство – Милан; самое лучшее королевство – Франция». – Не так ли, гг. фламандцы?

На этот раз наклонил голову не только Вильгельм Рим, но и Коппеноль, так как король своими словами приятно пощекотал патриотизм чулочника.

– Это еще что такое? – воскликнул Людовик XI, пробежав последнюю депешу и наморщив брови. – Жалобы и челобитные на наших солдат в Пикардии! – Олливе, написать немедленно г. маршалу Руо, что дисциплина ослабела, что жандармы, дворянские дружины, вольные стрелки, швейцарцы творят бесчисленные притеснения обывателям; что солдаты, не довольствуясь добром, которое они находят в хижинах поселян, принуждают их, с помощью ударов палками и рогатиной, доставлять им вино, рыбу, пряности и другие лакомства, – Нужно объявить ему, что мы желаем избавить народ наш от всяких притеснений, вымогательств и насилий, что такова наша воля. Да кстати, отпиши ему еще, что нам вовсе не нравится то, что какой-нибудь гудочник, цирюльник или конюх наряжается, точно принц, в бархат, шелк и золотые позументы; что подобное тщеславие неуместно и Господу Богу, что и мы, король, довольствуемся суконным камзолом по 16 су аршин, и что господ обозных служителей не убудет, если и они снизойдут до этого. Отпишите все это нашему другу, господину маршалу Руо. – Хорошо!

Он продиктовал это письмо громким, твердым и отрывистым голосом. В ту минуту, когда он оканчивал его, дверь отворилась, и в комнату скорее влетело, чем вошло, новое лицо, которое кричало испуганным голосом:

– Ваше величество! ваше величество! В Париже бунт!

Серьезное лицо Людовика XI передернулось, но обнаружившееся было на нем на одно мгновение волнение сразу же улеглось. Он сдержался и произнес спокойным и твердым голосом:

– Что это вы так врываетесь в комнаты, кум Жак?

– Бунт, бунт, ваше величество!.. – кричал кум Жак, еле переводя дыхание.

Король поднялся со своего места, подошел к нему, схватил его за руку и сказал ему на ухо, так что он один мог расслышать его, со сдержанным гневом и бросая косвенный взгляд на фламандцев:

– Замолчи, или говори потихоньку!

Новоприбывший понял смысл этих слов и принялся с испуганным видом рассказывать ему что-то вполголоса. Король спокойно выслушивал его, между тем, как Вильгельм Рим обращал внимание Коппеноля на лицо и костюм новоприбывшего, на его меховую шапку, на его короткую епанчу, на его черную, бархатную мантию, указывавшую на то, что он принадлежит к числу советников счетной камеры.

Но как только лицо это представило королю несколько объяснений, Людовик XI воскликнул, засмеявшись:

– Да что вы там такое шепчете, кум Коактье! Можете говорить громко. У нас нет никаких секретов от наших друзей фламандцев.

– Но, ваше величество...

– Говорите громче!

«Кум Коактье» так и обомлел от удивления.

– Итак, вы говорите, сударь, – громко заговорил король: – что произошел бунт среди обывателей нашего любезного города Парижа?

– Да, ваше величество.

– И он направлен, говорите вы, против главного парижского судьи?

– По-видимому, – ответил «кум», заминаясь и не будучи в состоянии прийти в себя от неожиданного и непонятного для него переворота в образе мыслей короля.

– А где же дозорные встретили толпу? – продолжал допытываться Людовик XI.

– На пути от большого притона бродяг к мосту Менял. Да я и сам ее встретил, направляясь сюда, во исполнение повелений вашего величества. Я даже расслышал раздававшиеся из толпы крики:

– Долой парижского судью!

– А что же такое они имеют против судьи?

– Да просто то, что он не дает им спуска.

Неужели?

– Да, ваше величество. Ведь это все бездельники из «Двора Чудес». Они давно уже жалуются на строгость судьи и не желают признавать власти его над собою.

– Вот как! – заметил король с еле сдерживаемой улыбкой удовольствия.

– Во всех своих просьбах парламенту, – продолжал «кум Коактье», – они утверждают, что у них только два господина: ваше величество и Господь Бог, или, – я скорее полагаю, – дьявол.

– Вот как! – опять повторил король. При этом он потирал себе руки и смеялся тем внутренним смехом, от которого лицо принимает радостное выражение. Вообще он не в состоянии был скрыть овладевшего им чувства радости, хотя он и старался сдерживаться. Никто ничего не понимал в этом, даже Оливье. Король помолчал с минуту с задумчивым, недовольным выражением лица, и затем вдруг спросил:

– А много их?

– Да, очень много, ваше величество, – ответил Жак.

– Ну, а например?

– Да, по крайней мере, тысяч шесть.

Король не мог удержаться и воскликнул:

– Отлично! А что – они вооружены?

– Косами, копьями, пищалями, мотыками, словом – всякого рода очень опасным оружием.

Но король, по-видимому, нимало не смутился этим перечислением, и потому «кум Коактье» счел нужным прибавить:

– Если ваше величество не пошлете тотчас же выручку судье, он погиб!

– Как же, как же, пошлем! – заметил король с притворной веселостью: – конечно, мы пошлем. Ведь господин судья нам друг. Шесть тысяч! однако, отчаянные же ребята! Дерзость их изумительна, и мы очень разгневаны. Но в эту ночь мы имеем при себе мало войска. – Успеем и завтра утром.

– Нет, ваше величество! – воскликнул Коактье, – нужно послать помощь немедленно, иначе мошенники успеют двадцать раз разнести здание суда и повесить судью! Ради Бога, ваше величество, пошлите выручку ранее завтрашнего утра!

– Я вам сказал – завтра утром, – проговорил король, пристально взглянув ему в глаза.

Это был один из тех взоров, после которого не отвечают. Помолчав немного, Людовик XI снова возвысил голос.

– Вам это должно быть известно, кум Жак. В чем заключалась, – поправил он сам себя, – юрисдикция парижского судьи?

– Она простирается, ваше величество, на местность между улицами Каландр и Травяною, на площадь Сен-Мишель, на местность, называемую в простонародье «междустенной», в окрестностях церкви Богоматери в Полях (тут Людовик XI приподнял немного свою шляпу), в каковом околотке числится тринадцать домов, далее на Двор Чудес, на больницу для прокаженных в предместье и, наконец, на местность между этой больницей и воротами Сен-Жак. Во всех этих частях города ему принадлежит право суда, дорожное право, и он считается здесь властелином.

– Ай, ай, ай! – проговорил король, почесывая себе левое ухо правой рукою, – ведь это изрядный таки ломтик моего доброго Парижа! И г. судья был властелином всей этой части города!

На этот раз он не спохватился и не понравился, а продолжал задумчиво, как бы говоря сам с собою:

– Так вот как, г. судья! Вы держали в зубах недурной кусочек нашего Парижа!

И затем он вдруг заговорил с жаром:

– Черт их побери, этих господ, выдававших себя в наших владениях за судей, господ и властителей, поставивших на каждом шагу по рогатке и на каждом перекрестке-по виселице, на которых они вешали наших верных подданных! Ведь они довели дело до того, что, подобно греку, насчитывавшему столько же богов, сколько он видел ручьев, и персу, насчитывавшему столько же богов, сколько он видел звезд, каждый француз насчитывает столько же королей, сколько он видит виселиц. Это, черт побери, никуда не годится, и я этому положу конец! Неужели в Париже может существовать иное правосудие, кроме нашего, иные дорожные пошлины, кроме установленных нами, иной повелитель, кроме нас! Клянусь душой моей, должен же, наконец, наступить день, когда во Франции будет только один король, один властитель, один судья, подобно тому, как в раю – только один Бог.

Тут он снова приподнял свою шапочку и продолжал, по-прежнему ни к кому не обращаясь, с видом и тоном доезжего, науськивающего свору:

– Дело, дело, народ мой! Хорошо! Истребляй этих самозванных господ! Продолжай свое дело! Ату, ату их! Грабь, вешай, громи их! А-а, господа, вы захотели быть королями! Хорошенько их, народ, хорошенько!

Но тут он остановился, как бы спохватившись, закусил губы, как бы желая поймать свою мысль, уже наполовину выпорхнувшую из его уст, окинул поочередно взором всех окружавших его лиц, и затем, сорвав с головы своей шапку и глядя на нее, произнес:

– О, я бы сжег тебя, если бы ты знала, что хранится в голове моей! После того, снова окинув все кругом зорким и беспокойным взглядом лисицы, прокрадывающейся в свое логовище, он прибавил спокойным, по-видимому, голосом: – Впрочем, не в том дело! Мы пошлем подмогу г. судье. Но только, к сожалению, у нас в настоящее время под рукою мало войска, и ему не справиться с этой массой. Придется подождать до завтрашнего дня. В городе восстановлен будет порядок, а тех, кто будет захвачен, не погладят по головке.

– Ах, кстати, ваше величество, – вставил здесь свое слово «кум Куактье», – я забыл доложить вам, что ночному дозору удалось захватить двух лиц, оставших от банды. Если вашему величеству угодно будет взглянуть на них, то они здесь, под рукою.

– Еще бы не желать! – воскликнул король. – Как, черт побери, ты забываешь подобные вещи! Эй, Олливые, беги скорее ты и приведи их сюда!

Олливые вышел из комнаты и минуту спустя снова явился в сопровождении двух пленников, окруженных стрелками королевской стражи. У одного из них было толстое, идиотское, пьяное и изумленное лицо. Одет он был в лохмотья и шел, волоча ноги и как бы приседая. У второго было бледное и улыбающееся лицо, уже знакомое читателю.

Король с минуту смотрел на них, не говоря ни слова, и затем отрывисто спросил первого:

– Как тебя звать?

– Жоффруа Пенсбурд.

– Ремесло твое?

– Бродяга.

– Ради чего ты присоединился к этой преступной экспедиции?

Бродяга взглянул на короля бессмысленным взором, размахивая руками. Это был один из тех ограниченных людей, у которых в голове не больше света, чем в свече под гасильником.

– Не знаю, – ответил он. – Все пошли, и я пошел.

– Не имели ли вы целью наглým образом ограбить и убить нашего судью города Парижа?

– Не знаю. Я знаю только, что шли брать что-то у кого-то. Вот и все.

Один из стражников показал королю серп, найденный у разбойника.

– Узнаешь ли ты это оружие? – спросил король.

– Да, это мой серп. Я – виноградарь.

– А признаешь ли ты в этом человеке товарища своего? – продолжал Людовик XI, указывая на другого пленника.

– Нет, я его вовсе не знаю.

– Довольно, – произнес король и, сделав знак рукою молчаливому человеку, неподвижно стоявшему возле дверей и на которого мы уже обращали внимание читателя, он прибавил:

– Кум Тристан, возьми-ка этого человека под свое попечительство.

Тристан Пустынник поклонился и что-то сказал на ухо двум стражникам, которые увели с собою бедного бродягу.

Король приблизился ко второму пленнику, у которого на лбу выступили крупные капли пота, и спросил его:

– Твое имя?

– Пьер Гренгуар, ваше величество.

– Ремесло твое?

– Философ, ваше величество.

– Как ты себе позволил, негодяй, нападать на нашего друга, парижского судью, и что ты имеешь сказать об этом народном бунте?

– Я, ваше величество, вовсе не участвовал в нем.

– Как так, негодяй! Но разве ты не был захвачен дозором среди этой сволочи?

– Никак нет, ваше величество, тут произошла ошибка, несчастная случайность. Я, изво-лите ли видеть, ваше величество, – соблаговолите меня выслушать, – я пишу трагедии: я поэт, а люди моего закала имеют обыкновение бродить ночью по улицам. И вот я совершенно случайно проходил по этому месту сегодня вечером, и меня понапрасну задержали. Я не причем во всей этой сумятице. Ваше величество изволили сами слышать, что только что допрошенный разбойник даже не признал меня. Я умоляю ваше величество...

– Замолчи, – проговорил король между двумя глотками своего настоя. – У меня от твоей болтовни голова пошла кругом.

– Ваше величество, можно повесить и этого? – спросил Тристан Пустынник, указывая пальцем на Гренгуара.

Это было первое слово, которое произнес этот человек.

– Пожалуй, небрежно ответил король, – я не вижу в том никакого неудобства.

– Нет, позвольте, ваше величество! – воскликнул Гренгуар, – я вижу в том большое неудобство!

Наш философ был в эту минуту зеленее оливки. По холодному и равнодушному лицу короля он догадался, что ему остается ждать спасения разве от чего-либо в высшей степени патетического, и он воскликнул, бросаясь к ногам Людовика XI и отчаянно жестикулируя:

– Соблаговолите выслушать меня, ваше величество! Не раздражайтесь на меня громом из-за таких пустяков, ваше величество! Ведь не поражает же Господ своею молнией ничтожную былинку! Ваше величество, вы могущественный и великий монарх! Сжальтесь над честным беднягой, который так же малоспособен возбудить восстание, как льдинка дать искру! Всемило-стивейший монарх, великодушие составляет отличительную добродетель львов и монархов! Увы, строгость способна только пугать умы. Сильные порывы урагана могут заставить путника лишь крепче закутываться в свой плащ, между тем, как солнце, согревая его своими теплыми лучами, в состоянии заставить его разоблачиться до рубашки. Вы, ваше величество, – то же солнце. Клянусь вам, всемило-стивейший государь, что я не бродяга, не вор и не разбойник. Бунт и разбойничество не принадлежат к атрибутам Аполлона. Уже, конечно, не я заберусь в те облака, которые раздражаются громами бунтов и восстаний. Я – верный подданный вашего величества. А верный подданный должен относиться к славе своего монарха с тою же ревностью, с которою муж относится к чести своей жены, с тем же чувством, с которым сын относится к доброму имени своего отца. Он должен пожертвовать собою, дать изрубить себя на

куски ради своего монарха. Он не должен иметь никакой другой страсти. Таковы, по крайней мере, ваше величество, мои убеждения. Поэтому не считайте меня бунтовщиком и грабителем только потому, что у меня сюртук потерт на локтях. Если вы помилуете меня, ваше величество, то я потру исподнее платье мое на коленях, моля денно и ночью Создателя о вашем благоденствии. Увы! я, к сожалению, не особенно богат; я даже несколько беден. Но из этого еще отнюдь не следует, чтобы я был порочен. Да, наконец, ведь и не я виноват в том, что я беден. Всякому известно, что от трудов праведных не наживешь домов каменных и что из книг шубы себе не сошьешь. Стряпчество берет себе все зерно, а другим научным профессиям оставляет одну только мякину. По поводу дырявых плащей философов существует не менее сорока очень метких пословиц. Ах, ваше величество, милосердие – это единственный свет, который в состоянии заставить осветить внутренность великой души! Милосердие – это светоч для всех других добродетелей! Без нее – остальные добродетели были бы слепцами, ощупью ищущими Бога. Оно привлекает к монархам любовь подданных, составляющую лучшую охрану для особы монарха. И что вам, ваше величество, в том, что на свете будет существовать лишний бедняга, лишний невинный философ, борющийся с гонениями судьбы, карманы и желудок которого одинаково пусты? К тому же, ваше величество, я человек, занимающийся литературой, а покровительство литературе – это лишняя жемчужина в короне великих монархов. Аполлон не пренебрегал титулом предводителя муз. Матвей Корвин покровительствовал Жану де-Монройялю, красе математиков. А какое же это будет покровительство литературе, если станут вешать литераторов? Какое пятно осталось бы на памяти Александра, если бы он велел повесить Аристотеля? Это не явилось бы маленькой мушкой на его лице, отчасти даже украшающей его, а вередом, который обезобразил бы его. Я, ваше величество, написал очень обширное стихотворение по поводу бракосочетания августейшего господина дофина и принцессы Фландрской. Неужели это был бы способен сделать зачинщик восстания? Итак, ваше величество изволите усмотреть, что я не какой-нибудь писака, что я обладаю серьезными научными познаниями и недюжинным даром красноречия. Помилосердуйте, ваше величество! Вы этим сделаете дело, угодное Богоматери, и, наконец, клянусь вам, меня очень пугает мысль о смерти!

И, произнося эти жалкие слова, несчастный Гренгуар лобызал туфли короля, между тем, как Вильгельм Рим говорил на ухо Коппенюлю:

– Он хорошо делает, что валяется у него в ногах. У иных монархов, как у Юпитера Критского, уши приставлены к ногам.

А чулочник, нимало не думая о Юпитере Критском, ответил, улыбаясь, не сводя глаз с Гренгуара:

– Так, так! Ни дать, ни взять – канцлер Гюгонет, вымаливающий у меня прощения.

Когда Гренгуар, наконец, остановился, весь запыхавшись, он, дрожа всем телом, поднял глаза на короля, который во все время его речи соскабливал ногтем восковое пятно на своих панталонах. Затем Людовик прихлебнул из своей стопы горького настоя, не произнося ни единого слова, и это молчание терзало несчастного Гренгуара. Наконец, король взглянул на него.

– Вот так несносный болтун! – проговорил он, и затем прибавил, обращаясь к Тристану Пустыннику:

– Эй, отпустить его!

Гренгуар упал навзничь от радости.

Отпустить его! – пробормотал Тристан. – А не полагаете ли, ваше величество, что его не мешало бы несколько попридержать в нашей клетке?

– Неужели ты полагаешь, кум, – ответил Людовик XI, – что мы строим для таких птиц клетки, стоящие 367 ливров восемь с половиной су? Отпустить сейчас этого шута горохового и дать ему на дорогу здорового пинка.

У-у! воскликнул Гренгуар: – вот так великий король!

И, опасаясь, как бы король не взял назад своего приказания, он бросился к двери, которую Тристан распахнул перед ним с довольно сердитым видом. Солдаты вышли вместе с ним, толкая его перед собою в загривок, что Гренгуар, однако, выносил, как истинный философ-стоик.

Хорошее расположение духа короля сказывалось во всем с тех пор, как ему сообщено было о возмущении против парижского судьи, и это, вовсе не свойственное ему, милосердие было одним из проявлений его, между тем, как Тристан Пустынник напоминал собою в своем углу собаку, с недовольным видом смотрящую вслед за вырванной у нее из-под носа добычей.

Король весело выбивал пальцами на ручке своего кресла Понт-Одемерский марш. Это был, вообще, человек скрытный, который, однако же, гораздо лучше умел скрывать свои заботы, чем свое горе. Порою эти проявления у него радостного настроения при получении какого-нибудь приятного известия заходили очень далеко; так, например, при получении известия о смерти Карла Смелого, он, несмотря на свою скупость, пожертвовал серебряную решетку в Турскую церковь св. Мартина, а при восшествии своем на престол он забыл даже распорядиться насчет похорон отца своего.

– А кстати, ваше величество, – обратился к нему вдруг Жак Коактье, – а что же острый припадок вашей болезни, ради которой вам угодно было призвать меня к себе?

– Ах, да, – повторил король: – я, действительно, чувствую сильные боли, сват. У меня какой-то свист в ушах, а в груди у меня точно кто-то скребет раскаленными граблями.

Коактье взял руку короля и стал ему щупать пульс с серьезным видом.

– Посмотрите-ка, Коппеноль, – сказал Рим вполголоса, обращаясь к своему товарищу, – вот он сидит между Коактье и Тристаном. Это – весь его двор: врач для него, палач – для других.

Щупая пульс короля, Коактье становился все более и более серьезным. Людовик XI смотрел на него с некоторым беспокойством. Лицо Коактье заметно становилось все более и более мрачным. Плохое состояние здоровья короля составляло его доходную статью, и он старался извлечь из него возможно большую пользу.

– О, о! – пробормотал он, наконец, – с этим, однако, шутить нельзя!

– Не правда ли? – спросил король с беспокойством.

– Пульс неровен, учащен, лихорадочен, – продолжал врач.

– Ах, черт побери!

– Да, если так будет продолжаться, человека не хватит и на три дня.

– Пресвятая Богородица! – воскликнул король. – А какое же против этого есть средство, кум?

Вот я об этом то и думаю, ваше величество. Он пригласил короля показать язык, покачал головою, скорчил гримасу и вдруг воскликнул:

– Ах, да, ваше величество, вот что я хотел сказать вам: освободилась вакансия сборщика податей, а у меня есть племянник...

– Я даю это место твоему племяннику, кум Жак, – ответил король, – но только ради самого неба вынь у меня этот огонь из моей груди.

Так как ваше величество настолько милостивы, – продолжал врач: – то вы, вероятно, не откажете мне в маленьком вспомоществовании для достройки моего дома в улице Сент-Андре.

– Гм! гм! – откашлянулся король.

– Дело в том, что у меня не хватает денег, – продолжал врач, – а было бы, право, жаль, если бы мне не удалось подвести мой дом под крышу. Дело не столько в самом доме, – это самый простой, мещанский дом, – а было бы жаль прекрасных фресок Жана Фурбо, украшающих карнизы его. Тут, между прочим, изображена летающая по воздуху Диана, такой превосходной, нежной, изящной работы, такого тонкого письма, с новолунием на голове вместо диадемы, и с такой поразительной белизны кожей, что у человека, слишком близко присмат-

ривающегося к ней, невольно являются нескромные желания. Есть тут также и Церера, то же весьма замечательной работы: она сидит на снопах хлеба, а на голове у нее надет венок из колосьев, переплетенных васильками и другими полевыми цветами. Невозможно представить себе более влюбленных глаз, более красивых ног, более благородного вида, более изящной драпировки одежды. Это одна из самых совершенных и из самых целомудренных красавиц, которые когда-либо выходили из-под кисти художника.

– Ну, говори же скорее, к чему ты клонишь? – пробормотал Людовик XI.

– Да вот видите ли, ваше величество, для всех этих художественных сокровищ нужна крыша, и хотя это будет стоить и не Бог весть как дорого, но у меня уже не осталось денег.

– А во что она обойдется, твоя крыша?

– Как вам сказать! Если ее сделать из позолоченной меди, с украшениями, то самое большее – две тысячи ливров.

– Ах, разбойник! – воскликнул король. – Каждый зуб, который он вырывает у меня, сделан из чистого алмаза.

– Так что же, могу я рассчитывать на крышу? – спросил Коактье.

– Да, только вылечи меня и убирайся к черту!

Жак Коактье отвесил низкий поклон и сказал: – Ваше величество, вас может спасти внутрь вгоняющее средство. Мы положим вам на поясницу большой пластырь, сделанный из спуска, армянской жирной глины, яичного белка, деревянного масла и уксуса. Кроме того, вы будете продолжать пить ваш отвар, и мы отвечаем за здоровье вашего величества.

На горящую свечу летит не одна только мошка. Олливе, заметив, что король находится в хорошем расположении духа, счел нужным воспользоваться этим удобным моментом и сказал, в свою очередь, приближаясь к королю:

– Ваше величество...

– Ну, что там еще такое? – спросил Людовик XI.

– Вашему величеству известно, что Симон Ранен умер.

– Ну, так что же?

– Он состоял советником при королевской казне...

– Ну, так что же?

– Ваше величество, место его теперь вакантно.

И при этих словах на лице Олливе надменное выражение уступило место выражению низко поклонному: эти два выражения только свойственны лицу истинного царедворца. Король взглянул ему прямо в глаза и произнес сухим тоном:

– Понимаю. Господин Олливе, – продолжал он после некоторого молчания, – маршал Бусико имел обыкновение говаривать: – «Только и подарок, что от короля, только и рыбак, что в море». Теперь выслушайте следующее (у нас, к счастью, хорошая память). В 1468 году мы назначили вас камергером нашим; в 1469 году кастеляном Сен-Клусского замка, с окладом жалованья в сто турецких ливров (вы просили считать ливрами парижскими). В ноябре 1478 года, патентом нашим, данным в Жержоле, мы назначили вас смотрителем Венсеннского леса, на место кавалера Жильбера Акля; в 1475 году – лесничим леса Рувье-Сен-Клу, вместо Жака Лемэра; в 1478 году мы все милостивейше назначили вам грамотой, с приложением к ней зеленой печати, пожизненную ренту в десять парижских ливров, с переводом ее на жену вашу, с мест, занимаемых купеческими лавками, близ Сен-Жерменской школы; в 1479 году мы назначили вас лесничим Сенарского леса, на место этого бедного Жана Дэза, а затем комендантом Лошского замка, потом еще, все в том же году, губернатором Сен-Кантена и, наконец, капитаном Мёланского моста, что дало вам повод величать себя графом Меданским. Из пяти су штрафа, которые платит каждый цирюльник, бреющий в праздничный день, три су приходятся на вашу долю, а в нашу казну поступает только остаток. Мы далее изъявили согласие, чтобы вы переменили вашу прежнюю фамилию «Le Mauvais», несмотря на то, что это было, однако,

совершенно по шерсти кличка. В 1474 году мы дали вам, к великому неудовольствию нашего дворянства, дворянский герб и позволили вам украсить им грудь вашу. Неужели же с вас еще недостаточно? Неужели вы не можете удовлетвориться таким богатым уловом? Неужели вы не опасаетесь того, что еще лишняя крупная рыбина может заставить лодку вашу пойти ко дну? Гордыня ваша погубит вас, кум. Гордыня всегда ведет к гибели и позору. Подумайте-ка об этом и замолчите.

Слова эти, произнесенные строгим голосом, вызвали дерзкое выражение на лице Олливые.

– Ну, ладно, – пробормотал он довольно громко, – сейчас видно, что король сегодня не здоров: все достается врачу.

Людовик XI не только не рассердился этой дерзкой выходке, а продолжал даже с некоторою кротостью:

– Я еще забыл упомянуть о том, что я назначил вас послом моим в Генте, при особе герцогини Марии.

– Да, господа, – прибавил король, обращаясь к фламандцам, – человек этот был послом.

– Ну, а теперь, кум, – сказал он Олливые, – нам нечего ссориться; ведь мы старые друзья. Уже очень поздно, и мы кончили наши занятия. Побрейте-ка меня.

Читатели наши, без сомнения, давно уже узнали в «господине Олливые» того ужасного брадобрея, которому Провидению угодно было предназначить такую выдающуюся роль в длинной и кровавой драме, разыгранной Людовиком XI. Мы, конечно, не намерены заниматься здесь характеристикой этой странной личности. Заметим только, что у него было три имени: при дворе его называли «Олливые Le Daim», народ называл его «Олливые Дьяволом», а настоящее его имя было Олливые «La Mauvais».

Итак, Олливые остался неподвижен, очевидно, недовольный и искоса поглядывая на Жака Коактье.

– Да, да, все для врача, – бормотал он сквозь зубы.

– Ну, так что ж, что для врача? – спросил Людовик XI со странным добродушием, – врач поважнее тебя, и при том по весьма простой причине: он имеет дело со всем нашим телом, а ты – только с подбородком нашим. Тебе нечего жаловаться на свою судьбу, мой милый. Что бы ты сказал, что бы случилось с тобою, если бы я вздумал брать пример с короля Хильпериха, имевшего привычку загребать одною рукою свою бороду? – Ну, а теперь, кум, принимайся за дело и побрей меня. – Поди, принеси все, что для того нужно.

Олливые, видя, что король сегодня расположен обращать все в смешную сторону и что его нельзя даже рассердить, вышел, ворча, из комнаты, чтоб исполнить его приказание.

Король встал, подошел к окну, но вдруг распахнул его в сильном волнении.

– Что это такое? – вскричал он, всплеснул руками, – зарево над Старым городом! Это горит дом судьи! Да, да, именно его дом! О, мой добрый парижский народ! Наконец-то взялся помогать мне в ломке власти моих вассалов!.. И он продолжал, обращаясь к фламандцам: – Господа, придите-ка посмотреть! Ведь это зарево пожара, не так ли?

– Да, и большого пожара, – сказал Вильгельм Рим, приблизившись вместе с товарищем своим.

– О, – воскликнул Коппеноль, глаза которого вдруг засверкали, – это напоминает мне сожжение дома барона Гемберкурского. Там, должно быть, бунт разыгрался не на шутку.

– Вы так полагаете, господин Коппеноль? – спросил Людовик XI, и глаза его блестели почти так же радостно, как и глаза чулочника. – Ведь с этим бунтом не особенно легко будет справиться, не так ли?

– Еще бы, ваше величество! Для этого пришлось бы положить на месте немало ваших солдат.

– Ну, что касается меня, то это совершенно другое дело, – ответил король. – Если бы только я захотел!

– Не думаю, ваше величество, – смело возразил чулочник... – Если этот бунт действительно то, что я полагаю, то сколько бы вы ни захотели...

– Не беспокойтесь, кум, – сказал король, – с двумя ротами моей стражи и парочкой фальконетов можно бы живо справиться с этим мужичьем.

Но чулочник, не обращая внимания на знаки, которые делал ему его товарищ, решился, по-видимому, не уступать королю.

– Ваше величество, – заметил он, – ведь и швейцарцы были не что иное, как мужичье, а господин герцог Бургундский был блестящий рыцарь и с пренебрежением относился к этому мужичью. В сражении при Грансоне он кричал: – «Пушкари! палите по этой сволочи! С нами святой Георгий!» Но шултейс Шарнахталь ринулся на блестящего герцога с своим мужичьем и своими дубинами, и, столкнувшись с этой армией мужиков, великолепная бургундская армия разбилась вдребезги, точно стекло от удара об камень. При этом не мало славных рыцарей перебили эти мужики, а барон Шато-Гюйон первый бургундский кавалер, был найден мертвым, вместе со своей серой лошастью, в небольшой трясине.

– Но вы, приятель, говорите о сражении, а тут дело идет просто о бунте; и мне только стоит повести бровью, чтобы справиться с ним.

– Быть может, ваше величество, – ответил фламандец флегматично. – Но это служило бы только доказательством тому, что еще не пробил час народа.

– Г. Коппеноль, – счел нужным вмешаться Вильгельм Рим, – вы говорите с могущественным королем.

– Я это знаю, – спокойно ответил Коппеноль.

– Не мешайте ему говорить, любезный г. Рим, – сказал король. – Я люблю, когда со мною говорят откровенно. Отец мой, король Карл VII, имел обыкновение говаривать, что правда хворает; я же думал, что она уже скончалась, и притом без исповеди. Теперь г. Коппеноль доказывает мне, что я ошибался.

– Итак, вы говорили, г. Яков, – продолжал он, фамильярно положив руку на плечо Коппеноля.

– Я говорил, ваше величество, что, быть может, вы и правы, что у вас еще не пробил час народа.

– А когда же этот час наступит, мой любезный? – спросил король, пристально глядя на него.

– Вы уже услышите, когда он пробьет.

– Но на каких же часах он пробьет?

Коппеноль со своей спокойной и непринужденной фамильярностью подвел короля к окну и сказал:

– Извольте выслушать, ваше величество. Вот здесь башня, там – набатный колокол, пушки, солдаты, граждане. Когда раздастся звук набата и пальба пушек, когда башня с треском разрушится, когда солдаты и граждане с громкими криками будут взаимно убивать друг друга, – тогда-то и пробьет этот час.

Лицо Людовика XI приняло серьезное и задумчивое выражение, но затем он проговорил, потихоньку водя рукою по толстой стене башни, подобно тому, как всадник гладит труп своего боевого коня:

– Ну, нет. Ты то уже не разрушишься так легко, добрая моя Бастилия. – И затем он прибавил, поворачиваясь к смелому фламандцу:

– А вы когда-нибудь видели народный бунт, господин Коппеноль?

– Я сам произвел его, ваше величество, – ответил чулочник.

– А каким же образом вы принимаетесь за это дело? – полюбопытствовал король.

– Да это вовсе не так трудно, – сказал фламандец. – Это можно сделать на сто ладов. Во-первых, необходимо, чтобы в городе царило неудовольствие, – ну, а это – вещь далеко не так редкая. Затем, многое зависит от характера обывателей: гентские обыватели, например, очень склонны к бунтам; они всегда любят сына своего властелина, но никогда не любят самого властелина. Ну, итак, положим, в одно прекрасное утро приходят ко мне в лавку и говорят мне: – «Коппеноль, дело обстоит так-то и так то: герцогиня Фландрская желает спасти своих министров, правительство удваивает налог на помол», или что-нибудь в этом роде, все равно. Я тотчас-же откладываю в сторону работу мою, выхожу из моей мастерской на улицу и кричу: «караул». Тут мне подвертывается какая-нибудь пустая бочка, я взбираюсь на нее и начинаю громко говорить все, что мне только приходит на ум, что у меня лежит на сердце; а когда человек принадлежит к низшим классам, ваше величество, у него всегда что-нибудь лежит на сердце. Толпа собирается вокруг меня, начинает галдеть, ударяют в набат, вооружают обывателей отобранным у солдат оружием, все встречные присоединяются к вашему шествию, – и бунт готов. И так всегда будет делаться, пока в поместьях будут помещики, в городах – горожане, а в селениях – поселяне.

– И против кого же вы так бунтуете? – спросил король. – Против помещиков? Против чиновников?

– Как случится. Иногда против них, иногда и против герцога.

– Вот как, – сказал Людовик XI, улыбаясь и возвращаясь на свое место. – Ну, нет, здесь они пока бунтуют только против судьи.

В это время в комнату снова вошел Олливе в сопровождении двух пажей, которые несли королевский костюм. Но короля поразило то, что, кроме того, его сопровождали парижский профос и начальник городской стражи, по-видимому, оба перепуганные. Злопамятный брадобрей тоже имел вид испуганный, но вместе с тем и довольный.

– Прошу извинить меня, ваше величество, – начал он, – в том, что я приношу вам недобрую весть.

Король так живо повернулся к нему, что поцарапал ножкой своего кресла половики.

– Что ты этим желаешь сказать?

– Ваше величество, – продолжал Олливе со злобным видом человека, радующегося тому, что ему предстоит случай нанести чувствительный удар, – народный бунт направлен вовсе не против парижского судьи.

– Так против кого же?

– Против вас, ваше величество.

Старик-король вскочил с кресла и выпрямился, точно молодой человек.

– Объяснись, Олливе, объяснись! – воскликнул он, – да держись покрепче за свою голову, кум, ибо клянусь тебе крестом св. Льва, что если ты нам солгал сейчас, то меч, отрубивший голову графа Люксембургского, не настолько еще зазубрился, чтобы он не мог отрубить и твоей головы.

Клятва эта была зловеща: Людовик XI только два раза в жизни клялся крестом св. Льва.

– Ваше величество... – начал было Олливе.

– На колена! – крикнул на него король. – Тристан, стереги этого человека!

Олливе встал на колена и холодно произнес:

– Дело вот в чем, ваше величество. Ваш суд приговорил к смерти одну колдунью. Она нашла себе убежище в Соборе Богоматери, и вот теперь народная толпа желает силою извлечь ее оттуда. Г. судья и г. начальник городской стражи здесь налицо, чтобы опровергнуть меня, если я лгу. Толпа осаждает Собор Богоматери.

– Вот тебе раз! – воскликнул король, побледнев и дрожа от злости. – Они осаждают Собор Богоматери! Негодяи! Встань, Олливе. Ты прав. Я назначаю тебя на место Симона Радена. Ты прав: бунт этот направлен против меня. Колдунья находится под охраной храма, храм

находится под моей охраной. А я то думал, что дело идет тут о судьбе. Нет, ясно, что дело идет о посягательстве на мою власть.

И забыв в припадке гнева о своей немощи, он стал большими шагами расхаживать по комнате. Теперь он уже не смеялся: он был страшен, он ходил взад и вперед; лисица превратилась в гиену; он казалось, задыхался от злобы, губы его шевелились, не произнося, однако, ни одного звука, худощавые руки его судорожно сжимались. Вдруг он поднял голову, впалые глаза его заискрились, и он воскликнул громким голосом: – Истребить их, Тристан; истребить этих негодяев! Не щади их, друг Тристан!

После этой вспышки он снова уселся на свое кресло и сказал с холодной и сдержанною яростью: Слушай, Тристан! Здесь, в Бастилии, расположены триста всадников виконта Жифского: ты возьмешь их с собою. Затем тут же стоит стрелковая рота капитана де-Шатопера, – ты и ее возьмешь. Затем ты, старшина цеха кузнецов, – собери своих кузнецов. Во дворце Сен-Поль ты найдешь сорок стрелков из стражи дофина возьми и их, и со всеми этими силами отправляйся живо к Собору Богоматери. А, господа обыватели, так-то вы осмеливаетесь посягать на права французской короны, на святыню собора и на общественное спокойствие! Истребляй их, Тристан, истребляй, и щади только тех, которых ты сочтешь достойными виселицы!

– Слушаю, ваше величество, – проговорил Тристан, кланяясь; затем, немного помолчав, он прибавил: – А что ваше величество прикажете мне сделать с цыганкой? Нужно же повесить эту женщину.

– Ах да, с цыганкой? – спросил король, которого слова эти заставили задуматься. – А что желает сделать с нею народ, господин д'Эстевиль?

– Ваше величество, – ответил судья, – я полагаю, что если народ желает извлечь ее из убежища ее в соборе, то он делает это потому, что безнаказанность ее оскорбляет ее и он желает повесить ее.

Король подумал с минуту и затем сказал, обращаясь к Тристану Пустыннику:

– Ну, кум, так ты сначала хорошенько накажи народ, а затем повесь колдунью.

– Вот это дело, – сказал шепотом Рим Коппенюлю, – сначала наказать народ, а затем сделать то, что он сам хочет делать!

– Слушаю, ваше величество, – ответил Тристан. – А если колдунья все еще находится в соборе, то брать ли ее оттуда вопреки праву убежища?

– Ах, черт его побери, это право убежища! проговорил король, почесывая у себя за ухом. – Да ведь нужно же повесить эту женщину.

При этих словах, как бы внезапно озаренный счастливой мыслью, он встал на колена перед наложником для молитвы, снял шляпу, положил ее на кресло и, сложив на груди накрест руки и набожно глядя на образок Богородицы, проговорил.

– Прости мне, Заступница, прости мне! Я сделаю это только на этот единственный раз. Ведь нужно же наказать преступницу. Ведь это только колдунья, недостойная Твоего покровительства. Ведь Тебе известно, что многие очень благочестивые монархи нарушали привилегии церкви ради славы Божьей и ради государственных нужд. Св. Гюг епископ Англии, дозволил королю Эдуарду захватить кудесника в посвященной этому святому мужу церкви. Св. Людовик, мой предок и патрон, в тех же видах нарушил привилегии церкви св. Павла, а принц Альфонс, сын короля Иерусалимского, с этою целью нарушил даже права самого храма Гроба Господня. Прости мне, на этот раз, Пресвятая Дева. Я этого в другой раз не сделаю и я пожертвую собору дорогую серебряную статую, подобную той, которую я пожертвовал в прошлом году церкви, посвященной имени Твоему в Экуисе. Аминь!

Затем он перекрестился, приподнялся, надел свою шляпу и сказал Тристану:

– Поторопись, кум. Возьми с собою капитана де-Шатопера. Вели ударить в набат, растопчи эту сволочь и повесь колдунью. Понял? И я желаю, чтобы все распоряжения относи-

тельно казни сделаны были тобою самим и чтобы ты отдал мне отчет в них. Ну, а теперь, Олли-вье, побрей меня. Я в эту ночь не лягу спать.

Тристан Пустынник поклонился и вышел. Затем король, делая Коппенюлю и Риму жест рукою, что и они могут удалиться, сказал:

– Да хранит вас Господь, друзья мои, гг. фламандцы. Отправляйтесь восвояси и отдохните немного. Уже очень поздно, и дело близится к рассвету.

Оба они удалились, и в то время, пока они возвращались в свои комнаты, в сопровождении коменданта Бастилии, Коппенюль говорил Вильгельму Риму:

Ну, нечего сказать, хорош этот кашляющий король! Я видел Карла Бургундского пьяным, но он не был так зол, как этот больной Людовик XI.

– Да вот, видите ли, Жак, – философски ответил Рим, лекарство действует на сильных мира сего хуже, чем вино.

VI. Огонек под спудом

Выйдя из Бастилии, Гренгуар пустился бежать по улице Сент-Антуан с быстротой вырвавшегося на свободу коня. Выйдя на площадь Бодойе, он направился прямо к возвышавшемуся посредине этой площади каменному кресту, как бы различая, несмотря на темноту, лицо сидевшего на ведущих к кресту ступеньках укутанного в черную мантию человека.

– Это вы, Гренгуар? – сказал человек этот, приподнимаясь по ступенькам. – Однако испытываете же вы мое терпение! Сторож на башне Сен-Жервэ только что прокричал половину второго.

– О, – ответил Гренгуар, – в этом виноват не я, а ночная стража и король. Я только что едва не угодил на виселицу. Это, впрочем, со мною случается уже не впервые. Видно, такова уже судьба моя.

– С тобою все только «едва» не случается. Но мешкать нечего. Знаешь ты пароль?

– Представьте себе, – говорил Гренгуар, не отвечая на вопросы – я видел короля. Я только что от него. На нем надеты бумазейные панталоны. Это целое происшествие.

– Ах, несносный болтун! Что мне за дело до твоего происшествия!.. Я у тебя спрашиваю пароль.

– Да не беспокойтесь, вот пароль: «Огонек под спудом».

– Хорошо! Иначе нам не удалось бы снова пробраться до церкви, так как мазурики заняли все прилегающие улицы. К счастью, они, кажется, встретили сопротивление. Быть может, мы поспеем еще вовремя.

– Да, сударь, но каким образом мы проберемся в церковь?

– У меня есть ключ от колоколен.

– А как же мы выйдем?

– Позади монастыря есть небольшая дверца, выходящая прямо на реку. Ключ от нее у меня, и я там еще с утра привязал лодку.

– Однако, чуть-чуть-таки меня не вздернули! проговорил Гренгуар, покачивая головою.

– Ну, живо, идем! – проговорил его собеседник, и они оба быстрыми шагами направились к Старому городу.

VII. Шатопер является на выручку

Читатель быть может, не забыл о том критическом положении, в котором мы оставили Квазимодо. Наш храбрец, атакуемый со всех сторон, лишился если не бодрости, то, по меньшей мере, всякой надежды спасти – не самого себя, о себе он не думал, – а цыганку. Он растерянно бегал по галерее. Атакующие ежеминутно могли ворваться в собор. Вдруг в соседних улицах

раздался конский топот, и на площадь въехал вскачь значительный отряд конницы, скакавший во весь опор, с пиками наперевес, с факелами в руках с громкими кликами:

– Да здравствует Франция! Рубите бунтовщиков! Шатопер на выручку!

Испуганные разбойники повернулись лицом к новому неприятелю.

Квазимодо, ничего не слышавший, видел только обнаженные сабли, факелы, острия копий, и узнал во главе этого кавалерийского отряда капитана Феба. Затем он заметил происшедшее в рядах атакующих смятение, испуг одних, смущение со стороны самых храбрых, и эта неожиданная помощь придала ему столько силы, что он без труда сбросил вниз некоторых из атакующих, перелезавших уже через балюстраду галереи.

Это, действительно, было королевское войско. Разбойники, впрочем, оказали отчаянное сопротивление. Будучи атакованы с фланга из улицы Сен-Пьер и с тылу из Папертной улицы, будучи прижаты к самому собору, который они еще продолжали атаковать и который Квазимодо продолжал защищать, изображая собою одновременно и осаждающих, и осажденных, они очутились в таком странном положении, в котором впоследствии, в 1640 году, очутился, во время знаменитой осады Турина, граф Анри д'Аркур, между князем Фомой Савойским, которого он осаждал, и маркизом Леганец, который его блокировал. «Осаждающий и осажденный Турина», как сказано было в надписи на его надгробном камне.

Произошла страшная свалка: «точно собаки вцепились в волков», – говорит летописец, патер Матье. Королевские всадники, с храбрым капитаном своим Шатопером во главе, не давали пощады, коля и рубя направо и налево; разбойники, хотя и плохо вооруженные, оказывали отчаянное сопротивление. Мужчины, женщины, дети хватались за гривы и за хвосты лошадей и цеплялись за них, точно кошки, зубами, руками и ногами; другие били зажженными факелами по лицам всадников. Третьи запускали в шеи всадников железные крючья, стаскивали их с седел и добивали тех, которые падали на землю. Один из разбойников, вооруженный огромной косою, косил лошадей по ногам, напевая гнусавым голосом какую-то песню. При каждом взмахе его косы, вокруг него падало несколько лошадей с подкошенными ногами; и таким образом он все более и более подавался вперед в карре, образуемое конницей, со спокойною медленностью, с правильными передышками и с помахиванием головы жнеца, принимающегося скашивать ржаное поле.

Это был Клопен Трульефу. Но, наконец, его положил на месте выстрел из самострела.

Тем временем окна соседних домов снова открылись. Соседи, услышав воинские возгласы королевской стражи, тоже решились принять участие в деле и стрелять по разбойникам из своих окон.

Папертную площадку застилал дым; сквозь него смутно обрисовывались фасады собора и богадельни, с крыши и из окон которой испуганно смотрели на площадь бледные лица призреваемых.

Наконец, разбойникам пришлось уступить. Усталость, отсутствие хорошего оружия, это нападение врасплох, пальба из окошек – все это лишило их бодрости. Они пробились сквозь ряды атакующих и пустились бежать по всем направлениям, оставив на Папертной площадке немалое число мертвых.

Увидев это бегство, Квазимодо, не перестававший сражаться до последней минуты, упал на колена и поднял руки к небу. Затем, не помня себя от радости, он пустился стремглав бежать к этой самой келийке, которую он так храбро оборонял. Он думал только о том, как он сейчас встанет на колена перед тою, которую он только что спас во второй раз.

Но когда он вошел в келию, – она оказалась пуста.

Книга одиннадцатая

І. Башмачок

В то время, когда разбойники повели атаку на церковь, Эсмеральда спала. Но вскоре ее разбудили все усиливавшийся вокруг церкви шум и беспокойное блеяние ее козочки, проснувшейся раньше ее. Она села на своем ложе, стала вслушиваться, оглядываться и затем, испуганная шумом и необычным в эту пору светом факелов, выбежала из своей комнатки, чтобы посмотреть, что такое делается. Общий вид площади, двигавшиеся по ней люди, беспорядочность этого ночного приступа, эта безобразная толпа, казавшаяся с высоты стаей прыгавших в потемках лягушек, кваканье этой кишевшей толпы, эти красноватые факелы, бегавшие и сталкивавшиеся среди ночной тьмы, подобно тем блудящим огням, которые появляются на покрытой туманом поверхности болота, – вся эта сцена показалась ей каким-то таинственным боем, завязавшимся между нечистыми духами и каменными статуями церкви. Проникнутая с детства массой предрассудков, свойственных цыганскому племени, она подумала в первую минуту, что ей довелось присутствовать приточных похождениях духов тьмы, и она в испуге снова забилась под свое одеяло, в надежде избавиться от этого ужасного кошмара.

Однако, мало-помалу, первый страх ее прошел, а по увеличивавшемуся постоянно шуму и по некоторым другим реальным признакам она догадалась, что в этом деле замешаны не призраки, а живые люди. Тогда ужас ее, не увеличившись, принял, однако, другую форму. Она подумала о возможности народного бунта, имевшего целью извлечь ее из ее убежища. Мысль о смерти, которую она уже видела так близко перед собою, какая-то смутная надежда, Феб, образ которого приходил ей на ум, когда она думала о своем будущем, безотрадное сознание своей слабости, мысль о невозможности бежать, о своей беспомощности, о том, что у нее нет поддержки, о своем одиночестве, – все эти мысли и тысячи других пришли ей на ум. Она бросилась на колена, уткнулась головою в кровать, закинула руки за голову, вся дрожа от страха, и, хотя она, как цыганка, и была идолопоклонницей и язычницей, она, рыдая, принялась молиться Богу и просить заступничества у Богородицы, в храме которой она нашла себе убежище; ибо у человека, даже самого маловерующего, всегда бывают такие минуты, когда он проникается религией того храма, в котором он в данное время находится.

В таком положении она оставалась довольно долго, правда, более дрожа, чем молясь, трепеща от все более и более приближавшегося дуновения этой разъяренной толпы, не понимая, истинной причины этой ярости, не зная того, что затевается, что делается, чего толпа желает, но смутно предчувствуя ужасный для себя исход.

Среди этой тревоги и волнения она вдруг услышала подле себя шаги. Она обернулась: в ее каморку только что вошли два человека, из которых один держал в руке фонарь. Она испустила слабый крик.

– Не бойтесь, – произнес голос, показавшийся ей знакомым: – это я.

– Вы? Да кто же такой вы? – спросила она.

– Пьер Гренгуар.

Это имя успокоило ее. Она подняла глаза и действительно узнала поэта. Но подле него она заметила какую-то черную, укутанную и молчаливую фигуру, наводившую на нее ужас.

– Да, – сказал Гренгуар с упреком, – Джали узнала меня раньше вас.

Действительно, козочка, не дожидаясь, пока Гренгуар назвал себя, стала нежно тереться своей головкой об его колена, осыпая поэта ласками, но в то же время и покрывая его одежду белой шерстью, ибо она линяла. Гренгуар тоже стал ласкать ее.

– А кто это с вами? – спросила его Эсмеральда вполголоса.

– Не беспокойтесь, – ответил Гренгуар, – это один из друзей моих.

И затем наш философ, поставив свой фонарь на пол, присел на корточки и воскликнул радостным голосом, обнимая Джали:

– О, какое миленькое животное! Оно, конечно, не отличается ростом, но за то умно и учено не хуже иного профессора! Ну, посмотрим-ка, Джали, не забыла ли ты своих штук? Как ходит Жак Шармолу?..

Но укутанный в черную мантию человек не дал Гренгуару закончить свою фразу: он подошел к нему и сильно толкнул его в плечо. Гренгуар приподнялся.

– Да, правда, – сказал он, – я и забыл, что нам нужно торопиться. Однако это все же не причина так сильно толкать людей. Милое дитя мое, вашей жизни, а равно и жизни Джали угрожает опасность. Вас снова желают повесить. Мы – друзья ваши, и мы пришли сюда для того, чтобы спасти вас. Следуйте за нами.

– Неужели это правда? – воскликнула она в испуге.

– Да, совершенная правда. Торопитесь!

– Я согласна, – пробормотала она. – Но почему же ваш друг молчит?

– Да вот видите ли, – ответил Гренгуар, – его отец и его мать были очень странные люди и сделали его молчаливым.

Ей пришлось удовольствоваться этим, не слишком-то удовлетворительным, объяснением. Гренгуар взял ее за руку, товарищ его поднял с полу фонарь и пошел вперед. Молодая девушка совершенно обезумела от страха и беспрекословно позволяла вести себя. Козочка следовала за ними вприпрыжку, радуясь тому, что снова увидела Гренгуара, и постоянно заставляя его спотыкаться, просовывая свои рога между ног его.

– И такова наша жизнь, – говорил наш философ, едва удерживаясь на ногах, – лучшие друзья наши часто доводят нас до падения.

Они быстро спустились с лестницы колокольни, прошли через церковь, темную и пустынную, в которой, однако, слышен был доносившийся извне гул, что составляло странный контраст, и вышли на монастырский двор через красные двери. Монастырь был пуст, так как монахи, перепуганные нападением, убежали в квартиру епископа, чтобы молиться гам сообща; двор также был пуст, и только несколько трусливых монастырских слуг забились в темные углы его. Гренгуар и его спутники направились к воротам, выходившим на набережную реки. Одетый в черный плащ человек отпер их имевшимся при нем ключом. За этими воротами был мыс, составлявший восточную оконечность острова, принадлежавший капитулу собора и окруженный стеною Старого города. Местность эта была совершенно пустынна, и даже с Папертной площадки едва долетал сюда шум. Свежий ветер шелестел листьями дерева, росшего на самой крайней оконечности мыса. Однако, они были еще очень близко от опасного места: ближайšie к ним здания все же были собор и архиепископский дворец. В последнем, очевидно, происходила сильная суeta. На темном фасаде его видны были огоньки, перебегавшие от одного окна к другому, подобно тому, как на темной куче сожженной бумаги долго еще перебегают искры самыми причудливыми зигзагами; а в некотором отдалении громадные колокольни собора, возвышаясь над главным корпусом его, выделялись на красноватом зареве, которым залита была площадь, и напоминали собою две высокие трубы гигантской кузницы. Остальной Париж был виден точно сквозь дымку. Рембрандт любил иногда освещать таким образом фон своих картин.

Человек с фонарем шел прямо к оконечности мыса. Там, возле самой воды, виднелся частокол, переплетенный дранками, за которые цеплялась кое-где виноградная лоза. За этой живою изгородью, в бросаемой ею тени, скрыта была небольшая лодка. Закутанный в черный плащ человек знаком пригласил Гренгуара и молодую девушку сесть в нее; козочка прыгнула вслед за ними, и, наконец, в лодку вошел таинственный незнакомец. Затем он отчалил лодку, отпихнулся от берега длинным багром, и, взяв со дна ее два весла, сел на носу и стал из всех

сил грести. Течение Сены в этом месте очень сильно и ему не без труда удалось выплыть на середину реки.

Первою заботою Гренгуара, как только он вошел в лодку, было устроить на своих коленях кочозку. Он уселся на корме, а молодая девушка, которой незнакомец внушал невольный страх, села возле поэта и крепко прижалась к нему.

Когда наш философ почувствовал, что лодка отчалила от берега, он захлопал в ладоши, поцеловал Джали в голову и воскликнул:

– О, теперь мы все спасены! – И затем он прибавил с глубокомысленным видом: – Иногда счастье, иногда хитрость способствуют осуществлению великих предприятий.

Лодка медленно подвигалась к правому берегу. Молодая девушка с невольным страхом смотрела на незнакомца. Он тщательно закрыл свой глухой фонарь, и поэтому, при совершенной темноте, он, сидя на носу, производил впечатление привидения. Его башлык, опущенный на лицо, не позволял разглядеть его черты», и каждый раз, как он, гребя, размахивал своими руками, облеченными в широкие рукава, последние казались какими-то гигантскими крыльями летучей мыши. Вместе с тем, он до сих пор не произнес ни единого слова, не испустил ни единого звука. Не было слышно ничего, кроме плеска весел и журчания воды под килем лодки.

Клянусь Богом! – вдруг воскликнул Гренгуар, – мы радуемся на манер улиток. Мы немые, как рыбы или как пифагорейцы. Однако, друзья мои, мне на радостях хотелось бы поболтать. Человеческий голос в человеческом ухе звучит как музыка. Эти слова принадлежат не мне, а Дидиму Александрийскому, и это золотые слова. Ведь Дидим Александрийский – философ недюжинный. – Одно слово, красавица моя, произнесите, ради Бога, хоть одно слово! Кстати, вы когда-то делали какую-то презабавную и премиленькую гримасу: что, вы все еще умеете ее делать? А известно ли вам, моя милая, что парламент может лишить известное место права убежища и что, следовательно, вы подвергались опасности в вашей каморке в соборе? Да, да, есть такая-то птичка, называют ее трохил, – которая свивает гнездышко свое в пасти крокодила. Ах, вот снова восходит луна! Как бы нас не заметили! Мы делаем доброе дело, спасая эту барышню, а между тем нам не миновать виселицы, если нас поймают. Увы, всякая вещь имеет два конца! Меня наказывают за то, за что тебя венчают лаврами. Цезаря хвалят за то же, за что бранят Катилину. Не так ли, милостивый государь? Что вы скажете на эту философию? Я философ по природе, точно так же, как пчела – геометр по природе. Однако никто мне не отвечает. Что это вы оба так не в духе? Мне приходится говорить одному. Это то, что мы, драматурги, называем монологом. Да, ведь я уже говорил вам, что я только что беседовал с самим королем Людовиком XI. Однако, как они там шумят возле собора! Это злой, невзрачный старик, весь укутанный в мех. Он мне все еще не заплатил за мое свадебное стихотворение, а в довершение всего он едва не велел повесить меня сегодня вечером, что меня окончательно уже лишило бы возможности когда-нибудь получить плату. Он таки скупенек, нужно отдать ему справедливость. Ему не мешало бы прочесть сочинение Сальвина, из Кельна, «против скупости». Вообще, это король, не умеющий ценить таланта и к тому же еще жестокий. Это просто какая-то губка, высасывающая из народа деньги. Он от того то и так худошав, что селезенка его пухнет насчет других его членов. За то все и жалуются на тяжелые времена и ропщут против короля. Под управлением этого набожного и яко бы тихого короля, виселицы ломаются под тяжестью висельников, плахи не обсыхают от крови, тюрьмы переполнены. Этот король одною рукою берет, а другою вешает. У него только и есть два развлечения: налоги да виселица. Сильных мира сего он обирает, а маленьких людишек вешает. Вообще, это нехороший монарх; я его не люблю. А вы, милостивый государь?

Человек, укутанный в черный плащ, не перебивал болтуна. Он продолжал грести изо всех сил в водовороте, образуемом рекою между окончностью острова, занимаемого Старым городом, и островом св. Людовика.

– А кстати, сударь, – вдруг переменял Гренгуар тему разговора, – в то время, как мы пробирались по площади, заметило ли ваше преподобие этого бедного мальчугана, которому этот глухой черт собирался размозжить голову о перила балюстрады? Я близорук и не мог узнать его. Не известно ли вам, кто был этот несчастный?

Незнакомец не ответил ни слова, но руки его вдруг опустились, он перестал грести, голова его опустилась на грудь, и Эсмеральда ясно расслышала, как он тяжело вздохнул. Она вздрогнула, потому что этот вздох показался ей знакомым. Лодка, предоставленная самой себе, неслась некоторое время по течению реки. Но гребец снова выпрямился, схватился за весла, и опять поплыл вверх по течению реки. Он обогнул мыс и направил лодку к Сенной пристани.

А-а! – продолжал болтать Гренгуар, – вот квартира Барбо. Посмотрите-ка, сударь, на эту группу черных крыш, образующих такую странную ломаную линию, вон там, под этими низкими, жилковатыми и грязными облаками, над которыми луна светит, точно яичный желток. Это очень красивый дом. При нем есть часовня с маленьким сводом, разукрашенным очень хорошей резьбой. А над нею вы можете отличить колокольню, изящно прорезывающуюся на воздухе. При этом доме есть также прехорошенький сад с прудом, птичником, лабиринтом, площадкой для игры шарами, зверинцем и множеством тенистых аллей, очень удобных для влюбленных парочек. В этом саду есть также дерево, которое прозвали «сластолюбивым», потому что под сенью его предавались любовным наслаждениям одна знаменитая принцесса и один коннетабль, человек умный, но развратный. – Увы! Наш брат философ то же по отношению к коннетаблю, что грядка капусты или редьки по отношению к Луврскому саду. А, впрочем, и то сказать: человеческая жизнь как для нас грешных, так и для сильных мира сего представляет ничто иное, как сплетение хорошего и дурного. Горе всегда следует за радостью, как спондей за дактилем. – Нет, сударь, я должен вам рассказать историю того дома Барбо. Оканчивается она очень трагическим образом. Дело происходило в 1319 году, в царствование Филиппа V, самого высокорослого из всех французских королей; а из всей этой истории вытекает мораль, что искушения плоти всегда губительны и к добру не поведут, и что не следует слишком запускать глаза на жену соседа, как бы человек ни был чувствителен к ее красоте. Любодеяние – дело очень опасное и не следует желать жены ближнего... Ого! Однако шум там усиливается!

Действительно, шум возле собора заметно усиливался. Они стали прислушиваться. До слуха их довольно явственно долетали победные клики. Вдруг около сотни факелов, свет которых отражался на шлемах воинов, появились в разных местах церкви, в галереях ее, на башнях, в окнах, под сводами. Люди, державшие эти факелы, очевидно, чего-то искали; и вскоре до слуха сидевших в лодке людей явственно донеслись слова:

– Цыганка! Колдунья! Смерть цыганке!

Несчастная закрыла лицо руками, а незнакомец принялся неистово трест, направляя лодку к берегу. Философ же наш продолжал о чем-то размышлять, обняв козу и потихоньку отодвигаясь от цыганки, которая все более прижималась к нему, как к единственному своему убежищу.

Гренгуар находился в немалой тревоге. Он думал о том, что и коза, на основании существовавших в те времена законов, будет повешена, если ее схватят, и ему было очень жаль бедняжки Джали. Он находил, что два осужденных, повешенных вслед за ним, были бы уже слишком многочисленный свитой для него на виселице, и полагал, что, быть может, было бы удобнее всего разделить заботу о спасении этих двух существ: товарищ его, по всей вероятности, охотно возьмет на себя заботу о цыганке, предоставив ему заботу о козе. В уме его происходила сильная борьба, во время которой он, как Юпитер в Илиаде, склонялся то на сторону цыганки, то на сторону козы; и он поочередно устремлял на них наполненные слезами взоры, бормоча сквозь зубы:

– А ведь не могу же я спасти вас обеих.

Сильный толчок дал им понять, что лодка ударилась о берег. В Старом городе по-прежнему продолжались зловещие шум и гам. Незнакомец встал и подошел к цыганке, желая помочь ей выйти из лодки; но она оттолкнула его и схватилась за руку Гренгуара, который, в свою очередь, будучи занят козой, едва не оттолкнул ее. Тогда она без посторонней помощи выскочила из лодки. Она была до того смущена, что сама не знала, ни что она делает, ни куда она идет. Она оставалась с минуту неподвижной, бессмысленно глядя на течение реки. Когда она пришла немного в себя, она увидела, что стояла на берегу одна с незнакомцем. Гренгуар, по-видимому, воспользовался ее смущением, чтобы скрыться вместе с козой в узких закоулках квартала, прилегающего к Сенной пристани.

Бедная цыганка вздрогнула, увидев себя одну в обществе этого человека. Она хотела было кричать, звать Гренгуара, но язык был точно парализован, и она не могла произнести ни единого звука. Вдруг она почувствовала прикосновение к своей руке руки незнакомца; это была сильная и холодная рука. Она задрожала еще сильнее, а лицо ее было бледнее лунных лучей, освещавших ее. Незнакомец, однако, продолжал молчать. Он направился большими шагами к Гревской площади, держа ее за руку. В эту минуту она смутно почувствовала, что судьба – сила непреодолимая. Она лишилась всякой воли и позволяла увлекать себя, следуя за ним бегом, так как он шел большими и быстрыми шагами. Набережная в этом месте шла в гору, а ей, между тем, казалось, будто она спускается под гору.

Она оглянулась во все стороны; нигде не видно было ни одного прохожего, – набережная была совершенно пустынна. Она слышала шум, замечала присутствие людей только со стороны шумевшего и озаренного заревом Старого города, от которого она отделена была лишь одним рукавом Сены, и откуда имя ее доносилось до ее слуха вместе с криками: – «Смерть, смерть цыганке!» Остальной Париж лежал вокруг нее большими, темными пятнами.

Незнакомец продолжал также молчаливо и быстро увлекать ее за собою. Она не узнавала тех мест, по которым они шли. Проходя мимо одного освещенного окна, она сделала над собою усилие и громко крикнула: – Помогите!

Какой-то стоявший у окна обыватель открыл его, высунулся из него в одной сорочке, держа в руки, светильник, бессмысленным взором окинул набережную, произнес несколько слов, которых она не расслышала, и снова захлопнул окно. Для нее потух последний луч надежды.

Спутник ее не произнес ни слова, только крепче схватил ее за руку и зашагал быстрее. Она не оказывала более сопротивления и покорно следовала за ним. По временам, собравшись с силами, она только спрашивала голосом запыхавшимся и дрожащим от волнения:

– Кто вы? Кто вы? – Но он ничего не отвечал.

– Таким образом они дошли, идя все по набережной, до довольно большой площади. В эту минуту луна выглянула из-за туч: это была Гревская площадь. Посреди ее можно было отличить нечто в роде большого, черного креста: то была виселица. Она узнала всю эту обстановку и поняла, куда ее привели.

Тут спутник ее остановился, повернулся к ней лицом и поднял свой капюшон.

– О, – пробормотала она, окаменев от ужаса, – я знала, что это опять-таки он!

Действительно, это был священник. Он походил в эту минуту на привидение. Таково свойство лунного света; при этом свете, кажется, видишь не предметы, а только призраки.

– Послушай! – обратился он к ней, и она задрожала при звуке этого зловещного голоса, которого она давно уже не слыхала, – и он продолжал медленно и с расстановкой, как он говорил уж с нею однажды: – Послушай... мне нужно переговорить с тобой... Это Гревская площадь... Нам следует принять какое-нибудь решение... Судьба отдала нас друг другу в руки... Я располагаю твоею жизнью, ты... моею душою. Здесь пустынно и темно, и нас никто не видит и не слышит. Так слушай же! Я должен сказать тебе... Во-первых, не упоминай при мне имени твоего Феба... (говоря, он ходил взад и вперед, как человек, которому не стоит на месте,

увлекая ее за собою), не называй мне его имени. Вот видишь ли, если ты произнесешь его имя, я сам не знаю, что я сделаю, но знаю, что это будет нечто ужасное.

Произнося эти слова, он снова сделался неподвижен, как тело, нашедшее, наконец, свою точку равновесия. Но в словах его все же сказывалось сильное волнение, и голос его становился все глуше и глуше.

– Не отворачивайся так от меня и слушай меня. Это дело серьезное... Во-первых, вот что случилось... Это вовсе не смешно, клянусь тебе... О чем это я говорил, дай Бог памяти?... Ах, да! В силу постановления парламента, ты должна подвергнуться казни. Ну, так вот, я спас тебя от них... Но они гонятся за тобою. Смотри!

И он указал рукою по направлению к Старому городу. Действительно, толпа продолжала двигаться, как будто чего-то ища. Шум приближался. Башня дома помощника бургомистра, насупротив площади, была освещена, и при падавшем из окон ее свете можно было различить, как солдаты бегали по противоположной набережной, с факелами в руках и крича: – «Цыганку! Где цыганка? Смерть цыганке!»

– Итак, ты видишь, что они преследуют тебя, и что я не лгу. – Я люблю тебя... Молчи, не говори лучше ничего, если только ты желаешь сказать мне, что ненавидишь меня... Я этого больше не хочу слышать... Я только что спас тебя... Да дай же мне кончить: я могу и окончательно спасти тебя. У меня для этого уже все приготовлено. Теперь все зависит от тебя: как ты пожелаешь, так и делается.

Но тут он вдруг сам себя прервал и продолжал:

– Нет, не так нужно говорить с тобою... И, увлекая ее за собою, он скорее побежал, чем пошел прямо к виселице, и, указывая на нее пальцем, холодно произнес: – Выбирай между ею и мною!

Она вырвалась из его рук и упала у подножия виселицы, обняв руками эту зловещую опору. Затем она взглянула на священника в пол-оборота, причем красивое лицо ее поразительно напоминало святую, преклонившую колена перед крестом. Священник продолжал стоять неподвижно, с поднятым к виселице пальцем, точно изваяние.

– Она пугает меня меньше, чем вы, – проговорила, наконец, цыганка.

Тогда он медленно опустил руку и посмотрел на мостовую с видом глубокого отчаяния.

– Если б эти камни могли говорить, – произнес он, – они сказали бы, что тут стоит очень несчастный человек.

Молодая девушка, стоя на коленях перед виселицей, укутанная в распустившиеся длинные волосы свои, не прерывала его, и он продолжал говорить жалобным и мягким голосом, составлявшим резкий контраст с жестким и надменным выражением его лица:

– Да, я люблю тебя, люблю безумно! Неужели пожирающий меня огонь не вырывается наружу? Увы! я страдаю и днем, и ночью! Неужели ж я не достоин никакого сожаления? Ведь это настоящая пытка! О, я слишком сильно страдаю! Страдания мои должны внушить сострадание, уверяю тебя! – Ты видишь, что я теперь говорю с тобою по возможности спокойно. Я очень желал бы, чтобы ты, наконец, перестала бояться меня. Ведь не виноват же, в конце концов, человек в том, что он любит такую-то женщину! О, Боже мой! Неужели ты никогда не простишь мне? Неужели ты всегда будешь меня ненавидеть? Значит, все кончено! Вот, видишь ли, это-то и делает меня злым и страшным для меня самого! Ты даже и не смотришь на меня. Ты, быть может, думаешь о совершенно другом, пока я говорю с тобою, стоя на грани, быть может, отделяющей нас обоих от вечности! Но только не говори мне об этом офицере! Как! Если даже я брошусь к ногам твоим, если я стану целовать, – нет, не ноги твои, а землю, которую они топчут, если я буду рыдать, как ребенок, если я стану вырывать из груди моей не слова, а сердце и внутренности мои, чтобы доказать тебе, что я тебя люблю, – то и это все, все было бы тщетно?! А между тем, я в том убежден, у тебя нежная и чувствительная душа, ты

блистаешь кротостью, ты вся – олицетворение красоты, доброты, милосердия, нежности! Увы! ты можешь быть зла только со мною одним! Такова уже моя печальная судьба!

Он закрыл лицо свое руками, и молодая девушка слышала, как он рыдал. Она еще в первый раз видела его плачущим. В таком виде он был еще более жалок и достоин сострадания, чем когда он валялся перед нею на коленях.

Проплакав некоторое время, он продолжал, вытирая слезы:

– Ну, вот, теперь я не нахожу и слов; а между тем я тщательно обдумал все, что я намеревался сказать тебе. В решительную минуту я дрожу, я смущаюсь, я могу лишь бормотать, а не говорить. О, я готов сейчас упасть, если ты не сжалишься надо мною... и над собою. Не губи нас обоих! Если бы ты знала, как я люблю тебя, какое сердце ты отталкиваешь от себя! О, моя добродетель, где ты! Я сам себя не узнаю. Я ученый, – и срамлю мою науку; я дворянин по происхождению, – и я срамлю мое имя; я служитель алтаря, – и я забываю моего Бога, я готов сделать из моего требника изголовье на ложе разврата, – и все это для тебя, волшебница, чтобы сделаться более достойным твоего ада! А ты меня отвергаешь! Нет, я тебе еще не все сказал; ты должна узнать все, даже самое ужасное!

И, при последних словах, лицо его приняло какое-то иступленное выражение. Он помолчал с минуту и затем продолжал громким голосом, но как бы говоря сам с собою:

– Каин, Каин, что сделал ты с твоим братом Авелем?

Он опять помолчал и затем продолжал:

– Что я с ним сделал, Господи? Я призрел, вскормил, воспитал его, я его любил и обожал, – и я убил его! Да, Господи, ему только что размозжили голову, на глазах моих, о камни дома Твоего, и все это ради меня, ради этой женщины, ради нее...

Взор его блуждал, голос его постоянно ослабевал; он повторил еще несколько раз, машинально, с довольно длинными промежутками, подобно колоколу, длящему свой последний гул:

– Ради нее... Ради нее...

И затем из уст его не раздавалось уже ни единого членораздельного звука, хотя губы его и продолжали шевелиться. Вдруг он грохнулся на землю и остался без движения, скрыв голову свою в коленях.

Движение молодой девушки, вытаскивавшей свою ногу из-под его колена, заставило его прийти в себя. Он медленно провел рукою по впалым щекам своим и с удивлением посмотрел в течение нескольких мгновений на пальцы свои, бывшие мокрыми.

– Что это, – пробормотал он, – никак я плакал!

И вдруг, обернувшись к цыганке, он проговорил в сильном волнении:

– Увы! Ты безжалостно смотрела на мои слезы! Но сознаешь ли ты, дитя, что эти слезы – та же горячая лава? Неужели же правда, что человек, которого ненавидят, неспособен тронуть? Ты, кажется, готова была бы смеяться при виде моей смерти! Но я... я не желаю видеть тебя умирающей! Одно слово! одно только слово прощения! Ну, не говори мне, что ты меня любишь, скажи мне только, что ты желаешь, чтобы я тебя спас... и этого будет достаточно! Иначе... О, время ухолит! Умоляю тебя всем, что для тебя священно, не дожидаясь того, что я снова сделаюсь каменным, как эта виселица, которая тоже ждет тебя! Подумай о том, что судьба нас обоих в твоей руке, что я – страшно сказать! – безумец, что я готовь сейчас погубить нас обоих, и что под нами, несчастная, разверста бездна, в которую я низвергнусь вслед за тобою на веки вечные. Скажи одно слово! только одно слово! одно доброе слово!

Она раскрыла уста, собираясь отвечать ему. Он бросился перед нею на колена, в надежде, что, быть может, тронутая его мольбами, она произнесет слово ласки.

– Вы – убийца! – проговорила она.

Тогда священник неистово обхватил ее руками своими и воскликнул с диким хохотом:

– Ну, да, я убийца, а все же ты будешь принадлежать мне. Ты не желаешь иметь меня рабом своим, – так я буду твоим господином! Ты будешь моя! Я увлеку тебя с собою, и ты

должна будешь последовать за мною, иначе я тебя выдам. Да, красавица моя, тебе остается на выбор только одно из двух: или умереть, или принадлежать мне, расстриге, отступнику, убийце! И притом нынче же ночью... слышишь ли? Ну, живо, решайся! Целуй меня, дурочка! Выбери: или ложе мое, или могила!

Глаза его блестели от сладострастия и ярости, а уста его покрывали поцелуями шею молодой девушки. Тщетно она отбивалась в его руках, он продолжал осыпать ее поцелуями.

– Не кусай меня, изверг! – воскликнула она. – О, этот ужасный, противный монах! Я сейчас вырву твои гадкие, седые волосы и брошу их тебе в лицо.

Он сначала покраснел, затем побледнел, отпустил ее и смотрел на нее мрачным взором. Она вообразила, будто победа осталась уже за нею, и продолжала:

– Я повторяю тебе, что люблю моего Феба, что желаю принадлежать только ему, что мой Феб – красавец! А ты – старый, гадкий поп! Убирайся прочь!

Он дико вскрикнул, как преступник, к телу которого прикасается клеймо.

Ну, умри же! – проговорил он, заскрежетав зубами, и бросил при этом такой свирепый взгляд на нее, что она хотела было убежать от него. Но он схватил ее, встряхнул, бросил на землю, и затем направился быстрыми шагами к Роландовой башне, волоча ее по мостовой за собою, держа ее за красивые ее руки. – Спрашиваю тебя в последний раз, хочешь ли ты быть моей? – обратился он к ней, дойдя до башни.

– Нет! – ответила она решительным голосом.

Тогда он закричал громким голосом:

– Гудула, Гудула! Вот цыганка! Настал час твоей мести!

Молодая девушка почувствовала, как кто-то схватил ее за локоть. Она оглянулась: в оконце, проделанное в стене, высунулась худощавая рука, схватившая ее точно железными клещами.

– Держи ее крепче! – проговорил священник. – Это беглая цыганка. Смотри, не отпускай ее. Я пойду за полицейскими, и ты вскоре увидишь, как ее повесят.

В ответ на эти слова изнутри келейки раздался горловой смех. Цыганка видела, как священник пустился бежать по направлению к собору Богоматери, откуда раздавался конский топот.

Молодая девушка узнала злую затворницу. Задыхаясь от ужаса, она старалась было вырваться от нее, сделала несколько отчаянных прыжков, но та держала ее с сверхъестественной силой. Ее худые, костлявые пальцы так и впились в ее руку, и, казалось, не было возможности оторвать их от нее. Это не была цепь, не были кандалы, не было железное кольцо, – это были живые и разумные клещи, выходившие из-за стены.

Выбившись из сил, она прислонилась к стене, и ею снова овладел смертельный ужас. Ей вспомнилось, как хороша жизнь, как хороша молодость, как прекрасны небо и природа; ей вспомнился Феб, вспомнилось все, что убегало от нее, и все, что приближалось к ней, вспомнились уходящий от нее священник, приближающийся палач, ожидающая ее виселица. Она почувствовала, как от ужаса волосы ее поднимаются дыбом, и в то же время в ушах ее звучал зловещий смех затворницы, которая приговаривала радостным голосом:

– Ага! Наконец-то тебя повесят!

Она повернулась лицом к оконцу и увидела сквозь железную решетку его бледное лицо затворницы.

– Что я вам сделала? – проговорила она слабым голосом.

Затворница ничего не ответила, и только принялась бормотать каким-то певучим, раздраженным, насмешливым голосом:

Цыганка, цыганка, цыганка!

Несчастливая Эсмеральда опустила голову, поняв, что она имеет дело не с человеческим существом. Вдруг затворница воскликнула, как будто вопрос цыганки только теперь достиг до ее слуха:

– Ты спрашиваешь, что ты мне сделала? Что ты мне сделала, цыганка? Ну, так слушай же! У меня была дочь, слышишь ли? дочь! Прехорошенькая девочка! О, Агнесочка! – прошептала она, что-то такое целуя в потемках. – Ну, так, слышишь ли, цыганка? – у меня взяли, у меня украли, у меня, быть может, убили дочь мою! Вот что ты мне сделала!

– Но ведь, быть может, меня в то время не было еще и на свете, – кротко заметила молодая девушка, как ягненок в басне.

– Нет, ты уже была тогда на свете, ты, быть может, принадлежала к их же шайке. Она теперь была бы приблизительно твоих лет. Так вот, видишь ли! Я уже целых пятнадцать лет сижу здесь, страдаю, молюсь, бьюсь головой об стену. Я говорю тебе, что украли ее у меня цыганки, слышишь ли? и что они съели ее. Есть ли в груди у тебя сердце? Можешь ты себе представить, что такое ребенок, берущий грудь, спящий, играющий, что это за милое, невинное существо? Ну, так вот такого-то ребенка у меня взяли, убили. Богу это известно. За то сегодня на моей улице праздник: я увижу гибель цыганки. О, с каким удовольствием я укусила бы тебя, если бы мне не мешала решетка! К сожалению, я не могу просунуть сквозь нее мою голову. Бедная малютка! Они украли ее во время сна, и если они при этом разбудили ее, то тщетно она кричала, меня не было дома. – О, проклятые цыганки! Вы погубили дочь мою! Ну, так приходите же смотреть, как я помогаю погубить вашу дочь!

И она принялась хохотать или скрежетать зубами – нельзя было разобрать, – до того лицо ее исхудало и исказилось. Начинало светать, и виселица, стоявшая посреди площади, вырисовывалась все яснее и яснее. С другой стороны, от соборного моста, до слуха бедной осужденной все явственнее и явственнее доносился топот конницы.

– Сударыня, – воскликнула несчастная молодая девушка, бросаясь на колена и складывая на груди руки, растерянная, обезумевшая от ужаса, – сударыня, сжальтесь надо мною! Они приближаются! Я вам ничего не сделала! Неужели же вы желаете меня увидеть умирающей на ваших глазах такую ужасною смертью? Вы сострадательны, я в том уверена! Ведь это слишком ужасно! Отпустите меня! Дайте мне бежать! Пощадите меня! Я не желаю умирать!

– Возврати мне мою дочь! – повторяла затворница.

– Пощадите, пощадите!

– Возврати мне мою дочь!

– Отпустите меня, ради самого неба!

– Возврати мне мою дочь!

Молодая девушка снова опустилась на колена, с безжизненным взором, точно надломанная.

– Увы! – прошептала она, – вы ищите вашего ребенка, а я ищу родителей моих.

– Возврати мне мою Агнесу! – повторяла Гудула. – Ты говоришь, что не знаешь, где она? Так умри же! Но раньше выслушай. Я была распутной женщиной. Бог послал мне ребенка, а его у меня отняли, – и отняли цыганки! Значит, ты видишь, что ты должна умереть! – Когда твоя мать-цыганка придет ко мне требовать тебя от меня, я скажу ей: – «Мать, взгляни на эту виселицу, или же отдай мне мою дочь!» – Знаешь ли ты, где она теперь, дочь моя? Я тебе покажу. Видишь ли ты этот башмачок? Вот все, что у меня осталось от нее. Известно ли тебе, где другой такой башмачок? Если тебе это известно, то скажи мне. Будь то даже за тридевять земель, – я на коленях поползу за ним.

И с этими словами она указывала цыганке на маленький, вышитый башмачок. Было уже настолько светло, что можно было разглядеть цвет и форму его.

– Покажите мне этот башмачок! – проговорила цыганка, вздрогнув. – О, Боже, Боже!

И в то же время она свободной рукой своей поспешно раскрыла зеленый мешочек, висевший у нее на шее.

– Ну, ну, доставай свой чертовский талисман! бормотала Гудула.

Но вдруг она остановилась, задрожала всем телом и воскликнула голосом, выражение которого невозможно передать:

– Дочь моя!

Цыганка только что вынула из своего мешочка башмачок, как две капли воды похожий на тот, на который указывала ей затворница. К этому башмачку прикреплен был кусочек пергамента, на котором можно было прочесть следующие слова:

«Когда ты найдешь подходящий ко мне башмачок, твоя мать откроет тебе объятия свои».

Затворница в одно мгновение ока сравнила оба башмачка, прочла надпись и, припав к решетке окна лицом, сиявшим неземною радостью, воскликнула:

– Дочь моя! Дочь моя!

– Мать моя! – в свою очередь воскликнула цыганка.

Мы отказываемся описывать последовавшую за этим сцену. Мать и дочь отделяли стена и железная решетка.

– О, эта проклятая стена! – воскликнула затворница. – Видеть ее и не быть в состоянии обнять ее! Дай мне, по крайней мере, твою руку.

Молодая девушка протянула к ней свою руку сквозь решетку; затворница бросилась к этой руке и припала к ней долгим поцелуем, не подавая иного признака жизни, кроме рыдания, от которого тело ее по временам судорожно вздрагивало; но в то же время из глаз ее втихомолку текли обильные слезы, точно тихий, летний, ночной дождь. Бедная мать изливала теперь на эту обожаемую руку все слезы, которые скопились в глубоком и темном колодце души ее в течение целых пятнадцати лет.

Вдруг она выпрямилась, откинула назад свои длинные, седые волосы, и, не произнося ни слова, принялась потрясать обеими руками своими железную решетку, закрывавшую оконце ее, с такою же силою, с какой львица трясет железные прутья своей клетки. Мо решетка не подавалась. Тогда она принесла из угла своей кельи большой булыжник, служивший ей изголовьем, и швырнула им в решетку с такою силою, что одна из полос переломилась, рассыпав тысячи искр. Второй удар переломил и другую полосу. Затем она обеими руками частью отгнула, частью совсем вынула обломки полос. Бывают такие минуты, когда руки слабой женщины получают нечеловеческую силу.

На все это потребовалось не более минуты. Затем она схватила дочь свою поперек тела и повлекла ее в свою келию, приговаривая:

– Наконец то, я извлекла тебя из бездны!

Втащив к себе дочь свою, она потихоньку поставила ее на землю, но затем тотчас же снова взяла ее на руки, и, нося ее, как малого ребенка, ходила с нею взад и вперед по маленькой келийке, обезумев от радости, крича, смеясь, целуя ее, говоря с нею, обливаясь слезами, делая все это разом и порывисто.

– Дочь моя, дочь моя! – повторяла она, – я нашла дочь мою! Вот она! Всеблагий Создатель возвратил мне ее! Эй, вы! идите все сюда! Кто хочет видеть мою дочь? Господи Иисусе Христе, как она красива! Ты заставил меня прождать целых пятнадцать лет, Господи, но лишь для того, чтобы возвратить мне ее такой красавицей. Значит, цыганки не съели ее! Кто же утверждал это?... Дочка моя, поцелуй меня! Какие добрые эти цыганки! Как я их люблю! Так это ты! То-то сердце билось в груди моей каждый раз, когда ты проходила! А я то принимала это за ненависть! Прости мне, Агнесочка, прости мне! Ты находила меня очень злою, не правда ли? Но я люблю тебя! А родимое пятнышко на твоей шее, где оно? Покажи-ка мне его! Да, вот оно! О, какая же ты красавица! Это у тебя от меня такие большие глаза. Поцелуй же меня! Я люблю тебя! Теперь мне все равно, есть ли у других матерей дети, или нет. Мне до этого нет

дела. Пусть они приходят и смотрят: вот моя дочь! Вот ее шея, ее глаза, ее волосы, ее руки! Найдите-ка мне что-нибудь столь же красивое, как все это! О, у нее не будет недостатка во вздыхателях, я в том уверена! Я проплакала целых пятнадцать лет. Вся моя красота перешла от меня к ней. Поцелуй меня!

И она говорила разный другой вздор, бессмысленный, но нежный, расстегивала ее платье, так что заставила даже покраснеть молодую девушку, гладила рукою ее шелковистые волосы, целовала ей лоб, глаза, руки, ноги, и от всего приходила в восторг. Молодая девушка не мешала ей и только по временам повторяла потихоньку, с неописанною кротостью:

– Мать моя!

– Видишь ли, дочурка, – говорила затворница, прерывая слова свои поцелуями, – видишь ли ты, я тебя буду очень любить. Мы уйдем далеко, далеко отсюда. Мы будем очень счастливы. У меня осталось некоторое наследство на нашей родине, в Реймсе. Ведь ты помнишь Реймс? Ах, да, где же тебе помнить! Ты была тогда еще совершенно маленькая! Если бы ты знала, какая ты была хорошенькая, когда тебе было четыре месяца! У тебя были такие маленькие ножки, что на них приходили даже смотреть из Эпернэ, а ведь это в семи милях, ты знаешь! У нас будет свой дом, свое поле. Я уложу тебя в свою постель. Боже мой! Боже мой! Кто бы мог поверить тому? Я нашла свою дочь!

– О, моя мать! – проговорила, наконец, несколько преодолев свое волнение, молодая девушка: – мне, значит, верно предсказала цыганка. В нашем таборе была одна добрая цыганка, которая всегда ходила за мною, как нянька, и которая умерла в прошлом году; она то и повесила мне на шею этот мешочек. Она всегда говорила мне: «Смотри, береги этот башмачок. Это сокровище, которое поможет тебе разыскать твою мать. Она у тебя на шее, твоя мать». Она, значит, верно предсказала, цыганка эта!

Затворница снова обняла свою дочь и проговорила:

– Пойди, поцелуй меня! Как ты это мило сказала! Когда мы возвратимся на родину, мы пожертвуем башмачки твои в церковь, чтоб обути ими статую младенца Иисуса. Мы должны сделать это, чтоб отблагодарить Пресвятую Богородицу за совершенное Ею чудо. Боже мой! какой у тебя приятный голос! Сейчас, когда ты говорила, мне казалось, будто я слышу музыку. О, Господи Боже мой! Я нашла дочь мою! Но может ли это быть! И как это я не умерла от радости!

И она снова захлопала в ладоши, и засмеялась, и воскликнула:

– Как мы счастливо проживем!

В это время до слуха молодой девушки долетело бряцание оружия и конский топот, приближавшийся, казалось, со стороны собора и раздававшийся все ближе и ближе на набережной. Цыганка в ужасе бросилась к затворнице.

– Спаси меня! спаси меня, матушка! – воскликнула она, – вон они приближаются!

– О, небо!.. Что ты говоришь! – проговорила затворница, побледнев, – а я и забыла: ведь тебя преследуют! Но за что же?

– Я сама не знаю, – ответила несчастная, – но я осуждена к смерти!

– К смерти! – воскликнула Гудула, зашатавшись. – К смерти! – повторила она медленно, пристально глядя на свою дочь.

– Да, матушка, – ответила несчастная молодая девушка, – они желают убить меня. Вон, они уже идут за мною. Эта виселица ждет меня! Спаси меня, спаси меня! Они приближаются. Спаси меня!

Затворница осталась несколько мгновений неподвижная, как бы окаменелая; затем она покачала головою, как бы в знак сомнения, и вдруг воскликнула, разразившись хохотом, своим прежним, диким хохотом:

– О, о, о! Что ты там городишь за вздор! Как бы ни так! Чтобы я потеряла ее на целых пятнадцать лет для того, чтобы найти ее всего на одну минуту! Чтоб они взяли ее у меня теперь,

когда она выросла, сделалась красавицей, говорит со мною, любит меня, чтоб они теперь пришли убивать ее на моих глазах, на глазах ее матери! О, нет! Такие вещи невозможны! Бог этого не допустит!

Здесь всадники как будто остановились, и слышен был голос, говоривший:

– «Сюда, г. Тристан Священник говорит, что мы найдем ее у Крысиной Норы». – И снова раздался конский топот.

Затворница вскочила, испустив крик отчаяния.

– Спасайся, спасайся, дитя мое! – воскликнула она. – Теперь я все вспомнила. Ты права: тебя ожидает смерть! О, ужас! Проклятие! Спасайся!

Она высунула голову в оконце и сказала тихим, отрывистым, мрачным голосом, судорожно сжимая руку молодой девушки, более мертвой, чем живой:

– Нет, оставайся и не шевелись. Кругом стоять солдаты! Тебе нельзя выйти. Слишком светло!

Глаза ее лихорадочно блестели. С минуту она молчала, расхаживая по своей каморке и по временам останавливаясь для того, чтобы ключьями вырывать из своей головы седые волосы.

– Они приближаются! – воскликнула она вдруг. – Я заговорю с ними. Спрячусь в этот угол. Они не увидят тебя. Я скажу им, что ты вырвалась у меня и убежала, что ли!

И она спустила с рук своих девушку, – так как она все это время продолжала носить ее на руках, – в один из углов каморки, в который нельзя было заглянуть с улицы, усадила ее, тщательно прикрыла ее руки и ноги, а равно и ее платье длинными, черными волосами, которые она распустила, и поставила перед нею кружку и свой булыжник, т. е. все, что только было в ее каморке, воображая, будто эта кружка и этот булыжник могут прикрыть ее. Затем, окончив все эти приготовления и несколько успокоившись, она стала на колена и принялась молиться. Только что начинало светать, и потому в Крысиной Норе было довольно темно.

В это время у самой пещеры раздался голос священника, этот адский голос, кричавший:

– «Сюда, сюда, капитан Феб де-Шатопер!»

При звуке этого голоса, при этом имени Эсмеральда, забившаяся в угол, сделала движение.

– Не шевелись, – шепнула ей Гудула.

Едва произнесла она это слово, как возле самой Крысиной Норы раздались человеческие голоса, бряцание оружия и конский топот. Мать поспешно встала и поместилась перед оконцем, чтобы закрыть его. Она увидела выстроившиеся на Гревской площади отряды пеших и конных солдат. Начальник сошел с лошади и направился к ней.

– Эй, старуха! – слезал он грубым голосом, – мы ищем колдунью, чтобы повесить ее. Нам говорили, что ты ее держишь.

Бедная мать придала лицу возможно равнодушное выражение и ответила:

– Я не понимаю, что вы говорите.

– Черт возьми! Что такое наболтал нам этот полоумный поп?.. – воскликнул офицер. – Да где же он?

– Ваше превосходительство, – ответил один из солдат, – он исчез.

– Ну, старуха, не лги, – продолжал капитан. – Тебе поручили стеречь колдунью. Что ты с нею сделала?

Затворница, боясь возбудить подозрение, не захотела, безусловно, отнекиваться, и ответила искренним, но недовольным тоном:

– Если вы говорите о той молодой девушке, которую мне только что навязали на руки, то я могу вам только ответить, – что она укусила меня за руку, и я должна была выпустить ее руку. Вот и все. А теперь оставьте меня в покое.

– Не лги, старуха, – строго проговорил начальник отряда, – меня зовут Тристан Пустынный и я – кум короля. Тристан Пустынный, слышишь ли? – И он прибавил, оглядывая Гревскую площадь, – это имя здесь, кажется, небезызвестно.

– Хотя бы вы были сам Сатана Пустынный, – проговорила Гудула, к которой начинала возвращаться надежда, – я ничего не имею сказать вам больше и я не боюсь вас.

– Черт побери! – воскликнул Тристан, – вот так старуха! Так, значит, колдунья убежала! Куда же она направилась?

– Кажется, по Бараньей улице, – ответила она спокойным голосом.

Тристан повернулся к своему отряду и знаком велел ему готовиться в дальнейший поход. Затворница вздохнула свободнее.

– Ваше превосходительство, – вдруг сказал один из стрелков, – спросите у старой ведьмы, отчего это так погнуты железные полосы в ее оконце?

Вопрос этот снова преисполнил тревогой сердце бедной матери. Она, однако, не утратила всякое присутствие духа и проговорила:

– Они уже давно сломаны.

– Неправда! – ответил стрелок, – еще вчера они были совершенно целы и составляли правильный крест.

Тристан искоса взглянул на затворницу и проговорил:

– Кажется, кума смутилась.

Несчастная чувствовала, что все зависит от ее хладнокровия, и засмеялась, хотя на сердце у нее скреблись кошки. Только мать способна на такое усилие над собою.

– Человек этот, кажется, пьян, – проговорила она. – Уже более года тому назад какой-то ломовой извозчик ударил задком своего нагруженного камнями воза в мое оконце и сломал решетку. Я тогда еще так сильно его ругала.

– Это правда, – вставил свое слово другой стрелок, – я сам присутствовал при этом.

Замечательно, что всегда и всюду находятся люди, которые все видели. Это неожиданное свидетельское показание стрелка приободрило затворницу, которая во все время этого допроса стояла точно на горячих углях. Но ей суждено было переходить постоянно от тревоги к надежде и обратно.

– Если их сломала повозка, – заметил первый стрелок, – то концы железных полос должны бы быть выгнуты наружу, а они вогнуты внутрь.

– Эге! – сказал Тристан, обращаясь к солдату, – у тебя, однако, чутье сыщика! Ну, что ты на это скажешь, старуха?

– Боже мой! – воскликнула она, чуть не плача и голосом, в котором против ее воли сказывалась тревога, – уверяю вас, сударь, что решетку эту сломала повозка. Ведь вы слышали от одного из ваших солдат, что он сам это видел. И, наконец, причем же тут цыганка?

– Гм! гм! – пробормотал Тристан.

– Неправда, – продолжал солдат, польщенный похвалою начальства, – перелом совсем свежий.

Тристан покачал головою, а она побледнела.

– Когда это случилось, говорите вы? – спросил Пустынный.

– Не помню хорошенько, сударь, быть может, две недели, быть может, месяц тому назад.

– А только что она говорила, что более года тому назад, – заметил солдат.

– Да, все это очень подозрительно, – заметил профос.

– Клянусь вам, сударь, – воскликнула она, продолжая стоять перед оконцем и дрожа при мысли, как бы он не вздумал просунуть в него голову и заглянуть в ее каморку, – клянусь вам, что окно это разбила телега... Клянусь вам в этом всеми ангелами рая. Пусть я буду навеки проклята, пусть меня разразит Господь, если я лгу.

– Ты, однако, очень горячо клянешься, – произнес Тристан, кидая на нее испытующий взгляд.

Бедная женщина чувствовала, как уверенность ее слабела с каждой минутой. Она уже начала делить одну неловкость за другую, и с ужасом сознавала, что говорит совсем не то, что ей бы следовало говорить. А тут в дело вмешался еще другой солдат, который воскликнул:

– Сударь, старая ведьма лжет. Колдунья не могла убежать по Бараньей улице: стоящие у входа караульные уверяют, что никто там не проходил.

Тристан, лицо которого становилось все более и более мрачным, обратился к затворнице с вопросом:

– Ну, что ты на это скажешь?

– Ничего не знаю, сударь, – ответила она, стараясь выпутаться из этого нового затруднения, – быть может, я и ошибаюсь. Только мне кажется, будто она убежала за реку.

– Значит, уже в противоположную сторону, – заметил профос. – Вряд ли, однако, она вздумала бы возвратиться в Старый город, откуда за нею гнались. Ты лжешь, старуха!

– И к тому же, – присовокупил первый солдат, – ни на этом берегу, ни на том нет ни одной лодки.

– Быть может, она перебралась вплавь, – ответила затворница, отстаивая свою позицию шаг за шагом.

– Да разве женщины умеют так хорошо плавать? – усомнился солдат.

– Черт побери, ты лжешь, старуха, ты лжешь! – воскликнул Тристан гневным голосом. Меня разбирает охота оставить в покое эту колдунью и захватить тебя. Если тебя с четверть часика хорошенько допросить под пристрастием, быть может, и вытянешь из тебя правду. Марш за нами!

– Как вам будет угодно, сударь! – воскликнула она даже с радостью. – Как вам будет угодно! Пожалуй, допросите меня под пристрастием. Ведите меня! По мне хоть сейчас. Скорее, скорее! – В это время, – думала она про себя, – дочь моя успеет спастись.

– Сто тысяч чертей! – пробормотал профос, – как ей хочется на дыбу. Положительно, не понимаю этой сумасшедшей.

Один старый, седой сержант городской стражи выступил из рядов и сказал, обращаясь к профосу:

– Да она и есть сумасшедшая, сударь. Если она упустила цыганку, то в этом не ее вина, так как она ненавидит цыганок. Вот уже пятнадцать лет, как я, обходя город ночным дозором, слышу, как она всячески проклинает и ругает цыганок. А что касается молодой танцовщицы с козой, которую мы, кажется, ищем, то она ее особенно ненавидит.

– Да, да, особенно, – подтвердила Гудула, делая над собою усилие.

Все стражники единогласно подтвердили слова старого сержанта. Тристан Пустынник, убедившись в том, что от затворницы ничего не добьешься, повернулся к ней спиной, и она с радостным волнением увидела, как он направился к своей лошади.

– Ну, нечего делать, – проговорил он сквозь зубы, – нужно отправляться дальше искать ее в другом месте. Я не лягу спать, пока цыганка не будет повешена.

Однако он не сейчас же сел на лошадь. Гудула продолжала дрожать, видя, как он обводил все беспокойным взором гончей собаки, чующей логовище красного зверя и не желающей удалиться с места. Но, наконец, он тряхнул головою и сел на лошадь. Из стесненной груди Гуцулы вырвался тяжелый вздох, и она произнесла тихим голосом, взглянув на свою дочь, на которую она все это время не решалась смотреть:

– Спасена!

Бедная девушка все это время оставалась в своем углу, не смея ни пошевелиться, ни даже дышать и видя перед собою страшный образ смерти. До ее слуха долетало каждое из произнесенных слов, и она волновалась не менее своей матери. Она слышала, как трещала нитка,

на которой она висела над бездной, и она ежеминутно опасалась, что нитка эта оборвется; теперь она почувствовала, облегчение, почувствовала под собою твердую почву. В эту минуту она услышала голос, говоривший профосу:

– Черт побери, г. профос, вовсе не мое дело вешать колдуний. Я человек военный. Я разогнал бунтарей, а теперь ищите уже сами ту, которую вам нужно повесить, а меня соблаговолите отпустить к моей команде, которая осталась без начальника.

Это был голос Феба де-Шатопера. Невозможно описать то, что испытала молодая девушка, услышав этот голос. Он, значит, здесь, – ее друг, ее защитник, ее убежище, ее Феб! Она вскочила, и прежде чем мать успела удержать ее, бросилась к окошку с криком:

– Феб, мой Феб, приди ко мне!

Но Феба уже не было на площади: он пустил свою лошадь галопом и только что повернул за угол улицы Ножовщиков. Однако Тристан был еще тут.

Затворница бросилась к дочери своей с диким воплем и, вцепившись ногтями своими в шею ее, оттащила ее назад: мать-тигрица не разбирает того, как она схватывает детеныша своего, которого нужно спасти. Но было уже поздно: Тристан заметил молодую девушку.

– Э, э! – воскликнул он, захохотав и ослабив зубы, что придавало лицу его выражение волчьей пасти, – в мышеловке-то оказались две мышки.

– Я так и знал, – проговорил солдат.

– Хороший у тебя нюх, – сказал Тристан, потрепав его по плечу. – А где же Анри Кузен?

Из рядов солдат вышел человек, непохожий на них ни по виду, ни по одежде. Он был одет в серо-коричневой камзол, с кожаными нарукавниками, волосы его были гладко прилизаны, и в толстой руке своей он держал связку веревок. Человек этот был постоянный спутник Тристана, постоянного спутника Людовика XI.

– Приятель, – обратился к нему Тристан Пустынник: – мы, кажется, нашли колдунью, которую мы искали. Повесь-ка ее. Лестница при тебе?

– Там, в сарае дома с колоннами, есть лестница, – проговорил Кузен. – Где же мы ее повесим? Здесь, что ли? – спросил он, указывая на каменную виселицу.

– Пожалуй, хоть и здесь.

– Ну, и прекрасно, – ответил тот, смеясь еще более зверским образом, чем сам Тристан, – по крайней мере, нам не придется далеко идти.

– Ну, живо, живо! – сказал Тристан, – посмеешься ты потом.

С тех пор, как Тристан заметил ее дочь, и как всякая надежда была потеряна, затворница не произнесла ни единого слова. Она бросила бедную, полуживую цыганку в угол своей каморки и снова стала перед оконцем, ухватившись обеими руками, точно когтями, за раму его. Приняв такую позицию, она обводила солдат смелым, диким и как бы бессмысленным взглядом. В ту минуту, когда Анри Кузен приблизился к ее окошку, лицо ее приняло такое страшное выражение, что он невольно отступил.

– Сударь, – спросил он, обращаясь к профосу, – которую же из них нужно повесить?

– Молодую.

– Тем лучше, ибо старуха, кажется, не в своем уме.

– Бедная плясунья! – пробормотал старый сержант.

Анри Кузен снова приблизился к оконцу, но пристальный взгляд старухи заставил его опустить глаза.

– Сударыня... – проговорил он довольно робким голосом.

– Чего тебе нужно? – перебила она его тихим голосом, в котором, однако, звучала ярость.

– Не вас, сударыня, – ответил он, – а другую.

– Какую другую?

– Молодую.

– Тут никого нет, никого нет, никого нет! – закричала она, качая головою.

– Нет, есть, – ответил палач, – и вам самим это хорошо известно. Позвольте мне только повесить другую, а вас я не трону.

– А-а! ты не тронешь меня! – произнесла старуха с диким хохотом.

– Отдайте мне другую, сударыня. Так приказал г. профос.

– Да тут никого нет, – настаивала она точно безумная.

– А я вам говорю, что есть, – ответил палач. – Мы все видели, что вас тут было двое.

– Ну, так посмотри еще раз хорошенько, – сказала затворница, смеясь. – Просунь голову.

Палач взглянул на длинные ногти матери и не решился просунуть голову.

– Ну, живо, – воскликнул Тристан, только что расставивший свою команду полукругом вокруг Крысиной Норы и поместившийся верхом подле виселицы. Анри еще раз, крайне смущенный, подошел к профосу. Он положил веревку на землю и неловко мял в руках свою шляпу.

– Откуда прикажете войти? – спросил он.

– В дверь!

– Да там нет дверей.

– Ну, так в окно!

– Оно, слишком узко.

– Ну, так расширь его! – гневно воскликнул Тристан. – Разве у тебя нет лома?

А тем временем мать зорко следила за всем, что происходило, из глубины своей пещеры. Она уже ни на что не надеялась, она сама не знала, чего желала, она только не желала, чтоб у нее отняли ее дочь.

Анри Кузен отправился за орудиями в сарай при доме с колоннами. Кстати он захватил оттуда и лестницу, которую мимоходом и приставил к виселице. Пять или шесть стражников вооружились ломами и кирками, и Тристан направился вместе с ними к оконцу.

– Старуха, – проговорил он строгим голосом, – выдай нам девушку добровольно.

Она взглянула на него таким взглядом, как будто она не поняла смысла его слов.

– Черт побери! – продолжал Тристан, – что заставляет тебе мешать нам повесить эту колдунью, согласно желанию короля? – И он захохотал своим диким хохотом.

– Что мне мешает допустить это? А то, что это дочь моя.

Выражение, с которым произнесены были слова эти, заставило вздрогнуть даже Анри Кузена.

– Мне жаль тебя, – ответил профос, – но такова воля короля.

– А мне что за дело до твоего короля! – воскликнула она, снова дико захохотав. – Я говорю тебе, что это дочь моя!

– Ломайте стену! – скомандовал Тристан.

Для того чтобы пробить достаточно широкое отверстие, достаточно было выломать один ряд кирпичей над оконцем. Когда бедная мать услышала, как ломы и кирки стали разрушать ее крепость, она испустила страшный крик и начала быстро ходить вокруг своей каморки; она усвоила себе эту привычку заключенного в клетку дикого зверя в течение 15-ти летнего пребывания своего в этом тесном помещении. Она не произносила ни слова, но глаза ее сверкали. Сами солдаты были поражены ужасом.

Вдруг она, дико захохотав, схватила обеими руками свой булыжник и швырнула им в рабочих; но руки ее дрожали, и потому булыжник, никого не задев, упал у ног лошади Тристана. Она заскрежетала зубами.

Хотя солнце еще не взошло, но было уже совсем светло, и старые дымовые трубы окружающих домов окрашены были в прекрасный алый цвет. В это время окрестные жители, имевшие обыкновение вставать рано, открывали уже свои окна. По Гревской площади стали проходить некоторые обыватели, некоторые продавцы, отправлявшиеся на рынок со своим товаром. Они останавливались на минуту перед группой солдат, собравшейся вокруг Крысиной Норы, смотрели на нее с удивленным видом и проходили дальше.

Затворница уселась подле своей дочери, прикрывала ее собою, пристально глядя на окошко и прислушиваясь к дыханию бедной девушки, которая не шевелилась и только шепотом повторяла: – «Феб! Феб!» – По мере того, как отверстие вокруг окошка расширялось, бедная мать машинально отодвигалась дальше от него и все крепче и крепче прижимала молодую девушку к стене. Вдруг она увидела, как большой камень над окошком зашатался (она не спускала с него глаз) и услышала голос Тристана, понукавшего рабочих.

Тогда она вышла из оцепенения, в котором она находилась в течение нескольких минут, и воскликнула, причем голос ее то резал ухо, как пила, то звучал невнятно, походя на беспорядочное падение камней:

– О-о! но ведь это ужасно! Ведь вы, просто, какие-то разбойники! Да неужели же вы взаправду хотите отнять у меня дочь мою? Говорю вам, что это дочь моя! Ах, подлецы! Ах, негодные палачи! Ах, гнусные убийцы! Караул! Караул! Грабят! У меня отнимают дочь мою! Да неужели ты это допустишь, Господи Боже мой?!

И затем она кричала, обращаясь к Тристану, со стоящими дыбом волосами, с блуждающим взором разъяренной тигрицы:

– Ну-ка, подойди! попробуй-ка отнять у меня дочь мою! Неужели ж ты не понимаешь? Я говорю тебе, что это дочь моя! Знаешь ли ты, что такое иметь ребенка, а? Неужели у тебя ничего не шевельнется внутри при плаче их?

– Валите камень! – крикнул Тристан, – он уже достаточно расшатан.

Камень заколыхался: это был последний оплот бедной матери. Она кинулась к нему, желая было удержать его на месте, но только содрала себе ногти, и тяжелый камень, сдвинутый с места шестью здоровенными людьми, вырвался из рук ее и грохнулся наземь. Несчастная мать, при виде пробитого отверстия, распростерла руки поперек окна, ударяясь головою о камни, и кричала хриплым, еле слышным голосом:

– Караул! Спасите! Спасите!

– Теперь тащите девушку! – хладнокровно скомандовал Тристан.

Но старуха взглянула на солдат таким страшным взглядом, что им хотелось скорее попятиться назад, чем двинуться вперед.

– Ну же, вперед! – крикнул профос. – Анри Кузен, что же ты?

Но никто не двигался.

– Ах вы, мямли! – гневно воскликнул Тристан. – Испугались бабы! А еще солдаты!

– Вы называете этого зверя бабой, сударь? – заметил Анри. – Да у нее грива, точно у львицы.

– Вперед, вперед! – настаивал профос. – Отверстие достаточно широко. Влезайте в него трое в ряд, как на Понтуазской брешни. Пора кончать! Я разрублю пополам первого, который подастся хотя бы на один шаг.

Будучи поставлены меж двух огней, – расвишавшей старухой и строгим профосом, – солдаты колебались было с минуту и, наконец, ринулись к Крысиной Норе.

Увидев это, несчастная затворница бросилась на колена, откинула назад волосы, и похулевшие руки ее свесились плетями. Из глаз ее закапали крупные слезы и стали стекать по глубоким морщинам на ее щеках, точно ручей, проложивший себе русло. В то же время она заговорила, но таким умоляющим, кротким, покорным и за душу хватающим голосом, что многие из стоявших вокруг Тристана служак, видевших не мало видов, украдкой утирали себе глаза.

– Господа, господа сержанты, одно слово, одно только слово! Вот что я должна сказать вам: это дочь моя, слышите ли, дорогая моя дочь, которой я так давно уже лишилась. Это целая история, послушайте только. Я очень люблю господ сержантов. Они всегда были очень добры ко мне еще в те времена, когда уличные мальчишки бросали в меня камнями за то, что я имела любовников. Я уверена, что вы оставите мне мою дочь, когда я вам все скажу. Я прежде была распутной женщиной. Это цыганки украли ее у меня. Но я в течение пятнадцати

лет хранила башмачок ее. Вот он, смотрите! У нее в то время была такая маленькая ножка. В Реймсе, в улице Фоль-Пен, девица Шанфлери! Быть может, кто-нибудь из вас даже знал ее? – Это была я, – тогда, когда вы были еще молоды! А ведь хорошее было времечко! Немало мы все провели веселых часов! Ведь вы сжалитесь надо мною, не правда ли, господа? Цыганки украли ее у меня и держали ее у себя в течение целых пятнадцати лет. Я уверена была, что она умерла, да, вообразите себе, друзья мои, что она умерла! Я провела здесь, в этой яме, целых пятнадцать лет, – а ведь это нелегко! А этот бедный, хорошенький башмачок! Я так много плакала, что Господь Бог, наконец, сжалился надо мною: нынче ночью Он возвратил мне мою дочь. Это было чудо Господне! Она не умерла! Так теперь уже вы не отнимете ее у меня, я в том уверена. Если бы еще дело шло обо мне, – я бы ничего не сказала; но она, шестнадцатилетний ребенок! Дайте же ей еще полюбоваться солнцем! Что она вам сделала? Ничего! И я также. Подумайте, ведь у меня на свете только и есть, что она одна, ведь я уже старуха, ведь мне послала на старость это утешение Пресвятая Богородица. И к тому же вы все так добры! Ведь вы раньше не знали, что это дочь моя, а теперь вы знаете. О, как я ее люблю! Г. профос, я предпочитаю, чтобы меня разрубили пополам, лишь бы ее не трогали! Вы имеете вид доброго барина. Ведь моих объяснений достаточно с вас, не так ли? Вспомните о своей матери, сударь, и оставьте мне ребенка моего! Глядите, я умоляю вас на коленях, как молят Христа! Мне ни от кого ничего не нужно; я родом из Реймса, господа, и я наследовала от дяди моего Магиета Прадона небольшое поместье. Я не нищая! Мне от вас ничего не нужно, – оставьте мне только дочь мою! Ведь недаром же Всеблагий Господь Бог возвратил мне ее. Король! вы говорите – король! Но какое особое удовольствие монет доставить ему то, что вы убьете дочурку мою? И к тому же король ведь так добр! Ведь это моя дочь, а не короля, не ваша! Пустите нас, мы уйдем! Ведь нельзя же не пропустить двух женщин, из которых одна – мать, а другая – дочь! Пропустите нас, мы из Реймса. О, господа сержанты, вы все так добры, я вас всех так люблю! Вы не отнимете у меня дочку моей! Нет, это невозможно! Не правда ли, это совершенно невозможно? Дитя мое, дитя мое...

Мы отказываемся от попытки передать то выражение, с которым были произнесены слова эти, описывать жесты несчастной матери, слезы, которые она глотала, торопясь говорить, ломание рук ее, печальную улыбку и отчаянные взгляды ее, жалобные и трогательные вздохи, стоны и крики, которыми сопровождалась эта бессвязная, беспорядочная и бессмысленная речь. Когда она замолчала, Тристан Пустынник сморщил брови, но лишь для того, чтобы скрыть слезы, навернувшиеся на его глазах тигра. Он, однако, преодолел эту слабость и отрывисто проговорил:

– Это воля короля!

Затем он наклонился к Анри Кузену и сказал ему на ухо:

– Кончай скорее! – Быть может, даже безжалостный профос боялся, что старухе удастся разжалобить его.

Палач и солдаты вошли к каморку. Мать не оказывала никакого сопротивления, а только дотаскилась до дочери своей и прикрыла ее своим телом.

Цыганка тоже увидела приближающихся солдат, и смертельный ужас вывел ее из ее забытья.

– Матушка! – воскликнула она отчаянным голосом, – они приближаются! Спаси меня!

– Да, дитя мое, я спасу тебя, – ответила старуха сдавленным голосом и, крепко обняв ее, стала покрывать ее поцелуями. Обе эти женщины, мать и дочь, сидя, таким образом, рядом на полу, способны были внушить сострадание не только самому черствому человеку, но даже камню.

Анри Кузен схватил молодую девушку под мышки. Почувствовал прикосновение к своему телу этой грубой руки, она вскрикнула и упала в обморок. Палач, из глаз которого капали на несчастную крупные слезы, хотел было взять ее из рук старухи. Он старался разжать руки

Гудулы, крепко обхватившей талию молодой девушки, но она так судорожно впилась в свою дочь, что последнюю невозможно было вырвать из рук ее. Тогда Анри Кузен поволок молодую девушку вон из каморки, вместе с вцепившейся в нее старухой, глаза которой были также закрыты.

У окон близлежащих домов не было никого. Только вдали, на самой вышке колокольни собора Богоматери, с которой видна была Гревская площадь, стояли, казалось, два человека, черные силуэты которых обрисовывались на светлеющем утреннем небе.

Анри Кузен остановился со своей ношей у подножия лестницы и, тяжело дыша, – до того невыносима была для него эта сцена, – продел в петлю красивую шею молодой девушки. Почувствовав прикосновение пеньки к своей шее, несчастная раскрыла глаза и увидела прямо над головой своей ужасную перекладину виселицы. При этом она вздрогнула и закричала громким душой раздирающим голосом:

– Нет, нет! Я не хочу!

Мать, голова которой была прикрыта платьем дочери, не произнесла ни слова; видно было только, как она задрожала и стала судорожно целовать дочь свою. Палач воспользовался этим мгновением, чтобы разжать руки, которыми она обхватила молодую девушку, и, от утомления ли или от отчаяния, но она не сопротивлялась. Затем он взвалил молодую девушку на плечи, причем она перегнулась, точно переломленная пополам, и уже занес ногу на лестницу, собираясь подняться по ней.

В это время несчастная мать, лежавшая распростертою на мостовой, раскрыла глаза. Не испустив ни единого звука, она вскочила на ноги со страшным выражением лица и затем бросилась на палача, точно дикий зверь, и укусила его в руку. Все это случилось с быстротой молнии. Палач вскрикнул от боли. Подбежали солдаты и с трудом освободили окровавленную руку палача из судорожно сжатых зубов Гудулы. Она хранила глубокое молчание. Ее оттолкнули довольно грубо, и она, как сноп, грохнулась на мостовую. Ее приподняли, но она снова грохнулась. Тут только заметили, что она представляла собою лишь безжизненный труп.

Палач, не выпустивший из рук молодой девушки, снова стал подниматься на лестницу.

II. Прекрасное создание, одетое в белое (Данте)

Квазимодо, найдя комнату, в которой он укрыл Эсмеральду, пустою, убедившись в том, что, пока он геройски защищал молодую девушку, ее похитили, схватился за голову и стал топтать ногами от удивления и от отчаяния. Затем он пустился бежать по всей церкви, ища всюду цыганку, испуская дикие вопли и вырывая клочьями рыжие волосы свои. Как раз в эту минуту королевские стрелки, тоже искавшие цыганку, победителями входили в церковь. Квазимодо, будучи глух и ничего не понимая, стал помогать им, воображая, будто недругами цыганки были не они, а разбойники. Он сам водил Тристана по самым затаенным уголкам, открывал перед ним все потайные двери, все чуланы и кладовые. Если бы несчастная находилась еще в соборе, то он, без сомнения, выдал бы ее.

Когда Тристану, наконец, надоело искать, – а он не привык так легко отказываться от своей добычи, – Квазимодо стал продолжать свои поиски один. Он двадцать, сто раз обошел церковь вдоль и поперек, снизу вверх, поднимаясь, опускаясь, бегая, зовя, крича, нюхая, шаря, просовывая свою голову во все отверстия, светя всюду своим факелом, приходя в отчаяние, безумствуя. Самец, потерявший свою самку, не бывает более растерян и более беспокоен.

Наконец, окончательно убедившись в том, что ее нет более в церкви, что ее украли у него, он медленно поднялся по лестнице, ведущей на колокольню, по той самой лестнице, по которой он взлетел с таким восторгом и с таким торжеством в тот день, когда он спас ее. Теперь он проходил по этим самым местам, понунив голову, не испуская ни единого звука, еле дыша. Церковь снова сделалась пустынно и молчалива. Королевские стрелки покинули ее, чтоб искать

колдунью по городу. Квазимодо, оставшись один в этом громадном соборе, недавно еще столь шумном и оживленном, направился к той камерке, в которой цыганка спала столько недель под его охраной.

Приближаясь к двери, он вообразил себе, что, быть может, он вдруг найдет за нею молодую девушку. Когда, при повороте с галереи, он увидел небольшую комнату, с низкой дверцей и круглым окошечком, скрытую под высоким сводом, точно птичье гнездышко под густой ветвью, сердце у бедняги сильно забилося, и он прислонился к колонне, чтобы не упасть. Он вообразил, что, быть может, она вернулась в свою камерку, что ее принес туда обратно какой-нибудь добрый гений, что эта камерка слишком спокойна, слишком безопасна и слишком уютна, для того, чтобы ее не было в ней, и он не решался идти дальше, чтобы не разбить своей иллюзии.

– Да, – говорил он сам себе, – быть может она спит или молится. Не нужно мешать ей.

Наконец, он собрался с духом, подошел к двери на цыпочках, заглянул в нее, вошел: – никого; камерка по-прежнему была пуста. Несчастный обошел ее медленными шагами, приподнял матрас, воображая, что, быть может, она забилась под него от испуга, затем покачал головою и остановился растерянный. Затем он в бешенстве растоптал ногами свой факел, и, не произнеся ни слова, не испустив ни вздоха, хватился головою об стену и без чувств упал на пол. Придя, несколько времени спустя, в себя, он бросился на постель, стал кататься по ней, неистово целовал теплую еще подушку, на которой столь недавно покоилась головка молодой девушки, и припал к ней, оставаясь в таком положении неподвижно, как мертвец. По прошествии нескольких минут он вскочил, обливаясь потом, задыхаясь, с блуждающим взглядом, и принялся биться головою об стены, точно язык колокола и как бы с твердым намерением, во что бы то ни стало размозжить ее. Наконец, он вторично упал в изнеможении. Он на коленях выполз из камерки и уселся на корточках перед дверью ее, с выражением крайнего недоумения на лице.

Он оставался в таком положении больше часа, не двигаясь, устремив взор на пустую камерку, более мрачный и более задумчивый, чем мать, сидящая между пустою колыбелью и гробиком своего ребенка. Он не произносил ни единого слова; только по временам все тело его содрогалось от рыданий; но рыдания эти не сопровождались слезами, подобно тому, как летние зарницы не сопровождаются громом.

В это-то время, раздумывая о том, кто бы мог быть неожиданным похитителем цыганки, он в отчаянии своем вспомнил об архидиаcone. Ему прошло на ум, что у одного Клода был ключ от двери, ведущей на колокольню; ему припомнились и оба ночные покушения Клода против молодой девушки, – первое, которому он, Квазимодо, содействовал, второе, которому он помешал. Ему припомнились также и тысячи других мелких подробностей, и вскоре для него не осталось ни малейшего сомнения в том, что именно архидиакон похитил у него цыганку. Однако, он питал такое глубокое уважение к Клоду, он до того любил этого человека, преданность и благодарность к нему пустили до того глубокие корни в его сердце, что даже в эту минуту когтям ревности и беспокойства не удалось вырвать этих корней. При мысли о том, что это, быть может, сделал архидиакон, смертельная злоба, которую он почувствовал бы по этому поводу ко всякому другому, как скоро речь шла о Клоде Фролло, превращалась у бедняги лишь в более жгучее чувство боли и печали.

В ту самую минуту, когда мысль его остановилась на Клоде, он увидел, начало уже светать, – в верхнем ярусе собора, на повороте галереи, какую-то двигавшуюся фигуру, направлявшуюся в его сторону. Он тотчас же узнал эту фигуру: то был архидиакон.

Клод шел медленным, размеренным шагом, не глядя перед собою и направляясь к северной башне. Лицо его было обращено в сторону, на правый берег Сены, и он высоко поднял голову, как бы стараясь что-то разглядеть вдали. Иногда сова принимает такое положение: она летит в одну сторону и смотрит в другую. Архидиакон прошел, таким образом, над головою Квазимодо, не заметив его.

Горбун, пораженный этим явлением, увидел, как тот вошел в дверь, ведущую на северную башню. Читателю известно, что это именно та башня, с которой видна ратуша. Квазимодо встал и последовал за архидиаконом. Но внимание Клода было до того поглощено другими предметами, что он даже не слышал шагов следовавшего за ним звонаря.

Великолепное и прелестное зрелище представлял тогдашний Париж с высоты колокольни собора Богоматери при первых лучах летнего восходящего солнца. В этот день небо было совершенно ясно. Несколько запоздавших звезд потухали на различных местах небосклона, и только одна из них ярко блестела на востоке, на ярком горизонте. Солнце должно было сейчас показаться. Париж начинал просыпаться. На чистом воздухе со стороны востока выделялись тысячи крыш домов. Гигантская тень колоколен переходила от крыши к крыше, с одного конца большого города до другого. В некоторых кварталах раздавались уже говор и шум. Здесь слышался удар колокола, там удар молотка, там стук телеги. Кое-где над черными крышами стали уже расстилаться клубы дыма, выходившие точно из трещин громадной залежи серы. Река, ударяясь о столько мостов, о столько островов, была вся изборождена кругами и линиями. В окрестностях города, за линией укреплений, взор терялся в каком-то большом, туманном круге, из-за которого едва можно было смутно различить неопределенную линию долин и изящные извилины холмов. Над этим наполовину проснувшимся городом носились самые разнообразные звуки, а легкий утренний ветерок гнал по небу к западу несколько легких облачков, оторванных от расстилавшегося над холмами тумана.

На Папертной площадке несколько женщин, держа в руках кувшины с молоком, с удивленным видом показывали друг другу на повреждения, происшедшие за ночь у большой церковной двери, и на два свинцовых потока, застывшие в расщелинах песчаника. Вот и все, что осталось к утру от шумной ночной сцены. Костер, зажженный Квазимодо между башнями, уже погас, а Тристан распорядился очисткой площади, причем трупы были выброшены в Сену. Правители, вроде Людовика XI, любят тотчас же уничтожать всякие следы убийства.

За балюстрадой башни, как раз под тем мостом, где остановился Клод, находился один из тех искусно высеченных каменных водостоков, которых было всегда немало при готических зданиях, и в одной из расщелин этого водостока два красивых, цветущих левкоя, колеблемых ветром, как будто кивали головками и приветствовали друг друга с добрым утром. А высоко над башнями, в поднебесье, раздавалось веселое щебетанье птичек.

Но Клод ничего этого не видел и не слышал. Он принадлежал к числу тех людей, для которых не существует прекрасного утра, птичек, цветов. Из всего этого обширного и разнообразного кругозора внимание его было сосредоточено на одной только точке.

Квазимодо ужасно хотелось спросить его, что он сделал с цыганкой. Но архидиакон, казалось, был в эту минуту не от мира сего. Он, очевидно, находился в одном из тех наряженных моментов жизни, когда человек не заметил бы, как под ним обрушилась бы почва. Устремив глаза в одну точку, он оставался неподвижен и молчалив, и в молчании и неподвижности этой было нечто столь страшное, что звонарь, не принадлежавший, однако, к трусливому десятку, дрожал и не решался заговорить с ним. Он только, – и это было своего рода вопрошанием архидиакона, – стал следить взором за направлением взглядов последнего, и таким образом взор несчастного Квазимодо упал на Гревскую площадь.

Тут он увидел то, что занимало Клода. К виселице приставлена была лестница. На площади было несколько народу и много солдат. Какой-то человек тащил через площадь что-то белое, к чему прицепилось что-то черное, и, наконец, остановился возле виселицы. Но тут случилось что-то такое, чего Квазимодо не мог хорошенько рассмотреть. Не то, чтобы его единственный глаз не отличался необыкновенною остротой зрения, но какой-то толстый солдат стоял как раз перед виселицей, и из-за него Квазимодо нехорошо было видно, что там происходит. К тому же, как раз в эту минуту на горизонте показалось солнце и залило всю картину

таким ярким светом, что, казалось, будто все шпицы, башни и трубы Парижа разом были объ-
яты пламенем.

Однако, человек, тащивший что-то через площадь, принялся взбираться на лестницу, и тут Квазимодо мог рассмотреть, что он нес на плече какую-то женщину, по-видимому, молодую девушку, одетую в белое, и на шее этой женщины была надета петля. Квазимодо тотчас же узнал ее: – то была она.

Человек этот добрался до верхней ступеньки лестницы, и там что-то поправил у петли. В это время Клод, чтобы лучше рассмотреть, взобрался на перила.

Вдруг человек этот быстро оттолкнул каблуком лестницу, и Квазимодо, уже в течение нескольких секунд затаивший дыхание, увидел, как на веревке, на высоте трех аршин от мостовой, закачалась несчастная молодая девушка, на плечи которой вскочил палач. Веревка несколько раз перевернулась, и Квазимодо ясно мог различить, как по всему телу цыганки пробежали судороги. Клод, со своей стороны, вытянув шею и, не сводя глаз с виселицы, казалось, любовался этой страшной группой, – палача и молодой девушки, паука и мухи. В самую страшную минуту, демонический смех, смех, которым может смеяться только существо, переставшее быть человеком, исказил лицо архидиакона. Квазимодо не мог расслышать этого смеха, но он видел его.

Звонарь отступил на несколько шагов от Клода, и вдруг, яростно ринувшись на него, толкнул его обеими дюжими руками своими в пропасть, над которою тот наклонился.

– Проклятие! – имел только время воскликнуть архидиакон, и тело его исчезло в пространстве.

Но как раз под тем местом, с которого его толкнул Квазимодо, проходила водосточная труба. Он успел схватиться за нее руками, и в то самое мгновение, когда он раскрывал рот, чтоб испустить второй крик, он увидел над головой своей, па краю балюстрады, страшное и мстительное лицо Квазимодо.

И он не крикнул. Под ним была бездна. Его ожидали падение с высоты более двухсот футов и булыжная мостовая.

В этом ужасном положении архидиакон не произнес ни единого слова, не испустил ни единого крика. Он делал только сверхъестественные усилия, чтобы взобраться по водосточной трубе. Но его руки не могли ухватиться за гладкий гранит, а ногами своими он только царапал почерневшую стену, не будучи в состоянии уцепиться за нее. Те, которые взбирались на колокольни собора Богоматери, знают, что как раз под перилами идет небольшой каменный выступ. На нем-то и старался удержаться несчастный архидиакон, но нога его постоянно соскальзывала с него.

Квазимодо, для того, чтобы спасти его, достаточно было бы протянуть ему руку. Но он даже и не смотрел на него: взор его был устремлен на Гревскую площадь, на виселицу, на цыганку. Он облокотился о перила на том самом месте, на котором за минуту перед тем стоял архидиакон, и стоял здесь неподвижно и безмолвно, как человек, пораженный молнией, не отводя глаза своего от единственного предмета, который существовал в эту минуту для него на свете; слезы ручьями лились из этого глаза, который до сих пор пролил одну только слезу.

Тем временем архидиакон продолжал барахтаться. Холодный пот выступил на его лысом лбу, пальцы его рук были оцарапаны до крови, он сдирал себе кожу с колен об стену. Он чувствовал, как ряса его, зацепившаяся за водосточную трубу, трещала и расползалась по швам при малейшем его движении. К довершению его несчастья, труба эта оканчивалась свинцовым желобом, который гнулся под тяжестью его тела, и он это чувствовал. Несчастный отлично сознавал, что когда его руки отекут от усталости, когда ряса его окончательно разорвется, когда свинцовая труба эта лопнет, ему придется полететь в бездну, и мурашки пробегали по всему его телу. По временам он бросал растерянный взор на небольшую площадку, выступавшую из стены на несколько десятков футов под ним, и он в отчаянии своем молил небо, чтобы ему

дано было окончить свою жизнь, хотя бы она продлилась еще целую сотню лет, на этом узком пространстве в два квадратных фута. Он решился было заглянуть вниз, на площадь, в бездну, но тотчас же снова поднял глаза кверху, – и немногие оставшиеся на голове его волосы встали дыбом.

Молчание, которое хранили оба эти человека, представляло собою нечто ужасное. В то время как архидиакон испытывал в нескольких шагах от Квазимодо такие адские муки, последний глядел на Гревскую площадь и плакал.

Клод, убедившись в том, что все его движения ведут только к тому, что еще более расшатывают единственную оставшуюся у него хрупкую точку опоры, решился не шевелиться. Он остался висеть на водосточной трубе, еле переводя дыхание, не шевелясь, не делая иного движения, кроме того судорожного вздрагивания, которое замечается у людей, видящих во сне, будто они падают. Он болезненным и каким-то удивленным образом вытаращил глаза. Но он чувствовал, что силы его мало-помалу слабеют, что руки его скользят по трубе, что руки его теряют способность выносить тяжесть его тела, что свинцовый желоб все более и более гнется, медленно приближая его к бездне. Он с ужасом увидел под собою крышу одного из приделов собора, казавшуюся ему с высоты величиною в крышу карточного домика. Он обводил глазами статуи, стоявшие неподвижно и бесстрастно на своих местах, над тою же бездной, как и он, но не дрожавшие за свое существование. Все вокруг него был камень: рядом с ним – статуи и чудовища, под ним – мостовая, над его головою – плачущий Квазимодо.

На Папертной площадке стояла кучка народа, глазевшая на висевшего на водосточной трубе человека и старавшаяся угадать, кто это забавляется таким странным образом. Клод ясно слышал, – ибо голоса их долетали до него в свежем и чистом утреннем воздухе: – Да ведь он сломит себе шею!

А Квазимодо все плакал.

Наконец, архидиакон, у которого на губах выступила пена ярости и ужаса, понял, что все было тщетно. Он, однако, собрал остаток своих сил для последнего усилия. Он обхватил коленами водосточную трубу, уцепился руками за расщелину в стене и успел таким образом подняться приблизительно на один фут. Но в это время лопнул свинцовый желоб, о который он упирался, и в тот же момент от сделанного им движения разорвалась его ряса. Тогда, поняв, что все конечно, он зажмурил глаза, разжал кулаки, выпустил из рук водосточную трубу – и стремглав полетел вниз.

Квазимодо видел это падение.

Падение с такой высоты редко бывает перпендикулярно. Сначала Клод падал головою вниз, с вытянутыми вперед руками, но затем он несколько раз перевернулся на воздухе вокруг самого себя. Ветер отнес его тело к одному из нижних выступов, о который несчастный сильно расшибся, хотя и не до смерти; по крайней мере, звонарь увидел, как он старался уцепиться за крышу пальцами. Но крыша была слишком поката, и силы несчастного ослабели. Он соскользнул с крыши, как отделившаяся от нее черепица, и грохнулся об мостовую. Здесь он остался лежать без движения.

Тогда Квазимодо снова перевел свой взор на цыганку, тело которой он видел вдали, судорожно вздрагивавшим в последней агонии под белым платьем ее. Затем он взглянул вниз, на площадь, на труп архидиакона, не сохранивший даже образа человеческого, и произнес с рыданием, вырвавшимся из глубины души его:

– О, вот все, что я любил!

III. Женьба Феба

В этот день вечером, когда состоящая при епископе стража явилась на Папертную площадку, чтобы подобрать обезображенный труп архидиакона, оказалось что Квазимодо исчез из собора.

Об этом происшествии ходило немало толков, Большинство суеверных парижан было уверено, что настал тот день, в который, согласно состоявшемуся между ними уговору, Квазимодо, т. е. дьявол, унес, с собою душу Клода Фролло, чародея. При этом находили весьма естественным, что первый, забирая душу, разбил тело, подобно тому, как обезьяны разбивают скорлупу для того, чтобы съесть орех. Поэтому телу архидиакона было отказано в погребении на священном кладбище.

Людовик XI умер в следующем, 1483 году, в августе месяце.

Что касается Пьера Гренгуара, то ему удалось спасти козу и он, в конце концов, имеет успех в качестве драматического писателя. Перепробовав поочередно астрологию, философию, архитектуру, алхимию, словом – всевозможный вздор, он, наконец, снова вернулся к трагедии, т. е. к вздору из вздоров. Он называл это – «трагическим концом жизни». Вот что мы узнаем о его успехах на драматическом поприще из казначейских книг за 1483 год: – «Жану Маршану, плотнику, и Пьеру Гренгуару, автору, за сочинение и постановку мистерии, представленной в Шатлэ по случаю приезда г. папского легата, за наем необходимых для того людей и за поставку необходимых для того костюмов, а равно и за потребовавшиеся для того плотничные работы, – заплачено сто ливров».

Конец Феба-де-Шатопера тоже был трагический: он женился.

V. Женьба Квазимодо

Мы уже сказали, что Квазимодо исчез из собора Богоматери в самый день смерти цыганки и архидиакона. С того дня никто его не видел, никто не знал, что с ним случилось.

В ночь после казни Эсмеральды помощники палача сняли труп ее с виселицы и отнесли его, согласно обычаю, в подвал Монфокон.

Монфокон, по словам Соваля, был самой старинной и самой лучшей виселицей Французского королевства. Между предместьями Тампльским и Сен-Мартенским, приблизительно в ста шестидесяти саженьях от парижской ограды, на расстоянии нескольких выстрелов от Куртиля, на вершине холма, довольно отлогого, однако, настолько высокого, что его можно было видеть на несколько миль в окружности, возвышалось здание странной формы, похожее на кельтский жертвенник, на котором приносились человеческие жертвы.

Пусть читатель представит себе на известковом холме большой, сложенный из камня, параллелепипед, вышиной в 15, шириною в 30, длиною в 40 футов, в котором проделана дверь, верхняя плоскость которого образует площадку, окруженную снаружи перилами. На площадке стояли 16 громадных столбов из неотесанного камня, по 30 футов высоты каждый, образовавшие с трех сторон колоннаду под поддерживаемой ими крышей и связанных наверху толстыми балками, с которых, с небольшими промежутками, свешивались цепи. На каждой из этих цепей висело по скелету. Недалеко отсюда, в равнине, каменный крест и две небольших виселицы, являвшиеся как бы отростками от центральной виселицы. И над всем этим, в поднебесье – стаи воронов. Это и был Монфокон.

К концу XV столетия страшная виселица, сооруженная еще в 1328 году, уже порядочно-таки пришла в упадок: бревна ее сгнили, цепи заржавели, каменные столбы покрылись плесенью. В фундаменте образовались широкие щели, и сквозь них пробивалась трава, которую никогда не топтала нога человеческая. Все это сооружение обрисовывалось на горизонте страшным профилем, в особенности по ночам, когда луна освещала бледными лучами своими

верхушку его, когда ветер заставлял скрипеть ржавые цепи и раскачивал в потемках висевшие на них скелеты. Достаточно было присутствия на том месте этой ужасной виселицы, чтобы придать всей окрестности репутацию проклятого места.

Каменный фундамент этого ужасного сооружения представлял внутри пустое пространство. В нем устроено было нечто вроде обширного погреба, закрывавшегося старою, поломанною решеткой. В этот погреб сваливались не только остатки человеческого тела, отделявшиеся от висевших на цепях трупов, но и тела других несчастных, казненных на всех остальных парижских виселицах. В этот ужасный костник, в котором сгнило вместе столько преступлений и столько людских прахов, в который последовательно сваливались кости столько сильных мира сего и столько невинных людей, начиная с Энгерра де-Марины, первого жильца Монфокона и праведника, и кончая адмиралом Колиньи, последнего его жильца и праведника же.

Что касается таинственного исчезновения Квазимодо, то вот что нам удалось узнать.

Спустя приблизительно полтора или два года после вышеописанных событий, когда явились в Монфоконский подвал, чтобы вынуть оттуда труп цирюльника Олливе, повешенного за два дня перед тем, и труп которого новый король Карл VIII, в виде особой милости, позволил похоронить в лучшем обществе, на Сен-Лоранском кладбище, – среди всех этих ужасных и безобразных скелетов найдены были два скелета, из которых один каким-то странным образом обнял другой. На одном из этих скелетов, очевидно, женском, висело еще несколько ключев платья, по-видимому, когда-то бывшего белым, а вокруг шеи его было обмотано ожерелье из каких-то зерен, на котором висел шелковый мешочек, вышитый зеленым стеклярусом, открытый и пустой. Предметы эти были так малоценны, что палач, очевидно, пренебрег ими. Другой скелет, обнявший первый, был, очевидно, мужской скелет. Не трудно было заметить, что спинной хребет его был искривлен, что голова глубоко сидела между лопатками и что одна нога его была короче другой. Можно было также заметить, что шейные позвонки его не были поломаны, из чего было очевидно, что это не был труп повешенного. Значит, человек, которому принадлежал этот труп, сам пришел в это подземелье и умер здесь. Когда его захотели отделить от скелета, который он обнял, он рассыпался прахом.

Примечания

Примечание I

На заглавном листе рукописи «Собора Парижской Богоматери» значится следующая пометка:

«Я написал первые три или четыре страницы «Собора Парижской Богоматери» 25 июля 1830 года. Работу мою прервала июльская революция. Затем родилась моя милая Адель (да будет она благословенна!). Я снова принялся за этот роман 1 сентября и окончили его 15 января 1831 года».

Первая глава, «Большой Зал», начиналась в рукописи следующими словами:

«За триста сорок восемь лет, шесть месяцев и девятнадцать дней до сегодняшнего числа, 25 июля 1830 года». – Слова «25 июля 1830 года» были вычеркнуты.

Пометка «1 сентября» значится перед строкою: «Если бы нам, людям 1830 года, дано было», и т. д. В конце последней страницы находится пометка: «15 января 1831 года, шесть с половиною часов вечера».

Примечание II

В рукописи «Собора Парижской Богоматери» почти нет помарок. Можно указать лишь на несколько вариантов в оглавлении отдельных глав.

Так, глава «История лепешки из пшеничной муки» была озаглавлена вначале: «История ребенка непотребной женщины»; – глава: «Иное дело священник, иное – философ» – была озаглавлена: «Женатый философ»; – глава: «Башмачок» – была озаглавлена: «Коза спасена».

Лев Толстой. Анна Каренина

Часть первая

Мне отмщение, и Аз воздам

I

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский – Стива, как его звали в свете, – в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.

«Да, да, как это было? – думал он, вспоминая сон. – Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, – и столы пели: *Il mio tesoro* и не *Il mio tesoro*,²⁶ а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», – вспоминал он.

Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистый сафьян туфли и по старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.

«Ах, ах, ах! Ааа!...» – замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.

«Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, – думал он. – Ах, ах, ах!» – приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры.

²⁶ Мое сокровище (*итал.*).

Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете и, наконец, увидел ее в спальне с несчастною, открывшею все, запиской в руке.

Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какую он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него.

– Что это? это? – спрашивала она, указывая на записку.

И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены.

С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился пред женой после открытия его вины. Вместо того чтоб оскорбиться, отречься, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным – все было бы лучше того, что он сделал! – его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга»²⁷, – подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.

Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственной ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа.

«Всему виной эта глупая улыбка», – думал Степан Аркадьич.

«Но что ж делать? что ж делать?» – с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.

II

Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное.

«Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно! – твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог придумать. – И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что *она* была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил черные плутовские глаза m-lle Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже... Надо же это все как нарочно. Ай, ай, ай! Аяй! Но что же, что же делать?»

²⁷ «...рефлексы головного мозга» ... – Книга «Рефлексы головного мозга» (1866) И.М. Сеченова (1829–1905) произвела сильное впечатление на современников. На «Рефлексы» ссылались, о них говорили и спорили всюду и все, кто знал о них хотя бы понаслышке.

Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном жизни.

«Там видно будет», – сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья.

– Из присутствия есть бумаги? – спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу.

– На столе, – отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: – От хозяина извозчика приходили.

Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: «Это зачем ты говоришь? разве ты не знаешь?»

Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина.

– Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор чтоб не беспокоили вас и себя понапрасну, – сказал он, видимо, приготовленную фразу.

Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевернутые, как всегда, слова, и лицо его просияло.

– Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, – сказал он, остановив на минуту глянцевою, пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами.

– Слава Богу, – сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать примирению мужа с женой.

– Одни или с супругом? – спросил Матвей.

Степан Аркадьич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой.

– Одни. Наверху приготовить?

– Дарье Александровне доложи, где прикажут.

– Дарье Александровне? – как бы с сомнением повторил Матвей.

– Да, доложи. И вот возьми телеграмму, передай, что они скажут.

«Попробовать хотите», – понял Матвей, но он сказал только:

– Слушаю-с.

Степан Аркадьич уже был умыт и расчесан и собирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскрипывающими сапогами по мягкому ковру, с телеграммой в руке, вернулся в комнату. Цирюльника уже не было.

– Дарья Александровна приказали доложить, что они уезжают. Пускай делают, как им, вам то есть, угодно, – сказал он, смеясь только глазами, и, положив руки в карманы и склонив голову набок, устался на барина.

Степан Аркадьич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице.

– А? Матвей? – сказал он, покачивая головой.

– Ничего, сударь, образуется, – сказал Матвей.

– Образуется?

– Так точно-с.

– Ты думаешь? Это кто там? – спросил Степан Аркадьич, услыхав за дверью шум женского платья.

– Это я-с, – сказал твердый и приятный женский голос, и из-за двери высунулось строгое рубое лицо Матрены Филимоновны, нянюшки.

– Ну что, Матреша? – спросил Степан Аркадьич, выходя к ней в дверь.

Несмотря на то, что Степан Аркадьич был кругом виноват перед женой и сам чувствовал это, почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александровны, были на его стороне.

– Ну что? – сказал он уныло.

– Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось Бог даст. Очень мучаются, и смотреть жалости, да и все в доме навынтараты пошло. Детей, сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать! Люби кататься....

– Да ведь не примет...

– А вы свое сделайте. Бог милостив, Богу молитесь, сударь, Богу молитесь.

– Ну, хорошо, ступай, – сказал Степан Аркадьич, вдруг покраснев. – Ну, так давай одеваться, – обратился он к Матвею и решительно скинул халат.

Матвей уже держал, сдувая что-то невидимое, хомутом приготовленную рубашку и с очевидным удовольствием облек в нее холеное тело барина.

III

Одевшись, Степан Аркадьич прыснул на себя духами, вытянул рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двумя цепочками и брелоками и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его кофей и, рядом с кофеем, письма и бумаги из присутствия.

Степан Аркадьич сел, прочел письма. Одно было очень неприятное – от купца, купавшего лес в имении жены. Лес этот необходимо было продать; но теперь, до примирения с женой, не могло быть о том речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женой. И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирения с женой, – эта мысль оскорбляла его.

Окончив письма, Степан Аркадьич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перелистовал два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и, отодвинув дела, взялся за кофе; за кофеем он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее.

Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету²⁸, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И, несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись.

Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности неко-

²⁸ Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету... – Газету А. А. Краевского «Голос», орган либерального чиновничества, называли «барометром общественного мнения». Мысль об «упорной традиционности, тормозящей прогресс» высказана в «Листке» газеты «Голос» от 21 января 1873 г. Там же говорится о «пугливых охранителях», которым всюду мерещится «красный призрак», или «гидра о 18 тысячах головах». Возможно, что перед Толстым был именно этот номер газеты, когда он писал сцену утреннего чтения Облонского.

торой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не от того, чтоб он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все скверно, и действительно, у Степана Аркадьича долгов было много, а денег решительно не доставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или, лучше, подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения, и действительно, Степан Аркадьич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим Степану Аркадьичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смирного человека тем, что если уже гордиться породой, то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого родоначальника – обезьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, «по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс», и т. д. Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бенгтсене и Милле и подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственною ему быстротою соображения он понимал значение всякой шпильки: от кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрены Филимоновны и о том, что в доме так неблагополучно. Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден²⁹, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложение молодой особы; но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия.

Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было что-нибудь особенно приятное, – радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение.

Но эта радостная улыбка сейчас же напомнила ему все, и он задумался.

Два детские голоса (Степан Аркадьич узнал голоса Гриши, меньшого мальчика, и Тани, старшей девочки) слышались за дверьми. Они что-то везли и уронили.

– Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров, – кричала по-английски девочка, – вот подбирай!

«Все смешалось, – подумал Степан Аркадьич, – вон дети одни бегают». И, подойдя к двери, он кликнул их. Они бросили шкатулку, представлявшую поезд, и вошли к отцу.

Девочка, любимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на шее, как всегда, радуясь на знакомый запах духов, распространявшийся от его бакенбард. Поцеловав его, наконец, в покрасневшее от наклоненного положения и сияющее нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад; но отец удержал ее.

²⁹ Он прочел и о том, что граф Бейст... проехал в Висбаден... – Фридрих Фердинанд фон Бейст (1809–1886) – канцлер Австро-Венгрии, политический противник Бисмарка. Его имя часто упоминалось в политических газетных хрониках тех лет. Висбаден – курортный город в прусской провинции Гессен-Нассау.

– Что мама? – сказал отец, водя рукой по гладкой нежной шейке дочери. – Здравствуй, – сказал он, улыбаясь здоровавшемуся мальчику.

Он сознавал, что меньше любил мальчика, и всегда старался быть ровен; но мальчик чувствовал это и не ответил улыбкой на холодную улыбку отца.

– Мама? Встала, – отвечала девочка.

Степан Аркадьич вздохнул. «Значит, опять не спала всю ночь», – подумал он.

– Что, она весела?

Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора, и что мать не могла быть весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом так легко. И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел.

– Не знаю, – сказала она. – Она не велела учиться, а велела идти гулять с мисс Гуль к бабушке.

– Ну, иди, Танчурочка моя. Ах да, постой, – сказал он, все-таки удерживая ее и глядя ее нежную ручку.

Он достал с камина, где вчера поставил, коробочку конфет и дал ей две, выбрав ее любимые, шоколадную и помадную.

– Грише? – сказала девочка, указывая на шоколадную.

– Да, да. – И еще раз погладив ее плечико, он поцеловал ее в корни волос, в шею и отпустил ее.

– Карета готова, – сказал Матвей. – Да просительница, – прибавил он.

– Давно тут? – спросил Степан Аркадьич.

– С полчасика.

– Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать!

– Надо же вам дать хоть кофею откушать, – сказал Матвей тем дружески грубым тоном, на который нельзя было сердиться.

– Ну, проси же скорее, – сказал Облонский, морщась от досады.

Просительница, штабс-капитанша Калинина, просила о невозможном и бестолковом; но Степан Аркадьич, по своему обыкновению, усадил ее, внимательно, не перебивая, выслушал ее и дал ей подробный совет, к кому и как обратиться, и даже бойко и складно своим крупным, растянутым, красивым и четким почерком написал ей записочку к лицу, которое могло ей пособить. Отпустив штабс-капитаншу, Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть, – жену.

«Ах, да!» Он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. «Пойти или не пойти?» – говорил он себе. И внутренний голос говорил ему, что ходить не надобно, что, кроме фальши, тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь или его сделать стариком, неспособным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь были противны его натуре.

«Однако когда-нибудь нужно; ведь не может же это так остаться», – сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза, бросил ее в перламутровую раковину-пепельницу, быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и отворил другую дверь, в спальню жены.

IV

Дарья Александровна, в кофточке и с пришпиленными на затылке косами уже редких, когда-то густых и прекрасных волос, с осунувшимся, худым лицом и большими, выдававшими от худобы лица, испуганными глазами, стояла среди разбросанных по комнате вещей перед открытою шифоньеркой, из которой она выбирала что-то. Услыхав шаги мужа, она остано-

лась, глядя на дверь и тщетно пытаясь придать своему лицу строгое и презрительное выражение. Она чувствовала, что боится его и боится предстоящего свидания. Она только что пыталась сделать то, что пыталась сделать уже десятый раз в эти три дня: отобрать детские и свои вещи, которые она увезет к матери, – и опять не могла на это решиться; но и теперь, как в прежние раза, она говорила себе, что это не может так остаться, что она должна предпринять что-нибудь, наказать, осрамить его, отомстить ему хоть малую часть той боли, которую он ей сделал. Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно; это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своем доме, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет еще хуже там, куда она поедет со всеми ими. И то в эти три дня меньшей заболел оттого, что его накормили дурным бульоном, а остальные были вчера почти без обеда. Она чувствовала, что уехать невозможно; но, обманывая себя, она все-таки отбирала вещи и притворялась, что уедет.

Увидав мужа, она опустила руки в ящик шифоньерки, будто отыскивая что-то, и оглянулась на него, только когда он совсем вплоть подошел к ней. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало потерянность и страдание.

– Долли! – сказал он тихим, робким голосом. Он втянул голову в плечи и хотел иметь жалкий и покорный вид, но он все-таки сиял свежестью и здоровьем.

Она быстрым взглядом оглядела с головы до ног его сияющую свежестью и здоровьем фигуру. «Да, он счастлив и доволен! – подумала она, – а я?! И эта доброта противная, за которую все так любят его и хвалят; я ненавижу эту его доброту», – думала она. Рот ее сжался, мускул щеки затрясся на правой стороне бледного, нервного лица.

– Что вам нужно? – сказала она быстрым, не своим, грудным голосом.

– Долли! – повторил он с дрожанием голоса. – Анна приедет нынче.

– Ну что же мне? Я не могу ее принять! – вскрикнула она.

– Но надо же, однако, Долли..

– Уйдите, уйдите, уйдите! – не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физической болью.

Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог надеяться, что все *образуется*, по выражению Матвея, и мог спокойно читать газету и пить кофе; но когда он увидел ее измученное, страдальческое лицо, услышал этот звук голоса, покорный и отчаянный, ему захватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами.

– Боже мой, что я сделал! Долли! Ради Бога!.. Ведь... – он не мог продолжать, рыдание остановилось у него в горле.

Она захлопнула шифоньерку и взглянула на него.

– Долли, что я могу сказать?.. Одно: прости, прости... Вспомни, разве девять лет жизни не могут искупить минуты, минуты...

Она стояла, опустив глаза, и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том, чтобы он как-нибудь разуверил ее.

– Минуты... минуты увлечения... – выговорил он и хотел продолжать, но при этом слове, будто от физической боли, опять поджались ее губы и опять запрыгал мускул щеки на правой стороне лица.

– Уйдите, уйдите отсюда! – закричала она еще пронзительнее, – и не говорите мне про ваши увлечения, про ваши мерзости!

Она хотела уйти, но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтоб опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами.

– Долли! – проговорил он, уже всхлипывая. – Ради Бога, подумай о детях, они не виноваты. Я виноват, и накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу, я все готов! Я виноват, нет слов сказать, как я виноват! Но, Долли, прости!

Она села. Он слышал ее тяжелое, громкое дыхание, и ему было невыразимо жалко ее. Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал.

– Ты помнишь детей, чтоб играть с ними, а я помню и знаю, что они погибли теперь, – сказала она, видимо, одну из фраз, которые она за эти три дня не раз говорила себе.

Она сказала ему «ты», и он с благодарностью взглянул на нее и тронулся, чтобы взять ее руку, но она с отвращением отстранилась от него.

– Я помню про детей и поэтому все в мире сделала бы, чтобы спасти их; но я сама не знаю, чем я спасу их: тем ли, что увезу от отца, или тем, что оставлю с развратным отцом, – да, с развратным отцом... Ну, скажите, после того... что было, разве возможно нам жить вместе? Разве это возможно? Скажите же, разве это возможно? – повторяла она, возвышая голос. – После того как мой муж, отец моих детей, входит в любовную связь с гувернанткой своих детей...

– Ну что ж... Ну что ж делать? – говорил он жалким голосом, сам не зная, что он говорит, и все ниже и ниже опуская голову.

– Вы мне гадки, отвратительны! – закричала она, горячась все более и более. – Ваши слезы – вода! Вы никогда не любили меня; в вас нет ни сердца, ни благородства! Вы мне мерзки, гадки, чужой, да, чужой! – с болью и злобой произносила она это ужасное для себя слово *чужой*.

Он поглядел на нее, и злоба, выразившаяся в ее лице, испугала и удивила его. Он не понимал того, что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаленье, но не любовь. «Нет, она ненавидит меня. Она не простит», – подумал он.

– Это ужасно! Ужасно! – проговорил он.

В это время в другой комнате, вероятно упавши, закричал ребенок; Дарья Александровна прислушалась, и лицо ее вдруг смягчилось.

Она, видимо, опоминалась несколько секунд, как бы не зная, где она и что ей делать, и, быстро вставши, тронулась к двери.

«Ведь любит же она моего ребенка, – подумал он, заметив изменение ее лица при крике ребенка, – *моего* ребенка; как же она может ненавидеть меня?»

– Долли, еще одно слово, – проговорил он, идя за нею.

– Если вы пойдете за мной, я позову людей, детей! Пускай все знают, что вы подлец! Я уезжаю нынче, а вы живите здесь с своею любовницей!

И она вышла, хлопнув дверью.

Степан Аркадьич вздохнул, отер лицо и тихими шагами пошел из комнаты. «Матвей говорит: образуется; но как? Я не вижу даже возможности. Ах, ах, какой ужас! И как тривиально она кричала, – говорил он сам себе, вспоминая ее крик и слова: подлец и любовница. – И, может быть, девушки слышали! Ужасно тривиально, ужасно». Степан Аркадьич постоял несколько секунд один, отер глаза, вздохнул и, выпрямив грудь, вышел из комнаты.

Была пятница, и в столовой часовщик-немец заводил часы. Степан Аркадьич вспомнил свою шутку об этом аккуратном плешивом часовщике, что немец «сам был заведен на всю жизнь, чтобы заводиться часы», – и улыбнулся. Степан Аркадьич любил хорошую шутку. «А может быть, и образуется! Хорошо словечко: *образуется*, – подумал он. – Это надо рассказать».

– Матвей! – крикнул он, – так устрой же все там с Марьей в диванной для Анны Аркадьевны, – сказал он явившемуся Матвею.

– Слушаю-с.

Степан Аркадьич надел шубу и вышел на крыльцо.

– Кушать дома не будете? – сказал провожавший Матвей.

– Как придется. Да вот возьми на расходы, – сказал он, подавая десять рублей из бумажника. – Довольно будет?

– Довольно ли, не довольно, видно, обойтись надо, – сказал Матвей, захлопывая дверку и отступая на крыльцо.

Дарья Александровна между тем, успокоив ребенка и по звуку кареты поняв, что он уехал, вернулась опять в спальню. Это было единственное убежище ее от домашних забот, которые обступали ее, как только она выходила. Уже и теперь, в то короткое время, когда она выходила в детскую, англичанка и Матрена Филимоновна успели сделать ей несколько вопросов, не терпевших отлагательства и на которые она одна могла ответить: что надеть детям на гулянье? давать ли молоко? не послать ли за другим поваром?

– Ах, оставьте, оставьте меня! – сказала она и, вернувшись в спальню, села опять на то же место, где она говорила с мужем, сжав исхудавшие руки с кольцами, спускавшимися с костлявых пальцев, и принялась перебирать в воспоминании весь бывший разговор. «Уехал! Но чем же кончил он *с нею*? – думала она. – Неужели он видаёт ее? Зачем я не спросила его? Нет, нет, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одном доме – мы чужие. Навсегда чужие!» – повторила она опять с особенным значением это страшное для нее слово. «А как я любила, Боже мой, как я любила его!.. Как я любила! И теперь разве я не люблю его? Не больше ли, чем прежде, я люблю его? Ужасно, главное, то...» – начала она, но не докончила своей мысли, потому что Матрена Филимоновна высунулась из двери.

– Уж прикажите за братом послать, – сказала она, – все он изготовит обед; а то, по-вчерашнему, до шести часов дети не евши.

– Ну, хорошо, я сейчас выйду и распоряжусь. Да послали ли за свежим молоком?

И Дарья Александровна погрузилась в заботы дня и потопила в них на время свое горе.

V

Степан Аркадьич в школе учился хорошо благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и шалун и потому вышел из последних, но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и нестарые годы, занимал почетное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из московских присутствий. Место это он получил чрез мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в министерстве, к которому принадлежало присутствие; но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то чрез сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч в шесть жалованья, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены.

Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья треть были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного все были ему приятели и не могли обойти своего; и Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место; нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если б ему сказали, что он не получит места с тем жалованьем, которое ему нужно, тем более что он и не требовал чего-нибудь чрезвычайного; он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого.

Степана Аркадьича не только любили все знавшие его за его добрый, веселый нрав и несомненную честность, но в нем, в его красивой, светлой наружности, блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица, было что-то, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. «Ага! Стива! Облонский! Вот и он!» – почти всегда с радостною улыбкой говорили, встречаясь с ним. Если и случалось иногда, что после

разговора с ним оказывалось, что ничего особенно радостного не случилось, – на другой день, на третий опять точно так же все радовались при встрече с ним.

Занимая третий год место начальника одного из присутственных мест в Москве, Степан Аркадьич приобрел, кроме любви, и уважение сослуживцев, подчиненных, начальников и всех, кто имел до него дело. Главные качества Степана Аркадьича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков; во-вторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови и с которой он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были, и, в-третьих, – главное – в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок.

Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьич, провожаемый почтительным швейцаром, с портфелем прошел в свой маленький кабинет, надел мундир и вошел в присутствие. Писцы и служащие все встали, весело и почтительно кланяясь. Степан Аркадьич поспешно, как всегда, прошел к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил, ровно сколько это было прилично, и начал занятия. Никто вернее Степана Аркадьича не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна для приятного занятия делами. Секретарь весело и почтительно, как и все в присутствии Степана Аркадьича, подошел с бумагами и проговорил тем фамильярно-либеральным тоном, который введен был Степаном Аркадьичем:

– Мы таки добились сведения из Пензенского губернского правления. Вот, не угодно ли...

– Получили наконец? – проговорил Степан Аркадьич, закладывая пальцем бумагу. – Ну-с, господа... – И присутствие началось.

«Если бы они знали, – думал он, с значительным видом склонив голову при слушании доклада, – каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель!» – И глаза его смеялись при чтении доклада. До двух часов занятия должны были идти не прерываясь, а в два часа – перерыв и завтрак.

Еще не было двух часов, когда большие стеклянные двери залы присутствия вдруг открылись и кто-то вошел. Все члены из-под портрета и из-за зеркала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь; но сторож, стоявший у двери, тотчас же изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь.

Когда дело было прочтено, Степан Аркадьич встал, потянувшись, и, отдавая дань либеральности времени, в присутствии достал папироску и пошел в свой кабинет. Два товарища его, старый служака Никитин и камер-юнкер Гриневич, вышли с ним.

– После завтрака успеем кончить, – сказал Степан Аркадьич.

– Как еще успеем! – сказал Никитин.

– А плут порядочный должен быть этот Фомин, – сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали.

Степан Аркадьич поморщился на слова Гриневича, давая этим чувствовать, что неприлично преждевременно составлять суждение, и ничего ему не ответил.

– Кто это входил? – спросил он у сторожа.

– Какой-то, ваше превосходительство, без упроста влез, только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю: когда выйдут члены, тогда...

– Где он?

– Нешто вышел в сени, а то все тут ходил. Этот самый, – сказал сторож, указывая на сильно сложенного широкоплечего человека с курчавой бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал вверх по стертым ступенькам каменной лестницы. Один из схо-

дивших вниз с портфелем худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского.

Степан Аркадьич стоял над лестницей. Добродушно сияющее лицо его из-за шитого воротника мундира просияло еще более, когда он узнал вбегавшего.

– Так и есть! Левин, наконец! – проговорил он с дружескою, насмешливою улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. – Как это ты не побрезгал найти меня в этом *вертене*? – сказал Степан Аркадьич, не довольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. – Давно ли?

– Я сейчас приехал, и очень хотелось тебя видеть, – отвечал Левин, застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг.

– Ну, пойдем в кабинет, – сказал Степан Аркадьич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля; и, схватив его за руку, он повлек его за собой, как будто проводя между опасностями.

Степан Аркадьич был на «ты» со всеми почти своими знакомыми: со стариками шестидесяти лет, с мальчиками двадцати лет, с актерами, с министрами, с купцами и с генерал-адъютантами, так что очень многие из бывших с ним на «ты» находились на двух крайних пунктах общественной лестницы и очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского что-нибудь общее. Он был на «ты» со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, и поэтому, в присутствии своих подчиненных встречаясь с своими *постыдными* «ты», как он называл шутя многих из своих приятелей, он, со свойственным ему тактом, умел уменьшать неприятность этого впечатления для подчиненных. Левин не был постыдный «ты», но Облонский с своим тактом почувствовал, что Левин думает, что он пред подчиненными может не желать выказать свою близость с ним, и потому поторопился увести его в кабинет.

Левин был почти одних лет с Облонским и с ним на «ты» не по одному шампанскому. Левин был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель – есть только призрак. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видел его приезжавшим в Москву из деревни, где он что-то делал, но что именно, того Степан Аркадьич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стесненный и раздраженный этою стесненностью и большею частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито.

– Мы тебя давно ждали, – сказал Степан Аркадьич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. – Очень, очень рад тебя видеть, – продолжал он. – Ну, что ты? Как? Когда приехал?

Левин молчал, поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руку элегантного Гриневича, с такими белыми тонкими пальцами, с такими длинными желтыми, загигавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся.

– Ах да, позвольте вас познакомить, – сказал он. – Мои товарищи: Филипп Иванович Никитин, Михаил Станиславич Гриневич, – и обратившись к Левину: – Земский деятель, новый

земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов, скотовод и охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Ивановича Кознышева.

– Очень приятно, – сказал старичок.

– Имею честь знать вашего брата, Сергея Ивановича, – сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями.

Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Облонскому. Хотя он имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева.

– Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разобрался и не езжу больше на собрания, – сказал он, обращаясь к Облонскому.

– Скоро же! – с улыбкой сказал Облонский. – Но как? отчего?

– Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, – сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. – Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может, – заговорил он, как будто кто-то сейчас обидел его, – с одной стороны, игрушка, играют в парламент, а я ни достаточно молод, ни достаточно стар, чтобы забавляться игрушками; а с другой (он заикнулся) стороны, это – средство для уездной *coterie*³⁰ наживать деньжонки³¹. Прежде опеки, суды, а теперь земство... не в виде взяток, а в виде незаслуженного жалованья, – говорил он так горячо, как будто кто-нибудь из присутствовавших оспаривал его мнение.

– Эге-ге! Да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной, – сказал Степан Аркадьич. – Но, впрочем, после об этом.

– Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, – сказал Левин, с ненавистью вглядываясь в руку Гриневича.

Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся.

– Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья? – сказал он, оглядывая его новое, очевидно от французского портного, платье. – Так! я вижу: новая фаза.

Левин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, – слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчишки, – чувствуя, что они смешны своей застенчивостью, и вследствие того стыдась и краснея еще больше, почти до слез. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него.

– Да, где ж увидимся? Ведь мне очень, очень нужно поговорить с тобою, – сказал Левин. Облонский как будто задумался.

– Вот что: поедem к Гурину завтракать и там поговорим. До трех я свободен.

– Нет, – подумав, ответил Левин, – мне еще надо съездить.

– Ну, хорошо, так обедать вместе.

– Обедать? Да мне ведь ничего особенного, только два слова сказать, спросить, а после потолкуем.

– Так сейчас и скажи два слова, а беседовать за обедом.

– Два слова вот какие, – сказал Левин, – впрочем, ничего особенного.

Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость.

– Что Щербацкие делают? Все по-старому? – сказал он.

³⁰ Здесь: шайки (франц.).

³¹ ...с другой... стороны, это – средство для уездной *coterie* наживать деньжонки. – Левин высказывает мысли, весьма распространенные в радикальной демократической публицистике 70-х годов. Так, в «Отечественных записках» 1875 г. в статье «Десятилетие русского земства» говорилось: «Безотрадная черта в деятельности некоторых земств... это страсть к земской спекуляции, страсть к наживе, замечаемая в наиболее богатых и интеллигентных центрах русской земли. В этих центрах акции, облигации, чеки, закладные листы, полисы и варранты закрывают собою скромный лапот и серый zipун».

Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели.

– Ты сказал два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что... Извини на минутку...

Вошел секретарь с фамильярной почтительностью и некоторым, общим всем секретарям, скромным сознанием своего превосходства пред начальником в знании дел, подошел с бумагами к Облонскому и стал, под видом вопроса, объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадьич, не дослушав, положил ласково свою руку на рукав секретаря.

– Нет, вы уж так сделайте, как я говорил, – сказал он, улыбкой смягчая замечание, и, кратко объяснив ему, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: – Так и сделайте, пожалуйста. Пожалуйста, так, Захар Никитич.

Сконфуженный секретарь удалился. Левин, во время совещания с секретарем совершенно оправившись от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание.

– Не понимаю, не понимаю, – сказал он.

– Чего ты не понимаешь? – так же весело улыбаясь и доставая папироску, сказал Облонский. Он ждал от Левина какой-нибудь странной выходки.

– Не понимаю, что вы делаете, – сказал Левин, пожимая плечами. – Как ты можешь это серьезно делать?

– Отчего?

– Да оттого, что нечего делать.

– Ты так думаешь, но мы завалены делом.

– Бумажным. Ну да, у тебя дар к этому, – прибавил Левин.

– То есть ты думаешь, что у меня есть недостаток чего-то?

– Может быть, и да, – сказал Левин. – Но все-таки я люблюсь на твое величие и горжусь, что у меня друг такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой вопрос, – прибавил он, с отчаянным усилием прямо глядя в глаза Облонскому.

– Ну, хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь к этому. Хорошо, как у тебя три тысячи десятин в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки, – а придешь и ты к нам. Да, так о том, что ты спрашивал: перемены нет, но жаль, что ты так давно не был.

– А что? – испуганно спросил Левин.

– Да ничего, – отвечал Облонский. – Мы поговорим. Да ты зачем, собственно, приехал?

– Ах, об этом тоже поговорим после, – опять до ушей покраснев, сказал Левин.

– Ну хорошо. Понятно, – сказал Степан Аркадьич. – Ты видишь ли: я бы позвал к себе, но жена не совсем здорова. А вот что: если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в Зоологическом саду от четырех до пяти. Кити на коньках катается. Ты поезжай туда, а я заеду, и вместе куда-нибудь обедать.

– Прекрасно. Ну, до свидания.

– Смотри же, ты ведь, я тебя знаю, забудешь или вдруг уедешь в деревню! – смеясь, прокричал Степан Аркадьич.

– Нет, верно.

И, вспомнив о том, что он забыл поклониться товарищам Облонского, только когда он был уже в дверях, Левин вышел из кабинета.

– Должно быть, очень энергический господин, – сказал Гриневич, когда Левин вышел.

– Да, батюшка, – сказал Степан Аркадьич, покачивая головой, – вот счастливец! Три тысячи десятин в Каразинском уезде, все впереди, и свежести сколько! Не то что наш брат.

– Что ж вы-то жалуетесь, Степан Аркадьич?

– Да скверно, плохо, – сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув.

VI

Когда Облонский спросил у Левина, зачем он, собственно, приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: «Я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим.

Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидел ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какою-то таинственною, поэтическою завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под этой поэтическою, покрывавшею их завесой предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням и нужно было говорить через день по-французски и по-английски; для чего они в известные часы играли попеременно на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты; для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисованья, танцев; для чего в известные часы все три барышни с m-lle Linon подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках – Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити совершенно в короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду; для чего им, в сопровождении лакея с золотою кокардой на шляпе, нужно было ходить по Тверскому бульвару, – всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося.

Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал было влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин вышел из университета. Молодой Щербацкий, поступив в моряки, утонул в Балтийском море, и сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидел Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться.

Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, тридцати двух лет сделать предложение княжне Щербацкой; по всем вероятностям, его тотчас признали бы хорошею партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее.

Пробыв в Москве, как в чадy, два месяца, почти каждый день видаясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню.

Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения

в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже – который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель – директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он же (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди.

Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Кити – отношения взрослого к ребенку, вследствие дружбы с ее братом, – казались ему еще новою преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля, но, чтобы быть любимым тою любовью, какою он любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное – особенным человеком.

Слышал он, что женщины любят часто некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин.

Но, пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог жить, не решив вопроса: будет или не будет она его женой; и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или... он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут.

VII

Приехав с утренним поездом в Москву, Левин остановился у своего старшего брата по матери Кознышева и, переодевшись, вошел к нему в кабинет, намереваясь тотчас же рассказать ему, для чего он приехал, и просить его совета; но брат был не один. У него сидел известный профессор философии, приехавший из Харькова, собственно, затем, чтобы разъяснить недоумение, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу. Профессор вел жаркую полемику против материалистов, а Сергей Кознышев с интересом следил за этою полемикой и, прочтя последнюю статью профессора, написал ему в письме свои возражения; он упрекал профессора за слишком большие уступки материалистам. И профессор тотчас же приехал, чтобы столковаться. Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она?³²

Сергей Иванович встретил брата своего обычною для всех ласково-холодною улыбкой и, познакомив его с профессором, продолжал разговор.

Маленький желтый человечек в очках, с узким лбом, на мгновение отвлекся от разговора, чтобы поздороваться, и продолжал речь, не обращая внимания на Левина. Левин сел в ожидании, когда уедет профессор, но скоро заинтересовался предметом разговора.

Левин встречал в журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими, как развитием знакомых ему, как естественнику, по университету основ естествознания, но нико-

³² Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она? – Толстой имеет в виду «жаркую полемику», которая развернулась в 1875 г. на страницах «Вестника Европы», где К. Д. Кавелин (1818–1885) напечатал работу «Задачи психологии» (1872), а И. М. Сеченов ответил ему статьей «Кому и как разрабатывать психологию» (1873). К. Д. Кавелин утверждал, что «непосредственной связи между психическими и материальными явлениями мы не знаем». И. М. Сеченов доказывал, что «все психические акты», совершающиеся «по типу рефлексов», должны подлежать «физиологическому исследованию».

гда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного³³, о рефlekсах, о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум.

Слушая разговор брата с профессором, он замечал, что они связывали научные вопросы с душевными, несколько раз почти подходили к этим вопросам, но каждый раз, как только они подходили близко к самому главному, как ему казалось, они тотчас же поспешно отдалялись и опять углублялись в область тонких подразделений, оговорок, цитат, намеков, ссылок на авторитеты, и он с трудом понимал, о чем речь.

– Я не могу допустить, – сказал Сергей Иванович с обычною ему ясностью и отчетливостью выражения и изяществом дикции, – я не могу ни в каком случае согласиться с Кейсом, чтобы все мое представление о внешнем мире вытекало из впечатлений. Самое основное понятие *бытия* получено мною не чрез ощущение, ибо нет и специального органа для передачи этого понятия.

– Да, но они, Вурст, и Кнауэст, и Припасов³⁴, ответят вам, что ваше сознание бытия вытекает из совокупности всех ощущений, что это сознание бытия есть результат ощущений. Вурст даже прямо говорит, что, коль скоро нет ощущения, нет и понятия бытия.

– Я скажу наоборот, – начал Сергей Иванович...

Но тут Левину опять показалось, что они, подойдя к самому главному, опять отходят, и решился предложить профессору вопрос.

– Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тело мое умрет, существования никакого уж не может быть? – спросил он.

Профессор с досадой и как будто умственной болью от перерыва оглянулся на странного вопрошателя, похожего более на бурлака, чем на философа, и перенес глаза на Сергея Ивановича, как бы спрашивая: что ж тут говорить? Но Сергей Иванович, который далеко не с тем усилием и односторонностью говорил, как профессор, и у которого в голове оставался простор для того, чтоб и отвечать профессору, и вместе понимать ту простую и естественную точку зрения, с которой был сделан вопрос, улыбнулся и сказал:

– Этот вопрос мы не имеем еще права решать...

– Не имеем данных, – подтвердил профессор и продолжал свои доводы. – Нет, – говорил он, – я указываю на то, что если, как прямо говорит Припасов, ощущение и имеет своим основанием впечатление, то мы должны строго различать эти два понятия.

Левин не слушал больше и ждал, когда уедет профессор.

VIII

Когда профессор уехал, Сергей Иванович обратился к брату:

– Очень рад, что ты приехал. Надолго? Что хозяйство?

Левин знал, что хозяйство мало интересует старшего брата и что он, только делая ему уступку, спросил его об этом, и потому ответил только о продаже пшеницы и деньгах.

Левин хотел сказать брату о своем намерении жениться и спросить его совета, он даже твердо решился на это; но когда он увидел брата, послушал его разговор с профессором, когда услышал потом этот невольный покровительственный тон, с которым брат расспрашивал его о

³³ Левин встречал в журналах статьи... о происхождении человека как животного... – Книга Чарльза Дарвина (1809–1882) «Происхождение человека и подбор по отношению к полу» в русском переводе вышла в свет в 1871 г. (т. I, II. Перевод с английского под редакцией И.М. Сеченова. СПб., 1871). Пространные статьи о теории Дарвина печатались в «Отечественных записках», «Вестнике Европы» и «Русском вестнике». О Дарвине много писал Н.Н. Страхов (1828–1896). В 1874 г. Толстой благодарил его «за присылку статьи о Дарвине». Страхов так же, как Левин, «искал ответов не на вопросы знания, а на вопросы сердца». Толстой впоследствии признавался, что его самого, как Левина, дарвинизм «натолкнул на противоположный путь – духовный».

³⁴ Кейс, Ло Вурст, Кнауэст и Припасов – имена вымышленные и пародийные.

хозяйственных делах (материнское имение их было неделимое, и Левин заведовал обеими частями), Левин почувствовал, что не может почему-то начать говорить с братом о своем решении жениться. Он чувствовал, что брат его не так, как ему бы хотелось, посмотрит на это.

– Ну, что у вас земство, как? – спросил Сергей Иванович, который очень интересовался земством и приписывал ему большое значение.

– А, право, не знаю...

– Как? Ведь ты член управы?

– Нет, уже не член; я вышел, – отвечал Константин Левин, – и не езжу больше на собрания.

– Жалко! – промолвил Сергей Иванович, нахмурившись.

Левин в оправдание стал рассказывать, что делалось на собраниях в его уезде.

– Вот это всегда так! – перебил его Сергей Иванович. – Мы, русские, всегда так. Может быть, это и хорошая наша черта – способность видеть свои недостатки, но мы пересаливаем, мы утешаемся иронией, которая у нас всегда готова на языке. Я скажу тебе только, что дай эти же права, как наши земские учреждения, другому европейскому народу, – немцы и англичане выработали бы из них свободу, а мы вот только смеемся.

– Но что же делать? – виновато сказал Левин. – Это был мой последний опыт. И я от всей души пытался. Не могу. Неспособен.

– Не способен, – сказал Сергей Иванович, – ты не так смотришь на дело.

– Может быть, – уныло отвечал Левин.

– А ты знаешь, брат Николай опять тут.

Брат Николай был родной и старший брат Константина Левина и одноутробный брат Сергея Ивановича, погибший человек, промотавший большую долю своего состояния, вращавшийся в самом странном и дурном обществе и поссорившийся с братьями.

– Что ты говоришь? – с ужасом вскрикнул Левин. – Почему ты знаешь?

– Прокофий видел его на улице.

– Здесь, в Москве? Где он? Ты знаешь? – Левин встал со стула, как бы собираясь тотчас же идти.

– Я жалею, что сказал тебе это, – сказал Сергей Иванович, покачивая головой на волнение меньшего брата. – Я посылал узнать, где он живет, и послал ему вексель его Трубину, по которому я заплатил. Вот что он мне ответил.

И Сергей Иванович подал брату записку из-под пресс-папье.

Левин прочел написанное странным, родным ему почерком: «Прошу покорно оставить меня в покое. Это одно, чего я требую от своих любезных братцев. Николай Левин».

Левин прочел это и, не поднимая головы, с запиской в руках стоял перед Сергеем Ивановичем.

В душе его боролись желание забыть теперь о несчастном брате и сознание того, что это будет дурно.

– Он, очевидно, хочет оскорбить меня, – продолжал Сергей Иванович, – но оскорбить меня он не может, и я всей душой желал бы помочь ему, но знаю, что этого нельзя сделать.

– Да, да, – повторял Левин. – Я понимаю и ценю твоё отношение к нему; но я поеду к нему.

– Если тебе хочется, съезди, но я не советую, – сказал Сергей Иванович. – То есть в отношении ко мне, я этого не боюсь, он тебя не поссорит со мной, но для тебя, я советую тебе лучше не ездить. Помочь нельзя. Впрочем, делай как хочешь.

– Может быть, и нельзя помочь, но я чувствую, особенно в эту минуту – ну да это другое, – я чувствую, что я не могу быть спокоен.

– Ну, этого я не понимаю, – сказал Сергей Иванович. – Одно я понимаю, – прибавил он, – это урок смирения. Я иначе и снисходительнее стал смотреть на то, что называется подлостью, после того как брат Николай стал тем, что он есть... Ты знаешь, что он сделал...

– Ах, это ужасно, ужасно! – повторял Левин.

Получив от лакея Сергея Ивановича адрес брата, Левин тотчас же собрался ехать к нему, но, обдумав, решил отложить свою поездку до вечера. Прежде всего, для того чтобы иметь душевное спокойствие, надо было решить то дело, для которого он приехал в Москву. От брата Левин поехал в присутствии Облонского и, узнав о Щербацких, поехал туда, где ему сказали, что он может застать Кити.

IX

В 4 часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у Зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у подъезда.

Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам, между русскими домиками с резными князьками; старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы.

Он шел по дорожке к катку и говорил себе: «Надо не волноваться, надо успокоиться. О чем ты? Чего ты? Молчи, глупое», – обращался он к своему сердцу. И чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазков, грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов, и пред ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее.

Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лед, подойти к ней?» – подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступною святыней, и была минута, что он чуть не ушел: так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя.

На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей; все казались Левину избранными счастливыми, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошею погодой.

Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему:

– А, первый русский конькобежец! Давно ли? Отличный лед, надевайте же коньки.

– У меня и коньков нет, – отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к

земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо; вынув руки из маленькой муфты, висевшей на шнурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругою ножкой и подкатилась прямо к Щербаткову; и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее.

Когда он думал о ней, он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой, с выражением детской ясности и доброты, небольшой белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотой стана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил; но что всегда, как неожиданность, поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства.

– Давно ли вы здесь? – сказала она, подавая ему руку. – Благодарствуйте, – прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты.

– Я? я недавно, я вчера... нынче то есть... приехал, – отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. – Я хотел к вам ехать, – сказал он и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел. – Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и прекрасно катаетесь.

Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения.

– Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец, – сказала она, стряхивая маленькую ручкой в черной перчатке иглы иная, упавшие на муфту.

– Да, я когда-то со страстью катался; мне хотелось дойти до совершенства.

– Вы все, кажется, делаете со страстью, – сказала она, улыбаясь. – Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе.

«Кататься вместе! Неужели это возможно?» – думал Левин, глядя на нее.

– Сейчас надену, – сказал он.

И он пошел надевать коньки.

– Давно не бывали у нас, сударь, – говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. – После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли так будет? – говорил он, натягивая ремень.

– Хорошо, хорошо, поскорей, пожалуйста, – отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице. «Да, – думал он, – вот это жизнь, вот это счастье! *Вместе*, сказала она, *давайте кататься вместе*. Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь сказать, что теперь я счастлив, счастлив хоть надеждой... А тогда?.. Но надо же! надо, надо! Прочь слабость!»

Левин стал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одною своею волей убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его.

Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку.

– С вами я бы скорее выучилась, я почему-то уверена в вас, – сказала она ему.

– И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня, – сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг, как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли: на гладком лбу ее вспухла морщинка.

– У вас нет ничего неприятного? Впрочем, я не имею права спрашивать, – быстро проговорил он.

– Отчего же?.. Нет, у меня ничего нет неприятного, – отвечала она холодно и тотчас же прибавила: – Вы не видели mademoiselle Linon?

– Нет еще.

– Подите к ней, она так вас любит.

«Что это? Я огорчил ее. Господи, помоги мне!» – подумал Левин и побежал к старой француженке с седыми букольками, сидевшей на скамейке. Улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его, как старого друга.

– Да, вот растем, – сказала она ему, указывая глазами на Кити, – и стареем. Tiny bear³⁵ уже стал большой! – продолжала француженка, смеясь, и напонила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки. – Помните, вы, бывало, так говорили?

Он решительно не помнил этого, но она уже лет десять смеялась этой шутке и любила ее.

– Ну, идите, идите кататься. А хорошо стала кататься наша Кити, не правда ли?

Когда Левин опять подбежал к Кити, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его жизни.

– Неужели вам не скучно зимою в деревне? – сказала она.

– Нет, не скучно, я очень занят, – сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти, так же как это было в начале зимы.

– Вы надолго приехали? – спросила его Кити.

– Я не знаю, – отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддается этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться.

– Как не знаете?

– Не знаю. Это от вас зависит, – сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам.

Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать, но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой, и поспешно покатила прочь от него. Она подкатилась к m-lle Linon, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки.

«Боже мой, что я сделал! Господи Боже мой! помоги мне, научи меня», – говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги.

В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту, в коньках, вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням, громяхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатила по льду.

– Ах, это новая штука! – сказал Левин и тотчас же побежал вверх, чтобы сделать эту новую штуку.

– Не убейтесь, надо привычку! – крикнул ему Николай Щербацкий.

Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатила дальше.

«Славный, милый», – подумала Кити в это время, выходя из домика с m-lle Linon и глядя на него с улыбкою тихой ласки, как на любимого брата. «И неужели я виновата, неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят: кокетство. Я знаю, что я люблю не его; но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал?..» – думала она.

³⁵ Медвежонок (англ.).

Увидав уходившую Кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, раскрасневшийся после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью.

– Очень рада вас видеть, – сказала княгиня. – Четверги, как всегда, мы принимаем.

– Стало быть, нынче?

– Очень рады будем видеть вас, – сухо сказала княгиня.

Сухость эта огорчила Кити, и она не могла удержаться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила:

– До свидания.

В это время Степан Аркадьич, со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина.

– Ну что ж, едем? – спросил он. – Я все о тебе думал, и я очень, очень рад, что ты приехал, – сказал он, с значительным видом глядя ему в глаза.

– Едем, едем, – отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, сказавший: «До свидания», и видеть улыбку, с которою это было сказано.

– В «Англию»³⁶ или в «Эрмитаж»?

– Мне все равно.

– Ну, в «Англию», – сказал Степан Аркадьич, выбрав «Англию» потому, что там он, в «Англии», был более должен, чем в «Эрмитаже». Он потому считал нехорошим избегать эту гостиницу. – У тебя есть извозчик? Ну и прекрасно, а то я отпустил карету.

Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, непохожим на того, каким он был до ее улыбки и слова *до свидания*.

Степан Аркадьич дорогой сочинял *меню*.

– Ты ведь любишь тюрбо³⁷? – сказал он Левину, подъезжая.

– Что? – переспросил Левин. – Тюрбо? Да, я *ужасно* люблю тюрбо.

Х

Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния, на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича. Облонский снял пальто и в шляпе набекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшему к нему татарам во фраках и с салфетками. Кланяясь направо и налево нашедшимся и тут, как везде, радостно встречавшим его знакомым, он подошел к буфету, закусил водку рыбкой и что-то такое сказал раскрашенной, в ленточках, кружевах и завитушках француженке, сидевшей за конторкой, что даже эта француженка искренно засмеялась. Левин же только оттого не выпил водки, что ему оскорбительна была эта француженка, вся составленная, казалось, из чужих волос, *poudre de riz* и *vinaigre de toilette*.³⁸ Он, как от грязного места, поспешно отошел от нее. Вся душа его была переполнена воспоминанием о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастья.

– Сюда, ваше сиятельство, пожалуйста, здесь не беспокоят, ваше сиятельство, – говорил особенно липнувший старый белесый татарин с широким тазом и расхаживавший над ним

³⁶ «Англия» – московская гостиница с роскошно меблированными номерами на Петровке. Пользовалась дурной репутацией.

³⁷ Тюрбо – блюдо французской кухни (особым образом приготовленная рыба калкан), ценившееся гурманами.

³⁸ рисовой пудры и туалетного уксуса (*франц.*).

фалдами фрака. – Пожалуйста шляпу, ваше сиятельство, – говорил он Левину, в знак почтения к Степану Аркадьичу, ухаживая и за его гостем.

Мгновенно расстелив свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья и остановился пред Степаном Аркадьичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний.

– Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается: князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены.

– А! устрицы.

Степан Аркадьич задумался.

– Не изменить ли план, Левин? – сказал он, остановив палец на карте. И лицо его выражало серьезное недоумение. – Хороши ли устрицы? Ты смотри!

– Фленсбургские, ваше сиятельство, остендских нет.

– Фленсбургские-то фленсбургские, да свежи ли?

– Вчера получены-с.

– Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?

– Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет.

– Каша а ла рюсс, прикажете? – сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным.

– Нет, без шуток; что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках, и есть хочется. И не думай, – прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, – чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо.

– Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, – сказал Степан Аркадьич. – Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало – три десятка, суп с кореньями...

– Прентаньер, – подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.

– С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом... ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.

Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи...» – и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу.

– Что же пить будем?

– Я что хочешь, только немного, шампанское, – сказал Левин.

– Как? сначала? А впрочем, правда, пожалуй. Ты любишь с белой печатью?

– Каше блан, – подхватил татарин.

– Ну, так этой марки к устрицам подай, а там видно будет.

– Слушаю-с. Столового какого прикажете?

– Ньюи подай. Нет, уж лучше классический шабли.

– Слушаю-с. Сыру *вашего* прикажете?

– Ну да, пармезан. Или ты другой любишь?

– Нет, мне все равно, – не в силах удерживать улыбки, говорил Левин.

И татарин с развевающимися фалдами над широким тазом побежал и чрез пять минут влетел с блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между пальцами.

Степан Аркадьич смял накрахмаленную салфетку, засунул ее себе за жилет и, положив покойно руки, взялся за устрицы.

– А недурны, – говорил он, сдирая серебряною вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывая их одну за другой. – Недурны, – повторял он, вскидывая влажные и блестящие глаза то на Левина, то на татарина.

Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Но он любовался на Облонского. Даже татарин, отвинтивший пробку и разливавший игристое вино по разлатым тонким рюмкам³⁹, с заметной улыбкой удовольствия, поправляя свой белый галстук, поглядывал на Степана Аркадьича.

– А ты не очень любишь устрицы? – сказал Степан Аркадьич, выпивая свой бокал, – или ты озабочен? А?

Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он был стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было в трактире, между кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суетни; эта обстановка бронз, зеркал, газа, татар – все это было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что переполняло его душу.

– Я? Да, я озабочен; но, кроме того, меня это все стесняет, – сказал он. – Ты не можешь представить себе, как для меня, деревенского жителя, все это дико, как ногти того господина, которого я видел у тебя...

– Да, я видел, что ногти бедного Гриневича тебя очень заинтересовали, – смеясь, сказал Степан Аркадьич.

– Не могу, – отвечал Левин. – Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения деревенского жителя. Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое положение, чтоб удобно было ими работать; для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава. А тут люди нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляют в виде запонок блюдечки, чтоб уж ничего нельзя было делать руками.

Степан Аркадьич весело улыбался.

– Да, это признак того, что грубый труд ему не нужен. У него работает ум...

– Может быть. Но все-таки мне дико, так же как мне дико теперь то, что мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться и для этого едим устрицы...

– Ну, разумеется, – подхватил Степан Аркадьич. – Но в этом-то и цель образования: из всего сделать наслаждение.

– Ну, если это цель, то я желал бы быть диким.

– Ты и так дик. Вы все, Левины, дики.

Левин вздохнул. Он вспомнил о брате Николае, и ему стало совестно и больно, и он нахмурился; но Облонский заговорил о таком предмете, который тотчас же отвлек его.

– Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Щербацким то есть? – сказал он, отодвигая пустые шершавые раковины, придвигая сыр и значительно блестя глазами.

– Да, я непременно поеду, – отвечал Левин. – Хотя мне показалось, что княгиня неохотно звала меня.

– Что ты! Вздор какой! Это ее манера... Ну давай же, братец, суп!.. Это ее манера, *grand dame*,⁴⁰ – сказал Степан Аркадьич. – Я тоже приеду, но мне на спевку к графине Баниной надо. Ну как же ты не дик? Чем же объяснить то, что ты вдруг исчез из Москвы? Щербацкие меня спрашивали о тебе беспрестанно, как будто я должен знать. А я знаю только одно: ты делаешь всегда то, чего никто не делает.

– Да, – сказал Левин медленно и взволнованно. – Ты прав, я дик. Но только дикость моя не в том, что я уехал, а в том, что я теперь приехал. Теперь я приехал.

– О, какой ты счастливец! – подхватил Степан Аркадьич, глядя в глаза Левину.

– Отчего?

³⁹ *Разлтые рюмки* – высокие и плоские рюмки для шампанского.

⁴⁰ важной дамы (*франц.*).

– Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам⁴¹, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьич. – У тебя все впереди.

– А у тебя разве уж назади?

– Нет, хоть не назади, но у тебя будущее, а у меня настоящее, и настоящее так, в пересыпочку.

– А что?

– Да нехорошо. Ну, да я о себе не хочу говорить, и к тому же объяснить всего нельзя, – сказал Степан Аркадьич. – Так ты зачем же приехал в Москву?.. Эй, принимай! – крикнул он татарину.

– Ты догадываешься? – отвечал Левин, не спуская со Степана Аркадьича своих в глубине светящихся глаз.

– Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Уж по этому ты можешь видеть, верно или не верно я догадываюсь, – сказал Степан Аркадьич, с тонкою улыбкой глядя на Левина.

– Ну что же ты скажешь мне? – сказал Левин дрожащим голосом и чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы. – Как ты смотришь на это?

Степан Аркадьич медленно выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина.

– Я? – сказал Степан Аркадьич, – я ничего так не желал бы, как этого, ничего. Это лучшее, что могло бы быть.

– Но ты не ошибаешься? Ты знаешь, о чем мы говорим? – проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. – Ты думаешь, что это возможно?

– Думаю, что возможно. Отчего же невозможно?

– Нет, ты точно думаешь, что это возможно? Нет, ты скажи все, что ты думаешь! Ну, а если, если меня ждет отказ?.. И я даже уверен...

– Отчего же ты это думаешь? – улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьич.

– Так мне иногда кажется. Ведь это будет ужасно и для меня и для нее.

– Ну, во всяком случае, для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением.

– Да, всякая девушка, но не она.

Степан Аркадьич улыбнулся. Он так знал это чувство Левина, знал, что для него все девушки в мире разделяются на два сорта: один сорт – это все девушки в мире, кроме ее, и эти имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные; другой сорт – она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого.

– Постой, соуса возьми, – сказал он, удерживая руку Левина, который отталкивал от себя соус.

Левин покорно положил себе соус, но не дал есть Степану Аркадьичу.

– Нет, ты постой, постой, – сказал он. – Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем не говорил об этом. И ни с кем я не могу говорить об этом, как с тобой. Ведь вот мы с тобой по всему чужие: другие вкусы, взгляды, все; но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но ради Бога, будь вполне откровенен.

– Я тебе говорю, что я думаю, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь. – Но я тебе больше скажу; моя жена – удивительнейшая женщина... – Степан Аркадьич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минутку, продолжал: – У нее есть дар предвидения. Она насквозь видит людей; но этого мало, – она знает, что будет, особенно по части браков. Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брентельна. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она – на твоей стороне.

⁴¹ Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам... – У Пушкина («Анакреон»): «Узнаю коней ретивых по их выжженным таврам...»

– То есть как?

– Так, что она мало того что любит тебя, – она говорит, что Кити будет твоею женой непременно.

При этих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, тою, которая близка к слезам умиления.

– Она это говорит! – вскрикнул Левин. – Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена. Ну и довольно, довольно об этом говорить, – сказал он, вставая с места.

– Хорошо, но садись же, вот и суп.

Но Левин не мог сидеть. Он прошелся два раза своими твердыми шагами по клеточке-комнате, помигал глазами, чтобы не видно было слез, и тогда только сел опять за стол.

– Ты пойми, – сказал он, – что это не любовь. Я был влюблен, но это не то. Это не мое чувство, а какая-то сила внешняя завладела мной. Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь, как счастья, которого не бывает на земле; но я бился с собой и вижу, что без этого нет жизни. И надо решить...

– Для чего же ты уезжал?

– Ах, постой! Ах, сколько мыслей! Сколько надо спросить! Послушай. Ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже гадок стал; я все забыл... Я нынче узнал, что брат Николай... знаешь, он тут... я и про него забыл. Мне кажется, что и он счастлив. Это вроде сумасшествия. Но одно ужасно... Вот ты женился, ты знаешь это чувство... Ужасно то, что мы – старые, уже с прошедшим... не любви, а грехов... вдруг сближаемся с существом чистым, невинным; это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным.

– Ну, у тебя грехов немного.

– Ах, все-таки, – сказал Левин, – все-таки, «с отвращением читая жизнь мою⁴², я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь...». Да.

– Что ж делать, так мир устроен, – сказал Степан Аркадьич.

– Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по милосердию. Так и она только простить может.

XI

Левин выпил свой бокал, и они помолчали.

– Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского? – спросил Степан Аркадьич Левина.

– Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь?

– Подай другую, – обратился Степан Аркадьич к татарину, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было.

– Зачем мне знать Вронского?

– А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов.

– Что такое Вронский? – сказал Левин, и лицо его из того детски-восторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное.

– Вронский – это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем – очень милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован и очень умен; это человек, который далеко пойдет.

⁴² «...с отвращением читая жизнь мою...» – Из стихотворения Пушкина «Воспоминание». «Эти стихи, – говорил Толстой, – и таких стихов пять, много десять на всем свете» («Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом». М., 1911, с. 167).

Левин хмурился и молчал.

– Ну-с, он появился здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити, и ты понимаешь, что мать...

– Извини меня, но я не понимаю ничего, – сказал Левин, мрачно насупливаясь. И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем.

– Ты постой, постой, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь и трогая его руку. – Я тебе сказал то, что я знаю, и повторяю, что в этом тонком, нежном деле, сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей стороне.

Левин откинулся назад на стул, лицо его было бледно.

– Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее, – продолжал Облонский, доливая ему бокал.

– Нет, благодарствуй, я больше не могу пить, – сказал Левин, отодвигая свой бокал. – Я буду пьян... Ну, ты как поживаешь? – продолжал он, видимо желая переменить разговор.

– Еще слово: во всяком случае, советую решить вопрос скорее. Нынче не советую говорить, – сказал Степан Аркадьич. – Поезжай завтра утром, классически, делать предложение, и да благословит тебя Бог...

– Что ж ты все хотел на охоту ко мне приехать? Вот приезжай весной на тягу, – сказал Левин.

Теперь он всею душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадьичем. Его *особенное* чувство было осквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадьича.

Степан Аркадьич улыбнулся. Он понимал, что делалось в душе Левина.

– Приеду когда-нибудь, – сказал он. – Да, брат, женщины – это винт, на котором все вертится. Вот и мое дело плохо, очень плохо. И все от женщин. Ты мне скажи откровенно, – продолжал он, достав сигару и держась одною рукой за бокал, – ты мне дай совет.

– Но в чем же?

– Вот в чем. Положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другою женщиной...

– Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы... все равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач⁴³.

Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного.

– Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься.

Himmlich ist's, wenn ich bezwungen⁴⁴

Meine irdische Begier;

Aber doch wenn's nicht gelungen,

Hatt'ich auch recht habsch Plaisir!⁴⁵

Говоря это, Степан Аркадьич тонко улыбался. Левин тоже не мог не улыбнуться.

– Да, но без шуток, – продолжал Облонский. – Ты пойми, что женщина, милое, кроткое, любящее существо, бедная, одинокая и всем пожертвовала. Теперь, когда уже дело сделано, – ты пойми, – неужели бросить ее? Положим: расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь; но неужели не пожалеть ее, не устроить, не смягчить?

⁴³ ...пошел мимо калачной и украл бы калач. – В «Отечественных записках» за 1866 г. в статье М. Стебницкого (Н. Лескова) «Русский драматический театр в Петербурге», посвященной нашумевшей пьесе Н. Чернявского «Гражданский брак», «свободная любовь» сравнивалась с воровством.

⁴⁴ Himmlich ist's, wenn ich bezwungen... – Куплет из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» (1874).

⁴⁵ Великолепно, если я поборою // Свою земную страсть; // Но если это и не удалось, // Я все же испытал блаженство! (нем.)

– Ну, уж извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта... то есть нет... вернее: есть женщины, и есть... Я прелестных падших созданий не видал⁴⁶ и не увижу, а такие, как та крашенная француженка у конторки, с завитками, – это для меня гадины, и все падшие – такие же.

– А евангельская?

– Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут злоупотреблять ими. Изо всего Евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков боишься, а я этих гадин. Ты ведь, наверно, не изучал пауков и не знаешь их нравов: так и я.

– Хорошо тебе так говорить; это все равно, как этот диккенсовский господин⁴⁷, который перебрасывает левою рукой через правое плечо все затруднительные вопросы. Но отрицание факта – не ответ. Что же делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал ее. А тут вдруг подвернется любовь, и ты пропал, пропал! – с унылым отчаянием проговорил Степан Аркадьич.

Левин усмехнулся.

– Да, и пропал, – продолжал Облонский. – Но что же делать?

– Не красть калачей.

Степан Аркадьич рассмеялся.

– О моралист! Но ты пойми, есть две женщины: одна настаивает только на своих правах, и права эти твоя любовь, которой ты не можешь ей дать; а другая жертвует тебе всем и ничего не требует. Что тебе делать? Как поступить? Тут страшная драма.

– Если ты хочешь мою исповедь относительно этого, то я скажу тебе, что не верю, чтобы тут была драма. И вот почему. По-моему, любовь... обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в своем «Пире»⁴⁸, обе любви служат пробным камнем для людей. Одни люди понимают только одну, другие другую. И те, что понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. «Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтение», вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что...

В эту минуту Левин вспомнил о своих грехах и о внутренней борьбе, которую он пережил. И он неожиданно прибавил:

– А впрочем, может быть, ты и прав. Очень может быть... Но я не знаю, решительно не знаю.

– Вот видишь ли, – сказал Степан Аркадьич, – ты очень цельный человек. Это твое качество и твой недостаток. Ты сам цельный характер и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась из цельных явлений, а этого не бывает. Ты вот презираешь общественную служебную деятельность, потому что тебе хочется, чтобы дело постоянно соответствовало цели, а этого не бывает. Ты хочешь тоже, чтобы деятельность одного человека всегда имела цель, чтобы любовь и семейная жизнь всегда были одно. А этого не бывает. Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света.

⁴⁶ Я прелестных падших созданий не видал... – Из пушкинского «Пира во время чумы». У Пушкина: «Прелестное, но падшее создание» (слова Вальсингама).

⁴⁷ ...Это все равно, как этот диккенсовский господин... – Речь идет о герое романа Диккенса «Наш общий друг» мистере Подснеле, который «даже выработал себе особый жест: правой рукой он отмахивался от самых сложных мировых вопросов (и тем совершенно их устранял) – с этими самыми словами и краской возмущения в лице. Ибо все это его оскорбляло» (Ч. Диккенс. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24. М., 1962, с. 158).

⁴⁸ ...обе любви, которые... Платон определяет в своем «Пире». – Платон (427–347 гг. до н. э.) в «Симпозионе» («Пире») утверждает, что есть два рода любви, как и две Афродиты: любовь земная, чувственная (Афродита-Пандемос), и любовь небесная, свободная от чувственных желаний (Афродита-Уrania) (Сочинения Платона, ч. IV. СПб., 1863, с. 162). По имени старшей «чистая» любовь получила название «небесной» или «платонической».

Левин вздохнул и ничего не ответил. Он думал о своем и не слушал Облонского.

И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы еще более сблизить их, но что каждый думает только о своем и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случающееся после обеда крайнее раздвоение вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях.

– Счет! – крикнул он и вышел в соседнюю залу, где тотчас же встретил знакомого адъютанта и вступил с ним в разговор об актрисе и ее содержателе. И тотчас же в разговоре с адъютантом Облонский почувствовал облегчение и отдохновение от разговора с Левиным, который вызывал его всегда на слишком большое умственное и душевное напряжение.

Когда татарин явился со счетом в двадцать шесть рублей с копейками и с дополнением на водку, Левин, которого в другое время, как деревенского жителя, привел бы в ужас счет на его долю в четырнадцать рублей, теперь не обратил внимания на это, расплатился и отправился домой, чтобы переодеться и ехать к Щербацким, где решится его судьба.

ХП

Княжне Кити Щербацкой было восемнадцать лет. Она выезжала первую зиму. Успехи ее в свете были больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши, танцующие на московских балах, почти все были влюблены в Кити, уже в первую зиму представились две серьезные партии: Левин и, тотчас же после его отъезда, граф Вронский.

Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явная любовь к Кити были поводом к первым серьезным разговорам между родителями Кити о ее будущности и к спорам между князем и княгиней. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити. Княгиня же, со свойственною женщинам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода, что Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности, и другие доводы; но не говорила главного, того, что она ждет лучшей партии для дочери, и что Левин несимпатичен ей, и что она не понимает его. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торжеством говорила мужу: «Видишь, я была права». Когда же появился Вронский, она еще более была рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию.

Для матери не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным. Матери не нравились в Левине и его странные и резкие суждения, и его неловкость в свете, основанная, как она полагала, на гордости, и его, по ее понятиям, дикая какая-то жизнь в деревне, с занятиями скотиной и мужиками; не нравилось очень и то, что он, влюбленный в ее дочь, ездил в дом полтора месяца, чего-то как будто ждал, высматривал, как будто боялся, не велика ли будет честь, если он сделает предложение, и не понимал, что, ездя в дом, где девушка невеста, надо было объясниться. И вдруг, не объяснившись, уехал. «Хорошо, что он так непривлекателен, что Кити не влюбилась в него», – думала мать.

Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать.

Вронский на балах явно ухаживал за Кити, танцевал с нею и ездил в дом, стало быть, нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Но, несмотря на то, мать всю эту зиму находилась в страшном беспокойстве и волнении.

Сама княгиня вышла замуж тридцать лет тому назад, по сватовству тетки. Жених, о котором было все уже вперед известно, приехал, увидел невесту, и его увидели; сваха тетка узнала и передала взаимно произведенное впечатление; впечатление было хорошее; потом в назначенный день было сделано родителям и принято ожидаемое предложение. Все произошло очень

легко и просто. По крайней мере так казалось княгине. Но на своих дочерях она испытала, как не легко и не просто это, кажущееся обыкновенным, дело – выдавать дочерей замуж. Сколько страхов было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших двух, Дарьи и Натальи! Теперь, при вывозе меньшей, переживались те же страхи, те же сомнения и еще большие, чем из-за старших, ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетилен насчет чести и чистоты своих дочерей; он был неблагоприятно ревнив к дочерям, и особенно к Кити, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгине за то, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерьми, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имеет больше оснований. Она видела, что в последнее время многое изменилось в приемах общества, что обязанности матери стали еще труднее. Она видела, что сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы⁴⁹, свободно обращались с мужчинами, ездили одни по улицам, многие не приседали и, главное, были все твердо уверены, что выбрать себе мужа есть их дело, а не родителей. «Нынче уж так не выдают замуж, как прежде», – думали и говорили все эти молодые девушки и все даже старые люди. Но как же нынче выдают замуж, княгиня ни от кого не могла узнать. Французский обычай – родителям решать судьбу детей – был не принят, осуждался. Английский обычай – совершенной свободы девушки – был тоже не принят и невозможен в русском обществе. Русский обычай сватовства считался чем-то безобразным, над ним смеялись все и сама княгиня. Но как надо выходить и выдавать замуж, никто не знал. Все, с кем княгине случалось толковать об этом, говорили ей одно: «Помилуйте, в наше время уж пора оставить эту старину. Ведь молодым людям в брак вступать, а не родителям; стало быть, и надо оставить молодых людей устраиваться, как они знают». Но хорошо было говорить так тем, у кого не было дочерей; а княгиня понимала, что при сближении дочь могла влюбиться, и влюбиться в того, кто не захочет жениться, или в того, кто не годится в мужья. И сколько бы ни внушали княгине, что в наше время молодые люди сами должны устраивать свою судьбу, она не могла верить этому, как не могла бы верить тому, что в какое бы то ни было время для пятилетних детей самыми лучшими игрушками должны быть заряженные пистолеты. И потому княгиня беспокоилась с Кити больше, чем со старшими дочерьми.

Теперь она боялась, чтобы Вронский не ограничился одним ухаживанием за ее дочерью. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он честный человек и потому не сделает этого. Но вместе с тем она знала, как с нынешнею свободой обращения легко вскружить голову девушке и как вообще мужчины легко смотрят на эту вину. На прошлой неделе Кити рассказала матери свой разговор во время мазурки с Вронским. Разговор этот отчасти успокоил княгиню, но совершенно спокойною она не могла быть. Вронский сказал Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с нею. «И теперь я жду, как особенного счастья, приезда матушки из Петербурга», – сказал он.

Кити рассказала это, не придавая никакого значения этим словам. Но мать поняла это иначе. Она знала, что старуху ждут со дня на день, знала, что старуха будет рада выбору сына, и ей странно было, что он, боясь оскорбить мать, не делает предложения; однако ей так хотелось и самого брака и, более всего, успокоения от своих тревог, что она верила этому. Как ни горько было теперь княгине видеть несчастье старшей дочери Долли, сбиравшейся оставить мужа, волнение о решавшейся судьбе меньшей дочери поглощало все ее чувства. Нынешний

⁴⁹ ...сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы... – 1 ноября 1872 г. в Москве открылись Высшие женские курсы проф. В.И. Герье (1837–1919). Различного рода общества и курсы (юридические, литературные и медицинские) существовали и в Петербурге. Такого рода курсы и общества представляли собой удобную почву для приложения «идеалов свободы того поколения, которое стало молодым по уничтожении крепостного права» («Отечественные записки», 1875, IX, с. 96).

день, с появлением Левина, ей прибавилось еще новое беспокойство. Она боялась, чтобы дочь, имевшая, как ей казалось, одно время чувство к Левину, из излишней честности не отказала бы Вронскому и вообще чтобы приезд Левина не запутал, не задержал дела, столь близкого к окончанию.

– Что он, давно ли приехал? – сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой.

– Нынче, маман.

– Я одно хочу сказать... – начала княгиня, и по серьезно-оживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь.

– Мама, – сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней, – пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю.

Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы желания матери оскорбляли ее.

– Я только хочу сказать, что, подав надежду одному...

– Мама, голубчик, ради Бога, не говорите. Так страшно говорить про это.

– Не буду, не буду, – сказала мать, увидав слезы на глазах дочери, – но одно, моя душа: ты мне обещала, что у тебя не будет от меня тайны. Не будет?

– Никогда, мама, никакой, – отвечала Кити, покраснев и взглянув прямо в лицо матери. – Но мне нечего говорить теперь. Я... я... если бы хотела, я не знаю, что сказать и как... я не знаю...

«Нет, неправду не может она сказать с этими глазами», – подумала мать, улыбаясь на ее волнение и счастье. Княгиня улыбалась тому, как огромно и значительно кажется ей, бедняжке, то, что происходит теперь в ее душе.

XIII

Кити испытывала после обеда до начала вечера чувство, подобное тому, какое испытывает юноша пред битвою. Сердце ее билось сильно, и мысли не могли ни на чем остановиться.

Она чувствовала, что нынешний вечер, когда они оба в первый раз встречаются, должен быть решительный в ее судьбе. И она беспрестанно представляла себе их, то каждого порознь, то вместе обоих. Когда она думала о прошедшем, она с удовольствием, с нежностью останавливалась на воспоминаниях своих отношений к Левину. Воспоминания детства и воспоминания о дружбе Левина с ее умершим братом придавали особенную поэтическую прелесть ее отношениям с ним. Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей. И ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям о Вронском, напротив, примешивалось что-то неловкое, хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек; как будто фальшь какая-то была, – не в нем, он был очень прост и мил, – но в ней самой, тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простою и ясною. Но зато, как только она думала о будущем с Вронским, пред ней вставала перспектива блестяще-счастливая; с Левиным же будущность представлялась туманною.

Взойдя наверх одеться для вечера и взглянув в зеркало, она с радостью заметила, что она в одном из своих хороших дней и в полном обладании всеми своими силами, а это ей так нужно было для предстоящего: она чувствовала в себе внешнюю тишину и свободную грацию движений.

В половине восьмого, только что она сошла в гостиную, лакей доложил: «Константин Дмитрич Левин». Княгиня была еще в своей комнате, и князь не выходил. «Так и есть», – подумала Кити, и вся кровь прилила ей к сердцу. Она ужаснулась своей бледности, взглянув в зеркало.

Теперь она верно знала, что он затем и приехал раньше, чтобы застать ее одну и сделать предложение. И тут только в первый раз все дело представилось ей совсем с другой, новой стороны. Тут только она поняла, что вопрос касается не ее одной, – с кем она будет счастлива

и кого она любит, – но что сию минуту она должна оскорбить человека, которого она любит. И оскорбить жестоко... За что? За то, что он, милый, любит ее, влюблен в нее. Но, делать нечего, так нужно, так должно.

«Боже мой, неужели это я должна сама сказать ему? – подумала она. – Ну что я скажу ему? Неужели я скажу ему, что я его не люблю? Это будет неправда. Что ж я скажу ему? Скажу, что люблю другого? Нет, это невозможно. Я уйду, уйду».

Она уже подходила к дверям, когда услышала его шаги. «Нет! нечестно. Чего мне бояться? Я ничего дурного не сделала. Что будет, то будет! Скажу правду. Да с ним не может быть неловко. Вот он», – сказала она себе, увидав всю его сильную и робкую фигуру с блестящими, устремленными на себя глазами. Она прямо взглянула ему в лицо, как бы умоляя его о пощаде, и подала руку.

– Я не вовремя, кажется, слишком рано, – сказал он, оглянув пустую гостиную. Когда он увидал, что его ожидания сбылись, что ничто не мешает ему высказаться, лицо его сделалось мрачно.

– О, нет, – сказала Кити и села к столу.

– Но я только того и хотел, чтобы застать вас одну, – начал он, не садясь и не глядя на нее, чтобы не потерять смелости.

– Мама сейчас выйдет. Она вчера очень устала. Вчера...

Она говорила, сама не зная, что говорят ее губы, и не спуская с него умоляющего и ласкающего взгляда.

Он взглянул на нее; она покраснела и замолчала.

– Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал... что это от вас зависит...

Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближавшееся.

– Что это от вас зависит, – повторил он. – Я хотел сказать... я хотел сказать... Я за этим приехал... что... быть моею женой! – проговорил он, не зная сам, что говорил; но, почувствовав, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее.

Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа ее была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление. Но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые правдивые глаза и, увидав его отчаянное лицо, поспешно ответила:

– Этого не может быть... простите меня...

Как за минуту тому назад она была близка ему, как важна для его жизни! И как теперь она стала чужда и далека ему!

– Это не могло быть иначе, – сказал он, не глядя на нее.

Он поклонился и хотел уйти.

XIV

Но в это самое время вышла княгиня. На лице ее изобразился ужас, когда она увидела их одних и их расстроенные лица. Левин поклонился ей и ничего не сказал. Кити молчала, не поднимая глаз. «Слава Богу, отказала», – подумала мать, и лицо ее просияло обычной улыбкой, с которою она встречала по четвергам гостей. Она села и начала расспрашивать Левина о его жизни в деревне. Он сел опять, ожидая приезда гостей, чтоб уехать незаметно.

Через пять минут вошла подруга Кити, прошлую зиму вышедшая замуж, графиня Нордстон.

Это была сухая, желтая, с черными блестящими глазами, болезненная, нервная женщина. Она любила Кити, и любовь ее к ней, как и всегда любовь замужних к девушкам, выражалась

в желании выдать Кити по своему идеалу счастья замуж, и потому желала выдать ее за Вронского. Левин, которого она в начале зимы часто у них встречала, был всегда неприятен ей. Ее постоянное и любимое занятие при встрече с ним состояло в том, чтобы шутить над ним.

– Я люблю, когда он с высоты своего величия смотрит на меня: или прекращает свой умный разговор со мной, потому что я глупа, или снисходит. Я это очень люблю: *снисходит* до меня! Я очень рада, что он меня терпеть не может, – говорила она о нем.

Она была права, потому что действительно Левин терпеть ее не мог и презирал за то, чем она гордилась и что ставила себе в достоинство, – за ее нервность, за ее утонченное презрение и равнодушие ко всему грубому и житейскому.

Между Нордстон и Левиным установилось то нередко встречающееся в свете отношение, что два человека, оставаясь по внешности в дружелюбных отношениях, презирают друг друга до такой степени, что не могут даже серьезно обращаться друг с другом и не могут даже быть оскорблены один другим.

Графиня Нордстон тотчас же накинулась на Левина.

– А! Константин Дмитрич! Опять приехали в наш развратный Вавилон, – сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказанные как-то в начале зимы, что Москва есть Вавилон. – Что, Вавилон исправился или вы испортились? – прибавила она, с усмешкой оглядываясь на Кити.

– Мне очень лестно, графиня, что вы так помните мои слова, – отвечал Левин, успевший оправиться и сейчас же по привычке входя в свое шуточно-враждебное отношение к графине Нордстон. – Верно, они на вас очень сильно действуют.

– Ах, как же! Я все записываю. Ну что, Кити, ты опять каталась на коньках?..

И она стала говорить с Кити. Как ни неловко было Левину уйти теперь, ему все-таки легче было сделать эту неловкость, чем остаться весь вечер и видеть Кити, которая изредка взглядывала на него и избегала его взгляда. Он хотел встать, но княгиня, заметив, что он молчит, обратилась к нему:

– Вы надолго приехали в Москву? Ведь вы, кажется, мировым земством занимаетесь, и вам нельзя надолго.

– Нет, княгиня, я не занимаюсь более земством, – сказал он. – Я приехал на несколько дней.

«Что-то с ним нынче особенное, – подумала графиня Нордстон, взглядывая в его строгое, серьезное лицо, – что-то он не втягивается в свои рассуждения. Но я уж выведу его. Ужасно люблю сделать его дураком пред Кити, и сделаю».

– Константин Дмитрич, – сказала она ему, – растолкуйте мне, пожалуйста, что такое значит, – вы всё это знаете, – у нас в калужской деревне все мужики и все бабы все пропили, что у них было, и теперь ничего нам не платят. Что это значит? Вы так хвалите всегда мужиков.

В это время еще дама вошла в комнату, и Левин встал.

– Извините меня, графиня, но я, право, ничего этого не знаю и ничего не могу вам сказать, – сказал он и оглянувшись на входившего вслед за дамой военного.

«Это должен быть Вронский», – подумал Левин и, чтоб убедиться в этом, взглянул на Кити. Она уже успела взглянуть на Вронского и оглянулась на Левина. И по одному этому взгляду невольно просиявших глаз ее Левин понял, что она любила этого человека, понял так же верно, как если б она сказала ему это словами. Но что же это за человек?

Теперь, – хорошо ли это, дурно ли, – Левин не мог не остаться; ему нужно было узнать, что за человек был тот, кого она любила.

Есть люди, которые, встречая своего счастливого в чем бы то ни было соперника, готовы сейчас же отвернуться от всего хорошего, что есть в нем, и видеть в нем одно дурное; есть люди, которые, напротив, более всего желают найти в этом счастливом сопернике те качества, которыми он победил их, и ищут в нем со щемящею болью в сердце одного хорошего. Левин

принадлежал к таким людям. Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. Оно сразу бросилось ему в глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно-красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко обстриженных черных волос и свежевыбритого подбородка до широкого с иголочки нового мундира, все было просто и вместе изящно. Дав дорогу входившей даме, Вронский подошел к княгине и потом к Кити.

В то время как он подходил к ней, красивые глаза его особенно нежно заблестели, и с чуть заметною счастливою и скромно-торжествующею улыбкой (так показалось Левину), почтительно и осторожно наклонясь над нею, он протянул ей свою небольшую, но широкую руку.

Со всеми поздоровавшись и сказав несколько слов, он сел, ни разу не взглянув на не спускавшего с него глаз Левина.

– Позвольте вас познакомить, – сказала княгиня, указывая на Левина. – Константин Дмитрич Левин. Граф Алексей Кириллович Вронский.

Вронский встал и, дружелюбно глядя в глаза Левину, пожал ему руку.

– Я нынче зимой должен был, кажется, обедать с вами, – сказал он, улыбаясь своею простою и открытою улыбкой, – но вы неожиданно уехали в деревню.

– Константин Дмитрич презирает и ненавидит город и нас, горожан, – сказала графиня Нордстон.

– Должно быть, мои слова на вас сильно действуют, что вы их так помните, – сказал Левин и, вспомнив, что он уже сказал это прежде, покраснел.

Вронский взглянул на Левина и графиню Нордстон и улыбнулся.

– А вы всегда в деревне? – спросил он. – Я думаю, зимой скучно?

– Не скучно, если есть занятия, да и с самим собой не скучно, – резко отвечал Левин.

– Я люблю деревню, – сказал Вронский, замечая и делая вид, что не замечал тона Левина.

– Но надеюсь, граф, что вы бы не согласились жить всегда в деревне, – сказала графиня Нордстон.

– Не знаю, я не пробовал подолгу. Я испытал странное чувство, – продолжал он. – Я нигде так не скучал по деревне, русской деревне, с лаптями и мужиками, как прожив с матушкой зиму в Ницце. Ницца сама по себе скучна, вы знаете. Да и Неаполь, Сорренто хороши только на короткое время. И именно там особенно живо вспоминается Россия, и именно деревня. Они точно как...

Он говорил, обращаясь и к Кити и к Левину и переводя с одного на другого свой спокойный и дружелюбный взгляд, – говорил, очевидно, что приходило в голову.

Заметив, что графиня Нордстон хотела что-то сказать, он остановился, не досказав начатого, и стал внимательно слушать ее.

Разговор не умолкал ни на минуту, так что старой княгине, всегда имевшей про запас, на случай неимения темы, два тяжелых орудия: классическое и реальное образование и общую воинскую повинность, не пришлось выдвигать их, а графине Нордстон не пришлось подразнить Левина.

Левин хотел и не мог вступить в общий разговор; ежеминутно говоря себе: «теперь уйти», он не уходил, чего-то дожидаясь.

Разговор зашел о вертящихся столах и духах⁵⁰, и графиня Нордстон, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела.

– Ах, графиня, непременно свезите, ради Бога, свезите меня к ним! Я никогда ничего не видал необыкновенного, хотя везде отыскиваю, – улыбаясь, сказал Вронский.

⁵⁰ *Разговор зашел о вертящихся столах и духах...* – В 1875 г. в журнале «Русский вестник» были напечатаны статьи о спиритизме: «Медиумизм» проф. Н. П. Вагнера (1829–1907) и «Медиумические явления» проф. А. М. Бутлерова (1828–1886). «Меня статьи в «Русском вестнике» страшно волновали», – говорил Толстой (62, 235). Критику спиритизма он начал в «Анне Карениной», затем продолжил в «Плодах просвещения» (1890).

– Хорошо, в будущую субботу, – отвечала графиня Нордстон. – Но вы, Константин Дмитрич, верите? – спросила она Левина.

– Зачем вы меня спрашиваете? Ведь вы знаете, что я скажу.

– Но я хочу слышать ваше мнение.

– Мое мнение только то, – отвечал Левин, – что эти вертящиеся столы доказывают, что так называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в глаз, и в порчу, и в привороты, а мы...

– Что ж, вы не верите?

– Не могу верить, графиня.

– Но если я сама видела?

– И бабы рассказывают, как они сами видели домовых.

– Так вы думаете, что я говорю неправду?

И она невесело засмеялась.

– Да нет, Маша, Константин Дмитрич говорит, что он не может верить, – сказала Кити, краснея за Левина, и Левин понял это и, еще более раздражившись, хотел отвечать, но Вронский со своею открытою веселою улыбкой тотчас же пришел на помощь разговору, угрожавшему сделаться неприятным.

– Вы совсем не допускаете возможности? – спросил он. – Почему же мы допускаем существование электричества, которого мы не знаем; почему не может быть новая сила, еще нам неизвестная, которая...

– Когда найдено было электричество, – быстро перебил Левин, – то было только открыто явление, и неизвестно было, откуда оно происходит и что оно производит, и века прошли прежде, чем подумали о приложении его. Спириты же, напротив, начали с того, что столики им пишут и духи к ним приходят, а потом уже стали говорить, что это есть сила неизвестная.

Вронский внимательно слушал Левина, как он всегда слушал, очевидно интересуясь его словами.

– Да, но спириты говорят: теперь мы не знаем, что это за сила, но сила есть, и вот при каких условиях она действует. А ученые пускай разбирают, в чем состоит эта сила. Нет, я не вижу, почему это не может быть новая сила, если она...

– А потому, – опять перебил Левин, – что при электричестве каждый раз, как вы потрете смолу о шерсть, обнаруживается известное явление, а здесь не каждый раз, стало быть, это не природное явление.

Вероятно, чувствуя, что разговор принимает слишком серьезный для гостиней характер, Вронский не возражал, а, стараясь переменить предмет разговора, весело улыбнулся и повернулся к дамам.

– Давайте сейчас попробуем, графиня, – начал он; но Левин хотел досказать то, что он думал.

– Я думаю, – продолжал он, – что эта попытка спиритов объяснять свои чудеса какою-то новою силой – самая неудачная. Они прямо говорят о силе духовной и хотят ее подвергать материальному опыту.

Все ждали, когда он кончит, и он чувствовал это.

– А я думаю, что вы будете отличный медиум, – сказала графиня Нордстон, – в вас есть что-то восторженное.

Левин открыл рот, хотел сказать что-то, покраснел и ничего не сказал.

– Давайте сейчас, княжна, испытаем столы, пожалуйста, – сказал Вронский. – Княгиня, вы позволите?

И Вронский встал, отыскивая глазами столик.

Кити встала за столиком и, проходя мимо, встретила глазами с Левиным. Ей всею душой было жалко его, тем более что она жалела его в несчастии, которого сама была причиною. «Если можно меня простить, то простите, – сказал ее взгляд, – я так счастлива».

«Всех ненавижу, и вас, и себя», – отвечал его взгляд, и он взялся за шляпу. Но ему не судьба была уйти. Только что хотели устраиваться около столика, а Левин уйти, как вошел старый князь и, поздоровавшись с дамами, обратился к Левину.

– А! – начал он радостно. – Давно ли? Я и не знал, что ты тут. Очень рад вас видеть.

Старый князь иногда «ты», иногда «вы» говорил Левину. Он обнял Левина и, говоря с ним, не замечал Вронского, который встал и спокойно дожидался, когда князь обратится к нему.

Кити чувствовала, как после того, что произошло, любезность отца была тяжела Левину. Она видела также, как холодно отец ее, наконец, ответил на поклон Вронского и как Вронский с дружелюбным недоумением посмотрел на ее отца, стараясь понять и не понимая, как и за что можно было быть к нему недружелюбно расположенным, и она покраснела.

– Князь, отпустите нам Константина Дмитрича, – сказала графиня Нордстон. – Мы хотим опыт делать.

– Какой опыт? столы вертеть? Ну, извините меня, дамы и господа, но, по-моему, в колечко веселее играть, – сказал старый князь, глядя на Вронского и догадываясь, что он затеял это. – В колечке еще есть смысл.

Вронский посмотрел с удивлением на князя своими твердыми глазами и, чуть улыбнувшись, тотчас же заговорил с графиней Нордстон о предстоящем на будущей неделе большом бале.

– Я надеюсь, что вы будете? – обратился он к Кити.

Как только старый князь отвернулся от него, Левин незаметно вышел, и последнее впечатление, вынесенное им с этого вечера, было улыбающееся, счастливое лицо Кити, отвечавшей Вронскому на его вопрос о бале.

XV

Когда вечер кончился, Кити рассказала матери о разговоре ее с Левиным, и, несмотря на всю жалость, которую она испытывала к Левину, ее радовала мысль, что ей было сделано *предложение*. У нее не было сомнения, что она поступила как следовало. Но в постели она долго не могла заснуть. Одно впечатление неотступно преследовало ее. Это было лицо Левина с насупленными бровями и мрачно-уныло смотрящими из-под них добрыми глазами, как он стоял, слушая отца и взглядывая на нее и на Вронского. И ей так жалко стало его, что слезы навернулись на глаза. Но тотчас же она подумала о том, на кого она променяла его. Она живо вспомнила это мужественное, твердое лицо, это благородное спокойствие и светящуюся во всем доброту ко всем; вспомнила любовь к себе того, кого она любила, и ей опять стало радостно на душе, и она с улыбкой счастья легла на подушку. «Жалко, жалко, но что же делать? Я не виновата», – говорила она себе; но внутренний голос говорил ей другое. В том ли она раскаивалась, что завлекла Левина, или в том, что отказала, – она не знала. Но счастье ее было отравлено сомнениями. «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!» – говорила она про себя, пока заснула.

В это время внизу, в маленьком кабинете князя, происходила одна из тех, часто повторяющихся между родителями сцен за любимую дочь.

– Что? Вот что! – кричал князь, размахивая руками и тотчас же запахивая свой беличий халат. – То, что в вас нет гордости, достоинства, что вы срамите, губите дочь этим сватовством, подлым, дурацким!

– Да помилуй, ради самого Бога, князь, что я сделала? – говорила княгиня, чуть не плача.

Она, счастливая, довольная после разговора с дочерью, пришла к князю проститься по обыкновению, и хотя она не намерена была говорить ему о предложении Левина и отказе Кити, но намекнула мужу на то, что ей кажется дело с Вронским совсем конченным, что оно решится, как только приедет его мать. И тут-то, на эти слова, князь вдруг вспылil и начал выкрикивать неприличные слова.

– Что вы сделали? А вот что: во-первых, вы заманиваете жениха, и вся Москва будет говорить, и резонно. Если вы делаете вечера, так зовите всех, а не избранных женишков. Позовите всех этих *тиотьков* (так князь называл московских молодых людей), позовите тапера, и пускай пляшут, а не так, как нынче, – женишков, и сводить. Мне видеть мерзко, мерзко, и вы добились, вскружили голову девчонке. Левин в тысячу раз лучше человек. А это франтик петербургский, их на машине делают, они все на одну статью, и все дрянь. Да хоть бы он принц крови был, моя дочь ни в ком не нуждается!

– Да что же я сделала?

– А то... – с гневом вскрикнул князь.

– Знаю я, что если тебя слушать, – перебила княгиня, – то мы никогда не отдадим дочь замуж. Если так, то надо в деревню уехать.

– И лучше уехать.

– Да постой. Разве я заискиваю? Я нисколько не заискиваю. А молодой человек, и очень хороший, влюбился, и она, кажется...

– Да, вот вам кажется! А как она в самом деле влюбится, а он столько же думает жениться, как я?.. Ох! не смотрели бы мои глаза!.. «Ах, спиритизм, ах, Ницца, ах, на бале...» – И князь, воображая, что он представляет жену, приседал на каждом слове. – А вот, как сделаем несчастье Катеньки, как она в самом деле заберет в голову...

– Да почему же ты думаешь?

– Я не думаю, я знаю; на это глаза есть у нас, а не у баб. Я вижу человека, который имеет намерения серьезные, это Левин; и вижу перепела, как этот шелкопер, которому только повеселиться.

– Ну, уж ты заберешь в голову...

– А вот вспомнишь, да поздно, как с Дашенькой.

– Ну, хорошо, хорошо, не будем говорить, – остановила его княгиня, вспомнив про несчастную Долли.

– И прекрасно, и прощай!

И, перекрестив друг друга и поцеловавшись, но чувствуя, что каждый остался при своем мнении, супруги разошлись.

Княгиня была сперва твердо уверена, что нынешний вечер решил судьбу Кити и что не может быть сомнения в намерениях Вронского, но слова мужа смутили ее. И, вернувшись к себе, она, точно так же как и Кити, с ужасом пред неизвестностью будущего, несколько раз повторила в душе: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!»

XVI

Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе.

Выйдя очень молодым блестящим офицером из школы, он сразу попал в колею богатых петербургских военных. Хотя он и ездил изредка в петербургский свет, все любовные интересы его были вне света.

В Москве в первый раз он испытал, после роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть сближения со светскою, милою и невинною девушкой, которая полюбила его. Ему

и в голову не приходило, чтобы могло быть что-нибудь дурное в его отношениях к Кити. На балах он танцевал преимущественно с нею; он ездил к ним в дом. Он говорил с нею то, что обыкновенно говорят в свете, всякий вздор, но вздор, которому он невольно придавал особенный для нее смысл. Несмотря на то, что он ничего не сказал ей такого, чего не мог бы сказать при всех, он чувствовал, что она все более и более становилась в зависимость от него, и чем больше он это чувствовал, тем ему было приятнее и его чувство к ней становилось нежнее. Он не знал, что его образ действий относительно Кити имеет определенное название, что это есть заманивание барышень без намерения жениться и что это заманивание есть один из дурных поступков, обыкновенных между блестящими молодыми людьми, как он. Ему казалось, что он первый открыл это удовольствие, и наслаждался своим открытием.

Если б он мог слышать, что говорили ее родители в этот вечер, если б он мог перенестись на точку зрения семьи и узнать, что Кити будет несчастна, если он не женится на ней, он бы очень удивился и не поверил бы этому. Он не мог поверить тому, что то, что доставляло такое большое и хорошее удовольствие ему, а главное, ей, могло быть дурно. Еще меньше он мог бы поверить тому, что он должен жениться.

Женитьба для него никогда не представлялась возможностью. Он не только не любил семейной жизни, но в семье, и в особенности в муже, по тому общему взгляду холостого мира, в котором он жил, он представлял себе нечто чуждое, враждебное, а всего более – смешное. Но хотя Вронский и не подозревал того, что говорили родители, он, выйдя в этот вечер от Щербацких, почувствовал, что та духовная тайная связь, которая существовала между ним и Кити, утвердилась нынешний вечер так сильно, что надо предпринять что-то. Но что можно и что должно было предпринять, он не мог придумать.

«То и прелестно, – думал он, возвращаясь от Щербацких и вынося от них, как и всегда, приятное чувство чистоты и свежести, происходившее отчасти и оттого, что он не курил целый вечер, и вместе новое чувство умиления пред ее к себе любовью, – то и прелестно, что ничего не сказано ни мной, ни ею, но мы так понимали друг друга в этом невидимом разговоре взглядов и интонаций, что нынче яснее, чем когда-нибудь, она сказала мне, что любит. И как мило, просто и, главное, доверчиво! Я сам себя чувствую лучше, чище. Я чувствую, что у меня есть сердце и что есть во мне много хорошего. Эти милые влюбленные глаза! Когда она сказала: *и очень ...*»

«Ну так что ж? Ну и ничего. Мне хорошо, и ей хорошо». И он задумался о том, где ему окончить нынешний вечер.

Он прикинул воображением места, куда он мог бы ехать. «Клуб? партия безика⁵¹, шампанское с Игнатовым? Нет, не поеду. Chateau des fleurs⁵², там найду Облонского, куплеты, сапан? Нет, надоело. Вот именно за то я люблю Щербацких, что сам лучше делаюсь. Поеду домой». Он прошел прямо в свой номер у Дюссо, велел подать себе ужинать и потом, раздевшись, только успел положить голову на подушку, заснул крепким и спокойным, как всегда, сном.

XVII

На другой день, в 11 часов утра, Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать, и первое лицо, попавшееся ему на ступеньках большой лестницы, был Облонский, ожидавший с этим же поездом сестру.

– А! Ваше сиятельство! – крикнул Облонский. – Ты за кем?

⁵¹ *Безик* (Besique – *франц.*) – карточная игра XVII в., которая снова входила в моду в 70-е годы. У двух игроков одновременно находятся две колоды по 32 карты.

⁵² *Chateau des fleurs* – увеселительное заведение, устроенное по типу парижского кафешантана. В Москве «Шато де флер» содержал антрепренер Беккер в Петровском парке.

– Я за матушкой, – улыбаясь, как и все, кто встречался с Облонским, отвечал Вронский, пожимая ему руку, и вместе с ним взойшел на лестницу. – Она нынче должна быть из Петербурга.

– А я тебя ждал до двух часов. Куда же поехал от Щербацких?

– Домой, – отвечал Вронский. – Признаться, мне так было приятно вчера после Щербацких, что никуда не хотелось.

– Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, – продекламировал Степан Аркадьич точно так же, как прежде Левину.

Вронский улыбнулся с таким видом, что он не отрекается от этого, но тотчас же переменил разговор.

– А ты кого встречаешь? – спросил он.

– Я? я хорошенькую женщину, – сказал Облонский.

– Вот как!

– *Honni soit qui mal y pense!*⁵³ Сестру Анну.

– Ах, это Каренину? – сказал Вронский.

– Ты ее, верно, знаешь?

– Кажется, знаю. Или нет... Право, не помню, – рассеянно отвечал Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной что-то чопорное и скучное.

– Но Алексея Александровича, моего знаменитого зятя, верно, знаешь. Его весь мир знает.

– То есть знаю по репутации и по виду. Знаю, что он умный, ученый, божественный что-то... Но ты знаешь, это не в моей... *not in my line*,⁵⁴ – сказал Вронский.

– Да, он очень замечательный человек; немножко консерватор, но славный человек, – заметил Степан Аркадьич, – славный человек.

– Ну, и тем лучше для него, – сказал Вронский, улыбаясь. – А, ты здесь, – обратился он к высокому старому лакею матери, стоявшему у двери, – войди сюда.

Вронский в это последнее время, кроме общей для всех приятности Степана Аркадьича, чувствовал себя привязанным к нему еще тем, что он в его воображении соединялся с Кити.

– Ну что ж, в воскресенье сделаем ужин для *дивы*? – сказал он ему, с улыбкой взяв его под руку.

– Непременно. Я сберу подписку. Ах, познакомился ты вчера с моим приятелем Левиным? – спросил Степан Аркадьич.

– Как же. Но он что-то скоро уехал.

– Он славный малый, – продолжал Облонский. – Не правда ли?

– Я не знаю, – отвечал Вронский, – отчего это во всех москвичах, разумеется исключая тех, с кем говорю, – шутливо вставил он, – есть что-то резкое. Что-то они всё на дыбы становятся, сердятся, как будто всё хотят дать почувствовать что-то...

– Есть это, правда, есть... – весело смеясь, сказал Степан Аркадьич.

– Что, скоро ли? – обратился Вронский к служащему.

– Поезд вышел, – отвечал служитель.

Приближение поезда все более и более обозначалось движением приготовлений на станции, беганьем артельщиков, появлением жандармов и служащих и подъездом встречающих. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких валеных сапогах, переходившие через рельсы загибающихся путей. Слышался свист паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжелого.

⁵³ Стыдно тому, кто это дурно истолкует! (*франц.*)

⁵⁴ не в моей компетенции (*англ.*).

– Нет, – сказал Степан Аркадьич, которому очень хотелось рассказать Вронскому о намерениях Левина относительно Кити. – Нет, ты неверно оценил моего Левина. Он очень нервный человек и бывает неприятен, правда, но зато иногда он бывает очень мил. Это такая честная, правдивая натура, и сердце золотое. Но вчера были особенные причины, – с значительной улыбкой продолжал Степан Аркадьич, совершенно забывая то искреннее сочувствие, которое он вчера испытывал к своему приятелю, и теперь испытывая такое же, только к Вронскому. – Да, была причина, почему он мог быть или особенно счастлив, или особенно несчастлив.

Вронский остановился и прямо спросил:

– То есть что же? Или он вчера сделал предложение твоей *belle soeur*?..⁵⁵

– Может быть, – сказал Степан Аркадьич. – Что-то мне показалось такое вчера. Да если он рано уехал и был еще не в духе, то это так... Он так давно влюблен, и мне его очень жаль.

– Вот как!.. Я думаю, впрочем, что она может рассчитывать на лучшую партию, – сказал Вронский и, выпрямив грудь, опять принялся ходить. – Впрочем, я его не знаю, – прибавил он. – Да, это тяжелое положение! От этого-то большинство и предпочитает знаться с Кларами. Там неудача доказывает только, что у тебя не достало денег, а здесь – твое достоинство на весах. Однако вот и поезд.

Действительно, вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут платформа задрожала, и, пыхая сбиваемым книзу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и с кланяющимся, обвязанным, заиндевелым машинистом; а за тендером, все медленнее и более потрясая платформу, стал проходить вагон с багажом и с визжавшей собакой, наконец, подрагивая пред остановкой, подошли пассажирские вагоны.

Молодцеватый кондуктор, на ходу давая свисток, соскочил, и вслед за ним стали по одному сходить нетерпеливые пассажиры: гвардейский офицер, держась прямо и строго оглядываясь; вертлявый купчик с сумкой, весело улыбаясь; мужик с мешком через плечо.

Вронский, стоя рядом с Облонским, оглядывал вагоны и выходивших и совершенно забыл о матери. То, что он сейчас узнал про Кити, возбуждало и радовало его. Грудь его невольно выпрямлялась и глаза блестели. Он чувствовал себя победителем.

– Графиня Вронская в этом отделении, – сказал молодцеватый кондуктор, подходя к Вронскому.

Слова кондуктора разбудили его и заставили вспомнить о матери и предстоящем свидании с ней. Он в душе своей не уважал матери и, не отдавая себе в том отчета, не любил ее, хотя по понятиям того круга, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить других к матери отношений, как в высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешне покорных и почтительных, чем менее в душе он уважал и любил ее.

XVIII

Вронский пошел за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме. С привычным тактом светского человека, по одному взгляду на внешность этой дамы, Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее – не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенесли на

⁵⁵ свояченице (*франц.*)

подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке.

Вронский вошел в вагон. Мать его, сухая старушка с черными глазами и буколками, шурилась, вглядываясь в сына, и слегка улыбалась тонкими губами. Поднявшись с диванчика и передав горничной мешочек, она подала маленькую сухую руку сыну и, подняв его голову от руки, поцеловала его в лицо.

– Получил телеграмму? Здоров? Слава Богу.

– Хорошо доехали? – сказал сын, садясь подле нее и невольно прислушиваясь к женскому голосу из-за двери. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретила его при входе.

– Я все-таки с вами не согласна, – говорил голос дамы.

– Петербургский взгляд, сударыня.

– Не петербургский, а просто женский, – отвечала она.

– Ну-с, позвольте поцеловать вашу ручку.

– До свиданья, Иван Петрович. Да посмотрите, не тут ли брат, и пошлите его ко мне, – сказала дама у самой двери и снова вошла в отделение.

– Что ж, нашли брата? – сказала Вронская, обращаясь к даме.

Вронский вспомнил теперь, что это была Каренина.

– Ваш брат здесь, – сказал он, вставая. – Извините меня, я не узнал вас, да и наше знакомство было так коротко, – сказал Вронский, кланяясь, – что вы, верно, не помните меня.

– О, нет, – сказала она, – я бы узнала вас, потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас, – сказала она, позволяя, наконец, просившемуся наружу оживлению выразиться в улыбке. – А брата моего все-таки нет.

– Позови же его, Алеша, – сказала старая графиня.

Вронский вышел на платформу и крикнул:

– Облонский! Здесь!

Но Каренина не дождалась брата, а, увидав его, решительным легким шагом вышла из вагона. И, как только брат подошел к ней, она движением, поразившим Вронского своею решительностью и грацией, обхватила брата левою рукой за шею, быстро притянула к себе и крепко поцеловала. Вронский, не спуская глаз, смотрел на нее и, сам не зная чему, улыбался. Но, вспомнив, что мать ждала его, он опять вошел в вагон.

– Не правда ли, очень мила? – сказала графиня про Каренину. – Ее муж со мною посадил, и я очень рада была. Всю дорогу мы с ней проговорили. Ну, а ты, говорят... *vous filez le parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux.*⁵⁶

– Я не знаю, на что вы намекаете, тамап, – отвечал сын холодно. – Что ж, тамап, идем.

Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней.

– Ну вот, вы, графиня, встретили сына, а я брата, – весело сказала она. – И все истории мои истощились; дальше нечего было бы рассказывать.

– Ну нет, милая, – сказала графиня, взяв ее за руку, – я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы. Вы одна из тех милых женщин, с которыми и поговорить и помолчать приятно. А о сыне вашем, пожалуйста, не думайте: нельзя же никогда не разлучаться.

Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо, и глаза ее улыбались.

– У Анны Аркадьевны, – сказала графиня, объясняя сыну, – есть сыночек восьми лет, кажется, и она никогда с ним не разлучалась и все мучается, что оставила его.

⁵⁶ у тебя все еще тянется идеальная любовь. Тем лучше, мой милый, тем лучше (*франц.*).

– Да, мы все время с графиней говорили, я о своем, она о своем сыне, – сказала Каренина, и опять улыбка осветила ее лицо, улыбка ласковая, относившаяся к нему.

– Вероятно, это вам очень наскучило, – сказал он, сейчас, на лету, подхватывая этот мяч кокетства, который она бросила ему. Но она, видимо, не хотела продолжать разговора в этом тоне и обратилась к старой графине:

– Очень благодарю вас. Я и не видала, как провела вчерашний день. До свиданья, графиня.

– Прощайте, мой дружок, – отвечала графиня. – Дайте поцеловать ваше хорошенькое личико. Я просто, по-старушечьи, прямо говорю, что полюбила вас.

Как ни казенна была эта фраза, Каренина, видимо, от души поверила и порадовалась этому. Она покраснела, слегка нагнулась, подставила свое лицо губам графини, опять выпрямилась и с той же улыбкой, волновавшейся между губами и глазами, подала руку Вронскому. Он пожал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быстрою походкой, так странно легко носившею ее довольно полное тело.

– Очень мила, – сказала старушка.

То же самое думал ее сын. Он провожал ее глазами до тех пор, пока не скрылась ее грациозная фигура, и улыбка остановилась на его лице. В окно он видел, как она подошла к брату, положила ему руку на руку и что-то оживленно начала говорить ему, очевидно о чем-то не имеющем ничего общего с ним, с Вронским, и ему это показалось досадным.

– Ну, что, тамап, вы совершенно здоровы? – повторил он, обращаясь к матери.

– Все хорошо, прекрасно. Alexandre очень был мил. И Marie очень хороша стала. Она очень интересна.

И опять начала рассказывать о том, что более всего интересовало ее, о крестинах внука, для которых она ездила в Петербург, и про особенную милость государя к старшему сыну.

– Вот и Лаврентий, – сказал Вронский, глядя в окно, – теперь пойдемте, если угодно.

Старый дворецкий, ехавший с графиней, явился в вагон доложить, что все готово, и графиня поднялась, чтоб идти.

– Пойдемте, теперь мало народа, – сказал Вронский.

Девушка взяла мешок и собачку, дворецкий и артельщик другие мешки. Вронский взял под руку мать; но когда они уже выходили из вагона, вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо. Пробежал и начальник станции в своей необыкновенного цвета фуражке. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Народ от поезда бежал назад.

– Что?.. Что?.. Где?.. Бросился!.. задавило!.. – слышалось между проходившими.

Степан Аркадьич с сестрой под руку, тоже с испуганными лицами, вернулись и остановились, избегая народ, у входа в вагон.

Дамы вошли в вагон, а Вронский со Степаном Аркадьичем пошли за народом узнавать подробности несчастья.

Сторож, был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слышал отодвигаемого задом поезда, и его раздавили.

Еще прежде чем вернулись Вронский и Облонский, дамы узнали эти подробности от дворецкого.

Облонский и Вронский оба видели обезображенный труп. Облонский, видимо, страдал. Он морщился и, казалось, готов был плакать.

– Ах, какой ужас! Ах, Анна, если бы ты видала! Ах, какой ужас! – приговаривал он.

Вронский молчал, и красивое лицо его было серьезно, но совершенно спокойно.

– Ах, если бы вы видели, графиня, – говорил Степан Аркадьич. – И жена его тут... Ужасно видеть ее... Она бросилась на тело. Говорят, он один кормил огромное семейство. Вот ужас!

– Нельзя ли что-нибудь сделать для нее? – взволнованным шепотом сказала Каренина. Вронский взглянул на нее и тотчас же вышел из вагона.

– Я сейчас приду, маман, – прибавил он, обертываясь в дверях.

Когда он возвратился через несколько минут, Степан Аркадьич уже разговаривал с графиней о новой певице, а графиня нетерпеливо оглядывалась на дверь, ожидая сына.

– Теперь пойдемте, – сказал Вронский, входя. Они вместе вышли. Вронский шел впереди с матерью. Сзади шла Каренина с братом. У выхода к Вронскому подошел догнавший его начальник станции.

– Вы передали моему помощнику двести рублей. Потрудитесь обозначить, кому вы назначаете их?

– Вдове, – сказал Вронский, пожимая плечами. – Я не понимаю, о чем спрашивать.

– Вы дали? – крикнул сзади Облонский и, прижав руку сестры, прибавил: – Очень мило, очень мило! Не правда ли, славный малый? Мое почтение, графиня.

И он с сестрой остановились, отыскивая ее девушку.

Когда они вышли, карета Вронских уже отъехала. Выходившие люди все еще переговаривались о том, что случилось.

– Вот смерть-то ужасная! – сказал какой-то господин, проходя мимо. – Говорят, на два куска.

– Я думаю, напротив, самая легкая, мгновенная, – заметил другой.

– Как это не примут мер, – говорил третий.

Каренина села в карету, и Степан Аркадьич с удивлением увидел, что губы ее дрожат и она с трудом удерживает слезы.

– Что с тобой, Анна? – спросил он, когда они отъехали несколько сот сажен.

– Дурное предзнаменование, – сказала она.

– Какие пустяки! – сказал Степан Аркадьич. – Ты приехала, это главное. Ты не можешь представить себе, как я надеюсь на тебя.

– А ты давно знаешь Вронского? – спросила она.

– Да. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити.

– Да? – тихо сказала Анна. – Ну, теперь давай говорить о тебе, – прибавила она, встряхивая головой, как будто хотела физически отогнать что-то лишнее и мешавшее ей. – Давай говорить о твоих делах. Я получила твое письмо и вот приехала.

– Да, вся надежда на тебя, – сказал Степан Аркадьич.

– Ну, расскажи мне все.

И Степан Аркадьич стал рассказывать.

Подъехав к дому, Облонский высадил сестру, вздохнул, пожал ее руку и отправился в присутствие.

XIX

Когда Анна вошла в комнату, Долли сидела в маленькой гостиной с белоголовым пухлым мальчиком, уж теперь похожим на отца, и слушала его урок из французского чтения. Мальчик читал, вертя в руке и стараясь оторвать чуть державшуюся пуговицу курточки. Мать несколько раз отнимала руку, но пухлая ручонка опять бралась за пуговицу. Мать оторвала пуговицу и положила ее в карман.

– Успокой ты руки, Гриша, – сказала она и опять взялась за свое одеяло, давнишнюю работу, за которую она всегда бралась в тяжелые минуты, и теперь вязала нервно, закидывая пальцем и считая петли. Хотя она и велела вчера сказать мужу, что ей дела нет до того, приедет или не приедет его сестра, она все приготовила к ее приезду и с волнением ждала золовку.

Долли была убита своим горем, вся поглощена им. Однако она помнила, что Анна, золовка, была жена одного из важнейших лиц в Петербурге и петербургская *grande dame*. И благодаря этому обстоятельству она не исполнила сказанного мужу, то есть не забыла, что придет золовка. «Да, наконец, Анна ни в чем не виновата, – думала Долли. – Я о ней ничего, кроме самого хорошего, не знаю, и в отношении к себе я видела от нее только ласку и дружбу». Правда, как она могла запомнить свое впечатление в Петербурге у Карениных, ей не нравился самый дом их; что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта. «Но за что же я не приму ее? Только бы не вздумала она утешать меня! – думала Долли. – Все утешения и увещания, и прощения христианские – все это я уж тысячу раз передумала, и все это не годится».

Все эти дни Долли была одна с детьми. Говорить о своем горе она не хотела, а с этим горем на душе говорить о постороннем она не могла. Она знала, что, так или иначе, она Анне выскажет все, и то ее радовала мысль о том, как она выскажет, то злила необходимость говорить о своем унижении с ней, его сестрой, и слышать от нее готовые фразы увещания и утешения.

Она, как часто бывает, глядя на часы, ждала ее каждую минуту и пропустила именно ту, когда гостя приехала, так что не слыхала звонка.

Услыхав шум платья и легких шагов уже в дверях, она оглянулась, и на измученном лице ее невольно выразилось не радость, а удивление. Она встала и обняла золовку.

– Как, уж приехала? – сказала она, целуя ее.

– Долли, как я рада тебя видеть!

– И я рада, – слабо улыбаясь и стараясь по выражению лица Анны узнать, знает ли она, сказала Долли. «Верно, знает», – подумала она, заметив соболезнование на лице Анны. – Ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату, – продолжала она, стараясь отдалить сколько возможно минуту объяснения.

– Это Гриша? Боже мой, как он вырос! – сказала Анна и, поцеловав его, не спуская глаз с Долли, остановилась и покраснела. – Нет, позволь никуда не ходить.

Она сняла платок, шляпу и, зацепив ею за прядь своих черных, везде вьющихся волос, мотая головой, отцепляла волоса.

– А ты сияешь счастьем и здоровьем! – сказала Долли почти с завистью.

– Я?.. Да, – сказала Анна. – Боже мой, Таня! Ровесница Сереже моему, – прибавила она, обращаясь ко вбежавшей девочке. Она взяла ее на руки и поцеловала. – Прелестная девочка, прелесть! Покажи же мне всех.

Она называла их и припоминала не только имена, но года, месяцы, характеры, болезни всех детей, и Долли не могла не оценить этого.

– Ну, так пойдем к ним, – сказала она. – Вася спит теперь, жалко.

Осмотрев детей, они сели, уже одни, в гостиной, пред кофеем. Анна взялась за поднос и потом отодвинула его.

– Долли, – сказала она, – он говорил мне.

Долли холодно посмотрела на Анну. Она ждала теперь притворно-сочувственных фраз; но Анна ничего такого не сказала.

– Долли, милая! – сказала она, – я не хочу ни говорить тебе за него, ни утешать; это нельзя. Но, душенька, мне просто жалко, жалко тебя всею душой!

Из-за густых ресниц ее блестящих глаз вдруг показались слезы. Она пересела ближе к невестке и взяла ее руку своею энергическою маленькою рукой. Долли не отстранилась, но лицо ее не изменяло своего сухого выражения. Она сказала:

– Утешить меня нельзя. Все потеряно после того, что было, все пропало!

И как только она сказала это, выражение лица ее вдруг смягчилось. Анна подняла сухую, худую руку Долли, поцеловала ее и сказала:

– Но, Долли, что же делать, что же делать? Как лучше поступить в этом ужасном положении? – вот о чем надо подумать.

– Все кончено, и больше ничего, – сказала Долли. – И хуже всего то, ты пойми, что я не могу его бросить; дети, я связана. А с ним жить я не могу, мне мука видеть его.

– Долли, голубчик, он говорил мне, но я от тебя хочу слышать, скажи мне все.

Долли посмотрела на нее вопросительно.

Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны.

– Изволь, – вдруг сказала она. – Но я скажу сначала. Ты знаешь, как я вышла замуж. Я с воспитанием тамап не только была невинна, но я была глупа. Я ничего не знала. Говорят, я знаю, мужья рассказывают женам свою прежнюю жизнь, но Стива... – она поправилась, – Степан Аркадьич ничего не сказал мне. Ты не поверишь, но я до сей поры думала, что я одна женщина, которую он знал. Так я жила восемь лет. Ты пойми, что я не только не подозревала неверности, но что я считала это невозможным, и тут, представь себе, с такими понятиями узнать вдруг весь ужас, всю гадость... Ты пойми меня. Быть уверенной вполне в своем счастье, и вдруг... – продолжала Долли, удерживая рыдания, – и получить письмо... письмо его к своей любовнице, к моей гувернантке. Нет, это слишком ужасно! – Она поспешно вынула платок и закрыла им лицо. – Я понимаю еще увлечение, – продолжала она, помолчав, – но обдуманно, хитро обманывать меня... с кем же?.. Продолжать быть моим мужем вместе с нею... это ужасно! Ты не можешь понять...

– О нет, я понимаю! Понимаю, милая Долли, понимаю, – говорила Анна, пожимая ее руку.

– И ты думаешь, что он понимает весь ужас моего положения? – продолжала Долли. – Нисколько! Он счастлив и доволен.

– О, нет! – быстро перебила Анна. – Он жалок, он убит раскаянием...

– Способен ли он к раскаянию? – перебила Долли, внимательно вглядываясь в лицо золовки.

– Да, я его знаю. Я не могла без жалости смотреть на него. Мы его обе знаем. Он добр, но он горд, а теперь так унижен. Главное, что меня тронуло (и тут Анна угадала главное, что могло тронуть Долли) – его мучают две вещи: то, что ему стыдно детей, и то, что он, любя тебя... да, да, любя больше всего на свете, – поспешно перебила она хотевшую возражать Долли, – сделал тебе больно, убил тебя. «Нет, нет, она не простит», все говорит он.

Долли задумчиво смотрела мимо золовки, слушая ее слова.

– Да, я понимаю, что положение его ужасно; виноватому хуже, чем невинному, – сказала она, – если он чувствует, что от вины его все несчастье. Но как же простить, как мне опять быть его женою после нее? Мне жить с ним теперь будет мученье, именно потому, что я любила его, так любила, что я люблю свою прошедшую любовь к нему...

И рыдания перервали ее слова.

Но как будто нарочно, каждый раз, как она смягчалась, она начинала опять говорить о том, что раздражало ее.

– Она ведь молода, ведь она красива, – продолжала она. – Ты понимаешь ли, Анна, что у меня моя молодость, красота взяты кем? Им и его детьми. Я отслужила ему, и на этой службе ушло все мое, и ему теперь, разумеется, свежее пошлое существо приятнее. Они, верно, говорили между собою обо мне или, еще хуже, умалчивали, – ты понимаешь? – Опять ненавистью зажглись ее глаза. – И после этого он будет говорить мне... Что ж, я буду верить ему? Никогда. Нет, уж кончено все, все, что составляло утешенье, награду труда, мук... Ты поверишь ли? я сейчас учила Гришу: прежде это бывало радость, теперь мученье. Зачем я стараюсь, тружусь? Зачем дети? Ужасно то, что вдруг душа моя перевернулась, и вместо любви, нежности у меня к нему одна злоба, да, злоба. Я бы убила его и...

– Душенька, Долли, я понимаю, но не мучь себя. Ты так оскорблена, так возбуждена, что ты многое видишь не так.

Долли затихла, и они минуты две помолчали.

– Что делать, придумай, Анна, помоги. Я все передумала и ничего не вижу.

Анна ничего не могла придумать, но сердце ее прямо отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица невестки.

– Я одно скажу, – начала Анна, – я его сестра, я знаю его характер, эту способность все, все забыть (она сделала жест пред лбом), эту способность полного увлечения, но зато и полного раскаяния. Он не верит, не понимает теперь, как он мог сделать то, что сделал.

– Нет, он понимает, он понимал! – перебила Долли. – Но я... ты забываешь меня... разве мне легче?

– Постой! Когда он говорил мне, признаюсь тебе, я не понимала еще всего ужаса твоего положения. Я видела только его и то, что семья расстроена; мне его жалко было, но, поговорив с тобой, я, как женщина, вижу другое; я вижу твои страдания, и мне, не могу тебе сказать, как жаль тебя! Но, Долли, душенька, я понимаю твои страдания вполне, только одного я не знаю: я не знаю... я не знаю, насколько в душе твоей есть еще любви к нему. Это ты знаешь, – настолько ли есть, чтобы можно было простить. Если есть, то прости!

– Нет, – начала Долли; но Анна прервала ее, целуя еще раз ее руку.

– Я больше тебя знаю свет, – сказала она. – Я знаю этих людей, как Стива, как они смотрят на это. Ты говоришь, что он с *ней* говорил об тебе. Этого не было. Эти люди делают неверности, но свой домашний очаг и жена – это для них святыня. Как-то у них эти женщины остаются в презрении и не мешают семье. Они какую-то черту проводят непроходимую между семьей и этим. Я этого не понимаю, но это так.

– Да, но он целовал ее...

– Долли, постой, душенька. Я видела Стиву, когда он был влюблен в тебя. Я помню это время, когда он приезжал ко мне и плакал, говоря о тебе, и какая поэзия и высота была ты для него, и я знаю, что чем больше он с тобой жил, тем выше ты для него становилась. Ведь мы смеялись, бывало, над ним, что он к каждому слову прибавлял: «Долли удивительная женщина». Ты для него божество всегда была и осталась, а это увлечение не души его...

– Но если это увлечение повторится?

– Оно не может, как я понимаю...

– Да, но ты простила бы?

– Не знаю. Я не могу судить... Нет, могу, – сказала Анна, подумав; и, уловив мыслью положение и свесив его на внутренних весах, прибавила: – Нет, могу, могу, могу. Да, я простила бы. Я не была бы тою же, да, но простила бы, и так простила бы, как будто этого не было, совсем не было.

– Ну, разумеется, – быстро прервала Долли, как будто она говорила то, что не раз думала, – иначе бы это не было прощение. Если простить, то совсем, совсем. Ну пойдем, я тебя проведу в твою комнату, – сказала она, вставая, и по дороге Долли обняла Анну. – Милая моя, как я рада, что ты приехала, как я рада. Мне легче, гораздо легче стало.

XX

Весь день этот Анна провела дома, то есть у Облонских, и не принимала никого, так как уж некоторые из ее знакомых, успев узнать о ее прибытии, приезжали в этот же день. Анна все утро провела с Долли и с детьми. Она только послала записочку к брату, чтоб он непременно обедал дома. «Приезжай, Бог милостив», писала она.

Облонский обедал дома; разговор был общий, и жена говорила с ним, называя его «ты», чего прежде не было. В отношениях мужа с женой оставалась та же отчужденность, но уже не было речи о разлуке, и Степан Аркадьич видел возможность объяснения и примирения.

Тотчас после обеда приехала Кити. Она знала Анну Аркадьевну, но очень мало, и ехала теперь к сестре не без страху пред тем, как ее примет эта петербургская светская дама, которую

все так хвалили. Но она понравилась Анне Аркадьевне, – это она увидела сейчас. Анна, очевидно, любовалась ее красотой и молодостью, и не успела Кити опомниться, как она уже чувствовала себя не только под ее влиянием, но чувствовала себя влюбленной в нее, как способны влюбляться молодые девушки в замужних и старших дам. Анна непохожа была на светскую даму или на мать восьмилетнего сына, но скорее походила бы на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести и установившемуся на ее лице оживлению, выбивавшемуся то в улыбку, то во взгляд, если бы не серьезное, иногда грустное выражение ее глаз, которое поражало и притягивало к себе Кити. Кити чувствовала, что Анна была совершенно проста и ничего не скрывала, но что в ней был другой какой-то высший мир недоступных для нее интересов, сложных и поэтических.

После обеда, когда Долли вышла в свою комнату, Анна быстро встала и подошла к брату, который закуривал сигару.

– Стива, – сказала она ему, весело подмигивая, крестя его и указывая глазами на дверь. – Иди, и помогай тебе Бог.

Он бросил сигару, поняв ее, и скрылся за дверью.

Когда Степан Аркадьич ушел, она вернулась на диван, где сидела окруженная детьми. Оттого ли, что дети видели, что мама любила эту тетю, или оттого, что они сами чувствовали в ней особенную прелесть, но старшие два, а за ними и меньшие, как это часто бывает с детьми, еще до обеда прилипли к новой тете и не отходили от нее. И между ними составилось что-то вроде игры, состоящей в том, чтобы как можно ближе сидеть подле тети, дотрагиваться до нее, держать ее маленькую руку, целовать ее, играть с ее кольцом или хоть дотрагиваться до оборки ее платья.

– Ну, ну, как мы прежде сидели, – сказала Анна Аркадьевна, садясь на свое место.

И опять Гриша подсунул голову под ее руку и прислонился головой к ее платью и засиял гордостью и счастьем.

– Так теперь когда же бал? – обратилась она к Кити.

– На будущей неделе, и прекрасный бал. Один из тех балов, на которых всегда весело.

– А есть такие, где всегда весело? – с нежною насмешкой сказала Анна.

– Странно, но есть. У Бобрищевых всегда весело, у Никитиных тоже, а у Межковых всегда скучно. Вы разве не замечали?

– Нет, душа моя, для меня уж нет таких балов, где весело, – сказала Анна, и Кити увидела в ее глазах тот особенный мир, который ей не был открыт. – Для меня есть такие, на которых менее трудно и скучно...

– Как может быть *вам* скучно на бале?

– Отчего же *мне* не может быть скучно на бале? – спросила Анна.

Кити заметила, что Анна знала, какой последует ответ.

– Оттого, что вы всегда лучше всех.

Анна имела способность краснеть. Она покраснела и сказала:

– Во-первых, никогда; а во-вторых, если б это и было, то зачем мне это?

– Вы поедете на этот бал? – спросила Кити.

– Я думаю, что нельзя будет не ехать. Вот это возьми, – сказала она Тане, которая стаскивала легко сходявшее кольцо с ее белого, тонкого в конце пальца.

– Я очень рада буду, если вы поедете. Я бы так хотела вас видеть на бале.

– По крайней мере, если придется ехать, я буду утешаться мыслью, что это сделает вам удовольствие... Гриша, не тереби, пожалуйста, они и так все растрепались, – сказала она, поправляя выбившуюся прядь волос, которою играл Гриша.

– Я вас воображаю на бале в лиловом.

– Отчего же непременно в лиловом? – улыбаясь, спросила Анна. – Ну, дети, идите, идите. Слышите, мисс Гуль зовет чай пить, – сказала она, отрывая от себя детей и отправляя их в столовую.

– А я знаю, отчего вы зовете меня на бал. Вы ждете много от этого бала, и вам хочется, чтобы все тут были, все принимали участие.

– Почему вы знаете? Да.

– О! как хорошо ваше время, – продолжала Анна. – Помню и знаю этот голубой туман, вроде того, что на горах в Швейцарии. Этот туман, который покрывает все в блаженное то время, когда вот-вот кончится детство, и из этого огромного круга, счастливого, веселого, делается путь все уже и уже и весело и жутко входить в эту анфиладу, хотя она и светлая и прекрасная... Кто не прошел через это?

Кити молча улыбалась. «Но как же она прошла через это? Как бы я желала знать весь ее роман», – подумала Кити, вспоминая непоэтическую наружность Алексея Александровича, ее мужа.

– Я знаю кое-что. Стива мне говорил, и поздравляю вас, он мне очень нравится, – продолжала Анна, – я встретила Вронского на железной дороге.

– Ах, он был там? – спросила Кити, покраснев. – Что же Стива сказал вам?

– Стива мне все разболтал. И я очень была бы рада. Я ехала вчера с матерью Вронского, – продолжала она, – и мать, не умолкая, говорила мне про него; это ее любимец; я знаю, как матери пристрастны, но....

– Что ж мать рассказывала вам?

– Ах, много! И я знаю, что он ее любимец, но все-таки видно, что это рыцарь... Ну, например, она рассказывала, что он хотел отдать все состояние брату, что он в детстве еще что-то необыкновенное сделал, спас женщину из воды. Словом, герой, – сказала Анна, улыбаясь и вспоминая про эти двести рублей, которые он дал на станции.

Но она не рассказала про эти двести рублей. Почему-то ей неприятно было вспоминать об этом. Она чувствовала, что в этом было что-то касающееся до нее и такое, чего не должно было быть.

– Она очень просила меня поехать к ней, – продолжала Анна, – и я рада повидать старушку и завтра поеду к ней. Однако, слава Богу, Стива долго остается у Долли в кабинете, – прибавила Анна, переменяя разговор и вставая, как показалось Кити, чем-то недовольная.

– Нет, я прежде! нет, я! – кричали дети, окончив чай и выбегая к тете Анне.

– Все вместе! – сказала Анна и, смеясь, побежала им навстречу и обняла и повалила всю эту кучу копошащихся и визжащих от восторга детей.

XXI

К чаю больших Долли вышла из своей комнаты. Степан Аркадьич не выходил. Он, должно быть, вышел из комнаты жены задним ходом.

– Я боюсь, что тебе холодно будет наверху, – заметила Долли, обращаясь к Анне, – мне хочется перевести тебя вниз, и мы ближе будем.

– Ах, уж, пожалуйста, обо мне не заботьтесь, – отвечала Анна, вглядываясь в лицо Долли и стараясь понять, было или не было примирения.

– Тебе светло будет здесь, – отвечала невестка.

– Я тебе говорю, что я сплю везде и всегда как сурок.

– Об чем это? – сказал Степан Аркадьич, выходя из кабинета и обращаясь к жене.

По тону его и Кити и Анна сейчас поняли, что примирение состоялось.

– Я Анну хочу перевести вниз, но надо гардины перевесить. Никто не сумеет сделать, надо самой, – отвечала Долли, обращаясь к нему.

«Бог знает, вполне ли помирились?» – подумала Анна, услышав ее тон, холодный и спокойный.

– Ах, полно, Долли, все делать трудности, – сказал муж. – Ну, хочешь, я все сделаю...

«Да, должно быть, помирились», – подумала Анна.

– Знаю, как ты все сделаешь, – отвечала Долли, – скажешь Матвею сделать то, чего нельзя сделать, сам уедешь, а он все перепутает, – и привычная насмешливая улыбка морщила концы губ Долли, когда она говорила это.

«Полное, полное примиренье, полное, – подумала Анна, – слава Богу!» – и, радуясь тому, что она была причиной этого, она подошла к Долли и поцеловала ее.

– Совсем нет, отчего ты так презираешь нас с Матвеем? – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь чуть заметно и обращаясь к жене.

Весь вечер, как всегда, Долли была слегка насмешлива по отношению к мужу, а Степан Аркадьич доволен и весел, но настолько, чтобы не показать, что он, будучи прощен, забыл свою вину.

В половине десятого особенно радостная и приятная вечерняя семейная беседа за чайным столом у Облонских была нарушена самым, по-видимому, простым событием, но это простое событие почему-то всем показалось странным. Разговорившись об общих петербургских знакомых, Анна быстро встала.

– Она у меня есть в альбоме, – сказала она, – да и кстати я покажу моего Сережу, – прибавила она с гордою материнскою улыбкой.

К десяти часам, когда она обыкновенно прощалась с сыном и часто сама, пред тем как ехать на бал, укладывала его, ей стало грустно, что она так далеко от него; и о чем бы ни говорили, она нет-нет и возвращалась мыслью к своему кудрявому Сереже. Ей захотелось посмотреть на его карточку и поговорить о нем. Воспользовавшись первым предложением, она встала и своею легкою, решительною походкой пошла за альбомом. Лестница наверх, в ее комнату, выходила на площадку большой входной теплой лестницы.

В то время, как она выходила из гостиной, в передней послышался звонок.

– Кто это может быть? – сказала Долли.

– За мной рано, а кому-нибудь поздно, – заметила Кити.

– Верно, с бумагами, – прибавил Степан Аркадьич, и, когда Анна проходила мимо лестницы, слуга взбегал наверх, чтобы доложить о приехавшем, а сам приехавший стоял у лампы. Анна, взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского, и странное чувство удовольствия и вместе страха чего-то вдруг шевельнулось у нее в сердце. Он стоял, не снимая пальто, и что-то доставал из кармана. В ту минуту как она поравнялась с серединой лестницы, он поднял глаза, увидел ее, и в выражении его лица сделалось что-то пристыженное и испуганное. Она, слегка наклонив голову, прошла, а вслед за ней послышался громкий голос Степана Аркадьича, звавшего его войти, и негромкий, мягкий и спокойный голос отказывавшегося Вронского.

Когда Анна вернулась с альбомом, его уже не было, а Степан Аркадьич рассказывал, что он заезжал узнать об обеде, который они завтра давали приезжей знаменитости.

– Он ни за что не хотел войти. Какой-то он странный, – прибавил Степан Аркадьич.

Кити покраснела. Она думала, что она одна поняла, зачем он приезжал и отчего не вошел. «Он был у нас, – думала она, – и не застал и подумал, я здесь; но не вошел, оттого что думал – поздно, и Анна здесь».

Все переглянулись, ничего не сказав, и стали смотреть альбом Анны.

Ничего не было ни необыкновенного, ни странного в том, что человек заехал к приятелю в половине десятого узнать подробности затеваемого обеда и не вошел; но всем это показалось странно. Более всех странно и нехорошо это показалось Анне.

XXII

Бал только что начался, когда Кити с матерью входила на большую, уставленную цветами и лакеями в пудре и красных кафтанах, залитую светом лестницу. Из зал неся стоявший в них равномерный, как в улье, шорох движения, и, пока они на площадке между деревьями оправляли перед зеркалом прически, из залы слышались осторожно-отчетливые звуки скрипок оркестра, начавшего первый вальс. Штатский старичок, оправлявший свои седые височки у другого зеркала и изливавший от себя запах духов, столкнулся с ними на лестнице и посторонился, видимо любясь незнакомою ему Кити. Безбородый юноша, один из тех светских юношей, которых старый князь Щербацкий называл *тютьками*, в чрезвычайно открытом жилете, оправляя на ходу белый галстук, поклонился им и, пробежав мимо, вернулся, приглашая Кити на кадрили. Первая кадрили была уж отдана Вронскому, она должна была отдать этому юноше вторую. Военный, застегивая перчатку, сторонился у двери и, поглаживая усы, любовался на розовую Кити.

Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Кити больших трудов и соображений, она теперь, в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле, вступала на бал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этою высокою прической, с розой и двумя листками наверху.

Когда старая княгиня пред входом в залу хотела оправить на ней завернувшуюся ленту пояса, Кити слегка отклонилась. Она чувствовала, что все само собою должно быть хорошо и грациозно на ней и что поправлять ничего не нужно.

Кити была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки не смялись и не оторвались; розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку. Густые косы белокурых волос держались как свои на маленькой головке. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись, на высокой перчатке, которая обвила ее руку, не изменив ее формы. Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была прелесть, и дома, глядя в зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бархатка говорила. Во всем другом могло еще быть сомнение, но бархатка была прелесть. Кити улыбнулась и здесь на бале, взглянув на нее в зеркало. В обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности. Не успела она войти в залу и дойти до тюлево-ленто-кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать (Кити никогда не стаивала в этой толпе), как уж ее пригласили на вальс, и пригласил лучший кавалер, главный кавалер по бальной иерархии, знаменитый дирижер балов, церемониймейстер, женатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский. Только что оставив графиню Банину, с которою он протанцевал первый тур вальса, он, оглядывая свое хозяйство, то есть пустившихся танцевать несколько пар, увидел входившую Кити и подбежал к ней тою особенною, свойственною только дирижерам балов развязною иноходью и, поклонившись, даже не спрашивая, желает ли она, занес руку, чтоб обнять ее тонкую талию. Она оглянулась, кому передать веер, и хозяйка, улыбаясь ей, взяла его.

— Как хорошо, что вы приехали вовремя, — сказал он, обнимая ее талию, — а то, что за манера опаздывать.

Она положила, согнувши, левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых ботинках быстро, легко и мерно задвигались в такт музыки по скользкому паркету.

– Отдыхаешь, вальсируя с вами, – сказал он ей, пускаясь в первые небыстрые шаги вальса. – Прелесть, какая легкость, *precision*,⁵⁷ – говорил он ей то, что говорил почти всем хорошим знакомым.

Она улыбнулась на его похвалу и через его плечо продолжала разглядывать залу. Она была не вновь выезжающая, у которой на бале все лица сливаются в одно волшебное впечатление; она и не была затасканная по балам девушка, которой все лица бала так знакомы, что наскучили; но она была на середине этих двух, – она была возбуждена, а вместе с тем обладала собой настолько, что могла наблюдать. В левом углу залы, она видела, сгруппировался цвет общества. Там была до невозможного обнаженная красавица Лиди, жена Корсунского, там была хозяйка, там сиял своею лысиной Кривин, всегда бывший там, где цвет общества; туда смотрели юноши, не смея подойти; и там она нашла глазами Стиву и потом увидела прелестную фигуру и голову Анны в черном бархатном платье. И *он* был тут. Кити не видела его с того вечера, когда она отказала Левину. Кити своими дальнотзорными глазами тотчас узнала его и даже заметила, что он смотрит на нее.

– Что ж, еще тур? Вы не устали? – сказал Корсунский, слегка запыхавшись.

– Нет, благодарствуйте.

– Куда ж отвести вас?

– Каренина тут, кажется... отведите меня к ней.

– Куда прикажете.

И Корсунский завальсировал, умеряя шаг, прямо на толпу в левом углу залы, приговаривая: «*Pardon, mesdames, pardon, pardon, mesdames*», и, лавируя между морем кружев, тюля и лент и не зацепив ни за перышко, повернул круто свою даму, так что открылись ее тонкие ножки в ажурных чулках, а шлейф разнесло опахалом и закрыло им колени Кривину. Корсунский поклонился, выпрямил открытую грудь и подал руку, чтобы провести ее до Анны Аркадьевны. Кити, раскрасневшись, сняла шлейф с колен Кривина и, закруженная немного, оглянулась, отыскивая Анну. Анна стояла, окруженная дамами и мужчинами, разговаривая. Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчугу.

Кити видела каждый день Анну, была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная.

Она стояла, как и всегда, чрезвычайно прямо держась, и, когда Кити подошла к этой кучке, говорила с хозяином дома, слегка поворотив к нему голову.

– Нет, я не брошу камня, – отвечала она ему на что-то, – хотя я не понимаю, – продолжала она, пожав плечами, и тотчас же с нежною улыбкой покровительства обратилась к Кити. Беглым женским взглядом окинув ее туалет, она сделала чуть заметное, но понятное для Кити, одобрительное ее туалету и красоте движение головой. – Вы и в залу входите танцуя, – прибавила она.

⁵⁷ точность (*франц.*).

– Это одна из моих вернейших помощниц, – сказал Корсунский, кланяясь Анне Аркадьевне, которой он не видал еще. – Княжна помогает сделать бал веселым и прекрасным. Анна Аркадьевна, тур вальса, – сказал он, нагибаясь.

– А вы знакомы? – спросил хозяин.

– С кем мы не знакомы? Мы с женой как белые волки, нас все знают, – отвечал Корсунский. – Тур вальса, Анна Аркадьевна.

– Я не танцую, когда можно не танцевать, – сказала она.

– Но нынче нельзя, – отвечал Корсунский.

В это время подходил Вронский.

– Ну, если нынче нельзя не танцевать, так пойдемте, – сказала она, не замечая поклона Вронского, и быстро подняла руку на плечо Корсунского.

«За что она недовольна им?» – подумала Кити, заметив, что Анна умышленно не ответила на поклон Вронского. Вронский подошел к Кити, напоминая ей о первой кадрили и сожалея, что все это время не имел удовольствия ее видеть. Кити смотрела, любуясь, на вальсировавшую Анну и слушала его. Она ждала, что он пригласит ее на вальс, но он не пригласил, и она удивленно взглянула на него. Он покраснел и поспешно пригласил вальсировать, но только что он обнял ее тонкую талию и сделал первый шаг, как вдруг музыка остановилась. Кити посмотрела на его лицо, которое было на таком близком от нее расстоянии, и долго потом, чрез несколько лет, этот взгляд, полный любви, которым она тогда взглянула на него и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал ее сердце.

– Pardon, pardon! Вальс, вальс! – закричал с другой стороны залы Корсунский и, подхватив первую попавшуюся барышню, стал сам танцевать.

XXIII

Вронский с Кити прошел несколько туров вальса. После вальса Кити подошла к матери и едва успела сказать несколько слов с Нордстон, как Вронский уже пришел за ней для первой кадрили. Во время кадрили ничего значительного не было сказано, шел прерывистый разговор то о Корсунских, муже и жене, которых он очень забавно описывал, как милых сорокалетних детей, то о будущем общественном театре⁵⁸, и только один раз разговор затронул ее за живое, когда он спросил о Левине, тут ли он, и прибавил, что он очень понравился ему. Но Кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться. То, что он во время кадрили не пригласил ее на мазурку, не тревожило ее. Она была уверена, что она танцует мазурку с ним, как и на прежних балах, и пятерым отказала мазурку, говоря, что танцует. Весь бал до последней кадрили был для Кити волшебным сновидением радостных цветов, звуков и движений. Она не танцевала, только когда чувствовала себя слишком усталою и просила отдыха. Но, танцуя последнюю кадрили с одним из скучных юношей, которому нельзя было отказать, ей случилось быть vis-a-vis⁵⁹ с Вронским и Анной. Она не сходилась с Анной с самого приезда и тут вдруг увидела ее опять совершенно новою и неожиданною. Она увидела в ней столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха. Она видела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Она знала это чувство и знала его признаки и видела их на Анне – видела дрожащий, вспыхивающий блеск в

⁵⁸ ...шел... разговор о будущем общественном театре... – Общественный театр был открыт в Москве на Варварской площади в 1873 г. Это новшество встретили, как «шаг к освобождению столичных театров от монополии». До той поры все сцены столиц находились во власти канцелярии Императорских театров. Однако новый театр не соответствовал своему названию и назначению. «В московский общедоступный театр... могли попасть только те, которые были в состоянии платить относительно довольно высокие цены. Народу же он был совершенно почти недоступен» («Голос», 1873, № 163).

⁵⁹ напротив (франц.).

глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацию, верность и легкость движений.

«Кто? – спросила она себя. – Все или один?» И, не помогая мучившемуся юноше, с которым она танцевала, в разговоре, нить которого он упустил и не мог поднять, и наружно подчиняясь весело-громким повелительным крикам Корсунского, то бросающего всех в *grand rond*,⁶⁰ то в *chaîne*,⁶¹ она наблюдала, и сердце ее сжималось больше и больше. «Нет, это не любованье толпы опьянило ее, а восхищение одного. И этот один? неужели это он?» Каждый раз, как он говорил с Анной, в глазах ее вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала ее румяные губы. Она как будто делала усилие над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости, но они сами собой выступали на ее лице. «Но что он?» Кити посмотрела на него и ужаснулась. То, что Кити так ясно представлялось в зеркале ее лица, она увидела на нем. Куда делась его всегда спокойная, твердая манера и беспечно спокойное выражение лица? Нет, он теперь каждый раз, как обращался к ней, немного сгибал голову, как бы желая пасть пред ней, и во взгляде его было одно выражение покорности и страха. «Я не оскорбить хочу, – каждый раз как будто говорил его взгляд, – но спасти себя хочу, и не знаю как». На лице его было такое выражение, которого она никогда не видала прежде.

Они говорили об общих знакомых, вели самый ничтожный разговор, но Кити казалось, что всякое сказанное ими слово решало их и ее судьбу. И странно то, что хотя они действительно говорили о том, как смешон Иван Иванович своим французским языком, и о том, что для Елецкой можно было бы найти лучше партию, а между тем эти слова имели для них значение, и они чувствовали это так же, как и Кити. Весь бал, весь свет, все закрылось туманом в душе Кити. Только пройденная ею строгая школа воспитания поддерживала ее и заставляла делать то, чего от нее требовали, то есть танцевать, отвечать на вопросы, говорить, даже улыбаться. Но пред началом мазурки, когда уже стали расставлять стулья и некоторые пары двинулись из маленьких в большую залу, на Кити нашла минута отчаяния и ужаса. Она отказала пятерым и теперь не танцевала мазурки. Даже не было надежды, чтоб ее пригласили, именно потому, что она имела слишком большой успех в свете, и никому в голову не могло прийти, чтоб она не была приглашена до сих пор. Надо было сказать матери, что она больна, и уехать домой, но на это у нее не было силы. Она чувствовала себя убитой.

Она зашла в глубь маленькой гостиной и опустилась на кресло. Воздушная юбка платья поднялась облаком вокруг ее тонкого стана; одна обнаженная, худая, нежная девичья рука, бессильно опущенная, утонула в складках розового тюника; в другой она держала веер и быстрыми, короткими движениями обмахивала свое разгоряченное лицо. Но, вопреки этому виду бабочки, только что уцепившейся за травку и готовой, вот-вот вспорхнув, развернуть радужные крылья, страшное отчаяние щемило ей сердце.

«А может быть, я ошибаюсь, может быть, этого не было?»

И она опять вспоминала все, что она видела.

– Кити, что ж это такое? – сказала графиня Нордстон, по ковру неслышно подойдя к ней. – Я не понимаю этого.

У Кити дрогнула нижняя губа; она быстро встала.

– Кити, ты не танцуешь мазурку?

– Нет, нет, – сказала Кити дрожащим от слез голосом.

– Он при мне звал ее на мазурку, – сказала Нордстон, зная, что Кити поймет, кто он и она. – Она сказала: разве вы не танцуете с княжной Щербацкой?

– Ах, мне все равно! – отвечала Кити.

⁶⁰ большой круг (франц.).

⁶¹ цепь (франц.).

Никто, кроме ее самой, не понимал ее положения, никто не знал того, что она вчера отказала человеку, которого она, может быть, любила, и отказала потому, что верила в другого.

Графиня Нордстон нашла Корсунского, с которым она танцевала мазурку, и велела ему пригласить Кити.

Кити танцевала в первой паре, и, к ее счастью, ей не надо было говорить, потому что Корсунский все время бегал, распоряжаясь по своему хозяйству. Вронский с Анной сидели почти против нее. Она видела их своими дальнотзорными глазами, видела их и вблизи, когда они сталкивались в парах, и чем больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастье ее свершилось. Она видела, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале. И на лице Вронского, всегда столь твердом и независимом, она видела то поразившее ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата.

Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьезен. Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны выходящие волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести.

Кити любовалась ею еще более, чем прежде, и все больше и больше страдала. Кити чувствовала себя раздавленной, и лицо ее выражало это. Когда Вронский увидел ее, столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал ее – так она изменилась.

– Прекрасный бал! – сказал он ей, чтобы сказать что-нибудь.

– Да, – отвечала она.

В середине мазурки, повторяя сложную фигуру, вновь выдуманную Корсунским, Анна вышла на середину круга, взяла двух кавалеров и подозвала к себе одну даму и Кити. Кити испуганно смотрела на нее, подходя. Анна, прищурившись, смотрела на нее и улыбнулась, пожав ей руку. Но, заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления ответило на ее улыбку, она отвернулась от нее и весело заговорила с другою дамой.

«Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней», – сказала себе Кити.

Анна не хотела оставаться ужинать, но хозяин стал просить ее.

– Полно, Анна Аркадьевна, – заговорил Корсунский, забирая ее обнаженную руку под рукав своего фрака. – Какая у меня идея котильона! Un bijou!⁶²

И он понемножку двигался, стараясь увлечь ее. Хозяин улыбался одобрительно.

– Нет, я не останусь, – ответила Анна, улыбаясь; но, несмотря на улыбку, и Корсунский и хозяин поняли по решительному тону, с каким она отвечала, что она не останется.

– Нет, я и так в Москве танцевала больше на вашем одном бале, чем всю зиму в Петербурге, – сказала Анна, оглядываясь на подле нее стоявшего Вронского. – Надо отдохнуть перед дорогой.

– А вы решительно едете завтра? – спросил Вронский.

– Да, я думаю, – отвечала Анна, как бы удивляясь смелости его вопроса; но неудержимый дрожащий блеск глаз и улыбки обжег его, когда она говорила это.

Анна Аркадьевна не осталась ужинать и уехала.

XXIV

«Да, что-то есть во мне противное, отталкивающее, – думал Левин, вышедши от Щербатских и пешком направляясь к брату. – И не гожусь я для других людей. Гордость, говорят. Нет, у меня нет и гордости. Если бы была гордость, я не поставил бы себя в такое положе-

⁶² Прелесть! (*франц.*)

ние». И он представлял себе Вронского, счастливого, доброго, умного и спокойного, никогда, наверное, не бывавшего в том ужасном положении, в котором он был нынче вечером. «Да, она должна была выбрать его. Так надо, и жаловаться мне не на кого и не за что. Виноват я сам. Какое право имел я думать, что она захочет соединить свою жизнь с моею? Кто я? И что я? Ничтожный человек, никому и ни для кого не нужный». И он вспомнил о брате Николае и с радостью остановился на этом воспоминании. «Не прав ли он, что все на свете дурно и гадко? И едва ли мы справедливо судим и судили о брате Николае. Разумеется, с точки зрения Прокофья, видевшего его в оборванной шубе и пьяного, он презренный человек; но я знаю его иначе. Я знаю его душу и знаю, что мы похожи с ним. А я, вместо того чтобы ехать отыскать его, поехал обедать и сюда». Левин подошел к фонарю, прочел адрес брата, который у него был в бумажнике, и позвал извозчика. Всю длинную дорогу до брата Левин живо припоминал себе все известные ему события из жизни брата Николая. Вспоминал он, как брат в университете и год после университета, несмотря на насмешки товарищей, жил как монах, в строгости исполняя все обряды религии, службы, посты и избегая всяких удовольствий, в особенности женщин; и потом как вдруг его прорвало, он сблизился с самыми гадкими людьми и пустился в самый беспутный разгул. Вспоминал потом про историю с мальчиком, которого он взял из деревни, чтобы воспитывать, и в припадке злости так избил, что началось дело по обвинению в причинении увечья. Вспоминал потом историю с шулером, которому он проиграл деньги, дал вексель и на которого сам подал жалобу, доказывая, что тот его обманул. (Это были те деньги, которые заплатил Сергей Иваныч.) Потом вспоминал, как он ночевал ночь в части за буйство. Вспоминал затеянный им постыдный процесс с братом Сергеем Иванычем за то, что тот будто бы не выплатил ему долю из материнского имения; и последнее дело, когда он уехал служить в Западный край и там попал под суд за побои, нанесенные старшине... Все это было ужасно гадко, но Левину это представлялось совсем не так гадко, как это должно было представляться тем, которые не знали Николая Левина, не знали всей его истории, не знали его сердца.

Левин помнил, как в то время, когда Николай был в периоде набожности, постов, монахов, служб церковных, когда он искал в религии помощи, узды на свою страстную натуру, никто не только не поддержал его, но все, и он сам, смеялись над ним. Его дразнили, звали его Ноем, монахом; а когда его прорвало, никто не помог ему, а все с ужасом и омерзением отвернулись.

Левин чувствовал, что брат Николай в душе своей, в самой основе своей души, несмотря на все безобразие своей жизни, не был более неправ, чем те люди, которые презирали его. Он не был виноват в том, что родился с своим неудержимым характером и стесненным чем-то умом. Но он всегда хотел быть хорошим. «Все выскажу ему, все заставлю его высказать и покажу ему, что я люблю и потому понимаю его», – решил сам с собою Левин, подъезжая в одиннадцатом часу к гостинице, указанной на адресе.

– Наверху 12-й и 13-й, – ответил швейцар на вопрос Левина.

– Дома?

– Должно, дома.

Дверь 12-го номера была полуотворена, и оттуда, в полосе света, выходил густой дым дурного и слабого табаку и слышался незнакомый Левину голос; но Левин тотчас же узнал, что брат тут; он услышал его покашливание.

Когда он вошел в дверь, незнакомый голос говорил:

– Все зависит от того, насколько разумно и сознательно поведется дело.

Константин Левин заглянул в дверь и увидел, что говорит с огромной шапкой волос молодой человек в поддевке, а молодая рябоватая женщина, в шерстяном платье без рукавчиков и воротничков, сидит на диване. Брата не видно было. У Константина больно сжалось сердце при мысли о том, в среде каких чужих людей живет его брат. Никто не услышал его, и Константин, снимая калоши, прислушивался к тому, что говорил господин в поддевке. Он говорил о каком-то предприятии.

– Ну, черт их дери, привилегированные классы, – прокашливаясь, проговорил голос брата. – Маша! Добудь ты нам поужинать и дай вина, если осталось, а то пошли.

Женщина встала, вышла за перегородку и увидела Константина.

– Какой-то барин, Николай Дмитрич, – сказала она.

– Кого нужно? – сердито сказал голос Николая Левина.

– Это я, – отвечал Константин Левин, выходя на свет.

– Кто я? – еще сердитее повторил голос Николая. Слышно было, как он быстро встал, зацепив за что-то, и Левин увидел перед собою в дверях столь знакомую и все-таки поражающую своею дикостью и болезненностью огромную, худую, сутуловатую фигуру брата, с его большими испуганными глазами.

Он был еще хуже, чем три года тому назад, когда Константин Левин видел его в последний раз. На нем был короткий сюртук. И руки и широкие кости казались еще огромнее. Волосы стали реже, те же прямые усы висели на губы, те же глаза странно и наивно смотрели на вошедшего.

– А, Костя! – вдруг проговорил он, узнав брата, и глаза его засветились радостью. Но в ту же секунду он оглянулся на молодого человека и сделал столь знакомое Константину судорожное движение головой и шеей, как будто галстук жал его; и совсем другое, дикое, страдальческое и жестокое выражение остановилось на его исхудалом лице.

– Я писал и вам и Сергею Ивановичу, что я вас не знаю и не хочу знать. Что тебе, что вам нужно?

Он был совсем не такой, каким воображал его Константин. Самое тяжелое и дурное в его характере, то, что делало столь трудным общение с ним, было позабыто Константином Левиным, когда он думал о нем; и теперь, когда увидел его лицо, в особенности это судорожное поворачиванье головы, он вспомнил все это.

– Мне ни для чего не нужно видеть тебя, – робко отвечал он. – Я просто приехал тебя видеть.

Робость брата, видимо, смягчила Николая. Он дернулся губами.

– А, ты так? – сказал он. – Ну,ходи, садись. Хочешь ужинать? Маша, три порции принеси. Нет, постой. Ты знаешь, кто это? – обратился он к брату, указывая на господина в поддевке, – это господин Крицкий, мой друг еще из Киева, очень замечательный человек. Его, разумеется, преследует полиция, потому что он не подлец.

И он оглянулся по своей привычке на всех бывших в комнате. Увидав, что женщина, стоявшая в дверях, двинулась было идти, он крикнул ей: «Постой, я сказал». И с тем неумением, с тою нескладностью разговора, которые так знал Константин, он, опять оглядывая всех, стал рассказывать брату историю Крицкого: как его выгнали из университета за то, что он завел общество вспоможения бедным студентам и воскресные школы⁶³, и как потом он поступил в народную школу учителем, и как его оттуда также выгнали, и как потом судили за что-то.

– Вы Киевского университета? – сказал Константин Левин Крицкому, чтобы прервать установившееся неловкое молчание.

– Да, Киевского был, – насупившись, сердито говорил Крицкий.

– А эта женщина, – перебил его Николай Левин, указывая на нее, – моя подруга жизни, Марья Николаевна. Я взял ее из дома, – и он дернулся шеей, говоря это. – Но люблю ее и уважаю и всех, кто меня хочет знать, – прибавил он, возвышая голос и хмурясь, – прошу любить и уважать ее. Она все равно что моя жена, все равно. Так вот, ты знаешь, с кем имеешь дело. И если думаешь, что ты унизишься, так вот Бог, а вот порог.

⁶³ ...его выгнали из университета за то, что он завел... воскресные школы... – Революционеры 70-х годов рассматривали работу в воскресных школах для рабочих как одну из форм «хождения в народ». В 1874 г. министр юстиции граф К.И. Пален представил Александру II доклад «Успехи революционной пропаганды в России». Воскресные школы были взяты под строгий контроль.

И опять глаза его вопросительно обежали всех.

– Отчего же я унижусь, я не понимаю.

– Так вели, Маша, принести ужинать: три порции, водки и вина... Нет, постой... Нет, не надо... Иди.

XXV

– Так видишь, – продолжал Николай Левин, с усилием морща лоб и подергиваясь. Ему, видимо, трудно было сообразить, что сказать и сделать. – Вот видишь ли... – Он указал в углу комнаты какие-то железные бруски, завязанные бечевками. – Видишь ли это? Это начало нового дела, к которому мы приступаем. Дело это есть производительная артель...

Константин почти не слушал. Он вглядывался в его болезненное, чахоточное лицо, и все больше и больше ему жалко было его, и он не мог заставить себя слушать то, что брат рассказывал ему про артель. Он видел, что эта артель есть только якорь спасения от презрения к самому себе. Николай Левин продолжал говорить:

– Ты знаешь, что капитал давит работника, – работники у нас, мужики, несут всю тягость труда и поставлены так, что, сколько бы они ни трудились, они не могут выйти из своего скотского положения. Все барыши заработной платы, на которые они бы могли улучшить свое положение, доставить себе досуг и вследствие этого образование, все излишки платы – отнимаются у них капиталистами. И так сложилось общество, что чем больше они будут работать, тем больше будут наживаться купцы, землевладельцы, а они будут скоты рабочие всегда. И этот порядок нужно изменить, – кончил он и вопросительно посмотрел на брата.

– Да, разумеется, – сказал Константин, вглядываясь в румянец, выступивший под выдающимися костями щек брата.

– И мы вот устраиваем артель слесарную, где все производство, и барыш, и, главное, орудия производства, все будет общее.

– Где же будет артель? – спросил Константин Левин.

– В селе Воздреме Казанской губернии.

– Да отчего же в селе? В селах, мне кажется, и так дела много. Зачем в селе слесарная артель?

– А затем, что мужики теперь такие же рабы, какими были прежде, и от этого-то вам с Сергеем Ивановичем и неприятно, что их хотят вывести из этого рабства, – сказал Николай Левин, раздраженный возражением.

Константин Левин вздохнул, оглядывая в это время комнату, мрачную и грязную. Этот вздох, казалось, еще более раздражил Николая.

– Знаю ваши с Сергеем Ивановичем аристократические воззрения. Знаю, что он все силы ума употребляет на то, чтоб оправдать существующее зло.

– Нет, да к чему ты говоришь о Сергей Ивановиче? – проговорил, улыбаясь, Левин.

– Сергей Иванович? А вот к чему! – вдруг при имени Сергея Ивановича вскрикнул Николай Левин, – вот к чему... Да что говорить? Только одно... Для чего ты приехал ко мне? Ты презираешь это, и прекрасно, и ступай с Богом, ступай! – кричал он, вставая со стула, – и ступай, и ступай!

– Я нисколько не презираю, – робко сказал Константин Левин. – Я даже и не спорю.

В это время вернулась Марья Николаевна. Николай Левин сердито оглянулся на нее. Она быстро подошла к нему и что-то прошептала.

– Я нездоров, я раздражителен стал, – проговорил, успокаиваясь и тяжело дыша, Николай Левин, – и потом ты мне говоришь о Сергей Ивановиче и его статье. Это такой вздор, такая фальшь, такое самообманыванье. Что может писать о справедливости человек, который ее не

знает? Вы читали его статью? – обратился он к Крицкому, опять садясь к столу и сдвигая с него до половины насыпанные папиросы, чтоб опростать место.

– Я не читал, – мрачно сказал Крицкий, очевидно не хотевший вступать в разговор.

– Отчего? – с раздражением обратился теперь к Крицкому Николай Левин.

– Потому что не считаю нужным терять на это время.

– То есть, позвольте, почему ж вы знаете, что вы потеряете время? Многим статья эта недоступна, то есть выше их. Но я другое дело, я вижу насквозь его мысли и знаю, почему это слабо.

Все замолчали. Крицкий медлительно встал и взялся за шапку.

– Не хотите ужинать? Ну, прощайте. Завтра приходите со слесарем.

Только что Крицкий вышел, Николай Левин улыбнулся и подмигнул.

– Тоже плох, – проговорил он. – Ведь я вижу...

Но в это время Крицкий в дверях позвал его.

– Что еще нужно? – сказал он и вышел к нему в коридор. Оставшись один с Марьей Николаевной, Левин обратился к ней.

– А вы давно с братом? – сказал он ей.

– Да вот уж второй год. Здоровье их очень плохо стало. Пьют много, – сказала она.

– То есть как пьют?

– Водку пьют, а им вредно.

– А разве много? – прошептал Левин.

– Да, – сказала она, робко оглядываясь на дверь, в которой показался Николай Левин.

– О чем вы говорили? – сказал он, хмурясь и переводя испуганные глаза с одного на другого. – О чем?

– Ни о чем, – смутясь, отвечал Константин.

– А не хотите говорить, как хотите. Только нечего тебе с ней говорить. Она девка, а ты барин, – проговорил он, подергиваясь шеей.

– Ты, я ведь вижу, все понял и оценил и с сожалением относишься к моим заблуждениям, – заговорил он опять, возвышая голос.

– Николай Дмитрич, Николай Дмитрич, – прошептала опять Марья Николаевна, приближаясь к нему.

– Ну, хорошо, хорошо!.. Да что ж ужин? А, вот и он, – проговорил он, увидав лакея с подносом. – Сюда, сюда ставь, – проговорил он сердито и тотчас же взял водку, налил рюмку и жадно выпил. – Выпей, хочешь? – обратился он к брату, тотчас же повеселев. – Ну, будет о Сергее Ивановиче. Я все-таки рад тебя видеть. Что там ни толкуй, а все не чужие. Ну, выпей же. Расскажи, что ты делаешь? – продолжал он, жадно пережевывая кусок хлеба и наливая другую рюмку. – Как ты живешь?

– Живу один в деревне, как жил прежде, занимаюсь хозяйством, – отвечал Константин, с ужасом вглядываясь в жадность, с которою брат его пил и ел, и стараясь скрыть свое внимание.

– Отчего ты не женишься?

– Не пришлось, – покраснев, отвечал Константин.

– Отчего? Мне – кончено! Я свою жизнь испортил. Это я сказал и скажу, что, если бы мне дали тогда мою часть, когда мне она нужна была, вся жизнь моя была бы другая.

Константин Дмитрич поспешил отвести разговор.

– А ты знаешь, что твой Ванюшка у меня в Покровском конторщиком? – сказал он.

Николай дернул шеей и задумался.

– Да расскажи мне, что делается в Покровском? Что, дом все стоит, и березы, и наша классная? А Филипп-садовник, неужели жив? Как я помню беседку и диван! Да смотри же, ничего не переменяй в доме, но скорее женись и опять заведи то же, что было. Я тогда приеду к тебе, если твоя жена будет хорошая.

– Да приезжай теперь ко мне, – сказал Левин. – Как бы мы хорошо устроились!

– Я бы приехал к тебе, если бы знал, что не найду Сергея Ивановича.

– Ты его не найдешь. Я живу совершенно независимо от него.

– Да, но, как ни говори, ты должен выбрать между мною и им, – сказал он, робко глядя в глаза брату. Эта робость тронула Константина.

– Если хочешь знать всю мою исповедь в этом отношении, я скажу тебе, что в вашей ссоре с Сергеем Ивановичем я не беру ни той, ни другой стороны. Вы оба неправы. Ты неправ более внешним образом, а он более внутренно.

– А, а! Ты понял это, ты понял это? – радостно закричал Николай.

– Но я, лично, если ты хочешь знать, больше дорожу дружбой с тобой, потому что...

– Почему, почему?

Константин не мог сказать, что он дорожит потому, что Николай несчастен и ему нужна дружба. Но Николай понял, что он хотел сказать именно это, и, нахмурившись, взялся опять за водку.

– Будет, Николай Дмитрич! – сказала Марья Николаевна, протягивая пухлую обнаженную руку к графинчику.

– Пусти! Не приставай! Прибью! – крикнул он.

Марья Николаевна улыбнулась кроткою и доброю улыбкой, которая сообщилась и Николаю, и приняла водку.

– Да ты думаешь, она ничего не понимает? – сказал Николай. – Она все это понимает лучше всех нас. Правда, что есть в ней что-то хорошее, милое?

– Вы никогда прежде не были в Москве? – сказал ей Константин, чтобы сказать что-нибудь.

– Да не говори ей *вы*. Она этого боится. Ей никто, кроме мирового судьи, когда ее судили за то, что она хотела уйти из дома разврата, никто не говорил *вы*. Боже мой, что это за бессмыслица на свете! – вдруг вскрикнул он. – Эти новые учреждения, эти мировые судьи, земство, что это за безобразие!

И он начал рассказывать свои столкновения с новыми учреждениями.

Константин Левин слушал его, и то отрицание смысла во всех общественных учреждениях, которое он разделял с ним и часто высказывал, было ему неприятно теперь из уст брата.

– На том свете пойдем все это, – сказал он шутя.

– На том свете? Ох, не люблю я тот свет! Не люблю, – сказал он, остановив испуганные дикие глаза на лице брата. – И ведь вот кажется, что уйти из всей мерзости, путаницы, и чужой и своей, хорошо бы было, а я боюсь смерти, ужасно боюсь смерти. – Он содрогнулся. – Да выпей что-нибудь. Хочешь шампанского? Или поедem куда-нибудь. Поедем к цыганам! Знаешь, я очень полюбил цыган и русские песни.

Язык его стал мешаться, и он пошел перескакивать с одного предмета на другой. Константин с помощью Маши уговорил его никуда не ездить и уложил спать совершенно пьяного.

Маша обещала писать Константину в случае нужды и уговаривать Николая Левина приехать жить к брату.

XXVI

Утром Константин Левин выехал из Москвы и к вечеру приехал домой. Дорогой, в вагоне, он разговаривал с соседями о политике, о новых железных дорогах, и, так же как в Москве, его одолевала путаница понятий, недовольство собой, стыд пред чем-то; но когда он вышел на своей станции, узнал кривого кучера Игната с поднятым воротником кафтана, когда увидел в неярком свете, падающем из окон станции, свои ковровые сани, своих лошадей с подвязанными хвостами, в сбруе с кольцами и махрами, когда кучер Игнат, еще в то время как

укладывались, рассказал ему деревенские новости, о приходе рядчика и о том, что отелилась Пава, – он почувствовал, что понемногу путаница разъясняется и стыд и недовольство собой проходят. Это он почувствовал при одном виде Игната и лошадей; но когда он надел привезенный ему тулуп, сел, закутавшись, в сани и поехал, раздумывая о предстоящих распоряжениях в деревне и поглядывая на пристяжную, бывшую верховую, донскую, надорванную, но лихую лошадь, он совершенно иначе стал понимать то, что с ним случилось. Он чувствовал себя собой и другим не хотел быть. Он хотел теперь быть только лучше, чем он был прежде. Во-первых, с этого дня он решил, что не будет больше надеяться на необыкновенное счастье, какое ему должна была дать женитьба, и вследствие этого не будет так пренебрегать настоящим. Во-вторых, он уже никогда не позволит себе увлечься гадкою страстью, воспоминание о которой так мучало его, когда он собирался сделать предложение. Потом, вспоминая брата Николая, он решил сам с собою, что никогда уже он не позволит себе забыть его, будет следить за ним и не выпустит его из виду, чтобы быть готовым на помощь, когда ему придется плохо. А это будет скоро, он это чувствовал. Потом и разговор брата о коммунизме, к которому тогда он так легко отнесся, теперь заставил его задуматься. Он считал переделку экономических условий вздором, но он всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа и теперь решил про себя, что, для того чтобы чувствовать себя вполне правым, он, хотя прежде много работал и не роскошно жил, теперь будет еще больше работать и еще меньше будет позволять себе роскоши. И все это казалось ему так легко сделать над собой, что всю дорогу он провел в самых приятных мечтаниях. С бодрым чувством надежды на новую, лучшую жизнь он в девятом часу ночи подъехал к своему дому.

Из окон комнаты Агафьи Михайловны, старой нянюшки, исполнявшей в его доме роль экономки, падал свет на снег площадки пред домом. Она не спала еще. Кузьма, разбуженный ею, сонный и босиком выбежал на крыльцо. Легава сука Ласка, чуть не сбив с ног Кузьму, выскочила тоже и визжала, терлась об его колени, поднималась и хотела и не смела положить передние лапы ему на грудь.

– Скоро ж, батюшка, вернулись, – сказала Агафья Михайловна.

– Соскучился, Агафья Михайловна. В гостях хорошо, а дома лучше, – отвечал он ей и прошел в кабинет.

Кабинет медленно осветился внесенной свечой. Выступили знакомые подробности: олени рога, полки с книгами, зеркало печи с отдушником, который давно надо было починить, отцовский диван, большой стол, на столе открытая книга, сломанная пепельница, тетрадь с его почерком. Когда он увидел все это, на него нашло на минуту сомнение в возможности устроить ту новую жизнь, о которой он мечтал дорогой. Все эти следы его жизни как будто охватили его и говорили ему: «Нет, ты не уйдешь от нас и не будешь другим, а будешь такой же, каков был: с сомнениями, вечным недовольством собой, напрасными попытками исправления и падениями и вечным ожиданием счастья, которое не далось и невозможно тебе».

Но это говорили его вещи, другой же голос в душе говорил, что не надо подчиняться прошедшему и что с собой сделать все возможно. И, слушаясь этого голоса, он подошел к углу, где у него стояли две пудовые гири, и стал гимнастически поднимать их, стараясь привести себя в состояние бодрости. За дверью закрипели шаги. Он поспешно поставил гири.

Вошел приказчик и сказал, что все, слава Богу, благополучно, но сообщил, что греча в новой сушилке подгорела. Известие это раздражило Левина. Новая сушилка была выстроена и частью придумана Левиным. Приказчик был всегда против этой сушилки и теперь со скрытым торжеством объявлял, что греча подгорела. Левин же был твердо убежден, что если она подгорела, то потому только, что не были приняты те меры, о которых он сотни раз приказывал. Ему стало досадно, и он сделал выговор приказчику. Но было одно важное и радостное событие: отелилась Пава, лучшая, дорогая, купленная с выставки корова.

– Кузьма, дай тулуп. А вы велите-ка взять фонарь, я пойду взгляну, – сказал он приказчику.

Скотная для дорогих коров была сейчас за домом. Пройдя через двор мимо сугроба у сирени, он подошел к скотной. Пахло навозным теплым паром, когда отворилась примерзшая дверь, и коровы, удивленные непривычным светом фонаря, зашевелились на свежей соломе. Мелькнула гладкая черно-пегая широкая спина голландки. Беркут, бык, лежал с своим кольцом в губе и хотел было встать, но раздумал и только пыхнул раза два, когда проходили мимо. Красная красавица, громадная, как гиппопотам, Пава, повернувшись задом, заслоняла от входивших теленка и обнюхивала его.

Левин вошел в денник, оглядел Паву и поднял красно-пегого теленка на его шаткие длинные ноги. Взмолванная Пава замычала было, но успокоилась, когда Левин подвинул к ней телку, и, тяжело вздохнув, стала лизать ее шершавым языком. Телка, отыскивая, подталкивала носом под пах свою мать и крутила хвостиком.

– Да сюда посвети, Федор, сюда фонарь, – говорил Левин, оглядывая телку. – В мать! Даром что мастью в отца. Очень хороша. Длинна и пашиста. Василий Федорович, ведь хороша? – обращался он к приказчику, совершенно примирившись с ним за гречу под влиянием радости за телку.

– В кого же дурной быть? А Семен рядчик на другой день вашего отъезда пришел. Надо будет порядиться с ним, Константин Дмитрич, – сказал приказчик. – Я вам прежде докладывал про машину.

Один этот вопрос ввел Левина во все подробности хозяйства, которое было большое и сложное, и он прямо из коровника пошел в контору и, поговорив с приказчиком и с Семеном рядчиком, вернулся домой и прямо прошел наверх в гостиную.

XXVII

Дом был большой, старинный, и Левин, хотя жил один, но топил и занимал весь дом. Он знал, что это было глупо, знал, что это даже нехорошо и противно его теперешним новым планам, но дом этот был целый мир для Левина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили тою жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства и которую он мечтал возобновить с своею женой, с своею семьей.

Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прелестного, святого идеала женщины, каким была для него мать.

Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье. И теперь от этого нужно было отказаться!

Когда он вошел в маленькую гостиную, где всегда пил чай, и уселся в своем кресле с книгою, а Агафья Михайловна принесла ему чаю и со своим обычным: «А я сяду, батюшка», – села на стул у окна, он почувствовал, что, как ни странно это было, он не расстался с своими мечтами и что он без них жить не может. С ней ли, с другою ли, но это будет. Он читал книгу, думал о том, что читал, останавливаясь, чтобы слушать Агафью Михайловну, которая без усталости болтала; и вместе с тем разные картины хозяйства и будущей семейной жизни без связи представлялись его воображению. Он чувствовал, что в глубине его души что-то устанавливалось, умерялось и укладывалось.

Он слушал разговор Агафьи Михайловны о том, как Прохор Бога забыл и на те деньги, что ему подарил Левин, чтобы лошадь купить, пьет без просыпу и жену избил до смерти; он

слушал и читал книгу и вспоминал весь ход своих мыслей, возбужденных чтением. Это была книга Тиндаля о теплоте⁶⁴. Он вспоминал свои осуждения Тиндалю за его самодовольство в ловкости производства опытов и за то, что ему недостает философского взгляда. И вдруг всплывала радостная мысль: «Через два года будут у меня в стаде две голландки, сама Пава еще может быть жива, двенадцать молодых Беркутовых дочерей, да подсыпать к ним на казовый конец этих трех – чудо!» Он опять взялся за книгу.

«Ну хорошо, электричество и теплота одно и то же; но возможно ли в уравнении для решения вопроса поставить одну величину вместо другой? Нет. Ну так что же? Связь между всеми силами природы и так чувствуется инстинктом... Особенно приятно, как Павина дочь будет уже красно-пегою коровой, и все стадо, в которое п о д с ы п а т ь этих трех... Отлично! Выйти с женой и гостями встречать стадо... Жена скажет: мы с Костей, как ребенка, выхаживали эту телку. Как это может вас так интересовать? скажет гость. Все, что его интересует, интересует меня. Но кто она?» И он вспоминал то, что произошло в Москве... «Ну что же делать?.. Я не виноват. Но теперь все пойдет по-новому. Это вздор, что не допустит жизнь, что прошедшее не допустит. Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить...» Он приподнял голову и задумался. Старая Ласка, еще не совсем переварившая радость его приезда и бегавшая, чтобы полаять на дворе, вернулась, махая хвостом и внося с собой запах воздуха, подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно подвизгивая и требуя, чтоб он поласкал.

– Только не говорит, – сказала Агафья Михайловна. – А пес... Ведь понимает же, что хозяин приехал и ему скучно.

– Отчего же скучно?

– Да разве я не вижу, батюшка? Пора мне господ знать. Сызмальства в господах выросла. Ничего, батюшка. Было бы здоровье да совесть чиста.

Левин пристально смотрел на нее, удивляясь тому, как она поняла его мысли.

– Что ж, принесть еще чайку? – сказала она и, взяв чашку, вышла.

Ласка все подсовывала голову под его руку. Он погладил ее, и она тут же у ног его свернулась кольцом, положив голову на высовывшуюся заднюю лапу. И в знак того, что теперь все хорошо и благополучно, она, слегка раскрыв рот, почмокала, лучше уложив около старых зуб липкие губы, затихла в блаженном спокойствии. Левин внимательно следил за этими последними ее движениями.

«Так-то и я! – сказал он себе, – так-то и я! Ничего... Все хорошо».

XXVIII

После бала, рано утром, Анна Аркадьевна послала мужу телеграмму о своем выезде из Москвы в тот же день.

– Нет, мне надо, надо ехать, – объясняла она невестке перемену своего намерения таким тоном, как будто она вспомнила столько дел, что не перечесть, – нет, уж лучше нынче!

Степан Аркадьич не обедал дома, но обещал приехать проводить сестру в семь часов.

Кити тоже не приехала, прислав записку, что у нее голова болит. Долли с Анной обедали одни с детьми и англичанкой. Потому ли, что дети непостоянны или очень чутки и почувствовали, что Анна в этот день совсем не такая, как в тот, когда они так полюбили ее, что она уже не занята ими, – но только они вдруг прекратили свою игру с тетей и любовь к ней, и их совершенно не занимало то, что она уезжает. Анна все утро была занята приготовлениями к отъезду. Она писала записки к московским знакомым, записывала свои счета и укладывалась. Вообще Долли казалось, что она не в спокойном духе, а в том духе заботы, который Долли хорошо

⁶⁴ Это была книга Тиндаля о теплоте. – Джон Тиндаль (1820–1893) – английский физик. В 1872 г. Толстой читал его книгу «Теплота, рассматриваемая как род движения» (СПб., 1864). Размышления о природе физических явлений сохранились в дневнике Толстого (см. т. 48, с. 148, 155).

знала за собой и который находит не без причины и большею частью прикрывает недовольство собою. После обеда Анна пошла одеваться в свою комнату, и Долли пошла за ней.

– Какая ты нынче странная! – сказала ей Долли.

– Я? ты находишь? Я не странная, но я дурная. Это бывает со мной. Мне все хочется плакать. Это очень глупо, но это проходит, – сказала быстро Анна и нагнула покрасневшее лицо к игрушечному мешочку, в который она укладывала ночной чепчик и батистовые платки. Глаза ее особенно блестели и беспрестанно подергивались слезами. – Так мне из Петербурга не хотелось уезжать, а теперь отсюда не хочется.

– Ты приехала сюда и сделала доброе дело, – сказала Долли, внимательно высматривая ее. Анна посмотрела на нее мокрыми от слез глазами.

– Не говори этого, Долли. Я ничего не сделала и не могла сделать. Я часто удивляюсь, зачем люди сговорились портить меня. Что я сделала и что могла сделать? У тебя в сердце нашлось столько любви, чтобы простить...

– Без тебя Бог знает что бы было! Какая ты счастливая, Анна! – сказала Долли. – У тебя все в душе ясно и хорошо.

– У каждого есть в душе свои skeletons,⁶⁵ как говорят англичане.

– Какие же у тебя skeletons? У тебя все так ясно.

– Есть! – вдруг сказала Анна, и неожиданно после слез хитрая, смешливая улыбка сморщила ее губы.

– Ну, так они смешные, твои skeletons, а не мрачные, – улыбаясь, сказала Долли.

– Нет, мрачные. Ты знаешь, отчего я еду нынче, а не завтра? Это признание, которое меня давило, я хочу тебе его сделать, – сказала Анна, решительно откидываясь на кресле и глядя прямо в глаза Долли.

И, к удивлению своему, Долли увидала, что Анна покраснела до ушей, до выющихся черных колец волос на шее.

– Да, – продолжала Анна. – Ты знаешь, отчего Кити не приехала обедать? Она ревнует ко мне. Я испортила... я была причиной того, что бал этот был для нее мученьем, а не радостью. Но, право, право, я не виновата, или виновата немножко, – сказала она, тонким голосом протянув слово «немножко».

– О, как ты это похоже сказала на Стиву! – смеясь, сказала Долли.

Анна оскорбилась.

– О нет, о нет! Я не Стива, – сказала она, хмурясь. – Я оттого говорю тебе, что я ни на минуту даже не позволяю себе сомневаться в себе, – сказала Анна.

Но в ту минуту, когда она выговаривала эти слова, она чувствовала, что они несправедливы; она не только сомневалась в себе, она чувствовала волнение при мысли о Вронском и уезжала скорее, чем хотела, только для того, чтобы больше не встречаться с ним.

– Да, Стива мне говорил, что ты с ним танцевала мазурку и что он...

– Ты не можешь себе представить, как это смешно вышло. Я только думала сватать, и вдруг совсем другое. Может быть, я против воли...

Она покраснела и остановилась.

– О, они это сейчас чувствуют! – сказала Долли.

– Но я бы была в отчаянии, если бы тут было что-нибудь серьезное с его стороны, – перебила ее Анна. – И я уверена, что это все забудется и Кити перестанет меня ненавидеть.

– Впрочем, Анна, по правде тебе сказать, я не очень желаю для Кити этого брака. И лучше, чтоб это разошлось, если он, Вронский, мог влюбиться в тебя в один день.

– Ах, Боже мой, это было бы так глупо! – сказала Анна, и опять густая краска удовольствия выступила на ее лице, когда она услышала занимавшую ее мысль, выговоренную сло-

⁶⁵ Здесь: тайны (англ.).

вами. – Так вот, я и уезжаю, сделав себе врага в Кити, которую я так полюбила. Ах, какая она милая! Но ты поправишь это, Долли? Да?

Долли едва могла удерживать улыбку. Она любила Анну, но ей приятно было видеть, что и у ней есть слабости.

– Врага? Это не может быть.

– Я так бы желала, чтобы вы меня любили, как я вас люблю; а теперь я еще больше полюбила вас, – сказала Анна со слезами на глазах. – Ах, как я нынче глупа!

Она провела платком по лицу и стала одеваться.

Уже пред самым отъездом приехал опоздавший Степан Аркадьич, с красным, веселым лицом и запахом вина и сигары.

Чувствительность Анны сообщилась и Долли, и, когда она в последний раз обняла золовку, она прошептала:

– Помни, Анна: что ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я люблю и всегда буду любить тебя, как лучшего друга!

– Я не понимаю, за что, – проговорила Анна, целуя ее и скрывая слезы.

– Ты меня поняла и понимаешь. Прощай, моя прелесть!

XXIX

«Ну, все кончено, и слава Богу!» – была первая мысль, пришедшая Анне Аркадьевне, когда она простилась в последний раз с братом, который до третьего звонка загораживал собою дорогу в вагоне. Она села на свой диванчик, рядом с Аннушкой, и огляделась в полусвете спального вагона. «Слава Богу, завтра увижу Сережу и Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь, хорошая и привычная, по-старому».

Все в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу; своими маленькими ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек, достала подушечку, положила себе на колени и, аккуратно закутав ноги, спокойно уселась. Больная дама укладывалась уже спать. Две другие дамы заговаривали с ней, и толстая старуха укутывала ноги и выражала замечания о топке. Анна ответила несколько слов дамам, но, не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке кресла и взяла из своей сумочки разрезной ножик и английский роман. Первое время ей не читалось. Сначала мешала возня и ходьба; потом, когда тронулся поезд, нельзя было не прислушаться к звукам; потом снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закутанного, мимо прошедшего кондуктора, занесенного снегом с одной стороны, и разговоры о том, какая теперь страшная метель на дворе, развлекали ее внимание. Далее все было то же и то же; та же тряска с постукиванием, тот же снег в окно, те же быстрые переходы от парового жара к холоду и опять к жару, то же мелькание тех же лиц в полумраке и те же голоса, и Анна стала читать и понимать читаемое. Аннушка уже дремала, держа красный мешочек на коленях широкими руками в перчатках, из которых одна была порвана. Анна Аркадьевна читала и понимала, но ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного; читала ли она о том, как член парламента говорил речь, ей хотелось говорить эту речь; читала ли она о том, как леди Мери ехала верхом за стаей и дразнила невестку и удивляла всех своею смелостью, ей хотелось это делать самой. Но делать нечего было, и она, перебирая своими маленькими руками гладкий ножичек, усиливалась читать.

Герой романа уже начинал достигать своего английского счастья, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? «Чего же мне стыдно?» –

спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было. Она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал, вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо, вспомнила все свои отношения с ним: ничего не было стыдного. А вместе с тем на этом самом месте воспоминаний чувство стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она вспомнила о Вронском, говорил ей: «Тепло, очень тепло, горячо». «Ну что же? – сказала она себе решительно, пересаживаясь в кресле. – Что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что же? Неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым?» Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что в груди что-то давит дыхание и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают ее. На нее беспрестанно находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон, или назад, или вовсе стоит. Аннушка ли подле нее или чужая? «Что там, на ручке, шуба ли это или зверь? И что сама я тут? Я сама или другая?» Ей страшно было отдаваться этому забвению. Но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, чтоб опомниться, откинула плед и сняла пелерину теплого платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик в длинном нанковом пальто, на котором недоставало пуговицы, был истопник, что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь; но потом опять все смешалось... Мужик этот с длинною талией принялся грызть что-то в стене, старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком; потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но все это было не страшно, а весело. Голос окутанного и занесенного снегом человека прокричал что-то ей над ухом. Она поднялась и опомнилась; она поняла, что подъехали к станции и что это был кондуктор. Она попросила Аннушку подать ей опять снятую пелерину и платок, надела их и направилась к двери.

– Выходить изволите? – спросила Аннушка.

– Да, мне подышать хочется. Тут очень жарко.

И она отворила дверь. Метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Ветер как будто только ждал ее, радостно засвистал и хотел подхватить и унести ее, но она сильной рукой взялась за холодный столбик и, придерживая платье, спустилась на платформу и зашла за вагон. Ветер был силен на крылечке, на платформе за вагонами было затишье. С наслаждением, полной грудью, она вдыхала в себя снежный, морозный воздух и, стоя подле вагона, оглядывала платформу и освещенную станцию.

XXX

Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы, люди, все, что было видно, – было занесено с одной стороны снегом и заносилось все больше и больше. На мгновенье буря затихала, но потом опять налетала такими порывами, что, казалось, нельзя было противостоять ей. Между тем какие-то люди бежали, весело переговариваясь, скрипя по доскам платформы и беспрестанно отворяя и затворяя

большие двери. Согнутая тень человека проскользнула под ее ногами, и послышались стук молотка по железу. «Депешу дай!» – раздался сердитый голос с другой стороны из бурного мрака. «Сюда пожалуйста! № 28!» – кричали еще разные голоса, и, занесенные снегом, пробежали обвязанные люди. Какие-то два господина с огнем папирос во рту прошли мимо ее. Она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и уже вынула руки из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон, как еще человек в военном пальто подле нее самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря. Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо Вронского. Приложив руку к козырьку, он наклонился пред ней и спросил, не нужно ли ей чего-нибудь, не может ли он служить ей? Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз. Это было опять то выражение почтительного восхищения, которое так подействовало на нее вчера. Не раз говорила она себе эти последние дни и сейчас только, что Вронский для нее один из сотен вечно одних и тех же, повсюду встречаемых молодых людей, что она никогда не позволит себе и думать о нем; но теперь, в первое мгновение встречи с ним, ее охватило чувство радостной гордости. Ей не нужно было спрашивать, зачем он тут. Она знала это так же верно, как если бы он сказал ей, что он тут для того, чтобы быть там, где она.

– Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете? – сказала она, опустив руку, которою взялась было за столбик. И неудержимая радость и оживление сияли на ее лице.

– Зачем я еду? – повторил он, глядя ей прямо в глаза. – Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы, – сказал он, – я не могу иначе.

И в это же время, как бы одолев препятствия, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком. Она ничего не отвечала, и на лице ее он видел борьбу.

– Простите меня, если вам неприятно то, что я сказал, – заговорил он покорно.

Он говорил учтиво, почтительно, но так твердо и упорно, что она долго не могла ничего ответить.

– Это дурно, что вы говорите, и я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, что вы сказали, как и я забуду, – сказала она наконец.

– Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу...

– Довольно, довольно! – вскрикнула она, тщетно стараясь придать строгое выражение своему лицу, в которое он жадно всматривался. И, взявшись рукой за холодный столбик, она поднялась на ступеньки и быстро вошла в сени вагона. Но в этих маленьких сенях она остановилась, обдумывая в своем воображении то, что было. Не вспоминая ни своих, ни его слов, она чувством поняла, что этот минутный разговор страшно сблизил их; и она была испугана и счастлива этим. Постояв несколько секунд, она вошла в вагон и села на свое место. То волшебное напряженное состояние, которое ее мучало сначала, не только возобновилось, но усилилось и дошло до того, что она боялась, что всякую минуту порвется в ней что-то слишком натянутое. Она не спала всю ночь. Но в том напряжении и тех грезах, которые наполняли ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного; напротив, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее. К утру Анна задремала, сидя в кресле, и когда проснулась, то уже было бело, светло и поезд подходил к Петербургу. Тотчас же мысли о доме, о муже, о сыне и заботы предстоящего дня и следующих обступили ее.

В Петербурге, только что остановился поезд и она вышла, первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «Ах, Боже мой! отчего у него стали такие уши?» – подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы. Увидав ее, он пошел к ней навстречу, сложив губы в привычную ему насмешливую улыбку и прямо глядя на нее большими усталыми глазами.

Какое-то неприятное чувство щемило ей сердце, когда она встретила его упорный и усталый взгляд, как будто она ожидала увидеть его другим. В особенности поразило ее чувство недовольства собой, которое она испытала при встрече с ним. Чувство то было давнишнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытывала в отношениях к мужу; но прежде она не замечала этого чувства, теперь она ясно и больно сознала его.

– Да, как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женитьбы, сгорал желанием увидеть тебя, – сказал он своим медлительным тонким голосом и тем тоном, который он всегда почти употреблял с ней, тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил.

– Сережа здоров? – спросила она.

– И это вся награда, – сказал он, – за мою пылкость? Здоров, здоров...

XXXI

Вронский и не пытался заснуть всю эту ночь. Он сидел на своем кресле, то прямо устремив глаза вперед себя, то оглядывая входивших и выходивших, и если и прежде он поражал и волновал незнакомых ему людей своим видом непоколебимого спокойствия, то теперь он еще более казался горд и самодовлеющ. Он смотрел на людей, как на вещи. Молодой нервный человек, служащий в окружном суде, сидевший против него, возненавидел его за этот вид. Молодой человек и закуривал у него, и заговаривал с ним, и даже толкал его, чтобы дать ему почувствовать, что он не вещь, а человек, но Вронский смотрел на него все так же, как на фонарь, и молодой человек гримасничал, чувствуя, что он теряет самообладание под давлением этого непризнания его человеком, и не мог от этого заснуть.

Вронский ничего и никого не видал. Он чувствовал себя царем не потому, чтоб он верил, что произвел впечатление на Анну, он еще не верил этому, – но потому, что впечатление, которое она произвела на него, давало ему счастье и гордость.

Что из этого всего выйдет, он не знал и даже не думал. Он чувствовал, что все его доселе распушенные, разбросанные силы были собраны в одно и с страшною энергией были направлены к одной блаженной цели. И он был счастлив этим. Он знал только, что сказал ей правду, что он ехал туда, где была она, что все счастье жизни, единственный смысл жизни он находил теперь в том, чтобы видеть и слышать ее. И когда он вышел из вагона в Бологове, чтобы выпить сельтерской воды, и увидел Анну, невольно первое слово его сказало ей то самое, что он думал. И он рад был, что сказал ей это, что она знает теперь это и думает об этом. Он не спал всю ночь. Вернувшись в свой вагон, он не переставая перебирал все положения, в которых ее видел, все ее слова, и в его воображении, заставляя замирать сердце, носились картины возможного будущего.

Когда в Петербурге он вышел из вагона, он чувствовал себя после бессонной ночи оживленным и свежим, как после холодной ванны. Он остановился у своего вагона, ожидая ее выхода. «Еще раз увижу, – говорил он себе, невольно улыбаясь, – увижу ее походку, ее лицо; скажет что-нибудь, поворотит голову, взглянет, улыбнется, может быть». Но прежде еще, чем он увидел ее, он увидел ее мужа, которого начальник станции учтиво проводил между толпою. «Ах, да! муж!» Теперь только в первый раз Вронский ясно понял то, что муж было связанное с нею лицо. Он знал, что у ней есть муж, но не верил в существование его и поверил в него вполне, только когда увидел его, с его головой, плечами и ногами в черных панталонах; в особенности когда он увидел, как этот муж с чувством собственности спокойно взял ее руку.

Увидев Алексея Александровича с его петербургски-свежим лицом и строго самоуверенною фигурой, в круглой шляпе, с немного выдающеюся спиной, он поверил в него и испытал неприятное чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, мучимый жаждою и добравшийся до источника и находящий в этом источнике собаку, овцу или свинью, которая и выпила и взмутила воду. Походка Алексея Александровича, ворочавшая всем тазом и тупыми ногами,

особенно оскорбляла Вронского. Он только за собой считал несомненное право любить ее. Но она была все та же; и вид ее все так же, физически оживляя, возбуждая и наполняя счастьем его душу, подействовал на него. Он приказал подбежавшему к нему из второго класса немцу-лакею взять вещи и ехать, а сам подошел к ней. Он видел первую встречу мужа с женою и заметил с проницательностью влюбленного признак легкого стеснения, с которым она говорила с мужем. «Нет, она не любит и не может любить его», – решил он сам с собою.

Еще в то время, как он подходил к Анне Аркадьевне сзади, он заметил с радостью, что она чувствовала его приближение и оглянулась было и, узнав его, опять обратилась к мужу.

– Хорошо ли вы провели ночь? – сказал он, наклоняясь пред нею и пред мужем вместе и предоставляя Алексею Александровичу принять этот поклон на свой счет и узнать его или не узнать, как ему будет угодно.

– Благодарю вас, очень хорошо, – отвечала она.

Лицо ее, казалось, устало, и не было на нем той игры просившегося то в улыбку, то в глаза оживления; но на одно мгновение при взгляде на него что-то мелькнуло в ее глазах, и, несмотря на то, что огонь этот сейчас же потух, он был счастлив этим мгновением. Она взглянула на мужа, чтоб узнать, знает ли он Вронского. Алексей Александрович смотрел на Вронского с неудовольствием, рассеянно вспоминая, кто это. Спокойствие и самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись на холодную самоуверенность Алексея Александровича.

– Граф Вронский, – сказала Анна.

– А! Мы знакомы, кажется, – равнодушно сказал Алексей Александрович, подавая руку. – Туда ехала с матерью, а назад с сыном, – сказал он, отчетливо выговаривая, как рублем даря каждым словом. – Вы, верно, из отпуска? – сказал он и, не дожидаясь ответа, обратился к жене своим шуточным тоном: – Что ж, много слез было пролито в Москве при разлуке?

Обращением этим к жене он давал чувствовать Вронскому, что желает остаться один, и, повернувшись к нему, коснулся шляпы; но Вронский обратился к Анне Аркадьевне:

– Надеюсь иметь честь быть у вас, – сказал он.

Алексей Александрович усталыми глазами взглянул на Вронского.

– Очень рад, – сказал он холодно, – по понедельникам мы принимаем. – Затем, отпустив совсем Вронского, он сказал жене: – И как хорошо, что у меня именно было полчаса времени, чтобы встретить тебя, и что я мог показать тебе свою нежность, – продолжал он тем же шуточным тоном.

– Ты слишком уже подчеркиваешь свою нежность, чтоб я очень ценила, – сказала она тем же шуточным тоном, невольно прислушиваясь к звукам шагов Вронского, шедшего за ними. «Но что мне за дело?» – подумала она и стала спрашивать у мужа, как без нее проводил время Сережа.

– О, прекрасно! Mariette говорит, что он был мил очень и... я должен тебя огорчить... не скучал о тебе, не так, как твой муж. Но еще раз merci, мой друг, что подарила мне день. Наш милый самовар будет в восторге. (Самоваром он называл знаменитую графиню Лидию Ивановну за то, что она всегда и обо всем волновалась и горячилась.) Она о тебе спрашивала. И знаешь, если я смею советовать, ты бы съездила к ней нынче. Ведь у ней обо всем болит сердце. Теперь она, кроме всех своих хлопот, занята примирением Облонских.

Графиня Лидия Ивановна была друг ее мужа и центр одного из тех кружков петербургского света, с которым по мужу ближе всех была связана Анна.

– Да ведь я писала ей.

– Но ей все нужно подробно. Съезди, если не устала, мой друг. Ну, тебе карету подаст Кондратий, а я еду в комитет. Опять буду обедать не один, – продолжал Алексей Александрович уже не шуточным тоном. – Ты не поверишь, как я привык...

И он, долго сжимая ей руку, с особенною улыбкой посадил ее в карету.

XXXII

Первое лицо, встретившее Анну дома, был сын. Он выскочил к ней по лестнице, несмотря на крик гувернантки, и с отчаянным восторгом кричал: «Мама, мама!» Добежав до нее, он повис ей на шее.

– Я говорил вам, что мама! – кричал он гувернантке. – Я знал!

И сын, так же как и муж, произвел в Анне чувство, похожее на разочарование. Она вообразила его лучше, чем он был в действительности. Она была должна опуститься до действительности, чтобы наслаждаться им таким, каков он был. Но и такой, каков он был, он был прелестен с своими белокурыми кудрями, голубыми глазами и полными стройными ножками в туго натянутых чулках. Анна испытывала почти физическое наслаждение в ощущении его близости и ласки и нравственное успокоение, когда встречала его простодушный, доверчивый и любящий взгляд и слышала его наивные вопросы. Анна достала подарки, которые посылали дети Долли, и рассказала сыну, какая в Москве есть девочка Таня и как Таня эта умеет читать и учит даже других детей.

– Что же, я хуже ее? – спросил Сережа.

– Для меня лучше всех на свете.

– Я это знаю, – сказал Сережа, улыбаясь.

Еще Анна не успела напиться кофе, как доложили про графиню Лидию Ивановну. Графиня Лидия Ивановна была высокая полная женщина с нездорово-желтым цветом лица и прекрасными задумчивыми черными глазами. Анна любила ее, но нынче она как будто в первый раз увидела ее со всеми ее недостатками.

– Ну что, мой друг, снесли оливковую ветвь? – спросила графиня Лидия Ивановна, только что вошла в комнату.

– Да, все это кончилось, но все это и было не так важно, как мы думали, – отвечала Анна. – Вообще моя *belle soeur* слишком решительна.

Но графиня Лидия Ивановна, всем до нее не касавшимся интересовавшаяся, имела привычку никогда не слушать того, что ее интересовало; она перебила Анну:

– Да, много горя и зла на свете, а я так измучена нынче.

– А что? – спросила Анна, стараясь удержать улыбку.

– Я начинаю уставать от напрасного ломания копий за правду и иногда совсем развешиваюсь. Дело сестричек (это было филантропическое, религиозно-патриотическое учреждение) пошло было прекрасно, но с этими господами ничего невозможно сделать, – прибавила графиня Лидия Ивановна с насмешливою покорностью судьбе. – Они ухватились за мысль, изуродовали ее и потом обсуждают так мелко и ничтожно. Два-три человека, ваш муж в том числе, понимают все значение этого дела, а другие только роняют. Вчера мне пишет Правдин...

Правдин был известный панславист за границей, и графиня Лидия Ивановна рассказала содержание его письма.

Затем графиня рассказала еще неприятности и козни против дела соединения церквей и уехала торопясь, так как ей в этот день приходилось быть еще на заседании одного общества и в Славянском комитете.

«Ведь все это было и прежде; но отчего я не замечала этого прежде? – сказала себе Анна. – Или она очень раздражена нынче? А в самом деле, смешно: ее цель добродетель, она христианка, а она все сердится, и всё у нее враги, и всё враги по христианству и добродетели».

После графини Лидии Ивановны приехала приятельница, жена директора, и рассказала все городские новости. В три часа и она уехала, обещаясь приехать к обеду. Алексей Александрович был в министерстве. Оставшись одна, Анна дообеденное время употребила на то,

чтобы присутствовать при обеде сына (он обедал отдельно) и чтобы привести в порядок свои вещи, прочесть и ответить на записки и письма, которые у нее скопились на столе.

Чувство беспричинного стыда, которое она испытывала дорогой, и волнение совершенно исчезли. В привычных условиях жизни она чувствовала себя опять твердою и безупречною.

Она с удивлением вспомнила свое вчерашнее состояние. «Что же было? Ничего. Вронский сказал глупость, которой легко положить конец, и я ответила так, как нужно было. Говорить об этом мужу не надо и нельзя. Говорить об этом – значит придавать важность тому, что ее не имеет». Она вспомнила, как она рассказала почти признание, которое ей сделал в Петербурге молодой подчиненный ее мужа, и как Алексей Александрович ответил, что, живя в свете, всякая женщина может подвергнуться этому, но что он доверяется вполне ее такту и никогда не позволит себе унизить ее и себя до ревности. «Стало быть, незачем говорить? Да, слава Богу, и нечего говорить», – сказала она себе.

XXXIII

Алексей Александрович вернулся из министерства в четыре часа, но, как это часто бывало, не успел войти к ней. Он прошел в кабинет принимать ожидавших просителей и подписать некоторые бумаги, принесенные правителем дел. К обеду (всегда человека три обедали у Карениных) приехали: старая кузина Алексея Александровича, директор департамента с женой и один молодой человек, рекомендованный Алексею Александровичу на службу. Анна вышла в гостиную, чтобы занимать их. Ровно в пять часов бронзовые часы Петра I не успели добить пятого удара, как вышел Алексей Александрович в белом галстуке и во фраке с двумя звездами, так как сейчас после обеда ему надо было ехать. Каждая минута жизни Алексея Александровича была занята и распределена. И для того, чтоб успевать сделать то, что ему предстояло каждый день, он держался строжайшей аккуратности. «Без поспешности и без отдыха» – было его девизом. Он вошел, потирая лоб, в залу, раскланялся со всеми и поспешно сел, улыбаясь жене.

– Да, кончилось мое уединение. Ты не поверишь, как неловко (он ударил на слове *неловко*) обедать одному.

За обедом он поговорил с женой о московских делах, с насмешливою улыбкой спрашивал о Степане Аркадьиче; но разговор шел преимущественно общий, о петербургских служебных и общественных делах. После обеда он провел полчаса с гостями и, опять с улыбкой пожав руку жене, вышел и уехал в совет. Анна не поехала в этот раз ни к княгине Бетси Тверской, которая, узнав о ее приезде, звала ее вечером, ни в театр, где нынче была у нее ложа. Она не поехала преимущественно потому, что платье, на которое она рассчитывала, было не готово. Вообще, занявшись после отъезда гостей своим туалетом, Анна была очень раздосадована. Пред отъездом в Москву она, вообще мастерица одеваться не очень дорого, отдала модистке для переделки три платья. Платья нужно было так переделать, чтоб их нельзя было узнать, и они должны были быть готовы уже три дня тому назад. Оказалось, что два платья были совсем не готовы, а одно переделано не так, как того хотела Анна. Модистка приехала объясняться, утверждая, что так будет лучше, и Анна разгорячилась так, что ей потом совестно было вспоминать. Чтобы совершенно успокоиться, она пошла в детскую и весь вечер провела с сыном, сама уложила его спать, перекрестила и покрыла его одеялом. Она рада была, что не поехала никуда и так хорошо провела этот вечер. Ей так легко и спокойно было, так ясно она видела, что все, что ей на железной дороге представлялось столь значительным, был только один из обычных ничтожных случаев светской жизни и что ей ни пред кем, ни пред собой стыдиться нечего. Анна села у камина с английским романом и ждала мужа. Ровно в половине десятого послышался его звонок, и он вошел в комнату.

– Наконец-то ты! – сказала она, протягивая ему руку.

Он поцеловал ее руку и подсел к ней.

– Вообще я вижу, что поездка твоя удалась, – сказал он ей.

– Да, очень, – отвечала она и стала рассказывать ему все сначала: свое путешествие с Вронскою, свой приезд, случай на железной дороге. Потом рассказала свое впечатление жалости к брату сначала, потом к Долли.

– Я не полагаю, чтобы можно было извинять такого человека, хотя он и твой брат, – сказал Алексей Александрович строго.

Анна улыбнулась. Она поняла, что он сказал это именно затем, чтобы показать, что соображения родства не могут остановить его в высказывании своего искреннего мнения. Она знала эту черту в своем муже и любила ее.

– Я рад, что все кончилось благополучно и что ты приехала, – продолжал он. – Ну, что говорят там про новое положение, которое я провел в совете?

Анна ничего не слышала об этом положении, и ей стало совестно, что она так легко могла забыть о том, что для него было так важно.

– Здесь, напротив, это наделало много шума, – сказал он с самодовольною улыбкой.

Она видела, что Алексей Александрович хотел что-то сообщить ей приятное для себя об этом деле, и она вопросами навела его на рассказ. Он с тою же самодовольною улыбкой рассказал об овациях, которые были сделаны ему вследствие этого проведенного положения.

– Я очень, очень был рад. Это доказывает, что, наконец, у нас начинает устанавливаться разумный и твердый взгляд на это дело.

Допив со сливками и хлебом свой второй стакан чая, Алексей Александрович встал и пошел в свой кабинет.

– А ты никуда не поехала; тебе, верно, скучно было? – сказал он.

– О нет! – отвечала она, встав за ним и провожая его чрез залу в кабинет. – Что же ты читаешь теперь? – спросила она.

– Теперь я читаю Duc de Lille, «Poesie des enfers»^{66, 67} – отвечал он. – Очень замечательная книга.

Анна улыбнулась, как улыбаются слабостям любимых людей, и, положив свою руку под его, проводила его до дверей кабинета. Она знала его привычку, сделавшуюся необходимою, вечером читать. Она знала, что, несмотря на поглощавшие почти все его время служебные обязанности, он считал своим долгом следить за всем замечательным, появлявшимся в умственной сфере. Она знала тоже, что действительно его интересовали книги политические, философские, богословские, что искусство было по его натуре совершенно чуждо ему, но что, несмотря на это, или лучше вследствие этого, Алексей Александрович не пропускал ничего из того, что делало шум в этой области, и считал своим долгом все читать. Она знала, что в области политики, философии, богословия Алексей Александрович сомневался или отыскивал; но в вопросах искусства и поэзии, в особенности музыки, понимания которой он был совершенно лишен, у него были самые определенные и твердые мнения. Он любил говорить о Шекспире, Рафаэле, Бетховене, о значении новых школ поэзии и музыки, которые все были у него распределены с очень ясною последовательностью.

– Ну, и Бог с тобой, – сказала она у двери кабинета, где уже были приготовлены ему абажур на свече и графин воды у кресла. – А я напишу в Москву.

Он пожал ей руку и опять поцеловал ее.

«Все-таки он хороший человек, правдивый, добрый и замечательный в своей сфере, – говорила себе Анна, вернувшись к себе, как будто защищая его пред кем-то, кто обвинял его

⁶⁶ Duc de Lille «Poesie des enfers». – Дюк де Лиль – вымышленное имя. Вероятно, имеется в виду Леконт де Лиль. Название книги – «Поэзия ада» – носит пародийный характер.

⁶⁷ Герцога де Лиля, «Поэзия ада» (франц.).

и говорил, что его нельзя любить. – Но что это уши у него так странно выдаются! Или он обстригся?»

Ровно в двенадцать, когда Анна еще сидела за письменным столом, дописывая письмо к Долли, послышались ровные шаги в туфлях, и Алексей Александрович, вымытый, причесанный, с книгой под мышкой, подошел к ней.

– Пора, пора, – сказал он, особенно улыбаясь, и прошел в спальню.

«И какое право имел он так смотреть на него?» – подумала Анна, вспоминая взгляд Вронского на Алексея Александровича.

Раздевшись, она вошла в спальню, но на лице ее не только не было того оживления, которое в бытность ее в Москве так и брызгало из ее глаз и улыбки: напротив, теперь огонь казался потушенным в ней или где-то далеко припрятанным.

XXXIV

Уезжая из Петербурга, Вронский оставил свою большую квартиру на Морской приятелю и любимому товарищу Петрицкому.

Петрицкий был молодой поручик, не особенно знатный и не только не богатый, но кругом в долгах, к вечеру всегда пьяный и часто за разные и смешные и грязные истории попадавший на гауптвахту, но любимый и товарищами и начальством. Подъезжая в двенадцатом часу с железной дороги к своей квартире, Вронский увидел у подъезда знакомую ему извозчичью карету. Из-за двери еще на свой звонок он услышал хохот мужчин и французский лепет женского голоса и крик Петрицкого: «Если кто из злодеев, то не пускать!» Вронский не велел денщику говорить о себе и потихоньку вошел в первую комнату. Баронесса Шильтон, приятельница Петрицкого, блестя лиловым атласом платья и румяным белокурым личиком и, как канарейка, наполняя всю комнату своим парижским говором, сидела пред круглым столом, варя кофе. Петрицкий в пальто и ротмистр Камеровский в полной форме, вероятно со службы, сидели вокруг нее.

– Bravo! Вронский! – закричал Петрицкий, вскакивая и гремя стулом. – Сам хозяин! Баронесса, кофею ему из нового кофейника. Вот не ждали! Надеюсь, ты доволен украшением твоего кабинета, – сказал он, указывая на баронессу. – Вы ведь знакомы?

– Еще бы! – сказал Вронский, весело улыбаясь и пожимая маленькую ручку баронессы. – Как же! старый друг.

– Вы домой с дороги, – сказала баронесса, – так я бегу. Ах, я уеду сию минуту, если я мешаю.

– Вы дома там, где вы, баронесса, – сказал Вронский. – Здравствуй, Камеровский, – прибавил он, холодно пожимая руку Камеровского.

– Вот вы никогда не умеете говорить такие хорошенькие вещи, – обратилась баронесса к Петрицкому.

– Нет, отчего же? После обеда и я скажу не хуже.

– Да после обеда нет заслуги! Ну, так я вам дам кофею, идите мойтесь и убирайтесь, – сказала баронесса, опять садясь и заботливо поворачивая винтик в новом кофейнике. – Пьер, дайте кофе, – обратилась она к Петрицкому, которого она называла Пьер, по его фамилии Петрицкий, не скрывая своих отношений с ним. – Я прибавлю.

– Испортите.

– Нет, не испорчу! Ну, а ваша жена? – сказала вдруг баронесса, перебивая разговор Вронского с товарищем. – Вы не привезли вашу жену? Мы здесь женили вас.

– Нет, баронесса. Я рожден цыганом и умру цыганом.

– Тем лучше, тем лучше. Давайте руку.

И баронесса, не отпуская Вронского, стала ему рассказывать, пересыпая шутками, свои последние планы жизни и спрашивать его совета.

– Он все не хочет давать мне развода! Ну что же мне делать? (Он был муж ее.) Я теперь хочу процесс начинать. Как вы мне посоветуете? Камеровский, смотрите же за кофеем – ушел; вы видите, я занята делами! Я хочу процесс, потому что состояние мне нужно мое. Вы понимаете ли эту глупость, что я ему будто бы неверна, – с презрением сказала она, – и от этого он хочет пользоваться моим именем.

Вронский слушал с удовольствием этот веселый лепет хорошенькой женщины, поддакивал ей, давал полушутливые советы и вообще тотчас же принял свой привычный тон обращения с этого рода женщинами. В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, с которой он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, – и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться.

Вронский только в первую минуту был ошеломлен после впечатлений совсем другого мира, привезенных им из Москвы; но тотчас же, как будто всунул ноги в старые туфли, он вошел в свой прежний веселый и приятный мир.

Кофе так и не сварился, а обрызгал всех и ушел и произвел именно то самое, что было нужно, то есть подал повод к шуму и смеху и залил дорогой ковер и платье баронессы.

– Ну, теперь прощайте, а то вы никогда не умоетесь, и на моей совести будет главное преступление порядочного человека, нечистоплотность. Так вы советуете нож к горлу?

– Непременно, и так, чтобы ваша ручка была поближе от его губ. Он поцелует вашу ручку, и все кончится благополучно, – отвечал Вронский.

– Так нынче во Французском! – И, зашумев платьем, она исчезла.

Камеровский поднялся тоже, а Вронский, не дожидаясь его ухода, подал ему руку и отправился в уборную. Пока он умывался, Петрицкий описал ему в кратких чертах свое положение, насколько оно изменилось после отъезда Вронского. Денег нет ничего. Отец сказал, что не даст и не заплатит долгов. Портной хочет посадить, и другой тоже непременно грозит посадить. Полковой командир объявил, что если эти скандалы не прекратятся, то надо выходить. Баронесса надоела, как горькая редька, особенно тем, что все хочет давать деньги; а есть одна, он ее покажет Вронскому, чудо, прелесть, в восточном строгом стиле, «genre рабыни Ребекки, понимаешь». С Беркошевым тоже вчера разбранился, и он хотел прислать секундентов, но, разумеется, ничего не выйдет. Вообще же все превосходно и чрезвычайно весело. И, не давая товарищу углубляться в подробности своего положения, Петрицкий пустился рассказывать ему все интересные новости. Слушая столь знакомые рассказы Петрицкого в столь знакомой обстановке своей трехлетней квартиры, Вронский испытывал приятное чувство возвращения к привычной и беззаботной петербургской жизни.

– Не может быть! – закричал он, отпустив педаль умывальника, которым он обливал свою красную здоровую шею. – Не может быть! – закричал он при известии о том, что Лора сошлась с Милеевым и бросила Фертингофа. – И он все так же глуп и доволен? Ну, а Бузулуков что?

– Ах, с Бузулуковым была история – прелесть! – закричал Петрицкий. – Ведь его страсть – балы, и он ни одного придворного бала не пропускает. Отправился он на большой бал в новой каске. Ты видел новые каски? Очень хороши, легче. Только стоит он... Нет, ты слушай.

– Да я слушаю, – растираясь мохнатым полотенцем, отвечал Вронский.

– Проходит великая княгиня с каким-то послом, и на его беду зашел у них разговор о новых касках. Великая княгиня и хотела показать новую каску... Видят, наш голубчик стоит. (Петрицкий представил, как он стоит с каской.) Великая княгиня попросила себе подать каску, – он не дает. Что такое? Только ему мигают, кивают, хмурятся. Подай. Не дает. Замер. Можешь себе представить!.. Только этот... как его... хочет уже взять у него каску... не дает!.. Он вырвал, подает великой княгине. «Вот эта новая», – говорит великая княгиня. Повернула каску, и, можешь себе представить, оттуда бух! груша, конфеты, два фунта конфет!.. Он это набрал, голубчик!

Вронский покатился со смеху. И долго потом, говоря уже о другом, закатывался своим здоровым смехом, выставляя свои крепкие сплошные зубы, когда вспоминал о каске.

Узнав все новости, Вронский с помощью лакея оделся в мундир и поехал являться. Явившись, он намерен был съездить к брату, к Бетси и сделать несколько визитов с тем, чтоб начать ездить в тот свет, где бы он мог встречать Каренину. Как и всегда в Петербурге, он выехал из дома с тем, чтобы не возвращаться до поздней ночи.

Часть вторая

I

В конце зимы в доме Щербацких происходил консилиум, долженствовавший решить, в каком положении находится здоровье Кити и что нужно предпринять для восстановления ее ослабевающих сил. Она была больна, и с приближением весны здоровье ее становилось хуже. Домашний доктор давал ей рыбий жир, потом железо, потом лапис, но так как ни то, ни другое, ни третье не помогало и так как он советовал от весны уехать за границу, то приглашен был знаменитый доктор. Знаменитый доктор, не старый еще, весьма красивый мужчина, потребовал осмотра больной. Он с особенным удовольствием, казалось, настаивал на том, что девичья стыдливость есть только остаток варварства и что нет ничего естественнее, как то, чтоб еще не старый мужчина ощупывал молодую обнаженную девушку. Он находил это естественным, потому что делал это каждый день и при этом ничего не чувствовал и не думал, как ему казалось, дурного, и поэтому стыдливость в девушке он считал не только остатком варварства, но и оскорблением себе. Надо было покориться, так как, несмотря на то, что все доктора учились в одной школе, по одним и тем же книгам, знали одну науку, и несмотря на то, что некоторые говорили, что этот знаменитый доктор был дурной доктор, в доме княгини и в ее кругу было признано почему-то, что этот знаменитый доктор один знает что-то особенное и один может спасти Кити. После внимательного осмотра и постукивания растерянной и ошеломленной от стыда больной знаменитый доктор, старательно вымыв свои руки, стоял в гостиной и говорил с князем. Князь хмурился, покашливая, слушая доктора. Он, как поживший, не глупый и не больной человек, не верил в медицину и в душе злился на всю эту комедию, тем более что едва ли не он один вполне понимал причину болезни Кити. «То-то пустобрех», – думал он, применяя в мыслях это название из охотничьего словаря к знаменитому доктору и слушая его болтовню о признаках болезни дочери. Доктор между тем с трудом удерживал выражение презрения к этому старому баричу и с трудом спускался до низменности его понимания. Он понимал, что с стариком говорить нечего и что глава в этом доме – мать. Пред нею-то он намеревался рассыпать свой бисер. В это время княгиня вошла в гостиную с домашним доктором. Князь отошел, стараясь не дать заметить, как ему смешна была вся эта комедия. Княгиня была растеряна и не знала, что делать. Она чувствовала себя виноватою пред Кити.

– Ну, доктор, решайте нашу судьбу, – сказала княгиня. – Говорите мне всё. – «Есть ли надежда?» – хотела она сказать, но губы ее задрожали, и она не могла выговорить этот вопрос. – Ну что, доктор?..

– Сейчас, княгиня, переговорю с коллегой и тогда буду иметь честь доложить вам свое мнение.

– Так нам вас оставить?

– Как вам будет угодно.

Княгиня, вздохнув, вышла.

Когда доктора остались одни, домашний врач робко стал излагать свое мнение, состоящее в том, что есть начало туберкулезного процесса, но... и т. д. Знаменитый доктор слушал его и в середине его речи посмотрел на свои крупные золотые часы.

– Так, – сказал он. – Но...

Домашний врач замолк почтительно на середине речи.

– Определить, как вы знаете, начало туберкулезного процесса мы не можем; до появления каверн нет ничего определенного. Но подозревать мы можем. И указания есть: дурное питание,

нервное возбуждение и прочее. Вопрос стоит так: при подозрении туберкулезного процесса что нужно сделать, чтобы поддержать питание?

– Но, ведь вы знаете, тут всегда скрываются нравственные, духовные причины, – с тонкою улыбкой позволил себе вставить домашний доктор.

– Да, это само собой разумеется, – отвечал знаменитый доктор, опять взглянув на часы. – Виноват; что, поставлен ли Яузский мост или надо все еще кругом объезжать? – спросил он. – А! поставлен. Да, ну так я в двадцать минут могу быть. Так мы говорили, что вопрос так поставлен: поддержать питание и исправить нервы. Одно в связи с другим, надо действовать на обе стороны круга.

– Но поездка за границу? – спросил домашний доктор.

– Я враг поездок за границу. И извольте видеть: если есть начало туберкулезного процесса, чего мы знать не можем, то поездка за границу не поможет. Необходимо такое средство, которое бы поддерживало питание и не вредило.

И знаменитый доктор изложил свой план лечения водами Соденскими, при назначении которых главная цель, очевидно, состояла в том, что они повредить не могут.

Домашний доктор внимательно и почтительно выслушал.

– Но в пользу поездки за границу я бы выставил перемену привычек, удаление от условий, вызывающих воспоминания. И потом матери хочется, – сказал он.

– А! Ну, в этом случае, что ж, пускай едут; только повредят эти немецкие шарлатаны... Надо, чтобы слушались... Ну, так пускай едут.

Он опять взглянул на часы.

– О! уже пора, – и пошел к двери.

Знаменитый доктор объявил княгине (чувство приличия подсказало это), что ему нужно видеть еще раз больную.

– Как! еще раз осматривать! – с ужасом воскликнула мать.

– О нет, мне некоторые подробности, княгиня.

– Милости просим.

И мать, сопутствуемая доктором, вошла в гостиную к Кити. Исхудавшая и румяная, с особенным блеском в глазах вследствие перенесенного стыда, Кити стояла посреди комнаты. Когда доктор вошел, она вспыхнула, и глаза ее наполнились слезами. Вся ее болезнь и лечение представлялись ей такою глупою, даже смешною вещью! Лечение ее представлялось ей столь же смешным, как составление кусков разбитой вазы. Сердце ее было разбито. Что же они хотят лечить ее пилюлями и порошками? Но нельзя было оскорблять мать, тем более что мать считала себя виноватою.

– Потрудитесь присесть, княжна, – сказал знаменитый доктор.

Он с улыбкой сел против нее, взял пульс и опять стал делать скучные вопросы. Она отвечала ему и вдруг, рассердившись, встала.

– Извините меня, доктор, но это, право, ни к чему не поведет, и вы у меня по три раза то же самое спрашиваете.

Знаменитый доктор не обиделся.

– Болезненное раздражение, – сказал он княгине, когда Кити вышла. – Впрочем, я кончил...

И доктор пред княгиней, как пред исключительно умною женщиной, научно определил положение княжны и заключил наставлением о том, как пить те воды, которые были не нужны. На вопрос, ехать ли за границу, доктор углубился в размышления, как бы разрешая трудный вопрос. Решение, наконец, было изложено: ехать и не верить шарлатанам, а во всем обращаться к нему.

Как будто что-то веселое случилось после отъезда доктора. Мать повеселела, вернувшись к дочери, и Кити притворилась, что она повеселела. Ей часто, почти всегда, приходилось теперь притворяться.

– Право, я здорова, маман. Но если вы хотите ехать, поедemте! – сказала она и, стараясь показать, что интересуется предстоящею поездкой, стала говорить о приготовлениях к отъезду.

II

Вслед за доктором приехала Долли. Она знала, что в этот день должен быть консилиум, и, несмотря на то, что недавно поднялась от родов (она родила девочку в конце зимы), несмотря на то, что у ней было много своего горя и забот, оставив грудного ребенка и заболевшую девочку, она заехала узнать об участии Кити, которая решалась нынче.

– Ну, что? – сказала она, входя в гостиную и не снимая шляпы. – Вы все веселые. Верно, хорошо?

Ей попробовали рассказывать, что говорил доктор, но оказалось, что, хотя доктор и говорил очень складно и долго, никак нельзя было передать того, что он сказал. Интересно было только то, что решено ехать за границу.

Долли невольно вздохнула. Лучший друг ее, сестра, уезжала. А жизнь ее была не весела. Отношения к Степану Аркадьичу после примирения сделались унижительны. Спайка, сделанная Анной, оказалась непрочна, и семейное согласие надломилось опять в том же месте. Определенного ничего не было, но Степана Аркадьича никогда почти не было дома, денег тоже никогда почти не было дома, и подозрения неверностей постоянно мучали Долли, и она уже отгоняла их от себя, боясь испытанных страданий ревности. Первый взрыв ревности, раз пережитый, уже не мог возвратиться, и даже открытие неверности не могло бы уже так подействовать на нее, как в первый раз. Такое открытие теперь только лишило бы ее семейных привычек, и она позволяла себя обманывать, презирая его и больше всего себя за эту слабость. Сверх того, заботы большого семейства беспрестанно мучали ее: то кормление грудного ребенка не шло, то нянька ушла, то, как теперь, заболел один из детей.

– Что, как твой? – спросила мать.

– Ах, маман, у вас своего горя много. Лили заболела, и я боюсь, что скарлатина. Я вот теперь выехала, чтоб узнать, а то засяду уже безвыездно, если, избави Бог, скарлатина.

Старый князь после отъезда доктора тоже вышел из своего кабинета и, подставив свою щеку Долли и поговорив с ней, обратился к жене:

– Как же решаете, едете? Ну, а со мной что хотите делать?

– Я думаю, тебе остаться, Александр Андреич, – сказала жена.

– Как хотите.

– Маман, отчего же папа не ехать с нами? – сказала Кити. – И ему веселей и нам.

Старый князь встал и погладил рукой волосы Кити. Она подняла лицо и, насильно улыбаясь, смотрела на него. Ей всегда казалось, что он лучше всех в семье понимает ее, хотя он мало говорил с ней. Она была, как меньшая, любимица отца, и ей казалось, что любовь его к ней делала его проникательным. Теперь, встретившись с его голубыми, добрыми глазами, пристально смотревшими на нее с его сморщенного лица, ей казалось, что он насквозь видит ее и понимает все то нехорошее, что в ней делается. Она, краснея, потянулась к нему, ожидая поцелуя, но он только потрепал ее по волосам и проговорил:

– Эти глупые шиньоны! До настоящей дочери и не доберешься, а ласкаешь волосы дохлых баб. Ну что, Долинька, – обратился он к старшей дочери, – твой козырь что поделявает?

– Ничего, папа, – отвечала Долли, понимая, что речь идет о муже. – Все ездит, я его почти не вижу, – не могла она не прибавить с насмешливою улыбкой.

– Что ж, он не уехал еще в деревню лес продавать?

– Нет, все собирается.

– Вот как! – проговорил князь. – Так и мне собираться? Слушаю-с, – обратился он к жене, садясь. – А ты вот что, Катя, – прибавил он к меньшей дочери, – ты когда-нибудь, в один прекрасный день, проснись и скажи себе: да ведь я совсем здорова и весела, и пойдем с папа опять рано утром по морозцу гулять. А?

Казалось, очень просто то, что сказал отец, но Кити при этих словах смешалась и растерялась, как уличенный преступник. «Да, он все знает, все понимает и этими словами говорит мне, что хотя и стыдно, а надо пережить свой стыд». Она не могла собраться с духом ответить что-нибудь. Начала было и вдруг расплакалась и выбежала из комнаты.

– Вот твои шутки! – напустилась княгиня на мужа. – Ты всегда... – начала она свою укорищенную речь.

Князь слушал довольно долго упреки княгини и молчал, но лицо его все более и более хмурилось.

– Она так жалка, бедняжка, так жалка, а ты не чувствуешь, что ей больно от всякого намека на то, что причиной. Ах! так ошибаться в людях! – сказала княгиня, и по перемене ее тона Долли и князь поняли, что она говорила о Вронском. – Я не понимаю, как нет законов против таких гадких, неблагородных людей.

– Ах, не слушал бы! – мрачно проговорил князь, вставая с кресла и как бы желая уйти, но останавливаясь в дверях. – Законы есть, матушка, и если ты уж вызвала меня на это, то я тебе скажу, кто виноват во всем: ты и ты, одна ты. Законы против таких молодчиков всегда были и есть! Да-с, если бы не было того, чего не должно было быть, я – старик, но я бы поставил его на барьер, этого франта. Да, а теперь и лечите, возите к себе этих шарлатанов.

Князь, казалось, имел сказать еще многое, но как только княгиня услышала его тон, она, как это всегда бывало в серьезных вопросах, тотчас же смирилась и раскаялась.

– Alexandre, Alexandre, – шептала она, подвигаясь, и расплакалась.

Как только она заплакала, князь тоже затих. Он подошел к ней.

– Ну, будет, будет! И тебе тяжело, я знаю. Что делать? Беды большой нет. Бог милостив... благодарствуй... – говорил он, уже сам не зная, что говорит, и отвечая на мокрый поцелуй княгини, который он почувствовал на своей руке, и вышел из комнаты.

Еще как только Кити в слезах вышла из комнаты, Долли с своею материнскою, семейною привычкою тотчас же увидела, что тут предстоит женское дело, и приготовилась сделать его. Она сняла шляпку и, нравственно засучив рукава, приготовилась действовать. Во время нападения матери на отца она пыталась удерживать мать, насколько позволяла дочерняя почтительность. Во время взрыва князя она молчала; она чувствовала стыд за мать и нежность к отцу за его сейчас же вернувшуюся доброту; но когда отец ушел, она собралась сделать главное, что было нужно, – идти к Кити и успокоить ее.

– Я вам давно хотела сказать, мама: вы знаете ли, что Левин хотел сделать предложение Кити, когда он был здесь в последний раз? Он говорил Стиве.

– Ну что ж? Я не понимаю...

– Так, может быть, Кити отказала ему?... Она вам не говорила?

– Нет, она ничего не говорила ни про того, ни про другого; она слишком горда. Но я знаю, что все от этого...

– Да, вы представьте себе, если она отказала Левину, – а она бы не отказала ему, если б не было того, я знаю... И потом этот так ужасно обманул ее.

Княгине слишком страшно было думать, как много она виновата пред дочерью, и она рассердилась.

– Ах, я уж ничего не понимаю! Нынче всё хотят своим умом жить, матери ничего не говорят, а потом вот и...

– Мама, я пойду к ней.

– Поди. Разве я тебе запрещаю? – сказала мать.

III

Войдя в маленький кабинет Кити, хорошенькую, розовенькую, с куколками *vieux sahe*,⁶⁸ комнатку, такую же молоденькую, розовенькую и веселую, какою была сама Кити еще два месяца тому назад, Долли вспомнила, как убирала они вместе прошлого года эту комнатку, с каким весельем и любовью. У ней похолодело сердце, когда она увидела Кити, сидевшую на низеньком, ближайшем от двери стуле и устремившую неподвижные глаза на угол ковра. Кити взглянула на сестру, и холодное, несколько суровое выражение ее лица не изменилось.

– Я теперь уеду и засяду дома, и тебе нельзя будет ко мне, – сказала Дарья Александровна, садясь подле нее. – Мне хочется поговорить с тобой.

– О чем? – испуганно подняв голову, быстро спросила Кити.

– О чем, как не о твоём горе?

– У меня нет горя.

– Полно, Кити. Неужели ты думаешь, что я могу не знать? Я все знаю. И поверь мне, это так ничтожно... Мы все прошли через это.

Кити молчала, и лицо ее имело строгое выражение.

– Он не стоит того, чтобы ты страдала из-за него, – продолжала Дарья Александровна, прямо приступая к делу.

– Да, потому что он мною пренебрег, – дребезжащим голосом проговорила Кити. – Не говори! Пожалуйста, не говори!

– Да кто же тебе это сказал? Никто этого не говорил. Я уверена, что он был влюблен в тебя и остался влюблен, но...

– Ах, ужаснее всего мне эти соболезнования! – вскрикнула Кити, вдруг рассердившись. Она повернулась на стуле, покраснела и быстро зашевелила пальцами, сжимая то тою, то другою рукой пряжку пояса, которую она держала. Долли знала эту манеру сестры перехватывать руками, когда она приходила в горячность; она знала, как Кити способна была в минуту горячности забыть и наговорить много лишнего и неприятного, и Долли хотела успокоить ее; но было уже поздно.

– Что, что ты хочешь мне дать почувствовать, что? – говорила Кити быстро. – То, что я была влюблена в человека, который меня знать не хотел, и что я умираю от любви к нему? И это мне говорит сестра, которая думает, что... что... что она соболезнует!.. Не хочу я этих сожалений и притворств!

– Кити, ты несправедлива.

– Зачем ты мучаешь меня?

– Да я, напротив... Я вижу, что огорчена...

Но Кити в своей горячке не слышала ее.

– Мне не о чем сокрушаться и утешаться. Я настолько горда, что никогда не позволю себе любить человека, который меня не любит.

– Да я и не говорю... Одно – скажи мне правду, – проговорила, взяв ее за руку, Дарья Александровна, – скажи мне, Левин говорил тебе?..

Упоминание о Левине, казалось, лишило Кити последнего самообладания; она вскочила со стула и, бросив пряжку о землю и делая быстрые жесты руками, заговорила:

– К чему тут еще Левин? Не понимаю, зачем тебе нужно мучить меня? Я сказала и повторяю, что я горда и никогда, *никогда* я не сделаю то, что ты делаешь, – чтобы вернуться к чело-

⁶⁸ старого саксонского фарфора (*франц.*).

веку, который тебе изменил, который полюбил другую женщину. Я не понимаю, не понимаю этого! Ты можешь, а я не могу!

И, сказав эти слова, она взглянула на сестру, и, увидев, что Долли молчит, грустно опустив голову, Кити, вместо того чтобы выйти из комнаты, как намеревалась, села у двери и, закрыв лицо платком, опустила голову.

Молчание продолжалось минуты две. Долли думала о себе. То свое унижение, которое она всегда чувствовала, особенно больно отозвалось в ней, когда о нем напомнила ей сестра. Она не ожидала такой жестокости от сестры и сердилась на нее. Но вдруг она услышала шум платья и вместе звук разразившегося сдержанного рыдания, и чьи-то руки снизу обняли ее шею. Кити на коленях стояла пред ней.

– Долинька, я так, так несчастна! – виновато прошептала она.

И покрытое слезами милое лицо спряталось в юбку платья Дарьи Александровны.

Как будто слезы были та необходимая мазь, без которой не могла идти успешно машина взаимного общения между двумя сестрами, – сестры после слез разговорились не о том, что занимало их; но, и говоря о постороннем, они поняли друг друга. Кити поняла, что сказанное ею в сердцах слово о неверности мужа и об унижении до глубины сердца поразило бедную сестру, но что она прощала ей. Долли, с своей стороны, поняла все, что она хотела знать; она убедилась, что догадки ее были верны, что горе, неизлечимое горе Кити состояло именно в том, что Левин делал предложение и что она отказала ему, а Вронский обманул ее, и что она готова была любить Левина и ненавидеть Вронского. Кити ни слова не сказала об этом; она говорила только о своем душевном состоянии.

– У меня нет никакого горя, – говорила она, успокоившись, – но ты можешь ли понять, что мне все стало гадко, противно, грубо, и прежде всего я сама. Ты не можешь себе представить, какие у меня гадкие мысли обо всем.

– Да какие же могут быть у тебя гадкие мысли? – спросила Долли, улыбаясь.

– Самые, самые гадкие и грубые; не могу тебе сказать. Это не тоска, не скука, а гораздо хуже. Как будто все, что было хорошего во мне, все спряталось, а осталось одно самое гадкое. Ну, как тебе сказать? – продолжала она, видя недоумение в глазах сестры. – Папа сейчас мне начал говорить... мне кажется, он думает только, что мне нужно выйти замуж. Мама везет меня на бал: мне кажется, что она только затем везет меня, чтобы поскорее выдать замуж и избавиться от меня. Я знаю, что это неправда, но не могу отогнать этих мыслей. Женихов так называемых я видеть не могу. Мне кажется, что они с меня мерку снимают. Прежде ехать куда-нибудь в бальном платье для меня было просто удовольствие, я собой любовалась; теперь мне стыдно, неловко. Ну, что хочешь! Доктор... Ну...

Кити замялась; она хотела далее сказать, что с тех пор, как с ней сделалась эта перемена, Степан Аркадьич ей стал невыносимо неприятен и что она не может видеть его без представлений самых грубых и безобразных.

– Ну да, все мне представляется в самом грубом, гадком виде, – продолжала она. – Это моя болезнь. Может быть, это пройдет....

– А ты не думай...

– Не могу. Только с детьми мне хорошо, только у тебя.

– Жаль, что нельзя тебе бывать у меня.

– Нет, я приеду. У меня была скарлатина, и я упрошу маман.

Кити настояла на своем и переехала к сестре и всю скарлатину, которая действительно пришла, ухаживала за детьми. Обе сестры благополучно выходили всех шестерых детей, но здоровье Кити не поправилось, и Великим постом Щербацкие уехали за границу.

IV

Петербургский высший круг, собственно, один; все знают друг друга, даже ездят друг к другу. Но в этом большом круге есть свои подразделения. Анна Аркадьевна Каренина имела друзей и тесные связи в трех различных кругах. Один круг был служебный, официальный круг ее мужа, состоявший из его сослуживцев и подчиненных, самым разнообразным и прихотливым образом связанных и разъединенных в общественных условиях. Анна теперь с трудом могла вспомнить то чувство почти набожного уважения, которое она в первое время имела к этим лицам. Теперь она знала всех их, как знают друг друга в уездном городе; знала, у кого какие привычки и слабости, у кого какой сапог жмет ногу; знала их отношения друг к другу и к главному центру; знала, кто за кого и как и чем держится и кто с кем и в чем сходятся и расходятся; но этот круг правительственных, мужских интересов никогда, несмотря на внушения графини Лидии Ивановны, не мог интересовать ее, и она избегала его.

Другой близкий Анне кружок – это был тот, через который Алексей Александрович сделал свою карьеру. Центром этого кружка была графиня Лидия Ивановна. Это был кружок старых, некрасивых, добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, честолюбивых мужчин. Один из умных людей, принадлежащих к этому кружку, называл его «совестью петербургского общества». Алексей Александрович очень дорожил этим кружком, и Анна, так умевшая сживаться со всеми, нашла себе в первое время своей петербургской жизни друзей и в этом круге. Теперь же, по возвращении из Москвы, кружок этот ей стал невыносим. Ей показалось, что и она и все они притворяются, и ей стало так скучно и неловко в этом обществе, что она сколько возможно менее ездила к графине Лидии Ивановне.

Третий круг, наконец, где она имела связи, был собственно свет, – свет балов, обедов, блестящих туалетов, свет, державшийся одною рукой за двор, чтобы не спуститься до полусвета, который члены этого круга думали, что презирали, но с которым вкусы у него были не только сходные, но одни и те же. Связь ее с этим кругом держалась чрез княгиню Бетси Тверскую, жену ее двоюродного брата, у которой было сто двадцать тысяч дохода и которая с самого появления Анны в свет особенно полюбила ее, ухаживала за ней и втягивала в свой круг, смеясь над кругом графини Лидии Ивановны.

– Когда стара буду и дурна, я сделаюсь такая же, – говорила Бетси, – но для вас, для молодой, хорошенькой женщины, еще рано в эту богадельню.

Анна первое время избегала, сколько могла, этого света княгини Тверской, так как он требовал расходов выше ее средств, да и по душе она предпочитала первый; но после поездки в Москву сделалось наоборот. Она избегала нравственных друзей своих и ездила в большой свет. Там она встречала Вронского и испытывала волнующую радость при этих встречах. Особенно часто встречала она Вронского у Бетси, которая была урожденная Вронская и ему двоюродная. Вронский был везде, где только мог встречать Анну, и говорил ей, когда мог, о своей любви. Она ему не подавала никакого повода, но каждый раз, как она встречалась с ним, в душе ее загоралось то самое чувство оживления, которое нашло на нее в тот день в вагоне, когда она в первый раз увидела его. Она сама чувствовала, что при виде его радость светилась в ее глазах и морщила ее губы в улыбку, и она не могла затушить выражение этой радости.

Первое время Анна искренно верила, что она недовольна им за то, что он позволяет себе преследовать ее; но скоро по возвращении своем из Москвы, приехав на вечер, где она думала встретить его, а его не было, она по овладевшей ею грусти ясно поняла, что она обманывала себя, что это преследование не только не неприятно ей, но что оно составляет весь интерес ее жизни.

Знаменитая певица пела второй раз⁶⁹, и весь большой свет был в театре. Увидав из своего кресла в первом ряду кузину, Вронский, не дождавшись антракта, вошел к ней в ложу.

– Что ж вы не приехали обедать? – сказала она ему. – Удивляюсь этому ясновиденью влюбленных, – прибавила она с улыбкой, так, чтоб он один слышал: – *Она не была*. Но приезжайте после оперы.

Вронский вопросительно взглянул на нее. Она нагнула голову. Он улыбкой поблагодарил ее и сел подле нее.

– А как я вспоминаю ваши насмешки! – продолжала княгиня Бетси, находившая особенное удовольствие в следовании за успехом этой страсти. – Куда это все делось! Вы пойманы, мой милый.

– Я только того и желаю, чтобы быть пойманным, – отвечал Вронский с своею спокойною добродушною улыбкой. – Если я жалуюсь, то на то только, что слишком мало пойман, если говорить правду. Я начинаю терять надежду.

– Какую ж вы можете иметь надежду? – сказала Бетси, оскорбившись за своего друга, – *entendons nous...*⁷⁰ – Но в глазах ее бегали огоньки, говорившие, что она очень хорошо, и точно так же, как и он, понимает, какую он мог иметь надежду.

– Никакой, – смеясь и выставляя свои сплошные зубы, сказал Вронский. – Виноват, – прибавил он, взяв из ее руки бинокль и принявшись оглядывать чрез ее обнаженное плечо противоположный ряд лож. – Я боюсь, что становлюсь смешон.

Он знал очень хорошо, что в глазах Бетси и всех светских людей он не рисковал быть смешным. Он знал очень хорошо, что в глазах этих лиц роль несчастного любовника девушки и вообще свободной женщины может быть смешна; но роль человека, приставшего к замужней женщине и во что бы то ни стало положившего свою жизнь на то, чтобы вовлечь ее в прелюбодеянье, что роль эта имеет что-то красивое, величественное и никогда не может быть смешна, и поэтому он с гордою и веселою, игравшею под его усами улыбкой опустил бинокль и посмотрел на кузину.

– А отчего вы не приехали обедать? – сказала она, любуясь им.

– Это надо рассказать вам. Я был занят, и чем? Даю вам это из ста, из тысячи... не угадаете. Я мирил мужа с оскорбителем его жены. Да, право!

– Что ж, и помирили?

– Почти.

– Надо, чтобы вы мне это рассказали, – сказала она, вставая. – Приходите в тот антракт.

– Нельзя; я еду во Французский театр.

– От Нильсон? – с ужасом спросила Бетси, которая ни за что бы не распознала Нильсон от всякой хористки.

– Что ж делать? Мне там свиданье, все по этому делу моего миротворства.

– Блаженны миротворцы, они спасутся, – сказала Бетси, вспоминая что-то подобное, слышанное ею от кого-то. – Ну, так садитесь, расскажите, что такое?

И она опять села.

V

– Это немножко нескромно, но так мило, что ужасно хочется рассказать, – сказал Вронский, глядя на нее смеющимися глазами. – Я не буду называть фамилий.

– Но я буду угадывать, тем лучше.

⁶⁹ *Знаменитая певица пела второй раз...* – Кристиана Нильсон (1843–1921) родилась в Швеции, дебютировала в Париже, в 1872–1875 гг. с успехом выступала на сценах Москвы и Петербурга.

⁷⁰ пойдем друг друга... (*франц.*)

– Слушайте же: едут два веселые молодые человека...

– Разумеется, офицеры вашего полка?

– Я не говорю офицеры, просто два позавтракавшие молодые человека...

– Переводите: выпившие.

– Может быть. Едут на обед к товарищу, в самом веселом расположении духа. И видят, хорошенькая женщина обгоняет их на извозчике, оглядывается и, им по крайней мере кажется, кивает им и смеется. Они, разумеется, за ней. Скачут во весь дух. К удивлению их, красавица останавливается у подъезда того самого дома, куда они едут. Красавица взбегаёт на верхний этаж. Они видят только румяные губки из-под короткого вуаля и прекрасные маленькие ножки.

– Вы с таким чувством это рассказываете, что мне кажется, вы сами один из этих двух.

– А сейчас вы мне что говорили? Ну, молодые люди входят к товарищу, у него обед прощальный. Тут, точно, они выпивают, может быть, лишнее, как всегда на прощальных обедах. И за обедом расспрашивают, кто живет наверху в этом доме. Никто не знает, и только лакей хозяина на их вопрос: живут ли наверху *мамзели*, отвечает, что их тут очень много. После обеда молодые люди отправляются в кабинет к хозяину и пишут письмо к неизвестной. Написали страстное письмо, признание, и сами несут письмо наверх, чтобы разъяснить то, что в письме оказалось бы не совсем понятным.

– Зачем вы мне такие гадости рассказываете? Ну?

– Звонят. Выходит девушка, они дают письмо и уверяют девушку, что оба так влюблены, что сейчас умрут тут у двери. Девушка в недоумении ведет переговоры. Вдруг является господин с бакенбардами колбасиками, красный, как рак, объявляет, что в доме никто не живет, кроме его жены, и выгоняет обоих.

– Почему же вы знаете, что у него бакенбарды, как вы говорите, колбасиками?

– А вот слушайте. Нынче я ездил мирить их.

– Ну, и что же?

– Тут-то самое интересное. Оказывается, что это счастливая чета титулярного советника и титулярной советницы. Титулярный советник подает жалобу, и я делаюсь примирителем, и каким! Уверяю вас, Талейран ничто в сравнении со мной.

– В чем же трудность?

– Да вот послушайте... Мы извинились как следует: «Мы в отчаянии, мы просим простить за несчастное недоразумение». Титулярный советник с колбасиками начинает таять, но желает тоже выразить свои чувства, и как только он начинает выражать их, так начинает горячиться и говорить грубости, и опять я должен пускать в ход все свои дипломатические таланты. «Я согласен, что поступок их нехорош, но прошу вас принять во внимание недоразумение, молодость; потом, молодые люди только позавтракали. Вы понимаете. Они раскаиваются от всей души, просят простить их вину». Титулярный советник опять смягчается: «Я согласен, граф, и я готов простить, но понимаете, что моя жена, моя жена, честная женщина, подвергается преследованиям, грубостям и дерзостям каких-нибудь мальчишек, мерз...» А вы понимаете, мальчишка этот тут, и мне надо примирять их. Опять я пускаю в ход дипломатию, и опять, как только надо заключить все дело, мой титулярный советник горячится, краснеет, колбасики поднимаются, и опять я разливаюсь в дипломатических тонкостях.

– Ах, это надо рассказать вам! – смеясь, обратилась Бетси к входившей в ее ложу даме. – Он так насмешил меня.

– Ну, *bonne chance*,⁷¹ – прибавила она, подавая Вронскому палец, свободный от держания веера, и движением плеч опуская поднявшийся лиф платья, с тем чтобы, как следует, быть вполне голою, когда выйдет вперед, к рампе, на свет газа и на все глаза.

⁷¹ желаю удачи (*франц.*).

Вронский поехал во Французский театр, где ему действительно нужно было видеть полкового командира, не пропускавшего ни одного представления во Французском театре, с тем чтобы переговорить с ним о своем миротворстве, которое занимало и забавляло его уже третий день. В деле этом был замешан Петрицкий, которого он любил, и другой, недавно поступивший, славный малый, отличный товарищ, молодой князь Кедров. А главное, тут были замешаны интересы полка.

Оба были в эскадроне Вронского. К полковому командиру приезжал чиновник, титулярный советник Венден, с жалобой на его офицеров, которые оскорбили его жену. Молодая жена его, как рассказывал Венден, – он был женат полгода, – была в церкви с матушкой и, вдруг почувствовав нездоровье, происходящее от известного положения, не могла больше стоять и поехала домой на первом попавшемся ей лихаче-извозчике. Тут за ней погнались офицеры, она испугалась и, еще более разболевшись, взбежала по лестнице домой. Сам Венден, вернувшись из присутствия, услышал звонок и какие-то голоса, вышел и, увидав пьяных офицеров с письмом, вытолкал их. Он просил строгого наказания.

– Нет, как хотите, – сказал полковой командир Вронскому, пригласив его к себе, – Петрицкий становится невозможным. Не проходит недели без истории. Этот чиновник не оставит дела, он пойдет дальше.

Вронский видел всю неблаговидность этого дела и что тут дуэли быть не может, что надо все сделать, чтобы смягчить этого титулярного советника и замять дело. Полковой командир призвал Вронского именно потому, что знал его за благородного и умного человека и, главное, за человека, дорожащего честью полка. Они потолковали и решили, что надо ехать Петрицкому и Кедрову с Вронским к этому титулярному советнику извиняться. Полковой командир и Вронский оба понимали, что имя Вронского и флигель-адъютантский вензель должны много содействовать смягчению титулярного советника. И действительно, эти два средства оказались отчасти действительны; но результат примирения остался сомнительным, как и рассказывал Вронский.

Приехав во Французский театр, Вронский удалился с полковым командиром в фойе и рассказал ему свой успех или неуспех. Обдумав все, полковой командир решил оставить дело без последствий, но потом ради удовольствия стал расспрашивать Вронского о подробностях его свиданья и долго не мог удержаться от смеха, слушая рассказ Вронского о том, как затихавший титулярный советник вдруг опять разгорался, вспоминая подробности дела, и как Вронский, лавируя при последнем полуслове примирения, ретировался, толкая вперед себя Петрицкого.

– Скверная история, но уморительная. Не может же Кедров драться с этим господином! Так ужасно горячился? – смеясь, переспросил он. – А какова нынче Клер? Чудо! – сказал он про новую французскую актрису. – Сколько ни смотри, каждый день новая. Только одни французы могут это.

VI

Княгиня Бетси, не дождавшись конца последнего акта, уехала из театра. Только что успела она войти в свою уборную, обсыпать свое длинное бледное лицо пудрой, стереть ее, оправить прическу и приказать чай в большой гостиной, как уж одна за другою стали подъезжать кареты к ее огромному дому на Большой Морской. Гости выходили на широкий подъезд, и тучный швейцар, читающий по утрам, для назидания прохожих, за стеклянную дверь газеты, беззвучно отворял эту огромную дверь, пропуская мимо себя приезжавших.

Почти в одно и то же время вошли: хозяйка с освеженной прической и освеженным лицом из одной двери и гости из другой в большую гостиную с темными стенами, пушистыми

коврами и ярко освещенным столом, блестящим под огнями свеч белизною скатерти, серебром самовара и прозрачным фарфором чайного прибора.

Хозяйка села за самовар и сняла перчатки. Передвигая стулья и кресла с помощью незаметных лакеев, общество разместилось, разделившись на две части, – у самовара с хозяйкой и на противоположном конце гостиной – около красивой жены посланника в черном бархате и с черными резкими бровями. Разговор в обоих центрах, как и всегда в первые минуты, колебался, перебиваемый встречами, приветствиями, предложениями чая, как бы отыскивая, на чем остановиться.

– Она необыкновенно хороша как актриса; видно, что она изучала Каульбаха⁷², – говорил дипломат в кружке жены посланника, – вы заметили, как она упала...

– Ах, пожалуйста, не будем говорить про Нильсон! Про нее нельзя ничего сказать нового, – сказала толстая, красная, без бровей и без шиньона, белокурая дама в старом шелковом платье. Это была княгиня Мягкая, известная своею простотой, грубостью обращения и прозванная *enfant terrible*.⁷³ Княгиня Мягкая сидела посередине между обоими кружками и, прислушиваясь, принимала участие то в том, то в другом. – Мне нынче три человека сказали эту самую фразу про Каульбаха, точно сговорились. И фраза, не знаю чем, так понравилась им.

Разговор был прерван этим замечанием, и надо было придумывать опять новую тему.

– Расскажите нам что-нибудь забавное, но не злое, – сказала жена посланника, великая мастерица изящного разговора, называемого по-английски *small-talk*, обращаясь к дипломату, тоже не знавшему, что теперь начать.

– Говорят, что это очень трудно, что только злое смешно, – начал он с улыбкою. – Но я попробую. Дайте тему. Все дело в теме. Если тема дана, то вышивать по ней уже легко. Я часто думаю, что знаменитые говоруны прошлого века были бы теперь в затруднении говорить умно. Все умное так надоело...

– Давно уж сказано, – смеясь, перебила его жена посланника.

Разговор начался мило, но именно потому, что он был слишком уж мил, он опять остановился. Надо было прибегнуть к верному, никогда не изменяющему средству – злословию.

– Вы не находите, что в Тушкевиче есть что-то от Louis XV? – сказал он, указывая глазами на красивого белокурого молодого человека, стоявшего у стола.

– О да! Он в одном вкусе с гостиной, от этого он так часто и бывает здесь.

Этот разговор поддержался, так как говорилось намеками именно о том, чего нельзя было говорить в этой гостиной, то есть об отношениях Тушкевича к хозяйке.

Около самовара и хозяйки разговор между тем, точно так же поколебавшись несколько времени между тремя неизбежными темами: последнею общественною новостью, театром и осуждением ближнего, тоже установился, попав на последнюю тему, то есть на злословие.

– Вы слышали, и Мальтищева, – не дочь, а мать, – шьет себе костюм *diable rose*^{74. 75}

– Не может быть! Нет, это прелестно!

– Я удивляюсь, как с ее умом, – она ведь не глупа, – не видеть, как она смешна.

⁷² Она необыкновенно хороша как актриса; видно, что она изучала Каульбаха... – Вильгельм Каульбах (1805–1874) – немецкий художник, директор Мюнхенской Академии искусств, увенчанный золотым лавровым венком. «Высший и едва ли не последний представитель идеализма», – говорили о нем тогда. Слава Каульбаха была связана с монументальными, помпезными композициями: «Столпотворение Вавилона», «Расцвет классической Греции», «Разрушение Иерусалима», «Битва гуннов» и др. Актёры, в том числе и оперные, изучали произведения художников и скульпторов, чтобы овладеть пластикой движения. В театрах неизменным успехом пользовались «живые картины». Сопоставление живописи и театра было общим местом театральной критики 70-х годов.

⁷³ озорницей (франц.).

⁷⁴ ...костюм *diable rose*. – В 1874 году во Французском театре шла комедия Е. Гранжа и Л. Тибу «Les diables roses» («Розовые дьяволы»).

⁷⁵ крикливо-розовый (франц.).

Каждый имел что сказать в осуждение и осмеяние несчастной Мальтищевой, и разговор весело затрещал, как разгоревшийся костер.

Муж княгини Бетси, добродушный толстяк, страстный собиратель гравюр, узнав, что у жены гости, зашел пред клубом в гостиную. Неслышно, по мягкому ковру, он подошел к княгине Мягкой.

– Как вам понравилась Нильсон, княгиня? – сказал он.

– Ах, батюшка, можно ли так подкрадываться? Как вы меня испугали, – отвечала она. – Не говорите, пожалуйста, со мной про оперу, вы ничего не понимаете в музыке. Лучше я спущусь до вас и буду говорить с вами про ваши майолики и гравюры. Ну, какое там сокровище вы купили недавно на толкучке?

– Хотите, я вам покажу? Но вы не знаете толку.

– Покажите. Я выучилась у этих, как их зовут... банкиры... у них прекрасные есть гравюры. Они нам показывали.

– Как, вы были у Шюцбург? – спросила хозяйка от самовара.

– Были, *ma chere*. Они нас звали с мужем обедать, и мне сказывали, что соус на этом обеде стоил тысячу рублей, – громко говорила княгиня Мягкая, чувствуя, что все ее слушают, – и очень гадкий соус, что-то зеленое. Надо было их позвать, и я сделала соус на восемьдесят пять копеек, и все были очень довольны. Я не могу делать тысячерублевых соусов.

– Она единственна! – сказала хозяйка.

– Удивительна! – сказал кто-то.

Эффект, производимый речами княгини Мягкой, всегда был одинаков, и секрет производимого ею эффекта состоял в том, что она говорила хотя и не совсем кстати, как теперь, но простые вещи, имеющие смысл. В обществе, где она жила, такие слова производили действие самой остроумной шутки. Княгиня Мягкая не могла понять, отчего это так действовало, но знала, что это так действовало, и пользовалась этим.

Так как во время речи княгини Мягкой все ее слушали и разговор около жены посланника прекратился, хозяйка хотела связать все общество воедино и обратилась к жене посланника:

– Решительно вы не хотите чаю? Вы бы перешли к нам.

– Нет, нам очень хорошо здесь, – с улыбкой отвечала жена посланника и продолжала начатый разговор.

Разговор был очень приятный. Осуждали Карениных, жену и мужа.

– Анна очень переменялась с своей московской поездки. В ней есть что-то странное, – говорила ее приятельница.

– Перемена главная та, что она привезла с собою тень Алексея Вронского, – сказала жена посланника.

– Да что же? У Гримма есть басня: человек без тени⁷⁶, человек лишен тени. И это ему наказание за что-то. Я никогда не мог понять, в чем наказание. Но женщине должно быть неприятно без тени.

– Да, но женщины с тенью обыкновенно дурно кончают, – сказала приятельница Анны.

– Типун вам на язык, – сказала вдруг княгиня Мягкая, услышав эти слова. – Каренина прекрасная женщина. Мужа ее я не люблю, а ее очень люблю.

– Отчего же вы не любите мужа? Он такой замечательный человек, – сказала жена посланника. – Муж говорит, что таких государственных людей мало в Европе.

⁷⁶ У Гримма есть басня: человек без тени... – Сказка о человеке, потерявшем тень, «Необычайные приключения Петера Шлемиля» (1814) принадлежит немецкому писателю-романтику Адальберту Шамиссо (1781–1838). В 1870 г. в переводе на русский язык были напечатаны сказки Г.-Х. Андерсена (1805–1875) («Лучшие сказки», СПб., 1870), в том числе и сказка «Тень». У братьев Гримм нет сказки о человеке, потерявшем тень.

– И мне то же говорит муж, но я не верю, – сказала княгиня Мягкая. – Если бы мужья наши не говорили, мы бы видели то, что есть, а Алексей Александрович, по-моему, просто глуп. Я шепотом говорю это... Не правда ли, как все ясно делается? Прежде, когда мне велели находить его умным, я все искала и находила, что я сама глупа, не видя его ума; а как только я сказала: *он глуп*, но шепотом, – все так ясно стало, не правда ли?

– Как вы злы нынче!

– Нисколько. У меня нет другого выхода. Кто-нибудь из нас двух глуп. Ну, а вы знаете, про себя нельзя этого никогда сказать.

– Никто не доволен своим состоянием, и всякий доволен своим умом⁷⁷, – сказал дипломат французский стих.

– Вот-вот именно, – поспешно обратилась к нему княгиня Мягкая. – Но дело в том, что Анну я вам не отдам. Она такая славная, милая. Что же ей делать, если все влюблены в нее и, как тени, ходят за ней?

– Да я и не думаю осуждать, – оправдывалась приятельница Анны.

– Если за нами никто не ходит, как тень, то это не доказывает, что мы имеем право осуждать.

И, отделив, как следовало, приятельницу Анны, княгиня Мягкая встала и вместе с женой посланника присоединилась к столу, где шел общий разговор о прусском короле.

– О чем вы там злословили? – спросила Бетси.

– О Карениных. Княгиня делала характеристику Алексея Александровича, – отвечала жена посланника, с улыбкой садясь к столу.

– Жалко, что мы не слышали, – сказала хозяйка, взглядывая на входную дверь. – А, вот и вы наконец! – обратилась она с улыбкой к входившему Вронскому.

Вронский был не только знаком со всеми, но видал каждый день всех, кого он тут встретил, и потому он вошел с теми спокойными приемами, с какими входят в комнату к людям, от которых только что вышли.

– Откуда я? – отвечал он на вопрос жены посланника. – Что же делать, надо признаться. Из Буфф. Кажется, в сотый раз, и все с новым удовольствием. Прелесть! Я знаю, что это стыдно; но в опере я сплю, а в Буффах досиживаю до последнего конца⁷⁸, и весело. Нынче...

Он назвал французскую актрису и хотел что-то рассказать про нее; но жена посланника с шутивым ужасом перебила его:

– Пожалуйста, не рассказывайте про этот ужас.

– Ну, не буду, тем более что все знают эти ужасы.

– И все бы поехали туда, если б это было так же принято, как опера, – подхватила княгиня Мягкая.

VII

У входной двери слышались шаги, и княгиня Бетси, зная, что это Каренина, взглянула на Вронского. Он смотрел на дверь, и лицо его имело странное новое выражение. Он радостно, пристально и вместе робко смотрел на входившую и медленно приподнимался. В гостиную входила Анна. Как всегда, держась чрезвычайно прямо, своим быстрым, твердым и легким шагом, отличавшим ее от походки других светских женщин, и не изменяя направления взгляда,

⁷⁷ Никто не доволен своим состоянием, и всякий доволен своим умом... – неточная цитата из «Максим» французского философа и моралиста Франсуа де Ларошфуко (1613–1680). У Ларошфуко: «Все недовольны своей памятью, но никто не жалуется на свой разум» (Л., 1971, с. 157).

⁷⁸ ...в Буффах досиживаю до последнего конца... – В 1855–1877 гг. Опера-буфф в Париже была антрепризой Жака Оффенбаха (1819–1880). В 1870 г. в Петербурге открылся Французский театр – Опера-буфф. «Мы выбились из сил, чтобы сделать из Петербурга «уголок Парижа», – замечает фельетонист газеты «Голос» (1873, № 6).

она сделала те несколько шагов, которые отделяли ее от хозяйки, пожала ей руку, улыбнулась и с этой улыбкой оглянулась на Вронского. Вронский низко поклонился и подвинул ей стул.

Она отвечала только наклоном головы, покраснела и нахмурилась. Но тотчас же, быстро кивая знакомым и пожимая протягиваемые руки, она обратилась к хозяйке:

– Я была у графини Лидии и хотела раньше приехать, но засиделась. У ней был сэр Джон. Очень интересный.

– Ах, это миссионер этот?

– Да, он рассказывал про индейскую жизнь очень интересно.

Разговор, перебитый приездом, опять замотался, как огонь задуваемой лампы.

– Сэр Джон! Да, сэр Джон. Я его видела. Он хорошо говорит. Власьева совсем влюблена в него.

– А правда, что Власьева меньшая выходит за Топова?

– Да говорят, что это совсем решено.

– Я удивляюсь родителям. Говорят, это брак по страсти.

– По страсти? Какие у вас антидилювиальные мысли! Кто нынче говорит про страсти? – сказала жена посланника.

– Что делать? Эта глупая старая мода все еще не выводится, – сказал Вронский.

– Тем хуже для тех, кто держится этой моды. Я знаю счастливые браки только по рассудку.

– Да, но зато как часто счастье браков по рассудку разлетается, как пыль, именно оттого, что появляется та самая страсть, которую не признавали, – сказал Вронский.

– Но браками по рассудку мы называем те, когда уже оба перебесились. Это как скарлатина, чрез это надо пройти.

– Тогда надо выучиться искусственно прививать любовь, как оспу.

– Я была в молодости влюблена в дьячка, – сказала княгиня Мягкая. – Не знаю, помогло ли мне это.

– Нет, я думаю, без шуток, что для того, чтоб узнать любовь, надо ошибиться и потом поправиться, – сказала княгиня Бетси.

– Даже после брака? – шутливо сказала жена посланника.

– Никогда не поздно раскаяться, – сказал дипломат английскую пословицу.

– Вот именно, – подхватила Бетси, – надо ошибиться и поправиться. Как вы об этом думаете? – обратилась она к Анне, которая с чуть заметной твердою улыбкой на губах молча слушала этот разговор.

– Я думаю, – сказала Анна, играя снятою перчаткой, – я думаю... если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви.

Вронский смотрел на Анну и с замиранием сердца ждал, что она скажет. Он вздохнул как бы после опасности, когда она выговорила эти слова.

Анна вдруг обратилась к нему:

– А я получила письмо из Москвы. Мне пишут, что Кити Щербацкая совсем больна.

– Неужели? – нахмурившись, сказал Вронский.

Анна строго посмотрела на него.

– Вас не интересует это?

– Напротив, очень. Что именно вам пишут, если можно узнать? – спросил он.

Анна встала и подошла к Бетси.

– Дайте мне чашку чая, – сказала она, останавливаясь за ее стулом.

Пока княгиня Бетси наливала ей чай, Вронский подошел к Анне.

– Что же вам пишут? – повторил он.

– Я часто думаю, что мужчины не понимают того, что благородно и неблагородно, а всегда говорят об этом, – сказала Анна, не отвечая ему. – Я давно хотела сказать вам, – прибавила она и, перейдя несколько шагов, села у углового стола с альбомами.

– Я не совсем понимаю значение ваших слов, – сказал он, подавая ей чашку.

Она взглянула на диван подле себя, и он тотчас же сел.

– Да, я хотела сказать вам, – сказала она, не глядя на него. – Вы дурно поступили, дурно, очень дурно.

– Разве я не знаю, что я дурно поступил? Но кто причиной, что я поступил так?

– Зачем вы говорите мне это? – сказала она, строго взглядывая на него.

– Вы знаете зачем, – отвечал он смело и радостно, встречая ее взгляд и не спуская глаз.

Не он, а она смутилась.

– Это доказывает только то, что у вас нет сердца, – сказала она. Но взгляд ее говорил, что она знает, что у него есть сердце, и от этого-то боится его.

– То, о чем вы сейчас говорили, была ошибка, а не любовь.

– Вы помните, что я запретила вам произносить это слово, это гадкое слово, – вздрогнув, сказала Анна; но тут же она почувствовала, что одним этим словом: *запретила* она показывала, что признавала за собой известные права на него и этим самым поощряла его говорить про любовь. – Я вам давно это хотела сказать, – продолжала она, решительно глядя ему в глаза и вся пылая жегшим ее лицо румянцем, – а нынче я нарочно приехала, зная, что я вас встречу. Я приехала сказать вам, что это должно кончиться. Я никогда ни пред кем не краснела, а вы заставляете меня чувствовать себя виновною в чем-то.

Он смотрел на нее и был поражен новою, духовною красотой ее лица.

– Чего вы хотите от меня? – сказал он просто и серьезно.

– Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощенья у Кити, – сказала она, и огонек замигал в ее глазах.

– Вы не хотите этого, – сказал он.

Он видел, что она говорила то, что принуждает себя сказать, но не то, чего хочет.

– Если вы любите меня, как вы говорите, – прошептала она, – то сделайте, чтоб я была спокойна.

Лицо его просияло.

– Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь; но спокойствия я не знаю и не могу вам дать. Всего себя, любовь... да. Я не могу думать о вас и о себе отдельно. Вы и я для меня одно. И я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя, ни для вас. Я вижу возможность отчаяния, несчастья... или я вижу возможность счастья, какого счастья!.. Разве оно не возможно? – прибавил он одними губами; но она слышала.

Она все силы ума своего напрягла на то, чтобы сказать то, что должно; но вместо того она остановила на нем свой взгляд, полный любви, и ничего не ответила.

«Вот оно! – с восторгом думал он. – Тогда, когда я уже отчаивался и когда, казалось, не будет конца, – вот оно! Она любит меня. Она признается в этом».

– Так сделайте это для меня, никогда не говорите мне этих слов, и будем добрыми друзьями, – сказала она словами; но совсем другое говорил ее взгляд.

– Друзьями мы не будем, вы это сами знаете. А будем ли мы счастливейшими или несчастнейшими из людей – это в вашей власти.

Она хотела сказать что-то, но он перебил ее.

– Ведь я прошу одного, прошу права надеяться, мучаться, как теперь; но если и этого нельзя, велите мне исчезнуть, и я исчезну. Вы не будете видеть меня, если мое присутствие тяжело вам.

– Я не хочу никуда прогонять вас.

– Только не изменяйте ничего. Оставьте все как есть, – сказал он дрожащим голосом. – Вот ваш муж.

Действительно, в эту минуту Алексей Александрович своею спокойною, неуклюжею походкой входил в гостиную.

Оглянув жену и Вронского, он подошел к хозяйке и, усевшись за чашкой чая, стал говорить своим неторопливым, всегда слышным голосом, в своем обычном шуточном тоне, подтрунивая над кем-то.

– Ваш Рамбулье в полном составе⁷⁹, – сказал он, оглядывая все общество, – грации и музыки.

Но княгиня Бетси терпеть не могла этого тона его, sneering,⁸⁰ как она называла это, и, как умная хозяйка, тотчас же навела его на серьезный разговор об общей воинской повинности⁸¹. Алексей Александрович тотчас же увлекся разговором и стал защищать уже серьезно новый указ пред княгиней Бетси, которая нападала на него.

Вронский и Анна продолжали сидеть у маленького стола.

– Это становится неприлично, – шепнула одна дама, указывая глазами на Каренину, Вронского и ее мужа.

– Что я вам говорила? – отвечала приятельница Анны.

Но не одни эти дамы, почти все бывшие в гостиной, даже княгиня Мягкая и сама Бетси, по несколько раз взглядывали на удалившихся от общего кружка, как будто это мешало им. Только один Алексей Александрович ни разу не взглянул в ту сторону и не был отвлечен от интереса начатого разговора.

Заметив производимое на всех неприятное впечатление, княгиня Бетси подсунула на свое место для слушания Алексея Александровича другое лицо и подошла к Анне.

– Я всегда удивляюсь ясности и точности выражений вашего мужа, – сказала она. – Самые трансцендентные понятия⁸² становятся мне доступны, когда он говорит.

– О да! – сказала Анна, сияя улыбкой счастья и не понимая ни одного слова из того, что говорила ей Бетси. Она перешла к большому столу и приняла участие в общем разговоре.

Алексей Александрович, просидев полчаса, подошел к жене и предложил ей ехать вместе домой; но она, не глядя на него, отвечала, что останется ужинать. Алексей Александрович раскланялся и вышел.

Старый, толстый татарин, кучер Карениной, в глянцевого кожана, с трудом удерживал левого прозябшего серого, взвивавшегося у подъезда. Лакей стоял, отворив дверцу. Швейцар стоял, держа наружную дверь. Анна Аркадьевна отцепляла маленькою быстрою рукой кружева рукава от крючка шубки и, нагнувши голову, слушала с восхищением, что говорил, провожая ее, Вронский.

– Вы ничего не сказали; положим, я ничего не требую, – говорил он, – но вы знаете, что не дружба мне нужна, мне возможно одно счастье в жизни, это слово, которого вы так не любите... да, любовь...

– Любовь... – повторила она медленно, внутренним голосом, и вдруг, в то же время, как она отцепила кружево, прибавила: – Я оттого и не люблю этого слова, что оно для меня слишком много значит, больше гораздо, чем вы можете понять, – и она взглянула ему в лицо. – До свиданья!

⁷⁹ *Ваш Рамбулье в полном составе...* – Парижский салон маркизы Екатерины Рамбулье (1588–1665) объединял людей «большого света», претендовавших на роль законодателей вкуса. Салон Рамбулье сатирически изобразил Мольер в комедиях «Смешные жеманницы» и «Ученые женщины».

⁸⁰ насмешливого (англ.).

⁸¹ *...разговор об общей воинской повинности.* – По новому воинскому уставу, «высочайше утвержденному» 1 января 1874 г., двадцатипятилетняя солдатчина заменялась краткосрочной службой в армии (от 6 месяцев до 6 лет). Воинская повинность становилась общей: «устав сей привлекает к участию в отправлении воинской повинности все мужское население страны, без допущения выкупа или замены охотниками» («Московские ведомости», 1874, № 4). Проект устава обсуждался в течение трех лет, начиная с 1870 года.

⁸² *...трансцендентные понятия...* – В философии – понятия, «переходящие» (от лат. transcendere – переступать, переходить) за пределы опытного познания.

Она подала руку и быстрым, упругим шагом прошла мимо швейцара и скрылась в карете.

Ее взгляд, прикосновение руки прожгли его. Он поцеловал свою ладонь в том месте, где она тронула его, и поехал домой, счастливый сознанием того, что в нынешний вечер он приблизился к достижению своей цели более, чем в два последние месяца.

VIII

Алексей Александрович ничего особенного и неприличного не нашел в том, что жена его сидела с Вронским у особого стола и о чем-то оживленно разговаривала; но он заметил, что другим в гостиной это показалось чем-то особенным и неприличным, и потому это показалось неприличным и ему. Он решил, что нужно сказать об этом жене.

Вернувшись домой, Алексей Александрович прошел к себе в кабинет, как он это делал обыкновенно, и сел в кресло, развернув на заложенном разрезным ножом месте книгу о папизме, и читал до часу, как обыкновенно делал; только изредка он потирал себе высокий лоб и встряхивал голову, как бы отгоняя что-то. В обычный час он встал и сделал свой ночной туалет. Анны Аркадьевны еще не было. С книгой под мышкой он пришел наверх; но в нынешний вечер, вместо обычных мыслей и соображений о служебных делах, мысли его были наполнены женою и чем-то неприятным, случившимся с нею. Он, противно своей привычке, не лег в постель, а, заложив за спину сцепившиеся руки, принялся ходить взад и вперед по комнатам. Он не мог лечь, чувствуя, что ему прежде необходимо обдумать вновь возникшее обстоятельство.

Когда Алексей Александрович решил сам с собою, что нужно переговорить с женою, ему казалось это очень легко и просто; но теперь, когда он стал обдумывать это вновь возникшее обстоятельство, оно показалось ему очень сложным и затруднительным.

Алексей Александрович был не ревнив. Ревность, по его убеждению, оскорбляет жену, и к жене должно иметь доверие. Почему должно иметь доверие, то есть полную уверенность в том, что его молодая жена всегда будет его любить, он себя не спрашивал; но он не испытывал недоверия, потому имел доверие и говорил себе, что надо его иметь. Теперь же, хотя убеждение его о том, что ревность есть постыдное чувство и что нужно иметь доверие, и не было разрушено, он чувствовал, что стоит лицом к лицу пред чем-то нелогичным и бестолковым, и не знал, что надо делать. Алексей Александрович стоял лицом к лицу пред жизнью, пред возможностью любви в его жене к кому-нибудь, кроме его, и это-то казалось ему очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина эта была – сама жизнь, мост – та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович. Ему в первый раз пришли вопросы о возможности для его жены полюбить кого-нибудь, и он ужаснулся пред этим.

Он, не раздеваясь, ходил своим ровным шагом взад и вперед по звучному паркету освещенной одною лампой столовой, по ковру темной гостиной, в которой свет отражался только на большом, недавно сделанном портрете его, висевшем над диваном, и чрез ее кабинет, где горели две свечи, освещающие портреты ее родных и приятельниц и красивые, давно близко знакомые ему безделушки ее письменного стола. Чрез ее комнату он доходил до двери спальни и опять поворачивался.

На каждом протяжении своей прогулки, и большею частью на паркетe светлой столовой, он останавливался и говорил себе: «Да, это необходимо решить и прекратить, высказать свой взгляд на это и свое решение». И он поворачивался назад. «Но высказать что же? какое решение?» – говорил он себе в гостиной и не находил ответа. «Да наконец, – спрашивал он себя

пред поворотом в кабинет, – что же случилось? Ничего. Она долго говорила с ним. Ну что же? Мало ли женщина в свете с кем может говорить? И потом, ревновать – значит унижать и себя и ее», – говорил он себе, входя в ее кабинет; но рассуждение это, прежде имевшее такой вес для него, теперь ничего не весило и не значило. И он от двери спальни поворачивался опять к зале; но, как только он входил назад в темную гостиную, ему какой-то голос говорил, что это не так и что если другие заметили это, то значит, что есть что-нибудь. И он опять говорил себе в столовой: «Да, это необходимо решить и прекратить и высказать свой взгляд...» И опять в гостиной пред поворотом он спрашивал себя: как решить? И потом спрашивал себя: что случилось? И отвечал: ничего, и вспоминал о том, что ревность есть чувство, унижающее жену, но опять в гостиной убеждался, что случилось что-то. Мысли его, как и тело, совершали полный круг, не нападая ни на что новое. Он заметил это, потер себе лоб и сел в ее кабинете.

Тут, глядя на ее стол с лежащим наверху малахитовым бюваром и начатою запиской, мысли его вдруг изменились. Он стал думать о ней, о том, что она думает и чувствует. Он впервые живо представил себе ее личную жизнь, ее мысли, ее желания, и мысль, что у нее может и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему так страшна, что он поспешил отогнать ее. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. Переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу. Он считал это душевное действие вредным и опасным фантазерством.

«И ужаснее всего то, – думал он, – что теперь именно, когда подходит к концу мое дело (он думал о проекте, который он проводил теперь), когда мне нужно все спокойствие и все силы души, теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога. Но что же делать? Я не из таких людей, которые переносят беспокойство и тревоги и не имеют силы взглянуть им в лицо».

– Я должен обдумать, решить и отбросить, – проговорил он вслух.

«Вопросы о ее чувствах, о том, что делалось и может делаться в ее душе, это не мое дело, это дело ее совести и подлежит религии», – сказал он себе, чувствуя облегчение при сознании, что найден тот пункт узаконений, которому подлежало возникшее обстоятельство.

«Итак, – сказал себе Алексей Александрович, – вопросы о ее чувствах и так далее – суть вопросы ее совести, до которой мне не может быть дела. Моя же обязанность ясно определяется. Как глава семьи, я лицо, обязанное руководить ею, и потому отчасти лицо ответственное: я должен указать опасность, которую я вижу, предостеречь и даже употребить власть. Я должен ей высказать».

И в голове Алексея Александровича сложилось ясно все, что он теперь скажет жене. Обдумывая, что он скажет, он пожалел о том, что для домашнего употребления, так незаметно, он должен употребить свое время и силы ума; но, несмотря на то, в голове его ясно и отчетливо, как доклад, составила форма и последовательность предстоящей речи. «Я должен сказать и высказать следующее: во-первых, объяснение значения общественного мнения и приличия; во-вторых, религиозное объяснение значения брака; в третьих, если нужно, указание на могущее произойти несчастье для сына; в-четвертых, указание на ее собственное несчастье». И, заложив пальцы за пальцы, ладонями книзу, Алексей Александрович потянул, и пальцы затрещали в суставах.

Этот жест, дурная привычка – соединение рук и трещанье пальцев – всегда успокаивал его и приводил в аккуратность, которая теперь так нужна была ему. У подъезда послышался звук подъехавшей кареты. Алексей Александрович остановился посреди залы.

На лестницу всходили женские шаги. Алексей Александрович, готовый к своей речи, стоял, пожимая свои скрещенные пальцы и ожидая, не треснет ли еще где. Один сустав треснул.

Еще по звуку легких шагов на лестнице он почувствовал ее приближение, и, хотя он был доволен своею речью, ему стало страшно за предстоящее объяснение...

IX

Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском; но блеск этот был не веселый – он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. Увидав мужа, Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась.

– Ты не в постели? Вот чудо! – сказала она, скинула башлык и, не останавливаясь, пошла дальше, в уборную. – Пора, Алексей Александрович, – проговорила она из-за двери.

– Анна, мне нужно поговорить с тобой.

– Со мной? – сказала она удивленно, вышла из двери и посмотрела на него.

– Да.

– Что же это такое? О чем это? – спросила она, садясь. – Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать.

Анна говорила, что приходило ей на уста, и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи. Как просто, естественны были ее слова и как похоже было, что ей просто хочется спать! Она чувствовала себя одетою в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее.

– Анна, я должен предостеречь тебя, – сказал он.

– Предостеречь? – сказала она. – В чем?

Она смотрела так просто, так весело, что кто не знал ее, как знал муж, не мог бы заметить ничего неестественного ни в звуках, ни в смысле ее слов. Но для него, знавшего ее, знавшего, что, когда он ложился пятью минутами позже, она замечала и спрашивала о причине, для него, знавшего, что всякую свою радость, веселье, горе она тотчас сообщала ему, – для него теперь видеть, что она не хотела замечать его состояние, что не хотела ни слова сказать о себе, означало многое. Он видел, что та глубина ее души, всегда прежде открытая пред ним, была закрыта от него. Мало того, по тону ее он видел, что она и не смущалась этим, а прямо как бы говорила ему: да, закрыта, и это так должно быть и будет вперед. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, возвратившийся домой и находящий дом свой запертым. «Но, может быть, ключ еще найдется», – думал Алексей Александрович.

– Я хочу предостеречь тебя в том, – сказал он тихим голосом, – что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским (он твердо и с спокойною расстановкой выговорил это имя) обратил на себя внимание.

Он говорил и смотрел на ее смеющиеся, страшные теперь для него своею непроницаемостью глаза и, говоря, чувствовал всю бесполезность и праздность своих слов.

– Ты всегда так, – отвечала она, как будто совершенно не понимая его и изо всего того, что он сказал, умышленно понимая только последнее. – То тебе неприятно, что я скучна, то тебе неприятно, что я весела. Мне не скучно было. Это тебя оскорбляет?

Алексей Александрович вздрогнул и загнул руки, чтобы трещать ими.

– Ах, пожалуйста, не трещи, я так не люблю, – сказала она.

– Анна, ты ли это? – сказал Алексей Александрович тихо, сделав усилие над собою и удержав движение рук.

– Да что же это такое? – сказала она с таким искренним и комическим удивлением. – Что тебе от меня надо?

Алексей Александрович помолчал и потер рукою лоб и глаза. Он увидел, что вместо того, что он хотел сделать, то есть предостеречь свою жену от ошибки в глазах света, он волновался невольно о том, что касалось ее совести, и боролся с воображаемою им какою-то стеной.

– Я вот что намерен сказать, – продолжал он холодно и спокойно, – и я прошу тебя выслушать меня. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унижительным и

никогда не позволю себе руководиться этим чувством; но есть известные законы приличия, которые нельзя преступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но, судя по впечатлению, какое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было желать.

– Решительно ничего не понимаю, – сказала Анна, пожимая плечами. «Ему все равно, – подумала она. – Но в обществе заметили, и это тревожит его». – Ты нездоров, Алексей Александрович, – прибавила она, встала и хотела уйти в дверь; но он двинулся вперед, как бы желая остановить ее.

Лицо его было некрасиво и мрачно, каким никогда не видала его Анна. Она остановилась и, отклонив голову назад, набок, начала своею быстрою рукой выбирать шпильки.

– Ну-с, я слушаю, что будет, – проговорила она спокойно и насмешливо. – И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело.

Она говорила и удивлялась тому натурально-спокойному, верному тону, которым она говорила, и выбору слов, которые она употребляла.

– Входить во все подробности твоих чувств я не имею права и вообще считаю это бесполезным и даже вредным, – начал Алексей Александрович. – Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно. Твои чувства – это дело твоей совести; но я обязан пред тобою, пред собой, пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана, и связана не людьми, а Богом. Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару.

– Ничего не понимаю. Ах, Боже мой, и как мне на беду спать хочется! – сказала она, быстро перебирая рукой волосы и отыскивая оставшиеся шпильки.

– Анна, ради Бога, не говори так, – сказал он кротко. – Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю, я говорю столько же за себя, как и за тебя. Я муж твой и люблю тебя.

На мгновение лицо ее опустилось, и потухла насмешливая искра во взгляде; но слово «люблю» опять возмутило ее. Она подумала: «Любит? Разве он может любить? Если б он не слышал, что бывает любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова. Он и не знает, что такое любовь».

– Алексей Александрович, право, я не понимаю, – сказала она. – Определи, что ты находишь...

– Позволь, дай договорить мне. Я люблю тебя. Но я говорю не о себе; главные лица тут – наш сын и ты сама. Очень может быть, повторяю, тебе покажутся совершенно напрасными и неуместными мои слова; может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшие основания, то я тебя прошу подумать и, если сердце тебе говорит, высказать мне...

Алексей Александрович, сам не замечая того, говорил совершенно не то, что приготовил.

– Мне нечего говорить. Да и... – вдруг быстро сказала она, с трудом удерживая улыбку, – право, пора спать.

Алексей Александрович вздохнул и, не сказав больше ничего, отправился в спальню.

Когда она вошла в спальню, он уже лежал. Губы его были строго сжаты, и глаза не смотрели на нее. Анна легла на свою постель и ждала каждую минуту, что он еще раз заговорит с нею. Она и боялась того, что он заговорит, и ей хотелось этого. Но он молчал. Она долго ждала неподвижно и уже забыла о нем. Она думала о другом, она видела его и чувствовала, как ее сердце при этой мысли наполнялось волнением и преступною радостью. Вдруг она услышала ровный и спокойный носовой свист. В первую минуту Алексей Александрович как будто испугался своего свиста и остановился; но, переждав два дыхания, свист раздался с новою, спокойною ровностью.

– Поздно, поздно, уж поздно, – прошептала она с улыбкой. Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела.

X

С этого вечера началась новая жизнь для Алексея Александровича и для его жены. Ничего особенного не случилось. Анна, как всегда, ездила в свет, особенно часто бывала у княгини Бетси и встречалась везде с Вронским. Алексей Александрович видел это, но ничего не мог сделать. На все попытки его вызвать ее на объяснение она противопоставляла ему непроницаемую стену какого-то веселого недоумения. Снаружи было то же, но внутренние отношения их совершенно изменились. Алексей Александрович, столь сильный человек в государственной деятельности, тут чувствовал себя бессильным. Как бык, покорно опустив голову, он ждал обуха, который, он чувствовал, был над ним поднят. Каждый раз, как он начинал думать об этом, он чувствовал, что нужно попытаться еще раз, что добротой, нежностью, убеждением еще есть надежда спасти ее, заставить опомниться, и он каждый день собирался говорить с ней. Но каждый раз, как он начинал говорить с ней, он чувствовал, что тот дух зла и обмана, который владел ею, овладевал и им, и он говорил с ней совсем не то и не тем тоном, каким хотел говорить. Он говорил с ней невольно своим привычным тоном подшучиванья над тем, кто бы так говорил. А в этом тоне нельзя было сказать того, что требовалось сказать ей.

XI

То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания; то, что для Анны было невозможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастья, – это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем.

– Анна! Анна! – говорил он дрожащим голосом. – Анна, ради Бога!..

Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела, на пол, к его ногам; она упала бы на ковер, если б он не держал ее.

– Боже мой! Прости меня! – всхлипывая, говорила она, прижимая к своей груди его руки.

Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения; а в жизни теперь, кроме его, у ней никого не было, так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этою страшною ценой стыда. Стыд пред духовною наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством.

И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи – то, что куплено этим стыдом. Да, и эта одна рука, которая будет всегда моею, – рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцеловала ее. Он опустил на колена и хотел видеть ее лицо; но она прятала его и ничего не говорила. Наконец, как бы сделав усилие над собой, она поднялась и оттолкнула его. Лицо ее было все так же красиво, но тем более было оно жалко.

– Все кончено, – сказала она. – У меня ничего нет, кроме тебя. Помни это.

– Я не могу не помнить того, что есть моя жизнь. За минуту этого счастья...

– Какое счастье! – с отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился ему. – Ради Бога, ни слова, ни слова больше.

Она быстро встала и отстранилась от него.

– Ни слова больше, – повторила она, и с странным для него выражением холодного отчаяния на лице она рассталась с ним. Она чувствовала, что в эту минуту не могла выразить словами того чувства стыда, радости и ужаса пред этим вступлением в новую жизнь и не хотела говорить об этом, опошлять это чувство неточными словами. Но и после, ни на другой, ни на третий день, она не только не нашла слов, которыми бы она могла выразить всю сложность этих чувств, но не находила и мыслей, которыми бы она сама с собой могла обдумать все, что было в ее душе.

Она говорила себе: «Нет, теперь я не могу об этом думать; после, когда я буду спокойнее». Но это спокойствие для мыслей никогда не наступало; каждый раз, как являлась ей мысль о том, что она сделала, и что с ней будет, и что она должна сделать, на нее находил ужас, и она отгоняла от себя эти мысли.

– После, после, – говорила она, – когда я буду спокойнее.

Зато во сне, когда она не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно сновиденье почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось, что оба вместе были ее мужья, что оба расточали ей свои ласки. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: как хорошо теперь! И Алексей Вронский был тут же, и он был также ее муж. И она, удивляясь тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще и что они оба теперь довольны и счастливы. Но это сновидение, как кошмар, давило ее, и она просыпалась с ужасом.

ХII

Еще в первое время по возвращении из Москвы, когда Левин каждый раз вздрагивал и краснел, вспоминая позор отказа, он говорил себе: «Так же краснел и вздрагивал я, считая все погибшим, когда получил единицу за физику и остался на втором курсе; так же считал себя погибшим после того, как испортил порученное мне дело сестры. И что ж? Теперь, когда прошли года, я вспоминаю и удивляюсь, как это могло огорчать меня. То же будет и с этим горем. Пройдет время, и я буду к этому равнодушен».

Но прошло три месяца, и он не стал к этому равнодушен, и ему так же, как и в первые дни, было больно вспоминать об этом. Он не мог успокоиться, потому что он, так долго мечтавший о семейной жизни, так чувствовавший себя созревшим для нее, все-таки не был женат и был дальше, чем когда-нибудь, от женитьбы. Он болезненно чувствовал сам, как чувствовали все его окружающие, что нехорошо в его года человеку одному быть. Он помнил, как он пред отъездом в Москву сказал раз своему скотнику Николаю, наивному мужику, с которым он любил поговорить: «Что, Николай! хочу жениться», – и как Николай поспешно отвечал, как о деле, в котором не может быть никакого сомнения: «И давно пора, Константин Дмитрич». Но женитьба теперь стала от него дальше, чем когда-либо. Место было занято, и, когда он теперь в воображении ставил на это место кого-нибудь из своих знакомых девушек, он чувствовал, что это было совершенно невозможно. Кроме того, воспоминание об отказе и о роли, которую он играл при этом, мучало его стыдом. Сколько он ни говорил себе, что он тут ни в чем не виноват, воспоминание это, наравне с другими такого же рода стыдными воспоминаниями, заставляло его вздрагивать и краснеть. Были в его прошедшем, как у всякого человека, сознанные им дурные поступки, за которые совесть должна была бы мучать его; но воспоминание о дурных поступках далеко не так мучало его, как эти ничтожные, но стыдные воспоминания. Эти раны никогда не затягивались. И наравне с этими воспоминаниями стояли теперь отказ и то жалкое

положение, в котором он должен был представляться другим в этот вечер. Но время и работа делали свое. Тяжелые воспоминания более и более застилались для него невидными, но значительными событиями деревенской жизни. С каждой неделей он все реже вспоминал о Кити. Он ждал с нетерпением известия, что она уже вышла или выходит на днях замуж, надеясь, что такое известие, как выдергиванье зуба, совсем вылечит его.

Между тем пришла весна, прекрасная, дружная, без ожидания и обманов весны, одна из тех редких весен, которым вместе радуются растения, животные и люди. Эта прекрасная весна еще более возбудила Левина и утвердила его в намерении отречься от всего прежнего, с тем чтоб устроить твердо и независимо свою одинокую жизнь. Хотя многое из тех планов, с которыми он вернулся в деревню, и не были им исполнены, однако самое главное, чистота жизни была соблюдена им. Он не испытывал того стыда, который обыкновенно мучал его после падения, и он мог смело смотреть в глаза людям. Еще в феврале он получил письмо от Марьи Николаевны о том, что здоровье брата Николая становится хуже, но что он не хочет лечиться, и вследствие этого письма Левин ездил в Москву к брату и успел уговорить его посоветоваться с доктором и ехать на воды за границу. Ему так хорошо удалось уговорить брата и дать ему займы денег на поездку, не раздражая его, что в этом отношении он был собой доволен. Кроме хозяйства, требовавшего особенного внимания весной, кроме чтения, Левин начал эту зимой еще сочинение о хозяйстве, план которого состоял в том, чтобы характер рабочего в хозяйстве был принимаем за абсолютное данное, как климат и почва, и чтобы, следовательно, все положения науки о хозяйстве выводились не из одних данных почвы и климата, но из данных почвы, климата и известного неизменного характера рабочего. Так что, несмотря на уединение или вследствие уединения, жизнь его была чрезвычайно наполнена, и только изредка он испытывал неудовлетворенное желание сообщения бродящих у него в голове мыслей кому-нибудь, кроме Агафьи Михайловны, хотя и с нею ему случалось нередко рассуждать о физике, теории хозяйства и в особенности о философии; философия составляла любимый предмет Агафьи Михайловны.

Весна долго не открывалась. Последние недели поста стояла ясная, морозная погода. Днем таяло на солнце, а ночью доходило до семи градусов; наст был такой, что на возах ездили без дороги. Пасха была на снегу. Потом вдруг, на второй день Святой, понесло теплым ветром, надвинулись тучи, и три дня и три ночи лил бурный и теплый дождь. В четверг ветер затих, и надвинулся густой серый туман, как бы скрывая тайны совершавшихся в природе перемен. В тумане полились воды, затрещали и сдвинулись льдины, быстрее двинулись мутные, вспенившиеся потоки, и на самую Красную горку, с вечера, разорвался туман, тучи разбежались барашками, прояснело, и открылась настоящая весна. Наутро поднявшееся яркое солнце быстро съело тонкий ледок, подернувший воды, и весь теплый воздух задрожал от наполнивших его испарений ожившей земли. Зазеленела старая и вылезающая иглами молодая трава, надулись почки калины, смородины и липкой спиртовой березы, и на обсыпанной золотым цветом лозине загудела выставленная облетающаяся пчела. Залились невидимые жаворонки над бархатом зеленей и обледеневшим жнивьем, заплакали чибицы над налившимися бурой неубравшеюся водой низами и болотами, и высоко пролетели с весенним гоготаньем журавли и гуси. Заревела на выгонах облезшая, только местами еще не перелинявшая скотина, заиграли кривоногие ягнята вокруг теряющих волну бляющих матерей, побежали быстроногие ребята по просыхающим, с отпечатками босых ног тропинкам, затрещали на пруду веселые голоса баб с холстами, и застучали по дворам топоры мужиков, налаживающих сохи и бороны. Пришла настоящая весна.

ХІІІ

Левин надел большие сапоги и в первый раз не шубу, а суконную поддевку, и пошел по хозяйству, шагая через ручьи, режущие глаза своим блеском на солнце, ступая то на ледок, то в липкую грязь.

Весна – время планов и предположений. И, выйдя на двор, Левин, как дерево весною, еще не знающее, куда и как разрастутся эти молодые побеги и ветви, заключенные в налитых почках, сам не знал хорошенько, за какие предприятия в любимом его хозяйстве он примется теперь, но чувствовал, что он полон планов и предположений самых хороших. Прежде всего он прошел к скотине. Коровы были выпущены на варок и, сияя перелинявшею гладкою шерстью, пригревшись на солнце, мычали, просясь в поле. Полюбовавшись знакомыми ему до малейших подробностей коровами, Левин велел выгнать их в поле, а на варок выпустить телят. Пастух весело побежал собираться в поле. Бабы-скотницы, подбирая поневы, босыми, еще белыми, не загоревшими ногами шлепая по грязи, с хворостинами бегали за мычавшими, ошалевшими от весенней радости телятами, загоняя их на двор.

Полюбовавшись на приплод нынешнего года, который был необыкновенно хорош, – ранние телята были с мужицкую корову, Павина дочь, трех месяцев, была ростом с годовых, – Левин велел вынести им наружу корыто и задать сено за решетки. Но оказалось, что на не употребляемом зимой варке сделанные с осени решетки были поломаны. Он послал за плотником, который по наряду должен был работать молотилку. Но оказалось, что плотник чинил бороны, которые должны были быть починены еще с Масленицы. Это было очень досадно Левину. Досадно было, что повторялось это вечное неряшество хозяйства, против которого он столько лет боролся всеми своими силами. Решетки, как он узнал, ненужные зимой, были перенесены в рабочую конюшню и там поломаны, так как они и были сделаны легко, для телят. Кроме того, из этого же оказывалось, что бороны и все земледельческие орудия, которые велено было осмотреть и починить еще зимой и для которых нарочно взяты были три плотника, были не починены, и бороны все-таки чинили, когда надо было ехать скородить. Левин послал за приказчиком, но тотчас и сам пошел отыскивать его. Приказчик, сияя так же, как и всё в этот день, в обшитом мерлушкой тулупчике шел с гумна, ломая в руках соломинку.

– Отчего плотник не на молотилке?

– Да я хотел вчера доложить: бороны починить надо. Ведь вот пахать.

– Да зимой-то что ж?

– Да вам насчет чего угодно плотника?

– Где решетки с телячьего двора?

– Приказал снести на места. Что прикажете с этим народом! – сказал приказчик, махая рукой.

– Не с этим народом, а с этим приказчиком! – сказал Левин, вспыхнув. – Ну для чего я вас держу! – закричал он. Но, вспомнив, что этим не поможешь, остановился на половине речи и только вздохнул. – Ну что, сеять можно? – спросил он, помолчав.

– За Туркиным завтра или послезавтра можно будет.

– А клевер?

– Послал Василия с Мишкой, засевают. Не знаю только, пролезут ли, топко.

– На сколько десятин?

– На шесть.

– Отчего же не все? – вскрикнул Левин.

Что клевер сеяли только на шесть, а не на двадцать десятин, это было еще досаднее. Посев клевера, и по теории и по собственному его опыту, бывал только тогда хорош, когда сделан как можно раньше, почти по снегу. И никогда Левин не мог добиться этого.

– Народу нет. Что прикажете с этим народом делать? Трое не приходили. Вот и Семен.

– Ну, вы бы отставили от соломы.

– Да я и то отставил.

– Где же народ?

– Пятеро компот делают (это значило компост). Четверо овес пересыпают; как бы не тронулся, Константин Дмитрич.

Левин очень хорошо знал, что «как бы не тронулся» значило, что семенной английский овес уже испортили, – опять не сделали того, что он приказывал.

– Да ведь я говорил еще постом, трубы!.. – вскрикнул он.

– Не беспокойтесь, все сделаем вовремя.

Левин сердито махнул рукой, пошел к амбарам взглянуть овес и вернулся к конюшне. Овес еще не испортился. Но рабочие пересыпали его лопатами, тогда как можно было спустить его прямо в нижний амбар, и, распорядившись этим и оторвав отсюда двух рабочих для посева клевера, Левин успокоился от досады на приказчика. Да и день был так хорош, что нельзя было сердиться.

– Игнат! – крикнул он кучеру, который с засученными рукавами у колодца обмывал коляску. – Оседлай мне...

– Кого прикажете?

– Ну, хоть Колпика.

– Слушаю-с.

Пока седлали лошадь, Левин опять подозвал вертевшегося на виду приказчика, чтобы помириться с ним, и стал говорить ему о предстоящих весенних работах и хозяйственных планах.

Возку навоза начать раньше, чтобы до раннего покоса все кончено было. А плугами пахать без отрыву дальнее поле, так, чтобы продержат его черным паром. Покосы все убрать не исполу, а работниками.

Приказчик слушал внимательно и, видимо, делал усилия, чтобы одобрять предположения хозяина; но он все-таки имел столь знакомый Левину и всегда раздражающий его безнадежный и унылый вид. Вид этот говорил: все это хорошо, да как Бог даст.

Ничто так не огорчало Левина, как этот тон. Но такой тон был общий у всех приказчиков, сколько их у него ни перебывало. У всех было то же отношение к его предположениям, и потому он теперь уже не сердился, но огорчился и чувствовал себя еще более возбужденным для борьбы с этою какою-то стихийною силой, которую он иначе не умел назвать, как «что Бог даст», и которая постоянно противопоставлялась ему.

– Как успеем, Константин Дмитрич, – сказал приказчик.

– Отчего же не успеете?

– Рабочих надо непременно нанять еще человек пятнадцать. Вот не приходят. Нынче были, по семидесяти рублей на лето просят.

Левин замолчал. Опять противопоставлялась эта сила. Он знал, что, сколько они ни пытались, они не могли нанять больше сорока, тридцати семи, тридцати восьми рабочих за настоящую цену; сорок нанимались, а больше нет. Но все-таки он не мог не бороться.

– Пошлите в Суры, в Чефировку, если не придут. Надо искать.

– Послать пошлю, – уныло сказал Василий Федорович. – Да вот и лошади слабы стали.

– Прикупим. Да ведь я знаю, – прибавил он, смеясь, – вы все поменьше да похуже; но я нынешний год уж не дам вам по-своему делать. Все буду сам.

– Да вы и то, кажется, мало спите. Нам веселей, как у хозяина на глазах...

– Так за Березовым Долom засевают клевер? Поеду посмотрю, – сказал он, садясь на маленького буланого Колпика, подведенного кучером.

– Через ручей не проедете, Константин Дмитрич, – крикнул кучер.

– Ну, так лесом.

И бойкою иноходью доброй застоявшейся лошади, похрапывающей над лужами и попрашивающей поводья, Левин поехал по грязи двора за ворота и в поле.

Если Левину весело было на скотном и житном дворах, то ему еще стало веселее в поле. Мерно покачиваясь на иноходи доброго конька, впитывая теплый со свежестью запах снега и воздуха при проезде через лес по оставшемуся кое-где праховому, осовывавшемуся снегу с расплывшимися следами, он радовался на каждое свое дерево с оживавшим на коре его мохом и с напухшими почками. Когда он выехал за лес, пред ним на огромном пространстве раскинулись ровным бархатным ковром зелены, без одной плешины и вымочки, только кое-где в лощинах запятнанные остатками тающего снега. Его не рассердили ни вид крестьянской лошади и стригуна, топтавших его зелены (он велел согнать их встретившемуся мужику), ни насмешливый и глупый ответ мужика Ипата, которого он встретил и спросил: «Что, Ипат, скоро сеять?» – «Надо прежде вспахать, Константин Дмитрич», – отвечал Ипат. Чем дальше он ехал, тем веселее ему становилось, и хозяйственные планы один лучше другого представлялись ему: обсадить все поля лозинами по полуденным линиям, так чтобы не залеживался снег под ними; перерезать на шесть полей навозных и три запасных с травосеянием, выстроить скотный двор на дальнем конце поля и вырыть пруд, а для удобрения устроить переносные загороды для скота. И тогда триста десятин пшеницы, сто картофеля и сто пятьдесят клевера и ни одной истощенной десятины.

С такими мечтами, осторожно поворачивая лошадь межами, чтобы не топтать свои зелены, он подъехал к работникам, рассевавшим клевер. Телега с семенами стояла не на рубеже, а на пашне, и пшеничная озимь была изрыта колесами и ископана лошадей. Оба работника сидели на меже, вероятно раскуривая общую трубку. Земля в телеге, с которой смешаны были семена, была не размята, а слежалась или смерзлась комьями. Увидав хозяина, Василий-работник пошел к телеге, а Мишка принялся рассеивать. Это было нехорошо, но на рабочих Левин редко сердился. Когда Василий подошел, Левин велел ему отвезти лошадь на рубеж.

– Ничего, сударь, затынет, – отвечал Василий.

– Пожалуйста, не рассуждай, – сказал Левин, – а делай, что говорят.

– Слушаю-с, – ответил Василий и взялся за голову лошади. – А уж сев, Константин Дмитрич, – сказал он, заискивая, – первый сорт. Только ходить страсть! По пудовику на лапте волочишь.

– А отчего у вас земля непросеянная? – сказал Левин.

– Да мы разминаем, – отвечал Василий, набирая семян и в ладонях растирая землю.

Василий не был виноват, что ему насыпали непросеянной земли, но все-таки было досадно.

Уж не раз испытав с пользою известное ему средство заглушать свою досаду и все, кажущееся дурным, сделать опять хорошим, Левин и теперь употребил это средство. Он посмотрел, как шагал Мишка, ворочая огромные комья земли, налипавшей на каждой ноге, слез с лошади, взял у Василия севалку и пошел рассеивать.

– Где ты остановился?

Василий указал на метку ногой, и Левин пошел, как умел, высевать землю с семенами. Ходить было трудно, как по болоту, и Левин, пройдя леху, запотел и, остановившись, отдал севалку.

– Ну, барин, на лето чур меня не ругать за эту леху, – сказал Василий.

– А что? – весело сказал Левин, чувствуя уже действительность употребленного средства.

– Да вот посмотрите на лето. Отличится. Вы гляньте-ка, где я сеял прошлую весну. Как рассадил! Ведь я, Константин Дмитрич, кажется, вот как отцу родному стараюсь. Я и сам не люблю дурно делать и другим не велю. Хозяину хорошо, и нам хорошо. Как глянешь вон, – сказал Василий, указывая на поле, – сердце радуется.

– А хороша весна, Василий.

– Да уж такая весна, старики не запомнят. Я вот дома был, там у нас старик тоже пшеницы три осминника посеял. Так сказывает, ото ржей не отличишь.

– А вы давно стали сеять пшеницу?

– Да вы ж научили позалетошный год; вы же мне две меры пожертвовали. Четверть продали, да три осминника посеяли.

– Ну, смотри же, растирай комья-то, – сказал Левин, подходя к лошади, – да за Мишкой смотри. А хороший будет всход, тебе по пятидесяти копеек за десятину.

– Благодарим покорно. Мы вами, кажется, и так много довольны.

Левин сел на лошадь и поехал на поле, где был прошлогодний клевер, и на то, которое плугом было приготовлено под яровую пшеницу.

Всход клевера по жнивью был чудесный. Он уж весь отжил и твердо зеленел из-за посломанных прошлогодних стеблей пшеницы. Лошадь вязла по ступицу, и каждая нога ее чмокала, вырываясь из полуоттаявшей земли. По плужной пахоте и вовсе нельзя было проехать: только там и держало, где был ледок, а в оттаявших бороздах нога вязла выше ступицы. Пахота была превосходная; через два дня можно будет бороновать и сеять. Все было прекрасно, все было весело. Назад Левин поехал через ручей, надеясь, что вода сбыла. И действительно, он переехал и вспугнул двух уток. «Должны быть и вальдшнепы», – подумал он и как раз у поворота к дому встретил лесного караульщика, который подтвердил его предположение о вальдшнепах.

Левин поехал рысью домой, чтоб успеть пообедать и приготовить ружье к вечеру.

XIV

Подъезжая домой в самом веселом расположении духа, Левин услышал колокольчик со стороны главного подъезда к дому.

«Да, это с железной дороги, – подумал он, – самое время московского поезда... Кто бы это? Что, если это брат Николай? Он ведь сказал: может быть, уеду на воды, а может быть, к тебе приеду». Ему страшно и неприятно стало в первую минуту, что присутствие брата Николая расстроит это его счастливое весеннее расположение. Но ему стало стыдно за это чувство, и тотчас же он как бы раскрыл свои душевные объятия и с умиленной радостью ожидал и желал теперь всею душой, чтоб это был брат. Он тронул лошадь и, выехав за акацию, увидел подъезжавшую ямскую тройку с железнодорожной станции и господина в шубе. Это не был брат. «Ах, если бы кто-нибудь приятный человек, с кем бы поговорить», – подумал он.

– А! – радостно прокричал Левин, поднимая обе руки кверху. – Вот радостный-то гость! Ах, как я рад тебе! – вскрикнул он, узнав Степана Аркадьича.

«Узнаю верно, вышла ли, или когда выходит замуж», – подумал он.

И в этот прекрасный весенний день он почувствовал, что воспоминанье о ней совсем не больно ему.

– Что, не ждал? – сказал Степан Аркадьич, вылезая из саней, с комком грязи на переносице, на щеке и брови, но сияющий весельем и здоровьем. – Приехал тебя видеть – раз, – сказал он, обнимая и целуя его, – на тяге постоять – два и лес в Ергушове продать – три.

– Прекрасно! А какова весна? Как это ты на санях до-ехал?

– В телеге еще хуже, Константин Дмитрич, – отвечал знакомый ямщик.

– Ну, я очень, очень рад тебе, – искренно улыбаясь детски-радостною улыбкою, сказал Левин.

Левин провел своего гостя в комнату для приезжих, куда и были внесены вещи Степана Аркадьича: мешок, ружье в чехле, сумка для сигар, и, оставив его умываться и переодеваться, сам пока прошел в контору сказать о пахоте и клевере. Агафья Михайловна, всегда очень озабоченная честью дома, встретила его в передней вопросами насчет обеда.

– Как хотите делайте, только поскорей, – сказал он и пошел к приказчику.

Когда он вернулся, Степан Аркадьич, вымытый, расчесанный и сияя улыбкой, выходил из своей двери, и они вместе пошли наверх.

– Ну, как я рад, что добрался до тебя! Теперь я пойму, в чем состоят те таинства, которые ты тут совершаешь. Но нет, право, я завидую тебе. Какой дом, как славно все! Светло, весело! – говорил Степан Аркадьич, забывая, что не всегда бывает весна и ясные дни, как нынче. – И твоя нянюшка какая прелесть! Желательнее было бы хорошенькую горничную в фартучке; но с твоим монашеством и строгим стилем – это очень хорошо.

Степан Аркадьич рассказал много интересных новостей и в особенности интересную для Левина новость, что брат его Сергей Иванович собирался на нынешнее лето к нему в деревню.

Ни одного слова Степан Аркадьич не сказал про Кити и вообще Щербацких; только передал поклон жены. Левин был ему благодарен за его деликатность и был очень рад гостю. Как всегда, у него за время его уединения набралось пропасть мыслей и чувств, которых он не мог передать окружающим, и теперь он изливал в Степана Аркадьича и поэтическую радость весны, и неудачи и планы хозяйства, и мысли и замечания о книгах, которые он читал, и в особенности идею своего сочинения, основу которого, хотя он сам не замечал этого, составляла критика всех старых сочинений о хозяйстве. Степан Аркадьич, всегда милый, понимающий все с намека, в этот приезд был особенно мил, и Левин заметил в нем еще новую, польстившую ему черту уважения и как будто нежности к себе.

Старания Агафьи Михайловны и повара, чтоб обед был особенно хорош, имели своим последствием только то, что оба проголодавшиеся приятели, подсев к закуске, наелись хлеба с маслом, полотка и соленых грибов, и еще то, что Левин велел подавать суп без пирожков, которыми повар хотел особенно удивить гостя. Но Степан Аркадьич, хотя и привыкший к другим обедам, все находил превосходным: и травник, и хлеб, и масло, и особенно полоток, и грибки, и крапивные щи, и курица под белым соусом, и белое крымское вино – все было превосходно и чудесно.

– Отлично, отлично, – говорил он, закуривая толстую папиросу после жаркого. – Я к тебе точно с парохода после шума и тряски на тихий берег вышел. Так ты говоришь, что самый элемент рабочего должен быть изучаем и руководить в выборе приемов хозяйства. Я ведь в этом профан; но мне кажется, что теория и приложение ее будет иметь влияние и на рабочего.

– Да, но постой: я говорю не о политической экономии, я говорю о науке хозяйства. Она должна быть как естественные науки и наблюдать данные явления и рабочего с его экономическим, этнографическим...

В это время вошла Агафья Михайловна с вареньем.

– Ну, Агафья Михайловна, – сказал ей Степан Аркадьич, целуя кончики своих пухлых пальцев, – какой полоток у вас, какой травничок!.. А что, не пора ли, Костя? – прибавил он.

Левин взглянул в окно на спускавшееся за оголенные макуши леса солнце.

– Пора, пора, – сказал он. – Кузьма, закладывать линейку! – и побежал вниз.

Степан Аркадьич, сойдя вниз, сам аккуратно снял парусинный чехол с лакированного ящика и, отворив его, стал собирать свое дорогое, нового фасона ружье. Кузьма, уже чувявший большую дачу на водку, не отходил от Степана Аркадьича и надевал ему и чулки и сапоги, что Степан Аркадьич охотно предоставлял ему делать.

– Прикажи, Костя, если приедет Рябинин купец – я ему велел нынче приехать, – принять и подождать...

– А ты разве Рябинину продаешь лес?

– Да. Ты разве знаешь его?

– Как же, знаю. Я с ним имел дела «положительно и окончательно».

Степан Аркадьич засмеялся. «Окончательно и положительно» были любимые слова купца.

– Да, он удивительно смешно говорит. Поняла, куда хозяин идет! – прибавил он, потрепав рукой Ласку, которая, повизгивая, вилась около Левина и лизала то его руку, то его сапоги и ружье.

Долгуша стояла уже у крыльца, когда они вышли.

– Я велел заложить, хотя недалеко; а то пешком пройдем?

– Нет, лучше поедem, – сказал Степан Аркадьич, подходя к долгуше. Он сел, обвернул себе ноги тигровым пледом и закурил сигару. – Как это ты не куришь! Сигара – это такое не то что удовольствие, а венец и признак удовольствия. Вот это жизнь! Как хорошо! Вот бы как я желал жить!

– Да кто же тебе мешает? – улыбаясь, сказал Левин.

– Нет, ты счастливый человек. Все, что ты любишь, у тебя есть. Лошадей любишь – есть, собаки – есть, охота – есть, хозяйство – есть.

– Может быть, оттого, что я радуюсь тому, что у меня есть, и не тужу о том, чего нету, – сказал Левин, вспомнив о Кити.

Степан Аркадьич понял, поглядел на него, но ничего не сказал.

Левин был благодарен Облонскому за то, что тот со своим всегдашним тактом, заметив, что Левин боялся разговора о Щербацких, ничего не говорил о них; но теперь Левину уже хотелось узнать то, что его так мучало, но он не смел заговорить.

– Ну что, твои дела как? – сказал Левин, подумав о том, как нехорошо с его стороны думать только о себе.

Глаза Степана Аркадьича весело заблестели.

– Ты ведь не признаешь, чтобы можно было любить калачи, когда есть отсыпной паек, – по-твоему, это преступление; а я не признаю жизни без любви, – сказал он, поняв по-своему вопрос Левина. – Что ж делать, я так сотворен. И право, так мало делается этим кому-нибудь зла, а себе столько удовольствия...

– Что ж, или новое что-нибудь? – спросил Левин.

– Есть, брат! Вот видишь ли, ты знаешь тип женщин оссиановских⁸³... женщин, которых видишь во сне... Вот эти женщины бывают наяву... и эти женщины ужасны. Женщина, видишь ли, это такой предмет, что, сколько ты ни изучай ее, все будет совершенно новое.

– Так уж лучше не изучать.

– Нет. Какой-то математик сказал, что наслаждение не в открытии истины, но в искании ее.

Левин слушал молча, и, несмотря на все усилия, которые он делал над собой, он никак не мог перенестись в душу своего приятеля и понять его чувства и прелести изучения таких женщин.

XV

Место тяги было недалеко над речкой в мелком осиннике. Подъехав к лесу, Левин слез и провел Облонского на угол мшистой и топкой полянки, уже освободившейся от снега. Сам он вернулся на другой край к двойняшке-березе и, прислонив ружье к развилине сухого нижнего сучка, снял кафтан, перепоясался и попробовал свободы движений рук.

Старая, седая Ласка, ходившая за ними следом, села осторожно против него и насторожила уши. Солнце спускалось за крупный лес; и на свете зари березки, рассыпанные по осиннику, отчетливо рисовались своими висящими ветвями с надутыми, готовыми лопнуть почками.

⁸³ ...тип женщин оссиановских... – «оссиановские женщины» – героини романтических «Песен Оссиана», опубликованных в 1765 г. английским поэтом Дж. Макферсоном (1736–1796). Оссиан воспевал женщин преданных и самоотверженных.

Из частого леса, где оставался еще снег, чуть слышно текла еще извилистыми узкими ручейками вода. Мелкие птицы щебетали и изредка пролетали с дерева на дерево.

В промежутках совершенной тишины слышен был шорох прошлогодних листьев, шевелившихся от таянья земли и от росту трав.

«Каково! Слышно и видно, как трава растет!» – сказал себе Левин, заметив двинувшийся грифельного цвета мокрый осиновый лист подле иглы молодой травы. Он стоял, слушал и глядел вниз, то на мокрую мшистую землю, то на прислушивающуюся Ласку, то на расстилавшееся пред ним под горою море оголенных макуш леса, то на подернутое белыми полосками туч тускневшее небо. Ястреб, неспешно махая крыльями, пролетел высоко над дальним лесом; другой точно так же пролетел в том же направлении и скрылся. Птицы все громче и хлопотливее щебетали в чаще. Недалеко заухал филин, и Ласка, вздрогнув, переступила осторожно несколько шагов и, склонив набок голову, стала прислушиваться. Из-за речки послышалась кукушка. Она два раза прокуковала обычным криком, а потом захрипела, заторопилась и запуталась.

– Каково! уж кукушка! – сказал Степан Аркадьич, выходя из-за куста.

– Да, я слышу, – отвечал Левин, с неудовольствием нарушая тишину леса своим неприятным самому себе голосом. – Теперь скоро.

Фигура Степана Аркадьича опять зашла за куст, и Левин видел только яркий огонек спички, вслед за тем заменившийся красным углем папиросы и синим дымком.

Чик! Чик! – щелкнули взводимые Степаном Аркадьичем курки.

– А это что кричит? – спросил Облонский, обращая внимание Левина на протяжное гуканье, как будто тонким голоском, шалая, ржал жеребенок.

– А, это не знаешь? Это заяц-самец. Да будет говорить! Слушай, летит! – почти вскрикнул Левин, взводя курки.

Послышался дальний, тонкий свисток и, ровно в тот обычный такт, столь знакомый охотнику, через две секунды, – другой, третий, и за третьим свистком уже слышно стало хорканье.

Левин кинул глазами направо, налево, и вот пред ним на мутно-голубом небе, над сливающимися нежными побегам макушек осин показалась летящая птица. Она летела прямо на него: близкие звуки хорканья, похожие на равномерное наддирание тугой ткани, раздались над самым ухом; уже виден стал длинный нос и шея птицы, и в ту минуту, как Левин приложился, из-за куста, где стоял Облонский, блеснула красная молния; птица, как стрела, спустилась и взмыла опять вверх. Опять блеснула молния, и послышался удар; и, трепля крыльями, как бы стараясь удержаться на воздухе, птица остановилась, постояла мгновение и тяжело шлепнулась о топкую землю.

– Неужели промах? – крикнул Степан Аркадьич, которому из-за дыму не видно было.

– Вот он! – сказал Левин, указывая на Ласку, которая, подняв одно ухо и высоко махая кончиком пушистого хвоста, тихим шагом, как бы желая продлить удовольствие и как бы улыбаясь, подносила убитую птицу к хозяину. – Ну, я рад, что тебе удалось, – сказал Левин, вместе с тем уже испытывая чувство зависти, что не ему удалось убить этого вальдшнепа.

– Скверный промах из правого ствола, – отвечал Степан Аркадьич, заряжая ружье. – Шш... летит.

Действительно, послышались пронзительные, быстро следовавшие один за другим свистки. Два вальдшнепа, играя и догоняя друг друга и только свистя, а не хоркая, налетели на самые головы охотников. Раздались четыре выстрела, и, как ласточки, вальдшнепы дали быстрый заворот и исчезли из виду.

Тяга была прекрасная. Степан Аркадьич убил еще две штуки, и Левин двух, из которых одного не нашел. Стало темнеть. Ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-

за березок своим нежным блеском, и высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Арктурус. Над головой у себя Левин ловил и терял звезды Медведицы. Вальдшнепы уже перестали летать; но Левин решил подождать еще, пока видная ему ниже сучка березы Венера перейдет выше его и когда ясны будут везде звезды Медведицы. Венера перешла уже выше сучка, колесница Медведицы с своим дышлом была уже вся видна на темно-синем небе, но он все еще ждал.

– Не пора ли? – сказал Степан Аркадьич.

В лесу уже было тихо, и ни одна птичка не шевелилась.

– Постоим еще, – отвечал Левин.

– Как хочешь.

Они стояли теперь шагах в пятнадцати друг от друга.

– Стива! – вдруг неожиданно сказал Левин, – что ж ты мне не скажешь, вышла твоя свояченица замуж или когда выходит?

Левин чувствовал себя столь твердым и спокойным, что никакой ответ, он думал, не мог бы взволновать его. Но он никак не ожидал того, что отвечал Степан Аркадьич.

– И не думала и не думает выходить замуж, а она очень больна, и доктора послали ее за границу. Даже бояться за ее жизнь.

– Что ты! – вскрикнул Левин. – Очень больна? Что же с ней? Как она...

В то время, как они говорили это, Ласка, насторожив уши, оглядывалась и вверх на небо и укоризненно на них.

«Вот нашли время разговаривать, – думала она. – Летит... Вот он, так и есть. Прозевают...» – думала Ласка.

Но в это самое мгновение оба вдруг услышали пронзительный свист, который как будто стегнул их по уху, и оба вдруг схватились за ружья, и две молнии блеснули, и два удара раздались в одно и то же мгновение. Высоко летевший вальдшнеп мгновенно сложил крылья и упал в чашу, пригибая тонкие побеги.

– Вот отлично! Общий! – вскрикнул Левин и побежал с Лаской в чашу отыскивать вальдшнепа. «Ах да, о чем это неприятно было? – вспоминал он. – Да, больна Кити... Что ж делать, очень жаль», – думал он.

– А, нашла! Вот умница, – сказал он, вынимая изо рта Ласки теплую птицу и кладя ее в полный почти ягдташ. – Нашел, Стива! – крикнул он.

XVI

Возвращаясь домой, Левин расспросил все подробности о болезни Кити и планах Щербачких, и, хотя ему совестно бы было признаться в этом, то, что он узнал, было приятно ему. Приятно и потому, что была еще надежда, и еще более приятно потому, что больно было ей, той, которая сделала ему так больно. Но когда Степан Аркадьич начал говорить о причинах болезни Кити и упомянул имя Вронского, Левин перебил его:

– Я не имею никакого права знать семейные подробности, по правде сказать, и никакого интереса.

Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся, уловив мгновенную и столь знакомую ему перемену в лице Левина, сделавшегося столь же мрачным, сколько он был весел минуту тому назад.

– Ты уже совсем кончил о лесе с Рябининым? – спросил Левин.

– Да, кончил. Цена прекрасная, тридцать восемь тысяч. Восемь вперед, а остальные на шесть лет. Я долго с этим возился. Никто больше не давал.

– Это значит, ты даром отдал лес, – мрачно сказал Левин.

– То есть почему же даром? – с добродушной улыбкой сказал Степан Аркадьич, зная, что теперь все будет нехорошо для Левина.

– Потому, что лес стоит по крайней мере пятьсот рублей за десятину, – отвечал Левин.

– Ах, эти мне сельские хозяева! – шутливо сказал Степан Аркадьич. – Этот ваш тон презрения к нашему брату городским!.. А как дело сделать, так мы лучше всегда сделаем. Поверь, что я все расчел, – сказал он, – и лес очень выгодно продан, так что я боюсь, как бы тот не отказался даже. Ведь это не обидной лес⁸⁴, – сказал Степан Аркадьич, желая этим словом *обидной* совсем убедить Левина в несправедливости его сомнений, – а дровяной больше. И станет не больше тридцати сажен на десятину, а он дал мне по двести рублей.

Левин презрительно улыбнулся. «Знаю, – подумал он, – эту манеру не одного его, но и всех городских жителей, которые, побывав раза два в десять лет в деревне и заметив два-три слова деревенские, употребляют их кстати и некстати, твердо уверенные, что они уже все знают. *Обидной, станет тридцать сажен*. Говорит слова, а сам ничего не понимает».

– Я не стану тебя учить тому, что ты там такое пишешь в своем присутствии, – сказал он, – а если мне нужно, то спрошу у тебя. А ты так уверен, что ты понимаешь всю эту грамоту о лесе. Она трудная. Счел ли ты деревья?

– Как счесть деревья? – смеясь, сказал Степан Аркадьич, все желая вывести приятеля из его дурного расположения духа. – Сочесть пески, лучи планет⁸⁵ хотя и мог бы ум высокий...

– Ну да, а ум высокий Рябинина может. И ни один купец не купит не считая, если ему не отдадут даром, как ты. Твой лес я знаю. Я каждый год там бываю на охоте, и твой лес стоит пятьсот рублей чистыми деньгами, а он тебе дал двести в рассрочку. Значит, ты ему подарил тысяч тридцать.

– Ну, полно увлекаться, – жалостно сказал Степан Аркадьич, – отчего же никто не давал?

– Оттого, что у него стачки с купцами: он дал отступного. Я со всеми ими имел дела, а их знаю. Ведь это не купцы, а барышники. Он и не пойдет на дело, где ему предстоит десять, пятнадцать процентов, а он ждет, чтобы купить за двадцать копеек рубль.

– Ну, полно! Ты не в духе.

– Нисколько, – мрачно сказал Левин, когда они подъезжали к дому.

У крыльца уже стояла туго обтянутая железом и кожей тележка с туго запряженной широкими гужами сытою лошадыо. В тележке сидел туго налитой кровью и туго подпоясанный приказчик, служивший кучером Рябинину. Сам Рябинин был уже в доме и встретил приятелей в передней. Рябинин был высокий, худощавый человек средних лет, с усами и бритым выдающимся подбородком и выпуклыми мутными глазами. Он был одет в длиннополый синий сюртук с пуговицами ниже зада и в высоких, сморщенных на щиколках и прямых на икрах сапогах, сверх которых были надеты большие калоши. Он округло вытер платком свое лицо и, запахнув сюртук, который и без того держался очень хорошо, с улыбкой приветствовал вошедших, протягивая Степану Аркадьичу руку, как бы желая поймать что-то.

– А вот и вы приехали, – сказал Степан Аркадьич, подавая ему руку. – Прекрасно.

– Не осмелился послушаться приказаний вашего сиятельства, хоть слишком дурна дорога. Положительно всю дорогу пешком шел, но явился в срок. Константину Дмитричу мое почтение, – обратился он к Левину, стараясь поймать и его руку. Но Левин, нахмурившись, делал вид, что не замечает его руки, и вынимал вальдшнепов. – Изволили потешаться охотой? Это какие, значит, птицы будут? – прибавил Рябинин, презрительно глядя на вальдшнепов, – вкус,

⁸⁴ *Обидной лес* – молодой низкорослый лес, годный только на мелкие поделки (ободья, оглобли, полозья). В тульском говоре слово «обида» (или обижда) означает «убыток», «поношение» (В. Даль. Толковый словарь, т. II, с. 583). Обидной – плохой, обидная цена – убыточная цена. Лес Облонского не обидной, а цена, назначенная Рябининым, обидная.

⁸⁵ *Сочесть пески, лучи планет...* – Из оды Г.Р. Державина (1743–1816) «Бог». У Державина: «Измерить океан глубокий, // Сочесть пески, лучи планет, // Хотя и мог бы ум высокий, // Тебе числа и меры нет!»

значит, имеют. – И он неодобрительно покачал головой, как бы сильно сомневаясь в том, чтоб эта овчинка стоила выделки.

– Хочешь в кабинет? – мрачно хмурясь, сказал Левин по-французски Степану Аркадьичу. – Пройдите в кабинет, вы там переговорите.

– Очень можно, куда угодно-с, – с презрительным достоинством сказал Рябинин, как бы желая дать почувствовать, что для других могут быть затруднения, как и с кем обойтись, но для него никогда и ни в чем не может быть затруднений.

Войдя в кабинет, Рябинин осмотрелся по привычке, как бы отыскивая образ, но, найдя его, не перекрестился. Он оглядел шкафы и полки с книгами и с тем же сомнением, как и насчет вальдшнепов, презрительно улыбнулся и неодобрительно покачал головой, никак уже не допуская, чтоб эта овчинка могла стоить выделки.

– Что ж, привезли деньги? – спросил Облонский. – Садитесь.

– Мы за деньгами не постоим. Повидаться, переговорить приехал.

– О чем же переговорить? Да вы садитесь.

– Это можно, – сказал Рябинин, садясь и самым мучительным для себя образом облачиваясь на спинку кресла. – Уступить надо, князь. Грех будет. А деньги готовы окончательно, до одной копейки. За деньгами остановки не бывает.

Левин, ставивший между тем ружье в шкаф, уже выходил из двери, но, услышав слова купца, остановился.

– Задаром лес взяли, – сказал он. – Поздно он ко мне приехал, а то я бы цену назначил.

Рябинин встал и молча с улыбкой поглядел снизу вверх на Левина.

– Оченно скупы, Константин Дмитрич, – сказал он с улыбкой, обращаясь к Степану Аркадьичу, – окончательно ничего не укупишь. Торговал пшеницу, хорошие деньги давал.

– Зачем мне вам свое даром давать? Я ведь не на земле нашел и не украл.

– Помилуйте, по нынешнему времени воровать положительно невозможно. Все окончательно по нынешнему времени гласное судопроизводство, все нынче благородно; а не то что воровать. Мы говорили по чести. Дорого кладут за лес, расчетов не сведешь. Прошу уступить хоть малость.

– Да кончено у вас дело или нет? Если кончено, нечего торговаться, а если не кончено, – сказал Левин, – я покупаю лес.

Улыбка вдруг исчезла с лица Рябина. Ястребиное, хищное и жесткое выражение установилось на нем. Он быстрыми костлявыми пальцами расстегнул сюртук, открыв рубаху навыпуск, медные пуговицы жилета и цепочку часов, и быстро достал толстый старый бумажник.

– Пожалуйста, лес мой, – проговорил он, быстро перекрестившись и протягивая руку. – Возьми деньги, мой лес. Вот как Рябинин торгует, а не гроши считать, – заговорил он, хмурясь и размахивая бумажником.

– Я бы на твоём месте не торопился, – сказал Левин.

– Помилуй, – с удивлением сказал Облонский, – ведь я слово дал.

Левин вышел из комнаты, хлопнув дверью. Рябинин, глядя на дверь, с улыбкой покачал головой.

– Все молодость, окончательно ребячество одно. Ведь покупаю, верьте чести, так, значит, для славы одной, что вот Рябинин, а не кто другой у Облонского рощу купил. А еще как Бог даст расчеты найти. Верьте Богу. Пожалуйста. Условьице написать...

Через час купец, аккуратно запахнув свой халат и застегнув крючки сюртука, с условием в кармане сел в свою туго окованную тележку и поехал домой.

– Ох, эти господа! – сказал он приказчику, – один предмет.

– Это как есть, – отвечал приказчик, передавая ему вожжи и застегивая кожаный фартук. – А с покупочкой, Михаил Игнатьич?

– Ну, ну...

XVII

Степан Аркадьич с оттопыренным карманом серий⁸⁶, которые за три месяца вперед отдал ему купец, вошел наверх. Дело с лесом было кончено, деньги в кармане, тяга была прекрасная, и Степан Аркадьич находился в самом веселом расположении духа, а потому ему особенно хотелось рассеять дурное настроение, нашедшее на Левина. Ему хотелось окончить день за ужином так же приятно, как он был начат.

Действительно, Левин был не в духе и, несмотря на все свое желание быть ласковым и любезным со своим милым гостем, не мог преодолеть себя. Хмель известия о том, что Кити не вышла замуж, понемногу начинал разбирать его.

Кити не замужем и больна, больна от любви к человеку, который пренебрег ею. Это оскорбление как будто падало на него. Вронский пренебрег ею, а она пренебрегла им, Левиным. Следовательно, Вронский имел право презирать Левина и потому был его враг. Но этого всего не думал Левин. Он смутно чувствовал, что в этом что-то есть оскорбительное для него, и сердился теперь не на то, что расстроило его, а придирался ко всему, что представлялось ему. Глупая продажа леса, обман, на который попался Облонский и который совершился у него в доме, раздражал его.

– Ну, кончил? – сказал он, встречая наверху Степана Аркадьича. – Хочешь ужинать?

– Да, не откажусь. Какой аппетит у меня в деревне, чудо! Что ж ты Рябинину не предложил поесть?

– А, черт с ним!

– Однако как ты обходишься с ним! – сказал Облонский. – Ты и руки ему не подал. Отчего же не подать ему руки?

– Оттого, что я лакею не подам руку, а лакей во сто раз лучше.

– Какой ты, однако, ретроград! А слияние сословий? – сказал Облонский.

– Кому приятно сливаться – на здоровье, а мне противно.

– Ты, я вижу, решительно ретроград.

– Право, я никогда не думал, кто я. Я – Константин Левин, больше ничего.

– И Константин Левин, который очень не в духе, – улыбаясь, сказал Степан Аркадьич.

– Да, я не в духе, и знаешь отчего? От, извини меня, твоей глупой продажи...

Степан Аркадьич добродушно сморщился, как человек, которого безвинно обижают и расстраивают.

– Ну, полно! – сказал он. – Когда бывало, чтобы кто-нибудь что-нибудь продал и ему бы не сказали сейчас же после продажи: «Это гораздо дороже стоит»? А куда продают, никто не дает... Нет, я вижу, у тебя есть *зуб* против этого несчастного Рябинина.

– Может быть, и есть. А ты знаешь за что? Ты скажешь опять, что я ретроград, или еще какое страшное слово, но все-таки мне досадно и обидно видеть это со всех сторон совершающееся обеднение дворянства, к которому я принадлежу, и, несмотря на слияние сословий, очень рад, что принадлежу. И обеднение не вследствие роскоши – это бы ничего; прожить по-барски – это дворянское дело, это только дворяне умеют. Теперь мужики около нас скупают земли, – мне не обидно. Барин ничего не делает, мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень рад мужику. Но мне обидно смотреть на это обеднение по какой-то, не знаю как назвать, невинности. Тут арендатор-поляк купил за полцены у барыни,

⁸⁶ *Серии* – государственные казначейские билеты стоимостью в 50 рублей, выпущенные «для увеличения оборотных средств и для ускоренного получения дохода». Серии выпускались разрядами и приносили доход 4,32 процента. Прибыль по купонам уплачивалась в определенные сроки. Рябинин заплатил Облонскому сериями за три месяца вперед, то есть получил проценты раньше наступления сроков платежа по купонам.

которая живет в Ницце, чудесное имение. Тут отдают купцу в аренду за рубль десятину земли, которая стоит десять рублей. Тут ты безо всякой причины подарил этому плуту тридцать тысяч.

– Так что же? считать каждое дерево?

– Непременно считать. А вот ты не считал, а Рябинин считал. У детей Рябинина будут средства к жизни и образованию, а у твоих, пожалуй, не будет!

– Ну, уж извини меня, но есть что-то мизерное в этом считанье. У нас свои занятия, у них свои, и им надо барыши. Ну, впрочем, дело сделано, и конец. А вот и глазунья, самая моя любимая яичница. И Агафья Михайловна даст нам этого травничку чудесного...

Степан Аркадьич сел к столу и начал шутить с Агафьей Михайловной, уверяя ее, что такого обеда и ужина он давно не ел.

– Вот вы хоть похвалите, – сказала Агафья Михайловна, – а Константин Дмитрич, что ему ни подай, хоть хлеба корку, – поел и пошел.

Как ни старался Левин преодолеть себя, он был мрачен и молчалив. Ему нужно было сделать один вопрос Степану Аркадьичу, но он не мог решиться и не находил ни формы, ни времени, как и когда его сделать. Степан Аркадьич уже сошел к себе вниз, разделся, опять умылся, облекся в гофрированную ночную рубашку и лег, а Левин все медлил у него в комнате, говоря о разных пустяках и не будучи в силах спросить, что хотел.

– Как это удивительно делают мыло, – сказал он, оглядывая и разворачивая душистый кусок мыла, который для гостя приготовила Агафья Михайловна, но который Облонский не употреблял. – Ты посмотри, ведь это произведение искусства.

– Да, до всего дошло теперь всякое усовершенствование, – сказал Степан Аркадьич, влажно и блаженно зевая. – Театры, например, и эти увеселительные... а-а-а! – зевал он. – Электрический свет везде⁸⁷... а-а!

– Да, электрический свет, – сказал Левин. – Да. Ну, а где Вронский теперь? – спросил он вдруг, положив мыло.

– Вронский? – сказал Степан Аркадьич, остановив зевоту, – он в Петербурге. Уехал вскоре после тебя и затем ни разу не был в Москве. И знаешь, Костя, я тебе правду скажу, – продолжал он, облокотившись на стол и положив на руку свое красивое румяное лицо, из которого светились, как звезды, масляные, добрые и сонные глаза. – Ты сам был виноват. Ты испугался соперника. А я, как и тогда тебе говорил, – я не знаю, на чьей стороне было более шансов. Отчего ты не шел напролом? Я тебе говорил тогда, что... – Он зевнул одними челюстями, не раскрывая рта.

«Знает он или не знает, что я делал предложение? – подумал Левин, глядя на него. – Да, что-то есть хитрое, дипломатическое в нем», – и, чувствуя, что краснеет, он молча смотрел прямо в глаза Степана Аркадьича.

– Если было с ее стороны что-нибудь тогда, то это было увлечение внешностью, – продолжал Облонский. – Этот, знаешь, совершенный аристократизм и будущее положение в свете подействовали не на нее, а на мать.

Левин нахмурился. Оскорбление отказа, через которое он прошел, как будто свежую, только что полученную раной загло его в сердце. Он был дома, а дома стены помогают.

– Постой, постой, – заговорил он, перебивая Облонского, – ты говоришь: аристократизм. А позволь тебя спросить, в чем это состоит аристократизм Вронского или кого бы то ни было, – такой аристократизм, чтобы можно пренебречь мною? Ты считаешь Вронского аристократом, но я нет. Человек, отец которого вылез из ничего пронырством, мать которого Бог знает с кем не была в связи... Нет, уж извини, но я считаю аристократом себя и людей, подобных мне,

⁸⁷ ...эти увеселительные... Электрический свет везде... – В начале 70-х годов электрический свет был еще большой редкостью. «Практические неудобства электрического освещения так велики, что его употребляют лишь в исключительных случаях» («Голос», 1873, № 131). Но содержатели театров и увеселительных заведений сразу же обзавелись новинкой. Уже в 1873 г. «Шато де флер» в Москве было освещено «электрическим солнцем» («Голос», 1873, № 133).

которые в прошедшем могут указать на три-четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования (дарованье и ум – это другое дело), и которые никогда ни пред кем не подличали, никогда ни в ком не нуждались, как жили мой отец, мой дед. И я знаю много таких. Тебе низко кажется, что я считаю деревья в лесу, а ты даришь тридцать тысяч Рябинину; но ты получишь аренду и не знаю еще что, а я не получу и потому дорожу родовым и трудовым... Мы аристократы, а не те, которые могут существовать только подачками от сильных мира сего и кого купить можно за двугривенный.

– На кого ты? Я с тобой согласен, – говорил Степан Аркадьич искренно и весело, хотя чувствовал, что Левин под именем тех, кого можно купить за двугривенный, разумел и его. Оживление Левина ему искренно нравилось. – На кого ты? Хотя многое и неправда, что ты говоришь про Вронского, но я не про то говорю. Я говорю тебе прямо, я на твоём месте поехал бы со мной в Москву и...

– Нет, я не знаю, знаешь ли ты или нет, но мне все равно. И я скажу тебе, – я сделал предложение и получил отказ, и Катерина Александровна для меня теперь только тяжелое, постыдное воспоминание.

– Отчего? Вот вздор!

– Но не будем говорить. Извини меня, пожалуйста, если я был груб с тобой, – сказал Левин. Теперь, высказав все, он опять стал тем, каким был поутру. – Ты не сердись на меня, Стива? Пожалуйста, не сердись, – сказал он и, улыбаясь, взял его за руку.

– Да нет, нисколько, и не за что. Я рад, что мы объяснились. А знаешь, утренняя тяга бывает хороша. Не поехать ли? Я бы так и не спал, а прямо с тяги и на станцию.

– И прекрасно.

XVIII

Несмотря на то, что вся внутренняя жизнь Вронского была наполнена его страстью, внешняя жизнь его неизменно и неудержимо катилась по прежним, привычным рельсам светских и полковых связей и интересов. Полковые интересы занимали важное место в жизни Вронского и потому, что он любил полк, и еще более потому, что его любили в полку. В полку не только любили Вронского, но его уважали и гордились им, гордились тем, что этот человек, огромно богатый, с прекрасным образованием и способностями, с открытой дорогой ко всякого рода успеху и честолюбию и тщеславию, пренебрегал этим всем и из всех жизненных интересов ближе всего принимал к сердцу интересы полка и товарищества. Вронский сознавал этот взгляд на себя товарищей и, кроме того, что любил эту жизнь, чувствовал себя обязанным поддерживать установившийся на него взгляд.

Само собою разумеется, что он не говорил ни с кем из товарищей о своей любви, не проговаривался и в самых сильных попойках (впрочем, он никогда не бывал так пьян, чтобы терять власть над собой) и затыкал рот тем из легкомысленных товарищей, которые пытались намекать ему на его связь. Но, несмотря на то, что его любовь была известна всему городу – все более или менее верно догадывались об его отношениях к Карениной, – большинство молодых людей завидовали ему именно в том, что было самое тяжелое в его любви, – в высоком положении Каренина и потому в выставленности этой связи для света.

Большинство молодых женщин, завидовавших Анне, которым уже давно наскучило то, что ее *называют справедливою*, радовались тому, что они предполагали, и ждали только подтверждения оборота общественного мнения, чтоб обрушиться на нее всею тяжестью своего презрения. Они приготавливали уже те комки грязи, которыми они бросят в нее, когда придет время. Большинство пожилых людей и люди высокопоставленные были недовольны этим готовящимся общественным скандалом.

Мать Вронского, узнав о его связи, сначала была довольна – и потому, что ничто, по ее понятиям, не давало последней отделки блестящему молодому человеку, как связь в высшем свете, и потому, что столь понравившаяся ей Каренина, так много говорившая о своем сыне, была все-таки такая же, как и все красивые и порядочные женщины, по понятиям графини Вронской. Но в последнее время она узнала, что сын отказался от предложенного ему, важного для карьеры, положения, только с тем, чтоб оставаться в полку, где он мог видаться с Карениной, узнала, что им недовольны за это высокопоставленные лица, и она переменила свое мнение. Не нравилось ей тоже то, что по всему, что она узнала про эту связь, это не была та блестящая, грациозная светская связь, какую она бы одобрила, но какая-то вертеровская, отчаянная страсть, как ей рассказывали, которая могла вовлечь его в глупости. Она не видала его со времени его неожиданного отъезда из Москвы и через старшего сына требовала, чтоб он приехал к ней.

Старший брат был также недоволен меньшим. Он не разбирал, какая то была любовь, большая или маленькая, страстная или не страстная, порочная или не порочная (он сам, имея детей, содержал танцовщицу и потому был снисходителен на это); но он знал, что это любовь, не нравящаяся тем, кому нужно нравиться, и потому не одобрял поведения брата.

Кроме занятий службы и света, у Вронского было еще занятие – лошади, до которых он был страстный охотник.

В нынешнем же году назначены были офицерские скачки с препятствиями⁸⁸. Вронский записался на скачки, купил английскую кровную кобылу и, несмотря на свою любовь, был страстно, хотя и сдержанно, увлечен предстоящими скачками.

Две страсти эти не мешали одна другой. Напротив, ему нужно было занятие и увлечение, не зависимое от его любви, на котором он освежался и отдыхал от слишком волновавших его впечатлений.

XIX

В день красносельских скачек Вронский раньше обыкновенного пришел съесть бифстек в общую залу артели полка. Ему не нужно было очень строго выдерживать себя, так как вес его как раз равнялся положенным четырем пудам с половиною; но надо было и не потолстеть, и потому он избегал мучного и сладкого. Он сидел в расстегнутом над белым жилетом сюртуке, облокотившись обеими руками на стол, и, ожидая заказанного бифстека, смотрел в книгу французского романа, лежавшую на тарелке. Он смотрел в книгу только затем, чтобы не разговаривать с входившими и выходившими офицерами, и думал.

Он думал о том, что Анна обещала ему дать свиданье нынче после скачек. Но он не видал ее три дня и, вследствие возвращения мужа из-за границы, не знал, возможно ли это нынче или нет, и не знал, как узнать это. Он виделся с ней в последний раз на даче у кузины Бетси. На дачу же Карениных он ездил как можно реже. Теперь он хотел ехать туда и обдумывал вопрос, как это сделать.

«Разумеется, я скажу, что Бетси прислала меня спросить, приедет ли она на скачки. Разумеется, поеду», – решил он сам с собой, поднимая голову от книги. И, живо представив себе счастье увидеть ее, он просиял лицом.

⁸⁸ ...назначены были офицерские скачки с препятствиями. – В 1873 г. газета «Голос» поместила известие о четырехверстных офицерских скачках в Красном Селе: «От управления его императорского высочества генерал-инспектора кавалерии объявляется по войскам, что красносельская офицерская четырехверстная скачка с препятствиями на призы императорской фамилии будет произведена в конце будущего июля, и потому те офицеры, которые будут предназначены к отправлению на эту скачку, должны прибыть в Красное Село 5 июля. Для помещения лошадей устроены вблизи ипподрома конюшни, а для офицеров будут разбиты палатки» («Голос», 1873, № 144).

– Пошли ко мне на дом, чтобы закладывали поскорей коляску тройкой, – сказал он слуге, подававшему ему бифстек на серебряном горячем блюде, и, придвинув блюдо, стал есть.

В соседней бильярдной слышались удары шаров, говор и смех. Из входной двери появились два офицера: один молоденький, с слабым, тонким лицом, недавно поступивший из Паже-ского корпуса в их полк; другой пухлый, старый офицер с браслетом на руке и заплывшими маленькими глазами.

Вронский взглянул на них, нахмурился и, как будто не заметив их, косясь на книгу, стал есть и читать вместе.

– Что? подкрепляешься на работу? – сказал пухлый офицер, садясь подле него.

– Видишь, – отвечал Вронский, хмурясь, отирая рот и не глядя на него.

– А не боишься потолстеть? – сказал тот, поворачивая стул для молоденького офицера.

– Что? – сердито сказал Вронский, делая гримасу отвращения и показывая свои сплошные зубы.

– Не боишься потолстеть?

– Человек, хересу! – сказал Вронский, не отвечая, и, переложив книгу на другую сторону, продолжал читать.

Пухлый офицер взял карту вин и обратился к молоденькому офицеру.

– Ты сам выбери, что будем пить, – сказал он, подавая ему карту и глядя на него.

– Пожалуй, рейнвейну, – сказал молодой офицер, робко косясь на Вронского и стараясь поймать пальцами чуть отросшие усики. Видя, что Вронский не оборачивается, молодой офицер встал.

– Пойдем в бильярдную, – сказал он.

Пухлый офицер покорно встал, и они направились к двери.

В это время в комнату вошел высокий и статный ротмистр Яшвин и, кверху, презрительно кивнув головой двум офицерам, подошел ко Вронскому.

– А! вот он! – крикнул он, крепко ударив его своею большою рукой по погону. Вронский оглянулся сердито, но тотчас же лицо его просияло свойственною ему спокойною и твердою лаской.

– Умно, Алеша, – сказал ротмистр громким баритоном. – Теперь поешь и выпей одну рюмочку.

– Да не хочется есть.

– Вот неразлучные, – прибавил Яшвин, насмешливо глядя на двух офицеров, которые выходили в это время из комнаты. И он сел подле Вронского, согнув острыми углами свои слишком длинные по высоте стульев стегна и голени в узких рейтузах. – Что ж ты вчера не заехал в красненский театр? Нумерова совсем недурна была. Где ты был?

– Я у Тверских засиделся, – отвечал Вронский.

– А! – отозвался Яшвин.

Яшвин, игрок, кутила и не только человек без всяких правил, но с безнравственными правилами, – Яшвин был в полку лучший приятель Вронского. Вронский любил его и за его необычайную физическую силу, которую он большею частью выказывал тем, что мог пить, как бочка, не спать и быть все таким же, и за большую нравственную силу, которую он выказывал в отношениях к начальникам и товарищам, вызывая к себе страх и уважение, и в игре, которую он вел на десятки тысяч и всегда, несмотря на выпитое вино, так тонко и твердо, что считался первым игроком в Английском клубе. Вронский уважал и любил его в особенности за то, что чувствовал, что Яшвин любит его не за его имя и богатство, а за него самого. И из всех людей с ним одним Вронский хотел бы говорить про свою любовь. Он чувствовал, что Яшвин один, несмотря на то, что, казалось, презирал всякое чувство, – один, казалось Вронскому, мог понимать ту сильную страсть, которая теперь наполнила всю его жизнь. Кроме того, он был уверен, что Яшвин уже наверное не находит удовольствия в сплетне и скандале, а понимает

это чувство как должно, то есть знает и верит, что любовь эта – не шутка, не забава, а что-то серьезнее и важнее.

Вронский не говорил с ним о своей любви, но знал, что он все знает, все понимает как должно, и ему приятно было видеть это по его глазам.

– А, да! – сказал он на то, что Вронский был у Тверских, и, блеснув своими черными глазами, взялся за левый ус и стал заправлять его в рот по своей дурной привычке.

– Ну, а ты вчера что сделал? Выиграл? – спросил Вронский.

– Восемь тысяч. Да три не хороши, едва ли отдаст.

– Ну, так можешь за меня и проиграть, – сказал Вронский, смеясь. (Яшвин держал большое пари за Вронского.)

– Ни за что не проиграю.

– Один Махотин опасен.

И разговор перешел на ожидания нынешней скачки, о которой только и мог думать теперь Вронский.

– Пойдем, я кончил, – сказал Вронский и, встав, пошел к двери. Яшвин встал тоже, растянув свои огромные ноги и длинную спину.

– Мне обедать еще рано, а выпить надо. Я приду сейчас. Эй, вина! – крикнул он своим знаменитым в командовании, густым и заставлявшим дрожать стекла голосом. – Нет, не надо, – тотчас же опять крикнул он. – Ты домой, так я с тобой пойду.

И они пошли с Вронским.

XX

Вронский стоял в просторной и чистой, разгороженной надвое чухонской избе. Петрицкий жил с ним вместе и в лагерях. Петрицкий спал, когда Вронский с Яшвиным вошли в избу.

– Вставай, будет спать, – сказал Яшвин, заходя за перегородку и толкая за плечо уткнувшегося носом в подушку взлохмаченного Петрицкого.

Петрицкий вдруг вскочил на колени и оглянулся.

– Твой брат был здесь, – сказал он Вронскому. – Разбудил меня, черт его возьми, сказал, что придет опять. – И он опять, натягивая одеяло, бросился на подушку. – Да оставь же, Яшвин, – говорил он, сердясь на Яшвина, тащившего с него одеяло. – Оставь! – Он повернулся и открыл глаза. – Ты лучше скажи, *что* выпить; такая гадость во рту, что...

– Водки лучше всего, – пробасил Яшвин. – Терещенко! водки барину и огурец, – крикнул он, видимо любя слушать свой голос.

– Водки, ты думаешь? А? – спросил Петрицкий, морщась и протирая глаза. – А ты выпьешь? Вместе, так выпьем! Вронский, выпьешь? – сказал Петрицкий, вставая и закутываясь под руками в тигровое одеяло.

Он вышел в дверь перегородки, поднял руки и запел по-французски: «Был король в Ту-у-ле»⁸⁹.

– Вронский, выпьешь?

– Убирайся, – сказал Вронский, надевавший подаваемый лакеем сюртук.

– Это куда? – спросил его Яшвин. – Вот и тройка, – прибавил он, увидев подъезжавшую коляску.

– В конюшню, да еще мне нужно к Брянскому об лошадях, – сказал Вронский.

⁸⁹ «Был король в Ту-у-ле». – Туле – северный остров в немецких народных преданиях. «Был король в Туле» – строка из «Фауста» Гете.

Вронский действительно обещал быть у Брянского, в десяти верстах от Петергофа, и привезти ему за лошадой деньги; и он хотел успеть побывать и там. Но товарищи тотчас же поняли, что он не туда только едет.

Петрицкий, продолжая петь, подмигнул глазом и надул губы, как бы говоря: знаем, какой это Брянский.

– Смотри не опоздай! – сказал только Яшвин и, чтобы переменить разговор: – Что мой саврасый, служит хорошо? – спросил он, глядя в окно, про коренного, которого он продал.

– Стой! – закричал Петрицкий уже уходившему Вронскому. – Брат твой оставил письмо тебе и записку. Постой, где они?

Вронский остановился.

– Ну, где же они?

– Где они? Вот в чем вопрос! – проговорил торжественно Петрицкий, проводя кверху от носа указательным пальцем.

– Да говори же, это глупо! – улыбаясь, сказал Вронский.

– Камина я не топил. Здесь где-нибудь.

– Ну, полно врать! Где же письмо?

– Нет, право забыл. Или я во сне видел? Постой, постой! Да что ж сердиться! Если бы ты, как я вчера, выпил четыре бутылочки на брата, ты бы и забыл, где ты лежишь. Постой, сейчас вспомню!

Петрицкий пошел за перегородку и лег на свою кровать.

– Стой! Так я лежал, так он стоял. Да-да-да-да... Вот оно! – И Петрицкий вынул письмо из-под матраца, куда он запрятал его.

Вронский взял письмо и записку брата. Это было то самое, что он ожидал, – письмо от матери с упреками за то, что он не приезжал, и записка от брата, в которой говорилось, что нужно переговорить. Вронский знал, что это все о том же. «Что им за дело!» – подумал Вронский и, смяв письма, сунул их между пуговиц сюртука, чтобы внимательно прочесть дорогой. В сенях избы ему встретились два офицера: один их, а другой другого полка.

Квартира Вронского всегда была притоном всех офицеров.

– Куда?

– Нужно, в Петергоф.

– А лошадь пришла из Царского?

– Пришла, да я не видал еще.

– Говорят, Махотина Гладиатор захромал.

– Вздор! Только как вы по этой грязи поскачете? – сказал другой.

– Вот мои спасители! – закричал, увидав вошедших, Петрицкий, пред которым стоял денщик с водкой и огурцом на подносе. – Вот Яшвин велит пить, чтоб освежиться.

– Ну, уж вы нам задали вчера, – сказал один из пришедших, – всю ночь не давали спать.

– Нет, каково мы окончили! – рассказывал Петрицкий. – Волков залез на крышу и говорит, что ему грустно. Я говорю: давай музыку, погребальный марш! Он так на крыше и заснул под погребальный марш.

– Так что ж пить? – говорил он, держа рюмку и морщась.

– Выпей, выпей водки непременно, а потом сельтерской воды и много лимона, – говорил Яшвин, стоя над Петрицким, как мать, заставляющая ребенка принимать лекарство, – а потом уж шампанского немножечко, – так, бутылочку.

– Вот это умно. Постой, Вронский, выпьем.

– Нет, прощайте, господа, нынче я не пью.

– Что ж, потяжелеешь? Ну, так мы одни. Давай сельтерской воды и лимон.

– Вронский! – закричал кто-то, когда он уж выходил в сени.

– Что?

– Ты бы волоса обстриг, а то они у тебя тяжелы, особенно на лысине.

Вронский действительно преждевременно начинал плешиветь. Он весело засмеялся, показывая свои сплошные зубы, и, надвинув фуражку на лысину, вышел и сел в коляску.

– В конюшню! – сказал он и достал было письма, чтобы прочесть их, но потом раздумал, чтобы не развлекаться до осмотра лошади. – «Потом!...»

XXI

Временная конюшня, балаган из досок, была построена подле самого гипподрома, и туда вчера должна была быть приведена его лошадь. Он еще не видал ее. В эти последние дни он сам не ездил на проездку, а поручил тренеру и теперь решительно не знал, в каком состоянии пришла и была его лошадь. Едва он вышел из коляски, как конюх его (грум), так называемый мальчик, узнав еще издалека его коляску, вызвал тренера. Сухой англичанин в высоких сапогах и в короткой жакетке, с клочком волос, оставленным только под подбородком, неумелою походкой жокеев, растопыривая локти и раскачиваясь, вышел навстречу.

– Ну что Фру-Фру⁹⁰? – спросил Вронский по-английски.

– All right, sir, – все исправно, сударь, – где-то внутри горла проговорил голос англичанина. – Лучше не ходите, – прибавил он, поднимая шляпу. – Я надел намордник, и лошадь возбуждена. Лучше не ходить, это тревожит лошадь.

– Нет, уж я войду. Мне хочется взглянуть.

– Пойдем, – все так же не открывая рта, нахмурившись, сказал англичанин и, размахивая локтями, пошел вперед своею развинченною походкой.

Они вошли в дворик пред баракom. Дежурный, в чистой куртке, нарядный молодцеватый мальчик, с метлой в руке, встретил входивших и пошел за ними. В бараке стояло пять лошадей по денникам, и Вронский знал, что тут же нынче должен быть приведен и стоит его главный соперник, рыжий пятивершковый Гладиатор Махотина. Еще более, чем свою лошадь, Вронскому хотелось видеть Гладиятора, которого он не видал; но Вронский знал, что, по законам приличия конской охоты, не только нельзя видеть его, но неприлично и расспрашивать про него. В то время когда он шел по коридору, мальчик отворил дверь во второй денник налево, и Вронский увидел рыжую крупную лошадь и белые ноги. Он знал, что это был Гладиатор, но с чувством человека, отворачивающегося от чужого раскрытого письма, он отвернулся и подошел к деннику Фру-Фру.

– Здесь лошадь Ма-к... Мак... никогда не могу выговорить это имя, – сказал англичанин через плечo, указывая большим, с грязным ногтем пальцем на денник Гладиятора.

– Махотина? Да, это мой один серьезный соперник, – сказал Вронский.

– Если бы вы ехали на нем, – сказал англичанин, – я бы за вас держал.

– Фру-Фру нервнее, он сильнее, – сказал Вронский, улыбаясь от похвалы своей езде.

– С препятствиями все дело в езде и в pluck, – сказал англичанин.

Pluck, то есть энергии и смелости, Вронский не только чувствовал в себе достаточно, но, что гораздо важнее, он был твердо убежден, что ни у кого в мире не могло быть этого pluck больше, чем у него.

– А вы верно знаете, что не нужно было *большого потнения*?

⁹⁰ Ну что Фру-Фру? – «Фру-Фру» – название комедии Анри Мельяка (1831–1897) и Людовика Галеви (1834–1908), которая шла в Петербурге в 1872 г. (с известной актрисой Стелла-Колас в главной роли). Фру-Фру – прозвище героини пьесы, Жильберты. «Ведь в этом именно вся вы! Фру-Фру!... Капризничаете, смеетесь, поете, играете, танцуете, скачете и опять исчезаете. Фру-Фру, всегда Фру-Фру...» (А. Мельяк и Л. Галеви. Фру-Фру. М., 1900, с. 4). Отдавая дань моде, Вронский назвал свою лошадь Фру-Фру.

– Не нужно, – отвечал англичанин. – Пожалуйста, не говорите громко. Лошадь волнуется, – прибавил он, кивая головою на запертый денник, пред которым они стояли и где слышалась перестановка ног по соломе.

Он отворил дверь, и Вронский вошел в слабо освещенный из одного маленького окошечка денник. В деннике, перебирая ногами по свежей соломе, стояла караковая лошадь с намордником. Оглядевшись в полусвете денника, Вронский опять невольно обнял одним общим взглядом все стати своей любимой лошади. Фру-Фру была среднего роста лошадь и по статьям не безукоризненная. Она была вся узка костью; ее грудина хотя и сильно выдавалась вперед, грудь была узка. Зад был немного свислый, и в ногах передних, и особенно задних, была значительная косолапина. Мышцы задних и передних ног не были особенно крупны; но зато в подпруге лошадь была необыкновенно широка, что особенно поражало теперь, при ее выдержке и поджаром животе. Кости ее ног ниже колен казались не толще пальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя сбоку. Она вся, кроме ребер, как будто была сдавлена с боков и вытянута в глубину. Но у ней в высшей степени было качество, заставляющее забывать все недостатки; это качество была *кровь*, та кровь, которая *сказывается*, по английскому выражению. Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутой в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас, коже, казались столь же крепкими, как кость. Сухая голова ее с выпуклыми блестящими, веселыми глазами расширялась у храпа в выдающиеся ноздри с налитой внутри кровью перепонкой. Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное энергическое и вместе нежное выражение. Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого.

Вронскому по крайней мере показалось, что она поняла все, что он теперь, глядя на нее, чувствовал.

Как только Вронский вошел к ней, она глубоко втянула в себя воздух и, скашивая свой выпуклый глаз так, что белок налился кровью, с противоположной стороны глядела на вошедших, потряхивая намордником и упруго переступая с ноги на ногу.

– Ну, вот видите, как она взволнована, – сказал англичанин.

– О, милая! О! – говорил Вронский, подходя к лошади и уговаривая ее.

Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошел к ее голове, она вдруг затихла, и мускулы ее затряслись под тонкою, нежною шерстью. Вронский погладил ее крепкую шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицом к ее растянутому, тонким, как крыло летучей мыши, ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных ноздрей, вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула крепкую черную губу ко Вронскому, как бы желая поймать его за рукав. Но, вспомнив о наморднике, она встряхнула им и опять начала переставлять одну за другою свои точеные ножки.

– Успокойся, милая, успокойся! – сказал он, погладив ее еще рукой по заду, и с радостным сознанием, что лошадь в самом хорошем состоянии, вышел из денника.

Волнение лошади сообщилось и Вронскому; он чувствовал, что кровь прилиwała ему к сердцу и что ему так же, как и лошади, хочется двигаться, кусаться; было и страшно и весело.

– Ну, так я на вас надеюсь, – сказал он англичанину, – в шесть с половиной на месте.

– Все исправно, – сказал англичанин. – А вы куда едете, милорд? – спросил он, неожиданно употребив это название *my-Lord*, которого он почти никогда не употреблял.

Вронский с удивлением приподнял голову и посмотрел, как он умел смотреть, не в глаза, а на лоб англичанина, удивляясь смелости его вопроса. Но, поняв, что англичанин, делая этот вопрос, смотрел на него не как на хозяина, но как на жокея, ответил ему:

– Мне нужно к Брянскому, я через час буду дома.

«Который раз мне делают нынче этот вопрос!» – сказал он себе и покраснел, что с ним редко бывало. Англичанин внимательно посмотрел на него. И, как будто он знал, куда едет Вронский, прибавил:

– Первое дело быть спокойным пред ездою, – сказал он, – не будьте не в духе и ничем не расстраивайтесь.

– All right, – улыбаясь, отвечал Вронский и, вскочив в коляску, велел ехать в Петергоф.

Едва он отъехал несколько шагов, как туча, с утра угрожавшая дождем, надвинулась, и хлынул ливень.

«Плохо! – подумал Вронский, поднимая коляску. – И то грязно было, а теперь совсем болото будет». Сидя в уединении закрытой коляски, он достал письмо матери и записку брата и прочел их.

Да, все это было то же и то же. Все, его мать, его брат, все находили нужным вмешиваться в его сердечные дела. Это вмешательство возбуждало в нем злобу – чувство, которое он редко испытывал. «Какое им дело? Почему всякий считает своим долгом заботиться обо мне? И отчего они пристают ко мне? Оттого, что они видят, что это что-то такое, чего они не могут понять. Если б это была обыкновенная пошлая светская связь, они бы оставили меня в покое. Они чувствуют, что это что-то другое, что это не игрушка, эта женщина дороже для меня жизни. И это-то непонятно и потому досадно им. Какая ни есть и ни будет наша судьба, мы ее сделали, и мы на нее не жалуемся, – говорил он, в слове *мы* соединяя себя с Анною. – Нет, им надо научить нас, как жить. Они и понятия не имеют о том, что такое счастье, они не знают, что без этой любви для нас ни счастья, ни несчастья – нет жизни», – думал он.

Он сердился на всех за вмешательство именно потому, что он чувствовал в душе, что они, эти все, были правы. Он чувствовал, что любовь, связывавшая его с Анной, не была минутное увлечение, которое пройдет, как проходят светские связи, не оставив других следов в жизни того и другого, кроме приятных или неприятных воспоминаний. Он чувствовал всю мучительность своего и ее положения, всю трудность при той выставленности для глаз всего света, в которой они находились, скрывать свою любовь, лгать и обманывать; и лгать, обманывать, хитрить и постоянно думать о других тогда, когда страсть, связывавшая их, была так сильна, что они оба забывали обо всем другом, кроме своей любви.

Он живо вспомнил все те часто повторявшиеся случаи необходимости лжи и обмана, которые были так противны его натуре; вспоминал особенно живо не раз замеченное в ней чувство стыда за эту необходимость обмана и лжи. И он испытал странное чувство, со времени его связи с Анною иногда находившее на него. Это было чувство омерзения к чему-то: к Алексею ли Александровичу, к себе ли, ко всему ли свету, – он не знал хорошенько. Но он всегда отгонял от себя это странное чувство. И теперь, встряхнувшись, продолжал ход своих мыслей.

«Да, она прежде была несчастлива, но горда и спокойна; а теперь она не может быть спокойна и достойна, хотя она и не показывает этого. Да, это нужно кончить», – решил он сам с собою.

И ему в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, тем лучше. «Бросить все ей и мне и скрыться куда-нибудь одним с своею любовью», – сказал он себе.

XXII

Ливень был непродолжительный, и, когда Вронский подъезжал на всей рыси коренного, вытягивавшего скакавших уже без вожжей по грязи пристяжных, солнце опять выглянуло, и крыши дач, старые липы садов по обеим сторонам главной улицы блестели мокрым блеском, и с ветвей весело капала, а с крыш бежала вода. Он не думал уже о том, как этот ливень испортит гипподром, но теперь радовался тому, что благодаря этому дождю наверное застанет ее дома и

одну, так как он знал, что Алексей Александрович, недавно вернувшийся с вод, не переезжал из Петербурга.

Надеясь застать ее одну, Вронский, как он и всегда делал это, чтобы меньше обратить на себя внимание, слез, не переезжая мостика, и пошел пешком. Он не пошел на крыльцо с улицы, но вошел во двор.

– Барин приехал? – спросил он у садовника.

– Никак нет. Барыня дома. Да вы с крыльца пожалуйста; там люди есть, отопрут, – отвечал садовник.

– Нет, я из сада пройду.

И, убедившись, что она одна, и желая застать ее врасплох, так как он не обещался быть нынче и она, верно, не думала, что он приедет пред скачками, он пошел, придерживая саблю и осторожно шагая по песку дорожки, обсаженной цветами, к террасе, выходившей в сад. Вронский теперь забыл все, что он думал дорогой о тяжести и трудности своего положения. Он думал об одном, что сейчас увидит ее не в одном воображении, но живую, всю, какая она есть в действительности. Он уже входил, ступая во всю ногу, чтобы не шуметь, по отлогим ступеням террасы, когда вдруг вспомнил то, что он всегда забывал, и то, что составляло самую мучительную сторону его отношения к ней, – ее сына с его вопрошающим, противным, как ему казалось, взглядом.

Мальчик этот чаще всех других был помехой их отношений. Когда он был тут, ни Вронский, ни Анна не только не позволяли себе говорить о чем-нибудь таком, чего бы они не могли повторить при всех, но они не позволяли себе даже и намеками говорить то, чего бы мальчик не понял. Они не сговаривались об этом, но это установилось само собою. Они считали бы оскорблением самих себя обманывать этого ребенка. При нем они говорили между собой как знакомые. Но, несмотря на эту осторожность, Вронский часто видел устремленный на него внимательный и недоумевающий взгляд ребенка и странную робость, неровность, то ласку, то холодность и застенчивость в отношении к себе этого мальчика. Как будто ребенок чувствовал, что между этим человеком и его матерью есть какое-то важное отношение, значения которого он понять не может.

Действительно, мальчик чувствовал, что он не может понять этого отношения, и силился и не мог уяснить себе то чувство, которое он должен иметь к этому человеку. С чуткостью ребенка к проявлению чувства он ясно видел, что отец, гувернантка, няня – все не только не любили, но с отвращением и страхом смотрели на Вронского, хотя и ничего не говорили про него, а что мать смотрела на него, как на лучшего друга.

«Что же это значит? Кто он такой? Как надо любить его? Если я не понимаю, я виноват, или я глупый, или дурной мальчик», – думал ребенок; и от этого происходило его испытующее, вопросительное, отчасти неприязненное выражение, и робость, и неровность, которые так стесняли Вронского. Присутствие этого ребенка всегда и неизменно вызывало во Вронском то странное чувство беспричинного омерзения, которое он испытывал последнее время. Присутствие этого ребенка вызывало во Вронском и в Анне чувство, подобное чувству мореплавателя, видящего по компасу, что направление, по которому он быстро движется, далеко расходится с надлежащим, но что остановить движение не в его силах, что каждая минута удаляет его больше и больше от должного направления и что признаться себе в отступлении – все равно, что признаться в гибели.

Ребенок этот с своим наивным взглядом на жизнь был компас, который показывал им степень их отклонения от того, что они знали, но не хотели знать.

На этот раз Сережи не было дома, и она была совершенно одна и сидела на террасе, ожидая возвращения сына, ушедшего гулять и застигнутого дождем. Она послала человека и девушку искать его и сидела, ожидая. Одета в белое с широким шитьем платье, она сидела в углу террасы за цветами и не слыхала его. Склонив свою чернокурчавую голову, она прижала

лоб к холодной лейке, стоявшей на перилах, и обеими своими прекрасными руками, со столь знакомыми ему кольцами, придерживала лейку. Красота всей ее фигуры, головы, шеи, рук каждый раз, как неожиданностью, поражала Вронского. Он остановился, с восхищением глядя на нее. Но только что он хотел ступить шаг, чтобы приблизиться к ней, она уже почувствовала его приближение, оттолкнула лейку и повернула к нему свое разгоряченное лицо.

– Что с вами? Вы нездоровы? – сказал он по-французски, подходя к ней. Он хотел бежать к ней; но, вспомнив, что могли быть посторонние, оглянулся на балконную дверь и покраснел, как он всякий раз краснел, чувствуя, что должен бояться и оглядываться.

– Нет, я здорова, – сказала она, вставая и крепко пожимая его протянутую руку. – Я не ждала... тебя.

– Боже мой! какие холодные руки! – сказал он.

– Ты испугал меня, – сказала она. – Я одна и жду Сережу, он пошел гулять; они отсюда придут.

Но, несмотря на то, что она старалась быть спокойною, губы ее тряслись.

– Простите меня, что я приехал, но я не мог провести дня, не видав вас, – продолжал он по-французски, как он всегда говорил, избегая невозможно-холодного между ними *вы* и опасного *ты* по-русски.

– За что ж простить? Я так рада!

– Но вы нездоровы или огорчены, – продолжал он, не выпуская ее руки и нагибаясь над нею. – О чем вы думали?

– Все об одном, – сказала она с улыбкой.

Она говорила правду. Когда бы, в какую минуту ни спросили бы ее, о чем она думала, она без ошибки могла ответить: об одном, о своем счастье и о своем несчастье. Она думала теперь именно, когда он застал ее, вот о чем: она думала, почему для других, для Бетси например (она знала ее скрытую для света связь с Тушкевичем), все это было легко, а для нее так мучительно? Нынче эта мысль, по некоторым соображениям, особенно мучала ее. Она спросила его о скачках. Он отвечал ей и, видя, что она взволнована, стараясь развлечь ее, стал рассказывать ей самым простым тоном подробности приготовлений к скачкам.

«Сказать или не сказать? – думала она, глядя в его спокойные ласковые глаза. – Он так счастлив, так занят своими скачками, что не поймет этого как надо, не поймет всего значения для нас этого события».

– Но вы не сказали, о чем вы думали, когда я вошел, – сказал он, перервав свой рассказ, – пожалуйста, скажите!

Она не отвечала и, склонив немного голову, смотрела на него исподлобья вопросительно своими блестящими из-за длинных ресниц глазами. Рука ее, игравшая сорванным листом, дрожала. Он видел это, и лицо его выразило ту покорность, рабскую преданность, которая так подкупала ее.

– Я вижу, что случилось что-то. Разве я могу быть минуту спокоен, зная, что у вас есть горе, которого я не разделяю? Скажите, ради Бога! – умоляюще повторил он.

«Да, я не прощу ему, если он не поймет всего значения этого. Лучше не говорить, зачем испытывать?» – думала она, все так же глядя на него и чувствуя, что рука ее с листком все больше и больше трясется.

– Ради Бога! – повторил он, взяв ее руку.

– Сказать?

– Да, да, да...

– Я беременна, – сказала она тихо и медленно.

Листок в ее руке задрожал еще сильнее, но она не спускала с него глаз, чтобы видеть, как он примет это. Он побледнел, хотел что-то сказать, но остановился, выпустил ее руку и опустил

голову. «Да, он понял все значение этого события», – подумала она и благодарно пожала ему руку.

Но она ошиблась в том, что он понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с удесятенною силой почувствовал припадок этого странного, находившего на него чувства омерзения к кому-то; но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступил теперь, что нельзя более скрывать от мужа, и необходимо так или иначе разорвать скорее это неестественное положение. Но, кроме того, ее волнение физически сообщалось ему. Он взглянул на нее умиленным, покорным взглядом, поцеловал ее руку, встал и молча прошелся по террасе.

– Да, – сказал он решительно, подходя к ней. – Ни я, ни вы не смотрели на наши отношения как на игрушку, а теперь наша судьба решена. Необходимо кончить, – сказал он, оглядываясь, – ту ложь, в которой мы живем.

– Кончить? Как же кончить, Алексей? – сказала она тихо.

Она успокоилась теперь, и лицо ее сияло нежною улыбкой.

– Оставить мужа и соединить нашу жизнь.

– Она соединена и так, – чуть слышно отвечала она.

– Да, но совсем, совсем.

– Но как, Алексей, научи меня, как? – сказала она с грустною насмешкой над безвыходностью своего положения. – Разве есть выход из такого положения? Разве я не жена своего мужа?

– Из всякого положения есть выход. Нужно решиться, – сказал он. – Все лучше, чем то положение, в котором ты живешь. Я ведь вижу, как ты мучаешься всем, и светом, и сыном, и мужем.

– Ах, только не мужем, – с простою усмешкой сказала она. – Я не знаю, я не думаю о нем. Его нет.

– Ты говоришь неискренно. Я знаю тебя. Ты мучаешься и о нем.

– Да он и не знает, – сказала она, и вдруг яркая краска стала выступать на ее лицо; щеки, лоб, шея ее покраснели, и слезы стыда выступили ей на глаза. – Да и не будем говорить об нем.

XXIII

Вронский уже несколько раз пытался, хотя и не так решительно, как теперь, наводить ее на обсуждение своего положения и каждый раз сталкивался с тою поверхностностью и легкостью суждений, с которою она теперь отвечала на его вызов. Как будто было что-то в этом такое, чего она не могла или не хотела уяснить себе, как будто, как только она начинала говорить про это, она, настоящая Анна, уходила куда-то в себя и выступала другая, странная, чуждая ему женщина, которой он не любил и боялся и которая давала ему отпор. Но нынче он решился высказать все.

– Знает ли он, или нет, – сказал Вронский своим обычным твердым и спокойным тоном, – знает ли он, или нет, нам до этого дела нет. Мы не можем... вы не можете так оставаться, особенно теперь.

– Что ж делать, по-вашему? – спросила она с тою легкой насмешливостью. Ей, которая так боялась, чтоб он не принял легко ее беременность, теперь было досадно за то, что он из этого выводил необходимость предпринять что-то.

– Объявить ему все и оставить его.

– Очень хорошо; положим, что я сделаю это, – сказала она. – Вы знаете, что из этого будет? Я вперед все расскажу, – и злой свет зажегся в ее за минуту пред этим нежных глазах. – «А, вы любите другого и вступили с ним в преступную связь? (Она, представляя мужа, сделала, точно так, как это делал Алексей Александрович, ударение на слове *преступную*.) Я

предупреждал вас о последствиях в религиозном, гражданском и семейном отношениях. Вы не послушали меня. Теперь я не могу отдать позору свое имя... – и своего сына, – хотела она сказать, но сыном она не могла шутить... – позору свое имя», и еще что-нибудь в таком роде, – добавила она. – Вообще он скажет со своею государственною манерой и с ясностью и точно-стью, что он не может отпустить меня, но примет зависящие от него меры остановить скандал. И сделает спокойно, аккуратно то, что скажет. Вот что будет. Это не человек, а машина, и злая машина, когда рассердится, – прибавила она, вспоминая при этом Алексея Александровича со всеми подробностями его фигуры, манеры говорить и его характера и в вину ставя ему все, что только могла она найти в нем нехорошего, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которою она была пред ним виновата.

– Но, Анна, – сказал Вронский убедительным, мягким голосом, стараясь успокоить ее, – все-таки необходимо сказать ему, а потом уж руководиться тем, что он предпримет.

– Что ж, бежать?

– Отчего ж и не бежать? Я не вижу возможности продолжать это. И не для себя, – я вижу, что вы страдаете.

– Да, бежать, и мне сделаться вашею любовницей? – злобно сказала она.

– Анна! – укоризненно-нежно проговорил он.

– Да, – продолжала она, – сделаться вашею любовницей и погубить все...

Она опять хотела сказать: сына, но не могла выговорить этого слова.

Вронский не мог понять, как она, со своею сильною, честною натурой, могла переносить это положение обмана и не желать выйти из него; но он не догадывался, что главная причина этого было то слово *сын*, которого она не могла выговорить. Когда она думала о сыне и его будущих отношениях к бросившей его отца матери, ей так становилось страшно за то, что она сделала, что она не рассуждала, а, как женщина, старалась только успокоить себя лживыми рассуждениями и словами, с тем чтобы все оставалось по-старому и чтобы можно было забыть про страшный вопрос, что будет с сыном.

– Я прошу тебя, я умоляю тебя, – вдруг совсем другим, искренним и нежным тоном сказала она, взяв его за руку, – никогда не говори со мной об этом!

– Но, Анна...

– Никогда. Предоставь мне. Всю низость, весь ужас своего положения я знаю; но это не так легко решить, как ты думаешь. И предоставь мне, и слушайся меня. Никогда со мной не говори об этом. Обещаешь ты мне?.. Нет, нет, обещай!..

– Я все обещаю, но я не могу быть спокоен, особенно после того, что ты сказала. Я не могу быть спокоен, когда ты не можешь быть спокойна...

– Я? – повторила она. – Да, я мучаюсь иногда; но это пройдет, если ты никогда не будешь говорить со мной. Когда ты говоришь со мной об этом, тогда только это меня мучает.

– Я не понимаю, – сказал он.

– Я знаю, – перебила она его, – как тяжело твоей честной натуре лгать, и жалею тебя. Я часто думаю, как для меня ты мог погубить свою жизнь.

– Я то же самое сейчас думал, – сказал он, – как из-за меня ты могла пожертвовать всем? Я не могу простить себе то, что ты несчастлива.

– Я несчастлива? – сказала она, приближаясь к нему и с восторженною улыбкой любви глядя на него, – я – как голодный человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, и платье у него разорвано, и стыдно, но он не несчастлив. Я несчастлива? Нет, вот мое счастье...

Она услышала голос возвращающегося сына и, окинув быстрым взглядом террасу, порывисто встала. Взгляд ее зажегся знакомым ему огнем, она быстрым движением подняла свои красивые, покрытые кольцами руки, взяла его за голову, посмотрела на него долгим взглядом и, приблизив свое лицо с открытыми, улыбающимися губами, быстро поцеловала его рот и оба глаза и оттолкнула. Она хотела идти, но он удержал ее.

– Когда? – проговорил он шепотом, восторженно глядя на нее.

– Нынче, в час, – прошептала она и, тяжело вздохнув, пошла своим легким и быстрым шагом навстречу сыну.

Сережу дождь застал в большом саду, и они с няней просидели в беседке.

– Ну, до свиданья, – сказала она Вронскому. – Теперь скоро надо на скачки. Бетси обещала заехать за мной.

Вронский, взглянув на часы, поспешно уехал.

XXIV

Когда Вронский смотрел на часы на балконе Карениных, он был так растревожен и занят своими мыслями, что видел стрелки на циферблате, но не мог понять, который час. Он вышел на шоссе и направился, осторожно ступая по грязи, к своей коляске. Он был до такой степени переполнен чувством к Анне, что и не подумал о том, который час и есть ли ему еще время ехать к Брянскому. У него оставалась, как это часто бывает, только внешняя способность памяти, указывающая, что вслед за чем решено сделать. Он подошел к своему кучеру, задремавшему на козлах в косой уже тени густой липы, полюбовался переливающимися столбами толкачиков-мошек, вившихся над потными лошадьми, и, разбудив кучера, вскочил в коляску и велел ехать к Брянскому. Только отъехав верст семь, он настолько опомнился, что посмотрел на часы и понял, что было половина шестого и что он опоздал.

В этот день было несколько скачек: скачка конвойных, потом двухверстная офицерская, четырехверстная и та скачка, в которой он скакал. К своей скачке он мог поспеть, но если он поедет к Брянскому, то он только-только приедет, и приедет, когда уже будет весь двор. Это было нехорошо. Но он дал Брянскому слово быть у него и потому решил ехать дальше, приказав кучеру не жалеть тройки.

Он приехал к Брянскому, пробыл у него пять минут и поскакал назад. Эта быстрая езда успокоила его. Все тяжелое, что было в его отношениях к Анне, вся неопределенность, оставшаяся после их разговора, все выскочило из его головы; он с наслаждением и волнением думал теперь о скачке, о том, что он все-таки поспеет, и изредка ожидание счастья свидания нынешней ночи вспыхивало ярким светом в его воображении.

Чувство предстоящей скачки все более и более охватывало его, по мере того как он въезжал дальше и дальше в атмосферу скачек, обгоняя экипажи ехавших с дач и из Петербурга на скачки.

На его квартире никого уже не было дома: все были на скачках, и лакей его дожидался у ворот. Пока он переодевался, лакей сообщил ему, что уже начались вторые скачки, что приходило много господ спрашивать про него и из конюшни два раза прибежал мальчик.

Переодевшись без торопливости (он никогда не торопился и не терял самообладания), Вронский велел ехать к баракам. От барakov ему уже были видны море экипажей, пешеходов, солдат, окружавших гипподром, и кипящие народом беседки. Шли, вероятно, вторые скачки, потому что в то время, как он входил в барак, он слышал звонок. Подходя к конюшне, он встретился с белоногим рыжим Гладиатором Махотина, которого в оранжевой с синим попоне, с кажущимися огромными, отороченными синим ушами, вели на гипподром.

– Где Корд? – спросил он у конюха.

– В конюшне, седлают.

В отворенном деннике Фру-Фру уже была оседлана. Ее собирались выводить.

– Не опоздал?

– All right! All right! Все исправно, все исправно, – проговорил англичанин, – не будьте взволнованы.

Вронский еще раз окинул взглядом прелестные, любимые формы лошади, дрожавшей всем телом, и, с трудом оторвавшись от этого зрелища, вышел из барака. Он подъехал к беседкам в самое выгодное время для того, чтобы не обратить на себя ничьего внимания. Только что кончилась двухверстная скачка, и все глаза были устремлены на кавалергарда впереди и лейб-гусара сзади, из последних сил посылавших лошадей и подходивших к столбу. Из середины и извне круга все теснились к столбу, и кавалергардская группа солдат и офицеров громкими возгласами выражала радость ожидаемого торжества своего офицера и товарища. Вронский незаметно вошел в середину толпы почти в то самое время, как раздался звонок, оканчивающий скачки, и высокий, забрызганный грязью кавалергард, пришедший первым, опустившись на седло, стал спускать поводья своему серому, потемневшему от поту, тяжело дышавшему жеребцу.

Жеребец, с усилием тыкаясь ногами, укоротил быстрый ход своего большого тела, и кавалергардский офицер, как человек, проснувшийся от тяжелого сна, оглянулся кругом и с трудом улыбнулся. Толпа своих и чужих окружила его.

Вронский умышленно избегал той избранной, великосветской толпы, которая сдержанно и свободно двигалась и переговаривалась пред беседками. Он узнал, что там была и Каренина, и Бетси, и жена его брата, и нарочно, чтобы не развлечься, не подходил к ним. Но беспрестанно встречавшиеся знакомые останавливали его, рассказывая ему подробности бывших скачек и расспрашивая его, почему он опоздал.

В то время как скакавшие были призваны в беседку для получения призов и все обратились туда, старший брат Вронского, Александр, полковник с эксельбантами, невысокий ростом, такой же коренастый, как и Алексей, но более красивый и румяный, с красным носом и пьяным, открытым лицом, подошел к нему.

– Ты получил мою записку? – сказал он. – Тебя никогда не найдешь.

Александр Вронский, несмотря на разгульную, в особенности пьяную жизнь, которой он был известен, был вполне придворный человек.

Он теперь, говоря с братом о неприятной весьма для него вещи, зная, что глаза многих могут быть устремлены на них, имел вид улыбающийся, как будто он о чем-нибудь неважном шутил с братом.

– Я получил и, право, не понимаю, о чем *ты* заботаешься, – сказал Алексей.

– Я о том забочусь, что сейчас мне было замечено, что тебя нет и что в понедельник тебя встретили в Петергофе.

– Есть дела, которые подлежат обсуждению только тех, кто прямо в них заинтересован, и то дело, о котором ты так заботаешься, такое...

– Да, но тогда не служат, не...

– Я тебя прошу не вмешиваться, и только.

Нахмуренное лицо Алексея Вронского побледнело, и выдающаяся нижняя челюсть его дрогнула, что с ним бывало редко. Он, как человек с очень добрым сердцем, сердился редко, но когда он сердился и когда у него дрожал подбородок, то, как и знал это Александр Вронский, он был опасен. Александр Вронский весело улыбнулся.

– Я только хотел передать письмо матушки. Отвечай ей и не расстраивайся пред ездой. *Bonne chance*,⁹¹ – прибавил он, улыбаясь, и отошел от него.

Но вслед за ним опять дружеское приветствие остановило Вронского.

– Не хочешь знать приятелей! Здравствуй, *mon cher*! – заговорил Степан Аркадьич, и здесь, среди этого петербургского блеска, не менее, чем в Москве, блистая своим румяным лицом и лоснящимися расчесанными бакенбардами. – Вчера приехал и очень рад, что увижу твое торжество. Когда увидимся?

⁹¹ Желаю удачи (*франц.*).

– Заходи завтра в артель, – сказал Вронский и, пожав его, извиняясь, за рукав пальто, отошел в середину гипподрома, куда уже вводили лошадей для большой скачки с препятствиями.

Потные, измученные скакавшие лошади, проваживаемые конюхами, уводились домой, и одна за другой появлялись новые к предстоящей скачке, свежие, большею частью английские лошади, в капорах, со своими подпернутыми животами, похожие на странных огромных птиц. Направо водили поджарую красавицу Фру-Фру, которая, как на пружинах, переступала на своих эластичных и довольно длинных бабках. Недалеко от нее снимали попону с лопоухого Гладиатора. Крупные, прелестные, совершенно правильные формы жеребца с чудесным задом и необычайно короткими, над самыми копытами сидевшими бабками невольно останавливали на себе внимание Вронского. Он хотел подойти к своей лошади, но его опять задержал знакомый.

– А, вот Каренин! – сказал ему знакомый, с которым он разговаривал. – Ищет жену, а она в средней беседке. Вы не видали ее?

– Нет, не видал, – отвечал Вронский и, не оглянувшись даже на беседку, в которой ему указывали на Каренину, подошел к своей лошади.

Не успел Вронский посмотреть седло, о котором надо было сделать распоряжение, как скачущих позвали к беседке для вынимания номеров и отправления. С серьезными, строгими, многие с бледными лицами, семнадцать человек офицеров сошлись к беседке и разобрали номера. Вронскому достался седьмой номер. Послышалось: «Садитесь!»

Чувствуя, что он вместе с другими скачущими составляет центр, на который устремлены все глаза, Вронский в напряженном состоянии, в котором он обыкновенно делался медлителен и спокоен в движениях, подошел к своей лошади. Корд для торжества скачек оделся в свой парадный костюм: черный застегнутый сюртук, тугие воротнички, подпиравшие ему щеки, и в круглую черную шляпу и ботфорты. Он был, как и всегда, спокоен и важен и сам держал за оба поводья лошадь, стоя пред нею. Фру-Фру продолжала дрожать как в лихорадке. Полный огня глаз ее косился на подходившего Вронского. Вронский подsunул палец под подпругу. Лошадь покосилась сильнее, оскалилась и прижала ухо. Англичанин поморщился губами, желая выразить улыбку над тем, что проверяли его седланье.

– Садитесь, меньше будете волноваться.

Вронский оглянулся в последний раз на своих соперников. Он знал, что на езде он уже не увидит их. Двое уже ехали вперед к месту, откуда должны были пускать. Гальцин, один из опасных соперников и приятель Вронского, вертелся вокруг гнедого жеребца, не дававшегося садиться. Маленький лейб-гусар в узких рейтузах ехал галопом, согнувшись, как кот, на крупу, из желания подражать англичанам. Князь Кузовлев сидел бледный на своей кровной, Грабовского завода, кобыле, и англичанин вел ее под уздцы.

Вронский и все его товарищи знали Кузовлева и его особенность «слабых» нервов и страшного самолюбия. Они знали, что он боялся всего, боялся ездить на фронтовой лошади; но теперь, именно потому, что это было страшно, потому что люди ломали себе шеи и что у каждого препятствия стояли доктор, лазаретная фура с нашитым крестом и сестрою милосердия, он решился скакать. Они встретились глазами, и Вронский ласково и одобрительно подмигнул ему. Одного только он не видал, главного соперника, Махотина на Гладиаторе.

– Не торопитесь, – сказал Корд Вронскому, – и помните одно: не задерживайте у препятствий и не посылайте, давайте ей выбирать, как она хочет.

– Хорошо, хорошо, – сказал Вронский, взявшись за поводья.

– Если можно, ведите скачку; но не отчаивайтесь до последней минуты, если бы вы были и сзади.

Лошадь не успела двинуться, как Вронский гибким и сильным движением стал в стальное, зазубренное стремя и легко, твердо положил свое сбитое тело на скрипящее кожей седло.

Взяв правою ногой стремя, он привычным жестом уравнил между пальцами двойные поводья, и Корд пустил руки. Как будто не зная, какою прежде ступить ногой, Фру-Фру, вытягивая длинною шеей поводья, тронулась, как на пружинах, покачивая седока на своей гибкой спине. Корд, прибавляя шага, шел за ним. Взмолотанная лошадь то с той, то с другой стороны, стараясь обмануть седока, вытягивала поводья, и Вронский тщетно голосом и рукой старался успокоить ее.

Они уже подходили к запруженной реке, направляясь к тому месту, откуда должны были пускать их. Многие из скачущих были впереди, многие сзади, как вдруг Вронский услышал сзади себя по грязи дороги звуки галопа лошади, и его обогнал Махотин на своем белоногом, лопухом Гладиаторе. Махотин улыбнулся, выставляя свои длинные зубы, но Вронский сердито взглянул на него. Он не любил его вообще, теперь же считал его самым опасным соперником, и ему досадно стало на него, что он проскакал мимо, разгорячив его лошадь. Фру-Фру вскинула левую ногу на галоп и сделала два прыжка и, сердясь на натянутые поводья, перешла на тряскую рысь, вскидывавшую седока. Корд тоже нахмурился и почти бежал иноходью за Вронским.

XXV

Всех офицеров скакало семнадцать человек. Скачки должны были происходить на большом четырехверстном эллиптической формы кругу пред беседкой. На этом кругу были устроены девять препятствий: река, большой, в два аршина, глухой барьер пред самою беседкой, канава сухая, канава с водою, косогор, ирландская банкетка, состоящая (одно из самых трудных препятствий) из вала, утыканного хворостом, за которым, не видная для лошади, была еще канава, так что лошадь должна была перепрыгнуть оба препятствия или убиться; потом еще две канавы с водою и одна сухая, – и конец скачки был против беседки. Но начинались скачки не с круга, а за сто сажень в стороне от него, и на этом расстоянии было первое препятствие – запруженная река в три аршина шириною, которую ездоки по произволу могли перепрыгивать или переезжать вброд.

Раза три ездоки выравнивались, но каждый раз высывалась чья-нибудь лошадь, и нужно было заезжать опять сначала. Знарок пускания, полковник Сестрин, начинал уже сердиться, когда, наконец, в четвертый раз крикнул: «Пошел!» – и ездоки тронулись.

Все глаза, все бинокли были обращены на пеструю кучку всадников, в то время как они выравнивались.

«Пустили! Скачут!» – послышалось со всех сторон после тишины ожидания.

И кучки и одинокие пешеходы стали перебегать с места на место, чтобы лучше видеть. В первую же минуту собранная кучка всадников растянулась, и видно было, как они по два, по три и один за другим близятся к реке. Для зрителей казалось, что они все поскакали вместе; но для ездоков были секунды разницы, имевшие для них большое значение.

Взмолотанная и слишком нервная Фру-Фру потеряла первый момент, и несколько лошадей взяли с места прежде ее, но, еще не доскакивая реки, Вронский, изо всех сил сдерживая влегшую в поводья лошадь, легко обошел трех, и впереди его оставался только рыжий Гладиатор Махотина, ровно и легко отбивавший задом пред самим Вронским, и еще впереди всех прелестная Диана, несшая ни живого ни мертвого Кузовлева.

В первые минуты Вронский еще не владел ни собою, ни лошадью. Он до первого препятствия, реки, не мог руководить движениями лошади.

Гладиатор и Диана подходили вместе и почти в один и тот же момент: раз-раз, поднялись над рекой и перелетели на другую сторону; незаметно, как бы летя, взвилась за ними Фру-Фру, но в то самое время, как Вронский чувствовал себя на воздухе, он вдруг увидал, почти под ногами своей лошади, Кузовлева, который барахтался с Дианой на той стороне реки (Кузовлев

пустил поводья после прыжка, и лошадь полетела с ним через голову). Подробности эти Вронский узнал уже после, теперь же он видел только то, что прямо под ноги, куда должна стать Фру-Фру, может попасть нога или голова Дианы. Но Фру-Фру, как падающая кошка, сделала на прыжке усилие ногами и спиной и, миновав лошадь, понеслась дальше.

«О, милая!» – подумал Вронский.

После реки Вронский овладел вполне лошадью и стал удерживать ее, намереваясь перейти большой барьер позади Махотина и уже на следующей, беспрепятственной дистанции саженой в двести попытаться обойти его.

Большой барьер стоял перед самой царскою беседкой. Государь, и весь двор, и толпы народа – все смотрели на них – на него и на шедшего на лошадь дистанции впереди Махотина, когда они подходили к черту (так назывался глухой барьер). Вронский чувствовал эти направленные на него со всех сторон глаза, но он ничего не видел, кроме ушей и шеи своей лошади, бежавшей ему навстречу земли и крупа и белых ног Гладиатора, быстро отбивавших такт впереди его и остававшихся все в одном и том же расстоянии. Гладиатор поднялся, не стукнув ничем, взмахнул коротким хвостом и исчез из глаз Вронского.

– Bravo! – сказал чей-то один голос.

В то же мгновение перед глазами Вронского, перед ним самим, мелькнули доски барьера. Без малейшей перемены движения лошадь взвилась под ним; доски скрылись, и только сзади стукнуло что-то. Разгоряченная шедшим впереди Гладиатором, лошадь поднялась слишком рано перед барьером и стукнула о него задним копытом. Но ход ее не изменился, и Вронский, получив в лицо комок грязи, понял, что он стал опять в то же расстояние от Гладиатора. Он увидел опять впереди себя его круп, короткий хвост и опять те же неудаляющиеся, быстро движущиеся белые ноги.

В то самое мгновение, как Вронский подумал о том, что надо теперь обходить Махотина, сама Фру-Фру, поняв уже то, что он подумал, безо всякого поощрения, значительно наддала и стала приближаться к Махотину с самой выгодной стороны, со стороны веревки. Махотин не давал веревки. Вронский только подумал о том, что можно обойти и извне, как Фру-Фру переменила ногу и стала обходить именно таким образом. Начинаясь уже темнеть от пота плечо Фру-Фру поравнялось с крупом Гладиатора. Несколько скачков они прошли рядом. Но перед препятствием, к которому они подходили, Вронский, чтобы не идти большой круг, стал работать поводьями, и быстро, на самом косогоре, обошел Махотина. Он видел мельком его лицо, забрызганное грязью. Ему даже показалось, что он улыбнулся. Вронский обошел Махотина, но он чувствовал его сейчас же за собой и не переставая слышал за самую спину ровный писк и отрывистое, совсем еще свежее дыхание ноздрей Гладиатора.

Следующие два препятствия, канава и барьер, были перейдены легко, но Вронский стал слышать ближе сап и скок Гладиатора. Он послал лошадь и с радостью почувствовал, что она легко прибавила ходу, и звук копыт Гладиатора стал слышен опять в том же прежнем расстоянии.

Вронский вел скачку – то самое, что он хотел сделать и что ему советовал Корд, и теперь он был уверен в успехе. Волнение его, радость и нежность к Фру-Фру все усиливались. Ему хотелось оглянуться назад, но он не смел этого сделать и старался успокаивать себя и не посылать лошади, чтобы приберечь в ней запас, равный тому, который, он чувствовал, оставался в Гладиаторе. Оставалось одно и самое трудное препятствие; если он перейдет его впереди других, то он придет первым. Он подскакивал к ирландской банкетке. Вместе с Фру-Фру он еще издали видел эту банкетку, и вместе им обоим, ему и лошади, пришло мгновенное сомнение. Он заметил нерешимость в ушах лошади и поднял хлыст, но тотчас же почувствовал, что сомнение было неосновательно: лошадь знала, что нужно. Она наддала и мерно, так точно, как он предполагал, взвилась и, оттолкнувшись от земли, отдалась силе инерции, которая пере-

несла ее далеко за канаву; и в том же самом такте, без усилия, с той же ноги, Фру-Фру продолжала скачку.

– Браво, Вронский! – слышались ему голоса кучки людей – он знал, его полка и приятелей, – которые стояли у этого препятствия; он не мог не узнать голоса Яшвина, но он не видал его.

«О, прелесть моя!» – думал он на Фру-Фру, прислушиваясь к тому, что происходило сзади. «Перескочил!» – подумал он, услышав сзади поскок Гладиатора. Оставалась одна последняя канавка в два аршина с водой. Вронский и не смотрел на нее, а, желая прийти далеко первым, стал работать поводьями кругообразно, в такт скока поднимая и опуская голову лошади. Он чувствовал, что лошадь шла из последнего запаса; не только шея и плечи ее были мокры, но на загривке, на голове, на острых ушах каплями выступал пот, и она дышала резко и коротко. Но он знал, что запаса этого с лишком достанет на остающиеся двести сажен. Только потому, что он чувствовал себя ближе к земле, и по особенной мягкости движения Вронский знал, как много прибавила быстроты его лошадь. Канавку она перелетела, как бы не замечая. Она перелетела ее, как птица; но в это самое время Вронский, к ужасу своему, почувствовал, что, не поспев за движением лошади, он, сам не понимая как, сделал скверное, непростительное движение, опустившись на седло. Вдруг положение его изменилось, и он понял, что случилось что-то ужасное. Он не мог еще дать себе отчета о том, что случилось, как уже мелькнули подле самого его белые ноги рыжего жеребца, и Махотин на быстром скаку прошел мимо. Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Он едва успел выпростать ногу, как она упала на один бок, тяжело хрипя, и, делая, чтобы подняться, тщетные усилия своей тонкою потною шеей, она затрепыхалась на земле у его ног, как подстреленная птица. Неловкое движение, сделанное Вронским, сломало ей спину. Но это он понял гораздо после. Теперь же он видел только то, что Махотин быстро удалялся, а он, шатаясь, стоял один на грязной неподвижной земле, а пред ним, тяжело дыша, лежала Фру-Фру и, перегнув к нему голову, смотрела на него своим прелестным глазом. Все еще не понимая того, что случилось, Вронский тянул лошадь за повод. Она опять вся забилась, как рыбка, треща крыльями седла, выпростала передние ноги, но, не в силах поднять зада, тотчас же замоталась и опять упала на бок. С изуродованным страстью лицом, бледный и с трясущеюся нижнею челюстью, Вронский ударил ее каблуком в живот и опять стал тянуть за поводья. Но она не двигалась, а, уткнув хвост в землю, только смотрела на хозяина своим говорящим взглядом.

– Ааа! – промычал Вронский, схватившись за голову. – Ааа! что я сделал! – прокричал он. – И проигранная скачка! И своя вина, постыдная, непростительная! И эта несчастная, милая, погубленная лошадь! Ааа! что я сделал!

Народ, доктор и фельдшер, офицеры его полка бежали к нему. К своему несчастью, он чувствовал, что был цел и невредим. Лошадь сломала себе спину, и решено было ее пристрелить. Вронский не мог отвечать на вопросы, не мог говорить ни с кем. Он повернулся и, не подняв соскочившей с головы фуражки, пошел прочь от гипподрома, сам не зная куда. Он чувствовал себя несчастным. В первый раз в жизни он испытал самое тяжелое несчастье, несчастье, неисправимое и такое, в котором виною сам.

Яшвин с фуражкой догнал его, проводил его до дома, и через полчаса Вронский пришел в себя. Но воспоминание об этой скачке надолго осталось в его душе самым тяжелым и мучительным воспоминанием в его жизни.

XXVI

Внешние отношения Алексея Александровича с женою были такие же, как и прежде. Единственная разница состояла в том, что он еще более был занят, чем прежде. Как и в прежние года, он с открытием весны поехал на воды за границу поправлять свое расстраиваемое

ежегодно усиленным зимним трудом здоровье и, как обыкновенно, вернулся в июле и тотчас же с увеличенной энергией взялся за свою обычную работу. Как и обыкновенно, жена его переехала на дачу, а он остался в Петербурге.

Со времени того разговора после вечера у княгини Тверской он никогда не говорил с Анною о своих подозрениях и ревности, и тот его обычный тон представления кого-то был как нельзя более удобен для его теперешних отношений к жене. Он был несколько холоднее к жене. Он только как будто имел на нее маленькое неудовольствие за тот первый ночной разговор, который она отклонила от себя. В его отношениях к ней был оттенок досады, но не более. «Ты не хотела объясниться со мной, – как будто говорил он, мысленно обращаясь к ней, – тем хуже для тебя. Теперь уж ты будешь просить меня, а я не стану объясняться. Тем хуже для тебя», – говорил он мысленно, как человек, который бы тщетно попытался потушить пожар, рассердился бы на свои тщетные усилия и сказал бы: «Так на же тебе! так сгоришь за это!»

Он, этот умный и тонкий в служебных делах человек, не понимал всего безумия такого отношения к жене. Он не понимал этого, потому что ему было слишком страшно понять свое настоящее положение, и он в душе своей закрыл, запер и запечатал тот ящик, в котором у него находились его чувства к семье, то есть к жене и сыну. Он, внимательный отец, с конца этой зимы стал особенно холоден к сыну и имел к нему то же подтрунивающее отношение, как и к жене. «А! молодой человек!» – обращался он к нему.

Алексей Александрович думал и говорил, что ни в какой год у него не было столько служебного дела, как в нынешний; но он не сознавал того, что он сам выдумывал себе в нынешнем году дела, что это было одно из средств не открывать того ящика, где лежали чувства к жене и семье и мысли о них и которые делались тем страшнее, чем дольше они там лежали. Если бы кто-нибудь имел право спросить Алексея Александровича, что он думает о поведении своей жены, то кроткий, смирный Алексей Александрович ничего не ответил бы, а очень бы рассердился на того человека, который у него спросил бы про это. От этого-то и было в выражении лица Алексея Александровича что-то гордое и строгое, когда у него спрашивали про здоровье его жены. Алексей Александрович ничего не хотел думать о поведении и чувствах своей жены, и действительно он об этом ничего не думал.

Постоянная дача Алексея Александровича была в Петергофе, и обыкновенно графиня Лидия Ивановна жила лето там же, в соседстве и постоянных сношениях с Анной. В нынешнем году графиня Лидия Ивановна отказалась жить в Петергофе, ни разу не была у Анны Аркадьевны и намекнула Алексею Александровичу на неудобство сближения Анны с Бетси и Вронским. Алексей Александрович строго остановил ее, высказав мысль, что жена его выше подозрения, и с тех пор стал избегать графини Лидии Ивановны. Он не хотел видеть и не видел, что в свете уже многие косо смотрят на его жену, не хотел понимать и не понимал, почему жена его особенно настаивала на том, чтобы переехать в Царское, где жила Бетси, откуда недалеко было до лагеря полка Вронского. Он не позволял себе думать об этом и не думал; но вместе с тем он в глубине своей души, никогда не высказывая этого самому себе и не имея на то никаких не только доказательств, но и подозрений, знал несомненно, что он был обманутый муж, и был от этого глубоко несчастлив.

Сколько раз во время своей восьмилетней счастливой жизни с женой, глядя на чужих неверных жен и обманутых мужей, говорил себе Алексей Александрович: «Как допустить до этого? как не развязать этого безобразного положения?» Но теперь, когда беда пала на его голову, он не только не думал о том, как развязать это положение, но вовсе не хотел знать его, не хотел знать именно потому, что оно было слишком ужасно, слишком неестественно.

Со времени своего возвращения из-за границы Алексей Александрович два раза был на даче. Один раз обедал, другой раз провел вечер с гостями, но ни разу не ночевал, как он имел обыкновение делать это в прежние годы.

День скачек был очень занятой день для Алексея Александровича; но, с утра еще сделав себе расписание дня, он решил, что тотчас после раннего обеда он поедет на дачу к жене и оттуда на скачки, на которых будет весь двор и на которых ему надо быть. К жене же он заедет потому, что он решил себе бывать у нее в неделю раз для приличия. Кроме того, в этот день ему нужно было передать жене к пятнадцатому числу, по заведенному порядку, на расход деньги.

С обычной властью над своими мыслями, обдумав все это о жене, он не позволил своим мыслям распространяться далее о том, что касалось ее.

Утро это было очень занято у Алексея Александровича. Накануне графиня Лидия Ивановна прислала ему брошюру бывшего в Петербурге знаменитого путешественника в Китае⁹² с письмом, прося его принять самого путешественника, человека, по разным соображениям, весьма интересного и нужного. Алексей Александрович не успел прочесть брошюру вечером и дочитал ее утром. Потом явились просители, начались доклады, приемы, назначения, удаления, распределения наград, пенсий, жалованья, переписки – то будничное дело, как называл его Алексей Александрович, отнимавшее так много времени. Потом было личное дело, посещение доктора и управляющего делами. Управляющий делами не занял много времени. Он только передал нужные для Алексея Александровича деньги и дал краткий отчет о состоянии дел, которые были не совсем хороши, так как случилось, что нынешний год вследствие частых выездов было прожито больше, и был дефицит. Но доктор, знаменитый петербургский доктор, находившийся в приятельских отношениях к Алексею Александровичу, занял много времени. Алексей Александрович и не ждал его нынче и был удивлен его приездом и еще более тем, что доктор очень внимательно расспросил Алексея Александровича про его состояние, прослушал его грудь, постукал и пощупал печень. Алексей Александрович не знал, что его друг Лидия Ивановна, заметив, что здоровье Алексея Александровича нынешний год нехорошо, просила доктора приехать и посмотреть больного. «Сделайте это для меня», – сказала ему графиня Лидия Ивановна.

– Я сделаю это для России, графиня, – отвечал доктор.

– Бесценный человек! – сказала графиня Лидия Ивановна.

Доктор остался очень недоволен Алексеем Александровичем. Он нашел печень значительно увеличенную, питание уменьшенным и действия вод никакого. Он предписал как можно больше движения физического и как можно меньше умственного напряжения и, главное, никаких огорчений, то есть то самое, что было для Алексея Александровича так же невозможно, как не дышать; и уехал, оставив в Алексее Александровиче неприятное сознание того, что что-то в нем нехорошо и что исправить этого нельзя.

Выходя от Алексея Александровича, доктор столкнулся на крыльце с хорошо знакомым ему Слюдиным, правителем дел Алексея Александровича. Они были товарищами по университету и, хотя редко встречались, уважали друг друга и были хорошие приятели, и оттого никому, как Слюдину, доктор не высказал бы своего откровенного мнения о больном.

– Как я рад, что вы у него были, – сказал Слюдин. – Он нехорош, и мне кажется... Ну что?

– А вот что, – сказал доктор, махая через голову Слюдина своему кучеру, чтоб он подавал. – Вот что, – сказал доктор, взяв в свои белые руки палец лайковой перчатки и натянув его. – Не натягивайте струны и попробуйте перервать – очень трудно; но натяните до последней возможности и наляжьте тяжестью пальца на натянутую струну – она лопнет. А он по своей усидчивости, добросовестности к работе, – он натянут до последней степени; а давление постороннее есть, и тяжелое, – заключил доктор, значительно подняв брови. – Будете на скач-

⁹² ...брошюру бывшего в Петербурге знаменитого путешественника в Китае... – П.Я. Пясецкий (1843–1905) в 1874 г. принимал участие в качестве врача и художника в экспедиции в Китай. Книга его «Путешествие в Китай» была опубликована в 1875 г.; впоследствии переиздавалась на русском и европейских языках.

ках? – прибавил он, спускаясь к поданной карете. – Да, да, разумеется, берет много времени, – отвечал доктор что-то такое на сказанное Слюдиным и не расслышанное им.

Вслед за доктором, отнявшим так много времени, явился знаменитый путешественник, и Алексей Александрович, пользуясь только что прочитанной брошюрой и своим прежним знанием этого предмета, поразил путешественника глубиной своего знания предмета и широтой просвещенного взгляда.

Вместе с путешественником было доложено о приезде губернского предводителя, явившегося в Петербург и с которым нужно было переговорить. После его отъезда нужно было закончить занятия будничные с правителем дел и еще надо было съездить по серьезному и важному делу к одному значительному лицу. Алексей Александрович только успел вернуться к пяти часам, времени своего обеда, и, пообедав с правителем дел, пригласил его с собой вместе ехать на дачу и на скачки.

Не отдавая себе в том отчета, Алексей Александрович искал теперь случая иметь третье лицо при своих свиданиях с женою.

XXVII

Анна стояла наверху пред зеркалом, прикалывая с помощью Аннушки последний бант на платье, когда она услышала у подъезда звук давящих щебень колес.

«Для Бетси еще рано», – подумала она и, взглянув в окно, увидела карету и высовывающуюся из нее черную шляпу и столь знакомые уши Алексея Александровича. «Вот некстати; неужели ночевать?» – подумала она. И ей так показалось ужасно и страшно все, что могло из этого выйти, что она, ни минуты не задумываясь, с веселым, сияющим лицом вышла к ним навстречу и, чувствуя в себе присутствие уже знакомого ей духа лжи и обмана, тотчас же отдалась этому духу и начала говорить, сама не зная, что скажет.

– А, как это мило! – сказала она, подавая руку мужу и улыбкой здороваясь с домашним человеком, Слюдиным. – Ты ночуешь, надеюсь? – было первое слово, которое подсказал ей дух обмана, – а теперь едем вместе. Только жаль, что я обещала Бетси. Она заедет за мной.

Алексей Александрович поморщился при имени Бетси.

– О, я не стану разлучать неразлучных, – сказал он своим обычным тоном шутки. – Мы поедем с Михайлом Васильевичем. Мне и доктора велят ходить. Я пройдуся дорогой и буду воображать, что я на водах.

– Торопиться некуда, – сказала Анна. – Хотите чаю? – Она позвонила.

– Подайте чаю да скажите Сереже, что Алексей Александрович приехал. Ну, что, как твое здоровье? Михаил Васильевич, вы у меня не были; посмотрите, как на балконе у меня хорошо, – говорила она, обращаясь то к тому, то к другому.

Она говорила очень просто и естественно, но слишком много и слишком скоро. Она сама чувствовала это, тем более что в любопытном взгляде, которым взглянул на нее Михаил Васильевич, она заметила, что он как будто наблюдал ее.

Михаил Васильевич тотчас же вышел на террасу.

Она села подле мужа.

– У тебя не совсем хороший вид, – сказала она.

– Да, – сказал он, – нынче доктор был у меня и отнял час времени. Я чувствую, что кто-нибудь из друзей моих прислал его: так драгоценно мое здоровье...

– Нет, что ж он сказал?

Она спрашивала его о здоровье и занятиях, уговаривала отдохнуть и переехать к ней.

Все это она говорила весело, быстро и с особенным блеском в глазах; но Алексей Александрович теперь не приписывал этому тону ее никакого значения. Он слышал только ее слова и придавал им только тот прямой смысл, который они имели. И он отвечал ей просто, хотя и

шутливо. Во всем разговоре этом не было ничего особенного, но никогда после без мучительной боли стыда Анна не могла вспоминать всей этой короткой сцены.

Вошел Сережа, предшествоваемый гувернанткой. Если б Алексей Александрович позволил себе наблюдать, он заметил бы робкий, растерянный взгляд, с каким Сережа взглянул на отца, а потом на мать. Но он ничего не хотел видеть и не видал.

– А, молодой человек! Он вырос. Право, совсем мужчина делается. Здравствуй, молодой человек.

И он подал руку испуганному Сереже.

Сережа, и прежде робкий в отношении к отцу, теперь, после того как Алексей Александрович стал его звать молодым человеком и как ему зашла в голову загадка о том, друг или враг Вронский, чуждался отца. Он, как бы прося защиты, оглянулся на мать. С одною матерью ему было хорошо. Алексей Александрович между тем, заговорив с гувернанткой, держал сына за плечо, и Сереже было так мучительно неловко, что Анна видела, что он собирается плакать.

Анна, покрасневшая в ту минуту, как вошел сын, заметив, что Сереже неловко, быстро вскочила, подняла с плеча сына руку Алексея Александровича и, поцеловав сына, повела его на террасу и тотчас же вернулась.

– Однако пора уже, – сказала она, взглянув на свои часы, – что это Бетси не едет!..

– Да, – сказал Алексей Александрович и, встав, заложил руки и потрещал ими. – Я заехал еще привезть тебе денег, так как соловья баснями не кормят, – сказал он. – Тебе нужно, я думаю.

– Нет, не нужно... да, нужно, – сказала она, не глядя на него и краснея до корней волос. – Да ты, я думаю, заедешь сюда со скачек.

– О да! – отвечал Алексей Александрович. – Вот и краса Петергофа, княгиня Тверская, – прибавил он, взглянув в окно на подъезжавший английский, в шорах, экипаж с чрезвычайно высоко поставленным крошечным кузовом коляски. – Какое щегольство! Прелесть! Ну, так поедemте и мы.

Княгиня Тверская не выходила из экипажа, а только ее в штиблетах, пелеринке и черной шляпке лакей соскочил у подъезда.

– Я иду, прощайте! – сказала Анна и, поцеловав сына, подошла к Алексею Александровичу и протянула ему руку. – Ты очень мил, что приехал.

Алексей Александрович поцеловал ее руку.

– Ну, так до свиданья. Ты заедешь чай пить, и прекрасно! – сказала она и вышла, сияющая и веселая. Но, как только она перестала видеть его, она почувствовала то место на руке, к которому прикоснулись его губы, и с отвращением вздрогнула.

XXVIII

Когда Алексей Александрович появился на скачках, Анна уже сидела в беседке рядом с Бетси, в той беседке, где собиралось все высшее общество. Она увидела мужа еще издалека. Два человека, муж и любовник, были для нее двумя центрами жизни, и без помощи внешних чувств она чувствовала их близость. Она еще издалека почувствовала приближение мужа и невольно следила за ним в тех волнах толпы, между которыми он двигался. Она видела, как он подходил к беседке, то снисходительно отвечая на заискивающие поклоны, то дружелюбно, рассеянно здороваясь с равными, то старательно выжидая взгляда сильных мира и снимая свою круглую большую шляпу, нажимавшую кончики его ушей. Она знала все эти приемы, и все они ей были отвратительны. «Одно честолюбие, одно желание успеть – вот все, что есть в его душе, – думала она, – а высокие соображения, любовь к просвещению, религия, все это – только орудия для того, чтобы успеть».

По его взглядам на дамскую беседку (он смотрел прямо на нее, но не узнавал жены в море кисей, тюля, лент, волос и зонтиков) она поняла, что он искал ее; но она нарочно не замечала его.

– Алексей Александрович! – закричала ему княгиня Бетси, – вы, верно, не видите жену; вот она!

Он улыбнулся своею холодною улыбкой.

– Здесь столько блеска, что глаза разбежались, – сказал он и пошел в беседку. Он улыбнулся жене, как должен улыбнуться муж, встречая жену, с которою он только что виделся, и поздоровался с княгиней и другими знакомыми, воздав каждому должное, то есть пошутив с дамами и перекинувшись приветствиями с мужчинами. Внизу подле беседки стоял уважаемый Алексей Александровичем, известный своим умом и образованием генерал-адъютант. Алексей Александрович заговорил с ним.

Был промежуток между скачками, и потому ничто не мешало разговору. Генерал-адъютант осуждал скачки. Алексей Александрович возражал, защищая их. Анна слушала его тонкий, ровный голос, не пропуская ни одного слова, и каждое слово его казалось ей фальшиво и болью резало ее ухо.

Когда началась четырехверстная скачка с препятствиями, она нагнулась вперед и, не спуская глаз, смотрела на подходившего к лошади и садившегося Вронского и в то же время слышала этот отвратительный, неумолкающий голос мужа. Она мучалась страхом за Вронского, но еще более мучалась неумолкавшим, ей казалось, звуком тонкого голоса мужа с знакомыми интонациями.

«Я дурная женщина, я погибшая женщина, – думала она, – но я не люблю лгать, я не переносу лжи, а *его* (мужа) пища – это ложь. Он все знает, все видит; что же он чувствует, если может так спокойно говорить? Убей он меня, убей он Вронского, я бы уважала его. Но нет, ему нужны только ложь и приличие», – говорила себе Анна, не думая о том, чего именно она хотела от мужа, каким бы она хотела его видеть. Она не понимала и того, что эта нынешняя особенная словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства. Как убившийся ребенок, прыгая, приводит в движение свои мускулы, чтобы заглушить боль, так для Алексея Александровича было необходимо умственное движение, чтобы заглушить те мысли о жене, которые в ее присутствии и в присутствии Вронского и при постоянном повторении его имени требовали к себе внимания. А как ребенку естественно прыгать, так ему было естественно хорошо и умно говорить. Он говорил:

– Опасность в скачках военных и кавалеристов есть необходимое условие скачек. Если Англия может указать в военной истории на самые блестящие кавалерийские дела, то только благодаря тому, что она исторически развивала в себе эту силу животных и людей. Спорт, по моему мнению, имеет большое значение, и, как всегда, мы видим только самое поверхностное.

– Не поверхностное, – сказала княгиня Тверская. – Один офицер, говорят, сломал два ребра.

Алексей Александрович улыбнулся своею улыбкой, только открывавшею зубы, но ничего более не говорившею.

– Положим, княгиня, что это не поверхностное, – сказал он, – но внутреннее. Но не в том дело, – и он опять обратился к генералу, с которым говорил серьезно, – не забудьте, что скачут военные, которые выбрали эту деятельность, и согласитесь, что каждое призвание имеет свою обратную сторону медали. Это прямо входит в обязанности военного. Безобразный спорт кулачного боя или испанских тореадоров есть признак варварства. Но специализированный спорт есть признак развития.

– Нет, я не поеду в другой раз; это меня слишком волнует, – сказала княгиня Бетси. – Не правда ли, Анна?

– Волнует, но нельзя оторваться, – сказала другая дама. – Если б я была римлянка, я бы не пропустила ни одного цирка.

Анна ничего не говорила и, не спуская бинокля, смотрела в одно место.

В это время через беседку проходил высокий генерал. Прервав речь, Алексей Александрович поспешно, но достойно встал и низко поклонился проходившему военному.

– Вы не скачете? – пошутил ему военный.

– Моя скачка труднее, – почтительно отвечал Алексей Александрович.

И хотя ответ ничего не значил, военный сделал вид, что получил умное слово от умного человека и вполне понимает *la pointe de la sauce*.⁹³

– Есть две стороны, – продолжал, садясь, Алексей Александрович, – исполнителей и зрителей; и любовь к этим зрелищам есть вернейший признак низкого развития для зрителей, я согласен, но...

– Княгиня, пари! – послышался снизу голос Степана Аркадьича, обращавшегося к Бетси. – За кого вы держите?

– Мы с Анной за князя Кузовлева, – отвечала Бетси.

– Я за Вронского. Пара перчаток.

– Идет!

– А как красиво, не правда ли?

Алексей Александрович помолчал, пока говорили около него, но тотчас опять начал.

– Я согласен, но мужественные игры... – продолжал было он.

Но в это время пускали ездовых, и все разговоры прекратились. Алексей Александрович замолк, и все поднялись и обратились к реке. Алексей Александрович не интересовался скачками и потому не глядел на скакавших, а рассеянно стал обводить зрителей усталыми глазами. Взгляд его остановился на Анне.

Лицо ее было бледно и строго. Она, очевидно, ничего и никого не видела, кроме одного. Рука ее судорожно сжимала веер, и она не дышала. Он посмотрел на нее и поспешно отвернулся, оглядывая другие лица.

«Да вот и эта дама и другие тоже очень взволнованы; это очень натурально», – сказал себе Алексей Александрович. Он хотел не смотреть на нее, но взгляд его невольно притягивался к ней. Он опять вглядывался в это лицо, стараясь не читать того, что так ясно было на нем написано, и против воли своей с ужасом читал на нем то, чего он не хотел знать.

Первое падение Кузовлева на реке взволновало всех, но Алексей Александрович видел ясно на бледном торжествующем лице Анны, что тот, на кого она смотрела, не упал. Когда, после того как Махотин и Вронский перескочили большой барьер, следующий офицер упал тут же на голову и разбился замертво и шорох ужаса пронесся по всей публике, Алексей Александрович видел, что Анна даже не заметила этого и с трудом поняла, о чем заговорили вокруг нее. Но он все чаще и чаще и с большим упорством вглядывался в нее. Анна, вся поглощенная зрелищем скакавшего Вронского, почувствовала сбоку устремленный на себя взгляд холодных глаз своего мужа.

Она оглянулась на мгновение, вопросительно посмотрела на него и, слегка нахмурившись, опять отвернулась.

«Ах, мне все равно», – как будто сказала она ему и уже более ни разу не вглядывалась на него.

Скачки были несчастливы, и из семнадцати человек попадало и разбилось больше половины. К концу скачек все были в волнении, которое еще более увеличилось тем, что государь был недоволен.

⁹³ В чем его острота (*франц.*).

XXIX

Все громко выражали свое неодобрение, все повторяли сказанную кем-то фразу: «Недостает только цирка с львами», и ужас чувствовался всеми, так что, когда Вронский упал и Анна громко ахнула, в этом не было ничего необыкновенного. Но вслед за тем в лице Анны произошла перемена, которая была уже положительно неприлична. Она совершенно потерялась. Она стала биться, как пойманная птица: то хотела встать и идти куда-то, то обращалась к Бетси.

– Поедем, поедем, – говорила она.

Но Бетси не слыхала ее. Она говорила, перегнувшись вниз, с подошедшим к ней генералом.

Алексей Александрович подошел к Анне и учтиво подал ей руку.

– Пойдемте, если вам угодно, – сказал он по-французски; но Анна прислушивалась к тому, что говорил генерал, и не заметила мужа.

– Тоже сломал ногу, говорят, – говорил генерал. – Это ни на что не похоже.

Анна, не отвечая мужу, подняла бинокль и смотрела на то место, где упал Вронский; но было так далеко и там столпилось столько народа, что ничего нельзя было разобрать. Она опустила бинокль и хотела идти; но в это время подскочил офицер и что-то докладывал государю. Анна высунулась вперед, слушая.

– Стива! Стива! – прокричала она брату.

Но брат не слыхал ее. Она опять хотела выходить.

– Я еще раз предлагаю вам свою руку, если вы хотите идти, – сказал Алексей Александрович, дотрогиваясь до ее руки.

Она с отвращением отстранилась от него и, не взглянув ему в лицо, отвечала:

– Нет, нет, оставьте меня, я останусь.

Она видела теперь, что от места падения Вронского через круг бежал офицер к беседке. Бетси махала ему платком.

Офицер принес известие, что ездок не убит, но лошадь сломала спину.

Услыхав это, Анна быстро села и закрыла лицо веером. Алексей Александрович видел, что она плакала и не могла удержать не только слез, но и рыданий, которые поднимали ее грудь. Алексей Александрович загородил ее собою, давая ей время оправиться.

– В третий раз предлагаю вам свою руку, – сказал он чрез несколько времени, обращаясь к ней. Анна смотрела на него и не знала, что сказать. Княгиня Бетси пришла ей на помощь.

– Нет, Алексей Александрович, я увезла Анну, и я обещалась отвезти ее, – вмешалась Бетси.

– Извините меня, княгиня, – сказал он, учтиво улыбаясь, но твердо глядя ей в глаза, – но я вижу, что Анна не совсем здорова, и желаю, чтоб она ехала со мною.

Анна испуганно оглянулась, покорно встала и положила руку на руку мужа.

– Я пошлю к нему, узнаю и пришлю сказать, – прошептала ей Бетси.

На выходе из беседки Алексей Александрович, так же как всегда, говорил со встречавшимися, и Анна должна была, как и всегда, отвечать и говорить; но она была сама не своя и как во сне шла под руку с мужем.

«Убит или нет? Правда ли? Придет или нет? Увижу ли я его нынче?» – думала она.

Она молча села в карету Алексея Александровича и молча выехала из толпы экипажей. Несмотря на все, что он видел, Алексей Александрович все-таки не позволял себе думать о настоящем положении своей жены. Он только видел внешние признаки. Он видел, что она вела себя неприлично, и считал своим долгом сказать ей это. Но ему очень трудно было не сказать более, а сказать только это. Он открыл рот, чтобы сказать ей, как она неприлично вела себя, но невольно сказал совершенно другое.

– Как, однако, мы все склонны к этим жестоким зрелищам, – сказал он. – Я замечаю...

– Что? я не понимаю, – презрительно сказала Анна.

Он оскорбился и тотчас же начал говорить то, что хотел.

– Я должен сказать вам, – проговорил он.

«Вот оно, объяснение», – подумала она, и ей стало страшно.

– Я должен сказать вам, что вы неприлично вели себя нынче, – сказал он ей по-французски.

– Чем я неприлично вела себя? – громко сказала она, быстро поворачивая к нему голову и глядя ему прямо в глаза, но совсем уже не с прежним скрывающим что-то весельем, а с решительным видом, под которым она с трудом скрывала испытываемый страх.

– Не забудьте, – сказал он ей, указывая на открытое окно против кучера.

Он приподнялся и поднял стекло.

– Что вы нашли неприличным? – повторила она.

– То отчаяние, которое вы не умели скрыть при падении одного из ездовых.

Он ждал, что она возразит; но она молчала, глядя перед собою.

– Я уже просил вас держать себя в свете так, чтоб и злые языки не могли ничего сказать против вас. Было время, когда я говорил о внутренних отношениях, я теперь не говорю про них. Теперь я говорю о внешних отношениях. Вы неприлично держали себя, и я желал бы, чтоб это не повторялось.

Она не слышала половины его слов, она испытывала страх к нему и думала о том, правда ли то, что Вронский не убит. О нем ли говорили, что он цел, а лошадь сломала спину? Она только притворно-насмешливо улыбнулась, когда он кончил, и ничего не отвечала, потому что не слыхала того, что он говорил. Алексей Александрович начал говорить смело, но, когда он ясно понял то, о чем он говорит, страх, который она испытывала, сообщился ему. Он увидел эту улыбку, и странное заблуждение нашло на него.

«Она улыбается над моими подозрениями. Да, она скажет сейчас то, что говорила мне тот раз: что нет оснований моим подозрениям, что это смешно».

Теперь, когда над ним висело открытие всего, он ничего так не желал, как того, чтобы она, так же как прежде, насмешливо ответила ему, что его подозрения смешны и не имеют основания. Так страшно было то, что он знал, что теперь он был готов поверить всему. Но выражение лица ее, испуганного и мрачного, теперь не обещало даже обмана.

– Может быть, я ошибаюсь, – сказал он. – В таком случае я прошу извинить меня.

– Нет, вы не ошиблись, – сказала она медленно, отчаянно взглянув на его холодное лицо. – Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его, я его любовница, я не могу переносить, я боюсь, я ненавижу вас... Делайте со мной, что хотите.

И, откинувшись в угол кареты, она зарыдала, закрываясь руками. Алексей Александрович не пошевелился и не изменил прямого направления взгляда. Но все лицо его вдруг приняло торжественную неподвижность мертвого, и выражение это не изменилось во все время езды до дачи.

Подъезжая к дому, он повернул к ней голову все с тем же выражением.

– Так! Но я требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор, – голос его задрожал, – пока я приму меры, обеспечивающие мою честь, и сообщу их вам.

Он вышел вперед и высадил ее. В виду прислуги он пожал ей молча руку, сел в карету и уехал в Петербург.

Вслед за ним пришел лакей от княгини Бетси и принес Анне записку:

«Я послала к Алексею узнать об его здоровье, и он мне пишет, что здоров и цел, но в отчаянии».

«Так он будет! – подумала она. – Как хорошо я сделала, что все сказала ему».

Она взглянула на часы. Еще оставалось три часа, и воспоминания подробностей последнего свидания зажгли ей кровь.

«Боже мой, как светло! Это страшно, но я люблю видеть его лицо и люблю этот фантастический свет... Муж! ах, да... Ну, и слава Богу, что с ним все кончено».

XXX

Как и во всех местах, где собираются люди, так и на маленьких немецких водах, куда приехали Щербацкие, совершилась обычная как бы кристаллизация общества, определяющая каждому его члену определенное и неизменное место. Как определенно и неизменно частица воды на холоде получает известную форму снежного кристалла, так точно каждое новое лицо, приезжавшее на воды, тотчас же устанавливалось в свойственное ему место.

Фюрст Щербацкий *замт гемалин унд тохтэр*,⁹⁴ и по квартире, которую заняли, и по имени, и по знакомым, которых они нашли, тотчас же кристаллизировались в свое определенное и предназначенное им место.

На водах была в этом году настоящая немецкая фюрстин, вследствие чего кристаллизация общества совершалась еще энергичнее. Княгиня непременно пожелала представить принцессе свою дочь и на второй же день совершила этот обряд. Кити низко и грациозно присела в своем выписанном из Парижа, *очень простом*, то есть очень нарядном летнем платье. Принцесса сказала: «Надеюсь, что розы скоро вернутся на это хорошенькое личико», — и для Щербацких тотчас же твердо установились определенные пути жизни, из которых нельзя уже было выйти. Щербацкие познакомились и с семейством английской леди, и с немецкою графиней, и с ее раненым в последней войне сыном, и со шведом-ученым, и с М. Canut и его сестрой. Но главное общество Щербацких невольно составилось из московской дамы, Марьи Евгеньевны Ртищевой с дочерью, которая была неприятна Кити потому, что заболела так же, как и она, от любви, и московского полковника, которого Кити с детства видела и знала в мундире и эполетах и который тут, со своими маленькими глазками и с открытой шеей в цветном галстучке, был необыкновенно смешон и скучен тем, что нельзя было от него отделаться. Когда все это так твердо установилось, Кити стало очень скучно, тем более, что князь уехал в Карлсбад и она осталась одна с матерью. Она не интересовалась теми, кого знала, чувствуя, что от них ничего уже не будет нового. Главный же душевный интерес ее на водах составляли теперь наблюдения и догадки о тех, которых она не знала. По свойству своего характера Кити всегда в людях предполагала все самое прекрасное, и в особенности в тех, кого она не знала. И теперь, делая догадки о том, кто — кто, какие между ними отношения и какие они люди, Кити воображала себе самые удивительные и прекрасные характеры и находила подтверждение в своих наблюдениях.

Из таких лиц в особенности занимала ее одна русская девушка, приехавшая на воды с больною русскою дамой, мадам Шталь, как ее все звали. Мадам Шталь принадлежала к высшему обществу, но она была так больна, что не могла ходить, и только в редкие хорошие дни появлялась на водах в колясочке. Но не столько по болезни, сколько по гордости, как объясняла княгиня, мадам Шталь не была знакома ни с кем из русских. Русская девушка ухаживала за мадам Шталь и, кроме того, как замечала Кити, сходилась со всеми тяжелобольными, которых было много на водах, и самым натуральным образом ухаживала за ними. Русская девушка эта, по наблюдениям Кити, не была родня мадам Шталь и вместе с тем не была наемная помощница. Мадам Шталь звала ее Варенька, а другие звали «m-lle Варенька». Не говоря уже о том, что Кити интересовали наблюдения над отношениями этой девушки к г-же Шталь и к другим

⁹⁴ Князь Щербацкий с женой и дочерью (нем.).

незнакомым ей лицам, Кити, как это часто бывает, испытывала необъяснимую симпатию к этой m-lle Вареньке и чувствовала по встречающимся взглядам, что и она нравится.

M-lle Варенька эта была не то что не первой молодости, но как бы существо без молодости: ей можно было дать и девятнадцать и тридцать лет. Если разбирать ее черты, она, несмотря на болезненный цвет лица, была скорее красива, чем дурна. Она была бы и хорошо сложена, если бы не слишком большая сухость тела и несоразмерная голова по среднему росту; но она не должна была быть привлекательна для мужчин. Она была похожа на прекрасный, хотя еще и полный лепестков, но уже отцветший, без запаха цветок. Кроме того, она не могла быть привлекательною для мужчин еще и потому, что ей доставало того, чего слишком много было в Кити, – сдержанного огня жизни и сознания своей привлекательности.

Она всегда казалась занятою делом, в котором не могло быть сомнения, и потому, казалось, ничем посторонним не могла интересоваться. Этою противоположностью с собой она особенно привлекла к себе Кити. Кити чувствовала, что в ней, в ее складе жизни, она найдет образец того, чего теперь мучительно искала: интересов жизни, достоинства жизни – вне отвратительных для Кити светских отношений девушки к мужчинам, представлявшихся ей теперь позорною выставкой товара, ожидающего покупателей. Чем больше Кити наблюдала своего неизвестного друга, тем более убеждалась, что эта девушка есть то самое совершенное существо, каким она ее себе представляла, и тем более она желала познакомиться с ней.

Обе девушки встречались каждый день по несколько раз, и при каждой встрече глаза Кити говорили: «Кто вы? что вы? Ведь правда, что вы то прелестное существо, каким я воображаю вас? Но ради Бога не думайте, – прибавлял ее взгляд, – что я позволю себе навязываться в знакомые. Я просто люблю вас и люблю вас». – «Я тоже люблю вас, и вы очень, очень милы. И еще больше любила бы вас, если б имела время», – отвечал взгляд неизвестной девушки. И действительно, Кити видела, что она всегда занята: или она уводит с вод детей русского семейства, или несет плед для больной и укутывает ее, или старается развлечь раздраженного больного, или выбирает и покупает печенье к кофею для кого-то.

Скоро после приезда Щербацких на утренних водах появились еще два лица, обратившие на себя общее недружелюбное внимание. Это были: очень высокий сутуловатый мужчина с огромными руками, в коротком, не по росту, и старом пальто, с черными, наивными и вместе страшными глазами, и рябоватая миловидная женщина, очень дурно и безвкусно одетая. Признав этих лиц за русских, Кити уже начала в своем воображении составлять о них прекрасный и трогательный роман. Но княгиня, узнав по Kurliste,⁹⁵ что это был Левин Николай и Марья Николаевна, объяснила Кити, какой дурной человек был этот Левин, и все мечты об этих двух лицах исчезли. Не столько потому, что мать сказала ей, сколько потому, что это был брат Константина, для Кити эти лица вдруг показались в высшей степени неприятны. Этот Левин возбуждал в ней теперь своею привычкою подергиваться головой непреодолимое чувство отвращения.

Ей казалось, что в его больших страшных глазах, которые упорно следили за ней, выразилось чувство ненависти и насмешки, и она старалась избегать встречи с ним.

XXXI

Был ненастный день, дождь шел все утро, и больные с зонтиками толпились в галерее.

Кити ходила с матерью и с московским полковником, весело щеголявшим в своем европейском, купленном готовым во Франкфурте сюртучке. Они ходили по одной стороне галереи, стараясь избегать Левина, ходившего по другой стороне. Варенька в своем темном платье, в

⁹⁵ курортному списку (нем.).

черной, с отогнутыми вниз полями шляпе ходила со слепою француженкой во всю длину галереи, и каждый раз, как она встречалась с Кити, они перекидывались дружелюбным взглядом.

– Мама, можно мне заговорить с нею? – сказала Кити, следившая за своим незнакомым другом и заметившая, что она подходит к ключу и они могут сойтись у него.

– Да, если тебе так хочется, я узнаю прежде о ней и сама подойду, – отвечала мать. – Что ты в ней нашла особенного? Компаньонка, должно быть. Если хочешь, я познакомлюсь с мадам Шталь. Я знала ее *belle-soeur*,⁹⁶ – прибавила княгиня, гордо поднимая голову.

Кити знала, что княгиня оскорблена тем, что г-жа Шталь как будто избегала знакомиться с нею. Кити не настаивала.

– Чудо, какая милая! – сказала она, глядя на Вареньку, в то время как та подавала стакан француженке. – Посмотрите, как все просто, мило.

– Уморительны мне твои *engouements*,⁹⁷ – сказала княгиня, – нет, пойдем лучше назад, – прибавила она, заметив двигавшегося им навстречу Левина с своею дамой и с немецким доктором, с которым он что-то громко и сердито говорил.

Они поворачивались, чтоб идти назад, как вдруг услышали уже не громкий говор, а крик. Левин, остановившись, кричал, и доктор тоже горячился. Толпа собиралась вокруг них. Княгиня с Кити поспешно удалились, а полковник присоединился к толпе, чтоб узнать, в чем дело.

Через несколько минут полковник нагнал их.

– Что это там было? – спросила княгиня.

– Позор и срам! – отвечал полковник. – Одного боишься – это встречаться с русскими за границей. Этот высокий господин побранился с доктором, наговорил ему дерзости за то, что тот его не так лечит, и замахнулся палкой. Срам просто!

– Ах, как неприятно! – сказала княгиня. – Ну, чем же кончилось?

– Спасибо, тут вмешалась эта... эта в шляпе грибом. Русская, кажется, – сказал полковник.

– *Mademoiselle* Варенька? – радостно спросила Кити.

– Да, да. Она нашлась скорее всех, она взяла этого господина под руку и увела.

– Вот, мама, – сказала Кити матери, – вы удивляетесь, что я восхищаюсь ею.

С следующего дня, наблюдая на водах своего неизвестного друга, Кити заметила, что *м-лле* Варенька и с Левиным и его женщиной уже находилась в тех же отношениях, как и с другими своими *protéges*. Она подходила к ним, разговаривала, служила переводчицей для женщины, не умевшей говорить ни на одном иностранном языке.

Кити еще более стала умолять мать позволить ей познакомиться с Варенькой. И, как ни неприятно было княгине как будто делать первый шаг в желании познакомиться с г-жою Шталь, позволявшею себе чем-то гордиться, она навела справки о Вареньке и, узнав о ней подробности, дававшие заключить, что не было ничего худого, хотя и хорошего мало, в этом знакомстве, сама первая подошла к Вареньке и познакомилась с нею.

Выбрав время, когда дочь ее пошла к ключу, а Варенька остановилась против булочника, княгиня подошла к ней.

– Позвольте мне познакомиться с вами, – сказала она с своею достойною улыбкой. – Моя дочь влюблена в вас, – сказала она. – Вы, может быть, не знаете меня. Я...

– Это больше, чем взаимно, княгиня, – поспешно отвечала Варенька.

– Какое вы доброе дело сделали вчера нашему жалкому соотечественнику! – сказала княгиня.

Варенька покраснела.

– Я не понимаю, я, кажется, ничего не делала, – сказала она.

⁹⁶ невестку (*франц.*).

⁹⁷ увлечения (*франц.*)

– Как же, вы спасли этого Левина от неприятности.

– Да, *sa compagne*⁹⁸ позвала меня, и я постаралась успокоить его: он очень болен и недоволен был доктором. А я имею привычку ходить за этими больными.

– Да, я слышала, что вы живете в Ментоне с вашей тетушкой, кажется, *madame Шталь*. Я знала ее *belle-soeur*.

– Нет, она мне не тетка. Я называю ее *маман*, но я ей не родня; я воспитана ею, – опять покраснев, отвечала Варенька.

Это было так просто сказано, так мило было правдивое и открытое выражение ее лица, что княгиня поняла, почему ее Кити полюбила эту Вареньку.

– Ну, что же этот Левин? – спросила княгиня.

– Он уезжает, – отвечала Варенька.

В это время, сияя радостью о том, что мать ее познакомилась с ее неизвестным другом, от ключа подходила Кити.

– Ну вот, Кити, твое сильное желание познакомиться с *mademoiselle*...

– Варенькой, – улыбаясь, подсказала Варенька, – так все меня зовут.

Кити покраснела от радости и долго молча жала руку своего нового друга, которая не отвечала на ее пожатие, но неподвижно лежала в ее руке. Рука не отвечала на пожатие, но лицо *м-лле* Вареньки просияло тихой, радостной, хотя и несколько грустной улыбкой, открывавшей большие, но прекрасные зубы.

– Я сама давно хотела этого, – сказала она.

– Но вы так заняты...

– Ах, напротив, я ничем не занята, – отвечала Варенька, но в ту же минуту должна была оставить своих новых знакомых, потому что две маленькие русские девочки, дочери больного, бежали к ней.

– Варенька, мама зовет! – кричали они.

И Варенька пошла за ними.

XXXII

Подробности, которые узнала княгиня о прошедшем Вареньки и об отношениях ее к мадам Шталь и о самой мадам Шталь, были следующие.

Мадам Шталь, про которую одни говорили, что она замучала своего мужа, а другие говорили, что он замучал ее своим безнравственным поведением, была всегда болезненная и восторженная женщина. Когда она родила, уже разведясь с мужем, первого ребенка, ребенок этот тотчас же умер, и родные г-жи Шталь, зная ее чувствительность и боясь, чтоб это известие не убило ее, подменили ей ребенка, взяв родившуюся в ту же ночь и в том же доме в Петербурге дочь придворного повара. Это была Варенька. Мадам Шталь узнала впоследствии, что Варенька была не ее дочь, но продолжала ее воспитывать, тем более что очень скоро после этого родных у Вареньки никого не осталось.

Мадам Шталь уже более десяти лет безвыездно жила за границей на юге, никогда не вставая с постели. И одни говорили, что мадам Шталь сделала себе общественное положение добродетельной, высокорелигиозной женщины; другие говорили, что она была в душе то самое высоконравственное существо, жившее только для добра ближнего, каким она представлялась. Никто не знал, какой она религии – католической, протестантской или православной; но одно было несомненно – она находилась в дружеских связях с самыми высшими лицами всех церквей и исповеданий.

⁹⁸ его спутница (*франц.*).

Варенька жила с нею постоянно за границей, и все, кто знал мадам Шталь, знали и любили m-lle Вареньку, как все ее звали.

Узнав все эти подробности, княгиня не нашла ничего предосудительного в сближении своей дочери с Варенькой, тем более что Варенька имела манеры и воспитание самые хорошие: отлично говорила по-французски и по-английски, а главное – передала от г-жи Шталь сожаление, что она по болезни лишена удовольствия познакомиться с княгиней.

Познакомившись с Варенькой, Кити все более и более прельщалась своим другом и с каждым днем находила в ней новые достоинства.

Княгиня, услышав о том, что Варенька хорошо поет, попросила ее прийти к ним петь вечером.

– Кити играет, и у нас есть фортепьяно, нехорошее, правда, но вы нам доставите большое удовольствие, – сказала княгиня с своею притворною улыбкой, которая особенно неприятна была теперь Кити, потому что она заметила, что Вареньке не хотелось петь. Но Варенька, однако, пришла вечером и принесла с собой тетрадь нот. Княгиня пригласила Марью Евгеньевну с дочерью и полковника.

Варенька казалась совершенно равнодушною к тому, что тут были незнакомые ей лица, и тотчас же подошла к фортепьяно. Она не умела себе аккомпанировать, но прекрасно читала ноты голосом. Кити, хорошо игравшая, аккомпанировала ей.

– У вас необыкновенный талант, – сказала ей княгиня после того, как Варенька прекрасно спела первую пиесу.

Марья Евгеньевна с дочерью благодарили и хвалили ее.

– Посмотрите, – сказал полковник, глядя в окно, – какая публика собралась вас слушать. – Действительно, под окнами собралась довольно большая толпа.

– Я очень рада, что это доставляет вам удовольствие, – просто отвечала Варенька.

Кити с гордостью смотрела на своего друга. Она восхищалась и ее искусством, и ее голосом, и ее лицом, но более всего восхищалась ее манерой, тем, что Варенька, очевидно, ничего не думала о своем пении и была совершенно равнодушна к похвалам; она как будто спрашивала только: нужно ли еще петь, или довольно?

«Если б это была я, – думала про себя Кити, – как бы я гордилась этим! Как бы я радовалась, глядя на эту толпу под окнами! А ей совершенно все равно. Ее побуждает только желание не отказать и сделать приятное *tout*. Что же в ней есть? Что дает ей эту силу пренебрегать всем, быть независимо спокойною? Как бы я желала это знать и научиться от нее этому», – вглядываясь в это спокойное лицо, думала Кити. Княгиня попросила Вареньку спеть еще, и Варенька спела другую пиесу так же ровно, отчетливо и хорошо, прямо стоя у фортепьяно и отбивая по ним такт своею худою смуглою рукой.

Следующая затем в тетради пиеса была итальянская песня. Кити сыграла прелюд, который ей очень понравился, и оглянулась на Вареньку.

– Пропустим эту, – сказала Варенька, покраснев.

Кити испуганно и вопросительно остановила свои глаза на лице Вареньки.

– Ну, другое, – поспешно сказала она, перевертывая листы и тотчас же поняв, что с этою пиесой было соединено что-то.

– Нет, – отвечала Варенька, положив свою руку на ноты и улыбаясь, – нет, споемте это. – И она спела это так же спокойно, холодно и хорошо, как и прежде.

Когда она кончила, все опять благодарили ее и пошли пить чай. Кити с Варенькой вышли в садик, бывший подле дома.

– Правда, что у вас соединено какое-то воспоминание с этою песней? – сказала Кити. – Вы не говорите, – поспешно прибавила она, – только скажите – правда?

– Нет, отчего? Я скажу, – просто сказала Варенька и, не дожидаясь ответа, продолжала: – Да, это воспоминание, и было тяжелое когда-то. Я любила одного человека. Эту вещь я пела ему.

Кити с открытыми большими глазами молча, умиленно смотрела на Вареньку.

– Я любила его, и он любил меня; но его мать не хотела, и он женился на другой. Он теперь живет недалеко от нас, я вижу его. Вы не думали, что у меня тоже был роман? – сказала она, и в красивом лице ее чуть брезжил тот огонек, который, Кити чувствовала, когда-то изнутри освещал ее всю.

– Как не думала? Если б я была мужчиной, я бы не могла любить никого, после того как узнала вас. Я только не понимаю, как он мог в угоду матери забыть вас и сделать вас несчастною; у него не было сердца.

– О нет, он очень хороший человек, и я не несчастна; напротив, я очень счастлива. Ну, так не будем больше петь нынче? – прибавила она, направляясь к дому.

– Как вы хороши, как вы хороши! – вскрикнула Кити и, остановив ее, поцеловала. – Если б я хоть немножко могла быть похожа на вас!

– Зачем вам быть на кого-нибудь похожей? Вы хороши, как вы есть, – улыбаясь своею кроткою и усталою улыбкой, сказала Варенька.

– Нет, я совсем не хороша. Ну, скажите мне... Пойдите, посидимте, – сказала Кити, усаживая ее опять на скамейку подле себя. – Скажите, неужели не оскорбительно думать, что человек пренебрег вашею любовью, что он не хотел?..

– Да он не пренебрег; я верю, что он любил меня, но он был покорный сын...

– Да, но если б он не по воле матери, а просто сам?.. – говорила Кити, чувствуя, что она выдала свою тайну и что лицо ее, горящее румянцем стыда, уже изобличило ее.

– Тогда бы он дурно поступил, и я бы не жалела его, – отвечала Варенька, очевидно поняв, что дело идет уже не о ней, а о Кити.

– Но оскорбление? – сказала Кити. – Оскорбления нельзя забыть, нельзя забыть, – говорила она, вспоминая свой взгляд на последнем бале, во время остановки музыки.

– В чем же оскорбление? Ведь вы не поступили дурно?

– Хуже, чем дурно, – стыдно.

Варенька покачала головой и положила свою руку на руку Кити.

– Да в чем же стыдно? – сказала она. – Ведь вы не могли сказать человеку, который равнодушен к вам, что вы его любите?

– Разумеется, нет; я никогда не сказала ни одного слова, но он знал. Нет, нет, есть взгляды, есть манеры. Я буду сто лет жить, не забуду.

– Так что же? Я не понимаю. Дело в том, любите ли вы его теперь или нет, – сказала Варенька, называя все по имени.

– Я ненавижу его; я не могу простить себе.

– Так что ж?

– Стыд, оскорбление.

– Ах, если бы все так были, как вы, чувствительны, – сказала Варенька. – Нет девушки, которая бы не испытала этого. И все это так неважно.

– А что же важно? – спросила Кити, с любопытным удивлением вглядываясь в ее лицо.

– Ах, многое важно, – улыбаясь, сказала Варенька.

– Да что же?

– Ах, многое важнее, – отвечала Варенька, не зная, что сказать. Но в это время из окна послышался голос княгини:

– Кити, свежо! Или шаль возьми, или иди в комнаты.

– Правда, пора! – сказала Варенька, вставая. – Мне еще надо зайти к madame Berthe; она меня просила.

Кити держала ее за руку и с страстным любопытством и мольбой спрашивала ее взглядом: «Что же, что же это самое важное, что дает такое спокойствие? Вы знаете, скажите мне!» Но Варенька не понимала даже того, о чем спрашивал ее взгляд Кити. Она помнила только о том, что ей нынче нужно еще зайти к m-me Berthe и поспеть домой к чаю *matap*, к двенадцати часам. Она вошла в комнаты, собрала ноты и, простившись со всеми, собралась уходить.

– Позвольте, я провожу вас, – сказал полковник.

– Да как же одной идти теперь ночью? – подтвердила княгиня. – Я пошлю хоть Парашу.

Кити видела, что Варенька с трудом удерживала улыбку при словах, что ее нужно провожать.

– Нет, я всегда хожу одна, и никогда со мной ничего не бывает, – сказала она, взяв шляпу. И, поцеловав еще раз Кити и так и не сказав, что было важно, бодрым шагом, с нотами под мышкой, скрылась в полутьме летней ночи, унося с собой свою тайну о том, что важно и что дает ей это завидное спокойствие и достоинство.

XXXIII

Кити познакомилась и с г-жою Шталь, и знакомство это вместе с дружбою к Вареньке не только имело на нее сильное влияние, но утешало ее в ее горе. Она нашла это утешение в том, что ей благодаря этому знакомству открылся совершенно новый мир, не имеющий ничего общего с ее прошедшим, мир возвышенный, прекрасный, с высоты которого можно было спокойно смотреть на это прошедшее. Ей открылось то, что, кроме жизни инстинктивной, которой до сих пор отдавалась Кити, была жизнь духовная. Жизнь эта открывалась религией, но религией, не имеющею ничего общего с тою, которую с детства знала Кити, религией, выражавшейся в обедне и всенощной во Вдовьем доме⁹⁹, где можно было встретить знакомых, и в изучении с батюшкой наизусть славянских текстов; это была религия возвышенная, таинственная, связанная с рядом прекрасных мыслей и чувств, в которую не только можно было верить, потому что так велено, но которую можно было любить.

Кити узнала все это не из слов. Мадам Шталь говорила с Кити, как с милым ребенком, на которого любишься, как на воспоминание своей молодости, и только один раз упомянула о том, что во всех людских горестях утешение дает лишь любовь и вера и что для сострадания к нам Христа нет ничтожных горестей, и тотчас же перевела разговор на другое. Но Кити в каждом ее движении, в каждом слове, в каждом небесном, как называла Кити, взгляде ее, в особенности во всей истории ее жизни, которую она знала чрез Вареньку, во всем узнавала то, «что было важно» и чего она до сих пор не знала.

Но как ни возвышен был характер мадам Шталь, как ни трогательна вся ее история, как ни возвышенна и нежна ее речь, Кити невольно подметила в ней такие черты, которые смущали ее. Она заметила, что, расспрашивая про ее родных, мадам Шталь улыбнулась презрительно, что было противно христианской доброте. Заметила еще, что, когда она застала у нее католического священника, мадам Шталь старательно держала свое лицо в тени абажура и особенно улыбалась. Как ни ничтожны были эти два замечания, они смущали ее, и она сомневалась в мадам Шталь. Но зато Варенька, одинокая, без родных, без друзей, с грустным разочарованием, ничего не желавшая, ничего не жалевавшая, была тем самым совершенством, о котором только позволяла себе мечтать Кити. На Вареньке она поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и будешь спокойна, счастлива и прекрасна. И такую хотела быть Кити. Поняв теперь ясно, что было *самое важное*, Кити не удовлетворялась тем, чтобы восхищаться этим, но тотчас же всею душою отдалась этой новой, открывшейся ей жизни. По рассказам Вареньки

⁹⁹ *Вдовий дом* – благотворительные заведения в Москве и Петербурге для неимущих, больных и престарелых вдов офицеров и чиновников, прослуживших на государственной службе не менее десяти лет или погибших на войне.

о том, что делала мадам Шталь и другие, кого она называла, Кити уже составила себе счастливый план будущей жизни. Она так же, как и племянница г-жи Шталь, Aline, про которую ей много рассказывала Варенька, будет, где бы ни жила, отыскивать несчастных, помогать им сколько можно, раздавать Евангелие, читать Евангелие больным, преступникам, умирающим. Мысль чтения Евангелия преступникам, как это делала Aline, особенно прельщала Кити. Но все это были тайные мечты, которые Кити не высказывала ни матери, ни Вареньке.

Впрочем, в ожидании поры исполнять в больших размерах свои планы, Кити и теперь, на водах, где было столько больных и несчастных, легко нашла случай прилагать свои новые правила, подражая Вареньке.

Сначала княгиня замечала только, что Кити находится под сильным влиянием своего engouement, как она называла, к госпоже Шталь и в особенности к Вареньке. Она видела, что Кити не только подражает Вареньке в ее деятельности, но невольно подражает ей в ее манере ходить, говорить и мигать глазами. Но потом княгиня заметила, что в дочери, независимо от этого очарования, совершается какой-то серьезный душевный переворот.

Княгиня видела, что Кити читает по вечерам французское Евангелие, которое ей подарила госпожа Шталь, чего она прежде не делала; что она избегает светских знакомых и сходится с больными, находившимися под покровительством Вареньки, и в особенности с одним бедным семейством больного живописца Петрова. Кити, очевидно, гордилась тем, что исполняла в этом семействе обязанности сестры милосердия. Все это было хорошо, и княгиня ничего не имела против этого, тем более что жена Петрова была вполне порядочная женщина и что принцесса, заметившая деятельность Кити, хвалила ее, называя ангелом-утешителем. Все это было бы очень хорошо, если бы не было излишества. А княгиня видела, что дочь ее впадает в крайность, что она и говорила ей.

– Il ne faut jamais rien outrer,¹⁰⁰ – говорила она ей.

Но дочь ничего ей не отвечала; она только думала в душе, что нельзя говорить об излишестве в деле христианства. Какое же может быть излишество в следовании учению, в котором велено подставить другую щеку, когда ударят по одной, и отдать рубашку, когда снимают кафтан? Но княгине не нравилось это излишество, и еще более не нравилось то, что, она чувствовала, Кити не хотела открыть ей всю свою душу. Действительно, Кити таила от матери свои новые взгляды и чувства. Она таила их не потому, чтоб она не уважала, не любила свою мать, но только потому, что это была ее мать. Она всякому открыла бы их скорее, чем матери.

– Что-то давно Анна Павловна не была у нас, – сказала раз княгиня про Петрову. – Я звала ее. А она что-то как будто недовольна.

– Нет, я не заметила, тапан, – вспыхнув, сказала Кити.

– Ты давно не была у них?

– Мы завтра собираемся сделать прогулку в горы, – отвечала Кити.

– Что же, поезжайте, – отвечала княгиня, взглядывая в смущенное лицо дочери и стараясь угадать причину ее смущения.

В этот же день Варенька пришла обедать и сообщила, что Анна Павловна раздумала ехать завтра в горы. И княгиня заметила, что Кити опять покраснела.

– Кити, не было ли у тебя чего-нибудь неприятного с Петровыми? – сказала княгиня, когда они остались одни. – Отчего она перестала присылать детей и ходить к нам?

Кити отвечала, что ничего не было между ними и что она решительно не понимает, почему Анна Павловна как будто недовольна ею. Кити ответила совершенную правду. Она не знала причины перемены к себе Анны Павловны, но догадывалась. Она догадывалась о такой вещи, которую она не могла сказать матери, которой она не говорила и себе. Это была

¹⁰⁰ Никогда ни в чем не следует впадать в крайность (франц.).

одна из тех вещей, которые знаешь, но которые нельзя сказать даже самой себе; так страшно и постыдно ошибиться.

Опять и опять перебирала она в своем воспоминании все отношения свои к этому семейству. Она вспоминала наивную радость, выражавшуюся на круглом добродушном лице Анны Павловны при их встречах; вспоминала их тайные переговоры о больном, заговоры о том, чтоб отвлечь его от работы, которая была ему запрещена, и увести его гулять; привязанность меньшого мальчика, называвшего ее «моя Кити», не хотевшего без нее ложиться спать. Как все было хорошо! Потом она вспомнила худую-худую фигуру Петрова с его длинной шеей, в его коричневом сюртуке; его редкие вьющиеся волосы, вопросительные, страшные в первое время для Кити голубые глаза и его болезненные старания казаться бодрым и оживленным в ее присутствии. Она вспоминала свое усилие в первое время, чтобы преодолеть отвращение, которое она испытывала к нему, как и ко всем чахоточным, и старания, с которыми она придумывала, что сказать ему. Она вспоминала этот робкий умиленный взгляд, которым он смотрел на нее, и странное чувство сострадания и неловкости и потом сознания своей добродетельности, которое она испытывала при этом. Как все это было хорошо! Но все это было первое время. Теперь же, несколько дней тому назад, все вдруг испортилось. Анна Павловна притворно встречала Кити и не переставая наблюдала ее и мужа.

Неужели эта трогательная радость его при ее приближении была причиной охлаждения Анны Павловны?

«Да, – вспоминала она, – что-то было ненатуральное в Анне Павловне и совсем непохожее на ее доброту, когда она третьего дня с досадой сказала: «Вот, все дожидался вас, не хотел без вас пить кофе, хотя ослабел ужасно».

«Да, может быть, и это неприятно ей было, когда я подала ему плед. Все это так просто, но он так неловко это принял, так долго благодарил, что и мне стало неловко. И потом этот портрет мой, который он так хорошо сделал. А главное – этот взгляд, смущенный и нежный! Да, да, это так! – с ужасом повторила себе Кити. – Нет, это не может, не должно быть! Он так жалок!» – говорила она себе вслед за этим.

Это сомнение отравляло прелесть ее новой жизни.

XXXIV

Уже перед концом курса вод князь Щербачкий, ездивший после Карлсбада в Баден и Киссинген к русским знакомым набраться русского духа, как он говорил, вернулся к своим.

Взгляды князя и княгини на заграничную жизнь были совершенно противоположные. Княгиня находила все прекрасным и, несмотря на свое твердое положение в русском обществе, старалась за границей походить на европейскую даму, чем она не была, – потому что она была русская барыня, – и потому притворялась, что ей было отчасти неловко. Князь же, напротив, находил за границей все скверным, тяготился европейской жизнью, держался своих русских привычек и нарочно старался выказывать себя за границей менее европейцем, чем он был в действительности.

Князь вернулся похудевший, с обвислыми мешками кожи на щеках, но в самом веселом расположении духа. Веселое расположение его еще усилилось, когда он увидел Кити совершенно поправившуюся. Известие о дружбе Кити с госпожой Шталь и Варенькой и переданные княгиней наблюдения над какой-то переменой, происшедшей в Кити, смутили князя и возбудили в нем обычное чувство ревности ко всему, что увлекало его дочь помимо его, и страх, чтобы дочь не ушла из-под его влияния в какие-нибудь недоступные ему области. Но эти неприятные известия потонули в том море добродушия и веселости, которые всегда были в нем и особенно усилились карлсбадскими водами.

На другой день по своем приезде князь в своем длинном пальто, со своими русскими морщинами и одутловатыми щеками, подпертыми крахмаленными воротничками, в самом веселом расположении духа пошел с дочерью на воды.

Утро было прекрасное; опрятные, веселые дома с садиками, вид краснолицых, краснорукых, налитых пивом, весело работающих немецких служанок и яркое солнце веселили сердце; но чем ближе они подходили к водам, тем чаще встречались больные, и вид их казался еще плачевнее среди обычных условий благоустроенной немецкой жизни. Кити уже не поражала эта противоположность. Яркое солнце, веселый блеск зелени, звуки музыки были для нее естественною рамкой всех этих знакомых лиц и перемен к ухудшению или улучшению, за которыми она следила; но для князя свет и блеск июньского утра, и звуки оркестра, игравшего модный веселый вальс, и особенно вид здоровенных служанок казались чем-то неприличным и уродливым в соединении с этими собравшимися со всех концов Европы, уныло двигавшимися мертвецами.

Несмотря на испытываемое им чувство гордости и как бы возврата молодости, когда любимая дочь шла с ним под руку, ему теперь как будто неловко и совестно было за свою сильную походку, за свои крупные, облитые жиром члены. Он испытывал почти чувство человека, не одетого в обществе.

– Представь, представь меня своим новым друзьям, – говорил он дочери, пожимая локтем ее руку. – Я и этот твой гадкий Соден полюбил за то, что он тебя так справил. Только грустно, грустно у вас. Это кто?

Кити называла ему те знакомые и незнакомые лица, которые они встречали. У самого входа в сад они встретили слепую m-me Berthe с проводницей, и князь порадовался на умиленное выражение старой француженки, когда она услышала голос Кити. Она тотчас с французским излишеством любезности заговорила с ним, хваля его за то, что у него такая прекрасная дочь, и в глаза превознося до небес Кити и называя ее сокровищем, перлом и ангелом-утешителем.

– Ну, так она второй ангел, – сказал князь, улыбаясь. – Она называет ангелом нумер первый mademoiselle Вареньку.

– Oh! Mademoiselle Варенька – это настоящий ангел, allez,¹⁰¹ – подхватила m-me Berthe.

В галерее они встретили и самую Вареньку. Она поспешно шла им навстречу, неся элегантную красную сумочку.

– Вот и папа приехал! – сказала ей Кити.

Варенька сделала просто и естественно, как и все, что она делала, движение, среднее между поклоном и приседанием, и тотчас же заговорила с князем, как она говорила со всеми, нестесненно и просто.

– Разумеется, я вас знаю, очень знаю, – сказал ей князь с улыбкой, по которой Кити с радостью узнала, что друг ее понравился отцу. – Куда же вы так торопитесь?

– Мамап здесь, – сказала она, обращаясь к Кити. – Она не спала всю ночь, и доктор посоветовал ей выехать. Я несу ей работу.

– Так это ангел нумер первый! – сказал князь, когда Варенька ушла.

Кити видела, что ему хотелось посмеяться над Варенькой, но что он никак не мог этого сделать, потому что Варенька понравилась ему.

– Ну вот и всех увидим твоих друзей, – прибавил он, – и мадам Шталь, если она удостоит узнать меня.

– А ты разве ее знал, папа? – спросила Кити со страхом, замечая зажегшийся огонек насмешки в глазах князя при упоминании о мадам Шталь.

¹⁰¹ что и толковать (франц.).

– Знал ее мужа и ее немножко, еще прежде, чем она в пиетистки записалась¹⁰².

– Что такое пиетистка, папа? – спросила Кити, уже испуганная тем, что то, что она так высоко ценила в госпоже Шталь, имело название.

– Я и сам не знаю хорошенько. Знаю только, что она за все благодарит Бога, за всякое несчастье, и за то, что у ней умер муж, благодарит Бога. Ну, и выходит смешно, потому что они дурно жили.

– Это кто? Какое жалкое лицо! – спросил он, заметив сидевшего на лавочке невысокого больного в коричневом пальто и белых панталонах, делавших странные складки на лишенных мяса костях его ног.

Господин этот приподнял свою соломенную шляпу над вьющимися редкими волосами, открывая высокий, болезненно покрасневший от шляпы лоб.

– Это Петров, живописец, – отвечала Кити, покраснев. – А это жена его, – прибавила она, указывая на Анну Павловну, которая, как будто нарочно, в то самое время, как они подходили, пошла за ребенком, отбежавшим по дорожке.

– Какой жалкий, и какое милое у него лицо! – сказал князь. – Что же ты не подошла? Он что-то хотел сказать тебе?

– Ну, так пойдем, – сказала Кити, решительно поворачиваясь. – Как ваше здоровье нынче? – спросила она у Петрова.

Петров встал, опираясь на палку, и робко посмотрел на князя.

– Это моя дочь, – сказал князь. – Позвольте быть знакомым.

Живописец поклонился и улыбнулся, открывая странно блестящие белые зубы.

– Мы вас ждали вчера, княжна, – сказал он Кити.

Он пошатнулся, говоря это, и, повторяя это движение, старался показать, что он это сделал нарочно.

– Я хотела прийти, но Варенька сказала, что Анна Павловна присылала сказать, что вы не поедете.

– Как не поедет? – покраснев и тотчас же закашлявшись, сказал Петров, отыскивая глазами жену. – Анета, Анета! – проговорил он громко, и на тонкой белой шее его, как веревки, натянулись толстые жилы.

Анна Павловна подошла.

– Как же ты послала сказать княжне, что мы не поедет! – потеряв голос, раздражительно прошептал он ей.

– Здравствуйте, княжна! – сказала Анна Павловна с притворною улыбкой, столь непохожую на прежнее ее обращение. – Очень приятно познакомиться, – обратилась она к князю. – Вас давно ждали, князь.

– Как же ты послала сказать княжне, что мы не поедет? – хрипло прошептал еще раз живописец еще сердитее, очевидно раздражаясь еще более тем, что голос изменяет ему и он не может дать своей речи того выражения, какое бы хотел.

– Ах, Боже мой! Я думала, что мы не поедет, – с досадою отвечала жена.

– Как же, когда... – он закашлялся и махнул рукой.

Князь приподнял шляпу и отошел с дочерью.

– О, ох! – тяжело вздохнул он, – о, несчастные!

– Да, папа, – отвечала Кити. – Но надо знать, что у них трое детей, никого прислуги и почти никаких средств. Он что-то получает от Академии, – оживленно рассказывала она, ста-

¹⁰² ...в пиетистки записалась. – Пиетизм – религиозное учение, отводившее главную роль внутреннему благочестию, а не внешней церковной обрядности. В России пиетизм, еще со времен Александра I распространенный в придворных кругах, уживался с крайними проявлениями фанатичности и тиранства. Самое слово «пиетизм» стало синонимом ханжества.

раясь заглушить поднявшееся волнение в ней вследствие странной в отношении к ней перемены Анны Павловны.

– А вот и мадам Шталь, – сказала Кити, указывая на колясочку, в которой, обложенное подушками, в чем-то голубом и сером, под зонтиком лежало что-то.

Это была г-жа Шталь. Сзади ее стоял мрачный здоровенный работник-немец, катавший ее. Подле стоял белокурый шведский граф, которого знала по имени Кити. Несколько человек больных медлили около колясочки, глядя на эту даму, как на что-то необыкновенное.

Князь подошел к ней. И тотчас же в глазах его Кити заметила смущавший ее огонек насмешки. Он подошел к мадам Шталь и заговорил на том отличном французском языке, на котором уже столь немногие говорили теперь, чрезвычайно учтиво и мило.

– Не знаю, вспомните ли вы меня, но я должен напомнить себя, чтобы поблагодарить за вашу доброту к моей дочери, – сказал он ей, сняв шляпу и не надевая ее.

– Князь Александр Щербацкий, – сказала мадам Шталь, поднимая на него свои небесные глаза, в выражении которых Кити заметила неудовольствие. – Очень рада. Я так полюбила вашу дочь.

– Здоровье ваше все нехорошо?

– Да я уж привыкла, – сказала мадам Шталь и познакомила князя со шведским графом.

– А вы очень мало переменились, – сказал ей князь. – Я не имел чести видеть вас десять или одиннадцать лет.

– Да, Бог дает крест и дает силу нести его. Часто удивляешься, к чему тянется эта жизнь... С той стороны! – с досадой обратилась она к Вареньке, не так завертывавшей ей пледом ноги.

– Чтобы делать добро, вероятно, – сказал князь, смеясь глазами.

– Это не нам судить, – сказала госпожа Шталь, заметив оттенок выражения на лице князя. – Так вы пришлете мне эту книгу, любезный граф? Очень благодарю вас, – обратилась она к молодому шведу.

– А! – вскрикнул князь, увидав московского полковника, стоявшего около, и, поклонившись госпоже Шталь, отошел с дочерью и с присоединившимся к ним московским полковником.

– Это наша аристократия, князь! – с желанием быть насмешливым сказал московский полковник, который был в претензии на госпожу Шталь за то, что она не была с ним знакома.

– Все такая же, – отвечал князь.

– А вы еще до болезни знали ее, князь, то есть прежде, чем она слегла?

– Да. Она при мне слегла, – сказал князь.

– Говорят, она десять лет не встает.

– Не встает, потому что коротконожка. Она очень дурно сложена...

– Папа, не может быть! – вскрикнула Кити.

– Дурные языки так говорят, мой дружок. А твоей Вареньке таки достается, – прибавил он. – Ох, эти больные барыни!

– О нет, папа! – горячо возразила Кити. – Варенька обожает ее. И потом она делает столько добра! У кого хочешь спроси! Ее и Aline Шталь все знают.

– Может быть, – сказал он, пожимая локтем ее руку. – Но лучше, когда делают так, что, у кого ни спроси, никто не знает.

Кити замолчала не потому, что ей нечего было говорить; но она и отцу не хотела открыть свои тайные мысли. Однако, странное дело, несмотря на то, что она так готовилась не подчиниться взгляду отца, не дать ему доступа в свою святыню, она почувствовала, что тот божественный образ госпожи Шталь, который она месяц целый носила в душе, безвозвратно исчез, как фигура, составившаяся из брошенного платья, исчезает, когда поймешь, как лежит это платье. Осталась одна коротконогая женщина, которая лежит потому, что дурно сложена, и

мучает безответную Вареньку за то, что та не так подвертывает ей плед. И никакими усилиями воображения нельзя уже было возвратить прежнюю мадам Шталь.

XXXV

Князь передал свое веселое расположение духа и домашним своим, и знакомым, и даже немцу-хозяину, у которого стояли Щербацкие.

Вернувшись с Кити с вод и пригласив к себе к кофе и полковника, и Марью Евгеньевну, и Вареньку, князь велел вынести стол и кресла в садик, под каштан, и там накрыть завтрак. И хозяин и прислуга оживились под влиянием его веселости. Они знали его щедрость, и чрез полчаса больной гамбургский доктор, живший наверху, с завистью смотрел в окно на эту веселую русскую компанию здоровых людей, собравшуюся под каштаном. Под дрожащею кругами тенью листьев, у покрытого белою скатертью и уставленного кофейниками, хлебом, маслом, сыром, холодною дичью стола, сидела княгиня в наколке с лиловыми лентами, раздавая чашки и тартинки. На другом конце сидел князь, плотно кушая и громко и весело разговаривая. Князь разложил подле себя свои покупки – резные сундучки, бирюльки, разрезные ножики всех сортов, которых он накупил кучу на всех водах, и раздаривал их всем, в том числе Лисхен, служанке, и хозяину, с которым он шутил на своем комическом дурном немецком языке, уверяя его, что не воды вылечили Кити, но его отличные кушанья, в особенности суп с черносливом. Княгиня подсмеивалась над мужем за его русские привычки, но была так оживлена и весела, как не была во все время жизни на водах. Полковник, как всегда, улыбался шуткам князя; но насчет Европы, которую он внимательно изучал, как он думал, он держал сторону княгини. Добродушная Марья Евгеньевна покатывалась со смеху от всего, что говорил смешного князь, и Варенька, чего еще Кити никогда не видала, раскисала от слабого, но сообщающегося смеха, который возбуждали в ней шутки князя.

Все это веселило Кити, но она не могла не быть озабоченною. Она не могла разрешить задачи, которую ей невольно задал отец своим веселым взглядом на ее друзей и на ту жизнь, которую она так любила. К задаче этой присоединилась еще перемена ее отношений к Петровым, которая нынче так очевидно и неприятно высказалась. Всем было весело, но Кити не могла быть веселою, и это еще более мучило ее. Она испытывала чувство вроде того, какое испытывала в детстве, когда под наказанием была заперта в своей комнате и слушала веселый смех сестер.

– Ну, на что ты накупил эту бездну? – говорила княгиня, улыбаясь и подавая мужу чашку с кофеем.

– Пойдешь ходить, ну, подойдешь к лавочке, просят купить: «Эрлаухт, эксцеленц, дурхлаухт».¹⁰³ Ну, уж как скажут: «Дурхлаухт», уж я и не могу: десяти талеров и нет.

– Это только от скуки, – сказала княгиня.

– Разумеется, от скуки. Такая скука, матушка, что не знаешь, куда деться.

– Как можно скучать, князь? Так много интересного теперь в Германии, – сказала Марья Евгеньевна.

– Да я все интересное знаю: суп с черносливом знаю, гороховую колбасу знаю. Все знаю.

– Нет, но как хотите, князь, интересны их учреждения, – сказал полковник.

– Да что же интересного? Все они довольны, как медные гроши: всех победили. Ну, а мне-то чем же довольным быть? Я никого не победил, а только сапоги снимай сам, да еще за дверь их сам выставляй. Утром вставай, сейчас же одевайся, иди в салон чай скверный пить. То ли дело дома! Проснешься не торопясь, посердишься на что-нибудь, поворчишь, опомнишься хорошенько, все обдумаешь, не торопишься.

¹⁰³ Ваше сиятельство, ваше превосходительство, ваша светлость (нем.).

– А время – деньги, вы забываете это, – сказал полковник.

– Какое время! Другое время такое, что целый месяц за полтинник отдашь, а то так никаких денег за полчаса не возьмешь. Так ли, Катенька? Что ты, какая скучная?

– Я ничего.

– Куда же вы? Посидите еще, – обратился он к Вареньке.

– Мне надо домой, – сказала Варенька, вставая, и опять залилась смехом.

Оправившись, она простилась и пошла в дом, чтобы взять шляпу. Кити пошла за нею. Даже Варенька представлялась ей теперь другою. Она не была хуже, но она была другая, чем та, какою она прежде воображала ее себе.

– Ах, я давно так не смеялась! – сказала Варенька, собирая зонтик и мешочек. – Какой он милый, ваш папа!

Кити молчала.

– Когда же увидимся? – спросила Варенька.

– Мамап хотела зайти к Петровым. Вы не будете там? – сказала Кити, испытывая Вареньку.

– Я буду, – отвечала Варенька. – Они собираются уезжать, так я обещалась помочь укладываться.

– Ну, и я приду.

– Нет, что вам?

– Отчего, отчего, отчего? – широко раскрывая глаза, заговорила Кити, чтобы не выпускать Вареньку, взявшись за ее зонтик. – Нет, постойте, отчего?

– Так; ваш папа приехал, и потом с вами они стесняются.

– Нет, вы мне скажите, отчего вы не хотите, чтоб я часто бывала у Петровых? Ведь вы не хотите? Отчего?

– Я не говорила этого, – спокойно сказала Варенька.

– Нет, пожалуйста, скажите!

– Все говорить? – спросила Варенька.

– Все, все! – подхватила Кити.

– Да особенного ничего нет, а только то, что Михаил Алексеевич (так звали живописца) прежде хотел ехать раньше, а теперь не хочет уезжать, – улыбаясь, сказала Варенька.

– Ну! Ну! – торопила Кити, мрачно глядя на Вареньку.

– Ну, и почему-то Анна Павловна сказала, что он не хочет оттого, что вы тут. Разумеется, это было некстати, но из-за этого, из-за вас вышла ссора. А вы знаете, как эти больные раздражительны.

Кити все более и более хмурилась, и Варенька говорила одна, стараясь смягчить и успокоить ее, видя собиравшийся взрыв, она не знала чего – слез или слов.

– Так лучше вам не ходить... И вы понимаете, вы не обижайтесь...

– И поделом мне, и поделом мне! – быстро заговорила Кити, схватывая зонтик из рук Вареньки и глядя мимо глаз своего друга.

Вареньке хотелось улыбнуться, глядя на детский гнев своего друга, но она боялась оскорбить ее.

– Как поделом? Я не понимаю, – сказала она.

– Поделом за то, что все это было притворство, потому что это все выдуманное, а не от сердца. Какое мне дело было до чужого человека? И вот вышло, что я причиной ссоры и что я делала то, чего меня никто не просил. Оттого что все притворство! притворство! притворство!..

– Да с какою же целью притворяться? – тихо сказала Варенька.

– Ах, как глупо, гадко! Не было мне никакой нужды... Все притворство! – говорила она, открывая и закрывая зонтик.

– Да с какою же целью?

– Чтобы казаться лучше пред людьми, пред собой, пред Богом, всех обмануть. Нет, теперь уж я не поддамся на это! Быть дурною, но по крайней мере не лживою, не обманщицей!

– Да кто же обманщица? – укоризненно сказала Варенька. – Вы говорите, как будто...

Но Кити была в своем припадке вспыльчивости. Она не дала ей договорить.

– Я не об вас, совсем не об вас говорю. Вы совершенство. Да, да, я знаю, что вы все совершенство; но что же делать, что я дурная? Этого бы не было, если б я не была дурная. Так пускай я буду какая есть, но не буду притворяться. Что мне за дело до Анны Павловны! Пускай они живут как хотят, и я как хочу. Я не могу быть другою... И все это не то, не то!..

– Да что же не то? – в недоумении говорила Варенька.

– Все не то. Я не могу иначе жить, как по сердцу, а вы живете по правилам. Я вас полюбила просто, а вы, верно, только затем, чтобы спасти меня, научить меня!

– Вы несправедливы, – сказала Варенька.

– Да я ничего не говорю про других, я говорю про себя.

– Кити! – послышался голос матери, – поди сюда, покажи папа свои коральки.

Кити с гордым видом, не помирившись с своим другом, взяла со стола коральки в коробочке и пошла к матери.

– Что с тобой? Что ты такая красная? – сказали ей мать и отец в один голос.

– Ничего, – отвечала она, – я сейчас приду, – и побежала назад.

«Она еще тут! – подумала она. – Что я скажу ей, Боже мой! что я наделала, что я говорила! За что я обидела ее? Что мне делать? Что я скажу ей?» – думала Кити и остановилась у двери.

Варенька в шляпе и с зонтиком в руках сидела у стола, рассматривая пружину, которую сломала Кити. Она подняла голову.

– Варенька, простите меня, простите! – прошептала Кити, подходя к ней. – Я не помню, что я говорила. Я...

– Я, право, не хотела вас огорчать, – сказала Варенька улыбаясь.

Мир был заключен. Но с приездом отца для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отреклась от всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что может быть тем, чем хотела быть. Она как будто очнулась; почувствовала всю трудность без притворства и хвастовства удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться; кроме того, она почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила; ей мучительно показались те усилия, которые она употребляла над собой, чтобы любить это, и поскорее захотелось на свежий воздух, в Россию, в Ергушово, куда, как она узнала из письма, переехала уже ее сестра Долли с детьми.

Но любовь ее к Вареньке не ослабела. Прощаясь, Кити упрашивала ее приехать к ним в Россию.

– Я приеду, когда вы выйдете замуж, – сказала Варенька.

– Я никогда не выйду.

– Ну, так я никогда не приеду.

– Ну, так я только для этого выйду замуж. Смотрите ж, помните обещание! – сказала Кити.

Предсказания доктора оправдались. Кити возвратилась домой, в Россию, излеченная. Она не была так беззаботна и весела, как прежде, но она была спокойна, и московские горести ее стали воспоминанием.

Часть третья

I

Сергей Иванович Кознышев хотел отдохнуть от умственной работы и, вместо того чтоб отправиться, по обыкновению, за границу, приехал в конце мая в деревню к брату. По его убеждениям, самая лучшая жизнь была деревенская. Он приехал теперь наслаждаться этою жизнью к брату. Константин Левин был очень рад, тем более что он не ждал уже в это лето брата Николая. Но, несмотря на свою любовь и уважение к Сергею Ивановичу, Константину Левину было в деревне неловко с братом. Ему неловко, даже неприятно было видеть отношение брата к деревне. Для Константина Левина деревня была место жизни, то есть радостей, страданий, труда; для Сергея Ивановича деревня была, с одной стороны, отдых от труда, с другой – полезное противоядие испорченности, которое он принимал с удовольствием и сознанием его пользы. Для Константина Левина деревня была тем хороша, что она представляла поприще для труда несомненно полезного; для Сергея Ивановича деревня была особенно хороша тем, что там можно и должно ничего не делать. Кроме того, и отношение Сергея Ивановича к народу несколько коробило Константина. Сергей Иванович говорил, что он любит и знает народ, и часто беседовал с мужиками, что он умел делать хорошо, не притворяясь и не ломаясь, и из каждой такой беседы выводил общие данные в пользу народа и в доказательство, что знал этот народ. Такое отношение к народу не нравилось Константину Левину. Для Константина народ был только главный участник в общем труде, и, несмотря на все уважение и какую-то кровную любовь к мужику, всосанную им, как он сам говорил, вероятно, с молоком бабы-кормилицы, он, как участник с ним в общем деле, иногда приходивший в восхищение от силы, кротости, справедливости этих людей, очень часто, когда в общем деле требовались другие качества, приходил в озлобление на народ за его беспечность, неряшливость, пьянство, ложь. Константин Левин, если б у него спросили, любит ли он народ, решительно не знал бы, как на это ответить. Он любил и не любил народ так же, как и вообще людей. Разумеется, как добрый человек, он больше любил, чем не любил людей, а потому и народ. Но любить или не любить народ, как что-то особенное, он не мог, потому что не только жил с народом, не только все его интересы были связаны с народом, но он считал и самого себя частью народа, не видел в себе и народе никаких особенных качеств и недостатков и не мог противопоставлять себя народу. Кроме того, хотя он долго жил в самых близких отношениях к мужикам как хозяин и посредник, а главное, как советчик (мужики верили ему и ходили верст за сорок к нему советоваться), он не имел никакого определенного суждения о народе, и на вопрос, знает ли он народ, был бы в таком же затруднении ответить, как на вопрос, любит ли он народ. Сказать, что он знает народ, было бы для него то же самое, что сказать, что он знает людей. Он постоянно наблюдал и узнавал всякого рода людей и в том числе людей-мужиков, которых он считал хорошими и интересными людьми, и беспрестанно замечал в них новые черты, изменял о них прежние суждения и составлял новые. Сергей Иванович напротив. Точно так же, как он любил и хвалил деревенскую жизнь в противоположность той, которой он не любил, точно так же и народ любил он в противоположность тому классу людей, которого он не любил, и точно так же он знал народ как что-то противоположное вообще людям. В его методическом уме ясно сложились определенные формы народной жизни, выведенные отчасти из самой народной жизни, но преимущественно из противопоставления. Он никогда не изменял своего мнения о народе и сочувственного к нему отношения.

В случавшихся между братьями разногласиях при суждении о народе Сергей Иванович всегда побеждал брата именно тем, что у Сергея Ивановича были определенные понятия о

народе, его характере, свойствах и вкусах; у Константина же Левина никакого определенного и неизменного понятия не было, так что в этих спорах Константин всегда был уличаем в противоречии самому себе.

Для Сергея Ивановича меньшой брат его был славный малый, с сердцем, *поставленным хорошо* (как он выражался по-французски), но с умом хотя и довольно быстрым, однако подчиненным впечатлениям минуты и потому исполненным противоречий. Со снисходительностью старшего брата он иногда объяснял ему значение вещей, но не мог находить удовольствия спорить с ним, потому что слишком легко разбивал его.

Константин Левин смотрел на брата, как на человека огромного ума и образования, благородного в самом высоком значении этого слова и одаренного способностью деятельности для общего блага. Но в глубине своей души, чем старше он становился и чем ближе узнавал своего брата, тем чаще и чаще ему приходило в голову, что эта способность деятельности для общего блага, которой он чувствовал себя совершенно лишенным, может быть, и не есть качество, а, напротив, недостаток чего-то – не недостаток добрых, честных, благородных желаний и вкусов, но недостаток силы жизни, того, что называют сердцем, того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляющихся путей жизни выбрать один и желать этого одного. Чем больше он узнавал брата, тем более замечал, что и Сергей Иванович и многие другие деятели для общего блага не сердцем были приведены к этой любви к общему благу, но умом рассудили, что заниматься этим хорошо, и только потому занимались этим. В этом предположении утвердило Левина еще и то замечание, что брат его несколько не больше принимал к сердцу вопросы об общем благе и о бессмертии души, чем о шахматной партии или об остроумном устройстве новой машины.

Кроме того, Константину Левину было в деревне неловко с братом еще и оттого, что в деревне, особенно летом, Левин бывал постоянно занят хозяйством, и ему недоставало длинного летнего дня, для того чтобы переделать все, что нужно, а Сергей Иванович отдыхал. Но хотя он и отдыхал теперь, то есть не работал над своим сочинением, он так привык к умственной деятельности, что любил высказывать в красивой сжатой форме приходившие ему мысли и любил, чтобы было кому слушать. Самый же обыкновенный и естественный слушатель его был брат. И потому, несмотря на дружескую простоту их отношений, Константину неловко было оставлять его одного. Сергей Иванович любил лечь в траву на солнце и лежать так, жарясь, и лениво болтать.

– Ты не поверишь, – говорил он брату, – какое для меня наслаждение эта хохлацкая лень. Ни одной мысли в голове, хоть шаром покати.

Но Константину Левину скучно было сидеть, слушая его, особенно потому, что он знал, без него возят навоз на неразлешенное поле и навалят Бог знает как, если не посмотреть; и резцы в плугах не завинтят, а поснимают и потом скажут, что плуги выдумка пустая и то ли дело соха Андреевна, и т. п.

– Да будет тебе ходить по жаре, – говорил ему Сергей Иванович.

– Нет, мне только на минутку забежать в контору, – говорил Левин и убегал в поле.

II

В первых числах июня случилось, что няня и экономка Агафья Михайловна понесла в подвал баночку с только что посоленными ею грибами, поскользнулась, упала и свихнула руку в кисти. Приехал молодой болтливый, только что кончивший курс студент, земский врач. Он осмотрел руку, сказал, что она не вывихнута, наложил компрессы и, оставшись обедать, видимо наслаждался беседой со знаменитым Сергеем Ивановичем Кознышевым и рассказывал ему, чтобы высказать свой просвещенный взгляд на вещи, все уездные сплетни, жалуясь на дурное положение земского дела. Сергей Иванович внимательно слушал, расспрашивал и,

возбуждаемый новым слушателем, разговорился и высказал несколько метких и веских замечаний, почтительно оцененных молодым доктором, и пришел в свое, знакомое брату, оживленное состояние духа, в которое он обыкновенно приходил после блестящего и оживленного разговора. После отъезда доктора Сергей Иванович пожелал ехать с удочкой на реку. Он любил удить рыбу и как будто гордился тем, что может любить такое глупое занятие.

Константин Левин, которому нужно было на пахоту и на луга, вызвался довезти брата в кабриолете.

Было то время года, перевал лета, когда урожай нынешнего года уже определился, когда начинаются заботы о посеве будущего года и подошли покосы, когда рожь вся выколосилась и, серо-зеленая, не налитым, еще легким колосом волнуется по ветру, когда зеленые овсы, с раскиданными по ним кустами желтой травы, неровно выкидываются по поздним посевам, когда ранняя гречиха уже лопушится, скрывая землю, когда убитые в камень скотиной пары с оставленными дорогами, которые не берет соха, вспаханы до половины; когда присохшие вывезенные кучи навоза пахнут по зарям вместе с медовыми травами, и на низах, ожидая косы, стоят сплошным морем береженные луга с чернеющими кучами стеблей выполненного щавельника.

Было то время, когда в сельской работе наступает короткая передышка пред началом ежегодно повторяющейся и ежегодно вызывающей все силы народа уборки. Урожай был прекрасный, и стояли ясные, жаркие летние дни с росистыми короткими ночами.

Братья должны были проехать чрез лес, чтобы подъехать к лугам. Сергей Иванович любовался все время красотой заглохшего от листвы леса, указывая брату то на темную с тенистой стороны, пестреющую желтыми прилистниками, готовящуюся к цветению старую липу, то на изумрудом блестящие молодые побеги деревьев нынешнего года. Константин Левин не любил говорить и слушать про красоты природы. Слова снимали для него красоту с того, что он видел. Он поддакивал брату, но невольно стал думать о другом. Когда они проехали лес, все внимание его поглотилось видом парового поля на бугре, где желтеющего травой, где сбитого и изрезанного клетками, где уваленного кучами, а где и вспаханного. По полю ехали вереницей телеги. Левин сосчитал телеги и остался довольным тем, что вывезется все, что нужно, и мысли его перешли при виде лугов на вопрос о покосе. Он всегда испытывал что-то особенно забирающее за живое в уборке сена. Подъехав к лугу, Левин остановил лошадь.

Утренняя роса еще оставалась внизу на густом подседе травы, и Сергей Иванович, чтобы не мочить ноги, попросил довезти себя по лугу в кабриолете до того ракитового куста, у которого брались окуни. Как ни жалко было Константину Левину мять свою траву, он въехал в луг. Высокая трава мягко обвивалась около колес и ног лошади, оставляя свои семена на мокрых спицах и ступицах.

Брат сел под кустом, разобрал удочки, а Левин отвел лошадь, привязал и вошел в не движимое ветром огромное серо-зеленое море луга. Шелковистая с вылезающими семенами трава была по пояс на залидном месте.

Перейдя луг поперек, Константин Левин вышел на дорогу и встретил старика с опухшим глазом, несшего роевню с пчелами.

– Что? или поймал, Фомич? – спросил он.

– Какой поймал, Константин Митрич! Только бы своих убережь. Ушел вот второй раз другак... Спасибо, ребята доскакали. У вас пашут. Отпрягли лошадь, доскакали...

– Ну, что скажешь, Фомич, – косить или подождать?

– Да что ж! По-нашему, до Петрова дня подождать. А вы раньше всегда косите. Что ж, Бог даст травы добрые. Скотине простор будет.

– А погода, как думаешь?

– Дело Божье. Может, и погода будет.

Левин подошел к брату. Ничего не ловилось, но Сергей Иванович не скучал и казался в самом веселом расположении духа. Левин видел, что, раззадоренный разговором с доктором,

он хотел поговорить. Левину же, напротив, хотелось скорее домой, чтобы распорядиться о вызове косцов к завтраму и решить сомнение насчет покоса, которое сильно занимало его.

– Что ж, поедем, – сказал он.

– Куда ж торопиться? Посидим. Как ты измок, однако! Хоть не ловится, но хорошо. Всякая охота тем хороша, что имеешь дело с природой. Ну что за прелесть эта стальная вода! – сказал он. – Эти берега луговые всегда напоминают мне загадку, – знаешь? Трава говорит воде, а мы пошатаемся, пошатаемся.

– Я не знаю этой загадки, – уныло отвечал Левин.

III

– А знаешь, я о тебе думал, – сказал Сергей Иванович. – Это ни на что не похоже, что у вас делается в уезде, как мне порассказал этот доктор; он очень неглупый малый. И я тебе говорил и говорю: нехорошо, что ты не едешь на собрания и вообще устранился от земского дела. Если порядочные люди будут удаляться, разумеется, все пойдет Бог знает как. Деньги мы платим, они идут на жалованье, а нет ни школ, ни фельдшеров, ни повивальных бабок, ни аптек, ничего нет.

– Ведь я пробовал, – тихо и неохотно отвечал Левин, – не могу! ну что ж делать!

– Да чего ты не можешь? Я, признаюсь, не понимаю. Равнодушия, неумения я не допускаю; неужели просто лень?

– Ни то, ни другое, ни третье. Я пробовал и вижу, что ничего не могу сделать, – сказал Левин.

Он мало вникал в то, что говорил брат. Вглядываясь за реку на пашню, он различал что-то черное, но не разобрать, лошадь это или приказчик верхом.

– Отчего же ты не можешь ничего сделать? Ты сделал попытку, и не удалось по-твоему, и ты покоряешься. Как не иметь самолюбия?

– Самолюбия, – сказал Левин, задетый за живое словами брата, – я не понимаю. Когда бы в университете мне сказали, что другие понимают интегральное вычисление, а я не понимаю, – тут самолюбие. Но тут надо быть убежденным прежде, что нужно иметь известные способности для этих дел и, главное, в том, что все эти дела важны очень.

– Так что ж! это не важно? – сказал Сергей Иванович, задетый за живое и тем, что брат его находил неважным то, что его занимало, и в особенности тем, что он, очевидно, почти не слушал его.

– Мне не кажется важным, не забирает меня, что ж ты хочешь?.. – отвечал Левин, разобрав, что то, что он видел, был приказчик, и что приказчик, вероятно, спустил мужиков с пахоты. Они перевертывали сохи. «Неужели уж отпахали?» – подумал он.

– Ну, послушай, однако, – нахмутив свое красивое умное лицо, сказал брат, – есть границы всему. Это очень хорошо быть чудаком и искренним человеком и не любить фальшь, – я все это знаю; но ведь то, что ты говоришь, или не имеет смысла, или имеет очень дурной смысл. Как ты находишь неважным, что тот народ, который ты любишь, как ты уверяешь...

«Я никогда не уверял», – подумал Константин Левин.

– ...мрет без помощи? Грубые бабки замаривают детей, и народ коснеет в невежестве и остается во власти всякого писаря, а тебе в руки дано средство помочь этому; и ты не помогаешь, потому что это не важно.

И Сергей Иванович поставил ему дилемму: или ты так неразвит, что не можешь видеть всего, что можешь сделать, или ты не хочешь поступиться своим спокойствием, тщеславием, я не знаю чем, чтоб это сделать.

Константин Левин чувствовал, что ему остается только покориться или признаться в недостатке любви к общему делу. И это его оскорбило и огорчило.

– И то и другое, – сказал он решительно. – Я не вижу, чтобы можно было...

– Как? Нельзя, хорошо разместив деньги, дать врачебную помощь?

– Нельзя, как мне кажется... На четыре тысячи квадратных верст нашего уезда, с нашими зазорами, метелями, рабочею порой, я не вижу возможности давать повсеместно врачебную помощь. Да и вообще не верю в медицину.

– Ну, позволь; это несправедливо... Я тебе тысячи примеров назову... Ну, а школы?

– Зачем школы?

– Что ты говоришь? Разве может быть сомнение в пользе образования? Если оно хорошо для тебя, то и для всякого.

Константин Левин чувствовал себя нравственно припертым к стене и потому разгорячился и высказал невольно главную причину своего равнодушия к общему делу.

– Может быть, все это хорошо; но мне-то зачем заботиться об учреждении пунктов медицинских, которыми я никогда не пользуюсь, и школ, куда я своих детей не буду посылать, куда и крестьяне не хотят посылать детей, и я еще не твердо верю, что нужно их посылать? – сказал он.

Сергея Ивановича на минуту удивило это неожиданное воззрение на дело; но он тотчас составил новый план атаки.

Он помолчал, вынул одну удочку, перекинул и, улыбаясь, обратился к брату.

– Ну, позволь... Во-первых, пункт медицинский понадобился. Вот мы для Агафьи Михайловны послали за земским доктором.

– Ну, я думаю, что рука останется кривою.

– Это еще вопрос... Потом грамотный мужик, работник тебе же нужнее и дороже.

– Нет, у кого хочешь спроси, – решительно отвечал Константин Левин, – грамотный как работник гораздо хуже. И дороги починить нельзя; а мосты как поставят, так и украдут.

– Впрочем, – нахмурившись, сказал Сергей Иванович, не любивший противоречий и в особенности таких, которые беспрестанно перескакивали с одного на другое и без всякой связи вводили новые доводы, так что нельзя было знать, на что отвечать, – впрочем, не в том дело. Позволь. Признаешь ли ты, что образование есть благо для народа?

– Признаю, – сказал Левин нечаянно и тотчас же подумал, что он сказал не то, что думает. Он чувствовал, что если он признает это, ему будет доказано, что он говорит пустяки, не имеющие никакого смысла. Как это будет ему доказано, он не знал, но знал, что это, несомненно, логически будет ему доказано, и он ждал этого доказательства.

Довод вышел гораздо проще, чем того ожидал Константин Левин.

– Если ты признаешь это благом, – сказал Сергей Иванович, – то ты, как честный человек, не можешь не любить и не сочувствовать такому делу и потому не желать работать для него.

– Но я еще не признаю этого дела хорошим, – покраснев, сказал Константин Левин.

– Как? Да ты сейчас сказал...

– То есть я не признаю его ни хорошим, ни возможным.

– Этого ты не можешь знать, не сделав усилий.

– Ну, положим, – сказал Левин, хотя вовсе не полагал этого, – положим, что это так; но я все-таки не вижу, для чего я буду об этом заботиться.

– То есть как?

– Нет, уж если мы разговорились, то объясни мне с философской точки зрения, – сказал Левин.

– Я не понимаю, к чему тут философия, – сказал Сергей Иванович, как показалось Левину, таким тоном, как будто он не признавал права брата рассуждать о философии. И это раздражило Левина.

– Вот к чему! – горячась, заговорил он. – Я думаю, что двигатель всех наших действий есть все-таки личное счастье. Теперь в земских учреждениях я, как дворянин, не вижу ничего, что бы содействовало моему благосостоянию. Дороги не лучше и не могут быть лучше; лошади

мои везут меня и по дурным. Доктора и пункта мне не нужно. Мировой судья мне не нужен, – я никогда не обращаюсь к нему и не обращаюсь. Школы мне не только не нужны, но даже вредны, как я тебе говорил. Для меня земские учреждения просто повинность платить восемнадцать копеек с десятины, ездить в город, ночевать с клопами и слушать всякий вздор и гадости, а личный интерес меня не побуждает.

– Позволь, – перебил с улыбкой Сергей Иванович, – личный интерес не побуждал нас работать для освобождения крестьян, а мы работали.

– Нет! – все более горячась, перебил Константин. – Освобождение крестьян было другое дело. Тут был личный интерес. Хотелось сбросить с себя это ярмо, которое давило нас, всех хороших людей. Но быть гласным, рассуждать о том, сколько золотарей нужно и как трубы провести в городе, где я не живу; быть присяжным и судить мужика, укравшего ветчину, и шесть часов слушать всякий вздор, который мелют защитники и прокуроры, и как председатель спрашивает у моего старика Алешки-дурачка: «Признаете ли вы, господин подсудимый, факт похищения ветчины?» – «Ась?»

Константин Левин уже отвлекся, стал представлять председателя и Алешку-дурачка; ему казалось, что это все идет к делу.

Но Сергей Иванович пожал плечами.

– Ну, так что ты хочешь сказать?

– Я только хочу сказать, что те права, которые меня... мой интерес затрагивают, я буду всегда защищать всеми силами; что когда у нас, у студентов, делали обыск и читали наши письма жандармы, я готов всеми силами защищать эти права, защищать мои права образования, свободы. Я понимаю военную повинность, которая затрагивает судьбу моих детей, братьев и меня самого; я готов обсуждать то, что меня касается; но судить, куда распределить сорок тысяч земских денег, или Алешку-дурачка судить, – я не понимаю и не могу.

Константин Левин говорил так, как будто прорвало плотину его слов. Сергей Иванович улыбнулся.

– А завтра ты будешь судиться: что же, тебе приятнее было бы, чтобы тебя судили в старой уголовной палате?

– Я не буду судиться. Я никого не зарежу, и мне этого не нужно. Ну уж! – продолжал он, опять перескакивая к совершенно нейдущему к делу, – наши учреждения и все это – похоже на березки, которые мы натыкали, как в Троицын день, для того чтобы было похоже на лес, который сам вырос в Европе, и не могу я от души поливать и верить в эти березки!

Сергей Иванович пожал только плечами, выражая этим жестом удивление тому, откуда теперь явились в их споре эти березки, хотя он тотчас же понял то, что хотел сказать этим его брат.

– Позволь, ведь этак нельзя рассуждать, – заметил он.

Но Константину Левину хотелось оправдаться в том недостатке, который он знал за собой, в равнодушии к общему благу, и он продолжал.

– Я думаю, – сказал Константин, – что никакая деятельность не может быть прочна, если она не имеет основы в личном интересе. Это общая истина, философская, – сказал он, с решительностью повторяя слово *философская*, как будто желая показать, что он тоже имеет право, как и всякий, говорить о философии.

Сергей Иванович еще раз улыбнулся. «И у него там тоже какая-то своя философия есть на службу своих наклонностей», – подумал он.

– Ну, уж об философии ты оставь, – сказал он. – Главная задача философии всех веков состоит именно в том, чтобы найти ту необходимую связь, которая существует между личным интересом и общим. Но это не к делу, а к делу то, что мне только нужно поправить твое сравнение. Березки не натыканы, а которые посажены, которые посеяны, и с ними надо обращаться осторожнее. Только те народы имеют будущность, только те народы можно назвать историче-

скими, которые имеют чутье к тому, что важно и значительно в их учреждениях, и дорожат ими.

И Сергей Иванович перенес вопрос в область философски-историческую, недоступную для Константина Левина, и показал ему всю несправедливость его взгляда.

– Что же касается до того, что тебе это не нравится, то, извини меня, – это наша русская лень и барство, а я уверен, что у тебя это временное заблуждение, и пройдет.

Константин молчал. Он чувствовал, что он разбит со всех сторон, но он чувствовал вместе с тем, что то, что он хотел сказать, было не понято его братом. Он не знал только, почему это было не понято: потому ли, что он не умел сказать ясно то, что хотел, потому ли, что брат не хотел, или потому, что не мог его понять. Но он не стал углубляться в эти мысли и, не возражая брату, задумался о совершенно другом, личном своем деле.

– Ну, однако, поедem.

Сергей Иванович замотал последнюю удочку, Константин отвязал лошадь, и они поехали.

IV

Личное дело, занимавшее Левина во время разговора его с братом, было следующее: в прошлом году, приехав однажды на покос и рассердившись на приказчика, Левин употребил свое средство успокоения – взял у мужика косу и стал косить.

Работа эта так понравилась ему, что он несколько раз принимался косить; выкосил весь луг пред домом и нынешний год с самой весны составил себе план – косить с мужиками целые дни. Со времени приезда брата он был в раздумье: косить или нет? Ему совестно было оставлять брата одного по целым дням, и он боялся, чтобы брат не посмеялся над ним за это. Но, пройдясь по лугу, вспомнив впечатления косьбы, он уже почти решил, что будет косить. После же раздражительного разговора с братом он опять вспомнил это намерение.

«Нужно физическое движение, а то мой характер решительно портится», – подумал он и решился косить, как ни неловко это будет ему перед братом и народом.

С вечера Константин Левин пошел в контору, сделал распоряжение о работах и послал по деревням вызывать на завтра косцов, с тем чтобы косить Калиновый луг, самый большой и лучший.

– Да мою косу пошлите, пожалуйста, к Титу, чтоб он отбил и вынес завтра; я, может быть, буду сам косить тоже, – сказал он, стараясь не конфузиться.

Приказчик улыбнулся и сказал:

– Слушаю-с.

Вечером за чаем Левин сказал и брату.

– Кажется, погода установилась, – сказал он. – Завтра я начинаю косить.

– Я очень люблю эту работу, – сказал Сергей Иванович.

– Я ужасно люблю. Я сам косил иногда с мужиками и завтра хочу целый день косить.

Сергей Иванович поднял голову и с любопытством посмотрел на брата.

– То есть как? Наравне с мужиками, целый день?

– Да, это очень приятно, – сказал Левин.

– Это прекрасно, как физическое упражнение, только едва ли можешь это выдержать, – без всякой насмешки сказал Сергей Иванович.

– Я пробовал. Сначала тяжело, потом втягиваешься. Я думаю, что не отстану...

– Вот как! Но скажи, как мужики смотрят на это? Должно быть, посмеиваются, что чудит барин.

– Нет, не думаю; но это такая вместе и веселая и трудная работа, что некогда думать.

– Ну, а как же ты обедать с ними будешь? Туда лафиту тебе прислать и индюшку жареную уж неловко.

– Нет, я только в одно время с их отдыхом приеду домой.

На другое утро Константин Левин встал раньше обыкновенного, но хозяйственные распоряжения задержали его, и когда он приехал на покос, косцы шли уже по второму ряду.

Еще с горы открылась ему под горою тенистая, уже скошенная часть луга, с сереющими рядами и черными кучками кафтанов, снятых косцами на том месте, откуда они зашли первый ряд.

По мере того как он подъезжал, ему открывались шедшие друг за другом растянутою вереницей и различно махавшие косами мужики, кто в кафтанах, кто в одних рубахах. Он насчитал их сорок два человека.

Они медленно двигались по неровному низу луга, где была старая запруда. Некоторых своих Левин узнал. Тут был старик Ермил в очень длинной белой рубахе, согнувшись махавший косой; тут был молодой малый Васька, бывший у Левина в кучерах, с размаха бравший каждый ряд. Тут был и Тит, по косьбе дядька Левина, маленький, худенький мужичок. Он, не сгибаясь, шел передом, как бы играя косой, срезывая свой широкий ряд.

Левин слез с лошади и, привязав ее у дороги, сошелся с Титом, который, достав из куста вторую косу, подал ее.

– Готова, барин; бреет, сама косит, – сказал Тит, с улыбкой снимая шапку и подавая ему косу.

Левин взял косу и стал примериваться. Кончившие свои ряды, потные и веселые косцы выходили один за другим на дорогу и, посмеиваясь, здоровались с барином. Они все глядели на него, но никто ничего не говорил до тех пор, пока вышедший на дорогу высокий старик со сморщенным и безбородым лицом, в овчинной куртке, не обратился к нему.

– Смотри, барин, взялся за гуж, не отставать! – сказал он, и Левин услышал сдержанный смех между косцами.

– Постараюсь не отстать, – сказал он, становясь за Титом и выжидая времени начинать.

– Мотри, – повторил старик.

Тит освободил место, и Левин пошел за ним. Трава была низкая, придорожная, и Левин, давно не косивший и смущенный обращенными на себя взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно. Сзади его слышались голоса:

– Насажена неладно, рукоятка высока, вишь, ему сгибаться как, – сказал один.

– Пяткой больше налягай, – сказал другой.

– Ничего, ладно, наstryкается, – продолжал старик. – Вишь, пошел... Широк ряд берешь, умаешься... Хозяин, нельзя, для себя старается! А вишь, подрядье-то! За это нашего брата по горбу, бывало.

Трава пошла мягче, и Левин, слушая, но не отвечая и стараясь косить как можно лучше, шел за Титом. Они прошли шагов сто. Тит все шел, не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости; но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит: так он устал.

Он чувствовал, что махает из последних сил, и решился просить Тита остановиться. Но в это самое время Тит сам остановился и, нагнувшись, взял травы, отер косу и стал точить. Левин расправился и, вздохнув, оглянулся. Сзади его шел мужик и, очевидно, также устал, потому что сейчас же, не доходя Левина, остановился и принялся точить. Тит наточил свою косу и косу Левина, и они пошли дальше.

На втором приеме было то же. Тит шел мах за махом, не останавливаясь и не уставая. Левин шел за ним, стараясь не отставать, и ему становилось все труднее и труднее: наступала минута, когда, он чувствовал, у него не остается более сил, но в это самое время Тит останавливался и точил.

Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно труден Левину; но зато, когда ряд был пройден и Тит, вскинув на плечо косу, медленными шагами пошел заходить по следам, оставленным его каблуками по прокосу, и Левин точно так же пошел по своему

прокоосу, – несмотря на то, что пот катил градом по его лицу и капал с носа и вся спина его была мокра, как вымоченная в воде, – ему было очень хорошо. В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдержит.

Его удовольствие отравилось только тем, что ряд его был нехорош. «Буду меньше махать рукой, больше всем туловищем», – думал он, сравнивая как по нитке обрезанный ряд Тита со своим раскиданным и неровно лежащим рядом.

Первый ряд, как заметил Левин, Тит шел особенно быстро, вероятно желая попытаться барина, и ряд попался длинен. Следующие ряды были уже легче, но Левин все-таки должен был напрягать все свои силы, чтобы не отставать от мужиков.

Он ничего не думал, ничего не желал, кроме того, чтобы не отстать от мужиков и как можно лучше сработать. Он слышал только лязг кос и видел перед собой удалявшуюся прямую фигуру Тита, выгнутый полукруг прокоса, медленно и волнисто склоняющиеся травы и головки цветов около лезвия своей косы и впереди себя конец ряда, у которого наступит отдых.

Не понимая, что это и откуда, в середине работы он вдруг испытал приятное ощущение холода по жарким вспотевшим плечам. Он взглянул на небо во время натачиванья косы. Набежала низкая, тяжелая туча, и шел крупный дождь. Одни мужики пошли к кафтанам и надели их; другие, точно так же как Левин, только радостно пожимали плечами под приятным освежением.

Прошли еще и еще ряд. Проходили длинные, короткие, с хорошою, с дурною травой ряды. Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал, поздно или рано теперь. В его работе стала происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал, ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита. Но только что он вспоминал о том, что он делает, и начинал стараться сделать лучше, тотчас же он испытывал всю тяжесть труда и ряд выходил дурен.

Пройдя еще один ряд, он хотел опять заходить, но Тит остановился и, подойдя к старику, что-то тихо сказал ему. Они оба поглядели на солнце. «О чем это они говорят и отчего он не заходит ряд?» – подумал Левин, не догадываясь, что мужики не переставая косили уже не менее четырех часов и им пора завтракать.

– Завтракать, барин, – сказал старик.

– Разве пора? Ну, завтракать.

Левин отдал косу Титу и с мужиками, пошедшими к кафтанам за хлебом, чрез слегка побрызганные дождем ряды длинного скошенного пространства пошел к лошади. Тут только он понял, что не угадал погоду и дождь мочил его сено.

– Испортит сено, – сказал он.

– Ничего, барин, в дождь коси, в погоду греби! – сказал старик.

Левин отвязал лошадь и поехал домой пить кофе.

Сергей Иванович только что встал. Напившись кофею, Левин уехал опять на покос, прежде чем Сергей Иванович успел одеться и выйти в столовую.

V

После завтрака Левин попал в ряд уже не на прежнее место, а между шутником-стариком, который пригласил его в соседи, и молодым мужиком, с осени только женатым и пошедшим косить первое лето.

Старик, прямо держась, шел впереди, ровно и широко передвигая вывернутые ноги, и точным и ровным движеньем, не стоившим ему, по-видимому, более труда, чем маханье руками на ходьбе, как бы играя, откладывал одинаковый, высокий ряд. Точно не он, а одна острая коса сама вжикала по сочной траве.

Сзади Левина шел молодой Мишка. Миловидное молодое лицо его, обвязанное по волосам жгутом свежей травы, все работало от усилий; но как только взглядывали на него, он улыбался. Он, видимо, готов был умереть скорее, чем признаться, что ему трудно.

Левин шел между ними. В самый жар косьба показалась ему не так трудна. Обливавший его пот прохлаждал его, а солнце, жегшее спину, голову и засученную по локоть руку, придавало крепость и упорство в работе; и чаще и чаще приходили те минуты бессознательного состояния, когда можно было не думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты. Еще радостнее были минуты, когда, подходя к реке, в которую утыкались ряды, старик обтирал мокрой густой травой косу, полоскал ее сталь в свежей воде реки, зачерпывал брусницу и угощал Левина.

– Ну-ка, кваску моего! А, хорош! – говорил он, подмигивая.

И действительно, Левин никогда не пивал такого напитка, как эта теплая вода с плавающей зеленью и ржавым от жестяной брусницы вкусом. И тотчас после этого наступала блаженная медленная прогулка с рукой на косе, во время которой можно было отереть ливший пот, вздохнуть полной грудью и оглядеть всю тянущуюся вереницу косцов и то, что делалось вокруг, в лесу и в поле.

Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты.

Трудно было только тогда, когда надо было прекращать это сделавшееся бессознательным движение и думать, когда надо было окашивать кочку или невыполонный щавельник. Старик делал это легко. Приходила кочка, он изменял движение и где пяткой, где концом косы подбивал кочку с обеих сторон коротенькими ударами. И, делая это, он все рассматривал и наблюдал, что открывалось пред ним, то он срывал кочеток, съедал его или угощал Левина, то отбрасывал носком косы ветку, то оглядывал гнездышко перепелиное, с которого из-под самой косы вылетала самка, то ловил козюлю, попавшуюся на пути, и, как вилкой подняв ее косой, показывал Левину и отбрасывал.

И Левину и молодому малому сзади его эти перемены движений были трудны. Они оба, наладив одно напряженное движение, находились в азарте работы и не в силах были изменять движение и в то же время наблюдать, что было пред ними.

Левин не замечал, как проходило время. Если бы спросили его, сколько времени он косил, он сказал бы, что полчаса, – а уж время подошло к обеду. Заходя ряд, старик обратил внимание Левина на девочек и мальчиков, которые с разных сторон, чуть видные, по высокой траве и по дороге шли к косцам, неся оттягивавшие им ручонки узелки с хлебом и заткнутые тряпками кувшинчики с квасом.

– Вишь, козявки ползут! – сказал он, указывая на них, и из-под руки поглядел на солнце.

Прошли еще два ряда, старик остановился.

– Ну, барин, обедать! – сказал он решительно. И, дойдя до реки, косцы направились через ряды к кафтанам, у которых, дожидаясь их, сидели дети, принесшие обеды. Мужики собрались – дальние под телеги, ближние – под ракитовый куст, на который накидали травы.

Левин подсел к ним; ему не хотелось уезжать.

Всякое стеснение пред барином уже давно исчезло. Мужики приготавливались обедать. Одни мылись, молодые ребята купались в реке, другие прилаживали место для отдыха, развязывали мешочки с хлебом и оттыкали кувшинчики с квасом. Старик накрошил в чашку хлеба, размял его стеблем ложки, налил воды из брусницы, еще разрезал хлеба и, посыпав солью, стал на восток молиться.

– Ну-ка, барин, моей тюрки, – сказал он, присаживаясь на колени перед чашкой.

Тюрька была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать. Он пообедал со стариком и разговорился с ним о его домашних делах, принимая в них живейшее участие, и сообщил ему все свои дела и все обстоятельства, которые могли интересовать старика. Он чувствовал себя более близким к нему, чем к брату, и невольно улыбался от нежности, которую он испытывал к этому человеку. Когда старик опять встал, помолился и лег тут же под кустом, положив себе под изголовье травы, Левин сделал то же и, несмотря на липких, упорных на солнце мух и козявок, щекодавших его потное лицо и тело, заснул тотчас же и проснулся, только когда солнце зашло на другую сторону куста и стало доставать его. Старик давно не спал и сидел, отбивая косы молодых ребят.

Левин оглянулся вокруг себя и не узнал места: так все переменялось. Огромное пространство луга было скошено и блестело особенным, новым блеском, со своими уже пахнущими рядами, на вечерних косых лучах солнца. И окошенные кусты у реки, и сама река, прежде не видная, а теперь блестящая сталью в своих извилах, и движущийся и поднимающийся народ, и крутая стена травы недокошенного места луга, и ястреба, вившиеся над оголенным лугом, – все это было совершенно новое. Очнувшись, Левин стал соображать, сколько скошено и сколько еще можно сделать нынче.

Сработано было чрезвычайно много на сорок два человека. Весь большой луг, который кашивали два дня при барщине в тридцать кос, был уже скошен. Нескошенными оставались углы с короткими рядами. Но Левину хотелось как можно больше скосить в этот день, и досадно было на солнце, которое так скоро спускалось. Он не чувствовал никакой усталости; ему только хотелось еще и еще поскорее и как можно больше сработать.

– А что, еще скосим, как думаешь, Машкин Верх? – сказал он старику.

– Как Бог даст, солнце не высоко. Нечто водочки ребятам?

Во время полдника, когда опять сели и курящие закурили, старик объявил ребятам, что «Машкин Верх скосить – водка будет».

– Эка, не скосить! Заходи, Тит! Живо смахнем! Наешься ночью. Заходи! – слышались голоса, и, доедая хлеб, косцы пошли заходить.

– Ну, ребята, держись! – сказал Тит и почти рысью пошел передом.

– Иди, иди! – говорил старик, спеша за ним и легко догоняя его, – срежу! Берегись!

И молодые и старые как бы наперегонку косили. Но, как они ни торопились, они не портили травы, и ряды откладывались так же чисто и отчетливо. Оставшийся в углу уголок был смахнут в пять минут. Еще последние косцы доходили ряды, как передние захватили кафтаны на плечи и пошли через дорогу к Машкину Верху.

Солнце уже спускалось к деревьям, когда они, побрякивая брусницами, вошли в лесной овражек Машкина Верха. Трава была по пояс в середине лощины, и нежная и мягкая, лопушистая, кое-где по лесу пестреющая иваном-да-марьей.

После короткого совещания – вдоль ли ходить или поперек – Прохор Ермилин, тоже известный косец, огромный черноватый мужик, пошел передом. Он прошел ряд вперед, повернулся назад и отвалил, и все стали выравниваться за ним, ходя под гору по лощине и на гору под самую опушку леса. Солнце зашло за лес. Роса уже пала, и косцы только на горке были на солнце, а в низу, по которому поднимался пар, и на той стороне шли в свежей, росистой тени. Работа кипела.

Подрезаемая с сочным звуком и пряно пахнущая трава ложилась высокими рядами. Теснившиеся по коротким рядам косцы со всех сторон, побрякивая брусницами и звуча то столкновившимися косами, то свистом бруска по оттачиваемой косе, то веселыми криками, подгоняли друг друга.

Левин шел все так же между молодым малым и стариком. Старик, надевший свою овчинную куртку, был так же весел, шутив и свободен в движениях. В лесу беспрестанно попадались березовые, разбухшие в сочной траве грибы, которые резались косами. Но старик, встречая

гриб, каждый раз сгибался, подбирал и клал за пазуху. «Еще старухе гостинцу», – приговаривал он.

Как ни было легко косить мокрую и слабую траву, но трудно было спускаться и подниматься по крутым косогорам оврага. Но старика это не стесняло. Махая все так же косою, он маленьким, твердым шажком своих обутых в большие лапти ног влезал медленно на кручь и, хоть и тряся всем телом и отвисшими ниже рубахи портками, не пропускал на пути ни одной травинки, ни одного гриба и так же шутил с мужиками и Левиным. Левин шел за ним и часто думал, что он непременно упадет, поднимаясь с косою на такой крутой бугор, куда и без косы трудно влезть; но он взлезал и делал что надо. Он чувствовал, что какая-то внешняя сила двигала им.

VI

Машкин Верх скосили, доделали последние ряды, надели кафтаны и весело пошли к дому. Левин сел на лошадь и, с сожалением простившись с мужиками, поехал домой. С горы он оглянулся; их не видно было в поднимавшемся из низу тумане; были слышны только веселые грубые голоса, хохот и звук сталкивающихся кос.

Сергей Иванович давно уже отобедал и пил воду с лимоном и льдом в своей комнате, просматривая только что полученные с почты газеты и журналы, когда Левин, с прилипшими от пота ко лбу спутанными волосами и почерневшею, мокрую спиной и грудью, с веселым говором ворвался к нему в комнату.

– А мы сработали весь луг! Ах, как хорошо, удивительно! А ты как поживал? – говорил Левин, совершенно забыв вчерашний неприятный разговор.

– Батюшки! на что ты похож! – сказал Сергей Иванович, в первую минуту недовольно оглядываясь на брата. – Да дверь-то, дверь-то затворяй! – вскрикнул он. – Непременно впустил десяток целых.

Сергей Иванович терпеть не мог мух и в своей комнате отворял окна только ночью и старательно затворял двери.

– Ей-богу, ни одной. А если впустил, я поймаю. Ты не поверишь, какое наслаждение! Ты как провел день?

– Я хорошо. Но неужели ты целый день косил? Ты, я думаю, голоден, как волк. Кузьма тебе все приготовил.

– Нет, мне и есть не хочется. Я там поел. А вот пойду умоюсь.

– Ну, иди, иди, и я сейчас приду к тебе, – сказал Сергей Иванович, покачивая головой, глядя на брата. – Иди же, иди скорей, – прибавил он, улыбаясь, и, собрав свои книги, приготовился идти. Ему самому вдруг стало весело и не хотелось расставаться с братом. – Ну, а во время дождя где ты был?

– Какой же дождь? Чуть покрапал. Так я сейчас приду. Так ты хорошо провел день? Ну, и отлично. – И Левин ушел одеваться.

Через пять минут братья сошлись в столовой. Хотя Левину и казалось, что не хочется есть, и он сел за обед, только чтобы не обидеть Кузьму, но когда начал есть, то обед показался ему чрезвычайно вкусен. Сергей Иванович, улыбаясь, глядел на него.

– Ах да, тебе письмо, – сказал он. – Кузьма, принеси, пожалуйста, снизу. Да смотри, дверь затворяй.

Письмо было от Облонского. Левин вслух прочел его. Облонский писал из Петербурга: «Я получил письмо от Долли, она в Ергушове, и у ней что-то все не ладится. Съезди, пожалуйста, к ней, помоги советом, ты все знаешь. Она так рада будет тебя видеть. Она совсем одна, бедная. Теща со всеми еще за границей».

– Вот отлично! Непременно съезжу к ним, – сказал Левин. – А то поедем вместе. Она такая славная. Не правда ли?

– А они недалеко тут?

– Верст тридцать. Пожалуй, и сорок будет. Но отличная дорога. Отлично съездим.

– Очень рад, – все улыбаясь, сказал Сергей Иванович.

Вид меньшого брата непосредственно располагал его к веселости.

– Ну, аппетит у тебя! – сказал он, глядя на его склоненное над тарелкой буро-красно-загорелое лицо и шею.

– Отлично! Ты не согласишься, какой это режим полезный против всякой дури. Я хочу обогатить медицину новым термином: *Arbeitscur*.¹⁰⁴

– Ну, тебе-то это не нужно, кажется.

– Да, но разным нервным больным.

– Да, это надо испытать. А я ведь хотел было прийти на покос посмотреть на тебя, но жара была такая невыносимая, что я не пошел дальше леса. Я посидел и лесом прошел на слободу, встретил твою кормилицу и сондировал ее насчет взгляда мужиков на тебя. Как я понял, они не одобряют этого. Она сказала: «Не господское дело». Вообще мне кажется, что в понятии народном очень твердо определены требования на известную, как они называют, «господскую» деятельность. И они не допускают, чтобы господа выходили из определившейся в их понятии рамки.

– Может быть; но ведь это такое удовольствие, какого я в жизнь свою не испытывал. И дурного ведь ничего нет. Не правда ли? – отвечал Левин. – Что же делать, если им не нравится. А впрочем, я думаю, что ничего. А?

– Вообще, – продолжал Сергей Иванович, – ты, как я вижу, доволен своим днем.

– Очень доволен. Мы скосили весь луг. И с каким стариком я там подружился! Это ты не можешь себе представить, что за прелесть!

– Ну, так доволен своим днем. И я тоже. Во-первых, я решил две шахматные задачи, и одна очень мила, – открывается пешкой. Я тебе покажу. А потом думал о нашем вчерашнем разговоре.

– Что? о вчерашнем разговоре? – сказал Левин, блаженно шурясь и отдуваясь после оконченого обеда и решительно не в силах вспомнить, какой это был вчерашний разговор.

– Я нахожу, что ты прав отчасти. Разногласие наше заключается в том, что ты ставишь двигателем личный интерес, а я полагаю, что интерес общего блага должен быть у всякого человека, стоящего на известной степени образования. Может быть, ты и прав, что желательнее была бы заинтересованная материально деятельность. Вообще ты натура слишком *prime-sautiere*,¹⁰⁵ как говорят французы; ты хочешь страстной, энергической деятельности или ничего.

Левин слушал брата и решительно ничего не понимал и не хотел понимать. Он только боялся, как бы брат не спросил его такой вопрос, по которому будет видно, что он ничего не слышал.

– Так-то, дружок, – сказал Сергей Иванович, трогая его по плечу.

– Да, разумеется. Да что же! Я не стою за свое, – отвечал Левин с детскою, виноватою улыбкой. «О чем бишь я спорил? – думал он. – Разумеется, и я прав, и он прав, и все прекрасно. Надо только пойти в контору распорядиться». Он встал, потягиваясь и улыбаясь.

Сергей Иванович тоже улыбнулся.

– Хочешь пройтись, пойдем вместе, – сказал он, не желая расставаться с братом, от которого так и веяло свежестью и бодростью. – Пойдем, зайдем и в контору, если тебе нужно.

¹⁰⁴ лечение работой (*нем.*).

¹⁰⁵ склонная действовать под влиянием первого порыва (*франц.*).

- Ах, батюшки! – вскрикнул Левин так громко, что Сергей Иванович испугался.
- Что, что ты?
- Что рука Агафьи Михайловны? – сказал Левин, ударяя себя по голове. – Я и забыл про нее.
- Лучше гораздо.
- Ну, все-таки я сбегая к ней. Ты не успеешь шляпы надеть, я вернусь.
- И он, как трещотка, загремел каблуками, сбегая с лестницы.

VII

В то время как Степан Аркадьич приехал в Петербург для исполнения самой естественной, известной всем служащим, хотя и непонятной для неслужащих, нужнейшей обязанности, без которой нет возможности служить, – напомнить о себе в министерстве, – и при исполнении этой обязанности, взяв почти все деньги из дому, весело и приятно проводил время и на скачках и на дачах, Долли с детьми переехала в деревню, чтоб уменьшить сколько возможно расходы. Она переехала в свою приданую деревню Ергушово, ту самую, где весной был продан лес и которая была в пятидесяти верстах от Покровского Левина.

В Ергушове большой старый дом был давно сломан, и еще князем был отделан и увеличен флигель. Флигель лет двадцать тому назад, когда Долли была ребенком, был поместителен и удобен, хоть и стоял, как все флигеля, боком к выездной аллее и к югу. Но теперь флигель этот был стар и гнил. Когда еще Степан Аркадьич ездил весной продавать лес, Долли просила его осмотреть дом и велеть поправить что нужно. Степан Аркадьич, как и все виноватые мужья, очень заботившийся об удобствах жены, сам осмотрел дом и сделал распоряжения обо всем, по его понятию, нужном. По его понятию, надо было перебить кретоном всю мебель, повесить гардины, расчистить сад, сделать мостик у пруда и посадить цветы; но он забыл много других необходимых вещей, недостаток которых потом измучал Дарью Александровну.

Как ни старался Степан Аркадьич быть заботливым отцом и мужем, он никак не мог помнить, что у него есть жена и дети. У него были холостые вкусы, и только с ними он сообщался. Вернувшись в Москву, он с гордостью объявил жене, что все приготовлено, что дом будет игрушечка и что он ей очень советует ехать. Степану Аркадьичу отъезд жены в деревню был очень приятен во всех отношениях: и детям здорово, и расходов меньше, и ему свободнее. Дарья же Александровна считала переезд в деревню на лето необходимым для детей, в особенности для девочки, которая не могла поправиться после скарлатины, и, наконец, чтоб избавиться от мелких унижений, мелких долгов дровянику, рыбнику, башмачнику, которые измучали ее. Сверх того, отъезд был ей приятен еще и потому, что она мечтала залучить к себе в деревню сестру Кити, которая должна была возвратиться из-за границы в середине лета, и ей предписано было купанье. Кити писала с вод, что ничто ей так не улыбается, как провести лето с Долли в Ергушове, полным детских воспоминаний для них обеих.

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. Она жила в деревне в детстве, и у ней осталось впечатление, что деревня есть спасение от всех городских неприятностей, что жизнь там хотя и не красива (с этим Долли легко мирилась), зато дешева и удобна: все есть, все дешево, все можно достать, и детям хорошо. Но теперь, хозяйкой приехав в деревню, она увидела, что это все совсем не так, как она думала.

На другой день по их приезде пошел проливной дождь, и ночью потекло в коридоре и в детской, так что кровати перенесли в гостиную. Кухарки людской не было; из девяти коров оказались, по словам скотницы, одни тельные, другие первым теленком, третьи старые, четвертые тугосиси; ни масла, ни молока даже детям не доставало. Яиц не было. Курицу нельзя было достать; жарили и варили старых, лиловых, жилистых петухов. Нельзя было достать баб, чтобы вымыть полы, – все были на картошках. Кататься нельзя было, потому что одна лошадь замина-

лась и рвала в дышле. Купаться было негде, – весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги; даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор, и был один страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался. Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами открывались, когда проходили мимо их. Чугунов и корчаг не было; котла для прачечной и даже гладильной доски для девичьей не было.

Первое время, вместо спокойствия и отдыха попав на эти страшные, с ее точки зрения, бедствия, Дарья Александровна была в отчаянии: хлопотала изо всех сил, чувствовала безвыходность положения и каждую минуту удерживала слезы, наворачивавшиеся ей на глаза. Управляющий, бывший вахмистр, которого Степан Аркадьич полюбил и определил из швейцаров за его красивую и почтительную наружность, не принимал никакого участия в бедствиях Дарьи Александровны, говорил почтительно: «Никак невозможно, такой народ скверный», и ни в чем не помогал.

Положение казалось безвыходным. Но в доме Облонских, как и во всех семейных домах, было одно незаметное, но важнейшее и полезнейшее лицо – Матрена Филимоновна. Она успокоивала барыню, уверяла ее, что все *образуется* (это было ее слово, и от нее перенял его Матвей), и сама, не торопясь и не волнуясь, действовала.

Она тотчас же сошлась с приказчицей и в первый же день пила с нею и с приказчиком чай под акациями и обсуждала все дела. Скоро под акациями учредился клуб Матрены Филимоновны, и тут, через этот клуб, состоявший из приказчицы, старосты и конторщика, стали понемногу уравниваться трудности жизни, и через неделю действительно все *образовалось*. Крышу починили, кухарку, куму старостину, достали, кур купили, молока стало доставать, и загородили жердями сад, каток сделал плотник, к шкафам приделали крючки, и они стали отворяться не произвольно, и гладильная доска, обернутая солдатским сукном, легла с ручки кресла на комод, и в девичьей запахло утюгом.

– Ну вот! а всё отчаивались, – сказала Матрена Филимоновна, указывая на доску.

Даже построили из соломенных щитов купальню. Лили стала купаться, и для Дарьи Александровны сбылись хотя отчасти ее ожидания хотя не спокойной, но удобной деревенской жизни. Спокойною с шестью детьми Дарья Александровна не могла быть. Один заболел, другой мог заболеть, третьему не доставало чего-нибудь, четвертый выказывал признаки дурного характера, и т. д. и т. д. Редко, редко выдавались короткие спокойные периоды. Но хлопоты и беспокойства эти были для Дарьи Александровны единственно возможным счастьем. Если бы не было этого, она бы оставалась одна со своими мыслями о муже, который не любит ее. Но кроме того, как ни тяжелы были для матери страх болезней, самые болезни и горе в виду признаков дурных наклонностей в детях, – сами дети выплачивали ей уж теперь мелкими радостями за ее горести. Радости эти были так мелки, что они незаметны были, как золото в песке, и в дурные минуты она видела одни горести, один песок; но были и хорошие минуты, когда она видела одни радости, одно золото.

Теперь, в уединении деревни, она чаще и чаще стала сознавать эти радости. Часто, глядя на них, она делала всевозможные усилия, чтоб убедить себя, что она заблуждается, что она, как мать, пристрастна к своим детям; все-таки она не могла не говорить себе, что у нее прелестные дети, все шестеро, все в разных родах, но такие, какие редко бывают, – и была счастлива ими и гордилась ими.

VIII

В конце мая, когда уже все более или менее устроилось, она получила от мужа ответ на свои жалобы о деревенских неустройствах. Он писал ей, прося прощения в том, что не обдумал всего, и обещал приехать при первой возможности. Возможность эта не представилась, и до начала июня Дарья Александровна жила одна в деревне.

Петровками, в воскресенье, Дарья Александровна ездила к обедне причащать всех своих детей. Дарья Александровна в своих душевных, философских разговорах с сестрой, матерью, друзьями очень часто удивляла их своим вольнодумством относительно религии. У ней была своя странная религия метемпсихозы¹⁰⁶, в которую она твердо верила, мало заботясь о догматах церкви. Но в семье она – и не для того только, чтобы показывать пример, а от всей души – строго исполняла все церковные требования, и то, что дети около года не были у причастия, очень беспокоило ее, и, с полным одобрением и сочувствием Матрены Филимоновны, она решила совершить это теперь летом.

Дарья Александровна за несколько дней вперед обдумала, как одеть всех детей. Были сшиты, переделаны и вымыты платья, выпущены рубцы и оборки, пришиты пуговицы и приготовлены ленты. Одно платье на Таню, которое взялась шить англичанка, испортило много крови Дарье Александровне. Англичанка, перешивая, сделала вытачки не на месте, слишком вынула рукава и совсем было испортила платье. Тане подхватило плечи так, что видеть было больно. Но Матрена Филимоновна догадалась вставить клинья и сделать пелеринку. Дело поправилось, но с англичанкой произошла было почти ссора. Наутро, однако, все устроилось, и к девяти часам – срок, до которого просили батюшку подождать с обедней, – сияющие радостью, разодетые дети стояли у крыльца пред коляской, дожидаясь матери.

В коляску, вместо заминающегося Ворона, запрягли, по протекции Матрены Филимоновны, приказчика Бурого, и Дарья Александровна, задержанная заботами о своем туалете, одетая в белое кисейное платье, вышла садиться.

Дарья Александровна причесывалась и одевалась с заботой и волнением. Прежде она одевалась для себя, чтобы быть красивой и нравиться; потом, чем больше она старелась, тем неприятнее ей становилось одеваться; она видела, как она подурнела. Но теперь она опять одевалась с удовольствием и волнением. Теперь она одевалась не для себя, не для своей красоты, а для того, чтоб она, как мать этих прелестей, не испортила общего впечатления. И, посмотревшись в последний раз в зеркало, она осталась собой довольна. Она была хороша. Не так хороша, как она, бывало, хотела быть хороша на бале, но хороша для той цели, которую она теперь имела в виду.

В церкви никого, кроме мужиков и дворников и их баб, не было. Но Дарья Александровна видела, или ей казалось, что видела, восхищение, возбуждаемое ее детьми и ею. Дети не только были прекрасны собой в своих нарядных платьицах, но они были милы тем, как хорошо они себя держали. Алеша, правда, стоял не совсем хорошо: он все поворачивался и хотел видеть сзади свою курточку; но все-таки он был необыкновенно мил. Таня стояла как большая и смотрела за маленькими. Но меньшая, Лили, была прелестна своим наивным удивлением пред всем, и трудно было не улыбнуться, когда, причастившись, она сказала: «Please, some more».¹⁰⁷

Возвращаясь домой, дети чувствовали, что что-то торжественное совершилось, и были очень смиренны.

Все шло хорошо и дома; но за завтраком Гриша стал свистать и, что было хуже всего, не послушался англичанки и был оставлен без сладкого пирога. Дарья Александровна не допустила бы в такой день до наказания, если б она была тут; но надо было поддержать распоряжение англичанки, и она подтвердила ее решение, что Грише не будет сладкого пирога. Это испортило немного общую радость.

Гриша плакал, говоря, что и Николенька свистал, но что вот его не наказали, и что он не от пирога плачет, – ему все равно, – но о том, что несправедливы. Это было слишком

¹⁰⁶ ...*странная религия метемпсихозы* – учение древних восточных религий (например, буддизма) о переселении душ, последовательно воплощающихся в телах людей и животных.

¹⁰⁷ Пожалуйста, еще немножко (*англ.*).

уже грустно, и Дарья Александровна решила, переговорив с англичанкой, простить Гришу и пошла к ней. Но тут, проходя чрез залу, она увидела сцену, наполнившую такую радостью ее сердце, что слезы выступили ей на глаза, и она сама простила преступника.

Наказанный сидел в зале на угловом окне; подле него стояла Таня с тарелкой. Под видом желания обеда для кукол, она попросила у англичанки позволения снести свою порцию пирога в детскую и вместо этого принесла ее брату. Продолжая плакать о несправедливости претерпенного им наказания, он ел принесенный пирог и сквозь рыдания говорил: «Ешь сама, вместе будем есть... вместе».

На Таню сначала действовала жалость за Гришу, потом сознание своего добродетельного поступка, и слезы у ней тоже стояли в глазах; но она, не отказываясь, ела свою долю.

Увидав мать, они испугались, но, взглядевшись в ее лицо, поняли, что они делают хорошо, засмеялись и с полными пирогом ртами стали обтирать улыбающиеся губы руками и измазали все свои сияющие лица слезами и вареньем.

– Матушки!! Новое белое платье! Таня! Гриша! – говорила мать, стараясь спасти платье, но со слезами на глазах улыбаясь блаженною, восторженною улыбкой.

Новые платья сняли, велели надеть девочкам блузки, а мальчикам старые курточки и велели закладывать линейку – опять, к огорчению приказчика, – Бурого в дышло, чтоб ехать за грибами и на купальню. Стон восторженного визга поднялся в детской и не умолкал до самого отъезда на купальню.

Грибов набрали целую корзинку, даже Лили нашла березовый гриб. Прежде бывало так, что мисс Гуль найдет и покажет ей; но теперь она сама нашла большой березовый шляпик, и был общий восторженный крик: «Лили нашла шляпик!»

Потом подъехали к реке, поставили лошадей под березками и пошли в купальню. Кучер Терентий, привязав к дереву отмахивающихся от оводов лошадей, лег, приминая траву, в тени березы и курил тютюн, а из купальни доносился до него неумолкавший детский веселый визг.

Хотя и хлопотливо было смотреть за всеми детьми и останавливать их шалости, хотя и трудно было вспомнить и не перепутать все эти чулочки, панталончики, башмачки с разных ног и развязывать, расстегивать и завязывать тесемочки и пуговицы, Дарья Александровна, сама для себя любившая всегда купанье, считавшая его полезным для детей, ничем так не наслаждалась, как этим купаньем со всеми детьми. Перебирать все эти пухленькие ножки, натягивая на них чулочки, брать в руки и окунать эти голенькие тельца и слышать то радостные, то испуганные визги; видеть эти задыхающиеся, с открытыми, испуганными и веселыми глазами лица, этих брызгающихся своих херувимчиков было для нее большое наслаждение.

Когда уже половина детей были одеты, к купальне подошли и робко остановились нарядные бабы, ходившие за сныткой и молочником. Матрена Филимоновна кликнула одну, чтобы дать ей высушить уроненную в воду простыню и рубашку, и Дарья Александровна разговорила с бабами. Бабы, сначала смеявшиеся в руку и не понимавшие вопроса, скоро осмелились и разговорились, тотчас же подкупив Дарью Александровну искренним любованием детьми, которое они выказывали.

– Ишь ты красавица, беленькая, как сахар, – говорила одна, любуясь на Танечку и покачивая головой. – А худая....

– Да, больна была.

– Вишь ты, знать, тоже купали, – говорила другая на грудного.

– Нет, ему только три месяца, – отвечала с гордостью Дарья Александровна.

– Ишь ты!

– А у тебя есть дети?

– Было четверо, двое осталось: мальчик и девочка. Вот в прошлый мясоед отняла.

– А сколько ей?

– Да другой годок.

- Что же ты так долго кормила?
- Наше обыкновение: три поста...

И разговор стал самый интересный для Дарьи Александровны: как рожала? чем был болен? где муж? часто ли бывает?

Дарье Александровне не хотелось уходить от баб, так интересен ей был разговор с ними, так совершенно одни и те же были их интересы. Приятнее же всего Дарье Александровне было то, что она ясно видела, как все эти женщины любовались более всего тем, как много было у нее детей и как они хороши. Бабы и насмешили Дарью Александровну и обидели англичанку тем, что она была причиной этого непонятного для нее смеха. Одна из молодых баб приглядывалась к англичанке, одевавшейся после всех, и когда она надела на себя третью юбку, то не могла удержаться от замечания: «Ишь ты, крутила, крутила, все не накрутит!» – сказала она, и все разразились хохотом.

IX

Окруженная всеми выкупанными, с мокрыми головами, детьми, Дарья Александровна, с платком на голове, уже подъезжала к дому, когда кучер сказал:

- Барин какой-то идет, кажется, покровский.

Дарья Александровна выглянула вперед и обрадовалась, увидав в серой шляпе и сером пальто знакомую фигуру Левина, шедшего им навстречу. Она и всегда рада ему была, но теперь особенно рада была, что он видит ее во всей ее славе. Никто лучше Левина не мог понять ее величия и в чем оно состояло.

Увидав ее, он очутился пред одною из картин своего когда-то воображаемого семейного быта.

- Вы точно наседка, Дарья Александровна.
- Ах, как я рада! – сказала она, протягивая ему руку.
- Рады, а не дали знать. У меня брат живет. Уж я от Стивы получил записочку, что вы тут.
- От Стивы? – с удивлением спросила Дарья Александровна.

– Да, он пишет, что вы переехали, и думает, что вы позволите мне помочь вам чем-нибудь, – сказал Левин и, сказав это, вдруг смутился и, прервав речь, молча продолжал идти подле линейки, срывая липовые побеги и перекусывая их. Он смутился вследствие предположения, что Дарье Александровне будет неприятна помощь постороннего человека в том деле, которое должно было быть сделано ее мужем. Дарье Александровне действительно не нравилась эта манера Степана Аркадьича навязывать свои семейные дела чужим. И она тотчас же поняла, что Левин понимает это. За эту-то тонкость понимания, за эту деликатность и любила Левина Дарья Александровна.

– Я понял, разумеется, – сказал Левин, – что это только значит то, что вы хотите меня видеть, и очень рад. Разумеется, я воображаю, что вам, городской хозяйке, здесь дико, и, если что нужно, я весь к вашим услугам.

– О нет! – сказала Долли. – Первое время было неудобно, а теперь все прекрасно устроилось благодаря моей старой няне, – сказала она, указывая на Матрену Филимоновну, понимавшую, что говорят о ней, и весело и дружелюбно улыбавшуюся Левину. Она знала его и знала, что это хороший жених барышне, и желала, чтобы дело сладилось.

- Извольте садиться, мы сюда потеснимся, – сказала она ему.
- Нет, я пройду. Дети, кто со мной наперегонки с лошадьми?

Дети знали Левина очень мало, не помнили, когда видали его, но не высказывали в отношении к нему того странного чувства застенчивости и отвращения, которое испытывают дети так часто к взрослым притворяющимся людям и за которое им так часто и больно достается. Притворство в чем бы то ни было может обмануть самого умного, проницательного человека;

но самый ограниченный ребенок, как бы оно ни было искусно скрываемо, узнает его и отвергается. Какие бы ни были недостатки в Левине, притворства не было в нем и признака, и потому дети высказали ему дружелюбие такое же, какое они нашли на лице матери. На приглашение его два старшие тотчас же соскочили к нему и побежали с ним так же просто, как бы они побежали с няней, с мисс Гуль или с матерью. Лили тоже стала проситься к нему, и мать передала ее ему, он посадил ее на плечо и побежал с ней.

– Не бойтесь, не бойтесь, Дарья Александровна! – говорил он, весело улыбаясь матери, – невозможно, чтоб я ушиб или уронил.

И, глядя на его ловкие, сильные, осторожно заботливые и слишком напряженные движения, мать успокоилась и весело и одобрительно улыбалась, глядя на него.

Здесь, в деревне, с детьми и с симпатичною ему Дарьей Александровной, Левин пришел в то, часто находившее на него детски-веселое расположение духа, которое Дарья Александровна особенно любила в нем. Бегая с детьми, он учил их гимнастике, смешил мисс Гуль своим дурным английским языком и рассказывал Дарье Александровне свои занятия в деревне.

После обеда Дарья Александровна, сидя с ним одна на балконе, заговорила о Кити.

– Вы знаете? Кити приедет сюда и проведет со мною лето.

– Право? – сказал он, вспыхнув, и тотчас же, чтобы переменить разговор, сказал: – Так прислать вам двух коров? Если вы хотите считаться, то извольте заплатить мне по пяти рублей в месяц, если вам не совестно.

– Нет, благодарствуйте. У нас устроилось.

– Ну, так я ваших коров посмотрю, и, если позволите, я распоряжусь, как их кормить. Все дело в корме.

И Левин, чтобы только отвлечь разговор, изложил Дарье Александровне теорию молочного хозяйства, состоявшую в том, что корова есть только машина для переработки корма в молоко, и т. д.

Он говорил это и страстно желал услышать подробности о Кити и вместе боялся этого. Ему страшно было, что расстроится приобретенное им с таким трудом спокойствие.

– Да, но, впрочем, за всем этим надо следить, а кто же будет? – неохотно отвечала Дарья Александровна.

Она так теперь наладила свое хозяйство через Матрену Филимоновну, что ей не хотелось ничего менять в нем; да она и не верила знанию Левина в сельском хозяйстве. Рассуждения о том, что корова есть машина для деланья молока, были ей подозрительны. Ей казалось, что такого рода рассуждения могут только мешать хозяйству. Ей казалось все это гораздо проще: что надо только, как объясняла Матрена Филимоновна, давать Пеструхе и Белопахой больше корму и поила и чтобы повар не уносил помой из кухни для прачкиной коровы. Это было ясно. А рассуждения о мучном и травяном корме были сомнительны и неясны. Главное же, ей хотелось говорить о Кити.

Х

– Кити пишет мне, что ничего так не желает, как уединения и спокойствия, – сказала Долли после наступившего молчания.

– А что, здоровье ее лучше? – с волнением спросил Левин.

– Слава Богу, она совсем поправилась. Я никогда не верила, чтоб у нее была грудная болезнь.

– Ах, я очень рад! – сказал Левин, и что-то трогательное, беспомощное показалось Долли в его лице в то время, как он сказал это и молча смотрел на нее.

– Послушайте, Константин Дмитрич, – сказала Дарья Александровна, улыбаясь своею доброю и несколько насмешливою улыбкой, – за что вы сердитесь на Кити?

– Я? Я не сержусь, – сказал Левин.

– Нет, вы сердитесь. Отчего вы не заехали ни к нам, ни к ним, когда были в Москве?

– Дарья Александровна, – сказал он, краснея до корней волос, – я удивляюсь даже, что вы, с вашей добротой, не чувствуете этого. Как вам просто не жалко меня, когда вы знаете...

– Что я знаю?

– Знаете, что я делал предложение и что мне отказано, – проговорил Левин, и вся та нежность, которую минуту тому назад он чувствовал к Кити, заменилась в душе его чувством злобы за оскорбление.

– Почему же вы думаете, что я знаю?

– Потому что все это знают.

– Вот уж в этом вы ошибаетесь; я не знала этого, хотя и догадывалась.

– А! ну так вы теперь знаете.

– Я знала только то, что что-то было, но что, я никогда не могла узнать от Кити. Я видела только, что было что-то, что ее ужасно мучало, и что она просила меня никогда не говорить об этом. А если она не сказала мне, то она никому не говорила. Но что же у вас было? Скажите мне.

– Я вам сказал, что было.

– Когда?

– Когда я был в последний раз у вас.

– А знаете, что я вам скажу, – сказала Дарья Александровна, – мне ее ужасно, ужасно жалко. Вы страдаете только от гордости...

– Может быть, – сказал Левин, – но...

Она перебила его:

– Но ее, бедняжку, мне ужасно и ужасно жалко. Теперь я все понимаю.

– Ну, Дарья Александровна, вы меня извините, – сказал он, вставая. – Прощайте! Дарья Александровна, до свиданья.

– Нет, постойте, – сказала она, схватывая его за рукав. – Постойте, садитесь.

– Пожалуйста, пожалуйста, не будем говорить об этом, – сказал он, садясь и вместе с тем чувствуя, что в сердце его поднимается и шевелится казавшаяся ему похороненною надежда.

– Если б я вас не любила, – сказала Дарья Александровна, и слезы выступили ей на глаза, – если б я вас не знала, как я вас знаю...

Казавшееся мертвым чувство оживало все более и более, поднималось и завладевало сердцем Левина.

– Да, я теперь все поняла, – продолжала Дарья Александровна. – Вы этого не можете понять; вам, мужчинам, свободным и выбирающим, всегда ясно, кого вы любите. Но девушка в положении ожидания с этим женским, девичьим стыдом, девушка, которая видит вас, мужчин, издали, принимает все на слово, – у девушки бывает и может быть такое чувство, что она не знает, кого она любит, и не знает, что сказать.

– Да, если сердце не говорит...

– Нет, сердце говорит, но вы подумайте: вы, мужчины, имеете виды на девушку, вы ездите в дом, вы сближаетесь, высматриваете, выжидаете, найдете ли вы то, что вы любите, и потом, когда вы убеждены, что любите, вы делаете предложение...

– Ну, это не совсем так.

– Все равно, вы делаете предложение, когда ваша любовь созрела или когда у вас между двумя выбираемыми совершился перевес. А девушку не спрашивают. Хотят, чтоб она сама выбирала, а она не может выбрать и только отвечает: да и нет.

«Да, выбор между мной и Вронским», – подумал Левин, и оживавший в душе его мертвец опять умер и только мучительно давил его сердце.

– Дарья Александровна, – сказал он, – так выбирают платье или не знаю какую покупку, а не любовь. Выбор сделан, и тем лучше... И повторенья быть не может.

– Ах, гордость и гордость! – сказала Дарья Александровна, как будто презирая его за низость этого чувства в сравнении с тем, другим чувством, которое знают одни женщины. – В то время как вы делали предложение Кити, она именно была в том положении, когда она не могла отвечать. В ней было колебание. Колебание: вы или Вронский. Его она видела каждый день, вас давно не видала. Положим, если б она была старше, – для меня, например, на ее месте не могло бы быть колебания. Он мне всегда противен был, и так и кончилось.

Левин вспомнил ответ Кити. Она сказала: *Нет, это не может быть* ...

– Дарья Александровна, – сказал он сухо, – я ценю вашу доверенность ко мне; я думаю, что вы ошибаетесь. Но, прав я или не прав, эта гордость, которую вы так презираете, делает то, что для меня всякая мысль о Катерине Александровне невозможна, – вы понимаете, совершенно невозможна.

– Я только одно еще скажу, вы понимаете, что я говорю о сестре, которую я люблю, как своих детей. Я не говорю, чтоб она любила вас, но я только хотела сказать, что ее отказ в ту минуту ничего не доказывает.

– Я не знаю! – вскакивая, сказал Левин. – Если бы вы знали, как вы больно мне делаете! Все равно, как у вас бы умер ребенок, а вам бы говорили: а вот он был бы такой, такой, и мог бы жить, и вы бы на него радовались. А он умер, умер, умер...

– Как вы смешны, – сказала Дарья Александровна с грустной усмешкой, несмотря на волнение Левина. – Да, я теперь все понимаю, – продолжала она задумчиво. – Так вы не приедете к нам, когда Кити будет?

– Нет, не приеду. Разумеется, я не буду избегать Катерины Александровны, но, где могу, постараюсь избавить ее от неприятности моего присутствия.

– Очень, очень вы смешны, – повторила Дарья Александровна, с нежностью вглядываясь в его лицо. – Ну, хорошо, так как будто мы ничего про это не говорили. Зачем ты пришла, Таня? – сказала Дарья Александровна по-французски вошедшей девочке.

– Где моя лопатка, мама?

– Я говорю по-французски, и ты так же скажи.

Девочка хотела сказать, но забыла, как лопатка, мать подсказала ей и потом по-французски же сказала, где отыскать лопатку. И это показалось Левину неприятным.

Все теперь казалось ему в доме Дарьи Александровны и в ее детях совсем уже не так мило, как прежде.

«И для чего она говорит по-французски с детьми? – подумал он. – Как это неестественно и фальшиво! И дети чувствуют это. Выучить по-французски и отучить от искренности», – думал он сам с собой, не зная того, что Дарья Александровна все это двадцать раз уже передунала и все-таки, хотя и в ущерб искренности, нашла необходимым учить этим путем своих детей.

– Но куда же вам ехать? Посидите.

Левин остался до чая, но веселье его все исчезло, и ему было неловко.

После чая он вышел в переднюю велеть подавать лошадей и, когда вернулся, застал Дарью Александровну взволнованную, с расстроенным лицом и слезами на глазах. В то время как Левин выходил, случилось для Дарьи Александровны ужасное событие, разрушившее вдруг все ее сегодняшнее счастье и гордость детьми. Гриша и Таня подрались за мячик. Дарья Александровна, услышав крик в детской, выбежала и застала их в ужасном виде. Таня держала Гришу за волосы, а он, с изуродованным злобой лицом, бил ее кулаками куда попало. Что-то оборвалось в сердце Дарьи Александровны, когда она увидела это. Как будто мрак надвинулся на ее жизнь: она поняла, что те ее дети, которыми она так гордилась, были не только самые

обыкновенные, но даже нехорошие, дурно воспитанные дети, с грубыми, зверскими наклонностями, злые дети.

Она ни о чем другом не могла говорить и думать и не могла не рассказать Левину своего несчастья.

Левин видел, что она несчастлива, и постарался утешить ее, говоря, что это ничего дурного не доказывает, что все дети дерутся; но, говоря это, в душе своей Левин думал: «Нет, я не буду ломаться и говорить по-французски со своими детьми, но у меня будут не такие дети: надо только не портить, не уродовать детей, и они будут прелестны. Да, у меня будут не такие дети».

Он простился и уехал, и она не удерживала его.

XI

В половине июля к Левину явился староста сестриной деревни, находившейся за двадцать верст от Покровского, с отчетом о ходе дел и о покосе. Главный доход с имения сестры получался за заливные луга. В прежние годы покосы разбирались мужиками по двадцати рублей за десятину. Когда Левин взял имение в управление, он, осмотрев покосы, нашел, что они стоят дороже, и назначил цену за десятину двадцать пять рублей. Мужики не дали этой цены и, как подозревал Левин, отбили других покупателей. Тогда Левин поехал туда сам и распорядился убирать луга частию наймом, частию из доли. Свои мужики препятствовали всеми средствами этому нововведению, но дело пошло, и в первый же год за луга было выручено почти вдвое. В третьем и в прошлом году продолжалось то же противодействие мужиков, и уборка шла тем же порядком. В нынешнем году мужики взяли все покосы из третьей доли, и теперь староста приехал объявить, что покосы убраны и что он, побоявшись дождя, пригласил конторщика, при нем разделил и сметал уже одиннадцать господских стогов. По неопределенным ответам на вопрос о том, сколько было сена на главном лугу, по поспешности старосты, разделившего сено без спросу, по всему тону мужика Левин понял, что в этом дележе сена что-то нечисто, и решился съездить сам поверить дело.

Приехав в обед в деревню и оставив лошадь у приятеля-старика, мужа братниной кормилицы, Левин вошел к старику на пчельник, желая узнать от него подробности об уборке покоса. Говорливый благообразный старик Парменыч радостно принял Левина, показал ему все свое хозяйство, рассказал все подробности о своих пчелах и о роевщине нынешнего года; но на вопросы Левина о покосе говорил неопределенно и неохотно. Это еще более утвердило Левина в его предположениях. Он пошел на покос и осмотрел стога. В стогах не могло быть по пятидесяти возов, и, чтоб уличить мужиков, Левин велел сейчас же вызвать возившие сено подводы, поднять один стог и перевезти в сарай. Из стога вышло только тридцать два воза. Несмотря на уверения старосты о пухлявости сена и о том, как оно улеглось в стогах, и на его божбу о том, что все было по-божески, Левин настаивал на своем, что сено делили без его приказа и что он потому не принимает этого сена за пятьдесят возов в стогу. После долгих споров дело решили тем, чтобы мужикам принять эти одиннадцать стогов, считая по пятидесяти возов, на свою долю, а на господскую долю выделить вновь. Переговоры эти и дележ копен продолжались до полдника. Когда последнее сено было разделено, Левин, поручив остальное наблюдение конторщику, присел на отмеченной тычинкой раkitника копне, любуясь на кипящий народом луг.

Пред ним, в загибе реки за болотцем, весело треща звонкими голосами, двигалась пестрая вереница баб, и из растрясенного сена быстро вытягивались по светло-зеленой отаве серые извилистые валы. Следом за бабами шли мужики с вилами, и из валов вырастали широкие, высокие, пухлые копны. Слева по убранному уже лугу гремели телеги, и одна за другою, подаваемые огромными навиллинами, исчезали копны, и на место их навивались нависающие на зады лошадей тяжелые воза душистого сена.

– За погоду убрать! Сено же будет! – сказал старик, присевший подле Левина. – Чай, не сено! Ровно утят зерно рассып, как подбирают! – прибавил он, указывая на навиваемые копны. – С обеда половину добрую свезли.

– Последнюю, что ль? – крикнул он на малого, который, стоя на передку тележного ящика и помахивая концами пеньковых вожжей, ехал мимо.

– Последнюю, батюшка! – прокричал малый, придерживая лошадь, и, улыбаясь, оглянулся на веселую, тоже улыбающуюся румяную бабу, сидевшую в тележном ящике, и погнал дальше.

– Это кто же? Сын? – спросил Левин.

– Мой меньшенький, – с ласковою улыбкой сказал старик.

– Какой молодец!

– Ничего малый.

– Уж женат?

– Да, третий год пошел в Филипповки.

– Что ж, и дети есть?

– Какие дети! Год целый не понимал ничего, да и стыдился, – отвечал старик. – Ну, сено! Чай настоящий! – повторил он, желая переменить разговор.

Левин внимательнее присмотрелся к Ваньке Парменову и его жене. Они недалеко от него навивали копну. Иван Парменов стоял на возу, принимая, разравнивая и отаптывая огромные навилы сена, которые сначала охалками, а потом вилами ловко подавала ему его молодая красавица хозяйка. Молодая баба работала легко, весело и ловко. Крупное, слежавшееся сено не бралось сразу на вилы. Она сначала расправляла его, всовывала вилы, потом упругим и быстрым движением налегала на них всею тяжестью своего тела и тотчас же, перегибая перетянутую красным кушаком спину, выпрямлялась и, выставляя полные груди из-под белой занавески, с ловкою ухваткой перехватывала руками вилы и вскидывала навилу высоко на воз. Иван поспешно, видимо стараясь избавить ее от всякой минуты лишнего труда, подхватывал, широко раскрывая руки, подаваемую охалку и расправлял ее на возу. Подав последнее сено граблями, баба отряхнула засыпавшуюся ей за шею труху и, оправив сбившийся над белым, незагорелым лбом красный платок, полезла под телегу увязывать воз. Иван учил ее, как цеплять за лисицу, и чему-то сказанному ею громко расхохотался. В выражениях обоих лиц была видна сильная, молодая, недавно проснувшаяся любовь.

ХП

Воз был увязан. Иван прыгнул и повел за повод добрую, сытую лошадь. Баба вскинула на воз грабли и бодрым шагом, размахивая руками, пошла к собравшимся хороводом бабам. Иван, выехав на дорогу, вступил в обоз с другими возами. Бабы с граблями на плечах, блестя яркими цветами и треща звонкими, веселыми голосами, шли позади возов. Один грубый, дикий бабий голос затянул песню и допел ее до повторенья, и дружно, враз, опять с начала подхватили ту же песню полсотни разных, грубых и тонких, здоровых голосов.

Бабы с песнью приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его, и копна, на которой он лежал, и другие копны и воза и весь луг с дальним полем – все заходило и заколыхалось под размеры этой дикой развеселой песни с вскриками, присвистами и ёканьями. Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотелось принять участие в выражении этой радости жизни. Но он ничего не мог сделать и должен был лежать и смотреть и слушать. Когда народ с песнью скрылся из вида и слуха, тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою телесную праздность, за свою враждебность к этому миру охватило Левина.

Некоторые из тех самых мужиков, которые больше всех с ним спорили за сено, те, которых он обидел, или те, которые хотели обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему и, очевидно, не имели и не могли иметь к нему никакого зла или никакого не только раскаяния, но и воспоминания о том, что они хотели обмануть его. Все это потонуло в море веселого общего труда. Бог дал день, Бог дал силы. И день и силы посвящены труду, и в нем самом награда. А для кого труд? Какие будут плоды труда? Это соображения посторонние и ничтожные.

Левин часто любовался на эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этою жизнью, но нынче в первый раз, в особенности под впечатлением того, что он видел в отношениях Ивана Парменова к его молодой жене, Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь.

Старик, сидевший с ним, уже давно ушел домой; народ весь разобрался. Ближние уехали домой, а дальние собрались к ужину и ночлегу в лугу. Левин, не замечаемый народом, продолжал лежать на копне и смотреть, слушать и думать. Народ, оставшийся ночевать в лугу, не спал почти всю короткую летнюю ночь. Сначала слышался общий веселый говор и хохот за ужином, потом опять песни и смехи.

Весь длинный трудовой день не оставил в них другого следа, кроме веселости. Перед утреннею зарей все затихло. Слышались только ночные звуки неумолкаемых в болоте лягушек и лошадей, фыркавших по лугу в поднявшемся пред утром тумане. Очнувшись, Левин встал с копны и, оглядев звезды, понял, что прошла ночь.

«Ну, так что же я сделаю? Как я сделаю это?» – сказал он себе, стараясь выразить для самого себя все то, что он передумал и перечувствовал в эту короткую ночь. Все, что он передумал и перечувствовал, разделялось на три отдельные хода мысли. Один – это было отречение от своей старой жизни, от своих бесполезных знаний, от своего ни к чему не нужного образования. Это отречение доставляло ему наслаждение и было для него легко и просто. Другие мысли и представления касались той жизни, которою он желал жить теперь. Простоту, чистоту, законность этой жизни он ясно чувствовал и был убежден, что он найдет в ней то удовлетворение, успокоение и достоинство, отсутствие которых он так болезненно чувствовал. Но третий ряд мыслей вертелся на вопросе о том, как сделать этот переход от старой жизни к новой. И тут ничего ясного ему не представлялось. «Иметь жену? Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в общество? Жениться на крестьянке? Как же я сделаю это? – опять спрашивал он себя и не находил ответа. – Впрочем, я не спал всю ночь, и я не могу дать себе ясного отчета, – сказал он себе. – Я уясню после. Одно верно, что эта ночь решила мою судьбу. Все мои прежние мечты семейной жизни вздор, не то, – сказал он себе. – Все это гораздо проще и лучше...»

«Как красиво! – подумал он, глядя на странную, точно перламутровую раковину из белых барашков-облачков, остановившуюся над самой головой его на середине неба. – Как все прелестно в эту прелестную ночь! И когда успела образоваться эта раковина? Недавно я смотрел на небо, и на нем ничего не было – только две белые полосы. Да, вот так-то незаметно изменились и мои взгляды на жизнь!»

Он вышел из луга и пошел по большой дороге к деревне. Поднимался ветерок, и стало серо, мрачно. Наступила пасмурная минута, предшествующая обыкновенно рассвету, полной победе света над тьмой.

Пожимаясь от холода, Левин быстро шел, глядя на землю. «Это что? кто-то едет», – подумал он, услышав бубенцы, и поднял голову. В сорока шагах от него, ему навстречу, по той большой дороге-муравке, по которой он шел, ехала четверней карета с важами¹⁰⁸. Дышловые

¹⁰⁸ ...ехала четверней карета с важами. – Важи – чемоданы из телячьей кожи (от франц. *vache*).

лошади жались от колеи на дышло, но ловкий ямщик, боком сидевший на козлах, держал дышлом по колее, так что колеса бежали по гладкому.

Только это заметил Левин и, не думая о том, кто это может ехать, рассеянно взглянул в карету.

В карете дремала в углу старушка, а у окна, видимо только что проснувшись, сидела молодая девушка, держась обеими руками за ленточки белого чепчика. Светлая и задумчивая, вся исполненная изящной и сложной внутренней, чуждой Левину жизни, она смотрела через него на зарю восхода.

В то самое мгновение, как виденье это уж исчезало, правдивые глаза взглянули на него. Она узнала его, и удивленная радость осветила ее лицо.

Он не мог ошибиться. Только одни на свете были эти глаза. Только одно было на свете существо, способное сосредоточивать для него весь свет и смысл жизни. Это была она. Это была Кити. Он понял, что она ехала в Ергушово со станции железной дороги. И все то, что волновало Левина в эту бессонную ночь, все те решения, которые были взяты им, все вдруг исчезло. Он с отвращением вспомнил свои мечты женитьбы на крестьянке. Там только, в этой быстро удалявшейся и переехавшей на другую сторону дороги карете, там только была возможность разрешения столь мучительно тяготившей его в последнее время загадки его жизни.

Она не выглянула больше. Звук рессор перестал быть слышен, чуть слышны стали бубенчики. Лай собак показал, что карета проехала и деревню, – и остались вокруг пустые поля, деревня впереди и он сам, одинокий и чужой всему, одиноко идущий по заброшенной большой дороге.

Он взглянул на небо, надеясь найти там ту раковину, которою он любовался и которая олицетворяла для него весь ход мыслей и чувств нынешней ночи. На небе не было более ничего похожего на раковину. Там, в недостижимой вышине, совершилась уже таинственная перемена. Не было и следа раковины, и был ровный, расстилавшийся по целой половине неба ковер все уменьшающихся и уменьшающихся барашков. Небо поглубело и просияло и с тою же нежностью, но и с тою же недостижимостью отвечало на его вопрошающий взгляд.

«Нет, – сказал он себе, – как ни хороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться к ней. Я люблю *ее*».

ХІІІ

Никто, кроме самых близких людей к Алексею Александровичу, не знал, что этот с виду самый холодный и рассудительный человек имел одну, противоречившую общему складу своего характера, слабость. Алексей Александрович не мог равнодушно слышать и видеть слезы ребенка или женщины. Вид слез приводил его в растерянное состояние, и он терял совершенно способность соображения. Правитель его канцелярии и секретарь знали это и предупреждали просительниц, чтоб отнюдь не плакали, если не хотят испортить свое дело. «Он рассердится и не станет вас слушать», – говорили они. И действительно, в этих случаях душевное расстройство, производимое на Алексея Александровича слезами, выражалось торопливым гневом. «Я не могу, не могу ничего сделать. Извольте идти вон!» – кричал он обыкновенно в этих случаях.

Когда, возвращаясь со скачек, Анна объявила ему о своих отношениях к Вронскому и тотчас же вслед за этим, закрыв лицо руками, заплакала, Алексей Александрович, несмотря на вызванную в нем злобу к ней, почувствовал в то же время прилив того душевного расстройства, которое на него всегда производили слезы. Зная это и зная, что выражение в эту минуту его чувств было бы несоответственно положению, он старался удержать в себе всякое проявление жизни и потому не шевелился и не смотрел на нее. От этого-то и происходило то странное выражение мертвенности на его лице, которое так поразило Анну.

Когда они подъехали к дому, он высадил ее из кареты и, сделав усилие над собой, с привычною учтивостию простился с ней и произнес те слова, которые ни к чему не обязывали его; он сказал, что завтра сообщит ей свое решение.

Слова жены, подтвердившие его худшие сомнения, произвели жестокую боль в сердце Алексея Александровича. Боль эта была усилена еще тем странным чувством физической жалости к ней, которую произвели на него ее слезы. Но, оставшись один в карете, Алексей Александрович, к удивлению своему и радости, почувствовал совершенное освобождение и от этой жалости и от мучавших его в последнее время сомнений и страданий ревности.

Он испытывал чувство человека, выдернувшего долго болевший зуб, когда после страшной боли и ощущения чего-то огромного, больше самой головы, вытягиваемого из челюсти, больной вдруг, не веря еще своему счастью, чувствует, что не существует более того, что так долго отравляло его жизнь, приковывало к себе все внимание, и что он опять может жить, думать и интересоваться не одним своим зубом. Это чувство испытал Алексей Александрович. Боль была странная и страшная, но теперь она прошла; он чувствовал, что может опять жить и думать не об одной жене.

«Без чести, без сердца, без религии, испорченная женщина! Это я всегда знал и всегда видел, хотя и старался, жалея ее, обманывать себя», – сказал он себе. И ему действительно казалось, что он всегда это видел; он припоминал подробности их прошедшей жизни, которые прежде не казались ему чем-либо дурным, – теперь эти подробности ясно показывали, что она всегда была испорченною. «Я ошибся, связав свою жизнь с нею; но в ошибке моей нет ничего дурного, и потому я не могу быть несчастлив. Виноват не я, – сказал он себе, – но она. Но мне нет дела до нее. Она не существует для меня...»

Все, что постигнет ее и сына, к которому, точно так же как и к ней, переменились его чувства, перестало занимать его. Одно, что занимало его теперь, это был вопрос о том, как наилучшим, наиприличнейшим, удобнейшим для себя и потому справедливейшим образом отряхнуться от той грязи, которою она забрызгала его в своем падении, и продолжать идти по своему пути деятельной, честной и полезной жизни.

«Я не могу быть несчастлив оттого, что презренная женщина сделала преступление; я только должен найти наилучший выход из того тяжелого положения, в которое она ставит меня. И я найду его, – говорил он себе, хмурясь больше и больше. – Не я первый, не я последний». И, не говоря об исторических примерах, начиная с освеженного в памяти всех *Прекрасною Еленою Менелая*¹⁰⁹, целый ряд случаев современных неверностей жен мужьям высшего света возник в воображении Алексея Александровича. «Дарьялов, Полтавский, князь Карибатов, граф Паскудин, Драм... Да, и Драм... такой честный, дельный человек... Семенов, Чагин, Сигонин, – вспоминал Алексей Александрович. – Положим, какой-то неразумный *ridicule*¹¹⁰ падает на этих людей, но я никогда не видел в этом ничего, кроме несчастья, и всегда сочувствовал ему», – сказал себе Алексей Александрович, хотя это и было неправда, и он никогда не сочувствовал несчастьям этого рода, а тем выше ценил себя, чем чаще были примеры жен, изменяющих своим мужьям. «Это несчастье, которое может постигнуть всякого. И это несчастье постигло меня. Дело только в том, как наилучшим образом перенести это положение». И он стал перебирать подробности образа действий людей, находившихся в таком же, как и он, положении.

«Дарьялов дрался на дуэли...»

Дуэль в юности особенно привлекала мысли Алексея Александровича именно потому, что он был физически робкий человек и хорошо знал это. Алексей Александрович без ужаса

¹⁰⁹ ...освеженного в памяти всех *Прекрасною Еленою Менелая*... – «Прекрасная Елена» – оперетта Жака Оффенбаха (1819–1880). Менелай в этой оперетте – комический характер обманутого мужа.

¹¹⁰ осмеяние (франц.).

не мог подумать о пистолете, на него направленном, и никогда в жизни не употреблял никакого оружия. Этот ужас смолоду часто заставлял его думать о дуэли и примеривать себя к положению, в котором нужно было подвергать жизнь свою опасности. Достигнув успеха и твердого положения в жизни, он давно забыл об этом чувстве; но привычка чувства взяла свое, и страх за свою трусость и теперь оказался так силен, что Алексей Александрович долго и со всех сторон обдумывал и ласкал мыслью вопрос о дуэли, хотя и вперед знал, что он ни в каком случае не будет драться.

«Без сомнения, наше общество еще так дико (не то, что в Англии), что очень многие, – и в числе этих многих были те, мнением которых Алексей Александрович особенно дорожил, – посмотрят на дуэль с хорошей стороны; но какой результат будет достигнут? Положим, я вызову на дуэль, – продолжал про себя Алексей Александрович, и, живо представив себе ночь, которую он проведет после вызова, и пистолет, на него направленный, он содрогнулся и понял, что никогда он этого не сделает, – положим, я вызову его на дуэль. Положим, меня научат, – продолжал он думать, – поставят, я пожму гашетку, – говорил он себе, закрывая глаза, – и окажется, что я убил его, – сказал себе Алексей Александрович и потряс головой, чтоб отогнать эти глупые мысли. – Какой смысл имеет убийство человека для того, чтоб определить свое отношение к преступной жене и сыну? Точно так же я должен буду решать, что должен делать с ней. Но, что еще вероятнее и что несомненно будет, – я буду убит или ранен. Я, невиноватый человек, жертва, – убит или ранен. Еще бессмысленнее. Но мало этого; вызов на дуэль с моей стороны будет поступок нечестный. Разве я не знаю вперед, что мои друзья никогда не допустят меня до дуэли – не допустят того, чтобы жизнь государственного человека, нужного России, подверглась опасности? Что же будет? Будет то, что я, зная вперед то, что никогда дело не дойдет до опасности, захотел только придать себе этим вызовом некоторый ложный блеск. Это нечестно, это фальшиво, это обман других и самого себя. Дуэль немыслима, и никто не ждет ее от меня. Цель моя состоит в том, чтоб обеспечить свою репутацию, нужную мне для беспрепятственного продолжения своей деятельности». Служебная деятельность, и прежде в глазах Алексея Александровича имевшая большое значение, теперь представлялась ему особенно значительна.

Обсудив и отвергнув дуэль, Алексей Александрович обратился к разводу – другому выходу, избранному некоторыми из тех мужей, которых он вспомнил. Перебирая в воспоминании все известные случаи разводов (их было очень много в самом высшем, ему хорошо известном обществе), Алексей Александрович не нашел ни одного, где бы цель развода была та, которую он имел в виду. Во всех этих случаях муж уступал или продавал неверную жену, и та самая сторона, которая за вину не имела права на вступление в брак, вступала в вымышленные, мнимо узаконенные отношения с новым супругом. В своем же случае Алексей Александрович видел, что достижение законного, то есть такого развода, где была бы только отвергнута виновная жена, невозможно. Он видел, что сложные условия жизни, в которых он находился, не допускали возможности тех грубых доказательств, которых требовал закон для уличения преступности жены; видел то, что известная утонченность этой жизни не допускала и применения этих доказательств, если б они и были, что применение этих доказательств уронило бы его в общественном мнении более, чем ее.

Попытка развода могла привести только к скандальному процессу, который был бы находкой для врагов, для клеветы и унижения его высокого положения в свете. Главная же цель – определение положения с наименьшим расстройством – не достигалась и чрез развод. Кроме того, при разводе, даже при попытке развода, очевидно было, что жена разрывала сношения с мужем и соединялась с своим любовником. А в душе Алексея Александровича, несмотря на полное теперь, как ему казалось, презрительное равнодушие к жене, оставалось в отношении к ней одно чувство – нежелание того, чтоб она беспрепятственно могла соединиться с Вронским, чтобы преступление ее было для нее выгодно. Одна мысль эта так раздражала Алексея

Александровича, что, только представив себе это, он замычал от внутренней боли и приподнялся и переменил место в карете и долго после того, нахмуренный, завертывал свои зябкие и костлявые ноги пушистым пледом.

«Кроме формального развода, можно было еще поступить, как Карибанов, Паскудин и этот добрый Драм, то есть разъехаться с женой», – продолжал он думать, успокоившись; но и эта мера представляла те же неудобства позора, как и при разводе, и главное – это, точно так же как и формальный развод, бросало его жену в объятия Вронского. «Нет, это невозможно, невозможно! – опять принимаясь перевертывать свой плед, громко заговорил он. – Я не могу быть несчастлив, но и она и он не должны быть счастливы».

Чувство ревности, которое мучало его во время неизвестности, прошло в ту минуту, когда ему с болью был выдернут зуб словами жены. Но чувство это заменилось другим: желанием, чтоб она не только не торжествовала, но получила возмездие за свое преступление. Он не признавал этого чувства, но в глубине души ему хотелось, чтоб она пострадала за нарушение его спокойствия и чести. И, вновь перебрав условия дуэли, развода, разлуки и вновь отвергнув их, Алексей Александрович убедился, что выход был только один – удержать ее при себе, скрыв от света случившееся и употребив все зависящие меры для прекращения связи и главное – в чем самому себе он не признавался – для наказания ее. «Я должен объявить свое решение, что, обдумав то тяжелое положение, в которое она поставила семью, все другие выходы будут хуже для обеих сторон, чем внешнее status quo,¹¹¹ и что таковое я согласен соблюдать, но под строгим условием исполнения с ее стороны моей воли, то есть прекращения отношений с любовником». В подтверждение этого решения, когда оно уже было окончательно принято, Алексею Александровичу пришло еще одно важное соображение. «Только при таком решении я поступаю и сообразно с религией, – сказал он себе, – только при этом решении я не отвергаю от себя преступную жену, а даю ей возможность исправления и даже – как ни тяжело это мне будет – посвящаю часть своих сил на исправление и спасение ее». Хотя Алексей Александрович и знал, что он не может иметь на жену нравственного влияния, что из всей этой попытки исправления ничего не выйдет, кроме лжи; хотя, переживая эти тяжелые минуты, он и не подумал ни разу о том, чтоб искать руководства в религии, – теперь, когда его решение совпадало с требованиями, как ему казалось, религии, эта религиозная санкция его решения давала ему полное удовлетворение и отчасти успокоение. Ему было радостно думать, что и в столь важном жизненном деле никто не в состоянии будет сказать, что он не поступил сообразно с правилами той религии, которой зная он всегда держал высоко среди общего охлаждения и равнодушия. Обдумывая дальнейшие подробности, Алексей Александрович не видел даже, почему его отношения к жене не могли оставаться такие же почти, как и прежде. Без сомнения, он никогда не будет в состоянии возратить ей своего уважения; но не было и не могло быть никаких причин ему расстроивать свою жизнь и страдать вследствие того, что она была дурная и неверная жена. «Да, пройдет время, все устрояющее время, и отношения восстановятся прежние, – сказал себе Алексей Александрович, – то есть восстановятся в такой степени, что я не буду чувствовать расстройств в течении своей жизни. Она должна быть несчастлива, но я не виноват и потому не могу быть несчастлив».

XIV

Подъезжая к Петербургу, Алексей Александрович не только вполне остановился на этом решении, но и составил в своей голове письмо, которое он напишет жене. Войдя в швейцарскую, Алексей Александрович взглянул на письма и бумаги, принесенные из министерства, и велел внести за собой в кабинет.

¹¹¹ прежнее положение (лат.).

– Отложить и никого не принимать, – сказал он на вопрос швейцара, с некоторым удовольствием, служившим признаком его хорошего расположения духа, ударяя на слове «не принимать».

В кабинете Алексей Александрович прошелся два раза и остановился у огромного письменного стола, на котором уже были зажжены вперед вошедшим камердинером шесть свечей, потрещал пальцами и сел, разбирая письменные принадлежности. Положив локти на стол, он склонил набок голову, подумал с минуту и начал писать, ни одной секунды не останавливаясь. Он писал без обращения к ней и по-французски, употребляя местоимение «вы», не имеющее того характера холодности, который оно имеет на русском языке.

«При последнем разговоре нашем я выразил вам мое намерение сообщить свое решение относительно предмета этого разговора. Внимательно обдумав все, я пишу теперь с целью исполнить это обещание. Решение мое следующее: каковы бы ни были ваши поступки, я не считаю себя вправе разрывать тех уз, которыми мы связаны властью свыше. Семья не может быть разрушена по капризу, произволу или даже по преступлению одного из супругов, и наша жизнь должна идти, как она шла прежде. Это необходимо для меня, для вас, для нашего сына. Я вполне уверен, что вы раскаялись и раскаиваетесь в том, что служит поводом настоящего письма, и что вы будете содействовать мне в том, чтобы вырвать с корнем причину нашего раздора и забыть прошедшее. В противном случае вы сами можете предположить то, что ожидает вас и вашего сына. Обо всем этом более подробно надеюсь переговорить при личном свидании. Так как время дачного сезона кончается, я просил бы вас переехать в Петербург как можно скорее, не позже вторника. Все нужные распоряжения для вашего переезда будут сделаны. Прошу вас заметить, что я приписываю особенное значение исполнению этой моей просьбы.

А. Каренин.

Р. S. При этом письме деньги, которые могут понадобиться для ваших расходов».

Он прочел письмо и остался им доволен, особенно тем, что он вспомнил приложить деньги; не было ни жестокого слова, ни упрека, но не было и снисходительности. Главное же – был золотой мост для возвращения. Сложив письмо и загладив его большим массивным ножом слоновой кости и уложив в конверт с деньгами, он с удовольствием, которое всегда возбуждаемо было в нем обращением со своими хорошо устроенными письменными принадлежностями, позвонил.

– Передашь курьеру, чтобы завтра доставил Анне Аркадьевне на дачу, – сказал он и встал.

– Слушаю, ваше превосходительство; чай в кабинет прикажете?

Алексей Александрович велел подать чай в кабинет и, играя массивным ножом, пошел к креслу, у которого была приготовлена лампа и начатая французская книга о евгубических надписях¹¹². Над креслом висел овальный, в золотой раме, прекрасно сделанный знаменитым художником портрет Анны. Алексей Александрович взглянул на него. Непроницаемые глаза насмешливо и нагло смотрели на него, как в тот последний вечер их объяснения. Невыносимо нагло и вызывающе подействовал на Алексея Александровича вид отлично сделанного художником черного кружева на голове, черных волос и белой прекрасной руки с безымянным пальцем, покрытым перстнями. Поглядев на портрет с минуту, Алексей Александрович вздрогнул так, что губы затряслись и произвели звук «брр», и отвернулся. Поспешно сев в кресло, он рас-

¹¹² ...французская книга о евгубических надписях. – Евгубические надписи – таблицы на умбрийском диалекте, найденные в 1444 г. в городе Gubbio, который в Средние века назывался Euggubium.

крыл книгу. Он попробовал читать, но никак не мог восстановить в себе весьма живого прежде интереса к евгюбическим надписям. Он смотрел в книгу и думал о другом. Он думал не о жене, но об одном возникшем в последнее время усложнении в его государственной деятельности, которое в это время составляло главный интерес его службы. Он чувствовал, что он глубже, чем когда-нибудь, вникал теперь в это усложнение и что в голове его нарождалась – он без самообольщения мог сказать – капитальная мысль, долженствующая распутать все это дело, возвысить его в служебной карьере, уронить его врагов и потому принести величайшую пользу государству. Как только человек, установив чай, вышел из комнаты, Алексей Александрович встал и пошел к письменному столу. Подвинув на середину портфель с текущими делами, он с чуть заметною улыбкой самодовольства вынул из стойки карандаш и погрузился в чтение вытребованного им сложного дела, относившегося до предстоящего усложнения. Усложнение было такое. Особенность Алексея Александровича, как государственного человека, та, ему одному свойственная, характерная черта, которую имеет каждый выдвигающийся чиновник, та, которая вместе с его упорным честолюбием, сдержанностью, честностью и самоуверенностью сделала его карьеру, состояла в пренебрежении к бумажной официальности, в сокращении переписки, в прямом, насколько возможно, отношении к живому делу и в экономности. Случилось же, что в знаменитой комиссии 2 июня было выставлено дело об орошении¹¹³ полей Зарайской губернии, находившееся в министерстве Алексея Александровича и представлявшее резкий пример неплототворности расходов и бумажного отношения к делу. Алексей Александрович знал, что это было справедливо. Дело орошения полей Зарайской губернии было начато предшественником предшественника Алексея Александровича. И действительно, на это дело было потрачено и тратилось очень много денег и совершенно непроизводительно, и все дело это, очевидно, ни к чему не могло привести. Алексей Александрович, вступив в должность, тотчас же понял это и хотел было наложить руки на это дело; но в первое время, когда он чувствовал себя еще нетвердо, он знал, что это затрогивало слишком много интересов и было неблагоприятно; потом же он, занявшись другими делами, просто забыл про это дело. Оно, как и все дела, шло само собою, по силе инерции. (Много людей кормилось этим делом, в особенности одно очень нравственное и музыкальное семейство: все дочери играли на струнных инструментах. Алексей Александрович знал это семейство и был посаженным отцом у одной из старших дочерей.) Поднятие этого дела враждебным министерством было, по мнению Алексея Александровича, нечестно, потому что в каждом министерстве были и не такие дела, которых никто, по известным служебным приличиям, не поднимал. Теперь же, если уже ему бросали эту перчатку, то он смело поднимал ее и требовал назначения особой комиссии для изучения и проверки трудов комиссии орошения полей Зарайской губернии; но зато уже он не давал никакого спуска и тем господам. Он требовал и назначения еще особой комиссии по делу об устройстве инородцев¹¹⁴. Дело об устройстве инородцев было случайно поднято в комитете 2 июня и с энергиею поддерживаемо Алексеем Александровичем как не терпящее отлагательства по плачевному состоянию инородцев. В комитете дело это послужило поводом к пререканию

¹¹³ ...дело об орошении... – После голода 1873 г. появились многочисленные «проекты орошения». «Спекуляция подоспела как раз к гигантским проектам орошения целой Новороссии, земли Войска Донского, всех степей Самарской губернии» («Голос», 1875, № 32). Независимо от практического смысла проектов, они давали возможность получать субсидии и представляли собой способ легкого обогащения.

¹¹⁴ Он требовал и назначения еще особой комиссии по делу об устройстве инородцев. – «Дело об устройстве инородцев» началось еще в 60-е годы. В Уфимской и Оренбургской губерниях башкиры владели 11 миллионами десятин земли. В целях «обрусения края» правительство поощряло аренду башкирских земель переселенцами из центральных губерний России. Обычно арендованные участки обозначались условно, так что открывался простор для злоупотреблений. В 1871 г. были приняты особые правила о продаже свободных земель на льготных условиях. С этого времени началось хищническое использование башкирских и казенных земель. В спекуляциях прямое участие принимали чиновники канцелярии Оренбургского генерал-губернатора. Когда «дело об устройстве инородцев» получило огласку, П. А. Валуев (1814–1890), министр государственных имуществ, должен был выйти в отставку. Как отмечает С. Л. Толстой, «в Каренине есть черты Валуева» («Литературное наследство», т. 37–38. М., 1939, с. 570).

нескольких министерств. Министерство, враждебное Алексею Александровичу, доказывало, что положение инородцев было весьма цветущее и что предполагаемое переустройство может погубить их процветание, а если что есть дурного, то это вытекает только из неисполнения министерством Алексея Александровича предписанных законом мер. Теперь Алексей Александрович намерен был требовать: во-первых, чтобы составлена была новая комиссия, которой поручено бы было исследовать на месте состояние инородцев; во-вторых, если окажется, что положение инородцев действительно таково, каким оно является из имеющихся в руках комитета официальных данных, то чтобы была назначена еще другая, новая ученая комиссия для исследования причин этого безотрадного положения инородцев с точек зрения: а) политической, б) административной, в) экономической, г) этнографической, д) материальной и е) религиозной; в-третьих, чтобы были затребованы от враждебного министерства сведения о тех мерах, которые были в последнее десятилетие приняты этим министерством для предотвращения тех невыгодных условий, в которых ныне находятся инородцы, и, в-четвертых, наконец, чтобы было потребовано от министерства объяснение о том, почему оно, как видно из доставленных в комитет сведений за №№ 17015 и 18308, от 5 декабря 1863 года и 7 июня 1864, действовало прямо противоположно смыслу коренного и органического закона, т. . . , ст. 18, и примечание к статье 36. Краска оживления покрыла лицо Алексея Александровича, когда он быстро писал себе конспект этих мыслей. Исписав лист бумаги, он встал, позвонил и передал записочку к правителю канцелярии о доставлении ему нужных справок. Встав и пройдясь по комнате, он опять взглянул на портрет, нахмурился и презрительно улыбнулся. Почитав еще книгу о евгубических надписях и возобновив интерес к ним, Алексей Александрович в одиннадцатый часов пошел спать, и когда он, лежа в постели, вспомнил о событии с женой, оно ему представилось уже совсем не в таком мрачном виде.

XV

Хотя Анна упорно и с озлоблением противоречила Вронскому, когда он говорил ей, что положение ее невозможно, и уговаривал ее открыть все мужу, в глубине души она считала свое положение ложным, нечестным и всею душой желала изменить его. Возвращаясь с мужем со скачек, в минуту волнения она высказала ему все; несмотря на боль, испытанную ею при этом, она была рада этому. После того как муж оставил ее, она говорила себе, что она рада, что теперь все определится, и по крайней мере не будет лжи и обмана. Ей казалось несомненным, что теперь положение ее навсегда определится. Оно может быть дурно, это новое положение, но оно будет определено, в нем не будет неясности и лжи. Та боль, которую она причинила себе и мужу, высказав эти слова, будет вознаграждена теперь тем, что все определится, думала она. В этот же вечер она увидалась с Вронским, но не сказала ему о том, что произошло между ею и мужем, хотя, для того чтобы положение определилось, надо было сказать ему.

Когда она проснулась на другое утро, первое, что представилось ей, были слова, которые она сказала мужу, и слова эти ей показались так ужасны, что она не могла понять теперь, как она могла решиться произнести эти странные грубые слова, и не могла представить себе того, что из этого выйдет. Но слова были сказаны, и Алексей Александрович уехал, ничего не сказав. «Я видела Вронского и не сказала ему. Еще в ту самую минуту, как он уходил, я хотела воротить его и сказать ему, но раздумала, потому что было странно, почему я не сказала ему в первую минуту. Отчего я хотела и не сказала ему?» И в ответ на этот вопрос горячая краска стыда разлилась по ее лицу. Она поняла то, что удерживало ее от этого; она поняла, что ей было стыдно. Ее положение, которое казалось уясненным вчера вечером, вдруг представилось ей теперь не только не уясненным, но безвыходным. Ей стало страшно за позор, о котором она прежде и не думала. Когда она только думала о том, что сделает ее муж, ей приходили самые страшные мысли. Ей приходило в голову, что сейчас приедет управляющий выгонять ее из

дома, что позор ее будет объявлен всему миру. Она спрашивала себя, куда она поедет, когда ее выгонят из дома, и не находила ответа.

Когда она думала о Вронском, ей представлялось, что он не любит ее, что он уже начинает тяготиться ею, что она не может предложить ему себя, и чувствовала враждебность к нему за это. Ей казалось, что те слова, которые она сказала мужу и которые она беспрестанно повторяла в своем воображении, что она их сказала всем и что все их слышали. Она не могла решиться взглянуть в глаза тем, с кем она жила. Она не могла решиться позвать девушку и еще меньше сойти вниз и увидеть сына и гувернантку.

Девушка, уже давно прислушивавшаяся у ее двери, вошла сама к ней в комнату. Анна вопросительно взглянула ей в глаза и испуганно покраснела. Девушка извинилась, что вошла, сказав, что ей показалось, что позвонили. Она принесла платье и записку. Записка была от Бетси. Бетси напоминала ей, что нынче утром к ней съедутся Лиза Меркалова и баронесса Штольц с своими поклонниками, Калужским и стариком Стремовым, на партию крокета. «Приезжайте хоть посмотреть, как изучение нравов. Я вас жду», – кончала она.

Анна прочла записку и тяжело вздохнула.

– Ничего, ничего не нужно, – сказала она Аннушке, переставлявшей флаконы и щетки на уборном столике. – Поди, я сейчас оденусь и выйду. Ничего, ничего не нужно.

Аннушка вышла, но Анна не стала одеваться, а сидела в том же положении, опустив голову и руки, и изредка содрогалась всем телом, желая как бы сделать какой-то жест, сказать что-то и опять замирая. Она беспрестанно повторяла: «Боже мой! Боже мой!» Но ни «Боже», ни «мой» не имели для нее никакого смысла. Мысль искать своему положению помощи в религии была для нее, несмотря на то, что она никогда не сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Алексея Александровича. Она знала вперед, что помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для нее весь смысл жизни. Ей не только было тяжело, но она начинала испытывать страх перед новым, никогда не испытанным ею душевным состоянием. Она чувствовала, что в душе ее все начинает двоиться, как дwoятся иногда предметы в усталых глазах. Она не знала иногда, чего она боится, чего желает. Боится ли она и желает ли она того, что было, или того, что будет, и чего именно она желает, она не знала.

«Ах, что я делаю!» – сказала она себе, почувствовав вдруг боль в обеих сторонах головы. Когда она опомнилась, она увидела, что держит обеими руками свои волосы около висков и сжимает их. Она вскочила и стала ходить.

– Кофей готов, и мамзель с Сережей ждут, – сказала Аннушка, вернувшись опять и опять застав Анну в том же положении.

– Сережа? Что Сережа? – оживляясь вдруг, спросила Анна, вспомнив в первый раз за все утро о существовании своего сына.

– Он провинился, кажется, – отвечала, улыбаясь, Аннушка.

– Как провинился?

– Персики у вас лежали в угольной; так, кажется, они потихонечку один скушали.

Напоминание о сыне вдруг вывело Анну из того безвыходного положения, в котором она находилась. Она вспомнила ту, отчасти искреннюю, хотя и много преувеличенную, роль матери, живущей для сына, которую она взяла на себя в последние годы, и с радостью почувствовала, что в том состоянии, в котором она находилась, у ней есть держава, независимая от положения, в которое она станет к мужу и к Вронскому. Эта держава – был сын. В какое бы положение она ни стала, она не может покинуть сына. Пускай муж опозорит и выгонит ее, пускай Вронский охладет к ней и продолжает вести свою независимую жизнь (она опять с желчью и упреком подумала о нем), она не может оставить сына. У ней есть цель жизни. И ей надо действовать, действовать, чтоб обеспечить это положение с сыном, чтобы его не отняли у ней. Даже скорее, как можно скорее надо действовать, пока его не отняли у ней. Надо взять

сына и уехать. Вот одно, что ей надо теперь делать. Ей нужно было успокоиться и выйти из этого мучительного положения. Мысль о прямом деле, связывавшемся с сыном, о том, чтобы сейчас же уехать с ним куда-нибудь, дала ей это успокоение.

Она быстро оделась, сошла вниз и решительными шагами вошла в гостиную, где, по обыкновению, ожидал ее кофе и Сережа с гувернанткой. Сережа, весь в белом, стоял у стола под зеркалом и, согнувшись спиной и головой, с выражением напряженного внимания, которое она знала в нем и которым он был похож на отца, что-то делал с цветами, которые он принес.

Гувернантка имела особенно строгий вид. Сережа пронзительно, как это часто бывало с ним, вскрикнул: «А, мама!» – и остановился в нерешительности: идти ли к матери здороваться и бросить цветы, или доделать венок и с цветами идти.

Гувернантка, поздоровавшись, длинно и определительно стала рассказывать проступок, сделанный Сережей, но Анна не слушала ее; она думала о том, возьмет ли она ее с собою. «Нет, не возьму, – решила она. – Я уеду одна, с сыном».

– Да, это очень дурно, – сказала Анна и, взяв сына за плечо, не строгим, а робким взглядом, смутившим и обрадовавшим мальчика, посмотрела на него и поцеловала. – Оставьте его со мной, – сказала она удивленной гувернантке и, не выпуская руки сына, села за приготовленный с кофеем стол.

– Мама! Я... я... не... – сказал он, стараясь понять по ее выражению, что ожидает его за персик.

– Сережа, – сказала она, как только гувернантка вышла из комнаты, – это дурно, но ты не будешь больше делать этого?.. Ты любишь меня?

Она чувствовала, что слезы выступают ей на глаза. «Разве я могу не любить его? – говорила она себе, вникая в его испуганный и вместе обрадованный взгляд. – И неужели он будет заодно с отцом, чтобы казнить меня? Неужели не пожалеет меня?» Слезы уже текли по ее лицу, и, чтобы скрыть их, она порывисто встала и почти выбежала на террасу.

После грозowych дождей последних дней наступила холодная, ясная погода. При ярком солнце, сквозившем сквозь отмытые листья, в воздухе было холодно.

Она вздрогнула и от холода и от внутреннего ужаса, с новою силою охвативших ее на чистом воздухе.

– Поди, поди к Mariette, – сказала она Сереже, вышедшему было за ней, и стала ходить по соломенному ковру террасы. «Неужели они не простят меня, не поймут, как это все не могло быть иначе?» – сказала она себе.

Остановившись и взглянув на колебавшиеся от ветра вершины осины с отмытыми, ярко блистающими на холодном солнце листьями, она поняла, что они не простят, что всё и все к ней теперь будут безжалостны, как это небо, как эта зелень. И опять она почувствовала, что в душе у ней начинало двоиться. «Не надо, не надо думать, – сказала она себе. – Надо собираться. Куда? Когда? Кого взять с собой? Да, в Москву, на вечернем поезде. Аннушка и Сережа, и только самые необходимые вещи. Но прежде надо написать им обоим». Она быстро пошла в дом, в свой кабинет, села к столу и написала мужу:

«После того, что произошло, я не могу более оставаться в вашем доме. Я уезжаю и беру с собою сына. Я не знаю законов и не знаю потому, с кем из родителей должен быть сын; но я беру его с собою, потому что без него я не могу жить. Будьте великодушны, оставьте мне его».

До сих пор она писала быстро и естественно, но призыв к его великодушью, которого она не признавала в нем, и необходимость заключить письмо чем-нибудь трогательным остановили ее.

«Говорить о своей вине и своем раскаянии я не могу, потому что...»

Опять она остановилась, не находя связи в своих мыслях. «Нет, – сказала она себе, – ничего не надо», – и разорвав письмо, переписала его, исключив упоминание о великодушьи, и запечатала.

Другое письмо надо было писать к Вронскому. «Я объявила мужу», – писала она и долго сидела, не в силах будучи писать далее. Это было так грубо, так неженственно. «И потом, что же могу я писать ему?» – сказала она себе. Опять краска стыда покрыла ее лицо, вспомнилось его спокойствие, и чувство досады к нему заставило ее разорвать на мелкие клочки листок с написанной фразой. «Ничего не нужно», – сказала она себе и, сложив бювар, пошла наверх, объявила гувернантке и людям, что она едет нынче в Москву, и тотчас принялась за укладку вещей.

XVI

По всем комнатам дачного дома ходили дворники, садовники и лакеи, вынося вещи. Шкафы и комоды были раскрыты; два раза бегали в лавочку за бечевками; по полу валялась газетная бумага. Два сундука, мешки и увязанные пледы были снесены в переднюю. Карета и два извозчика стояли у крыльца. Анна, забывшая за работой укладки внутреннюю тревогу, укладывала, стоя пред столом в своем кабинете, свой дорожный мешок, когда Аннушка обратила ее внимание на стук подъезжающего экипажа. Анна взглянула в окно и увидела у крыльца курьера Алексея Александровича, который звонил у входной двери.

– Поди узнай, что такое, – сказала она и с спокойною готовностью на все, сложив руки на коленях, села на кресло. Лакей принес толстый пакет, надписанный рукою Алексея Александровича.

– Курьеру приказано привезти ответ, – сказал он.

– Хорошо, – сказала она и, как только человек вышел, трясущимися пальцами разорвала письмо. Пачка заклеенных в бандерольке неперегнутых ассигнаций выпала из него. Она высвободила письмо и стала читать с конца. «Я делал приготовления для переезда, я приписываю значение исполнению моей просьбы», – прочла она. Она пробежала дальше, назад, прочла все и еще раз прочла письмо все сначала. Когда она кончила, она почувствовала, что ей холодно и что над ней обрушилось такое страшное несчастье, какого она не ожидала.

Она раскаивалась утром в том, что она сказала мужу, и желала только одного, чтоб эти слова были как бы не сказаны. И вот письмо это признавало слова несказанными и давало ей то, чего она желала. Но теперь это письмо представлялось ей ужаснее всего, что только она могла себе представить.

«Прав! прав! – проговорила она. – Разумеется, он всегда прав, он христианин, он великодушен! Да, низкий, гадкий человек! И этого никто, кроме меня, не понимает и не поймет; и я не могу растолковать. Они говорят: религиозный, нравственный, честный, умный человек; но они не видят, что я видела. Они не знают, как он восемь лет душил мою жизнь, душил все, что было во мне живого, что он ни разу и не подумал о том, что я живая женщина, которой нужна любовь. Не знают, как на каждом шагу он оскорблял меня и оставался доволен собой. Я ли не старалась, всеми силами старалась, найти оправдание своей жизни? Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но пришло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Бог меня сделал такою, что мне нужно любить и жить. И теперь что же? Убил бы он меня, убил бы его, я все бы перенесла, я все бы простила, но нет, он...»

«Как я не угадала того, что он сделает? Он сделает то, что свойственно его низкому характеру. Он останется прав, а меня, погибшую, еще хуже, еще ниже погубит...» «Вы сами можете предположить то, что ожидает вас и вашего сына», – вспомнила она слова из письма. «Это угроза, что он отнимет сына, и, вероятно, по их глупому закону это можно. Но разве я не знаю, зачем он говорит это? Он не верит и в мою любовь к сыну или презирает (как он всегда и подсмеивался), презирает это мое чувство, но он знает, что я не брошу сына, не могу бросить сына, что без сына не может быть для меня жизни даже с тем, кого я люблю, но что, бросив

сына и убежав от него, я поступлю, как самая позорная, гадкая женщина, он знает это и знает, что я не в силах буду сделать этого».

«Наша жизнь должна идти как прежде», – вспомнила она другую фразу письма. «Эта жизнь была мучительна еще прежде, она была ужасна в последнее время. Что же это будет теперь? И он знает все это, знает, что я не могу раскаиваться в том, что я дышу, что я люблю; знает, что, кроме лжи и обмана, из этого ничего не будет; но ему нужно продолжать мучать меня. Я знаю его! Я знаю, что он, как рыба в воде, плавает и наслаждается во лжи. Но нет, я не доставлю ему этого наслаждения, я разорву эту его паутину лжи, в которой он меня хочет опутать; пусть будет, что будет. Все лучше лжи и обмана!»

«Но как? Боже мой! Боже мой! Была ли когда-нибудь женщина так несчастна, как я?..»

– Нет, разорву, разорву! – вскрикнула она, вскакивая и удерживая слезы. И она подошла к письменному столу, чтобы написать ему другое письмо. Но она в глубине души своей уже чувствовала, что она не в силах будет ничего разорвать, не в силах будет выйти из этого прежнего положения, как оно ни ложно и ни бесчестно.

Она села к письменному столу, но, вместо того чтобы писать, сложив руки на стол, положила на них голову и заплакала, всхлипывая и колеблясь всей грудью, как плачут дети. Она плакала о том, что мечта ее об уяснении, определении своего положения разрушена навсегда. Она знала вперед, что все останется по-старому, и даже гораздо хуже, чем по-старому. Она чувствовала, что то положение в свете, которым она пользовалась и которое утром казалось ей столь ничтожным, что это положение дорого ей, что она не будет в силах променять его на позорное положение женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником; что, сколько бы она ни старалась, она не будет сильнее самой себя. Она никогда не испытает свободы любви, а навсегда останется преступною женой, под угрозой ежеминутного обличения, обманывающего мужа для позорной связи с человеком чуждым, независимым, с которым она не может жить одною жизнью. Она знала, что это так и будет, и вместе с тем это было так ужасно, что она не могла представить себе даже, чем это кончится. И она плакала, не удерживаясь, как плачут наказанные дети.

Послышавшиеся шаги лакея заставили ее очнуться, и, скрыв от него свое лицо, она притворилась, что пишет.

– Курьер просит ответа, – доложил лакей.

– Ответа? Да, – сказала Анна, – пускай подождет. Я позвоню.

«Что я могу писать? – думала она. – Что я могу решить одна? Что я знаю? Чего я хочу? Что я люблю?» Опять она почувствовала, что в душе ее начинает двоиться. Она испугалась опять этого чувства и ухватилась за первый представившийся ей предлог деятельности, который мог бы отвлечь ее от мыслей о себе. «Я должна видеть Алексея (так она мысленно называла Вронского), он один может сказать мне, что я должна делать. Поеду к Бетси: может быть, там я увижу его», – сказала она себе, совершенно забыв о том, что вчера еще, когда она сказала ему, что не поедет к княгине Тверской, он сказал, что поэтому и он тоже не поедет. Она подошла к столу, написала мужу: «Я получила ваше письмо. А.» – и, позвонив, отдала лакею.

– Мы не едем, – сказала она вошедшей Аннушке.

– Совсем не едем?

– Нет, не раскладывайте до завтра, и карету оставить. Я поеду к княгине.

– Какое же платье приготовить?

XVII

Общество партии крокета, на которое княгиня Тверская приглашала Анну, должно было состоять из двух дам с их поклонниками. Две дамы эти были главные представительницы избранного нового петербургского кружка, в подражание подражанию чему-то, называвшиеся

les sept merveilles du monde.¹¹⁵ Дамы эти принадлежали к кружку, правда, высшему, но совершенно враждебному тому, который Анна посещала. Кроме того, старый Стремов, один из влиятельных людей Петербурга, поклонник Лизы Меркаловой, был по службе враг Алексея Александровича. По всем этим соображениям Анна не хотела ехать, и к этому ее отказу относились намеки записки княгини Тверской. Теперь же Анна, в надежде увидеть Вронского, пожелала ехать.

Анна приехала к княгине Тверской раньше других гостей.

В то время как она входила, лакей Вронского с расчесанными бакенбардами, похожий на камер-юнкера, входил тоже. Он остановился у двери и, сняв фуражку, пропустил ее. Анна узнала его и тут только вспомнила, что Вронский вчера сказал, что не приедет. Вероятно, он об этом прислал записку.

Она слышала, снимая верхнее платье в передней, как лакей, выговаривавший даже *p*, как камер-юнкер, сказал: «от графа княгине» и передал записку.

Ей хотелось спросить, где его барин. Ей хотелось вернуться назад и послать ему письмо, чтобы он приехал к ней, или самой ехать к нему. Но ни того, ни другого, ни третьего нельзя было сделать: уже впереди слышались объявляющие о ее приезде звонки, и лакей княгини Тверской уже стал вполуборот у отворенной двери, ожидая ее прохода во внутренние комнаты.

– Княгиня в саду, сейчас доложат. Не угодно ли пожаловать в сад? – доложил другой лакей в другой комнате.

Положение нерешительности, неясности было все то же, как и дома; еще хуже, потому что нельзя было ничего предпринять, нельзя было увидеть Вронского, а надо было оставаться здесь, в чуждом и столь противоположном ее настроению обществе; но она была в туалете, который, она знала, шел к ней; она была не одна, вокруг была эта привычная торжественная обстановка праздности, и ей было легче, чем дома; она не должна была придумывать, что ей делать. Все делалось само собой. Встретив шедшую к ней Бетси в белом, поразившем ее своею элегантностью, туалете, Анна улыбнулась ей, как всегда. Княгиня Тверская шла с Тушкевичем и родственницей-барышней, к великому счастью провинциальных родителей проводившей лето у знаменитой княгини.

Вероятно, в Анне было что-нибудь особенное, потому что Бетси тотчас заметила это.

– Я дурно спала, – отвечала Анна, вглядываясь в лакея, который шел им навстречу и, по ее соображениям, нес записку Вронского.

– Как я рада, что вы приехали, – сказала Бетси. – Я устала и только что хотела выпить чашку чая, пока они приедут. А вы бы пошли, – обратилась она к Тушкевичу, – с Машей попробовали бы крокет-гроунд там, где подстригли. Мы с вами успеем по душе поговорить за чаем, *we'll have a cosy chat*,¹¹⁶ не правда ли? – обратилась она к Анне с улыбкой, пожимая ее руку, державшую зонтик.

– Тем более что я не могу пробыть у вас долго, мне необходимо к старой Вреде. Я уже сто лет обещала, – сказала Анна, для которой ложь, чуждая ее природе, сделалась не только проста и естественна в обществе, но даже доставляла удовольствие.

Для чего она сказала это, чего она за секунду не думала, она никак бы не могла объяснить. Она сказала это по тому только соображению, что так как Вронского не будет, то ей надо обеспечить свою свободу и попытаться как-нибудь увидеть его. Но почему она именно сказала про старую фрейлину Вреде, к которой ей нужно было, как и ко многим другим, она не умела бы объяснить, а вместе с тем, как потом оказалось, она, придумывая самые хитрые средства для свидания с Вронским, не могла придумать ничего лучшего.

¹¹⁵ семь чудес света (*франц.*).

¹¹⁶ приятно поболтаем (*англ.*).

– Нет, я вас не пушу ни за что, – отвечала Бетси, внимательно вглядываясь в лицо Анны. – Право, я бы обиделась, если бы не любила вас. Точно вы боитесь, что мое общество может компрометировать вас так. Пожалуйста, нам чаю в маленькую гостиную, – сказала она, как всегда прищуривая глаза при обращении к лакею. Взяв от него записку, она прочла ее. – Алексей сделал нам ложный прыжок¹¹⁷, – сказала она по-французски, – он пишет, что не может быть, – прибавила она таким естественным, простым тоном, как будто ей никогда и не могло приходить в голову, чтобы Вронский имел для Анны какое-нибудь другое значение, как игрока в крокет.

Анна знала, что Бетси все знает, но, слушая, как она при ней говорила о Вронском, она всегда убеждалась на минуту, что она ничего не знает.

– А! – равнодушно сказала Анна, как бы мало интересуясь этим, и продолжала, улыбаясь: – Как может ваше общество компрометировать кого-нибудь? – Эта игра словами, это скрывание тайны, как и для всех женщин, имело большую прелесть для Анны. И не необходимость скрывать, не цель, для которой скрывалось, но самый процесс скрывания увлекал ее. – Я не могу быть католичнее папы, – сказала она. – Стремов и Лиза Меркалова – это сливки сливок общества. Потом они приняты везде, и я, – она особенно ударила на я, – никогда не была строга и нетерпима. Мне просто некогда.

– Нет, вы не хотите, может быть, встречаться со Стремовым? Пускай они с Алексеем Александровичем ломают копья в комитете, это нас не касается. Но в свете это самый любезный человек, какого только я знаю, и страстный игрок в крокет. Вот вы увидите. И, несмотря на смешное его положение старого влюбленного в Лизу, надо видеть, как он выпутывается из этого смешного положения! Он очень мил. Сафо Штольц вы не знаете? Это новый, совсем новый тон.

Бетси говорила все это, а между тем по веселому, умному взгляду ее Анна чувствовала, что она понимает отчасти ее положение и что-то затевает. Они были в маленьком кабинете.

– Однако надо написать Алексею, – и Бетси села за стол, написала несколько строк, вложила в конверт. – Я пишу, чтоб он приехал обедать. У меня одна дама к обеду остается без мужчины. Посмотрите, убедительно ли? Виновата, я на минутку вас оставляю. Вы, пожалуйста, запечатайте и отошлите, – сказала она от двери, – а мне надо сделать распоряжение.

Ни минуты не думая, Анна села с письмом Бетси к столу и, не читая, приписала внизу: «Мне необходимо вас видеть. Приезжайте к саду Вреде. Я буду там в 6 часов». Она запечатала, и Бетси, вернувшись, при ней отдала письмо.

Действительно, за чаем, который им принесли на столике-подносе в прохладную маленькую гостиную, между двумя женщинами завязался а cosy chat, какой и обещала княгиня Тверская до приезда гостей. Они пересуживали тех, кого ожидали, и разговор остановился на Лизе Меркаловой.

– Она очень мила и всегда мне была симпатична, – сказала Анна.

– Вы должны ее любить. Она бредит вами. Вчера она подошла ко мне после скачек и была в отчаянии, что не застала вас. Она говорит, что вы настоящая героиня романа и что, если б она была мужчиною, она бы наделала за вас тысячу глупостей. Стремов ей говорит, что она и так их делает.

– Но скажите, пожалуйста, я никогда не могла понять, – сказала Анна, помолчав несколько времени и таким тоном, который ясно показывал, что она делала не праздный вопрос, но что то, что она спрашивала, было для нее важнее, чем бы следовало. – Скажите, пожалуйста, что такое ее отношение к князю Калужскому, так называемому Мишке? Я мало встречала их. Что это такое?

¹¹⁷ Алексей сделал нам ложный прыжок... – буквальный перевод французского выражения: «Faire faux bond» – дать ложное обещание, изменить слову.

Бетси улыбнулась глазами и внимательно поглядела на Анну.

– Новая манера, – сказала она. – Они все избрали эту манеру. Они забросили чепцы за мельницы¹¹⁸. Но есть манера и манера, как их забросить.

– Да, но какие же ее отношения к Калужскому?

Бетси неожиданно весело и неудержимо засмеялась, что редко случалось с ней.

– Это вы захватываете область княгини Мягкой. Это вопрос ужасного ребенка, – и Бетси, видимо, хотела, но не могла удержаться и разразилась тем заразительным смехом, каким смеются редко смеющиеся люди. – Надо у них спросить, – проговорила она сквозь слезы смеха.

– Нет, вы смеетесь, – сказала Анна, тоже невольно заразившаяся смехом, – но я никогда не могла понять. Я не понимаю тут роли мужа.

– Муж? Муж Лизы Меркаловой носит за ней пледы и всегда готов к услугам. А что там дальше в самом деле, никто не хочет знать. Знаете, в хорошем обществе не говорят и не думают даже о некоторых подробностях туалета. Так и это.

– Вы будете на празднике Роландаки? – спросила Анна, чтоб переменить разговор.

– Не думаю, – отвечала Бетси и, не глядя на свою приятельницу, осторожно стала наливать маленькие прозрачные чашки душистым чаем. Подвинув чашку к Анне, она достала пахитоску и, вложив в серебряную ручку, закурила ее.

– Вот видите ли, я в счастливом положении, – уже без смеха начала она, взяв в руку чашку. – Я понимаю вас и понимаю Лизу. Лиза – это одна из тех наивных натур, которые, как дети, не понимают, что хорошо и что дурно. По крайней мере, она не понимала, когда была очень молода. И теперь она знает, что это непонимание идет к ней. Теперь она, может быть, нарочно не понимает, – говорила Бетси с тонкою улыбкой. – Но все-таки это ей идет. Видите ли, на одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мученье, и смотреть просто и даже весело. Может быть, вы склонны смотреть на вещи слишком трагически.

– Как бы я желала знать других так, как я себя знаю, – сказала Анна серьезно и задумчиво. – Хуже ли я других, или лучше? Я думаю, хуже.

– Ужасный ребенок, ужасный ребенок! – повторила Бетси. – Но вот и они.

XVIII

Послышались шаги и мужской голос, потом женский голос и смех, и вслед за тем вошли ожидаемые гости: Сафо Штольц и сияющий преизбытком здоровья молодой человек, так называемый Васька. Видно было, что ему впрок пошло питание кровяною говядиной, трюфлями и бургонским. Васька поклонился дамам и взглянул на них, но только на одну секунду. Он вошел за Сафо в гостиную и по гостиной прошел за ней, как будто был к ней привязан, и не спускал с нее блестящих глаз, как будто хотел съесть ее. Сафо Штольц была блондинка с черными глазами. Она вошла маленькими, бойкими, на крутых каблучках туфель, шажками и крепко, по-мужски пожала дамам руки.

Анна ни разу не встречала еще этой новой знаменитости и была поражена и ее красотой, и крайностью, до которой был доведен ее туалет, и смелостью ее манер. На голове ее из своих и чужих нежно-золотистого цвета волос был сделан такой эшафодаж прически, что голова ее равнялась по величине стройно выпуклому и очень открытому спереди бюсту. Стремительность же вперед была такова, что при каждом движении обозначались из-под платья формы колен и верхней части ноги, и невольно представлялся вопрос о том, где действительно сзади, в этой подстроенной колеблющейся горе, кончается ее настоящее, маленькое и стройное, столь обнаженное сверху и столь спрятанное сзади и внизу тело.

¹¹⁸ Они забросили чепцы за мельницы – буквальный перевод французской пословицы «Jeter son bonnet pardessus les moulins» – о женщинах, которые пренебрегают общественным мнением.

Бетси поспешила познакомить ее с Анной.

– Можете себе представить, мы чуть было не раздавили двух солдат, – тотчас же начала она рассказывать, подмигивая, улыбаясь и назад отдергивая свой хвост, который она сразу слишком перекинула в одну сторону. – Я ехала с Васькой... Ах да, вы незнакомы. – И она, назвав его фамилию, представила молодого человека и, покраснев, звучно засмеялась своей ошибке, то есть тому, что она незнакомой назвала его Васькой.

Васька еще раз поклонился Анне, но ничего не сказал ей. Он обратился к Сафо:

– Пари проиграно. Мы прежде приехали. Расплачивайтесь, – говорил он, улыбаясь.

Сафо еще веселее засмеялась.

– Не теперь же, – сказала она.

– Все равно, я получу после.

– Хорошо, хорошо. Ах да! – вдруг обратилась она к хозяйке, – хороша я... Я и забыла... Я вам привезла гостя. Вот и он.

Неожиданный молодой гость, которого привезла Сафо и которого она забыла, был, однако, такой важный гость, что, несмотря на его молодость, обе дамы встали, встречая его.

Это был новый поклонник Сафо. Он теперь, как и Васька, по пятам ходил за ней.

Вскоре приехал князь Калужский и Лиза Меркалова со Стремовым. Лиза Меркалова была худая брюнетка с восточным ленивым типом лица и прелестными, неизъяснимыми, как все говорили, глазами. Характер ее темного туалета (Анна тотчас же заметила и оценила это) был совершенно соответствующий ее красоте. Насколько Сафо была крута и подбориста, настолько Лиза была мягка и распушенна.

Но Лиза, на вкус Анны, была гораздо привлекательнее. Бетси говорила про нее Анне, что она взяла на себя тон неведающего ребенка, но когда Анна увидела ее, она почувствовала, что это была неправда. Она, точно, была неведающая, испорченная, но милая и безответная женщина. Правда, что тон ее был такой же, как и тон Сафо, так же, как и за Сафо, за ней ходили, как пришитые, и пожирали ее глазами два поклонника, один молодой, другой старик; но в ней было что-то такое, что было выше того, что ее окружало, – в ней был блеск настоящей воды бриллианта среди стекол. Этот блеск светился из ее прелестных, действительно неизъяснимых глаз. Усталый и вместе страстный взгляд этих окруженных темным кругом глаз поражал своею совершенною искренностью. Взглянув в эти глаза, каждому казалось, что он узнал ее всю и, узнав, не мог не полюбить. При виде Анны все ее лицо вдруг осветилось радостною улыбкой.

– Ах, как я рада вас видеть! – сказала она, подходя к ней. – Я вчера на скачках только что хотела дойти до вас, а вы уехали. Мне так хотелось видеть вас именно вчера. Не правда ли, это было ужасно? – сказала она, глядя на Анну своим взглядом, открывавшим, казалось, всю душу.

– Да, я никак не ожидала, что это так волнует, – сказала Анна, краснея.

Общество поднялось в это время, чтоб идти в сад.

– Я не пойду, – сказала Лиза, улыбаясь и подсаживаясь к Анне. – Вы тоже не пойдете? что за охота играть в крокет!

– Нет, я люблю, – сказала Анна.

– Вот, вот как вы делаете, что вам не скучно? На вас взглянешь – весело. Вы живете, а я скучаю.

– Как скучаете? Да вы самое веселое общество Петербурга, – сказала Анна.

– Может быть, тем, которые не нашего общества, еще скучнее; но нам, мне наверно, не весело, а ужасно, ужасно скучно.

Сафо, закулив папиросу, ушла в сад с двумя молодыми людьми. Бетси и Стремов остались за чаем.

– Как, скучно? – сказала Бетси. – Сафо говорит, что они вчера очень веселились у вас.

– Ах, какая тоска была! – сказала Лиза Меркалова. – Мы поехали все ко мне после скачек. И все те же, и все те же! Всё одно и то же. Весь вечер провалялись по диванам. Что же тут

веселого? Нет, как вы делаете, чтобы вам не было скучно? – опять обратилась она к Анне. – Стоит взглянуть на вас, и видишь – вот женщина, которая может быть счастлива, несчастна, но не скучает. Научите, как вы это делаете?

– Никак не делаю, – отвечала Анна, краснея от этих привязчивых вопросов.

– Вот это лучшая манера, – вмешался в разговор Стремов.

Стремов был человек лет пятидесяти, полуседой, еще свежий, очень некрасивый, но с характерным и умным лицом. Лиза Меркалова была племянница его жены, и он проводил все свои свободные часы с нею. Встретив Анну Каренину, он, по службе враг Алексея Александровича, как светский и умный человек, постарался быть с нею, женой своего врага, особенно любезным.

– «Никак», – подхватил он, тонко улыбаясь, – это лучшее средство. Я давно вам говорю, – обратился он к Лизе Меркаловой, – что для того, чтобы не было скучно, надо не думать, что будет скучно. Это все равно, как не надо бояться, что не заснешь, если боишься бессонницы. Это самое и сказала вам Анна Аркадьевна.

– Я бы очень рада была, если бы сказала это, потому что это не только умно, это правда, – улыбаясь, сказала Анна.

– Нет, вы скажите, отчего нельзя заснуть и нельзя не скучать?

– Чтобы заснуть, надо поработать, и чтобы веселиться, надо тоже поработать.

– Зачем же я буду работать, когда моя работа никому не нужна? А нарочно и притворяться я не умею и не хочу.

– Вы неисправимы, – сказал Стремов, не глядя на нее, и опять обратился к Анне.

Редко встречая Анну, он не мог ничего ей сказать, кроме пошлостей, но он говорил эти пошлости, о том, когда она переезжает в Петербург, о том, как ее любит графиня Лидия Ивановна, с таким выражением, которое показывало, что он от всей души желает быть ей приятным и показать свое уважение и даже более.

Вошел Тушкевич, объявив, что все общество ждет игроков в крокет.

– Нет, не уезжайте, пожалуйста, – просила Лиза Меркалова, узнав, что Анна уезжает. Стремов присоединился к ней.

– Слишком большой контраст, – сказал он, – ехать после этого общества к старухе Вреде. И потом для нее вы будете случаем позлословить, а здесь вы только возбудите другие, самые хорошие и противоположные злословию чувства, – сказал он ей.

Анна на минуту задумалась в нерешительности. Лестные речи этого умного человека, наивная, детская симпатия, которую выражала к ней Лиза Меркалова, и вся эта привычная светская обстановка – все это было так легко, а ожидало ее такое трудное, что она с минуту была в нерешимости, не остаться ли, не отдалить ли еще тяжелую минуту объяснения. Но, вспомнив, что ожидает ее одну дома, если она не примет никакого решения, вспомнив этот страшный для нее и в воспоминании жест, когда она взялась обеими руками за волосы, она простилась и уехала.

XIX

Вронский, несмотря на свою легкомысленную с виду светскую жизнь, был человек, ненавидевший беспорядок. Еще смолodu, бывши в корпусе, он испытал унижение отказа, когда он, запутавшись, попросил займы денег, и с тех пор он ни разу не ставил себя в такое положение.

Для того чтобы всегда вести свои дела в порядке, он, смотря по обстоятельствам, чаще или реже, раз пять в год, уединялся и приводил в ясность все свои дела. Он называл это посчитаться, или *faire la lessive*.¹¹⁹

¹¹⁹ сделать стирку (франц.).

Проснувшись поздно на другой день после скачек, Вронский, не бреясь и не купаясь, оделся в китель и, разложив на столе деньги, счета, письма, принялся за работу. Петрицкий, зная, что в таком положении он бывал сердит, проснувшись и увидав товарища за письменным столом, тихо оделся и вышел, не мешая ему.

Всякий человек, зная до малейших подробностей всю сложность условий, его окружающих, невольно предполагает, что сложность этих условий и трудность их уяснения есть только его личная, случайная особенность, и никак не думает, что другие окружены такою же сложностью своих личных условий, как и он сам. Так и казалось Вронскому. И он не без внутренней гордости и не без основания думал, что всякий другой давно бы запутался и принужден был бы поступать нехорошо, если бы находился в таких же трудных условиях. Но Вронский чувствовал, что именно теперь ему необходимо учесться и уяснить свое положение, для того чтобы не запутаться.

Первое, за что, как за самое легкое, взялся Вронский, были денежные дела. Выписав своим мелким почерком на почтовом листке все, что он должен, он подвел итог и нашел, что он должен семнадцать тысяч с сотнями, которые он откинул для ясности. Сосчитав деньги и банковую книжку, он нашел, что у него остается тысяча восемьсот рублей, а получения до Нового года не предвидится. Перечтя список долгам, Вронский переписал его, подразделив на три разряда. К первому разряду относились долги, которые надо было сейчас же заплатить или, во всяком случае, для уплаты которых надо было иметь готовые деньги, чтобы при требовании не могло быть минуты замедления. Таких долгов было около четырех тысяч: тысяча пятьсот за лошадь и две тысячи пятьсот поручительство за молодого товарища Веневского, который при Вронском проиграл эти деньги шулеру. Вронский тогда же хотел отдать деньги (они были у него), но Веневский и Яшвин настаивали на том, что заплатят они, а не Вронский, который и не играл. Все это было прекрасно, но Вронский знал, что в этом грязном деле, в котором он хотя и принял участие только тем, что взял на словах ручательство за Веневского, ему необходимо иметь эти две тысячи пятьсот, чтоб их бросить мошеннику и не иметь с ним более никаких разговоров. Итак, по этому первому важнейшему отделу надо было иметь четыре тысячи. Во втором отделе, восемь тысяч, были менее важные долги. Это были долги преимущественно по скаковой конюшне, поставщику овса и сена, англичанину, шорнику и т. д. По этим долгам надо было тоже раздать тысячи две, для того чтобы быть совершенно спокойным. Последний отдел долгов – в магазины, в гостиницы и портному – были такие, о которых нечего думать. Так что нужно было по крайней мере шесть тысяч, а было тысяча восемьсот только на текущие расходы. Для человека со ста тысячами дохода, как определяли все состояние Вронского, такие долги, казалось бы, не могли быть затруднительны; но дело в том, что у него далеко не было этих ста тысяч только на текущие расходы. Огромное отцовское состояние, приносившее одно до двухсот тысяч годового дохода, было нераздельно между братьями. В то время как старший брат женился, имея кучу долгов, на княжне Варе Чирковой, дочери декабриста, безо всякого состояния, Алексей уступил старшему брату весь доход с имений отца, выговорив себе только двадцать пять тысяч в год. Алексей сказал тогда брату, что этих денег ему будет достаточно, пока он не женится, чего, вероятно, никогда не будет. И брат, командуя одним из самых дорогих полков и только что женившись, не мог не принять этого подарка. Мать, имевшая свое отдельное состояние, кроме выговоренных двадцати пяти тысяч, давала ежегодно Алексею еще тысяч двадцать, и Алексей проживал их все. В последнее время мать, поссорившись с ним за его связь и отъезд из Москвы, перестала присылать ему деньги. И вследствие этого Вронский, уже сделав привычку жизни на сорок пять тысяч и получив в этом году только двадцать пять тысяч, находился теперь в затруднении. Чтобы выйти из этого затруднения, он не мог просить денег у матери. Последнее ее письмо, полученное им накануне, тем в особенности раздражило его, что в нем были намеки на то, что она готова была помогать ему для успеха в свете и на службе, а не для жизни, которая скандализировала все хорошее общество. Желание матери

купить его оскорбило его до глубины души и еще более охладило к ней. Но он не мог отречься от сказанного великодушного слова, хотя и чувствовал теперь, смутно предвидя некоторые случайности его связи с Карениной, что великодушное слово это было сказано легкомысленно и что ему, неженатому, могут понадобиться все сто тысяч дохода. Но отречься нельзя было. Ему стоило только вспомнить братнину жену, вспомнить, как эта милая, славная Варя при всяком удобном случае напоминала ему, что она помнит его великодушие и ценит его, чтобы понять невозможность отнять назад данное. Это было так же невозможно, как прибить женщину, украсть или солгать. Было возможно и должно одно, на что Вронский и решился без минуты колебания: занять деньги у ростовщика, десять тысяч, в чем не может быть затруднения, урезать вообще свои расходы и продать скаковых лошадей. Решив это, он тотчас же написал записку Роландаки, посылавшему к нему не раз с предложением купить у него лошадей. Потом послал за англичанином и за ростовщиком и разложил по счетам те деньги, которые у него были. Окончив эти дела, он написал холодный и резкий ответ на письмо матери. Потом, достав из бумажника три записки Анны, он перечел их, сжег и, вспомнив свой вчерашний разговор с нею, задумался.

XX

Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих все, что должно и не должно делать. Свод этих правил обнимал очень малый круг условий, но зато правила были несомненны, и Вронский, никогда не выходя из этого круга, никогда ни на минуту не колебался в исполнении того, что должно. Правила эти несомненно определяли, — что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, — что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, — что обманывать нельзя никого, но мужа можно, — что нельзя прощать оскорблений и можно оскорблять и т. д. Все эти правила могли быть неразумны, нехороши, но они были несомненны, и, исполняя их, Вронский чувствовал, что он спокоен и может высоко носить голову. Только в самое последнее время, по поводу своих отношений к Анне, Вронский начинал чувствовать, что свод его правил не вполне определял все условия, и в будущем представлялись трудности и сомнения, в которых Вронский уже не находил руководящей нити.

Теперешнее отношение его к Анне и к ее мужу было для него просто и ясно. Оно было ясно и точно определено в своде правил, которыми он руководствовался.

Она была порядочная женщина, подарившая ему свою любовь, и он любил ее, и потому она была для него женщина, достойная такого же и еще большего уважения, чем законная жена. Он дал бы отрубить себе руку прежде, чем позволить себе словом, намеком не только оскорбить ее, но не выказать ей того уважения, на какое только может рассчитывать женщина.

Отношения к обществу тоже были ясны. Все могли знать, подозревать это, но никто не должен был сметь говорить. В противном случае он готов был заставить говоривших молчать и уважать несуществующую честь женщины, которую он любил.

Отношения к мужу были яснее всего. С той минуты, как Анна полюбила Вронского, он считал одно свое право на нее неотъемлемым. Муж был только излишнее и мешающее лицо. Без сомнения, он был в жалком положении, но что же было делать? Одно, на что имел право муж, это было на то, чтобы потребовать удовлетворения с оружием в руках, и на это Вронский был готов с первой минуты.

Но в последнее время являлись новые, внутренние отношения между ним и ею, пугавшие Вронского своею неопределенностью. Вчера только она объявила ему, что она беременна. И он почувствовал, что это известие и то, чего она ждала от него, требовало чего-то такого, что не определено вполне кодексом тех правил, которыми он руководствовался в жизни. И действительно, он был взят врасплох, и в первую минуту, когда она объявила о своем положении,

сердце его подсказало ему требование оставить мужа. Он сказал это, но теперь, обдумывая, он видел ясно, что лучше было бы обойтись без этого, и вместе с тем, говоря это себе, боялся – не дурно ли это?

«Если я сказал оставить мужа, то это значит соединиться со мной. Готов ли я на это? Как я увезу ее теперь, когда у меня нет денег? Положим, это я мог бы устроить... Но как я увезу ее, когда я на службе? Если я сказал это, то надо быть готовым на это, то есть иметь деньги и выйти в отставку».

И он задумался. Вопрос о том, выйти или не выйти в отставку, привел его к другому, тайному, ему одному известному, едва ли не главному, хотя и затаенному интересу всей его жизни.

Честолюбие была старинная мечта его детства и юности, мечта, в которой он и себе не признавался, но которая была так сильна, что и теперь эта страсть боролась с его любовью. Первые шаги его в свете и на службе были удачны, но два года тому назад он сделал грубую ошибку. Он, желая выказать свою независимость и подвинуться, отказался от предложенного ему положения, надеясь, что отказ этот придаст ему большую цену; но оказалось, что он был слишком смел, и его оставили; и, волей-неволей сделав себе положение человека независимого, он носил его, весьма тонко и умно держа себя, так, как будто он ни на кого не сердился, не считал себя никем обиженным и желает только того, чтоб его оставили в покое, потому что ему весело. В сущности же, ему еще с прошлого года, когда он уехал в Москву, перестало быть весело. Он чувствовал, что это независимое положение человека, который все бы мог, но ничего не хочет, уже начинает сглаживаться, что многие начинают думать, что он ничего бы и не мог, кроме того, как быть честным и добрым малым. Наделавшая столько шума и обратившая общее внимание связь его с Карениной, придав ему новый блеск, успокоила на время точившего его червя честолюбия, но неделю тому назад этот червь проснулся с новой силой. Его товарищ с детства, одного круга, одного богатства и товарищ по корпусу, Серпуховской, одного с ним выпуска, с которым он соперничал и в классе, и в гимнастике, и в шалостях, и в мечтах честолюбия, на днях вернулся из Средней Азии, получив там два чина и отличие, редко даваемое столь молодым генералам.

Как только он приехал в Петербург, заговорили о нем как о вновь поднимающейся звезде первой величины. Ровесник Вронскому и однокашник, он был генерал и ожидал назначения, которое могло иметь влияние на ход государственных дел, а Вронский был хоть и независимый, и блестящий, и любимый прелестною женщиной, но был только ротмистр в полку, которому предоставляли быть независимым сколько ему угодно. «Разумеется, я не завидую и не могу завидовать Серпуховскому, но его возвышение показывает мне, что стоит выждать время, и карьера человека, как я, может быть сделана очень скоро. Три года тому назад он был в том же положении, как и я. Выйдя в отставку, я сожгу свои корабли. Оставаясь на службе, я ничего не теряю. Она сама сказала, что не хочет изменять свое положение. А я, с ее любовью, не могу завидовать Серпуховскому». И, закручивая медленным движением усы, он встал от стола и прошелся по комнате. Глаза его блестели особенно ярко, и он чувствовал то твердое, спокойное и радостное состояние духа, которое находило на него всегда после уяснения своего положения. Все было, как и после прежних счетов, чисто и ясно. Он побрился, оделся, взял холодную ванну и вышел.

XXI

– А я за тобой. Твоя стирка нынче долго продолжалась, – сказал Петрицкий. – Что ж, кончилось?

– Кончилось, – отвечал Вронский, улыбаясь одними глазами и покручивая кончики усов так осторожно, как будто после того порядка, в который приведены его дела, всякое слишком смелое и быстрое движение может его разрушить.

– Ты всегда после этого точно из бани, – сказал Петрицкий. – Я от Грицки (так они звали полкового командира), тебя ждут.

Вронский, не отвечая, глядел на товарища, думая о другом.

– Да, это у него музыка? – сказал он, прислушиваясь к долетавшим до него знакомым звукам трубных басов полек и вальсов. – Что за праздник?

– Серпуховской приехал.

– Аа! – сказал Вронский, – я и не знал.

Улыбка его глаз заблестела еще ярче.

Раз решив сам с собою, что он счастлив своею любовью, пожертвовал ей своим честолюбием, – взяв по крайней мере на себя эту роль, – Вронский уже не мог чувствовать ни зависти к Серпуховскому, ни досады на него за то, что он, приехав в полк, пришел не к нему первому. Серпуховской был добрый приятель, и он был рад ему.

– А, я очень рад.

Полковой командир Демин занимал большой помещичий дом. Все общество было на просторном нижнем балконе. На дворе первое, что бросилось в глаза Вронскому, были песенники в кителях, стоявшие подле бочонка с водкой, и здоровая веселая фигура полкового командира, окруженного офицерами; выйдя на первую ступень балкона, он, громко перекрикивая музыку, игравшую оффенбаховскую кадрили, что-то приказывал и махал стоявшим в строю солдатам. Кучка солдат, вахмистр и несколько унтер-офицеров подошли вместе с Вронским к балкону. Вернувшись к столу, полковой командир опять вышел с бокалом на крыльцо и провозгласил тост: «За здоровье нашего бывшего товарища и храброго генерала князя Серпуховского. Ура!»

За полковым командиром, с бокалом в руке, улыбаясь, вышел и Серпуховской.

– Ты все молодеешь, Бондаренко, – обратился он к прямо пред ним стоявшему, служившему вторую службу молодцеватому краснощекому вахмистру.

Вронский три года не видал Серпуховского. Он возмужал, отпустив бакенбарды, но он был такой же стройный, не столько поражающий красотой, сколько нежностью и благородством лица и сложения. Одна перемена, которую заметил в нем Вронский, было то постоянное, тихое сияние, которое устанавливается на лицах людей, имеющих успех и уверенных в признании всеми этого успеха. Вронский знал это сияние и тотчас же заметил его на Серпуховском.

Сходя с лестницы, Серпуховской увидел Вронского. Улыбка радости осветила лицо Серпуховского. Он кивнулверху головой, приподнял бокал, приветствуя Вронского и показывая этим жестом, что не может прежде не подойти к вахмистру, который, вытянувшись, уже складывал губы для поцелуя.

– Ну, вот и он! – вскрикнул полковой командир. – А мне сказал Яшвин, что ты в своем мрачном духе.

Серпуховской поцеловал во влажные и свежие губы молодца вахмистра и, обтирая рот платком, подошел к Вронскому.

– Ну, как я рад! – сказал он, пожимая ему руку и отводя его в сторону.

– Займитесь им! – крикнул Яшвину полковой командир, указывая на Вронского, и сошел вниз к солдатам.

– Отчего ты вчера не был на скачках? Я думал увидеть там тебя, – сказал Вронский, оглядывая Серпуховского.

– Я приехал, но поздно. Виноват, – прибавил он и обратился к адъютанту, – пожалуйста, от меня прикажите раздать, сколько выйдет на человека.

И он торопливо достал из бумажника три сторублевые бумажки и покраснел.

– Вронский! Хочешь съесть что-нибудь или пить? – спросил Яшвин. – Эй, давай сюда графу поесть! А вот это пей.

Кутеж у полкового командира продолжался долго.

Пили очень много. Качали и подкидывали Серпуховского. Потом качали полкового командира. Потом пред песенниками плясал сам полковой командир с Петрицким. Потом полковой командир, уже несколько ослабевши, сел на дворе на лавку и начал доказывать Яшвину преимущество России пред Пруссией, особенно в кавалерийской атаке, и кутеж на минуту затих. Серпуховской вошел в дом, в уборную, чтоб умыть руки, и нашел там Вронского; Вронский обливался водой. Он, сняв китель, подставив обросшую волосами красную шею под струю умывальника, растирал ее и голову руками. Окончив умывание, Вронский подсел к Серпуховскому. Они оба тут же сели на диванчик, и между ними начался разговор, очень интересный для обоих.

– Я о тебе все знал через жену, – сказал Серпуховской. – Я рад, что ты часто видал ее.

– Она дружна с Варей, и это единственные женщины петербургские, с которыми мне приятно, – улыбаясь, отвечал Вронский. Он улыбался тому, что предвидел тему, на которую обратился разговор, и это было ему приятно.

– Единственные? – улыбаясь, переспросил Серпуховской.

– Да и я о тебе знал, но не только чрез твою жену, – строгим выражением лица запрещая этот намек, сказал Вронский. – Я очень рад был твоему успеху, но нисколько не удивлен. Я ждал еще больше.

Серпуховской улыбнулся. Ему, очевидно, было приятно это мнение о нем, и он не находил нужным скрывать это.

– Я, напротив, признаюсь откровенно, ждал меньше. Но я рад, очень рад. Я честолюбив, это моя слабость, и я признаюсь в ней.

– Может быть, ты бы не признавался, если бы не имел успеха, – сказал Вронский.

– Не думаю, – опять улыбаясь, сказал Серпуховской. – Не скажу, чтобы не стоило жить без этого, но было бы скучно. Разумеется, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что я имею некоторые способности к той сфере деятельности, которую я избрал, и что в моих руках власть, какая бы она ни была, если будет, то будет лучше, чем в руках многих мне известных, – с сияющим сознанием успеха сказал Серпуховской. – И потому, чем ближе к этому, тем я больше доволен.

– Может быть, это так для тебя, но не для всех. Я то же думал, а вот живу и нахожу, что не стоит жить только для этого, – сказал Вронский.

– Вот оно! Вот оно! – смеясь, сказал Серпуховской. – Я же начал с того, что я слышал про тебя, про твой отказ... Разумеется, я тебя одобрил. Но на все есть манера. И я думаю, что самый поступок хорош, но ты его сделал не так, как надо.

– Что сделано, то сделано, и ты знаешь, я никогда не отрекаюсь от того, что сделал. И потом мне прекрасно.

– Прекрасно – на время. Но ты не удовлетворишься этим. Я твоему брату не говорю. Это милое дитя, так же как этот наш хозяин. Вон он! – прибавил он, прислушиваясь к крику «ура», – и ему весело, а тебя не это удовлетворяет.

– Я не говорю, чтобы удовлетворяло.

– Да не это одно. Такие люди, как ты, нужны.

– Кому?

– Кому? Обществу. России нужны люди, нужна партия, иначе все идет и пойдет к собакам.

– То есть что же? Партия Бертенева против русских коммунистов?

– Нет, – сморщившись от досады за то, что его подозревают в такой глупости, сказал Серпуховской. – *Tout ça est une blague.*¹²⁰ Это всегда было и будет. Никаких коммунистов нет. Но всегда людям интриги надо выдумать вредную, опасную партию. Это старая штука. Нет, нужна партия власти людей независимых, как ты и я.

– Но почему же? – Вронский назвал несколько имеющих власть людей. – Но почему же они не независимые люди?

– Только потому, что у них нет или не было от рождения независимости состояния, не было имени, не было той близости к солнцу, в которой мы родились. Их можно купить или деньгами, или лаской. И чтоб им держаться, им надо выдумывать направление. И они проводят какую-нибудь мысль, направление, в которое сами не верят, которое делает зло; и все это направление есть только средство иметь казенный дом и столько-то жалованья. *Cela n'est pas plus fin que ça,*¹²¹ когда поглядишь в их карты. Может быть, я хуже, глупее их, хотя я не вижу, почему я должен быть хуже их. Но у меня и у тебя есть уже наверное одно важное преимущество, то, что нас труднее купить. И такие люди более чем когда-нибудь нужны.

Вронский слушал внимательно, но не столько самое содержание его слов занимало его, сколько то отношение к делу Серпуховского, уже думающего бороться с властью и имеющего в этом мире уже свои симпатии и антипатии, тогда как для него были по службе только интересы эскадрона. Вронский понял тоже, как мог быть силен Серпуховской своею несомненною способностью обдумывать, понимать вещи, своим умом и даром слова, так редко встречающимся в той среде, в которой он жил. И, как ни совестно это было ему, ему было завидно.

– Все-таки мне недостает для этого одной главной вещи, – отвечал он, – недостает желания власти. Это было, но прошло.

– Извини меня, это неправда, – улыбаясь, сказал Серпуховской.

– Нет, правда, правда!.. теперь, – чтоб быть искренним, прибавил Вронский.

– Да, правда, *теперь*, это другое дело; но это *теперь* будет не всегда.

– Может быть, – отвечал Вронский.

– Ты говоришь, *может быть*, – продолжал Серпуховской, как будто угадав его мысли, – а я тебе говорю *наверное*. И для этого я хотел тебя видеть. Ты поступил так, как должно было. Это я понимаю, но *персеверировать* ты не должен. Я только прошу у тебя *carte blanche*.¹²² Я не покровительствую тебе... Хотя отчего же мне и не покровительствовать тебе? Ты столько раз мне покровительствовал! Надеюсь, что наша дружба стоит выше этого. Да, – сказал он нежно, как женщина, улыбаясь ему. – Дай мне *carte blanche*, выходи из полка, и я втяну тебя незаметно.

– Но ты пойми, мне ничего не нужно, – сказал Вронский, – как только то, чтобы все было, как было.

Серпуховской встал и стал против него.

– Ты сказал, чтобы все было, как было. Я понимаю, что это значит. Но послушай: мы ровесники; может быть, ты больше числом знал женщин, чем я. – Улыбка и жесты Серпуховского говорили, что Вронский не должен бояться, что он нежно и осторожно дотронется до больного места. – Но я женат, и поверь, что, узнав одну свою жену (как кто-то писал), которую ты любишь, ты лучше узнаешь всех женщин, чем если бы ты знал их тысячи.

– Сейчас придем! – крикнул Вронский заглянувшему в комнату офицеру и звавшему их к полковому командиру.

Вронскому хотелось теперь дослушать и узнать, что он скажет ему.

– И вот тебе мое мнение. Женщины – это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь. Для этого есть только одно средство с

¹²⁰ Все это глупости (*франц.*).

¹²¹ Все это не так уж хитро (*франц.*).

¹²² свободы действий (*франц.*).

удобством, без помехи любить – это женитьба. Как бы, как бы тебе сказать, что я думаю, – говорил Серпуховской, любивший сравнения, – постой, постой! Да, как нести *fardeau*¹²³ и делать что-нибудь руками можно только тогда, когда *fardeau* увязано на спину, – а это женитьба. И это я почувствовал, женившись. У меня вдруг опростались руки. Но без женитьбы тащить за собой этот *fardeau* – руки будут так полны, что ничего нельзя делать. Посмотри Мазанкова, Крупова. Они погубили свои карьеры из-за женщин.

– Какие женщины! – сказал Вронский, вспоминая француженку и актрису, с которыми были в связи названные два человека.

– Тем хуже, чем прочнее положение женщины в свете, тем хуже. Это все равно, как уже не то что тащить *fardeau* руками, а вырывать его у другого.

– Ты никогда не любил, – тихо сказал Вронский, глядя пред собой и думая об Анне.

– Может быть. Но ты вспомни, что я сказал тебе. И еще: женщины все материальнее мужчин. Мы делаем из любви что-то огромное, а они всегда *terre-a-terre*.

– Сейчас, сейчас! – обратился он к вошедшему лакею. Но лакей не приходил их звать опять, как он думал. Лакей принес Вронскому записку.

– Вам человек принес от княгини Тверской.

Вронский распечатал письмо и вспыхнул.

– У меня голова заболела, я пойду домой, – сказал он Серпуховскому.

– Ну, так прощай. Даешь *carte blanche*?

– После поговорим, я найду тебя в Петербурге.

XXII

Был уже шестой час, и потому, чтобы успеть вовремя и вместе с тем не ехать на своих лошадях, которых все знали, Вронский сел в извозничью карету Яшвина и велел ехать как можно скорее. Извозничья старая четвероместная карета была просторна. Он сел в угол, вытянул ноги на переднее место и задумался.

Смутное сознание той ясности, в которую были приведены его дела, смутное воспоминание о дружбе и лести Серпуховского, считавшего его нужным человеком, и, главное, ожидание свидания – все соединялось в общее впечатление радостного чувства жизни. Чувство это было так сильно, что он невольно улыбался. Он спустил ноги, заложил одну на колено другой и, взяв ее в руку, ощупал упругую икру ноги, зашибленной вчера при падении, и, откинувшись назад, вздохнул несколько раз всею грудью.

«Хорошо, очень хорошо!» – сказал он сам себе. Он и прежде часто испытывал радостное сознание своего тела, но никогда он так не любил себя, своего тела, как теперь. Ему приятно было чувствовать эту легкую боль в сильной ноге, приятно было мышечное ощущение движений своей груди при дыхании. Тот самый ясный, холодный августовский день, который так безнадежно действовал на Анну, казался ему возбuditельно оживляющим и освежал его разгоревшееся от обливания лицо и шею. Запах брильянтина от его усов казался ему особенно приятным на этом свежем воздухе. Все, что он видел в окно кареты, все в этом холодном чистом воздухе, на этом бледном свете заката было так же свежо, весело и сильно, как и он сам: и крыши домов, блестящие в лучах спускавшегося солнца, и резкие очертания заборов и углов построек, и фигуры изредка встречающихся пешеходов и экипажей, и неподвижная зелень деревьев и травы, и поля с правильно прорезанными бороздами картофеля, и косые тени, падавшие и от домов, и от деревьев, и от кустов, и от самых борозд картофеля. Все было красиво, как хорошенький пейзаж, только что оконченный и покрытый лаком.

¹²³ груз (франц.).

– Пошел, пошел! – сказал он кучеру, высунувшись в окно, и, достав из кармана трехрублевую бумажку, сунул ее оглянувшемуся кучеру. Рука извозчика ощупала что-то у фонаря, послышался свист кнута, и карета быстро покатила по ровному шоссе.

«Ничего, ничего мне не нужно, кроме этого счастья, – думал он, глядя на костяную шишечку звонка в промежутке между окнами и воображая себе Анну такую, какою он видел ее в последний раз. – И чем дальше, тем больше я люблю ее. Вот и сад казенной дачи Вреде. Где же она тут? Где? Как? Зачем она здесь назначила свидание и пишет в письме Бетси?» – подумал он теперь только; но думать было уже некогда. Он остановил кучера, не доезжая до аллеи, и, отворив дверцу, на ходу выскочил из кареты и пошел в аллею, ведущую к дому. В аллее никого не было; но, оглянувшись направо, он увидел ее. Лицо ее было закрыто вуалем, но он обхватил радостным взглядом особенное, ей одной свойственное движение походки, наклона плеч и постанова головы, и тотчас же будто электрический ток пробежал по его телу. Он с новою силой почувствовал самого себя, от упругих движений ног до движения легких при дыхании, и что-то защекотало его губы.

Сойдясь с ним, она крепко пожала его руку.

– Ты не сердишься, что я вызвала тебя? Мне необходимо было тебя видеть, – сказала она; и тот серьезный и строгий склад губ, который он видел из-под вуаля, сразу изменил его душевное настроение.

– Я, сердиться! Но как ты приехала, куда?

– Все равно, – сказала она, кладя свою руку на его, – пойдем, мне нужно переговорить.

Он понял, что что-то случилось и что свидание это не будет радостное. В присутствии ее он не имел своей воли: не зная причины ее тревоги, он чувствовал уже, что та же тревога невольно сообщалась и ему.

– Что же? что? – спрашивал он, сжимая локтем ее руку и стараясь прочесть в ее лице ее мысли.

Она прошла молча несколько шагов, собираясь с духом, и вдруг остановилась.

– Я не сказала тебе вчера, – начала она, быстро и тяжело дыша, – что, возвращаясь домой с Алексеем Александровичем, я объявила ему все... сказала, что я не могу быть его женой, что... и все сказала.

Он слушал ее, невольно склоняясь всем станом, как бы желая этим смягчить для нее тяжесть ее положения. Но как только она сказала это, он вдруг выпрямился, и лицо его приняло гордое и строгое выражение.

– Да, да, это лучше, тысячу раз лучше! Я понимаю, как тяжело это было, – сказал он.

Но она не слушала его слов, она читала его мысли по выражению лица. Она не могла знать, что выражение его лица относилось к первой пришедшей Вронскому мысли – о неизбежности теперь дуэли. Ей никогда и в голову не приходила мысль о дуэли, и поэтому это мимолетное выражение строгости она объяснила иначе.

Получив письмо мужа, она знала уже в глубине души, что все останется по-старому, что она не в силах будет пренебречь своим положением, бросить сына и соединиться с любовником. Утро, проведенное у княгини Тверской, еще более утвердило ее в этом. Но свидание это все-таки было для нее чрезвычайно важно. Она надеялась, что это свидание изменит это положение и спасет ее. Если он при этом известии решительно, страстно, без минуты колебания скажет ей: «Брось все и беги со мной!» – она бросит сына и уйдет с ним. Но известие это не произвело в нем того, чего она ожидала: он только чем-то как будто оскорбился.

– Мне несколько не тяжело было. Это сделалось само собой, – сказала она раздражительно, – и вот... – она достала письмо мужа из перчатки.

– Я понимаю, понимаю, – перебил он ее, взяв письмо, но не читая его и стараясь успокоить, – я одного желал, я одного просил – разорвать это положение, чтобы посвятить свою жизнь твоему счастью.

– Зачем ты говоришь мне это? – сказала она. – Разве я могу сомневаться в этом? Если б я сомневалась...

– Кто это идет? – сказал вдруг Вронский, указывая на шедших навстречу двух дам. – Может быть, знают нас, – и он поспешно направился, увлекая ее за собою, на боковую дорожку.

– Ах, мне все равно! – сказала она. Губы ее задрожали. И ему показалось, что глаза ее со странною злобой смотрели на него из-под вуаля. – Так я говорю, что не в этом дело, я не могу сомневаться в этом; но вот что он пишет мне. Прочти. – Она опять остановилась.

Опять, как и в первую минуту, при известии об ее разрыве с мужем, Вронский, читая письмо, невольно отдался тому естественному впечатлению, которое вызывало в нем отношение к оскорбленному мужу. Теперь, когда он держал в руках его письмо, он невольно представлял себе тот вызов, который, вероятно, нынче же или завтра он найдет у себя, и самую дуэль, во время которой он с тем самым холодным и гордым выражением, которое и теперь было на его лице, выстрелив в воздух, будет стоять под выстрелом оскорбленного мужа. И тут же в его голове мелькнула мысль о том, что ему только что говорил Серпуховской и что он сам утром думал – что лучше не связывать себя, – и он знал, что эту мысль он не может передать ей.

Прочтя письмо, он поднял на нее глаза, и во взгляде его не было твердости. Она поняла тотчас же, что он уже сам с собой прежде думал об этом. Она знала, что, что бы он ни сказал ей, он скажет не все, что он думает. И она поняла, что последняя надежда ее была обманута. Это было не то, чего она ожидала.

– Ты видишь, что это за человек, – сказала она дрожащим голосом, – он...

– Прости меня, но я радуюсь этому, – перебил Вронский. – Ради Бога, дай мне договорить, – прибавил он, умоляя ее взглядом дать ему время объяснить свои слова. – Я радуюсь, потому что это не может, никак не может оставаться так, как он предполагает.

– Почему же не может? – сдерживая слезы, проговорила Анна, очевидно уже не приписывая никакого значения тому, что он скажет. Она чувствовала, что судьба ее была решена.

Вронский хотел сказать, что после неизбежной, по его мнению, дуэли это не могло продолжаться, но сказал другое.

– Не может продолжаться. Я надеюсь, что теперь ты оставишь его. Я надеюсь, – он смутился и покраснел, – что ты позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь. Завтра... – начал было он.

Она не дала договорить ему.

– А сын? – вскрикнула она. – Ты видишь, что он пишет? – надо оставить его, а я не могу и не хочу сделать это.

– Но ради Бога, что же лучше? Оставить сына или продолжать это унижительное положение?

– Для кого унижительное положение?

– Для всех и больше всего для тебя.

– Ты говоришь унижительное... не говори этого. Эти слова не имеют для меня смысла, – сказала она дрожащим голосом. Ей не хотелось теперь, чтобы он говорил неправду. Ей оставалась одна его любовь, и она хотела любить его. – Ты пойми, что для меня с того дня, как я полюбила тебя, все, все переменялось. Для меня одно и одно – это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя так высоко, так твердо, что ничто не может для меня быть унижительным. Я горда своим положением, потому что... горда тем... горда... – Она не договорила, чем она была горда. Слезы стыда и отчаяния задушили ее голос. Она остановилась и зарыдала.

Он почувствовал тоже, что что-то поднимается к его горлу, щиплет ему в носу, и он в первый раз в жизни почувствовал себя готовым заплакать. Он не мог бы сказать, что именно так тронуло его; ему было жалко ее, и он чувствовал, что не может помочь ей, и вместе с тем знал, что он виною ее несчастья, что он сделал что-то нехорошее.

– Разве невозможен развод? – сказал он слабо. Она, не отвечая, покачала головой. – Разве нельзя взять сына и все-таки оставить его?

– Да; но это все от него зависит. Теперь я должна ехать к нему, – сказала она сухо. Ее предчувствие, что все останется по-старому, не обмануло ее.

– Во вторник я буду в Петербурге, и все решится.

– Да, – сказала она. – Но не будем больше говорить про это.

Карета Анны, которую она отсылала и которой велела приехать к решетке сада Вреде, подъехала. Анна простилась с ним и уехала домой.

XXIII

В понедельник было обычное заседание комиссии 2-го июня. Алексей Александрович вошел в залу заседания, поздоровался с членами и председателем, как и обыкновенно, и сел на свое место, положив руку на приготовленные пред ним бумаги. В числе этих бумаг лежали и нужные ему справки и набросанный конспект того заявления, которое он намеревался сделать. Впрочем, ему и не нужны были справки. Он помнил все и не считал нужным повторять в своей памяти то, что он скажет. Он знал, что, когда наступит время и когда он увидит пред собой лицо противника, тщетно старающегося придать себе равнодушное выражение, речь его выльется сама собой лучше, чем он мог теперь подготовиться. Он чувствовал, что содержание его речи было так велико, что каждое слово будет иметь значение. Между тем, слушая обычный доклад, он имел самый невинный, безобидный вид. Никто не думал, глядя на его белые с напухшими жилами руки, так нежно длинными пальцами ощупывавшие оба края лежавшего пред ним листа белой бумаги, и на его с выражением усталости набок склоненную голову, что сейчас из его уст выльются такие речи, которые произведут страшную бурю, заставят членов кричать, перебивая друг друга, и председателя требовать соблюдения порядка. Когда доклад кончился, Алексей Александрович своим тихим тонким голосом объявил, что он имеет сообщить некоторые свои соображения по делу об устройстве инородцев. Внимание обратилось на него. Алексей Александрович откашлялся и, не глядя на своего противника, но избрав, как он это всегда делал при произнесении речей, первое сидевшее пред ним лицо – маленького смиренного старичка, не имевшего никогда никакого мнения в комиссии, начал излагать свои соображения. Когда дело дошло до коренного и органического закона, противник вскочил и начал возражать. Стремов, тоже член комиссии и тоже задетый за живое, стал оправдываться, – и вообще произошло бурное заседание; но Алексей Александрович восторжествовал, и его предложение было принято; были назначены три новые комиссии, и на другой день в известном петербургском кругу только и было речи, что об этом заседании. Успех Алексея Александровича был даже больше, чем он ожидал.

На другое утро, во вторник, Алексей Александрович, проснувшись, с удовольствием вспомнил вчерашнюю победу и не мог не улыбнуться, хотя и желал казаться равнодушным, когда правитель канцелярии, желая польстить ему, сообщил о слухах, дошедших до него, о происшедшем в комиссии.

Занимаясь с правителем канцелярии, Алексей Александрович совершенно забыл о том, что нынче был вторник, день, назначенный им для приезда Анны Аркадьевны, и был удивлен и неприятно поражен, когда человек пришел доложить ему о ее приезде.

Анна приехала в Петербург рано утром; за ней была выслана карета по ее телеграмме, и потому Алексей Александрович мог знать о ее приезде. Но когда она приехала, он не встретил ее. Ей сказали, что он еще не выходил и занимается с правителем канцелярии. Она велела сказать мужу, что приехала, прошла в свой кабинет и занялась разбором своих вещей, ожидая, что он придет к ней. Но прошел час, он не приходил. Она вышла в столовую под предлогом распоряжения и нарочно громко говорила, ожидая, что он придет сюда; но он не вышел, хотя

она слышала, что он выходил к дверям кабинета, провожая правителя канцелярии. Она знала, что он, по обыкновению, скоро уедет по службе, и ей хотелось до этого видеть его, чтоб отношения их были определены.

Она прошла по зале и с решимостью направилась к нему. Когда она вошла в его кабинет, он в вицмундире, очевидно готовый к отъезду, сидел у маленького стола, на который облокотил руки, и уныло смотрел пред собой. Она увидала его прежде, чем он ее, и она поняла, что он думал о ней.

Увидав ее, он хотел встать, раздумал, потом лицо его вспыхнуло, чего никогда прежде не видала Анна, и он быстро встал и пошел ей навстречу, глядя не в глаза ей, а выше, на ее лоб и прическу. Он подошел к ней, взял ее за руку и попросил сесть.

– Я очень рад, что вы приехали, – сказал он, садясь подле нее, и, очевидно желая сказать что-то, он запнулся. Несколько раз он хотел начать говорить, но останавливался. Несмотря на то, что, готовясь к этому свиданию, она учила себя презирать и обвинять его, она не знала, что сказать ему, и ей было жалко его. И так молчание продолжалось довольно долго. – Сережа здоров? – сказал он и, не дожидаясь ответа, прибавил: – Я не буду обедать дома нынче, и сейчас мне надо ехать.

– Я хотела уехать в Москву, – сказала она.

– Нет, вы очень, очень хорошо сделали, что приехали, – сказал он и опять умолк.

Видя, что он не в силах сам начать говорить, она начала сама.

– Алексей Александрович, – сказала она, взглядывая на него и не опуская глаз под его устремленным на ее прическу взором, – я преступная женщина, я дурная женщина, но я то же, что я была, что я сказала вам тогда, и приехала сказать вам, что я не могу ничего переменить.

– Я вас не спрашивал об этом, – сказал он вдруг, решительно и с ненавистью глядя ей прямо в глаза, – я так и предполагал. – Под влиянием гнева он, видимо, овладел опять вполне всеми своими способностями. – Но, как я вам говорил тогда и писал, – заговорил он резким, тонким голосом, – я теперь повторяю, что я не обязан этого знать. Я игнорирую это. Не все жены так добры, как вы, чтобы так спешить сообщать столь *приятное* известие мужьям. – Он особенно ударил на слове «приятное». – Я игнорирую это до тех пор, пока свет не знает этого, пока имя мое не опозорено. И поэтому я только предупреждаю вас, что наши отношения должны быть такие, какие они всегда были, и что только в том случае, если вы *компрометируете* себя, я должен буду принять меры, чтоб оградить свою честь.

– Но отношения наши не могут быть такими, как всегда, – робким голосом заговорила Анна, с испугом глядя на него.

Когда она увидала опять эти спокойные жесты, услышала этот пронзительный, детский и насмешливый голос, отвращение к нему уничтожило в ней прежнюю жалость, и она только боялась, но во что бы то ни стало хотела уяснить свое положение.

– Я не могу быть вашей женой, когда я... – начала было она.

Он засмеялся злым и холодным смехом.

– Должно быть, тот род жизни, который вы избрали, отразился на ваших понятиях. Я настолько уважаю или презираю и то и другое... я уважаю прошедшее ваше и презираю настоящее... что я был далек от той интерпретации, которую вы дали моим словам.

Анна вздохнула и опустила голову.

– Впрочем, не понимаю, как, имея столько независимости, как вы, – продолжал он, разгорячаясь, – объявляя мужу прямо о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного, как кажется, вы находите предосудительным исполнение в отношении к мужу обязанности жены?

– Алексей Александрович! Что вам от меня нужно?

– Мне нужно, чтоб я не встречал здесь этого человека и чтобы вы вели себя так, чтобы ни свет, ни *прислуга* не могли обвинить вас... чтобы вы не видали его. Кажется, это не много.

И за это вы будете пользоваться всеми правами честной жены, не исполняя ее обязанностей. Вот все, что я имею сказать вам. Теперь мне время ехать. Я не обедаю дома.

Он встал и направился к двери. Анна встала тоже. Он, молча поклонившись, пропустил ее.

XXIV

Ночь, проведенная Левиным на копне, не прошла для него даром: то хозяйство, которое он вел, опротивело ему и потеряло для него всякий интерес. Несмотря на превосходный урожай, никогда не было или по крайней мере никогда ему не казалось, чтобы было столько неудач и столько враждебных отношений между им и мужиками, как нынешний год, и причина неудач и этой враждебности была теперь совершенно понятна ему. Прелесть, которую он испытывал в самой работе, происшедшее вследствие того сближение с мужиками, зависть, которую он испытывал к ним, к их жизни, желание перейти в эту жизнь, которое в эту ночь было для него уже не мечтою, но намерением, подробности исполнения которого он обдумывал, – все это так изменило его взгляд на хозяйство, что он не мог уже никак находить в нем прежнего интереса и не мог не видеть того неприятного отношения его к работникам, которое было основой всего дела. Стада улучшенных коров, таких же, как Пава, вся удобренная, плугами вспаханная земля, девять равных полей, обсаженных лозинами, девяносто десятин глубоко запаханного навоза, рядовые сеялки и т. п. – все это было прекрасно, если б это делалось им самим или им с товарищами, людьми, сочувствующими ему. Но он ясно видел теперь (работа его над книгой о сельском хозяйстве, в котором главным элементом хозяйства должен был быть работник, много помогла ему в этом), – он ясно видел теперь, что то хозяйство, которое он вел, была только жестокая и упорная борьба между им и работниками, в которой на одной стороне, на его стороне, было постоянное напряженное стремление переделать все на считаемый лучшим образец, на другой же стороне – естественный порядок вещей. И в этой борьбе он видел, что, при величайшем напряжении сил с его стороны и безо всякого усилия и даже намерения с другой, достигалось только то, что хозяйство шло ни в чью и совершенно напрасно портились прекрасные орудия, прекрасная скотина и земля. Главное же – не только совершенно даром пропадала направленная на это дело энергия, но он не мог не чувствовать теперь, когда смысл его хозяйства обнажился для него, что цель его энергии была самая недостойная. В сущности, в чем состояла борьба? Он стоял за каждый свой грош (и не мог не стоять, потому что стоило ему ослабить энергию, и ему бы не достало денег расплачиваться с рабочими), а они только стояли за то, чтобы работать спокойно и приятно, то есть так, как они привыкли. В его интересах было то, чтобы каждый работник сработал как можно больше, притом чтобы не забывался, чтобы старался не сломать веялки, конных граблей, молотилки, чтоб он обдумывал то, что он делает; работнику же хотелось работать как можно приятнее, с отдыхом, и главное – беззаботно и забывшись, не размышляя. В нынешнее лето на каждом шагу Левин видел это. Он посылал скосить клевер на сено, выбрав плохие десятины, проросшие травой и полынью, негодные на семена, – ему скашивали подряд лучшие семенные десятины, оправдываясь тем, что так приказал приказчик, и утешали его тем, что сено будет отличное; но он знал, что это происходило оттого, что эти десятины было косить легче. Он посылал сеноворошилку трясти сено, – ее ломали на первых рядах, потому что скучно было мужику сидеть на козлах под махающими над ним крыльями. И ему говорили: «Не извольте беспокоиться, бабы живо растрясут». Плуги оказывались негодящимися, потому что работнику не приходило в голову опустить поднятый резец, и, ворочая силом, он мучал лошадей и портил землю; и его просили быть покойным. Лошадей запускали в пшеницу, потому что ни один работник не хотел быть ночным сторожем, и, несмотря на приказание этого не делать, работники чередовались стеречь ночное, и Ванька, проработав весь день, заснул и каялся в своем грехе, говоря: «Воля ваша». Трех лучших телок

окормили, потому что без водопоя выпустили на клеверную отаву, и никак не хотели верить, что их раздуло клевером, а рассказывали в утешение, как у соседа сто двенадцать голов в три дня выпало. Все это делалось не потому, что кто-нибудь желал зла Левину или его хозяйству; напротив, он знал, что его любили, считали простым барином (что есть высшая похвала); но делалось это только потому, что хотелось весело и беззаботно работать, и интересы его были им не только чужды и непонятны, но фатально противоположны их самым справедливым интересам. Уже давно Левин чувствовал недовольство своим отношением к хозяйству. Он видел, что лодка его течет, но он не находил и не искал течи, может быть нарочно обманывая себя. Но теперь он не мог более себя обманывать. То хозяйство, которое он вел, стало ему не только не интересно, но отвратительно, и он не мог больше им заниматься.

К этому еще присоединилось присутствие в тридцати верстах от него Кити Щербацкой, которую он хотел и не мог видеть. Дарья Александровна Облонская, когда он был у нее, звала его приехать: приехать с тем, чтобы возобновить предложение ее сестре, которая, как она давала чувствовать, теперь примет его. Сам Левин, увидав Кити Щербацкую, понял, что он не переставал любить ее; но он не мог ехать к Облонским, зная, что она там. То, что он сделал ей предложение и она отказала ему, клало между им и ею непреодолимую преграду. «Я не могу просить ее быть моею женой потому только, что она не может быть женою того, кого она хотела», – говорил он сам себе. Мысль об этом делала его холодным и враждебным к ней. «Я не в силах буду говорить с нею без чувства упрека, смотреть на нее без злобы, и она только еще больше возненавидит меня, как и должно быть. И потом, как я могу теперь, после того, что мне сказала Дарья Александровна, ехать к ним? Разве я могу не показать, что я знаю то, что она сказала мне? И я приеду с великодушием – простить, помиловать ее. Я пред нею в роли прощающего и удостоивающего ее своей любви!.. Зачем мне Дарья Александровна сказала это? Случайно бы я мог увидеть ее, и тогда все бы сделалось само собой, но теперь это невозможно, невозможно!»

Дарья Александровна прислала ему записку, прося у него дамское седло для Кити. «Мне сказали, что у вас есть седло, – писала она ему. – Надеюсь, что вы привезете его сами».

Этого уже он не мог переносить. Как умная, деликатная женщина могла так унижать сестру! Он написал десять записок и все разорвал и послал седло без всякого ответа. Написать, что он приедет, – нельзя, потому что он не может приехать; написать, что он не может приехать, потому что не может или уезжает, – это еще хуже. Он послал седло без ответа и с сознанием, что он сделал что-то стыдное, на другой день, передав все опостылевшее хозяйство приказчику, уехал в дальний уезд к приятелю своему Свияжскому, около которого были прекрасные дупелиные болота и который недавно писал ему, прося исполнить давнишнее намерение побывать у него. Дупелиные болота в Суровском уезде давно соблазняли Левина, но он за хозяйственными делами все откладывал эту поездку. Теперь же он рад был уехать и от соседства Щербацких и, главное, от хозяйства, именно на охоту, которая во всех горестях служила ему лучшим утешением.

XXV

В Суровский уезд не было ни железной, ни почтовой дороги, и Левин ехал на своих в тарантасе.

На половине дороги он остановился кормить у богатого мужика. Лысый свежий старик, с широкою рыжею бородой, седою у щек, отворил ворота, прижавшись к верее, чтобы пропустить тройку. Указав кучеру место под навесом на большом, чистом и прибранном новом дворе с обгоревшими сохами, старик попросил Левина в горницу. Чисто одетая молодая женщина в калошках на босу ногу, согнувшись, подтирала пол в новых сенях. Она испугалась вбежавшей за Левиным собаки и вскрикнула, но тотчас же засмеялась своему испугу, узнав, что собака

не тронет. Показав Левину засученною рукой на дверь в горницу, она спрятала, опять согнувшись, свое красивое лицо и продолжала мыть.

– Самовар, что ли? – спросила она.

– Да, пожалуйста.

Горница была большая, с голландскою печью и перегородкой. Под образами стоял раскрашенный узорами стол, лавка и два стула. У входа был шкафчик с посудой. Ставни были закрыты, мух было мало, и так чисто, что Левин позаботился о том, чтобы Ласка, бежавшая дорогой и купавшаяся в лужах, не натоптала пол, и указал ей место в углу у двери. Оглядев горницу, Левин вышел на задний двор. Благовидная молодая в калошках, качая пустыми ведрами на коромысле, сбежала впереди его за водой к колодцу.

– Живо у меня! – весело крикнул на нее старик и подошел к Левину. – Что, сударь, к Николаю Ивановичу Свияжскому едете? Тоже к нам заезжают, – словоохотно начал он, облокачиваясь на перила крыльца.

В середине рассказа старика об его знакомстве с Свияжским ворота опять закрипели, и на двор въехали работники с поля с сохами и боровами. Запряженные в сохи и бороны лошади были сытые и крупные. Работники, очевидно, были семейные: двое были молодые, в ситцевых рубашках и картузах, другие двое были наемные, в посконных рубашках, – один старик, другой молодой малый. Отойдя от крыльца, старик подошел к лошадям и принялся распрягать.

– Что это пахали? – спросил Левин.

– Картошку пропахивали. Тоже землю держим. Ты, Федот, мерина-то не пускай, а к колоде поставь, иную запряжем.

– Что, батюшка, сошники-то я приказывал взять, принес, что ли? – спросил большой ростом, здоровенный малый, очевидно сын старика.

– Во... в саях, – отвечал старик, сматывая кругом снятые вожжи и бросая их наземь. – Наладь, поколе пообедают.

Благовидная молодая с полными, оттягивавшими ей плечи ведрами прошла в сени. Появились откуда-то еще бабы – молодые красивые, средние и старые некрасивые, с детьми и без детей.

Самовар загудел в трубе; рабочие и семейные, убравшись с лошадьми, пошли обедать. Левин, достав из коляски свою провизию, пригласил с собою старика напиться чаю.

– Да что, уже пили нынче, – сказал старик, очевидно с удовольствием принимая это предложение. – Нешто для компании.

За чаем Левин узнал всю историю старикова хозяйства. Старик снял десять лет тому назад у помещицы сто двадцать десятин, а в прошлом году купил их и снимал еще триста у соседнего помещика. Малую часть земли, самую плохую, он раздавал внаймы, а десятин сорок в поле пахал сам своею семьей и двумя наемными рабочими. Старик жаловался, что дело шло плохо. Но Левин понимал, что он жаловался только из приличия, а что хозяйство его процветало. Если бы было плохо, он не купил бы по ста пяти рублей землю, не женил бы трех сыновей и племянника, не построил бы два раза после пожаров, и все лучше и лучше. Несмотря на жалобы старика, видно было, что он справедливо горд своим благосостоянием, горд своими сыновьями, племянником, невестками, лошадьми, коровами и в особенности тем, что держится все это хозяйство. Из разговора со стариком Левин узнал, что он был и не прочь от нововведений. Он сеял много картофеля, и картофель его, который Левин видел, подвезая, уже отцветал и завязывался, тогда как у Левина только зацветал. Он пахал под картофель плугою, как он называл плуг, взятый у помещика. Он сеял пшеницу. Маленькая подробность о том, что, пропалывая рожь, старик прополонною рожью кормил лошадей, особенно поразила Левина. Сколько раз Левин, видя этот пропадающий прекрасный корм, хотел собирать его; но всегда это оказывалось невозможно. У мужика же это делалось, и он не мог нахвалиться этим кормом.

– Чего же бабенкам делать? Вынесут кучки на дорогу, а телега подъедет.

– А вот у нас, помещиков, все плохо идет с работниками, – сказал Левин, подавая ему стакан с чаем.

– Благодарим, – отвечал старик, взял стакан, но отказался от сахара, указав на оставшийся обгрызенный им комок. – Где же с работниками вести дело? – сказал он. – Разор один. Вот хоть бы Свияжсков. Мы знаем, какая земля, мак, и тоже не больно хвалятся урожаем. Все недосмотр!

– Да ведь вот ты же хозяйничаешь с работниками?

– Наше дело мужицкое. Мы до всего сами. Плох – и вон; и своими управимся.

– Батюшка, Финоген велел дегтю достать, – сказала вошедшая баба в калошках.

– Так-то, сударь! – сказал старик, вставая, перекрестился продолжительно, поблагодарил Левина и вышел.

Когда Левин вошел в черную избу, чтобы вызвать своего кучера, он увидел всю семью мужчин за столом. Бабы прислуживали стоя. Молодой здоровенный сын, с полным ртом каши, что-то рассказывал смешное, и все хохотали, и в особенности весело баба в калошках, подливавшая щи в чашку.

Очень может быть, что благовидное лицо бабы в калошках много содействовало тому впечатлению благоустройства, которое произвел на Левина этот крестьянский дом, но впечатление это было так сильно, что Левин никак не мог отделаться от него. И всю дорогу от старика до Свияжского нет-нет и опять вспоминал об этом хозяйстве, как будто что-то в этом впечатлении требовало его особенного внимания.

XXVI

Свияжский был предводитель в своем уезде. Он был пятью годами старше Левина и давно женат. В доме его жила молодая его свояченица, очень симпатичная Левину девушка. И Левин знал, что Свияжский и его жена очень желали выдать за него эту девушку. Он знал это несомненно, как знают это всегда молодые люди, так называемые женихи, хотя никогда никому не решился бы сказать этого, и знал тоже и то, что, несмотря на то, что он хотел жениться, несмотря на то, что по всем данным эта весьма привлекательная девушка должна была быть прекрасною женой, он так же мало мог жениться на ней, даже если б он и не был влюблен в Кити Щербацкую, как он не мог улететь на небо. И это знание отравляло ему то удовольствие, которое он надеялся иметь от поездки к Свияжскому.

Получив письмо Свияжского с приглашением на охоту, Левин тотчас же подумал об этом, но, несмотря на это, решил, что такие виды на него Свияжского есть только его ни на чем не основанное предположение, и потому он все-таки поедет. Кроме того, в глубине души ему хотелось испытать себя, примериться опять к этой девушке. Домашняя же жизнь Свияжских была в высшей степени приятна, и сам Свияжский, самый лучший тип земского деятеля, какой только знал Левин, был для Левина всегда чрезвычайно интересен.

Свияжский был один из тех, всегда удивительных для Левина людей, рассуждение которых, очень последовательное, хотя и никогда не самостоятельное, идет само по себе, а жизнь, чрезвычайно определенная и твердая в своем направлении, идет сама по себе, совершенно независимо и почти всегда вразрез рассуждениям. Свияжский был человек чрезвычайно либеральный. Он презирал дворянство и считал большинство дворян тайными, от робости только не выразавшимися, крепостниками. Он считал Россию погибшею страной, вроде Турции, и правительство России столь дурным, что никогда не позволял себе даже серьезно критиковать действия правительства, и вместе с тем служил и был образцовым дворянским предводителем и в дорогу всегда надевал с кокардой и с красным околышем фуражку. Он полагал, что жизнь человеческая возможна только за границей, куда он и уезжал жить при первой возможности, а

вместе с тем вел в России очень сложное и усовершенствованное хозяйство и с чрезвычайным интересом следил за всем и знал все, что делалось в России. Он считал русского мужика стоящим по развитию на переходной ступени от обезьяны к человеку, а вместе с тем на земских выборах охотнее всех пожимал руку мужикам и выслушивал их мнения. Он не верил ни в чох, ни в смерть, но был очень озабочен вопросом улучшения быта духовенства и сокращения приходов, причем особенно хлопотал, чтобы церковь осталась в его селе.

В женском вопросе он был на стороне крайних сторонников полной свободы женщин и в особенности их права на труд, но жил с женою так, что все любовались их дружною бездетною семейною жизнью, и устроил жизнь своей жены так, что она ничего не делала и не могла делать, кроме общей с мужем заботы, как получше и повеселее провести время.

Если бы Левин не имел свойства объяснять себе людей с самой хорошей стороны, характер Свяжского не представлял бы для него никакого затруднения и вопроса; он бы сказал себе: дурак или дрянь, и все бы было ясно. Но он не мог сказать *дурак*, потому что Свяжский был несомненно не только очень умный, но очень образованный и необыкновенно просто носящий свое образование человек. Не было предмета, которого бы он не знал; но он показывал свое знание, только когда бывал вынуждаем к этому. Еще меньше мог Левин сказать, что он был дрянь, потому что Свяжский был несомненно честный, добрый, умный человек, который весело, оживленно, постоянно делал дело, высоко ценимое всеми его окружающими, и уже наверное никогда сознательно не делал и не мог сделать ничего дурного.

Левин старался понять и не понимал и всегда, как на живую загадку, смотрел на него и на его жизнь.

Они были дружны с Левиным, и поэтому Левин позволял себе допытывать Свяжского, добираться до самой основы его взгляда на жизнь; но всегда это было тщетно. Каждый раз, как Левин пытался проникнуть дальше открытых для всех дверей приемных комнат ума Свяжского, он замечал, что Свяжский слегка смущался; чуть заметный испуг выражался в его взгляде, как будто он боялся, что Левин поймет его, и он давал добродушный и веселый отпор.

Теперь, после своего разочарования в хозяйстве, Левину особенно приятно было побывать у Свяжского. Не говоря о том, что на него просто весело действовал вид этих счастливых, довольных собою и всеми голубков, их благоустроенного гнезда, ему хотелось теперь, чувствуя себя столь недовольным своею жизнью, добраться в Свяжском до того секрета, который давал ему такую ясность, определенность и веселость в жизни. Кроме того, Левин знал, что он увидит у Свяжского помещиков-соседей, и ему теперь особенно интересно было поговорить, послушать о хозяйстве те самые разговоры об урожае, найме рабочих и т. п., которые, Левин знал, принято считать чем-то очень низким, но которые теперь для Левина казались одними важными. «Это, может быть, не важно было при крепостном праве или не важно в Англии. В обоих случаях самые условия определены; но у нас теперь, когда все это перевернулось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть только один важный вопрос в России», — думал Левин.

Охота оказалась хуже, чем ожидал Левин. Болото высохло, и дупелей совсем не было. Он проходил целый день и принес только три штуки, но зато принес, как и всегда с охоты, отличный аппетит, отличное расположение духа и то возбужденное умственное состояние, которым всегда сопровождалось у него сильное физическое движение. И на охоте, в то время когда он, казалось, ни о чем не думал, нет-нет и опять ему вспоминался старик со своею семьей, и впечатление это как будто требовало к себе не только внимания, но и разрешения чего-то с ним связанного.

Вечером, за чаем, в присутствии двух помещиков, приехавших по каким-то делам опеки, завязался тот самый интересный разговор, какого и ожидал Левин.

Левин сидел подле хозяйки у чайного стола и должен был вести разговор с нею и с ее ченицей, сидевшею против него. Хозяйка была круглолицая, белокурая и невысокая женщина,

вся сияющая ямочками и улыбками. Левин старался чрез нее выпытать решение той для него важной загадки, которую представлял ее муж; но он не имел полной свободы мыслей, потому что ему было мучительно неловко. Мучительно неловко ему было оттого, что против него сидела свояченица в особенном, для него, ему казалось, надетом платье, с особенным в виде трапеции вырезом на белой груди; этот четвероугольный вырез, несмотря на то, что грудь была очень белая, или особенно потому, что она была очень белая, лишал Левина свободы мысли. Он воображал себе, вероятно ошибочно, что вырез этот сделан на его счет, и считал себя не вправе смотреть на него и старался не смотреть на него; но чувствовал, что он виноват уж за одно то, что вырез сделан. Левину казалось, что он кого-то обманывает, что ему следует объяснить что-то, но что объяснить этого никак нельзя, и потому он беспрестанно краснел, был беспокоен и неловок. Неловкость его сообщалась и хорошенькой свояченице. Но хозяйка, казалось, не замечала этого и нарочно втягивала ее в разговор.

– Вы говорите, – продолжала хозяйка начатый разговор, – что мужа не может интересоваться все русское. Напротив, он весел бывает за границей, но никогда так, как здесь. Здесь он чувствует себя в своей сфере. Ему столько дела, и он имеет дар всем интересоваться. Ах, вы не были в нашей школе?

– Я видел... Это плющом обвитый домик?

– Да, это Настино дело, – сказала она, указывая на сестру.

– Вы сами учите? – спросил Левин, стараясь смотреть мимо выреза, но чувствуя, что, куда бы он ни смотрел в ту сторону, он будет видеть вырез.

– Да, я сама учила и учу, но у нас прекрасная учительница. И гимнастику мы ввели.

– Нет, я благодарю, я не хочу больше чаю, – сказал Левин и, чувствуя, что он делает неучтивость, но не в силах более продолжать этот разговор, краснея, встал. – Я слышу очень интересный разговор, – прибавил он и подошел к другому концу стола, у которого сидел хозяин с двумя помещиками. Свияжский сидел боком к столу, облокоченною рукой поворачивая чашку, другою собирая в кулак свою бороду и поднося ее к носу и опять выпуская, как бы нюхая. Он блестящими черными глазами смотрел прямо на горячившегося помещика с седыми усами и, видимо, находил забаву в его речах. Помещик жаловался на народ. Левину ясно было, что Свияжский знает такой ответ на жалобы помещика, который сразу уничтожит весь смысл его речи, но что по своему положению он не может сказать этого ответа и слушает не без удовольствия комическую речь помещика.

Помещик с седыми усами был, очевидно, закоренелый крепостник и деревенский старожил, страстный сельский хозяин. Признаки эти Левин видел и в одежде – старомодном, потертом сюртуке, видимо непривычном помещику, и в его умных, нахмуренных глазах, и в складной русской речи, и в усвоенном, очевидно, долгим опытом повелительном тоне, и в решительных движениях больших, красивых, загорелых рук с одним старым обручальным кольцом на безымянке.

XXVII

– Только если бы не жалко бросить, что заведено... трудов положено много... махнул бы на все рукой, продал бы, поехал, как Николай Иваныч... *Елену* слушать, – сказал помещик с осветившею его умное старое лицо приятною улыбкой.

– Да вот не бросаете же, – сказал Николай Иванович Свияжский, – стало быть, расчеты есть.

– Расчет один, что дома живу, непокупное, ненанятое. Да еще все надеешься, что образумится народ. А то, верите ли, – это пьянство, распутство! Все переделались, ни лошаденки, ни коровенки. С голоду дохнет, а возьмите его в работники наймите – он вам норовит напортить, да еще к мировому судье.

– Зато и вы пожалуетесь мировому судье, – сказал Свяжский.

– Я пожалуюсь? Да ни за что в свете! Разговоры такие пойдут, что и не рад жалобе! Вот на заводе – взяли задатки, ушли. Что ж мировой судья? Оправдал, только и держится все волостным судом да старшиной. Этот отпорет его по-старинному. А не будь этого – бросай все! Беги на край света!

Очевидно, помещик дразнил Свяжского, но Свяжский не только не сердился, но, видимо, забавлялся этим.

– Да вот ведь ведем же мы свои хозяйства без этих мер, – сказал он, улыбаясь, – я, Левин, они.

Он указал на другого помещика.

– Да, у Михаила Петровича идет, а спросите-ка как? Это разве рациональное хозяйство? – сказал помещик, очевидно щеголяя словом «рациональное».

– У меня хозяйство простое, – сказал Михаил Петрович. – Благодарю Бога. Мое хозяйство все, чтобы денежки к осенним податям были готовы. Приходят мужички: батюшка, отец, вызволь! Ну, свои всё соседи мужики, жалко. Ну, дашь на первую треть, только скажешь: поминать, ребята, я вам помог, и вы помогите, когда нужда – посев ли овсяный, уборка сена, жнитво, – ну и выговоришь, по сколько с тягла. Тоже есть бессовестные и из них, это правда.

Левин, зная давно эти патриархальные приемы, переглянулся с Свяжским и перебил Михаила Петровича, обращаясь опять к помещику с седыми усами.

– Так вы как же полагаете? – спросил он, – как же теперь надо вести хозяйство?

– Да так же и вести, как Михаил Петрович: или отдать исполу, или внаймы мужикам; это можно, но только этим самым уничтожается общее богатство государства. Где земля у меня при крепостном труде и хорошем хозяйстве приносила сам-девять, она исполу принесет сам-третей. Погубила Россию эмансипация!

Свяжский поглядел улыбающимися глазами на Левина и даже сделал ему чуть заметный насмешливый знак; но Левин не находил слов помещика смешными, – он понимал их больше, чем он понимал Свяжского. Многое же из того, что дальше говорил помещик, доказывая, почему Россия погублена эмансипацией, показалось ему даже очень верным, для него новым и неопровержимым. Помещик, очевидно, говорил свою собственную мысль, что так редко бывает, и мысль, к которой он приведен был не желанием занять чем-нибудь праздный ум, а мысль, которая выросла из условий его жизни, которую он высидел в своем деревенском уединении и со всех сторон обдумал.

– Дело, извольте видеть, в том, что всякий прогресс совершается только властью, – говорил он, очевидно желая показать, что он не чужд образованию. – Возьмите реформы Петра, Екатерины, Александра. Возьмите европейскую историю. Тем более прогресс в земледельческом быту. Хоть картофель – и тот вводился у нас силой. Ведь сохой тоже не всегда пахали. Тоже ввели ее, может быть, при уделах, но, наверно, ввели силою. Теперь, в наше время, мы, помещики, при крепостном праве вели свое хозяйство с усовершенствованиями; и сушилки, и веялки, и возка навоза, и все орудия – всё мы вводили своею властью, и мужики сначала противились, а потом подражали нам. Теперь-с, при уничтожении крепостного права, у нас отняли власть, и хозяйство наше, то, где оно поднято на высокий уровень, должно опуститься к самому дикому, первобытному состоянию. Так я понимаю.

– Да почему же? Если оно рационально, то вы можете наймом вести его, – сказал Свяжский.

– Власть нет-с. Кем я его буду вести? позвольте спросить.

«Вот она – рабочая сила, главный элемент хозяйства», – подумал Левин.

– Рабочими.

– Рабочие не хотят работать хорошо и работать хорошими орудиями. Рабочий наш только одно знает – напиться, как свинья, пьяный и испортит все, что вы ему дадите. Лошадей опойт,

сбрую хорошую оборвет, колесо шинованное сменит, пропьет, в молотилку шкворень пустит, чтобы ее сломать. Ему тошно видеть все, что не по его. От этого и спустился весь уровень хозяйства. Земли заброшены, заросли полянами или розданы мужикам, и где производили миллион, производят сотни тысяч четвертей; общее богатство уменьшилось. Если бы сделали то же, да с расчетом...

И он начал развивать свой план освобождения, при котором были бы устранены эти неудобства.

Левина не интересовало это, но, когда он кончил, Левин вернулся к первому его положению и сказал, обращаясь к Свияжскому и стараясь вызвать его на высказывание своего серьезного мнения:

– То, что уровень хозяйства спускается и что при наших отношениях к рабочим нет возможности вести выгодно рациональное хозяйство, это совершенно справедливо, – сказал он.

– Я не нахожу, – уже серьезно возразил Свияжский, – я только вижу то, что мы не умеем вести хозяйство и что, напротив, то хозяйство, которое мы вели при крепостном праве, не то что слишком высоко, а слишком низко. У нас нет ни машин, ни рабочего скота хорошего, ни управления настоящего, ни считать мы не умеем. Спросите у хозяина, – он не знает, что ему выгодно, что невыгодно.

– Итальянская бухгалтерия, – сказал иронически помещик. – Там как ни считай, как вам всё перепортят, барыша не будет.

– Зачем же перепортят? Дрянную молотилку, российский топчачок¹²⁴ ваш, сломают, а мою паровую не сломают. Лошаденку расейскую, как это? тасканской породы, что за хвост таскать, вам испортят, а заведете першеронов или хоть битюков, их не испортят. И так все. Нам выше надо поднимать хозяйство.

– Да было бы из чего, Николай Иванович! Вам хорошо, а я сына в университете содержи, малых в гимназии воспитывай, – так мне першеронов не купить.

– А на это банки.

– Чтобы последнее с молотка продали? Нет, благодарю!

– Я не согласен, что нужно и можно поднять еще выше уровень хозяйства, – сказал Левин. – Я занимаюсь этим, и у меня есть средства, а я ничего не мог сделать. Банки не знаю кому полезны. Я по крайней мере на что ни затрачивал деньги в хозяйстве, все с убытком: скотина – убыток, машина – убыток.

– Вот это верно, – засмеявшись даже от удовольствия, подтвердил помещик с седыми усами.

– И я не один, – продолжал Левин, – я сошлюсь на всех хозяев, ведущих рационально дело; все, за редкими исключениями, ведут дело в убыток. Ну, вы скажите, что ваше хозяйство – выгодно? – сказал Левин, и тотчас же во взгляде Свияжского Левин заметил то мимолетное выражение испуга, которое он замечал, когда хотел проникнуть далее приемных комнат ума Свияжского.

Кроме того, этот вопрос со стороны Левина был не совсем добросовестен. Хозяйка за чаем только что говорила ему, что они нынче летом приглашали из Москвы немца, знатока бухгалтерии, который за пятьсот рублей вознаграждения учел их хозяйство и нашел, что оно приносит убытка три тысячи с чем-то рублей. Она не помнила именно сколько, но, кажется, немец высчитал до четверти копейки.

Помещик при упоминании о выгодах хозяйства Свияжского улыбнулся, очевидно, зная, какой мог быть барыш у соседа и предводителя.

– Может быть, невыгодно, – отвечал Свияжский. – Это только доказывает, или что я плохой хозяин, или что я затрачиваю капитал на увеличение ренты.

¹²⁴ ...русский топчачок... – молотилка, приводимая в движение лошадьми, топчущимися по кругу.

– Ах, рента! – с ужасом воскликнул Левин. – Может быть, есть рента в Европе, где земля стала лучше от положенного на нее труда, но у нас вся земля становится хуже от положенного труда, то есть что ее выпашут, – стало быть, нет ренты.

– Как нет ренты? Это закон.

– То мы вне закона: рента ничего для нас не объяснит, а, напротив, запутает. Нет, вы скажите, как учение о ренте может быть...

– Хотите простокваши? Маша, пришли нам сюда простокваши или малины, – обратился он к жене. – Нынче замечательно поздно малина держится.

И в самом приятном расположении духа Свяжский встал и отошел, видимо предполагая, что разговор окончен на том самом месте, где Левину казалось, что он только начинается.

Лишившись собеседника, Левин продолжал разговор с помещиком, стараясь доказать ему, что все затруднение происходит оттого, что мы не хотим знать свойств, привычек нашего рабочего; но помещик был, как и все люди, самобытно и уединенно думающие, туг к пониманию чужой мысли и особенно пристрастен к своей. Он настаивал на том, что русский мужик есть свинья и любит свинство и, чтобы вывести его из свинства, нужна власть, а ее нет, нужна палка, а мы стали так либеральны, что заменили тысячулетнюю палку вдруг какими-то адвокатами и заключениями, при которых негодных, вонючих мужиков кормят хорошим супом и высчитывают им кубические футы воздуха.

– Отчего вы думаете, – говорил Левин, стараясь вернуться к вопросу, – что нельзя найти такого отношения к рабочей силе, при которой работа была бы производительна?

– Никогда этого с русским народом без палки не будет! Власть нет, – отвечал помещик.

– Какие же новые условия могут быть найдены? – сказал Свяжский, поев простокваши, закулив папиросу и опять подойдя к спорящим. – Все возможные отношения к рабочей силе определены и изучены, – сказал он. – Остаток варварства – первобытная община с круговой порукой сама собой распадается, крепостное право уничтожено, остается свободный труд, и формы его определены и готовы, и надо брать их. Батрак, поденный, фермер – и из этого вы не выйдете.

– Но Европа недовольна этими формами.

– Недовольна и ищет новых. И найдет, вероятно.

– Я про то только и говорю, – отвечал Левин. – Почему же нам не искать с своей стороны?

– Потому что это все равно, что придумывать вновь приемы для постройки железных дорог. Они готовы, придуманы.

– Но если они нам не приходятся, если они глупы? – сказал Левин.

И опять он заметил выражение испуга в глазах Свяжского.

– Да, это: мы шапками закидаем, мы нашли то, чего ищет Европа! Все это я знаю, но, извините меня, вы знаете ли все, что сделано в Европе по вопросу об устройстве рабочих?

– Нет, плохо.

– Этот вопрос занимает теперь лучшие умы в Европе. Шульце-Деличевское направление¹²⁵... Потом вся эта громадная литература рабочего вопроса, самого либерального лассалевского направления¹²⁶... Мильгаузенское устройство¹²⁷ – это уже факт, вы, верно, знаете.

¹²⁵ *Шульце-Деличевское направление*... – Герман Шульце-Делич (1808–1883), немецкий экономист и политик, в начале 50-х годов выдвинул программу независимых кооперативов и ссудно-сберегательных касс. В России первые общества «по образцу ссудного общества Шульце в Германии» появились в 1865 г. (см. «Вестник Европы», 1874, № 1, с. 407). По мысли Шульце-Делича, его программа должна была примирить классовые интересы рабочих и хозяев.

¹²⁶ *Лассалевское направление* – Фердинанд Лассаль (1825–1864) – немецкий политический деятель, основатель «Всеобщего германского рабочего союза». Независимым кооперативам Шульце-Делича он противопоставил производственную ассоциацию, получающую поддержку от государства. На этой основе вошел в контакт с Бисмарком. «Лассалевское направление» в рабочем вопросе вело к открытому союзу с прусской монархией.

¹²⁷ *Мильгаузенское устройство*... – «Общество попечения об улучшении быта рабочих», основанное фабрикантом Дольфусом в городе Мильгаузене (Эльзас), строило дома, стоимость которых рабочие выплачивали постепенно, приобретая их в

– Я имею понятие, но очень смутное.

– Нет, вы только говорите; вы, верно, знаете все это не хуже меня. Я, разумеется, не социальный профессор, но меня это интересовало, и, право, если вас интересует, вы займитесь.

– Но к чему же они пришли?

– Виноват...

Помещики встали, и Свияжский, опять остановив Левина в его неприятной привычке заглядывать в то, что сзади приемных комнат его ума, пошел провожать своих гостей.

XXVIII

Левину невыносимо скучно было в этот вечер с дамами: его, как никогда прежде, волновала мысль о том, что то недовольство хозяйством, которое он теперь испытывал, есть не исключительное его положение, а общее условие, в котором находится дело в России, что устройство какого-нибудь такого отношения рабочих, где бы они работали, как у мужика на половине дороги, есть не мечта, а задача, которую необходимо решить. И ему казалось, что задачу эту можно решить и должно попытаться это сделать.

Простившись с дамами и обещав пробыть завтра еще целый день, с тем чтобы вместе ехать верхом осматривать интересный провал в казенном лесу, Левин перед сном зашел в кабинет хозяина, чтобы взять книги о рабочем вопросе, которые Свияжский предложил ему. Кабинет Свияжского была огромная комната, обставленная шкафами с книгами и с двумя столами – одним массивным письменным, стоявшим посередине комнаты, и другим круглым, уложенным звездой вокруг лампы, на разных языках последними номерами газет и журналов. У письменного стола была стойка с подразделенными золотыми ярлыками ящиками различного рода дел.

Свияжский достал книги и сел в качающееся кресло.

– Что это вы смотрите? – сказал он Левину, который, остановившись у круглого стола, переглядывал журналы.

– Ах да, тут очень интересная статья, – сказал Свияжский про журнал, который Левин держал в руках. – Оказывается, – прибавил он с веселым оживлением, – что главным виновником раздела Польши был совсем не Фридрих. Оказывается...

И он с свойственной ему ясностью рассказал вкратце эти новые, очень важные и интересные открытия. Несмотря на то, что Левина занимала теперь больше всего мысль о хозяйстве, он, слушая хозяина, спрашивал себя: «Что там в нем сидит? И почему, почему ему интересен раздел Польши?» Когда Свияжский кончил, Левин невольно спросил: «Ну так что же?» Но ничего не было. Было только интересно то, что «оказывалось». Но Свияжский не объяснил и не нашел нужным объяснить, почему это было ему интересно.

– Да, но меня очень заинтересовал сердитый помещик, – вздохнув, сказал Левин. – Он умен и много правды говорил.

– Ах, подите! Закоренелый тайный крепостник, как они все! – сказал Свияжский.

– Коих вы предводитель...

– Да, только я их предводительствую в другую сторону, – смеясь, сказал Свияжский.

– Меня очень занимает вот что, – сказал Левин. – Он прав, что дело наше, то есть рационального хозяйства, нейдет, что идет только хозяйство ростовщическое, как у этого тихонького, или самое простое. Кто в этом виноват?

– Разумеется, мы сами. Да и потом, неправда, что оно нейдет. У Васильчикова идет.

– Завод...

– Но я все-таки не знаю, что вас удивляет. Народ стоит на такой низкой степени и материального и нравственного развития, что, очевидно, он должен противодействовать всему, что ему чуждо. В Европе рациональное хозяйство идет потому, что народ образован; стало быть, у нас надо образовывать народ, – вот и все.

– Но как же образовывать народ?

– Чтобы образовывать народ, нужны три вещи: школы, школы и школы.

– Но вы сами сказали, что народ стоит на низкой степени материального развития. Чем же тут помогут школы?

– Знаете, вы напоминаете мне анекдот о советах больному: «Вы бы попробовали слабительное». – «Давали: хуже». – «Попробуйте пиявки». – «Пробовали: хуже». – «Ну, так уж только молитесь Богу». – «Пробовали: хуже». Так и мы с вами. Я говорю: политическая экономия, вы говорите – хуже. Я говорю: социализм – хуже. Образование – хуже.

– Да чем же помогут школы?

– Дадут ему другие потребности.

– Вот этого я никогда не понимал, – с горячностью возразил Левин. – Каким образом школы помогут народу улучшить свое материальное состояние? Вы говорите, школы, образование дадут ему новые потребности. Тем хуже, потому что он не в силах будет удовлетворить им. А каким образом знание сложения и вычитания и катехизиса поможет ему улучшить свое материальное состояние, я никогда не мог понять. Я третьего дня вечером встретил бабу с грудным ребенком и спросил, куда она идет. Она говорит: «К бабке ходила, на мальчика крикса напала, так носила лечить». Я спросил, как бабка лечит криксу. «Ребеночка к курам на насесть сажает и приговаривает что-то».

– Ну вот, вы сами говорите! Чтоб она не носила лечить криксу на насесть, для этого нужно... – весело улыбаясь, сказал Свяжский.

– Ах нет! – с досадой сказал Левин, – это лечение для меня только подобие лечения народа школами. Народ беден и необразован – это мы видим так же верно, как баба видит криксу, потому что ребенок кричит. Но почему от этой беды – бедности и необразования – помогут школы, так же непонятно, как непонятно, почему от криксы помогут куры на насести. Надо помочь тому, от чего он беден.

– Ну, в этом вы по крайней мере сходитесь со Спенсером¹²⁸, которого вы так любите; он говорит тоже, что образование может быть следствием большего благосостояния и удобства жизни, частых омовений, как он говорит, а не умения читать и считать...

– Ну вот, я очень рад или, напротив, очень не рад, что сошелся со Спенсером; только это я давно знаю. Школы не помогут, а поможет такое экономическое устройство, при котором народ будет богаче, будет больше досуга, – и тогда будут и школы.

– Однако во всей Европе теперь школы обязательны.

– А как же вы сами, согласны в этом со Спенсером? – спросил Левин.

Но в глазах Свяжского мелькнуло выражение испуга, и он, улыбаясь, сказал:

– Нет, эта крикса превосходна! Неужели вы сами слышали?

Левин видел, что так и не найдет он связи жизни этого человека с его мыслями. Очевидно, ему совершенно было все равно, к чему приведет его рассуждение; ему нужен был только процесс рассуждения. И ему неприятно было, когда процесс рассуждения заводил его в тупой переулочек. Этого только он не любил и избегал, переводя разговор на что-нибудь приятно-веселое.

¹²⁸ ...в этом вы по крайней мере сходитесь со Спенсером... – Свяжский имеет в виду статью английского философа Герберта Спенсера (1820–1903) «Наше воспитание как препятствие к правильному пониманию общественных явлений», перевод которой был напечатан в журнале «Знание» (1874, № 1). Спенсер писал об эволюции общественного сознания, доказывая, что не просвещение создает благосостояние народа, а именно благосостояние является необходимым условием для развития просвещения.

Все впечатления этого дня, начиная с мужика на половине дороги, которое служило как бы основным базисом всех нынешних впечатлений и мыслей, сильно взволновали Левина. Этот милый Свияжский, держащий при себе мысли только для общественного употребления и, очевидно, имеющий другие какие-то, тайные для Левина, основы жизни, и вместе с тем он с толпой, имя которой легион, руководящий общественным мнением чуждыми ему мыслями; этот озлобленный помещик, совершенно правый в своих рассуждениях, вымученных жизнью, но неправый своим озлоблением к целому классу, и самому лучшему классу России; собственное недовольство своею деятельностью и смутная надежда найти поправку всему этому – все это сливалось в чувство внутренней тревоги и ожидания близкого разрешения.

Оставшись в отведенной комнате, лежа на пружинном тюфяке, подкидывавшем неожиданно при каждом движении его руки и ноги, Левин долго не спал. Ни один разговор со Свияжским, хотя и много умного было сказано им, не интересовал Левина; но доводы помещика требовали обсуждения. Левин невольно вспомнил все его слова и поправлял в своем воображении то, что он отвечал ему.

«Да, я должен был сказать ему: вы говорите, что хозяйство наше нейдет потому, что мужик ненавидит все усовершенствования и что их надо вводить властью; но если бы хозяйство совсем не шло без этих усовершенствований, вы бы были правы; но оно идет, и идет только там, где рабочий действует сообразно с своими привычками, как у старика на половине дороги. Ваше и наше общее недовольство хозяйством доказывает, что виноваты мы или рабочие. Мы давно уже ломим по-своему, по-европейски, не спрашиваясь о свойствах рабочей силы. Попробуем признать рабочую силу не идеальной рабочей силой, а *русским мужиком* с его инстинктами и будем устраивать сообразно с этим хозяйство. Представьте себе, – должен бы я был сказать ему, – что у вас хозяйство ведется, как у старика, что вы нашли средство заинтересовывать рабочих в успехе работы и нашли ту же середину в усовершенствованиях, которую они признают, – и вы, не истощая почвы, получите вдвое, втрое против прежнего. Разделите пополам, отдайте половину рабочей силе; та разность, которая вам останется, будет больше, и рабочей силе достанется больше. А чтобы сделать это, надо спустить уровень хозяйства и заинтересовать рабочих в успехе хозяйства. Как это сделать – это вопрос подробностей, но несомненно, что это возможно».

Мысль эта привела Левина в сильное волнение. Он не спал половину ночи, обдумывая подробности для приведения мысли в исполнение. Он не собирался уезжать на другой день, но теперь решил, что уедет рано утром домой. Кроме того, эта свояченица с вырезом в платье производила в нем чувство, подобное стыду и раскаянию в совершенном дурном поступке. Главное же, ему нужно было ехать не откладывая: надо успеть предложить мужикам новый проект, прежде чем посеять озимое, с тем чтобы сеять его уже на новых основаниях. Он решил перевернуть все прежнее хозяйство.

XXIX

Исполнение плана Левина представляло много трудностей; но он бился, сколько было сил, и достиг хотя и не того, чего он желал, но того, что он мог, не обманывая себя, верить, что дело это стоит работы. Одна из главных трудностей была та, что хозяйство уже шло, что нельзя было остановить все и начать все сначала, а надо было на ходу перелаживать машину.

Когда он, в тот же вечер, как приехал домой, сообщил приказчику свои планы, приказчик с видимым удовольствием согласился с тою частью речи, которая показывала, что все делаемое до сих пор было вздор и невыгодно. Приказчик сказал, что он давно говорил это, но что его не хотели слушать. Что же касалось до предложения, сделанного Левиным, – принять участие, как пайщику, вместе с работниками во всем хозяйственном предприятии, – то приказчик на это выразил только большое уныние и никакого определенного мнения, а тотчас заговорил о

необходимости назавтра свезти остальные снопы ржи и послать двоить, так что Левин почувствовал, что теперь не до этого.

Заговаривая с мужиками о том и делая им предложения сдачи на новых условиях земель, он тоже сталкивался с тем главным затруднением, что они были так заняты текущей работой дня, что им некогда было обдумывать выгоды и невыгоды предприятия.

Наивный мужик Иван-скотник, казалось, понял вполне предложение Левина – принять с семьей участие в выгодах скотного двора – и вполне сочувствовал этому предприятию. Но когда Левин внушал ему будущие выгоды, на лице Ивана выражалась тревога и сожаление, что он не может всего дослушать, и он поспешно находил себе какое-нибудь не терпящее отлагательства дело: или брался за вилы докидывать сено из денника, или наливать воду, или подчищать навоз.

Другая трудность состояла в непобедимом недоверии крестьян к тому, чтобы цель помещика могла состоять в чем-нибудь другом, чем в желании обобрать их сколько можно. Они были твердо уверены, что настоящая цель его (что бы он ни сказал им) будет всегда в том, чего он не скажет им. И сами они, высказываясь, говорили многое, но никогда не говорили того, в чем состояла их настоящая цель. Кроме того (Левин чувствовал, что желчный помещик был прав), крестьяне первым и неизменным условием какого бы то ни было соглашения ставили то, чтобы они не были принуждаемы к каким бы то ни было новым приемам хозяйства и к употреблению новых орудий. Они соглашались, что плуг пашет лучше, что скоропашка работает успешнее, но они находили тысячи причин, почему нельзя было им употреблять ни то, ни другое, и хотя он и убежден был, что надо спустить уровень хозяйства, ему жалко было отказаться от усовершенствований, выгода которых была так очевидна. Но, несмотря на все эти трудности, он добился своего, и к осени дело пошло, или по крайней мере ему так казалось.

Сначала Левин думал сдать все хозяйство, как оно было, мужикам, работникам и приказчику на новых товарищеских условиях, но очень скоро убедился, что это невозможно, и решил разделить хозяйство. Скотный двор, сад, огород, покосы, поля, разделенные на несколько отделов, должны были составить отдельные статьи. Наивный Иван-скотник, лучше всех, казалось Левину, понявший дело, подобрав себе артель, преимущественно из своей семьи, стал участником скотного двора. Дальнее поле, лежавшее восемь лет в залежах под пусками, было взято с помощью умного плотника Федора Резунова шестью семьями мужиков на новых общественных основаниях, и мужик Шураев снял на тех же условиях все огороды. Остальное еще было по-старому, но эти три статьи были началом нового устройства и вполне занимали Левина.

Правда, что на скотном дворе дело шло до сих пор не лучше, чем прежде, и Иван сильно противодействовал теплomu помещению коров и сливочному маслу, утверждая, что корове на холоду потребуется меньше корму и что сметанное масло спорее, и требовал жалованья, как и в старину, и нисколько не интересовался тем, что деньги, получаемые им, были не жалованье, а выдача вперед доли барыша.

Правда, что компания Федора Резунова не передвоила под посев плугами, как было уговорено, оправдываясь тем, что время коротко. Правда, мужики этой компании, хотя и условились вести это дело на новых основаниях, называли эту землю не общею, а испольною, и не раз и мужики этой артели и сам Резунов говорили Левину: «Получили бы денежки за землю, и вам покойнее и нам бы развяза». Кроме того, мужики эти все откладывали под разными предлогами условленную с ними постройку на этой земле скотного двора и риги и оттянули до зимы.

Правда, Шураев снятые им огороды хотел было раздать по мелочам мужикам. Он, очевидно, совершенно превратно и, казалось, умышленно превратно понял условия, на которых ему была сдана земля.

Правда, часто, разговаривая с мужиками и разъясняя им все выгоды предприятия, Левин чувствовал, что мужики слушают при этом только пение его голоса и знают твердо, что, что бы

он ни говорил, они не дадутся ему в обман. В особенности чувствовал он это, когда говорил с самым умным из мужиков, Резуновым, и замечал ту игру в глазах Резунова, которая ясно показывала и насмешку над Левиным, и твердую уверенность, что если будет кто обманут, то уж никак не он, Резунов.

Но, несмотря на все это, Левин думал, что дело шло и что, строго ведя счеты и настаивая на своем, он докажет им в будущем выгоды такого устройства и что тогда дело пойдет само собой.

Дела эти вместе с остальным хозяйством, оставшимся на его руках, вместе с работой кабинетною над своею книгой так занимали все лето Левина, что он почти и не ездил на охоту. Он узнал в конце августа о том, что Облонские уехали в Москву, от их человека, привезшего назад седло. Он чувствовал, что, не ответив на письмо Дарьи Александровны, своею невежливостью, о которой он без краски стыда не мог вспоминать, он сжег свои корабли и никогда уж не поедет к ним. Точно так же он поступил и со Свияжским, уехав не простившись. Но он к ним тоже никогда не поедет. Теперь это ему было все равно. Дело нового устройства своего хозяйства занимало его так, как еще ничто никогда в жизни. Он перечитал книги, данные ему Свияжским, и, выписав то, чего у него не было, перечитал и политико-экономические и социалистические книги по этому предмету и, как он ожидал, ничего не нашел такого, что относилось бы до предпринятого им дела. В политико-экономических книгах, в Милле например, которого он изучал первого с большим жаром, надеясь всякую минуту найти разрешение занимавших его вопросов, он нашел выведенные из положения европейского хозяйства законы¹²⁹; но он никак не видел, почему эти законы, не приложимые к России, должны быть общие. То же самое он видел и в социалистических книгах: или это были прекрасные фантазии, но неприложимые, которыми он увлекался, еще бывши студентом, – или поправки, починки того положения дела, в которое поставлена была Европа и с которым земледельческое дело в России не имело ничего общего. Политическая экономия говорила, что законы, по которым развилось и развивается богатство Европы, суть законы всеобщие и несомненные. Социалистическое учение говорило, что развитие по этим законам ведет к гибели. И ни то, ни другое не давало не только ответа, но ни малейшего намека на то, что ему, Левину, и всем русским мужикам и землевладельцам делать с своими миллионами рук и десятин, чтоб они были наиболее производительны для общего благосостояния.

Уже раз взявшись за это дело, он добросовестно перечитывал все, что относилось к его предмету, и намеревался осенью ехать за границу, чтоб изучить еще это дело на месте, с тем чтобы с ним уже не случалось более по этому вопросу того, что так часто случалось с ним по различным вопросам. Только начнет он, бывало, понимать мысль собеседника и излагать свою, как вдруг ему говорят: «А Кауфман, а Джонс, а Дюбуа, а Мичели¹³⁰? Вы не читали их. Прочтите; они разработали этот вопрос».

Он видел теперь ясно, что Кауфман и Мичели ничего не имеют сказать ему. Он знал, чего он хотел. Он видел, что Россия имеет прекрасные земли, прекрасных рабочих и что в некоторых случаях, как у мужика на половине дороги, рабочие и земля производят много, в большинстве же случаев, когда по-европейски прикладывается капитал, производят мало, и что происходит это только оттого, что рабочие хотят работать и работают хорошо одним

¹²⁹ ...в Милле... он нашел выведенные из положения европейского хозяйства законы... – то есть законы буржуазного европейского хозяйства, неприложимые, по мысли Толстого, к России. В 1874 г. в «Вестнике Европы» была напечатана статья «Джон Стюарт Милль и его школа», где говорилось: «У экономистов Англии вошло в привычку принимать три фактора в производстве: рабочие, капиталисты и землевладельцы, и поэтому выводы их могут быть применены лишь к тем странам, где существуют эти факторы» («Вестник Европы», 1874, IV, с. 167). Джон Стюарт Милль (1806–1873) – английский философ и социолог, автор известной в свое время книги «Основания политической экономии» (перевод на русский язык Н. Г. Чернышевского).

¹³⁰ Кауфман, Джонс, Дюбуа, Мичели – имена вымышленные. Перечисление этих имен пародирует склонность начетчиков ссылаться на неведомые авторитеты.

им свойственным образом, и что это противодействие не случайное, а постоянное, имеющее основания в духе народа. Он думал, что русский народ, имеющий призвание заселять и обрабатывать огромные незанятые пространства сознательно, до тех пор, пока все земли не заняты, держался нужных для этого приемов и что эти приемы совсем не так дурны, как это обыкновенно думают. И он хотел доказать это теоретически в книге и на практике в своем хозяйстве.

XXX

В конце сентября был свезен лес для постройки двора на отданной артели земле и было продано масло от коров и разделен барыш. В хозяйстве на практике дело шло отлично или по крайней мере так казалось Левину. Для того же, чтобы теоретически разъяснить все дело и окончить сочинение, которое, сообразно мечтаниям Левина, должно было не только произвести переворот в политической экономии, но совершенно уничтожить эту науку и положить начало новой науке – об отношениях народа к земле, нужно было только съездить за границу и изучить на месте все, что там было сделано в этом направлении, и найти убедительные доказательства, что все то, что там сделано, – не то, что нужно. Левин ждал только поставки пшеницы, чтобы получить деньги и ехать за границу. Но начались дожди, не дававшие убрать оставшиеся в поле хлеба и картофель, и остановили все работы и даже поставку пшеницы. По дорогам была непролазная грязь; две мельницы снесло паводком, и погода все становилась хуже и хуже.

30 сентября показалось с утра солнце, и, надеясь на погоду, Левин стал решительно готовиться к отъезду. Он велел насыпать пшеницу, послал к купцу приказчика, чтобы взять деньги, и сам поехал по хозяйству, чтобы сделать последние распоряжения перед отъездом.

Переделав, однако, все дела, мокрый от ручьев, которые по кожану заливались ему то за шею, то за голенища, но в самом бодром и возбужденном состоянии духа, Левин возвратился к вечеру домой. Непогода к вечеру разошлась еще хуже, крупа так больно стегала всю вымокшую, трясущую ушами и головой лошадь, что она шла боком; но Левину под башлыком было хорошо, и он весело поглядывал вокруг себя то на мутные ручьи, бежавшие по колеям, то на нависшие на каждом оголенном сучке капли, то на белизну пятна нерастаявшей крупы на досках моста, то на сочный, еще мясистый лист вяза, который обвалился густым слоем вокруг раздетого дерева. Несмотря на мрачность окружающей природы, он чувствовал себя особенно возбужденным. Разговоры с мужиками в дальней деревне показывали, что они начинали привыкать к своим отношениям. Дворник-старик, к которому он заезжал обсушиться, очевидно, одобрял план Левина и сам предлагал вступить в товарищество по покупке скота.

«Надо только упорно идти к своей цели, и я добыюсь своего, – думал Левин, – а работать и трудиться есть из-за чего. Это дело не мое личное, а тут вопрос об общем благе. Все хозяйство, главное – положение всего народа, совершенно должно измениться. Вместо бедности – общее богатство, довольство; вместо вражды – согласие и связь интересов. Одним словом, революция, бескровная, но величайшая революция, сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира. Потому что мысль справедливая не может не быть плодотворна. Да, это цель, из-за которой стоит работать. И то, что это я, Костя Левин, тот самый, который приехал на бал в черном галстуке и которому отказала Щербацкая и который так сам для себя жалок и ничтожен, – это ничего не доказывает. Я уверен, что Франклин чувствовал себя так же¹³¹ ничтожным и так же не доверял себе, вспоминая себя всего. Это ничего не значит. И у него была, верно, своя Агафья Михайловна, которой он поверял свои планы».

В таких мыслях Левин уже в темноте подъехал к дому.

¹³¹ *Я уверен, что и Франклин чувствовал себя так же...* – Вениамин Франклин (1706–1790) – американский государственный деятель и ученый. Толстой высоко ценил «Записки» Франклина и рекомендовал их для народного издания (см. письмо к В.Г. Черткову, т. 86, с. 11).

Приказчик, ездивший к купцу, приехал и привез часть денег за пшеницу. Условие с дворником было сделано, и по дороге приказчик узнал, что хлеб везде застоял в поле, так что неубранные свои сто шестьдесят копен было ничто в сравнении с тем, что было у других.

Пообедав, Левин сел, как и обыкновенно, с книгой на кресло и, читая, продолжал думать о своей предстоящей поездке в связи с книгой. Нынче ему особенно ясно представлялось все значение его дела, и само собою складывались в его уме целые периоды, выражающие сущность его мыслей. «Это надо записать, – подумал он. – Это должно составить краткое введение, которое я прежде считал ненужным». Он встал, чтобы идти к письменному столу, и Ласка, лежавшая у его ног, потягиваясь, тоже встала и оглядывалась на него, как бы спрашивая, куда идти. Но записывать было некогда, потому что пришли начальники к наряду, и Левин вышел к ним в переднюю.

После наряда, то есть распоряжений по работам завтрашнего дня, и приема всех мужиков, имевших до него дела, Левин пошел в кабинет и сел за работу. Ласка легла под стол; Агафья Михайловна с чулком уселась на своем месте.

Пописав несколько времени, Левин вдруг с необыкновенною живостью вспомнил Кити, ее отказ и последнюю встречу. Он встал и начал ходить по комнате.

– Да нечего скучать, – сказала ему Агафья Михайловна. – Ну, что вы сидите дома? Ехали бы на теплые воды, благо собрались.

– Я и то еду послезавтра, Агафья Михайловна. Надо дело кончить.

– Ну, какое ваше дело! Мало вы разве и так мужиков наградили! И то говорят: ваш барин от царя за то милость получит. И чудно: что вам о мужиках заботиться?

– Я не о них забочусь, я для себя делаю.

Агафья Михайловна знала все подробности хозяйственных планов Левина. Левин часто со всеми тонкостями излагал ей свои мысли и нередко спорил с нею и не соглашался с ее объяснениями. Но теперь она совсем иначе поняла то, что он сказал ей.

– О своей душе, известное дело, пуще всего думать надо, – сказала она со вздохом. – Вон Парфен Денисыч, даром что неграмотный был, а так помер, что дай Бог всякому, – сказала она про недавно умершего дворового. – Причастили, особоровали.

– Я не про то говорю, – сказал он. – Я говорю, что я для своей выгоды делаю. Мне выгоднее, если мужики лучше работают.

– Да уж вы как ни делайте, он коли лентяй, так все будет чрез пень колоду валить. Если совесть есть, будет работать, а нет – ничего не сделаешь.

– Ну да, ведь вы сами говорите, Иван лучше стал за скотиной ходить.

– Я одно говорю, – ответила Агафья Михайловна, очевидно не случайно, но со строгою последовательностью мысли, – жениться вам надо, вот что!

Упоминание Агафьи Михайловны о том самом, о чем он только что думал, огорчило и оскорбило его. Левин нахмурился и, не отвечая ей, сел опять за свою работу, повторив себе все то, что он думал о значении этой работы. Изредка только он прислушивался в тишине к звуку спиц Агафьи Михайловны и, вспоминая то, о чем он не хотел вспоминать, опять морщился.

В девять часов послышался колокольчик и глухое колебание кузова по грязи.

– Ну, вот вам и гости приехали, не скучно будет, – сказала Агафья Михайловна, вставая и направляясь к двери. Но Левин перегнал ее. Работа его не шла теперь, и он был рад какому бы то ни было гостю.

XXXI

Сбежав до половины лестницы, Левин услышал в передней знакомый ему звук покашливания; но он слышал его неясно из-за звука своих шагов и надеялся, что он ошибся; потом он увидал и всю длинную, костлявую, знакомую фигуру, и, казалось, уже нельзя было обманыв-

ваться, но все еще надеялся, что он ошибается и что этот длинный человек, снимавший шубу и откашливавшийся, был не брат Николай.

Левин любил своего брата, но быть с ним вместе всегда было мученье. Теперь же, когда Левин, под влиянием пришедшей ему мысли и напоминания Агафьи Михайловны, был в неясном, запутанном состоянии, ему предстоящее свидание с братом показалось особенно тяжелым. Вместо гостя веселого, здорового, чужого, который, он надеялся, развлечет его в его душевной неясности, он должен был видеться с братом, который понимает его насквозь, который вызовет в нем все самые задушевные мысли, заставит его высказаться вполне. А этого ему не хотелось.

Сердясь на самого себя за это гадкое чувство, Левин сбежал в переднюю. Как только он вблизи увидал брата, это чувство личного разочарования тотчас же исчезло и заменилось жалостью. Как ни страшен был брат Николай своей худобой и болезненностью прежде, теперь он еще похудел, еще изнемог. Это был скелет, покрытый кожей.

Он стоял в передней, дергаясь длинной, худой шеей и срывая с нее шарф, и странно жалостно улыбался. Увидав эту улыбку, смиренную и покорную, Левин почувствовал, что судороги сжимают ему горло.

– Вот, я приехал к тебе, – сказал Николай глухим голосом, ни на секунду не спуская глаз с лица брата. – Я давно хотел, да все нездоровилось. Теперь же я очень поправился, – говорил он, обтирая свою бороду большими худыми ладонями.

– Да, да! – отвечал Левин. И ему стало еще страшнее, когда он, целуясь, почувствовал губами сухость тела брата и увидал вблизи его большие, странно светящиеся глаза.

За несколько недель пред этим Левин писал брату, что по продаже той маленькой части, которая оставалась у них неделинной в доме, брат имел получить теперь свою долю, около двух тысяч рублей.

Николай сказал, что он приехал теперь получить эти деньги и, главное, побывать в своем гнезде, дотронуться до земли, чтобы набраться, как богатыри, силы для предстоящей деятельности. Несмотря на увеличившуюся сутулость, несмотря на поразительную с его ростом худобу, движения его, как и обыкновенно, были быстры и порывисты. Левин провел его в кабинет.

Брат переоделся особенно старательно, чего прежде не бывало, причесал свои редкие прямые волосы и, улыбаясь, вошел наверх.

Он был в самом ласковом и веселом духе, каким в детстве его часто помнил Левин. Он упомянул даже и о Сергее Ивановиче без злобы. Увидав Агафью Михайловну, он пошутил с ней и расспрашивал про старых слуг. Известие о смерти Парфена Денисыча неприятно подействовало на него. На лице его выразился испуг; но он тотчас же оправился.

– Ведь он уж стар был, – сказал он и переменял разговор. – Да, вот поживу у тебя месяц, два, а потом в Москву. Ты знаешь, мне Мягков обещал место, и я поступаю на службу. Теперь я устрою свою жизнь совсем иначе, – продолжал он. – Ты знаешь, я удалил эту женщину.

– Марью Николаевну? Как, за что же?

– Ах, она гадкая женщина! Кучу неприятностей мне сделала. – Но он не рассказал, какие были эти неприятности. Он не мог сказать, что он прогнал Марью Николаевну за то, что чай был слаб, главное же за то, что она ухаживала за ним, как за больным. – Потом вообще теперь я хочу совсем переменить жизнь. Я, разумеется, как и все, делал глупости, но состояние – последнее дело, я его не жалею. Было бы здоровье, а здоровье, слава Богу, поправилось.

Левин слушал и придумывал и не мог придумать, что сказать. Вероятно, Николай почувствовал то же; он стал расспрашивать брата о делах его; и Левин был рад говорить о себе, потому что он мог говорить не притворяясь. Он рассказал брату свои планы и действия.

Брат слушал, но, очевидно, не интересовался этим.

Эти два человека были так родны и близки друг другу, что малейшее движение, тон голоса говорил для обоих больше, чем все, что можно сказать словами.

Теперь у них обоих была одна мысль – болезнь и близость смерти Николая, подавлявшая все остальное. Но ни тот, ни другой не смели говорить о ней, и потому все, что бы они ни говорили, не выразив того, что одно занимало их, – все было ложь. Никогда Левин не был так рад тому, что кончился вечер и надо было идти спать. Никогда ни с каким посторонним, ни на каком официальном визите он не был так ненатурален и фальшив, как он был нынче. И сознание и раскаяние в этой ненатуральности делало его еще более ненатуральным. Ему хотелось плакать над своим умирающим любимым братом, и он должен был слушать и поддерживать разговор о том, как он будет жить.

Так как в доме было сыро и одна только комната топлена, то Левин уложил брата спать в своей же спальне за перегородкой.

Брат лег и – спал или не спал, но, как больной, ворочался, кашлял и когда не мог откашляться, что-то ворчал. Иногда, когда он тяжело вздыхал, он говорил: «Ах, Боже мой!» Иногда, когда мокрота душила его, он с досадой выговаривал: «А! черт!» Левин долго не спал, слушая его. Мысли Левина были самые разнообразные, но конец всех мыслей был один: смерть.

Смерть, неизбежный конец всего, в первый раз с неотразимою силой представилась ему. И смерть эта, которая тут, в этом любимом брате, спросонков стонущем и безразлично по привычке призывавшем то Бога, то черта, была совсем не так далека, как ему прежде казалось. Она была и в нем самом – он это чувствовал. Не нынче, так завтра, не завтра, так через тридцать лет, разве не все равно? А что такое была эта неизбежная смерть, – он не только не знал, не только никогда и не думал об этом, но не умел и не смел думать об этом.

«Я работаю, я хочу сделать что-то, а я и забыл, что все кончится, что – смерть».

Он сидел на кровати в темноте, скорчившись и обняв свои колени, и, сдерживая дыхание от напряжения мысли, думал. Но чем более он напрягал мысль, тем только яснее ему становилось, что это несомненно так, что действительно он забыл, просмотрел в жизни одно маленькое обстоятельство – то, что придет смерть и все кончится, что ничего и не стоило начинать и что помочь этому никак нельзя. Да, это ужасно, но это так.

«Да ведь я жив еще. Теперь-то что же делать, что делать?» – говорил он с отчаянием. Он зажег свечу и осторожно встал и пошел к зеркалу и стал смотреть свое лицо и волосы. Да, в висках были седые волосы. Он открыл рот. Зубы задние начинали портиться. Он обнажил свои мускулистые руки. Да, силы много. Но и у Николеньки, который там дышит остатками легких, было тоже здоровое тело. И вдруг ему вспомнилось, как они детьми вместе ложились спать и ждали только того, чтобы Федор Богданыч вышел за дверь, чтобы кидать друг в друга подушками и хохотать, хохотать неудержимо, так что даже страх пред Федором Богданычем не мог остановить это через край бившее и пенящееся сознание счастья жизни. «А теперь эта скривившаяся пустая грудь... и я, не знающий, зачем и что со мной будет...»

– Кха! Кха! А, черт! Что ты возишься, что ты не спишь? – окликнул его голос брата.

– Так, я не знаю, бессонница.

– А я хорошо спал, у меня теперь уже нет пота. Посмотри, пощупай рубашку. Нет пота?

Левин пощупал, ушел за перегородку, потушил свечу, но долго еще не спал. Только что ему немного уяснился вопрос о том, как жить, как представился новый неразрешимый вопрос – смерть.

«Ну, он умирает, ну, он умрет к весне, ну, как помочь ему? Что я могу сказать ему? Что я знаю про это? Я и забыл, что это есть».

XXXII

Левин уже давно сделал замечание, что когда с людьми бывает неловко от их излишней уступчивости, покорности, то очень скоро делается невыносимо от их излишней требовательности и придирчивости. Он чувствовал, что это случится и с братом. И действительно, кротости брата Николая хватило ненадолго. Он с другого же утра стал раздражителен и старательно придирался к брату, затрогивая его за самые больные места.

Левин чувствовал себя виноватым и не мог поправить этого. Он чувствовал, что если бы они оба не притворялись, а говорили то, что называется говорить по душе, то есть только то, что они точно думают и чувствуют, то они только бы смотрели в глаза друг другу, и Константин только бы говорил: «Ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь!» – а Николай только бы отвечал: «Знаю, что умру; но боюсь, боюсь, боюсь!» И больше бы ничего они не говорили, если бы говорили только по душе. Но так нельзя было жить, и потому Константин пытался делать то, что он всю жизнь пытался и не умел делать, и то, что, по его наблюдению, многие так хорошо умели делать и без чего нельзя жить: он пытался говорить не то, что думал, и постоянно чувствовал, что это выходило фальшиво, что брат его ловит на этом и раздражается этим.

На третий день Николай вызвал брата высказать опять ему свой план и стал не только осуждать его, но стал умышленно смешивать его с коммунизмом.

– Ты только взял чужую мысль, но изуродовал ее и хочешь прилагать к неприложимому.

– Да я тебе говорю, что это не имеет ничего общего. Они отвергают справедливость собственности, капитала, наследственности, а я, не отрицая этого главного *стимула* (Левину было противно самому, что он употреблял такие слова, но с тех пор, как он увлекся своею работой, он невольно стал чаще и чаще употреблять нерусские слова), хочу только регулировать труд.

– То-то и есть, ты взял чужую мысль, отрезал от нее все, что составляет ее силу, и хочешь уверить, что это что-то новое, – сказал Николай, сердито дергаясь в своем галстуке.

– Да моя мысль не имеет ничего общего...

– Там, – злобно блестя глазами и иронически улыбаясь, говорил Николай Левин, – там по крайней мере есть прелесть, как бы сказать, геометрическая – ясности, несомненности. Может быть, это утопия. Но допустим, что можно сделать из всего прошедшего *tabula rasa*:¹³² нет собственности, нет семьи, то и труд устроится. Но у тебя ничего нет...

– Зачем ты смешиваешь? я никогда не был коммунистом.

– А я был и нахожу, что это преждевременно, но разумно и имеет будущность, как христианство в первые века.

– Я только полагаю, что рабочую силу надо рассматривать с естествоиспытательской точки зрения, то есть изучить ее, признать ее свойства и...

– Да это совершенно напрасно. Эта сила сама находит, по степени своего развития, известный образ деятельности. Везде были рабы, потом *metayers*;¹³³ и у нас есть испольная работа, есть аренда, есть батрацкая работа, – чего ж ты ищешь?

Левин вдруг разгорячился при этих словах, потому что в глубине души он боялся, что это было правда, – правда то, что он хотел балансировать между коммунизмом и определенными формами и что это едва ли было возможно.

– Я ищу средства работать производительно и для себя и для рабочего. Я хочу устроить... – отвечал он горячо.

– Ничего ты не хочешь устроить; просто, как ты всю жизнь жил, тебе хочется оригинальничать, показать, что ты не просто эксплуатируешь мужиков, а с идеею.

¹³² чистую доску, то есть стереть все прошлое (*лат.*).

¹³³ арендаторы (*англ.*).

– Ну, ты так думаешь, – и оставь! – отвечал Левин, чувствуя, что мускул левой щеки его неудержимо прыгает.

– Ты не имел и не имеешь убеждений, а тебе только бы утешать свое самолюбие.

– Ну, и прекрасно, и оставь меня!

– И оставлю! И давно пора, и убирайся ты к черту! И очень жалею, что приехал!

Как ни старался потом Левин успокоить брата, Николай ничего не хотел слышать, говорил, что гораздо лучше разъехаться, и Константин видел, что просто брату невыносима стала жизнь.

Николай уже совсем собрался уезжать, когда Константин опять пришел к нему и ненатурально просил извинить, если чем-нибудь оскорбил его.

– А, великодушие! – сказал Николай и улыбнулся. – Если тебе хочется быть правым, то могу доставить тебе это удовольствие. Ты прав, но я все-таки уеду!

Пред самым только отъездом Николай поцеловался с ним и сказал, вдруг странно серьезно взглянув на брата:

– Все-таки не поминай меня лихом, Костя! – И голос его дрогнул.

Это были единственные слова, которые были сказаны искренно. Левин понял, что под этими словами подразумевалось: «Ты видишь и знаешь, что я плох, и, может быть, мы больше не увидимся». Левин понял это, и слезы брызнули у него из глаз. Он еще раз поцеловал брата, но ничего не мог и не умел сказать ему.

На третий день после отъезда брата и Левин уехал за границу. Встретившись на железной дороге с Щербацким, двоюродным братом Кити, Левин очень удивил его своею мрачностью.

– Что с тобой? – спросил его Щербацкий.

– Да ничего, так, веселого на свете мало.

– Как мало? вот поедem со мной в Париж вместо какого-то Мюлуза. Посмотрите, как весело!

– Нет, уж я кончил. Мне умирать пора.

– Вот так штука! – смеясь, сказал Щербацкий. – Я только приготовился начинать.

– Да и я так думал недавно, но теперь я знаю, что скоро умру.

Левин говорил то, что он истинно думал в это последнее время. Он во всем видел только смерть или приближение к ней. Но затеянное им дело тем более занимало его. Надо же было как-нибудь доживать жизнь, пока не пришла смерть. Темнота покрывала для него все; но именно вследствие этой темноты он чувствовал, что единственную руководительную нитью в этой темноте было его дело, и он из последних сил ухватился и держался за него.

Часть четвертая

I

Каренины, муж и жена, продолжали жить в одном доме, встречались каждый день, но были совершенно чужды друг другу. Алексей Александрович за правило поставил каждый день видеть жену, для того чтобы прислуга не имела права делать предположения, но избегал обедов дома. Вронский никогда не бывал в доме Алексея Александровича, но Анна видала его вне дома, и муж знал это.

Положение было мучительно для всех троих, и ни один из них не в силах был бы прожить и одного дня в этом положении, если бы не ожидал, что оно изменится и что это только временное горестное затруднение, которое пройдет. Алексей Александрович ждал, что страсть эта пройдет, как и все проходит, что все про это забудут и имя его останется неопозоренным. Анна, от которой зависело это положение и для которой оно было мучительнее всех, переносила его потому, что она не только ждала, но твердо была уверена, что все это очень скоро развяжется и уяснится. Она решительно не знала, что развяжет это положение, но твердо была уверена, что это что-то придет теперь очень скоро. Вронский, невольно подчиняясь ей, тоже ожидал чего-то независимого от него, долженствовавшего разъяснить все затруднения.

В середине зимы Вронский провел очень скучную неделю. Он был приставлен к приехавшему в Петербург иностранному принцу¹³⁴ и должен был показывать ему достопримечательности Петербурга. Вронский сам был представителем, кроме того, обладал искусством держать себя достойно-почтительно и имел привычку в обращении с такими лицами; потому он и был приставлен к принцу. Но обязанность его показалась ему очень тяжела. Принц желал ничего не упустить такого, про что дома у него спросят, видел ли он это в России; да и сам желал воспользоваться, сколько возможно, русскими удовольствиями. Вронский обязан был руководить его в том и в другом. По утрам они ездили осматривать достопримечательности, по вечерам участвовали в национальных удовольствиях. Принц пользовался необыкновенным даже между принцами здоровьем; и гимнастикой и хорошим уходом за своим телом он довел себя до такой силы, что, несмотря на излишества, которым он предавался в удовольствиях, он был свеж, как большой зеленый глянцеви́тый голландский огурец. Принц много путешествовал и находил, что одна из главных выгод теперешней легкости путей сообщения состоит в доступности национальных удовольствий. Он был в Испании и там давал серенады и сблизился с испанкой, игравшей на мандолине. В Швейцарии убил *гемзу*¹³⁵. В Англии скакал в красном фраке через заборы и на пари убил двести фазанов. В Турции был в гареме, в Индии ездил на слоне и теперь в России желал вкушать всех специально русских удовольствий.

Вронскому, бывшему при нем как бы главным церемониймейстером, большого труда стоило распределять все предлагаемые принцу различными лицами русские удовольствия. Были и рысаки, и блины, и медвежьи охоты, и тройки, и цыгане, и кутежи с русским битьем посуды. И принц с чрезвычайною легкостью усвоил себе русский дух, бил подносы с посудой, сажал на колени цыганку и, казалось, спрашивал: что же еще, или только в этом и состоит весь русский дух?

В сущности, из всех русских удовольствий более всего нравились принцу французские актрисы, балетная танцовщица и шампанское с белою печатью. Вронский имел привычку к

¹³⁴ Вронский... был приставлен к ...принцу... – В 1874 г. в Петербурге гостили принцы из Германии, Англии и Дании. Это было вызвано торжествами по случаю бракосочетания принца Альфреда Эдинбургского и Марии Александровны, дочери царя Александра II (см. «Московские ведомости», 1874, янв. – февр.).

¹³⁵ В Швейцарии убил гемзу. – Гемзе (нем. Gemse) – европейская лань, серна, редкое животное Швейцарских Альп.

принцам, но, – оттого ли, что он сам в последнее время переменялся, или от слишком большой близости с этим принцем, – эта неделя показалась ему страшно тяжела. Он всю эту неделю не переставая испытывал чувство, подобное чувству человека, который был бы приставлен к опасному сумасшедшему, боялся бы сумасшедшего и вместе, по близости к нему, боялся бы и за свой ум. Вронский постоянно чувствовал необходимость ни на секунду не ослаблять тона строгой официальной почтительности, чтобы не быть оскорбленным. Манера обращения принца с теми самыми лицами, которые, к удивлению Вронского, из кожи вон лезли, чтобы доставлять ему русские удовольствия, была презрительна. Его суждения о русских женщинах, которых он желал изучать, не раз заставляли Вронского краснеть от негодования. Главная же причина, почему принц был особенно тяжел Вронскому, была та, что он невольно видел в нем себя самого. И то, что он видел в этом зеркале, не льстило его самолюбию. Это был очень глупый, и очень самоуверенный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человек, и больше ничего. Он был джентльмен – это была правда, и Вронский не мог отрицать этого. Он был ровен и неискателен с высшими, был свободен и прост в обращении с равными и был презрительно добродушен с низшими. Вронский сам был таковым и считал это большим достоинством; но в отношении принца он был низший, и это презрительно-добродушное отношение к нему возмущало его.

«Глупая говядина! Неужели я такой?» – думал он.

Как бы то ни было, когда он простился с ним на седьмой день, пред отъездом его в Москву, и получил благодарность, он был счастлив, что избавился от этого неловкого положения и неприятного зеркала. Он простился с ним на станции, возвращаясь с медвежьей охоты, где всю ночь у них было представление русского молодечества.

II

Вернувшись домой, Вронский нашел у себя записку от Анны. Она писала: «Я больна и несчастлива. Я не могу выезжать, но и не могу долее не видеть вас. Приезжайте вечером. В семь часов Алексей Александрович едет на совет и пробудет до десяти». Подумав с минуту о странности того, что она зовет его прямо к себе, несмотря на требование мужа не принимать его, он решил, что поедет.

Вронский был в эту зиму произведен в полковники, вышел из полка и жил один. Позавтракав, он тотчас же лег на диван, и в пять минут воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни, перепутались и связались с представлением об Анне и мужике-обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте; и Вронский заснул. Он проснулся в темноте, дрожа от страха, и поспешно зажег свечу. «Что такое? Что? Что такое страшное я видел во сне? Да, да. Мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. Да, больше ничего не было во сне, – сказал он себе. – Но отчего же это было так ужасно?» Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине.

«Что за вздор!» – подумал Вронский и взглянул на часы.

Было уже половина девятого. Он позвонил человека, поспешно оделся и вышел на крыльцо, совершенно забыв про сон и мучась только тем, что опоздал. Подъезжая к крыльцу Карениных, он взглянул на часы и увидал, что было без десяти минут девять. Высокая, узенькая карета, запряженная парой серых, стояла у подъезда. Он узнал карету Анны. «Она едет ко мне, – подумал Вронский, – и лучше бы было. Неприятно мне входить в этот дом. Но все равно; я не могу прятаться», – сказал он себе, и с теми, усвоенными им с детства, приемами человека, которому нечего стыдиться, Вронский вышел из саней и подошел к двери. Дверь отворилась, и швейцар с пледом на руке подозвал карету. Вронский, не привыкший замечать

подробности, заметил, однако, теперь удивленное выражение, с которым швейцар взглянул на него. В самых дверях Вронский почти столкнулся с Алексеем Александровичем. Рожок газа прямо освещал бескровное, осунувшееся лицо под черною шляпой и белый галстук, блестящий из-за бобра пальто. Неподвижные, тусклые глаза Каренина устремились на лицо Вронского. Вронский поклонился, и Алексей Александрович, пожевав ртом, поднял руку к шляпе и прошел. Вронский видел, как он, не оглядываясь, сел в карету, принял в окно плед и бинокль и скрылся. Вронский вошел в переднюю. Брови его были нахмурены, и глаза блестели злым и гордым блеском.

«Вот положение! – думал он. – Если б он боролся, отстаивал свою честь, я бы мог действовать, выразить свои чувства; но эта слабость или подлость... Он ставит меня в положение обманщика, тогда как я не хотел и не хочу этим быть».

Со времени своего объяснения с Анной в саду Вреде мысли Вронского много изменились. Он невольно, покоряясь слабости Анны, которая отдавалась ему вся и ожидала только от него решения ее судьбы, вперед покоряясь всему, давно перестал думать, чтобы связь эта могла кончиться, как он думал тогда. Честолюбивые планы его опять отступили на задний план, и он, чувствуя, что вышел из того круга деятельности, в котором все было определено, отдавался весь своему чувству, и чувство это все сильнее и сильнее привязывало его к ней.

Еще в передней он услышал ее удаляющиеся шаги. Он понял, что она ждала его, прислушивалась и теперь вернулась в гостиную.

– Нет! – вскрикнула она, увидав его, и при первом звуке ее голоса слезы вступили ей в глаза, – нет, если это так будет продолжаться, то это случится еще гораздо, гораздо прежде!

– Что, мой друг?

– Что? Я жду, мучаюсь, час, два... Нет, я не буду!.. Я не могу ссориться с тобой. Верно, ты не мог. Нет, не буду!

Она положила обе руки на его плечи и долго смотрела на него глубоким, восторженным и вместе испытующим взглядом. Она изучала его лицо за то время, которое она не видала его. Она, как и при всяком свидании, сводила в одно свое воображаемое представление о нем (несравненно лучшее, невозможное в действительности) с ним, каким он был.

III

– Ты встретил его? – спросила она, когда они сели у стола под лампой. – Вот тебе наказание за то, что опоздал.

– Да, но как же? Он должен был быть в совете?

– Он был и вернулся и опять поехал куда-то. Но это ничего. Не говори про это. Где ты был? Все с принцем?

Она знала все подробности его жизни. Он хотел сказать, что не спал всю ночь и заснул, но, глядя на ее взволнованное и счастливое лицо, ему совестно стало. И он сказал, что ему надо было ехать дать отчет об отъезде принца.

– Но теперь кончилось? Он уехал?

– Слава Богу, кончилось. Ты не поверишь, как мне невыносимо было это.

– Отчего ж? Ведь это всегдашняя жизнь вас всех, молодых мужчин, – сказала она, насупив брови, и, взявшись за вязанье, которое лежало на столе, стала, не глядя на Вронского, выпрастывать из него крючок.

– Я уже давно оставил эту жизнь, – сказал он, удивляясь перемене выражения ее лица и стараясь проникнуть его значение. – И признаюсь, – сказал он, улыбкой выставив свои плотные белые зубы, – я в эту неделю как в зеркало смотрелся, глядя на эту жизнь, и мне неприятно было.

Она держала в руках вязанье, но не вязала, а смотрела на него странным, блестящим и недружелюбным взглядом.

– Нынче утром Лиза заезжала ко мне – они еще не боятся ездить ко мне, несмотря на графиню Лидию Ивановну, – вставила она, – и рассказывала про ваш афинский вечер. Какая гадость!

– Я только хотел сказать, что...

Она перебила его:

– Эта Therese была, которую ты знал прежде?

– Я хотел сказать...

– Как вы гадки, мужчины! Как вы не можете себе представить, что женщина этого не может забыть, – говорила она, горячась все более и более и этим открывая ему причину своего раздражения. – Особенно женщина, которая не может знать твоей жизни. Что я знаю? что я знала? – говорила она, – то, что ты скажешь мне. А почему я знаю, правду ли ты говорил мне...

– Анна! Ты оскорбляешь меня. Разве ты не веришь мне? Разве я не сказал тебе, что у меня нет мысли, которую бы я не открыл тебе?

– Да, да, – сказала она, видимо стараясь отогнать ревнивые мысли. – Но если бы ты знал, как мне тяжело! Я верю, верю тебе... Так что ты говорил?

Но он не мог сразу вспомнить того, что он хотел сказать. Эти припадки ревности, в последнее время все чаще и чаще находившие на нее, ужасали его и, как он ни старался скрывать это, охлаждали его к ней, несмотря на то, что он знал, что причина ревности была любовь к нему. Сколько раз он говорил себе, что ее любовь была счастье; и вот она любила его, как может любить женщина, для которой любовь перевесила все блага в жизни, – и он был гораздо дальше от счастья, чем когда он поехал за ней из Москвы. Тогда он считал себя несчастным, но счастье было впереди; теперь он чувствовал, что лучшее счастье было уже позади. Она была совсем не та, какою он видел ее первое время. И нравственно и физически она изменилась к худшему. Она вся расширела, и в лице ее, в то время как она говорила об актрисе, было злое, искажавшее ее лицо выражение. Он смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный им и завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую он сорвал и погубил его. И, несмотря на то, он чувствовал, что тогда, когда любовь его была сильнее, он мог, если бы сильно захотел этого, вырвать эту любовь из своего сердца, но теперь, когда, как в эту минуту, ему казалось, что он не чувствовал любви к ней, он знал, что связь его с ней не может быть разорвана.

– Ну, ну, так что ты хотел сказать мне про принца? Я прогнала, прогнала беса, – прибавила она. Бесом называлась между ними ревность. – Да, так что ты начал говорить о принце? Почему тебе так тяжело было?

– Ах, невыносимо! – сказал он, стараясь уловить нить потерянной мысли. – Он не выигрывает от близкого знакомства. Если определить его, то это прекрасно выкормленное животное, какие на выставках получают первые медали, и больше ничего, – говорил он с досадой, заинтересовав ее.

– Нет, как же? – возразила она. – Все-таки он многое видел, образован?

– Это совсем другое образование – их образование. Он, видно, что и образован только для того, чтобы иметь право презирать образование, как они все презирают, кроме животных удовольствий.

– Да ведь вы все любите эти животные удовольствия, – сказала она, и опять он заметил мрачный взгляд, который избегал его.

– Что это ты так защищаешь его? – сказал он, улыбаясь.

– Я не защищаю, мне совершенно все равно; но я думаю, что если бы ты сам не любил этих удовольствий, то ты мог бы отказаться. А тебе доставляет удовольствие смотреть на Терезу в костюме Евы...

– Опять, опять дьявол! – взяв руку, которую она положила на стол, и целуя ее, сказал Вронский.

– Да, но я не могу! Ты не знаешь, как я измучалась, ожидая тебя! Я думаю, что я не ревнива. Я не ревнива; я верю тебе, когда ты тут, со мной; но когда ты где-то один ведешь свою непонятную мне жизнь...

Она отклонила от него, выпростала, наконец, крючок из вязанья, и быстро, с помощью указательного пальца, стали накидываться одна за другой петли белой, блестящей под светом лампы шерсти, и быстро, нервически стала поворачиваться тонкая кисть в шитом рукавчике.

– Ну как же? где ты встретил Алексея Александровича? – вдруг ненатурально зазвенел ее голос.

– Мы столкнулись в дверях.

– И он так поклонился тебе?

Она, вытянув лицо и полужакрыв глаза, быстро изменила выражение лица, сложила руки, и Вронский в ее красивом лице вдруг увидел то самое выражение лица, с которым поклонился ему Алексей Александрович. Он улыбнулся, а она весело засмеялась тем милым грудным смехом, который был одною из главных ее прелестей.

– Я решительно не понимаю его, – сказал Вронский. – Если бы после твоего объяснения на даче он разорвал с тобой, если б он вызвал меня на дуэль... но этого я не понимаю: как он может переносить такое положение? Он страдает, это видно.

– Он? – с усмешкой сказала она. – Он совершенно доволен.

– За что мы все мучаемся, когда все могло бы быть так хорошо?

– Только не он. Разве я не знаю его, эту ложь, которою он весь пропитан?.. Разве можно, чувствуя что-нибудь, жить, как он живет со мной? Он ничего не понимает, не чувствует. Разве может человек, который что-нибудь чувствует, жить с своею *преступною* женой в одном доме? Разве можно говорить с ней? Говорить ей *ты*?

И опять невольно она представила его. «Ты, ma chere, ты, Анна!»

– Это не мужчина, не человек, это кукла! Никто не знает, но я знаю. О, если бы я была на его месте, если бы кто-нибудь был на его месте, я бы давно убила, я бы разорвала на куски эту жену, такую, как я, а не говорила бы: ma chere, Анна. Это не человек, это министерская машина. Он не понимает, что я твоя жена, что он чужой, что он лишний... Не будем, не будем говорить!..

– Ты *не* права и *не* права, мой друг, – сказал Вронский, стараясь успокоить ее. – Но все равно, не будем о нем говорить. Расскажи мне, что ты делала? Что с тобой? Что такое эта болезнь и что сказал доктор?

Она смотрела на него с насмешливою радостью. Видимо, она нашла еще смешные и уродливые стороны в муже и ждала времени, чтоб их высказать.

Он продолжал:

– Я догадываюсь, что это не болезнь, а твое положение. Когда это будет?

Насмешливый блеск потух в ее глазах, но другая улыбка – знания чего-то неизвестного ему и тихой грусти – заменила ее прежнее выражение.

– Скоро, скоро. Ты говорил, что наше положение мучительно, что надо развязать его. Если бы ты знал, как мне оно тяжело, что бы я дала за то, чтобы свободно и смело любить тебя! Я бы не мучалась и тебя не мучала бы своею ревностью... И это будет скоро, но не так, как мы думаем.

И при мысли о том, как это будет, она так показалась жалка самой себе, что слезы выступили ей на глаза, и она не могла продолжать. Она положила блестящую под лампой кольцами и белизной руку на его рукав.

– Это не будет так, как мы думаем. Я не хотела тебе говорить этого, но ты заставил меня. Скоро, скоро все развяжется, и мы все, все успокоимся и не будем больше мучаться.

– Я не понимаю, – сказал он, понимая.

– Ты спрашивал, когда? Скоро. И я не переживу этого. Не перебивай! – И она заторопилась говорить. – Я знаю это, и знаю верно. Я умру, и очень рада, что умру и избавлю себя и вас.

Слезы потекли у нее из глаз; он нагнулся к ее руке и стал целовать, стараясь скрыть свое волнение, которое, он знал, не имело никакого основания, но он не мог преодолеть его.

– Вот так, вот это лучше, – говорила она, пожимая сильным движением его руку. – Вот одно, одно, что нам осталось.

Он опомнился и поднял голову.

– Что за вздор! Что за бессмысленный вздор ты говоришь!

– Нет, это правда.

– Что, что правда?

– Что я умру. Я видела сон.

– Сон? – повторил Вронский и мгновенно вспомнил своего мужика во сне.

– Да, сон, – сказала она. – Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то; ты знаешь, как это бывает во сне, – говорила она, с ужасом широко открывая глаза, – и в спальне, в углу, стоит что-то.

– Ах, какой вздор! Как можно верить...

Но она не позволила себя перебить. То, что она говорила, было слишком важно для нее.

– И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик маленький с взъерошенною бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там...

Она представила, как он копошится в мешке. Ужас был на ее лице. И Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу.

– Он копошится и приговаривает по-французски, скоро-скоро и, знаешь, грассирует: «Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir...»¹³⁶ И я от страха захотела проснуться, проснулась... но я проснулась во сне. И стала спрашивать себя, что это значит. И Корней мне говорит: «Родами, родами умрете, родами, матушка...» И я проснулась...

– Какой вздор, какой вздор! – говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе.

– Но не будем говорить. Позвони, я велю подать чаю. Да подожди, теперь не долго я...

Но вдруг она остановилась. Выражение ее лица мгновенно изменилось. Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания. Он не мог понять значения этой перемены. Она слышала в себе движение новой жизни.

IV

Алексей Александрович после встречи у себя на крыльце с Вронским поехал, как и намерен был, в итальянскую оперу. Он отсидел там два акта и видел всех, кого ему нужно было. Вернувшись домой, он внимательно осмотрел вешалку и, заметив, что военного пальто не было, по обыкновению, прошел к себе. Но, противно обыкновению, он не лег спать и проходил взад и вперед по своему кабинету до трех часов ночи. Чувство гнева на жену, не хотевшую соблюдать приличий и исполнять единственное поставленное ей условие – не принимать у себя своего любовника, не давало ему покоя. Она не исполнила его требования, и он должен наказать ее и привести в исполнение свою угрозу – требовать развода и отнять сына. Он знал все трудности, связанные с этим делом, но он сказал, что сделает это, и теперь он должен исполнить угрозу. Графиня Лидия Ивановна намекала ему, что это был лучший выход из его положения, и в последнее время практика разводов довела это дело до такого усовершенствования, что Алексей Александрович видел возможность преодолеть формальные трудности. Кроме того,

¹³⁶ Надо ковать железо, толочь его, мять... (франц.)

беда одна не ходит, и дела об устройстве инородцев и об орошении полей Зарайской губернии навлекли на Алексея Александровича такие неприятности по службе, что он все это последнее время находился в крайнем раздражении.

Он не спал всю ночь, и его гнев, увеличиваясь в какой-то огромной прогрессии, дошел к утру до крайних пределов. Он поспешно оделся и, как бы неся полную чашу гнева и боясь расплескать ее, боясь вместе с гневом утратить энергию, нужную ему для объяснения с женою, вошел к ней, как только узнал, что она встала.

Анна, думавшая, что она так хорошо знает своего мужа, была поражена его видом, когда он вошел к ней. Лоб его был нахмурен, и глаза мрачно смотрели вперед себя, избегая ее взгляда; рот был твердо и презрительно сжат. В походке, в движениях, в звуке голоса его была решительность и твердость, каких жена никогда не видала в нем. Он вошел в комнату и, не поздоровавшись с нею, прямо направился к ее письменному столу и, взяв ключи, отворил ящик.

– Что вам нужно?! – вскрикнула она.

– Письма вашего любовника, – сказал он.

– Их здесь нет, – сказала она, затворяя ящик; но по этому движению он понял, что угадал верно, и, грубо оттолкнув ее руку, быстро схватил портфель, в котором он знал, что она клала самые нужные бумаги. Она хотела вырвать портфель, но он оттолкнул ее.

– Сядьте! мне нужно говорить с вами, – сказал он, положив портфель под мышку и так напряженно прижав его локтем, что плечо его поднялось.

Она с удивлением и робостью молча глядела на него.

– Я сказал вам, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя.

– Мне нужно было видеть его, чтоб...

Она остановилась, не находя никакой выдумки.

– Я не вхожу в подробности о том, для чего женщине нужно видеть любовника.

– Я хотела, я только... – вспыхнув, сказала она. Эта его грубость раздражила ее и придала ей смелости. – Неужели вы не чувствуете, как вам легко оскорблять меня? – сказала она.

– Оскорблять можно честного человека и честную женщину, но сказать вору, что он вор, есть только *la constatation d'un fait*.¹³⁷

– Этой новой черты – жестокости я не знала еще в вас.

– Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давая ей честный кров имени только под условием соблюдения приличий. Это жестокость?

– Это хуже жестокости, это подлость, если уже вы хотите знать! – со взрывом злобы вскрикнула Анна и, встав, хотела уйти.

– Нет! – закричал он своим пискливым голосом, который поднялся теперь еще нотой выше обыкновенного, и, схватив своими большими пальцами ее за руку так сильно, что красные следы остались на ней от браслета, который он прижал, насильно посадил ее на место. – Подлость? Если вы хотите употребить это слово, то подлость это то, чтобы бросить мужа, сына для любовника и есть хлеб мужа!

Она нагнула голову. Она не только не сказала того, что она говорила вчера любовнику, что *он* ее муж, а муж лишний; она и не подумала этого. Она чувствовала всю справедливость его слов и только сказала тихо:

– Вы не можете описать мое положение хуже того, как я сама его понимаю, но зачем вы говорите все это?

– Зачем я говорю это? зачем? – продолжал он так же гневно. – Чтобы вы знали, что, так как вы не исполнили моей воли относительно соблюдения приличий, я приму меры, чтобы положение это кончилось.

¹³⁷ установление факта (*франц.*).

– Скоро, скоро оно кончится и так, – проговорила она, и опять слезы при мысли о близкой, теперь желаемой смерти выступили ей на глаза.

– Оно кончится скорее, чем вы придумали с своим любовником! Вам нужно удовлетворение животной страсти...

– Алексей Александрович! Я не говорю, что это невеликодушно, но это непорядочно – бить лежащего.

– Да, вы только себя помните, но страдания человека, который был вашим мужем, вам не интересны. Вам все равно, что вся жизнь его рушилась, что он пеле... пеле... пелестрадал.

Алексей Александрович говорил так скоро, что он запутался и никак не мог выговорить этого слова. Он выговорил его под конец *пелестрадал*. Ей стало смешно и тотчас стыдно за то, что ей могло быть что-нибудь смешно в такую минуту. И в первый раз она на мгновение почувствовала за него, перенеслась в него, и ей жалко стало его. Но что ж она могла сказать или сделать? Она опустила голову и молчала. Он тоже помолчал несколько времени и заговорил потом уже менее пискливым, холодным голосом, подчеркивая произвольно избранные, не имеющие никакой особенной важности слова.

– Я пришел вам сказать... – сказал он.

Она взглянула на него. «Нет, это мне показалось, – подумала она, вспоминая выражение его лица, когда он запутался на слове *пелестрадал*, – нет, разве может человек с этими мутными глазами, с этим самодовольным спокойствием чувствовать что-нибудь?»

– Я не могу ничего изменить, – прошептала она.

– Я пришел вам сказать, что я завтра уезжаю в Москву и не вернусь более в этот дом, и вы будете иметь известие о моем решении чрез адвоката, которому я поручу дело развода. Сын же мой переедет к сестре, – сказал Алексей Александрович, с усилием вспоминая то, что он хотел сказать о сыне.

– Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно, – проговорила она, исподлобья глядя на него. – Вы не любите его... Оставьте Сережу!

– Да, я потерял даже любовь к сыну, потому что с ним связано мое отвращение к вам. Но я все-таки возьму его. Прощайте!

И он хотел уйти, но теперь она задержала его.

– Алексей Александрович, оставьте Сережу! – прошептала она еще раз. – Я более ничего не имею сказать. Оставьте Сережу до моих... Я скоро рожу, оставьте его!

Алексей Александрович вспыхнул и, вырвав у нее руку, вышел молча из комнаты.

V

Приемная комната знаменитого петербургского адвоката была полна, когда Алексей Александрович вошел в нее. Три дамы: старушка, молодая и купчиха, три господина: один – банкир-немец с перстнем на пальце, другой – купец с бородой, и третий – сердитый чиновник в вицмундире, с крестом на шее, очевидно, давно уже ждали. Два помощника писали на столах, скрипя перьями. Письменные принадлежности, до которых Алексей Александрович был охотник, были необыкновенно хороши, Алексей Александрович не мог не заметить этого. Один из помощников, не вставая, прищурившись, сердито обратился к Алексею Александровичу:

– Что вам угодно?

– Я имею дело до адвоката.

– Адвокат занят, – строго отвечал помощник, указывая пером на ожидавших, и продолжал писать.

– Не может ли он найти время? – сказал Алексей Александрович.

– У него нет свободного времени, он всегда занят. Извольте подождать.

– Так не потрудитесь ли подать мою карточку, – достойно сказал Алексей Александрович, видя необходимость открыть свое инкогнито.

Помощник взял карточку и, очевидно не одобряя ее содержания, прошел в дверь.

Алексей Александрович сочувствовал гласному суду в принципе, но некоторым подробностям его применения у нас он не вполне сочувствовал, по известным ему высшим служебным отношениям, и осуждал их, насколько он мог осуждать что-либо высочайше утвержденное. Вся жизнь его протекла в административной деятельности, и потому, когда он не сочувствовал чему-либо, то несочувствие его было смягчено признанием необходимости ошибок и возможности исправления в каждом деле. В новых судебных учреждениях он не одобрял тех условий, в которые была поставлена адвокатура¹³⁸. Но он до сих пор не имел дела до адвокатуры и потому не одобрял ее только теоретически; теперь же неодобрение его еще усилилось тем неприятным впечатлением, которое он получил в приемной адвоката.

– Сейчас выйдут, – сказал помощник; и действительно, чрез две минуты в дверях показалась длинная фигура старого правоведа, совещавшегося с адвокатом, и самого адвоката.

Адвокат был маленький, коренастый, плешивый человек с черно-рыжеватою бородой, светлыми длинными бровями и нависшим лбом. Он был наряден, как жених, от галстука и цепочки двойной до лаковых ботинок. Лицо было умное, мужицкое, а наряд франтовской и дурного вкуса.

– Пожалуйте, – сказал адвокат, обращаясь к Алексею Александровичу. И, мрачно пропустив мимо себя Каренина, он затворил дверь.

– Не угодно ли? – Он указал на кресло у письменного, уложенного бумагами стола и сам сел на председательское место, потирая маленькие ручки с короткими, обросшими белыми волосами пальцами и склонив набок голову. Но только что он успокоился в своей позе, как над столом пролетела моль. Адвокат с быстротой, которой нельзя было ожидать от него, рознял ручки, поймал моль и опять принял прежнее положение.

– Прежде чем начать говорить о моем деле, – сказал Алексей Александрович, с удивлением проследив глазами за движением адвоката, – я должен заметить, что дело, о котором я имею говорить с вами, должно быть тайной.

Чуть заметная улыбка раздвинула рыжеватые нависшие усы адвоката.

– Я бы не был адвокатом, если бы не мог сохранять те тайны, которые вверены мне. Но если вам угодно подтверждение...

Алексей Александрович взглянул в его лицо и увидал, что серые умные глаза смеются и все уж знают.

– Вы знаете мою фамилию? – продолжал Алексей Александрович.

– Знаю вас и вашу полезную, – опять он поймал моль, – деятельность, как и всякий русский, – сказал адвокат, наклонившись.

Алексей Александрович вздохнул, собираясь с духом. Но, раз решившись, он уже продолжал своим пискливым голосом, не робея, не запинаясь и подчеркивая некоторые слова.

– Я имею несчастье, – начал Алексей Александрович, – быть обманутым мужем и желаю законно разорвать сношения с женою, то есть развестись, но притом так, чтобы сын не оставался с матерью.

Серые глаза адвоката старались не смеяться, но они прыгали от неудержимой радости, и Алексей Александрович видел, что тут была не одна радость человека, получающего выгодный

¹³⁸ ...не одобрял тех условий, в которые была поставлена адвокатура. – Адвокатура в России была учреждена судебной реформой 1864 г., вместе с образованием гласного суда, и стала модной и весьма выгодной профессией. «Появляются фигуры иного рода... – отмечал публицист тех лет Е. Марков, – самоуверенный взгляд, под мышкой портфель, на носу золотое репсепез. Это – адвокаты... Войдите теперь на квартиру адвоката. Что, попались? Видите, какая мебель, бронза, ковры, картины. Все это для вас, и вы должны заплатить за это. Перешагните в кабинет. Не правда ли, настоящий кабинет министра?» (Е. Марков. Собр. соч., т. 1. СПб., 1876, с. 76).

заказ, – тут было торжество и восторг, был блеск, похожий на тот зловещий блеск, который он видал в глазах жены.

– Вы желаете моего содействия для совершения развода?

– Именно, но я должен предупредить вас, – сказал Алексей Александрович, – что я рискую злоупотребить вашим вниманием. Я приехал только предварительно посоветоваться с вами. Я желаю развода, но для меня важны формы, при которых он возможен. Очень может быть, что, если формы не совпадут с моими требованиями, я откажусь от законного искания.

– О, это всегда так, – сказал адвокат, – и это всегда в вашей воле.

Адвокат опустил глаза на ноги Алексея Александровича, чувствуя, что они видом своей неудержимой радости могут оскорбить клиента, и посмотрел на моль, пролетевшую пред его носом, и дернулся рукой, но не поймал ее из уважения к положению Алексея Александровича.

– Хотя в общих чертах наши законоположения об этом предмете мне известны, – продолжал Алексей Александрович, – я бы желал знать вообще те формы, в которых на практике совершаются подобного рода дела.

– Вы желаете, – не поднимая глаз, отвечал адвокат, не без удовольствия входя в тон речи своего клиента, – чтобы я изложил вам те пути, по которым возможно исполнение вашего желания.

И на подтвердительное наклонение головы он продолжал, изредка взглядывая только мельком на покрасневшее пятнами лицо Алексея Александровича.

– Развод по нашим законам, – сказал он с легким оттенком неодобрения к нашим законам, – возможен¹³⁹, как вам известно, в следующих случаях... Подождать! – обратился он к высунувшемуся в дверь помощнику, но все-таки встал, сказал несколько слов и сел опять. – В следующих случаях: физические недостатки супругов, затем безвестная пятилетняя отлучка, – сказал он, загнув поросший волосами короткий палец, – затем прелюбодеяние (это слово он произнес с видимым удовольствием). Подразделения следующие (он продолжал загибать свои толстые пальцы, хотя случаи и подразделения, очевидно, не могли быть классифицированы вместе): физические недостатки мужа или жены, затем прелюбодеяние мужа или жены. – Так как все пальцы вышли, он их все разогнул и продолжал: – Это взгляд теоретический, но я полагаю, что вы сделали мне честь обратиться ко мне для того, чтоб узнать практическое приложение. И потому, руководствуясь antecedentami, я должен доложить вам, что случаи разводов все приходят к следующим: физических недостатков нет, как я могу понимать? и также безвестного отсутствия?..

Алексей Александрович утвердительно склонил голову.

– Приходят к следующим: прелюбодеяние одного из супругов и уличение преступной стороны по взаимному соглашению и, помимо такого соглашения, уличение невольное. Должен сказать, что последний случай редко встречается в практике, – сказал адвокат и, мельком взглянув на Алексея Александровича, замолк, как продавец пистолетов, описавший выгоды того и другого оружия и ожидающий выбора своего покупателя. Но Алексей Александрович молчал, и потому адвокат продолжал: – Самое обычное и простое, разумное, я считаю, есть прелюбодеяние по взаимному соглашению. Я бы не позволил себе так выразиться, говоря с человеком неразвитым, – сказал адвокат, – но полагаю, что для вас это понятно.

¹³⁹ Развод по нашим законам... возможен... – «Так как закон требует таких улик, которых почти невозможно добыть, – пишет обозреватель газеты «Голос», – то дело обыкновенно улаживается тем, что один из супругов добровольно принимает на себя вину и, ради улик в неверности, устраивает нередко сцены, по циничности своей совершенно неудобные для описания. Способ этот имеет те неудобства, что принявший на себя вину, сверх того, что предается покаянию (покаяние по решению суда – характеристическая особенность нашего законодательства), лишается еще и права вступать в новый брак» («Голос», 1873, № 138). Таким образом, если бы Анна Каренина «приняла вину на себя» и получила развод, она не могла бы выйти замуж за Вронского.

Алексей Александрович был, однако, так расстроен, что не сразу понял разумность прелюбодеяния по взаимному соглашению и выразил это недоумение в своем взгляде; но адвокат тотчас же помог ему:

– Люди не могут более жить вместе – вот факт. И если оба в этом согласны, то подробности и формальности становятся безразличны. А с тем вместе это есть простейшее и вернейшее средство.

Алексей Александрович вполне понял теперь. Но у него были религиозные требования, которые мешали допущению этой меры.

– Это вне вопроса в настоящем случае, – сказал он. – Тут только один случай возможен: уличение невольное, подтвержденное письмами, которые я имею.

При упоминании о письмах адвокат поджал губы и произвел тонкий соболезнующий и презрительный звук.

– Извольте видеть, – начал он. – Дела этого рода решаются, как вам известно, духовным ведомством; отцы же протопопы в делах этого рода большие охотники до мельчайших подробностей, – сказал он с улыбкой, показывающей сочувствие вкусу протопопов. – Письма, без сомнения, могут подтвердить отчасти; но улики должны быть добыты прямым путем, то есть свидетелями. Вообще же, если вы сделаете мне честь удостоить меня своим доверием, представьте мне же выбор тех мер, которые должны быть употреблены. Кто хочет результата, тот допускает и средства.

– Если так... – вдруг побледнев, начал Алексей Александрович, но в это время адвокат встал и опять вышел к двери к перебивавшему его помощнику.

– Скажите ей, что мы не на дешевых товарах! – сказал он и возвратился к Алексею Александровичу.

Возвращаясь к месту, он поймал незаметно еще одну моль. «Хорош будет мой трип к лету!» – подумал он, хмурясь.

– Итак, вы изволили говорить... – сказал он.

– Я сообщу вам свое решение письменно, – сказал Алексей Александрович, вставая, и взялся за стол. Постояв немного молча, он сказал: – Из слов ваших я могу заключить, следовательно, что совершение развода возможно. Я просил бы вас сообщить мне также, какие ваши условия.

– Возможно все, если вы предоставите мне полную свободу действий, – не отвечая на вопрос, сказал адвокат. – Когда я могу рассчитывать получить от вас известия? – спросил адвокат, подвигаясь к двери и блестя глазами и лаковыми сапожками.

– Через неделю. Ответ же ваш о том, принимаете ли вы на себя ходатайство по этому делу и на каких условиях, вы будете так добры, сообщите мне.

– Очень хорошо-с.

Адвокат почтительно поклонился, выпустил из двери клиента и, оставшись один, отдался своему радостному чувству. Ему стало так весело, что он, противно своим правилам, сделал уступку торговавшейся барыне и перестал ловить моль, окончательно решив, что к будущей зиме надо перебить мебель бархатом, как у Сигонины.

VI

Алексей Александрович одержал блестящую победу в заседании комиссии семнадцатого августа, но последствия этой победы подрезали его. Новая комиссия для исследования во всех отношениях быта инородцев была составлена и отправлена на место с необычайною, возбуждаемою Алексеем Александровичем быстротой и энергией. Через три месяца был представлен отчет. Быт инородцев был исследован в политическом, административном, экономическом, этнографическом, материальном и религиозном отношениях. На все вопросы были прекрасно

изложены ответы, и ответы, не подлежавшие сомнению, так как они не были произведением всегда подверженной ошибкам человеческой мысли, но все были произведением служебной деятельности. Ответы все были результатами официальных данных, донесений губернаторов и архиереев, основанных на донесениях уездных начальников и благочинных, основанных, с своей стороны, на донесениях волостных правлений и приходских священников; и потому все эти ответы были несомненны. Все те вопросы о том, например, почему бывают неурожаи, почему жители держатся своих верований и т. п., вопросы, которые без удобства служебной машины не разрешаются и не могут быть разрешены веками, получили ясное, несомненное разрешение. И решение было в пользу мнения Алексея Александровича. Но Стромов, чувствуя себя задетым за живое в последнем заседании, употребил при получении донесений комиссии неожиданную Алексеем Александровичем тактику. Стромов, увлекши за собой некоторых других членов, вдруг перешел на сторону Алексея Александровича и с жаром не только защищал приведение в действие мер, предлагаемых Карениным, но и предлагал другие крайние в том же духе. Меры эти, усиленные еще против того, что было основной мыслью Алексея Александровича, были приняты, и тогда обнажилась тактика Стримова. Меры эти, доведенные до крайности, вдруг оказались так глупы, что в одно и то же время и государственные люди, и общественное мнение, и умные дамы, и газеты – все обрушилось на эти меры, выражая свое негодование и против самих мер, и против их признанного отца, Алексея Александровича. Стромов же отстранился, делая вид, что он только слепо следовал плану Каренина и теперь сам удивлен и возмущен тем, что сделано. Это подрезало Алексея Александровича. Но, несмотря на падающее здоровье, несмотря на семейные горести, Алексей Александрович не сдавался. В комиссии произошел раскол. Одни члены со Стромовым во главе оправдывали свою ошибку тем, что они поверили ревизионной, руководимой Алексеем Александровичем комиссией, представившей донесение, и говорили, что донесение этой комиссии есть вздор и только исписанная бумага. Алексей Александрович с партией людей, видевших опасность такого революционного отношения к бумагам, продолжал поддерживать данные, выработанные ревизионной комиссией. Вследствие этого в высших сферах и даже в обществе все спуталось, и, несмотря на то, что всех это крайне интересовало, никто не мог понять, действительно ли бедствуют и погибают инородцы, или процветают. Положение Алексея Александровича вследствие этого и отчасти вследствие павшего на него презрения за неверность его жены стало весьма шатко. И в этом положении Алексей Александрович принял важное решение. Он, к удивлению комиссии, объявил, что он будет просить разрешения самому ехать на место для исследования дела. И, испросив разрешение, Алексей Александрович отправился в дальние губернии.

Отъезд Алексея Александровича наделал много шума, тем более что он при самом отъезде официально возвратил при бумаге прогонные деньги, выданные ему, на двенадцать лошадей для проезда до места назначения.

– Я нахожу, что это очень благородно, – говорила про это Бетси с княгиней Мягкою. – Зачем выдавать на почтовых лошадей, когда все знают, что везде теперь железные дороги?

Но княгиня Мягкая была несогласна, и мнение княгини Тверской даже раздражило ее.

– Вам хорошо говорить, – сказала она, – когда у вас миллионы я не знаю какие, а я очень люблю, когда муж ездит ревизовать летом. Ему очень здорово и приятно проехать, а у меня уж так заведено, что на эти деньги у меня экипаж и извозчик содержатся.

Проездом в дальние губернии Алексей Александрович остановился на три дня в Москве.

На другой день своего приезда он поехал с визитом к генерал-губернатору. На перекрестке у Газетного переулка, где всегда толпятся экипажи и извозчики, Алексей Александрович вдруг услышал свое имя, выкрикиваемое таким громким и веселым голосом, что он не мог не оглянуться. На углу тротуара, в коротком модном пальто, с короткою модною шляпою набекрень, сияя улыбкой белых зуб между красными губами, веселый, молодой, сияющий, стоял Степан Аркадьич, решительно и настоятельно кричавший и требовавший остановки. Он дер-

жался одною рукой за окно остановившейся на углу кареты, из окна которой высывались женская голова в бархатной шляпе и две детские головки, и улыбался и манил рукой зятя. Дама улыбалась доброю улыбкой и тоже махала рукой Алексею Александровичу. Это была Долли с детьми.

Алексей Александрович никого не хотел видеть в Москве, а менее всего брата своей жены. Он приподнял шляпу и хотел проехать, но Степан Аркадьич велел его кучеру остановиться и подбежал к нему чрез снег.

– Ну как не грех не прислать сказать! давно ли? А я вчера был у Дюссо и вижу на доске «Каренин», а мне и в голову не пришло, что это ты! – говорил Степан Аркадьич, всовываясь с головой в окно кареты. – А то я бы зашел. Как я рад тебя видеть! – говорил он, похлопывая ногу об ногу, чтобы отряхнуть с них снег. – Как не грех не дать знать! – повторил он.

– Мне некогда было, я очень занят, – сухо ответил Алексей Александрович.

– Пойдем же к жене, она так хочет тебя видеть.

Алексей Александрович развернул плед, под которым были закутаны его зябкие ноги, и, вылезши из кареты, пробрался чрез снег к Дарье Александровне.

– Что же это, Алексей Александрович, за что вы нас так обходите? – сказала Долли, грустно улыбаясь.

– Я очень занят был. Очень рад вас видеть, – сказал он тоном, который ясно говорил, что он огорчен этим. – Как ваше здоровье?

– Ну, что моя милая Анна?

Алексей Александрович промышал что-то и хотел уйти. Но Степан Аркадьич остановил его.

– А вот что мы сделаем завтра. Долли, зови его обедать! Позовем Кознышева и Песцова, чтоб его угостить московскою интеллигенцией.

– Так, пожалуйста, приезжайте, – сказала Долли, – мы вас будем ждать в пять, шесть часов, если хотите. Ну, что моя милая Анна? Как давно...

– Она здорова, – хмурясь, промышал Алексей Александрович. – Очень рад! – и он направился к своей карете.

– Будете? – прокричала Долли.

Алексей Александрович проговорил что-то, чего Долли не могла расслышать в шуме двигавшихся экипажей.

– Я завтра заеду! – прокричал ему Степан Аркадьич.

Алексей Александрович сел в карету и углубился в нее так, чтобы не видать и не быть видимым.

– Чудак! – сказал Степан Аркадьич жене и, взглянув на часы, сделал пред лицом движение рукой, означающее ласку жене и детям, и молодецки пошел по тротуару.

– Стива! Стива! – закричала Долли, покраснев.

Он обернулся.

– Мне ведь нужно пальто Грише купить и Тане. Дай же мне денег!

– Ничего, ты скажи, что я отдам, – и он скрылся, весело кивнув головой проезжавшему знакомому.

VII

На другой день было воскресенье. Степан Аркадьич заехал в Большой театр на репетицию балета и передал Маше Чибисовой, хорошенькой, вновь поступившей по его протекции танцовщице, обещанные накануне коральки, и за кулисой, в дневной темноте театра, успел поцеловать ее хорошенькое, просиявшее от подарка личико. Кроме подарка коральков, ему нужно было условиться с ней о свидании после балета. Объяснив ей, что ему нельзя быть к

началу балета, он обещался, что приедет к последнему акту и свезет ее ужинать. Из театра Степан Аркадьич заехал в Охотный ряд, сам выбрал рыбу и спаржу к обеду и в двенадцать часов был уже у Дюссо, где ему нужно было быть у троих, всех трех, как на его счастье, стоявших в одной гостинице: у Левина, остановившегося тут и недавно приехавшего из-за границы, у нового своего начальника, только что поступившего на это высшее место и ревизовавшего Москву, и у зятя Каренина, чтобы его непременно привезти обедать.

Степан Аркадьич любил пообедать, но еще более любил дать обед, небольшой, но утонченный и по еде, и по питью, и по выбору гостей. Программа нынешнего обеда ему очень понравилась: будут окуни живые, спаржа и *la piece de resistance*¹⁴⁰ – чудесный, но простой ростбиф и сообразные вины: это из еды и питья. А из гостей будут Кити и Левин, и, чтобы незаметно это было, будет еще кузина и Щербацкий молодой, и *la piece de resistance* из гостей – Кознышев Сергей и Алексей Александрович. Сергей Иванович – москвич и философ, Алексей Александрович – петербуржец и практик; да позовет еще известного чудака энтузиаста Песцова, либерала, говоруна, музыканта, историка и милейшего пятидесятилетнего юношу, который будет соус или гарнир Кознышеву и Каренину. Он будет раззадоривать и стравливать их.

Деньги от купца за лес по второму сроку были получены и еще не издержаны, Долли была очень мила и добра последнее время, и мысль этого обеда во всех отношениях радовала Степана Аркадьича. Он находился в самом веселом расположении духа. Были два обстоятельства немножко неприятные; но оба эти обстоятельства тонули в море добродушного веселья, которое волновалось в душе Степана Аркадьича. Эти два обстоятельства были: первое то, что вчера он, встретив на улице Алексея Александровича, заметил, что он сух и строг с ним, и, сведя это выражение лица Алексея Александровича и то, что он не приехал к ним и не дал знать о себе, с теми толками, которые он слышал об Анне и Вронском, Степан Аркадьич догадывался, что что-то не ладно между мужем и женою.

Это было одно неприятное. Другое немножко неприятное было то, что новый начальник, как все новые начальники, имел уж репутацию страшного человека, встающего в шесть часов утра, работающего, как лошадь, и требующего такой же работы от подчиненных. Кроме того, новый начальник этот еще имел репутацию медведя в обращении и был, по слухам, человек совершенно противоположного направления тому, к которому принадлежал прежний начальник и до сих пор принадлежал сам Степан Аркадьич. Вчера Степан Аркадьич являлся по службе в мундире, и новый начальник был очень любезен и разговорился с Облонским, как с знакомым; поэтому Степан Аркадьич считал своею обязанностью сделать ему визит в сюртуке. Мысль о том, что новый начальник может нехорошо принять его, было это другое неприятное обстоятельство. Но Степан Аркадьич инстинктивно чувствовал, что все *образуется* прекрасно. «Все люди, все человеки, как и мы грешные: из чего злиться и ссориться?» – думал он, входя в гостиницу.

– Здорово, Василий, – говорил он, в шляпе набекрень проходя по коридору и обращаясь к знакомому лакею, – ты бакенбарды отпустил? Левин – седьмой номер, а? Проводи, пожалуйста. Да узнай, граф Аничкин (это был новый начальник) примет ли?

– Слушаю-с, – улыбаясь, отвечал Василий. – Давно к нам не жаловали.

– Я вчера был, только с другого подъезда. Это седьмой?

Левин стоял с тверским мужиком посередине номера и мерил аршином свежую медвежью шкуру, когда вошел Степан Аркадьич.

– А, убили? – крикнул Степан Аркадьич. – Славная штука! Медведица? Здравствуй, Архип!

Он пожал руку мужику и присел на стул, не снимая пальто и шляпы.

– Да сними же, посиди! – снимая с него шляпу, сказал Левин.

¹⁴⁰ главное блюдо (франц.).

– Нет, мне некогда, я только на одну секундочку, – отвечал Степан Аркадьич. Он распахнул пальто, но потом снял его и просидел целый час, разговаривая с Левиным об охоте и о самых душевных предметах.

– Ну, скажи же, пожалуйста, что ты делал за границей? где был? – сказал Степан Аркадьич, когда мужик вышел.

– Да я был в Германии, в Пруссии, во Франции, в Англии, но не в столицах, а в фабричных городах, и много видел нового. И рад, что был.

– Да, я знаю твою мысль устройства рабочего.

– Совсем нет: в России не может быть вопроса рабочего. В России вопрос отношения рабочего народа к земле; он и там есть, но там это починка испорченного, а у нас...

Степан Аркадьич внимательно слушал Левина.

– Да, да! – говорил он. – Очень может быть, что ты прав, – сказал он. – Но я рад, что ты в бодром духе; и за медведями ездишь, и работаешь, и увлекаешься. А то мне Щербацкий говорил – он тебя встретил, – что ты в каком-то унынии, все о смерти говоришь...

– Да что же, я не перестаю думать о смерти, – сказал Левин. – Правда, что умирать пора. И что все это вздор. Я по правде тебе скажу: я мыслью своею и работой ужасно дорожу, но в сущности – ты подумай об этом: ведь весь этот мир наш – это маленькая плесень, которая выросла на крошечной планете. А мы думаем, что у нас может быть что-нибудь великое, – мысли, дела! Все это песчинки.

– Да это, брат, старо, как мир!

– Старо, но знаешь, когда это поймешь ясно, то как-то все делается ничтожно. Когда поймешь, что нынче-завтра умрешь и ничего не останется, то так все ничтожно! И я считаю очень важною свою мысль, а она оказывается так же ничтожна, если бы даже исполнить ее, как обойти эту медведицу. Так и проводишь жизнь, развлекаясь охотой, работой, – чтобы только не думать о смерти.

Степан Аркадьич тонко и ласково улыбался, слушая Левина.

– Ну, разумеется! Вот ты и пришел ко мне. Помнишь, ты нападал на меня за то, что я ищу в жизни наслаждений?

Не будь, о моралист, так строг!...¹⁴¹

– Нет, все-таки в жизни хорошее есть то... – Левин запутался. – Да я не знаю. Знаю только, что померю скоро.

– Зачем же скоро?

– И знаешь, прелести в жизни меньше, когда думаешь о смерти, – но спокойнее.

– Напротив, на последях еще веселей. Ну, однако, мне пора, – сказал Степан Аркадьич, вставая в десятый раз.

– Да нет, посиди! – говорил Левин, удерживая его. – Теперь когда же увидимся? Я завтра еду.

– Я-то хорош! Я затем приехал... Непременно приезжай нынче ко мне обедать. Брат твой будет, Каренин, мой зять, будет.

– Разве он здесь? – сказал Левин и хотел спросить про Кити. Он слышал, что она была в начале зимы в Петербурге у своей сестры, жены дипломата, и не знал, вернулась ли она, или нет, но раздумал расспрашивать. «Будет, не будет – все равно».

– Так приедешь?

– Ну, разумеется.

¹⁴¹ *Не будь, о моралист, так строг!..* – начальная строка стихотворения Фета «Из Гафиза»; у Фета: «Не будь, о богослов, так строг! Не дуйся, моралист, на всех!»

– Так в пять часов и в сюртуке.

И Степан Аркадьич встал и пошел вниз к новому начальнику. Инстинкт не обманул Степана Аркадьича. Новый страшный начальник оказался весьма обходительный человек, и Степан Аркадьич позавтракал с ним и засиделся так, что только в четвертом часу попал к Алексею Александровичу.

VIII

Алексей Александрович, вернувшись от обедни, проводил все утро дома. В это утро ему предстояло два дела: во-первых, принять и направить отправляющуюся в Петербург и находившуюся теперь в Москве депутацию инородцев; во-вторых, написать обещанное письмо адвокату. Депутация, хотя и вызванная по инициативе Алексея Александровича, представляла много неудобств и даже опасностей, и Алексей Александрович был очень рад, что застал ее в Москве. Члены этой депутации не имели ни малейшего понятия о своей роли и обязанности. Они были наивно уверены, что их дело состоит в том, чтоб излагать свои нужды и настоящее положение вещей, прося помощи правительства, и решительно не понимали, что некоторые заявления и требования их поддерживали враждебную партию и потому губили все дело. Алексей Александрович долго возился с ними, написал им программу, из которой они не должны были выходить, и, отпустив их, написал письма в Петербург для направления депутации. Главным помощником в этом деле должна была быть графиня Лидия Ивановна. Она была специалистка в деле депутатий, и никто, как она, не умел муссировать и давать настоящее направление депутациям. Окончив это, Алексей Александрович написал и письмо адвокату. Он без малейшего колебания дал ему разрешение действовать по его благоусмотрению. В письмо он вложил три записки Вронского к Анне, которые нашлись в отнятом портфеле.

С тех пор, как Алексей Александрович выехал из дома с намерением не возвращаться в семью, и с тех пор, как он был у адвоката и сказал хоть одному человеку о своем намерении, с тех пор особенно, как он перевел это дело жизни в дело бумажное, он все больше и больше привыкал к своему намерению и видел теперь ясно возможность его исполнения.

Он запечатывал конверт к адвокату, когда услышал громкие звуки голоса Степана Аркадьича. Степан Аркадьич спорил со слугой Алексея Александровича и настаивал на том, чтоб о нем было доложено.

«Все равно, – подумал Алексей Александрович, – тем лучше: я сейчас объявлю о своем положении в отношении к его сестре и объясню, почему я не могу обедать у него».

– Проси! – громко проговорил он, сбирая бумаги и укладывая их в бювар.

– Но вот видишь ли, что ты врешь, и он дома! – ответил голос Степана Аркадьича лакею, не пускавшему его, и, на ходу снимая пальто, Облонский вошел в комнату. – Ну, я очень рад, что застал тебя! Так я надеюсь... – весело начал Степан Аркадьич.

– Я не могу быть, – холодно, стоя и не сажая гостя, сказал Алексей Александрович.

Алексей Александрович думал тотчас стать в те холодные отношения, в которых он должен был быть с братом жены, против которой он начинал дело развода; но он не рассчитывал на то море добродушия, которое выливалось из берегов в душе Степана Аркадьича.

Степан Аркадьич широко открыл свои блестящие, ясные глаза.

– Отчего ты не можешь? Что ты хочешь сказать? – с недоумением сказал он по-французски. – Нет, уж это обещано. И мы все рассчитываем на тебя.

– Я хочу сказать, что не могу быть у вас, потому что те родственные отношения, которые были между нами, должны прекратиться.

– Как? То есть как же? Почему? – с улыбкой проговорил Степан Аркадьич.

– Потому что я начинаю дело развода с вашей сестрой, моей женой. Я должен был...

Но Алексей Александрович еще не успел окончить своей речи, как Степан Аркадьич уже поступил совсем не так, как он ожидал. Степан Аркадьич охнул и сел в кресло.

– Нет, Алексей Александрович, что ты говоришь! – вскрикнул Облонский, и страдание выразилось на его лице.

– Это так.

– Извини меня, я не могу и не могу этому верить...

Алексей Александрович сел, чувствуя, что слова его не имели того действия, которое он ожидал, и что ему необходимо нужно будет объясняться, и что, какие бы ни были его объяснения, отношения его к шуринам останутся те же.

– Да, я поставлен в тяжелую необходимость требовать развода, – сказал он.

– Я одно скажу, Алексей Александрович. Я знаю тебя за отличного, справедливого человека, знаю Анну – извини меня, я не могу переменить о ней мнения – за прекрасную, отличную женщину, и потому, извини меня, я не могу верить этому. Тут есть недоразумение, – сказал он.

– Да, если б это было только недоразумение...

– Позволь, я понимаю, – перебил Степан Аркадьич. – Но, разумеется... одно: не надо торопиться. Не надо, не надо торопиться!

– Я не торопился, – холодно сказал Алексей Александрович, – а советоваться в таком деле ни с кем нельзя. Я твердо решил.

– Это ужасно! – сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув. – Я бы одно сделал, Алексей Александрович. Умоляю тебя, сделай это! – сказал он. – Дело еще не начато, как я понял. Прежде чем ты начнешь дело, повидайся с моею женой, поговори с ней. Она любит Анну, как сестру, любит тебя, и она удивительная женщина. Ради Бога, поговори с ней! Сделай мне эту дружбу, умоляю тебя!

Алексей Александрович задумался, и Степан Аркадьич с участием смотрел на него, не прерывая его молчания.

– Ты съездишь к ней?

– Да я не знаю. Я потому не был у вас. Я полагаю, что наши отношения должны измениться.

– Отчего же? Я не вижу этого. Позволь мне думать, что, помимо наших родственных отношений, ты имеешь ко мне, хотя отчасти, те дружеские чувства, которые я всегда имел к тебе... И истинное уважение, – сказал Степан Аркадьич, пожимая его руку. – Если б даже худшие предположения твои были справедливы, я не беру и никогда не возьму на себя судить ту или другую сторону и не вижу причины, почему наши отношения должны измениться. Но теперь, сделай это, приезжай к жене.

– Ну, мы иначе смотрим на это дело, – холодно сказал Алексей Александрович. – Впрочем, не будем говорить об этом.

– Нет, почему же тебе не приехать? Хоть нынче обедать? Жена ждет тебя. Пожалуйста, приезжай. И главное, переговори с ней. Она удивительная женщина. Ради Бога, на коленях умоляю тебя!

– Если вы так хотите этого – я приеду, – вздохнув, сказал Алексей Александрович.

И, желая переменить разговор, он спросил о том, что интересовало их обоих, – о новом начальнике Степана Аркадьича, еще не старом человеке, получившем вдруг такое высокое назначение.

Алексей Александрович и прежде не любил графа Аничкина и всегда расходился с ним во мнениях, но теперь не мог удерживаться от понятной для служащих ненависти человека, потерпевшего поражение на службе, к человеку, получившему повышение.

– Ну что, видел ты его? – сказал Алексей Александрович с ядовитой усмешкой.

– Как же, он вчера был у нас в присутствии. Он, кажется, знает дело отлично и очень деятелен.

– Да, но на что направлена его деятельность? – сказал Алексей Александрович. – На то ли, чтобы делать дело, или переделывать то, что сделано? Несчастье нашего государства – это бумажная администрация, которой он достойный представитель.

– Право, я не знаю, что в нем можно осуждать. Направления его я не знаю, но одно – он отличный малый, – отвечал Степан Аркадьич. – Я сейчас был у него, и право, отличный малый. Мы позавтракали, и я его научил делать, знаешь, это питье, вино с апельсинами. Это очень прохлаждает. И удивительно, что он не знал этого. Ему очень понравилось. Нет, право, он славный малый.

Степан Аркадьич взглянул на часы.

– Ах, батюшки, уж пятый, а мне еще к Долговушину! Так, пожалуйста: приезжай обедать. Ты не можешь себе представить, как ты меня огорчишь и жену.

Алексей Александрович проводил шурина совсем уже не так, как он его встретил.

– Я обещал и приеду, – отвечал он уныло.

– Поверь, что я ценю, и надеюсь, ты не раскаешься, – отвечал, улыбаясь, Степан Аркадьич.

И, на ходу надевая пальто, он задел рукой по голове лакея, засмеялся и вышел.

– В пять часов, и в сюртуке, пожалуйста! – крикнул он еще раз, возвращаясь к двери.

IX

Уже был шестой час, и уже некоторые гости приехали, когда приехал и сам хозяин. Он вошел вместе с Сергеем Ивановичем Кознышевым и Песцовым, которые в одно время столкнулись у подъезда. Это были два главные представителя московской интеллигенции, как называл их Облонский. Оба были люди уважаемые и по характеру и по уму. Они уважали друг друга, но почти во всем были совершенно и безнадежно несогласны между собою – не потому, чтоб они принадлежали к противоположным направлениям, но именно потому, что были одного лагеря (враги их смешивали в одно), но в этом лагере они имели каждый свой оттенок. А так как нет ничего неспособнее к соглашению, как разномыслие в полуотвлеченностях, то они не только никогда не сходились в мнениях, но привыкли уже давно, не сердясь, только посмеиваться неисправимому заблуждению один другого.

Они входили в дверь, разговаривая о погоде, когда Степан Аркадьич догнал их. В гостиной сидели уже князь Александр Дмитриевич, тесть Облонского, молодой Щербацкий, Туровцын, Кити и Каренин.

Степан Аркадьич тотчас же увидел, что в гостиной без него дело идет плохо. Дарья Александровна, в своем парадном сером шелковом платье, очевидно озабоченная и детьми, которые должны обедать в детской одни, и тем, что мужа еще нет, не сумела без него хорошенько перемешать все это общество. Все сидели, как поповны в гостях (как выражался старый князь), очевидно в недоумении, зачем они сюда попали, выжимая слова, чтобы не молчать. Добродушный Туровцын, очевидно, чувствовал себя не в своей сфере, и улыбка толстых губ, с которою он встретил Степана Аркадьича, как словами, говорила: «Ну, брат, засадил ты меня с умными! Вот выпить и в Chateau des fleurs – это по моей части». Старый князь сидел молча, сбоку поглядывая своими блестящими глазками на Каренина, и Степан Аркадьич понял, что он придумал уже какое-нибудь словцо, чтоб отпечатать этого государственного мужа, на которого, как на стерлядь, зовут в гости. Кити смотрела на дверь, сбираясь с силами, чтобы не покраснеть при входе Константина Левина. Молодой Щербацкий, с которым не познакомили Каренина, старался показать, что это несколько его не стесняет. Сам Каренин был, по петербургской привычке, на обеде с дамами во фраке и белом галстуке, и Степан Аркадьич по его лицу понял, что он приехал, только чтоб исполнить данное слово, и, присутствуя в этом обществе, совершал

тяжелый долг. Он-то был главным виновником холода, заморозившего всех гостей до приезда Степана Аркадьича.

Войдя в гостиную, Степан Аркадьич извинился, объяснил, что был задержан тем князем, который был всегдашним козлом-искупителем всех его опаздываний и отлучек, и в одну минуту всех перезнакомил и, сведя Алексея Александровича с Сергеем Кознышевым, подпустил им тему об обрусении Польши, за которую они тотчас уцепились вместе с Песцовым. Потрепав по плечу Туровцына, он шепнул ему что-то смешное и подсадил его к жене и к князю. Потом сказал Кити о том, что она очень хороша сегодня, и познакомил Щербацкого с Карениным. В одну минуту он так перемесил все это общественное тесто, что стала гостиная хоть куда, и голоса оживленно зазвучали. Одного Константина Левина не было. Но это было к лучшему, потому что, выйдя в столовую, Степан Аркадьич, к ужасу своему, увидел, что портвейн и херес взяты от Дебре, а не от Лева, и он, распорядившись послать кучера как можно скорее к Лева, направился опять в гостиную.

В столовой ему встретился Константин Левин.

– Я не опоздал?

– Разве ты можешь не опоздать! – взяв его под руку, сказал Степан Аркадьич.

– У тебя много народа? Кто да кто? – невольно краснея, спросил Левин, обивая перчаткой снег с шапки.

– Всё свои. Кити тут. Пойдем же, я тебя познакомлю с Карениным.

Степан Аркадьич, несмотря на свою либеральность, знал, что знакомство с Карениным не может не быть лестно, и потому угощал этим лучших приятелей. Но в эту минуту Константин Левин не в состоянии был чувствовать всего удовольствия этого знакомства. Он не видал Кити после памятного ему вечера, на котором он встретил Вронского, если не считать ту минуту, когда он увидел ее на большой дороге. Он в глубине души знал, что он ее увидит нынче здесь. Но он, поддерживая в себе свободу мысли, старался уверить себя, что он не знает этого. Теперь же, когда он услышал, что она тут, он вдруг почувствовал такую радость и вместе такой страх, что ему захватило дыхание, и он не мог выговорить того, что хотел сказать.

«Какая, какая она? Та ли, какая была прежде, или та, какая была в карете? Что, если правду говорила Дарья Александровна? Отчего же и не правда?» – думал он.

– Ах, пожалуйста, познакомь меня с Карениным, – с трудом выговорил он и отчаянно-решительным шагом вошел в гостиную и увидел ее.

Она была ни такая, как прежде, ни такая, как была в карете; она была совсем другая.

Она была испуганная, робкая, пристыженная и оттого еще более прелестная. Она увидела его в то же мгновение, как он вошел в комнату. Она ждала его. Она обрадовалась и смутилась от своей радости до такой степени, что была минута, именно та, когда он подходил к хозяйке и опять взглянул на нее, что и ей, и ему, и Долли, которая все видела, казалось, что она не выдержит и заплачет. Она покраснела, побледнела, опять покраснела и замерла, чуть вздрагивая губами, ожидая его. Он подошел к ней, поклонился и молча протянул руку. Если бы не легкое дрожание губ и влажность, покрывавшая глаза и прибавившая им блеска, улыбка ее была почти спокойна, когда она сказала:

– Как мы давно не видались! – и она с отчаянною решительностью пожала своею холодною рукой его руку.

– Вы не видали меня, а я видел вас, – сказал Левин, сияя улыбкой счастья. – Я видел вас, когда вы с железной дороги ехали в Ергушово.

– Когда? – спросила она с удивлением.

– Вы ехали в Ергушово, – говорил Левин, чувствуя, что он захлебывается от счастья, которое заливают его душу. «И как я смел соединять мысль о чем-нибудь невинном с этим трогательным существом! И да, кажется, правда то, что говорила Дарья Александровна», – думал он.

Степан Аркадьич взял его за руку и подвел к Каренину.

– Позвольте вас познакомить. – Он назвал их имена.

– Очень приятно опять встретиться, – холодно сказал Алексей Александрович, пожимая руку Левину.

– Вы знакомы? – с удивлением спросил Степан Аркадьич.

– Мы провели вместе три часа в вагоне, – улыбаясь, сказал Левин, – но вышли, как из маскарада, заинтригованные, я по крайней мере.

– Вот как! Милости просим, – сказал Степан Аркадьич, указывая по направлению к столовой.

Мужчины вышли в столовую и подошли к столу с закуской, уставленному шестью сортами водок и столькими же сортами сыров с серебряными лопаточками и без лопаточек, икрами, селедками, консервами разных сортов и тарелками с ломтиками французского хлеба.

Мужчины стояли около пахучих водок и закусок, и разговор об обрусении Польши между Сергеем Ивановичем Кознышевым, Карениным и Песцовым затихал в ожидании обеда.

Сергей Иванович, умеющий, как никто, для окончания самого отвлеченного и серьезного спора неожиданно подсыпать аттической соли¹⁴² и этим изменять настроение собеседников, сделал это и теперь.

Алексей Александрович доказывал, что обрусение Польши может совершиться только вследствие высших принципов, которые должны быть внесены русскою администрацией.

Песцов настаивал на том, что один народ ассимилирует себе другой, только когда он гуще населен.

Кознышев признавал то и другое, но с ограничениями. Когда же они выходили из гостиной, чтобы заключить разговор, Кознышев сказал, улыбаясь:

– Поэтому для обрусения инородцев есть одно средство – выводить как можно больше детей. Вот мы с братом хуже всех действуем. А вы, господа женатые люди, в особенности вы, Степан Аркадьич, действуете вполне патриотически; у вас сколько? – обратился он, ласково улыбаясь хозяину и подставляя ему крошечную рюмочку.

Все засмеялись, и в особенности весело Степан Аркадьич.

– Да, вот это самое лучшее средство! – сказал он, прожевывая сыр и наливая какую-то особенного сорта водку в подставленную рюмку. Разговор действительно прекратился на шутке.

– Этот сыр недурен. Прикажете? – говорил хозяин. – Неужели ты опять был на гимнастике? – обратился он к Левину, левою рукой ощупывая его мышцу. Левин улыбнулся, напряжил руку, и под пальцами Степана Аркадьича, как круглый сыр, поднялся стальной бугор из-под тонкого сукна сюртука.

– Вот бицепс-то! Самсон!

– Я думаю, надо иметь большую силу для охоты на медведей, – сказал Алексей Александрович, имевший самые туманные понятия об охоте, намазывая сыр и прорывая тоненький, как паутина, мякиш хлеба.

Левин улыбнулся.

– Никакой. Напротив, ребенок может убить медведя, – сказал он, сторонясь с легким поклоном пред дамами, которые с хозяйкой подходили к столу закусок.

– А вы убили медведя, мне говорили? – сказала Кити, тщетно стараясь поймать вилкой непокорный, отскальзывающий гриб и встряхивая кружевными, сквозь которые белела ее рука. – Разве у вас есть медведи? – прибавила она, вполоборота повернув к нему свою прелестную головку и улыбаясь.

¹⁴² *Аттическая соль* – ирония, язвительность, едкое и остроумное замечание (от латинского изречения «Cum grano salis»).

Ничего, казалось, не было необыкновенного в том, что она сказала, но какое невыразимое для него словами значение было в каждом звуке, в каждом движении ее губ, глаз, руки, когда она говорила это! Тут была и просьба о прощении, и доверие к нему, и ласка, нежная, робкая ласка, и обещание, и надежда, и любовь к нему, в которую он не мог не верить и которая душила его счастьем.

– Нет, мы ездили в Тверскую губернию. Возвращаясь оттуда, я встретился в вагоне с вашим бофрером¹⁴³ или вашего бофрера зятем, – сказал он с улыбкой. – Это была смешная встреча.

И он весело и забавно рассказал, как он, не спав всю ночь, в полушубке ворвался в отделение Алексея Александровича.

– Кондуктор, противно пословице, хотел по платью проводить меня вон; но тут уж я начал выражаться высоким слогом, и... вы тоже, – сказал он, забыв его имя и обращаясь к Каренину, – сначала по полушубку хотели тоже изгнать меня, но потом заступились, за что я очень благодарен.

– Вообще весьма неопределенные права пассажиров на выбор места, – сказал Алексей Александрович, обтирая платком концы своих пальцев.

– Я видел, что вы были в нерешительности насчет меня, – добродушно улыбаясь, сказал Левин, – но я поторопился начать умный разговор, чтобы загладить свой полушубок.

Сергей Иванович, продолжая разговор с хозяйкой и одним ухом слушая брата, покосился на него. «Что это с ним нынче? Таким победителем», – подумал он. Он не знал, что Левин чувствовал, что у него выросли крылья. Левин знал, что она слышит его слова и что ей приятно его слышать. И это одно только занимало его. Не в одной этой комнате, но во всем мире для него существовали только он, получивший для себя огромное значение и важность, и она. Он чувствовал себя на высоте, от которой кружилась голова, и там где-то внизу, далеко, были все эти добрые, славные Каренины, Облонские и весь мир.

Совершенно незаметно, не взглянув на них, а так, как будто уж некуда было больше посадить, Степан Аркадьич посадил Левина и Кити рядом.

– Ну, ты хоть сюда сядь, – сказал он Левину.

Обед был так же хорош, как и посуда, до которой был охотник Степан Аркадьич. Суп Мари-Луиз удался прекрасно; пирожки крошечные, тающие во рту, были безукоризненны. Два лакея и Матвей, в белых галстуках, делали свое дело с кушаньем и вином незаметно, тихо и споро. Обед с материальной стороны удался; не менее он удался и со стороны нематериальной. Разговор, то общий, то частный, не умолкал и к концу обеда так оживился, что мужчины встали из-за стола, не переставая говорить, и даже Алексей Александрович оживился.

X

Песцов любил рассуждать до конца и не удовлетворился словами Сергея Ивановича, тем более, что он почувствовал несправедливость своего мнения.

– Я никогда не разумел, – сказал он за супом, обращаясь к Алексею Александровичу, – одну густоту населения, но в соединении с основами, а не с принципами.

– Мне кажется, – неторопливо и вяло отвечал Алексей Александрович, – что это одно и то же. По моему мнению, действовать на другой народ может только тот, который имеет высшее развитие, который...

– Но в том и вопрос, – перебил своим басом Песцов, который всегда торопился говорить и, казалось, всегда всю душу полагал на то, о чем он говорил, – в чем полагать высшее развитие? Англичане, французы, немцы, – кто стоит на высшей степени развития? Кто будет

¹⁴³ деверем – beau frere (франц.).

национализировать один другого? Мы видим, что Рейн офранцузился, а немцы не ниже стоят! – кричал он. – Тут есть другой закон!

– Мне кажется, что влияние всегда на стороне истинного образования, – сказал Алексей Александрович, слегка поднимая брови.

– Но в чем же мы должны полагать признаки истинного образования? – сказал Песцов.

– Я полагаю, что признаки эти известны, – сказал Алексей Александрович.

– Вполне ли они известны? – с тонкою улыбкой вмешался Сергей Иванович. – Теперь признано, что настоящее образование может быть только чисто классическое¹⁴⁴; но мы видим ожесточенные споры той и другой стороны, и нельзя отрицать, чтоб и противный лагерь не имел сильных доводов в свою пользу.

– Вы классик, Сергей Иванович. Прикажете красного? – сказал Степан Аркадьич.

– Я не высказываю своего мнения о том и другом образовании, – с улыбкой снисхождения, как к ребенку, сказал Сергей Иванович, подставляя свой стакан, – я только говорю, что обе стороны имеют сильные доводы, – продолжал он, обращаясь к Алексею Александровичу. – Я классик по образованию, но в споре этом я лично не могу найти своего места. Я не вижу ясных доводов, почему классическим наукам дано преимущество пред реальными.

– Естественные имеют столь же педагогически-развивательное влияние, – подхватил Песцов. – Возьмите одну астрономию, возьмите ботанику, зоологию с ее системой общих законов!

– Я не могу вполне с этим согласиться, – отвечал Алексей Александрович. – Мне кажется, что нельзя не признать того, что самый процесс изучения форм языков особенно благотворно действует на духовное развитие. Кроме того, нельзя отрицать и того, что влияние классических писателей в высшей степени нравственное, тогда как, к несчастью, с преподаванием естественных наук соединяются те вредные и ложные учения, которые составляют язву нашего времени.

Сергей Иванович хотел что-то сказать, но Песцов своим густым басом перебил его. Он горячо начал доказывать несправедливость этого мнения. Сергей Иванович спокойно дожидался слова, очевидно с готовым победительным возражением.

– Но, – сказал Сергей Иванович, тонко улыбаясь и обращаясь к Каренину, – нельзя не согласиться, что взвесить вполне все выгоды и невыгоды тех и других наук трудно и что вопрос о том, какие предпочесть, не был бы решен так скоро и окончательно, если бы на стороне классического образования не было того преимущества, которое вы сейчас высказали: нравственного – *disons le mot*¹⁴⁵ – антинигилистического влияния.

– Без сомнения.

– Если бы не было этого преимущества антинигилистического влияния на стороне классических наук, мы бы больше подумали, взвесили бы доводы обеих сторон, – с тонкою улыбкой говорил Сергей Иванович, – мы бы дали простор тому и другому направлению. Но теперь мы знаем, что в этих пилюлях классического образования лежит целебная сила антинигилизма, и мы смело предлагаем их нашим пациентам... А что, как нет и целебной силы? – заключил он, высыпая аттический соль.

При пилюлях Сергея Ивановича все засмеялись, и в особенности громко и весело Туровцы, дождавшийся, наконец, того смешного, чего он только и ждал, слушая разговор.

¹⁴⁴ *Теперь признано, что настоящее образование может быть только чисто классическое...* – В 1871 г. по проекту министра народного просвещения графа Д. А. Толстого были учреждены реальные училища и классические гимназии. Преподавание естественных наук считалось источником опасных идей неверия и материализма. «Естествоиспытатель и демократ как-то сплелись для нас в одно нераздельное целое», – отмечал Н. К. Михайловский («Отечественные записки», 1875, № 1, с. 142). Толстой относился к школьной реформе с иронией и ясно видел ее политический смысл: «латинский язык: чтобы отвлечь от нигилизма» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, с. 60).

¹⁴⁵ скажем прямо (*франц.*).

Степан Аркадьич не ошибся, пригласив Песцова. С Песцовым разговор умный не мог умолкнуть ни на минуту. Только что Сергей Иванович заключил разговор своей шуткой, Песцов тотчас поднял новый.

– Нельзя согласиться даже с тем, – сказал он, – чтобы правительство имело эту цель. Правительство, очевидно, руководствуется общими соображениями, оставаясь индифферентным к влияниям, которые могут иметь принимаемые меры. Например, вопрос женского образования должен бы был считаться зловредным, но правительство открывает женские курсы и университеты.

И разговор тотчас же перескочил на новую тему женского образования.

Алексей Александрович выразил мысль о том, что образование женщин обыкновенно смешивается с вопросом о свободе женщин и только поэтому может считаться вредным.

– Я, напротив, полагаю, что эти два вопроса неразрывно связаны, – сказал Песцов, – это ложный круг. Женщина лишена прав по недостатку образования, а недостаток образования происходит от отсутствия прав. Надо не забывать того, что порабощение женщин так велико и старо, что мы часто не хотим понимать ту пучину, которая отделяет их от нас, – говорил он.

– Вы сказали – права, – сказал Сергей Иванович, дождавшись молчания Песцова, – права занимания должностей присяжных, гласных, председателей управ, права служащего, члена парламента...

– Без сомнения.

– Но если женщины, как редкое исключение, и могут занимать эти места, то, мне кажется, вы неправильно употребили выражение «права». Вернее бы было сказать: обязанности. Всякий согласится, что, исполняя какую-нибудь должность присяжного, гласного, телеграфного чиновника, мы чувствуем, что исполняем обязанность. И потому вернее выразиться, что женщины ищут обязанностей, и совершенно законно. И можно только сочувствовать этому их желанию помочь общему мужскому труду.

– Совершенно справедливо, – подтвердил Алексей Александрович. – Вопрос, я полагаю, состоит только в том, способны ли они к этим обязанностям.

– Вероятно, будут очень способны, – вставил Степан Аркадьич, – когда образование будет распространено между ними. Мы это видим...

– А пословица? – сказал князь, давно уж прислушиваясь к разговору и блестя своими маленькими насмешливыми глазами, – при дочерях можно: волос долог...

– Точно так же думали о неграх до их освобождения! – сердито сказал Песцов.

– Я нахожу только странным, что женщины ищут новых обязанностей, – сказал Сергей Иванович, – тогда как мы, к несчастью, видим, что мужчины обыкновенно избегают их.

– Обязанности сопряжены с правами; власть, деньги, почести: их-то ищут женщины, – сказал Песцов.

– Все равно, что я бы искал права быть кормилицей и обижался бы, что женщинам платят, а мне не хотят, – сказал старый князь.

Туровцын разразился громким смехом, и Сергей Иванович пожалел, что не он сказал это. Даже Алексей Александрович улыбнулся.

– Да, но мужчина не может кормить, – сказал Песцов, – а женщина...

– Нет, англичанин выкормил на корабле своего ребенка, – сказал старый князь, позволяя себе эту вольность разговора при своих дочерях.

– Сколько таких англичан, столько же и женщин будет чиновников, – сказал уже Сергей Иванович.

– Да, но что же делать девушке, у которой нет семьи? – вступился Степан Аркадьич, вспоминая о Чибисовой, которую он все время имел в виду, сочувствуя Песцову и поддерживая его.

– Если хорошенько разобрать историю этой девушки, то вы найдете, что эта девушка бросила семью, или свою, или сестрину, где бы она могла иметь женское дело, – неожиданно вступая в разговор, сказала с раздражительностью Дарья Александровна, вероятно догадываясь, какую девушку имел в виду Степан Аркадьич.

– Но мы стоим за принцип, за идеал! – звучным басом возражал Песцов. – Женщина хочет иметь право быть независимой, образованной. Она стеснена, подавлена сознанием невозможности этого.

– А я стеснен и подавлен тем, что меня не примут в кормилицы в воспитательный дом, – опять сказал старый князь, к великой радости Туровцына, со смеху уронившего спаржу толстым концом в соус.

XI

Все принимали участие в общем разговоре, кроме Кити и Левина. Сначала, когда говорилось о влиянии, которое имеет один народ на другой, Левину невольно приходило в голову то, что он имел сказать по этому предмету; но мысли эти, прежде для него очень важные, как бы во сне мелькали в его голове и не имели для него теперь ни малейшего интереса. Ему даже странно казалось, зачем они так стараются говорить о том, что никому не нужно. Для Кити точно так же, казалось, должно бы быть интересно то, что они говорили о правах и образовании женщин. Сколько раз она думала об этом, вспоминая о своей заграничной приятельнице Вареньке, о ее тяжелой зависимости, сколько раз думала про себя, что с ней самой будет, если она не выйдет замуж, и сколько раз спорила об этом с сестрою! Но теперь это нисколько не интересовало ее. У них шел свой разговор с Левиным, и не разговор, а какое-то таинственное общение, которое с каждою минутой все ближе связывало их и производило в обоих чувство радостного страха пред тем неизвестным, в которое они вступали.

Сначала Левин, на вопрос Кити о том, как он мог видеть ее прошлого года в карете, рассказал ей, как он шел с покоса по большой дороге и встретил ее.

– Это было рано-рано утром. Вы, верно, только проснулись. Маман ваша спала в своем уголке. Чудное утро было. Я иду и думаю: кто это четверней в карете? Славная четверка с бубенчиками, и на мгновение вы мелькнули, и вижу я в окно – вы сидите вот так и обеими руками держите завязки чепчика и о чем-то ужасно задумались, – говорил он, улыбаясь. – Как бы я желал знать, о чем вы тогда думали. О важном?

«Не была ли растрепана?» – подумала она; но, увидав восторженную улыбку, которую вызывали в его воспоминании эти подробности, она почувствовала, что, напротив, впечатление, произведенное ею, было очень хорошее. Она покраснела и радостно засмеялась.

– Право, не помню.

– Как хорошо смеется Туровцын! – сказал Левин, любуясь на его влажные глаза и трясущееся тело.

– Вы давно его знаете? – спросила Кити.

– Кто его не знает!

– И я вижу, что вы думаете, что он дурной человек?

– Не дурной, а ничтожный.

– И неправда! И поскорей не думайте больше так! – сказала Кити. – Я тоже была о нем очень низкого мнения, но это, это – премилый и удивительно добрый человек. Сердце у него золотое.

– Как это вы могли узнать его сердце?

– Мы с ним большие друзья. Я очень хорошо знаю его. Прошлую зиму, вскоре после того... как вы у нас были, – сказала она с виноватою и вместе доверчивою улыбкой, – у Долли дети все были в скарлатине, и он зашел к ней как-то. И можете себе представить, – говорила

она шепотом, – ему так жалко стало ее, что он остался и стал помогать ей ходить за детьми. Да, и три недели прожил у них в доме и как нянька ходил за детьми.

– Я рассказываю Константину Дмитричу про Туровцына в scarлатине, – сказала она, перегнувшись к сестре.

– Да, удивительно, прелесть! – сказала Долли, взглядывая на Туровцына, чувствовавшего, что говорили о нем, и кротко улыбаясь ему. Левин еще раз взглянул на Туровцына и удивился, как он прежде не понимал всей прелести этого человека.

– Виноват, виноват, и никогда не буду больше дурно думать о людях! – весело сказал он, искренно высказывая то, что он теперь чувствовал.

ХII

В затеянном разговоре о правах женщин были щекотливые при дамах вопросы о неравенстве прав в браке. Песцов во время обеда несколько раз налетал на эти вопросы, но Сергей Иванович и Степан Аркадьич осторожно отклоняли его.

Когда же встали из-за стола и дамы вышли, Песцов, не следуя за ними, обратился к Алексею Александровичу и принялся высказывать главную причину неравенства. Неравенство супругов, по его мнению, состояло в том, что неверность жены и неверность мужа казнятся неравно и законом и общественным мнением.

Степан Аркадьич поспешно подошел к Алексею Александровичу, предлагая ему курить.

– Нет, я не курю, – спокойно отвечал Алексей Александрович и, как бы умышленно желая показать, что он не боится этого разговора, обратился с холодной улыбкой к Песцову.

– Я полагаю, что основания такого взгляда лежат в самой сущности вещей, – сказал он и хотел пройти в гостиную; но тут вдруг неожиданно заговорил Туровцын, обращаясь к Алексею Александровичу.

– А вы изволили слышать о Прячникове? – сказал Туровцын, оживленный выпитым шампанским и давно ждавший случая прервать тяготившее его молчание. – Вася Прячников, – сказал он с своею доброю улыбкой влажных и румяных губ, обращаясь преимущественно к главному гостю, Алексею Александровичу, – мне нынче рассказывали, он дрался на дуэли в Твери с Квитским и убил его.

Как всегда кажется, что зашибаешь, как нарочно, именно больное место, так и теперь Степан Аркадьич чувствовал, что на беду нынче каждую минуту разговор нападал на больное место Алексея Александровича. Он хотел опять отвести зятя, но сам Алексей Александрович с любопытством спросил:

– За что дрался Прячников?

– За жену. Молодцом поступил! Вызвал и убил!

– А! – равнодушно сказал Алексей Александрович и, подняв брови, прошел в гостиную.

– Как я рада, что вы пришли, – сказала ему Долли с испуганною улыбкой, встречая его в проходной гостиной, – мне нужно поговорить с вами. Сядемте здесь.

Алексей Александрович с тем же выражением равнодушия, которое придавали ему приподнятые брови, сел подле Дарьи Александровны и притворно улыбнулся.

– Тем более, – сказал он, – что я и хотел просить вашего извинения и тотчас откланяться. Мне завтра надо ехать.

Дарья Александровна была твердо уверена в невинности Анны и чувствовала, что она бледнеет и губы ее дрожат от гнева на этого холодного, бесчувственного человека, так покойно намеревающегося погубить ее невинного друга.

– Алексей Александрович, – сказала она, с отчаянною решительностью глядя ему в глаза. – Я спрашивала у вас про Анну, вы мне не ответили. Что она?

– Она, кажется, здорова, Дарья Александровна, – не глядя на нее, отвечал Алексей Александрович.

– Алексей Александрович, простите меня, я не имею права... но я, как сестру, люблю и уважаю Анну; я прошу, умоляю вас сказать мне, что такое между вами? в чем вы обвиняете ее?

Алексей Александрович поморщился и, почти закрыв глаза, опустил голову.

– Я полагаю, что ваш муж передал вам те причины, почему я считаю нужным изменить прежние свои отношения к Анне Аркадьевне, – сказал он, не глядя ей в глаза, а недовольно оглядывая проходившего через гостиную Щербацкого.

– Я не верю, не верю, не могу верить этому! – сжимая пред собой свои костлявые руки, с энергическим жестом проговорила Долли. Она быстро встала и положила свою руку на рукав Алексея Александровича. – Нам помешают здесь. Пойдемте сюда, пожалуйста.

Волнение Дарьи Александровны действовало на Алексея Александровича. Он встал и покорно пошел за нею в классную комнату. Они сели за стол, обтянутый изрезанною перочинными ножами клеенкой.

– Я не верю, не верю этому! – проговорила Долли, стараясь уловить его избегающий ее взгляд.

– Нельзя не верить фактам, Дарья Александровна, – сказал он, ударяя на слово *фактам*.

– Но что же она сделала? Что? Что? – говорила Дарья Александровна. – Что именно она сделала?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.